



ИНСТИТУТ  
СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ



The Journal  
is published  
by Moscow State  
Pedagogical University

Журнал издаётся  
Московским педагогическим  
государственным  
университетом

Institute for Slavic Studies  
of the Russian Academy  
of Sciences

Moscow State  
Pedagogical University



Институт славяноведения  
Российской академии  
наук

Московский педагогический  
государственный университет

---

# Slověne = Словѣне

---

---

International Journal  
of Slavic Studies

Международный  
славистический журнал

---

**Editor-in-Chief**

Fjodor B. Uspenskij

**Главный редактор**

Фёдор Б. Успенский

**The Editorial Board**

Iskra Hristova-Shomova, Angel Nikolov (*Bulgaria*); Milan Mihaljević, Mate Kapović (*Croatia*); Václav Čermák (*Czech Republic*); Roland Marti, Björn Wiemer (*Germany*); András Zoltán (*Hungary*); Marcello Garzaniti (*Italy*); Jos Schaeken (*Netherlands*); Alexander I. Grishchenko, Ekaterina I. Kislova, Roman N. Krivko, Maxim M. Makartsev, Philip R. Minlos, Alexander M. Moldovan, Sergey L. Nikolaev, Dmitri G. Polonski, Tatiana V. Rozhdestvenskaia, Alexei D. Shmelev, Anatolij A. Turilov, Boris A. Uspenskij, Rev. Mikhail Zheltov (*Russia*); Jasmina Grković-Major, Tatjana Subotin-Golubović (*Serbia*); Robert Romanchuk, Alan Timberlake, William Veder, Alexander Zholkovsky (*USA*)

**Редакционная коллегия**

Ангел Николов, Искра Христова-Шомова (*Болгария*); Андраш Золтан (*Венгрия*); Бьёрн Вимер, Роланд Марти (*Германия*); Марчелло Гардзанити (*Италия*); Йос Схакен (*Нидерланды*); Александр И. Грищенко, свящ. Михаил Желтов, Екатерина И. Кислова, Роман Н. Кривко, Максим М. Макартцев, Филипп Р. Минлос, Александр М. Молдован, Сергей Л. Николаев, Дмитрий Г. Полонский, Татьяна В. Рождественская, Анатолий А. Турилов, Борис А. Успенский, Алексей Д. Шмелев (*Россия*); Ясмينا Грекович-Мейджор, Татьяна Суботин-Голубович (*Сербия*); Александр Жолковский, Роберт Романчук, Алан Тимберлейк, Уильям Федер (*США*); Милан Михалевич, Мате Капович (*Хорватия*); Вацлав Чермак (*Чехия*)

Moscow

2017

Москва



Institute for Slavic Studies  
of the Russian Academy  
of Sciences



Институт славяноведения  
Российской академии  
наук

Moscow State  
Pedagogical University

Московский педагогический  
государственный университет

---

# Slověne

---

International Journal  
of Slavic Studies

Международный  
славистический журнал

---

Vol. 6

---

№ 2

Moscow

2017

Москва

**p-ISSN 2304-0785**  
**e-ISSN 2305-6754**

Свидетельство о государственной  
регистрации СМИ  
ПИ № ФС 77-68309 от 30.12.2016



Supported by:  
*Open Journal Systems*  
<http://pkp.sfu.ca/ojs/>

SHERPA/RoMEO blue journal

Сайт / Website: <http://slovene.ru/>  
E-mail: [editorial@slovene.ru](mailto:editorial@slovene.ru)

Included in / Журнал включён в:

*Scopus*  
*Web of Science. Emerging Sources Citation Index*  
*Российский индекс научного цитирования*  
*Linguistic Bibliography Online*  
*Slavic Humanities Index*  
*Ulrich's Periodicals Directory*  
*Directory of Open Access Journals*  
*EBSCOhost*  
*ERIH PLUS*  
*MLA International Bibliography*,  
*MLA Directory of Periodicals*  
*Linguistics Abstracts Online*

#### Academic Editors

Fjodor B. Uspenskij (Editor-in-Chief),  
Institute for Slavic Studies, Moscow  
Alexander I. Grishchenko (Executive Editor),  
Moscow State Pedagogical University

Ekaterina I. Kislova, Lomonosov Moscow State  
University  
Roman N. Krivko, National Research University  
Higher School of Economics, Moscow  
Philip R. Minlos, Yandex N. V., Moscow  
Roland Marti, Saarland University,  
Saarbrücken  
Dmitri G. Polonski, Archive of the Russian Academy  
of Sciences, Moscow

#### Managing Editors

Ekaterina I. Kislova, Dmitri G. Polonski, Roland  
Marti, Alexander I. Grishchenko, Roman N. Krivko,  
Andrey Yu. Vinogradov

#### Technical Copy Editors

Anastasia A. Preobrazhenskaya, Maria S. Yakovleva,  
Nina V. Krivko, Alexander I. Grishchenko, Elizaveta  
S. Morozova

#### Russian Language Copy Editor, Proofreader

Ekaterina I. Kislova, Maria S. Yakovleva

#### French Language Copy Editor, Proofreader

Xenia Yagello

#### English Language Copy Editor, Proofreader

Claudia R. Jensen

#### Layout Editor

Marfa N. Tolstaya

#### Design (2012)

Igor' N. Ermolaev

Журнал включён в перечень  
рецензируемых научных изданий ВАК РФ

<https://www.scopus.com/>  
<http://wokinfo.com/>  
<http://elibrary.ru>  
<http://bibliographies.brillonline.com/>  
<http://slavus.ca>  
<http://ulrichsweb.serialssolutions.com>  
<https://doaj.org>  
<http://www.ebscohost.com>  
<http://erihplus.nsd.no>

<https://www.mla.org/>  
<http://www.linguisticsabstracts.com/>

#### Научная редакция

Фёдор Б. Успенский (главный редактор),  
Институт славяноведения РАН, Москва  
Александр И. Грищенко (ответственный  
редактор), Московский педагогический  
государственный университет  
Екатерина И. Кислова, Московский государ-  
ственный университет им. М. В. Ломоносова  
Роман Н. Кривко, НИУ Высшая школа  
экономики, Москва  
Филипп Р. Минлос, ООО "Яндекс", Москва  
Роланд Марти, Университет земли Саар,  
Саарбрюкен  
Дмитрий Г. Полонский, Архив Российской  
академии наук, Москва

#### Редакторы выпуска

Екатерина И. Кислова, Дмитрий Г. Полонский,  
Роланд Марти, Александр И. Грищенко, Роман Н.  
Кривко, Андрей Ю. Виноградов

#### Технические редакторы

Анастасия А. Преображенская, Мария С.  
Яковлева, Нина В. Кривко, Александр И.  
Грищенко, Елизавета С. Морозова

#### Литературный редактор, корректор (русский язык)

Екатерина И. Кислова, Мария С. Яковлева

#### Relecture pour le française

Xenia Yagello

#### Литературный редактор, корректор (английский язык)

Клаудиа Р. Дженсен

#### Вёрстка

Марфа Н. Толстая

#### Дизайн (2012)

Игорь Н. Ермолаев

**Slověne = Словѣне.** International Journal of Slavic Studies. Vol. 6. № 2. — Москва:  
Московский педагогический государственный университет, 2017. — 740 с.

Номер издан при поддержке Фонда инновационных научно-образовательных программ  
"Современное Естествознание".



Все материалы журнала доступны по лицензии  
Creative Commons "Attribution-NoDerivatives"  
4.0 Всемирная / Journal content is licensed under a  
Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License  
<http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/>

© Moscow State Pedagogical University,  
2017

© Authors, 2017

© Igor' N. Ermolaev (design), 2012

## Contents / Содержание

- 9 Памяти Андрея Анатольевича Зализняка (29 апреля 1935 – 24 декабря 2017)

## Articles / Статьи

- 13 Владимир А. Плунгян (Москва), Анна Ю. Урманчиева (С.-Петербург). *Перфект в старославянском: был ли он результативным?*  
Vladimir A. Plungian (Moscow), Anna Yu. Urmanchieva (St. Petersburg). *The Perfect in Old Church Slavonic: Was It Resultative?*
- 57 Liljana Mitkovska, Eleni Bužarovska (Skopje), Elena Ju. Ivanova (St. Petersburg). *Apprehensive-epistemic Da-Constructions in Balkan Slavic*  
Лиляна Митковска, Элени Бужаровска (Скопье), Елена Ю. Иванова (С.-Петербург). *Апrehенсивно-эпистемические да-конструкции в балканославянских языках*
- 84 Татьяна И. Афанасьева (С.-Петербург). *О происхождении первого славянского перевода Поучений аввы Дорофея*  
Tatiana I. Afanasyeva (St. Petersburg). *About the Origin of the First Slavic Translation of the Instructions by St. Dorotheus of Gaza*
- 101 Дарья С. Пенская (Москва). *Византийское “Сказание отца нашего Агапия”: греческий текст и славянский перевод*  
Daria S. Penskaya (Moscow). *The Byzantine Narration of Our Father Agapius and Its Slavonic Translation*
- 137 Олег Ф. Жолобов (Казань). *Язык древнеславянской проповеди: неординарность глагольной морфологии в гомилиях Кирилла Туровского*  
Oleg F. Zholobov (Kazan). *Old Slavic Sermon Language: The Extraordinary Nature of Verb Morphology in Cyril Turovskij's Homilies*
- 163 Тимофей В. Гимон (Москва). *Рубеж XII–XIII вв. в новгородском летописании*  
Timofey V. Guimon (Moscow). *The Annalistic Writing in Novgorod ca. 1200*
- 188 Вадим И. Ставиский (Киев). *“Ревнова же дѣдоу своему Мономаху”: к интерпретации термина родства князя Романа Мстиславича*  
Vadym I. Stavyskyi (Kiev). *“Revnova zhe dedu svoemu Monomakhu”: Towards the Interpretation of the Kinship Term of Prince Roman Mstislavich*
- 199 Антон М. Введенский (С.-Петербург). *Место Варшавского сборника среди списков Новгородской пятой и Псковской первой летописи*  
Anton M. Vvedenskiy (St. Petersburg). *The Place of the Warsaw Miscellany among the Copies of the Novgorod Fifth and Pskov First Chronicles*
- 210 Глеб М. Казаков (Фрайбург), Ингрид Майер (Уппсала). *Иностранные известия о казни Степана Разина. Новые документы из стокгольмского архива*  
Gleb Kazakov (Freiburg), Ingrid Maier (Uppsala). *Foreign Reports about Stepan Razin's Execution. New Documents from the Stockholm Archive*

- 244 Елена А. Целунова (Прага). *Псалтирь на церковнославянском, греческом и польском языках из библиотеки Симона Азарьи*  
Jelena A. Celunova (Prague). *The Book of Psalms in the Church Slavonic, Greek, and Polish Languages from Simon Azarjin's Library*
- 276 Екатерина А. Скворцова (С.-Петербург). *Иллюстрации к "Разговору в царстве мертвых замечательного русского царя Петра Великого и ужасного тирана Ивана Васильевича II" (Ивана Грозного) Д. Фассмана (1725) как инструмент конструирования представлений о России в Европе*  
Ekaterina A. Skvortcova (St. Petersburg). *Illustrations to "Gespräche in dem Reiche derer Todten zwischen dem vortreflichen Moscovitischen Czaar Petro Magno und dem grossen Tyrannen Ivan Basilowiz II" (Peter the Great and Ivan the Terrible) by David Fassmann (1725) as an Instrument of Constructing a Picture of Russia*
- 310 Андрей А. Костин (С.-Петербург), Константин Н. Лемешев (С.-Петербург). *"Краткое руководство к красноречию" М. В. Ломоносова: история первого издания (1748 г.)*  
Andrei A. Kostin (St. Petersburg), Konstantin N. Lemeshev (St. Petersburg). *Mikhail Lomonosov's "Short Manual in Rhetoric": The History of the First Edition from 1748*
- 347 Любовь Г. Чапаева (Москва). *Споры о местоимениях сей и оный как факт истории русской культуры и литературного языка XVIII–XIX вв.*  
Lyubov G. Chapaeva (Moscow). *Disputes over the Pronouns Sei and Onyi (Russian 'This One' and 'That One') in the History of Russian Culture and Standard Language in the 18th–19th Centuries*
- 365 Andrei Yu. Andreev (Moscow), Danièle Tosato-Rigo (Lausanne). *Un précepteur éclairé à l'épreuve: Frédéric-César de La Harpe à la Cour impériale de Russie (1783–1795)*  
Andrei Yu. Andreev (Moscow), Danièle Tosato-Rigo (Lausanne). *Tempering an Enlightened Educator: Frédéric-César de La Harpe at the Russian Imperial Court (1783–1795)*  
Андрей Ю. Андреев (Москва), Даниэль Тозато-Риго (Лозанна). *"Закалка для просвещенного воспитателя": Фредерик-Сезар Лагарп при российском императорском дворе (1783–1795)*
- 385 Eugene I. Lyutko (Moscow). *Church History and the Predicament of the Orthodox Hierarchy in the Russian Empire of the Early 1800s*  
Евгений И. Лютько (Москва). *Церковная история и положение православной иерархии в Российской империи начала XIX в.*
- 400 Natalia Yu. Sukhova (Moscow). *The "Idea of the University" in the Russian Theological Academies (19th and Early 20th Centuries)*  
Наталия Ю. Сухова (Москва). *"Идея университета" в духовных академиях России (XIX – начало XX века)*
- 413 Андрей М. Ранчин (Москва). *Трансформации агиографического кода в "Очарованном страннике" и принцип амбивалентности в поэтике Н. С. Лескова*  
Andrey M. Ranchin (Moscow). *Transformations of the Hagiographic Code in The Enchanted Wanderer and the Principle of Ambivalence in the Poetics of N. S. Leskov*
- 444 Анастасия А. Тулякова (Москва). *Толстой, Арцыбашев и Вагнер: об одном случае полемики в "Круге чтения" Л. Н. Толстого*  
Anastasia A. Tulyakova (Moscow). *Leo Tolstoy, Mikhail Artsybashev, and Richard Wagner: About One Case of Polemics in Tolstoy's The Circle of Reading*

- 456 Роберта Сальваторе (Мессина). *Пастернак и Клопшток (о стихотворении Б. Пастернака "Цельною льдиной из дымности вынут. . .")*  
 Roberta Salvatore (Messina). *Boris Pasternak and Friedrich Gottlieb Klopstock (about Pasternak's Poem The Starry River of a Week Ago)*
- 482 Елена С. Островская (Москва). *"Под властью угля", или История о том, как британский углекоп Гарольд Хезлоп так и не стал советским писателем*  
 Elena S. Ostrovskaya (Moscow). *"Under the Sway of Coal," or a Story of the British Coal Miner Harold Heslop, Who Failed to Become a Soviet Writer*
- 505 Милена В. Рождественская (С.-Петербург). *Из истории сербско-русских историко-культурных связей: Душан Иванович Семиз (1884–1955) и его семья. Заметки к материалам петербургских и московских архивов*  
 Milena V. Rozhdestvenskaia (St. Petersburg). *From History of Serbian-Russian Historical and Cultural Relations: Dušan I. Semiz (1884–1955) and His Family. Commentaries to Archival Materials from St. Petersburg and Moscow*
- 525 Максим М. Макартцев (Москва). *Влияние островного статуса группы на систему ценностей: к вопросу об идентичности старообрядцев Польши по данным языка*  
 Maxim M. Makartsev (Moscow). *The Influence of the Island Status of a Community on Its System of Values: On the Identity of the Old Believers in Poland through Their Language*
- Проповеди в религиозной и культурной политике и практике России и Европы (XVII – начало XIX вв.)**  
**Sermons in Religious and Cultural Politics and Practice in Russia and Europe in the 17th–Early 19th Centuries**
- 545 Денис А. Сдвижков (Москва). *Круглый стол "Проповеди в религиозной и культурной политике и практике России и Европы (XVIII – начало XIX вв.)". 26–27 августа 2016 г. Германский исторический институт в Москве*  
 Denis A. Sdvizhkov (Moscow). *Round Table: "Sermons in Religious and Cultural Politics and Practice in Russia and Europe in the 18th–Early 19th Centuries". August, 26–27, 2016. German Historical Institute in Moscow*
- 548 Татьяна В. Пентковская (Москва). *"Слово о милости" в церковнославянском переводе второй половины XVII в. и его польский оригинал: передача реалий*  
 Tatiana V. Pentkovskaya (Moscow). *"The Word for Mercy" in the Church Slavonic Translation of the Second Half of the 17th Century and Its Polish Original: Realia Interpretation*
- 578 Маргарита А. Корзо (Москва). *Православная проповедь в Речи Посполитой XVII в.: некоторые наблюдения*  
 Margarita A. Korzo (Moscow). *The Orthodox Sermon in the Polish-Lithuanian Commonwealth of the 17th Century: Some Observations*
- 597 Stanisław Witecki (Kraków). *Theory and Practice of Parochial Preaching in the late 18th-century Polish-Lithuanian Commonwealth*  
 Станислав Витецкий (Краков). *Теория и практика приходской проповеди в Речи Посполитой в конце XVIII столетия*
- 622 Florian Bock (Tübingen). *Preaching and Confessional Culture in Early Modern Germany. Catholic Sermons between 1650 and 1800*  
 Флориан Бок (Тюбинген). *Проповеди и конфессиональная культура в Германии раннемодерного периода. Католические проповеди в 1650–1800 гг.*

- 648 Relja Seferović (Dubrovnik). *Preachers, Sermons, and State Authorities in late Baroque Dubrovnik*

Реля Сеферович (Дубровник). *Проповедники, проповеди и государственная власть в Дубровнике эпохи барокко*

#### Notes / Заметки

- 678 Василий М. Круглов (С.-Петербург). *Пять уточнений к "Словарю русского языка XVIII века"*

Vasily M. Kruglov (St. Petersburg). *Five Additions to The Dictionary of the 18th-century Russian Language*

#### Обзоры / Overviews

- 686 Светлана М. Толстая (Москва). *Этнолингвистическое изучение Полесья. 1995–2016 гг. (Обзор)*

Svetlana M. Tolstaya (Moscow). *The Ethnolinguistic Study of Polesie, 1995–2016: An Overview*

#### Reviews / Рецензии

- 707 G. M. HAMBURG, *Russia's Path Towards Enlightenment. Faith, Politics, and Reason, 1500–1801*, New Haven, London, Yale University Press, 2016, XI + 900 pp.  
Reviewed by Konstantin D. Bugrov (Ekaterinburg)

Рецензия Константина Д. Бугрова (Екатеринбург)

- 716 Соколов С. В., *Концепции происхождения варяжской руси в отечественной историографии XVIII–XIX вв.*, Екатеринбург, 2015, 314 с.

Рецензия Владимира Я. Петрухина (Москва)

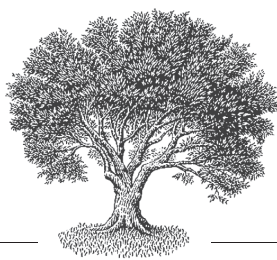
Reviewed by Vladimir Ya. Petrukhin (Moscow)

- 721 DANIEL BUNČIĆ, *Biscriptality: A Sociolinguistic Typology*, ed. by D. BUNČIĆ, S. L. LIPPERT, A. RABUS with contributions by A. ANTIPOVA, C. BRANDT, E. KISLOVA, H. KLÖTER, A. VON LIEVEN, S. L. LIPPERT, H. PASCH, A. RABUS, J. SPITZMÜLLER, C. WETH on behalf of the Heidelberg Academy of Sciences and Humanities, the State Academy of Baden-Württemberg, Universitätsverlag Winter, Heidelberg, 2016, 425 pp.

Рецензия Нины Б. Мечковской (Минск)

Reviewed by Nina B. Mechkovskaya (Minsk)





## Памяти Андрея Анатольевича Зализняка (29 апреля 1935 — 24 декабря 2017)

А. А. Зализняк был не только выдающимся, гениальным ученым, это был целый мир, который он сам создал, и главный персонаж этого мира — язык. Диапазон научных исследований А. А. Зализняка необычайно широк — от акцентологии, фонологии — до диалектологии, стилистики, палеографии; от санскрита, арабского — до языка берестяных писем русского средневековья, и в каждой из этих областей его исследования составили целую эпоху в истории отечественной и мировой лингвистики.

Его монография 1977 г. “Русское именное словоизменение” сама изменила традиционные представления в русистике о роли разнородных факторов языковой системы, а созданный на этой основе “Грамматический словарь



русского языка” (1977) — полное и строгое описание русской морфологии — стал базой для развития компьютерных технологий в области русского Интернета.

Еще одной важной сферой научного творчества А. А. Зализняка стали проблемы исторической акцентологии русского языка, что определило интерес ученого к славянскому рукописному наследию и исторической диалектологии. В результате в монографии “От праславянской акцентуации к русской” (1985) им была представлена эволюция системы ударений в русском языке.

С 1982 г. началось плодотворное сотрудничество А. А. Зализняка с коллективом Новгородской археологической экспедиции Московского государственного университета и Института археологии РАН, продолжавшееся до последнего дня жизни. Любимым предметом исследований А. А. Зализняка были новгородские берестяные грамоты. Результатом стало открытие целого пласта ценнейших письменных источников русского средневековья. Благодаря А. А. Зализняку частные письма средневековых новгородцев, псковичей, тверитян получили “новое прочтение”, обнаружив поистине неисчерпаемый лингвистический потенциал для истории русского языка. То, что предшественникам А. А. Зализняка в письме и языке грамот казалось случайным или ошибочным, получило строгое объяснение. Работы А. А. Зализняка в этой области позволили понять систему так называемого бытового письма в древнем Новгороде, за которой стояли выявленные ученым черты особого древненовгородского диалекта — в его связях со славянским языковым ландшафтом. Благодаря этим замечательным исследованиям памятники новгородской письменности, помимо богослужебных рукописей и летописных источников, пополнились еще одной категорией текстов, наиболее адекватно отражающих реальную языковую ситуацию и характер грамотной среды средневекового Новгорода (Лингвистический комментарий к изданию *Новгородские грамоты на бересте*, VIII–XI, 1986–2004). Монография “Древненовгородский диалект” (1995, 2004) стала фундаментом любого исследования в области древнерусского, да и других славянских языков. Материал берестяных грамот, наравне с другими письменными источниками, лег в основу работ А. А. Зализняка об эволюции системы энклитик в истории синтаксиса русского языка (*Древнерусские энклитики*, 2008).

Исследования ученого в области “новгородики” всегда были основаны на комплексности археологических и лингвистических датировок берестяных грамот. Эти работы открыли новый этап и в изучении древнерусской эпиграфики как особой категории памятников не книжной письменности. А. А. Зализняком был заново пересмотрен корпус



опубликованных к тому времени надписей, внесены коррективы и предложены новые интерпретации в прочтение этих текстов (“К изучению древнерусских надписей”, in: *Новгородские грамоты на бересте. Из раскопок 1997–2000 гг.*, XI, Москва, 2004, 10–107). Разработанные А. А. Зализняком принципы палеографического внестратиграфического датирования берестяных грамот (“Палеография берестяных грамот и их внестратиграфическое датирование”, in: *Новгородские грамоты на бересте. Из раскопок 1990–1996 гг.*, Москва, 2000, 134–429) стали базовыми и для датировки близких по способу исполнения памятников эпиграфики. Невозможно переоценить вклад А. А. Зализняка в эту область палеославистики, которая в последнее десятилетие переживает настоящий расцвет, в немалой степени благодаря тому, что ее заинтересованным вдохновителем на протяжении многих лет был и остается А. А. Зализняк.

Для А. А. Зализняка было характерно глубокое проникновение в структуру и поэтику любого древнерусского текста — от единственного слова, процарапанного на кусочке бересты, или “скрытых” текстов на подложке найденной в 2000 г. древнейшей деревянной книги, “Новгородского кодекса”, — до “Слова о полку Игореве”. Его исследование подтвердило подлинность знаменитого памятника древнерусской литературы, вызывавшего в свое время острые и длительные дискуссии (*История спора о подлинности “Слова о полку Игореве”. Материалы дискуссии 1960-х гг.*, вступ. статья, сост., подг. текстов и ком. Л. В. Соколовой, С.-Петербург, 2010). Вышедшая тремя изданиями (2004, 2007, 2008), книга А. А. Зализняка “Слово о полку Игореве: взгляд лингвиста” оставляет теперь уже мало шансов для “скептиков” в отношении его датировки.

В эпоху снижения уровня образованности и набирающих силу псевдонаучных “теорий” о русской истории, о происхождении русской письменности и языка А. А. Зализняк активно защищал научные принципы исследования (*Из заметок о любительской лингвистике*, Москва, 2010), верности научной истине — что имеет важнейшее воспитательное значение. Он умел вовлечь аудиторию в совместные размышления над той или иной проблемой, и не случайно его открытые выступления и лекции притягивали к себе так много слушателей, и не только гуманитариев. А. А. Зализняк показал, что наука может и должна быть интересной.

Велико не только научное, но и человеческое обаяние А. А. Зализняка, привлекавшее к себе множество самых разных людей, от непосредственных его коллег и учеников до однажды встреченных собеседников. Значимость его личности, как личности любого гениального человека, проявлялась в отношении к людям, в общении, когда каждый

начинал чувствовать себя чуть лучше, чуть увереннее в своих силах. Трудно представить, что мы уже не увидим его фигуру в Академии наук, в аудиториях Московского университета, не увидим его входящим на Знаменское подворье — базу Новгородской археологической экспедиции — и сразу распространяющим особую светлую атмосферу, не увидим его склонившимся над берестяной грамотой, только что принесенной с раскопа, что нам не посчастливится больше присутствовать при прочтении им древнерусского текста, когда острота ума и легкая лингвистическая шутка творили настоящее волшебство! Когда-то Д. С. Лихачев сказал, что настоящая наука должна быть веселой. А. А. Зализняк обладал этим редким свойством, одаряя людей жизнерадостностью, “легким дыханием”. В научном и человеческом мире А. А. Зализняка существовать хорошо и свободно, в том мире, где “истина — существует”.

*Татьяна Всеволодовна Рождественская*



Перфект  
в старославянском:  
был ли он  
результативным?\*

**Владимир Александрович  
Плунгян**

Институт языкознания РАН  
Москва, Россия

**Анна Юрьевна  
Урманчиева**

Институт лингвистических  
исследований РАН, С.-Петербург;  
Институт языкознания РАН, Москва  
Россия

The Perfect  
in Old Church  
Slavonic:  
Was It Resultative?

**Vladimir A. Plungian**

Institute of Linguistics of the Russian  
Academy of Sciences  
Moscow, Russia

**Anna Yu. Urmanchieva**

Institute for Linguistic Studies of the  
Russian Academy of Sciences, St. Petersburg;  
Institute of Linguistics of the Russian  
Academy of Sciences, Moscow  
Russia

Резюме

Перфект, как известно, является одной из самых загадочных форм старославянского языка, семантика которой упорно не поддается описанию. Старославянские тексты представляют собой переводы (прежде всего — с греческого), и в них в значительной степени наблюдается калькирование как в сфере лексики, так и в сфере грамматических форм и конструкций. Но именно перфект нарушает эту картину: соответствия перфектных форм в параллельных греческих и старославянских текстах минимальны, что заставляет предположить, что при выборе перфектной формы переводчик руководствовался в большей степени собственно семантикой перфектной формы, нежели давлением греческого оригинала. В данной статье предпринята попытка описать употребление

\* Исследование выполнено в рамках проекта РНФ № 14-18-02624 «Диахронически нестабильные аспектуальные категории».

перфекта в четырех важных памятниках старославянского языка: Синайской псалтыри, Синайском евхологии, Супрасльской рукописи и Мариинском евангелии. Уже при первом взгляде на примеры из разных рукописей становится очевидным, что затруднительно говорить как об инвариантном значении перфекта, так и том, что употребления его в разных памятниках идентичны друг другу. Более плодотворно описание моделей употребления перфекта, представленных в отдельных памятниках, при помощи выделения нескольких групп связанных между собой значений. При сопоставлении употреблений конкурирующих форм аориста и перфекта выясняется, что в результативных контекстах для описания конкретных, локализуемых во времени ситуаций используется аорист. В свою очередь перфект употребляется: (1) для описания *интерпретации* определенного события (ср. Мк 14:8 “Она сделала, что́ могла: *предварила* помазать тело Мое к погребению”); (2) для *характеризации* субъекта действия (или топика определенного текстового фрагмента) через участие в некоторой ситуации; (3) в *экзистенциальных* контекстах (‘ситуация имела место по крайней мере один раз в прошлом’).

#### Ключевые слова

старославянский язык, грамматическая семантика, перфект

#### Abstract

Periphrastic perfect is a notoriously difficult form of Old Church Slavonic (OCS) verbs, because it remains consistently resistant to any coherent semantic description. While the majority of OCS texts are (very literal) translations, readily calquing both lexical and grammatical features of Hellenistic Greek, the OCS perfect is almost unique in deviating drastically from this common trend. The present paper attempts to tackle the semantic puzzle of OCS perfect by analyzing examples from the *Psalterium Sinaiticum*, *Euchologium Sinaiticum*, *Codex Suprasliensis*, and *Codex Marianus*. A preliminary look at the examples indicates that one can hardly speak of OCS perfect as a unified grammatical value with one and the same range of uses in all available texts. It would be more profitable to establish the patterns of perfect use for individual documents. Different factors predetermining the choice between competing perfect and aorist forms in different OCS texts are discussed in the paper and illustrated by various examples. It is argued that there is a strong tendency to use Aorist in resultative contexts to refer to individual situations with an exact temporal location, whereas Perfect is predominantly used (i) to convey the *interpretation* of a previously introduced situation (as in Mk 14:8 ‘She hath done what she could: she *is come aforehand* to anoint my body to the burying’); (ii) o *characterize* the subject of the predication; and (iii) in *existential* contexts (‘the situation took place at least once in the past’).

#### Keywords

Old Church Slavonic, grammatical semantics, perfect

# 1. Старославянский перфект: предварительные замечания

Данное исследование представляет собой попытку вновь обратиться к известной проблеме семантической специфики старославянского перфекта (традиционное название для аналитической формы, состоящей из *l*-причастия и вспомогательного глагола *byti* в форме настоящего времени). Хотя анализируемые ниже памятники старославянского языка являются переводами с греческого, в большинстве случаев, как это не раз отмечалось, воспроизводящие все доступные морфосинтаксические особенности греческого оригинала почти буквально (ср., например, [НАННИСК 1972]), одно из важнейших отступлений от этой стратегии касается именно форм перфекта: соответствия между греческими и славянскими перфектными формами не наблюдается<sup>1</sup>. Это позволяет думать, что применительно к старославянскому перфекту мы имеем возможность сделать определенные наблюдения над оригинальными правилами употребления этой глагольной формы.

Данное исследование учитывает материал нескольких памятников: это Синайская псалтырь (частично с опорой на исследование [МАСРОБЕРТ 2013]), Синайский требник, Супрасльская рукопись и Мариинское евангелие (употребления перфектов в старославянских евангелиях в значительной степени совпадают, поэтому для наших целей мы сочли возможным ограничиться одним памятником, считая его представляющим евангельскую стратегию в целом). Говоря о различных контекстах употребления перфекта, следует признать, что некоторые из них более характерны для одних памятников, некоторые — для других. Исходя из этого, мы постарались организовать изложение данных в статье таким образом, чтобы были последовательно охарактеризованы не только различные группы употреблений перфектной формы, но и различные памятники — с точки зрения стратегий употребления перфекта.

Прежде чем перейти к более детальному изложению, остановимся на некоторых важных особенностях употребления старославянского перфекта в целом.

Есть несколько дополнительных моментов, которые осложняют и без того непростую задачу описания семантики этой граммы. Перечень

<sup>1</sup> Кажется, что славянские переводчики воспринимали греческий синтетический перфект и аорист как синонимичные формы; в текстах евангелий греческий перфект передается славянским лишь примерно в 10% употреблений (в остальных случаях преобладает аорист). С другой стороны, большое количество славянских перфектов соответствует другим греческим формам и конструкциям. Этот факт был отмечен еще в ранних работах А. Мейе; ср. также наблюдения в [TROST 1972; MASROBERT 2013; DRINKA 2017: 311] (впрочем, в последней работе автор, хотя и признавая некоторую проблематичность соответствий на этом участке глагольной системы, явно преувеличивает — следуя отчасти за [RŮŽIČKA 1963] — степень влияния аналитических греческих перфектных конструкций с причастиями на славянские).

этих проблем открывается несколькими бесспорными фактами об употреблении перфектной конструкции (i–iv) и продолжается несколькими наблюдениями, которые касаются уже скорее непосредственно семантики перфекта (v–vi).

(i) В старославянском мы сталкиваемся с дисбалансом употребления лично-числовых форм перфекта: как указывал еще А. Вайан, “в текстах особенно часто наблюдается употребление 2 лица единственного числа перфекта” [Вайан 1952: 382].

(ii) С предыдущим пунктом непосредственно связано то, что часть употреблений перфекта может быть мотивирована в первую очередь не семантикой контекста, но более формальными факторами: так, А. Вайан указывает, что перфекты второго лица употребляются для разрешения омонимии, представленной в претеритальной сфере у аористных форм 2–3 лица единственного числа. Несколько иное объяснение повышенной частотности форм 2 лица единственного числа перфекта в Синайской псалтыри предлагает К. М. МакРоберт (см. ниже при анализе этого памятника), однако существенно, что и она исходит из того, что семантика не является основным фактором, определяющим употребление этой формы.

(iii) К этому можно прибавить, что распределение лично-числовых форм перфекта неодинаково для разных памятников: (а) Синайская Псалтырь является безусловным лидером по употреблению перфектов второго лица; (б) Супрасльская рукопись при этом является единственным памятником, где по данным [ВЕЅЕРКА 1993] перфекты третьего лица численно доминируют над перфектами второго лица; (в) можно отметить также, что перфект в первом лице наиболее редок; особенно это очевидно на материале Мариинского евангелия, где перфект первого лица употреблен лишь дважды на всем протяжении текста.

(iv) В Супрасльской рукописи перфекты третьего лица могут употребляться как со вспомогательным глаголом, так и без него; возникает вопрос — являются ли эти две перфектные конструкции семантически эквивалентными? В частности, А. Вайан высказывал следующую точку зрения:

3 лицо перфекта без вспомогательного глагола из памятников старославянской редакции встречается часто лишь в Супрасльской рукописи как особенность языка четырех проповедей этого сборника: *ѿоудѣ сътворнѣ зърашѣтнѣмъ, ѿнѣсма же наплънѣмъ и печѣмъ* [ . . . ] *оутѣшнѣ* 93<sup>23–26</sup>; в других случаях — в качестве простой замены аориста: *съгрѣшнѣ ѿдамъ и оумрѣтъ* 493<sup>26</sup> вместо *съгрѣши* [ . . . ] *оумрѣтъ* [Вайан 1952: 280].



С другой стороны, Р. Вечерка предполагал, что между этими формами есть стилистическая разница, указывая, что перфекты без связки употребляются по преимуществу в гомилиях:

Тексты этого жанра составлены как прямая коммуникация между автором и физически (реально либо фиктивно) присутствующим адресатом и стилизованы под непосредственное обращение к толпе; соответственно, они предназначены к тому, чтобы включать в себя разговорные и простонародные, в том числе имеющие локальное (диалектальное) распространение формы<sup>2</sup> [VEČERKA 1993: 90].

Таким образом, необходимо исследовать вопрос, действительно ли случаи употребления бессвязочного перфекта семантически идентичны употреблению перфекта со связкой.

(v) В работах, посвященных описанию семантики старославянского перфекта, обычно предлагается некоторая единая трактовка перфектных форм, призванная объяснить все случаи употребления перфекта. Наиболее детальными на настоящий момент остаются уже достаточно давние исследования И. К. Буниной и М. Деяновой, которые пытались предложить инвариантное значение перфекта; оно сводится к тому, что перфект акцентирует “связь” между описываемым событием и некоторой последующей ситуацией, чаще всего локализуемой в настоящем (см. [БУНИНА 1959: 55–78, ЕАДЕМ 1970: 118–129; ДЕЯНОВА 1970: 129–150]). Следует сказать, что за пределами процитированных работ семантика старославянского перфекта практически не описывается либо описывается весьма специфическим образом. Так, показателен подход, реализованный в работе [AMSE-DE JONG 1974] с многообещающим названием “The meaning of the finite verb forms in the Old Church Slavonic Codex Suprasliensis. A synchronic study”. В этой работе в принципе реализован типичный структуралистский подход к описанию семантики, где значение форм, составляющих глагольную парадигму, описывается при помощи бинарных оппозиций вида COEXTENSIVE / NONCOEXTENSIVE и EXCLUSIVE / NON-EXCLUSIVE. Всем формам перфектной парадигмы (перфекту настоящего времени, перфекту будущего времени, плюсквамперфекту) автор приписывает семантический элемент CONSEQUENCE [AMSE-DE JONG 1974: 67]. Чтобы не вдаваться в подробный разбор специфической авторской терминологии, процитируем тот фрагмент работы, где точка зрения автора на семантику ст.-сл. перфекта изложена в сжатом виде в главе, посвященной

<sup>2</sup> „Die Werke dieser literarischen Gattung werden als direkte Kommunikation zwischen dem Autor und dem physisch (tatsächlich oder fiktiv) anwesenden Adressaten verfasst und stilisiert, als unmittelbare Anrede an eine Menschenmenge; darum sind sie dazu prädestiniert, kolloquiale und volkstümliche, auch lokal begrenzte (mundartliche) Sprachmittel anzunehmen“ [перевод наш. — В. П., А. У.].

полемике с анализом глагольной системы старославянского, предложенным И. К. Буниной:

1) Бунина описывает л-форму в комбинации с темпоральной формой как единое событие (без сомнения, под влиянием русского языка). Я же постулирую существование двух завершенных событийных периодов (Full Event Period), первый из которых (л-форма) располагается на временной оси ПЕРЕД вторым (бытн-форма) [...] 2) Бунина не смогла понять субъективный (attitudinal) характер перфекта и других составных времен. Мы говорим не о том, имеет ли ситуация актуальные последствия либо нет, но о том, обозначает ли говорящий актуальность последствий или же нет; аорист и имперфект не обозначают эксплицитно актуальные последствия, тогда как в перфекте они обозначаются при помощи ПРЕЗЕНСА [AMSE-DE JONG 1974: 139].

Можно обратить внимание, во-первых, на то, что для автора семантика аналитической формы связана прежде всего с ее синтаксической структурой, во-вторых, на то, что автор также предлагает инвариантное описание перфекта, и наконец, в-третьих, на то, что автор рассматривает перфект как форму, эксплицирующую значение “актуальных последствий”, — но к этому выводу он приходит не на основании анализа контекстов, но на основании анализа структуры этой аналитической формы — а именно, на основании присутствия в ее составе вспомогательного глагола в настоящем времени. Как представляется, такой наивно-структуралистский анализ имеет очень отдаленное отношение к подлинному анализу грамматической семантики глагольных форм. Бросается в глаза общее для всех указанных работ стремление к выделению инвариантного (и потому очень общего и размытого) значения, однако а priori неочевидно, насколько такой подход продуктивен (в частности, обладает ли он хотя бы минимальной объяснительной силой и способностью предсказывать выбор нужной глагольной формы в нетривиальных ситуациях). В данной работе мы стремимся придерживаться другого пути, выделяя несколько различных групп контекстов, характерных для употребления перфектных форм в старославянском. Вопрос о связи между всеми этими группами может обсуждаться в рамках другой исследовательской задачи.

(vi) Наконец, в старославянских памятниках можно обнаружить семантически близкие контексты, в которых может употребляться как перфект, так и аорист. Это особенно ярко видно на примере четвероевангелия, поскольку в текстах разных евангелистов описываются одни и те же ситуации, в которых в идентичных репликах употребляются и перфект, и аорист (примеры таких контекстов приводятся чуть ниже).



Остановимся подробнее на вопросе о том, возможно ли однозначно предсказать, в каких контекстах ожидается аорист, а в каких — перфект. На нетривиальный характер выбора между этими двумя формами указывал, например, еще А. Вайан: “Выбор между аористом и перфектом нередко бывает факультативным, так как одно и то же действие может пониматься и как отнесенное в прошедшее, и как соотносительное с настоящим” [ВАЙАН 1952: 381–382].

О том же пишет П. С. Кузнецов:

Не всегда достаточно четко может быть отграничено употребление перфекта от аориста, в некоторых же случаях, поскольку перфект помимо своего основного значения может употребляться для выражения большей категоричности действия, разграничение перфекта и аориста может носить и стилистический характер [Кузнецов 1961: 83].

Фактически к тому же выводу — о “стилистических” основаниях употребления перфектной формы — приходит спустя четыре десятилетия Б. М. Гаспаров (впрочем, он формулирует это именно как грамматическое значение перфекта, а не как стилистическое приращение). Так, ядерным значением формы 2-го лица ед. ч. перфекта он признает “акт исповедания веры” [ГАСПАРОВ 2003: 221], а значением формы 3-го лица — “утверждение трансцендентного” [ibid.: 224]. Ср. также основной вывод статьи:

... ядерное значение отражает ценности, имеющие первостепенное значение для субъектов данного языка, в их отношении к данному типу дискурса. В этих ценностных основаниях грамматических категорий строй языка сходится с культурной традицией и культурным опытом его носителей. Применительно к ДЦС [древнецерковнославянскому. — В. П., А. У.] перфекту, такой кардинальной метафизической ценностью, конденсировавшейся в его ядерное значение, оказалось противоположение эмпирического и мистического, посястороннего и потустороннего, опыта и веры, событий, совершающихся на земле, и божественного мирового порядка [ibid.: 240].

О возможной синонимичности перфекта и аориста в старославянском писал и Ю. С. Маслов: “Рано, фактически уже в эпоху, предшествующую письменным памятникам, начинается и процесс стирания перфектной специфики. Уже в древнейших текстах есть примеры, в которых она отчетливо не ощущается, и перфект оказывается синонимичным аористу” [МАСЛОВ 1984: 39].

М. Н. Шевелёва отмечает, что

вообще употребление славянского аориста в речевом режиме, где он, как правило, приобретает перфектное значение, всегда было возможно: как показывают уже древнейшие славянские тексты, этот “индефинитный” претерит изначально допускал употребление в прямой речи (или авторских

перформативных и под. высказываниях, ориентированных на момент речи говорящего) и под влиянием соответствующего контекста мог получать перфектное значение. [. . .] В старославянских текстах нередко наблюдается колебание перфекта / аориста в сходных контекстных условиях. . . [ШЕВЕЛЕВА 2009: 151–152].

Авторы всех приведенных цитат, рассматривающие эту оппозицию с той или иной точки зрения, согласны в том, что однозначно предсказать выбор аориста либо перфекта невозможно. Причем, как нам представляется, это не связано ни с несовершенством того или иного подхода к описанию перфектных форм, ни с семантическим “несовершенством” самих глагольных форм (например, с размыванием перфектной семантики). Как кажется, такая нестабильность составляет самую суть противопоставления аориста и перфекта: востребованным оказывается наличие в системе “зоны колебаний”, где говорящий волен выбирать между двумя формами для реализации собственных коммуникативных намерений; более подробный комментарий см. после примера (6).

При этом в самом общем виде контексты распределяются между двумя конкурирующими формами примерно следующим образом:

(а) Кажется, нет таких контекстов, в которых мог бы быть употреблен перфект, но не мог бы быть употреблен аорист; во всяком случае, в одних и тех же случаях в текстах разных евангелистов в Мариинском четвероевангелии может быть употреблен и аорист, и перфект. Ниже приводятся два таких фрагмента. Для сравнения приводятся эти же фразы из Библии короля Иакова, где, в отличие от старославянского языка, в одних и тех же контекстах употребляется одна и та же глагольная форма: перфект в примере (1) и результативная конструкция *is dead* в примере (2).

(1') Прн деватѣн же годнѣ възъпн ѿс гласомъ велнемъ гла. елсѣ елсѣ лема савахтанн. еже естъ бже мон бже мон. въскжж ма есн оставнлѣ (Мф 27:46).

And about the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani? that is to say, My God, my God, why **hast** thou **forsaken** me?

(1'') І въ деватѣхъ годнѣхъ възъпн ѿсѣ гласомъ велнемъ гла. елсѣн елсѣн лнма савахтанн. еже естъ съказанное бже бже мон въскжж ма оставн (Мк 15:34).

And at the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eloi, Eloi, lama sabachthani? which is, being interpreted, My God, my God, why **hast** thou **forsaken** me?

(2') отнаѣте не оумьрѣтъ бо дѣвнѣца нѣ съпнѣтъ (Мф 9:24).

Give place: for the maid **is not dead**, but sleepeth.

(2'') *ЎЪТО МЛЪВНТЕ Н ПЛАЧЕТЕ СЪ. ОТРОКОВНИЦА НЪСТЪ ОУМРЪЛА НЪ СЪПНТЪ* (Мк 5:39).

Why make ye this ado, and weep? the damsel **is not dead**, but sleepeth.

(2''') *НЕ ПЛАЧНТЕ СЪ ЕНА. НЪСТЪ ОУМРЪЛА НЪ СЪПНТЪ* (Лк 8:52).

Weep not; she **is not dead**, but sleepeth.

(b) С другой стороны, есть контексты, где аорист предпочтительнее перфекта. Это, как ни странно, прежде всего результативные контексты, которые в типологическом портрете прототипического перфекта занимают центральное место: в современной грамматической типологии преобладает такое определение семантики перфекта, которое так или иначе соотносит его с понятием *результатива* (или *результатирующего состояния*). В частности, именно так определяется перфект в классической работе [МАСЛОВ 1984], где различаются статальный перфект, или, иначе, результатив, и акциональный перфект, для которого

в центре внимания обычно оказывается действие, оставляющее после себя те или иные следы, результаты, создающие какую-то специфическую ситуацию, короче — в том или ином отношении актуальное для последующего временного плана и рассматриваемое с точки зрения этого плана [МАСЛОВ 1984: 32–33] (ср. также [ПЛУНГЯН 2011: 388–394]).

Понятие результирующего состояния в некоторых теориях перфекта остается центральным вплоть до настоящего времени (см. подробнее, например, [ДЕРРАЕТЕРЕ 1998; NISHIYAMA, KOENIG 2010]). Этот подход опирается не только на семантическое развитие перфектных форм, но и на их диахронические источники; ср. единственный [!] сформулированный Дж. Байби семантический путь развития перфекта — из результативной конструкции [ВУБЕЕ ET AL. 1994: 105], ср. также [ДАНЛ 1985: 135]. Таким образом, перфект рассматривается как результатив, подвергшийся дальнейшей грамматикализации, распространившийся на все акциональные классы глаголов и претерпевший определенное изменение семантики. Одним из существенных преобразований является то, что бывший результатив утрачивает стативное значение и начинает обозначать не только результирующую фазу некоторой ситуации, но и саму эту ситуацию. Результативная семантика в узком смысле при этом трансформируется у перфектной формы в то значение, которое описывается при помощи (намеренно) расплывчатого понятия “текущей релевантности” (“current relevance”). Впервые это понятие было введено в работе [МССОАРД 1978]; позднее оно стало широко использоваться за рамками той теории, в русле которой возникло; его сочли удачным многие исследователи, занимавшиеся поиском инвариантного значения перфекта. Наиболее эксплицитно этот подход сформулирован, по-видимому, в работе [ДАНЛ, НЕДИН 2000], где текущая релевантность представлена

фактически как шкала результативности, отражающая степень удаления от результативного прототипа; перфект, таким образом, занимает промежуточное положение между результативом настоящего времени и нерезультативным прошедшим временем (аористом либо претеритом). Тем самым, говоря в данной работе о результативном значении, мы имеем в виду то значение перфектной формы, которое признается прототипическим в рамках очерченной типологической концепции результативного перфекта: “ситуация имела место в прошлом, в настоящий момент ее результат сохраняется”. Ниже приводятся примеры из Мариинского евангелия, в которых в результативных контекстах употреблен аорист; для сравнения приводятся английские версии этих же фрагментов, где последовательно употреблен перфект:

- (3) ꙗ ꙗла емоу. всѣкъ ѿлвкъ прѣжде доброе вино полагаатъ. ꙗ егда оупиѣтъ сѧ тогда таѹѣѣ. ты же сѣблюде доброе вино до сѣлѣ (Ин 2:10).

And saith unto him, Every man at the beginning doth set forth good wine; and when men have well drunk, then that which is worse: but thou *has kept* the good wine until now.

- (4) ꙗ оучааше ꙗла нмѣ. нѣстъ ли писано. ѿко храмъ мой храмъ молитвѣ. нареѹетъ сѧ всѣмъ ѧѣзкмѣ. вы же сѣтвористе н врѣтъѣ разбойникомъ (Мк 11:17).

And he taught, saying unto them, Is it not written, My house shall be called of all nations the house of prayer? but ye *have made* it a den of thieves.

- (5) ꙗ въспомѣнѣвъ петръ ꙗла емоу равѣнн. видѣ смовѣннца ѧже проклатъ оусѣше (Мк 11:21).

Peter, remembering, said to him, “Rabbi, look! The fig tree which you cursed *has withered away*”<sup>3</sup>.

- (6) ꙗ се елисаветъ жжнка твоѣ. ꙗ та зачатъ сѣна въ старость своѣ. ꙗ сѣ мѣсѣцъ шесты естъ ен. парнѣемѣн неплодѣвн (Лк 1:36).

And, behold, thy cousin Elisabeth, she *hath* also *conceived* a son in her old age: and this is the sixth month with her, who was called barren.

Из (а) и (b) проистекает два важных момента. Во-первых, это означает, что старославянский перфект семантически является более специализированной формой, чем аорист. Во-вторых, еще более важный вывод состоит в следующем: несмотря на то, что мы, как правило, можем объяснить, почему перфект употреблен в группе семантически более

<sup>3</sup> В Библии короля Иакова в этом фрагменте употреблена архаичная результативная конструкция *is withered away*.

или менее однородных примеров, мы никогда не можем с той же степенью уверенности объяснить, почему в семантически близких или даже аналогичных контекстах в других случаях перфект *не* употребляется и мы находим вместо него аористную форму. Именно этот последний факт предопределяет то, насколько сложно формализовать правила выбора одной из двух граммем — значение, передаваемое перфектом, не исключено и у части употреблений аористной формы. Аналогичная ситуация характеризует оппозицию аориста и конкурирующего с ним прошедшего времени и в других языках; так, согласно многим современным исследованиям грамматической семантики испанского глагола, в ряде употреблений формы аналитического перфекта и синтетического аориста образуют отчетливый семантический контраст, но в остальных случаях оказываются в значительной степени взаимозаменяемыми (ср., в частности, данные экспериментов, в которых испытуемые просят заполнить лакуны в тексте, в [SCHWENTER 1994; ГОРБОВА 2013; ЕАДЕМ 2016]).

Можно было бы предполагать, что трудности в разграничении контекстов употребления перфекта и прошедшего времени связаны с тем, что перфект является, как правило, относительно “молодой” формой грамматической системы (это коррелирует и с тем, что он в подавляющем большинстве случаев имеет аналитическое выражение, ср. [ДАНЛ 1985: 129]). Можно было бы считать, что мы наблюдаем молодую граммему в период конкуренции со старой граммемой, когда еще не произошло жесткого закрепления за перфектом определенных контекстов. Однако, как показывают сценарии эволюции перфектной формы, ее развитие никогда не приводит к формированию темпоральной системы с двумя прошедшими временами, которые были бы противопоставлены “удобным для описания” образом. Так, в [Плунгян 2016] описывается несколько типологически наиболее частотных сценариев развития темпоральных систем, в которых представлена форма перфекта. При одном из них перфект вытесняет старую форму прошедшего времени, принимая на себя ее функции, в результате чего в системе остается единственная форма прошедшего времени. При другом перфект опять-таки занимает место старого прошедшего времени, однако одновременно с этим в языке возникает новая форма перфекта, благодаря чему оппозиция перфекта и прошедшего времени сохраняется в глагольной системе данного языка. Итак, ни один из этих сценариев не подразумевает, что грамматикализация перфекта приводит к какой бы то ни было “стабилизации” распределения контекстов между перфектом и прошедшим временем и в результате — к возникновению такой оппозиции двух форм прошедшего времени, разницу между которыми легко было бы



формализовать. Таким образом, некоторая семантическая “неуловимость” перфекта является не побочным эффектом ранней стадии грамматикализации, а непеременимым условием его существования в грамматической системе вообще: как только он утрачивает эти свойства, оппозиция обновляется за счет создания новой перфектной формы. Вероятно, следует признать, что грамматические формы, в употреблении которых говорящий обладает определенной “свободой действий”, востребованы не только в сфере деривационной морфологии (наподобие оценочных суффиксов типа диминутивов и аугментативов, обязательность которых трудно представима), но и в сфере сильно грамматикализованных значений. В данном случае такая форма — перфект — занимает существенное место в глагольных системах языков мира.

Теперь перейдем к рассмотрению перфекта в четырех памятниках, каждый из которых имеет свои особенности<sup>4</sup>.

## 2. Синайская псалтырь

Употребление перфекта в Синайской псалтыри специально рассматривается в [MACROBERT 2013]. Ссылаясь на [VEŠERKA 1993], она указывает, что в этом памятнике численное доминирование перфектных форм второго лица единственного числа над перфектными формами других лиц и чисел является особенно заметным. То же самое справедливо и для другого памятника — Синайского требника; однако К. М. МакРоберт приводит любопытные статистические данные, противопоставляющие Синайскую псалтырь Синайскому требнику. А именно, в Синайской псалтыри (и только в ней) формы перфекта 2 лица единственного числа от *i*-глаголов употребляются существенно чаще, чем формы перфекта 2 лица единственного числа от глаголов других морфологических классов:

Можно было бы ожидать, что распределение форм аориста и перфекта среди глаголов различных спряжений будет приблизительно одинаковым — возможно, с некоторым численным преобладанием продуктивного класса глаголов на -нѣ, однако это не так. В Синайской псалтыри представлено 116 перфектных форм 2 лица [единственного числа. — В. П., А. У.] от глаголов на -нѣ, 10 — от глагола датн и 28 — от глаголов других морфологических классов. С другой стороны, среди форм аориста представлено 37 форм 2-го

<sup>4</sup> Использовались следующие издания и источники: Мариинское Евангелие цитируется по корпусу PROIEL (<http://foni.uio.no:3000/>); Супрасльская рукопись цитируется частично по корпусу PROIEL (<http://foni.uio.no:3000/>, формат ссылки — [Supr номер главы: номер предложения по PROIEL]), поскольку Супрасльская рукопись не полностью введена в корпус PROIEL, отсутствующие там фрагменты цитируются по [СЕВЕРЬЯНОВ 1904], формат ссылки — [СЕВЕРЬЯНОВ 1904: страница; глава: номер строки]; Синайская псалтырь цитируется по изданию [СЕВЕРЬЯНОВ 1922], Синайский требник — по изданию [GEITLER 1882].

лица от глаголов на -нѣн, два — от приставочных глаголов с датн, но не менее 97 форм второго лица от глаголов других спряжений [MacRobert 2013: 399]<sup>5</sup>.

Исходя из этого, К. М. МакРоберт делает закономерный вывод о том, что формы перфекта второго лица от *i*-глаголов употребляются для снятия омонимии между аористом 2-3 лица единственного числа и императивом 2 лица единственного числа — омонимии, возникающей только у глаголов данного морфологического класса<sup>6</sup>. Сам по себе этот вывод К. М. МакРоберт не нов: об этом же писал, например, А. Вайан:

В текстах особенно часто наблюдается употребление 2 лица единственного числа перфекта; объясняется это тем, что форма 2 лица единственного числа аориста двусмысленна, так как она смешивается с 3 лицом аориста и у глаголов на -нѣн со 2 и 3 лицом повелительного наклонения. В таком случае, как славж ѣжже далъ еси мѣнѣ дахъ нмѣ (Ин 27:22), употребление перфекта далъ еси оправдывается тем, что эта форма более ясна, чем. аор. дахъ; в примере: поставилъ еси [. . .] носъ мой (Пс 30:9), за которым следует повел. накл. помілуй мѣ, устраняется аорист постави, так как он может быть принят за повелительное наклонение [Вайан 1952: 382].

Новизна утверждения К. М. МакРоберт состоит прежде всего в том, что она показала, что перфект 2-го лица единственного числа от *i*-глаголов используется для снятия омонимии с императивом (но не с аористом 3 лица) в Синайской псалтыри чаще, чем в других памятниках. К. М. МакРоберт приводит, как кажется, убедительное обоснование того, почему эта функция перфекта более всего востребована именно в Синайской псалтыри:

Тексты псалтыри не имеют практически канонизированной, близкой к формулам структуры обычных молитв; напротив, они представляют собой поэтические размышления на тему взаимоотношений Господа с его творением, и для этих размышлений характерны непредсказуемые и внезапные переходы между нарративом и обращением, между вторым и третьим лицом при обращении к Господу, между прошедшим, настоящим и будущим временем<sup>7</sup> [MacRobert 2013: 397].

<sup>5</sup> “One might expect that the distribution of the various conjugations would be approximately the same across aorist and perfect, perhaps with a preponderance of the productive class in -нѣн; but this is not the case. In the *Psalterium Sinaiticum* there are 116 instances of second person perfect forms in -нѣн, 10 with the verb датн and 28 with other conjugations. By contrast in the aorist tense there are 36 second person forms in -нѣн, 2 with compounds of датн, but no less than 97 second person forms with verbs of other conjugations” [перевод наш. — В. П., А. У.].

<sup>6</sup> Она также специально отмечает, что численное доминирование перфектных форм 2 лица не связано с необходимостью разграничения омонимичных форм 2 и 3 лица единственного числа аористной парадигмы (эта омонимия присутствует в аористной парадигме глаголов всех морфологических классов).

<sup>7</sup> “The texts contained in the Psalter do not have the quasi-legal formulaic structure of conventional prayers; instead they are poetic meditations on the relationship between

Действительно, использование в тексте такой структуры перфекта второго лица для снятия омонимии с императивом представляется весьма актуальным. Приводимые ниже примеры (7)–(9) наглядно демонстрируют, что если бы вместо перфектных форм *i*-глаголов были бы аористы (омонимичные императивам), разграничение индикативных и императивных форм в данных отрывках было бы практически неразрешимой задачей<sup>8</sup>:

- (7) Благо *сѣтворнѣ еси* съ рабомъ твоимъ ꙗко: По словеси твоему: Благости ꙗко наказанню ꙗко разоумоу **паоучи** мя: ꙗко заповѣдемъ твоимъ вѣржѣхъ: (Пс 118:65–66).
- (8) Помози ми ꙗко ꙗко сѣхъ съ: ꙗко поучи съ въ оправданіихъ твоихъ вѣржѣхъ: *Оуниужнѣ еси* въся остжаишѣ отъ оправданіи твоихъ: ꙗко неправедно помышление ихъ: (Пс 118:117–118).
- (9) ꙗко вѣ доколѣ гнѣваеши съ на молтвѣ рабъ твоихъ Натровеши ны хлѣба слезьна ꙗко напоиши ны слезь въ мѣрѣ *Положи* ны еси въ прѣканіѣ сжѣдомъ нашимъ ꙗко враси наши подрѣжашѣ ны ꙗко вѣ сѣ оврати ны ꙗко просвѣти лице твое на ны ꙗко сѣни бжедемъ (Пс 79:5–8).

Естественно, в этом случае оказывается, что частотность перфектных форм второго (и третьего) лица единственного числа от *i*-глаголов в Синайской псалтыри завышена в сравнении с той ситуацией, которая имела бы место, если бы перфект употреблялся исключительно по семантическим причинам. Соответственно, в этом памятнике отмечается много примеров употребления перфекта, которые обусловлены необходимостью снятия омонимии с императивными формами, причем такие ситуации связаны только с группой *i*-глаголов в силу того, что только в их парадигме возникает омонимия указанных форм. Соответственно, достаточно часто в Синайской псалтыри можно встретить последовательность предикатов, в которой *i*-глаголы (а также глагол датн с “неудачной” омонимией в части аористной и презентной парадигмы — см. (11) ниже) имеют перфектную форму, а глаголы других морфологических классов выступают в форме аориста. Так, в примере (10) первый предикат имеет форму перфекта, а второй — аориста, и это обусловлено исключительно морфологическими классами данных глаголов, а не семантическими причинами:

---

God and his creation, which shift unpredictably and sometimes abruptly between narrative and appeal, between second and third person reference to the Deity, from past to present or future” [перевод наш. — В. П., А. У.].

<sup>8</sup> В примерах в тексте статьи перфекты выделены курсивом, конкурирующие с ними аористы — **полужирным** шрифтом, императивы (в тех примерах, где рассмотрение их релевантно) — подчеркиванием.



- (10) Прѣсто́ль твоѣ бѣ въ вѣкѣ вѣка: Жезлъ правостѣ жезлъ црѣства твоего: *Възлюбѣлъ еси правѣдѣ* и *възненавѣдѣ* безаконеніе: сего ради помаза тѣя бѣ твоѣ: Олѣмъ радости паѣе праѣастѣнѣкъ твоѣхъ: (Пс 44:7–8).

Аналогичное семантически необусловленное чередование форм перфекта и аориста представлено и в следующем отрывке:

- (11) Вънѣмѣ моленіе мое: Отъ конецъ земли къ тебѣ възвахъ: Егда оуны срѣце мое на камень *възнесе* мѣя: *Наставнѣлъ мѣя еси* ѣко бысть оупѣваніе мое: Стѣпъ крѣпостѣ отъ лица вражѣхъ: Въселяхъ сѣя въ селѣ твоемъ въ вѣкы: Покрыхъ сѣя кровомъ крѣлоу твоею: ѣко ты бѣ *оуслыша* молитвы моѣ: *Далъ еси* достоѣніе боѣщѣмъ сѣя имени твоего (Пс 60:2–6).

Итак, использование перфектных форм в Синайской псалтыри интересно в нескольких отношениях: во-первых, этот памятник отчетливо демонстрирует, что не всякое употребление перфекта мотивировано исключительно семантическими причинами (перфектные формы могут заменять аористные для устранения морфологической омонимии с императивом). Во-вторых, что еще более существенно, оказывается, что морфологическая омонимия является в разной степени “опасной” в текстах разных жанров: вероятность неверной интерпретации императивной формы как аористной гораздо выше в текстах Псалтыри, чем в текстах евангелия, требника или минеи. Этот факт подтверждает, что правила употребления перфекта не могут быть сформулированы для старославянского языка “в целом”, без учета специфики конкретных памятников.

Наконец, применительно к Синайской псалтыри правомерно сформулировать следующий вопрос: нельзя ли все же обнаружить в этом памятнике следы семантических факторов, регулирующих употребление перфекта? Теоретически это возможно в следующих случаях:

1) *i*-глаголы во втором лице единственного числа выступают в форме аориста (возможность выявить семантические факторы, запрещающие употребление перфекта);

2) глаголы других морфологических классов во втором лице единственного числа выступают в форме перфекта (поскольку эти глаголы не требуют постановки в перфект для снятия омонимии с императивом, в данном случае можно выявить семантические факторы, способствующие употреблению перфектной формы).

Эти случаи целесообразно рассматривать параллельно.

Ниже приводятся несколько примеров, в которых используются цепочки аористных форм — вне зависимости от морфологического класса глаголов:

- (12) Бѣ́ же цѣсарь нашъ прѣ́жде вѣ́ка **сѣ́дела**<sub>[1]</sub> спѣ́не посрѣ́дѣ зема́ѣ Ты **оутвѣ́ра**<sub>[2]</sub> сі́лоу твоѣ́ѣ море Ты **сѣ́кроуш**<sub>[3]</sub> главы змѣ́ѣ въ водѣ́ Ты **сѣ́таѣ́ѣ**<sub>[4]</sub> главѣ́ змѣ́ѣ далѣ́ **еси**<sub>[5]</sub> брашнѣ́ людемъ егѣ́пѣ́скомъ Ты **растрѣ́ѣ**<sub>[6]</sub> истоу́ѣныкы и пото́кы ты **нсжѣ́**<sub>[7]</sub> рѣ́кы наводѣ́неныѣ́ Твоѣ́ естѣ́ дѣ́нь і твоѣ́ естѣ́ ношѣ́ ты **сѣ́врѣ́ш**<sub>[8]</sub> зорѣ́ і слѣ́ньѣ́ Ты **сѣ́твори**<sub>[9]</sub> всѣ́ѣ прѣ́дѣ́лы зема́ і ѣ́то і веснѣ́ ты **созѣ́да**<sub>[10]</sub> (Пс 73:12–17).

В примере (12) десять предикатов; один из них (глагольная форма [5]) стоит в перфекте — это глагол датн, который, как уже упоминалось выше, демонстрирует сильнейшее тяготение к перфекту как к основной форме прошедшего времени, причем по формальным причинам — из-за омонимии части презентных и аористных форм. Остальные девять глаголов в этом отрывке имеют форму аориста, причем пять из них ([2], [3], [7], [8] и [9]) являются глаголами *i*-спряжения. Этот отрывок описывает деяния, связанные с сотворением мира, — деяния, результат которых, несомненно, релевантен для настоящего момента, но которые произошли достаточно давно. Аналогичным образом ниже, в примере (13), описываются деяния, связанные с утверждением еврейского народа в земле Израиля:

- (13) Гѣ́ бѣ́же сі́ѣ **обрати**<sub>[1]</sub> ны і́ **просвѣ́ти**<sub>[2]</sub> ѡ́нѣ́ твоѣ́ на ны і́ спѣ́ни бѣ́демъ: Виногра́дъ из егоу́пѣ́та **прѣ́несе**<sub>[3]</sub> **выгѣ́на**<sub>[4]</sub> ѣ́зыкы и **насади**<sub>[5]</sub> і́: Потѣ́ **сѣ́твори**<sub>[6]</sub> прѣ́дѣ́ нѣ́мъ і́ **насади**<sub>[7]</sub> корѣ́нѣ́ его і́ спѣ́ни зема́ѣ́: Покры́ горы сѣ́нь его і́ ѡ́зѣ́ѣ его ке́дры бѣ́жѣ́: Прострѣ́ розгы́ его до мѣ́рѣ́ і́ до рѣ́кы отѣ́раслн его: Вѣ́скжѣ́ **разори**<sub>[8]</sub> ѡ́плотѣ́ его і́ вѣ́мажѣ́тѣ́ і́ всѣ́ прѣ́ходѣ́ашѣ́ѣ пѣ́темъ: (Пс 79:8–13).

В этом примере восемь предикатов второго лица: два первых глагола имеют форму императива, остальные — аориста. Среди этих шести глаголов четыре ([5], [6], [7] и [8]) также являются глаголами *i*-спряжения. При этом интересно, что глагольные формы [5], [6] и [7], несомненно, описывают такие действия, которые отдалены во времени от “здесь и сейчас” данного текста, тогда как аористная форма [8], очевидно, называет как раз то действие, которое релевантно в основной момент референции данного текста в гораздо большей степени: это — метафора гнева Господня, обрушившегося на Его народ, и ниже в этом тексте псалмопевец обращается к Господу с просьбой о милости и помощи. Таким образом, семантический контраст отдаленных во времени ситуаций и ситуаций, обладающих текущей релевантностью, не находит отражения в оппозиции аористных и перфектных форм. Для подкрепления этого тезиса обратим внимание на то, что выше в (12) описываются ситуации, отдаленные во времени (сотворение мира), а ниже в (14) приводятся отрывки, в которых текущая релевантность

ситуации фактически эксплицитно утверждается (соответствующие фрагменты, являющиеся обоснованием текущей релевантности события, выделены разрядкой) — тем не менее, и в этом случае употребляется форма аориста:

- (14) Ъко възвелнѹиша сѧ дѣла твоѧ ꙗко Всѧ прѣмѣдростѣ створи: Н сплѧни сѧ землѧ твари твоѧ (Пс 103:24).

Можно сделать существенное обобщение, касающееся приведенных выше примеров с аористными формами: все они описывают *конкретные, локализуемые во времени ситуации*, которые, с точки зрения говорящего, имели место в физическом мире. Это наблюдение окажется существенным тогда, когда мы будем формулировать особенности контекстов, в которых употребляются перфектные формы.

Теперь посмотрим на те контексты, в которых в Синайской псалтыри употребляется перфект.

Ниже приводятся два примера, в которых перфект используется для характеристики субъекта действия. Так, в (15) перфектные предикаты называют действия, факт совершения которых важен не сам по себе, а как характеристика субъекта — перфектные предикации подтверждают слова о том, что Земля и все наполняющее ее принадлежат Господу:

- (15) Г҃ѣ естѣ землѣ н-сплѧненъ-е-ѧ: Вѣселена н вѣси жившѣи на неѣ: Ты на морѣхъ основалъ ѣ естѣ: Н на рѣкахъ оуготовалъ ѣ естѣ (Пс 23:1–2).

Следующий пример имеет ту же семантическую структуру: в начале высказывается некоторый тезис (в данном случае — в виде риторического вопроса), далее ряд перфектных форм используется для называния тех Господних деяний (с акцентом на том, что они были совершены, а не на их результате), которые подтверждают этот тезис:

- (16) Бже вѣ стѣмъ пжть твоѣ: Кѣто бѣ велеѣ ѡко бѣ нашъ ты еси бѣ творѧ ꙗко деса Сѣказалъ еси вѣ людехъ слж твоѣ ѡзбавилъ еси мышцеѣ твоѣ людѣ твоѧ сѣи ѡковаѧ ѡсѣфовы Видѣша тѧ воды бже Видѣша тѧ вѣды ѡубоѣша сѧ сѣмжѣша сѧ бездѣны мѣножѣство шюма водѣ Гласѣ даша облаци ѡбо стрѣлы твоѧ прѣходѧтъ гласѣ грома твоего вѣ колеси Всвѣтѣша млнѣ твоѧ вѣселенѣж. Подвнжа сѧ ѡ трепетѣна быстѣ землѣ Вѣ мори пжть твоѣ ѡ стѣса твоѧ вѣ водахъ многахъ ѡ стопы твоѧ не запнѣжтѣ сѧ ѡзвелъ еси ѡко овѣцѣ людѣ твоѧ ржкож мосѣвож ѡ аропѣж (Пс 76:14–21).

В следующем примере ряд перфектных форм (в который, в частности, входит и форма перфекта от *а*-глагола *вънѣхати*) используется для ответа на вопрос “что есть человек”. В данном случае характеристическая роль перфекта также вполне очевидна: в коммуникативном фокусе данного отрывка находится сам факт того, что Господь многое доверил человеку, и поэтому человек немногим уступает ангелам. Обратим внимание на то, что не вполне корректно говорить о том, что перфект характеризует именно субъект ситуации: как кажется, привязка перфекта к объекту характеристики осуществляется более сложным образом, не на строго синтаксическом уровне, а на коммуникативно-прагматическом. Очевидно, что в данном примере перфект выполняет характеристическую функцию не по отношению к субъекту ситуации (Богу), а по отношению к топике данного фрагмента (человеку):

- (17) ЧѢТО ЕСТЬ ЧЛѢКЪ ЪКО ПОМѢНИШИ Н: АН СѢЪ ЧЛѢКЪ ЪКО ПОСѢЩАЕШИ ЕГО: *Оумьнѣхъ і еси* маломъ чимъ отъ аѣгъ: славоу н чѣстьхъ *вънѣхалъ н еси*. н поставилъ і еси на-дѣлы ржкоу твою: *Всѣхъ покорилъ еси* подъ носъ его: овцѣа і воли всѣа (Пс 8:5–8).

Аналогично, в примере (18) ряд перфектных предикаций (*показалъ еси*, *нсталъ еси*) используется для характеристики топика в следующем контексте: называются деяния Господа, которыми он наказывает человека, однако псалмопевец напоминает Господу, что такие наказания слишком жестоки, так как суетен всякий человек. Таким образом, перфекты и в данном случае используются в контексте, где результат прагматически не так важен, как само совершение действия:

- (18) Утѣмѣ отъ мене раны твоѣа: Отъ крѣпости бо ржкы твоѣа [. . .] азъ нскопѣвахъ сѣа: Въ обличѣнїхъ о безаконїхъ *показалъ еси* ѣка . *Ѣ нсталъ еси* ѣко пажѣннѣ дѣхъ его: Обаче въ соуе въсѣкъ члѣкъ (Пс 38:11–12).

В примерах (19) и (20) представлено так называемое *экзистенциальное* значение (утверждение о существовании ситуации в некоторый момент в прошлом), которое также близко к характеристике субъекта. Более традиционно данное значение перфекта, возможно, было бы квалифицировано как *экспериментальное*. Однако при выборе термина мы руководствовались следующим: с одной стороны, в англоязычной лингвистической литературе существуют разные традиции употребления термина “экзистенциальный перфект”, которые удачно суммированы в следующей таблице из [NISHIYAMA, KOENIG 2004: 102]:

Table 1: The classification of perfect readings

readings	lexically entailed resultant state	implicated resultant state	no resultant state	input state continues
A <sup>A</sup>	Resultative <sup>1</sup>	Existential <sup>2</sup>		Continuative (Universal)
B <sup>B</sup>	Resultative		Existential	
C <sup>C</sup>	Existential			

<sup>A</sup> [McCawley 1971; Kiparsky 2002].

<sup>B</sup> [Michaelis 1998].

<sup>C</sup> [Mittwoch 1988; Kamp, Reyle 1993; Portner 2003].

<sup>1</sup> “Target State” perfect readings in [Parsons 1990].

<sup>2</sup> “Resultant State” perfect readings in [Parsons 1990], “permanent state” in [Ter Meulen 1995].”

Следует также обратить внимание на то, что в литературе о перфекте для обозначения нерезультативных употреблений часто используется термин “экспериенциальный перфект”. Наиболее характерной в этом отношении является работа [Iatridou et al. 2003], где экспериенциальный перфект, обозначающий, что “субъект обладает определенным опытом” [ibid.: 155], встраивается в номенклатуру значений английского перфекта, восходящую к [McCawley 1971]: результативный перфект — экспериенциальный перфект — универсальный перфект — иммедиатный перфект. В том же значении данный термин используется и в русскоязычной литературе по грамматической семантике (ср.: “Это значение связано не столько с наличием в момент речи результата ситуации, сколько с характеристикой субъекта ситуации как имеющего опыт совершения данного действия” [Плунгян 2011: 393]). Нам кажется оправданным ввести в данной работе отдельный термин “экзистенциальный перфект” с более узким значением (‘ситуация имела место по крайней мере один раз в прошлом’), который точнее описывает ряд контекстов употребления старославянского перфекта. Так, в анализируемых ниже примерах (19) и (20) перфект затруднительно трактовать как экспериенциальный: очевидно, смысл этих обращенных к Господу реплик — не в том, чтобы утверждать, что Господь “приобрел опыт” совершения некоторого действия (*говорить, видеть*). Смысл реплики примера (19) — в напоминании, что такая ситуация имела место некогда в прошлом, и в призыве действовать в соответствии с этим (‘поскольку Ты видел это, не промолчи’). Смысл же приведенного в (20) фрагмента в том, чтобы сопоставить некоторую ситуацию в прошлом (обещанные Господом милости) с состоянием отверженности, в котором автор псалма ощущает себя в текущий момент<sup>9</sup>.

<sup>9</sup> Попутно можно отметить еще одну лингвистическую характеристику контекстов, которые мы называем экзистенциальными: все они не описывают



- (19) Рашнрншѣ на мѣ оуста своѣ: Рѣшѣ благо же благо же видѣсте оун наши:  
*Видѣлъ еси ꙗко не прѣмълѣун: ꙗко не отъстѣпн отъ мене* (Пс 34:21–22).

В примере (20) в правом контексте эксплицитно сказано, что результат ситуации в настоящий момент аннулирован (Ты же **отърнѣ** і **оунѣжѣ**, **отъврѣже** — обратим внимание, что оба этих предиката, описывающие ситуации с текущей релевантностью результата, имеют аористную форму, причем один из предикатов относится к *i*-спряжению, тяготеющему во втором лице единственного числа к перфектной форме).

- (20) Тогда *глаголахъ еси* въ видѣни сѣомъ твоимъ ꙗко рече положихъ помощь на сильна *Възвѣсь избранаег-о-тъ* людеи моихъ *вѣрѣтъ дѣда* раба моего *влѣмъ свѣты-м-оимъ помазахъ* і [...] Ты же **отърнѣ** і **оунѣжѣ** **Отъврѣже** ꙗко своего (Пс 88:20–21, 39).

Еще один пример, где перфект имеет экзистенциальное значение:

- (21) ꙗко азъ оунѣжѣнъ і не разоумѣхъ ꙗко скотъ выхъ оу тебе і азъ вынѣ съ тобою *Дръжалъ еси* ржжж деснѣжж моихъ і съвѣтомъ твоимъ *наставилъ мѣ еси*. (Пс 72:22–24).

В примере (22) мы также находим противопоставление экзистенциальных перфектов, обозначающих ситуацию с аннулированным результатом (*Спѣсѣ ны еси* отъ сътѣжѣжѣнѣхъ намъ: ꙗко *непавндѣцѣнѣхъ насъ пострѣбнѣ еси*), и аористов, обозначающих ситуацию с релевантным результатом (**Ны нѣ же отърнѣ посрамн ны**):

- (22) Не на лжѣ бо і мои оупѣвѣж ꙗко оржѣе мое не сѣтъ мене: *Спѣсѣ бо ны еси* отъ сътѣжѣжѣнѣхъ намъ: ꙗко *непавндѣцѣнѣхъ насъ пострѣбнѣ еси*. О бѣхъ похвалѣмъ сѣа въсь день: і о имени твоёмъ исповѣмъ сѣа въ вѣкъ: **Ны нѣ же отърнѣ посрамн ны**: ꙗко не изидеши бѣе въ славахъ нашихъ: (Пс 43:7–10).

Предварительные замечания о возможной природе семантического противопоставления аористов и перфектов, сделанные с опорой на примеры из Псалтыри, требуют безусловной проверки на материале других памятников: тексты Псалмов, основной темой которых является взаимоотношение человека и Бога, часто допускают неоднозначное прочтение, и велик риск “подгонять” примеры под удобное исследователю

---

*события*, но перечисляют *факты*. Ср. определение Н. Д. Арутюновой: “Имя *факт* ориентировано на мир знания, т. е. на логическое пространство, организованное координатой истины и лжи, имя *событие* ориентировано на поток происходящего в реальном пространстве и времени” [Арутюнова 1988: 168]. Понятие факта в последнее время обсуждается в связи с описанием семантики перфектных форм типологически далеких друг от друга языков, ср. статью [Майсак 2016] об удинском и статью [Козлов 2016] о мокшанском.

толкование. Кроме того, анализ примеров из Псалтыри осложняется тем, что старославянский перевод Псалтыри является весьма неточным, в том числе и в части глагольных форм, и, помимо этого, в большинстве контекстов, как уже говорилось, перфекты используются для устранения омонимии с императивом. Таким образом, о сформулированном выше семантическом противопоставлении (“характеризующих контекстов” в случае перфекта vs. “контекстов с конкретной темпоральной локализацией” в случае аориста) можно будет уверенно говорить только в том случае, если это будет подтверждено примерами из других памятников.

### 3. Синайский требник

В этом памятнике при исследовании употреблений перфекта очень ярко проявляется следующая тенденция в семантическом распределении аористов и перфектов: аорист используется для описания конкретных, локализуемых во времени ситуаций, перфект — для *интерпретации* этих ситуаций. Поясним: в действительности практически любая ситуация может быть связана с определенными намерениями или целями, либо иметь определенные последствия, причем этот “скрытый смысл” ситуации в действительности прагматически может оказаться важнее, чем непосредственная “физическая” составляющая. Дополнительным различием между ситуацией и ее прагматической интерпретацией является то, что конкретная ситуация локализуема во времени, тогда как к прагматической интерпретации этот параметр вряд ли применим<sup>10</sup>. Хорошим примером может служить следующий фрагмент молитвы:

(23) ВЕЛЕН ЕСИ ГІ. І ЧЮДЪНА ДѢЛА ТВОѦ. Н ПН ЕДННО ЖЕ СЛОВО ОУДОЛѢТЬ. КЪ ХВАЛЕНЮ ЧЮДЕСЪ ТВОИХЪ СВОЕЖ БО ВОЛЕЖ. ОТЬ НЕБЫТНѢ ВЪ БЫТНЕ **сътвори** всѣ. Твоеж дръжавоуж дръжниши тварь і твоимъ промышленнемъ строиши весь мнръ. ты отъ четирыъ стоухни тварь състави. четирымъ врѣмени. кржгъ лѣт(оу) *вѣнчалъ еси* [GEITLER 1882: 6].

Здесь представлены две предикации, содержащие формы прошедшего времени, причем они не различаются с точки зрения текущей релевантности. Однако клауза, содержащая аористную форму (отъ небытнѣ въ бытне **сътвори** всѣ), описывает конкретную ситуацию, которая в христианской традиции, вслед за ветхозаветной, является четко локализуемой

<sup>10</sup> Отметим специально, что временная локализуемость аористов и временная нелокализуемость перфектов косвенным образом коррелирует с существующим в некоторых языках запретом употреблять перфект при наличии в контексте обстоятельств конкретного времени. В данном случае применительно к старославянскому материалу речь идет о том, возможно ли (и естественно ли) в принципе определять временные координаты ситуации.

во времени. Напротив, клауза, содержащая перфектную форму (четырьмъ врѣмены кржгъ лѣтоу *оувѣнѣалъ еси* ‘увенчал годовой цикл четырьмя временами года’), описывает некоторое следствие акта творения (отъ четырьъ стоухнн тварь съставъ ‘взяв для своего творения от четырех стихий’), которое уже сложно привязать к временной оси.

Аналогично, в следующем примере оппозиция аористов и перфектов также коррелирует с противопоставлением конкретных ситуаций с четкой временной локализацией и нелокализуемых во времени ситуаций, которые при этом имеют скорее символическую, нежели физическую природу:

- (24) Роднѣльства нашего роды *свободнѣ еси* *дѣвнѣскаа стѣнѣ еси* *ложесна*. Рождѣствомъ своимъ всѣ тварь въспѣтъ та просвѣтѣвъшаго сѧ. ты бо бѣ нашъ на земн *авн* сѧ. і съ ѹкы *пожнве*. Ты нерданъскыѧ воды *стѣн*. съ нѣсе пославъ *стааго* твоего *дѣа*. і главы гнѣздацнхъ сѧ змнѣвъ тоу *съкроушнѣ еси*. ты оубо ѹклѣбѣе црю прндн н нынѣ прншествнемъ *стааго* твоего *дѣа* і *стѣн* водж снж. і даждн ен благодѣтъ [GEITLER 1882: 8].

Здесь интересно отметить противопоставление аориста и перфекта от одного и того же глагола *стѣнтн*: аорист используется для описания конкретной ситуации (Ты нерданъскыѧ воды *стѣн*), тогда как перфект — для описания ситуации, имеющей скорее символический характер (*дѣвнѣскаа стѣнѣ еси* *ложесна*). Существенно, что в обоих случаях речь идет о единичных, конкретных действиях, распространяющихся на единичные, конкретные объекты, и вряд ли можно предполагать, что вторая ситуация имеет прагматические последствия, релевантные для настоящего момента, а первая — нет. Наконец, последний перфект в этом отрывке иллюстрирует уже знакомый нам тип употребления: перфектная клауза (і главы гнѣздацнхъ сѧ змнѣвъ тоу *съкроушнѣ еси*) описывает суть и смысл реальной ситуации, названной в том же отрывке (Ты нерданъскыѧ воды *стѣн*. съ нѣсе пославъ *стааго* твоего *дѣа*).

Синайский требник состоит из молитв, совершаемых по особым нуждам верующих: благословение какой-либо деятельности, исцеление от различных недугов и пр. Часть этих молитв построена по одной и той же схеме: в земной жизни Иисуса выбирается ситуация, в которой можно, условно говоря, усмотреть определенный аллегорический параллелизм с ситуацией, в которой необходимо произнести молитву. В первой части молитвы описывается соответствующий фрагмент жизни Иисуса, а во второй части молитвы формулируется собственно сама просьба. Такая структура молитвы должна была бы предопределять текущую релевантность ситуаций, описываемых в первой части молитвы, так как автор молитвы проводит параллель между ними и текущими



нуждами молящихся. Однако и в данном случае аорист и перфект распределяются по уже известному нам принципу: аорист описывает конкретные ситуации, перфект — тот скрытый смысл, которым наполнены эти конкретные ситуации, ту их интерпретацию, которая принадлежит автору молитвы. Во второй части молитвы обращение к Господу в сущности формулируется как просьба воспроизвести именно эти “скрытые последствия”, и тем самым оказать помощь верующим. Характерно, что во второй части молитвы часто используются императивы от тех же (или семантически очень близких) глаголов, которые в первой части молитвы употреблены в перфекте. Ниже приводится несколько примеров; в них волнистой линией подчеркнуты описания конкретных ситуаций (это могут быть аористы, причастия, отглагольные имена), прямой сплошной линией — “символические” последствия этих ситуаций (именно в этих фрагментах употребляются перфектные формы), и, наконец, пунктирной линией подчеркнуты фрагменты с императивными формами, при помощи которых формулируется просьба, которой и посвящена данная молитва:

(25) Прѣклонен главѣ на распатнѣ прѣклоуиша еси себѣ всѣ видимаа сѣкроуиша еси главы нхѣ і слыи нхѣ сѣкроуиша еси главѣ всеа ѿза н оуниунжша еси снѣ еѣ въздвигнѣ еси многы главы повнненѣа грѣхы н болѣзньмн ты вѣко ꙗко ꙗко раун нынѣ прнзрѣти на раба твоего сего поклонышаго тебѣ главѣ своѣ сѣкроуиша главѣ болѣзньмн дрѣжащѣмн главѣ его і оуниунжша снѣ еѣ въздвигнѣ главѣ его і ицѣмн н отъ одрѣжащѣмн болѣзньмн ꙗко ты еси глава наша і глава твоѣ съдравне наше н тебе славѣ въсылаемъ (мѡл на главѣ оболѣщемъ) [GEITLER 1882: 52–53].

(26) Прнѣмы коцнѣ бодѣще въ пазоуѣ твоѣ сѣкроуиша еси всѣ жрѣщнѣ снѣныхѣ і снѣ нхѣ всѣ же непрнѣзнь і всѣ болѣзнь потрѣбша еси і попѣраша еси хѣ бѣе нашѣ ты раун нынѣ сѣкроуишати орѣжне н снѣ неджгоу семоу сѣщюмоу внемъ поклонышю сѣ подѣ нго твое нареци неджгѣ бѣжѣиен невнѣмн поѣдаѣ і поѣрѣ н дажди съдравне рабоу твоемоу семоу, да въ съдравнѣ прѣбываѣа прославлѣетъ тѣ сѣ оѣемъ н сѣымъ дѣо (мѡл на всѣ болѣзнь стрѣжѣщѣмн і бодѣщѣмн) [GEITLER 1882: 53–54].

(27) Простѣрѣ рѣцѣ на распатнѣ і прнѣвожаеннемъ дѣанѣю своею прнѣвозаѣ еси всѣ рѣкы неѣстнѣныхѣ і всѣхѣ непрнѣзнен и стрѣганнемъ жнѣ твоихѣ н стрѣгаша еси всѣ жнѣ нхѣ н болѣзньмн своеѣ поѣдаша еси всѣ слыи нхѣ едноуѣды сѣе бѣен хѣ бѣе нашѣ ты раун нынѣ прнѣвозаѣти рѣкы рѣватѣмъ снѣмъ въшедѣшнѣмъ въ рѣцѣ снѣ прострѣти нынѣ къ тебѣ растрѣзаѣ слыи нхѣ рыжѣишнѣ жнѣ рѣкоу сею възвесѣи раба твоего сего і ицѣмн рѣцѣ его (мѡл на рѣватѣ рѣжѣишнѣ) [GEITLER 1882: 56–57].

Однако если молитва построена таким образом, что формулируемая просьба сопоставляется непосредственно с определенным деянием Господа, которое представляет собой конкретную, локализуемую ситуацию, то, соответственно, молитва не содержит “интерпретационной” части<sup>11</sup>, в первой ее части чаще используется аорист, чем перфект. Таким образом, мы видим, что и в данном случае наиболее существенным является локализуемость / нелокализуемость во времени, а, например, не текущая прагматическая релевантность события, которой, несомненно, обладают ситуации, описываемые аористом в (28)–(29) ниже:

(28) ПРНЕМЫ ЗЪВАННЕ СЛѢПОВУЮ І ПОКЛОПЕННЕ ЗОВЖЦЮМОУ ТА ІСѢ СЊЕ ДѢВЪ ПОМНЛОУ  
Н НЫ І ПО ВѢРѢ ЕЮ ОТВРЪЗЕ ОУН ОБѢМА І ПОДАВѢ НМА ПЖТЬ ШѢСТВОВАТИ ВЪ  
СЛѢДѢ ТЕБѢ ТА МОЛНМЪ ГІ НСХЕ СЊЕ БЖЕН ПРНМН МОЛТВЖ І ПОКЛОПЕННЕ РАВА  
 ТВОЕГО СЕГО І МЕНЕ ГРѢШНААГО ТВОРАЦААГО ПОВЕЛѢННѢ ТВОѢ ГЛАДАЦААГО  
 ПРЪСТОМЪ ОУН ЕГО І ПО ВѢРѢ ЕГО ОТВРЪЗН ЕМОУ ОУН (МОЛ НАД ОСЛЕПШЕМ ЕГДА  
 ЖЕ ХОЩЕШН ТВОРНТИ НАД (НН)МЪ МОЛ ПОГЛАДН ПРЪСТОМЪ ОУН ЕГО) [GEIT-  
 LER 1882: 62].

(29) ГІ ІСХЕ БЖЕ НАШѢ АВАЕН УЮДО ОУЧЕННКОМЪ СВОИМЪ ЗАПРѢЩЕН СМОКОВН  
НЕПЛОДОВИТѢН НЕ ДАВЪШНН ПЛОДА ТЕБѢ ТРѢБОУЖЦЮ ЕГО РЕКЪ ЕН ДА НЕ  
НМАШН ПЛОДА ВЪ ВѢКЪ І СЛОВОМЪ ТВОИМЪ НСОУШН ІЖ ТА МОЛНМЪ ГІ РАУН  
 НЫНѢ ПРНБЛЖНТИ СЯ РАБѢ ТВОЕМЪ СЕМЪ ПОКЛОПЫШННМЪ СЯ ПОДЪ НМА ТВОЕ  
 І ЗАПРѢТИ НЕДЖГОУ СЕМОУ РАСТЖЦЮМОУ ВЪ НЕМЪ НЕ НМѢТИ ПЛОДА НН РАСТНТИ  
 СЯ ВЪ ВѢКЪ НЕ ДАЖЦЮМОУ СЪДРАВНѢ ЕМОУ І СЛОВОМЪ ТВОИМЪ НСОУШНН КОРЕНЬ  
 ЕМОУ (МОЛ НА ВСѢ НЕДЖГЪ РАСТЖЦЕН НА ВСѢ ВРѢМЕНА Н ПРНСПО) [GEIT-  
 LER 1882: 64].

Примеры типа (25)–(27) или (28)–(29) достаточно многочисленны, и каждая такая группа семантически однородна. Однако есть и небольшое количество примеров, в которых для описания конкретных ситуаций используется перфект, как ниже в (30):

(30) ГІ НСХЕ БЖЕ НАШѢ НЕПОСТЫДНЫ ЦѢАНТЕЛЮ НЕ ОТЪРННЖВЫ НН ЕДННОГО  
ПРНВЕДЕНААГО КЪ ТЕБѢ ОСКРѢБЛЕНА БОЛѢЗННІЖ НН ОТПОУЦѢ НН ЕДННОГО ЖЕ  
ПРНВЕДЕНААГО КЪ ТЕБѢ БЕЗ ДАРА ЦѢЛЕБНААГО ПРНВЕДЕНААГО КЪ ТЕБѢ ГЛОУХА Н  
ГЖГЪННВА ВЪСПЛЮНЖВѢ НА ІАЗЫКЪ ЕГО СЪТРѢБНАЪ ЕСН НѢМОСТЬ ОТЪ ІАЗЫКА  
ЕГО ТА МОЛНМЪ ГІ ДАВЪШААГО ВСѢ ОБРАЗЪ ЦѢАНТИ УКЫ ОТЪ ВСЕГО НЕДЖГА  
 ПРНЗЪРН НА НЫ І НА РАВА ТВОЕГО СЕГО ПРНВЕДЕНААГО КЪ ТЕБѢ ВЪ ДОМЪ ОЦА

<sup>11</sup> Попутно можно отметить, что интерпретационная часть содержится в тех молитвах, где в качестве “опорной ситуации” выбираются страсти Христовы, но отсутствует в тех молитвах, в которых в качестве “опорных ситуаций” избираются Его деяния (напр., чудесные исцеления больных). Прагматически такая композиционная разница вполне объяснима: в первом случае необходимо раскрывать подлинный смысл ситуации, во второй он очевиден.

твоего дрѣжащаго врѣдѣ болѣзньны въ оустѣхъ і на ма грѣшнаго творащаго образѣ саниѣ твоихъ щѣлаѣжщѣхъ і отрѣбѣ оуста.его [GEITLER 1882: 51–52].

Наличие таких примеров подтверждает то, что уже говорилось выше: принципы употребления перфекта можно описать в виде определенных тенденций, но не в виде четких правил. Как уже говорилось, в языковой системе оказывается востребована именно такая форма с достаточно гибкими правилами употребления, которую говорящий может использовать для выделения в дискурсе тех ситуаций, которые он считает прагматически значимыми. В этом смысле очень показателен следующий пример из Синайского требника:

(31) Вѣко ꙗже нашь поуеты ꙗко по образу своему н дѣиѣхъ съмыслѣноу і тѣломъ благообразномъ съврѣши ꙗко да тѣло слоужитъ мыслѣнѣ дѣи і главоу на вышнѣмъ мѣстѣ положи і на нѣхъ множиши ѡубѣствѣ оутврѣжаѣ не застѣпаѣща дроугѣ дроуга. власы же главоу покрылѣ еси да не врѣдѣтъ сѣ нзмѣненѣмъ вѣтрѣ і всѣ оуды потрѣбно оустрои на немъ да всѣмъ вѣсхвалятъ та благаго хждоужьника [GEITLER 1882: 13].

Приведенный в (31) отрывок можно разделить на четыре фрагмента, композиционно идентичных и семантически параллельных: сперва описывается, как Бог создал ту или иную часть человеческого естества (соответствующие клаузы подчеркнуты сплошной прямой линией), и далее говорится, насколько это было мудро и полезно человеку (соответствующие клаузы подчеркнуты волнистой линией). И из этих четырех структурно и семантически параллельных фрагментов только третий (власы же главоу покрылѣ еси да не врѣдѣтъ сѣ нзмѣненѣмъ вѣтрѣ) содержит перфектную форму. Это выглядит загадочно — если не знать, что перед нами отрывок из “Молитвы на пострѣженѣ власомъ отрочѣте”. В данном случае очевидно, что употребление перфекта обусловлено не внутренней аспектуальной структурой ситуации и не сохранением / несохранением ее результирующей фазы в момент речи, а прагматической релевантностью ситуации. В данном случае важно не то, *какова* ситуация сама по себе, и не то, *как* говорящий ее описывает, а то, *зачем* он ее описывает.

До сих пор приводились примеры из Синайского требника, в которых описываются ситуации, достаточно отдаленные во времени: тексты всех процитированных молитв апеллируют к земной жизни Христа. Однако в Синайском требнике есть небольшое количество молитв, непосредственно связанных с текущей ситуацией. Такие контексты, в частности, предполагают, что событие произошло недавно, и его

результатирующая фаза сохраняется в момент речи. Как здесь распределены аористы и перфекты? И вновь мы наблюдаем описанную тенденцию: для обозначения конкретных и локализованных во времени ситуаций используется аорист, как в (32) и (33):

(32) Въпрошенне Чѣто **прнде** братре припадаѣа къ къ с<ва>тоумоу олътарю ꙗкъ с<ва>тѣи дружинѣ [GEITLER 1882: 159].

(33) И по сем<ъ> въпрашаетъ по<ъ> прнемѣшааго образъ стоѣа блнзъ олътарѣ ндеже стоѣтъ пѣвци гл<агол>а снще.

**Прнѣтъ** аи а<н>ѣ<е>лъскжж одеждж

И гл<агол>етъ прнемы Прнѣсъ

**Прнѣтъ** аи чнстотж дѣвѣства

Гл<агол>етъ Прнѣсъ

(Мол<нтва> егда сънатн коуколь) [GEITLER 1882: 186].

Для обозначения же нелокализуемых во времени ситуаций “нематериального” свойства используется перфект. При этом они представляют собой изменения, характеризующие участников события, описываемого в цитируемом отрывке:

(34) Въ истннж слава тебѣ бесѣмрътѣны цѣса>рю ѡ нпоудѣмъ твоємъ С<ы>нѣ ꙗ Б<о>зѣ нашемъ и Д<оу>сѣ твоємъ с<ва>тѣмъ ꙗко не хоцешн сѣмрътн грѣшннкоу нѣ обращенюу и жнвотоу. Тѣмъ же и нынѣ всѣ въ добро *поспѣшнаѣ еси* сънатюу семоу д<оу>ховѣноумоу ꙗко *обновнаѣ еси* рабѣ твои съ новѣ[вѣ] пжтъ с<ъ>п<ас>енюу и радоужтъ сѣ о немъ а<н>ѣ<е>аи веселѣтъ сѣ праведннн веселнмъ же сѣ и мы вси вѣдаѣе чл<овѣ>ци ꙗ славнмъ прѣс<ва>тоѣ твоѣ нма (Мол<нтва> егда сънатн коуколь) [GEITLER 1882: 186–187].

Ту же самую семантику перфект выражает и в следующих двух примерах: он описывает изменения, релевантные для характеристики субъекта ситуации (особенно показательно сопоставить (35) с (33)):

(35) Въпрошенне *Испытаѣ аи еси* мапастырѣ

Отъ вѣтъ *Испытаѣ*

Въпросъ Есть аи ти годѣ нгоуменѣ и братнѣ всѣ

Отъ вѣтъ Годѣ Х<ръст>а радн

(Чннъ слоуженюу велнкоумоу ѡбразоу) [GEITLER 1882: 169].

(36) Тѣмъ же ꙗже бес покааннѣ оумьреть то авѣ то естъ ꙗко нѣстъ крестѣнѣ понеже не вѣроуетъ въскрѣшенюу ни въ с<ва>тжж Тронцѣ да надѣ таковымъ не подобаетъ сѣ нерѣовн обрѣтати ни приношеннѣ за нѣ въ црѣкѣ въ приимати. Аще аи естъ жнвъ то г<лаго>летъ ꙗко *Нѣсмъ* добрѣ

паоученъ закопоу Б<о>жью *ни разоумѣлъ истинныѣа* вѣры крестѣнскы  
то снще паоучнтн (над<ъ> нсповѣдажѣнѣмъ сѧ) [GEITLER 1882: 122–123].

Можно отметить еще несколько примеров употребления перфекта в контекстах, близких к (31). Так, в (37) и (38) предикат находится в сфере контрастивного фокуса: в (37) — ‘ты уже прославил его земную жизнь, так оправдай исход его жизни в круг твоих святых’, в (38) — ‘ты премудростью своей создал человека, и опять возвращаешь его в землю’:

(37) молнмъ тн сѧ ꙗко раба твоего сего брата нашего ꙗко слоужителѣ съ намн  
бывѣша оусыжвѣша въ оупѣванѣи жнзни въскрѣшеннѣ на лонѣ авраман  
исаковѣ ꙗкован покон ꙗко на земн въ цркви твоен слоуж оустрои н бѣ  
прѣдъ а҃лы же твоѣи славѣ не осужденна прнмн ты н на земн жнвотъ  
его *оу прославилъ еси* ты нсходъ жнвота его въ вѣходъ стѣхъ твоихъ  
вправѣдан дѣхъ его ꙗко прнчѣтн н съ всѣмн стѣмн твоимн оугождѣшнмн  
отъ вѣка [GEITLER 1882: 106–107].

(38) Вѣко ꙗко бже нашъ имѣан едннѣ бесѣмрътѣство жнвы въ свѣтѣ  
непрнстѣпнѣ оумрыцѣвѣа н жнва н ннзвода въ адъ н възведа ты  
своеѣ прѣмждростнѣ *создалъ еси* чѣа ꙗко пакы въ землѣ възвращае[н]шн  
н дѣа длѣгы нстазаа молнмъ та прнмн дѣиѣ раба твоего сего н покон  
н на лонѣ аврамовѣ нсаковѣ ꙗкован [GEITLER 1882: 106].

Итак, типы употребления перфекта в Синайском требнике семантически достаточно однородны: перфект употребляется для характеристики темы определенного фрагмента (которая часто, но не обязательно совпадает с субъектом перфектной клаузы). Важно еще раз отметить яркий пример (31), в котором перфект явно используется для выделения прагматически релевантной клаузы в молитве, и примеры (37) и (38), где перфектные формы занимают контрастивно-фокусную позицию. Заметим, что эти фокусные типы употребления также близки к экзистенциальным: в обоих примерах сопоставляются две ситуации: “прошедшая”, описываемая перфектной формой, упоминается автором текста в качестве аргумента для подкрепления своего взгляда на текущую ситуацию, что является достаточно типичным контекстом для употребления экзистенциальных перфектов.

#### 4. Супрасльская рукопись

Супрасльская рукопись отличается от рассмотренных памятников в нескольких отношениях. Во-первых, она представляет собой мартовскую mineю — собрание житий и гомилий. Поэтому в ней, в отличие от текстов молитв, составляющих псалтырь и требник, оказываются хорошо



представлены такие существенные для анализа семантики перфекта контексты, как диалогические реплики. Во-вторых, Супрасльская рукопись представляет собой единственный старославянский памятник, в котором перфекты третьего лица количественно преобладают над перфектами второго лица [Веґерка 1993: 166]. Это позволяет думать, что здесь легче обнаружить содержательные, а не формальные параметры, регулирующие выбор между перфектом и аористом. Наконец, в Супрасльской рукописи наряду с формами перфекта 3 л. со связкой регулярно используются бессвязочные формы, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возможном семантическом различии между этими двумя конструкциями.

Так как в Супрасльской рукописи представлено немало диалогов, здесь довольно часто встречаются ситуации “канонического” перфектного типа: ситуация имела место в недавнем прошлом, ее результат (в узком или расширенном понимании) сохраняются в момент речи. На материале Супрасльской рукописи хорошо видно, что в результативном контексте употребляется не перфектная, а аористная форма. Ниже приводятся примеры аориста в результативном значении, причем были специально подобраны аористы 2 лица единственного числа, так как известно, что в целом перфектная форма с аналогичной лично-числовой характеристикой употребляется наиболее активно. Примеры также демонстрируют, что различные дополнительные коммуникативные параметры не влияют на выбор перфекта вместо аориста. Так, в примере (39) аорист использован для передачи информации, новой для слушателя:

- (39) став'шн же ꙗ́ѣн на мѣстѣ на ꙗ́ѣмъ же повелѣ ѡу҃рнѣнѣ. ꙗ́ ѡбнѣ ѡг'҃гелѣ ꙗ́нѣ прѣдѣста прѣдѣ ꙗ́ѣнѣ. глагола·не ѡубоѣ сѧ ꙗ́ѡу҃рнѣнѣ. ꙗ́ во ꙗ́с хс ꙗ́ѡмоуже ты слоужнѣн **посѣла** ма покрыти та. ꙗ́ показати свѣтоу ꙗ́ма ꙗ́ѡго вѣсѣмъ боѡштнѣмъ сѧ ꙗ́ѡго [Supr 1: 65–70].

В следующих примерах аорист использован для передачи информации, слушателю известной (очевидно, что такие контексты среди форм второго лица численно преобладают). В (40) предикаты используются для оценки поступков собеседника:

- (40) паулѣ рече·правѣ **сѣлѣга**. ꙗ́нѣсоже штоужда **сѣтворѣ** наѡученнѣ ѡтѣца твоѣго днѣвола. ꙗ́ не можешн во ꙗ́нѡгоже ѡтѣтрѣгнѣти. развѣ лѣжеѣ. насѣ же не ꙗ́машн вѣсхытити. ѡште ꙗ́ цѣсарѣство намъ ѡвѣштаѡѣшн. ꙗ́ѡгоже ты лнхѣ ꙗ́сн [Supr 1: 37–45].

В (41) называются действия собеседника (как в вопросе, так и в утвердительных предложениях):

(41) воѣвода же повелѣ посѣлати воѣны ѿ ѿвестн ѿ нс храма. тажыцѣ во скръжѣтааше збы на нѣ. ѿ рече къ нѣмоу·обоуѣне. н всеа мностн богъ стуждѣ уѣсо радн ѿнако **рече**. ѿ ѿнако **сѣтвори**. глаголааше жрѣтн. да въ жрѣтвы мѣсто влѣхвоуашиемъ своѣмъ огнь **прине**се на храмъ. ѿ бога нашего **пожже** [Supr 2: 258–266].

В (42) аорист в результативном значении используется в вопросе для описания действия собеседника, далее — для оценки этих действий, и, наконец, третий раз — в придаточном причины:

(42) ѿднѣ же ѿ нѣхъ корабль не могъ приближити сѣ къ воѣводноу кораблю·обратн сѣ на ѿнѣ странж·възпн же воѣвода·къ сжштнѣмъ въ кораблѣ глагола·шѣдѣше на ѿнѣ странж възпштате прѣдѣ градомъ·коѣго савна ѿменемъ·крѣстнѣна сжшта·оумжѣна мжкамн·ѿ рыцѣте ѿмоу уѣсо радн **ставн** насъ влѣшѣствомъ твоѣмъ·прнтн на ѿнѣ странж к тебѣ·**буво**а бо сѣ мжкы да тѣмъ не **да** намъ прѣйтн·[Supr 11: 219–230].

В (43) аорист в результативном значении используется трижды: первый раз — в диалоге палача с мучеником (причем это редкий контекст миративного характера, где называется информация, новая для говорящего), причем в контексте ‘еще не’ (ты еще не ощутил муки), который в принципе тяготеет к перфектной семантике, второй раз — в молитве, в которой святой благодарит Бога за то, что он дал ему сил и укрепил его:

(43) ѿкоже ѿтрѣшнѣа вѣртнште. ѿскоунѣ сѣын ста простѣ. ѿнѣупатѣ рече не ю ѿште **поуоу** мжкѣ. сѣын же кодратѣ възбрѣвъ на небо рече· благодарѣствоуѣ тѣ гн ѿс хсе. ѿко стрѣлы младеннштѣ быша раны нѣхъ. ѿ ѿзнеможе въ нѣхъ крѣпостѣ нѣхъ. мнѣ же снаж **пода** н ѿ **оукрѣпн** ма [Supr 7: 563–571].

Как можно видеть, вне зависимости от дополнительных параметров (вопросительное / утвердительное предложение, старая информация ~ информация, новая для говорящего / слушающего, придаточное предложение / независимая предикация и пр.) аорист устойчиво употребляется для передачи результативного значения. Что касается употреблений перфекта в Супрасльской рукописи, мы специально остановимся на следующих вопросах: употребление перфектов для описания нелокализуемых во времени ситуаций, употребление перфектов от глаголов, описывающих ситуации с конкретной временной локализацией, и употребление перфектов без связи.

#### 4.1. Перфекты от предикатов, описывающих нелокализуемые во времени ситуации

В Супрасльской рукописи в перфекте часто выступают предикаты, описывающие существенные изменения состояния или статуса субъекта действия либо топика данного фрагмента:

- (44) ꙗко прѣдѣста прѣдѣ ꙗпоупатомъ. ꙗ рече к ѿмоу. *пооумнѣа ѿ са ѿсн* бѣо кодрате. ꙗн ѿн [Supr 7: 764–766].
- (45) тако во н мнози немнлостнвыѣ *обыклѣ сжтѣ* тѣмны нарнцѣтн [СЕВЕРЬЯНОВ 1904: 374; 32: 26–27].
- (46) чѣстѣнын ѡтѣче поѿеже *сыгрѣшнѣа ѿсмѣ*·нѣуто молѣ ѡсобѣ блаженѣма вама повѣдатн [Supr 25: 273].
- (47) вѣдѣ ꙗ азѣ ꙗко ѡтѣврѣже са дѣвола· ꙗ всѣхѣ ѡгѣлѣ ѿго·ꙗ владыцѣ хсоу сѣврѣшенѣ самѣ *са ѿсѣтъ прннесѣа* [Supr 23: 378–380].
- (48) слава тебѣ бже ѡтѣцѣ нашнхѣ ѡвраѡма ꙗсаака· ꙗѡкѡва· ꙗзведѣн насѣ нз мнра сего· ꙗко *сыподобнѣа ѿсн* прнвестн насѣ на вѣрѣ свѣтѣжѣ своѣжѣ [Supr 23: 202].

Предикаты всех этих примеров обладают уже упоминавшейся особенностью: они не *описывают* конкретные, локализуемые во времени ситуации, а скорее *характеризуют* их субъект / топик при помощи глаголов определенных семантических групп. Такие глаголы (*обыклѣ сжтѣ*, *сыподобнѣа ѿсн*, владыцѣ хсоу сѣврѣшенѣ самѣ *са ѿсѣтъ прннесѣа*) представляют собой “резюме” (интерпретацию) определенного событийного ряда (возможно, описанного в предтексте, но возможно, и относящегося к общему фонду знаний). Глаголы таких семантических групп не *называют* какую-то конкретную ситуацию, а являются *резюмирующей характеристикой* некоторого события, типа поведения и т. п. Именно поэтому затруднительно (и даже абсурдно) говорить о точной временной локализации таких предикаций. На наш взгляд, употребление формы перфекта в данном случае непосредственно связано с *характеризационной* семантикой, которая для таких глаголов непосредственно относится к их лексическому значению.

Примеры также демонстрируют, что перфектная конструкция связана не столько с характеристикой синтаксического субъекта клаузы, сколько с характеристикой топика данного фрагмента повествования, ср. (48) выше, а также (49)–(50):

- (49) разгнѣвавѣ же са доук’сѣ. възѣмѣ камыкѣ. врѣже да ѡударнтѣ ѿд’ного ѡтѣ сѣынхѣ. възвратнѣ же са камыкѣ на ѡнце кнѣже ꙗ сѣкроушн ѿмоу вѣсе ѡнце. [. . .] воѿвода рече тако мн божн. вѣшѣство нѣкоѣ бысѣ. сѣын доменѣ рече·такѡ мн хѣ бѣ нашѣ *вѣмѣстнѣа са ѿсѣтъ* [Supr 5: 221–233].

- (50) [Бог послал к Св. Иоанну льва, чтобы защитить его от солдат. Св. Савва, посетивший его, говорит:] *се съхранила та ꙗстъ\_богъ ѿ ратѣннѣска прѣхожденнѣ ѿ ѿзвѣстѣ тѣ вѣдомѣ тѣ стражѣ посѣлавѣ* [Supr 5: 454–455].

Аналогичное характеризационное употребление перфекта встречается и в прагматически более ярких контекстах — в *интерпретационных* контекстах (в контексте эксплицитно называются некоторые реальные ситуации, к которым затем и применяется операция логического анализа событийного ряда)<sup>12</sup>. При этом перфектная форма как бы подводит итог этим событиям, не описывая, а характеризуя их, и через них — субъект либо топик данного фрагмента повествования:

- (51) Вѣдѣши ли колѣно тѣ бываѣтъ намѣ ѿ нѣштѣннѣхъ прѣкоупѣ. Аште се погоубѣши многѣхъ съпаса нашего *погоубила ꙗси* надежда [СЕВЕРЬЯНОВ 1904: 373; 32: 21–25].
- (52) оуспѣхѣ на крестѣ и копѣемѣ проведенѣ выхѣ въ ребра тебе радн оуспѣхѣшаго въ ран и еугу ѿ ребра нзведѣша мое ребро *нцѣлао ꙗстъ* болѣзнь твоего ребра. мон сънѣ нзведетѣ та ѿ съмрътънаго съна. мое копѣе *оуоставило ꙗстъ* обрашѣаѣшее сѣ на та копѣе [СЕВЕРЬЯНОВ 1904: 469; 40: 25–30].
- (53) ты ꙗси богъ творѣи ѹоудеса. сѣштѣа бо на ны по насѣ сътворн. ѿ ашѣеннѣ ѹетырѣ десѣтъ *наплѣнила ꙗси*<sup>13</sup> [Supr 5: 386–388].

В примере ниже интерпретационный перфект сочетается с прагматическим выделением предиката, что также характерно для перфекта:

- (54) довѣлаѣетѣ тѣ ѹубо аже прѣнѣтъ мѣжы. прѣстѣпнѣвъ пожърн богомѣ. Блаженѣи же кодрѣтъ реѹе: *нѣгралъ ꙗси* съ мноѹѣ мѣжамн снмн твоимн [Supr 5: 589–593].

#### 4.2. Перфекты от предикатов, описывающих конкретные ситуации

До сих пор говорилось, что тягу к перфектным употреблением демонстрируют прежде всего те предикаты, которые описывают нелокализуемые во времени ситуации. Однако в перфекте могут употребляться и глаголы, описывающие конкретные ситуации. Ниже мы рассмотрим контексты употребления перфекта и аориста от двух глаголов — *посѣлати* и *прѣити*. Они оба описывают локализуемые во времени ситуации, причем

<sup>12</sup> Такие контексты в особенности характерны для Синайского требника, см. предыдущий раздел.

<sup>13</sup> Контекст: один из 40 христиан, подвергнутых пытке холодом, не выдержал и отрекся, но один из стражников, уверовав, занял его место.

имеют очевидную результирующую фазу, которая может сохраняться в момент речи (и во всех рассмотренных ниже примерах это именно так).

#### 4.2.1. *Посълати*

Численное доминирование аористных форм данного глагола над перфектными еще раз убеждает нас в том, что результиативное значение в старославянском передается аористом, ср. (55) и (56):

(55) *ІАВН БО СЯ ІЕН ВЪ СЪНѢ ГЛАГОЛА· СЕ ОУБО ВОГЪ ПОСЪЛА МА К ТЕБѢ ПОВѢЖДЪ МН Ч'ТО ХОШТЕШН* [Supr 25: 643–647].

(56) *СТАВ'ШН ЖЕ ІЕН НА МѢСТѢ НА НЕМ'ЖЕ ПОВЕЛѢ АУРНЛННѢ. Н АБНІЕ АГ'ГЕЛѢ ГНѢ ПРѢДЪСТА ПРѢДЪ НЕИЖ. ГЛАГОЛА· НЕ ОУБОИ СЯ НОУЛННН. ГѢ БО ІС ХС ІЕМОУЖЕ ТЫ СЛОУЖИШН ПОСЪЛА МА ПОКРЫТИ ТА. Н ПОКАЗАТИ СВАТОЕ НМА ІЕГО ВЪСѢМЪ БОАШТИМЪ СЯ ІЕГО* [Supr 1: 65–69].

Если в (55) и (56) важна именно результирующая фаза ('Господь послал меня, и я здесь с тобой'), то в двух примерах ниже представлены диалогические реплики, являющиеся микронарративами (краткими сообщениями о предшествующих событиях). Они должны объяснить собеседнику причину появления говорящего в этом месте; в этом случае важна не столько результирующая фаза, имеющая место в момент речи, сколько информация о предшествующей ситуации, за которой последовала эта результирующая фаза. Несмотря на указанное отличие от (55) и (56), в примерах (57) и (58) ниже также употребляется аорист:

(57) – *откждоу пришла єси сѣмо кого ли нштеши.*

– *отъ монастырѣ єсмъ съде ванзѣ сжштааго, н посла ма нгоуменьа допестн просворж въ сыж вьсь н възвративъши ми са н нджшти въ монастырѣ омрькохъ на мѣстѣ семъ* [СЕВЕРЬЯНОВ 1904: 515; 46: 24–29].

(58) *ІЕДННѢ ОТЬ ДНВННХЪ ЖИВОТЪ ГЛАГОЛА ЕПНСКОУПОУ· ІАКО РАБЪ БОЖНН· АРТЕМОНЪ· АТЪ БЫВЪ КОМНСОМЪ НЕУНСТЫНМЪ НДЕ ВЪ КЕСАРНИЖ· НЕ ВѢРОВАВЪ ЖЕ ЕПНСКОУПЪ· ТОГО РАДН ПОСЪЛА МА СѢМО· АШТЕ НСТНА ІЕСТЪ ІЕЖЕ СЛЫША· ВЕЛНКЖ БО ПЕЧАЛЪ НМАТЪ О ТЕБѢ* [Supr 19: 153–160].

Перфект от глагола *посълати* употребляется в примере (59):

(59) *како вѣси ты іако тѣгда нарече ГѢ БЫТИ МЫНѢ ПАТРНАРХОУ· ОНѢ ЖЕ ОТЪВѢШТАВЪ РЕЧЕ· НЕ ІЕЛМА ЛИ АГ'ГЕЛѢ ГѢ ВЪСЕДРЪЖНТЕЛѢ ІЕСМЪ АЗЪ· ТО ТОГО РАДН ВѢДѢ· Н ТОГДА БО ГОСПОДЪ МА БѢ ПОСЪЛАЛЪ К ТЕБѢ· НСКОУСНТИ ОУСРѢДНІЕ ТВОЕ· АШТЕ ОУБО ЧЛОВѢКОЛЮБЫНѢ· А НЕ ЧЛОВѢКОМЪ ТВОРИШН ВНДѢТИ МНОСТѢ СВОИЖ· БЛАЖЕНЫН ЖЕ ТО СЛЫШАВЪ ОУБОИ СЯ· НЕ ОУ БО ВѢАШЕ ДОТОЛѢ ВНДѢЛЪ АГ'ГЕЛА· АКИ КЪ ЧЛОВѢКОУ БО БЕСѢДОВА Н ВЪЗНА НА НѢ· РЕЧЕ ЖЕ АГ'ГЕЛѢ КЪ*



блѣженѡуѡумѡу· не вои сѧ· се *посълаа ма ѣстъ* ꙗ да вѣдѣ съ тобою ꙗ въ  
жнѣнн семъ [Supr 8: 114–128].

На первый взгляд этот пример идентичен (55) и (56): ангел сообщает святому о том, что он послан к нему Господом. Однако есть существенное отличие: в (55) и (56) ангел произносит эту фразу в момент явления святому, сообщая о своем появлении и о том, что святой может полагаться на его помощь. Тем самым в (55) и (56) оказывается существенной информация о самой ситуации: Господь послал святому заступника. Но если мы посмотрим на левый контекст в (59), окажется, что ангел уже некоторое время беседует со Григорием Великим, уже сообщил ему о том, что он был послан Господом (не ѣлма ли а҃г҃ѣль ꙗ вѣсѣдръжнѣла ѣсмъ азъ·). В конце этой беседы св. Григорий оробел, поскольку он прежде не видел ангела, и потому разговаривал с ним и смотрел на него как на обыкновенного человека. Ангел принимается успокаивать его и говорит, чтобы Св. Григорий не боялся его, ибо он, ангел, послан Господом к нему, чтобы сопровождать его в земной жизни. Тем самым здесь предикация *посълаа ма ѣстъ* ꙗ важна не как сообщение о ситуации (эта информация уже известна слушающему), а как характеристика говорящего, как его свойство: Св. Григорий не должен бояться ангела, потому что по повелению Господню он теперь его помощник.

#### 4.2.2. Прити

В случае с глаголом прити также чаще используется аорист; в примере (60) он использован дважды для сообщения о совершившейся ситуации, результирующая фаза которой имеет место в момент речи; это отрывок из “Слова на Благовещение” Иоанна Златоуста:

(60) радоуи сѧ доушевьнѣн храмѣ вожи· радоуи сѧ ѡвѣште ꙗнѣште· небесн  
и земн· радоуи сѧ неразѣжѣнааго ѣстъства мѣсто пространѡе· снмъ  
ѡубо тако сѣштемъ· **прѣде** къ болаштнѣмъ враѣмъ· сѣдаштнѣмъ въ тѣмъ  
слѣнѣце правѣдѣноу ꙗви сѧ· вѣнѣжѣштнѣмъ ѡтнѣнѣ· и невѣнѣште  
сѧ прнстаннште· непрѣмѣнно· ненавѣдаштнѣмъ рабомъ ѡтѣнѣдѣ  
ходатаи родн сѧ· и мнроу съвѣзъ· плѣнѣнѣмъ рабомъ иꙗвѣнѣль· **прѣде**  
воржштнѣмъ съ любѣвьнѣмъ крѣпкъ покровъ [Supr 21: 284–297].

В следующем отрывке аорист 2-го лица единственного числа используется в ответной реплике Св. Конона: то запугивая, то уговаривая Св. Конона, воевода пытается заставить его отречься от христианской веры. На это Св. Конон отвечает: “За тем ли ты, торопясь, пришел сюда, утруждая себя и слуг твоих? Не знаешь ли ты, что ничто не может заставить нас отречься от любви Христовой?”:

- (61) на се ли тоуа **прнде** скоро троуднвъ себе. ѿ слоугоуѣштѣа тебѣ. не вѣси ли  
 ꙗко ник'тоже насъ не можетъ ѿтъ любуѣе хр'стовы ѿтължѣти лѣштеннѣ.  
 ни въспрѣштеннѣ съмръти ни ѿгнѣ ни меѣ [Supr 3: 777–779].

Во всех примерах употребления перфекта от глагола *прити* упоминание о ситуации служит для характеристики субъекта ситуации. Так, в примере (62) перфектная клауза обозначает, что появившиеся люди были усталыми, так как пришли с дороги отдохнуть:

- (62) разбоѣнници же зѣло прѣблжѣвъше сѧ къ мѣстоу. ѿ молаште своѣго  
 старѣншииже копа прѣстѣпѣти съ ѿмни ѡувѣштати не могоша. ѿ  
 ѡставѣвъше ѿго ѡустрѣмѣша сѧ на мѣсто. [. . .] прѣблжѣвъше же сѧ  
 къ домоу сѣаго ѡударѣша въ двѣри. копоѣ же мѣнѣвъ ꙗко к'то сѣтъ  
 ѿтъ просѣшнѣхъ. ѿли ѿтъ волѣ по ѡбываю прѣходѣшнѣхъ. ѡтврѣзе ѿмъ  
 двѣри. ѿ вѣдѣвъ а въ ѡржжѣ мѣнѣаше ꙗко съ пѣти *сѧ прѣшѣли* поѣти  
 [Supr 3: 447–459].

В примере (63) перфектная клауза также характеризует субъект: говорящие предполагают, что их собеседник является чужим в здешних местах<sup>14</sup>, и потому не слышал ничего о произошедших в Иерусалиме событиях:

- (63) Тольма ли ѡ мжжоу дрѣжнмъ ѿси невѣдѣннѣмъ да сего не разоумѣши.  
 еда странникъ ѿси снхъ мѣстѣ ꙗда нынѣ *прѣшѣлъ ѿси* въ градъ съ ꙗо  
 же мѣнѣвъ нного ꙗзыка ѿси ꙗште сего не ѡувѣдѣ. тварь нзмѣни сѧ и не  
 възможе ли възѣрѣти. ты ли ѿднѣ живѣши въ нероусалѣмѣ и не разоумѣ  
 бывѣшаго въ немъ въ дѣни сѧ [Северьянов 1904: 475; 41: 19–25].

Показательно, что в отрывке (64) перфект используется для сообщения о том, что пришел Св. Василиск, однако здесь следует обратить специальное внимание на коммуникативную структуру высказывания: поскольку воевода, как следует из приведенного в квадратных скобках фрагмента из левого контекста, потребовал привести Св. Василиска, высказывание с перфектом не обозначает событие 'пришел Василиск' (то есть не является ответом на вопрос 'что произошло'), а сообщает информацию о статусе субъекта 'Василиск находится здесь' (это информация вида 'как обстоят дела с Василиском'):

- (64) [хотѣше бо скоро ѡтѣти ѿтъ ѡмасна. рече воѣвода маѣнстрѣноу ѿ  
 воѣномъ. съвазавѣше василѣска бнѣжѣте прѣведѣте. [. . .] дошѣдѣшемъ  
 же ѿмъ на ѡутрѣ въ команѣ. слышаахъ ѿтъ многъ. ѿже творѣше воѣвода

<sup>14</sup> Показательно, что в русском языке это значение можно передать прилагательным *пришлый*, восходящим к л-причастию.

мжкы крѣстнѣпомѣ. вѣлѣзъ же маѣнстрѣнѣ кѣ воѣводѣ рече· *пришелъ ѣстъ* васнѣнскѣ [Supr 2: 150–154].

Наконец, любопытно употребление перфекта в (65): в келью святого стучится монахиня, прося убежище, и между ними состоялся следующий диалог:

(65) — помнѣлоун ма рабе бѣжнѣ еда како звѣрѣмн нзѣдена бѣдѣ прѣдѣ главоуж твоѣуж.

Помысливѣ же правѣдѣнын н вѣды въ мѣстѣхъ тѣхъ звѣрѣмн мноужество въ размышленѣнѣ вѣпадѣ отвѣрѣзъ двѣрѣн н глагола ѣн

— откѣдоу *пришла ѣсн* сѣмо кого лн нштепн.

— отъ мапастырѣ ѣсмѣ сѣде банзѣ сѣшитаго, н посла ма нгоуменѣнѣ донестн просворѣ въ сыж вѣсѣ н вѣзвратнѣвѣшн мн сѣ н ндѣштн въ мапастрѣ омрѣкохъ на мѣстѣ сѣмѣ [Северьянов 1904: 515; 46: 19–29].

На первый взгляд кажется, что в совершенно аналогичных вопросительных контекстах мы встречаем аорист в следующих двух примерах:

(66) вѣдѣвѣ же ѣ ѣпнскоупѣ глагола кѣ вратароу· откѣдоу *прѣдоша* сѣнѣ днѣнѣ козы н ѣленнѣ ѣвнѣ же ѣднѣнѣ отъ ѣленнѣнѣ отвѣрѣзъ оуста своѣа рече· ѣловѣѣскомѣ гласомѣ· рабѣ вожнѣ артемонѣ ѣтѣ вѣстѣ· неѣнѣстѣнѣмѣ комнсомѣ [Supr 19: 110–114].

(67) онѣ же въ маѣѣаннѣ сы. вѣзѣрѣвѣ вѣдѣ кѣнѣхъ вѣсѣ сѣсѣмнѣаште сѣ ѣго. н застѣпаѣжѣшта отъ страха. н повелѣвѣ нѣмѣ прѣтн кѣ сѣбѣ. н прѣшедѣше стаѣша прѣдѣ нѣнѣмѣ. вѣпрашаѣше же ѣ глагола· ѣсо радн *прѣдосте*. онѣ же рѣша ѣто велѣшн намѣ творѣтн. онѣ же властѣжѣ повелѣ рекѣ нѣмѣ· ннѣкомоуже отъ ѣловѣкѣ да не творѣте пакостн нн на коѣже зѣло дѣло н сквѣрѣнаво поустѣтн [Supr 3: 424–434].

Однако отличие (66) и (67) в том, что говорящий имеет некоторое представление о субъекте действия (днѣнѣ козы н ѣленнѣ в (66) и бесы, “сѣсѣмнѣаште сѣ ѣго. н застѣпаѣжѣшта отъ страха” в (67)), и его действительно интересуют некоторые неизвестные ему параметры ситуации: *откуда* в (66) или *зачем* в (67) они пришли. Напротив, в (65) говорящий задает вопрос, только увидев женщину, и поэтому ответ на вопрос откѣдоу *пришла ѣсн* сѣмо действительно будет для него характеристикой собеседницы, о которой он в данный момент вообще ничего не знает.

#### 4.3. Перфекты третьего лица единственного числа без связи

В отличие от житий, в гомилиях Супрасльской рукописи часто употребляется бессвязочный перфект. В целом он демонстрирует тот же семантический спектр, что и перфект со связкой. Так, для него характерны

интерпретационные употребления. Ср. противопоставление в следующих примерах аористов, описывающих конкретные, локализуемые во времени ситуации, и перфектов, описывающих скорее суть, смысл либо последствия конкретных ситуаций:

- (68) ꙗко съврѣтъ ризы къ нагынѣмъ сѧ **примѣсн.** ꙗко вѣпна тожде зѣваннѣ сватынхъ. крѣстныѣ ꙗсѣмъ. ꙗко напраснѣмъ прѣложеннѣ. ꙗко **сѣтворнѣ** зѣраштынѣмъ. ꙗко сѣма же **напѣннѣ**. ꙗко печалѣ бывѣшѣ. ꙗко **обувѣжавѣшнѣмъ** прѣложеннѣмъ свонѣмъ **оутѣшнѣ**. [. . .]. **внѣ** небесѣска ꙗкоудеса. **позна** љстнѣ. **прнѣже** къ владыцѣ. **прнѣте сѧ** съ мжѣеннѣ. **обновнѣ** ꙗже ꙗко оуѣеннѣхъ. љтѣ ꙗкода. ꙗко вѣнѣ за љмъ матѣня [Supr 6: 409–428].
- (69) мати ꙗконого блаженнѣхъ. тѣхъ **внѣвѣшн** прокынѣхъ. ꙗкоже стоуденнѣ оумѣрѣша. ꙗко своѣго љнаѣ дыхѣшѣ. [. . .] сама своѣма рѣкама **вѣземѣ** на рамо. **вѣзложн** на кола. на љнѣже проѣнн љже лежѣште. на љгнѣ везомн бѣхѣ. [. . .] по љстнѣ. добра корене добра же ꙗко лѣтораслѣ. **показа** доблая мати. ꙗко оуѣеннѣмъ **благыѣ** вѣры **вѣскрѣмнѣ** љ паѣ. љже мѣкомъ [Supr 6: 504–527].
- (70) ꙗко многѣмъ **обращѣшн** въ вѣтѣхѣхъ кнѣгахъ **сѣмрѣтн** ꙗко нарѣемо. прѣставѣеннѣ ꙗже **отѣсѣдѣ** **понеже** оубо сѣлазоу **копѣнна** **быстѣ**. **вѣскрѣшеннѣ** **наста** љ љловѣколюбѣ владыка ново љ странно жнѣнѣ въ жнѣнѣ **нашѣ** **вѣнеслѣ**. оубо бо за сѣмрѣтъ оуѣпеннѣ љ сѣнѣ глаголетѣ сѧ [СЕВЕРЬЯНОВ 1904: 487; 43: 23–29].

В гомилиях есть также два интересных отрывка, ярко демонстрирующих, что перфект используется именно для характеристики субъекта ситуации: в (71) и (72) конкретные деяния Христа перечисляются не как события, а как те ситуации, через совершение которых он характеризуется; в (71) это эксплицитно резюмируется последними словами отрывка — сн дѣла въ љстнѣхъ **сѣтъ** **божна** **снѣ**, сн дѣла **далеѣ** **сѣтъ** **сѣмрѣтнаго** **еѣства**:

- (71) **бесѣдоваста** къ сѣбѣ о сѣмъ **прѣключѣшнѣмъ** сѧ **помышѣласта** бо въ сѣбѣ ꙗже о велнѣхъ дѣаннѣхъ **како** **сѣтворнѣ** така знаменнѣ **сѣтрѣпѣ** **ѣтъ** **бытѣ** **хоудыннѣ** **рѣкамнѣ**. **како** **сѣтворнѣ** **множество** ꙗкоудесѣ **нзволнѣ** **ѣтъ** **бытѣ**. **еѣство** **водѣноѣ** въ вѣно **прѣложнѣ** **бѣзмѣрно** **множество** **отѣ** **малѣ** **хлѣбѣ** **прѣпнтѣлѣ**. въ поустынѣ **прогна** **словомъ** **множество** **бѣсѣ**. **слово** **нспуштаашѣ** љ **проганаашѣ** **неджгы**. **посылаашѣ** **глаголѣ** љ **отѣхождаашѣ** **страстнѣ**. **брынѣмъ** **обнавѣашѣ** **зѣннѣ** **оѣню**. **оумѣрѣша** **ѣако** **сѣпашѣ** **глашаашѣ**, **хромѣ** на **теѣеннѣ** **словомъ** **зѣваашѣ**. **ослабѣнаго** **нсѣланѣ** **дѣлатѣна** **одрѣ** **своѣмоу** **показалѣ**. **походнѣ** **ѣакоже** по **соухѣ** **врѣхѣ** **морѣна**. **боурѣ** **вѣтрѣнѣ** **оутолнѣ** **словомъ**. **ѣтнѣ** **краѣ** **ризѣ** **крадѣашѣ** **нѣленѣ** **мытарѣ** **апостолѣ** **творѣашѣ**,

БЛЖДННЦЖ ПЛАКАВЫШЖ СЖ ВЪ НЕБЕСЬСКИН КРЖГЪ НАСТАВЬЯШЕ. СЕ КЪ СЕБѢ ГЛАГОЛАСТА Н БЕСѢДОВАСТА СН ДѢЛА ВЪ НСТННЖ СЖТЪ БОЖНА СНАЫ, СН ДѢЛА ДАЛЕЧЕ СЖТЪ СЪМРЪТНАГО ЕСТЬСТВА [СЕВЕРЬЯНОВ 1904: 473; 41: 4–25].

- (72) ГОСПОДЬ ЖЕ НАШЪ ІСОУ ХЪ ЗА МНОГЖЖ БЛАГОСТЬ ПРОКАЖЕНЫЯ ОУНШТААШЕ, СЛѢПЫНМЪ ВНДѢНЬЕ ДАЯАШЕ, ХРОМЫЯ ЦѢЛААШЕ, БѢСЫ ПРОГАННААШЕ, ЛАЗАРА ЧЕТВРТОДНЬНА НЗ МРЪТВЫНХЪ *ВЪСТАВНЛЪ*, ОТЪ ПАТН ХЛѢБЪ ПАТЪ ТЫСЖШТЪ НАСЫШТЪ, ПО МОРУ *ХОДНЛЪ* ВОДЖ ВЪ ВННО *ПРѢЛОЖНЛЪ*, КРЪВОТОУНЦЖ *НЦѢЛНЛЪ*, ДЫШТЕРЬ АРХНСУНАГОГА ОУМЪРЪШЖ *ОЖИВНЛЪ*, Н ННѢХЪ МНОГЪ ТАМНЪ ДОСТОННЪ ЧОУДЕСЪ *СЪТВОРНЛЪ* [СЕВЕРЬЯНОВ 1904: 480; 42: 19–28].

## 5. Перфект в Мариинском евангелии

Поскольку основные контексты, в которых употребляется перфект, уже были подробно разобраны и прокомментированы на примере других крупных памятников, в случае Мариинского евангелия мы ограничимся лишь иллюстрацией основных типов употребления этой формы с минимальными комментариями<sup>15</sup>. В отличие от Синайского требника и гомилий Супрасльской рукописи в Мариинском евангелии представлено не так много интерпретационных употреблений; тем не менее, встречаются и они ср. (73) и (74):

- (73) ОСТАПѢТЕ ЕЯ. ПО ЧѢТО ІЖ ТРОУЖДААТЕ. ДОБРО БО ДѢЛО СЪДѢЛА О МЫНѢ. ВЪСЕГДА БО ННШТААА НМАТЕ СЪ СОБОЖЪ. І ЕГДА ХОЦЕТЕ МОЖЕТЕ НМЪ ДОБРО ТВОРНТН. А МЕНЕ НЕ ВЪСЕГДА НМАТЕ. ЕЖЕ НМѢ СН СЪТВОРН *Варнаа ЕСТЬ* ПОХРНЗМНТН ТѢЛО МОЕ НА ПОГРЕБЕННЕ (Мк 14:6–8).
- (74) І АЦЕ СОТОНА СОТОНЖ НЗГОПНТЪ. НА СЖ *РАЗДѢЛНЛЪ СЖ ЕСТЬ* КАКО ОУБО СТАНЕТЪ ЦѢСТВНЕ ЕГО (Мф 12:26).

В этом памятнике представлены характеризационные употребления, как в (75), (76):

- (75) ОТВѢШТАША Н РѢША ЕМОУ. ВЪ ГРѢСѢХЪ ТЫ *РОДНЛЪ СЖ ЕСН* ВЕСЬ. І ТЫ АН ПЫ ОУЧНШН. І НЗГЪНАША Н ВЪНЪ (Ин 9:34).
- (76) РЕЧЕ ЖЕ АВРААМЪ ЧАДО ПОМѢНН ЪКО *ВЪСПРНЛЛЪ ЕСН* ТЫ БЛАГАА ТВОѢ ВЪ ЖНВОТЪ ТВОЕМЪ. І ЛАЗАРЬ ТАКОЖДЕ ЗЪЛАА. НЫНѢ ЖЕ СЪДЕ ОУТѢШААТЪ СЖ А ТЫ СТРАЖДЕШН (Лк 16:25).

Мариинское евангелие выделяется на фоне других памятников значительным числом экзистенциальных употреблений, семантически

<sup>15</sup> В иллюстративный материал не включены те примеры употребления перфекта в Мариинском евангелии, которые представляют собой цитаты из текстов Ветхого Завета, как, например, нз оустъ младънечъ н съсжштнхъ съвршнлъ есн хвалж (Мф 21:16) — этот фрагмент соотносится с Пс 8:3.



примыкающих к характеристическим, см. не являющуюся исчерпывающей выборку примеров (77)–(85):

- (77) подрѣжаахъ же н н кѣнашн ѣлиже съ нмн. *ины естъ съпсавъ да спсѣтъ н сѧ. аште съ естъ хъ снъ бжнн. избрани* (Лк 23:35).
- (78) *ѣс же рече нмъ. еѣ. нѣсте ли ѹли ннколиже. ѣко нз оустъ младенецъ н съсжштнхъ съвршнлъ еси хвалъ* (Мф 21:16, тот же контекст — Мф 12:3, 5, 19:4, 21:42, 22:31, Мк 2:25, 12:10, 26, Лк 6:3).
- (79) *не ѣко отѣца вндѣлъ естъ тѣкѣмо. тѣкѣмо сжн отъ ба. съ вндѣ отѣца* (Ин 6:46).
- (80) *отѣвѣшта слоугы. ннколиже тако естъ гла ѹлвкъ. ѣко съ ѹлвкъ* (Ио 7:46).
- (81) *Молнте же сѧ да не бждетъ бѣство ваше знмѣ нн въ соботѣ. Бждетъ бо тогда скръбъ велнѣ. ѣкаже нѣстъ была отъ наѹала въсего мнра до селѣ. нн нматъ быти* (Мф 24:20–21).
- (82) *Рѣша же нюдн къ нмоу. патн десѧтъ лѣтъ не оу нмашн. і аврама ли еси вндѣлъ* (Ин 8:57).
- (83) *тогда наѹннете глагн. ѣсмъ прѣдъ тобою н ннхомъ. і на распжтнхъ нашнхъ оуцнлъ еси* (Лк 13:26).
- (84) *отѣвѣшта нмъ ѣс н рече. амннъ амнъ глажъ вамъ. штете мене не ѣко вндѣсте знаменне. нѣ ѣко ѣли есте хлѣбы н насытнсте сѧ* (Ин 6:26).
- (85) *отѣвѣща н рѣша емоу отѣцъ нашъ авраамъ естъ. гла нмъ ѣс. аште ѹда авраамлѣ бысте были. дѣла авраамлѣ творилн бнсте. нынѣ же штете мене оубнтн. ѹлака нже нстнжъ вамъ глахъ. ѣже слышахъ отъ ба. сего авраамъ нѣстъ сътворилъ* (Ин 8:39–40).

## 6. Заключение

Таким образом, старославянский перфект можно охарактеризовать следующим образом:

- Ему не свойственно результативное употребление; точнее говоря, семантика результативности не является тем фактором, который обуславливает употребление старославянского перфекта: с одной стороны, в результативных контекстах употребляется прежде всего аорист; с другой стороны, употребления перфекта не исключают как результативные, так и нерезультативные контексты. Это означает, что результативность не является спецификой семантики старославянского перфекта (что оправдывало бы типологические ожидания в отношении этой формы) — в этом языке параметр результативности не является релевантным при описании условий выбора между конкурирующими формами прошедшего, т. е. перфектом и аористом.
- Он демонстрирует прежде всего характеристические и экзистенциальные употребления.

- Он часто используется для описания ситуаций, которые не имеют четкой временной локализации. Так, тяготение к перфектной форме демонстрируют предикаты, описывающее существенное изменение состояния топика данного фрагмента. С другой стороны, анализ перфектных и аористных употреблений предикатов, описывающий конкретные ситуации (естественно, в рамках диалогического регистра), также демонстрирует, что аористы употребляются собственно для описания ситуации, тогда как перфекты — для того, чтобы охарактеризовать топик данного дискурсивного фрагмента.

- Существенны также интерпретационные употребления перфекта, а именно, те многочисленные случаи, когда перфект используется не для описания некоторой ситуации, локализуемой во времени, а для описания ее скрытого смысла, последствий либо целей.

- Не следует забывать и о том, что есть контексты, в которых перфект обладает отчетливой эмфатической функцией (ср. обсуждение примера 32). Однако, поскольку велик риск произвольно приписать эмфатические характеристики тому или иному фрагменту текста, в статье мы сознательно обращали внимание только на те примеры, где эмфаза подтверждена какими-то другими языковыми средствами независимо от нашей интерпретации.

Можно также прибавить следующее: традиционно считается, что перфект тяготеет к диалогическому регистру (ср. уже в [Булнина 1959]). Однако анализ старославянского перфекта, возможно, предполагает, что реплики в рамках диалогического регистра целесообразно дополнительно дифференцировать в зависимости от коммуникативной цели фрагмента, а именно, в зависимости от того, ориентированы ли они на *описание* некоторой ситуации (или, иначе, утверждения о том, что некоторая ситуация имела место) или на ее *обсуждение*. Такие семантические характеристики перфекта, как оценка, интерпретация либо характеристика как раз и ориентированы на обсуждение ситуации.

Таким образом, в данной статье был очерчен семантический тип старославянского перфекта; как можно видеть, он достаточно далек от того результативного прототипа, который признается основой типологического портрета перфекта и который потому а priori принимается как отправная точка в большинстве исследований семантики этой старославянской формы. Вероятно, семантическим центром этой формы следует признать экзистенциальное значение (утверждение о существовании некоторой ситуации, являющееся утверждением о факте, а не описанием события), от которого естественно перекинуть мостик к характеристическим и интерпретационным употреблениям. В силу этой семантической специфики легко также объяснить тяготение перфекта

к временной нелокализованности, которая проявляется двояко — как в тяготении к перфектной форме предикатов с семантикой, не предполагающей точной временной локализации (типа ‘измениться’, ‘одуматься’, ‘раскаяться’), так и в размывании значения точной временной локализации у предикатов различной семантики, помещаемых в интерпретационный контекст, где не описывается конкретная ситуация, а обозначается ее скрытый смысл и ее основные существенные последствия.

## Библиография

АРУТЮНОВА 1988

АРУТЮНОВА Н. Д., *Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт*, Москва, 1988.

БУНИНА 1959

БУНИНА И. К., *Система времен старославянского глагола*, Москва, 1959.

——— 1970

БУНИНА И. К., *История глагольных времен в болгарском языке. Времена индикатива*, Москва, 1970.

ВАЙАН 1952

ВАЙАН А., *Руководство по старославянскому языку*, Москва, 1952.

ГАСПАРОВ 2003

ГАСПАРОВ Б., “Наблюдения над употреблением перфекта в древнецерковнославянских текстах”, *Русский язык в научном освещении*, 5 (1), 2003, 215–242.

ГОРБОВА 2013

ГОРБОВА Е. В., “Проблемы испанского перфекта”, in: *Глагольные и именные категории в системе функциональной грамматики: сборник материалов конференции 9–12 апреля 2013 г.*, С.-Петербург, 2013, 58–63.

——— 2016

ГОРБОВА Е. В., “Результативность, экспериенциальность, инклюзивность, иммедиатность: чем определяется значение перфекта?”, in: [МАЙСАК ET AL. 2016: 39–66].

ДЕЯНОВА 1970

ДЕЯНОВА М., *История на сложните минали времена в български, сърбохърватски и словенски език*, София, 1970.

КОЗЛОВ 2016

КОЗЛОВ А. А., “Мокшанский результатив и диахрония результативной Конструкции”, *Вопросы языкознания*, 1, 2016, 51–75.

КУЗНЕЦОВ 1961

КУЗНЕЦОВ П. С., *Очерки по морфологии праславянского языка*, Москва, 1961.

МАЙСАК 2016

МАЙСАК Т. А., “Перфект и аорист в ниджском диалекте удинского языка”, in: [МАЙСАК ET AL. 2016: 315–378].

МАЙСАК ET AL. 2016

МАЙСАК Т. А., ПЛУНГЯН В. А., СЕМЁНОВА КС. П., ред., *Исследования по теории грамматики, 7: Типология перфекта* (= Acta Linguistica Petropolitana. Труды Института лингвистических исследований, 12/2), С.-Петербург, 2016.

МАСЛОВ 1984

МАСЛОВ Ю. С., *Очерки по аспектологии*, Ленинград, 1984.

Плунгян 2011

Плунгян В. А., *Введение в грамматическую семантику: грамматические значения и грамматические системы языков мира*, Москва, 2011.

——— 2016

Плунгян В. А., “К типологии перфекта в языках мира: предисловие”, in: [МАЙСАК ET AL. 2016: 7–36].

СЕВЕРЬЯНОВ 1904

СЕВЕРЬЯНОВ С. Н., *Супрасльская рукопись*, 1 (= Памятники старославянского языка, 2/1), С.-Петербург, 1904.

——— 1922

СЕВЕРЬЯНОВ С. Н., *Синайская псалтырь. Глаголический памятник XI в.*, Петроград, 1922.

ШЕВЕЛЕВА 2009

ШЕВЕЛЕВА М. Н., “«Согласование времен» в языке древнерусских летописей (к вопросу о формировании относительного употребления времен и косвенной речи в русском языке)”, *Русский язык в научном освещении*, 2 (18), 2009, 144–174.

AMSE-DE JONG 1974

AMSE-DE JONG T. H., *The Meaning of the Finite Verb Forms in the Old Church Slavonic Codex Suprasliensis. A Synchronic Study*, The Hague, 1974.

BYBEE ET AL. 1994

BYBEE J. L., PERKINS R., PAGLIUCA W., *The Evolution of Grammar: Tense, Aspect, and Modality in the Languages of the World*, Chicago, 1994.

DAHL 1985

DAHL Ö., *Tense and Aspect Systems*, Oxford, 1985.

DAHL, HEDIN 2000

DAHL Ö., HEDIN E., “Current Relevance and Event Reference,” in: EIDEM, ed., *Tense and Aspect in the Languages of Europe*, Berlin, 2000, 385–402.

DEPRAETERE 1998

DEPRAETERE I., “On the Resultative Character of Present Perfect Sentences,” *Journal of Pragmatics*, 29/3, 1998, 597–613.

DRINKA 2017

DRINKA B., *Language Contact in Europe: The Periphrastic Perfect through History*, Cambridge, 2017.

GEITLER 1882

GEITLER L., *Euchologium. Glagolski spomenik manastira Sinai brda*, U Zagrebu, 1882.

HANNICK 1972

HANNICK CH., “Das Neue Testament in altkirchenslavischer Sprache,” in: K. ALAND, ed., *Die alten Übersetzungen des Neuen Testaments, die Kirchenväterzitate und Lektionare*, Berlin, 1972, 403–435.

IATRIDOU ET AL. 2003

IATRIDOU S., ANAGNOSTOPOULOU E., IZVORSKI R., “Observations about the Forms and the Meaning of the Perfect,” in: A. ALEXIADOU, M. RATHER, A. VON STECHOV, eds., *Perfect Explorations*, Berlin, 2003, 153–204.

KAMP, REYLE 1993

KAMP H., REYLE U., *From Discourse to Logic*, 1–2, Dordrecht, 1993.

KIPARSKY 2002

KIPARSKY P., “Event Structure and the Perfect,” in: D. I. BEAVER ET AL., eds, *The Construction of Meaning*, Stanford, 2002.

MACROBERT 2013

MACROBERT C. M., "The Competing Use of Perfect and Aorist Tenses in Old Church Slavonic," *Slavia. Časopis pro slovanskou filologii*, 82/4, 2013, 387–407.

MCCAWLEY 1971

MCCAWLEY J. D., "Tense and Time Reference in English," in: CH. FILLMORE, T. LANGENDOEN, eds., *Studies in Linguistic Semantics*, New York, 1971, 96–113.

MCCOARD 1978

MCCOARD R. W., *The English Perfect: Tense-choice and Pragmatic Inferences*. Amsterdam, 1978.

MICHAELIS 1998

MICHAELIS L. A., *Aspectual Grammar and Past-time Reference*, London, New York, 1998.

MITTWOCH 1988

MITTWOCH A., "Aspects of English Aspect: On the Interaction of Perfect, Progressive, and Durational Phrases," *Linguistics and Philosophy*, 11, 1988, 203–254.

NISHIYAMA, KOENIG 2004

NISHIYAMA A., KOENIG J.-P., "What Is a Perfect State?" in: B. SCHMEISTER, V. CHAND, A. KELLEHER, A. RODRIGUEZ, eds., *WCCFL 23 Proceedings*, Sommerville, 2004, 101–113.

NISHIYAMA, KOENIG 2010

NISHIYAMA A., KOENIG J.-P., "What Is a Perfect State?" *Language*, 86/3, 2010, 611–646.

PARSONS 1990

PARSONS T., *Events in the Semantics of English*, Cambridge, 1990.

PORTNER 2003

PORTNER P., "The (Temporal) Semantics and (Modal) Pragmatics of the Perfect," *Linguistics and Philosophy*, 26, 2003, 459–510.

RŮŽIČKA 1963

RŮŽIČKA R., *Das syntaktische System der altslavischen Partizipien und sein Verhältnis zum Griechischen*, Berlin, 1963.

SCHWENTER 1994

SCHWENTER S. A., "The Grammaticalization of an Anterior in Progress: Evidence from a Peninsular Dialect," *Studies in Language*, 18/1, 1994, 71–111.

TER MEULEN 1995

TER MEULEN A. G. B., *Representing Time in Natural Language: The Dynamic Interpretation of Tense and Aspect*, Cambridge, 1995.

TROST 1972

TROST K., *Perfekt und Konditional im Altkirchenslavischen*, Wiesbaden, 1972.

VEČERKA 1993

VEČERKA R., *Altkirchenslavische (altbulgarische) Syntax, 2: Die innere Satzstruktur* (= Monumenta linguae slavicae, 34 (27,2)), Freiburg i. Br., 1993.

---

## References

Amse-de Jong T. H., *The Meaning of the Finite Verb Forms in the Old Church Slavonic Codex Suprasliensis. A Synchronic Study*, The Hague, 1974.

Arutyunova N. D., *Tipy iazykovykh znachenii: Otsenka. Sobytie. Fakt*, Moscow, 1988.

Bunina I. K., *Sistema vremen staroslavianskogo glagola*, Moscow, 1959.

Bunina I. K., *Istoriia glagol'nykh vremen v bolgarskom iazyke. Vremena indikativa*, Moscow, 1970.

Bybee J. L., Perkins R., Pagliuca W., *The Evolution of Grammar: Tense, Aspect, and Modality in the Languages of the World*, Chicago, 1994.

Dahl Ö., *Tense and Aspect Systems*, Oxford, 1985.



- Dahl Ö., Hedin E., "Current Relevance and Event Reference," in: eidem, ed., *Tense and Aspect in the Languages of Europe*, Berlin, 2000, 385–402.
- Depraetere I., "On the Resultative Character of Present Perfect Sentences," *Journal of Pragmatics*, 29/3, 1998, 597–613.
- Deyanova M., *Istoriia na slozhnite minali vremena v bŭlgarski, sŭrbokhŭrvatski i slovenski ezik*, Sofia, 1970.
- Drinka B., *Language Contact in Europe: The Periphrastic Perfect through History*, Cambridge, 2017.
- Gasparov B., "Nabliudeniia nad upotrebleniiem perfekta v drevnetserkovnoslavianskikh tekstakh," *Russian Language and Linguistic Theory (Russkij yazyk v nauchnom osveshchenii)*, 5 (1), 2003, 215–242.
- Gorbova E. V., "Problemy ispanskogo perfekta," in: *Glagol'nye i imennye kategorii v sisteme funktsional'noi grammatiki*, St. Petersburg, 2013, 58–63.
- Gorbova E. V., "Perfect of Result, Experiential Perfect, Perfect of Persistent Situation, Perfect of Recent Past: Hat Determines the Meaning of the Perfect?" in: *Acta Linguistica Petropolitana*, 12/2, St. Petersburg, 2016, 39–66.
- Hannick Ch., "Das Neue Testament in altkirchenslavischer Sprache," in: K. Aland, ed., *Die alten Übersetzungen des Neuen Testaments, die Kirchen-väterzitate und Lektionare*, Berlin, 1972, 403–435.
- Iatridou S., Anagnostopoulou E., Izvorski R., "Observations about the Forms and the Meaning of the Perfect," in: A. Alexiadou, M. Rathert, A. von Stechow, eds., *Perfect Explorations*, Berlin, 2003, 153–204.
- Kamp H., Reyle U., *From Discourse to Logic*, 1–2, Dordrecht, 1993.
- Kiparsky P., "Event Structure and the Perfect," in: D. I. Beaver et al., eds., *The Construction of Meaning*, Stanford, 2002.
- Kozlov A. A., "Moksha Mordvin Resultative and the Diachrony of Resultative Constructions," *Voprosy Jazykoznanija*, 1, 2016, 51–75.
- Kuznetsov P. S., *Ocherki po morfologii praslavian-skogo iazyka*, Moscow, 1961.
- MacRobert C. M., "The Competing Use of Perfect and Aorist Tenses in Old Church Slavonic," *Slavia. Časopis pro slovanskou filologii*, 82/4, 2013, 387–407.
- Maisak T., "The Perfect and the Aorist in the Nizh Dialect of Udi," in: *Acta Linguistica Petropolitana*, 12/2, St. Petersburg, 2016, 315–378.
- Maslov Yu. S., *Ocherki po aspektologii*, Leningrad, 1984.
- McCawley J. D., "Tense and Time Reference in English," in: Ch. Fillmore, T. Langendoen, eds., *Studies in Linguistic Semantics*, New York, 1971, 96–113.
- McCoard R. W., *The English Perfect: Tense-choice and Pragmatic Inferences*, Amsterdam, 1978.
- Michaelis L. A., *Aspectual Grammar and Past-time Reference*, London, New York, 1998.
- Mittwoch A., "Aspects of English Aspect: On the Interaction of Perfect, Progressive, and Durational Phrases," *Linguistics and Philosophy*, 11, 1988, 203–254.
- Nishiyama A., Koenig J.-P., "What Is a Perfect State?" in: B. Schmeister, V. Chand, A. Kelleher, A. Rodriguez, eds., *WCCFL 23 Proceedings*, Somerville, 2004, 101–113.
- Nishiyama A., Koenig J.-P., "What Is a Perfect State?" *Language*, 86/3, 2010, 611–646.
- Parsons T., *Events in the Semantics of English*, Cambridge, 1990.
- Plungian V. A., *Vvedenie v grammaticheskuiu semantiku: grammaticheskie znacheniiia i grammaticheskie sistemy iazykov mira*, Moscow, 2011.
- Plungian V. A., "Towards the Typology of the Perfect in the World's Languages: Introduction," in: *Acta Linguistica Petropolitana*, 12/2, St. Petersburg, 2016, 7–36.
- Portner P., "The (Temporal) Semantics and (Modal) Pragmatics of the Perfect," *Linguistics and Philosophy*, 26, 2003, 459–510.
- Růžicka R., *Das syntaktische System der altslavischen Partizipien und sein Verhältnis zum Griechischen*, Berlin, 1963.
- Schwenter S. A., "The Grammaticalization of an Anterior in Progress: Evidence from a Peninsular Dialect," *Studies in Language*, 18/1, 1994, 71–111.
- Severyanov S. N., *Sinaiskaia psaltyr'. Glagolicheskie pamiatniki XI v.*, Petrograd, 1922.
- Sheveleva M. N., "Soglasovanie vremen' v iazyke drevnerusskikh letopisei (k voprosu o formirovanii otnositel'nogo upotrebleniia vremen i kosvennoi rechi v russkom iazyke)," *Russian Language and Linguistic Theory (Russkij yazyk v nauchnom osveshchenii)*, 2, 2009, 144–174.
- ter Meulen A. G. B., *Representing Time in Natural Language: The Dynamic Interpretation of Tense and Aspect*, Cambridge, 1995.
- Trost K., *Perfekt und Konditional im Altkirchenslavischen*, Wiesbaden, 1972.
- Vaillant A., *Rukovodstvo po staroslavianskomu iazyku*, Moscow, 1952.
- Večerka R., *Altkirchenslavische (altbulgarische) Syntax, 2: Die innere Satzstruktur (= Monumenta linguae slavicae, 34 (27,2))*, Freiburg i. Br., 1993.

## Acknowledgements

Russian Science Foundation. Project No. 14-18-02624.

академик РАН **Владимир Александрович Плунгян**, профессор, доктор  
филол. наук

Институт языкознания РАН, заведующий Отделом типологии и ареальной  
лингвистики

125009 Москва, Б. Кисловский пер., д. 1, стр. 1

Россия/Russia

plungian@iling-ran.ru

**Анна Юрьевна Урманчиева**, канд. филол. наук

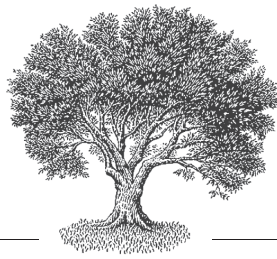
Институт лингвистических исследований РАН, старший научный сотрудник  
Отдела теории грамматики

199004 С.-Петербург, Тучков переулок, д. 9

Россия/Russia

urmanna@yandex.ru

Received October 22, 2016



# Apprehensive-epistemic *Da*-Constructions in Balkan Slavic

**Liljana Mitkovska**

FON University  
Skopje, Republic of Macedonia

**Eleni Bužarovska**

University “SS Cyril and Methodius”  
Skopje, Republic of Macedonia

**Elena Ju. Ivanova**

St. Petersburg State University  
St. Petersburg, Russia

# Апрехенсивно-эпистемические *да*-конструкции в балканославянских языках

**Лиляна Митковска**

Университет ФОН  
Скопье, Республика Македония

**Элени Бужаровска**

Университет св. Кирилла и Мефодия  
в Скопье  
Скопье, Республика Македония

**Елена Юрьевна Иванова**

С.-Петербургский государственный  
университет  
С.-Петербург, Россия

## Abstract

The research in this paper is focused on the apprehensive function of the particles *da ne* in Macedonian and *da ne bi* in Bulgarian as part of South Slavic subjunctive *da*-constructions. These clusters of particles are considered to be markers of a wider apprehensive-epistemic category. They are assumed to have undergone grammaticalization due to their morphosyntactic and prosodic unity. Even though there may be some contextual differences, these particles in both Balkan Slavic languages share a common semantic component: an undesirable “fear-causing” possibility of some potential situation. In terms of distribution, they may occur in both dependent and main clauses expressing related, gradient apprehensive-epistemic meanings. The goal of the paper is to categorize the apprehensive-epistemic types, determine their specific structural and functional properties, and establish

the conceptual links between them. The paper takes a functional approach to the analysis of the apprehensive-epistemic semantic category, thus the categorization of its subtypes is determined on the basis of their functions in context. The analysis of the collected examples instantiating these functions testifies to an existing gradience within this category in both dependent and independent use. The conclusions of the paper have typological relevance in view of the fact that they may contribute to a better understanding of this crosslinguistic category from both semantic and grammatical perspective.

#### Keywords

epistemic meaning, apprehensive, modality, gradience, subjunctive, *da*-construction, Macedonian, Bulgarian

#### Резюме

Статья посвящена apprehensивным употребленим частиц *да не* в македонском и *да не би* в болгарском языках как одной из реализаций южнославянских субъективных *да*-конструкций. Данные частицы рассматриваются как маркеры более широкой категории apprehensивно-эпистемической модальности. Несмотря на некоторые контекстуальные различия, в обоих балканославянских языках они имеют общее семантическое толкование: беспокойство о возможности наступления нежелательной ситуации. Эти частицы могут употребляться как в зависимых, так и в независимых клаузах, выражая различные варианты градуированного apprehensивно-эпистемического значения. Целью статьи является классификация apprehensивно-эпистемических типов конструкций с данными частицами, определяемых на основе их характерных структурных и функциональных свойств, и установление концептуальных связей между ними. В статье применен функциональный подход к анализу apprehensивно-эпистемической семантической категории, таким образом, категоризация подтипов учитывает функции данных единиц в контексте. Анализ собранных примеров, иллюстрирующих эти функции, свидетельствует о наличии градуированности в данной категории как в зависимом, так и в независимом употреблении. Выводы статьи имеют типологическую значимость, внося вклад в понимание статуса этой кросслингвистической категории как с точки зрения семантики, так и грамматики.

#### Ключевые слова

эпистемическое значение, apprehensив, модальность, градуированность, субъектив, *да*-конструкция, македонский язык, болгарский язык

### 1. Introduction

This paper examines the apprehensive function of subjunctive *da*-constructions in standard Macedonian and Bulgarian, two neighboring Balkan Slavic languages. However, the analyzed data shows that this function cannot be examined in isolation, but should be placed within a wider spectrum of epistemic meanings that these constructions display. The epistemic meaning may gradually acquire an apprehensive implicature which becomes conventionalized

in certain contexts, resulting in the existence of several apprehensive-epistemic subtypes that converge into one another. Therefore, to fully understand the apprehensive function of the *da*-constructions, the paper investigates its semantic links with neighboring epistemic meanings, considering the apprehensive as part of an apprehensive-epistemic category.

The term apprehensive<sup>1</sup> covers linguistic means by which the speaker expresses uneasiness and anxiety that an undesirable situation is possible [LICHTENBERG 1995; ПЛУНГЯН 2004: 17; ДОБРУШИНА 2006; ZORIKHINA NILSSON 2012 among others]. D. Angelo and E. Schultze-Berndt provide the following definition:

As a general characterisation, an apprehensive marker conveys the possibility of a state of affairs that is possible, but undesirable and best avoided, often in conjunction with a sentence specifying the action necessary (or to be avoided) to prevent this state of affairs [ANGELO, SCHULTZE-BERNDT 2016: 259].

In Balkan Slavic, apprehensive-epistemic meanings are coded by the particles *da ne* (in Macedonian and Bulgarian) and *da ne bi* (in Bulgarian). But as pointed out above, these particles have not specialized solely for the apprehensive domain. The fused particle *da ne* is used in both languages with similar functions, but in this paper we focus on the Macedonian particle and on the formally different but functionally similar Bulgarian particle *da ne bi*.<sup>2</sup> These particles appear in both dependent (1–2) and main clauses (3–4) expressing a variety of semantic subtypes, illustrated by the following examples.<sup>3</sup>

- (1) И стариот [. . .] излезе надвор да заклучи, случајно некој **да не** се накачи по скалите и да влезе кај нив (М/KU) ‘The old man [. . .] went out to lock the door in case someone should climb the stairs and enter their flat.’
- (2) Дори не смеех да влизам в книжарниците, **да не би** да ме разпознаят (В/GD) ‘I even did not dare to go into bookstores, lest I would be recognized.’
- (3) Проклетство! **Да не** е ова крајот? Никако! Никако! (М/KU) ‘Damn it! Could this be the end? No way!’
- (4) **Да не би** да имаш проблеми с дишането? (В/dveri.bg/kd6hq) ‘Do you perhaps have breathing problems?’

<sup>1</sup> Other terms have been used for this category, such as timitive [PALMER 2001: 22], admonitive [e.g. БУБЕЕ ET AL. 1994], ‘lest’ marker, etc. For more information, see [ДОБРУШИНА 2006; VUILLERMET 2013; ANGELO & SCHULTZE-BERNDT 2016].

<sup>2</sup> The Bulgarian combination *da ne*, as part of the negative *da*-construction, does not manifest grammaticalization features (prosodic, grammatical, functional) characteristic of the Macedonian *da ne* and the Bulgarian *da ne bi* particles [ИВАНОВА, БУЖАРОВСКА 2016]. The distributional differences between the two Bulgarian constructions are not relevant for the topic discussed in this paper.

<sup>3</sup> The symbols in brackets indicate the source of the example: B stands for Bulgarian, M for Macedonian language. After the slash the source for the example follows, unless the example is supplied by the authors.



The speaker expresses a degree of certainty that the event coded in the apprehensive clause is likely to occur and, at the same time, evaluates (or judges) the event as undesirable or harmful for the addressee, for the speaker, or for both. Since the two modal meanings are present simultaneously, LICHTENBERK [1995: 293–294] uses the term ‘mixed modality’, which underscores the complex semantic nature of this category. The apprehensive has two semantic foci: (a) the modal-evaluative, which consists of two components: information about a hypothetical situation and a negative evaluation of the situation (by the speaker) as undesirable [ПЛУНГЯН 2011: 448]; and (b) the emotional apprehension or concern that this situation is likely. The means languages employ to encode apprehensive meanings may not have all these components but they may be derived from the context [LICHTENBERK 1995; ДОБРУШИНА 2006]. Following Lichtenberk’s term ‘apprehensional-epistemic’ [1995: 294] for the forms that have such semantics, Dobrushina [ДОБРУШИНА 2006: 36] calls them “аппре-хенсивный пробабилитив.” She points out that the apprehensive meaning may result from the strengthening of the implicature of fear and undesirability in “probabilistic” utterances.

Crosslinguistically, this meaning is coded by various grammatical and lexical means such as morphological mood markers, particles, bouletic modals, or subordinators (meaning ‘lest’). Specialized apprehension moods and/or markers exist in languages in Austronesia [LICHTENBERK 1995], Australia [VERSTRAETE 2001; DIXON, AIKHENVALD 2009], Australian creole languages [ANGELO, SCHULTZE-BERNDT 2016], Amazon languages [VUILLERMET 2013], and in some languages in Russia [ДОБРУШИНА 2006; ПРОХОРОВ 2009],<sup>4</sup> among others. It can be argued that in Balkan Slavic, the modal particles *da ne* and *da ne bi* serve as markers of apprehensional-epistemic modality. The components of these indivisible compound forms are recruited from the epistemic-optative domain: the subjunctive particle *da* and the negation particle *ne* produce *da ne* in Macedonian; in Bulgarian, the hypothetical *bi* joins *da ne* forming a particle *da ne bi*. Both combinations function as fixed units characterized by specific structural and functional properties [ИВАНОВА 2014; БУЖАРОВСКА, МИТКОВСКА 2015; ИВАНОВА, БУЖАРОВСКА 2016].

The *da*-construction represents one of the major syntactic idiosyncrasies of modern South Slavic languages. Known as a subjunctive construction (*da*+*praesentis*) in Bulgarian and Macedonian, this nonfactual structure consists of the mood particle *da* and an untensed verb marked for person and number. The modal *da* signals the syntactic and prosodic dependency of the untensed verb:<sup>5</sup> no lexical items can intervene between them (except pronominal clitics)

<sup>4</sup> Such as Evenki, Yakut, Mordvin, etc [ДОБРУШИНА 2006] and Kalmyk [ПРОХОРОВ 2009].

<sup>5</sup> The verb forms (in present perfective) are dependent and cannot be used without the morpheme *da*.

and it forms a phonological unit with the verb [JOSEPH 1983]. The construction is characterized by a high degree of polysemy which reflects its historical development [АСЕНОВА 2002]. Originally used with goal adjuncts, *da* spread into nonfactual complements, becoming a subjunctive marker in Balkan Slavic [ГРКОВИЋ-МЕЏИЌ 2004: 200].<sup>6</sup> In these languages with the broadest nonfactual functional scope of *da*-constructions, *da* may have different functions: a morpheme governing the subjunctive form of the verb, a modal particle in optative-directive utterances [AMMANN, AUWERA 2004], and a sentential operator introducing a subordinate clause.

The particle *bi* is the potential mood marker originating from the old subjunctive forms of the verb *\*byti* ‘to be’, used as a fully inflected unstressed particle in Bulgarian and an uninflected one in Macedonian. It combines with the verb forms in *-l*, which historically go back to the past participle active, to code various nonfactual functions.<sup>7</sup> Yet in Bulgarian, the petrified particle *bi* is not inflected only in this combination, i.e., the particle *da ne bi*; it also occurs with the *da*-construction in curses and proverbs [ИВАНОВА 2014].<sup>8</sup>

Our main hypothesis is that both languages have developed apprehensional-epistemic markers via grammaticalization of the modal particle *da*, the negative *ne*, and the potential *bi*, but used different combinations. In Bulgarian *da ne bi*, all three fused into a single particle that precedes the *da*-construction. In Macedonian the modal morpheme *da* coalesced with *ne*, thus severing the dependency relation between *da* and the verb. The resultant fixed particles—*da ne bi* and *da ne*—do not have a compositional meaning of their parts but acquired a contextually dependent epistemic meaning. They cover a number of related functions that are usually characterized as apprehensional modality [LICHTENBERG 1995; ДОБРУШИНА 2006; DIXON, AIKHENVALD 2009; PALMER 2001; ПЛУНГЯН 2004].

In view of these assumptions, this article aims to contribute to the growing discussion on the linguistic means for expressing apprehensive semantics from a typological point of view. Our main goal is to give a full account of the constructions in which the described markers occur. To this end, we categorize the related apprehensional types in Balkan Slavic, determine their specific structural and functional properties, and establish the conceptual links between these types.

The analysis is conducted on examples collected from literary prose, internet forums, and the Bulgarian National Corpus (BNC), as well as examples attested in conversation. The paper takes a functional approach to the analysis

<sup>6</sup> Grickat [ГРИЦКАТ 1975: 174] notes that *da* additionally assumed a paratactic function in Serbian, Croatian, and Slovenian.

<sup>7</sup> It usually combines with full verb forms in *-l* to code conditional and other types of modal functions, more often used in Bulgarian than in Macedonian.

<sup>8</sup> *Да би пукнал!* ‘May you burst!’ or *Да би мирно седяло, не би чудо видяло* (lit.) ‘If you sat still, you wouldn’t see the wonder.’

of the apprehensive-epistemic because the existing gradience within the semantic subtypes and between the apprehensive and other neighboring categories is determined on the basis of their functions in context. Moreover, given that one of the functions of modality is to denote speech acts [NORDSTROM 2010: 49], we believe that the apprehensive-epistemic functions of the analyzed combinations of the subjunctive particles with the negation marker cannot properly be understood without invoking the speech act theory.

The paper is structured as follows: *Section 2* provides the theoretical basis of the research; *Section 3* presents a functional classification of the apprehensive-epistemic constructions; *Section 4* discusses the semantic and syntactic properties of these constructions accounting for the conceptual links between them; and the last section summarizes the conclusions.

## 2. Theoretical Considerations

This section lays the ground for further discussion: we briefly explain the concepts related to the categorization of the apprehensive-epistemic meanings as a semantic category. First, the distinction between the two apprehensive-epistemic markers is provided on the basis of their syntactic status. Within the dependent and independent syntactic context, several semantically-related apprehensive functions are distinguished. The occurrence of apprehensive markers in dependent and independent clauses is typologically common. In dependent use, the same clausal connectors are used in complements of fear predicates and negative purpose adjuncts. Thus, verbs of fearing in Greek and Latin were followed by the negative subjunctive forms which are “the arguably ‘irrealis’ forms used for negative purpose” [PALMER 2001: 133]. They are also characteristic of other European languages, for instance, Spanish. In Slavic languages, negative purpose clauses and fear complements (realized as negative nonfactual clauses in potential mood) are introduced by a modal connector, such as *chtoby* (Russian), *żeby* (Polish), and *aby* (Czech).

As for apprehensive markers in independent clauses, they were attested as far ago as antiquity: in classical Greek “an expression of fear can be indicated without a verb of fearing, simply by the subjunctive preceded by the negative *mē* [. . .] Often, however, this expresses more than an unwelcome possibility” [PALMER 2001: 133].<sup>9</sup> Similar polysemy of apprehensive markers in independent clauses has been noted in contemporary languages (see [LICHTENBERK 1995; ДОБРУШИНА 2006], among others). Depending on the speech act in which they occur, they perform an array of apprehension-related functions ranging from an attempt to prevent an unwanted situation to its epistemic evaluation.

These functions in independent apprehensive clauses in Balkan Slavic are performed by the apprehension-epistemic modal markers *da ne* and *da ne bi*.

<sup>9</sup> It also has an epistemic meaning of ‘perhaps’.

This is not inconsistent with other uses of the *da* particle. Both positive and negative *da*-clauses are used in unactualized, unreal contexts to express interrogative, optative, and imperative (directive) speech acts.<sup>10</sup> Traditionally, these moods are covered by the umbrella term subjunctive mood, although subjunctive implies subordination [PALMER 2001: 5]. It would be more accurate to affiliate these moods with another functional category of modality—speech act modality [SWEETSER 1991; PORTNER 2009], along with propositional and event modality [NORDSTROM 2010].<sup>11</sup>

Speech act modality comprises both deontic and epistemic utterances with an illocutionary force that distinguishes them from each other in everyday communication. It should be pointed out that the subordinate uses of apprehensive markers do not belong to speech acts, since complement clauses are void of illocutionary force: they are not independent utterances and their interpretation depends on the main clause (see, for instance, [CRISTOFARO 2003]). In the same vein, Nordstrom argues that embedded polar questions (in Germanic languages) are not performative but “reproduce the propositional content of the questions. . .” [NORDSTROM 2010: 227]. This entails that, in the absence of the illocutionary force, *da* marks the nonfactual status of the embedded proposition, i.e., propositional modality.

### 3. Apprehensional-epistemic Subcategories in Balkan Slavic

In this section, we proceed to the description of the functional subtypes of the apprehensive-epistemic category coded by the analyzed Balkan Slavic particles. Both the Bulgarian *da ne bi* and the Macedonian *da ne* can express most of the modal meanings that are usually ascribed to the apprehensive markers in typological studies [LICHTENBERG 1995; ДОБРУШИНА 2006], both in dependent and in independent clauses. The morphological, syntactic, and prosodic properties of the markers vary, being less prototypical in some peripheral uses, which will be pointed out in the discussion. Even though there are some differences as to the particular distribution or pragmatic nuances, the two particles convey basically the same overall meanings: the possibility of an event to occur, the undesirability of that event, and anxiety at the possibility that this event may occur. Therefore, we consider the two markers together, and point out the differences where appropriate.

<sup>10</sup> Here are some Macedonian examples: *Да не одиш таму!* ‘Don’t go there!’ (prohibition); *Ти да не одиш таму?! ‘How could you not go there?! (surprise); Да не отиде таму?’ ‘Did you perhaps go there?’ (assumptive question); Бел ден да не видиш!* ‘May you not see the light of the day!’ (curse). For more, see [БУЖАРОВСКА, МИТКОВСКА 2015; КРАМЕР 1986; ТОПОЛИЊСКА 2008, 2015].

<sup>11</sup> They correspond to propositional and event modality in PALMER [2001] and epistemic and deontic modality in LYONS [1977]. Deontic modality includes obligation, ability, and volition, while epistemic modality expresses the speaker’s commitment to the truth of the proposition.

3.1. *Da Ne Bi* and *Da Ne* in Dependent Clauses

The particles *da ne bi* (Bulgarian) and *da ne* (Macedonian) are used to introduce dependent clauses of negative purpose (5–6), complement clauses with predicates expressing fear (7–8), and utterance and propositional-attitude predicates (9–10).<sup>12</sup>

- (5) Ова морам тивко да ти го кажам, **да не** чуе некој (M/VD) ‘I must tell you this quietly, so that nobody hears.’
- (6) . . . тутакси угаси фенера **да не би** някой от реката да го забележи (B/PB) ‘He immediately turned the flashlight off so that no one could notice him from the river.’
- (7) Најмногу се плашев **да не** ја разочарам (M/VD) ‘Most of all I was afraid not to let her down.’
- (8) Уплашили се **да не би** да разсърдят Бог и той да им отнеме дарбата. . . (B/BNC) ‘They feared that they might anger the Lord and he would take away their gift. . .’
- (9) Мислев **да не** реновирате па да преспиеш кај мене ако сакаш (M/twitter.com) ‘I thought you might be remodeling the house, so you can sleep over at my place if you want.’
- (10) Аз сега щях да Ви питам **да не би** нещо да се е променило в тези месеци? (B/dariknews.bg) ‘I just wanted to ask you, has something maybe changed during those months?’

Purpose clauses express an unrealized event which is intended as a volitional consequence of the event expressed in the main clause [DIXON 2009: 17]. For that reason they are often marked with subjunctive or irrealis markers [PALMER 2001: 129]. In Balkan Slavic the use of the subjunctive *da*-construction in purpose clauses is considered to be one of the first functions in which it started replacing the inherited Slavic infinitive [ИЛИЕВСКИ 1988: 196]. It is often preceded by the grammaticalized allative preposition *za* ‘for,’ which reinforces the purpose semantics, as in the following examples.

- (11) Стана од троседот, (за) да ја затвори вратата (M) ‘He got up from the sofa to close the door.’
- (12) Той се пресегна над главата ми, (за) да затвори вратата (B) ‘He reached over me to close the door.’

Negation in the purpose clause is imparted by the negative particle *ne* before the verb (13 and 14), but in Bulgarian, a special complex connector *da ne bi* also carries the negative meaning, illustrated in (6).<sup>13</sup> However, the particle *ne*

<sup>12</sup> This type of complex sentence does not constitute a separate semantic class, and therefore will not be discussed further. We consider them as indirect and/or reported utterances.

<sup>13</sup> There is some difference in distribution between the (*za*) *da ne* and *da ne bi* marking of the negative purpose clause in Bulgarian, but this is beyond the scope of this paper.



functions as a negation marker here and is prosodically distinguished from the subjunctive particle, so we cannot consider these elements as fully fused markers. The negative purpose clause has a complex modal semantics: it points out that there is a possibility of an undesirable (and potentially dangerous) event to occur unless the situation in the main clause is realized. Thus, apart from the epistemic modality usually present in purpose clauses, the negative marker adds a negative attitude toward the designated situation.<sup>14</sup>

- (13) Не се оглежда, **за да не би** някой да я извика. . . (B/BNC) ‘She doesn’t look around, so that no one could call her.’
- (14) Не брзам **за да не** се уморам (M/VD) ‘I don’t hurry so that I don’t get tired.’

The relation between the two events in the negative purpose clause can be of two types, which may sometimes lead to potential ambiguity. This has been noted by LICHTENBERK [1995: 298], who names the two types ‘avertive’ and ‘in case’. The former is restricted to negative purposive function which establishes a causal link between the ‘apprehension-causing situation’ in the dependent clause (Y) and the ‘precautionary situation’ in the main clause (X). “If no precaution is taken, the apprehension-causing situation will take place: if not X, then Y” [IBID.]. This interpretation is possible only if the protagonist of the main clause is viewed as having control over the foreseen undesirable event, illustrated in (1–2) and (13–14).

The ‘in case’ type has a more general interpretation, the causal link between the two events is weakened, and the subject of the main clause has no control over the apprehension-causing situation, as in *Take your umbrella in case it rains*<sup>15</sup>/*\*so that it does not rain* [ANGELO, SCHULTZE-BERNDT 2016: 4]. In such situations the focus in the clause introduced by *da ne* and *da ne bi* falls on the epistemic character of the expressed situation, which is often supported by the nonvolitional adverb *случајно/случайно* ‘accidentally, by any chance’ in (15) and (16).

- (15) Го исклучи телефонот [. . .], **за** случајно **да не** ѝ се јават од ординацијата и да ја прашаат зошто доцни (M/RB).  
‘She turned off the mobile, in case they called her from the office and asked her why she was late.’ (\*so that they didn’t call her)
- (16) Любопитните винаги обичат да държат главите си над другите глави, **да не би** случайно нещо от погледа им да убегне (B/JR) ‘Curious people always like to hold their heads above the others’ lest something escape their attention.’

<sup>14</sup> That is why it is not uncommon crosslinguistically for languages to employ a different marker for the negative purpose clause [PALMER 2001: 128; THOMPSON ET AL. 2007: 253].

<sup>15</sup> Земи го чадорот, да не заврне (M). Вземи чадџра да не би да завали (B).

In many cases when we have controllable events in the purpose clause, both interpretations are possible, as LICHTENBERK [1995: 299] notes. The context-dependent semantic difference in speech is signaled by intonation, but in such cases it usually does not cause a crucial misunderstanding as there is only a difference in emphasis. The dependent clauses in the sentences in (17) and (18) can be interpreted as expressing both purpose and apprehension of a possible undesirable event ('in case') exemplifying a transitional semantic "knot" between the two subtypes.

- (17) Дувај мило, **да не** се попариш (М/DM).  
'Blow dear, so as not to be scalded/or you might get scalded.'
- (18) Тук по многу причини спестихме страшните подробности — **да не би** някой малолетен да отвори вестника (B/segabg.com/article) 'Here for many reasons we omitted the horrible details, lest some underage kid read the paper.'

Apprehension-causing situations over which the speaker has a relatively low degree of control do not directly invoke a purpose relation, but the juxtaposition of an undesirable situation may invite a precaution implicature: that some measure should be taken against an undesirable potential consequence of a future or an ongoing event. A clause encoding an unfavorable event combines with a main clause that expresses some precautionary measure to prevent or alleviate the possible harmful consequences of this event (19). The term precautionary or admonitive apprehensive has been suggested for this category. A special subtype is represented by main clauses that function as an alert or direct or indirect appeal. However, it is the main clause, and not the apprehensive one, that functions as a directive speech act, ranging from attention alerts and warnings (19–20) to commands and threats (21–22), whereas the apprehensive clause remains in the realm of propositional modality [AIKHENVALD 2010: 278].

- (19) Почнаа да се качуваат внимателно обзирајќи се **да не** ги следи љубопитниот поглед на некоја сосетка (М/KU) 'They started climbing (the stairs) looking around carefully lest some neighbor's curious look should follow them.'
- (20) Само внимавай **да не** отвориш раната по време на бягството (B/A) 'Only take care not to open the wound while running away.'
- (21) Симни се доброволно **да не** биде како минатиот пат! (М/SN) 'Get yourself down so that it won't be like the last time!'
- (22) Предупреждавам ви, **да не би** случайно да се разминете! (B/PV) 'I warn you, lest you accidentally miss each other!'

LICHTENBERK [1995: 299] poses the question whether the two possible interpretations (depending on the presence of control) should be defined as a case of fuzzy monosemy or polysemy. Invoking the concept of 'pragmatic ambiguity' he seems to favor the polysemy approach. We also claim that this function

(precautionary or admonitive) of the apprehensive markers in Balkan Slavic represents a separate subcategory of the apprehensive. Functionally, it differs from the negative purpose category in that it displays increased subjectivity in the epistemic evaluation of a possible, even accidental, situation and emotional involvement. The particle *ne* does not impart negation because it is an integral part of the single morphosyntactic unit marking epistemic uncertainty. *Da ne* and *da ne bi* constitute prosodic units under a single coherent intonation contour, a fact that triggered their grammaticalization.<sup>16</sup> At least two distinctive syntactic properties provide evidence for the noncompositionality of the units *da ne* in Macedonian and *da ne bi* in Bulgarian: the need for an additional *ne* to negate the dependent clause (23) and the use of past tense in dependent clauses introduced by these particles (24).

- (23) а) Ќе му се јавам на Марко **да не не** знае за состанокот (М).  
 б) Ще се обада на Марко, **да не би** да **не** знае за среќата (В) ‘I’ll call Marko, in case he doesn’t know about the meeting.’
- (24) а) Провери во сандачето, **да не дошол** поштарот порано (М).  
 б) Провери пощенската кутија **да не би** да **е идвал** пошталњот по-рано (В).  
 ‘Check the postbox, in case the postman has come earlier.’

When *da ne* and *da ne bi* introduce complement clauses with fear predicates the emotional component seems to dominate. The overtly expressed fear in the main predicate has an understandable semantic effect on the connector. The undesirable and hence feared situation is not temporally restricted; though typically posterior (25), its time frame can be anterior (27) and even simultaneous (26). The presence of a negation marker in (25) and (27) testifies to the grammaticalized status of both complex connectors (*da ne* and *da ne bi*) in this function.

- (25) Се плашам **да не не** стигне на време (М) ‘I am afraid that he wouldn’t arrive on time.’
- (26) Тина молчеше, исплашена **да не** има и таа таков вирус (М/РБ) ‘Tina kept quiet, fearing that she might have the same virus.’
- (27) Страх ме е **да не би** да **не** е дошла (В) ‘I fear that she might not have come.’

### 3.2. *Da Ne Bi* and *Da Ne* in Independent Clauses

In independent clauses *da ne bi* and *da ne* function as apprehensional-epistemic markers that express a wide array of modal meanings in various types of speech acts. They appear in declarative and interrogative clauses, though the

<sup>16</sup> The typological features of interrogation and negation have been noted by THOMPSON [1998], who points out the importance of a prosodic unit as a natural locus for the grammaticalization of interrogation [IBID.: 317].

latter seem to be much more widespread. Ivanova and Bužarovska point out that the interrogative form is mostly used for expressive purposes: “вопросительная форма выступает во многих случаях лишь как оболочка, в которую облечены «пристрастные» констатирующие высказывания” (In many cases, the interrogative form serves as a cover under which biased constative utterances are used) [ИВАНОВА, БУЖАРОВСКА 2016: 153]. The illocutionary force of a particular speech act relies strongly on contextual support—the lexico-grammatical properties of the clause in the surrounding discourse, as well as the discourse-pragmatic and social conventions established in a given speech community. The role of the immediate context in the interpretation of the speech acts expressed by apprehensional markers has been noted in many accounts of such structures, e.g., [LICHTENBERK 1995; ДОБРУШИНА 2006; AIKHENVALD 2010: 278; ИВАНОВА 2014; ANGELO, SCHULTZE-BERNDT 2016]. Out of context, the utterance in (28) can be interpreted in a number of ways: fear, worry, indirect request to close the door, reproach for leaving the door open, criticism, irony, etc.

(28) **Да не** избега мачката!? (M) ‘Has maybe the cat run out?’

Below, we look at declarative and interrogative main clauses with the apprehensive markers in Balkan Slavic.

3.2.1. Declarative main clauses with the apprehensive-epistemic particles express anxiety over a possible occurrence of a negatively assessed situation, but unlike in dependent clauses, the emotion is not overtly expressed. However, the linguistic and extralinguistic contextual factors conspire to create a particular implicature signaled by the prosody in speech. In (29) the appeal to the beloved to end the date and the mention of the father imply anxiety; in (30) and (31) the choice of vocabulary indicates fear. We call this type ‘apprehensive proper’.

(29) Ај доста, Бошко, **да не** ме побара татко. . . (M/VI) ‘Boško, I must go, lest my father call for me.’

(30) Свети му вода, Божано! **Да не** згрешил пред господа. Знаеш. . . младо, лудо. . . (M/AP) ‘Pray for him, Božana! In case he has sinned against the Lord. You know how the young are.’

(31) Имаш и вила—още една тревога: **да не би** да я ограбят (B/dveri.bg/kd6hq) ‘If you have a summer house you have one more worry: lest it not be broken into.’

3.2.2. Questions with the particles *da ne bi* and *da ne* are overwhelmingly used in both Macedonian and Bulgarian for a plethora of functions (see [ИВАНОВА 2014; МИТКОВСКА ET AL. 2015; ИВАНОВА, БУЖАРОВСКА 2016] for a detailed overview). These particles are grammaticalized markers with inner cohesion,

and they are characterized by pronounced mixed modality: both deontic and epistemic. As questions, they always presuppose a response required by the addressee (except in cases of rhetorical questions),<sup>17</sup> hence automatically flag a manipulative speech act [GIVÓN 2001: 311].<sup>18</sup> The constant epistemic component is the relative uncertainty. These polar questions do not question the truth of the proposition but the assumption about its truth. Similarly to biased questions [DUKOVA-ZHELEVA 2010], the communicative goal is to obtain the addressee's confirmation of the speaker's assumption that the proposition is true (or not true). That is why we call them 'assumptive questions'. If this presupposition is regarded as undesirable by the speaker an apprehensive implicature is generated.

We can distinguish two main types of speech acts:

(a) The first type comprises functions close to the core apprehensive-epistemic meanings, used for expressing anxiety, uneasiness, worry, or disappointment on the part of the speaker. We can call this type 'proper apprehensive questions'. The speaker judges from the situation that his/her assumption is correct and therefore usually expects a positive answer which, on the other hand, is considered undesirable so s/he hopes to get a negative answer. Depending on the context the opposite is also possible. Thus in *Да не го покани и Милан?* (M) 'Have you perhaps invited Milan?' the speaker assumes that the proposition is not true but fears that it might be the case. The degree of undesirability is responsible for the rise of the apprehension implicature. This can be illustrated by the difference between examples (32–33) and (34–35), the latter displaying a more pronounced apprehensive meaning.

- (32) *Да не си одиш?* — натажено праша малиот (M/KU) 'Are you perhaps leaving?—the child asked sadly.'
- (33) *Ти да не би да се сърдиш?* (B/BNC) 'Are you perhaps angry with me?'
- (34) *Да не ме забораџија, Господи?! — мислеше скупчен на терасата* (M/HR) 'Lord, could it be that they have forgotten me?—he thought, crouching on the veranda.'
- (35) *Да не би да хвџрлят бомба вџрху нас?* (B/BNC) 'What if they dropped a bomb on us?'

(b) The second type includes questions which emphasize the epistemic component but (almost) lack the emotional component in their semantic structure.

<sup>17</sup> Usually they express criticism and irony: *Да не си паднал од Марс?! (M)*, *Да не би да си паднал од Марс? (B)* 'Have you fallen from Mars?!'

<sup>18</sup> Manipulative speech acts are verbal acts through which the speaker attempts to manipulate the behavior of the hearer, with the goal being that of eliciting action rather than information. One can therefore subsume, at least trivially, the interrogative under the manipulative speech act, with the added provision that the second aims to elicit verbal acts of information, i.e., declarative speech acts [GIVÓN 2001].



Whether the speaker expects a negative or a positive answer can usually be inferred from the context and/or the situation. In nonapprehensive assumptive questions in Macedonian, *da ne* functions as ‘epistemic downtoner’ [LICHTENBERK 1995: 298], exploiting their intrinsic uncertainty as a face-saving strategy (36–37).

(36) **Да не** имате свежи печурки? (М) ‘Do you perhaps have fresh mushrooms?’

(37) А: Целиот лук да го ставам? В: **Да не** е многу?! (М) ‘Should I put all the garlic?—Isn’t it too much?’

The Bulgarian *da ne bi* is considerably restricted in this function. It is not employed in requests as they make use of *da*-constructions: *Да имаш случайно тази книга?* ‘Do you perhaps have this book?’ [НИЦОЛОВА 2008: 424]. It seems that *da ne bi* occurs in assumptive questions when they are emotionally colored and more biased towards the negative answer (38). More neutral contexts prefer *da ne*; thus, the Bulgarian counterpart of (37) is *Да не е много?*<sup>19</sup>

(38) Икономическата криза сега **да не би** да е предизвикана с извънземно участие? (В/ВNC) ‘Is maybe the economic crisis caused by extraterrestrials?’

#### 4. Semantic Gradience of the Apprehensional-epistemic Subcategories

The Balkan Slavic apprehension markers (*da ne* and *da ne bi*) are characterized by polysemy in both dependent and independent syntactic environments. However, the meanings (discussed in the previous section) occupy the same irrealis space of apprehensional-epistemic modality. They are united by a common semantic denominator of undesirable possibility, a blend of epistemic (possibility) and deontic (undesirability) meaning, but the prevalence of one component over the other results in a gradual semantic shift. The pragmatics of the speech situation, the context, and the illocutionary force of the apprehensive expression influence the degree of foregrounding of the epistemic meaning (possibility) over the emotional component (fear), or vice versa. *Tables 1* and *2* show the shared semantic properties of the subcategories in dependent and independent clauses, respectively. The shaded areas indicate the features that are especially focused in each subcategory.

<sup>19</sup> The difference is explained in [ГСБКЕ 1983: 56]: „Въпросителните изречения с *да не би* да се отличават от близките по значение до тях въпросителни изречения с *да не* именно по подчертаването, че става дума за нежелана възможност.“ It is noteworthy that Nicolova [НИЦОЛОВА 2008: 425, 428] traces optative nuances in *da ne bi*-questions.

**Table 1. Semantic Properties of the Apprehensive-epistemic Subcategories in Dependent Clauses**

semantic features	negative purpose	precautionary	fear clausal complements
purpose	+	+/-	—
possibility	+	+	+
undesirability	+	+	+
fear	—	+/-	+

**Table 2. Semantic Properties of the Apprehensive-epistemic Subcategories in Independent Clauses**

semantic features	declarative	interrogative— assumptive questions	
	apprehensive proper	apprehensive questions	epistemic downtoners
purpose	—	—	—
possibility	+	+	+
undesirability	+	+	—
fear	+	+/-	—

On the basis of the observed links, we propose that the identified functional types represent gradient, hence fuzzy, semantic subcategories of the apprehensional-epistemic modality. As in any type of epistemic modality, it is prone to subjectivity [LYONS 1977; VERSTRAETE 2001].<sup>20</sup> We use the term ‘gradience’ to refer to the way language categories are organized internally and the nature of boundaries between them [TRAUGOTT, TROUSDALE 2010: 20]. Gradience between two categories obtains when “they gradually converge on one another by virtue of the fact that there exist elements which display properties of both categories” [AARTS 2004: 6]. This is related to the prototype organization of the categories, which comprise more or less central representatives, the latter converging to the conceptually close categories.

#### 4.1. Semantic Gradience

All presented subcategories expressed by the apprehensional particles in Balkan Slavic express the epistemic feature of possibility, which is accompanied by an emotional component of undesirability. So it seems that the speaker’s stance of epistemic uncertainty is inseparable from the emotions of worry

<sup>20</sup> LYONS [1977: 739] explains subjectivity “as devices whereby the speaker, in making an utterance, simultaneously comments upon that utterance and expresses his attitude to what he is saying.”

and/or fear, thus justifying Lichtenberk's term apprehensional-epistemic modality [LICHTENBERK 1995: 293–294].<sup>21</sup> In the epistemic downtoners, the negative emotional component is absent, thus this function seems rather remote from the basic apprehensional semantics. However, they are cognitively linked to 'apprehensive questions' by pairing the uncertainty component with pragmatic strategies of politeness (see examples 36–37 above and the discussion).

In dependent clauses, the association of negative purpose meaning to fear is established through cautioning of possible negative consequences (expressed in the main clause). It has been shown that crosslinguistically, the same apprehensive marker often covers the two functions, e.g., [LICHTENBERK 1995; ДОБРУШИНА 2006; DIXON 2009], which bears evidence for a cognitive link. The Balkan Slavic situation is entirely compatible with this assumption. It was shown in 3.1 that some situations allow double interpretation (see examples 17 and 18) and that the focus can easily shift from negative purpose (an intention not to achieve a possible state of affairs) to warning (an appeal not to allow a possible state of affairs). This involves a strengthening of the undesirability component as well as a structural difference: the subjunctive marker *da* forms a unit with the negative particle *ne*, expressing epistemic uncertainty, not negation.

The speaker's negative mental attitude<sup>22</sup> to some potential situation is triggered by his/her ability to establish a causal link between an apprehension-causing situation and its expected "fear-inspiring" consequences. While in the precautionary, the emotion of fear is contextually implied, in the 'fear clausal complements' the emotion is overtly expressed. The following examples illustrate the semantic overlapping between the two subcategories: in (39) fear is strongly implied in the warning, whereas in (40) the fear predicate indicates caution.

- (39) a. Внимавај **да не** те забележат, опасни се овие кучиња (М/HR) 'Be careful so that they do not notice you, these dogs are dangerous.'  
 b. Внимавайте **да не би** вашите съквартиранти да не се възползват от добротата ви (B/dama.bg/article/kakav-sakvartirant) 'Be careful so that your roommates may not abuse your kindness.'
- (40) a. Се смрзнав во место, исплашен **да не** скршам нешто (М/RB) 'I froze on the spot, afraid not to break something.'

<sup>21</sup> Dobrushina [ДОБРУШИНА 2006: 34] argues that the former is basic because: "Семантическим компонентом, общим для эпистемического наклонения и apprehensiva и мотивирующим это направление эволюции значений, является оценка некоторой ситуации как возможной." This is also supported by the fact that the apprehensive meaning is often coded by epistemic moods [IBID.: 34].

<sup>22</sup> The link between emotions and propositional attitudes is noted by Palmer. In his view, "fears and wishes indicate attitudes to propositions rather than unrealized events" [PALMER 2001:134]. This may explain why *I am afraid* in English has become a verb of propositional attitude and a downtoner as "I think."

- b. Само се пазеше да не се спъне — [. . .] от страх **да не би** да привлече върху себе си нечие внимание. . . (B/DT) ‘He only worried lest he stumble, fearing that he may attract someone’s attention.’

Though the independent clauses with apprehensive markers are structurally and functionally different from the dependent clauses, the cognitive links are quite obvious. The declarative apprehensive proper clauses have the same focus as the complements of fear predicates. There are examples, as in the sentences in (39–40) above, where contextual elements support the implicature. But fear can be expressed in the immediate context, as in the idiomatic expression in (41) below or with similar signals, such as emotional particles or exclamations (42).

- (41) Пред секој преглед мене **паника ме фаќа** [. . .], леле **да не** најдат нешто страшно (M/tvoebebe.com/forum) ‘I panic before any medical exam [. . .] God forbid they might find something wrong.’
- (42) a. **Леле да не** дознае мама! (M/facebook.com/Vicovi) ‘God forbid, lest my mom find out!’
- b. **Леле, да не би** да Ви настъпих по мазола? (B/kaldata.com/forums/topic) ‘Oh, dear, have I maybe stepped on your bunion?’

The declarative apprehensive and the apprehensive questions at the apprehensive end almost blend together when it comes to expressing fear (compare example 40 above with 43 below). The difference is pragmatic, pertaining to the illocutionary force and the expected perlocutionary effect. GIVÓN [2001: 318–320] has shown that declarative, interrogative, and imperative speech acts are not “absolute and discrete functional entities” [IBID., 318], but that there is a graded continuum between them.<sup>23</sup>

- (43) Ѐ се потсекоа колената. **Да не** ја отвориле вратата? (M/KU)  
‘She went weak at the knees. Have they perhaps opened the door?’

Nevertheless, assumptive questions comprise various subtypes with a wide range of functions, from those prominently featuring the fear component to those in which it is rather weak, fading into worry (44) and concern (45), or entirely absent. The latter involve other types of emotion and attitudes: indignation (46), irony (47). Given their ability to perform specific pragmatic functions, interrogative apprehensive-epistemic speech acts with no undesirability

<sup>23</sup> “There are strong grounds for suspecting that the three or four major well-coded speech-acts are just the most common, conventionalized (‘grammaticalized’) prototypes. These prototypes distribute along a multi-dimensional continuum space organized along a number of social-psychological dimensions” [GIVÓN 2001: 318]. For more on prototype organization in grammar, see CROFT [2003].

component represent a link to the epistemic-downtoning function (48). Since the fear implicature is canceled, the epistemic evaluation comes to the fore, often shaped by speaker subjectivity.

- (44) a. Мори Васо, ќерка ти многу гола излезе за на работа. **Да не** настине? (М/ВТ) 'Hey Vaso, your daughter went out to work barely dressed. She could catch a cold, couldn't she?'  
 b. Какво ли пак е станало?, питаше се Капка, **да не би** пак катастрофа? (В/ВNC) 'What's the matter now, wondered Kapka, could it be a disaster again?'
- (45) a. Кети, мила моја, **да не** сакаш да го откажеме нашето попладне? Ми изгледаш бледо (М/ВB) 'Kathy, dear, do you want perhaps to cancel our afternoon together? You look pale.'  
 b. **Да не би** да ми се сърдиш за нешто? (В/ВNC) 'What is it, are you perhaps angry with me?'
- (46) a. Па што мислат тие? **Да не** сме случајно утки подсечански, паднати од гранка?! (М/ВR) 'Well, what do they think? Are we maybe some owls fallen from a tree?'  
 b. На мен някой **да не би** да ми плаща за това че гледам реклами? (В/ВNC) 'Do they pay me to watch commercials maybe?'
- (47) a. Ама каде си го повлекла ова дете? И него **да не** го свршуваш? Ха-ха-ха. . . ! (М/ВC) 'And where are you taking this young lad? Do you perhaps want to get him married, too?'  
 b. **Да не би** пак да са повишили цената на бензина? — запитвам, додето се промъкваме в навалицата (В/ВR) 'Have they maybe again raised the price of gas?—I ask, while pushing my way through the crowd.'
- (48) А ние, почитуван господине, **да не** се познаваме од некаде? (М/ВТ) 'And what about you, sir, have we maybe previously met?'

It can be concluded from the above discussion that the different interpretations of the constructions with the markers *da ne* and *da ne bi* exemplify context-dependent variation. The semantic components of epistemic uncertainty and undesirability encoded by these particles remain constant in all examined subtypes, but the "division of labor" between them varies with respect to the modality status reflected in their syntactic function. In dependent use, where these particles function as modal connectors of propositional modality, the undesirability component prevails, whereas in independent use, they function as modal particles indicating the illocutionary force of a nonfactual utterance. The ratio between uncertainty and undesirability in the semantic structure of *da ne* and *da ne bi* is determined by the illocutionary force of the utterance (type of speech act) and the context.



#### 4.2. Grammaticalization—Possible Directions

By explaining the relations and overlapping areas between the segments of the polysemous semantic category marked by the particles *da ne* and *da ne bi* in Balkan Slavic, we have added a dynamic dimension to our synchronic description. For a polysemous category that displays family resemblance structure, HEINE [1992] uses the term ‘grammaticalization chain’<sup>24</sup> in order to highlight the link between its constituent parts. Such categories are usually considered a result of context-induced reinterpretation and various semantic and pragmatic processes. The relationship is explained as follows:

The linear ordering<sup>25</sup> has both diachronic and synchronic dimension: diachronic in that a given stage can be assumed to be historically prior to any other stage to its left, that is, ordering reflects a diachronic process. At the same time it is also synchronic, since a given stage is more grammaticalized than any other stage to its left, where “more grammaticalized” in this case means either more abstract in semantic content, more decategorized in its morphological behavior, more restricted in its syntagmatic variability, more reduced in its phonological substance, or any combination thereof. . . [HEINE 1992: 343].

What does the synchronic gradience indicate in relation to the diachronic rise of the apprehensive-epistemic markers in Balkan Slavic? According to the semantic and syntactic criteria outlined by Heine and other scholars advocating the grammaticalization theory, in the absence of historical evidence, we can put forward two hypotheses.

In line with the principle of ‘subjectification’ outlined by TRAUGOTT [1986; 1988], according to which “meanings tend to come to refer less to objective situations and more to subjective ones (including speaker point of view), less to the described situation and more to the discourse situation” [TRAUGOTT 1986: 540], the first hypothesis assumes that the development of the apprehensive-epistemic markers in Balkan Slavic proceeded from ‘negative purpose’ to ‘epistemic downtoners’ (Figure 1). In the former, there is no apprehensional semantics, though they imply the possibility of an undesirable event to occur, which results from the combination of the subjunctive marker and the negating particle. Here, the purpose component is the most prominent and the subjunctive *da* + verb are syntactically strongly bound, while *ne* negates the verb. In the precautionary subcategory, the emotional inference is stronger as the bond between the verb and *da* weakens, *ne* loses the negating function and links to *da/da* and *bi* intensifying the possibility component. From here on, the meaning gets more subjective, and in the last two subcategories it assumes pragmatic functions.

<sup>24</sup> HOPPER AND TRAUGOTT [1993: 6] propose the term ‘cline’.

<sup>25</sup> Heine refers here to the submeanings of a particular form which are “placed” on a grammaticalization cline to show their conceptual relations and the subsequent stages in the semantic change.

**Figure 1. Possible Developmental Path of the Apprehensive-epistemic Markers in Balkan Slavic**

negative purpose → precautionary → fear clausal complements →  
apprehensive proper → apprehensive questions → epistemic downtoners

However, the hypothesis that the grammaticalization proceeded from dependent to independent clauses is contrary to the unidirectional development in clausal combination. The prevalent direction has proven to be “from more to less paratactic clause combination” [HOPPER, TRAUGOTT 1993: 184]. It has been attested in Old Slavic that the development of complex sentences was a long process that started from juxtaposition and resulted in dependency via syncretism of connectors [ГРКОВИЋ-МЕЈЏОР 2004: 187].<sup>26</sup> Yet LICHTENBERK [1995: 306], who advocates a reverse path for the apprehension marker *ada* in Ta’ba’ica, accounts for the development of independent apprehensional-epistemic clauses from the dependent complements of fear predicates via metonymy: as the marker *ada* became strongly associated with the apprehensive meaning, it did not need the lexical support of the fear predicate in independent uses.

The second hypothesis offers another possible development of these structures. It could be assumed that the independent and dependent constructions developed through separate paths. The dependent apprehensive constructions could be linked to negative purpose. We can observe a gradual loss of objectivity from precautionary to fear clausal complements. It is also possible that the independent declarative clauses (apprehensive proper) are a metonymic output in that line.

On the other hand, the assumptive questions might have developed from independent optative-subjunctive constructions: the Macedonian *da ne* originated from the optative (speech act) function, which is semantically close to directive (49).<sup>27</sup>

(49) Да **не** одиш! ‘Don’t go!’ (M)

The shift from directive to interrogative can be explained by the underspecified meaning of the modal particle *da*, which allowed the *da*-construction to be used in a variety of speech acts. This is in line with the crosslinguistic tendency of IE subjunctive mood (imperative, hortative, jussive, and optative) to have speech-act functions [NORDSTROM 2010: 125]. As argued above, in independent use, the subjunctive *da* indicates the illocutionary force of a

<sup>26</sup> Grković-Major [ГРКОВИЋ-МЕЈЏОР 2004: 191], following VEČERKA [1996] argues that it is difficult to pinpoint the meaning of the adjunctive *da* between two clauses as it assumes the contextual meaning (of coordination, conclusivity, contrast).

<sup>27</sup> However, as previously stated, in such deontic speech acts, the juxtaposed *da ne* in Macedonian does not represent a single grammaticalized particle because it is not under the same intonation contour: *da* is part of the analytic imperative construction, and the negative marker *ne* bears the stress.

speech act, which entails that mood marking is sensitive to the illocutionary force. In questions, the prosodic unit *da ne* functions as an apprehensive-epistemic marker. Context-induced inferences and pragmatic factors contributed to the scalar character of this semantic category.

Bulgarian *da ne bi* may have also originated from an optative source via the combination of the inherited subjunctive *bi* and the Balkan subjunctive *da*. However, this hypothesis requires historical evidence, which we lack. Like other Slavic languages,<sup>28</sup> Balkan Slavic makes use of the same apprehensive-epistemic markers in both syntactic domains. In the analytic constructions that replaced the infinitive, the subjunctive morpheme coalesced with the negation marker. Typological comparison between dependent and independent apprehensive-epistemic constructions in non-Slavic Balkan languages shows that Romance languages have markers structurally similar to Macedonian *da ne*. They are also recruited from the constituents of the negative subjunctive construction: the subjunctive and the negation marker *să nu* in Romanian (*s-nu* in Aromanian). However, Albanian and Greek have specialized apprehensive-epistemic particles: *mos* (Albanian) and *mipos* (Greek), both of which are employed in all the functions described in the present paper. The latter historically derives from the fusion of the nondeclarative negative marker *mi(n)* (*mēn* in classical Greek) and the connector *pos*. This suggests a common developmental pattern involving a semantic attraction between the subjunctive morpheme and the negator. The question whether this attraction between adjacent modal particles had syntactic consequences, i.e., was grammaticalized in other Balkan languages, needs further research.

## 5. Concluding Remarks

In this paper we investigate the apprehensive function of the two fused grammaticalized particles *da ne* and *da ne bi* in standard Macedonian and Bulgarian. Acting as morphosyntactic and prosodic units under a single intonation contour, they have undergone grammaticalization resulting in their semantic and syntactic fusion.

Semantically, these polysemous particles contain an epistemic and a volitive component, which triggers the inference of fear. Their property to operate in the domain of propositional and speech act modality is reflected in the form: those used in the former domain are realized as subordinate clausal constituents, while those in the latter represent independent subjunctive clauses. The split dependent vs. independent use is a typologically common phenomenon. In both uses they are treated as markers of an apprehensive-epistemic category characterized by a prototype organization of its core and peripheral members.

<sup>28</sup> For instance, the Russian particle '*kak by* + negative infinitive' is used in both dependent and independent clauses [ДОБРУШИНА 2006].

There is a cognitive link between these members and a graded semantic shift along the semantic continuum they form. The shift is presumably triggered by the speaker's increased subjectivity and emotional involvement in the epistemic evaluation of a possible undesirable situation. Accordingly, we tentatively suggest two developmental paths, each consisting of three converging subtypes. Each subtype foregrounds two of the four common semantic components: purpose, possibility, undesirability, and fear. In dependent use, the peripheral negative purpose subtype becomes contextually apprehensive in the second precautionary subtype and explicitly apprehensive in the fear subtype. In indirect use the declarative apprehensive subtype merges with the interrogative. The third peripheral subtype of the apprehensive-epistemic category—downtoning questions—lacks the apprehensive meaning. The two paths can be thought of as parts of a single cline separated in two by the opposition: propositional modality vs. speech act modality. The cline is flanked on both ends by the peripheral subtypes, negative-purpose and downtoning questions, leaving three types as central members (fear, apprehensive statements, and apprehensive questions) and one (precaution) closer to the prototype. Other Balkan non-Slavic languages (Greek, Romanian, Aromanian, Albanian) also demonstrate this two-pronged affinity: with purpose negative clauses on the one hand, and biased questions on the other. The fact that these languages are characterized by isofunctional and isomorphic means for expressing apprehensional meanings suggests that this category may have acquired areal typological features.

## Bibliography

### Sources

#### *Bulgarian Sources*

BNC = Bulgarian National Corpus

A = Avaiyata

BR = Б. Райнов

DT = Д. Талев

GD = Г. Данаилов

JR = Й. Радичков

PB = П. Бобев

PV = П. Вежинов

#### *Macedonian Sources*

AP = Антон Панов

BT = Братислав Ташковски

DM = Димитар Молеров

HR = Христо Крстевски

KU = Кочо Урдин  
 RB = Румена Бужаровска  
 SN = Сашко Насев  
 VC = Војдан Чернодрински  
 VD = Владо Димовски  
 VI = Васил Иљоски

## Literature

АСЕНОВА 2002

АСЕНОВА П., *Балканско езикознание: Основни проблеми на балканския езиков съюз*, Велико Търново, 2002.

БУЖАРОВСКА, МИТКОВСКА 2015

БУЖАРОВСКА Е., МИТКОВСКА Л., “Негираните независни да-конструкции”, in: З. Тополинска, ред., *Субјунктив со посебен осврт на македонските да-конструкции*, Скопје, 2015, 23–46.

ГРИЦКАТ 1975

ГРИЦКАТ И., *Студије из историје српскохрватског језика*, Београд, 1975.

ГРКОВИЋ-МЕЈЏОР 2004

ГРКОВИЋ-МЕЈЏОР Ј., “Развој хипотактичког да у старосрпском језику”, *Зборник Матице српске за филологију и лингвистику*, 47/1–2, 2004, 185–203.

ГСБКЕ 1983

*Грамматика на съвременния български книжовен език*, 3: Синтаксис, София, 1983.

ДОБРУШИНА 2006

ДОБРУШИНА Н. Р., “Грамматические формы и конструкции со значением опасения и предостережения”, *Вопросы языкознания*, 2, 2006, 28–67.

ИВАНОВА 2014

ИВАНОВА Е. Ю., “Апрехенсив в русском и болгарском языках”, *Studi Slavistici*, 11, 2014, 143–168.

ИВАНОВА, БУЖАРОВСКА 2016

ИВАНОВА Е. Ю., БУЖАРОВСКА Э., “Эпистемические вопросительные частицы да не в македонском и да не би в болгарском языках”, in: М. Б. Коношенко, Е. А. Лютикова, А. В. Циммерлинг, ред., *Типология морфосинтаксических параметров*, 3, Москва, 2016, 140–158.

ИЛИЕВСКИ 1988

ИЛИЕВСКИ П. Х., *Балканолошки лингвистички студии*, Скопје, 1988.

НИЦОЛОВА 2008

НИЦОЛОВА Р., *Българска граматика. Морфология*, София, 2008.

ПЛУНГЯН 2004

ПЛУНГЯН В. А., “Предисловие”, in: *Исследования по теории грамматики*, 3: *Ирреалис и ирреальность*, Москва, 2004, 9–25.

——— 2011

ПЛУНГЯН В. А., *Введение в грамматическую семантику: грамматические значения и грамматические системы языков мира*, Москва, 2011.

ПРОХОРОВ 2009

ПРОХОРОВ К. Н., “Калмыцкие формы косвенных наклонений: семантика, морфология, синтаксис”, in: *Исследования по грамматике калмыцкого языка* (= Acta Linguistica Petropolitana, 5/2), С.-Петербург, 2009, 160–224.



ТОПОЛИЊСКА 2008

ТОПОЛИЊСКА З., Полски — македонски. Граматичка конфронтација, 8: Развoтoк на граматичките категории, Скопје, 2008.

——— 2015

ТОПОЛИЊСКА З., ред., Субјунктив со посебен осврт на македонските да-конструкции, Скопје, 2015.

AARTS 2004

AARTS B., “Modelling Linguistic Gradience,” *Studies in Language*, 28/1, 2004, 1–49.

AIKHENVALD 2010

AIKHENVALD A. Y., *Imperatives and Commands*, Oxford, 2010.

AMMANN, AUWERA 2004

AMMANN A., AUWERA J., “Complementizer-headed Main Clauses for Volitional Mood in the Languages of South-Eastern Europe—A Balkanism?” in: O. MIŠESKA TOMIĆ, eds., *Balkan Syntax and Semantics*, Amsterdam, 2004, 293–314.

ANGELO, SCHULTZE-BERNDT 2016

ANGELO D., SCHULTZE-BERNDT E., “Beware Bambai—Lest It Be Apprehensive,” in: F. MEAKINS, C. O’SHANNESY, eds., *Loss and Renewal: Australian Languages since Contact*, Berlin, 2016, 255–296.

BYBEE ET AL. 1994

BYBEE J., PERKINS R., PAGLIUCA W., *The Evolution of Grammar: Tense, Aspect, and Modality in the Languages of the World*, Chicago, 1994.

CRISTOFARO 2003

CRISTOFARO S., *Subordination*, Oxford, 2003.

CROFT 2003

CROFT W., *Typology and Universals*, 2nd ed., Cambridge, 2003.

DIXON 2009

DIXON R. M. W., “The Semantics of Clause Linking in Typological Perspective,” in: R. M. W. DIXON, A. Y. AIKHENVALD, eds., *The Semantics of Clause Linking: A Cross-linguistic Typology*, Oxford, 2009, 1–56.

DIXON, AIKHENVALD 2009

DIXON R. M. W., AIKHENVALD A. Y., *The Semantics of Clause Linking: A Cross-linguistic Typology*, Oxford, 2009.

DUKOVA-ZHELEVA 2010

DUKOVA-ZHELEVA G., “Questions and Focus in Bulgarian” (Doctoral dissertation, University of Ottawa, Department of Linguistics Faculty of Arts, Ottawa, Canada, 2010).

GIVÓN 2001

GIVÓN T., *Syntax*, 2, Amsterdam, Philadelphia, 2001.

HEINE 1992

HEINE B., “Grammaticalization Chains,” *Studies in Language*, 16/2, 1992, 335–368.

HOPPER, TRAUGOTT 1993

HOPPER P., TRAUGOTT E. C., *Grammaticalization*, Cambridge, 1993.

JOSEPH 1983

JOSEPH B. D., *The Synchrony and Diachrony of the Balkan Infinitive: A Study in Areal, General, and Historical Linguistics*, Cambridge, 1983.

KRAMER 1986

KRAMER C. E., *Analytic Modality in Macedonian*, Munich, 1986.

LICHTENBERK 1995

LICHTENBERK F., "Apprehensional Epistemics," in: J. BYBEE, S. FLEISCHMAN, eds., *Modality in Grammar and Discourse*, Amsterdam, Philadelphia, 1995, 293–327.

LYONS 1977

LYONS J., *Semantics*, 2, Cambridge, 1977.

MITKOVSKA ET AL. 2015

MITKOVSKA L., BUŽAROVSKA E., KUSEVSKA M., "Macedonian 'Da Ne' Constructions as Distance Markers," in: B. SONNENHAUSER, A. MEERMANN, eds., *Distance in Language, Language of Distance*, Cambridge, 2015, 243–262.

NORDSTROM 2010

NORDSTROM J., *Modality and Subordinators*, Amsterdam, 2010.

PALMER 2001

PALMER F., *Mood and Modality*, 2nd ed., Cambridge, 2001.

PORTNER 2009

PORTNER P., *Modality*, Oxford, 2009.

SWEETSER 1991

SWEETSER E. E., *From Etymology to Pragmatics*, Cambridge, 1991.

THOMPSON 1998

THOMPSON S. A., "A Discourse Explanation for the Cross-linguistic Differences in the Grammar of Interrogation and Negation," in: A. SIEWIERSKA, JAE JUNG SONG, eds., *Case, Typology, and Grammar: In Honor of Barry Blake*, Amsterdam, 1998, 307–340.

THOMPSON ET AL. 2007

THOMPSON S. A., LONGACRE R., SHIN JA HWANG, "A Typology of Adverbial Clauses," in: T. SHOPEN, ed., *Language Typology and Linguistic Description*, Cambridge, 2007, 237–300.

TRAUGOTT 1986

TRAUGOTT E. C., "From Polysemy to Internal Semantic Reconstruction," in: *Proceedings of the Twelfth Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society*, 12, 1986, 539–550.

——— 1988

TRAUGOTT E. C., "Pragmatic Strengthening and Grammaticalization," in: *Proceedings of the Fourteenth Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society*, 14, 1988, 406–416.

TRAUGOTT, TROUSDALE 2010

TRAUGOTT E. C., TROUSDALE G., "Gradience, Gradualness, and Grammaticalization: How Do They Intersect?" in: E. C. TRAUGOTT, G. TROUSDALE, eds., *Gradience, Gradualness, and Grammaticalization* (= Typological Studies in Language, 90), Amsterdam, 2010, 19–44.

VEČERKA 1996

VEČERKA R., *Altkirchenslavische (altbulgarische) Syntax, 3: Die Satztypen: Der einfache Satz*, Freiburg, 1996.

VERSTRAETE 2001

VERSTRAETE J. C., "Subjective and Objective Modality: Interpersonal and Ideational Functions in the English Modal Auxiliary System," *Journal of Pragmatics*, 33, 2001, 1505–1528.

VUILLERMET 2017

VUILLERMET M., "The Grammar of Fear in Eseeja. Paper Presented at the Syntax Circle, University of California, Berkeley, 2013" ([https://www.academia.edu/5185472/The\\_grammar\\_of\\_fear\\_in\\_Eseeja](https://www.academia.edu/5185472/The_grammar_of_fear_in_Eseeja); last accessed: 01.12.2017).

ZORIKHINA-NILSSON 2012

ZORIKHINA-NILSSON N., "Peculiarities in Expressing the Apprehensive in Russian," in: *Oslo Studies in Language*, 4/1 (= The Russian Verb), 2012, 53–70.

## References

- Aarts B., "Modelling Linguistic Gradience," *Studies in Language*, 28/1, 2004, 1–49.
- Aikhenvald A. Y., *Imperatives and Commands*, Oxford, 2010.
- Ammann A., Auwera J., "Complementizer-headed Main Clauses for Volitional Mood in the Languages of South-Eastern Europe—A Balkanism?" in: O. Mišeska Tomić, eds., *Balkan Syntax and Semantics*, Amsterdam, 2004, 293–314.
- Angelo D., Schultze-Berndt E., "Beware Bambai—Lest It Be Apprehensive," in: F. Meakins, C. O'Shannessy, eds., *Loss and Renewal: Australian Languages since Contact*, Berlin, 2016, 255–296.
- Asenova P., *Balkansko ezikoznanie: Osnovni problemi na balkanskiia ezikov süiuz*, Veliko Tarnovo, 2002.
- Bužarovska E., Mitkovska L., "Negated Independent *Da*-constructions", in: Z. Topolinjska, ed., *Subjunctive: With Special Reference to the Macedonian Da-constructions*, Skopje, 2015, 23–46.
- Bybee J., Perkins R., Pagliuca W., *The Evolution of Grammar: Tense, Aspect, and Modality in the Languages of the World*, Chicago, 1994.
- Cristofaro S., *Subordination*, Oxford, 2003.
- Croft W., *Typology and Universals*, 2nd ed., Cambridge, 2003.
- Dixon R. M. W., "The Semantics of Clause Linking in Typological Perspective," in: R. M. W. Dixon, A. Y. Aikhenvald, eds., *The Semantics of Clause Linking: A Cross-linguistic Typology*, Oxford, 2009, 1–56.
- Dixon R. M. W., Aikhenvald A. Y., *The Semantics of Clause Linking: A Cross-linguistic Typology*, Oxford, 2009.
- Dobrushina N. R., "Grammatical Forms and Constructions with the Meaning of Fear and Caution," *Voprosy Jazykoznanija*, 2, 2006, 28–67.
- Givón T., *Syntax*, 2, Amsterdam, Philadelphia, 2001.
- Grickat I., *Studije iz istorije srpskohrvatskog jezika*, Belgrade, 1975.
- Grković-Major J., "The Development of the Hypotactic '*Da*' in Old Serbian," *Matica serbica. Classis litterarum. Archivum philologicum et linguisticum*, 47/1–2, 2004, 185–203.
- Heine B., "Grammaticalization Chains," *Studies in Language*, 16/2, 1992, 335–368.
- Hopper P., Traugott E. C., *Grammaticalization*, Cambridge, 1993.
- Ilievski P. H., *Balkanološki lingvistički studii*, Skopje, 1988.
- Ivanova E. Ju., "The Apprehensive in Russian and Bulgarian," *Studi Slavistici*, 11, 2014, 143–168.
- Ivanova E. Ju., Bužarovska E., "Epistemicheskie voprositel'nye chastitsy *da ne* v makedonskom i *da ne bi* v bolgarskom iazykakh," in: M. B. Konoshenko, E. A. Lyutikova, A. V. Zimmerling, eds., *Typology of Morphosyntactic Parameters*, 3, Moscow, 2016, 140–158.
- Joseph B. D., *The Synchrony and Diachrony of the Balkan Infinitive: A Study in Areal, General, and Historical Linguistics*, Cambridge, 1983.
- Kramer C. E., *Analytic Modality in Macedonian*, Munich, 1986.
- Lichtenberk F., "Apprehensional Epistemics," in: J. Bybee, S. Fleischman, eds., *Modality in Grammar and Discourse*, Amsterdam, Philadelphia, 1995, 293–327.
- Lyons J., *Semantics*, 2, Cambridge, 1977.
- Mitkovska L., Bužarovska E., Kusevska M., "Macedonian '*Da Ne*' Constructions as Distance Markers," in: B. Sonnenhauser, A. Meermann, eds., *Distance in Language, Language of Distance*, Cambridge, 2015, 243–262.
- Nordstrom J., *Modality and Subordinators*, Amsterdam, 2010.
- Palmer F., *Mood and Modality*, 2nd ed., Cambridge, 2001.
- Plungian V. A., "Predislovie," in: *Issledovaniia po teorii grammatiki*, 3: *Irrealis i irreal'nost'*, Moscow, 2004, 9–25.
- Plungian V. A., *Vvedenie v grammaticheskuiu semantiku: grammaticheskie znachenii i grammaticheskie sistemy iazykov mira*, Moscow, 2011.
- Portner P., *Modality*, Oxford, 2009.
- Prokhorov K. N., "Oblique Moods in Kalmyk: Semantics, Morphology, Syntax," in: *Acta Linguistica Petropolitana*, 5/2, St. Petersburg, 2009, 160–224.
- Sweetser E. E., *From Etymology to Pragmatics*, Cambridge, 1991.
- Thompson S. A., "A Discourse Explanation for the Cross-linguistic Differences in the Grammar of Interrogation and Negation," in: A. Siewierska, Jae Jung Song, eds., *Case, Typology, and Grammar: In Honor of Barry Blake*, Amsterdam, 1998, 307–340.
- Thompson S. A., Longacre R., Shin Ja Hwang, "A Typology of Adverbial Clauses," in: T. Shopen, ed., *Language Typology and Linguistic Description*, Cambridge, 2007, 237–300.
- Topolinjska Z., *Polški — makedonski. Gramatička konfrontacija*, 8: *Razvitok na gramatičkite kategorii*, Skopje, 2008.
- Topolinjska Z., ed., *Subjunctive with Special Reference to the Macedonian Da-constructions*, Skopje, 2015.
- Traugott E. C., "From Polysemy to Internal Semantic Reconstruction," in: *Proceedings of the Twelfth Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society*, 12, 1986, 539–550.

Traugott E. C., "Pragmatic Strengthening and Grammaticalization," in: *Proceedings of the Fourteenth Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society*, 14, 1988, 406–416.

Traugott E. C., Trousdale G., "Gradience, Gradualness, and Grammaticalization: How Do They Intersect?" in: E. C. Traugott, G. Trousdale, eds., *Gradience, Gradualness, and Grammaticalization* (= Typological Studies in Language, 90), Amsterdam, 2010, 19–44.

Večerka R., *Altkirchenslavische (altbulgarische) Syntax*, 3: *Die Satztypen: Der einfache Satz*, Freiburg, 1996.

Verstraete J. C., "Subjective and Objective Modality: Interpersonal and Ideational Functions in the English Modal Auxiliary System," *Journal of Pragmatics*, 33, 2001, 1505–1528.

Zorikhina-Nilsson N., "Peculiarities in Expressing the Apprehensive in Russian," in: *Oslo Studies in Language*, 4/1 (= The Russian Verb), 2012, 53–70.

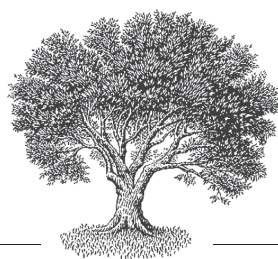
---

проф. **Лилјана Митковска**, доктор по филолошки науки  
Универзитет ФОН, Факултет за странски јазици, редовен професор  
бул. Киро Глигоров бр. 5, 1000 Скопје  
Република Македонија / Republic of Macedonia  
liljana.mitkovska@fon.edu.mk

проф. **Елени Бужаровска**, доктор по филолошки науки  
Универзитет „Св Кирил и Методиј“, Филолошки факултет, редовен професор  
бул. Гоце Делчев бр. 9, 1000 Скопје  
Република Македонија / Republic of Macedonia  
elenibuzarovska@t.mk

проф. **Елена Юрьевна Иванова**, д. филол. наук  
С.-Петербургский государственный университет, филологический факультет,  
профессор кафедры славянской филологии  
199034 С.-Петербург, Университетская набережная, д. 7/9  
Россия/Russia  
e.y.ivanova@spbu.ru

Received March 17, 2017



## О происхождении первого перевода Поучений аввы Дорофея\*

## About the Origin of the First Slavic Translation of the *Instructions* by St. Dorotheus of Gaza

**Татьяна Игоревна  
Афанасьева**

С.-Петербургский государственный  
университет  
С.-Петербург, Россия

**Tatiana I. Afanasyeva**

St. Petersburg State University  
St. Petersburg, Russia

### Резюме

В статье исследуется первый перевод Поучений аввы Дорофея, сохранившийся в двух русских списках XIV в.: Staatsbibliothek zu Berlin, cod. *Hamilton381* и ГИМ, *Чуд.14*. Исследование языка этого перевода в сравнении со вторым переводом по изданию К. Димитрова и греческим текстом позволило выделить ряд русизмов и выдвинуть предположение о его древнерусском происхождении. По языковым особенностям он ближе всего к переводам первой группы по классификации А. А. Пичхадзе, а именно, к его особой подгруппе: Пандектам Никона Черногорца и Огласительным поучениям Феодора Студита. Перевод содержит немало ошибок, малопонятен и не всегда следует пословному принципу. Состав поучений в первом и втором переводе различен, в первом переводе есть послесловие, созданное учениками Феодора Студита, тогда как второй перевод его не содержит. Это позволяет предположить, что греческий оригинал первого перевода был так или иначе связан со Студийским монастырем в Константинополе. Создание южнославянского перевода в середине XIV века привело к полному вытеснению раннего древнерусского перевода из обращения.

---

\* Статья написана при финансовой поддержке гранта РНФ, проект 16-18-10137.



## Ключевые слова

локализация древнеславянских переводов, древнерусские переводы домонгольского периода, лексика и грамматика перевода

## Abstract

In the article the first Slavic translation of the *Instructions* by St. Dorotheus of Gaza, which was preserved in two Russian manuscripts from the 14th century, is studied (Berlin State Library, Cod. Hamilton 381 and State Historical Museum, Moscow, Cod. Chud. 14). The investigation of the language in comparison with the second translation (according to the edition of K. Dimitrov) and the Greek text made it possible to distinguish a number of Russianisms and to suggest an idea of its Old Russian origin. This translation is closest to translations of the first group according to the A. Pichkhadze classification, namely, to his special sub-group: the *Pandectes* by Nikon of Montenegro and the *Catecheses* by St. Theodore the Studite. The translation contains a lot of mistakes, it is not understandable, and it does not always follow the word-for-word principle. The composition of the *Instructions* in the first and second translations is different: in the first translation there is an epilogue created by the disciples of St. Theodore the Studite, while the second translation does not include this. This suggests that the Greek original of the first translation was somehow connected with the Monastery of Stoudios in Constantinople. The creation of the South Slavonic translation in the middle of the 14th century led to the complete elimination of the early Old Russian translation.

## Keywords

localization of Old Slavic translations, Old Russian translations of the pre-Mongol period, vocabulary and grammar of translation

Поучения Дорофея Газского († кон. VI в.) известны в средневековой славянской письменности в двух переводах. На это впервые указали А. В. Горский и К. И. Невоструев при описании сборника ГИМ *Син.719* XVII в., отметив, что у Поучений аввы Дорофея имеется еще один перевод, более древний и весьма неисправный, и он содержится в пергаменной рукописи *Чуд.164* XIV в. [Горский, Невоструев 1859: 224]<sup>1</sup>. Второй перевод поучений, южнославянский по происхождению, получил широкое распространение: он известен в рукописях всех изводов и вошел в состав Великих Миней четьих митрополита Макария под 5 июня. Второй перевод изучался: был составлен перечень рукописей, в котором он имеется, и выдвинуто предположение, что он сделан в Тырново в XIV веке [Христова-Шомова 2001]. Камен Димитров исследовал и издал этот перевод по древнейшему списку РНБ *Погод.1054* середины XIV в. с параллельным греческим текстом [Димитров 2013]. Это же

<sup>1</sup> Сейчас эта рукопись имеет другой шифр — *Чуд.14*.

издание имеет электронный вариант, доступный в интернете на сайте Софийского университета<sup>2</sup>.

Первый перевод поучений аввы Дорофея изучался очень мало. Искра Христова-Шомова предположила, что он может быть русским, однако никаких аргументов, подтверждающих свое мнение, не привела [Христова-Шомова 2001: 37]. Она впервые указала еще один список первого перевода — рукопись, хранящуюся в Берлинской государственной библиотеке, — *cod. Hamilton 381* [далее *Ham. 381. — Т. А.*]. В каталоге славянских рукописей заграничных библиотек А. И. Яцимирского она датирована рубежом XIII–XIV вв. [Яцимирский 1921: 412–418], однако наше изучение рукописи *de visu* не позволяет сомневаться в том, что рукопись моложе и ее можно отнести ко второй половине XIV века. С подобной датировкой согласился А. А. Турилов [2011: 177, примеч. 16].

К. Димитров, исследовав одно поучение по двум переводам (слово 18 в первом переводе, во втором переводе это слово 21), выдвинул предположение, что первый перевод преславский, о чем, по его мнению, свидетельствуют архаичные глагольные формы, в частности, супин, а также большое число несоответствий славянских временных форм греческим: причастия передаются личными формами глагола и наоборот, аорист нередко переводится как будущее время. Язык первого перевода старше, и это видно по наличию более архаичной лексики, его лексические варианты, как правило, преславизмы. Кроме того, К. Димитров заметил, что во втором переводе числительное **седмь** и образованные от него существительные (**седмица**, **седморица**) соотносятся с греческим числительным ὀγδοός ‘восьмой’. На основании этого автор выдвинул предположение о глаголическом прототексте, лежащем в основе обоих переводов и сохраняющем ряд древних чтений во втором переводе [Димитров 2007].

Вопрос о происхождении первого перевода, на наш взгляд, остается открытым, потому что наличие преславизмов присуще также и древнерусским переводам, а несоответствие славянских глагольных форм греческим ничего не говорит о его происхождении. В данной статье делается попытка локализовать первый перевод путем сравнения двух переводов по рукописям *Ham.381* и *Погод.1054* с греческим оригиналом. Южнославянский перевод и греческий оригинал мы использовали по изданию К. Димитрова [2013].

Первый перевод меньше по объему. Он содержит меньшее число глав (слов), здесь их 22 вместо 25: пропущены два слова с толкованиями св. Григория, слово о “посещении брата” [Христова-Шомова 2001: 49].

<sup>2</sup> *Cyrrillomethodiana: Слова на Авва Доротеј* ([http://histdict.uni-sofia.bg/textcorpus/show/doc\\_12](http://histdict.uni-sofia.bg/textcorpus/show/doc_12); последнее обращение: 06.12.2017).

При сравнении со вторым переводом и греческим текстом видно, что первое слово не имеет начала, оно начинается с последнего абзаца этого слова: **Вре̑мѧ ѡбѡимиче сладкѹю ѡбѣскыхъ словесѣ поставити трапезѹ.** Слова 3 и 7 не имеют заголовков. Один из параграфов слова 25 “о немощней братии” имеет самостоятельный статус и помещен в переводе как слово 23. В конце поучений имеется послесловие, отсутствующее во втором переводе, но имеющееся в греческом издании, где оно помещено в качестве анонимного пролога к поучениям аввы Дорофея [PG, 88: 1612–1613].

В обоих списках первого перевода деление на главы совпадает, видимо, такой состав поучений восходит к архетипу перевода. Список *Нам.381* является полным, тогда как в Чудовском списке есть утраты. Здесь отсутствуют слова 1 и 2, кодекс начинается с конца третьего слова, далее рукописи полностью совпадают. В нашем исследовании мы будем опираться на более полный список *Нам.381*. Для исследования были выбраны следующие фрагменты текста: слово 2, содержащее житие ученика аввы Дорофея Досифея, слово 3 “Учения различна къ своимъ емоу учеником”, слово 6 “О божественном страхе”, слово 12 “О еже с рассмотреньем и с бодростью ходити”, слово 13 “Об отсечении страстей” и слово 14 “О страхе будущих мук”. Выбор данных глав объясняется тем, что слово 2 имеет нарративную структуру и содержит большое число примеров употребления прошедших времен. Слова 12 и 13 имеют русскую лексику, тогда как в словах 3, 6 и 14 ее гораздо меньше. Список *Чуд.14* на изученных отрезках текста (кроме слова 2, которое в нем утрачено) полностью совпадает с *Нам.381*, различия между ними в основном орфографические. Привлечение данного объема текста, на наш взгляд, достаточно для определения происхождения перевода, хотя некоторые полученные выводы следует считать предварительными.

1. Происхождение перевода определяется на основании языковых данных, причем особое внимание обращается на локальные лексические особенности: обозначение мер длины, веса, денег, предметов быта [Соболевский 1980: 136–137]. В изучаемом переводе поучений аввы Дорофея найдены немногочисленные древнерусские лексемы такого рода, однако их присутствие в тексте свидетельствует о том, что переводчик был русским и в некоторых случаях употреблял вместо церковнославянских эквивалентов привычные для него слова. Приведем их ниже (чтение *Нам.381* приводится на первом месте, *Погод.1054* на втором. — Т. А.).

вьрста: цр̑скыѣмъ поутѣмъ ходите и версты измѣряйте [*Нам.381*: 166] / п̑жтѣмъ цр̑скыѣмъ ходите, и п̑прица чьтѣте [*Погод.1054*: 253об.] —

ὁδῶ βασιλικῇ πορεύεσθε καὶ τὰ μίλια μετρεῖτε; вѣ кѣю ли верстоу достигена  
коѣмъ ли съставлении кѣсть [Ham.381: 167] / греч. и южнослав. параллели  
нет; идоша двѣ версте [Ham.381: 167] / шествоужть двѣ пѣприци [По-  
год.1054: 255] — ὁδεύουσι δύο μίλια. Слово **верста** в значении ‘мера дли-  
ны’ встречается исключительно в русских памятниках письменности,  
оно зафиксировано в древнейших летописях — Новгородской, Лавренть-  
евской и Ипатьевской, в договорной грамоте Новгорода 1325–1327 гг., в  
Пандектах Никона Черногорца, где оно также переводит греческое сло-  
во μίλια. В южнославянских памятниках оно имеет другое значение:  
‘возраст’, ‘ровня’ [СДРЯ, 1: 266–267]. Впрочем, такое значение встреча-  
ется и в некоторых древнерусских переводах, но именно древнерусское  
значение этого слова — ‘мера длины’ [Пичхадзе 2011: 109–110].

**капоуѣста:** ꙗкоже се глѹ . капоуѣстнаѧ черна кроуѣина бѣваѣтъ [Ham.381:  
175об.] / зѣлие глѣмое крамѣѧ сплинѧ творитѣ [Погод.1054: 263об.] — ἡ  
κράμβη μελαγχολικὴ ἐστὶ; не ѿ ꙗдениѧ . соуѣтъ бо кѣиноу ли дважды  
капоуѣстнаѧ дѣмениѧ [. . .] бѣваѣтъ чернаѧ кроуѣина зѣмнаѧ в немъ  
[Ham.381: 175об.] / не ѿ снѣдениѧ ѡбо единого или двою крамѣѧ ꙗ лѣца  
[. . .] бѣваѣтъ ктѡ сплинаѣ [Погод.1054: 263об.] — οὐ παρὰ τὸ φαγεῖν οὖν  
ἅπας ἢ δεύτερον κράμβην, ἢ φακῆν. [. . .] γίνεται τις μελαγχολικὸς χυμὸς. В  
первом переводе дважды употреблено прилагательное от русизма **ка-  
поуѣста**, включенного в список русизмов А. И. Соболевским: он несколько  
раз встречается в Студийском уставе [Соболевский 1980: 139], а также  
имеется в древнерусском переводе Пандектов Никона Черногорца и в  
Мериле праведном [СДРЯ, 4: 204] В Пандектах Никона Черногорца **капоуѣ-  
ста** переводит греческое слово ἀλμία ‘рассол’ [Максимович 1998: 413], в  
Поучениях аввы Дорофея слово соответствует греческому κράμβη ‘ка-  
пуста’. В изучаемом переводе оба пассажа не очень понятны, в первом  
примере, видимо, изначально было чтение **капоуѣста**, которое в даль-  
нейшем было переосмыслено как прилагательное к слову **кроуѣина**. Во  
втором примере речь идет о том, что у того, кто поест один или два раза  
капусту или чечевицу, не будет “черножелчной” болезни. Древнерусский  
переводчик передает мысль с искажением.

**желюудѣкъ:** отагчи желюудокъ мои [Ham.381: 176об.] / ѡтакчи са  
сыѣрице мое [Погод.1054: 265] — ἐβαρήθη ὁ στόμαχός μου. Русизм **же-  
лоудѣкъ** отмечен Соболевским в Пчеле [Соболевский 1980: 141], он  
также зафиксирован в древнерусском переводе Пандектов Никона Чер-  
ногорца и Толковой палее [СДРЯ, 3: 241].

**кровать:** имах же и книгѣ близ себе на кровати [Ham.381: 165об.] /  
имѣх ꙗ книгѣ близъ себе на ѡдрѣ [Погод.1054: 253] — ἔχων καὶ τὸ βιβλίον  
ἐκ πλαγίου μου εἰς τὸν κροβάτην. Данное слово является грецизмом,  
имеющим в восточнославянских языках другую форму, нежели в



южнославянских. Болгарский и сербский варианты — *креват, кревет* — ближе к новогреческому *κρεβάτι* [Пичхадзе 2011: 93]. Грецизм *кровать* широко представлен в древнерусских памятниках: в “Слове о полку Игореве”, в Огласительных поучениях Феодора Студита, в Пчеле [СДРЯ, 4: 299].

**похавъ**: тогда гла кмѹ похавѣ [Нат.381: 115] / тогда гла · несмыслѣне [Погод.1054: 198об.] — τότε λέγει αὐτῷ Μωρέ. Слова **похавъ**, **похавѣство**, **похавивъи** были широко распространены в древнерусской письменности и переводили разные греческие слова: *παραφρονός* ‘сумасшедший’, *σαλός* ‘глупый’, ‘безумный’, *μωρός* ‘глупый’. В южнославянской письменности подобное слово не известно.

2. В первом переводе поучений аввы Дорофея выявлены очень редкие слова, которые дают возможность связать его с другими древнерусскими переводами домонгольского времени. Это, например, глагольная форма **скѣмѣтъ**: **искоушениа же скѣмѣтъ ю** [душу. — Т. А.] и **поноужаютъ ю к бѣгоу** [Нат.381: 187об.] / **искоушениа же състажажъ и прнединѣваютьъ ѿ бѣи** [Погод.1054: 275об.] — ὁ δὲ πειρασμοὶ συσφίγγουσι αὐτὴν καὶ ἐνοῦσιν αὐτὴν τῷ Θεῷ. Редкий глагол **скѣмити** не отмечен в словарях, приведена лишь форма причастия от него **скѣмимъ** (томимый, исполненный тоски, греч. *περιτρίζουσαν*) и отглагольное существительное **скѣмленьк** (томление, тоска, греч. ὁ πνιγμός). Оба употребления связаны с одним и тем же текстом — Огласительными поучениями Федора Студита [СДРЯ, 11: 259]. В изучаемом переводе глагол **скѣмити** близок по значению и переводит греческий *συσφίγω* ‘туго связать’, ‘связать вместе’ [СОРНОСЛЕС 1060; ЛАМРЕ 1352]. Отметим, что в современном украинском языке есть глагол *скеміти* с тем же значением (‘ныть, болеть, щемить’), который имеет разговорный оттенок [Сум, 9: 259]. Возможно, в данном переводе мы сталкиваемся с локальным южнорусским употреблением.

Редкое слово **остращенник** со значением ‘страдание, мучение’ и причастие **остращенъи** встречаются в тексте четыре раза: **блюдѣтесѡ братиѡ како въ остращенникъ въпадаемъ нѣкоко** [Нат.381: 170] / **видите ли братіѣ ко́лико стра́нне е́сть** [Погод.1054: 258] βλέπετε, ἀδελφοί, πόση ταλαιπωρία τοῦ ἐμπεσεῖν τινά; **дѣщери вавилонѡ остращенъиѡ** [Нат.381: 171об.] / **дѣщи вавѣлѡнѣ ѡкааннаѡ** [Погод.1054: 259об.] — θυγάτηρ βαβυλῶνος ἡ ταλαίπωρος; **остращенникъ наречетъ ихъ** [Нат.381: 171об.] / **ѡкааннѡ же тѣ нарицаетъ** [Погод.1054: 259об.] — ταλαίπωρον δὲ αὐτὴν καλεῖ; **видите коко окаанство коко остращенникъ** [Нат.381: 175] / **зрите коє ѡкаанствѡ · котѡрое стра́нне** [Погод.1054: 263] — βλέπετε ποῖα ἀθλιότης, ποῖα ταλαιπωρία. Из приведенных примеров видно, что слово **остращение** в первом переводе всегда соответствует греческому *ταλαιπωρία*. Такое соответствие частотно



представлено в единственном памятнике — в Огласительных поучениях Федора Студита, в нем имеются другие формы этого слова — **острацати-сѧ, острацѣньнѣи** [СДРЯ, 6: 187–188]. В словаре И. И. Срезневского это слово не отмечено. Греческое слово *ταλαιπωρία* в большинстве древнерусских переводов передается словом **окапанство, страсть, троужание** [Пичхадзе 2011: 210].

Существительное **обавленик** со значением ‘лекарство’ встретилось в тексте шесть раз: **обавленик ветхѡ соущѣ** [Нам.381: 170об.] / **ѡко лѣчбы ветхѣ сѣщѣж** [Погод.1054: 258] — *ὅτι τὰ φάρμακα παλαιὰ ὄντα; ἢ οὐκ ἔδωκεν ἀρμόδια τὰ φάρμακα; подакть обавленик* [Нам.381: 170об.] / **инж въ дроугжж мѣсто лѣчбж подаваѣтъ** [Погод.1054: 258об.] — *ἄλλο ἀντ’ἄλλου φάρμακον παρέχει; не давшю добра обавлениа* [Нам.381: 170об.] / **не дастъ по<sup>д</sup>вию лѣчбы** [Погод.1054: 258об.] — *οὐκ ἔδωκεν ἀρμόδια τὰ φάρμακα; подакть обавленик* [Нам.381: 170об.] / **подаваѣтъ ѡ лѣкованіѣ** [Погод.1054: 258об.] — *παρέχει τὸ φάρμακον; обавленик имать* [Нам.381: 170об.] / **имать лѣчбж** [Погод.1054: 258об.] — *ἔχει φάρμακον; обавлениа ветха соутъ* [Нам.381: 170об.] / **лѣчбы ветхѣ сѣщѣж** [Погод.1054: 258об.] — *τὰ φάρμακα παλαιὰ ὄντα*. Лишь в одном случае **обавити** переводит греческий глагол *ἀπενεόομαι* ‘изумиться, остолбенеть’: **отрокъ же слышавъ ѡ неѧ обависѧ и подивисѧ** [Нам.381: 111] / **дѣтищѣ же слышж ѡ неж, ѡзмѣнѣашѣ сѧ оумомъ ѡ чюжѣашѣ сѧ** [Погод.1054: 194об.] — *ὁ δὲ παῖς ἀκούων παρ’ αὐτῆς ἀπηνεόυτο καὶ ἐθαύμαζεν*. В значении ‘лекарство, лечебное средство’ оно представлено в Огласительных поучениях Феодора Студита и употреблено в соответствии с *φάρμακον* пять раз; один раз зафиксировано в Пандектах Никона Черногорца [СДРЯ, 5: 467]. В южнославянских переводах обычно употребляется омоним **обавление** (от **авити** — явление, откровение), который соответствует греческим дериватам от глаголов *φαίνω, δέξομαι* и в таком значении употребляется в Изборнике 1073 г., в XIII Словах Григория Богослова XI в., Минее 1097 г. [СРЕЗНЕВСКИЙ, 2: 495–496].

**сѣвинити: ѡ нѣчто сѣвини** [Нам.381: 112об.] / **нѣчто сѣгрѣши** [Погод.1054: 196] *τίποτε ἐσφάλη; не можѡ га ради азъ свинихъ* [Нам.381: 140] / **нѣ га ради азъ сѣгрѣшихъ** [Погод.1054: 225об.] — *μή, διὰ τὸν Κύριον, ἐγὼ ἐσφάλην*. В двух контекстах редкий глагол **сѣвинити** имеет значение ‘упасть вниз, согрешить’ и переводит греческий *σφάλλω*. Данное значение у **сѣвинити** зафиксировано только в Пандектах Никона Черногорца [СРЕЗНЕВСКИЙ, 3: 568]. Кроме того, в последнем примере находим древнерусский прохибитив **не можѡ**, относящийся к греческой отрицательной частице *μή*, тогда как в южнославянском переводе отрицание передано так же — частицей. Распространение особой перифрастической конструкции “**не можѡ** + инфинитив” характерно для древнерусских переводов второй группы [Пичхадзе 2011: 330–331], а также для русских

оригинальных текстов [СДРЯ, 5: 27]. В изучаемом переводе оно не является перифрастической конструкцией, а фигурирует изолированно.

площица: видѣхъ только много площиць идущѣ в клѣтъ мою [Нам.381: 140] / зрѣхъ только множествѣмъ влѣхъ въходящѣ въ келіа моѣж [Погод.1054: 226] — ἔβλεπον τοσοῦτον πλῆθος κορίδων εἰσερχομένων εἰς τὸ κελίον μου. Слово *площица* отмечена в словарях только в одном памятнике, в Пандектах Никона Черногорца, где она также переводит греческое *κόρις* — ‘клоп, жук, насекомое’ [СДРЯ, 6: 433].

Как видно из приведенных совпадений, первый перевод поучений аввы Дорофея тяготеет к узкому кругу памятников: древнерусскому переводу Пандектов Никона Черногорца и к Огласительным поучениям Феодора Студита. По наблюдениям Д. С. Ищенко, перевод Огласительных поучений изобилует ошибками, происходящими от того, что книжник путал близкие по написанию греческие слова [Ищенко 1982: 313–314]. Перевод поучений аввы Дорофея, изучаемый в данной статье, А. В. Горский и К. И. Невоструев также охарактеризовали как маловразумительный. Действительно, он содержит немало ошибок, в частности, переводчик путает слова, которые в среднегреческих рукописях писались с неразличением *ω* и *ο*. Например, в отрывке, где речь идет о готах, которые, когда гневаются, громко кричат, читаем: *нбо ти кгда охрьмѣть зовѣть* [Нам.381: 115] / *нбо ѡни егда разгнѣважтсѣ, гнѣважще сѣ въпижѣтъ* [Погод.1054: 198об.] — *καὶ γὰρ ἐκεῖνοι ὅταν ἐκχολοῦνται χολοῦσιν καὶ κράζουσιν*. Переводчик явно путает глагол *χωλεύω* ‘стать хромым’ и *χολάω* ‘сердиться’.

Приведем другой пример из пассажа, где рассказывается об орле, который, если запутается в сети хотя бы одним ногтем, то из-за этого теряет всю свою силу: *обращетъ же сѣ кдиномоу бѣти в нощи свѣзаню ѡ сѣти тоа малыа . и низълагаѣтъ всю свою силоу* [Нам.381: 176] / *ѡбращетъ же сѣ единъ ноктъ ѣго свѣзанъ . малыимъ ѡнѣмъ низлѣгаѣтъ сѣ всѣ сѣла ѣго* [Погод.1054: 264] — *εὐρεθῆ δὲ μόνος ὁ νύξ αὐτοῦ δεδεμένος, διὰ τοῦ μικροῦ ἐκείνου καταβάλλεται ὅλη ἡ δύναμις αὐτοῦ*. Здесь переводчик перевел *ὄνυξ* ‘ноготь’ как *νύξ* ‘ночь’ — и получилось нечто малопонятное.

Вот еще один пример, в котором идет речь о том, что “когда мы становимся добродетельными, мы как будто возвращаемся от бельма к прежнему зрению”: *въ свое сѣдрѣво (!) сходѣтъ ꙗко ѡ очию на свои свѣтъ* [Нам.381: 175] / *и на свое зрѣвѣ въсхѡдимъ ꙗкоже ѡ вѣлма на свои свѣтъ* [Погод.1054: 263об.] — *εἰς τὴν ἰδίαν ὑγείαν ἐπανερχόμεθα, ὥσπερ ἀπὸ ὀφθαλμίας ἐπὶ τὸ οἰκεῖον φῶς*. Переводчик перепутал два близких по написанию греческих слова *ὀφθαλμός* ‘глаз’ и *ὀφθαλμία* ‘болезнь глаза, бельмо’. Выше были продемонстрированы ошибки при переводе пассажей о “черножелчной болезни”, подобные примеры можно умножить.

3. В первом переводе поучений аввы Дорофея встречаются некоторые грамматические особенности, которые, наряду с лексическими, могут свидетельствовать о его древнерусском происхождении. Так, в изученных фрагментах текста неоднократно встречаются формы имперфекта 3-го лица с наращением -ть: *имашеть* и [111], *видахуть кго, видахуть же кго* [112об., 114], *ношахуть* и [114], *роптахуть нѣци* [115об.], *ѡрѣшахуться того* [167об.]. Единичные формы подобных имперфектов зафиксированы в некоторых старославянских памятниках [Соболевский 1907: 163], однако в древнерусской письменности они очень частотны. По наблюдениям В. М. Живова, подобные формы употреблялись по большей части перед разного рода клитиками (*и, оубо, же*) [Живов 2006: 208–213]. В переводах древнерусского происхождения частотность имперфектов с добавочным окончанием соотносительна с таковой в оригинальных древнерусских текстах, и показатель частотности данных форм может рассматриваться как свидетельство древнерусского происхождения переводных памятников [Жолобов 2015: 30]. Частотность употребления данной формы может быть определена только при полном исследовании текста, сейчас же мы просто отметим ее наличие.

В переводе встретились особые формы имперфекта, образованные от перфективной основы, в частности *бѹдѣше, избѹдѣшесѧ*. Приведем примеры: *кгда волнии бѹдаху немѹше прилежащихъ имъ* [Нам.381: 111об.] / *ѣгда въ волѣзни въпадаахѹ, не ѣмѣше пекѹщаго сѧ ѡ ни* [Погод.1054: 194] — *ὅτε ἡρρώστουν, μὴ ἔχοντες τὸν ἐπιμελούμενον αὐτῶν; кгда ми поспати бѹдѣше близъ себе имѣахъ на постели моки* [Нам.381: 165об.] / *и егда спѣхъ, такоже близъ имѣхъ тѣхъ на столѣ моем* [Погод.1054: 253] — *καὶ ἐν τῷ κοιμηθῆναι ὁμοίως πλησίον μου εἶχον αὐτὸ εἰς τὸ θρονίον μου*. В старославянской письменности перфективный имперфект был распространен крайне мало, он известен лишь в некоторых восточно-болгарских памятниках (таких как Супрасльская рукопись, Изборник 1073 года, XIII Слов Григория Богослова) и имеет особое значение многократности и повторяемости действия в прошлом. Однако в древнерусской письменности он получил большое распространение и зафиксирован в целом ряде древнерусских произведений (например, Житие Феодосия Печерского), а также в переводных древнерусских памятниках: в Хронике Георгия Амартола и Пандектах Никона Черногорца. Активное употребление подобных форм отмечено в Истории Иудейской войны Иосифа Флавия и в Огласительных поучениях Феодора Студита [Жолобов 2015: 28–30].

Яркая древнерусская особенность перевода — употребление числительного *полъ вѣтора*: *изѣдаю полъ вѣтора хлѣба* [111] / *сынѣдохъ ѣдинъ*

и полъ хлѣба [195об.] — ἐφαγον ἓνα ἥμισυ ἄρτον. Половинный количественный был присущ праславянскому языку, однако во многих славянских языках постепенно утрачивался. В древнерусском языке сочетание **полъ втора** частотно в оригинальных памятниках, и прежде всего — в берестяных грамотах [Жолобов 2006: 52, 198–200]. В старославянских памятниках подобная модель не зафиксирована, во втором переводе числительное “полтора” передано как: **единъ и полъ**, что соответствует внутренней структуре греческого счетного словосочетания ἓνα ἥμισυ.

Еще одна грамматическая особенность, позволяющая предположить древнерусское происхождение перевода, — широкое употребление вспомогательного глагола **начати** при образовании будущего времени. Подобные описательные конструкции с **начати** были характерны для восточнославянского узуса и широко представлены в летописях и грамотах. В изучаемом переводе примеры подобных конструкций чаще всего имеют значение “обнаружившейся ситуации” и представлены в условных придаточных предложениях [Юрѣва 2010: 278–280]. Как будет видно из приведенных ниже примеров, второй перевод избегает подобных моделей и употребляет простое будущее либо настоящее время: **аще [ . . . ] в кѡни оберѣтсѧ вещи небрежетъ своимъ лѣнитисѧ начьнетъ** [Нам.381: 140об.] / **аще [ . . . ] ꙗкова любо ѡбръщетъ сѧ вещь · да не небрѣжетъ ѡ неѣи ѡ блѣнитъ сѧ** [Погод.1054: 226об.] — ἀμελήσει; **аще не имѣти начнетъ помощи нѣ ѡ кокого стго** [Нам.381: 168] / **аще ѡ не помощь имѣтъ ѡ нѣкыихъ стхъ** [Погод.1054: 256] — βοηθεῖαν σχῆ; **аще на помощь имѣти начнемъ нѣкокого стѧ** [Нам.381: 171об.] / **аще не и помощь имамъ нѣкыихъ стхъ** [Погод.1054: 259об.] — βοηθεῖαν σχῶμεν; **да аще кто сѧ тако испътытавакѣтъ на всакъ день [ . . . ] и исправлѣтисѧ начнетъ** [Нам.381: 174] / **аще сѣце испытоуетъ ктѡ себе вынѣ [ . . . ] ѡ исправитъ себе** [Погод.1054: 262] — διορθοῦσθαι ἑαυτόν; **дажъ кмоу кѡлико хотѣти начнетъ** [Нам.381: 174об.] / **дажъ кмоу кѡлико хоцетъ** (θέλει) [Погод.1054: 262об.] — ὅσα θέλει; **что ксть кже жеци начнетъ** [Нам.381: 177об.] / **что кпѧлѧи его** [Погод.1054: 266] — τί ἐστι τὸ καῖον αὐτόν.

5. Изучение древнерусских переводов домонгольского времени как единого комплекса текстов, проведенное А. А. Пичхадзе, показало, что эти переводы неоднородны и делятся на две большие группы. Первая группа — это переводы, содержащие наряду с русизмами южнославянизмы и ориентирующиеся на языковой узус переводов Кирилла и Мефодия и их учеников. Вторая группа — это переводы, не содержащие южнославянизмов и опирающиеся по большей части на преславские (восточноболгарские) переводческие традиции [Пичхадзе 2011].



Первый перевод поучений аввы Дорофея предположительно можно отнести к первой группе, поскольку на изученных фрагментах текста встретились характерные южнославянизмы, свойственные именно ей.

**поуцини:** скорбитъ ꙗко не рече дроугъхъ трии пѣшьшихъ [Нам.381: 168] / ѿ скръбѣтъ ꙗко не рѣдроугѣж трѣгорѣжж [Погод.1054: 256] — θλίβεται ὅτι οὐκ εἶπεν ἄλλα τρισχείρω. Прилагательное в сравнительной степени **поуцини** в значении ‘худший’ известно в некоторых древнеболгарских памятниках: в Пандектах Антиоха по списку XI в. и в Апостоле [Пичхадзе 2011: 142]. Остальные контексты, приведенные в исторических словарях, — это восточнославянские переводы Хроника Георгия Амартола, Житие Андрея Юродивого, Пчела, Житие Федора Студита [СДРЯ, 9: 335–336].

**изѣцнѣи:** в нихже преизѣщена бѣста велика два старца [Нам.381: 110об.] / въ нихже бѣшж лоуѣшшии, два велика старца [Погод.1054: 193об.] ἐν οἷς ἦσαν διαπρέποντες δύο μεγάλοι γέροντες; съхранаѣа юго изѣцнѣ тоую любовь [Нам.381: 134об.] / хранѣа емоу своиствнѣ самжж любовь [Погод.1054: 220] φυλάττων αὐτῷ ἰδικῶς αὐτὴν τὴν ἀγάπην; блаженаго дорофѣа православнаго и изѣцнаго [Нам.381: 206] / южнослав. нет τοῦ μακαρίου Δωροθέου, ὀρθοδόξου καὶ ἐπισήμου. В тексте два раза (первый и третий примеры) употреблено прилагательное **изѣцнѣи** в древнем значении ‘лучший, видный, замечательный’. Такое значение известно как в кирилло-мефодиевской традиции, так и в первой подгруппе древнерусских переводов, опирающихся на эту традицию [Пичхадзе 2011: 59]. Во втором примере **изѣцнѣи** имеет другое значение, потому что соответствует греческому ἰδικῶς ‘собственно’. В словарях подобное значение не зафиксировано, и возможно, здесь представлена ошибка переводчика.

**неистовитисѣ:** и присно неистовитисѣа [Нам.381: 168] / ѿ присно гнѣваѣт сѣа [Погод.1054: 255об.] — καὶ ἀεὶ μαίνεται. В большинстве древнерусских переводов глагол μαίνομαι переводится как **бѣсоватисѣа**, (**раз**)**гнѣватисѣа**. Данный глагол известен в переводе Евангелия, в декабрьской служебной минее [Пичхадзе 2011: 209], поэтому данный вариант следует признать южнославянизмом в древнерусском переводе.

**воинникъ:** воинници видаѣше и в такомъ прѣлежанѣи [Нам.381: 111об.] / воинни видаѣше ёго въ тацѣмъ прѣвѣивани [Погод.1054: 195] — στρατιῶται; оуношю въ воинничскы ходаѣца [Нам.381: 110об.] / юношж воинскаа носѣца [Погод.1054: 194] — νεώτερον, στρατιωτικὰ φοροῦντα. **Воинникъ** в значении ‘воин’ является весьма древним редким словообразовательным вариантом. Оно употребляется в древнеболгарской Путятиной минее XI в., но впоследствии получает распространение в древнерусских переводах домонгольского периода: в Ефремовской кормчей, Хронике



Георгия Амартола, Житии Феодора Студита, Истории Иудейской войны Иосифа Флавия, Пчеле [СДРЯ, 1: 462–463]. С XIV века оно заменяется более распространенным **воинъ**, а вариант **воинникъ** получает другие значения: ‘военноначальник’, ‘неприятель’ [ІВІД. 2: 307].

Число южнославянизмов в тексте невелико. В переводе употребляется исключительно послелог **ради**, послелог **дѣла** ни разу не встретился, что также характерно для переводов первой группы. Свойственная первой группе лексема **шюи** употребляется в переводе вместо **лѣвыи**. Наряду с этим в переводе встречаются лексические преславизмы, а также наблюдаются явления, которые в большей степени свойственны переводам второй группы. Например, здесь преобладает лексема **печаль** вместо **скорбь**: первая встретилась 33 раза, вторая — восемь раз. Переводчик предпочитает союз **понеже** вместо **занеже**: на изученном фрагменте текста **занеже** встретилось только три раза, а **понеже** — 31 раз [Пичхадзе 2011: 55, 77]. Форма первого лица ед. числа глагола **вѣдѣти** регулярно передается как **вѣдѣ**, что соответствует восточноболгарской норме [Вайан 1952: 348]. Формы аористов, как правило, не имеют приращений в 3 л. ед. числа, глагол **реци** всегда имеет формы сигматического аориста нового типа **рекохъ** и т. д. [Пичхадзе 2011: 323, 324–325]. Приведем примеры выявленных нами преславизмов:

**измормривати**: и тѣ червь изъмормривакѣ древо [Нам.381: 166об.] / и тако самыи чръвъ снѣдаетѣ дрѣво [Погод.1054: 254] — καὶ οὕτως αὐτὸς ὁ σκώληξ βιβρώσκει τὸ ξύλον. Редкий глагол **изморморати** со значением ‘источить как бы мраморными жилками’ зафиксирован только в Супрасльской рукописи и в Житии Иоанна Златоуста и также имеет связанное со словом червь значение: **червие измормороша**, **червие измормьржтъ** [Срезневский, 1: 1064–1065]. В изучаемом переводе это слово имеет русский имперфективный суффикс **-ыва**.

**до сыти**: до сыти ли досиѣе . Ѡвѣща ки ги до сыти ми [Нам.381: 112] / довлѣт ли ти досѣе . Ѡвѣща . ен ги мѡи довлѣт ми [Погод.1054: 195об.] — Καλῶς ἔχεις, Δοσίθεε; ἀποκρίνεται· Ναί, καλῶς ἔχω. Выражение **до сыти** в значении ‘досыта’, ‘достаточно’ представлено лишь несколькими древнейшими старославянскими памятниками: Супрасльской рукописью, Златоструем XII в. В южнославянских памятниках преобладает словообразовательный вариант **сытость** и выражение **до сытости** [SJS, 4: 373]. В древнерусских памятниках, наоборот, употребление этого выражения очень частотно, оно зафиксировано как в переводах (в Пандектах Никона Черногорца и в Житии Андрея Юродивого), так и в оригинальных произведениях: в древнейших летописях, Вопросаниях Кирика, Поучениях Ильи Новгородского, Житии Феодора Студита [Срезневский, 3: 878].

**БЪЛВАНЪ: ТОГДА НАЧАША БОЛВАНОМЪ СЛУЖИТИ** [*Нат.381: 116*] / **ТОГДА НАЧАТЪСЯ ИДОЛОСЛУЖЕНИЕ** [*Погод.1054: 200*] — τότε ἤρξατο εἰδωλολατρία. Слово **БЪЛВАНЪ** распространено только в древнейших южнославянских переводах: в Изборнике 1073 г., в Златоструе, а в дальнейшем представлено только русскими памятниками [Срезневский, 1: 197–198]. Во втором переводе данное слово уже не употребляется.

Первая группа древнерусских переводов разделяется на две подгруппы: подгруппа Хроники Георгия Амартола и подгруппа толковых переводов. Несколько особняком стоит перевод Пандектов Никона Черногорца, созданный на Афоне не позже XII в. и содержащий большое число грецизмов. Изучаемый перевод, как мы показали выше, имеет с Пандектами ряд совпадающих редких слов (**сѣвинити** ‘согрешить’ и **обавление** ‘лекарство’), однако грецизмы, характерные для перевода Пандектов, в нем крайне редки. С группой толковых переводов наш перевод сближается по частотному употреблению имперфектов от перфективных основ, но в целом совпадения с данной группой немногочисленны. Возможно, исследование полного текста памятника даст возможность выявить большее число совпадений с группой толковых переводов. На данном этапе исследования можно выдвинуть рабочую гипотезу о том, что первый перевод Поучений аввы Дорофея — это древнерусский перевод домонгольского времени, который близок по своим переводческим приемам памятникам подгруппы Пандектов Никона Черногорца; он имеет в лексике ряд совпадений в большей степени с Огласительными поучениями Феодора Студита. Возможно, перевод делался южнославянским книжником, но для древнерусского читателя и для использования на Руси, как и другие переводы первой группы. Текст изобилует ошибками и неточностями, местами отступает от подстрочной манеры перевода, характерной для церковных текстов. В этом он сближается с группой “неудачных” переводов, к которым относятся Огласительные поучения Феодора Студита [Ищенко 1982: 313] и Житие Феодора Студита [Пичхадзе 2011: 36].

6. О близости первого перевода Поучений аввы Дорофея к кругу переводов, связанных с Феодором Студитом, может свидетельствовать послесловие, читающееся в обоих списках. Как было отмечено выше, оно отсутствует во втором переводе, а в изданиях греческого текста поучений фигурирует как одно из анонимных предисловий [PG, 88: 1612–1613; REGNAUT, PREVILLY 1963: 106–109]. Приведем его здесь полностью по рукописи *Нат. 381*, л. 206–207:

**Се же вѣдѣти кѣтъ ꙗко два кѣта дорофѣѣа · и два варсанофѣѣа · ова оубо севгирова оученика · а си свершенок пошеник възлюбивша · и снѣ**

приведохомъ въ сѣи книги · тѣмъ прилѣжноа молимъ и на добродѣтель  
и на дѣшеполезнѣ · ꙗко паче ꙗко блаженаго дорофѣа православнаго  
изъщенаго · ꙗвлѣша въ оубѣствѣ соуща бѣвѣша тѣзнаго · тако инѣмъ  
моудрѣствовѣша и въображѣша · ꙗкоже и оцѣ нашъ хѣвъ исповѣдникъ  
феодоръ стоудѣискии · бѣвѣши о бѣѣ игоуменъ въ заповѣдѣхъ иже къ  
своимъ оучѣникомъ · блгопрѣбыванѣ наоучи · съ своєю вѣрою моудрости · и  
ѿпроповѣдавъ мръзость безбожныхъ кретикъ · рекъши тако прилагати и  
всѣ книги бѣдѣхоньныа<sup>3</sup> · ветхаго же и новаго заветѣа  
принимающе пакы же прочеи и бѣвидныхъ оцѣ оучитель  
[206об.] же и постникъ живѣвшихъ же и бѣжественна книги  
съписавшихъ · се же рекохъ оумовредѣти ради памфилова ·  
иже ѿ вѣстока пришедшаго · и прѣдѣнаго низложивша ·  
глаголю же марка и исаню · и варсануфѣа · дорофѣа же и  
исоухѣа · прочеи варсануфѣа и исаню · и дорофѣа ·  
ѿгоже безъглавнаго съ безъглавными · и съ глѣмными  
десяторожици · съ коупнорожьци · и ѿ свѣтыхъ софронѣа  
заповѣдию · словомъ ѿго прокльнѣшаго · дроугѣа же  
ꙗвлѣтъ ꙗко ѿ тѣхъ же соущихъ прежереченныхъ · ихъ же  
азъ оубѣство предѣниа принимаю · въпрошеникъ ꙗже  
вѣдѣти слоувшаго тарасѣа · прѣстаго патриарха · дроугѣхъ  
же достовѣрныхъ лица ѿтѣдоу пришедѣшихъ и вѣсточныхъ  
и образъ варсануфѣа на бѣжественѣи индоути · великы  
ѣа цркви състависѣа сѣтими оцѣи антонѣмъ и кфрѣмомъ ·  
и дроугыми и кликѣхъ въ оучении тѣхъ обрѣтшихъсѣа  
въ бещестѣи · соупротивныхъ же много дѣшеполезнаа ·  
се нынѣ расоуди великѣи оцѣ нашъ феоодоръ · и обоюдоу дарованѣи славою  
иже тогда разлоучившаго оученикъ полезноу бѣгги положи · ꙗко оубо  
къ въ истинноу дѣшеполезноу зѣло · иже опаснѣ испѣта тѣхъ житиѣ ·  
въ свершеноую мѣру о хѣвъ добродѣтелью възмогъ · и бестрасти[207] ꙗ  
вѣнецъ иже постигъ приатъ · и вѣчнѣи жизни съ сѣтми сподобисѣа · боу  
же нашему слава · аминь ·

Этот текст содержит в себе большой фрагмент (он выделен) из Завещания Феодора Студита [PG, 99: 1816], в котором идет речь том, что преподобный Феодор Студит оправдал авву Дорофея и преподобных Марка, Исаяю, Варсануфия и Исихия, обвиненных в ереси неким “умоповрежденным” (φρενοβλαβής) Памфилием. По мнению Феодора Студита, не они, а их тезки были осуждены патриархом Софронием как безглавые (ἀκέφαλοι) и десятерогие (δεκακέρατοι). Патриарх Тарасий, современник Феодора Студита, запечатлел образы этих отцов на индитии в Великой

<sup>3</sup> Такое же чтение и в Чуд.14, л. 140об. бѣдѣхоньныа.

церкви (св. Софии Константинопольской). Св. отец наш Феодор, как говорится в последней фразе послесловия, нашел учение аввы Дорофея душеполезным, подробно изучил жития этих святых, постиг их учение и получил венец бесстрастия.

Можно предположить, что древнерусский перевод делался с той греческой версии этого памятника, где содержалось подобное послесловие, свидетельствующее об особом уважении Феодора Студита к авве Дорофею. Греческая рукописная традиция Поучений аввы Дорофея остается малоизученной, однако принадлежность анонимного послесловия ученикам Феодора Студита у исследователей не вызывает сомнения [REGNAUT, PREVILLY 1963: 91–92]. Одна из версий Поучений, снабженная послесловием, могла быть составлена в Студийском монастыре учениками преподобного Феодора. Как было отмечено выше, древнерусский и южнославянский переводы различаются по числу поучений, по порядку их следования, и, несомненно, делались с разных греческих оригиналов.

Первый перевод Поучений аввы Дорофея не получил в древнерусской письменности широкого распространения и известен только в двух списках конца XIV в.<sup>4</sup> Возможно, это связано с низким качеством перевода. Второй перевод, тоже не свободный от ошибок, всё же оказался более точным и понятным, в результате чего получил повсеместное распространение и впоследствии окончательно вытеснил древний перевод из обращения. Предположение о том, что оба перевода восходят к одному протопереводу, написанному на глаголице, сделанное Каме-ном Димитровым [2007: 315–316], на данном этапе исследования мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть, данная проблема требует специального исследования. Нам представляется, что при создании второго перевода вряд ли первый перевод мог учитываться и использоваться ввиду его малоизвестности и невысокого качества.

## Библиография

Вайан 1952

Вайан А., *Руководство по старославянскому языку*, Москва, 1952.

ГОРСКИЙ, НЕВОСТРУЕВ 1859

ГОРСКИЙ А. В., НЕВОСТРУЕВ К. А., *Описание славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки, 2/2: Писания святых отцев*, Москва, 1859.

ДИМИТРОВ 2007

ДИМИТРОВ К., “Славянският превод на словата на авва Доротея в българската и руската ръкописна традиция”, in: *Търновска книжовна школа*, 8: *Св. Евтимий, патриарх Търновски, и неговата духовна мисия в Европа*, Велико Търново, 2007, 305–321.

<sup>4</sup> Недавно К. В. Вершинин обнаружил еще один список XVI в. (РГБ, собр. Гранкова № 142) и сообщил мне о нем, за что я выражаю ему свою благодарность.

- 2013  
Димитров К., *Авва Доротей. Слова. Среднобългарски превод. Гръцко-български словоуказател*, Велико Търново, 2013.
- Живов 2006  
Живов В. М., “Хор҃-г҃ь-И. Об идеосинкратических факторах при выборе морфологических вариантов”, in: ИДЕМ, *Восточнославянское правописание XI–XIII вв.*, Москва, 2006, 200–224.
- Жолобов 2006  
Жолобов О. Ф., *Историческая грамматика древнерусского языка*, 4: Числительные, Москва, 2006.
- 2015  
Жолобов О. Ф., “О древнерусском имперфекте”, *Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки*, 157/5, 2015, 28–35.
- Ищенко 1982  
Ищенко Д. С., “Малоизвестное поучение Феодора Студита в древнерусском переводе”, in: *История русского языка: Исследования и тексты*, Москва, 1982, 308–319.
- Максимович 1998  
Максимович К. А., *Пандекты Никона Черногорца в древнерусском переводе XII века (Юридические тексты)*, Москва, 1998.
- Пичхадзе 2011  
Пичхадзе А. А., *Переводческая деятельность в домонгольской Руси. Лингвистический аспект*, Москва, 2011.
- Соболевский 1907  
Соболевский А. И., *Лекции по истории русского языка*, Москва, 1907.
- 1980  
Соболевский А. И., “Особенности древнерусских переводов домонгольского периода”, in: ИДЕМ, *История русского литературного языка*, Ленинград, 1980, 134–147.
- Турилов 2011  
Турилов А. А. “Южнославянские переводы XIV–XV вв. и корпус переводных текстов на Руси (к 100-летию выхода в свет труда А. И. Соболевского)”, in: ИДЕМ, *От Кирилла Философа до Константина Костенецкого и Василия Софийнина. История и культура славян IX–XVII вв.*, Москва, 2011, 161–200.
- Христова-Шомова 2001  
Христова-Шомова И., “Славянските преводи на монашките поучения на авва Доротей”, *Palaeobulgarica / Старобългаристика*, 25/2, 2001, 36–53.
- Юрьева 2010  
Юрьева И. С., “Особенности древнерусских инфинитивных сочетаний с глаголом начати”, *Русский язык в научном освещении*, 2, 2010, 270–280.
- Яцимирский 1921  
Яцимирский А. И., *Описание южнославянских и русских рукописей заграничных библиотек*, 1: Вена, Берлин, Лейпциг, Мюнхен, Прага, Любляна (= Сборник отделения русского языка и словесности, 98), Петроград, 1921.
- REGNAUT, PREVILE 1963  
REGNAULT L., DE PRÉVILLE J., *Dorothee de Gaza. Œuvres spirituelles* (= Sources chrétiennes, 92), Paris, 1963.
- PG, 1–167  
MIGNE J. P., ed., *Patrologiae cursus completus. Series graeca*, 1–167, Paris, 1857–1912.



## Словари

## СДРЯ, 1–11

*Словарь древнерусского языка XI–XIV вв.*, 1–11–, Москва, 1988–2016–.

## СРЕЗНЕВСКИЙ, 1–3

СРЕЗНЕВСКИЙ И. И., *Материалы к словарю древнерусского языка по письменным памятникам*, 1–3, С.-Петербург, 1893–1912.

## СУМ, 9

*Словник української мови*, 9, Київ, 1978.

## LAMPE

LAMPE G. W. H., *A Patristic Greek Lexicon*, Oxford, 1961.

## SJS, 1–4

*Slovník jazyka staroslověnského*, 1–4, Praha, 1966–1997 (репринт: С.-Петербург, 2006).

## SOPHOCLES

SOPHOCLES E. A., *Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods (from B.C. 146 to A.D. 1100)*, Hildesheim, Zurich, New York, 1992.

## References

Dimitrov K., “Slavianskiiat prevod na slovata na avva Dorotei v bŭlgarskata i ruskata rŭkopisna traditsiia,” in: *Tŭrnovska knizhovna shkola*, 8, Veliko Tarnovo, 2007, 305–321.

Dimitrov K., *Avva Dorotei. Slova. Srednobŭlgarski prevod. Grŭtsko-bŭlgarski slovoukazatel*, Veliko Tarnovo, 2013.

Hristova-Shomova I., “The Slavic Translation of the Sermons of Avva Dorotheos,” *Palaeobulgarica*, 25/2, 2001, 36–53.

Ishchenko D. S., “Maloizvestnoe pouchenie Feodora Studita v drevnerusskom perevode,” in: *Istoriia russkogo iazyka: Issledovaniia i teksty*, Moscow, 1982, 308–319.

Lampe G. W. H., *A Patristic Greek Lexicon*, Oxford, 1961.

Maksimovich K. A., *Pandekty Nikona Chernogortsia v drevnerusskom perevode XII veka (Iuridicheskie teksty)*, Moscow, 1998.

Pichkhadze A. A., *Perevodcheskaia deiatel'nost' v domongol'skoi Rusi. Lingvisticheskii aspekt*, Moscow, 2011.

Sobolevskiy A. I., *Istoriia russkogo literaturnogo iazyka*, Leningrad, 1980.

Sophocles E. A., *Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods (from B.C. 146 to A.D. 1100)*, Hildesheim, Zurich, New York, 1992.

Turilov A. A., *Ot Kirilla Filosoфа do Konstantina Kostenetskogo i Vasiliia Sofianina. Istoriia i kul'tura slavian IX–XVII vv.*, Moscow, 2011.

Vaillant A., *Rukovodstvo po staroslavianskomu iazyku*, Moscow, 1952.

Yatsimirskiy A. I., *Opisanie iuzhnoslavianskikh i russkikh rukopisei zagranichnykh bibliotek*, 1, Petrograd, 1921.

Yuryeva I. S., “Osobennosti drevnerusskikh infinitivnykh sochetanii s glagolom nachati,” *Russian Language and Linguistic Theory (Russkij yazyk v nauchnom osveshchenii)*, 2, 2010, 270–280.

Zhivov V. M., *Vostochnoslavianskoe pravopisanie XI–XIII vv.*, Moscow, 2006.

Zholobov O. F., *Istoricheskaya grammatika drevnerusskogo iazyka*, 4: *Chislitel'nye*, Moscow, 2006.

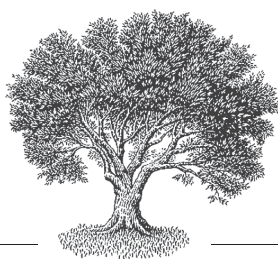
Zholobov O. F., “On the Old Russian Imperfect,” *Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta (Proceedings of Kazan University)*, 157/5, 2015, 28–35.

## Acknowledgements

Russian Science Foundation. Project No. 16-18-10137.

**Татьяна Игоревна Афанасьева**, доктор филол. наук  
профессор кафедры русского языка филологического факультета  
С.-Петербургский государственный университет  
199034 С.-Петербург, Университетская наб., 11  
Россия/Russia  
palaeoslavistica@gmail.com

Received March 14, 2017



# Византийское “Сказание отца нашего Агапия”: греческий текст и славянский перевод\*

**Дарья Сергеевна Пенская**

Православный Свято-Тихоновский  
гуманитарный университет  
Москва, Россия

# The Byzantine *Narration of Our Father Agapius and Its Slavonic Translation*

**Daria S. Penskaya**

St. Tikhon's Orthodox University  
Moscow, Russia

## Резюме

Статья вводит в научный оборот византистики и славяноведения греческий оригинал известного на Руси византийского агиографического памятника “Сказание отца нашего Агапия” (СА, предпол. V–VI вв.), восполняя двойную лакуну: греческий текст СА до сих пор практически не известен византистам и не принимается в расчет при обсуждении славянской традиции памятника. Статья состоит из двух разделов. Первый на основе подготовленного автором статьи критического издания греческого текста СА характеризует особенности греческой рукописной традиции, описывает характер лакунов. Во многом более точная афинская рукопись СА содержит ряд дефектов — пространную лакуну на месте первой из двух кульминаций, описании теофании в райском саду, и “редактуру” сцены воскрешения, возможно, показавшуюся благочестивому христианину слишком сходной с магическим действием. Петербургская рукопись во второй части произведения уступает афинской, сокращая пространные описания — слова молитв и детали обряда. Сравнение греческих рукописей выявило яркую фольклорную и евангельскую

\* Статья подготовлена в 2016 г. в рамках проекта “Становление жанров христианской литературы в I–IX вв.” при поддержке Фонда развития ПСТГУ, проект № 06-0416/КИП 2. Благодарю своих наставников — Н. В. Брагинскую, А. Ю. Виноградова и Р. Поупа, без которых мне не довелось бы заниматься текстом СА.

образность оригинала, затемненную ошибками писцов. Во втором разделе греческий оригинал СА сопоставляется со славянским переводом — преимущественно по тексту Успенского сборника, но с учетом других рукописей южно- и восточнославянской традиции. Перевод исключил ряд основных элементов оригинала: повествование от первого лица (а вместе с ним и удивительную деталь, когда о своей кончине сообщает сам герой), имена райских докусов, богословские рассуждения, наставления, пространные описания. Выверенная символическая структура оригинала, в которой проведена важнейшая в СА идея (превосходство отшельнического образа жизни над киновиальным) и явлен духовный путь героя (путь постижения божественной премудрости, преображение из миста в мистагога) нивелируется в славянском переводе, и текст все больше уподобляется сказке.

#### Ключевые слова

византийская литература, славянская литература, агиография, апокриф, фольклор, “Сказание отца нашего Агапия”, “Хождение Агапия в Рай”

#### Abstract

The paper introduces the Greek original of the hagiographic text *The Narration of Our Father Agapius* (presumably from the 5th–6th centuries), which was widely known in Slavonic tradition but remains almost unknown neither to historians of Byzantine culture and to Slavists. The paper consists of two parts. Drawing upon the critical edition of the text, the first part discusses the peculiarities of the Greek tradition. The manuscript from Athens is much more accurate than the second of the two existing Greek manuscripts, from St. Petersburg. Nevertheless, in some cases the Athenian manuscript is defective. Thus, the first culmination of the narrative, the description of the theophany in the Garden of Paradise, is absent. The episode of the raising of the dead son of a widow is also reduced, probably due to its somewhat magical flavor. However, the manuscript from St. Petersburg in its second part is inferior to the Athenian manuscript reducing vast descriptions—prayers and various details of the rites. A comparison of the two Greek manuscripts reveals vivid folkloric and evangelic images of the Greek original that were concealed by various mistakes made by scribes. The second part of the article compares the Greek original of the *Narration* with the Slavonic translation. The text from the *Uspenskij Sbornik* is the main focus of the comparison, but other evidence from the South and East Slavonic traditions are also taken into account. The translation eliminated quite a few major traces of the Greek original. Thus, an intimate first-person narration and a striking detail in which the main character himself tells about his death are eliminated. The names of Paradise sites, theological discourses, exhortations, any vast descriptions disappear. The adjusted symbolic structure of the *Narration* that reveals the transformation of the character from myst to mystagogue is eliminated in the Slavonic tradition and the main idea of the Greek text—the idiorythmia predominating over the koinobion—is scarcely readable. In the Slavonic tradition the text becomes more and more similar to a fairytale.

#### Keywords

Byzantine literature, Slavonic literature, hagiography, apocryphon, folklore, *Narratio Agapii*

Апокриф *Сказание отца нашего Агапия* (ВНГ 2017)<sup>2</sup> (далее СА) — памятник, широко известный в славянской традиции. Славянский перевод СА (ранний, домонгольского времени) был чрезвычайно популярен, и СА продолжали читать и переписывать вплоть до начала XX в.<sup>3</sup> Между тем о бытовании СА в греческом и вообще восточнохристианском мире не сохранилось никаких сведений.

СА рассказывает о путешествии в Рай некоего Агапия, монаха и настоятеля монастыря, за ответом на вопрос: зачем, ради чего должно оставить мир и последовать за Христом? Помимо СА, до нас дошло несколько ранневизантийских хождений в Рай, к Раю или в удел блаженных, однако собственно Рая ни один из героев не достигает<sup>4</sup>. В этом отношении побывавший в Раю и вернувшийся оттуда земным путем герой — фигура исключительная, и сам мотив достижения иного мира и возвращения — скорее фольклорный, нежели агиографический.

С религиозной точки зрения, СА — сочинение дерзкое: вернувшись из Рая, герой способен совершать чудеса, подобные тем, что совершали апостолы и сам Иисус. Новозаветные модели в СА не просто соседствуют с фольклорными мотивами и сюжетами, но буквально проникают друг в друга. Вместе с тем СА — сочинение благочестивое, утверждающее смысл и ценность монастырской жизни. Автор соединяет яркий вымысел со стремлением придать ему вид точного, детального “травелога”, отчета участника событий, побывавшего в Раю и беседовавшего там с самим Господом.

Греческий оригинал памятника совсем недавно попал в поле зрения исследователей. В 1961 г. краткая статья об Агапии вошла в состав словаря “*Bibliotheca sanctorum*” со ссылкой на единственную известную тогда афинскую рукопись J [BS, 1: 305–306]<sup>5</sup>. 23 года спустя, в 1984 г., эту рукопись опубликовал канадский исследователь Ричард Поуп [Pope 1984–1985: 233–260], славист по специальности. Впоследствии, во время своего приезда в Россию в 1991 г., он познакомился и с другой, обнаруженной в С.-Петербурге греческой рукописью СА, — R. В 1990-х гг. Р. Поуп подготовил описание большинства славянских рукописей, сопроводив их критическим изданием и реконструкцией славянского архетипа, но это исследование, как и результаты работы со вторым греческим списком СА, не были опубликованы. Черновой вариант своей книги Р. Поуп великодушно предоставил в наше распоряжение, и на

<sup>2</sup> Ссылки на [ВНГ, 1–3] приводятся здесь и далее в основном с указанием на номер текста.

<sup>3</sup> Полная версия текста сохранилась более чем в 100 рукописях кон. XII – нач. XX в.

<sup>4</sup> См. Vita s. Zosimi (ВНГ 1889–1890d); Vita s. Macarii Romani (ВНГ 1004–1005p).

<sup>5</sup> См. список сиглов в конце статьи.

результаты его исследования славянской рукописной традиции мы, с позволения автора, опираемся. Среди прочего Р. Поуп отмечал точки расхождения греческого оригинала с наиболее древними южно- и восточнославянскими рукописями<sup>6</sup>. Для Р. Поупа греческая традиция была вспомогательной в работе со славянскими рукописями, и к петербургской **Р** автор обращался только в случае необходимости восполнить лакуны афинской **Ј**. Издание афинской редакции СА сопровождало краткое предисловие, где высказаны предположения относительно датировки памятника и его ближайшего литературного окружения. Исследования Р. Поупа дали основу для изучения греческой традиции, для сопоставления ее со славянским переводом, однако греческий оригинал СА по сей день остается практически не известен ни византинистам, ни славистам.

Помимо исследования Р. Поупа, которое ждет публикации, изучение славянских версий памятника насчитывает более полутора веков. Первоначально в славяноведении СА упоминалось в связи с “Посланием о Рае” новгородского архиепископа Василия Калики тверскому епископу Феодору Доброму (XIV в.), где рассказ Агапия служил одним из вернейших подтверждений земного расположения Рая [ПСРЛ, 6: 87–89]. Работы А. Н. Веселовского, посвященные “Посланию о Рае”, вывели обсуждение за пределы древнерусской литературы и выявили параллели СА с немецкими и ирландскими сказаниями [Веселовский 1875; IDEM 1891: 90–104]. Так была намечена методология, необходимая для исследования близких фольклору христианских памятников, в частности повествований о странствии в мир иной, Рай и землю блаженных.

Во второй половине XIX в. вслед за публикацией некоторых славянских списков стали появляться отдельные заметки, исследования, посвященные СА [Пыпин 1862: 134]. С самого начала СА рассматривали в корпусе византийских переводных сказаний, в одном ряду с “Житием Макария Римского” и “Хождением Зосимы к рахманам”. В работах В. А. Сахарова и Н. С. Тихонравова были обозначены важнейшие особенности повествований о Рае и их героев, путешественников в райские места [Сахаров 1879: 248, 223, 237, 239; Тихонравов 1898: 200; 223]. С середины XX в. внимание сосредоточилось на особенностях структуры, стиля, идейного содержания СА [Адрианова-Перетц 1941: 82–83; Белоброва, Творогов 1970: 151–154]. Эту линию исследований продолжила М. В. Рождественская, определившая СА как народно-христианскую легенду с чертами жития, в которой христианская символика соединяется

<sup>6</sup> В южнославянской традиции это **Н** нач. XV в.; в восточнославянской **U** кон. XII – нач. XIII в. [Pore ined.: Recensio I.1–2]. К **U** в большинстве случаев отсылаем и мы при сопоставлении греческой и славянской традиции, при необходимости учитывая свидетельства и других рукописей.



со сказочными мотивами [Рождественская 1980: 154–165; 650–651]<sup>7</sup>. Символическая природа памятника точно определена В. В. Мильковым. Он объясняет семантику некоторых образов СА (орла, морского залива, ребенка, переправы, цветущего сада, райских птиц и др.) в фольклоре и христианской традиции, отмечает особенности аллегорического повествования и впервые в символической ткани памятника различает реалии монашеской жизни [Мильков 1997: 125–132]. Однако ни один из существующих комментариев не учитывает греческого оригинала памятника.

С кон. 80-х – нач. 90-х гг. XX в. появляются первые исследования эволюции рукописной традиции СА. К ним относится и неопубликованное исследование Р. Поупа, о котором упоминалось выше. Другая работа – диссертация В. М. Хачатурян – анализирует русскую рукописную традицию СА, содержание и характер изменений первоначального текста. Среди русских рукописей СА выделены две редакции: первая в основных чертах близка наиболее раннему славянскому списку СА **U**, она сохраняет исходный символический смысл. Вторая складывается в XVII в., и в ней текст постепенно утрачивает символическое значение, обретая черты сказочности и занимательности [Хачатурян 1984].

Единственной попыткой обсуждения проблемы взаимодействия фольклорной основы памятника с христианским содержанием, основанной на семантическом анализе основных образов и мотивов СА, является диссертация С. В. Селивановой [1992]. Работа эта, структуралистски заточенная, высказывая верную, но тривиальную мысль о том, что фольклорный и христианский пласты памятника объединяет идея смерти и воскресения, в одном случае понимаемая буквально, в другом символически, вносит больше путаницы, нежели ясности. Так, отбор мотивов и образов СА в работе С. В. Селивановой не обоснован, как и последовательность их рассмотрения, при этом и сами образы и мотивы друг от друга четко не отделены. Более того, вместо образов греческого оригинала СА, которые отражает Успенский сборник, а также последующие, близкие ему рукописи, Селиванова разбирает образы, внесенные в текст переписчиками и редакторами славянского текста, в результате чего происходит подмена не только оригинального текста переводным, но и значения символа или образа в тексте СА значением его в других христианских текстах.

---

<sup>7</sup> В 2002 г., предполагая познакомить читателя с наиболее яркой из известных фольклорных обработок памятника, М. В. Рождественская подготовила перевод рукописи из Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН (Древлехранилище, собрание В. Н. Перетца, № 500, сборник нач. XVIII в.), предисловие к которой в общих чертах повторяет публикацию 1980 г. [Рождественская 2002: 173–178; 232–233].

Как видно, бытование СА на славянской почве изучено немало. Между тем представление о бытовании переводного памятника на новой культурной почве остается неполным без обращения к тексту оригинала и понимания его прагматики и проблематики в исходном культурном контексте. Изучение греческого оригинала СА дает сведения об идеях, лежащих в основе раннего монашества, а изменения оригинала в славянских версиях — об отличных от первоначальных ценностях и представлениях средневекового переводчика.

Настоящая статья в некоторой мере восполняет эту лакуну, связывая славянскую традицию памятника с греческой. Статья состоит из двух разделов: первый характеризует особенности греческих версий СА, второй сопоставляет греческий оригинал со славянскими версиями и прежде всего — с самым древним славянским списком Успенского сборника — **U**.

## 1. Греческая традиция СА

### 1.1. Характеристика греческих рукописей

Обе известные рукописи памятника относятся к поздне- и поствизантийскому времени: афинскую рукопись (**J**) датируют XV–XVI вв.<sup>8</sup> [ВНГ, 3: 6–7], петербургскую **R** — XVI–XVII вв.<sup>9</sup> Почерк писца **J** аккуратный (особенно в начале текста), ровный, убористый, тогда как почерк в **R** более небрежен, и сама рукопись содержит немало помарок и исправлений.

Обе рукописи изобилуют типичными орфографическими ошибками. В предисловии к изданию греческого текста Р. Поуп кратко описал особенности орфографии **J**: смешение гласных и дифтонгов, передающих

<sup>8</sup> Помимо СА, которое завершает сборник, в состав кодекса входят: отрывок Мученичества св. Евсигния; отрывок слова св. Иоанна Златоуста на рождество Иоанна Крестителя; отрывок чудес св. Феодора Стратилата; отрывок слова св. Иоанна Златоуста о десяти девах; отрывок жития св. Марии Египетской; житие св. Марка Афинского; мученичество св. Евстафия; мученичество св. Феодора Тирона; отрывок слова св. Иоанна Златоуста во святой и великий вторник [ЕНГНАРД 1952: 851–852].

<sup>9</sup> СА входит в состав так называемого Сборника поучительных слов, где кроме нашего текста присутствуют фрагменты Вопросоответов; душеполезное слово об императоре Феофиле; отрывок из “Физиолога” о льве; рассказ из “Луга духовного” о послушании сына отцу; рассказ о св. Феодоре, который непосредственно предваряет СА; житие Алексия человека Божия, следующее за СА; рассказ Макария Египетского; отрывок Слова о посте и грядущем суде, Слово о покаянии и суде, Слово о покаянии душеполезное Ефрема Сирина; О нестяжании и сребролюбии; Об авве Макарии; фрагмент из Геронтика; о преп. Герасиме; несколько разбросанных по рукописи выписок из Патерика; об авве Павле; о монахе Евлогии; фрагменты поучительных слов без указания автора; Наставления ученикам Феодора Студита; выписки из творений св. отцов с молитвой св. Марка Молчальника; выписки из книг Исаака Сирина [ЛЕБЕДЕВА, ГРАНСТРЕМ 1973: 104–107].

звуки [e] и [i]: ε-αι; ι-ει-η-οι-υ; смешение ο и ω; υ и β; написание одинарных согласных на месте двойных [Роре 1984–1985: 234–235]. Добавим, что те же неточности свойственны и **R**.

## 1.2. Лакуны

Лакуны бывают случайные и необъяснимые, но иногда они обладают некоторой последовательностью, напоминающей “цензуру” или показывающей вкусы и предпочтения более поздних времен. Далее мы постараемся осмыслить различие текстов в тех случаях, когда это представляется возможным.

### Лакуны J

#### Лакуна 1 (4.9–4.23)

**J** содержит несколько разных по объему лакун<sup>10</sup>. Лакуна 1 является самой крупной в **J** (fol. 218–218v). Отсутствует фрагмент текста, где Господь объясняет произошедшее, открывает, куда герою предстоит отправиться, и дает наставления в путь. Лакуна представляет собою пустые листы. Это не совсем обычно. Переписчик знал, что он выпускает фрагмент текста. Либо пропуск был в его оригинале, но писец оставил место, чтобы вписать отрывок из другой рукописи, либо он испытывал сомнения в том, нужно ли переписывать этот фрагмент, и отложил дело, чтобы спросить благословения. Весь опущенный отрывок позволяют восстановить вторая греческая рукопись **R** и славянская **U**. Можно предположить, что поводом исключить фрагмент, известный по **R**, стало его необычное содержание: герой запросто беседует с самим Господом, который выполняет функцию сказочного помощника.

Прочие лакуны **J** более мелкие и возникли, вероятно, по невнимательности переписчика. Ни в одном из случаев места для их восполнения не оставлено.

#### Лакуна 2 (9.4)

В момент прощания у врат Богозданья-Феоктиста Илия напутствует героя словами: “Мир тебе, Агапий. Отправляйся по пути Господнему, благоволимый Им”:

**J:** καὶ οὕτως εἶπεν Ἰλίας < — >

**R:** καὶ τότε λέγει μοι ὁ εὐλογημένος ἐκείνος· Εἰρήνη σοι, Ἀγάπιε. Πορεύου τὴν ὁδὸν τοῦ Κυρίου εὐοδούμενος παρ’ αὐτοῦ. Ἐγὼ δὲ προσκυνήσας. . .

**U:** И рече ми Илия: Миръ ти боуде, Агапие, иди въ поутѣ Господна и Господь Богъ съ тобою. Азъ же поклонивъса. . .

<sup>10</sup> В первом издании греческого текста Р. Поуп восстановил некоторые лакуны **J** по **U**, в неопубликованной книге он обращался также к **R**, которой пользовались и мы при подготовке критического издания СА.

**Crit. Ed.:** καὶ οὕτως εἶπεν Ἡλίας· Εἰρήνη σοι, Ἀγάπιε. Πορεύου τὴν ὁδὸν τοῦ Κυρίου εὐδοκίμου παρ' αὐτοῦ. Ἐγὼ δὲ προσκυνήσας...<sup>11</sup>

**Ј** содержит слова “и так сказал Илия”, за которыми, очевидно, должна была следовать реплика Илии, однако реплика эта пропущена, возможно, по невнимательности копииста; и вслед за тем сразу сказано, что Агапий вышел из Рая. Речь Илии сохраняет **Р**, что находит подтверждение и в славянском тексте **У**.

Две другие лакуны в **Ј** неочевидны.

Лакуна 3 (6.7)

После поклонения кресту, вслед за первым наставлением в начале беседы, Илия обращает к Агапию череду вопросов. В **Ј** вопросов три: “Как обстоят дела в мире человеческом? Почитаются ли эти догматы веры? Как правят прочие власти?”

**Ј:** Πῶς ὁ κόσμος τῶν ἀνθρώπων συνίσταται; Ἦγοῦνται τὰ δόγματα τάδε τὰ τῆς πίστεως; Πῶς πολιτεύεται τὸ λοιπὸν ἐξουσιῶν;

**Р:** Πῶς ὁ κόσμος συνίσταται τῶν ἀνθρώπων; — τούτου δὲ τὸ λεγόμενον. — Ἐν ποίοις πράγμασιν αἱ προαιρέσεις τῶν βασιλέων συνίστανται; Ἦγουν τὰ τούτων δόγματα τάδε τὰ τῆς πίστεως; Πῶς πολιτεύεται τὸ λοιπὸν ἐξουσιῶν;

**У:** —

**Crit. Ed.:** Πῶς ὁ κόσμος τῶν ἀνθρώπων συνίσταται; Ἐν ποίοις πράγμασιν αἱ προαιρέσεις τῶν βασιλέων συνίστανται; Ἦγοῦνται τὰ δόγματα τάδε τὰ τῆς πίστεως; Πῶς πολιτεύεται τὸ λοιπὸν ἐξουσιῶν;

Весь отрывок отсутствует в славянской традиции. Предположить пропущенный вопрос позволяет местоимение “прочие” в словосочетании τὸ λοιπὸν ἐξουσιῶν “прочие власти”, которое в **Ј** оказывается лишним, ни с чем не соотносясь в предыдущих вопросах, тогда как в **Р** появляется вопрос о намерениях царей, к которому в таком случае и отсылает местоимение “прочие”, — что позволяет достроить полный список вопросов. Помимо этого, между первым и вторым вопросами появляется авторская ремарка: “Как обстоят дела в мире человеческом? — в о п р о - ш а л о н. — Каковы намерения царей? [букв.] Вернее, [каковы] их догматы веры? Как правят прочие власти?”

Лакуна 4 (14.9)

Сцена воскрешения сына вдовы в **Р** подробно перечисляет детали обряда: “. . . и, сотворив молитву, я вынул часть хлеба, которую дал мне Илия, и положил ее на лицо умершего, и, взяв его за руку, я отдал его матери, славящей Бога”:

<sup>11</sup> Мы отсылаем читателя к подготовленному нами критическому изданию греческих версий СА, пока неопубликованному: [Пенская 2017: 296–315].

**J:** καὶ κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτοῦ ἔδωκα αὐτὸν τῇ μητρὶ αὐτοῦ.

**R:** καὶ ποιήσας εὐχὴν ἐξήνεγκα τὴν μερίδα, ἣν ὁ Ἥλιος μοι δέδωκε καὶ καθέστησα ἐπὶ τῷ προσώπῳ τοῦ νεκροῦ καὶ κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτοῦ ἔδωκα ζῶντα αὐτὸν τῇ μητρὶ αὐτοῦ.

**U:** и сътворивъ молитвою, и възъ оукроухъ, иже кму дасть Илиа, и положи на лицѣ юго. И сѣде отрочищи на одрѣ. И имъ и за роукоу въдасть матери.

**Crit. Ed.: = R**

Чтение **R** подтверждает **U**, и мы полагаем его первоначальным, при этом во второй части фразы мы сохраняем чтение **J**: “. . . отдал его матери его”, — где содержится библейская цитата (ср. Лк 7:14–15, 3 Цар 17:21–23) вместо чтения **R**: “. . . отдал его живым матери его”. **J**, намеренно или нет, опускает детали, за счет которых сцена **R** уподобляется некоему магическому ритуалу, и в целом все описание **J** следует лаконичной схеме евангельских воскрешений, совершаемых Христом (ср. Мк 5:41, Мф 9:25, Лк 8:54)<sup>12</sup>.

“Ретуширование” лакуны в R (11.2–11.3)

На обратном пути, вновь очутившись на берегу моря, герой видит корабль с моряками: “И когда они приблизились ко мне, я сказал им: «Доброй дороги и да будет благим ваш путь»”. Следующую фразу вводят авторские слова, слова самого Агапия: “И в о т в е т я сказал им: «Возьмите меня на корабль»”, — которые предполагают некий ответ моряков, звучавший между двумя репликами героя:

**J:** καὶ ὅτε ἤγγισαν πρὸς με εἶπον αὐτοῖς· καλῶς πορεύεσθε καὶ ἀγαθὴ ἡ ὁδὸς ὑμῶν ἐστίν. Ἀποκριθέντος δὲ εἶπον αὐτοῖς· λάβετε με ἐν τῷ πλοίῳ.

**R:** καὶ ἤγγισαντες πρὸς με εἶπον αὐτοῖς· καλῶς πορεύεσθε καὶ ἀγαθὴ ἡ ὁδὸς ὑμῶν. λάβετε δέ με πρὸς ὑμᾶς ἐν τῷ πλοίῳ.

**U:** И югда приближиша са къ мнѣ, глаголахъ имъ: Добрѣ ходите и добрѣ вы боуди поуть. Отвѣщаша и рекоша: Послушаи тебе Богъ твои, добрый старче. Агапии же рече къ нимъ: Възмѣте ма съ собою въ корабль. . .

**Crit. Ed.:** καὶ ὅτε ἤγγισαν πρὸς με εἶπον αὐτοῖς· καλῶς πορεύεσθε καὶ ἀγαθὴ ἡ ὁδὸς ὑμῶν ἐστίν. Ἀποκριθέντων δὲ [τούτων· Ἀκουσάτω σου ὁ Θεός σου, ἀγαθὲ γέρον], εἶπον αὐτοῖς· Λάβετε με πρὸς ὑμᾶς ἐν τῷ πλοίῳ.

Ответ моряков сохраняет славянский текст, близкий к **J**. **R** соединяет две реплики героя в одну. В критическом издании мы придерживаемся чтения **J**, реконструировав ответ моряков по славянской рукописи: “[А когда они ответили: Да услышит тебя твой Бог, добрый старче], я сказал им: Возьмите меня на корабль. . .”

<sup>12</sup> Чтение **R** имеет соответствие в славянском тексте, за исключением одной детали — упоминания о том, что отрок, воскресши, сел на постели (точно так, как это описывает евангельский эпизод воскрешения сына Наинской вдовы), после чего Агапий взял его за руку и передал матери (ср. Лк 7:11–17).



## 1.3. Предпочтительные чтения R

В некоторых случаях **R** позволяет уточнить или исправить чтения **J**:

В **J** фраза, предваряющая рассказ об отправлении корабля в путь, содержит слово εἶπον ‘я сказал’, которое должно было вводить прямую речь (12.9–13.1). Однако прямая речь отсутствует, и за εἶπον следует черед причастных оборотов: “И когда они собрались переплыть морские глубины, я сказал корабельщикам: [букв.] Подняв паруса. И когда они взошли на корабль, налетел ветер. . .”:

**J:** Καὶ μέλλοντες διαπλεῦσαι τὸ βάθος τῆς θαλάσσης, εἶπον τοῖς ναυτικοῖς: ἀναβάσαντες τὰ ἱστία. Καὶ ἀναβιβάσαντες, ἐλθὼν ἄνεμος. . .<sup>13</sup> (то же чтение в [POPE ined.: 101]).

**R:** Καὶ μέλλοντες διαπλεῦσαι διὰ τὸ βάθος τῆς θαλάσσης, εἶπον τοῖς ναυτικοῖς: ἀναβιβάσατε τὰ ἱστία, ὅπερ ποιήσαντες, καὶ γενομένου ἀνέμου. . .

**U:** Агапии же рече: Боуди волѧ Господнѧ. И рече корабльникомъ: Поставите вѣтрила. Они же поставиша. Приде же вѣтръ. . .

**Crit. Ed.:** Καὶ μέλλοντες διαπλεῦσαι τὸ βάθος τῆς θαλάσσης, εἶπον τοῖς ναυτικοῖς: Ἀναβιβάσατε τὰ ἱστία. Καὶ ἀναβιβάσαντες, ἐλθὼν ἄνεμος. . .

Славянский текст не вполне соответствует греческому оригиналу. Речь героя начинается словами: “Боуди волѧ Господнѧ”, — в соответствии с чем в первом издании греческого текста **R**. Поуп достраивает реплику героя: “γενέσθω τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου”, — сохраняя дальнейший набор причастий. Следов этого выражения нет ни в **J**, ни в **R**, но **R** сохраняет формы прямой речи, что отражает **U**. В неопубликованной книге Р. Поуп вернулся к первоначальному чтению **J**, мы же придерживаемся чтения **J**, уточненного на основе **R**.

В **J** за описанием райских стен: “. . . стены высились от земли до неба, — следует замечание: и с п о л н е н н ы й всяческого благолепия. И далее: В самом деле, благодать Божия явила мне <все>, как было обещано” (5.2–5.3):

**J:** Τὰ τεῖχη ἴσταντο ἀπὸ τῆς γῆς μέχρι τοῦ οὐρανοῦ. Πάσης εὐπρεπείας πεπληρωμένος, ἡ γὰρ τοῦ Θεοῦ χάρις ὑπέδειξέν μοι κατὰ τὴν ἐπαγγελίαν αὐτοῦ.

**R:** Τὰ τεῖχη ἴσταντο ἀπὸ τῆς γῆς μέχρι τοῦ οὐρανοῦ, πάσης εὐπρεπείας πεπληρωμένα, καὶ ἡ τοῦ Θεοῦ χάρις ὑπέδειξέν μοι κατὰ τὴν ἐπαγγελίαν αὐτοῦ.

**U:** —

**Crit. Ed.:** Τὰ τεῖχη ἴσταντο ἀπὸ τῆς γῆς μέχρι τοῦ οὐρανοῦ, πάσης εὐπρεπείας πεπληρωμένα, ἡ γὰρ τοῦ Θεοῦ χάρις ὑπέδειξέν μοι κατὰ τὴν ἐπαγγελίαν αὐτοῦ.

Рукописи предлагают разное прочтение отрывка: “исполненный (πεπληρωμένος) всяческого благолепия” (**J**) — в этом случае сам герой

<sup>13</sup> ναυτικοῖς ] γενέσθω τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου [POPE 1984–1985: 256].

исполняется благолепием, то есть красотой<sup>14</sup>; и “исполненные (πεπληρωμένα) всяческого благолепия” (**R**). Фраза **J** дефектна грамматически, к тому же приведенное следом пояснение не имело бы смысла. В критическом издании мы принимаем чтение **R**, где причастие πεπληρωμένα согласовано с τὰ τείχη ‘стены’ и причастный оборот связан с предыдущим предложением.

В **J** Илия укоряет людей в том, что они отпали от Бога: “Но мы бессердечны, беспощадны, отпали [от Бога] (?), род строптивый, развращенный и прелюбодейный” (6.14):

**J**: ἀλλ’ ἡμεῖς ἀκάρδιοι ἐσμεν καὶ ἄσπλαγχοι καὶ ἀποθεῖς, γενεὰ σκολιὰ καὶ διεστραμμένη καὶ μοιχαλὶς.

**R**: ἀλλ’ ἡμεῖς ἀκάρδιοι ἐσμεν καὶ ἄσπλαγχοι καὶ ἀπειθεῖς, γενεὰ σκολιὰ καὶ διεστραμμένη καὶ μοιχαλὶς.

**U**: —

**Pope 1984–1985**: ἀλλ’ ἡμεῖς ἀκάρδιοι ἐσμεν καὶ ἄσπλαγχοι καὶ ἀπόθεοι, γενεὰ σκολιὰ καὶ διεστραμμένη καὶ μοιχαλὶς [POPE 1984–1985: 248].

**Crit. Ed.**: ἀλλ’ ἡμεῖς ἀκάρδιοι ἐσμεν καὶ ἄσπλαγχοι καὶ ἀπειθεῖς, γενεὰ σκολιὰ καὶ διεστραμμένη καὶ μοιχαλὶς.

Чтения рукописей разнятся: **J** содержит форму ἀποθεῖς (досл. ‘отложивший’ — Partic. Aor.Act., m., N.Sg. от ἀποτίθημι), вместо которой Р. Поуп предлагает редкое прилагательное ἀπόθεοι ‘безбожные’. В критическом издании мы придерживаемся лучшего чтения **R**, где использовано прилагательное ἀπειθεῖς ‘непокорные’ (**R**), известное и в Септуагинте, и в близких новозаветных контекстах, где речь идет о непокорности Богу (Числ 20:10, Лк 1:17, Тит 1:16, 3:3).

#### 1.4. Равноправные чтения

Незначительные различия между двумя рукописями могут затрагивать порядок слов, например:

**J**: τὰ ἐλέη αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς ἐλπίζοντας εἰς τὴν ἐκείνου παρουσίαν / τὴν παρουσίαν ἐκείνου **R** “милости Его для чающих пришествия Его” (6.12).

**U**: —

**Crit. Ed.**: = **J**

**J**: Αὕτη δὲ κλίνη καὶ ἡ τράπεζα ποίημά ἐστιν τῶν χειρῶν τοῦ Κυρίου / τῶν χειρῶν τοῦ Κυρίου ἐστὶ **R** “А это ложе и стол есть творение рук Господа” (8.8).

**U**: Сь же одръ и трыпеза творенк роукоу Господню.

**Crit. Ed.**: = **J**

<sup>14</sup> Так понимает фразу и Р. Поуп: “I was filled with all the beauty, for the grace of God. . .” [POPE 1984–1985: 244].

В ряде случаев **J** и **R** используют синонимичные слова и выражения, что не влияет на общий смысл фраз:

**J:** Τί σοι τὸ ὄνομά μου εἶπεν / ὑπέδειξεν **R**, καὶ πόθεν με ἐπιγινώσκεις / γνωρίζεις **R**; “Кто назвал / указал **R** тебе мое имя и откуда знаешь меня?” (2.9).

**U:** Къто ти има мое повѣда, како ли ма знаеши?

**Crit. Ed.:** Τίς σοι τὸ ὄνομά μου εἶπεν καὶ πόθεν με ἐπιγινώσκεις;

**J:** Ἐμοῦ δὲ πρὸς τοῦτο ἀποβλέποντος καὶ δοξάζοντος τὸν Κύριον ἐπὶ τῷ αὐτῷ χαρᾷ. . . “Когда я посмотрел на это и восславил Господа за такую радость” (7.5).

**R:** Ἐμοῦ δὲ μετὰ πολλῆς τῆς χαρᾷς θαυμάζοντος καὶ δοξάζοντος τὸν Κύριον. . . “Когда я удивился и с великой радостью восславил Господа”.

**U:** —

**Crit. Ed.:** = **J**

В других случаях теоретически равно возможные чтения **J** и **R** не являются тождественными по смыслу. На поучение Илии герой отвечает фразой, которую греческие рукописи передают по-разному (7.6):

**J:** Μακάριος ἦμην, ὅτι ἡξιώθην ἐκεῖσε ἐν τῇ γῇ ταύτῃ· ὁρῶ γὰρ ἐν τῇ μερίδι τῶν δικαίων ἐν αὐτῷ / ἐμαυτῷ [POPE 1984–1985: 249].

**R:** Μακάριν ἦν εἰ ἡξιώθην οἰκεῖσαι ἐνταῦθα, ὁρῶ γὰρ ἐν μέρει τῶν ἀγαθῶν τῶν δικαίων.

**U:** —

**Crit. Ed.:** Μακάριος εἶην, εἰ ἡξιώθην οἰκῆσαι ἐνταῦθα· ὁρῶ γὰρ ἐν μέρει τῶν δικαίων ἐμαυτόν.

Во фразе **J**: “Блажен я, что сподобился оказаться в этой земле, ибо вижу себя в уделе праведников”, — герой, исполнившись радости от увиденного, решает, что, очутившись в райском саду, и он вошел в число блаженных. В этом случае весь отрывок перекликается с мыслью Агапия о том, что Господь предназначал ему построить в Раю келью и жить в ней до самой смерти (3.6–3.7). Фраза **R**: “Блажен был бы я, если бы удостоился здесь поселиться, ибо вижу, что нахожусь в уделе благих праведников”, — вторит просьбе героя ко Господу позволить ему скончать жизнь в Раю (4.18), а упоминание о “благах” (τὰ ἀγαθὰ) соответствует прежним словам Илии: “Блаженны все чающие грядущего Господня человеколюбия, ибо блага Его, коих мир недостойн, велики и неизреченны” (6.11).

Завершив наставления, Илия замечает, что, кроме Агапия, никто из людей не видел райских мест (7.12):

**J:** Ἔτι νῦν ἄνθρωπος οὐκ ἐγνώσθη ἰδεῖν τὸν τόπον τοῦτον, εἰ μὴ σὺ μόνος.

**R:** διότι οὐχ ἑώρακέν τις τῶν ἀνθρώπων μετὰ σώματος ταῦτα ὡς σύ.

**U:** —

**Crit. Ed.:** = **R**

Илия повторяет сказанное Агапию при встрече. Чтения рукописей разнятся: “Никто до сего дня не знает ни одного, кроме тебя, человека, кто бы видел это место” (**J**). В критическом издании мы принимаем чтение **R**: “Поскольку никто из людей, <пребывая> в теле, не видел того, что ты”, — которое имеет параллель в словах приветствия Илии: “<пребывая> в теле человек никогда мест здешних не видел, да и после тебя никто сюда не придет (ἄνθρωπος γὰρ μετὰ τοῦ σώματος τὰ ἐνταῦθα οὐδέποτε εἶδεν οὐδὲ μετὰ σὲ ἐλεύσεται)” (5.10). Думается, что есть основания как для точного повтора, так и для варьирования. Трудно, однако, представить себе, что переписчики, имея текст **J**, стали бы заменять его на текст **R**, что было бы процедурой, требующей сверки, хотя и небольшого отрезка текста. Более вероятной кажется небольшая текстуальная вариация, в результате которой была опущена важная деталь — совершение путешествия во плоти, в т е л е.

### 1.5. Сокращения в R по сравнению с J

Преимущественно во второй половине **R** возникают сокращения текста **J**. Появление купюр во второй части произведения — не редкость. Копиисты сменяют друг друга, по-разному работают с текстом. Предвидя конец, переписчик спешит завершить текст, и с этим неизбежно связаны помарки и сокращения. В случае СА **R** написана одной рукой и, возможно, причина та же — к концу переписчик стал торопиться, отчего и появились некоторые пропуски, если предполагать список **J** в целом более близким к архетипу. О причинах остается гадать. В **R** характер почерка, и без того не слишком аккуратного, насколько можно различить, практически не меняется к концу текста. Единственное, что нам доступно, — проследить характер самих сокращений и выявить некоторые общие тенденции.

Так, в **R** опущены отдельные слова — артикли, союзы, частицы, например:

**J**: εἴσελθε δοῦλε τοῦ Θεοῦ εἰς ἡμᾶς καὶ ἐὰν ἔχῃς τροφὴν μετὰ σου “взойди к нам, раб Божий, если уж у тебя есть еда” (11.10).

**R**: εἴσελθε δοῦλε τοῦ Θεοῦ εἰς ἡμᾶς ἐὰν ἔχῃς τροφὴν μετὰ σου.

**Crit. Ed.**: = **R**

В данном случае чтение **R**, где опущен союз καὶ ‘и’, представляется более уместным, поскольку сочетание καὶ ἐὰν как правило имеет устойчивое усилительное значение ‘и если даже’ [LSJ, s.v. καὶ], не подходящее здесь по смыслу.

**R** упрощает плеонастичные конструкции **J** — описание облика Илии:

**R, Crit. Ed.:** ἔπεσον παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ ὑπὸ τῆς ἐν αὐτῷ πολλῆς καὶ καλῆς λαμπρότητος “я упал к его ногам из-за яркого и чудного сияния его светообразного вида” (5.7).

**J:** ἔπεσον παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ ὑπὸ τῆς ἐν αὐτῷ πολλῆς καὶ καλῆς λαμπρότητος φωτομόρφου θεάματος ἐκείνου.

**U:** —

**Crit. Ed.:** = **R**

В корпусе [TLG] слово φωτόμορφος ‘светообразный’ встречается всего семь раз, наиболее раннее датированное употребление — у Льва Хиро-сфакта (ок. 865 г.), где оно выступает определением божественной сущности: “Поклоняйся, таинник, Богу, природой единому [. . .], во главе мира Он поставил на воеводство невестественное светообразное естество (Λάτρευε, μύστα, τῷ φύσει θεῷ μόν[ω] [. . .] ὃς τὴν αὐλὸν φωτόμορφον οὐσίαν ἴστησιν ἀρχικόσμον εἰς στρατηγίαν)” (1–11, опубликовано в [VASSIS 2002: 71–153], цит. по [TLG]), все остальные случаи относятся ко времени более позднему — IX–XIV вв. Особенно близок СА контекст из речи византийского богослова Иоанна Кипариссиота (XIV в.), сторонника Варлаама Калабрийского и противника Григория Паламы, против приверженца исихазма императора Иоанна VI Кантакузина, где речь идет о том, что если бы дьявол прежде своего падения увидел Бога “в [. . .] светообразном сиянии (ἐν [. . .] φωτομόρφῳ θεάματι), доступном чувственному восприятию, он бы не смог усомниться в том, что Христос — Бог” (31.3, текст опубликован в [POLEMIS 2012: 55–323], цит. по [TLG]). Слово, как видно, встречается исключительно в богословских контекстах для описания божественной сущности и божественной природы. Перед нами несколько возможностей: если верны наши предположения о ранней датировке СА V веком и если полагать, что рукописная традиция шла в данном случае по пути редукции сложного образа, то СА дает первое употребление слова φωτόμορφος. Другая возможность — считать изначальным близкое фольклору описание более поздней **R**, в которое на определенном этапе, под влиянием ли Иоанна Дамаскина, или Иоанна Кипариссиота, или исихастских споров, переписчик внес богословский термин. Вопрос останется открытым. В критическом издании мы условно придерживаемся второй возможности, сохраняя образ **R**. Славянская традиция вовсе не описывает облик старца Илии, еще более сокращая исходное описание.

**R** сокращает подробное в **J** описание того, как герой раздавал морякам хлеб, в том числе слова молитвы Агапия, совершенной после причастия:

**J:** καὶ νῦν [. . .] ἐπὶ τοῦτον τὸν ἄρτον καὶ εὐδόκησον τοῦ πληθῆναι αὐτόν, ἵνα χορτασθῶσιν οἱ μεταλαμβάνοντες ἐξ αὐτοῦ, ὅπως δοξασθῇ καὶ δι’ ἡμῶν τῶν ἀμαρτωλῶν τὸ πανάγιον καὶ ὑπερένδοξον ὄνομα τῆς σῆς θεότητος. Τότε λαβὼν



τὸ κλάσμα τοῦ ἄρτου καὶ διανείμας ἐξίσου τοῦ ἄρτου τοῖς πᾶσιν καὶ τὸ ἐπιλαχόν μοι μέρος κλάσμα ἀποθέμενος εἰς τήρησιν ἀγαθῶν, εἶπον πρὸς αὐτούς· Νῦν μεταλαβόντες δοξάσωμεν τὸν καλὸν ἡμῶν δεσπότην (12.2–12.4).

**R:** εὐδόκησον πλησθῆναι καὶ νῦν τὸν ἄρτον τοῦτον ἵνα χορτασθῶσιν οἱ μεταλαμβάνοντες ἐξ αὐτοῦ μετ' ἐμοῦ, ὅπως δοξασθῇ τὸ πανάγιον ὄνομα τῆς θεότητός σου καὶ παρ' ἡμῶν ἀναξίων δούλων σου. Τότε μεταλαβόντες ἐξ αὐτοῦ καὶ χορτάσαντες καὶ μέρος ἀφήσαντες, εἶπον πρὸς αὐτούς· Δοξάσωμεν τὸν Θεόν.

**U:** —

**Crit. Ed.: = J**

В **J** подробно перечислены все действия, предваряющие вкушение хлеба:

... ныне же [призри] на этот хлеб и благоволи умножить его, да насытятся вкушающие от него, чтобы и через нас грешных прославилось пресвятое и преславное, божественное имя Твое". Тогда, взяв кусок хлеба и раздав его всем поровну, я отложил причитающуюся мне часть, чтобы сберечь добро, и сказал им: "Получив <каждый> свою долю, восславим теперь нашего доброго Владыку".

**R** сокращает Агапиеву молитву, исключая синонимичные однородные члены. После молитвы отсутствует все описание действий, предварявших причастие:

... благоволи умножить и ныне этот хлеб, да насытятся вкушающие от него вместе со мной, чтобы и мы, недостойные рабы Твои, прославили пресвятое имя Твое". Когда они получили <свою долю> хлеба и насытились и часть оставили, я сказал им: "Восславим Бога".

Отсутствует и важнейшая для **J** таинственная подробность о том, что герой сохраняет свой кусок, ч т о б ы с б е р е ч ь д о б р о, — часть, необходимую для восстановления целого. В **R** часть хлеба оставляют сами корабельщики, и речь идет не столько о неубывающем благе, как в **J**, сколько о насыщении множества людей малым количеством пищи, в результате чего весь эпизод оказывается выстроен по евангельскому образцу (ср. Мф 14:20, Мк 6:42–43, Лк 9:17, Ин 6:11–13). В критическом издании мы принимаем более подробное и близкое сказке чтение **J**, тогда как **R** полагаем правкой текста в соответствии с Евангелием.

**R** сокращает отрывок, в котором Илия открывает себя герою:

**J:** ἐγὼ εἰμι Ἡλίας ὁ Θεσβίτης, ὃν περ ἡγαγον ἵπποι πύρινοι ἐν τῷ ἄρματι τῷ πυρίνῳ καὶ ὁ Κύριος εὐλόγησέν μοι. Κύριος τοῦ οὐρανοῦ ἐνθάδε με κατέστησε ὥδε ζῆσαι ἕως τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ (8.4–8.5).

**R:** ἐγὼ γάρ εἰμι Ἡλίας ὁ Θεσβίτης ὁ ἐν πυρίνῳ ἄρματι ἀναληφθεὶς καὶ εὐλογηθεὶς παρὰ Κυρίου καὶ ἐνθάδε κατασταθεὶς παρ' αὐτοῦ.

**U:** Азъ ксмь Илиа Тезвитѣнинъ, егоже възнесоша колесница огньны и коник огньни, и Господь благослови ма подь небесьмь. И съниде и посади ма съде, и съде живоу до вѣторого пришествиѣ Господна.

**Crit. Ed.: = J**

Фраза **J** пространна: “Я — Илия Фесвитянин, которого унесли огненные кони на огненной колеснице, и Господь благословил меня. Господь неба назначил мне жить здесь до пришествия Христова”. Чтению **J**, которое мы приняли в критическом издании, в основных чертах соответствует и славянский перевод, где речь идет об огненных конях и колеснице. В **R** сказано более кратко: “Я — Илия Фесвитянин, который был вознесен в огненной колеснице, и <меня> благословил Господь и водворил <меня> сюда”. Отсутствует упоминание об огненных конях, впряженных в колесницу, и данное Господом повеление жить в Раю вплоть до пришествия Христа.

Описывая увиденное в Раю, герой сообщает о райской пище:

**J:** Εἶδον δὲ ἐτέραν τροφήν, ἥστινος τὴν ἡδύτητα οὐκ ἰσχύει τις διηγῆσασθαι· οὐκ ἔστιν γὰρ ὁμοίον αὐταῖς ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἥστινος τὴν ἡδύτητα καὶ τὴν εὐοσμίαν ἀνθρώπων στόμα οὐκ ἰσχύει διηγῆσασθαι. Εὐτελεστέρα τροφή ἦν ὥσπερ γάλα καὶ μέλι (8.11–8.12).

**R:** Εἶδον ἐτέραν τροφήν, ἥστινος τὴν ἡδύτητα νοῦς ἀνθρώπων διηγῆσασθαι οὐ δύναται.

**U:** Видѣхъ же и ина брашна, ихъ же сласти нѣсть оудобъ съказати, нѣсть бо имъ притѣча на семь свѣтѣ. Ихже бо сласти и вонѣ человечьска оуста не могутъ исповѣдати. Простаѣ же ѣдъ ѣко и млѣко и медъ.

**Crit. Ed.: = J**

В **J** фраза плеонастична: “Увидел я и другие яства [букв. ‘другую пищу’. — *Д. П.*], о сладости которых никто не может рассказать, ибо в этом мире нет им подобия, и уста человеческие не могут рассказать об этой сладости и об этом благоухании. Более простая пища была подобна молоку и меду”. Описанию **J** близок славянский перевод, и это чтение сохранено в критическом издании. **R** сокращает громоздкую фразу **J**, убирая повторы в словах и оборотах: “Я увидел другую пищу, о сладости которой разум человеческий не может рассказать”.

В Раю на глазах героя совершается чудо восстановления хлеба:

**J:** . . . καὶ εἶδον τὸν ἄρτον καὶ ἦν ὅλος, πλήρης, ὁλόκληρος, ὡς ἦν ἀπ’ ἀρχῆς σῶος, ὡς ἐμοὶ ὑπέδειξε πάντα, ἅπερ οὐκ ἔξεστι διηγῆσασθαι τινι (9.2).

**R:** . . . καὶ εἶδον τὸν ἄρτον ὁλόκληρον, ὡς ἦν ἀπ’ ἀρχῆς, εἶδον δὲ πράγματα ἅπερ οὐ δύναμαι διηγῆσασθαι τινι.

**U:** И видѣхъ хлѣбъ цѣлъ и ѣко не оуломлено вѣтъ нѣко ничѣтоже. Илиа же съказа ми вса, ихъже не оудобъ съказати никому же.

**Crit. Ed.: = J**

**Ж** пространно описывает чудо, и это полное описание мы сохраняем в критическом издании текста: “. . . и увидел хлеб, и он был целый и не-вредимый — целиком сохранный, как прежде был нетронутый, когда [Илия] мне изъяснил все то, о чем рассказать никому нельзя”. **Р** сокращает начало фразы **Ж**, убирая эпитеты, упрощает вторую часть фразы, не упоминая о пояснениях Илии, а место запрета разглашать непосвященным детали таинства занимает тоpos невозможности описать земными словами райские блага, иные, чем Агапий видел прежде: “. . . и увидел хлеб невредимым, как он был прежде, и увидел то, о чем не могу никому рассказать”. Фраза славянского перевода близка **Ж**, хотя, как и **Р**, упрощает ряд эпитетов.

После причащения моряков и восстановления хлеба Агапий проповедует морякам божественную любовь:

**Ж**: . . . ἡ γὰρ πρὸς τὸν πλησίον ἀγάπη δευτέρα ἐστὶν ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ, ἥτις καταλογισθήσεται εἰς αὐτὸν τὸν Κύριον (12.8).

**Р**: ἡ γὰρ πρὸς τὸν πλησίον ἀγάπη δευτέρα ἐστὶν ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ.

**U**: —

**Crit. Ed.**: = **Ж**

В **Ж** герой поясняет, что для Господа любовь к ближнему тождественна любви к Нему: “. . . ибо любовь к ближнему — это вторая заповедь Божия, которая будет зачтена как любовь к Самому Богу”. **Р** опускает вторую часть фразы, где речь идет о воздаянии за любовь. Более пространное чтение **Ж** представляется нам сюжетно необходимым и оправданным: герой, вняв наставлениям Илии в СА 6.13–7.7, 7.9, здесь, в 12.8, представит проповедником божественной любви, тем самым подтверждая и оправдывая свое имя, — и его мы принимаем в критическом издании за основное.

#### 1.6. Добавления в **Р** по сравнению с **Ж**

В некоторых случаях добавления в **Р** незначительны, фразу **Р** отличает от **Ж** наличие частицы или местоимения:

**Ж**: ἀλλὰ Κύριος ὁ Θεός ἐστὶν ἡ ὁδός μου “но путь мой — Господь Бог” (2.14).

**Р**: ἀλλὰ Κύριος ὁ Θεὸς αὐτός ἐστὶν ἡ ὁδός μου “но путь мой — сам Господь Бог”.

**U**: нъ Господь Богъ мои поуть ксть.

**Crit. Ed.**: = **Ж**

Оригинальность чтения **Ж** подтверждает **U**. Иногда **Р** расширяет описание **Ж**, добавляя однородный член:

**Ж**: ἔφθασα εἰς τόπον τινὰ Θεόκτιστον οὕτω καλούμενον “достиг я некоего места, называемого Богозданье” (5.2).

**R:** ἔφθασα εἰς τόπον τινὰ Θεόκτιστον οὕτω καλούμενον καὶ κεκοσμημένον “достиг я некоего прекрасного места, называемого Богозданье и украшенного”.

**U:** —

**Crit. Ed.:** = **J**

Изредка добавления **R** уточняют текст **J**:

**J:** με ἐξήγαγεν διὰ τῆς θύρας “он вывел меня через дверь” (9.3).

**R:** ἐξήγαγέν με διὰ τῆς θυρίδος ἐκείνης δι’ ἧς εἰσῆλθον τὸ πρότερον “он вывел меня через ту же дверцу, через которую я прежде вошел”.

**U:** И изведе ма изъ окъныца.

**Crit. Ed.:** = **J**

**R** добавляет художественный повтор, напоминание читателю. В критическом издании мы придерживаемся чтения **J**, которое присутствует и в славянской традиции.

В отдельных случаях добавление **R** проясняет **J**, изменяя первоначальный смысл. В **J** Илия говорит Агапию о великой милости и человеколюбии Божиим, которые человечество не в силах оценить, оставаясь бессердечным и развращенным: “Всякий день мы гневим Бога...”:

**J:** ... ὑστεροῦντες ἀπὸ τῶν ἀγαθῶν “. . . лишая себя <Его> благ” (6.14).

**R:** ... ὑστεροῦντες ἀπὸ τῶν ἀγαθῶν ἔργων “. . . медля творить благие дела”.

**U:** —

**Crit. Ed.:** = **J**

В критическом издании мы придерживаемся чтения **J** как *lectio difficilior*. Первое понимание опирается на слова Павлова завета евреям (Евр 12:15). В **R** значение иное — воспринимая τῶν ἀγαθῶν как эпитет ‘благой’, переписчик добавляет ἔργων ‘дела’.

Текстологическое сопоставление двух греческих рукописей, единственных на сегодня имеющихся в нашем распоряжении свидетельств на языке оригинала, позволяет сделать несколько фактических замечаний о соотношении рукописей между собой и высказать предположения, которые так и останутся предположениями, пока в оборот не будут введены новые источники.

В результате сопоставления, привлекая славянскую традицию, мы предложили реконструкцию текста оригинала, восстановив его в наиболее полном виде, и дали объяснения при выборе тех или иных чтений.

Лакуны в **J** затрагивают общий смысл отрывков. Самый крупный пропуск (4.9–4.23), по неизвестным причинам так и не восполненный писцом, нарушает всю логику повествования, и первая из двух кульминаций фактически сведена на нет. Что побудило писца оставить пустым заготовленное пространство — глубокая ли причина, связанная с

исключительным содержанием отрывка, или попросту технический сбой — не узнать. В остальном заметны две тенденции: чаще всего это небрежность, невнимательность самого переписчика **J** или его протографа (9.4, 6.7 и др.), но в одном случае — то, что можно было бы назвать осторожным отношением к содержанию памятника, когда лаконичный евангельский образец замещает собой детали, которые, хотя и имеют некоторые параллели в Ветхом Завете, несут на себе оттенок магического действия, что могло вызвать некоторые сомнения в “каноничности” описания у осторожного благочестивого христианина (14.9).

В целом нередко более точная **R** начинает уступать **J** во второй части текста, где происходит вещь обычная при копировании, когда ближе к концу писец торопится завершить работу, сокращая текст протографа. В результате из **R** уходят отдельные декоративные элементы (например, пространственные эпитеты) и некоторые детали (5.7, 8.4–8.5, 8.11–8.12). Вместе с тем сокращению подвергаются и слишком подробные описания — исключаются слова молитв и детали обряда (9.2, 12.2–12.4).

Сопоставление греческих рукописей позволило “расчистить” как евангельскую образность, затемненную орфографическими ошибками, возникшими на определенном этапе и приведшими к изменению смысла отдельных выражений (6.14, 7.7, 7.8), так и фольклорную образность, которая по тем же причинам в некоторых случаях была не совсем очевидной (2.5, 5.2–5.3).

## 2. Греческий оригинал и славянская традиция

Описание наиболее репрезентативных рукописей южно- и восточнославянской традиции сделано Р. Поупом в 1983 г. [Pope 1983], полное описание большинства доступных рукописей (122) ждет публикации [IDEM ined.: Recensio III; Variorum edition]. Опираясь на вывод Р. Поупа о том, что **U** — *codex optimus*, мы прибегаем прежде всего к нему, а в отдельных случаях — к древнейшей и, согласно выводу Р. Поупа, наиболее близкой оригиналу южнославянской рукописи **N**.

Прежде всего следует отметить важнейшее отличие между оригиналом и переводом: в обеих греческих рукописях все повествование, за исключением введения (1.1–1.10), исходит из уст самого героя, это *Ich-Erzählung*, тогда как в славянских рукописях о путешествии Агапия рассказывает некий сторонний, не обнаруживающий себя повествователь. В редких случаях повествование без видимых причин сбивается на первое лицо, хотя обороты, вводящие прямую речь, отсутствуют:

и имъ за роукоу Агапия проведѣ и стѣны [. . .] Поимъ же ма челоуѣкъ старыи  
привѣде къ хръсту, ꙗкоже баше высота до небесе и бльщаше са паче сълныца.  
И поклониста са прѣдъ крѣстомъ и сѣтвориста молитвою.



Рассказ от первого лица в греческом несет очень интимный оттенок, представляя личным свидетельством конкретного человека, с которым произошли эти удивительные события. Славянское повествование является более отстраненным рассказом о событиях, имевших место где-то и когда-то, в неопределенном, “эпическом” пространстве и времени.

Необходимо сделать оговорку: очевидно, что перед славянским переводчиком лежал греческий текст, отличный от имеющегося в нашем распоряжении. Обсуждая стратегии славянского переводчика, мы, конечно, сильно рискуем, так как имеющиеся отступления от греческой традиции могли принадлежать оригиналу **U**. Между тем две греческие рукописи содержат очень близкие редакции текста, и отличия между ними не так радикальны, как отличия их обеих от славянского перевода. Поэтому из двух возможностей: славянский перевод передает несохранившуюся греческую традицию памятника или славянский текст свидетельствует о стратегии переводчика, — мы избираем вторую как более осмысленную, что подтверждает и текстологическая работа Р. Поупа по реконструкции славянского архетипа **CA** [Pope ined.: Critical edition 16–42].

## 2.1. Сокращения

Славянские рукописи содержат ряд сокращений, опуская различные детали греческого текста **CA**. Изредка сокращения минимальны и незначительны, когда отсутствует одно или несколько слов оригинала. Например, вот как Агапий описывает райский сад:

**Crit. Ed.:** ἀπῆλθον εἰς τόπους ἀγνώστους καὶ ἀκατανοήτους “я зашел в места неведомые и непостижимые” (3.2).

**U:** приде въ мѣста нѣкаѧ невѣдома.

В греческом оригинале сказано о местах, в которых человек никогда не был и чей вид превышает человеческое разумение. Славянский перевод исключает более сложный для понимания эпитет.

Произошедшее при переводе изменение иллюстрирует разницу в восприятии христианского Рая и фольклорной чудесной земли. Сказочный герой проходит этой дорогой впервые, оттого и незнакомой, но в нужный момент он обретет либо проводника, либо волшебный предмет, который укажет путь. Для героя христианских текстов знание пути превышает человеческое разумение, именно поэтому он продвигается с молитвой, полагаясь на Божью волю, и молитва звучит на протяжении всего пути.

В большинстве случаев сокращения в славянской традиции затрагивают более крупные пласты текста. Перевод нивелирует различные

детали, и правка эта далеко не всегда последовательна. Так, покинув мир, Агапий стал игуменом монастыря:

**Crit. Ed.:** ἀπῆλθεν ἐν μοναστηρίῳ καὶ ἦν ἐν αὐτῷ ἡγούμενος. Ἐν δὲ τῷ αὐτῷ μοναστηρίῳ ἐποίησεν χρόνους τριάκοντα πέντε δεόμενος τῷ Κυρίῳ νυκτὸς καὶ ἡμέρας “удалился в монастырь и стал там игуменом. В этом монастыре он провел тридцать пять лет, днем и ночью моля Бога” (1.2–1.3).

**U:** и тако изиде въ манастирь, и прѣбысть въ манастири шесть на десате лѣтъ мола са Господоу день и ночь.

Славянский текст опускает упоминание о том, что герой стал игуменом монастыря, отчего весь последующий сюжет о поставлении Агапием преемника в славянской традиции возникает неожиданно. Меняется и число лет: **U**, как и **N**, говорит о шестнадцати годах, которые герой провел дома, и о шестнадцати годах в монастыре [Pore ined.: Variorum edition, 5]. Таким образом, славянская традиция сохраняет общий хронологический принцип, упоминая о равных временных отрезках, проведенных героем в миру и в монастыре. Славянские рукописи изменяют также упоминание о тридцати последних годах, которые герой, согласно греческому тексту, прожил в келье у моря (CA 16.1). В славянской традиции до смерти героя проходит сорок лет [IBID: 123], и в этом случае числовая символика оригинала, когда Агапий в сумме проживает сто лет — век праведника, в славянском переводе заменяется более реалистичным числом, соответствующим сроку человеческой жизни.

Духовный путь героя греческий оригинал описывает как путь последовательного умудрения. Постигание божественной премудрости проявляется физически как постижение света. Пребывая в ином, райском, пространстве, герой видит его сияние, сияние его обитателей, их лиц, фигур, одежд, на время слепнет и потом прозревает, вместо прежнего, земного, обретя новое сакральное зрение.

Славянский перевод исключает практически все описания внешности персонажей, присутствовавшие в тексте оригинала. Так Агапий описывает героев-помощников, в том числе и отрока-корабельщика:

**Crit. Ed.:** . . . εἶδον ἐν τῷ πλοίῳ παιδίον ὡς ἐτῶν δέκα καὶ δύο ἄνδρας μεγαλείους ὡς ὑπελάμβανον ἀλιεῖς εἶναι. Τὸ δὲ παιδίον ἦν ξανθόν, εὐπρόσωπον, περικαλλές, ἀστεῖον εἰς ὑπερβολὴν τῇ τε ὁμιλίᾳ καὶ τῇ κινήσει ὥτινι προσέσχον ἐπὶ τοῦ μετώπου τὸν τύπον τοῦ σταυροῦ “... я увидел на корабле дитя лет десяти и двух рослых мужей — как я подумал, моряков. Мальчик был белокур, миловиден и вообще хорош собой; речь и движения его были весьма изящны; на лбу у него я заметил знак креста” (2.5–2.6).

**U:** И видѣ въ корабли дѣтищѣ и дѣва мужа велика.

Упоминание о таинственном знаке вместе с указанием на возраст отрока и описанием его внешности отсутствует в переводе, поэтому в

славянской традиции не отражена первая, приуготовительная ступень на пути мудрости, когда герой прозрел, но до поры знания не обрел.

Из стен Рая к Агапию выходит светозарный старец:

**Crit. Ed.:** Μετὰ δὲ ταῦτα ἦλθεν τις ἀνὴρ τὸ σχῆμα καὶ τὴν στολὴν ἔντιμος ὑπάρχων, ἱλαρὸς τὸ πρόσωπον, ῥάβδον ἐν χερσὶν κατέχων, πλήρης εὐωδίας πεπληρωμένος ὢν. Ἀνοίξαντος δὲ αὐτοῦ τὴν θύραν εὐθέως ἔπεσον παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ ὑπὸ τῆς ἐν αὐτῷ πολλῆς καὶ καλῆς λαμπρότητος φωτομόρφου θεάματος ἐκείνου. Ἐκεῖνος δὲ προκύψας ἤγειρέν με λέγων “И тогда вышел некий муж почтенного облика, в облачении драгоценном и с ясным лицом; он держал в руках посох и распространял кругом сильное благоухание. Едва он отворил дверь, я упал к его ногам из-за яркого и чудного сияния его светообразного вида. А он наклонился и поднял меня со словами” (5.6–5.8).

**U:** И изиде къ немуу чловѣкъ и рече кмоу.

В греческом тексте эпизод частично повторяет схему предыдущего эпизода теофании (СА 4.1–4.23): дальнейшей беседе, посвящению предшествует описание облика, сияния, исходящего от персонажа, что прежде слов открывает его принадлежность миру иному и святую природу; увидев сияние, герой пал ниц и лежал так, пока Илия его не поднял. Славянский перевод не сохраняет ни одной из этих деталей, кратко сообщая, что старец вышел на стук Агапия. Вместе с сокращением текста оригинала стерта еще одна ступень постижения героем света мира иного.

Из перевода уходит и райская “хронология”. Продвигаясь по райскому пространству, герой неожиданно сообщает, сколько дней он провёл в пути, в какой день недели и в котором часу достиг цели, сообщает и название места, куда он пришел:

**Crit. Ed.:** Διοδεύσας οὖν τὰς πάσας ἡμέρας, τῇ ὁγδόῃ ἡμέρᾳ καὶ τῇ τοῦ Κυρίου δυνάμει ἔφθασα εἰς τόπον τινὰ Θεόκτιστον οὕτω καλούμενον, οὗ καὶ τὰ τεῖχη ἴσταντο ἀπὸ τῆς γῆς μέχρι τοῦ οὐρανοῦ “Шел я день за днем и на восьмой день с помощью Господней достиг я некоего места, называемого Богозданье, стены его высились от земли до неба” (5.2); Ἦν δὲ ὥρα τρίτη τῆς ἡμέρας, ἥπερ ἦν ἁγία Κυριακή “А было это в третий час дня святого воскресения” (5.5).

**U:** шьдѣ много ѡбрѣте стѣноу, ꙗже стоять до небесе.

Неожиданная точность в указании дней пути, упоминании восьмого дня, в который герой достигает цели, и уточнения, что день это был воскресный, название места, куда герой пришел — все эти детали отсутствуют в славянском переводе. Между тем в оригинале эти подробности не случайны, каждая из них имеет свое значение в символической ткани памятника. Среди прочего исключен и один из двух встречающихся в тексте топонимов — Богозданье-Феоктист. Название, заложенное в самую сердцевину пространства мира иного, свидетельствует о

том, что по не известной нам причине оно представлялось важным автору, переписчикам и читателям СА, тогда как славянскому читателю ни о чем не говорило<sup>15</sup>.

Из перевода уходит и упоминание второго топонима — горы *Петрица* (Πετρίτζι, согласно **Ј**) или *Каменной* или *Скалистой горы* (Πετρίτης ὄρος, согласно **Р**), где герой отдыхает на обратном пути и впервые вкушает райский хлеб (10.1–10.4)<sup>16</sup>. Ни в одной из изученных Р. Поупом славянских рукописей нет свидетельств о промежуточной остановке героя на пути из Рая к берегу моря. Отсутствие эпизода может иметь несколько объяснений: либо главу с неизвестным ему, как и нам, топонимом исключил переводчик, либо отрывок отсутствовал уже в греческой рукописи, с которой был сделан перевод. Однако есть и третья возможность: отрывок появился в греческой рукописной традиции позже, чем был сделан славянский перевод. Действительно, предсказывая герою дальнейший путь, Христос говорил не о горе, но об острове, где Агапий должен был встретить моряков, и о промежуточных остановках между Раем и морем сказано не было (СА 4.22). Мы признаем, что этот аргумент не бесспорен: с одной стороны, присутствие эпизода нарушает строго выверенную композицию СА<sup>17</sup>, с другой — как нам представляется, сама сцена сюжетно оправдана, давая завершающую ступень посвящения героя в таинства божественной премудрости, когда после вкушения в Раю воды (СА 8.13), уже после выхода из Рая, но еще в некоем промежуточном околорайском пространстве Агапий обретает способность вкушать пищу твердую (ср. завет апостола Павла в Евр 5:12 и 1 Кор 3:2–3)<sup>18</sup>.

Греческий текст внимателен к деталям обряда. Войдя в Богозданье-Феоктист, Агапий поклоняется кресту:

**Crit. Ed.:** Καὶ προσεκύνησα ἐνώπιον τοῦ σταυροῦ καὶ ἐποίησεν εὐχὴν ἐβραϊκοῖς ῥήμασιν, ὧν τινὼν ἄγνωστος ὑπῆρχον. Παραχρῆμα δὲ ῥίψας ἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον ἐδόξασα τὸν Θεόν, καὶ οὕτως ἡρξάμην βασιτάζειν τὸ φῶς ἐκεῖνο “Я пал на землю

<sup>15</sup> Мы полагаем, что упоминание Богоздания-Феоктиста может являться ключом к установлению датировки памятника, географической привязки и различению в символическом описании его исторической основы. Если предположить, что топоним *Феоктист* отсылает к палестинскому монастырю св. Феоктиста, текст СА обретает топографическую привязку (Палестинская пустыня), а датировка может быть ограничена промежутком около 60 лет: от даты основания лавры Евфимия в 420-х гг. (освящение церкви лавры состоялось 7 мая 428 г.) до момента ее преобразования в киновию (7 мая 482 г.). Подробнее о монастыре см. [HIRSHFIELD 1993: 344; IDEM 2006: 405–407].

<sup>16</sup> Подробнее о топонимах в СА см.: [Пенская 2017: 71–75]. Толкование топонима и обоснование перевода Πετρίτζι / Πετρίτης как “Скалистая гора” см. в [ibid.: 74–76].

<sup>17</sup> Подробнее о композиции текста и ступенях инициации, которые проходит герой, см. в [Пенская 2017: 52–57].

<sup>18</sup> Подробнее об этом см. в [Пенская 2017: 70–71].

перед крестом, а он сотворил молитву еврейскими словами, — а я их не знал. Тот же час я пал ниц и восславил Господа, и так стал переносимым для меня тамошний свет” (6.3–6.4).

**У:** И поклониста сѧ прѣдъ крьстѣмъ и сътворииста молитвоу. И тако начать Агапии тѣрыпѣти свѣтъ.

**Н:** и поклонше се крьстоу. и сътворише молитвоу.

В эпизоде, где совершается райская мистерия, структура ритуала отчетливо обозначена. Войдя в Рай, Агапий и Илия прежде беседы подходят к кресту высотой от земли до неба (6.2), перед которым герой падает ниц, а Илия возносит молитву, причем Илия, пророк ветхозаветный, “сотворил молитву еврейскими словами”, которых Агапий не знал, но, услышав, пал ниц и восславил Господа. Молитва и поклон героя имеют немедленные последствия: Агапий обретает зрение в райском пространстве и может взирать на свет “всемеро светлее нашего” (6.1), невыносимый для человеческих глаз (6.1–6.3). Роли четко распределены: Агапий — мист, Илия — мистагог. Начало и конец обряда отмечены поклоном героя; в середине совершается молитва, в которой Агапий не принимает участия, причем подчеркнуто его положение как непосвященного: молитва звучит на незнакомом ему языке. В славянской традиции многие из этих деталей уходят, разрушая строгую последовательность действий: изображены либо совместный поклон и молитва Агапия и Илии<sup>19</sup>, либо, как в **Н** и некоторых других южнославянских рукописях, поклон и молитва одного Илии<sup>20</sup>.

Перед тем как преломить чудесный хлеб и напитать им моряков, Агапий возносит молитву:

**Crit. Ed.:** καὶ ἐπάρας τὸ κλάσμα τοῦ ἄρτου, ὃν δέδωκέ μοι Ἡλίας ἐν τῷ παραδείσῳ καὶ ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εἶπον· Ὁ διὰ τῶν πέντε ἄρτων καὶ τῶν δύο ἰχθύων πεντακισχιλίους ἄνδρας χορτάσας χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων καὶ νῦν καὶ ἐπὶ τοῦτον τὸν ἄρτον καὶ εὐδόκησον τοῦ πληθύναι αὐτόν, ἵνα χορτασθῶσιν οἱ μεταλαμβάνοντες ἐξ αὐτοῦ, ὅπως δοξασθῇ καὶ δι’ ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν τὸ πανάγιον καὶ ὑπερένδοξον ὄνομα τῆς σῆς θεότητος. Τότε λαβὼν τὸ κλάσμα τοῦ ἄρτου καὶ διανείμας ἐξίσου τοῦ ἄρτου τοῖς πᾶσιν. . . “и, отломив кусок хлеба, который дал мне Илия в Раю, [я] воззрел на небо и сказал: «Пятью хлебами и двумя рыбами Ты насытил пять тысяч голодных мужей, не считая женщин и детей, ныне же призри на этот хлеб и благоволи умножить его, да насытятся вкушающие от него, чтобы и через нас грешных прославилось пресвятое и преславное божественное имя Твое». Тогда, взяв кусок хлеба и раздав его всем поровну. . .” (12.2–12.3).

<sup>19</sup> Такое прочтение, возможно, обусловлено продолжением фразы в греческом: ἀναστάντων ἡμῶν ἀπὸ τῆς προσευχῆς “когда мы встали после молитвы” (6.5).

<sup>20</sup> Деталь присутствует в южнославянских **А** и **І** [POPE ined.: Variorum edition, 68–69].



**U:** възда оукроухъ иже кмоу дасть Илия въ рай, и прѣломи и на чѣтыри части, и хвалоу въздавъ, въдасть и вѣ те моужема.

В греческом тексте подробно описаны все действия героя, предшествующие причастию, в том числе приведена и молитва, которую возносит герой. Славянский же текст не упоминает ни о молитве, ни о том, что после нее герой всем поровну раздал хлеб, ни о том, что свою часть Агапий отложил, ни о причине этого действия. Таким образом, в переводе вновь опущены все, в том числе и чудесные, близкие магическим, детали обряда.

Греческий оригинал подробно описывает райский ландшафт. Так, Агапий рассказывает обо всех деталях сада, где обитал Илия:

**Crit. Ed.:** Εἶτα ὑπέδειξέν μοι πηγὴν ὕδατος [. . .] καὶ δύο φοῖνικας ἐκ δεξιῶν καὶ ἐξ εὐωνύμων αὐτῆς πλήρεις ὄντας εἰς βρῶσιν. Εἶδον δὲ καὶ ἄμπελον, ἣτις ἦν πλησίον τῆς πηγῆς σφόδρα κατάκαρπον καὶ εὐθαλῆ καὶ πολυειδῆ τὸν καρπὸν αὐτῆς, ἥστινος τὴν χάριν καὶ τὸ εὐπρεπὲς οὐκ ἐφικνοῦμαι διηγήσασθαι, πολλὴ γὰρ τις καὶ ἀνείκαστος εὐωδία ἐν ὅλῳ τῷ τόπῳ ἐκείνῳ ἐτύγγανεν. Ἦν δὲ ὑπὸ τὴν ἄμπελον κλίνη ἔντιμος, ἥντινα οὐκ ἐγίνωσκε τις καὶ ποταπὴ ἦν· πάντα γὰρ τὰ ἐκεῖσε λευκότερα χιόνος ἐδείκνυντο. Πλησίον δὲ τῆς κλίνης τράπεζα ἴστατο ἐκ λίθου τιμίου καὶ ἦν ἐπ’ αὐτῇ ἄρτος παμμεγέθης ἐπικείμενος, καὶ αὐτὸς ὅμοιος χιόνος “Затем он показал мне источник воды [. . .]; справа и слева от него росли две пальмы, отягощенные сладкими плодами. А еще я увидел виноградник рядом с источником, пышно разросшийся, богатый разнообразными гроздьями, чью прелесть и красоту мне не передать, ибо повсюду там было разлито некое сильное и ни с чем не сравнимое благоухание. Под виноградными лозами стояло драгоценное ложе, никому не ведомо, что оно такое и откуда, ибо все там казалось белее снега. Рядом с ложем стоял стол из драгоценного камня, на нем лежал огромный хлеб, и сам он тоже подобен снегу” (7.1–7.4). **U:** И поимъ приведе и иде же стоѣше одръ кму и трыпеза оукрашена ѿтъ каменѣа драгаго. И лежаше хлѣбъ на нки бѣлѣи снѣга, видѣхъ бо оу одра кладѣзь [. . .]. Виногради же стоѣхоу различно имоуще грьздовик [. . .] и цвѣтыци и житикъ, егоже не видѣ никътоже.

Славянский перевод изменяет порядок элементов: в греческом речь идет об источнике — пальмах с плодами — винограднике — ложе — столе — хлебе; в славянском о ложе — столе — хлебе — колодце или источнике — винограднике. Густоту описания оригинала славянская традиция прореживает, опуская ряд деталей. Вовсе не говорится о пальмах. Уходит конкретизация пространства — не сказано о том, что виноградник находился рядом с источником<sup>21</sup>. Исключены и чудесные подробности —

<sup>21</sup> Слово εὐθαλής имеет значение как ‘пышно разросшийся’, так и ‘цветущий’ [LSJ, s.v.]. В нашем переводе мы используем первое значение, тогда как славянский переводчик использовал второе из них, воспроизведя картину райского изобилия и одновременно происходящих в Раю природных процессов — цветения и плодоношения.

не упомянуто благоухание удела праведников и белоснежный вид то ли всех райских предметов, то ли ложа, которое находилось под виноградником, неизвестность его происхождения, исключительный размер хлеба.

Помимо тонких символических конструкций, из перевода уходит большинство назиданий. Слова Илии о человеколюбии Господнем, расспросы о том, как обстоят дела в мире людей и почитаются ли догматы веры, как правят светские власти, похвала Агапия устройению дел веры и критика в адрес земных владык, заповеди блаженства, в которых Илия величает верных Господу (6.5–6.14), и вторая часть проповеди Илии, превозносящая любовь ко Господу и сулящая за нее награду (7.5–8.1) — все это вовсе отсутствует в славянском тексте. Кроме того, не слишком лояльный по отношению к властям ответ героя (6.8) одному из переписчиков греческого текста или славянскому переводчику мог показаться опасным.

Среди прочего уходят и Агапиевы слова, обращенные к морякам:

**Crit. Ed.:** Εἶπον δὲ αὐτοῖς· Ἐὰν ἔχωμεν, ἀδελφοί, τὴν πρὸς ἀλλήλους ἀγάπην ἀνυπόκριτον, δωρήσεται ἡμῖν ὁ Κύριος τὸν παρ' αὐτοῦ ἀδαπάνητον ἀγαθόν, ἡ γὰρ πρὸς τὸν πλησίον ἀγάπη δευτέρα ἐστὶν ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ εἰ τις καταλογισθῇσεται εἰς αὐτὸν τὸν Κύριον “А я сказал им: «Братья, если есть у нас друг к другу любовь нелицемерная, дарует нам Господь Свое неистощимое благо, ибо любовь к ближнему — это вторая заповедь Божия, и будет зачтена она как любовь к Самому Богу»” (12.8).

**U:** —

Как и большинство дидактических отрывков греческого оригинала, в которых выражена важнейшая идея апокрифа о любви человека к Богу и Бога к человеку, о том, что Господь неотступно ведет по Своему пути, наставление Агапия морякам отсутствует в славянском тексте.

## 2.2. Изменения

Славянский перевод не только сокращает, но и вносит различные изменения в текст оригинала. Иногда перемена затрагивает одну из деталей описания, и о причинах этого мы выскажем предположения.

Оказавшись в Раю, герой собирается там поселиться, решив, что в этом и состояло Божье устройство:

**Crit. Ed.:** Διὰ τοῦτο ὁ Κύριος καὶ Θεός μου ὁδήγησέν με ἐνθάδε, ἀλλ' ἵνα εὑρω τόπον ἐπιτήδειον καὶ ποιήσω ἐμαυτὸν κελλίον καὶ ἐν αὐτῷ διατελέσω τὴν ζωὴν μου “Для того Господь Бог мой и привел меня сюда, чтобы я нашел здесь подходящее место, устроил себе келью и в ней окончил жизнь” (3.6).

**U:** Сего ради Господь Богъ мой привелъ ма късть сѣмо и не имамъ ѡтити ѡт-сюдоу нъ обрящу си мѣсто подобно, идеже въртоградъ сътворивъ, и съде животь свои съконъчаю.

Агапий в буквальном смысле слова готов обосноваться в Раю, и жилище, которое он собирается соорудить, в греческом названо словом *κελλῖον* “келья”. **U** сообщает, что герой намеревался устроить *вѣртоградъ*, но этим словом обычно передают греческое *κῆπος* [СРЕЗНЕВСКИЙ, 1: 463–464], поэтому не исключено, что именно *κῆπος* стояло в греческом тексте, с которого был сделан перевод. В равной степени вероятно, что образ переосмыслили славяне, приписав Агапию не просто намерение поселиться в сени райских дерев, но огородить и возделывать в Раю отдельный участок, тогда как в оригинале был образ монастырской келии.

В Раю Агапий видит чудесных птиц:

**Crit. Ed.:** καὶ ἦν ἐν αὐτοῖς χρυσόπτερα, ἄλλα δὲ πορφυρᾶ, καὶ ἕτερα πάλιν ἀληθινά, ἄλλα δὲ κόκκινα καὶ ἄλλα πράσινα, καὶ ἕτερα λευκὰ ὥσεὶ χιῶν “одни из них были златокрылые, другие багряные, а третьи пурпурные; иные красные, иные зеленые, а иные белые, как снег” (3.3).

**U:** Овѣмъ баше ꙗко злато перикъ, а другымъ багърано, инѣмъ чървлено, а другымъ синѣ и зелено [. . .] Другыѣ же бѣлы ꙗко и снѣгъ.

В греческом цвета птичьего оперения — золотой, багряный, пурпурный, красный, зеленый, белый. Славянская традиция не переводит трудное для понимания прилагательное *ἀληθινά* (букв. ‘подлинные’, что значит ‘настоящие пурпурные’ — *terminus technicus* для подлинного красителя из моллюска, т. е. чистого, истинно пурпурного цвета [LSJ], s.v. *ἀληθινός* 2)), но сохраняет последовательность из шести цветов, после красного добавляя новый цвет — синий.

Перевод проясняет некоторые чудесные детали оригинала, давая им более “правдоподобное” или бытовое объяснение. Из греческого следует, что Агапий, сам того не заметив, прошел вслед за орлом по морю и очутился *ἐν νησίῳ* ‘на островке’:

**Crit. Ed.:** καὶ ὠδήγησέ με ὁ ἀετὸς ἐν τῇ θαλάσῃ ἐν νησίῳ “и привел меня орел на островок в море” (2.2).

**U:** И доведе и орль морьскыѣ лоукы.

Большинство славянских рукописей предлагает более реалистическую и тем самым упрощенную трактовку: за орлом герой следует до *морьскыѣ лоукы*, т. е. до берега моря [СРЕЗНЕВСКИЙ, 2: 50]; упоминание же об острове — *отокъ* [IBID.: 759] — сохранила только южнославянская I [POPE ined.: Variorum edition, 15].

В обеих греческих рукописях, услышав, что отрок пребывал рядом с монастырем героя, а монахи — его братья, Агапий восславил Господа:

**Crit. Ed.:** Εὐχαριστῶ σοι, Κύριε ὁ Θεός μου, ὅτι κατηξίωσάς με εὑρεῖν ἐν τῇ ἐρήμῳ ταύτῃ ἄνθρωπον ἅγιον καὶ ἐν τῷ πέραν τῆς θαλάσσης “Господи Боже

мой, благодарю Тебя, что Ты сподобил меня обрести святого человека даже в этой пустыне за морем” (2.13).

**У:** Прославлю тя, Господи, яко съподобилъ ма кси, Господи, обрѣсти чловѣка своего племеньника.

В греческом оригинале отрок именуется “святым человеком” (ἅγιον ἄνθρωπον). В славянском переводе стоит слово *племеньникъ*, т. е. ‘родственник’ [СРЕЗНЕВСКИЙ, 2: 959]. В обоих случаях герой, очевидно, не распознает Господа, представшего в виде ребенка. В греческом тексте герой видит в Нем праведника, живущего в согласии с Богом, в славянском, судя по всему, Агапий отзывается на слова отрока и имеет в виду некое родство (по крови или духовное родство во Христе — неясно). Согласно словарю, *племеньникъ* не имеет другого, более широкого значения, но, исходя из контекста, вероятнее всего, переводчик имел в виду, что герой встретил “своего” человека — родного, из его мест, родню его монахам, а значит, и ему самому.

Перевод упрощает сложные мистериальные образы. Например, в Раю Илии герой видит источник:

**Crit. Ed.:** ὑπέδειξέν μοι πηγὴν ὕδατος ἐξαστράπτουσαν καὶ καλλωπισμένην ἐν πολλῇ ἀσφαλείᾳ καὶ εὐπρεπείᾳ καὶ τέρψει ἀγγελικῇ “источник воды, который сверкал и красовался в тихом и прекрасном <месте, полном> ангельского утешения” (7.1).

**У:** видѣхъ бо оу одра кладазь бѣлѣи млѣка и слажьи медоу.

В греческом тексте источник, водой которого впоследствии причастится Агапий, описан в “терминах” мистерии: он находится в укротном, прекрасном месте, как и от прочих райских предметов, от него исходит сияние. Замечание же, что место было полно “ангельского утешения” (τέρψει ἀγγελικῇ), перекликается с дальнейшими объяснениями Илии: это источник возрождения и пьют из него апостолы и праведники (СА 8.6; 8.10). Славянский текст мистериальное описание заменяет кратким упоминанием о том, что вода источника была “белее молока и слаще меда”, что перекликается как с ветхозаветными характеристиками земли обетованной — земли, где течет молоко и мед (Исх 3:8, 17, Втор 8:7–9), так и с образом сказочных молочных рек, и повторяет дальнейшую характеристику райской еды: “Простаѧ же їдъ ѧко и млѣко и медъ”.

Среди дальнейших объяснений Илия открывает герою и подлинный смысл текущего в Раю источника:

**Crit. Ed.:** Αὕτη δὲ ἡ πηγὴ τῆς ἀναγεννήσεως λέγεται καὶ ἐξέρχεται εἰς τὰ μέρη τοῦ παραδείσου “А этот источник называется источником возрождения, он течет в райские пределы” (8.6).

**У:** Съ же кладазь пороѧ са наричь и исходить въ дрѣва раискаѧ.

Славянский перевод упрощает мистический образ греческого текста, не передавая стоящее в оригинале выражение “источник возрождения”, но говоря только о том, что источник “райский”<sup>22</sup>.

Прочие изменения затрагивают более крупные пласты текста. Так, греческий текст рисует полусказочную, таинственную картину: сидя у торной дороги, Агапий видит двенадцать идущих ему навстречу лучезарных мужей, среди которых чуть позже различает тринадцатого:

**Crit. Ed.:** . . . καὶ ἐχάρην χαράν μεγάλην σφόδρα. Καὶ ὅτε ἐπλησίασα αὐτοῖς εἶδον τρεῖς καὶ δέκα ἄνδρας, καὶ ἦν ἐν αὐτοῖς ὠραῖος, καὶ ἦσαν ἐν δόξῃ πολλῇ. “тогда я возрадовался радостью весьма великой, приблизился к ним и увидел тринадцать мужей. И был среди них <один> прекрасный, и были они в славе великой” (4.2).

**U:** . . . и оузырьѣ идоуща вѣ моужа въ бѣлахъ ризахъ, идоуща къ себѣ поутырь. Въздрадова сѧ радостию великою. И кгда приближи сѧ къ нѣмоу, оузырьѣ Иисуса въ славѣ велицѣ.

Оригинал текста отражает разницу между профанным и сакральным видением, когда центрального персонажа, Господа, герой замечает не сразу, но лишь некоторое время спустя, при этом тринадцатого мужа, как и его спутников, греческий текст не раскрывает, и до поры сам герой и читатель вместе с ним пребывают в неведении. Славянский перевод снимает загадку и недосказанность оригинала, сразу вводя тринадцатого персонажа и сообщая о том, кто он. При этом “светозарный муж” в славянском назван Иисусом, тогда как в греческом ни разу на протяжении всего текста не упоминается Иисусово имя, но речь идет только о Боге и Господе.

Символический рельеф оригинала, выстроенный тонко и искусно, в переводе укрупняется. Следуя в Рай, герой удостоверяется в одной из важнейших христианских истин: Господь никогда не отступает от человека, но, представая в разных обликах, ведет по Своему пути. Этот урок Агапий “усваивает”, о чем в оригинале говорит троекратное изъяснение веры. Два раза герой свидетельствует о ней Самому Господу, Которого он не узнает ни в отроке, ни в муже, в первый раз говоря не вовсе уверенно: “Куда иду, не знаю, но путь мой — Господь Бог (Οὐδὲ ἐγὼ γινώσκω ποῦ ἀπέρχομαι, ἀλλὰ Κύριος ὁ Θεός ἐστιν ἡ ὁδός μου)” (2.15); во втором без всякого сомнения: “Путь мой — Господь Бог (Κύριος ὁ Θεός ἐστιν ἡ ὁδός μου)” (4.4). В первом эпизоде эта фраза открывает Агапию вход на корабль, который перенесет его в чудесную страну, во втором предвещает обретение божественного знания. В промежутке между двумя теофаниями, обнаружив себя в Раю, герой еще раз произносит ту

<sup>22</sup> Слово *πόρδα* означает ‘рай, райское блаженство’ [Срезневский, 2: 1208–1209].



же фразу: “Так вот уверился я, что путь мой — Ты, Господи (Ἐν τούτῳ ἔγνωνκα ὅτι σὺ Κύριε ἡ ὁδός μου)” (3.1). Таким образом, оригинал дает три стадии духовного пути: изъяснение веры, так сказать, наугад, обретение уверенности и уверенное произнесение ключевой фразы. В славянской традиции промежуточное упоминание отсутствует, но о вере герой свидетельствует трем помощникам — Господу-отроку (“Не вѣмъ мѣста ни нарока, камо хоцю ити нѣ Господь Богъ мой поуть кѣтъ”), Господу-мужу (“Господь Богъ мой поуть кѣтъ”) и старцу Илии (“Богъ тѣ мой поуть кѣтъ”) (U). Мотив умудрения, рельефно очерченный в греческом тексте, в переводе затухает и в большей степени, чем в оригинале, принимает фольклорную форму верного ответа на вопрос в испытании-выспрашивании.

Агапий дважды пытается поприветствовать Господа (отрока и мужа), но оба раза Иисус его упреждает, и лишь в третий раз, на обратном пути, встретив моряков, герою удается произнести заготовленное приветствие:

**Crit. Ed.:** 1. Καλῶς πορεύεσθε καὶ ἡ ὁδὸς ὑμῶν καλὴ γένηται “Доброй дороги и да будет добрым ваш путь” (2.7); 2. Εὐθεῖα ἡ ὁδὸς ὑμῶν γένηται “Да будет прямым ваш путь” (4.3); 3. Καλῶς πορεύεσθε καὶ ἀγαθὴ ἡ ὁδὸς ὑμῶν ἐστὶν “Доброй дороги и благ ваш путь” (11.2).

**U:** 1. Добрѣ ходите и добрѣ вы поуть боуди; 2. Добрѣ вы боуди поуть; 3. Добрѣ ходите и добрѣ вы боуди поуть.

В греческом оригинале два произнесенных и последнее произнесенное приветствие героя выстраиваются в единую последовательность, которая свидетельствует, как и другие детали, с одной стороны, о пройденном пути умудрения, а с другой — о новой роли героя, когда из миста он сам становится мистагогом (две первые реплики — в сравнении с третьей)<sup>23</sup>. Славянские рукописи не отражают этих перемен в приветствии героя, но передают его одними и теми же словами, и происходящие с Агапием изменения зафиксированы не в мелких деталях, как в греческом тексте, но в более крупных слоях текста, на уровне эпизодов.

На корабле Агапий причащает моряков неубывающим хлебом:

**Crit. Ed.:** Ἐγὼ δὲ εἰσῆλθον πρὸς αὐτοὺς καὶ εἶδον πάντας ἀδυνατοῦντας σφόδρα καὶ ἐσπλαγχνίσθην ἐπ’ αὐτοὺς καὶ ποιήσας εὐχὴν ἐκάθισα μετ’ αὐτοὺς καὶ ἀπάρας τὸ κλάσμα τοῦ ἄρτου, ὃν δέδωκέ μοι Ἡλίας ἐν τῷ παραδείσῳ [. . .] εἶπον πρὸς αὐτούς· Νῦν μεταλαβόντες δοξάσωμεν τὸν καλὸν ἡμῶν δεσπότην. Μετασχόντες οὖν τῆς τρυφῆς καὶ τοῦ ἄρτου εἰς κόρον ἰδοὺ τῆς ἐμῆς μερίδος τὸ κλάσμα γενόμενον ὁλόκληρον οἷον ἦν τὸ πρότερον “Взойдя к ним, я увидел, как они все ослабели, и пожалел их и, сотворив молитву, сел с ними и, отломив кусок хлеба, который

<sup>23</sup> Подробнее о мистериальном смысле, скрытом в трех приветствиях, см. в [Пенская 2017: 61–63].

дал мне Илия в Раю [. . .] и сказал им: «Получив свою долю, восславим теперь нашего доброго Владыку. Смотрите, когда мы причастились сладости и хлеба наелись досыта, остаток моей доли стал опять целым, как был хлебом» (12.1–12.4).

**U:** Агапии же въниде къ нимъ и видѣвъ ꙗко зѣло немощни соуть и мило-сърьдовавъ о нихъ, сътвори молитвоу. И посадивъ ꙗ въ корабли възъа оукроухъ иже кму дасть Илиа въ рай, и прѣломи и на четьри части, и хвалоу въздавъ, въдасть и ѿ те моужема. И ѣша и насытиша са и четвъртоую часть юже остави, цѣла бысть паки, ꙗко и не оуломлено ѡтъ неѧ ничьтоже.

Славянский текст в настоящем отрывке содержит ряд модификаций. В греческом оригинале Агапий сел с моряками на корабль — славянский перевод в этом месте чуть меняет образ, говоря, что сам Агапий усадил моряков на корабль. В греческом Агапий отломил кусок от ломтя, данного Илией, славянский текст сообщает точнее — герой разломил кусок на четыре части. Благодарственная молитва Агапия, в которой он призывает, причастившись, восславить Христа, отсутствует в славянском, сохранено лишь упоминание о вознесенной хвале. В греческом вкушение хлеба не описано, о нем сказано лишь как о свершившемся в прямой речи Агапия (равно как и о восстановлении хлеба), славянский же текст пересказывает последовательность действий: когда Агапий раздал мужам хлеб, они ели и насытились. Как видно, изменения текста оригинала различны по своей природе, но в этих изменениях заметны все те же тенденции — нивелированы детали ритуала. В данном случае сохраняется лишь краткое упоминание о них.

Увидев неубывающий хлеб, моряки просят Агапия не оставлять их:

**Crit. Ed.:** Νομίσαντες δὲ οἱ ἄνδρες, ὅτι τὸ χάρισμα ἰδίον μου ἐστὶν παρεχάλου λέγοντες· Ἀχώριστος ἔσω ἀφ’ ἡμῶν ἀπὸ τοῦ νῦν, ἵνα ἐτέρου ἄρτου μὴ ποιούμεθα χρεῖαν, ἀλλὰ διὰ τῆς σῆς παρουσίας ἔχομεν εἰς ἀδιάλειπτον ἄρτου, ἐπέγνομεν δὲ ὁ εἰργάσω ἐν ἡμῖν ἀγαθῶν ἔργων. [. . .] Καὶ μέλλοντες διαπλεῦσαι τὸ βάθος τῆς θαλάσσης, εἶπον τοῖς ναυτικοῖς· Ἀναβιβάσατε τὰ ἱστία “Посчитав, что мне дана особая благодать, они стали просить: «Не уходи от нас, чтобы не было нужды у нас в ином хлебе, ведь при тебе хлеб у нас не иссякнет, мы узнали теперь, что за добрые дела ты сотворил у нас». [. . .] И когда они собрались переплыть морские глубины, я сказал корабельщикам: «Поднимите паруса» (12.7–12.9).

**U:** Видѣвъше же корабльници Славоу Божию, възъпиша къ Агапию глаголюще: Рабе Божии, помилоуи ны, не ходи ѡтъ насъ, да о оукроусѣ семь плаваѣмъ глоубины морьскыѧ. Агапии же рече: Боуди воля Господня.

В греческом тексте моряки изображены несмышленими, как станет ясно из их дальнейших слов, не готовыми воспринять высшее божественное знание, и вводная конструкция *Посчитав, что мне дана особая благодать* это поясняет, тогда как славянский текст не передает этих

оттенков, и моряки предстают постигшими славу Господню. Просьба героев в греческом пространна и детализирована: они просят Агапия не уходить, с его присутствием связывая чудеса и неубывание хлеба, славянский перевод сглаживает эту дерзкую мысль, называя Агапия рабом Божиим и не представляя его виновником произошедшего чуда.

### 2.3. Уточнения

Перевод содержит и ряд уточнений, природа которых может быть различной — их мы находим в славянских рукописях, однако нельзя исключать, что некоторые из них возникли еще в греческой, не дошедшей до нас традиции.

Чудесные, близкие фольклору детали, а также детали символического ландшафта, подлинное значение которых раскрыто в греческом оригинале и герою, и читателю, в славянском переводе за счет уточнений становятся более “осязаемыми”, при этом, как мы помним, все символические пояснения из перевода уходят. Так, по слову отрока взойдя на корабль, Агапий уснул:

**Crit. Ed.:** Ἐγὼ δὲ εἰσελθὼν ἐν τῷ πορθμείῳ καὶ καθέσθεις ὀλίγον ἀφύπνωσα “И вот я взойшел на судно и, немного посидев, заснул” (2.17).

**U:** Агапии же вълѣзъ въ корабль и посѣдѣвъ мало, от поути и от троуда въздрѣмавъ сѧ и оусыпе.

В греческом оригинале приведена последовательность действий: восхождение на корабль — сон. В чистом виде, не требующая никакой мотивации, представлена мифологическая деталь — сон как неперенный элемент приобщения к миру иному; тогда как большинство славянских рукописей реалистически толкует сон героя, поясняя причину: “от поути и от троуда въздрѣмавъ сѧ”. Это пояснение совпадает с последующим, когда герой вкусит плоды райских деревьев: “Агапии же [. . .] напитавъ сѧ ѡтѣ овоща и испочивъ от троуда”<sup>24</sup>.

Одна из деталей райского пейзажа — виноградник:

**Crit. Ed.:** Εἶδον δὲ καὶ ἄμπελον [. . .] πολυειδῆ τὸν καρπὸν αὐτῆς “А еще я увидел виноградник [. . .], пышно разросшийся, богатый разнообразными гроздьями” (7.2).

**U:** Виногради же стоѧху различно имоуще гръздовик: ово багѣрано, ово чървлено, ово бѣло, и овоща имоуща различны, и цвѣтыци и житикѣ, ꙗгоже не видѣ никѣтоже.

<sup>24</sup> Вкушение пищи — неперенный этап приобщения героя к миру иному. В этом случае отдохновение от усталости сопутствует действию, появление которого обусловлено канонами мифа и сказки. Замечание соответствует греческому тексту: Ἐγὼ δὲ Ἀγάπιος [. . .] ἐμπλησθεὶς ἐκ τῶν ὀπωρῶν καὶ ἀναψύξας ἐκ τοῦ κόπου. . . “Я же, Агапий, [. . .] насытившись от плодов и отдохнув от усталости. . .” (3.6).

Греческий текст упоминает о разнообразных плодах винограда; славянская же традиция развивает образ, перечисляя и виды винограда.

Вопреки общей тенденции к сокращению подробностей ритуала, славянский перевод в нескольких случаях вносит небольшие уточнения в краткое описание оригинала. Уходя из монастыря, Агапий поставляет игумена:

**Crit. Ed.:** Ἀγάπιος δὲ ἕστησεν ἡγούμενον αὐτοῖς καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ μοναστηρίου “Агапий поставил им игумена и ушел из монастыря” (1.10).

**U:** Агапии же постави имъ игоумена брата старѣшаго, и оустроивъ ѿ и цѣловавъ ѣ, изиде изъ манастира.

В греческом тексте весь эпизод ухода Агапия и поставление игумена — неожиданно подробный в пространстве небольшого вступления, где несколько предложений охватывают промежуток в семьдесят лет, сам же момент поставления игумена описан кратко. Славянская традиция распространяет описание, уточняя, что Агапий поставил игуменом “брата старѣшаго” и, оставив в порядке дела, ушел из монастыря.

Выслушав слова отрока, Агапий возносит благодарение Господу, и славянские рукописи уточняют образ, говоря, что во время молитвы герой воздел руки:

**Crit. Ed.:** Ἐγὼ δὲ Ἀγάπιος ἐδεήθην τοῦ Κυρίου “Я, Агапий, помолился Господу” (2.13).

**U:** Агапии же въздѣвъ роуцѣ помоли са Господоу.

Насколько возможно судить, перевод последовательно исключил множество деталей греческого текста, уточнявших и без того скупое на конкретику повествование. Уходят дидактический элемент, выраженный напрямую в форме богословских рассуждений и наставлений, и детали ритуала. Перевод практически лишен описаний, сложных мыслей, культурного багажа позднеантичной или ранневизантийской эпохи, отступлений. Славянский текст выглядит более динамичным, представляя собой последовательность действий героев. В славянской традиции нивелируется символический рельеф оригинала, и уже самые ранние списки обнаруживают тенденцию, которая с течением времени будет все отчетливее проявляться на славянской почве [Хачатурян 1984], — эрозию символической основы и все большее уподобление СА сказке. Сказочный элемент не равен, однако, мистическому. Мистический, напротив, убывает, а вместе с ним уходит и финальный аккорд: сообщение Агапием о своей кончине, напоминающее ветхозаветное сообщение Пятикнижия о затерявшейся могиле Моисея (Втор 34:5–6).

## Библиография

## Рукописи

## Славянские

## А

Национальная библиотека св. Кирилла и Мефодия (София), № 326 (AM326NBKM), Аджарский сборник, втор. пол. XVII в. – нач. XVIII в.

## I

Национальная библиотека Сербии (Белград), № 104, Сборник, XIV в.

## N

Библиотека Румынской академии наук (Бухарест), Slav. № 135 (= Собрание Нямецкой лавры, № 33), Сборник, нач. XV в.

## U

Государственный исторический музей (Москва), Усп. 4 перг., Успенский сборник кон. XII – нач. XIII в.; цит. по изд.: [Котков 1971: 446–473].

## Греческие

## J

Национальная библиотека Греции (Афины), Е. В. Е. 2634, Сборник житий, XV–XVI вв.

## R

Библиотека Российской академии наук (С.-Петербург), РАИК № 160, Сборник поучительных слов, XVI–XVII вв.

## Издания

## Котков 1971

Котков С. И., ред., Князевская О. А., Демьянов В. Г., Ляпон М. В., подгот., *Успенский сборник XII–XIII вв.*, Москва, 1971.

## Мильков 1997

Мильков В. В., отв. ред., сост., *Апокрифы Древней Руси: Тексты и исследования*, Москва, 1997.

## ПСРЛ, 6

*Полное собрание русских летописей*, 6: *Софийские летописи*, С.-Петербург, 1853.

## Пыпин 1862

Пыпин А. Н., *Памятники старинной русской литературы, издаваемые графом Григорием Кушелевым-Безбородко*, 3: *Ложные и отреченные книги русской старины*, С.-Петербург, 1862.

## Рождественская 1980

Рождественская М. В., подг. текста, пер. и коммент., “Сказание отца нашего Агапия”, in: *Памятники Литературы Древней Руси. XII век*, Москва, 1980, 154–165, 650–651.

## ——— 2002

Рождественская М. В., сост. и предисл., *Апокрифы Древней Руси*, С.-Петербург, 2002.

## POLEMIS 2012

POLEMIS J., ed., *Theologica varia inedita saeculi XIV* (= Corpus christianorum. Series graeca, 76), Turnhout, 2012.

## VASSIS 2002

VASSIS I., ed., *Chiliostichos theologia (editio princeps)* (= Supplementa byzantina, 6), Berlin, New York, 2002.



Словари, справочники, каталоги, базы данных

ЛЕБЕДЕВА, ГРАНСТРЕМ 1973

ЛЕБЕДЕВА И. Н., сост., ГРАНСТРЕМ Е. Э., ред., *Греческие рукописи*, Ленинград, 1973.

СРЕЗНЕВСКИЙ, 1–3

СРЕЗНЕВСКИЙ И. И., *Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам*, 1–3, С.-Петербург, 1893.

BS, 1–12

*Bibliotheca sanctorum*, 1–12, Roma, 1961–1970.

BHG, 1–3

HALKIN F., ed., *Bibliotheca hagiographica graeca*, 1–3, 3rd ed., Brussels, 1957.

ENRHARD 1952

ENRHARD A., *Überlieferung und Bestand der hagiographischen und homiletischen Literatur der Griechischen Kirche von den Anfängen bis zum Ende des 16. Jahrhunderts*, 3/2, Berlin, Leipzig, 1952.

LSJ

*The Online Liddell-Scott-Jones Greek-English Lexicon*. (<http://stephanus.tlg.uci.edu/lsg/>; last access: 24.12.2017).

TLG

*Thesaurus Linguae Graecae* (<http://stephanus.tlg.uci.edu/>; last access: 24.12.2017).

## Литература

АДРИАНОВА-ПЕРЕТЦ 1941

АДРИАНОВА-ПЕРЕТЦ В. П., “Апокрифы [в переводах XI – начала XIII века]”, in: *История русской литературы*, 1: *Литература XI – начала XIII века*, Москва, Ленинград, 1941, 71–86.

БЕЛОБРОВА, ТВОРОГОВ 1970

БЕЛОБРОВА О. А., ТВОРОГОВ О. В., “Переводная беллетристика XI–XIII вв.”, in: *Истоки русской беллетристики*, Ленинград, 1970, 195–207.

ВЕСЕЛОВСКИЙ 1875

ВЕСЕЛОВСКИЙ А. Н., “Параллели к сказанию о земном рае”, *Филологические записки*, 3, 1875, 1–7.

——— 1891

ВЕСЕЛОВСКИЙ А. Н., *Разыскания в области русского духовного стиха*, 6 (= Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук, 53/6), С.-Петербург, 1891.

ПЕНСКАЯ 2017

ПЕНСКАЯ Д. С., “«Сказание отца нашего Агапия»: Богословский диспут в сказочном нарративе” (дисс. [. . .] канд. культурологии, Москва, 2017).

САХАРОВ 1879

САХАРОВ В., *Эсхатологические сочинения и сказания в древнерусской письменности и влияние их на народные духовные стихи*, Тула, 1879.

СЕЛИВАНОВА 1992

СЕЛИВАНОВА С. В., “Проблема фольклорной основы литературного текста. Апокриф «Сказание отца нашего Агапия»” (дисс. [. . .] канд. филол. наук, Москва, 1992).

ТИХОНРАВОВ 1898

ТИХОНРАВОВ Н. С., *Собрание сочинений*, 1, С.-Петербург, 1898.

ХАЧАТУРЯН 1984

ХАЧАТУРЯН В. М., “Русские редакции эсхатологических апокрифов (кон. XV–XVIII вв.)” (дисс. [. . .] канд. филол. наук, Москва, 1984).

HIRSHFIELD 1993

HIRSHFIELD Y., "Euthymius and His monastery in the Judean Desert," *Liber Annus*, 43, 1993, 339–371.

——— 2006

HIRSHFIELD Y., "The Monasteries of Palestine in the Byzantine Period," in: O. LIMOR, G. G. STROUMSA, eds., *Christians and Christianity in the Holy Land: From the Origins to the Latin Kingdoms, 5: Cultural Encounters in Late Antiquity and the Middle Ages*, Turnhout, 2006, 401–419.

POPE 1983

POPE R. W. F., "On the Fate of Utopian Apocryphal Apocalypses among the South and East Slavs: The Narration of Our Father Agapius," *Canadian Slavonic Papers*, 25/1, 1–12.

——— 1984–1985

POPE R., "The Greek Text of the 'Narration of Our Father Agapios the Syrian'," *Cyrrilomethodianum*, 8–9, 1984–1985, 233–260.

——— ined.

POPE R., *The Narration of our Father Agapius* (unpublished book).

## References

Adrianova-Peretts V. P., "Apokrify," in: *Istoriia russkoi literatury*, 1, Moscow, Leningrad, 1941, 71–86.Belobrova O. A., Tvorogov O. V., "Perevodnaia belletristika XI–XIII vv.," in: *Istoki russkoi belletristiki*, Leningrad, 1970, 195–207.Ehrhard A., *Überlieferung und Bestand der hagiographischen und homiletischen Literatur der Griechischen Kirche von den Anfängen bis zum Ende des 16. Jahrhunderts*, 3/2, Berlin, Leipzig, 1952.Halkin F., ed., *Bibliotheca hagiographica graeca*, 1–3, 3rd ed., Brussels, 1957.Hirshfield Y., "Euthymius and His monastery in the Judean Desert," *Liber Annus*, 43, 1993, 339–371.Hirshfield Y., "The Monasteries of Palestine in the Byzantine Period," in: O. Limor, G. G. Stroumsa, eds., *Christians and Christianity in the Holy Land: From the Origins to the Latin Kingdoms, 5: Cultural Encounters in Late Antiquity and the Middle Ages*, Turnhout, 2006, 401–419.Kotkov S. I., ed., Knyazevskaya O. A., Demyanov V. G., Lyapon M. V., *Uspenskii sbornik XII–XIII vv.*, Moscow, 1971.Lebedeva I. N., Granstrem E. E., *Grecheskie rukopisi*, Leningrad, 1973.Mil'kov V. V., ed., *Apokrify Drevnei Rusi: Teksty i issledovaniia*, Moscow, 1997.Polemis J., ed., *Theologica varia inedita saeculi XIV* (= Corpus christianorum. Series graeca, 76), Turnhout, 2012.Pope R. W. F., "On the Fate of Utopian Apocryphal Apocalypses among the South and East Slavs: The Narration of Our Father Agapius," *Canadian Slavonic Papers*, 25/1, 1–12.Pope R., "The Greek Text of the 'Narration of Our Father Agapios the Syrian'," *Cyrrilomethodianum*, 8–9, 1984–1985, 233–260.Rozhdestvenskaia M. V., ed., "Skazanie ottsa nashego Agapiia," in: *Pamiatniki Literatury Drevnei Rusi. XII vek*, Moscow, 1980, 154–165, 650–651.Rozhdestvenskaia M. V., ed., *Apokrify Drevnei Rusi*, St. Petersburg, 2002.Vassil I., ed., *Chiliostichos theologia (editio princeps)* (= Supplementa byzantina, 6), Berlin, New York, 2002.

## Acknowledgements

Development Foundation of St. Tikhon's Orthodox University. Project No. 06-0416/KIP 2.

Nina V. Braginskaya

Andrey Yu. Vinogradov

Richard W. F. Pope

**Дарья Сергеевна Пенская**, канд. культурологии

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет,

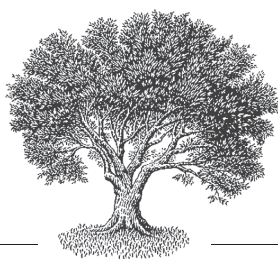
старший преподаватель кафедры древних языков и древнехристианской письменности

127051 Москва, Лихов пер., д. 6, стр. 1

Россия/Russia

d.penskaja@gmail.com

Received December 30, 2016



Язык  
древнеславянской  
проповеди:  
неординарность  
глагольной  
морфологии в  
гомилиях Кирилла  
Туровского\*

Old Slavic Sermon  
Language: The  
Extraordinary  
Nature of Verb  
Morphology in  
Cyril Turovskij's  
Homilies

**Олег Феофанович  
Жолобов**

Казанский (Приволжский)  
федеральный университет  
Казань, Россия

**Oleg F. Zholobov**

Kazan (Volga Region) Federal  
University  
Kazan, Russia

Резюме

В статье впервые подробно рассматривается функционирование ряда глагольных словоформ в проповедях древнерусского церковного писателя второй половины XII века Кирилла Туровского по самой ранней рукописи, в которой они сохранились, — Толстовскому сборнику второй половины XIII века. Поскольку проповеди Кирилла Туровского обращены к широкому кругу слушателей и читателей, они должны были опираться на понятные и привычные языковые формы, сохраняя вместе с тем связь с книжной литературой. Это проявилось в значительной русификации книжного языка. В статье выявлены такие особенности языка проповедей Кирилла Туровского, как наиболее ранние случаи широкого использования настоящего исторического; исключительное употребление аористов с дополнительным окончанием типа *начатъ*; особый

\* Исследование выполнено при поддержке РФФИ/РГНФ (проект 15-04-00283).

функциональный и синтаксический характер употребления аориста *ръша*; необычно широкое употребление аористов и имперфектов во 2-м лице единственного числа; употребление перфективных имперфектов и имперфектов с дополнительным окончанием; проспективное, футуральное и модальное функционирование перефразистических форм со вспомогательным глаголом *хощю*; особые случаи использования словоформ императива первого лица множественного числа; особый характер рефлексивной энклитики *-ся*; неординарная дистрибуция форм сложных претеритов. Отмечается близость функционирования ряда глагольных словоформ в проповедях Кирилла Туровского и в “Слове о полку Игореве”, а также в начальной летописи, раннедревнерусских переводах и паримейнике.

#### Ключевые слова

проповеди, старославянский язык, древнерусский язык, морфология глагола, неординарная природа, Кирилл Туровский, “Слово о полку Игореве”

#### Abstract

The article's subject matter—verbs functioning in the sermons of the Old Russian church writer Cyril Turovskij (second half of the 12th century)—is considered in details for the first time on the basis of the earliest source, *Tolstovskij Sbornik* (second half of the 13th century). Since Cyril's sermons were addressed to a wide range of listeners and readers they had to be based on intelligible and simple language forms that also preserved a connection with literary standards. This manifested itself in the significant Russification of the preaching language. The article describes the following features of the language of Cyril's sermons: the earliest and widespread usage of “*praesens historicum*”; the exclusive usage of aorist forms with additional endings (*načętv* type); the special functional and syntactic nature of the aorist *rěšę*; the unusually wide usage of 2 Sg. aorist and imperfect forms; the usage of perfective imperfect forms and imperfects with additional endings; the prospective future tense and modal functioning of the paraphrastic forms with the auxiliary verb *хощę*; special cases of 1 Pl. imperatives usage; the special character of the reflexive enclitic *se*; and the extraordinary distribution of periphrastic preterits forms. Some similarity of verbs functioning in Cyril's homilies and *The Tale of Igor's Campaign* is detected as well as in the original Chronicle, early Old Russian translations, and Paroemiaron.

#### Keywords

homilies, Old Church Slavonic, Old Russian, verb forms, extraordinary nature, Cyril Turovskij, *Tale of Igor's Campaign*

#### Общие сведения и положения

Проповедь занимает особое место в христианской культуре — по существу это ее квинтэссенция и архетип [Левшун 2001: 107]. Кирилл Туровский — церковный и литературный деятель раннедревнерусского периода, второй половины XII века, с именем которого связаны наиболее

яркие ранние образцы проповедничества. В. П. Виноградов — один из лучших специалистов по истории учительного-уставной литературы, рассматривая зависимость Кирилла Туровского от внешних источников, приходит к следующему выводу:

Слѣдуя при построении своего слова творению Григорія Богослова, Кирилль ярко проявляетъ характерныя свойства своего проповѣдническаго творчества. Вращаясь въ кругѣ идей своего прототипа, Кирилль беретъ ихъ только въ ихъ самомъ общемъ видѣ, давая имъ собственное самостоятельное развитие и особый оттънокъ; заимствуя форму или букву, онъ вдохновляетъ ихъ собственными идеями. И въ томъ и въ другомъ случаѣ Кирилль пытается свести все къ созданію единого, целаго произведенія по собственному плану [Виноградов 1915: 115].

Обращаясь к Кирилловой проповеди на Фомину Неделю, В. П. Виноградов отмечает:

Исходнымъ и центральнымъ пунктомъ своей постройки Кирилль кладетъ текстъ изъ апостола, заимствованный у Григорія [Богослова. — О. Ж.]: днесь “ветхая конецъ пріяша и се быша вся нова”, с дополненіемъ, соотвѣтственно главной идеѣ постройки: “видимая и невидимая”. У Григорія былъ раскрытъ только первый терминъ “видимая”, Кирилль хочетъ дополнить и раскрытіемъ другого — “и невидимая” [Виноградов 1915: 108–109].

В. П. Виноградов [1915: 109] приводит поразительные примеры трансформации заимствованного у Григория Богослова текста, как, например, в этом случае:

Григорій  
Нынѣ солнце высочайшо, и  
златовиднѣйшо,

Кирилль  
Нынѣ солнце красуяся къ высотѣ  
восходитъ и радуся землю огрѣваетъ:  
взыде бо праведное солнце отъ гроба  
Христось и вся вѣрующая къ нему  
спасаетъ.

“Видимая” картина обновленного качества у Григория Богослова под пером Кирилла Туровского разрастается вширь расширением предикаций “видимого”, но и достраивается предикациями “невидимого”. Эта трансформирующая энергия заимствования, глубокая переработка исходного образца — коренная черта начиная с самых ранних примеров оригинальной литературы в Древней Руси.

Творчеству Кирилла Туровского посвящено немало работ, главным предметом которых было исследование стиля писателя (см., в частности, дополнение к библиографии, представленной у О. В. Творогова [1987]: [Двинятин 1996; Рогачевская 1999: 47–83; Трапезникова 2011;



ЧЕРТОРИЦКАЯ 1984]). В последнее время богатое литературное наследие Кирилла Туровского получило текстологическое описание в работах Г. С. БАРАНКОВОЙ [2010] и И. И. Макеевой [БАРАНКОВА, МАКЕЕВА 2013]. Г. С. БАРАНКОВА [2017] отдельно останавливается на обилии толкований, обогащенных разнообразными деталями, иносказательности и диалогичности как манере Кирилла-писателя. Вместе с тем полновесное категориально-грамматическое изучение языка проповедей не предпринималось, а значит, в лингвистическом отношении проповедничество Кирилла Туровского остается белым пятном в истории русской словесности. Вместе с тем, ввиду включения грамматической системы в художественный строй и тонкую разработку сферы грамматики, шедевры раннедревнерусской литературы могут дать едва ли не лучшее представление о функционировании грамматических форм, чем какие-либо другие памятники письменности.

В дальнейшем изложении мы остановимся на функционировании ряда единиц глагольной системы, которые, с одной стороны, являются фактом определенного этапа в истории книжно-литературного языка, а с другой — позволяют составить представление об узуальных формах живого языка. Функционирование глагольных форм рассматривается на фоне ряда источников, в том числе инославянских. В статье учитывается не весь свод сочинений Кирилла, поскольку он дошел во множестве разновременных и варьирующихся списков, а материал шести проповедей, которые вошли в самый ранний из сохранившихся сборников с ними, — Толстовский сборник второй половины XIII века (далее — *СбТол XIII*<sub>2</sub>). Ввиду древности сборника можно предполагать большую близость кирилловых Слов и Поучений из сборника оригиналу. Данная рукопись не издана<sup>1</sup>. В Казанском университете ведется подготовка “машиночитаемого” интернет-издания рукописи, которое будет включено в Казанскую электронную коллекцию славяно-русских памятников письменности XII–XIV веков [МАНУСКРИПТ 2004–2017]. При сплошной выборке форм в данном исследовании использовалась фотокопия рукописи.

В *СбТол XIII*<sub>2</sub> были включены следующие проповеди Кирилла Туровского в соответствии с их заглавиями: 1) в Неделю Фомину (л. 1–5 об., без начала); 2) Слово о снятии тела Христова с креста, мироносицах, похвала Иосифу, в Неделю третью по Пасхе (л. 5 об.–16); 3) Слово о расслабленном, в Неделю четвертую по Пасхе (л. 16–23); 4) Поучение в Неделю пятую по Пасхе (л. 23–25); 5) Слово о слепце, в Неделю шестую по Пасхе (л. 25–32); 6) Слово на Вознесение Господне, в четверток шестой Недели по Пасхе, о воскрешении Адама (л. 32–37 об.); 7) Слово на

<sup>1</sup> Существует давнее издание Слов по сборникам XIV века [Сухомлинов 1858], материал которого использован в “Словаре древнерусского языка (XI–XIV вв.)”.

Собор трехсот восемнадцати святых отцов, похвала отцам Никейского собора, в Неделю перед Пятидесятницей (л. 37 об.–46); 8) Поучение на Пятидесятнице (л. 46–48) (с уточнениями и исправлениями по сравнению с [Сводный каталог 1984: 324]). Предполагается, что принадлежность двух Поучений в сборнике Кириллу не может считаться бесспорной (под номерами 4 и 8). Они, однако, имеют малый объем и никак не влияют на дальнейшее изложение и итоговые выводы. В отличие от этих двух поучений, остальные Слова занимают большое текстовое пространство и отличаются разнообразием глагольных единиц. Будучи проповедями, связанными с определенными днями церковного календаря и богослужения, они обращены к пастве и по этой причине в той или иной степени отражают элементы гибридного языкового регистра, поскольку включают как общеславянские, так и восточнославянские формы.

Художественное открытие Кирилла и заключается в самом раннем в истории русского литературного языка и весьма последовательном сближении двух языковых стихий — церковнославянской и русской, в чрезвычайно тонком понимании их специфики и пределов использования в художественной речи [Колесов 1981: 38].

Мы склонны видеть в этом случае не столько художественное открытие, сколько прагматические установки Кирилла-проповедника.

Язык проповедей представляется нам ясным и простым, лишенным вычурности и риторических излишеств, и вместе с тем насыщенным экзегетической образностью, синтаксическим и лексико-грамматическим разнообразием. Книжный язык проповедей адаптирован в том смысле, что они обращены к рядовому слушателю или читателю. Нельзя забывать и об их миссионерской направленности, их цель — разъяснения евангельских событий, вероисповедных принципов и церковной истории. Такие яркие черты стиля Кирилла Туровского, как частотность биномов и полиномия или синтаксический параллелизм, соединяют в его творчестве традиции фольклорной и литургической поэтики. За ними стоит не украшательство, а стремление к полноте обозначения и выражения.

К проповедям примыкает анонимная “Притча о премудрости” (л. 48–49 об.), которую можно было бы связать с именем Кирилла. Большой фрагмент “Притчи” с редакторским сокращением вошел в состав берестяной грамоты из Торжка № 17 XII–XIII века, который оказался современным жизни Кирилла [Зализняк 2004: 464–465]. Вместе с тем принадлежность “Притчи о премудрости” Кириллу Туровскому вызывает большие сомнения. “Притча” записана иным почерком, нежели предшествующие Слова и Поучения, и представляет иной дискурсивно-

прагматический тип текста. Бросается в глаза следующее отличие. В Притче автор ведет речь от собственного лица: н азъ тн ѿвѣщаю [СбТол XIII<sub>2</sub>, 48]; н азъ та наоучю [IBID., 49] и под., — в то время как в Словах автор настаивает на том, что в его рассказе нет ничего субъективно личного:

нз не ѿ своего срѣца нзшошю словеса • вѣ дѣшн бо грѣшнѣ нн дѣло добро • нн слово пользѣно ражається • нз творимъ повѣсть вѣземлюще ѿ ст҃го невангѣлнн • поуѣнаго намъ нзина ѿ ноана фелогѣ • самовндѣца х҃вѣхъ уюдеса [СбТол XIII<sub>2</sub>, 25 об.]; нхѣже вѣлазъ ѿ бѣдѣхноченнхъ скажемъ кннгъ • мзи бо словоу нѣсмъ творцн • нз прѣруьскѣхъ н аплѣкѣхъ вѣслѣдоюще гл҃ъ [IBID.: 33–33 об.]; Нз молю вашию брѣне любовь • не зазрнте мн гроуѣстн • ннѣтоже бо сдѣ ѿ своего оума сдѣ вѣпнсаю • нз прошю ѿ бѣ дара словоу [IBID.: 38 об.];

сравним в обличении Ария: Сн ѿ своего оума а не ѿ ст҃хъ кннгъ нзвѣщалъ єсн [СбТол XIII<sub>2</sub>, 40 об.]

Эвиденциальность в ее сакральном варианте выступает идеологическим центром проповедей, что отличает их от “Притчи”, материал которой поэтому не учитывается в дальнейшем исследовании.

В связи с проповедническим характером Слов в функционировании глагольных форм с большой долей вероятности можно подозревать не только следование книжной норме, но и разговорным интенциям. Так, в Словах отсутствуют старославянские рефлексy \**dj* > жд в хожаше [СбТ XIII<sub>2</sub>, 20], внжь [IBID.: 26], уюжа [IBID.: 30 об.], межь [IBID.: 38] и под.; наблюдается русификация неполногласия посредь [IBID.: 20]; прѣже [IBID.: 29 об.], трѣбѣ [IBID.: 29 об.], на прѣстоле [IBID.: 39 об.] и под.; отсутствует простой аорист (кроме форм 3 л. ед. числа) и сигматический аорист от консонантных основ, исключая рѣша (см. далее); сохраняются исконные формы супина с управлением Р. п.: прншьдѣшааго ошнѣйтъ насъ похвалнмъ [IBID.: 5 об.], прндѣ ошновнтъ тварн н сп҃стѣ ѹлѣка [IBID.: 26] и под.; присутствует только 3-е лицо дв. числа на -та: єнохъ н нлнн не ошрѣтостаса на зѣмлн [IBID.: 19]<sup>2</sup>, небо н зѣмла тобѣ служнта [IBID.: 19 об.], осоужена бѣудѣта ошѣа [IBID.: 28 об.], станѣта нозъ єго [IBID.: 32] и др.; наблюдается частотное употребление восточнославянских форм Р. п. ед. числа тѣмннцѣ [IBID.: 6 об.], ѿ магалынѣ [IBID.: 11 об.] и под., В. п. мн. числа рыбарѣ [IBID.: 27 об.], блѣудннцѣ [IBID.: 28], младннцѣ, манастирь [IBID.: 37 об.] и под.; наблюдается развитие категории одушевленности в дв. числе: Кннжннцн нзумѣвѣшеса пытають р о д н т е л ю прозрѣвѣшаго [IBID.: 26 об.];<sup>3</sup> отмечаются регулярные исконные формы существительных \*й-основы: Р. п. мѣдоу 25 (2х), дому [IBID.: 45], звательная форма снѹ [IBID.: 40 об.], М. п. ед. и

<sup>2</sup> Надстрочные знаки, помимо титла, здесь и далее опускаются.

<sup>3</sup> Сравним исконный В. п.: кратара възвѣахъ пыташе н [ЖФП XII, 456].

мн. числа ѿ скоѣмъ сѣоу [ІВІД.: 41] (2х), въ сѣоу нѣвѣхъ [ІВІД.: 27] и ТП мн. числа в смешанном типе грѣхъмн (2х) [ІВІД.: 44, 46]<sup>4</sup> (см. в мягком склонении: стражымъ стрѣгомъ [СбТол XIII<sub>2</sub>, 13]), исконные звательные формы существительных \*ї-основы: зѣърн, татн [ІВІД.: 40 об.]; фигурируют регулярные древнерусские формы личного и возвратного местоимений Д.–М. п. тобѣ [ІВІД.: 19 об.], собѣ [ІВІД.: 30 об.], на собѣ [ІВІД.: 34 об.], въ собѣ [ІВІД.: 45 об.], в том числе с русифицирующей адаптацией южнославянских форм: вндаѣн на себѣ [ІВІД.: 34]; встречаются древнерусские формы действительных причастий наст. времени: И. п. мн. числа муж. рода рѣшаѹе [ІВІД.: 13]<sup>5</sup>, И. п. ед. числа муж. рода мнмѣнда [ІВІД.: 25 об.], а также примеры деклинационной унификации: нѣса вѣсѣлѣтъсѣ скою оу крашающѣ свѣтъла [ІВІД.: 34], творѣщемоу [ІВІД.: 36]; древнерусской инновацией является местоименное склонение причастных и адъективных форм в дв. числе типа зраѣю зѣннѣ [ІВІД.: 26 об.]<sup>6</sup> (vs. на крѣлоу вѣтрѣню [ІВІД.: 35 об.]); в количественных сочетаниях отмечаются как архаичные, так и новые формы существительных и числительных: за ѹетѣрн дѣсѣтѣ дѣн [ІВІД.: 32 об.] (по И. п. вместо дѣсѣтн), болѣ пѣтн сотѣ братнѣ ѡвѣсѣ [ІВІД.: 33 об.]; пѣтъ дѣн [ІВІД.: 41]; аврамъ пѣтъ цѣрѣвъ съ сѣламн нѣхъ погѣбен [ІВІД.: 38 об.]. В проповедях отмечаются редкие лексемы и гапаксы: аѣе вѣсхѣдаѣю сѣнѣю • сѣмъ жарнѣтъ кто ѡуѣн сѣон • не хотѣ вѣдѣтн сѣѣта сѣго • н гѣла лоуѣшн ѣсть тѣмѣ сѣѣта [ІВІД.: 24]; аѣе соуѣѣда нмѣте • нлн рѣднѣ нлн жѣноу нлн дѣтн [ІВІД.: 25]; н трѣмн дѣмн пакѣ вѣставѣтн ю хоу пѣтъсѣ [ІВІД.: 28]; оу егѣпѣтанѣ [. . .] оу сѣонѣтн [ІВІД.: 28] (т. е. обрести); нѣже вѣла зѣ ѡ бѣдѣхѣновѣннѣхъ скажемъ кнѣгъ [ІВІД.: 33] и др.; н лоуѣна съ зѣвѣздамн ноѣъ ѡ вѣла ѣтъ [ІВІД.: 20]; Лѣзѣра оуѣе рѣскѣ сѣвѣшаго вѣ грѣбѣ • н ѹетѣрн дѣн нмоуѣа вѣ мѣртѣвѣхъ • словомъ жѣвѣ стѣворнѣхъ [ІВІД.: 20 об.]; нзѣде вѣ сѣрѣдѣна аѣама [ІВІД.: 32 об.]; съ сѣдѣмъ дѣсѣтъ нѣмн хѣвѣ оуѣеннѣ [ІВІД.: 33 об.] (т. е. принадлежащими к числу семидесяти апостолов); н ѣ ѡ вѣратнѣнѣ рѣзѣоннѣ • н ѣ рѣсѣа ѣмѣн грѣшннѣ [ІВІД.: 40 об.]; н а нзѣвѣлѣеннѣ то пѣшнѣмъ сѣ вѣ телѣснѣхъ похѣтъхъ [ІВІД.: 45 об.]<sup>7</sup> и др.

<sup>4</sup> Формы Т. п. мн. числа на -мн исконного о-склонения принято связывать с письменной традицией первого поколения прямых учеников Кирилла и Мефодия [Пичхадзе 2008: 164].

<sup>5</sup> См. ранний пример адъективной дифференциации причастной формы: ѡ гѣраѣа сѣѣца [СбТол XIII<sub>2</sub>, 24].

<sup>6</sup> Так и в Слове о полку Игореве: *на своєю нетрудною крѣпѣ* (цит. по [Зализняк 2008: 473]).

<sup>7</sup> Как и в других древнерусских источниках, словоформа имеет регулярное русское написание телес- vs. регулярные формы без -ес- с ятем, например, в бинѣмѣ дѣламъ н тѣломъ, в отличие от старославянского, где сохранялся корневой ять и в формах на -ес-.

## Praesens historicum

Считается, что в древнеславянских переводах настоящее историческое встречается крайне редко под влиянием греческих прототекстов, обычно этим формам предпочитались аористы — формы реального прошедшего. Редкие формы настоящего исторического в старославянском были отмечены А. В. Бондарко [2005: 569]. Установлено, что в ранних древнерусских памятниках формы настоящего исторического являются большой редкостью, исключением является только “Слово о полку Игореве”, в котором употребляются не единичные примеры настоящего исторического, а целые цепочки форм. “Слово о полку Игореве” называется единственным ранним текстом, в котором обнаруживается настоящее историческое от основ несовершенного вида не в событийном, а процессном значении, когда актуальное настоящее “транспонировано в план прошедшего и является художественно-изобразительным средством” [Новикова 2016: 101–103]. Однако в проповедях Кирилла Туровского, по существу современных “Слову о полку Игореве”, настоящее историческое от имперфективных основ также представлено в цепочках форм, где событийные значения не отделены от процессных. См., в частности, в Слове в Неделю о слепце:

Оле мѡудрѡсть бѣѡа н нѡздрѡуѡньнѡе ѡлѡкѡлюбѡе • каѡ дѣѡа не веселѡтъсѡ о мѣтѣ неѡ •  
 юѡже нѡи вѡзлюбѡе • н далѡеуѡ соущѡа блѡзѣ кѡ собѣ прѡвѡде • всего ѡлѡка сѡрава стѡрѡнкѡ •  
 раслабѡлена вѡставѡ • хрѡмѡина оубѡистѡн • прѡкаженѡина ѡуѡнстѡн • слѡукѡина нсправѡн •  
 глѡуѡина н нѣмѡина добѡрѣ слѡиѡиѡа н глѡнѡи стѡрѡн • соухѡроукѡина оукѡрѡпѡн • бѣѡи ѡ  
 ѡлѡкѡ прогѡнавѡ • н слѣпѡина прѡсѡѣтѡн • Нѡ жѡдове сѡ на блѡтѡа гѡнѣ вѡю тѣ • н нѡдѣн  
 рѡпѡщѡю тѣ на ѡдѡтѡрѡца • нѡлѡтанѡе сѡвѣтѡ тѡрѡтѣ на сѡпѡа своѡеѡ • сѡнѡе  
 нѡковѡн поѡоубѡнтѡ мѡи сѡлѡтѣ прѡнѡдѡшаѡ сѡпѡтѡ всего мѡра • сѡдѡукѡн прѡзѡрѡвѡшаѡ  
 на соудѡиѡе вѡлѡкоу тѣ • нрѡдѡиѡе сѡвѡрѡнѡе сѡвѡзѡкоу пѡлѡю тѣ • не вѡроуѡю тѣ  
 бо ѡлѡкоу • ѡко тѡ еѡтѣ бѡиѡин прѣже слѣпѡ • Кѡнѡжѡнѡн нѡумѡвѡшѡсѡ пѡтѡю тѣ  
 родѡтѡеѡу прѡзѡрѡвѡшаѡ • аѡе то еѡтѣ глѡиѡе вѡю сѡнѡ • лѡвѡнтѡ дѡнѡвѡтѣ сѡ вѡдѡиѡе  
 зѡрѡиѡе зѡнѡиѡе оу родѡнѡшаѡсѡа бѡзѡ оуѡю • старѡиѡн оукарѡю тѣ вѡ соубѡтѡу  
 ѡвѡрѡзѡшаѡ ѡуѡн слѣпѡиѡе • нарѡдѡн хѡвалѡиѡе бѡ прѡсѡавѡнѡмѡу дѡнѡнтѣ сѡ ѡдѡесѡн • н  
 вѡсь нѡрѡмѡиѡ рѡдѡуѡе тѣ сѡ • ѡсѡа хѡа вѡлѡуѡиѡе • нѡ фарѡсѡн лѡстѡиѡе нарѡдѡи хѡу лѡтѣ  
 ѡдѡтѡрѡца • жѡрѡиѡн н зѡгѡнѡтѣ ѡ сѡвѡрѡнѡиѡа поѡнѡлѡванѡаѡ бѡмѡ • архѡнѡрѡн прѡтѡтѣ  
 прѡзѡрѡвѡшѡеѡу • да похѡуѡнтѣ прѡсѡѣтѡнѡшаѡ н • глѡиѡе сѡнѡ ѡлѡвѡвѡкѡ нѣѡ ѡ бѡа поѡеже  
 сѡбѡтѡи не хѡранѡнтѣ • Сѡмѡн мѡежѡ собѡю зѡлѡхѡитѡрѡнѡмѡ прѡтѡтѣ сѡ • а не  
 рѡдѡуѡю тѣ сѡ ѡ прѡсѡавѡнѡиѡхѡ бѡнѡхѡ ѡдѡесѡхѡ • нѡе не вѡ нѡмѡиѡ ѡзѡиѡѣ сѡдѡвѡхѡуѡсѡ  
 • нѡ нѡпѡлѡменѡнѡмѡ вѡ мѡутѣ тѡрѡнѡа бѡхѡу [СбТол XIII<sub>2</sub>, 26–27]<sup>8</sup> и под.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Заметим, что в пассаже довольно много контекстов с бессоюзием — прежде всего во фрагментах с параллелизмом, так что А. А. Зализняк [2008: 190–205] не вполне прав, указывая на эту черту “Слова о полку Игореве” как на уникальную.

<sup>9</sup> Хабитуальное сѡбѡтѡи не хѡранѡнтѣ (см. Р. П. ед. числа существительного) в данном пассаже уравнивается с другими формами, поскольку речь не идет о субботе вообще, а о конкретном субботнем дне исцеления слепорожденного.





Засвидетельствованы сочетания со вспомогательным глаголом хотѣти — глаголом желания или намерения в самостоятельном употреблении:

нѣ хошю бо жнѣти нѣ варѣти тѣ въ адѣ [СбТол XIII<sub>2</sub>, 7]; Вамъ хошю таннѣ повѣдати бѣи ѹлѣколюбѣи [IBID.: 12]; аще н внимаѣте н хошѣте наоучити сѧ [IBID.: 24] (ї из є); хошю нскоучити [IBID.: 24 об.]; ѿвръщи хошѣти [IBID.: 27 об.]; цн лн на вѣсокыи холмы хошѣте ма повѣстѣи [IBID.: 29]; хошѣмъ [. . .] оувѣдати [IBID.: 32].

Нельзя быть уверенными, что приведенные конструкции грамматикализованы как сугубо футуральные. Футуральность их следует понимать в смысле гипотетической ситуации, к которой некто желает или намерен привести [ЮРЬЕВА 2009: 207]. В большей их части просматривается знаменательный характер служебного глагола. В [SJS, 4: 784–789] некоторые контексты, где имеются конструкции с этим глаголом, характеризуются как футуральные. Футуральное значение в этих случаях является потенциальной величиной и может быть отождествлено с проспективом, т. е. с подготовкой того, что позже произойдет [Плунгян 2011: 286–287]. Таким образом, для автора выбор конструкций с данным глаголом обусловлен как предпочтением определенного грамматического сочетания, так и семантической насыщенностью глагола хотѣти, для которого в [SJS, 4: 784–789] выделено девять семантических фракций. Заметим, что в “Слове о полку Игореве” употребляются аналогичные формы: “Хошю бо, рече, копѣ приломити конецъ поля Половецкаго; съ вами, Русици, хошю главу свою приложити, а любо испити шеломомъ Дону” [Зализняк 2008: 462]. Известен, однако, и другой тип: “Аще его опутаевѣ красною дѣвицею, ни нама будетъ сокольца, ни нама красны дѣвице, то почнутъ наю птици бити въ полѣ Половецкомъ” [IBID.: 475]. Данная конструкция у Кирилла Туровского может выступать и с определенно модальным значением:

҃то же н ꙗще хошѣте ѿ мене слышати • понеже рекохъ вамъ н не вѣроуѣте • ꙗко н взи оученици ꙗго съ мною хошѣте быти [СбТол XIII<sub>2</sub>, 29 об.].

## Императив

Императив отличает яркая региональная, юго-западная, примета — обобщение суффиксального -ѣ- в 1-м спряжении [Зализняк 2004: 153]: этот суффикс заменяет исконный суффикс -и- у глаголов 3-го лескиновского класса:

нѣ глѣте на бѣ неправды • нѣ смотрѣте прѣрусьскыхъ писанин [СбТол XIII<sub>2</sub>, 30]; въсплещѣте руками • въскланкѣте боу глѣмъ радости [IBID.: 35].

Вместе с тем известно, что такая же особенность развития представлена и в древнеболгарском, так что суффиксальный *-ъ-* в этом случае выявляет тождество книжной традиции и регионального явления. Однако у Кирилла Туровского это явление носит ограниченный характер и не распространяется на глаголы 4-го класса и 3-го класса с основным йотом, как это было в болгарском: *нѣ сѣзѣрѣнтѣ нн сѣтоуѣнтѣ* [СбТол XIII<sub>2</sub>, 12] и др.

Диалогический характер Слов ярко проявляется в совмещении 1 л. и 2 л. мн. числа повелительного наклонения. Это выразительное средство единения говорящего и слушающих (я + вы = мы-единство):

*рѣкъ възстанѣтѣ въззндемъ възъишнн снѡнъ* [СбТол XIII<sub>2</sub>, 35 об.]<sup>10</sup>; *тъмъже н мы брѣѣ прндѣтѣ въззрадоуемъ сѧ ѣвн* [Ibid.: 36 об.–37].

В этих двусловных обозначениях просматривается прототип будущих инклюзивных, со значением совместности форм — как биномных, так и однословных: *Давайте сделаем! Пойдѣмте!* Формы 1 л. мн. числа напоминают здесь гортатив ряда языков мира [Плунгян 2011: 328–329], с которым все же не принято отождествлять русские формы, выводя их за границы императивной парадигмы.

Формы 1 л. мн. числа с побудительным значением чрезвычайно частотны в Словах. Они несут мощный заряд убеждения и единения, образуя длинные ряды тематически близких лексем в синтаксически однородных конструкциях, каждый раз завершая воспоминание о евангельском событии или вероисповедном принципе:

*Н рече к нему їсѣ яко вндѣвъ ма върова • блѣнн не вндѣвъшен въз ма въровавъшен • Тъмъже брѣѣ въроуемъ хѣу боу нашему • распънзшемоу сѧ поклонимъ сѧ • възкръсѣшааго прославимъ • ѡбънзшемоу сѧ апѣмъ въроуемъ • н сюю фомѣ показавшааго ребра възспомъ • прншѣдѣшааго ѡжнѣтъ насъ похвалимъ • н просвѣтѣнѣшааго ны нсповѣданъ • н всѣхъ блѣгъ подавшааго намъ ѡбнѣ възвелѣуемъ • ѡ трѣца познанъ єдного • ѣа бѣ спѣса нашего їс хѣ* [СбТол XIII<sub>2</sub>, 5 об.]<sup>11</sup>.

В пассаже объединяются евангельские и “пост-евангельские” события как нечто целое и неразрывно связанное.

<sup>10</sup> Здесь встречается ранний пример общевосточнославянского смешения в 1 л. мн. числа императива с индикативными формами — *възндемъ* вместо *възндѣмъ*. Вероятно, оно обусловлено исконным совпадением индикативных и императивных форм в 4-м лескиновском классе *поклонимъ сѧ*, *помолнимъ сѧ* и под. С этим явлением связано образование новых индикативных форм на основе императивных *дадим* вместо *дамъ*, *едим* вместо *ѣмъ*.

<sup>11</sup> Важное место во всем пассаже принадлежит причастиям — прежде всего от перфективных основ как предикативным признакам свершившегося и непреходящего. Причастные формы И. п. мн. числа и Р. п. ед. числа имеют стилистически отмеченные архаические формы.

В “Слове о полку Игореве” формы 1 л. мн. числа также могут образовывать цепь, обозначая побуждение к совместному действию: “Нъ рекосте: «мужаймѣся сами, преднюю славу сами похитим, а заднюю ся сами подѣлимъ!»” [Зализняк 2008: 468].

Аорист на -тъ

Особой характеристикой Слов является стопроцентная реализация аористов с окончанием -тъ. Слова в этом отношении наследуют исключительно старославянскую кирилло-мефодиевскую традицию:

блѹднѣца грѣхѹвъ ѿпустиъ прѣнятъ [СбТол XIII<sub>2</sub>, 5 об.]; вдовѣца • ѿ мѣртвѣхъ своѣго сѣа съ дѣшю жнѣа прѣнятъ [IBID.: 5 об.]; ѿже ѿ беззаконьнѣхъ за бѣгаѣа прѣнятъ [IBID.: 6 об.]; н прѣзва сътънѣа въпроси н аще оуже оумрѣтъ пропатѣи ѿ н оувѣдаѣа да сътъ тѣло нѣснѣоу [IBID.: 10 об.]<sup>12</sup>; н коупнѣа плащаницю съ нѣа тѣло ѿко съ крѣта [IBID.: 10 об.]; ннѣ женѣоу по ѿа тѣ [IBID.: 24 об.]; акѣ прѣвѣнѣа прѣнятъ ѿго [IBID.: 30 об.]; ѿблѣа съвѣтъа подѣа тѣ н ѿ оуню нѣа [IBID.: 35 об.]; на ѹа тѣ злѣе съма съѣти [IBID.: 39]; н на ѹа тѣ ѿканьнѣи снѣ догматнѣати [IBID.: 40].

Необычным может показаться тот факт, что в этом случае отсутствует вариативность, присущая как переписанным с кирилло-мефодиевских переводов источникам — например, Захариинскому паримейнику 1271 года, так и оригинальным древнерусским текстам — например, Житию Феодосия Печерского по списку XII века в Успенском сборнике. Слова Кирилла Туровского оказываются в этом отношении родственными переводным текстам с архаичными единицами, близкими гимнографическим текстам, которые были переведены учениками Кирилла и Мефодия [Пичхадзе 2011: 68, 323].

Аорист 2–3 л. ед. числа с окончанием -тъ стал наследственной чертой кирилло-мефодиевской школы письменности [Зноловов 2016: 164–168]:

н прѣнятъ нѣа мнѣо съю н съвѣтъ н оударѣи въ водоу [Зах 1271, 12Г<sub>1-5</sub>]; н все ѿлко бѣ на соушн оумрѣтъ [84Г<sub>19</sub>–85а<sub>2</sub>]; ѿѣи моѣ заклѣтъ ма [162б<sub>19</sub>–162в<sub>1</sub>]; жнѣа нѣснѣа •рѣ• [164в<sub>14-15</sub>]; гѣ дасть гѣ ѿтѣа тѣ [180Г<sub>19</sub>–181а<sub>1</sub>]; н покѣтъ ю ѿблѣа шесть дѣнн [246а<sub>8-10</sub>] и мн. др.

Такие формы могут соответствовать аористам без окончания -тъ в других списках, в том числе в среднеболгарском Григоровичевом паримейнике:

<sup>12</sup> Форма оумрѣтъ (ст.-сл. оумрѣтъ), вероятно, содержит восточнославянское флексивное -тъ, однако в рукописи конечный ѣ в верхней части смыкается с перемычкой т и может быть прочитан как т. Такое же написание имеет форма дасть, которая довольно регулярно употреблялась в древнерусских источниках. Возможно, неясное написание писцом выбрано осмысленно, поскольку рядом имеются хорошо различимые чтения на -тъ и -тъ.

н вѣроу ѿ тѣ н аврамъ ѿвн [Зах 1271, 120в <sub>7-9</sub> ]	і вѣру ѿ тѣ аврамъ ѿвн [Tr XIV <sub>2</sub> , 52г <sub>1-2</sub> ]	н вѣрж ѿ аврамъ бѣвн [Григ XII/XIII, 48 <sub>4</sub> ]
н покрѣтъ ю облакъ шесть днн [Зах 1271, 246а <sub>8-10</sub> ]	н покрѣ ѿго облакъ ·ѿ· днн [Tr XIV <sub>2</sub> , 141б <sub>16-17</sub> ]	
се ламѣхъ оуби два брата ѿнохова · н поятъ себѣ женѣ юю [Зах 1271, 260 об. <sub>10-11</sub> ]	а ламѣхъ оуби два брѣ ѿнохова · н пою себѣ женѣ юю [Tr XIV <sub>2</sub> , 140г <sub>14-17</sub> ]	

Г. А. Ильинский [1900] видел в таких глаголах архаические формы сильного аориста с медиальным окончанием или образования с флексией инъюнктива, что, по его мнению, объясняет отсутствие в этих случаях суффикса сигматического аориста перед -тъ. В новых работах высказывается предположение о развитии “приращения” -тъ у глагольных основ без автономного ударения, которым приращение придавало акцентную самостоятельность [Пичхадзе 2011: 316]. Как известно, этот фактор не проявил себя сколько-нибудь последовательно в восточнославянских диалектах праславянского языка, тогда как в ранний период подобная акцентная перестройка вовсе отсутствовала.

В аористе в праславянском положение было таково. Окончания 2–3 л. ед. ч. -е, -тъ были минусовыми, все прочие — (-ѣ, -омѣ, -те, -ѣ, -вѣ, -та) плюсовыми; соединительное -о- в новом сигматическом аористе, вероятно, было минусовым. При этом у а-, і- и корневых глаголов, подвергавшихся перемаркировке в инфинитиве [. . .], такая же перемаркировка происходила и в аористе, кроме 2–3 л. ед. ч. [Зализняк 1985: 144].

Круг глаголов с автоматическим — не автономным — ударением основы был довольно широк, однако это никак не способствовало развитию приращения: см., в частности, исконную отрицательную акцентную маркировку основ типа *лови-* и словоформ типа *тъблюде* [Зализняк 1985: 148, 159]<sup>13</sup>. Вариативность словоформ презенса, аориста и имперфекта на -тъ (-тъ) < \*-ti и -ѣ < \*-t, судя по всему, имеет общий генезис и восходит к индоевропейско-праславянской модели с варьированием первичных и вторичных окончаний в паре индикатив vs. инъюнктив, а также в формах конъюнктива [Жолобов 2012; *idem* 2015; Знолов 2014]. Модель аористов на -тъ была генерализована и закрепилась в группе глаголов с

<sup>13</sup> Как было показано Й. Райнхартом, морфологические изменения не сдерживаются более серьезными препятствиями — принадлежностью к разным акцентологическим парадигмам. Так, в хорватских рукописях отмечаются примеры образования сильного аориста для глаголов, которые акцентологически было принято связывать исключительно с сигматическим типом: 1 л. дв. ч. *tekově*, 1 л. ед. числа *otvrzъ*, 1 л. ед. числа *ne ožeg se* и др. [REINHART 1988: 300].



омонимичными формами страдательных причастий типа *мѣтъ*, *сѣвѣтъ*, *пѣтъ*. Их близость была отмечена Н. Ван-Вейком [1957: 314]. На взаимосвязь активных форм аориста на *-тъ* и пассивных форм с суффиксом *-т-* в своем структуралистском описании старославянской глагольной системы указал К. Кох [Кох 1990: 239]. Ассоциированность данных форм засвидетельствована менами при трансформации страдательных конструкций в активные. Яркий пример подобной трансформации приведен В. Б. Крысько [2011: 826] со следующим комментарием:

О том, что аорист *прѣнѣтъ* был для древнерусских книжников совершенно обычной формой, свидетельствует преобразование конструкции с омонимичным страдательным причастием: 3-й писец Соф заменил оборот, сохраненный другими писцами (С) в виде *прѣнѣтъ бѣѣ*, на *прѣнѣтъ н сѣѣ* 135a20<sup>14</sup>.

### Аорист *рѣша*

Такое же соотношение наблюдается в случаях с употреблением сигматического аориста глагола *рѣѣн/рѣѣнн*. Данный глагол в последних работах включается в число ключевых единиц ренарратива как разновидности категории эвиденциальности [Копотев 2014]. В Словах обнаруживаются почти всегда только формы сигматического аориста *рѣша* “сказали, говорили”, которые были характерны для кирилло-мефодиевских источников [Вайан 1952: 266]<sup>15</sup>; исключения единичны:

Сн бо рѣѣ соломонѣ помыслиша н прѣльстишасѣ ослѣпнѣ ꙗ злоба нхѣ • рѣкоша бо оуловимъ правѣдника • руганиемъ н ранами стѣжемъ его • н смѣртнѣ безлѣпотнѣю осудимъ его [СбТол XIII<sub>2</sub>, 9]; Уто же н ꙗще хощете ѿ мене слышати • понеже рѣкохъ вамъ н не вѣроуете • ꙗко н бѣ оуученици его съ мною хощете бѣити [IBID.: 29 об.]; к немуже възгласивше сѣнн нашн рѣкоша ѿѣн [IBID.: 40 об]<sup>16</sup>.

В Словах Кирилла Туровского лексико-грамматическая единица *рѣша* получила значение не просто введения прямой речи, а своего рода экспрессивного документального подтверждения чужой речи:

нн въздаша хвалы бѣн • въздвигнувъшюмоу расслабленѣ ѿ Одра немощн • нн рѣша како ти сѣ брате жнлы оукрѣпши [СбТол XIII<sub>2</sub>, 20 об.]; моужн бо рѣша галнаѣстнн что стоите зрѣще на нѣо [IBID.: 33].

<sup>14</sup> Соф — Софийский пролог (РНБ, Соф. 1324, л. 1–160, XII–XIII вв.).

<sup>15</sup> Кирилло-мефодиевский тип форм преобладает в позднедревнерусском Захариинском паримейнике 1271 года, однако нужно иметь в виду, что здесь и сам перевод имеет кирилло-мефодиевское происхождение. Соотношение здесь такое: 1 л. ед. число *рѣхъ* — 11, *рѣкохъ* — 2; 3 л. дв. число *рѣсте*, *рѣста* — 2, *рѣкоста* — 0; 2 л. мн. число *рѣсте* — 1, *рѣкосте* — 2; 3 л. мн. число *рѣша* — 11, *рѣкоша* — 6; *нарѣша* — 0, *нарѣкоша* — 1 [Знолов 2016: 164].

<sup>16</sup> Нельзя исключать появления этих форм под пером переписчика.

Особая функция данной словоформы подчеркивается ее употреблением в прямой речи на месте энклитики:

нстрѣбнѣмъ бо рѣша память ѿго [СбТол XIII<sub>2</sub>, 10]; Нѣ испытанѣмъ рѣша добръ •  
вѣзвѣмъ н ѿще вторюе прозрѣвшаго [ІВІД.: 28 об.]<sup>17</sup>.

Оба способа употребления словоформ могут сочетаться в одном контексте:

сѣннѣ бо рѣша на землю ннкомѣже не уювшю • н се рабнн носѣ шбразѣ вѣсходнѣ •  
онн же рѣша не боудѣмъ покори • аще не оуслашнѣмъ слова бѣнѣ [СбТол XIII<sub>2</sub>, 36]

Заметим, что подобное употребление не выделяется историческими словарями, хотя, например, использование формы *рече* как знака цитации в древнерусских текстах хорошо известно [Камчатнов 2004]. Сходные случаи отмечаются и в “Слове о полку Игореве”:

Помняшетъ бо, **речь**, прѣвыхъ временъ усобицѣ (цит. по [Зализняк 2008: 461]); “Хощу бо, **рече**, копѣ приломити конецъ поля Половецкаго; съ вами, Русици, хощу главу свою приложити, а любо испити шелоомъ Дону” [ІВІД.: 462]; А Святославъ мутен сон видѣ въ Кіевѣ на горахъ. “Си ночь съ вечера одѣвахуть мя, **рече**, чръною паполомою на кровати тисовѣ. . .” [ІВІД.: 467]).

Сигматический аорист в “Слове о полку Игореве” отсутствует, см.:

рекоста бо братъ брату: “се мое, а то мое же” [ІВІД.: 466]); И ркоша бояре князю: “Уже, княже, туга умъ полонила” [ІВІД.: 467]; Нѣ рекосте: “мужаимѣся сами, преднюю славу сами похитим, а заднюю ся сами подѣлимъ!” [ІВІД.: 468].

В “Слове о полку Игореве” лишь однажды прямая речь вводится глаголом *млѣвити*.

А. А. Гиппиус [2009: 249] отмечает, что “повествование о древнейшей истории Русской земли, легшее в основу Начальной летописи, вообще не знало новых форм аориста (типа *рекоша*), употребляя исключительно старые (типа *рѣша*)”.

Таким образом, у Кирилла Туровского сигматический аорист *рѣша* — это грамматикализованное, морфосинтаксическое средство, в качестве одной из единиц категории эвиденциальности обслуживающее указание на чужую речь. В чем здесь допустимо видеть переход языковой единицы

<sup>17</sup> В формальном отношении данные контексты близки русским: *Год, говорят, грибной будет*. Однако они имеют значение не документального свидетельства, а предположения с опорой на неопределенные источники. См. также в древнерусской летописи в конструкции с косвенной речью и предположительной семантикой *бѣ бо нхъ пришло, творѣху, ꙗко нѣ болѣ*, Новг. I лет. 6736 г. (цит. по: [Срезн., 3: 936]), где *творити* — ‘говорить (что-л. про кого- или что-л.)’; указывать, утверждать’ [ІВІД.; СлРЯ XI–XVII, 29: 257].

с рубежа лексического на ступень грамматикализации или близкий к ней уровень? Отмечается употребительность сигматического аориста данного глагола в древнерусской письменности — прежде всего раннего периода — как переводной, так и оригинальной [Пичхадзе 2011: 324–325]. В связи с этим формы типа *ръша*, пожалуй, основного глагола речи, могут отражать не только влияние кирилло-мефодиевской традиции, но и сохранение функционально обособленной праславянской формы. Данный факт может быть сопоставим с сохранением еще более глубокого, индоевропейского, архаизма — медиального перфекта *вѣдъ* “я знаю”, являющегося ключевой лексико-грамматической единицей категории эвиденциальности в функции указания на непосредственный субъектный источник информации [ŽOLOVOV 2016]. “... Evidentiality [...] actually involves the speaker's attitude toward the truth of the statement” [FRIEDMAN 1986: 186]. Прямая речь, сопряженная с употреблением *ръша*, несет большую дискурсивно-прагматическую нагрузку, придавая пассажам проповеди характер документального свидетельства. Итак, *ръша* < \**rěšę* — это изолированный индоевропейско-праславянский архаизм с единственной функцией маркера чужой речи, тяготеющий к клитическому употреблению и контрастирующий с живыми аористами типа *рѣкоша*. Наряду с приведенными выше данными А. А. Гиппиуса, язык кирилловой проповеди в этом отношении может отсылать еще к праславянской традиции ренаррации.

### Простые претериты 2 л. ед. числа

В Словах Кирилла Туровского отмечается такая архаичная черта, как правильное употребление 2 л. ед. числа аориста, которое по частотности превосходит какой-либо другой источник:

Внѣю рѣбра ѿ ннѣже н с т о у н воду н крѣвь • воду да оуиѣншии осквѣрнѣвшюся землю • н крѣвь же да оуиѣншии ѹлѣѹское нѣстьство • Внѣю роуцѣ твои нмаже прѣже створи всю тварь • н ран на с а д н • н ѹлѣва с о з д а • нмаже бѣгословн патрархѹ • нмаже по м а з а цѣрь • нмаже о с т н апѣлы [СбТол XIII<sub>2</sub>, 5]; Н рече къ немюу ісѹ яко вѣдѣвъ ма вѣр о в а • бѣжнн не вѣдѣвшн вѣ ма вѣр о в а вѣшн [ІВІД.: 5 об.]; нмаже вѣло растѣрзаша оутробю • твою вѣдѣшн тѣло • прннжѣдено къ дрѣвоу [...] ндннѣ ѿ несѣяннѣ пр о н д е оутробѣ • цѣлы пѣуати мою сѣбю дѣвства [...] н пакы дѣю с х р а н н [ІВІД.: 7–7 об.] и под.

А. А. Зализняк [2008: 107–114] отмечает подобное употребление аориста в ряде ранних источников (таких как Повесть временных лет и перевод “Истории Иудейской войны” Иосифа Флавия), а также в “Слове о полку Игореве”<sup>18</sup>, в отличие от более поздней традиции замены аориста 2 л. ед. числа перфектом.

<sup>18</sup> Он отмечает также 10 форм аориста 2 л. ед. числа в Мариинском евангелии. Данные Слов Кирилла Туровского остались ему неизвестны.

У Кирилла Туровского рядом с аористом 2 л. встречается также имперфект. Чрезвычайно показательны контексты, в которых рядом с простыми претеритами во 2 л. ед. числа употребляется перфект во 2 л. ед. числа:

нѣо помрачнѣа н свѣтъ скръзѣ • тѣ же тогда радѡуѣасѣ на своѣю рукоу бѣа н о с ѣ ш ѣ •  
землю лн тѣ бл҃гоцѣлѡущю нарекоу • нѣ тоѣ ѡтѣнѣн сѣ по к а з а • тѣгда бо н тѣ  
страхомъ тѣсашесѣ • тѣ же сѣ веселнѣемъ бнѣ тѣло сѣ ннкоднмомъ • вѣ плащаницю сѣ  
вонамн ѡбѣнѣа положнѣа ѣсн • аплѣмъ лн тѣ нменѡую • нѣ н тѣхъ вѣрнѣе н крѣпѣуѣе  
о б р ѣ т е с ѣ • ѣгда бо • ѡнн страха радн жндовьска разбѣгошасѣ • тѣгда тѣ безъ  
боѣзнн н бесѡумнѣннѣа послѡужнѣа ѣсн х҃вн [СбТол XIII<sub>2</sub>, 15]; нѣ сѣхрани тѣ ѡ тѣхъ і  
ѣз ѣгоже тѣ х р а н ѣ ш ѣ тѣло • не ѡубѡивѣсѣа гнѣва жндовьска • не прѣценнѣа жреѣьска •  
нн напрасно ѡубѣнѣающнхъ воннѣ не ѡстрашнѣа • не пожалнѣа по мнозѣмъ бѣтѣствѣ •  
ѡаѣа трнѣднѣвнаго вѣскрѣннѣа • нѣ паѡе всѣхъ сѣхъ подвнзѣлѣсѣа ѣсн бѡбл҃жннѣа нѡснѣ •  
н паѡе всѣхъ нмашн дерзнѡвеннѣе кѣ х҃ѡу [IBID.: 15 об.].

В приведенном пассаже простые претериты обозначают исторические и физические действия, в то время как перфекты — подвергшийся текущей оценке, общезначимый, в том числе метафизический их смысл.

В известной берестяной грамоте № 605 (кон. XI – 1-я треть XII) также встречаются формы 2 л. ед. числа аориста розгнѣвасѣ (с восточнославянской приставкой) и имперфекта мѣлѣашѣ рядом с разными формами перфекта, что подчеркивает расхождения в их семантике:

поклананнѣ ѡ ефрѣма кѣ братѡу моемоу нсоухнѣ  
не распрашѣвѣ розгнѣвасѣ мене нгоумене не поу-  
стнѣа а ѣ прашѣлѣсѣа нѣ послѣлѣа сѣ  
асафѣмъ кѣ посадыннѡу медѡу делѣа а прн-  
шѣла ѣсѣѣ олн зѡннлн а ѡемоу сѣа гнѣвѣашн  
а ѣ вѣсѣгда ѡу тебе а сѡромъ мн ѡже мн лнхѡ  
мѣлѣашѣ н покланѣю тн сѣа братѣѡе мон  
то сн хотѣа мѣлѣвн тѣ ѣсн мон а ѣ тѡн  
[Зализняк 2004: 271].

Формы аориста и имперфекта, с одной стороны, и формы перфекта — с другой, несут разную дискурсивно-прагматическую нагрузку. Они оформляют разные сюжетные линии эпистолы. Аорист и имперфект оформляют внешнюю сюжетную канву, связанную с действиями адресата послания, в то время как перфекты описывают действия, относящиеся к автору. Они имеют удостоверительное значение, свидетельствуют о реальном ходе событий в прошлом.

В приведенных примерах из Слова Кирилла Туровского при определенном сходстве представлена более сложная картина, поскольку

простые претериты и перфект относятся к одному и тому же лицу, к которому обращается автор. Подобные контексты являются в определенном смысле ключевыми для прояснения исходной семантики перфекта. Их анализу должно быть посвящено отдельное исследование.

## Перфективный имперфект и имперфект на -ть

У Кирилла Туровского находим лишь краткие, стяженные разновидности имперфекта<sup>19</sup>, при том что изредка встречаются нестяженные формы прилагательных и причастий: нынѣшняаго и боудущаго бесконьянааго вѣка [СбТ XIII<sub>2</sub>, 4 об.], нн въздаша хвалы бѣн • въздвнгн оувъшо оуму раслабленаго ѿ одра немошн [ІВІД.: 20 об.] и др.<sup>20</sup>

В Слове “О расслабленном” Кирилла Туровского, как и в гомилии, посвященной этому же евангельскому чтению в старославянской Супрасльской рукописи (далее — Супр.), встречаются формы перфективного имперфекта, в отличие от самого евангельского чтения, однако они связаны с разными глаголами<sup>21</sup>. В то же время весьма показательно, что сама по себе дискурсивно-прагматическая природа этого пассажа способствовала включению в него имперфектов от перфективных основ<sup>22</sup>. Сравним (надстрочные знаки, кроме титла, опущены):

С Ѣ Н Н Д Ѣ А Ш Е Т А М О Р Е У Е А Н Г Е Л З Н  
В З Ъ М Ж Ш Т А А Ш Е В О Д Ж . Н Н Ж Е Б Н В Ы Л Ъ З Ъ  
П О В З Ъ М Ж Ш Т Е Н Н І В О Д Ъ . Н А С Л А Ж Д А А Ш Е С А  
Н Ц Ъ Л Е Н Ъ . С Н Н Д Е А Н Г Е Л Ъ С К Ъ И Н В Л А Д Ъ К А В З  
І Ѡ Р Д А Н Ъ С К Ъ Ъ В О Д Ъ . Н С В А Т Н Ъ В З В О Д Ъ Н О У  
Н Е С Т Ъ С Т В О В Ъ С Ж В Ъ С Е Л Е Н Ж Ъ Н Ц Ъ Л А Н Ъ . С Е Г О  
Р А Д Н . Т А М О О У Б О . Н Ж Е С Н Н Д Ѣ А Ш Е  
П О П Р Ъ В Ъ Ъ М З . О У Ж Е Н Е Н Ц Ъ Л Ѣ А Ш Е  
[Супр 248 об.]

НЕГОЖЕ Н ВРАУЕЕ НЕБРЪГОМА СТВОРНИША •  
 НЕГОЖЕ П РЕЗРАХОУ ВЪМЪТАЮЩЕН ВЪ  
 КУПЕЛЬ • НЕГДА БО ВЪЗМОУТАШЕ ТЬСА  
 ВОДА • ВЪСН Ѡ БѢТЪХЪ ПЕКОУЩЕСА • СДРАВНИ  
 СЕГО ѠРЪНХОУ [СбТ XIII, 16 об.];

а҃н҃г҃л҃зъ бо ѿ҃нь прѣхѣа възмоуѣаше водоу  
 • и по възмоуѣеннѣи перѣѣ възлѣзѣи цѣлѣ  
 бѣаше • си же бѣ ѡбразѣ сѣ҃го крѣ҃пнѣннѣ  
 • понеже не всегда нѣлѣаше • нѣ гдѣ ю  
 а҃н҃г҃л҃зъ възмоуѣаше [17]

# Оригинальный характер перфективных имперфектов в Слове Кирилла

<sup>19</sup> *Соф* – Софийский пролог (РНБ, Соф. 1324, л. 1–160, XII–XIII вв.).

<sup>20</sup> Аналогичные формы отмечаются в Троицком сборнике XII–XIII вв.: ннѣсѣмоу, сплѣдѣсѣмоу [ПАЙМИНА 2012: 19]. В нашем случае чтение, однако, не совсем ясное: возможно, кѣзѣнѣмоу, кѣзѣнѣмоу. Аналогичные формы отмечаются в Изборнике 1073 года, 16г кѣ кѣшѣсѣмоу и в Архангельском евангелии 1092, 24 об. просѣсѣмоу, 51 об. нѣмоу, нѣмоу [КУЗНЕЦОВ, ИОРДАНИДИ, КРЫСЬКО 2006: 102].

<sup>21</sup> О перфективном имперфекте в старославянском [Жолобов 2016].

<sup>22</sup> “Наиболее справедливой представляется поэтому гипотеза, согласно которой дискурсивное использование грамматических механизмов в естественных языках в основном осуществляется с целью разграничить разные типы пассажиров” [Плунгян 2008: 20].



Туровского подчеркивается употреблением основы без чередования с дополнительным окончанием -ть: *вѣзмуташеться, вѣзмуташе*. Рядом выше употребляется и ожидаемая форма с чередованием при глаголе *вѣзмутити*: *вѣзмущаше*. Очевидно, именно имперфекты от глаголов на -ити и стали основным источником имперфективных основ с чередованием, которые, таким образом, сохраняют двоякую соотнесенность — с исходным перфективным глаголом и новым — имперфективным (сравним: *наслаждааше са, нѣлаше* и под.). См. также *мыслаше* [СбТол XIII<sub>2</sub>, 4]; *лыташе* [ibid.: 40].

Полная самостоятельность Кирилла Туровского при употреблении имперфекта проявляется и в другом: у него находим имперфект-гапакс с полногласием *полокаху* “полоскали”<sup>23</sup> при разъяснении гебраизма *внѣзда*, которое является уникальным в древнеславянской письменности:

того ради при мнозѣ прѣде народѣ • къ соломони вододѣржи • нже нарицається  
внѣзда • срѣчу овѣча коупель • понеже тоу полокаху жьртвыныхъ  
овець оутробы [СбТол XIII<sub>2</sub>, 17].

Употребляется перфективный имперфект со вторым полногласием и со значением завершеного дистрибутивно-кратного действия “никак не умолкнут, все не умолкали”: *нѣ жндове не оумзлѣкнѣху глѣше* • кто есть нѣлѣкын та въ соуботоу [СбТол XIII<sub>2</sub>, 21 об.]. См. также законченное дистрибутивно-кратное значение: *н все се сдѣваху жндовьскыи старѣшныи* • *нѣ завнѣше не дадаше нмѣ познати бѣи блѣти* [СбТол XIII<sub>2</sub>, 27 об.]. Сравним имперфект с имперфективной основой однокоренного глагола: *н научаша глѣти всѣмъ языки* • *якоже дѣхъ дааше нмѣ провѣщати* [СбТол XIII<sub>2</sub>, 46 об.].

Как и в других древнерусских оригинальных текстах, в Словах Кирилла Туровского употребляются формы имперфекта на -ть, не ограниченные какими-либо особыми морфосинтаксическими условиями:

егоже сѣномъ бѣнемъ нарицахуть книжници [СбТол XIII<sub>2</sub>, 8 об.]; сѣбра-  
хууться въ нѣрѣмѣ [ibid.: 16 об.]; не въровахууть емоу • нѣ противу  
блѣти хулатъ [ibid.: 16 об.]; еже н нѣса повѣдахууть звѣздю [ibid.: 31 об.];  
Нмѣашеть же съ собою гѣ [ibid.: 35 об.].

Литургический, “редуцированный” тип употребления имперфектов с дополнительным окончанием почти исключительно перед новой энклитикой *н* “его” для избежания неблагозвучных сочетаний автору Слов также хорошо знаком: *срѣтахуутн н* [СбТол XIII<sub>2</sub>, 9 об.] (с ранним южнорусским обозначением фонетического изменения -ть *н* > -тн *н*)

<sup>23</sup> Ср. праслав. \**polkati*, \**polskati* и ст.-сл. *платати*, укр. *полóкати* ‘полоскать’ [ФАСМЕР, 3: 315].

[Жолобов 2015] и др.

Как по употреблению перфективных имперфектов, так по использованию имперфектов на -ть проповеди Кирилла Туровского сближаются со Словом о полку Игореве (см. в “Слове о полку Игореве” [Зализняк 2008: 94–106]).

Рефлексивы с препозиционной энклитикой **сѧ**

В Словах Кирилла Туровского обнаруживается вакернагелевское употребление энклитики **сѧ**, связанной с развитием категории рефлексивности, как в “Слове о полку Игореве” и других ранних источниках [Зализняк 2008: 54 и сл.]:

КАКО ТИ Сѧ БРАТЕ ЖИЛИ ОУКРѢПИША • И ТѢЛЕСНИИ ОУДИ ОУТВѢРДИША [СбТол XIII<sub>2</sub>, 20 об.]<sup>24</sup>; НѢ ДА Сѧ ИКАТЬ ДѢЛА БѢИ НА НЕМЬ [IBID.: 26]; НѢ ЖИДОСѢ Сѧ НА БЛѢТЛА ГНѢВАЮТЬ [IBID.: 26 об.]; ДА Сѧ ПРОСЛАВИТЬ БѢ ВЪ СВѢТѢ СѢХЪ СВОИХЪ [IBID.: 39 об.]; УТО Сѧ ВАМЪ МИНТЬ ШѢ [IBID.: 40].

В первом примере энклитика относится к двум последующим глаголам. А. А. Зализняк [2008: 68] отмечает: “Одно *сѧ* на два возвратных глагола встречается крайне редко и только в текстах, сочиненных или переведенных очень рано”.

Перфект

В Словах Кирилла Туровского большой частотностью отличаются формы перфекта. Их примерно в четыре раза больше, чем в ЖФП XII, сравнимом по объему. Они обладают разнообразной семантикой, словно бы иллюстрируя выводы работы [LINDSTEDT 2000: 378], которые требуют проверки:

Although expressing the current relevance of a past situation is the central and prototypical meaning of the perfect, I know of no perfects that only have this function. I propose the following tentative universal: *If a gram has the CR meaning, it also has at least one of the following meanings: resultative; experiential (indefinite past); inferential; reportative*<sup>25</sup>.

А. А. Зализняк [2008: 108] отмечает в связи с этим: “Упрощенно говоря, аорист указывает просто на действие в прошлом, а перфект — на состояние, наступившее в результате действия в прошлом”. Рядом с аористом, обозначающим исторический, физический факт, перфект оказывается необходим как своего рода экзегетический инферентив, чтобы оценить

<sup>24</sup> И = В. П. ВМЕСТО И. П. ТѢЛЕСНИИ.

<sup>25</sup> CR = current relevance.

и вскрыть текущий общезначимый и надфизический смысл действия: Кръвь с водою нздѣрѣхъ н с то у н • нмаже телесную всю сквърнуу оуиствѣхъ н дѣша ѹлвуа о с т ѣ н ѣ ж е с т ь [СбТол XIII<sub>2</sub>, 13]. Таким образом, перфект у Кирилла значим именно в связи с его исконным традиционным значением, которое Кирилл наделяет новыми, свежими обертонами, демонстрируя исконную смысловую подвижность перфекта. Поскольку связочный глагол *ѣсть* и *под.* имел двойное значение существования или утверждения сущности чего-либо, перфект зачастую обслуживал текущую смысловую оценку фактов прошлого вместе со свидетельствованием о них. Перфектные формы в проповеднических источниках должны быть рассмотрены в отдельной статье.

### Общие выводы

Обращает на себя внимание большое число схождений в языке проповедей Кирилла Туровского со Словом о полку Игореве, в том числе в тех случаях, где характеристики Слова рассматривались как уникальные. Эта тема требует дальнейшего изучения. Схождения имеются также с паримейником и ранними древнерусскими текстами. Данные схождения свидетельствуют о системном статусе ряда явлений в грамматике глагола, несмотря на их особый, неординарный характер, обусловленный особенностями дискурсивно-прагматической природы текстов.

### Сокращенные названия библиотек и древлехранилищ

РГБ	Российская государственная библиотека (Москва)
РНБ	Российская национальная библиотека (С.-Петербург)
BN	Biblioteka Narodowa (Warszawa)
NUK	Narodna in univerzitetna knjižnica (Ljubljana)

### Библиография

#### Источники и электронные коллекции

##### *Григ XII/XIII*

РГБ, Григ. 2, 104 л., Григоровичев паримейник XII–XIII вв., по изд.: РИБАРОВА З., ХАУПТОВА З., Григоровичев паримейник, 1: Текст со критички апарат, Скопје, 1998.

##### *ЖФП XII*

Житие Феодосия Печерского, л. 26–67, по изд.: КНЯЗЕВСКАЯ О. А., ДЕМЬЯНОВ В. Г., ЛЯПОН М. В., изд., *Успенский сборник XII–XIII вв.*, ред. С. И. Котков, Москва, 1971.

##### *Зах 1271*

РНБ, Q.п.1.13. 264 л., Захариинский паримейник, 1271 г., по интернет-изданию: ЖОЛОбОВ О. Ф., КУЗОВЕНКОВА А. И., “Захариинский паримейник 1271 г.” [МАНУСКРИПТ

2004–2017].

#### МАНУСКРИПТ 2004–2017

*Портал “Манускрипт”*, Лаборатория по автоматизации филологических работ УдГУ, Ижевск, 2004–2013; Кафедра лингвистики ИЖГТУ, Ижевск, 2005–2017 (<http://manuscripts.ru/>; последнее обращение 12.07.2017).

#### СбТол XIII<sub>2</sub>

РНБ, Из собр. Ф. А. Толстого, Ф.п.І. 39. 184 л., Сборник Слов и поучений, втор. пол. XIII в.

#### Тр XIV<sub>2</sub>

РГБ, ф. 304.І (Главное собрание Троице-Сергиевой лавры), № 4, 142 л., Паримейник, втор. пол. XIV в., по интернет-изданию: Жолобов О. Ф., Кузовенкова А. И., “Паримейник втор. пол. XIV в.” [МАНУСКРИПТ 2004–2017].

#### Супр

ВН, ВОЗ (Собрание Замойских), № 21, 151 л., NUK, Cod. Кор. 2, 118 л., РНБ, Q.п.72, 16 л., Супрасльская рукопись, XI в., 285 л., по интернет-изданию: Рябова-Чернова Е. В., “Миней четья на март, сер. XI в., старослав.” [МАНУСКРИПТ 2004–2017].

### Литература

#### БАРАНКОВА 2010

БАРАНКОВА Г. С., “Текстология и язык «Повести о беспечном царе и его мудром советнике» Кирилла Туровского”, in: *Лингвистическое источниковедение и история русского языка (2006–2009)*, Москва, 2010, 313–354.

#### ——— 2017

БАРАНКОВА Г. С., “Оригинальное и заимствованное в творчестве Кирилла Туровского”, in: *Седьмые Римские Кирилло-Мефодиевские чтения. Тезисы*, Москва, 2017, 5–8.

#### БАРАНКОВА, МАКЕЕВА 2013

БАРАНКОВА Г. С., МАКЕЕВА И. И., “Повествовательные произведения Кирилла Туровского и проблемы русского литературного языка”, in: *Письменность, литература, фольклор славянских народов. История славистики: XV Международный съезд славистов, Минск, 20–27 августа 2013 г.: Доклады российской делегации*, Москва, 2013, 52–81.

#### БОНДАРКО 2005

БОНДАРКО А. В., “Настоящее историческое глаголов совершенного и несовершенного вида в славянских языках”, in: ИДЕМ, *Теория морфологических категорий и аспектологические исследования*, Москва, 2005, 425–608.

#### ВАЙАН 1952

ВАЙАН А., *Руководство по старославянскому языку*, Москва, 1952.

#### ВАН-ВЕЙК 1957

ВАН-ВЕЙК Н., *История старославянского языка*, Москва, 1957.

#### ВИНОГРАДОВ 1915

ВИНОГРАДОВ В. П., *Уставные чтения: Очерки по истории греко-славянской церковно-учительной литературы*, 3, Сергиев Посад, 1915.

#### ГАСПАРОВ 2000

ГАСПАРОВ Б. М., *Поэтика “Слова о полку Игореве”*, Москва, 2000.

#### ГИППИУС 2009

ГИППИУС А. А., “«Рекоша дружина Игореву. . . —3». Ответ О. Б. Страховой (Еще раз о лингвистической стратификации Начальной летописи)”, *Palaeoslavica*, 17/2, 2009, 248–287.

#### ДВИНЯТИН 1996

ДВИНЯТИН Ф. Н., “Лингвопоэтический анализ Торжественных слов св. Кирилла

- Туровского" (автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук, С.-Петербург, 1996).
- Жолобов 2012  
Жолобов О. Ф., "О рефлексах инъюнктива в древнерусских книжных источниках", *Русский язык в научном освещении*, 1 (23), 2012, 194–231.
- 2015  
Жолобов О. Ф., "О древнерусском имперфекте", *Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки*, 157/5, 2015, 28–35.
- 2016  
Жолобов О. Ф., "От праславянского языка к старославянскому: о перфективном имперфекте", *Вопросы языкознания*, 3, 2016, 64–80.
- Зализняк 1985  
Зализняк А. А., *От праславянской акцентуации к русской*, Москва, 1985.
- 2004  
Зализняк А. А., *Древненовгородский диалект*, 2-е изд., Москва, 2004.
- 2008  
Зализняк А. А., "Слово о полку Игореве": взгляд лингвиста, 3-е изд., Москва, 2008.
- Ильинский 1900  
Ильинский Г. А., "Из истории старославянского аориста", *Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук*, 5/1, 1900, 191–203.
- Камчатнов 2004  
Камчатнов А. М., "Форма аориста речи как знак цитации в древнерусских текстах", *Древняя Русь. Вопросы медиевистики*, 1 (15), 2004, 14–16.
- Колесов 1981  
Колесов В. В., "К характеристике поэтического стиля Кирилла Туровского", in: *Труды Отдела древнерусской литературы*, 36, Ленинград, 1981, 37–49.
- Копотев 2014  
Копотев М. В., "Эволюция русских маркеров ренарратива: синтаксис или лексика?", in: С. С. Сай, М. А. Овсянникова, С. А. Оскольская, ред., *Русский язык: грамматика конструкций и лексико-семантические подходы* (= Acta linguistica petropolitana. Труды Института лингвистических исследований РАН, 10/2), С.-Петербург, 2014, 712–740.
- Крысько 2011  
Крысько В. Б., "Морфологические особенности житийной части Софийского пролога", in: В. Б. Крысько, Л. В. Прокопенко, В. Желязкова, И. М. Ладыженский, А. М. Пентковский, изд., *Славяно-русский Пролог по древнейшим спискам. Синаксарь (житийная часть Пролога краткой редакции) за сентябрь-февраль, 2: Исследования*, Москва, 2011, 798–837.
- Кузнецов, Иорданиди, Крысько 2006  
Кузнецов А. М., Иорданиди С. И., Крысько В. Б., *Прилагательные* (= Историческая грамматика древнерусского языка, 3), Москва, 2006.
- Левшун 2011  
Левшун Л. В., *История восточнославянского книжного слова XI–XVII вв.*, Минск, 2001.
- Новикова 2016  
Новикова М. В., "Особенности нарративных функций видо-временных форм в севернорусских былинах в сопоставлении с памятниками русской письменности XII–XVII вв." (диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук, Москва, 2016).
- Паймина 2012



- ПАЙМИНА О. С., “Языковые особенности Троицкого сборника XII–XIII вв.” (автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук, Казань, 2012).
- ПИЧХАДЗЕ 2008  
 ПИЧХАДЗЕ А. А., “Южнославянские традиции в древнерусской письменности (лексика и грамматика)”, in: *Письменность, литература и фольклор славянских народов / XIV Международный съезд славистов. (Охрид, 10–16 сентября 2008 г.). Доклады российской делегации*, Москва, 2008, 152–172.
- 2011  
 ПИЧХАДЗЕ А. А., *Переводческая деятельность в домонгольской Руси: лингвистический аспект*, Москва, 2011.
- ПЛУНГЯН 2008  
 ПЛУНГЯН В. А., “Предисловие: дискурс и грамматика”, in: В. А. ПЛУНГЯН, В. Ю. ГУСЕВ, А. Ю. УРМАНЧИЕВА, ред., *Исследования по теории грамматики, 4: Грамматические категории в дискурсе*, Москва, 2008, 7–36.
- 2011  
 ПЛУНГЯН В. А., *Введение в грамматическую семантику. Грамматические значения и грамматические системы языков мира*, Москва, 2011.
- РОГАЧЕВСКАЯ 1999  
 РОГАЧЕВСКАЯ Е. Б., *Цикл молитв Кирилла Туровского: Тексты и исследования*, Москва, 1999.
- СВОДНЫЙ КАТАЛОГ 1984  
*Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР. XI–XIII вв.*, Москва, 1984.
- СРЕЗН., 1–3  
 СРЕЗНЕВСКИЙ И. И., *Материалы для Словаря древнерусского языка по письменным памятникам*, 1–3, С.-Петербург, 1893–1903.
- СЛРЯ XI–XVII, 1–30  
*Словарь русского языка XI–XVII вв.*, 1–30–, Москва, 1975–2015–.
- СУХОМЛИНОВ 1958  
 СУХОМЛИНОВ М., *Рукописи графа А. С. Уварова*, 2, С.-Петербург, 1858.
- ТВОРОГОВ 1987  
 ТВОРОГОВ О. В., “Кирилл, епископ Туровский”, in: Д. С. ЛИХАЧЕВ, отв. ред., *Словарь книжников и книжности Древней Руси*, 1: XI – первая половина XIV в., Ленинград, 1987, 217–221.
- ТРАПЕЗНИКОВА 2011  
 ТРАПЕЗНИКОВА О. А., “Цитата как актуализатор авторской интенции в древнерусском тексте (на материале Торжественных слов Кирилла Туровского)”, *Вестник Томского государственного педагогического университета*, 3 (105), 2011, 27–33.
- ФАСМЕР, 1–4  
 ФАСМЕР М., *Этимологический словарь русского языка*, 1–4, пер. с нем. и доп. О. Н. ТРУБАЧЕВА, 3-е изд., стер., Москва, 1996.
- ЧЕРТОРИЦКАЯ 1984  
 ЧЕРТОРИЦКАЯ Т. В., “Стилистическая симметрия и архитектоника торжественных слов Кирилла Туровского”, in: *Вопросы сюжета и композиции*, Горький, 1984, 20–25.
- ЮРЬЕВА 2009  
 ЮРЬЕВА И. С., “Семантика глаголов *имѣти*, *хотѣти*, *начати* (почати) в сочетаниях с инфинитивом в языке древнерусских памятников XII–XV вв.” (диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук, Москва, 2009).
- FRIEDMAN 1986  
 FRIEDMAN V. A., “Evidentiality in the Balkans: Bulgarian, Macedonian, and Albanian,”

- in: W. CHAFE, J. NIKOLS, ed., *Evidentially: The Linguistic Coding of Epistemology*, Norwood (NJ), 1986, 68–87.
- KOCH 1990  
 KOCH C., *Das morphologische System des altkirchenslavischen Verbums* (= Münchner Universitäts-Schriften, Reihe der Philosophischen Fakultät, 22/1), München, 1990.
- LINDSTEDT 2000  
 LINDSTEDT J., “The Perfect—Aspectual, Temporal, and Evidential,” in: Ö. DAHL, ed., *Tense and Aspect in the Language of Europe*, Berlin, New York, 2000, 365–383.
- REINHART 1988  
 REINHART J., Eine Innovation bei der Aoristbildung im Kroatisch-Glagolitischen, *Zeitschrift für slavische Philologie*, 48/2, 1988, 298–303.
- SJS, 1–4  
*Slovník jazyka staroslověnského*, 1–4, Praha, 1956–1997.
- ZHOLOBOV 2014  
 ZHOLOBOV O., “On Reflexes of *ti-* and *t-*forms of Verbs in Ancient Russian,” *Russian Linguistics*, 38/1, 2014, 121–163.
- 2016  
 ZHOLOBOV O., “The Synthetic Indicative in Cyril and Methodius’ Sources (The Internet Edition of the Paroemiarion Zacharianum Dating from 1271),” *Russian Linguistics*, 40/1, 2016, 153–172.
- ŽOLOBOV 2016  
 ŽOLOBOV O., “Present Tense Forms Variability in the Paroemiarion Zacharianum d. 1271 (To the Parchment Internet-edition),” *Zeitschrift für Slawistik*, 61/2, 2016, 305–321.

## References

- Barankova G. S., “Tekstologija i jazyk ‘Povesti o bespechnom tsare i mudrom sovetnike’ Kirilla Turovskogo,” in: *Lingvisticheskoe istochnikovedenie i istorija russkogo jazyka (2006–2009)*, Moscow, 2010, 313–354.
- Barankova G., “Originality and Adoption in the works of Cyril of Turov,” in: *Sed'mye Rimskie Kirillo-Mefodievskie chteniia. Tezisy*, Moscow, 2017, 5–8.
- Barankova G. S., Makeeva I. I., “Povestvovatel'nye proizvedeniia Kirilla Turovskogo i problemy russkogo literaturnogo jazyka,” in: *Pis'mennost', literatura, fol'klor slavianskikh narodov. Istoriia slavistiki: XV Mezhdunarodnyi s'ezd slavistov*, Moscow, 2013, 52–81.
- Bondarko A. V., *Teoriia morfologicheskikh kategorii i aspektologicheskie issledovaniia*, Moscow, 2005.
- Chertoritskaya T. V., “Stilisticheskaja simmetriia i arkhitektonika torzhestvennykh slov Kirilla Turovskogo,” in: *Voprosy siuzheta i kompozitsii*, Gorky, 1984, 20–25.
- Friedman V. A., “Evidentiality in the Balkans: Bulgarian, Macedonian, and Albanian,” in: W. Chafe, J. Nikols, ed., *Evidentially: The Linguistic Coding of Epistemology*, Norwood (NJ), 1986, 68–87.
- Gasparov B. M., *Poetika “Slova o polku Igoreve”*, Moscow, 2000.
- Gippius A. A., “‘Rekosha drouzhina Igorevi. . . —3.’ Otvet O. B. Strakhovoi (Eshche raz o lingvisticheskoi stratifikatsii Nachal'noi letopisi),” *Palaeoslavica*, 17/2, 2009, 248–287.
- Kamchatnov A. M., “Forma aorista *reche* kak znak tsitatsii v drevnerusskikh tekstakh,” *Drevnyaya Rus—Voprosy Medievistiki*, 1 (15), 2004, 14–16.
- Koch C., *Das morphologische System des altkirchenslavischen Verbums* (= Münchner Universitäts-Schriften, Reihe der Philosophischen Fakultät, 22/1), München, 1990.
- Kolesov V. V., “K kharakteristike poeticheskogo stilija Kirilla Turovskogo,” in: *Trudy Otdela drevnerusskoi literatury*, 36, Leningrad, 1981, 37–49.
- Kopotev M. V., “The Ways to Re-narrate: Development of the Reported Speech Markers in Russian,” in: S. S. Say, S. A. Ovsjannikova, S. A. Oskolskaya, eds., *Acta Linguistica Petropolitana*, 10/2, St. Petersburg, 2014, 712–740.
- Krysko V. B., “Morfologicheskie osobennosti zhitinnoi chasti Sofijskogo prologa,” in: V. B. Krysko, L. V. Prokopenko, V. Zhelyazkova, I. M. Ladyzhenskij, A. M. Pentkovskij, eds., *Slaviano-russkii Prolog po drevneishim spiskam. Sinaksar', 2: Issledovaniia*, Moscow, 2011, 798–837.
- Kuznetsov A. M., Iordanidi S. I., Krysko V. B., *Prilagatel'nye* (= Istoricheskaja grammatika drevnerusskogo jazyka, 3), Moscow, 2006.

- Levshun L. V., *Istoriia vostochnoslavianskogo knizhnogo slova XI–XVII vv.*, Minsk, 2001.
- Lindstedt J., "The Perfect—Aspectual, Temporal, and Evidential," in: Ö. Dahl, ed., *Tense and Aspect in the Language of Europe*, Berlin, New York, 2000, 365–383.
- Pichkhadze A. A., "Iuzhnoslavianskie traditsii v drevnerusskoi pis'mennosti (leksika i grammatika)," in: *Pis'mennost', literatura i fol'klor slavianskikh narodov / XIV Mezhdunarodnyi s'ezd slavistov*, Moscow, 2008, 152–172.
- Pichkhadze A. A., *Perevodcheskaia deiatel'nost' v domongol'skoi Rusi: lingvisticheskie aspekty*, Moscow, 2011.
- Plungian V. A., "Predislovie: diskurs i grammatika," in: V. A. Plungian, V. Yu. Gusev, A. Yu. Urmanchieva, eds., *Issledovaniia po teorii grammatiki*, 4: *Grammaticheskie kategorii v diskurse*, Moscow, 2008, 7–36.
- Plungian V. A., *Vvedenie v grammaticheskuiu semantiku: grammaticheskie znacheniiia i grammaticheskie sistemy iazykov mira*, Moscow, 2011.
- Reinhart J., "Eine Innovation bei der Aoristbildung im Kroatisch-Glagolitischen," *Zeitschrift für slavische Philologie*, 48/2, 1988, 298–303.
- Rogachevskaya E. B., *Tsiki molitv Kirilla Turovskogo: Teksty i issledovaniia*, Moscow, 1999.
- Trapeznikova O. A., "Citation as Actualisator of the Author's Intention in Old Russian Text (Data of Kirill Turov's Speech)," *Tomsk State Pedagogical University Bulletin*, 3 (105), 2011, 27–33.
- Tvorogov O. V., "Kirill, episkop Turovskii," in: D. S. Likhachev, ed., *Slovar' knizhnikov i knizhnosti Drevnei Rusi*, 1, Leningrad, 1987, 217–221.
- Vaillant A., *Rukovodstvo po staroslavianskomu iazyku*, Moscow, 1952.
- Van Wijk N., *Istoriia staroslavianskogo iazyka*, Moscow, 1957.
- Vasmer M., *Etimologicheskii slovar' russkogo iazyka*, 1–4, transl. and add. by O. N. Trubachev, 3rd ed., Moscow, 1996.
- Zaliznyak A. A., *Ot praslavianskoi aktsentuatsii k russkoi*, Moscow, 1985.
- Zaliznyak A. A., *Drevnenovgorodskii dialekt*, 2nd ed., Moscow, 2004.
- Zaliznyak A. A., "Slovo o polku Igoreve": *vzgliad lingvista*, 3rd ed., Moscow, 2008.
- Zholobov O. F., "On Reflexes of the Injunctive in Old Russian Literary Sources," *Russkij jazyk v nauchnom osveshchenii (Russian Language and Linguistic Theory)*, 1 (23), 2012, 194–231.
- Zholobov O., "On Reflexes of *ti-* and *t-*forms of Verbs in Ancient Russian," *Russian Linguistics*, 38/1, 2014, 121–163.
- Zholobov O. F., "On the Old Russian Imperfect," *Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta (Proceedings of Kazan University)*, 157/5, 2015, 28–35.
- Zholobov O. F., "From Proto-Slavic to Old Church Slavonic: On Perfective Imperfect," *Voprosy Jazykoznanija*, 3, 2016, 64–80.
- Zholobov O., "The Synthetic Indicative in Cyril and Methodius' Sources (The Internet Edition of the Paroemiarion Zacharianum Dating from 1271)," *Russian Linguistics*, 40/1, 2016, 153–172.
- Zholobov O., "Present Tense Forms Variability in the Paroemiarion Zacharianum d. 1271 (To the Parchment Internet-edition)," *Zeitschrift für Slawistik*, 61/2, 2016, 305–321.

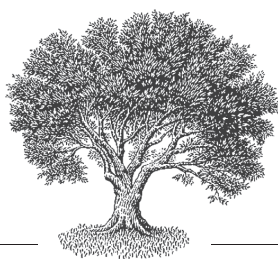
### Acknowledgments

Russian Foundation for Basic Research. Project No. 15-04-00283.

---

проф. Олег Феофанович Жолобов, д. филол. наук  
Казанский (Приволжский) федеральный университет,  
Институт филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого,  
профессор кафедры русского языка и прикладной лингвистики  
420008 Казань, ул. Кремлевская, д. 18  
Россия/Russia  
ozolobov@mail.ru

Received February 19, 2017



## Рубеж XII–XIII вв. в новгородском летописании\*

**Тимофей Валентинович  
Гимон**

Государственный академический  
университет гуманитарных наук;  
Институт всеобщей истории  
Российской академии наук  
Москва, Россия

## The Annalistic Writing in Novgorod ca. 1200

**Timofey V. Guimon**

State Academic University for Human  
Sciences;  
Institute of World History of the  
Russian Academy of Sciences  
Moscow, Russia

### Резюме

В статье рассматриваются разночтения между старшим и младшим изводами Новгородской I летописи. Их систематический анализ показывает, что разночтения нескольких типов концентрируются в тексте за XII в., нарастая по мере приближения к его окончанию. Особенно много их в статьях 1190-х годов. Речь идет о более пространственных чтениях как старшего извода (дополнительные известия, более подробные датировки и др.), так и младшего (дополнительные детали в статьях 1190-х годов). При этом разночтения указанных групп никогда не переходят границу статей 1199–1200 гг. Автор показывает, что данные разночтения следует атрибутировать редактору, работавшему после 1199 г., причем в Новгородской I летописи старшего извода до нас дошел старый вариант текста, в младшем изводе — результат деятельности этого редактора. Это позволяет объяснить соотношение текстов двух изводов Новгородской I летописи несколько проще, чем это предлагается в работах А. А. Гиппиуса (1997) и А. Тимберлейка (2000).

---

\* Статья написана в Государственном академическом университете гуманитарных наук в рамках госзадания № 2014/321 Минобрнауки России. Благодарю А. А. Гиппиуса за возможность обсудить положения этой статьи до ее публикации.

## Ключевые слова

Новгород, летописи, летописание, Средние Века, Древняя Русь, текстология

## Abstract

The paper is concerned with the analysis of textual differences between the Elder and the Younger versions of the *First Novgorodian Chronicle*. The author shows that several groups of variant readings are concentrated in the same part of the text: in the annals for the 12th century. They increase toward the end of the century, are the most numerous in the annals for the 1190s, and never cross the edge of the annals for 1199/1200. This chronological boundary is very impressive and cannot be incidental. The differences in question are both supplementary readings of the Elder Version (notes on some events absent in the Younger Version, more detailed datings, etc.) and of the Younger Version (additional details on some events of the 1190s). The author shows that all these differences must be attributed to an editor active soon after 1199 (the Elder Version reflecting the state of the text before this editorial episode, and the Younger version reflecting the results of it). This conclusion enables the author to challenge Alexey Gippius' (1997) and Alan Timberlake's (2000) theories on the relationship of the texts in question, and to suggest a new, somewhat simpler theory.

## Keywords

Novgorod, annals, annalistic writing, chronicles, Middle Ages, Old Rus', textual history

Ученые не раз обращали внимание на те или иные рубежи в тексте Новгородской I летописи (далее Н1)<sup>1</sup>, приходящиеся или непосредственно на границу статей 6707–6708 (1199–1200) гг., или на какие-то близлежащие точки.

Уже исследователями XIX в. был отмечен палеографический рубеж в древнейшем, Синодальном списке (Син.) в самом начале статьи 6708 (1200) г., на л. 62, после начальных слов этой статьи “В лѣто 6708. Ловоть възяша литва и до Налюця”. Почти всеми исследователями середины XIX — XX в. этот рубеж интерпретировался как смена почерка. А. А. Гиппиус, однако, показал, что весь текст Син. до л. 118об. (т. е. до статьи 6742 [1234] г.) написан одним почерком, “характер которого (плотность, степень каллиграфичности, размер букв и толщина линий) неоднократно меняется на всем протяжении данной части рукописи”. Граница

<sup>1</sup> Новгородской I летописью называют, с одной стороны, Синодальный список XIII–XIV вв. (Син., “Н1 старшего извода”), а с другой — Новгородскую I летопись младшего извода (Н1мл.), представленную двумя основными списками середины XV в., Комиссионным (Ком.) и Академическим (Акад.). Текст Н1 далее всюду цитируется по: [НПЛ 1950]; для экономии места я указываю только номер погодной статьи, но не страницу издания. Факсимильное издание Син. см.: [НХЛ 1964]. Кроме Н1, в статье цитируются Тверской сборник (Тв., по изданию: [ПСРЛ 15]) и Новгородская IV летопись (Н4, по изданию: [ПСРЛ 4-1]).



на л. 62 — не более чем “один из таких переходов от более мелкого и сухого к более крупному и размашистому письму” [Гиппиус 1992: 67] (на с. 68 см. отсылки к литературе). К. Цукерман предположил, что рубеж на л. 62 отражает длительный перерыв в работе писца Син., связанный с тем, что он закончил копировать один источник и долго ждал возможности перейти к другому<sup>2</sup>. Мысль о том, что визуальная граница в Син. связана со сменой источника, кажется мне плодотворной, к чему я вернусь ниже.

А. А. Гиппиус также продемонстрировал, что на границу статей 6707–6708 гг. в общем протографе Син. и Новгородской I летописи младшего извода (Н1мл.) — ведшейся из года в год новгородской владычной летописи (НВЛ) — пришлась очередная смена автора. Летописец архиепископов Гавриила и Мартирия закончил свою работу статьей 6707 г., а текст начиная с 6708 г. принадлежит уже летописцу архиепископа Митрофана [Гиппиус 2006: 130–215]<sup>3</sup>. С началом деятельности этого нового летописца логично связывать и временный переход летописи с мартовского на ультрамартовский стиль [Гимон 2006б: 99].

Анализ разночтений между Син. и Н1мл. также не раз давал ученым повод говорить о границах, приходящихся (точно или примерно) на рубеж XII–XIII вв.

В. Л. Янин [1981], проанализировав многие из разночтений между Син. и Н1мл., пришел к выводу, что текстологическая граница приходится на 6712 (1204) г. До этого года, согласно Янину, Н1мл. восходит к “Временнику”, бывшему в то же время источником и Син. Расхождения между двумя памятниками в статьях 6711–6712 гг. дают повод говорить о текстологическом шве. После этого создатель Н1мл. в качестве основного источника опирался на дошедший до нас Син., а продолжение “Временника” использовал для сверки и дополнений [Янин 1981: 169–181]. При этом важнейшие категории разночтений, давшие Янину основание говорить о восхождении Н1мл. не к Син. в части до 6712 г., не выходят за рамки статей XII в. Так, только до 6703 (1195) г. доходят избыточные *известия* Син. в тексте за XII в., которые, по мнению Янина, являются вставками Син., а не сокращениями Н1мл., поскольку обладают тематическим единством (касаются в основном Людина конца) [ibid.: 171–172]. До 6707 (1199) г. доходит “разгрузка текста Синодального списка от излишних календарных подробностей”, которую Янин атрибутирует создателю “Временника” начала XIII в. [ibid.: 170–171, 177]. Вообще из

---

<sup>2</sup> См. ниже, примеч. 16.

<sup>3</sup> А. Тимберлейк [Timberlake 2000: 12] усматривает смену летописца несколько позже, посреди статьи 6709 (1201) г., но вывод Гиппиуса основан на существенно более представительном материале.

перечисленных Яниным разночтений только одно находится в промежутке между 6707 и 6712 гг., а именно слова “въ Клинь”, читающиеся только в Н1мл. в статье 6708 г. [ibid.: 170].

А. А. Гиппиус [1997] предложил новую реконструкцию истории новгородского летописания XII в. Во-первых, он показал, что, вопреки Янину, дошедший до нас Син. не был источником Н1мл. нигде, кроме двух приписок XIV в. (за 6845 и 6853 гг.). Син. и Н1мл. независимо друг от друга восходят к общему протографу — ведшейся из года в год НВЛ [ibid.: 12–19].

Во-вторых, согласно ученому, поворотным моментом были 1160-е годы, когда новгородский книжник Герман Воята произвел, если так можно выразиться, “реформу” НВЛ. Воята заменил начальную часть этой рукописи (до статьи 6582 [1074] г.) на новый текст. Старые тетради при этом не были выброшены, а составили как бы второй экземпляр летописи, переданный в Юрьев монастырь. Соответственно, если в основном, “официальном” экземпляре НВЛ тетради с текстом до 6582 г. были новыми, а с последующим текстом — старыми, то во “втором”, юрьевском экземпляре, наоборот, в начале были старые тетради, а затем, после 6582 г., новые. “Второй” экземпляр лег в основу Син. (поэтому будем называть его дальше: √Син.), а “официальный” — в основу Н1мл. Поэтому в части до 6582 г. Н1мл. отражает более новое состояние текста НВЛ, а в последующей части — наоборот, более старое (в частности, в Н1мл. нет читающегося в Син. автобиографического добавления Германа Вояты под 6652 [1144] г.: “Въ то же лѣто постави мя попомъ архиепископъ святыи Нифонъ”). Впоследствии “официальный” экземпляр НВЛ продолжил пополняться новыми записями, которые регулярно копировались и во “второй” экземпляр (√Син.) вплоть до 6703 (1195) г. [Гиппиус 1997: 34–68]. Избыточные *известия* Син., доходящие как раз до этой статьи, — это дополнения, делавшиеся юрьевскими книжниками при копировании очередных статей НВЛ. При создании же в XIII в. в Юрьеве монастыре дошедшего до нас Син. вначале был переписан √Син., а затем, после его окончания, писец принялся копировать непосредственно “официальный” экземпляр НВЛ [ibid.: 21–34].

В-третьих, согласно А. А. Гиппиусу, на рубеже XII–XIII вв. была предпринята еще одна “реформа” НВЛ, на этот раз коснувшаяся только ее заключительных статей. В статье 6701 (1193) г. были сделаны две вставки (читающиеся только в Н1мл. дополнительные фрагменты в рассказах об избрании Мартирия архиепископом и о походе на Югру), а в статьях 6704 (1196) и 6706 (1198) гг. добавлены два восхваления Мартирию, о котором говорилось как об уже умершем. Мартирий скончался в 6707 (1199) г., и потому редактуру Гиппиус датирует временем

вскоре после этого года. Тот факт, что вставки в статье 6701 г. отразились только в Н1мл., а в статьях 6704 и 6706 гг. — и в Син., и в Н1мл., объясняется тем, что до 6703 г. Син. основан на √Син., а после этого — непосредственно на НВЛ [Гиппиус 1997: 24–28]. Таким образом, сложная картина сходств и различий между Син. и Н1мл. в тексте за XI–XII вв. получила в работе Гиппиуса непростое, однако остроумное и непротиворечивое объяснение.

В статье 2010 г. А. А. Гиппиус говорит о многослойности правки летописного текста в первой четверти XIII в., предполагая, что в это время заключительные статьи НВЛ правились дважды, если не трижды. В частности, ученый связал две упомянутые вставки 6701 г. с личностью архиепископа Антония (с 6719 [1211] г.), впрочем, допустив, что интересы Антония — вполне вероятно, конкурента Митрофана на выборах 1199 г. — мог выражать уже редактор, работавший ок. 1199 г. [Гиппиус 2010а: 189–198].

А. Тимберлейк [2000] частично согласился с выводами А. А. Гиппиуса [1997]. Так, он привел новые соображения в пользу того, что избыточные фрагменты Н1мл. под 6701 г. — это именно вставки, а не пропуски Син. [Тимберлейк 2000: 15–17]<sup>4</sup>. Однако в целом ученый предложил иное видение соотношения текстов Син. и Н1мл. Во-первых, по мнению Тимберлейка, избыточные *известия* Син. за 6652–6703 гг. — это не добавления √Син., а пропуски Н1мл.: “их сократил переписчик, не слишком интересовавшийся монастырской администрацией [. . .] или потомством князя Ярослава”, в 6707 (1199) г. выведенного из Новгорода [ibid.: 13]. Во-вторых, ученый проанализировал употребление/неупотребление слова “мѣсяця” в дневных датах (можно написать, к примеру, “мѣсяця августа въ 1 день”, а можно — “августа въ 1 день”). Тимберлейк показал, что значительные расхождения между Син. и Н1мл. по этому признаку приходятся на статьи 1160–1190-х годов (где в Син. слово “мѣсяця” употреблено 36 раз, а в Н1мл. оно сохранилось только 10 раз, а 24 раза опущено<sup>5</sup>). Поскольку для статей 1200-х годов употребление слова “мѣсяця” вообще не характерно (из пяти дневных дат оно употреблено только в одной), можно предположить, что летописец 1200-х годов переработал текст за 1160–1190-е годы [ibid.: 17–19]. Тимберлейк считает, что один и тот же редактор ответственен за 1) пропуск известий, читающихся только в Син.; 2) пропуск слова “мѣсяця” в датах за 1160–1190-е годы и 3) вставку двух фрагментов под 6701 г. [ibid.: 19].

<sup>4</sup> Третий аргумент Тимберлейка, касающийся употребления слова “мѣсяця” в дневных датах [Тимберлейк 2000: 17–18], будет обсуждаться ниже.

<sup>5</sup> В сумме получается 34, а не 36, т. к. в двух случаях в Н1мл. опущена дата целиком.

Продолжая свои рассуждения, А. Тимберлейк пришел к выводу, что, подобно тому как летописец Митрофана (1200-х годов) переработал текст за 1160–1190-е годы, летописец Гавриила и Мартирия (второй половины 1180-х–1190-х годов) переработал предшествующий текст — за 1133–1185 гг. Этот редактор ответственен, по Тимберлейку, за сокращение хронологических указаний в статьях 6644–6645 гг. и пропуск известия о рукоположении Германа Вояты под 6652 г., а также за вставку в пяти случаях слова “мѣсяця” (в противоположность вышеописанному, в этих случаях данное слово читается в Н1мл. и отсутствует в Син.) [TIMBERLAKE 2000: 19–21].

В итоге Тимберлейк предлагает следующее видение истории новгородского летописания в XII — начале XIII в. По его мнению, трижды на протяжении этого времени владычные летописцы подвергали переработке текст своих предшественников. Герман Воята в 1160-х годах вставил под 6652 г. указание на собственное рукоположение. Летописец Гавриила и Мартирия удалил это указание, добавил несколько раз слово “мѣсяця” и убрал указания на индикт и пр. в статьях 6644–6645 (1136–1137) гг. Летописец Митрофана опустил читающиеся теперь только в Син. известия в статьях 1160–1190-х годов, слово “мѣсяця” в этих же статьях, а под 6701 (1193) г. сделал две вставки. При этом всякий раз речь могла идти не о переписке всей рукописи, но о замене лишь заключительных листов или тетрадей.

В каждом из этих трех случаев, согласно Тимберлейку, в результате получался чистовой текст НВЛ и — одновременно — “остаточный” (*de-tritus*) текст. В Н1мл. отразился наиболее новый (в каждом из случаев) чистовой текст, а в Син. — один из вариантов “остаточного” текста. При этом ученый считает, что тексте Син. до 6693 (1185) г. отразился более ранний пласт “остаточного” текста (при том, что для части этого текста существовал и более поздний<sup>6</sup>), а в тексте Син. за 6694–6709 (1186–1201) гг. — более поздний<sup>7</sup>.

Схема Тимберлейка имеет как бы два слоя. Первый слой — это идея о том, что, вопреки А. А. Гиппиусу, Син. в тексте за XII в. в абсолютном большинстве случаев представляет первоначальные чтения, тогда как в Н1мл. отразился ранний, но все же вторичный вариант текста. Второй слой — реконструкция конкретных этапов этой переработки. Второй слой кажется чрезвычайно громоздким, первый — напротив — некоторым упрощением в сравнении с теорией Гиппиуса.

<sup>6</sup> Тимберлейк объясняет это так: в статьях 6676 (1168) и 6686 (1178) в Син. имеются указания на индикт, отсутствующие в Н1мл. Если бы Син. здесь основывался на “остаточном” тексте, появившемся в 1210-х годах, этих указаний на индикт в Син. бы не было [TIMBERLAKE 2000: 22].

<sup>7</sup> См. графическое представление этой теории [TIMBERLAKE 2000: 21], а также роспись изменений, внесенных на каждом этапе [ibid.: 32].

В нашей совместной статье с А. А. Гиппиусом [Гимон, Гиппиус 1999]<sup>8</sup> была представлена диаграмма, на которой было показано распределение по летописному тексту разночтений следующего типа: текст Син. более пространен, чем текст Н1мл. Дополнительные *известия* Син. мы при этом не учитывали — речь шла только об избыточных фрагментах (от одного слова) Син. в сравнении с Н1мл. *внутри* известий. На этой диаграмме очень четко видна граница, приходящаяся на рубеж статей 6707–6708 (1199–1200) гг. После этой границы число избыточных чтений Син. резко уменьшается. До этой границы их много, причем концентрация их нарастает по мере приближения к концу XII в. [ibid.: 24–25].

В 1999 г. нами была предложена следующая интерпретация этой границы. Поскольку она приходится примерно на середину текста Н1мл., логично предположить, что на одном из этапов сложения Н1мл., т. е. при переписывании новгородской летописи в самом конце XIV или первой половине XV в., труд был разделен поровну между двумя писцами. Первый из них, по мере приближения к окончанию работы, все более сокращал переписываемый текст, опуская подробности датировок, избыточные детали и заменяя более пространные выражения на синонимичные им более краткие [Гимон, Гиппиус 1999: 42–45].

Итак, на данный момент существуют, если упрощать, два объяснения комплекса разночтений между Син. и Н1мл. в тексте за XII в. Мы с А. А. Гиппиусом избыточные *известия* Син. в статьях 6652–6703 гг. считаем вставками √Син., прочие избыточные чтения Син. — сокращениями Н1мл., а избыточные фрагменты Н1мл. в статье 6701 г. — вставками редактора начала XIII в. Напротив, А. Тимберлейк все разночтения связывает с деятельностью трех владычных летописцев-редакторов второй половины XII–начала XIII в., всюду видя в Син. более ранние, а в Н1мл. — вторичные чтения. Оба видения кажутся довольно громоздкими.

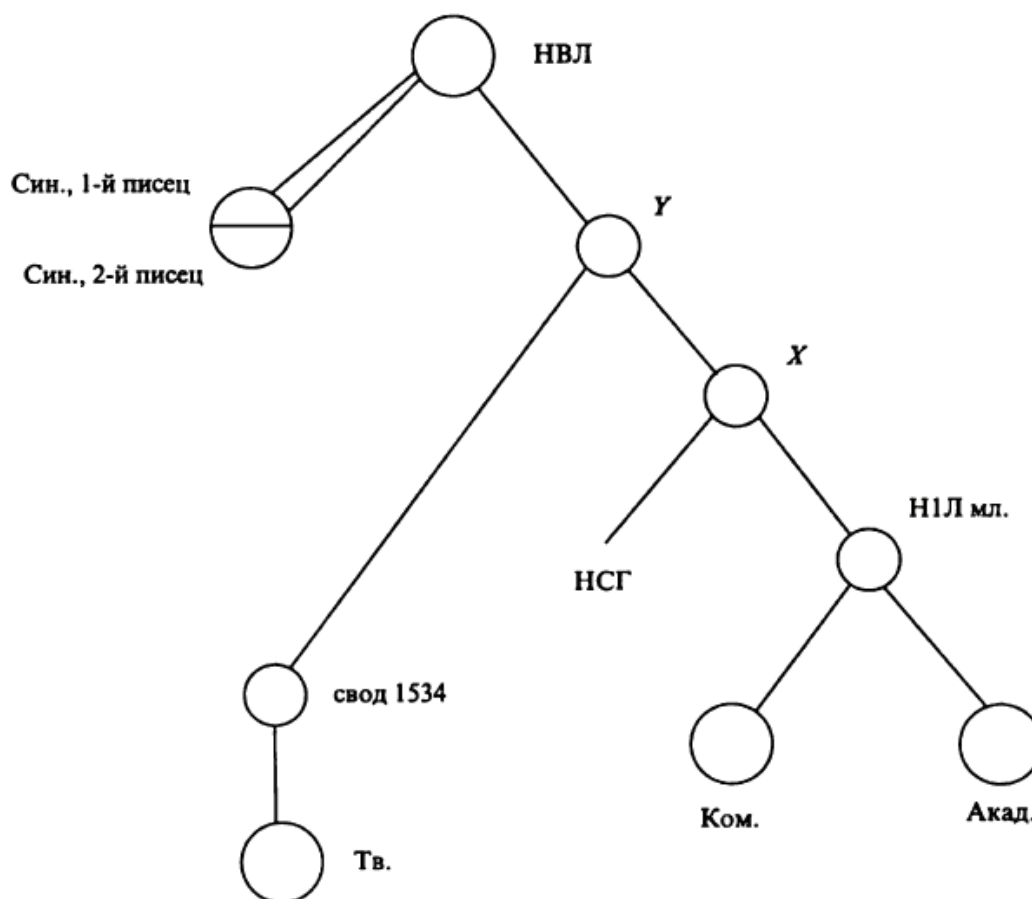
Попробую более детально проанализировать распределение по тексту летописи разночтений разных типов. Оговорюсь, что здесь и далее будет идти речь только о разночтениях типа “Син. против Ком.+Акад.”. Разночтения типов “Син.+Ком. против Акад.” и “Син.+Акад. против Ком.” отражают, несомненно, изменения, внесенные писцами середины XV в. — соответственно, создателями Акад. и Ком.<sup>9</sup> В данной работе они нас не интересуют. Также — ввиду неоднозначности — я исключаю из рассмотрения такие (менее многочисленные) случаи, когда все три основных списка Н1 дают разные чтения.

<sup>8</sup> А. Тимберлейк, готовя статью 2000 г., этой нашей статье еще не знал.

<sup>9</sup> Ком. и Акад. написаны примерно в одно время и восходят к общему протографу — собственно Н1мл. [Шахматов 2002: 260].



Важное значение для текстологии новгородских летописей имеет Тверской сборник (Тв.) — летописный свод, достаточно полно передающий новгородский источник, близкий к Н1. Место Тв. на стемме новгородских летописей примечательно: общий протограф Тв. и Н1мл. (“гипотетический Y”) представлял собой первый эпизод в сложении Н1мл. [Гимон 2006в: 115–118], вероятно, датирующийся концом XIV в. [Гиппиус 2011: 18–30], что показано на стемме 1 [Гимон 2006в: 119]:



Стемма 1. Соотношение списков Новгородской I летописи

Разночтения типа “Син. против Ком.+Акад.+Тв.” могут являться следствием деятельности: а) писцов Син. или √Син., б) создателя “гипотетического Y” конца XIV в. и в) редакторов XII или XIII в., частично перерабатывавших НВЛ. Разночтения, где чтения Н1мл. не поддерживаются Тв., могут, помимо этих возможностей, относиться к деятельности переписчиков XV в. (создателя “гипотетического X” и непосредственно Н1мл.). Однако учитывать только чтения, поддерживаемые Тв.,

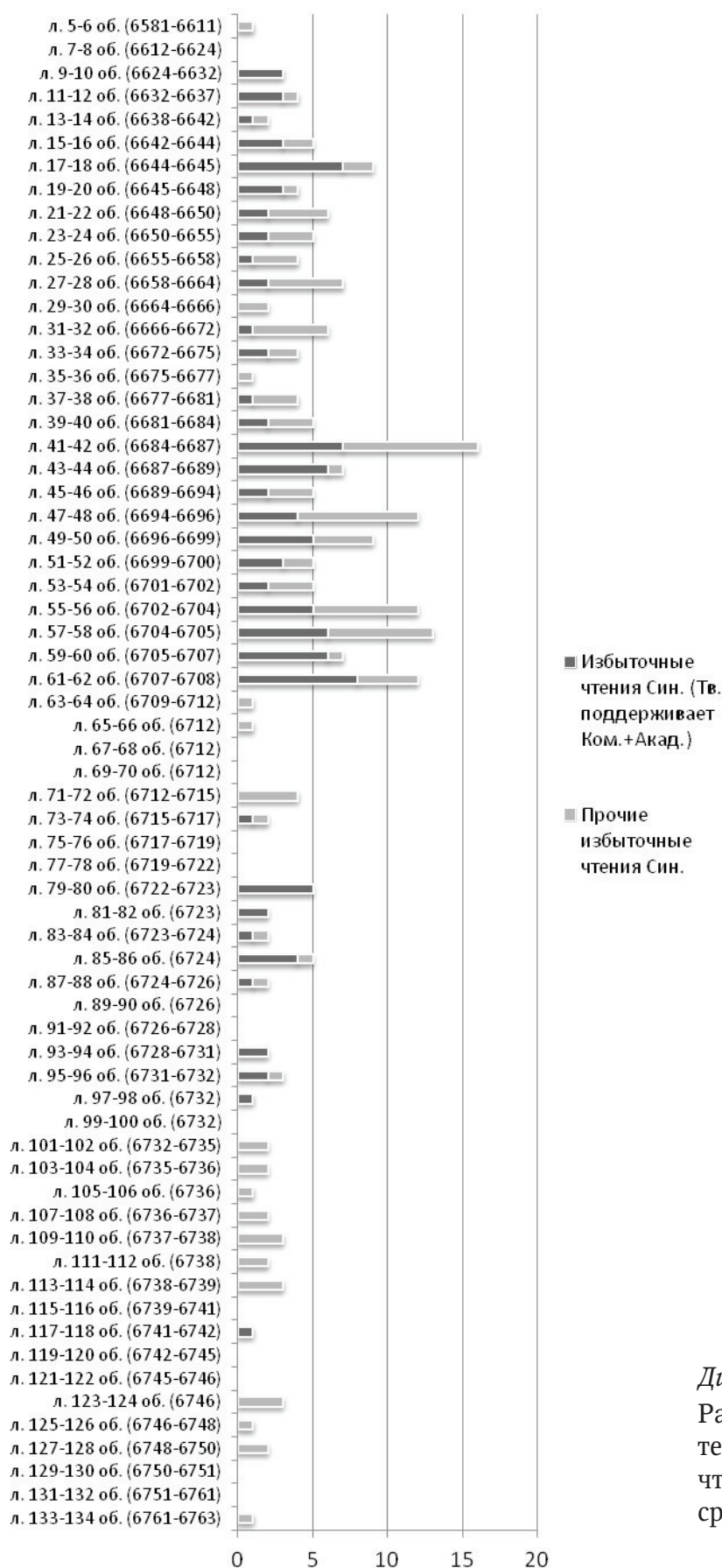


Диаграмма 1.  
Распределение по  
тексту избыточных  
чтений Син. в  
сравнении с Н1мл.

тоже было бы некорректно. Во-первых, в Тв. нет некоторых известий, читающихся в Син. и Н1мл. Во-вторых, во многих случаях чтение Тв. — оригинальное, и невозможно решить, какой из “изводов” Н1 эта летопись поддерживает. Поэтому разумно учитывать разночтения как поддерживаемые Тв., так и не поддерживаемые, отдавая себе отчет в большей надежности первых. На нижеследующей диаграмме те разночтения, где вариант Н1мл. поддерживается Тв., переданы темно-серым цветом, а остальные разночтения типа “Син. против Н1мл.” — светло-серым.

Для корректного составления этой и последующих диаграмм необходимо было разбить летописный текст на примерно равные отрывки. За таковые мною были приняты 4 страницы (или 2 листа) Син. Диаграммы охватывают текст за 6583–6763 (1075–1255) гг., т. е. с того места, где тексты Син. и Н1мл. становятся в целом идентичными, и до того момента, где Тв. перестает передавать новгородский источник.

Диаграмма 1 отражает те случаи, где Син. дает более пространственный текст, нежели Н1мл. Как я уже упоминал, схожую диаграмму мы публиковали с А. А. Гиппиусом в 1999 г. [Гимон, Гиппиус 1999: 21–23], однако приводимый ниже график построен несколько по-иному. Во-первых, он показывает не объем избыточных чтений, а только количество разночтений (т. е. лучше отражает интенсивность правки). Во-вторых, здесь за единицу приняты 4 страницы Син., тогда как в работе 1999 г. мы высчитывали отношение числа избыточных слов в Син. к объему погодной статьи. Таким образом, как кажется, новая диаграмма должна быть проще и нагляднее. К тому же, в отличие от диаграммы 1999 г., она отражает чтения Тв.

На диаграмме 1 очень заметна граница, приходящаяся на рубеж XII–XIII вв. При этом приходится она именно на границу статей 6707–6708 (1199–1200) гг.: последние избыточные чтения Син. читаются в конце статьи 6707 г., на л. 62. Больше всего избыточных чтений Син. в статьях 1170–1190-х годов, но довольно много их и раньше, в тексте за 1110–1160-е годы.

Как и в 1999 г., я для чистоты эксперимента не включил в диаграмму 1 дополнительные *известия* Син. Однако их распределение довольно хорошо согласуется с распределением прочих избыточных чтений, отраженных на диаграмме. Всего в Син. в тексте за XII в. имеется 17 дополнительных известий. Первые два читаются под 6652 (1144) г., последние три — под 6703 (1195) г. При этом наибольшая концентрация их приходится на л. 46–55об. (статьи 6692–6703 гг.), где находятся 12 из 17 известий. Этот интервал укладывается в интервал наибольшей концентрации прочих избыточных чтений Син. — л. 41–62 (статьи 6684–6707 гг.), — но начинается позже и заканчивается раньше.

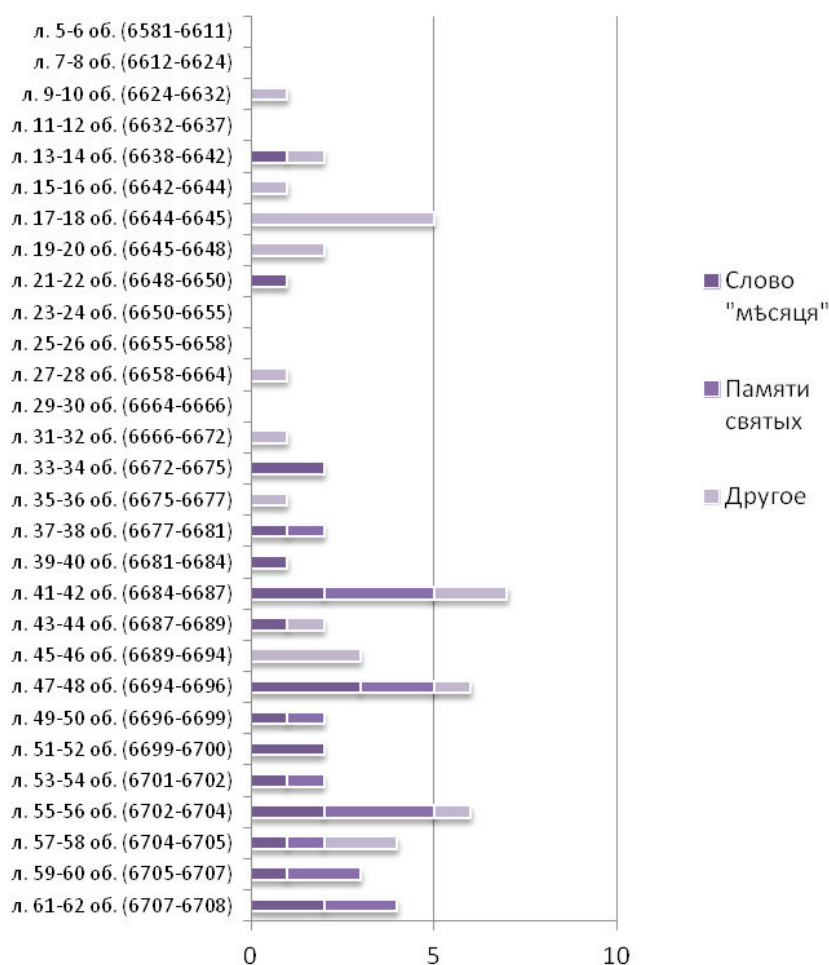


Диаграмма 2.  
Распределение  
избыточных  
хронологических  
указаний Син. в  
сравнении с Н1мл.

Теперь посмотрим более детально на избыточные чтения Син., отраженные на диаграмме 1. Среди них важнейшее место занимают хронологические указания, присутствующие в Син., а в Н1мл. представленные в более кратком варианте или отсутствующие вовсе. Всего таких разночтений 69, и все они находятся в пределах л. 10об.–62 (статьи 6631–6707 гг.). Из них в 34 случаях Тв. поддерживает вариант Н1мл.; в 29 — Тв. нерелевантен; и только в шести — Тв. поддерживает вариант Син. В этих шести случаях мы должны говорить о правке, более поздней, чем создание “гипотетического Y” в конце XIV в. Хочу сразу отметить, что в этих шести случаях разночтение заключается в наличии/отсутствии слова “мѣсяця”, которому такое значение придает А. Тимберлейк. Поэтому, хотя бы одно это доказывает, что слово “мѣсяця” могло очень легко добавляться или опускаться разными писцами, и анализ его распределения может служить лишь дополнительным аргументом. Остальные разночтения — это читающиеся только в Син. указания на памяти святых (при том, что месяц и число указаны в обоих изводах), слова “мѣсяця” и “день” (последнее — только в трех случаях), индикты и прочие

хронологические указания, включая необычные датировочные формулы в статьях 6644–6645 (1136–1137) гг., дающие повод считать автором этих статей Кирика Новгородца (см. обзор вопроса: [Гимон 2014: 169–170]). На диаграмме 2 показано распределение этих разночтений по тексту летописи (построю диаграмму только для статей за XII в., поскольку в последующем тексте подобные разночтения отсутствуют вовсе). Несколько упрощая, отражу на диаграмме три категории “хронологических” разночтений: слово “мѣсяця” (без учета тех шести случаев, где Тв. поддерживает вариант Син.); избыточные указания на память святых; прочие избыточные указания Син.

На диаграмме 2 видно, что избыточные “хронологические” чтения Син. концентрируются в статьях за 1160–1190-е годы (со статьи 6668 [1160] г., на л. 31об.), а также в статьях 6644–6645 (1136–1137) гг. Исключительно в статьях 1160–1190-х годов в Син. есть избыточные указания на памяти святых и преимущественно в этих статьях — слово “мѣсяця”.

Теперь рассмотрим такую категорию разночтений, как фактологические (кроме хронологических) дополнения каждого из изводов. На диаграмме 3 темно-серым обозначены избыточные детали в Син., светло-серым — избыточные детали в Н1мл. (я включил сюда те разночтения, где Тв. поддерживает Н1мл. или нерелевантен, но не включал те, где Тв. поддерживает чтение Син., т. е., вероятно, разночтение возникло как результат правки XV в.).

В некотором количестве такие разночтения имеются в разных частях текста (включая, конечно, всплеск избыточных чтений Н1мл. в статьях 6740–6742 [1232–1234] гг., связанный с экономией места первым писцом Син. [Гимон, Гиппиус 1999: 31–41]). Однако только в статьях за 1190-е годы и в Син., и в Н1мл. концентрация разночтений оказывается одинаково стабильной. Важно также, что на рубеже XII–XIII вв., как и в других случаях, поток разночтений на время прекращается вовсе. В таблице 1 приведен полный список разночтений этого типа в статьях 1190-х годов (в круглые скобки заключен текст, общий для Син. и Н1мл.).

Среди избыточных деталей Син. преобладают топографические подробности, касающиеся новгородских храмов. На этом фоне очень заметны два нетипичных для новгородской летописи указания, связанных с церковным строительством: на то, что церковь в этом году построили только “до дверей”, и на имя художника, расписывавшего церковь.

Среди избыточных деталей Н1мл. — две уже обсуждавшиеся вставки в статье 6701 г., а также ряд имен, связанных с церковным строительством: имя игуменьи (здесь, скорее всего, пропуск писца Син., поскольку чтение Син. бессмысленно: “Томъ же лѣтъ у святѣи Богородици въ Звериньци поставиша игуменью”), имя заказчика (дважды), имя мастера, а также титул архимандрита.





Диаграмма 3.  
Избыточные  
фактологиче-  
ские детали в  
Син. и H1мл.

Таблица 1. Фактологические разночтения между Син. и Н1мл.  
в статьях за 1190-е годы

Избыточные детали в Син. <sup>10</sup>	Избыточные детали в Н1мл.
6699: (а владыка) въ дворе у себе (Устретение господне) 6699: на Търговищи <i>(место строительства двух храмов)</i> 6699: (приде [. . .] Ярославъ) одаренъ 6700: вънизу (на Хутинѣ)	6699: (ходиша новгородци) в лоивахъ  6700: (игумению) Ефосинью Петровую Купцевича 6701: обширная вставка в рассказе о выборах архиепископа 6701: обширная вставка в рассказе о югорском походе 6702: Радославъ Даниловиць <i>(имя заказчика строительства церкви)</i> 6702: (Дионсии) анхимандрит новгородчкыи, (игумень)
6701: (12 муж) вячьшихъ  6703: и възделаша до двърии около до осени <i>(о строительстве церкви)</i>  6704: а писецъ Гръцинъ Петровиць 6704: святого Кюрила (въ Нелезенѣ) 6706: на горѣ, а прозвище (Нередице) <sup>12</sup> 6706: на Михалици (манастирь)	6704: (на Лубянѣи улицы) Коровъ Якович <sup>11</sup>  6704: архи(епископъ)  6707: с Прокшею с Малышевицемъ <i>(заказчик строительства церкви)</i>

<sup>10</sup> Не учтено избыточное чтение Син. под 6707 г.: “(Завижюю) посадника”, поскольку здесь Тв. поддерживает Син., т. е. слово “посадника” было опущено уже в XV в.

<sup>11</sup> Син.: “на Лубянѣи улицы”. Ком.: “Коровъ Якович с Лубянѣи улицѣ”. Акад.: “а мастеръ бѣше с Лубянѣи улицѣ Коровъ Яковичъ”. Тв.: “на Лубяной улицы, Коровайковичи”. Н4: “на Лубяници, Коровъ Яковичъ”. С учетом стеммы 1 чтение общего протографа Тв.–Н1мл.–Н4 может быть реконструировано как “на Лубянѣи улицы, Коровъ Якович”. В таком случае или в Син. пропущено имя Корова Яковича, или в Тв.–Н1мл.–Н4 оно добавлено. Слова “на Лубянѣи улицы”, вопреки Ком.–Акад., скорее всего, обозначают местожительство не Корова Яковича, но Константина и Дмитра, заказчиков строительства (ср.: [Гиппиус 2012: 126]; ср. под 6736 г.: “Гаврилу на Лубяници”). Коров Якович — вполне возможно, действительно, мастер, как разъяснено в Акад. В таком случае его упоминание только в Н1мл. составляет пару к упоминанию Гречина Петровица под тем же 6704 г. только в Син. [ср.: Идем 1997: 23, примеч. 65]. Эта парность может быть объяснена или тем, что оба столь редких указания на мастеров были глоссами в НВЛ (и потому одно сохранилось в Син., а другое — в Н1мл.), или кончанскими предпочтениями редактора, допустим, удалившего указание на жителя Людина конца Гречина и, в пику ему, упомянувшего жителя Торговой стороны (?) Корова Яковича. То и другое, конечно, догадки.

<sup>12</sup> В Н1мл.: “в Нередицахъ”.

Итак, разные типы разночтений обнаруживают тенденцию концентрироваться в тексте за XII в., преимущественно за 1160–1190-е (иногда — только 1190-е) годы, — но никогда не переходят границу 6707–6708 (1199–1200) гг. Большинство этих разночтений относится к категории избыточных чтений Син.:

- 17 отдельных известий (в статьях 6652–6703 [1144–1195] гг., с преимущественной концентрацией в статьях 6692–6703 [1184–1195] гг.);

- хронологические указания (в статьях 6631–6707 [1123–1199] гг., с преимущественной концентрацией в статьях 6644–6645 [1136–1137] и 6668–6707 [1160–1199] гг.);

- другие фактические детали (есть на всем протяжении текста за XII в., но концентрируются в статьях 6699–6706 [1191–1198] гг.).

С другой стороны, в статьях за 1190-е годы концентрируются и избыточные фактологические детали Н1мл.

Конечно, хронологические рамки распределения разночтений разных типов не до конца совпадают. Но в целом наибольшая концентрация разночтений совершенно разных типов приходится на одну и ту же часть летописи, причем они никогда не переходят границу статей 6707–6708 гг. Может ли это быть случайным совпадением?

Как уже говорилось, и в схеме А. А. Гиппиуса (а также в нашей совместной с ним статье 1999), и в схеме А. Тимберлейка разные группы разночтений в этой части текста “разнесены” по разным текстологическим пластам. Однако не проще ли было бы предположить, что все они — результат деятельности какого-то одного редактора? Попробую обсудить такую возможность.

Этот редактор не мог жить в конце XIV или XV в. Избыточные чтения Син. можно было бы интерпретировать как сокращения, произведенные в это время, на одном из этапов сложения Н1мл. Именно так, например, мы с А. А. Гиппиусом объясняли в 1999 г. избыточные чтения Син. *внутри известий*; в принципе, этому же позднему книжнику можно было бы приписать и пропуск 17-ти известий, ныне читающихся только в Син. Однако он вряд ли может быть ответственен за избыточные чтения Н1мл., по крайней мере — за две вставки в статье 6701 г., сделанные, конечно, современником событий. Маловероятно, что в конце XIV в. или позже в летопись могли быть добавлены имена Радослава Даниловича, Прокши Малышевича и Корова Яковича.

С другой стороны, таким редактором не мог быть и писец Син. или √Син. Добавлениями √Син. можно считать 17 избыточных известий (как это делают В. Л. Янин и А. А. Гиппиус). Теоретически можно представить себе, что человек, составлявший (или пополнявший по НВЛ) √Син., любил подробно датировать события и потому добавлял к дневным да-

там НВЛ указания на памяти святых и прочие хронологические детали. Однако было бы странным относить на его счет и развернутые и необычные датировки статей 6644–6645 (1136–1137) гг., обычно приписываемые Кирику (почему именно эти события решил так витиевато датировать более поздний книжник?!). Или же надо предполагать, что хронологические указания за первую половину XII в. *сокращены* в Н1мл., а таковые за вторую половину XII в., наоборот, *дополнены* в √Син., т. е. упрощения схемы опять не получится. Но самое главное — это избыточные чтения Н1мл. в статьях 1190-х годов. Если упоминания Радослава Даниловича и пр. еще могли быть опущены при создании √Син. или Син., то два обширных фрагмента в статье 6701 г. — это именно *вставки*, а первоначальный текст (без этих вставок) отразился в Син., что хорошо показали А. А. Гиппиус [1997: 24–25] и А. Тимберлейк [TIMBERLAKE 2000: 15–17].

Поэтому единственный, кто мог бы претендовать на авторство всех интересующих нас разночтений, — это редактор НВЛ, действовавший на рубеже XII–XIII или в начале XIII в. Только такой редактор мог, с одной стороны, опускать избыточные, с его точки зрения, известия, детали и обороты, а с другой — сделать ряд информативных вставок в погодные статьи 1190-х годов<sup>10</sup>.

Преимущество только что сформулированной гипотезы — в том, что она находит единое объяснение нескольким группам разночтений, концентрирующимся в одной и той же части летописи. Однако эта гипотеза наталкивается и на некоторые трудности.

А. А. Гиппиус, впервые высказавший идею о редактировании заключительных статей НВЛ на рубеже XII–XIII вв., обратил внимание на два пассажа в статьях 6704 (1196) и 6706 (1198) гг., которые не могли быть написаны при жизни архиепископа Мартирия (ум. 1199). В первом случае про него сказано: “прия царство небесное и радость неисконьцаему во вѣкы”; во втором — “устроишь себе память вѣчную”. Естественно предположить, что фрагменты, восхваляющие Мартирия, появились под пером редактора, работавшего уже после смерти владыки [Гиппиус 1997: 25–26]. Однако — и это ключевой момент в рассуждениях Гиппиуса — эти пассажи читаются в *обоих* изводах Н1. Следовательно, и Син., и Н1мл. отразили в данном случае уже отредактированный текст. По Гиппиусу, √Син. заканчивался статьей 6703 (1195) г., т. е. там, где читаются последние избыточные *известия* Син.; дальше писец Син. уже копировал непосредственно НВЛ. Поэтому две вставки статьи 6701 (1193) г.,

<sup>13</sup> Ср. мысль В. Л. Янина о том, что сокращение датировочных указаний в тексте за XII в. — дело рук сводчика начала XIII в. [Янин 1981: 177]. У Янина, однако, эта мысль вписана совсем в другую текстологическую гипотезу, о которой говорилось выше.

принадлежавшие, по Гиппиусу, этому же редактору, в Син. не отразились, а хвалебные пассажи под 6704 и 6706 гг. — уже отразились [ibid.: 27–28].

Действительно, если считать, что вставки статьи 6701 г. и хвалебные пассажи статей 6704 и 6706 гг. принадлежат одному редактору, ему нельзя атрибутировать сокращение хронологических указаний, поскольку эти сокращения доходят до статьи 6707 г., но при этом отразились только в Н1мл. Однако что является большим усложнением: атрибуция значительного количества избыточных чтений Син. в одной и той же части текста двум разным редакторам или атрибуция двух пар разнотипных вставок (под 6701 г. / под 6704 и 6706 гг.) одному редактору?

Вторая вставка под 6701 г. прославляет Яковца Прокшинича [TIMBERLAKE 2000: 15; Гиппиус 1997: 189–193]. Его отец, Прокша Малышевич, упоминается под 6707 г. в качестве заказчика строительства церкви тоже *только в Н1мл.* Поэтому логичнее атрибутировать одному и тому же редактору вставки 6701 г. и добавление имени Прокши Малышевича под 6707 г.<sup>14</sup>, т. е. в обоих случаях — фрагменты, читающиеся в Н1мл. и отсутствующие в Син.

Как же тогда быть с хвалебными пассажами о Мартирии под 6704 и 6706 гг.? Например, можно предположить, что это вообще никакие не вставки, а неотъемлемая часть первоначального текста, и что статьи 6704–6707 гг. были написаны единым блоком уже после смерти Мартирия в 6707 (1199) г. Однако эти статьи изобилуют дневными датами и, вероятно, создавались пусть и не всегда по горячим следам событий, но не одновременно [Гимон 2005: 343–351]. Кроме того, под 6704 г. имеется еще один след вторичной редактуры: дублировка сообщения об освящении церкви Кирилла в Нелезене монастыре (тоже отразившаяся и в Син., и в Н1мл.). Это говорит о какой-то переработке текста — видимо, той же самой, в ходе которой появились хвалебные пассажи о Мартирии [Гиппиус 1997: 25–26]. Поэтому кажется вероятным, что один редактор переработал заключительный отрывок летописи Мартирия в духе его прославления, а другой — несколько позже — предпринял более масштабную переработку летописи. Результат работы первого отразился и в Син., и в Н1мл., результат работы второго — только в Н1мл.

Однако какая часть текста была переработана вторым редактором? Ясно, что заканчивалась она статьей 6707 г., границу которой не переходят никакие из интересующих нас разночтений. Но где же она начиналась?

<sup>14</sup> Известие о смерти Прокши Малышевича под 6715 (1207) г. обнаруживает особенное внимание летописца к этому человеку [Гимон 2006а: 302–304]. А. Тимберлейк на этом основании атрибутирует вставки 6701 г. летописцу Митрофана [TIMBERLAKE 2000: 15]. А. А. Гиппиус считает известие о смерти Прокши вставкой, сделанной летописцем Антония, связывая с ним и вставку 6701 г. [Гиппиус 2010а: 196].



А. Тимберлейк считает, что летописец Митрофана в 1200-х годах переработал статьи за 1160–1190-е годы, а разночтения в предшествующих статьях надо атрибутировать более ранним редакторам. Однако обязательно ли такое усложнение? Действительно, в статьях 1160–1190-х годов разночтений между Син. и Н1мл. больше всего. Но разночтения тех же типов имеются и в более ранних статьях. Достаточно вспомнить, что избыточные *известия* Син. начинаются с 6652 (1144) г., а избыточные хронологические указания — с 6631 (1125) г., с высокой концентрацией в статьях 6644–6645 (1136–1137) гг. Нельзя ли предположить, что при Митрофане в начале XIII в. был обновлен весь текст НВЛ за XII в.?

Какие аргументы приводит Тимберлейк в пользу того, что сокращали текст за XII в. *разные* редакторы? Во-первых, он придает слишком большое значение границе 1160-х годов (слово “мѣсяца” в Н1мл. начинает часто опускаться именно с 1160-х годов; с 1167 г. начинают часто встречаться избыточные *известия* Син.) [TIMBERLAKE 2000: 18–19] (см. также выше). Но, как только что было сказано, разночтения большинства типов не начинаются с 1160-х годов: они встречаются и раньше, просто менее интенсивно.

Во-вторых, Тимберлейк указывает на пять случаев между 1133 и 1185 гг., когда слово “мѣсяца” имеется в Н1мл., но отсутствует в Син. В отличие от упомянутых противоположных случаев, Тимберлейк атрибутирует их редактору конца XII в. — летописцу Гавриила и Мартирия. Поскольку один из этих случаев — в статье 6645 (1137) г. — приходится на то же известие, где в Син. присутствует указание на индикт, а в Н1мл. — отсутствует, этому же редактору Тимберлейк приписывает и сокращение всех нетривиальных хронологических указаний в статьях 6644–6645 гг. [TIMBERLAKE 2000: 20]. Однако слово “мѣсяца”, как мы видели выше, могло легко добавляться и опускаться при переписке, и столь малое количество разночтений этого типа вряд ли может служить весомым аргументом. Тем более не доказана связь между добавлением слова “мѣсяца” и сокращением других хронологических указаний, пусть даже и в том же известии.

В-третьих, Тимберлейк считает, что автобиографическая заметка Германа Вояты под 6652 (1144) г. о его рукоположении попом была вначале вставлена в уже существовавший летописный текст самим Воятой, летописцем архиепископа Ильи, работавшим в 1160–1180-х годах, а затем сокращена его преемником — летописцем Гавриила и Мартирия, сделавшим под 6696 (1188) г. запись о смерти Вояты [TIMBERLAKE 2000: 19–20]. Я согласен, что запись 6652 г. — это, несомненно, вставка Вояты в уже существовавший текст (в 1140-е годы летопись вел еще не Воята, а

летописец Нифонта [Гиппиус 1997: 11–12; *idem* 2006: 215]). Однако этого недостаточно, чтобы предполагать, что Воята *переписал* значительную часть текста. Запись Вояты могла быть и глоссой (например, частично поместившейся на пустой части последней строки статьи 6652 г., если следующая статья в НВЛ начиналась с новой строки). Опустил же эту запись, скорее всего, тот же редактор, который пропустил и другие известия, читающиеся ныне только в Син. (их ряд как раз и начинается со статьи 6652 г., о чем только что говорилось).

Таким образом, схема А. Тимберлейка кажется мне неоправданным усложнением. Все проанализированные разночтения между Син. и Н1мл. в тексте за XII в. проще и надежнее атрибутировать одному редактору. Моя гипотеза состоит в том, что текст НВЛ за XII в. (по крайней мере, за большую часть XII в., так как в кратких статьях начала XII в. разночтений очень мало) был отредактирован вскоре после 6707 (1199) г.

В Н1мл. отразился уже отредактированный текст НВЛ. Что касается Син., то он, очевидно, в части до 6707 г. представляет собой копию старой, “дореформенной” НВЛ. Наоборот, со статьи 6708 г. писец Син. перешел к копированию самого “официального экземпляра” НВЛ. В таком случае √Син. — это не “юрьевский” экземпляр НВЛ, а просто старый текст, оставшийся после редактуры начала XIII в. и, видимо, отданный в Юрьев монастырь для копирования.

Вероятно, именно этим объясняется заметная в начале статьи 6708 г. палеографическая граница, долгое время считавшаяся сменой почерка. В действительности в этом месте письмо лишь укрупняется, меняются чернила и перо<sup>15</sup>. При этом граница находится не в самом начале статьи 6708 г., а на полуфразе, посреди второй строки этой погодной статьи. Палеографические границы такого типа (смены/видоизменения почерка, а также смены чернил и пера на полуфразе недалеко от начала погодной статьи) встречаются в раннесредневековых английских анналах. Есть основания связывать их со сменой источника, копировавшего писцом(ами) дошедшей до нас рукописи. Дойдя до этого важного рубежа в своей работе, писец сразу копировал и несколько слов из нового источника — как бы оставляя себе (или своему коллеге) небольшой задел или обозначая то место, откуда следует продолжить работу [Гимон 2012: 400, 402, 404, 449–450, 512]. В нашем случае писец, закончив копировать “дореформенный” текст (√Син.), перед перерывом в работе переписал первые слова следующей статьи уже из “официального экземпляра” НВЛ<sup>16</sup>.

<sup>15</sup> См. в самом начале статьи.

<sup>16</sup> В чем-то схожее объяснение этой палеографической границы предложил К. Цукерман. По его мнению, писец Син. скопировал в 1220-х годах √Син. вплоть до начала статьи 6708 г. Хотя, по Цукерману, √Син. продолжался и дальше, писец хотел в части за первую треть XIII в. использовать уже “официальный экземпляр”

Предложенная в настоящей статье гипотеза находит себе два косвенных подтверждения. Во-первых, на рубеже XII–XIII вв. можно отметить некоторые изменения в круге событий, фиксировавшихся новгородскими владычными летописцами (хотя в основных чертах этот круг остается прежним [Гимон 2003: 334–348]):

1) перестают отмечаться смены игуменов (кроме Юрьева монастыря): последние известия такого рода в общем тексте Син. и Н1мл. — под 6695 г. (Антониев монастырь) и 6700 г. (Зверин монастырь);

2) исчезают сообщения об основании монастырей (в тексте за вторую половину XII в. их пять: под 6661, 6678, 6700, 6705, 6707 гг.; следующее такое известие — под 6746 г. [только в Син.], затем — в тексте за XIV в.);

3) резко уменьшается число сообщений о строительстве деревянных церквей (в тексте за вторую половину XII в. сказано о сооружении 25 деревянных храмов, и это не считая избыточных известий Син.; в тексте за первую половину XIII в. — только о пяти: под 6714, 6715, 6719, 6727, 6734 гг., причем ни в одном из них не употреблен глагол “срубити”, т. е. не исключено, что какие-то из этих пяти храмов все-таки были каменными); надолго исчезают характерные для XII в. известия, где говорится сразу о строительстве двух или более деревянных храмов (последнее — под 6699 г.; затем — уже в тексте за XIV в.).

Тематика избыточных *известий* Син. замечательным образом коррелирует с этими изменениями. Большинство известий Син., отсутствующих в Н1мл., составляют записи о сменах игуменов (под 6675, 6687, 6700, 6702, 6703 гг.) и строительстве деревянных храмов (под 6692, 6701 [2 храма] и 6703 [3 храма] гг.). Таким образом, высказанная гипотеза находит себе подтверждение: с начала XIII в. летописцы перестают интересоваться некоторыми категориями событий — и такие же события показались несущественными редактору, сокращавшему в это время текст НВЛ.

Во-вторых, в то же самое время — на рубеже XII–XIII вв. — состоялась куда более масштабная “реформа” киевской летописи. Был составлен Киевский свод (дошедший до нас в составе Ипатьевской летописи), в котором статьи за XII в. подверглись кардинальной переработке и расширению<sup>17</sup>. Киевский свод заканчивается статьей 6706 (1198) г. (в Ипатьевском списке она искусственно разделена на три: 6706–6708 гг.);

НВЛ, который, как он знал, в этой части был существенно отредактирован. С получением “официального экземпляра” вышла задержка, и отсюда — палеографический рубеж, отражающий длительный перерыв в работе писца [Цукерман 2009: 290].

<sup>17</sup> См. о работе создателя Киевского свода: [Вілкул 2004: 63–74; ЕАДЕМ 2005: 76 и след.; ЕАДЕМ 2015: 240–314].

далее следует уже совсем другой, галицко-волынский текст<sup>18</sup>. Можно предположить, что о радикальной переработке летописи в Киеве узнали в Новгороде, и здесь тоже решили “обновить” летопись.

Таким образом, кажется вероятным, что на рубеже XII–XIII вв. или в начале XIII в. состоялась “реформа” НВЛ: ее текст за большую часть XII в. был переписан, существенно сокращен и в нескольких случаях дополнен новыми сведениями. При этом старый, “дореформенный” текст отразился в Син., а новый — в Н1мл. Данная гипотеза, как кажется, хорошо объясняет комплекс разночтений между Син. и Н1мл. в тексте за XII в., а также палеографическую границу в Син. в начале статьи 6708 г. и некоторые изменения, произошедшие на рубеже XII–XIII вв. в характере новгородского летописания.

Эту гипотезу, разумеется, следовало бы вписать в более широкую картину истории новгородского летописания. В рамках этой статьи я, однако, ограничусь лишь постановкой трех вопросов:

1) Как соотносится “реформа” текста НВЛ за XII в. в начале XIII в. с предполагаемой “реформой” 1160-х годов, когда, согласно А. А. Гиппиусу, был заменен текст за XI в. (напомню, и в этом случае в Син. отразился “дореформенный” вариант текста, а в Н1мл. — “пореформенный”)?

2) Как соотносится постулируемая “реформа” текста за XII в. с многочисленными следами правки и вставными фрагментами в тексте НВЛ за первую четверть XIII в. [Алешковский 1981; IDEM 2015: 178–192; Гимон 2006б: 113–117; Гиппиус 2010а: 194–198] (напрашивается мысль, что “реформа” была осуществлена не в самом начале XIII в., а позже<sup>19</sup>; против этого, однако, говорит тот факт, что следы исправлений в тексте за первую четверть XIII в., в отличие от текста за XII в., отразились и в Син., и в Н1мл.<sup>20</sup>)?

3) Не связаны ли с деятельностью “реформатора” слова “от Михаила цесаря до Олексы<sup>21</sup> и Исакия” в “предисловии” Н1мл. (речь может идти о византийских императорах Алексее III и Исааке II Ангелах, фигурирующих в “Повести о взятии Царьграда фрягами”, помещенной в Н1 под 6712 [1204] г.<sup>22</sup>)?

<sup>18</sup> А. П. Толочко считает, что свод был составлен не ранее 1212 г. [Толочко 2006]. См. возражения: [Гиппиус 2009: 75–76, примеч. 1].

<sup>19</sup> Тем более что А. А. Гиппиус отметил ряд перекличек вставок 6701 г. со статьями 1210–1220-х годов [Гиппиус 2010а: 189–190 и сл.].

<sup>20</sup> Ср., однако, мысль К. Цукермана (примеч. 16).

<sup>21</sup> В большинстве списков “предисловия” вместо “Олексы” читается “Александра”. Первоначальное чтение, конечно, “Олексы” [Гиппиус 2010б: 188–189].

<sup>22</sup> Эти слова давали многим ученым повод говорить о новгородском летописном своде начала XIII в. В то же время здесь могут иметься в виду соправители конца XI в. Алексей I Комнин с братом, севастократором Исааком (см. обзор проблемы: [ibid. С. 188–190]).

## Сокращения

Акад. — Академический список Н1мл.

Ком. — Комиссионный список Н1мл.

Син. — Синодальный список Н1

√Син. — утраченный протограф Син.

НВЛ — новгородская владычная летопись (утрачена)

Н1 — Новгородская I летопись

Н1мл. — Новгородская I летопись младшего извода

Н4 — Новгородская IV летопись

НСГ — Новгородско-софийская группа летописей (Новгородская Карамзинская, Софийская I, Новгородская IV)

Тв. — Тверской сборник

X, Y — гипотетические этапы сложения Н1мл.

## Библиография

Алешковский 1981

Алешковский М. Х., “Новгородский летописный свод конца 1220-х гг.”, in: *Летописи и хроники. 1980*, Москва, 1981, 104–111.

——— 2015

Алешковский М. Х., *Повесть временных лет: из истории создания и редакционной переработки*, Москва, 2015.

Вилкул 2005

Вилкул Т. Л., “О происхождении общего текста Ипатьевской и Лаврентьевской летописи за XII в. (предварительные заметки)”, *Palaeoslavica*, 13, 2005, 21–80.

Вілкул 2004

Вілкул Т. Л., “Літопис Святослава Ольговича у складі Київського зводу XII століття”, in: *До джерел: Збірник праць на пошану О. Купчинського з нагоди його 70-річчя*, 2, Київ, Львів, 2004, 63–74.

——— 2015

Вілкул Т. Л., *Літопис і хронограф. Студії з текстології домонгольського київського літописання*, Київ, 2015.

Гимон 2003

Гимон Т. В., “Новгородское летописание XII–XIII вв.: Проблема отбора событий для фиксации”, in: *Образы прошлого и коллективная идентичность в Европе до начала нового времени*, Москва, 2003, 334–348.

——— 2005

Гимон Т. В., “Как велась новгородская погодная летопись в XII веке?”, in: *Древнейшие государства Восточной Европы, 2003 год: Мнимые реальности в античных и средневековых текстах*, Москва, 2005, 316–352.

——— 2006a

Гимон Т. В., “В каких случаях имена новгородцев попадали на страницы летописи (XII–XIII вв.)?”, in: *Древнейшие государства Восточной Европы, 2004 год: Политические институты Древней Руси*, Москва, 2006, 291–333.

——— 2006b

Гимон Т. В., “Новгородское летописание первой четверти XIII в.: хронология и процесс пополнения летописи”, in: *Средневековая Русь*, 6, Москва, 2006, 80–118.



——— 2006в

Гимон Т. В., “Редактирование летописей в XIII–XV вв.: Разночтения между списками Новгородской 1 летописи”, in: *Труды Отдела древнерусской литературы*, 57, С.-Петербург, 2006, 112–125.

——— 2012

Гимон Т. В., *Историописание раннесредневековой Англии и Древней Руси: Сравнительное исследование*, Москва, 2012.

——— 2014

Гимон Т. В., “Кирик (1110–после 1158 (?)), иером.”, in: *Православная энциклопедия*, 34, Москва, 2014, 167–170.

Гимон, Гиппиус 1999

Гимон Т. В., Гиппиус А. А., “Новые данные по истории текста Новгородской первой летописи”, in: *Новгородский исторический сборник*, 7 (17), С.-Петербург, 1999, 18–47.

Гиппиус 1992

Гиппиус А. А., “Новые данные о пономаре Тимофее — новгородском книжнике середины XIII века”, in: *Информационный бюллетень Международной ассоциации по изучению и распространению славянских культур*, 25, Москва, 1992, 59–86.

——— 1997

Гиппиус А. А., “К истории сложения текста Новгородской первой летописи”, in: *Новгородский исторический сборник*, 6 (16), С.-Петербург, 1997, 3–72.

——— 2006

Гиппиус А. А., “Новгородская владычная летопись XII–XIV вв. и ее авторы (История и структура текста в лингвистическом освещении). I”, in: *Лингвистическое источниковедение и история русского языка, 2004–2005*, Москва, 2006, 114–251.

——— 2009

Гиппиус А. А., “К вопросу о контактах региональных традиций в русском летописании первой трети XIII в.”, in: *Восточная Европа в древности и средневековье: Автор и его источник: Восприятие, отношение, интерпретация: XXI Чтения памяти В. Т. Пашуто*, Москва, 2009, 70–77.

——— 2010а

Гиппиус А. А., “Архиепископ Антоний, новгородское летописание и культ святой Софии”, in: *Хорошие дни. . . : Памяти А. С. Хорошева*, С.-Петербург, 2010, 181–198.

——— 2010б

Гиппиус А. А., “Предисловие к «Софийскому временнику» (киевскому Начальному своду): Текст, язык, источники”, *Русский язык в научном освещении*, 2 (20), 2010, 143–199.

——— 2011

Гиппиус А. А., “«До Александра и Исакия»: К вопросу о происхождении младшего извода Новгородской первой летописи”, *Древняя Русь: Вопросы медиевистики*, 1 (43), 2011, 18–30.

——— 2012

Гиппиус А. А., “Соперничество городских концов как фактор культурной истории Новгорода XII–XIII вв.”, in: *Споры о новгородском вече: Междисциплинарный диалог*, С.-Петербург, 2012, 121–135.

НПЛ 1950

Насонов А. Н., ред. и предисл., *Новгородская первая летопись старшего и младшего извода*, Москва, Ленинград, 1950 [репр.: Москва, 2000].

НХЛ 1964

Тихомиров М. Н., ред., *Новгородская харатейная летопись*, Москва, 1964.

## ПСРЛ 4-1

Полное собрание русских летописей, 4/1: Новгородская четвертая летопись, Москва, 2000.

## ПСРЛ 15

Полное собрание русских летописей, 15: Рогожский летописец, Тверской сборник, Москва, 2000.

## Толочко 2006

Толочко А. П., "О времени создания Киевского свода «1200 г.»", *Ruthenica*, 5, 2006, 73–87.

## ЦУКЕРМАН 2009

ЦУКЕРМАН К., "Наблюдения над сложением древнейших источников летописи", in: *Борисо-глебский сборник*, 1, Paris, 2009, 183–305.

## ШАХМАТОВ 2002

ШАХМАТОВ А. А., *История русского летописания*, 1/2, С.-Петербург, 2002.

## Янин 1981

Янин В. Л., "К вопросу о роли Синодального списка Новгородской I летописи в русском летописании XV в.", in: *Летописи и хроники. 1980*, Москва, 1981, 153–181.

## TIMBERLAKE 2000

TIMBERLAKE A., "Older and Younger Recensions of the First Novgorod Chronicle," *Oxford Slavonic Papers. New Series*, 33, 2000, 1–35.

## References

Aleshkovskij M. H., "Novgorodskii letopisnyi svod kontsa 1220-kh gg.," in: *Letopisi i hroniki*, 1980, Moscow, 1981, 104–111.

Aleshkovskij M. H., *Povest' vremennykh let: iz istorii sozdaniia i redaktsionnoi pererabotki*, Moscow, 2015.

Gippius A. A., "Novye dannye o ponomare Timofee — novgorodskom knizhнике serediny XIII veka," in: *Informatsionnyi biulleten' Mezhdunarodnoi assotsiatsii po izucheniiu i rasprostraneniuiu slavianskikh kul'tur*, 25, Moscow, 1992, 59–86.

Gippius A. A., "K istorii slozheniia teksta Novgorodskoi pervoi letopisi," in: *Novgorodskii istoricheskii sbornik*, 6 (16), St. Petersburg, 1997, 3–72.

Gippius A. A., "Novgorodskaiia vladychnaia letopis' XII–XIV vv. i ee avtory (Istoriia i struktura teksta v lingvisticheskom osveshchenii). I," in: *Lingvisticheskoe istochnikovedenie i istoriia russkogo iazyka*, 2004–2005, Moscow, 2006, 114–251.

Gippius A. A., "K voprosu o kontaktakh regional'nykh traditsii v russkom letopisanii pervoi treti XIII v.," in: *Vostochnaia Evropa v drevnosti i srednevekov'e: Avtor i ego istochnik: Vospriatie, otnoshenie, interpretatsiia: XXI Chteniia pamiati V. T. Pashuto*, Moscow, 2009, 70–77.

Gippius A. A., "Arkhiiepiskop Antonii, novgorodskoe letopisanie i kul't sviatoi Sofii," *Horoshie dni. . . Pamjati A. S. Horosheva*, St. Petersburg, 2010, 181–198.

Gippius A. A., "Predislovie k 'Sofiiskomu vremenniku' (kievskomu Nachal'nomu svodu): Tekst,

iazyk, istochniki," *Russian Language and Linguistic Theory (Russkij yazyk v nauchnom osveshchenii)*, 2 (20), 2010, 143–199.

Gippius A. A., "'Till Alexander and Isakios': On the Origin of the Younger Recension of the Novgorod First Chronicle," *Drevnyaya Rus—Voprosy Medievistiki*, 2011, 1 (43), 18–30.

Gippius A. A., "Sopernichestvo gorodskikh kontsov kak faktor kul'turnoi istorii Novgoroda XII–XIII vv.," in: *Spory o novgorodskom veche: Mezhdisciplinarnyi dialog*, St. Petersburg, 2012, 121–135.

Guimon T. V., "XII–XIII cc. Novgorod Chronicles: A Problem of Selection of Events to be Fixed," in: *Obrazy proshlogo i kollektivnaia identichnost' v Evrope do nachala novogo vremeni*, Moscow, 2003, 334–348.

Guimon T. V., "How Were the Novgorodian Annals Kept in the 12th Century?" in: *Drevneishie gosudarstva Vostochnoi Evropy, 2003 god: Mnimye realnosti v antichnykh i srednevekovykh tekstakh*, Moscow, 2005, 316–352.

Guimon T. V., "In Which Cases Did the Annals Mention Novgorodians' Names in the 12th–13th Centuries?" in: *Drevneishie gosudarstva Vostochnoi Evropy, 2004 god: Politicheskie instituty Drevnei Rusi*, Moscow, 2006, 291–333.

Guimon T. V., "The Annalistic Writing of Novgorod in the First Quarter of the 13th Century: The Chronology and the Process of Updating," in: *Srednevekovaiia Rus'*, 6, Moscow, 2006, 80–118.

Guimon T. V., "Redaktirovanie letopisei v XIII–XV vv.: Raznochteniiia mezhdu spiskami Novgorod-

skei 1 letopisi," in: *Trudy Otdela drevnerusskoi literatury*, 57, St. Petersburg, 2006, 112–125.

Guimon T. V., *Historical Writing in Early Medieval England and Early Rus: A Comparative Study*, Moscow, 2012.

Guimon T. V., "Kirik the Novgorodian (1110 – after 1158 (?)), hieromonk," in: *Pravoslavnaia entsiklopediia*, 34, Moscow, 2014, 167–170.

Guimon T. V., Gippius A. A., "New Data on the Text-history of the First Novgorodian Chronicle," in: *Novgorodskii istoricheskii sbornik*, 7 (17), St. Petersburg, 1999, 18–47.

Janin V. L., "K voprosu o roli Sinodal'nogo spiska Novgorodskoi I letopisi v russkom letopisanii XV v.," in: *Letopisi i hroniki*, 1980, Moscow, 1981, 153–181.

Timberlake A., "Older and Younger Recensions of the First Novgorod Chronicle," *Oxford Slavonic Papers. New Series*, 33, 2000, 1–35.

Tolochko A. P., "O vremeni sozdaniia Kievskogo svoda '1200 g.'," *Ruthenica*, 5, 2006, 73–87.

Shakhmatov A. A., *Istoriia russkogo letopisaniia*, 1/2, St. Petersburg, 2002.

Vilkul T. L., "Litopys Sviatoslava Ol'govycha u skladi Kyi'vs'koho zvodu XII stolittia," in: *Do dzherel: Zbirnyk prac' na poshanu O. Kupchyns'koho z nakhody ioho 70-richchia*, 2, Kiev, Lviv, 2004, 63–74.

Vilkul T. L., "O proiskhozhdenii obshchego teksta Ipat'evskoi i Lavrent'evskoi letopisi za XII v. (predvaritel'nye zametki)," *Palaeoslavica*, 13, 2005, 21–80.

Vilkul T. L., *The Chronicle and the Chronograph (Text Critical Studies of Pre-Mongol Kievan Chronicles and Early Rus' Chronographs)*, Kiev, 2015.

Zuckerman C., "Une esquisse de la stratification des premières chroniques russes," in: *Boriso-glebskii sbornik*, 1, Paris, 2009, 183–305.

## Acknowledgements

Ministry of Education and Science of the Russian Federation. State assignment No. 2014/321.

**Тимофей Валентинович Гимон**, доктор ист. наук

Институт всеобщей истории РАН,

ведущий научный сотрудник, и. о. зав. центром "Восточная Европа

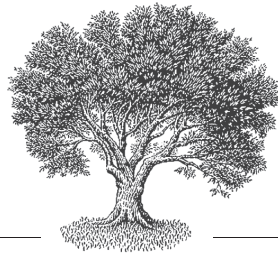
в античном и средневековом мире"

119334 Москва, Ленинский проспект, д. 32А

Россия/Russia

guimontv@mail.ru

Received November 19, 2016



“Ревнава же  
дѣдоу своему  
Мономаху”:  
к интерпретации  
термина родства  
князя Романа  
Мстиславича

**Вадим Изяславович  
Ставиский**

Независимый исследователь  
Киев, Украина

“Revnova zhe dedou  
svoiyemou  
Monomakhou”:  
Towards the  
Interpretation of the  
Kinship Term of  
Prince Roman  
Mstislavich

**Vadym I. Stavyskyi**

Independent scholar  
Kiev, Ukraine

Резюме

Предметом исследования в статье является фраза из текста, выделяемого в начальной части Галицко-Волынской летописи и получившего условное название “Похвала князю Роману Мстиславичу Галицкому”. В ней князь Владимир Мономах обозначен как “дед” князя Романа. Хорошо известно, что князь Роман был потомком князя Владимира Мономаха в пятом поколении, что никак не соответствует пониманию термина “дед” в смысле генеалогического родства. Незыблемость установленного места каждого из представителей древнерусской правящей династии в схеме рода было основополагающим принципом функционирования системы власти. Автор статьи устанавливает, что в данном случае определение князя Романа в качестве “внука” своего прапрадеда являлось литературным образом, опиравшимся на устойчивую историософскую традицию. Его смысл раскрывался через идентификацию князя Романа в качестве легендарного “греческого царя”, внука Александра

Македонского и победителя “измаильтян”, заточенных за Железными воротами его “дедом”. Источником появления этой эсхатологической аллюзии в тексте “Похвалы” является развитие идеи о “праотце Аврааме” как “деде” праведного Иова-Иовава в статьях под 1178 и 1199 годами в Киевской летописи и “Откровение” Мефодия Патарского. Причиной написания “Похвалы” и включения текстуально связанных с ней фрагментов в состав летописи стало стремление прославить династию волынских князей в контексте эсхатологических представлений, интерес к которым обострился после нашествия Батыя.

#### Ключевые слова

Галицко-Волынская летопись, похвала, дед, Роман

#### Abstract

The subject of this article is a phrase from the text distinguished in the initial part of the Galician-Volhynian Chronicle and described, conditionally, with the title “Eulogy to Prince Roman Mstislavich Galitsky.” In this text Prince Vladimir Monomakh is designated as the “grandfather” of Prince Roman. It is well known that Prince Roman was a fifth-generation descendant of Prince Vladimir Monomakh, which in no way corresponds to the understanding of the term “grandfather” in the sense of a genealogical relationship. The inviolability of the established place of each of the representatives of the Old Russian ruling dynasty in the genus scheme was the fundamental principle of the functioning of the power system. The author of the article establishes that in this case, the definition of Prince Roman as the “grandson” of his great-grandfather was a literary image, based on a stable historiosophical tradition. Its meaning was revealed through the identification of Prince Roman as the legendary “Greek king,” the grandson of Alexander the Great and the vanquisher of the “Ishmaelites” imprisoned behind the Iron Gate by his “grandfather.” The source of the appearance of this eschatological allusion in the text of Praise is the development of the idea of “the forefather of Abraham” as the “grandfather” of Job-Jobab in the articles upon 1178 and 1199 from the Kiev Chronicle and the Apocalypse of Pseudo-Methodius of Olympus. The reason for writing the “Eulogy” and the inclusion of textually related fragments in the annals was the desire to glorify the dynasty of Volhynia princes in the context of eschatological ideas, the interest in which was exacerbated after the invasion of Batu Khan.

#### Keywords

Galician-Volhynian Chronicle, eulogy, grandfather, Roman

Та часть текста Галицко-Волынской летописи (далее — ГВЛ), которую принято условно называть “Похвалой” князю Роману Мстиславичу (далее — ПР), представляется вполне законченным литературным произведением. Давно замечено, что в первоначальном тексте летописи ПР не читалась и ее текст был неудачно вставлен редактором в середину первой фразы ГВЛ [Грушевський 1993: 135; Черепнин 1941: 241; Пашуто 1950: 68; Толочко 2017: 414–421]. Исследование подобного типа



летописных текстов позволило А. П. Толочко обосновать мысль о том, что “летописные панегирики умершим князьям в развитом виде не являются целостным и оригинальным произведением, представляя собою более или менее удачную композицию из текстуальных блоков, уже встречавшихся до того в пределах той же самой летописи” [Толочко 1999: 26]. В тексте ПР подобные заимствования до сих пор обнаружены не были, хотя и отрицать ее литературное происхождение уже нельзя [Ставиский 2014: 172–178; *идем* 2015: 159–178]. Представляется возможным уточнить эти наблюдения.

В тексте ПР утверждается, что князь Роман Мстиславич “*Ревна же дѣдоу своему Мономаху . погубившему поганѣа Измаилѣнѣ . рекомѣа Половци*” [ПСРЛ 2: 716]<sup>1</sup>.

Из текста Повести временных лет (далее — ПВЛ) известно несколько крупных походов киевского князя Владимира Всеволодовича Мономаха против половцев, в результате которых он надолго избавил древнерусские земли от их набегов. Но также хорошо известно, что он был прапрадедом князя Романа, вопреки указанию текста ГВЛ, которое таким образом требует пояснения. Л. Махновец перевел фразу обобщенно: “ревно наслідував *предка* свого Мономаха”, не уточняя, кого — князя Владимира или императора Константина — он имеет в виду [ЛР 1989: 368]. О. П. Лихачева буквально перевела: “следовал *деду* своему Мономаху” [Лихачева 1997: 185]. Н. Ф. Котляр справедливо определяет князя Владимира Всеволодовича как “прапрадеда Романа”, но никак не поясняет чтение летописи “*дѣдоу*”, всецело полагаясь на “фольклорное происхождение” этого термина [Котляр. Комментарии 2005: 182].

Следует отметить, что аналогичный казус содержится в тексте статьи Киевской летописи (далее — КЛ) под 1178 г. в пространном панегирике на смерть киевского князя Мстислава Ростиславича: “*ѣкоже и дѣдъ твои . Всеволодъ . свободил нас баше ꙗко всѣхъ ꙗбидъ ты же баше гѣ не семоу поревновалъ . и наслѣдилъ поуть дѣда своего*” [ПСРЛ 2: 610]. Как и в случае с князем Романом, “дедом” названо лицо, на самом деле являвшееся прапрадедом героя посмертной похвалы. Это указание, как и весь пространный текст, в котором оно читается, содержится только в группе списков, восходящих к Хлебниковскому списку Ипатьевской летописи. В Лаврентьевской летописи под 6688 (1180 г.) известие о смерти князя Мстислава очень лаконично, но в нем содержится конкретное указание на то, что дедом князя был князь Мстислав Владимирович: “Престависа князь Мѣстиславъ . сѣ ѿ Ростиславль . внукъ Мстиславль [. . .]” [ПСРЛ 1-2: 387].

<sup>1</sup> Цит. по Хлебниковскому списку Ипатьевской летописи. Здесь и далее курсивные выделения в цитатах и основном тексте статьи принадлежат автору.

Аналогичное известие содержится и в Хлебниковском списке Ипатьевской летописи: “. . . прѣстави же сѧ князь Мѣстиславъ . сѣнь Ростиславль . вноукъ . великого кнѣза Мѣстислава . мѣца . июня . въ . ѿ 1 день мѣнца Анкюлины . въ дѣнь патничныи” [ПСРЛ 2: 609].

На этом основании А. С. Орлов сделал вывод о том, что указание на “деда” Всеволода в тексте статьи 1178 г. является следом “порчи” [Орлов 1926: 117]. Собственно, это непроверенное утверждение стало для исследователя аргументом, опровергавшим ее достоверность и, соответственно, свидетельство раннего влияния на текст КЛ отразившегося в этом сообщении текста “Александрии”. Между тем Т. Л. Вилкул убедительно продемонстрировала, что текст “Александрии” в действительности все же был использован при составлении статьи КЛ под 1178 г. [Вилкул 2015: 280–281]. А это значит, что упоминание князя Всеволода Ярославича в качестве “деда” князя Мстислава могло быть не “порчей” текста, появившейся в результате его редактирования, а литературным приемом.

В таком случае можно предполагать, что и в тексте ПР упоминание “деда” Мономаха было литературным образом, примененным по аналогии со статьей 1178 г., очевидно, знакомой галицкому летописцу. Наше внимание привлекло также и то обстоятельство, что стилистически статья 1178 г. и текст ПР очень близки. Впечатление об этом усиливается, если также принять во внимание и окончание статьи под 1251 г., несомненно, связанной с текстом ПР:

1178 г.: наипаче же плакахоуса по немь. лѣпшии моужи Новгородѣтии [...] ты бо много молваше гѣне нашъ хотя на вся поганѣа стороны . добро бы нам гѣне с тобою оумрѣти . сѣтворшешоу толикоу свободоу Новѣгородцемъ . ѿ поганѣихъ . такоже и дѣдъ твои . Всеволодъ . свободил нас баше ѿ всѣхъ убидѣ ты же баше гѣне семоу поревновалъ . и наслѣдилъ поуть дѣда своего . [ПСРЛ 2: 610]

1201 г.: *ревноваше бо дѣдоу своему Мономахоу. погоубившему поганѣа Измаилтанѣ. рекомѣа Половци [...]* Роману же князю *ревновавшю* за то . и тѣшася погоубити иноплемѣнныкы [Ibid.: 716–717]

1251 г.: [...] *наслѣдивша* поуть ѿца своего великого Романа . иже бѣ изострилса на поганѣа . тако левъ . имже Половци дѣти страшахоу . [Ibid.: 813]

Т. е. в обоих случаях праправнук “семоу поревновалъ . и наслѣдилъ поуть дѣда своего” / “ревновавшю за то [...] наслѣдивша поуть”. Однако автор ПР при сопоставлении князя Романа акцентировал внимание на победах его “деда” Мономаха “над погаными”. Но в статье 1178 г. князь Мстислав “поревновалъ . и наслѣдилъ поуть дѣда своего” не в “погублении поганых”, а в освобождении “ѿ всѣхъ убидѣ”, о чем в ПР не говорится. Там сказано, что “также и дѣдъ твои . Всеволодъ . свободил нас баше ѿ

всѣхъ вбидѣ ты же баше г<sup>ѣ</sup> не семоу поревновалѣ . и наслѣдилѣ поутѣ дѣда своего” [ПСРЛ 2: 610]. Упоминание “поганных” пунктуационно отделено и по смыслу относится к предыдущему рассуждению: “добро бы нам г<sup>ѣ</sup> не с тобою оумрѣти. сътворшемоу толикоу свободуу Новѣгородцемъ . ѿ поганыхъ”. По этой причине некорректно напрямую связывать текст ПР с текстом статьи 1178 г.

В завершающей части КЛ содержится восхваление деятельности киевского князя Рюрика Ростиславича, брата Мстислава и тестя Романа. Летописец сообщает, что “ѿ того же бѣ голюбивого Всеволода иже създа црѣ въ тоу родовъ четьри”, и дальше развивает мысль о том, что “съи же бѣ моудрыи князь Рюрикъ . *пѣтъи бѣ ѿ того* . ꙗкоже пишеть ѿ праведнемъ . Иевѣ ѿ Авраама . Всеволодъ бо роди Володимера Володимеръ же роди Мстислава . Мстиславъ же роди Ростислава . Ростиславъ же роди Рюрика и братію его” [ПСРЛ 2: 709]. Таким образом, оказывается, что в статьях 1178 и 1199 гг. князь Всеволод сопоставляется с ветхозаветным “дедом”, т. е. праотцем Авраамом, а каждый из его праправнуков, которые “пѣтъи бѣ ѿ того”, — с праведным Иовом. Возникает вопрос, почему Иов рассматривался киевским летописцем в генеалогической связи с “праотцем” — “дедом” Авраамом — с точным указанием на то, что он был “пятым”?

Основанием для такого сопоставления стала дополнительная информация апокрифического характера, появившаяся в Септуагинте и, соответственно, вошедшая в первоначальный славянский перевод книги Иова. В ней со ссылкой на “Сирскую книгу” (“Тако толку Сирскія книги”) сообщается, что первоначальным именем Иова было имя Иовав, его отцом был Зарефа и был он потомком Авраама в пятом поколении (Иов 42:17) [Рижский 1991: 145–146, 210; Розинская, Скобелев, Турилов 2011; Скобелев 2011]. При этом Иовав, называемый Иовом, был вторым царем в Едоме. А через одного после Иовава-Иова царствовал там Адад, поразивший Мадиама на поле Моава. Таким образом, когда киевский летописец утверждает, что “съи же бѣ моудрыи князь Рюрикъ . *пѣтъи бѣ ѿ того* . ꙗкоже пишеть ѿ праведнемъ . Иевѣ ѿ Авраама”, он фактически цитирует Книгу Иова: “прежде же бѣше имя ему Иовавъ [. . .] ꙗкоже быти ему пятому отъ Авраама”.

Итак, мы теперь знаем, что имеем дело не с ошибкой автора текста КЛ в статье 1178 г., когда прапрадеда князя Мстислава он называет “дедом”. Можно быть уверенным в том, что это — литературный образ, наиболее развернуто представленный в статье 1199 г. в прославлении его брата, князя Рюрика. В обеих статьях князь Всеволод предстал в образе ветхозаветного “деда” Авраама, а сам герой сопоставлен с праведным Иовом-Иовавом. Хотя при сопоставлении князей с их “праотцем” —

“дедом” — отмечается существенная разница в воспринятых ими достоинствах предка. Киевским летописцем, например, князь Мстислав отмечен за то, что он, как и его “дед”, новгородцев “свободил баше ѿ всѣхъ ѿбидѣ”, а его брат Рюрик “потѣщавшася пач. праотчѣскимъ стопамъ . въслѣдовати троудолюбиемъ” [ПСРЛ 2: 710]. Вероятнее всего, эта аллюзия возникла под пером киевского летописца на рубеже XII–XIII вв. Можно предположить, что она основывалась на том факте, что князь Рюрик, прославившийся своей строительной деятельностью в Михайловско-Выдубицком монастыре, принадлежал к пятому поколению, исчисляемому от основателя этого же монастыря — князя Всеволода. Вероятно, одновременно было внесено такое же изменение и в текст панегирика его брату Мстиславу.

Текстуальная зависимость образа “деда” князя Романа в ПР от риторического оборота в панегирике Мстиславу не вызывает сомнения. Но нельзя отрицать и того, что в тексте ПР аллюзия на “деда” — “праотца” Владимира Мономаха — тесно связана с прославлением князя Романа в качестве *продолжателя дела* прапрадеда в его борьбе с половцами, но не как “строителя” или гаранта “свобод”. Эта идея *преемственности* также достаточно выпукло представлена и в характеристике князя Рюрика, но в меньшей степени в статье 1178 г. Вместе с тем Владимир Мономах в контексте, представленном в ПР, не может рассматриваться в качестве удачного примера для сопоставления с “праотцем” Авраамом, как его отец в прославлении князей Мстислава и Рюрика. Этому мешает поставленный автором текста акцент: “Мономаху . погоубившему поганыхъ Измаилтанъ . рекомыхъ Половци”. Ведь помимо прочих своих достоинств старец Авраам оказался отцом Измаила, ставшего родоначальником “измаилътанъ”, диких племен, с которыми в древнерусской литературе устойчиво отождествлялись половцы. Следовательно, автор ПР не предполагал позиционировать князя Романа “аки другого Иова”.

Уже автор ПВЛ прекрасно знал, что “безбожьнии сѣе Измаилеви . пущении на казнѣ хрестыаномъ . аще ли бо си суть ѿ пустыни Етревьски . межи вѣстокомъ и сѣверомъ . ищѣло жь есть . ихъ колѣнъ . дѣ . Торкмене . и Печенѣзи . Торци . Половцѣ . Мефедии же свидѣтельствуєтъ ѿ нихъ” [ПСРЛ 2: 224]. Согласно тексту Псевдо-Мефодия, “Агарини вѣнуци”, являвшиеся и внуками Авраама, “воєвати начноуть въ вѣмѣ сѣдморицныхъ лѣтъ и не боудеть продлѣжениа лѣтомъ къ томоу, ѿко прииспѣ кончаниє мира” [Истрин 1897: 92–93, 2-го сч.]. По мысли автора, “греки” — христиане — будут преданы “въ руки безаконныхъ поганиихъ” до тех пор, пока не “въстанеть на нѣ *ц(а)рь Юлинъскъ* рѣкше Грьчьскыи [. . .] и наведѣтъ мѣчь на нѣ до поустыне Ютрева кѣже кс(тъ) ѿчина имь [. . .] и плѣнить жены ихъ и дѣти ихъ [. . .] и *нападѣтъ на нѣ страхъ ѿвсоуд(у) и на жєны ихъ и на дѣти ихъ*” [Ibid.: 97–98].



Кто же этот “греческий царь”? Он оказывается, согласно Псевдо-Мефодию, праправнуком Фола, деда Александра Македонского по линии матери, т. е. все же *пятым* в генеалогической линии его потомков, но главное — внуком самого Александра, победителя “измаильтян”, с которым в ПР прямо сопоставлен Владимир Мономах.

В явно связанном с текстом ПР ретроспективном сообщении под 1251 г. летописец вспоминает о славе “великого Романа . иже бѣ изострился на поганых . яко левъ . имже Половци дѣти страшаху”. При этом делает это он таким образом, что появляются достаточные основания идентифицировать впечатление, произведенное князем Романом на “детей” измаильтян — половцев, со страхом, навеянным на них же “последним греческим царем” из текста Псевдо-Мефодия. С другой стороны, после совместного с Рюриком половецкого похода князь Роман захватил Киев, изгнав своего тестя и посадив в Киеве своего двоюродного брата Ингваря Ярославича. Этот сюжет напоминает библейскую историю. Тогда Иов-Иоавав, с которым сопоставлен князь Рюрик, был царем в Идумее. Однажды ее судьба была решена царем Давидом: “И сътвори Давидъ имѧ. егда възвратитъ сѧ побѣди Идоумѧ [ . . . ] И постави во Идумѧ Давидъ блюстителѧ. и быша вси идоумѧ раби Давидоу. [ . . . ] И *цѣсарѣствова Давидъ надъ Израилемъ*, и бѣ Давидъ творѧ соудъ и правдоу надо всѣми людьми его” (2 Цар 8:13–15)<sup>2</sup>.

Таким образом, возникала достаточно прозрачная ассоциация князя Романа не только с “царем греческим”, победившим половцев — измаильтян, но также и с царем Давидом — победителем Иова-Рюрика.

Вероятность сопоставления князя Рюрика с царем Давидом через образ Иова-Рюрика подтверждает, кажется, следующее наблюдение над текстом ГВЛ. В краткой эпитафии на смерть князя Даниила Романовича сообщается, что “сѣи же король Данило князь . [ . . . ] баше вторыи по Соломонѣ .” [ПСРЛ 2: 862]. Соотнесение князя Даниила с Соломоном основывается также на тексте КЛ, в котором в статье под 1175 г. сказано об Андрее Боголюбском — “вторыи мудрыи Соломонѣ башеть” [ИВЛ.: 584]. Соотнесение князя Даниила с Соломоном выглядит не случайным композиционным решением. Вероятнее всего, оно продиктовано очевидным для автора панегирика князю Даниилу сравнением его отца с царем Давидом.

Под 1250 г. в ГВЛ рассказывается о поездке князя Даниила в ставку Батыя. Говоря об унижении, которому был подвергнут князь, автор сообщает среди прочего о том, что “его<sup>ж</sup> вѣць бѣ цѣрь в Роуской земли”

<sup>2</sup> Цит. по старшему русскому списку Книги Царств в составе хронографа кон. XIV в.: РГБ, ф. 304.1 (Главное собрание библиотеки Троице-Сергиевой лавры), № 728. Л. 92г–93а.



[ПСРЛ 2: 808]. Здесь использовано странное словосочетание, дотоле неизвестное древнерусской литературе. “Цесарство” (то есть универсальная власть) в “Русской земле” никогда не предполагалось, а на жизненном пути князя Романа мы не обнаруживаем этапов, способствовавших такому стремительному взлету провинциального волынского князя.

Древнерусские источники, близкие ко времени жизни Романа, знают два современных им “цесарства” — византийское и римское. Но в “галицкой” части ГВЛ, обнимающей своим повествованием период до 1260-х гг., как “цесари” упомянуты только “римские” германские императоры — Филипп и Фридрих. Упоминание вместе с ними зятя киевского князя Рюрика в качестве “цѣря в Роуской земли” выглядит как недоразумение. Очевидно, что ситуацию не спасает утверждение летописца о том, будто князь Роман добился такого положения, потому что якобы “покори Половецькоюю землю . и воева [на] иные страны всѣ” [ПСРЛ 2: 808].

В. Водов предлагал рассматривать наш случай в контексте общей тенденции, в соответствии с которой термин “цесарь” в редком применении к русским князьям не был официальным титулом, но мог употребляться, во-первых, для прославления князя с использованием византийских образцов красноречия; во-вторых, для подчеркивания политического престижа умершего князя; а также, в-третьих, в связи с главенством князя в церковных делах или, в-четвертых, с культом князя-святого [Водов 2002: 544–553]. Из всех названных ученым поводов для применения термина “цесарь” в нашем случае может рассматриваться лишь второй, причем именно в контексте сравнения с *царем* Давидом — *“царствова давидъ над всѣмъ їзраилемъ”*.

Вполне вероятно, что князь Роман представлен в ГВЛ и как *“царь Элинськъ рекше Грьчьскый”* Псевдо-Мефодия, т. е. последний христианский “царь”. А. А. Горский находит пояснение этому казусу именно в плоскости политическо-институциональной: “Роман Мстиславич, отец Даниила, был «царем», а Даниил, несмотря на все свое могущество, им не является, поскольку он стал подданным хана. Утверждается, таким образом, представление о царе как правителе, не имеющем над собой сюзерена, и русские князья теперь не подходят под это определение”. Ученый отметил, что “с появлением татарского «царства» термин «царь» по отношению к русским князьям почти перестает употребляться” [Горский 1996: 11–12]. Актуализация этой идеи в ГВЛ относится к периоду работы “волынского” редактора, когда под 1275 г. впервые фиксируется идея “татарского царства” [Ставиский 2017].

Итак, сопоставление в тексте ПР князя Романа Мстиславича с его прапрадедом Владимиром Мономахом, обозначенным в качестве “деда”,

основывается не на генеалогическом принципе, а является литературным образом, заимствованным из текста КЛ по формальным признакам. Автор ПР развил его в двух направлениях. Во-первых, князь Роман восхваляется как победитель “измаильтян” — половцев, т. е. продолжатель дела “деда” Александра Македонского, с которым в тексте ПР прямо сопоставлен Владимир Мономах. С другой стороны, князь Роман уподоблен царю Давиду, отобравшему Идумею-Киев у Иова, с которым прямо сопоставлен князь Рюрик Ростиславич. По мнению А. П. Толочко, особенности титулатуры князя Романа, представленной в начале текста ГВЛ, текст ПР, а также следующий за ней рассказ о походе на Галич князя Рюрика, в котором содержится информация о его изгнании из Киева, являются следствием редактирования первоначального “галицкого” текста [Толочко 2017: 416, 418–419]. С ПР текстуально связан фрагмент из статьи 1251 г. и, с большой вероятностью, также упоминание князя Романа в описании поездки князя Даниила и сравнение с Соломоном в посмертной похвале ему же. Поэтому можно предположить, что у ПР и текстуально связанных с ней интерполяций в “галицкий” текст был один автор, уверенно обозначивший литературный контекст сопоставлений для прославляемой им династии волынских князей при масштабном редактировании первоначального текста ГВЛ.

## Сокращения

ГВЛ — Галицко-Волынская летопись

КЛ — Киевская летопись

ПВЛ — Повесть временных лет

ПР — “Похвала” князю Роману Мстиславичу Галицкому

## Библиография

### Источники

#### Истрин 1897

Истрин В. М., *Откровение Мефодия Патарского и апокрифические видения Даниила в византийской и славяно-русской литературах. Исследование и тексты*, Москва, 1897, разд. В.

#### ЛР 1989

Мишанич О. В., відп. ред., Махновець Л. Є., пер., *Літопис Руський*, Київ, 1989.

#### Малышев 1947

Малышев В. И., “Житие Александра Невского (По рукописи середины XVI в., Гребенщиковской старообрядческой общины в г. Риге)”, *Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы АН СССР*, 5, Москва, Ленинград, 1947, 185–193.

## ПСРЛ 1-2

Полное собрание русских летописей, издаваемое Постоянною Историко-Археографическою Комиссией Академии Наук СССР, 1/2, изд. 2-е, Ленинград, 1927.

——— 2

Полное собрание русских летописей, изданное по Высочайшему повелению Императорской Археографической комиссии, 2: А. А. Шахматов, подгот., Ипатьевская летопись, изд. 2-е, С.-Петербург, 1908.

## Литература

## Вілкул 2015

Вілкул Т. Л., *Літопис і Хронограф. Студії з текстології домонгольського київського літописання*, Київ, 2015.

## Водов 2002

Водов В., “Замечания о значении титула «царь» применительно к русским князьям в эпоху до середины XV века”, перев. Е. Э. Бабаева, in: А. Ф. Литвина, Ф. Б. Успенский, сост., *Из истории русской культуры*, 2/1, Москва, 2002, 543–553.

## Горский 1996

Горский А., “О титуле «царь» в средневековой Руси (до середины XVI в.)”, in: *Одиссей. Человек в истории*, 1996, Москва, 1996, 11–12.

## Грушевський 1993

Грушевський М. С., *Історія української літератури*, Київ, 1993.

## Котляр Комментарий 2005

Котляр Н. Ф., “Комментарий”, in: ИДЕМ, В. Ю. Франчук, А. Г. Плахонин, сост., *Галицко-Волынская летопись. Текст. Комментарий. Исследование*, С.-Петербург, 2005, 177–368.

## Лихачева 1997

Лихачева О. П., пер., коммент., “Галицко-Волынская летопись”, in: Д. С. Лихачев, Л. А. Дмитриев, А. А. Алексеев, Н. В. Поньрко, ред., *Библиотека литературы Древней Руси*, 5: XIII век, С.-Петербург, 1997, 184–357, 482–515.

## Орлов 1926

Орлов А. С., “К вопросу об Ипатьевской летописи”, *Известия Отделения русского языка и словесности*, 31, 1926, 93–126.

## Пашуто 1950

Пашуто В. Т., *Очерки по истории Галицко-Волынской Руси*, Москва, 1950.

## Рижский 1991

Рижский М. И., *Книга Иова: Из истории библейского текста*, Новосибирск, 1991.

## Розинская, Скобелев, Турилов 2011

Розинская М. М., Скобелев М. А., Турилов А. А., “Иова книга. IV”, in: *Православная энциклопедия*, 25, Москва, 2011, 324–325.

## Скобелев 2011

Скобелев М. А., “Иова книга. Содержание. В Эпиплоге”, in: *Православная энциклопедия*, 25, Москва, 2011, 330.

## Ставиский 2014

Ставиский В., “Песни половецкие”, *Ruthenica*, 12, 2014, 172–178.

——— 2015

Ставиский В. И., “О возможном источнике некоторых образов летописной «Похвалы» князю Роману Мстиславичу”, *Slověne = Словѣне*, 4(2), 2015, 159–179.

——— 2017

Ставиский В., “Цесарство свѣта сего”, *Ruthenica*, 14, 2017 [в печати].

Толочко 1999

Толочко А. П., “Похвала или Житие? (Между текстологией и идеологией княжеских панегириков в древнерусском летописании)”, *Paleoslavica*, 7, 1999, 26–38.

——— 2017

Толочко О. П., “Як починався Галицько-Волинський літопис?”, in: *Культурний шар: Статті на пошану Г. Ю. Івакіна*, Київ, 2017, 414–422.

ЧЕРЕПНИН 1941

ЧЕРЕПНИН Л. В., “Летописец Даниила Галицкого”, *Исторические записки*, 12, 1941, 228–253.

## References

Cherepnin L. V., “Letopisets Daniila Galitskogo,” *Istoricheskie zapiski*, 12, 1941, 228–253.

Gorsky A., “O titule ‘tsar’ v srednevekovoi Rusi (do serediny XVI v.),” in: *Odissei. Chelovek v istorii*, 1996, Moscow, 1996, 11–12.

Kotliar N. F., “Kommentarii,” in: Idem, V. Yu. Franchuk, A. G. Plakhonin, eds., *Galitsko-Volynskaia letopis'. Tekst. Kommentarii. Issledovanie*, St. Petersburg, 2005, 177–368.

Likhacheva O. P., transl., comment., “Galitsko-Volynskaia letopis',” in: D. S. Likhachev, L. A. Dmitriev, A. A. Alekseev, N. V. Ponyrko, eds., *Biblioteka literatury Drevnei Rusi*, 5: XIII vek, St. Petersburg, 1997, 184–357, 482–515

Malyshev V. I., “Zhitie Aleksandra Nevskogo (Po rukopisi serediny XVI v. Grebenshchikovskoi staroobriadcheskoi obshchiny v g. Rige),” *Trudy Otdela drevnerusskoi literatury*, 5, Moscow, Leningrad, 1947, 185–193.

Orlov A. S., “K voprosu ob Ipat'evskoi letopisi,” *Izvestiia Otdeleniia russkogo iazyka i slovesnosti*, 31, 1926, 93–126.

Pashuto V. T., *Ocherki po istorii Galitsko-Volynskoi Rusi*, Moscow, 1950.

Rizhskii M. I., *Kniga Iova: Iz istorii bibleiskogo teksta*, Novosibirsk, 1991.

Stavyskyi V. I., “On a Possible Source of Some of the Images in the Annalistic Pokhvala to Prince Roman Mstislavich,” *Slověne*, 4/2, 2015, 159–179.

Stavyskyi V. I., “Pesni polovetskie,” *Ruthenica*, 12, 2014, 172–178.

Tolochko A. P., “Pokhvala ili Zhitie? (Mezhdu tekstologiei i ideologii kniazheskikh panegirikov v drevnerusskom letopisanii),” *Paleoslavica*, 7, 1999, 26–38.

Tolochko O. P., “Jak pochynavsja Galyc'ko-Volyns'kyj litopys?,” in: *Kul'turnyj shar: Stat'i na poshanu G. Ju. Ivakina*, Kiev, 2017, 414–422.

Vilkul T. L., *Litopis i hronograf. Studii z domongol'skogo kiivs'kogo litopisannja (=The Chronicle and the Chronograph (text critical studies of pre-Mongol Kievan chronicles and early Rus' chronographs))*, Kiev, 2015.

Vodoff V., “Zamechaniia o znachenii titula ‘tsar’ primenitel'no k russkim kniaz'iam v epokhu do serediny XV veka,” transl. E. E. Babaeva, in: A. F. Litvina, F. B. Uspenskij, eds., *Iz istorii russkoi kul'tury*, 2/1, Moscow, 2002, 543–553.

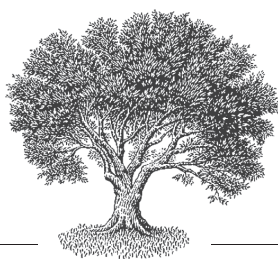
Вадим Ізяславович Стависький, канд. іст. наук

Незалежний дослідник, Київ

Україна/Ukraine

vstav@ukr.net

Received March 15, 2017



# Место Варшавского сборника среди списков Новгородской пятой и Псковской первой летописи\*

**Антон М. Введенский**

С.-Петербургский государственный  
университет  
С.-Петербург, Россия

# The Place of the *Warsaw Miscellany* among the Copies of the Novgorod Fifth and Pskov First Chronicles

**Anton M. Vvedenskiy**

St. Petersburg State University  
St. Petersburg, Russia

## Резюме

В статье рассматривается вопрос о том, является ли Варшавский сборник, содержащий текст Новгородской Пятой и Псковской Первой летописи, оригиналом Свода 1547 года или нет. В статье доказывается, что Варшавский сборник является ранней копией Свода 1547 года.

## Ключевые слова

Новгородская Пятая летопись, Псковская Первая летопись, Варшавский сборник, Свод 1547 года

## Abstract

The article examines the question of whether or not the *Warsaw Miscellany*, containing the text of the Novgorod Fifth and Pskov First Chronicles, was the original of the hypothetical Chronicle of 1547. In 1547 in Pskov, there was created a chronicle which for the first time combined the text of the Novgorod Fifth and Pskov First Chronicles. In the *Warsaw Miscellany*, the text of the Novgorod Fifth Chronicle begins in 1169 and ends in 1446, and the text of the Pskov First Chronicle

---

\* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект № 16-18-10137.



begins in 1447 and ends in 1547. In historiography, there was no certainty as to whether the *Warsaw Miscellany* was a Chronicle of 1547 or a copy from it. The article proves that the *Warsaw Miscellany* is an early copy of the hypothetical Chronicle of 1547. With the help of textual analysis, I try to show the presence of secondary readings in the *Warsaw Miscellany*. The article also provides evidence that other copies of this Chronicle, *Obolensky's* and *Pogodinsky*, have a common proto-graph that goes back to the Chronicle of 1547, bypassing the *Warsaw Miscellany*. The article allows a new look at the relationship between the chronicles containing the text of the Novgorod Fifth and Pskov First Chronicles.

#### Keywords

Novgorod Fifth Chronicle, Pskov First Chronicle, *Warsaw Miscellany*, hypothetical Chronicle of 1547, textual criticism

В своем исследовании псковских летописей А. Н. Насонов посвятил целый раздел группе списков, содержащих, помимо Псковской Первой летописи (далее П1), еще и Новгородскую Пятую летопись (далее Н5) [НАСОНОВ 1941: 29–63]. Таких списков А. Н. Насонов выделил девять. Как показало его исследование, списки Погодинский [Пог.1404a] второй половины XVI в. и Оболенского [Арх.К.252] середины XVII в. являются самыми ранними, а все остальные списки восходят непосредственно к ним [НАСОНОВ 1941: 47–56]. Состав Погодинского и Оболенского сборников несколько разнится. Приведем их состав для удобства в *Таблице 1*.

**Таблица 1. Состав Новгородской Пятой летописи в списках Погодинском и Оболенского**

Погодинский список Н5	Список Н5 Оболенского
л. 1–л. 7об. — Оглавление всей рукописи.	—
л. 8–л. 412об. — Сокращенный вид Русского Хронографа 1512 года.	—
л. 412–л. 412об. — “Царство 17-е в Самории”.	—
л. 412об.–л. 413б. — “Царство 1-е в Вавилоне”.	—
л. 413об.–л. 416об. — “Послание Иоанна Златоустаго, еже посла от заточения, сый от Куска Кирияку епископу”.	—
л. 417 — “Книга, глаголемая летописецъ...” л. 417–л. 418 — Перечень римских императоров	л. 1 — “Книга, глаголемая летописецъ...” л. 1–л. 4об. — Перечень римских императоров

Погодинский список Н5	Список Н5 Оболенского
л. 418–л. 420 — Перечень византийских императоров л. 420–л. 422 — “А се имена всем градом русским. . .” л. 422–422об. — Перечень русских митрополитов л. 422–л. 422об. — Вставка: Поучение митрополита Петра л. 422об.–л. 423об. — Перечень новгородских епископов и архиепископов	л. 4об.–7об. — Перечень византийских императоров л. 8–12об. — “А се имена всем градом руским. . .” л. 12об. — Перечень русских митрополитов л. 13–л. 13об. — Вставка: Поучение митрополита Петра л. 13об.–л. 16об. — Перечень новгородских епископов и архиепископов
л. 423об.–л. 631об. — Новгородская 5-я летопись с начала до 1446 года	л. 16об.–л. 553 об. — Новгородская 5-я летопись с начала до 1446 года
л. 631об.–л. 679об. — Псковская 1-я летопись с 1447 по 1547 г.	л. 553об.–л. 678об. — Псковская 1-я летопись с 1447 по 1547 г.
л. 680–л. 681 — “А се рукописание великого князя Всеволода”	л. 678об.–л. 681об. — “А се рукописание великого князя Всеволода”
л. 681об.–л. 687об. — Послание на Угру	—
л. 688–л. 691 — “Писание о Динаре царевне, дщери царя Олександра. . .”	—
л. 691–л. 692 — “Повесть о цари Козарине и о его царицы”.	—
л. 692–л. 700об. — “Родство великих князей литовскихъ”.	—
л. 700об.–л. 704 — “Царьство 87-е в Константинеградѣ”.	—
л. 704–л. 710 об. — Повесть о Митяе	—
—	л. 681об.–л. 763 — Текст Псковской летописи с 1562 до 1636 г.

Из сопоставительной таблицы становится ясно, что общими произведениями обоих списков (выделены курсивом), являются: 1) различные перечни; 2) текст Н5 до 1446 г.; 3) текст П1 от 1447 до 1547 г.; 4) рукописание князя Всеволода.

Варшавский сборник остался А. Н. Насонову неизвестен. Этот сборник хранится в столице Польши, в Отделе рукописей Национальной библиотеки [BOZ, *cit.*78]. Впервые он был описан А. И. Роговым [1969: 153–154], а впоследствии Я. Н. Щаповым [1976: 19–22]. Датируется сборник по входной записи на первом листе рукописи<sup>1</sup> 1548-м годом и является

<sup>1</sup> “Благодатию и милостию Пресвятыя живоначальныя Троица и помощью и заступлением Пресвятыя Богородицы написана бысть книга сия во преименитом богоспасаемом граде Пскове в соборную и божественную церковь Пресвятыя

самым ранним списком, содержащим объединенный текст Н5 и П1. Из входной записи мы узнаем, что он был написан в Пскове. Также из двух одинаковых приписок, сделанных на двух языках — на старобелорусском и польском, — известно, что Варшавский сборник был взят поляками в августе 1579 г. из Софийского собора в Полоцке после захвата города [BOZ, *сm.* 78, л. 460об.–л. 461].

Состав сборника следующий, и отличается Варшавский сборник от Погодинского и Оболенского списков тем, что он начинается не с перечней, а сразу со статьи 1169 года:

- 1) л. 2–л. 325об. — текст Н5 с 1169 по 1446 г.;
- 2) л. 325об.–л. 457об. — текст П1 1447 по 1547 г.;
- 3) л. 457об.–л. 460об. — “А се рукописание великого князя Всеволода”.

Задача нашей работы состояла в том, чтобы прояснить отношения между этими тремя сборниками.

Текст Варшавского сборника очень близок к тексту списков Погодинского и Оболенского. В этих трех сборниках тексты Н5 и П1 во многих годовых статьях сохранились с общими лакунами. Эти наблюдения и позволили А. Н. Насонову отнести Погодинский и Оболенского к особому виду Н5 и П1.

К более ранним и более полным спискам Н5 относятся Хронографический список этой летописи, датируемый пер. пол. XV в. (издан в [ПСРЛ 4]), и Летопись Авраамки в разделе от 1309 до 1446 г. (издана в [ПСРЛ 16]), которая также содержит более ранний вариант текста Н5, нежели списки Варшавский, Погодинский и Оболенского.

Другими списками П1 являются Тихановский пер. пол. XVII в. (далее Тих.), который, однако, отражает древний оригинал псковской летописи XV в., и Архивский первый список кон. XVI в. (далее Арх.), изданные в [ПСРЛ 5]. Текст в Тих. доведен до 1469 г., а в Арх. до 1481 г. Насонов в своем исследовании показал, что текст Погодинского ближе к тексту Арх., чем к Тих. [Насонов 1941: 53]. Текст П1, содержащийся в Тих. и Арх., в большинстве случаев первичен по отношению к тексту, который содержится в интересующих нас сборниках.

Кроме того, А. Н. Насонов доказал, что Погодинский список или список с него не является прямым источником Оболенского [Насонов 1941: 48]. Следовательно, текст списков Погодинского и Оболенского восходит к какому-то общему протографу, возможно, через посредство промежуточных списков, а возможно, и напрямую.

В своей статье для “Словаря книжников и книжности Древней Руси” В. И. Охотникова предположила, что Варшавский список является

---

и неразделимая Троица лета 7056 повелением собора Пресвятыя Троица священников и диаконов Клементия с братиею” [BOZ, *сm.* 78, л. 1].

оригиналом свода 1547 года [Охотникова 1989: 28]. В предисловии к переизданию псковских летописей Б. М. Клосс отметил, что Варшавский сборник “является либо оригиналом свода [1547 года. — А. В.], либо списком, очень близко отстоящим от времени его создания” [Клосс 2003: 5].

Чтобы позиционировать Варшавский сборник как оригинал свода 1547 года, а также как непосредственный источник двух других интересующих нас списков, следует для начала предположить, что Варшавский сборник был более полным по составу и начинался, как и список Оболенского, с перечней императоров, епископов и архиепископов. На данный момент, правда, у нас нет аргументов за или против этой версии, однако остановимся на этом предположении, так как в процессе хранения рукописи Варшавского сборника могли быть утеряны тетради, содержащие текст до 1169 г.

Обратимся к вопросу, может ли Варшавский сборник быть непосредственным источником текстов Погодинского и Оболенского списков. В списках Погодинском и Оболенского отсутствуют годовые статьи 1474, 1477 и часть текста за 1478 г., которые читаются в Варшавском<sup>2</sup>. Можно было бы считать, что составители Погодинского и Оболенского списков не сговариваясь пропустили именно эти годовые статьи, однако, помимо этих пропусков, в Погодинском и списке Оболенского встречаются общие чтения, нетождественные Варшавскому<sup>3</sup>.

Приведем несколько примеров, сведенных для удобства в *Таблицу 2* (общие чтения выделены курсивом)<sup>4</sup>.

*Таблица 2. Общие чтения Оболенского и Погодинского списков*

Варшавский	Погодинский	Оболенского
<b>6677/1169</b> Не хотяху прияти град и разорити и сродных собе человѣкъ и единовѣрных предати напраснои смерти [л. 2об.].	<b>6677/1169</b> Не хотяшу <i>предати</i> град и разорити и сродных собѣ человѣкъ и единовѣрных предати напраснеи смерти [л. 510].	<b>6677/1169</b> Не хотящу <i>предати</i> градъ и разорити и сродных себѣ человѣкъ единовѣрныхъ предати напраснеи смерти [л. 243].
<b>6981/1473</b> А псковичи сустрѣкли еа в оскуях на Измѣны, и с конца по ускую [л. 349об.].	<b>6981/1473</b> А псковичи сустрѣкали еа в оскуях на Измѣны, и с конца <i>по оскую</i> [л. 641об.].	<b>6981/1473</b> А псковичи сустрѣкали ея въ оскуяхъ на Измены, и с конца <i>по оскую</i> [л. 580].

<sup>2</sup> Это отмечал еще А. И. Рогов [1969: 154].

<sup>3</sup> Пропуск этих статей и в списке Оболенского, и в Погодинском свидетельствует о том, что они были пропущены в общем протографе Оболенского и Погодинского списков.

<sup>4</sup> В данной и последующих таблицах примеры из всех трех списков (Погодинского, Оболенского и Варшавского) приведены по указанным выше рукописям с указанием соответствующих листов.

Варшавский	Погодинский	Оболенского
<b>6986/1478</b> Того ж лѣта, мѣсяца ноября въ 26, князь великий Иван Василиевич прислал своего гонца Василиа Дятлева подымать псковичъ на Великий Новгород [л. 354об.].	<b>6986/1478</b> Того ж лѣта, мѣсяца ноября въ 23, князь великий Иван Василевич прислал своего гонца Василиа Дятлева подымать пскович на Великий Новгород [л. 642].	<b>6986/1478</b> Того ж лѣта, мѣсяца ноября въ 23 день, князь великий Иванъ Василевич прислал своего гонца Василя Дятлева подымать псковичъ на Великий Новъгород [л. 581].
<b>6986/1478</b> А владыка многажды челом биша: “жалуи, государь великий, свою отчину держи по старинѣ” [л. 353].	<b>6986/1478</b> А владыка многажды челом биша: “ <i>пожалуи</i> , государь <i>князь</i> великий, свою <i>вотчину</i> держи по старине” [л. 642об.].	<b>6986/1478</b> А владыка многажды челом биша: “ <i>пожалуи</i> , государь <i>князь</i> великий, свою <i>вотчину</i> держи по старинѣ” [л. 582об.].

При желании количество таких примеров можно увеличить.

Общие чтения Погодинского и Оболенского списков, отличающиеся от чтений Варшавского, а также их — Погодинского и Оболенского — совместные пропуски не позволяют напрямую возвести эти списки к рукописи, хранящейся в Варшаве.

Теперь перейдем к вопросу, которым задавался Б. М. Клосс: является ли Варшавский сборник оригиналом свода 1547 года?

Варшавский сборник может являться оригиналом свода 1547 года в том случае, если в первом отсутствуют вторичные чтения и пропуски, для выявления которых следует использовать другие тексты, содержащие более ранний текст П1 (Тих. и Арх.). Сходные фрагменты Тих., Арх., Погодинского и Оболенского списков, которые отличаются от чтений Варшавского сборника, будут являться первичными. Приведем несколько примеров в *Таблице 3*<sup>5</sup>.

Для подтверждения того факта, что Варшавский сборник не является оригиналом свода 1547 года, показательными будут также наличие пропусков годовых статей в первом. К примеру, в нем нет статьи 6966/1458 г., которая читается в списках Погодинском и Оболенского, в Тих. и Арх.

Приведенные примеры можно, конечно, истолковать и в ином ключе: общий протограф списков Погодинского и Оболенского правился по летописи, близкой к тексту Тих. и/или Арх. Однако такое предположение

<sup>5</sup> Так как текст Арх. ближе к текстам интересующих нас сборников, нежели Тих., то в большинстве случаев цитаты даются по Арх. В случае, если текст приведен по Тих., это обозначается дополнительно. Текст Тих. и Арх. приведен по изданию [ПСРЛ 5].



Таблица 3. Сходные фрагменты из свода 1547 года в разных списках

Варшавский	Погодинский	Оболенского	Тих./Арх.
<b>6957/1449</b> Приѣха господинъ пресвященнии архиепископъ Великого Новагорода и Пскова владыка Еуфимей в домъ святыя Троица, во град псковской [л. 326об.].	<b>6957/1449</b> Приѣха господинъ преосвященнии архиепископъ Великого Новагорода и Пскова владыка Еуфимей в домъ святыя Троица во град <i>Псковъ</i> [л. 632].	<b>6957/1449</b> Приеха господинъ пресвященнии архиепископъ Великаго Новаграда владыка и Пскова Еуфимей в домъ святыя Троица во град <i>Псковъ</i> [л. 554об.–л. 555].	<b>6957/1449</b> (Тих.) Приѣха преосвященнии архиепископ Великаго Новаграда владыка Еуфимии в домъ святыя Троица во град <i>Псковъ</i> [с. 49] (Арх – а во граде Псковъ).
<b>6963/1455</b> Посадники псковский и псковичи били челом много, чтобы осѣнѣлся [л. 328об.].	<b>6963/1455</b> Посадники псковский и псковичи били челом много, чтоб <i>оселся</i> [л. 633].	<b>6963/1455</b> Посадники псковский и псковичи били челом много, чтоб <i>оселся</i> [л. 557].	<b>6963/1455</b> Посадники псковский и псковичи били челом чтобы <i>остълся</i> [с. 52].
<b>6964/1456</b> И инѣх многих людеи добрых побиша много, а князя Василей сам третеи убежал в Великий Новгород [л. 329об.].	<b>6964/1456</b> И иных многих людеи добрых побиша много <i>а</i> <i>Михаила Тучю</i> <i>руками</i> поимаша а князь Василей самѣ треть убежал в Великий Новгород [л. 633об.].	<b>6964/1456</b> И инѣх многих людеи добрых побиша много, <i>а Михаила Тучю</i> <i>руками</i> поимаша, князь Василей самѣ третеи убежал в Великий Новгород [л. 558].	<b>6964/1456</b> И иных добрых людеи побиша неколько, <i>а</i> <i>Михаила Тучю</i> <i>руками</i> изымаша, князь Василей сам третеи убѣжа в Великий Новгород [с. 53].

создает дополнительные трудности. К примеру, почему, несмотря на такую правку, текст списков Погодинского и Оболенского ближе к Варшавскому сборнику, нежели к другим спискам П1?

Если же все-таки видеть правку в общем протографе списков Погодинского и Оболенского, то это никак не объясняет лакуны Варшавского сборника на участке после 1471 г., где первоначальный текст П1 представлен именно этими тремя списками<sup>6</sup>.

В статье П1 за 6981/1473 г. после сообщения о визите Софьи Палеолог в Псков в списках Погодинском и Оболенского читается: “Того же времени послаша псковичи своего гонца Василья Бешеного к великому князю князя просити во Псков” [ПСРЛ 5: 74]. В Варшавском сборнике

<sup>6</sup> Все остальные списки восходят к списку Погодинскому и/или Оболенского.

этой фразы нет, равно как и под 6993/1485 г. в описании псковского посольства к Ивану III пропущены имена Зиновия Сидоровича и Андрея Ивановича. Их фиксирует лишь Погодинский список и список Оболенского [ПСРЛ 5: 80]. Можно предполагать, что эти дополнения внесены составителем общего протографа списков Погодинского и Оболенского из какого-то дополнительного источника, а в своде 1547 года они не читались. Однако такая гипотеза выглядит громоздкой и перегруженной, ведь она заставляет постулировать дополнительные источники, наличие которых никак не обосновано.

Последний вопрос, который не получил должного освещения в нашей статье, — это вопрос о наличии общего протографа списков Погодинского и Оболенского. Наличие такого протографа, не совпадающего с оригиналом свода 1547 года, можно доказать не только уже отмеченными пропусками годовых статей 1474, 1477 и части текста за 1478 г. в списках Погодинском и Оболенском, но и другими общими пропусками и общими вторичными чтениями этих сборников (см. *Таблицу 4*).

*Таблица 4. Различия чтений из свода 1547 года в списках*

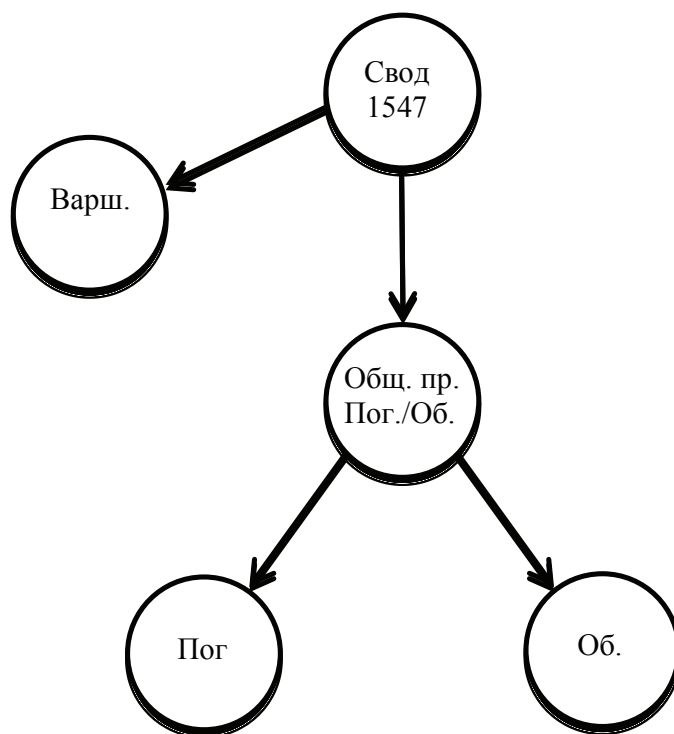
Варшавский	Погодинский	Оболенского	Тих./Арх.
<b>6968/1460</b> Приѣхал посол от Великого Новгорода во Псков, посадник Карпъ Савелевич [л. 332об.].	<b>6968/1460</b> Приѣхал посол от Великого Новгорода во Псков посадникъ Карпъ <i>Васильевичъ</i> [л. 635].	<b>6968/1460</b> Приѣхал посоль от Великого Новгорода во Псков посадникъ Карп <i>Васильевич</i> [л. 561об.–л. 562].	<b>6968/1460</b> Приѣхал посоль от Великого Новгорода во Псковъ посадникъ Карпъ и Савинич [с. 55].
<b>6971/1463</b> Того ж лѣта свершиша церковь камену святых чюдотворецъ Козмы и Дамиана на Запсковьи у Примостья [л. 343].	<b>6971/1463</b> Того же лѣта свершиша церковь камену <i>на</i> <i>Запсковьи Козмы</i> <i>и Демьяна святых</i> <i>чюдотворецъ</i> у Примостья [л. 639].	<b>6971/1463</b> Того ж лѣта свершиша церковь каменну <i>на</i> <i>Запсковьи Козма</i> <i>и Дамьяна святых</i> <i>чюдотворецъ</i> у Примостья [л. 573].	<b>6971/1463</b> Того же лѣта совершиша церковь камену святых чюдотворецъ Козьмы и Дамияна на Запсковьи у Примостья [с. 65].
<b>7023/1515</b> А нынѣ городок на Друи ново поставлен [л. 417].	<b>7023/1515</b> А нынѣ городокъ на другои <i>новои</i> <i>ново</i> поставлен [л. 666].	<b>7023/1515</b> А ныне городок на Друи <i>новои</i> <i>ново</i> поставленъ [л. 644об.–л. 645].	—

На наш взгляд, все вышеизложенные текстологические характеристики интересующих нас летописных сборников приводят к выводу, что

Варшавский сборник не является оригиналом летописи, совместившей текст Н5 и П1 — свода 1547 года.

Нам видится следующая картина появления ранних списков летописей с текстом Н5 и П1 (см. стемму на *Схеме 1*)<sup>7</sup>.

*Схема 1. Соотношение списков свода 1547 года*



В 1547 г. в Пскове был создан оригинал летописи вида Н5+П1, который имел в своем составе перечни, текст Н5 с начала до 1446 г., текст П1 до 1547 г. и Рукописание князя Всеволода. Затем в 1548 г. с него была снята копия (Варшавский сборник), которая, вполне вероятно, могла начинаться с 1169 г. Эта копия то ли еще до 1563 года попала в Полоцк, то ли была отправлена в Полоцк после захвата русской армией этого города в 1563 г., а потом — после возвращения поляков в город — попала в Варшаву, о чем мы узнаем из приписок, читающихся в конце Варшавского сборника. С оригинала 1547 г. была также снята новая копия (Общий протограф). После чего на основании Общего протографа появился текст Погодинского сборника с добавлением других литературных произведений. В XVII в. был создан список Оболенского на основании того же Общего протографа, также с добавлениями.

<sup>7</sup> Сокращения стеммы: Варшавский — Варш.; Оболенского — Об.; Погодинский — Пог.; Общий протограф — Общ. пр.

## Библиография

## Источники

## Рукописи

## Арх.К.252

С.-Петербургский институт истории РАН, Собрание Археографической комиссии, №252, Новгородская Пятая летопись, сер. XVII века.

## Пог.1404а

Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (С.-Петербург), Собрание Погодина, № 1404а, Новгородская Пятая летопись, втор. пол. XVI в.

## BOZ, см.78

Отдел рукописей Национальной Библиотеки Польши (Варшава), Библиотека Ординации Замоиских, № 78, Летописный сборник 1548 г.

## Издания

## ПСРЛ 4

*Полное собрание русских летописей*, 4/2/1, Петроград, 1917.

## — 5

*Полное собрание русских летописей*, 5/1: *Псковские летописи*, Москва, 2003.

## — 16

*Полное собрание русских летописей*, 16: *Летописный сборник, именуемый Летописью Авраамки*, Москва, 2000.

## Литература

## Клосс 2003

Клосс Б. М., “Предисловие к изданию 2003 года”, in: *Полное собрание русских летописей*, 5/1: *Псковские летописи*, Москва, 2003, 5–7.

## Насонов 1941

Насонов А. Н., “О списках псковских летописей”, in: *Псковские летописи*, 1, Москва, Ленинград, 1941, 29–63.

## Охотникова 1989

Охотникова В. И., “Летописи Псковские”, in: *Словарь книжников и книжности Древней Руси*, 2: Вторая половина XIV – XVI в., 2: Л–Я, Ленинград, 1989, 27–30.

## Рогов 1969

Рогов А. И., “Кириллические рукописи в книгохранилищах Польши”, *Studia Źródloznawcze*, 14, 1969, 153–167.

## Щапов 1976

Щапов Я. Н., *Восточнославянские и южнославянские рукописные книги в собраниях Польской Народной Республики*, 1, Москва, 1976.

## References

Kloss B. M., “Predislovie k izdaniuu 2003 goda,” in: *Polnoe sobranie russkikh letopisei*, 5/1, Moscow, 2003, 5–7.

Nasonov A. N., “O spiskakh pskovskikh letopisei,” in: *Pskovskie letopisi*, 1, Moscow, Leningrad, 1941, 29–63.

Okhotnikova V. I., “Letopisi pskovskie,” in: *Slo-*

*var' knizhnikov i knizhnosti Drevnei Rus*, 2/1, Leningrad, 1989, 27–30.

Rogov A. I., “Kirillicheskie rukopisi v knigokhranilishchakh Polshi,” *Studia Źródloznawcze*, 14, 1969, 153–167.

Shchapov Ya. N., *Vostochnoslavianskie i iuzhnoslavianskie rukopisnye knigi v sobraniakh Polskoi Na-*

*rodnoi Respubliki*, 1, Moscow, 1976.

Acknowledgements

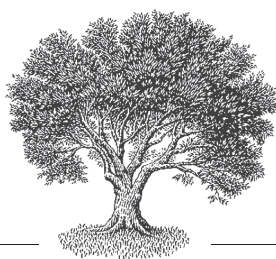
Russian Science Foundation. Project No. 16-18-10137.

---

**Антон Михайлович Введенский**, магистр культурной антропологии  
С.-Петербургский государственный университет, Институт истории,  
научный сотрудник  
199034 С.-Петербург, Менделеевская линия, д. 5  
Россия/Russia  
3103104@mail.ru

Received June 1, 2017





Иностранные  
известия о казни  
Степана Разина.  
Новые документы  
из стокгольмского  
архива\*

**Глеб Маратович Казаков**

Университет Альберта-Людвига  
во Фрайбурге  
Фрайбург-им-Брайсгау, Германия

**Ингрид Майер**

Уппсальский университет  
Уппсала, Швеция

Foreign Reports  
about Stepan Razin's  
Execution. New  
Documents from the  
Stockholm Archive

**Gleb M. Kazakov**

Albert-Ludwigs University of  
Freiburg  
Freiburg i. Br., Germany

**Ingrid Maier**

Uppsala University  
Uppsala, Sweden

Резюме

В статье анализируются сообщения западноевропейских источников о казни Степана Разина. При этом в центре внимания находятся обнаруженные в стокгольмском Государственном архиве и до настоящего времени не введенные в научный оборот донесения шведского купца в Москве Кристофа Коха, отправленные им в мае–июне 1671 г. в Нарву, откуда они пересылались, в частности, в шведскую столицу. В статье приводится полный русский перевод двух длинных писем Коха, посвященных поимке, допросу и казни Разина, с нашими комментариями. Особое внимание уделено уникальному раскрашенному рисунку, изображающему плененных Степана и Фрола

\* Статья подготовлена при финансовой поддержке Юбилейного фонда Шведского государственного банка (Riksbankens jubileumsfond; номер проекта — RFP12-0055:1). Авторы сердечно благодарят А. В. Лаврентьева (Москва) и Д. Уо (Сиэтл) за помощь и ценные комментарии на начальном этапе работы, а также В. Б. Крысько (Москва), который отредактировал последнюю версию.

Разиных и части тела казненного Степана. Из документов следует, что рисунок был отправлен из Москвы ингерманландскому губернатору в Нарве, а оттуда дальше в Стокгольм, вместе с двумя донесениями Коха. Авторы приходят к выводу, что подобных рисунков в Москве было сделано несколько, и что они специально распространялись среди иностранцев. По всей вероятности, только один экземпляр сохранился до наших дней, а именно в Стокгольме. Приводятся аргументы в пользу предположения, что один из рисунков оказался в Англии и там послужил прототипом для известной гравюры 1672 г., изображающей братьев Разиных в момент доставки в Москву. В рамках исследования также проведено подробное сопоставление информации, сообщаемой в донесениях Коха, с рассказами о смерти Разина, опубликованными в западноевропейских газетах, брошюрах и книгах 1670-х гг. Такое сопоставление позволяет заключить, что сведения о казни главы восстания попадали в европейскую печать от нескольких информантов — свидетелей событий, причем эти рассказы со временем начинали обрастать вымышленными деталями.

#### Ключевые слова

Степан Разин, казнь, донесения шведских агентов, гравюра, немецкие газеты XVII в.

#### Abstract

This paper analyzes reports written by foreign authors about the execution of Stepan Razin. The main focus is on two dispatches written by the Swedish citizen and merchant in Moscow, Christoff Koch, in May–June 1671 and sent to Narva, and from there, they were forwarded to the Swedish capital, among other places. They are now kept at the State Archives in Stockholm, and they have not been discussed previously in the scholarly literature. The paper contains the full translation into Russian of two long reports written by Koch about Razin's capture, delivery to Moscow, interrogation, and execution, with our comments. Special attention is given to a unique colored drawing, showing the brothers, Stepan and Frol Razin, as well as the body parts of the executed Stepan. From the written documents it becomes clear that the drawing was sent from Moscow to the governor of Swedish Ingria in Narva, and then forwarded to Stockholm, together with the two Koch dispatches. The authors come to the conclusion that several copies must have been made and that they were intentionally distributed among foreigners in Moscow. Most probably only one copy has survived to our days, the one in Stockholm. Arguments are given for the hypothesis that one copy of the drawing ended up in England and served as the prototype for the well-known imprint of 1672, which shows the Razin brothers when they were being delivered to Moscow. In our study we also compare the information given by Koch with descriptions of Razin's death that were published in West-European newspapers, pamphlets, and books during the 1670s. This comparison brings us to the conclusion that the information about the execution of the leader of the rebellion reached the European press from several witnesses to the events, and that, over time, the original information was filled out with invented details.

#### Keywords

Stepan Razin, execution, reports of Swedish agents, etching, 17th-century German newspapers

## I. Казнь Разина в западноевропейских источниках

События восстания под руководством казацкого атамана Степана Тимофеевича Разина, которое охватило в 1670–1671 гг. Поволжье и Подонье, были хорошо освещены современниками, причем не только и даже не столько русскими очевидцами перипетий мятежа, сколько иностранными авторами. Изучение и издание сведений иностранных, прежде всего западноевропейских, источников о восстании Разина началось еще в конце XVIII столетия<sup>1</sup>, было продолжено российскими историками XIX в. [Попов 1857] и особенно интенсивно проводилось советскими историками второй половины XX в. [Буганов 1995; Маньков 1968; ИДЕМ 1975; Соловьев 1991]. Опираясь на проделанную работу, сегодня можно с уверенностью констатировать, что восстание Разина подробно освещалось в европейской публицистике 1670-х гг., причем рассматривалось оно как в отдельно опубликованных записках современников и очевидцев, так и в прессе, прежде всего в немецких и голландских газетах<sup>2</sup>. Согласно исследованию немецкого историка М. Вельке, в период между сентябрем 1670 г. и августом 1671 г. среди всех изученных им немецкоязычных газет в каждом третьем или четвертом выпуске повествовалось о восстании Разина [Welke 1976: 203]. При этом необходимо отметить, что новости о мятеже публиковались в западноевропейской прессе, естественно, с задержкой — обычно период от отправления новостей из Москвы до их газетной публикации занимал от пяти до шести недель<sup>3</sup>. Более того, пик интереса к восстанию в Западной Европе пришелся на период с осени 1670 г. по весну 1671 г., т. е. на время, когда основные успехи Разина (взятие Астрахани, Саратова и Самары) были уже позади. Однако и после казни главаря восставших в Москве 6 июня 1671 г. в европейских газетах вплоть до февраля 1672 г. продолжали публиковаться сообщения о борьбе царского правительства с очагами сопротивления. В 1674 г. в Виттенберге даже была опубликована докторская диссертация о Разине (ее автором был Иоганн Мерц<sup>4</sup>). Книги, содержащие, в частности, информацию о восстании, выходили в Западной Европе и позднее. Так, в 1676 г. в Амстердаме были изданы “Три

<sup>1</sup> Так, А. П. Сумароков при создании своей “Сокращенной повести о Стеньке Разине” во многом опирался на сведения западноевропейских памфлетов 1670-х гг.; см. [Сумароков 1774].

<sup>2</sup> Конкретно об упоминании восстания Разина в немецкоязычных газетах см. [Welke 1976: 203–204; Maier 2017].

<sup>3</sup> Впрочем, любая задержка почты, связанная с погодными условиями или иными трудностями пути, могла существенно увеличить данный срок. В частности, сообщения о подробностях восстания Разина порой выходили в Европе с опозданием в два месяца и более.

<sup>4</sup> Латинский текст оригинала диссертации Мерца, а также его русский перевод см. [Маньков 1975: 31–79].

путешествия” Яна Стрейса<sup>5</sup>, год спустя — книга БАЛЬТАЗААРА КОЙЭТТА [1900]. В том же 1677 г. вышел десятый том исторической хроники “Theatrum Europaeum” (“Европейский театр”), содержащий на нескольких страницах пространный рассказ о восстании и гибели его предводителя<sup>6</sup>. Наконец, в 1680 г. в Падуе были изданы на латинском языке “Сказания о Московии” Якова Рейтенфельса (= Раутенфельса<sup>7</sup>).

Одним из наиболее детально описанных западноевропейскими авторами событий разинщины стала казнь предводителя восставших. Исследователю немецкоязычной периодической прессы Мартину Вельке был известен 21 газетный выпуск, затрагивающий подробности казни [WELKE 1976: 204]. О смерти Разина рассказывали также все вышеперечисленные авторы крупных публикаций. Не обошли стороной данное событие и брошюры, одна из которых, известная в русском переводе под заглавием “Сообщение касательно подробностей мятежа”, была опубликована примерно с одним и тем же содержанием на четырех языках — сначала, в 1671 г., на нидерландском и немецком, а в следующем году также на английском и французском<sup>8</sup>. Идентифицировать автора “Сообщения” до сих пор не удалось. О нем мы знаем всего лишь то, что он сочинял (или по крайней мере закончил) свой рассказ, будучи в Архангельске на борту корабля “Царица Есфирь” — эта информация содержится в печатной брошюре<sup>9</sup>. Известно также, что голландский торговый

<sup>5</sup> См. русский перевод в издании [СТРЕЙС 1935].

<sup>6</sup> В том же томе помещен и фантастический портрет Разина, его репринтное издание см. [РОВИНСКИЙ 1891: 447].

<sup>7</sup> Русский перевод в издании [РЕЙТЕНФЕЛЬС 1997]. Автор “Сказаний. . .” в историографии известен под фамилией Рейтенфельс (в латинском оригинале — Reutenfels), но в исторических документах его фамилия фигурирует как Раутенфельс (Rautenfels); см. подробнее [ДЖЕНСЕН, МАЙЕР 2016: 17–21]. Мы будем ссылаться на его книгу по принятой в России форме фамилии Рейтенфельс, а историческую личность будем называть Раутенфельс.

<sup>8</sup> Сокращенные названия брошюры на всех четырех языках (но не без ошибок) см. [МАНЬКОВ 1968: 84, прим. 3–4]. Французская версия является переводом английской (согласно информации на обложке брошюры); о взаимоотношении изданий на трех германских языках см. [ГОЛЬДБЕРГ 1968], с приведением нескольких разночтений между ними. Текст анонимного автора наиболее известен под английским заглавием “A Relation Concerning the Particulars of the Rebellion Lately raised in Muscovy by Stenko Razin. . .” (здесь и далее — “Сообщение касательно подробностей мятежа”). Именно английская версия и перевод с нее на русский язык опубликованы в издании [МАНЬКОВ 1968: 91–119]. Нидерландская брошюра “Kort waerachtigh Verhael, Van de bloedige Rebelye in Moscovien. . .” (1671), напечатанная в Гарлеме П. Кастелейном, издателем гарлемской газеты “Oprechte Haerlemse Courant”, ныне доступна онлайн (экземпляр амстердамской университетской библиотеки на сайте books.google.com). Другой экземпляр принадлежит Королевской библиотеке в Гааге (KB Pfl9875); оба экземпляра относятся к одному и тому же изданию.

<sup>9</sup> В английской брошюре в конце рассказа о казни (перед текстом “приговора” Разину) написано так: “Arch-Angle, Sept. 13/23. 1671. On Board of the Ship, the Queen Esther” (В оригинале с. 18; ср. также [МАНЬКОВ 1968: 101]).

корабль “Царица Есфирь” (официальное его название в 1670-е годы — “De Coninginne Hester”) курсировал между Амстердамом и Архангельском по крайней мере с 1669 по 1676 год<sup>10</sup>. Поскольку А. Гольдберг привел весьма убедительные аргументы в пользу того, что первоначальный текст был написан на нидерландском языке<sup>11</sup>, искать автора надо скорее среди голландцев, живших в Москве и имевших тесный контакт с властями, — ведь в его распоряжение попал текст зачитанного перед казнью “приговора” Разину, перевод которого затем вошел в состав той же брошюры.

Хорошо известно, что при казни присутствовали и даже имели возможность стоять близко к эшафоту многие находившиеся в Москве иностранцы. Например, подробнейшее описание ввоза плененного Разина в город (и чуть менее подробное — самой казни)<sup>12</sup>, содержащееся в письме английского купца Томаса Хебдона из Москвы в Ригу, позволяет с большой долей вероятности заключить, что он был одним из иностранных очевидцев. Несколько сложнее обстоят дела с Яковом Раутенфельсом и Иоганном Мерцем. Оба автора тоже находились в Москве в 1671 г. и, таким образом, вполне могли быть очевидцами казни. Однако, поскольку их книги были написаны спустя несколько лет после событий, не представляется возможным с абсолютной точностью сказать, основаны ли их описания на личных наблюдениях или заимствованы у других авторов. Кроме того, в том же 1671 г. вышла еще одна анонимная брошюра (на немецком языке), рассказывающая о смерти Разина, — “Umständiger Bericht Von deß großen Rebellen wider Moßkau Stephan Razins Hinrichtung. . .” (“Подробное донесение о казни великого мятежника против Москвы Степана Разина”). Об этой малоизвестной брошюре мы напишем подробнее ниже (см. раздел V, особенно прим. № 63).

До сих пор иногда в исследовательской литературе и публицистике встречается утверждения, согласно которым Разина казнили на Болотной площади, хотя еще в 1932 г. М. Н. Сменцовский привел убедительные доводы в пользу Красной площади [Сменцовский 1932]<sup>13</sup>.

<sup>10</sup> Цитируемые документы хранятся в городском архиве Амстердама (Stadsarchief Amsterdam, Notariële akten). Они доступны онлайн в базе данных, созданной Р. де Буком (De Buck: Amsterdamse notariële akten over de Archangelvaart 1594–1724 (<http://www.historici.nl>; последнее обращение: 07.10.2016), № 1314 (для 1669 г.), № 3627 (для 1676 г.)).

<sup>11</sup> См. [Гольдберг 1968: 158]: “. . . следует полагать, что протограф был написан по-голландски”.

<sup>12</sup> Письмо Хебдона из Москвы английскому купцу в Риге Ричарду Даниэлю хранится в Национальном архиве в Лондоне (State Papers 91–3, f. 202). Оно опубликовано, в частности, в издании [Маньков 1968: 129–131].

<sup>13</sup> Ср., например, упоминание о казни Разина “на Болоте” в монографии [Анисимов 1999: 535].



Впоследствии М. Я. Попов во многом повторил аргументы Сменцовского [Попов 1961]. Сами иностранцы — очевидцы события привели в своих описаниях довольно точные ориентиры, позволяющие судить о месте казни. Так, Томас Хебдон в своем письме упоминает о “плахе на площади перед крепостью” [Маньков 1968: 130]<sup>14</sup> (в последней опознается Кремль); о крепости или замке пишет и анонимный автор брошюры “Сообщение касательно подробностей мятежа”. Он же указывает, что Разин перед смертью перекрестился на церковь “Пречистой Богородицы Казанской” [ibid.: 114], т. е. Казанский собор. Известны также показания русского очевидца, стряпчего Акинфия Горяинова: “А на Красной площади изготовлены ямы и колы вострены” [Сменцовский 1932: 129]. На Болотную площадь — точнее, просто за реку на “Болото” — были перенесены лишь отрубленные и выставленные на кольях части тела Разина (руки, ноги и голова), где их еще пять лет спустя, в 1676 г., видели голландский посол Кунраад ван Кленк и его секретарь Бальтазар Койэтт [1900: 446]. Оставшееся туловище бунтовщика было, согласно сообщениям очевидцев, брошено на корм собакам.

Нужно отметить, что в источниках казнь Разина обычно описывалась вместе с процессом его доставки в Москву за четыре дня до исполнения смертного приговора, то есть свидетели объединили эти два публичных события. При этом все авторы в общих чертах сходились в своих описаниях: упоминается ввоз Разина в столицу на влекомой лошадьми телеге, прикованного или привязанного за руки и шею к установленной на этой телеге виселице/перекладине; при этом младший брат Степана, Фрол Разин, шел за телегой, также прикованный к ней. Данный эпизод упоминают Раутенфельс, Койэтт, Мерц, Хебдон, автор “Сообщения касательно подробностей мятежа”, немецкая брошюра “Umständiger Bericht”, а также ряд “ярмарочных известий”<sup>15</sup> и хроник типа “Theatrum Europaeum” или “Hollandse Mercurius”. Более того, до нас дошло изображение доставки плененного Разина в Москву (илл. 1). Эта гравюра хорошо известна, во многом благодаря тому, что в ее правом верхнем углу немного отдельно помещен плечевой портрет самого Степана Разина. Гравюра неоднократно воспроизводилась в качестве

<sup>14</sup> Здесь и далее, цитируя документы, уже ранее опубликованные на русском, мы используем переводы наших предшественников (и ссылаемся на их издания); переводы же документов, впервые вводимых в научный оборот на русском языке, выполнены авторами статьи.

<sup>15</sup> Под ярмарочными известиями (нем. “Messrelationen”) мы понимаем исторические ретроспективные обзоры, издававшиеся раз или два в год и захватывающие период от одной ярмарки до следующей. Об этой разновидности периодических изданий см. новейшую фундаментальную монографию [Körver 2016]. Ярмарочные известия следует отличать от газет, выходивших в интересующий нас период как минимум еженедельно.



Илл. 1. Ввоз пленных Степана и Фрола Разиных в Москву. Английская гравюра на меди. Лондон, 1672. © RB 63351, The Huntington Library and Art Gallery, San Marino, California.

иллюстрации в книгах, посвященных истории разинского восстания [МАНЬКОВ 1968: 94; СМЕНЦОВСКИЙ 1932: 136; СОЛОВЬЕВ 1991: 127; ШВЕЦОВА 1962: 5]<sup>16</sup>. Ее оригинал был напечатан в Лондоне в 1672 г. вместе с уже упомянутой английской брошюрой “Сообщение касательно подробностей мятежа”, два экземпляра которой хранятся сегодня в Британской библиотеке в Лондоне<sup>17</sup>. Гравюра при одном из этих экземпляров<sup>18</sup> представляет собой лист большого формата, размером 295x184 мм, сложенный втрое, чтобы уместить его в одном переплете с брошюрой в четвертую долю листа (180x130 мм). Очевидно, гравюра являлась вкладкой-иллюстрацией к брошюре, а не вклейкой в составе самой брошюры, и, как любая вкладка, она могла обрести историю распространения и бытования отдельно от брошюры<sup>19</sup>.

<sup>16</sup> Кроме того, в книге [МАНЬКОВ 1975] данный портрет изображен на обложке (впрочем, без указания на источник).

<sup>17</sup> Еще один, третий известный нам экземпляр, принадлежит Библиотеке им. Хантингтона в Сан-Марино, США, фотографией с которого мы пользуемся в илл. 1, с благодарностью за разрешение к публикации.

<sup>18</sup> Шифр хранения: b.32.g.42.

<sup>19</sup> Так, второй экземпляр брошюры в Британской библиотеке помещен в составе конволюта с памфлетами различного содержания (шифр: C.194.a.635(16)), причем гравюра здесь расположена не перед “Сообщением касательно подробностей мятежа”, а перед *иной* брошюрой — “A Narrative Of the greatest Victory Known in the





Илл. 2. Привоз в Москву на телеге братьев Разиных. Ян Лёйкен (Jan Luyken). Офорт. Из книги: Gottfried, Johann Ludwig, *Omstandigh vervolg op Joh. Lodew. Gottfrieds Historische kronyck, of algemeene historische gedenk-boeken der voornaemste uytgeleesenste weereldlycke en kercklycke geschiedenissen*. . . , dl. II, Leiden, 1700. © Rijksmuseum, Amsterdam.

Описание ввоза закованного главы бунтовщиков на телеге в Москву оказалось настолько ярким и запоминающимся, что данная сцена выбиралась в качестве сюжета для иллюстраций в Западной Европе и далее. Так, именно она воспроизводилась в обзорных исторических работах, изданных на рубеже XVII–XVIII вв. и вкратце касающихся восстания

memory of man” (“Повествование о величайшей на памяти человечества победе”; см. [Маньков 1975: 5–14]), основанной на письме английского фактора (т. е. коммерческого представителя) из Москвы его хозяину от 15 февраля 1671 г. и повествующей о разгроме армии Разина князем Барятинским, но, естественно, не о пленении или казни Разина. Т. е. коллекционер-компилятор (или же сотрудник библиотеки) решил собрать вместе три печатных издания о Разине — две брошюры и гравюру. Он собрал их не по хронологическому принципу (тогда на первом месте должен был быть стоять памфлет 1671 г., напечатанный, очевидно, еще до казни Разина), а отдал первое место гравюре. Из этого обстоятельства следует недвусмысленно, что гравюра не была скреплена с “Сообщением”. Ни в коем случае не прав А. Г. Маньков, указавший в подписи под копией гравюры, что она “из кн. «Сообщение», изд. 1672 г.” [Маньков 1968: 94]. Представляется, что советский историк не был знаком ни с одним из по меньшей мере трех сохранившихся экземпляров гравюры, видел только факсимильные изображения и не знал, какого она формата.





Илл. 3. Пленный Разин на телеге. Гравюра на меди. Из книги: Imhof, Andreas Lazarus von, Neu-eröffneter Historischer Bilder-Saal, Das ist: Kurtze, deutliche und unpassionirte Beschreibung Der Historiae Universalis. . . , Bd. 5. Nürnberg, 1701. © Bayerische Staatsbibliothek, München.

Разина, — в голландском издании “Исторической хроники” Иоганна Людвига Готфрида [GOTTFRIED 1700: 667–668] (илл. 2) и в книге Андреаса Лазаруса фон Имхофа [IMHOF 1701: 209] (илл. 3). В обоих случаях художники изобразили Степана в момент его наибольшего унижения.

Закономерно возникает вопрос: что именно послужило основой для изображения плененного Разина? В исследовательской литературе специально эта проблема не поднималась; высказывалось лишь на первый взгляд резонное предположение, что английская гравюра была сделана исходя из словесного описания или на основе воспоминаний очевидца событий [СМЕНЦОВСКИЙ 1932: 136; СОЛОВЬЕВ 1991: 53]. Между тем в самой брошюре “Сообщение касательно подробностей мятежа” описание ввоза захваченного Разина в Москву является далеко не самым подробным. К примеру, в ней ничего не сказано о цепях на ногах Стеньки, которые видны на гравюре; не упомянуто количество запряженных в повозку с виселицей лошадей, в то время как на гравюре их изображено три. Примечательно, что о трех лошадях упоминает в своем письме Томас Хебдон: “Помост везли три лошади” [МАНЬКОВ 1968: 130]. Однако

Хебдон в свою очередь пропускает другие мелкие детали, присутствующие на английской гравюре, как, например, поперечную балку, на которую Разин мог опереться, и наоборот, он упоминает цепь на поясе у Стеньки, которой нет на гравюре. Конечно же, и сам факт использования гравером неопубликованного письма частного лица кажется сомнительным. Все это заставляет предположить, что существовал иной источник, повлиявший на изображение, — не словесный, а изобразительный.

## II. Шведский купец в Москве Кристоф Кох

Чтобы ответить на вопрос относительно возможного изобразительного источника о ввозе Разиных в Москву, повлиявшего, в частности, на английскую гравюру, следует обратиться к донесениям, хранящимся в шведском Государственном архиве в Стокгольме. В XVII в. шведские купцы и торговые представители, постоянно жившие в России, более или менее регулярно отправляли письма с новостями своим властям, докладывая обо всем выведенном в российских городах. Потрясения и бунты, коими было богато “бунташное” столетие, безусловно, не могли остаться незамеченными шведскими агентами. Хорошо известны донесения Карла Поммереннинга королеве Кристине о московском соляном бунте в 1648 г.<sup>20</sup> В первой половине 1650-х годов шведским резидентом и торговым представителем в российской столице был Иоганн де Родес<sup>21</sup>. Именно под его протекцией в Москву в 1655 г. в возрасте восемнадцати лет приехал его шурин Кристоф Кох — родившийся в Ревеле немецкоязычный подданный шведской короны<sup>22</sup>. В первую очередь Кох занимался торговыми делами, однако вторым источником его доходов была отправка регулярных донесений шведским властям. Свои донесения, в данный период всегда анонимные<sup>23</sup> и написанные без исключения на немецком языке, Кох отправлял не напрямую в Стокгольм, а в Нарву, генерал-губернатору шведской Ингерманландии Симону Грундель-Хельмфельту, в январе 1671 г. назначившему Коха “своим корреспондентом” в Москве; ингерманландский губернатор уже вместе со

<sup>20</sup> См. донесения от 9 июля и 9 августа 1648 г., опубликованные в русском переводе в работе [Якубов 1897: 417–425].

<sup>21</sup> О донесениях де Родеса из Москвы см. [Курц 1912, Идем 1914; RAUCH 1952; WELKE 1976: 255–264].

<sup>22</sup> Подробнее о биографии Коха см. [DROSTE, MAIER 2018].

<sup>23</sup> Хотя донесения этого периода из Москвы никогда не подписаны, у нас есть веские аргументы в пользу того, что их автором был Кох: во-первых, в это время Кох был чуть ли не единственным поставщиком информации из Москвы, а во-вторых, его авторство можно установить на основе характерных для него языковых черт. В более поздний период Кох подписывал свои донесения; см., например, его письма 1687–1688 гг., опубликованные в русском переводе в [Висковатов 1878].



своими письмами пересылал копии донесений Коха далее, в частности, в столицу, королю Карлу XI<sup>24</sup>. Небезынтересно, как С. Грундель-Хельмфельт охарактеризовал Кристофа Коха в своем письме королю из Нарвы от 13 октября 1670 г.:

. . . А этот Кох — это тот же человек, который добыл для комиссаров В. к. величества при [реке] Плюссе<sup>25</sup> выдержки из инструкций для русской комиссии, а также много раз докладывал о таких делах, которые обычные слуги В. к. величества не были бы в состоянии вывести, что было явным недостатком. Впрочем, он родился в Ревеле, но воспитывался большей частью в России у своего шурина де Родеса<sup>26</sup>; с тех пор он там и живет. Его весьма уважают при царском дворе, и он имеет свободный доступ как в дома господ, так и в приказы, так что он безо всякого подозрения может вникать в разные дела и о том докладывать, ведь он может там бывать, как будто занимаясь своими частными вопросами и без какого-либо официального статуса [*Livonica II*, 179]<sup>27</sup>.

Иногда Кох не только докладывал о своих наблюдениях, но и пересылал официальные российские документы (например, мирные договоры). Исходя из сохранившегося объема корреспонденции, можно заключить, что Кох писал в Нарву раз в неделю; примерно с той же частотой Хельмфельт отправлял донесения Коха из Ингерманландии в Стокгольм. При этом губернатор преимущественно ограничивался короткими сообщениями, ссылаясь на более пространный текст приложений — донесений из Москвы (от Коха), а также (хотя и реже) — от информаторов в Пскове и Новгороде. Сегодня донесения Коха за интересующий нас период находятся в двух единицах хранения шведского Государственного архива в Стокгольме<sup>28</sup>.

<sup>24</sup> Официально письма Хельмфельта адресованы королю Карлу XI, который, однако, был объявлен совершеннолетним и начал самостоятельное правление только в 1672 г. До этого политикой Швеции управлял регентский совет.

<sup>25</sup> Имеются в виду русско-шведские переговоры 1666 г., закончившиеся принятием Плюского дополнительного договора к Кардисскому миру 1661 г. Из этих слов Хельмфельта выходит, что Кох — которого в 1678 г. российские власти обвинили в шпионаже (см. [Шамин 2011: 164–166]) — по крайней мере в 1666 г. действительно занимался разведкой.

<sup>26</sup> Тут Хельмфельт слегка преувеличивает: сам де Родес жил в Москве с 1651 г. до своей смерти 31 декабря 1655 г.; Кох впервые приехал в Москву с де Родесом в 1655 г. (см. [Дженсен, Майер 2016: 100]).

<sup>27</sup> Отсутствует нумерация листов

<sup>28</sup> [*Livonica II*, 180] (письма Хельмфельта шведскому королю с приложениями за 1671–1673 гг., без нумерации листов); [*Bengt Horn samling*, E4304] (письма Хельмфельта Бенгту Горну, губернатору Эстонии в Ревеле с 1656 г., с приложениями, без нумерации листов). Иногда две единицы хранения дополняют друг друга, а в других случаях разные копии одного и того же донесения Коха сохранились в обеих единицах хранения.

Впервые Хельмфельт упоминает восстание Разина в письме Карлу XI от 14 июля 1670 г. и прилагает к собственному письму копии донесений, полученных из Новгорода и Москвы (причем автором последнего, возможно, был не Кох)<sup>29</sup>. За следующий 1671 г. сохранилось большое количество донесений о Разине, присланных в Нарву Кристофом Кохом (и затем переправленных в Стокгольм [*Livonica II*, 180]<sup>30</sup>). В рамках темы настоящей статьи наибольший интерес представляют сообщения о поимке и казни главаря восставших. Так, в письме, отосланном из Нарвы 15 марта 1671 г., Хельмфельт докладывал, что “новости, согласно которым Разин был доставлен в цепях в Москву, не подтвердились”. Как известно также из других источников, московское правительство начало распространять слухи о пленении Стеньки заблаговременно, либо намеренно выдавая желаемое за действительное, либо будучи само дезинформировано противоречивыми донесениями с юга. Известно, что еще 4 января атаман Войска Донского Корнила Яковлев докладывал о попытке захватить Разина, впрочем, неудачной [Швецова 1959: 94–95], а в письме от 5 марта белгородский воевода Григорий Ромодановский даже рапортовал о пленении братьев Разиных казаками Яковлева [ЕАДМ 1962: 29]. Ложность данного известия, однако, вскоре стала очевидной, и на протяжении следующего месяца из Москвы неоднократно высылались новые инструкции о военных мерах против Стеньки. В донесении от 28 февраля Кох красноречиво сообщает об этой намеренной дезинформации: “В течение нескольких дней шла речь о том, будто Стенька Разин пойман и его везут сюда, но эта весть теперь не подтверждается. Оказалось, что те известия были вымышлены, чтобы создать хорошее настроение у царя. . .” [*Bengt Horn samling*, E4304]<sup>31</sup>. 4 апреля Кох извещает губернатора в Нарве, что, согласно слухам, Разин находился в Саратове с крупными силами и даже вел переговоры с турками о передаче им Астрахани (это донесение было переслано Хельмфельтом в Стокгольм 19 апреля, а в Ревель губернатору Бенгту Горну — 21 апреля [*Bengt Horn samling*, E4304]). В своем следующем донесении от 11 апреля, переправленном Хельмфельтом королю 8 мая, Кох сообщает: “Рассказывают, будто бунтовщик объединил свои силы с калмыками, башкирами и запорожскими казаками и движется с крупной силой на Симбирск.

<sup>29</sup> На мысль о том, что данное “московское донесение” могло быть написано кем-то другим, нас наводит письмо Хельмфельта от 13 октября 1670 г., в котором генеральный губернатор сообщает, что Кох “приехал сюда”, т. е. в Нарву, из Москвы, так что не исключено, что Коха не было в Москве уже в июле: “. . . Christopher Kock, ähr derifrån hytkommen. . .”; см.: [*Livonica II*, 179] (без нумерации листов).

<sup>30</sup> Все последующие упомянутые в тексте донесения Коха также относятся к данной единице хранения, если не приводится другая ссылка.

<sup>31</sup> Среди приложений к письмам Хельмфельта королю данное донесение отсутствует.

Барятинский [Borotinskoi] был отправлен туда с подкреплениями, а Петр Васильевич Шереметев [Peter Wasilowitz Scheremetoff] получил приказ отправиться с армией на Дон”.

О состоявшемся 14 апреля пленении Степана Разина Кох написал в письме от 9 мая<sup>32</sup>. Он сообщил, что в Москву

в прошлый четверг приехал гонец от донских казаков с новостью, что бунтовщик Разин пойман донским атаманом по имени Корнила Яковлев [Corneli Jacoblef] и сейчас его привезут сюда как можно скорее. На следующий день, в пятницу, эта новость была подтверждена еще и двумя почтами и оглашена как среди самых знатных людей, так и среди простого народа. А повторится ли еще раз то, что случилось недавно, покажет время. . .<sup>33</sup>

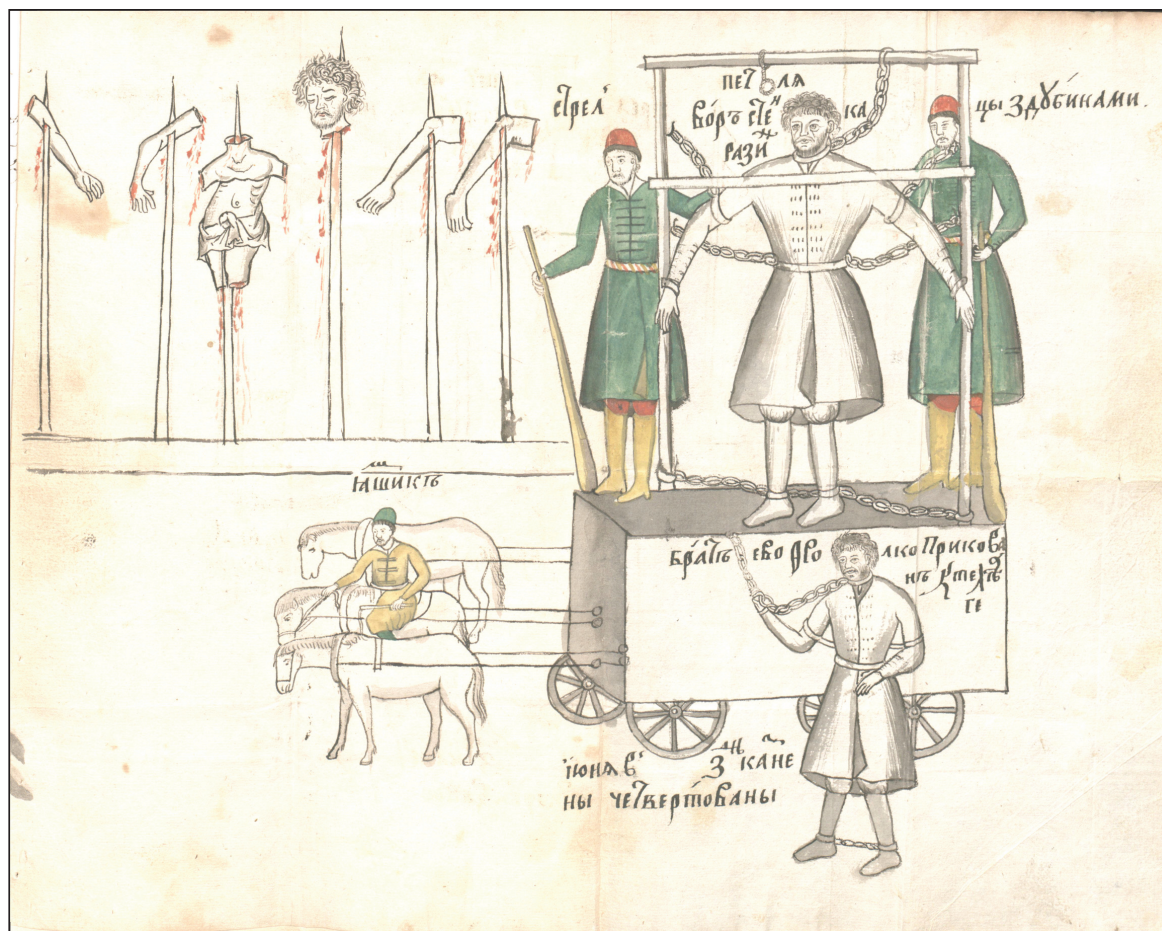
Если учесть, что большинство своих писем шведский купец писал во вторник, то четверг, в который казачий гонец привез радостную для московского правительства весть, должен соответствовать 4 мая. Известно, что уже 5 мая из Москвы в Курск к воеводе Григорию Ромодановскому был послан стольник с похвалой за сообщение о пленении Разина [ШВЕЦОВА 1962: 60]. Как видно из донесения Коха, шведский агент узнал о поимке крайне быстро. О скорости, с которой до него доходили важные новости, красноречиво свидетельствует постскрипtum в том же письме от 9 мая: “Говорят, что полчаса назад пришла еще одна почта с сообщением о том, что Разина везут сюда”.

В своем следующем донесении (от 16 мая) Кох сообщает, что о поимке бунтовщика Корнилой Яковлевым не только объявили несколько почт, но информацию также подтвердили 14 донских казаков, специально прибывших с этим сообщением в Москву. В следующем письме (от 23 мая) он вновь подтвердил факт пленения, упомянув, что навстречу казакам, везшим Разина в Москву, для обеспечения безопасности был выслан отряд солдат. Наконец, в письме от 30 мая Кох сообщил, что ввоз братьев Разиных в Москву ожидается “в грядущую пятницу”. Следующая пятница после вторника 30 мая приходилась на 2 июня — именно в этот день, как хорошо известно по другим источникам, Степана и Фрола доставили в Москву.

<sup>32</sup> Данное письмо отсутствует в [RAS, *Livonica II*, vol. 180], однако сохранилось среди писем Хельмфельта Бенгту Горну [RAS, *Bengt Horn samling*, E 4304]. Вероятно, оно дошло до Хельмфельта со значительным опозданием и поэтому никогда и не было переслано напрямую в Стокгольм, а только в Ревель. В Стокгольм Хельмфельт 1 июня 1671 г. мог отправить уже более свежую, более подробную информацию о Разине. Во всяком случае, Хельмфельт в своем собственном письме шведскому королю от того же дня просит извинения за свое длинное молчание, мотивируя его тем, что несколько почт подряд “из соседней России” либо вообще не приносили никаких писем, либо в них не было важных сведений.

<sup>33</sup> Несомненно, Кох имеет в виду, что недавно тоже распространялась информация, будто Разин пойман, но она вскоре оказалась неверной.





Илл. 4. Пойманные Степан и Фрол Разины. Карандаш и акварель. 40×31 см. 1671 г. Шведский Государственный архив, Стокгольм. Фотография Ингрид Майер.

### III. Рисунок из шведского архива

Наибольший интерес, однако, представляют донесения Коха от 6 и 13 июня, переправленные Хельмфельтом в Стокгольм 30 числа того же месяца (в этот раз из Ниена, а не как обычно — из Нарвы). В своем письме губернатор коротко сообщает, что Степан Разин был казнен, а информация обо всех подробностях содержится в приложенных донесениях (т. е. письмах Коха) и некоем “рисунке”. Обратимся сначала к рассмотрению именно этого рисунка (илл. 4).

Рисунок подшит в архиве к письму Хельмфельта вместе с двумя донесениями Коха, и можно наверняка утверждать, что он был отправлен из Москвы вместе с одним из них. В правой части рисунка изображены плененные Степан и Фрол Разины. “Воръ Стенка Разин” (как гласит одна из подписей) стоит на повозке, прикованный цепями к установленной там же виселице: за шею к верхней поперечной перекладине, за

руки, ноги и поясицу — к столбам виселицы. На запястьях Стеньки видны оковы, также прикованные к столбам. На перекладине над головой бунтовщика изображена петля, по бокам от него стоят стражники — “стрельцы з дубинами”. “Братъ ево Фролко” идет сбоку от телеги, прикованный к ней за шею цепью. Телега запряжена тройкой лошадей, на средней из которых сидит “ямщикъ”. Слева изображены последствия казни — насаженные на колья части тела Разина. Рисунок частично раскрашен, причем обращает на себя внимание, что “преступники” не были удостоены краски, в отличие от “честных людей” — стрельцов и ямщика.

Где и кем был сделан этот рисунок? Вне всякого сомнения можно утверждать, что он был изготовлен русским художником в Москве. В пользу этого говорит и использование кириллицы для подписей, и манера исполнения — по всей видимости, автор не был знаком с прямой перспективой, характерной для западноевропейского искусства. В изображении персонажей неверно переданы пропорции, кроме того, все действующие лица показаны анфас; нереалистично изображена сама телега. В целом рисунок близок по стилю древнерусской книжной миниатюре или лубку. Скорее всего, изображение было изготовлено в Посольском приказе или Приказе тайных дел в качестве наглядного “доказательства” того, что опасный преступник Стенька Разин был наконец настигнут правосудием. Представляется, что целевой группой, для которой создавался данный рисунок (или подобные ему), были влиятельные иностранцы в Москве — такие как Кох: ведь для царя и его окружения было крайне важно, чтобы иностранные купцы продолжали торговать с Россией; приезжать в страну, охваченную мятежом, многие отказывались<sup>34</sup>. При этом человеком, передавшим рисунок в распоряжение Коха, мог быть глава Посольского приказа Артамон Сергеевич Матвеев, с которым швед поддерживал тесные отношения. Год спустя, в 1672 г., Кох часто упоминал в своих донесениях о том, что Матвеев неоднократно приглашал его в свой дом отобедать. Уже 21 марта 1671 г., т. е. до казни Разина, в донесении для шведских властей Кох весьма лестно отзывался о Матвееве:

Он умен, умеет быстро принимать решения и помогает как богатым, так и бедным добиться правосудия [. . .] Вчера я видел, как он в течение пяти часов вынес решения по более чем тридцати делам. Я еще ни разу не сталкивался ни с чем подобным. Наверняка он поднимется здесь весьма высоко<sup>35</sup>.

<sup>34</sup> Менее вероятным представляется, что рисунок был сделан для русскоязычной публики, — подписи типа “стрельцы с дубинами” и “ямщик” скорее рассчитаны на иностранцев, которым данные понятия могли быть незнакомы.

<sup>35</sup> Донесение Коха от 21 марта в архиве сохранилось также в собрании Бенгта Горна [*Bengt Horn samling, E4304*]. Наши транскрипция и перевод сделаны с экземпляра в собрании *Livonica*.



Для кого бы ни был первоначально изготовлен рисунок плененного и казненного Разина, мы можем с уверенностью утверждать, что существовало сразу несколько его копий, попавших в Западную Европу. Действительно, одна копия была переслана Кохом и попала в Стокгольм, где сегодня находится в Государственном архиве. Еще одна, по всей видимости, попала в Англию, где послужила прототипом для известной гравюры, упомянутой в начале статьи. Можно полагать, что все варианты этого рисунка (а значит, и тот, что оказался в Англии) выглядели примерно одинаково. Конечно, между рисунком из стокгольмского архива и английской гравюрой есть некоторые расхождения. Так, ямщик-возница на гравюре не сидит на лошади, а стоит рядом с ней; стрельцы держат в руках бердыши, а не дубины; отсутствует изображение отрубленных частей тела Разина, зато в углу помещен его портрет. И все же совпадения явно преобладают, что никак нельзя признать простой случайностью. Даже некоторые из русских подписей в переводе фигурируют на гравюре (“RAZIN the Rebell”; “his Brother”). Английская гравюра представляет собой зеркальное отражение рисунка, что является закономерным результатом процесса печати с медной доски, копировавшей изображение из Посольского приказа. Затруднительно сказать, как именно рисунок-прототип попал из Москвы в Англию, — вместе с копией текста “Сообщения” или отдельно. Нельзя исключать, что его мог переслать в Англию кто-то из находившихся в российской столице англичан — например, Томас Хебдон, который, как известно, присутствовал при доставке Разина в Москву и вполне мог выступить в качестве распространителя столь важной информации. Наконец, имеются данные, что еще один экземпляр рисунка оказался в Гамбурге: в одном из выпусков гамбургской газеты “Nordischer Mercurius” (“Северный Меркурий”) за август 1671 г. помещена короткая заметка: “С Нижней Эльбы от 1 августа. О том, как бунтовщик Разин был казнен, имеется рисунок из Москвы, сделанный от руки, а на нем описание греческими буквами. Руки и ноги, а также голова и туловище насажены на колья, внутренности же брошены собакам” [с. 474]<sup>36</sup>. Вряд ли приходится сомневаться, что под “рисунком из Москвы” имеется в виду изображение, схожее с тем, что было вручено Кристофу Коху. Автор данной заметки, возможно, впервые в жизни столкнувшись с кириллическим письмом, очевидно, не располагал для этих букв специальным термином и назвал их “греческими”. Описание же и количество насаженных на колья частей тела полностью совпадает с известным нам изображением из стокгольмского

---

<sup>36</sup> Мы пользовались экземпляром, хранящимся в Королевской библиотеке Копенгагена (шифр 147,15). Заметим, что процитированного сообщения из “Северного Меркурия” нет в издании [Маньков 1975: 92–98].

архива — и в то же время отличается от рассказов очевидцев, согласно которым не шесть, а только пять частей тела было выставлено на кольях. Поскольку в газете в качестве места, из которого была получена новость, указана Нижняя Эльба (т. е. Гамбург и окрестности), а не Москва, следует заключить, что автор заметки (скорее всего, сам Георг Грефлингер, издатель “Северного Меркурия”) собственными глазами видел такой рисунок. Таким образом, в итоге обнаруживаются прямые или косвенные доказательства, что по крайней мере три иностранца получили в свое распоряжение графическое подтверждение казни Разина, и вряд ли стоит сомневаться, что подобные рисунки были вручены еще кому-нибудь из иностранцев в Москве. Очевидно, московские власти специально стремились распространить по Европе информацию о казни опасного бунтовщика.

Весьма любопытно, что рисунок из стокгольмского архива содержит несколько существенных фактических ошибок. Во-первых, в качестве даты казни указано “июня в 3 день”, т. е. 7-ое число, тогда как хорошо известно, что казнь состоялась 6 июня. Интересно, что о неопределенности с датой казни упоминал в своем письме Ричарду Даниэлю Томас Хебдон: “В тот же день [т. е. 2 июня] его присудили к казни, которую назначили на следующий день, и для того были сделаны должные приготовления, но после долгого ожидания казнь была перенесена на вторник” [МАНЬКОВ 1968: 130]<sup>37</sup>. Далее, подпись на рисунке сообщает о смерти *обоих братьев* (“казнены четвертованы”, множественное число), в то время как известно, что казнь Фрола была отложена и состоялась только спустя пять лет [БУГАНОВ 1994: 40; МАНЬКОВ 1975: 79, прим. 43; KOLLMANN 2012: 385]. Наконец, рисунок изображает не только руки, ноги и голову Разина, воткнутые на колья, но и его торс, хотя все очевидцы казни единодушны в том, что туловище бунтовщика было брошено собакам и осталось на земле, так что колья оказались в итоге пять. Такие “ошибки” в рисунке позволяют сделать вывод, что он был изготовлен еще до казни, а не после нее: ведь Фрол выкрикнул “слово государево” в последний момент, и никто не мог предвидеть, что его казнь не состоится.

#### IV. Новые документы о поимке и казни Разина

Как уже упоминалось выше, Кристоф Кох прислал С. Грундель-Хельмфельту два пространных донесения (одно из которых содержало цветной рисунок), написанных 6 и 13 июня 1671 г. и посвященных поимке и казни Степана Разина. Оба письма заслуживают пристального

<sup>37</sup> Об изменении первоначальных планов властей знал и Кристоф Кох (см. ниже).

внимания, поэтому кажется целесообразным привести здесь их полный перевод<sup>38</sup>.

### **Суммарное донесение из Москвы от 6 июня 1671 г.**

Пока нет других известий, кроме того, что бунтовщик Разин [Raisin<sup>39</sup>] и его брат Фрол [Frool] были с позором доставлены на жалкой триумфальной<sup>40</sup> повозке в Москву через Тверские ворота в прошлую пятницу, 2-го числа, в первой половине дня. Потом их заключили на Земском дворе<sup>41</sup>, расположенном у красной стены. У той повозки было четыре высоких колеса и плоская верхушка, покрытая со всех сторон лубом, иначе липовой корой<sup>42</sup>, так что колес было почти не видно. В центре повозки была установлена виселица высотой чуть больше человеческого роста, к которой железными цепями был прикован бедный герой Разин, — он словно висел на них [цепях], как муха в паутине: во-первых, его голова была прикреплена цепью к верхней перекладине виселицы; руки ниже плеч также были прикованы цепями к столбам виселицы, а запястья были прикованы с помощью наручных кандалов к нижним частям столбов. Еще одна цепь перехватывала туловище поперек, с обеих сторон, и, наконец, оба колена также были прикреплены цепями к столбам. Перед его грудью была укреплена деревянная поперечная балка, на которую он время от времени мог опираться. Именно в таком виде — стоя на этой триумфальной повозке, прикрепленный вышеописанным образом к виселице — он был ввезен в город. Его брат был прикован длинной цепью за шею к повозке с левой стороны. Его ноги также были связаны, так что ему пришлось более трех верст идти через весь город, подпрыгивая рядом с повозкой. Повозку тянули три жалкие клячи, запряженные тройкой. На них сидели трое невзрачных юношей в рваной одежде, которые должны были вести повозку очень осторожно. На этой повозке по всем четырем ее углам

<sup>38</sup> Всю свою корреспонденцию Кох вел исключительно на немецком языке, причем в его письмах нередко встречаются элементы нижненемецкого диалекта. Перевод на русский язык выполнен с транскрипции, сделанной в стокгольмском архиве с оригинала. Авторы сердечно благодарят Хайко Дросте (Стокгольм) за его бесценную помощь.

<sup>39</sup> Личные имена в оригинале почти всегда слегка искажены, поэтому мы добавляем написания оригинала в квадратных скобках.

<sup>40</sup> Скорее всего, Кох называет повозку “триумфальной” с иронией, точно так же, как и Разина он чуть ниже называет “бедным героем”. Сравните с другим описанием предположительного очевидца: “Этого изменника ввели в город прикованным цепями к виселице, на возвышении, точно в триумфальной колеснице, так, чтобы все его видели” [Рейтенфельс 1997: 328].

<sup>41</sup> Земский двор, расположенный у красной стены, — это, по всей видимости, здание Земского приказа на Красной площади.

<sup>42</sup> В оригинале “runt herumb mit luben, oder Linnenbarck beschlagen”. Вероятно, Кох сначала упоминает русское слово “луб”, а затем добавляет немецкое название (“Lindenbarck” — ‘липовая кора’). Очевидно, телега была покрыта рогожами, грубой тканью, которую плели из тонких полосок, сделанных из коры липы (луба или лыка).

сидело по стрелцу, а за ней следовал пешком еще один человек, несший на себе незакрепленные цепи<sup>43</sup>. Впереди всех ехал верхом командир стрельцов, и одна половина его полка следовала непосредственно за ним; другая же половина расположилась по бокам и позади повозки. За передним отрядом стрельцов, сразу перед повозкой, ехал верхом на коне донской атаман Корней Яковлев [Corneij Jacsoflov], захвативший бунтовщика при помощи хитрости. Рядом с Корнеем ехали примерно [ungefähr] пятеро его лучших казаков, причем один из них нес казацкое знамя, остальные казаки Корнея числом около 80 следовали чуть позади. Смотреть на Разина, стоящего на своей повозке и ввозимого в город, было довольно потешно. О его внешности можно сказать, что он был довольно высок, имел широкие плечи и светло-каштановые кудрявые густые волосы, примерно наполовину закрывавшие уши; у него была короткая густая борода округлой формы, выражение лица сильное и дерзкое. Ему примерно от 36 до 40 лет от роду. Его брат лицом и волосами довольно на него похож, ему около 26 лет. Посмотреть на Разиных собралось как в городе, так и за его пределами большое количество народа, знатного и самого простого, среди них можно было заметить и много женщин, также как знатных, так и простолюдинок. У Земского двора на большой рыночной площади были расставлены многочисленные приказы стрельцов<sup>44</sup>, а за полчаса до привоза Разина на Земский двор там собрались все бояре и думные дьяки в ожидании бунтовщика. Как только же его доставили на этот двор, его сняли с повозки и вместе с братом повели наверх ко всем боярам, где обоим в течение примерно получаса задавали кое-какие вопросы. Сразу после этой пытки [nach der rein] братьев повели вниз на двор, причем за ними последовали и все бояре. Они сразу же приказали утомленным Разину с братом вытянуть руки над спиной<sup>45</sup>, приказали их бить кнутом, положить на огонь [auff den feur legen], выбрить им на макушке голое место и постепенно лить туда холодную воду. Степана спросили, зовут ли его Степан Разин, что он подтвердил словом “да”, после чего князь Долгорукий [Dulgorucoj] заявил: “Ты, шельма и изменник, так безрассудно выступил против Его Царского Величества и причинил столь большой вред”, на что Разин отвечал, что не он шельма и изменник, а сам князь, из-за которого пролилось так много невинной крестьянской крови [bauerbluth]. И если бы князь был настоящим героем, то вышел бы против него, Разина, сам, а не посылал бы царских людей. В целом бунтовщик никого не щадил в своих обвинениях, говорил мало, но очень дерзко. Говорят, что он также заявил: “Несмотря на то, что Корней теперь и выдал вам меня головой, но он сам и весь Дон были со мной заодно, и я с их общего согласия привлек к себе в войско людей”. В прошедшую

<sup>43</sup> Видимо, этот человек нес запасные цепи.

<sup>44</sup> В оригинале Кох действительно употребляет слово “приказы” (pricassen Strelitzen) в соответствии с обычным для того времени обозначением стрелецкого боевого соединения. Приказы стрельцов были переименованы в полки позднее во время военной реформы 1680–1682 гг.

<sup>45</sup> В оригинале “. . . die Hände über den rücken außziehen [. . .] laßen”.

субботу<sup>46</sup> на большой рыночной площади<sup>47</sup> были расставлены несколько стрелецких приказов и заготовлены для каждого из братьев Разиных по два деревянных бруса<sup>48</sup> и пять заостренных кольев, чтобы после казни, намеченной на 10 часов, их отрубленные ноги, руки и головы были насажены на эти десять кольев. Для нас же иностранцев, в том числе и для персидского купца, а также для посланников запорожских казаков было выделено специальное место для лучшего обозрения казни. Однако, поскольку обоих братьев было решено перед казнью еще раз подвергнуть пытке, казнь перенесли. Вчера<sup>49</sup> Разина вместе с братом в присутствии государственных советников пытали в третий раз. Говорят, что Степан получил лишь два удара кнутом и мало говорил. Сегодня же<sup>50</sup> в 12 часов его вместе с братом привезли на большую рыночную площадь, после чего зачитали список его преступлений и приговор. Канцлер Ларион Иванович<sup>51</sup> [Larrivan Ivanofvitz] сказал: “Кладите Степана и четвертуйте его”, после чего Разин бодро подошел к обоим брусам, помолился и перекрестился, попрощался со стоящими вокруг словом “прости”<sup>52</sup> и лег на живот. Ему отсекли правую руку по локоть, затем левую ногу по колено, затем левую руку, правую ногу и наконец голову. Эти пять отрубленных частей тела воткнули на пять кольев и водрузили последние в землю. В это же время брат Степана сказал, что ему нужно еще кое-что рассказать, и его сразу отвели обратно на Земский двор и пытали. Говорят, что от этой

<sup>46</sup> То есть 3 июня.

<sup>47</sup> Учитывая указания Коха, что Земский двор, куда доставили Разиных, располагался рядом с этой “большой рыночной площадью”, можно заключить, что под данной площадью имеется в виду Красная.

<sup>48</sup> В оригинале “2. Blöcke” (ср. в письме Хебдона: “block”; в русском переводе Л. Е. Поляковой — “плаха”; см. [Маньков 1968: 129–130]). Описание Коха не дает возможности определить, что из себя представляли эти бруссы, однако из него следует, что для каждого из братьев было заготовлено по два бруса. Возможно, схожую процедуру казни обезглавливанием на одном бревне описал в конце 1680-х гг. проживший в Москве несколько лет иезуит Иржи Давид в своем труде “Современное состояние Великой России, или Московии”:

Из казней применяются отсечение головы, а иногда, по степени злодеяния, еще и рук и ног, повешение, сожжение, закапывание в землю. Голову отсекают не мечом, а топором, таким образом: когда осужденный прибывает к месту казни, ему бросают какое-нибудь бревно из ближайшего забора или изгороди, осужденный выслушивает приговор, который ему зачитывают, трижды осеняет себя крестным знамением, если он русский, и, повернувшись к зрителям, говорит: “простите меня” — и тут же ложится на землю, скрестив несвязанные руки на спине, голову кладет на бревно, и один из палачей ее отрубает, одним ли ударом или несколькими [Давид 1968: 96].

<sup>49</sup> То есть 5 июня.

<sup>50</sup> То есть 6 июня.

<sup>51</sup> Имеется в виду думный дьяк Илларион (Ларион) Иванович Иванов, возглавлявший в 1671 г. Стрелецкий приказ.

<sup>52</sup> В оригинале “prestij”; вполне возможно, что переписчик — секретарь губернатора Грунделя-Хельмфельта — неправильно написал незнакомое ему русское слово. О фразе “простите меня” перед казнью см. также цитату из свидетельства Иржи Давида в прим. 48.



пытки он потерял сознание. Но как бы сильно ни пытали до этого Степана, он не проронил ни звука. Его же брат при первой пытке сильно кричал, из-за чего Степан обратился к нему со словами: “Сучий ты сын, что ты орешь? Вспомни, какую честь мы с тобой имели и управляли не только всем Доном, но и всей Волгой”. Этот Степан принял смерть бесстрашно и не позволил упрекнуть себя в малодушии. О чем же собирается рассказать его брат, я попытаюсь разузнать. До оглашения приговора Разину на протяжении получаса был зачитан документ, рассказывающий обо всех его деяниях, от начала его выступления восемь лет назад и до его поимки 14 апреля этого года; этот документ я постараюсь получить и переслать. Руки, ноги и голова Разина все еще нанизаны на те пять кольев; туловище же осталось на земле. Так настал конец бунтовщику. Говорят, что три дня назад сюда приехал гонец от князя Ромодановского [Knees Romadanofskoj] с сообщением, что Астрахань и все города, которые до того были покорены Разиным, вновь перешли под власть Его Царского Величества и просят его о милости. О том, что дальше произойдет в этой связи, услышим позже. От запорожских казаков и гетмана Новогрешного<sup>53</sup> [Nova Greschnoj] шесть дней назад сюда приехал посланник. Говорят, что они добиваются заключения договоров, обещанных им привилегий и недоплаченных денег, о чем, возможно, я подробнее напишу в следующем письме. Отправление в Польшу господина Нащокина [Naschokin] было отменено; вместо него, говорят, было решено послать туда Василия Семеновича Волынского [Wasilie Semenofvitz Wolinskoi].

### **Суммарное донесение из Москвы от 13 июня 1671 г.**

Из моего последнего письма, от 6-го числа этого месяца, Вы<sup>54</sup> узнали в подробностях о том, как бунтовщик Разин был доставлен сюда и наконец казнен. Его же брат, заявив, что собирается рассказать нечто важное, был вновь доставлен на Земский двор. Здесь его сразу подвергли пытке, во время которой, как говорят, он поведал, что ему известно о большом кладе дукатов, серебряных монет и других драгоценностей, который его брат приказал закопать недалеко от Царицына, причем тех, кто это выполнил, он повелел убить, чтобы никто кроме него не знал о спрятанном. Узнав об этом, Его Царское Величество приказал одному польскому фельдшеру вылечить Фрола (ведь никто из немцев не хотел взяться за это дело, поскольку его раны были нанесены палачом), чтобы тот клад не пропал. О допросе спешно казненного Разина во время третьей пытки не известно ничего, кроме того что он все время говорил очень дерзко и указывал боярам на их дурное правление, и как бояре его хулили, так и он отвечал им тем же. Во время наиболее жестокой пытки от него пытались добиться признания, что же стало причиной

---

<sup>53</sup> Так Кох ошибочно называет гетмана Левобережной Украины Демьяна Игнатьевича Многогрешного.

<sup>54</sup> В оригинале написано “Н.”, то есть “господин” [Herr], в сокращенном виде. Наверное, имеется в виду С. Грундель-Хельмфельт.

его злого умысла и кто ему в том помогал, на что он отвечал, что хотя они и тело его истязают (и в итоге все равно его убьют), язык его им, врагам, ничего не расскажет. Но если его доставят пред светлые очи самого Его Царского Величества, то он и без пытки совершенно свободно поведаст всю правду, в том числе и о причинах своего выступления. Однако большинство бояр посоветовали Его Царскому Величеству на то не соглашаться, указывая, что такой негодяй недостойн видеть светлые очи Его Царского Величества и, может быть, даже задумал нечто опасное, из-за чего лучше всего было бы поспешить с казнью. Таким образом, было решено, как я уже писал, казнить его сразу на следующий день, то есть в субботу, но в итоге это случилось лишь через три дня, то есть во вторник на следующей неделе. О пытке и признании Разина ходят среди простого народа всякие странные слухи, и многие говорят, что не только бояре, но и другие сословия должны были бы присутствовать при этой пытке, так как это дело касалось всей страны и их в том числе. На следующий день после казни пять кольев с головой, руками и ногами Разина были перенесены через Москву-реку на Болото и там заново установлены, под ними же опять было брошено оставшееся туловище. Все это я видел своими глазами три дня назад. А рядом на страже стоят шестеро стрельцов. Атаману Корнею и его казакам было по приказу Его Царского Величества приготовлено угощение в Кремле. В прошлую субботу из Посольского приказа в другие приказы послали за деньгами, за 200 рублями, и те деньги должны быть здесь поровну разделены между донскими казаками, сейчас здесь пребывающими. На Дон также будут отправлены деньги и посланники с извещением о царском помиловании. Многим кажется, что из-за всего случившегося Корней вряд ли ожидает спокойная жизнь на Дону, так как казаки там, в чем не сомневается и сам Корней, считают, что Разин должен был поговорить с самим Его Царским Величеством, а не быть казненным так поспешно. Корней написал Разину, чтобы тот приехал к нему, так как Корней якобы хочет обсудить с ним новые действия против бояр, чему Степан и поверил, во многом из-за того, что Корней был крестным отцом Разина, сам же выбирал Разина атаманом и участвовал в его замысле. После того как Разин приехал с 300 людьми, они с Корнеем выпили, и как только Разин опьянел, его схватили и связали. 300 людей Разина хотели было сопротивляться, но люди Корнея, коих было более 2000, показали им, как говорят, насколько они жестоки<sup>55</sup>. Другие рассказывают, что Разин, получив письменные заверения от Корнея, как рассказывалось выше, засел в одном маленьком городке с 300 людьми и потребовал к себе Корнея. Тот отправился на встречу вместе с двухтысячным войском и, придя к тому городку, был сразу же со всеми своими людьми впущен внутрь Разиным, полагавшим, что Корней сдержит свои обещания. После дружеской встречи и совместной

---

<sup>55</sup> В оригинале: "soll ihnen die schärfte von des Cornej seine leuten geweisen sein". По всей видимости, здесь имеется в виду, что люди Корнея (Корнилы Яковлева) перебили или обезоружили разинцев.

попойки Корней связал и увез Разина с собой, как я о том уже рассказал. Эту хитрость Корнею подсказали здешние бояре, сулившие ему за это большие подарки, после чего Корней здесь<sup>56</sup> в прошедшую зиму обещал это исполнить. Также говорят, что Разин нанял за деньги сорок тысяч калмыков, но как только они узнали, что его схватили и денег они, таким образом, не получают, то уехали обратно. Вчера из Симбирска сюда пришла почта, сообщающая, что Симбирск весь выгорел, причем сгорело много пороха и пушек, что нанесло большой урон. Говорят, город был подожжен изнутри. Та же почта сообщает, будто 250 стругов с восставшими казаками поднялись вверх по Волге до Саратова и разбили два приказа стрельцов, направлявшихся в Бей-лаяре<sup>57</sup> [Beilajaere] и посланных туда Шереметевым [Scheremetof]. Таким образом, пока что нет никакой уверенности в том, что Астрахань и другие города, бывшие в руках бунтовщиков, перешли на сторону Его Царского Величества (как об этом распространялись слухи несколько дней назад). Вместе с атаманом Корнеем на Дон посылают одного знатного дворянина, который должен будет заставить всех казаков поклясться служить Его Царскому Величеству верно под началом Корнея. Он также должен отвести казакам деньги и всякие вещи. Ожидается, что из Польши сюда в течение четырех недель прибудет посольство. Посланники Новогрешного [Novo Greshnois] еще не отпущены. Поскольку Волга остается все еще небезопасной, торговля здесь придет в еще больший упадок. Считают, что в Архангельск прибыло около десяти кораблей с зерном.

#### V. Сравнение писем Коха с ранее известными документами

Донесения Коха сообщают много интересных подробностей; некоторые из них не упоминаются в других источниках. Можно не сомневаться, что сам Кох присутствовал как при ввозе братьев Разиных в Москву, так и при казни Степана, поскольку автором оба события описаны в мельчайших подробностях. Кроме того, словесное описание плененного и закованного в цепи Разина отличается в некоторых аспектах от рисунка, следовательно, исключается возможность того, что Кох был знаком лишь с изображением, но не являлся очевидцем. Так, Кох упоминает четырех стрельцов, сидевших на повозке, в то время как на рисунке изображены лишь двое; он пишет о трех юношах-возницах, сидящих на лошадях, рисунок же показывает лишь одного “ямщика”.

Описания шведского купца не только подтверждают информацию, известную из других источников, но и дополняют ее. Так, в своем письме Томас Хебдон упомянул казаков Корнилы Яковлева, сопровождавших

---

<sup>56</sup> То есть в Москве.

<sup>57</sup> Мы не смогли точно идентифицировать этот топоним. Наверное, речь идет об остроге Белый Яр, находившемся недалеко от Симбирска вниз по течению Волги.

телегу с Разиным, однако Кох дает более точное описание порядка следования всей процессии и даже заостряет внимание на “казацком знамени”. Подробнее рассказывает Кох и о переносе даты казни. В его изложении первоначально казнь была запланирована на следующий после привоза Разина день — на субботу (3 июня) — и иностранные зрители в тот день уже собрались в специальном месте “для лучшего обозрения казни”. Однако, поскольку бунтовщиков было решено еще раз пытаться, казнь перенесли, а на какой именно день, тогда еще не стало известно. Последняя, третья по счету, пытка состоялась накануне казни — в понедельник (5 июня). Информация о трех устроенных бунтовщикам допросах косвенно подтверждает известный из других источников слух о стойкости Степана (об этом упоминает и Кох), от которого, по-видимому, в итоге так и не удалось добиться сколько-нибудь важной информации. Кох сообщает некоторые детали допросов; например, приводит в своих донесениях “дерзкие” реплики Разина в адрес бояр и особенно князя Долгорукова, а также его упрек младшему брату в малодушии. Особенно интересно уникальное свидетельство Коха из второго письма о том, что Разин был согласен на разговор с царем *tête-à-tête*, против чего, однако, выступили бояре. Не исключено, что мотивировка их отказа (“и, может быть, даже задумал нечто опасное”) могла быть связана с верой в сверхъестественные колдовские способности предводителя восставших [Маньков 1975: 180, прим. 31; Неклюдов 2014]. Безусловно, Кох не мог сам присутствовать при допросе государственного преступника, а значит, сообщаемые им подробности либо были получены от некоего русского информатора-свидетеля (Артамона Матвеева?), либо почерпнуты из циркулировавших в городе слухов. Очень интересна зафиксированная Кохом информация о том, что “простой народ” желал также присутствовать при допросе Разина, мотивируя это тем, что “это дело касалось всей страны и их в том числе”.

Ряд сведений, сообщаемых Кохом, уникальны. Например, среди привилегированных зрителей казни Разина Кох упоминает не только западноевропейских иностранцев и персидского купца (о чем писалось и в немецкой публицистике; см. ниже), но и посланцев запорожских казаков. Уникален подробный рассказ шведского купца об операции по захвату Разина, причем он приводит даже две версии событий. Как и в случае с допросом, источник данной информации следует видеть либо в персональных контактах Коха, либо в многочисленных слухах (либо в том и другом одновременно). При этом в обеих версиях, пересказанных Кохом, Корнила Яковлев заманивает ничего не подозревающего Разина в ловушку и затем для верности опаивает своего крестника алкоголем. Тем самым Кох подтверждает, что восставшие казаки, во всяком случае,

не рассматривали атамана Войска Донского как своего врага и не ожидали предательства. Согласно Коху, о том, что Яковлев был с бунтовщиками изначально заодно, заявлял на допросе и сам Разин. Наконец, в донесении от 6 июня обращает на себя внимание упоминание зачитанного перед казнью текста приговора Степану с перечнем всех его “вин”. Кох сообщает, что попытается получить данный документ. Хорошо известно, что этот текст приговора был в распоряжении автора “Сообщения касательно подробностей мятежа”, после чего и был переведен на ряд европейских языков [МАНЬКОВ 1968: 88]. Вероятно, московское правительство было совсем не против попадания документа в руки иностранцев и, скорее всего, даже способствовало этому [ГОЛЬДБЕРГ 1968: 159; GOL'DBERG 1970: 222].

Отдельно стоит рассмотреть вопрос о взаимосвязи донесений Кристофа Коха с текстом наиболее ранних печатных сообщений о поимке и казни Разина. Как было продемонстрировано, Кох являлся чрезвычайно осведомленным очевидцем событий 2–6 июня. Насколько же велика вероятность того, что именно его донесения легли в основу иностранных газетных и памфлетных публикаций о кончине Степана Разина? Само по себе попадание в печать информации из, казалось бы, конфиденциальной корреспонденции, предназначенной для шведских властей, не должно вызывать удивление. Как показало исследование М. Вельке, некоторые пассажи из писем предшественника Коха Иоганна де Родеса шведской королеве Кристине местами дословно попадали в немецкоязычную прессу [WELKE 1976: 255–264]. Более того, газеты XVII в. в первую очередь и наполнялись информацией, собранной в различных европейских городах купцами и дипломатами<sup>58</sup>. Поэтому кажется целесообразным сравнить тексты двух вышеприведенных писем Коха именно с печатными публикациями, вышедшими по “горячим следам” — в течение года после казни Разина. Более поздние публикации, в том числе книги Стрейса и Койэтта, заимствовали информацию уже из вышедших в 1671–1672 гг. газет и памфлетов [МАНЬКОВ 1968: 84–90; ГОЛЬДБЕРГ 1968: 158]<sup>59</sup>; то же самое верно для исторических хроник типа “Theatrum Europaeum”.

Начать сравнение стоит с текста уже неоднократно упоминавшегося анонимного памфлета “Сообщение касательно подробностей мятежа” в

<sup>58</sup> См., например, новейшую работу [PEACEY 2016]. О возможных источниках информации о Московии в западноевропейских (в частности, немецких) газетах см. [WELKE 1976: 145–154].

<sup>59</sup> Не совсем ясно, опирался ли Яков Раутенфельс в своем “Сказании о Московии” на информацию из других печатных изданий или же на собственные наблюдения. Раутенфельс уехал из Москвы во второй половине мая 1672 г.; см. [ДЖЕНСЕН, МАЙЕР 2016: 19, прим. 12].



его нидерландской, немецкой и английской версиях<sup>60</sup>. Мог ли его анонимный автор иметь доступ к копии одного из донесений Коха и на основе данной информации построить свой рассказ? На первый взгляд, между письмами и памфлетом действительно обнаруживается ряд параллелей. “Сообщение касательно подробностей мятежа” рассказывает о телеге с виселицей и прикованных цепями руках и шее Разина; упоминается “слабость духом” Фрола и напутственная речь Стеньки; как и в письмах Коха, сообщается о пытке капающей на выбритую голову водой<sup>61</sup>; наконец, Разин перед смертью прощается с толпой словом “прости”<sup>62</sup>. И всё же расхождений между двумя документами наблюдается значительно больше. Так, эпизод с макушкой, выбритой для пытки водой, получает в “Сообщении” анекдотическое оформление, совершенно отсутствующее у Коха: “Говорят, когда Стеньку и брата его обрили, Стенька сказал: «Слышал я, будто только людей ученых обривают в священники. Мы с тобой оба неученые, а все же дождались такой чести, и нам обрили макушку»”. Не находит параллели у Коха и сообщение английской брошюры о том, что Стенька во время допроса сетовал на смерть брата, казненного князем Долгоруковым. Хотя в брошюре и упоминается, что атаман Яковлев приходился крестным отцом Разину, о подробностях пленения последнего ничего не говорится. Множество деталей, сообщаемых Кохом (перенос казни, колья для отсеченных частей тела и т. д.), не отражены в памфлете. В целом “Сообщение касательно подробностей мятежа” представляет собой гораздо более сжатый рассказ, наполненный, впрочем, полуфольклорными мотивами (наподобие эпизода с выбритой макушкой или предсказания Разина о въезде в Москву). Эти мотивы были почерпнуты, видимо, из ходивших по стране слухов, а иногда даже являются плодами фантазии автора, чистыми выдумками. Сложно с уверенностью сказать, был ли сам автор “Сообщения касательно подробностей мятежа” очевидцем доставки и казни Разина, однако невозможно напрямую доказать, что он пользовался донесениями Коха как источником информации.

Но может быть, письма шведского купца были использованы в немецкой периодике? Наиболее ранним подробным немецкоязычным сообщением о казни Степана Разина является текст под заглавием “Umständiger Bericht Von deß großen Rebellen wider Moßkau Stephan Razins Hinrichtung; Geschehen in der Stadt Moßkau den 6 Junii st. v.

<sup>60</sup> Расхождения между английским, немецким и нидерландским текстом памфлета в той его части, где повествуется о пленении, доставке и казни Разина, крайне незначительны; см. [Гольдберг 1968: 160–164].

<sup>61</sup> См. интересное нас место в тексте “Сообщения” в [Маньков 1968: 114].

<sup>62</sup> В нидерландском варианте “Сообщения” — “простите меня” (“prostitie meene”); см. [Гольдберг 1968: 164].

1671” (“Подробное донесение о казни великого мятежника против Москвы Степана Разина, происшедшей в городе Москве 6 июня 1671 г. по старому стилю”). Этот текст дошел до наших дней как в виде газетной публикации, так и в виде самостоятельного памфлета<sup>63</sup>. Его автор неизвестен, однако очевидно, что им должен был быть кто-то из присутствовавших в Москве немцев<sup>64</sup>, писавших по горячим следам (“через два часа после казни”, как сообщается в самом тексте). Несмотря на столь заманчивое совпадение, сравнение текста “Подробного донесения” с письмами Коха вновь обнаруживает больше расхождений, чем сходства. Хотя немецкий памфлет подробно описывает конструкцию телеги и виселицы, некоторые детали отличаются от описания Коха. Так, брус, прибитый посреди виселицы, поддерживает в памфлете голову Разина (у Коха Разин мог опираться на него грудью), а руки Фрола оказываются прибиты к телеге (в то время как у Коха он был прикован к ней за шею). Вместо упрека Фролу в малодушии во время пытки Разин подбадривает брата во время въезда в Москву: “Ты ведь знаешь, мы затеяли такое, что и при больших успехах мы не могли ожидать лучшего конца” [Маньков 1975: 122]. При описании казни автор памфлета упоминает деталь, отсутствующую у Коха, а именно, что стоящие рядом с эшафотом иностранцы-зрители были забрызганы кровью бунтовщика (впоследствии эта подробность будет неоднократно повторена в ярмарочных известиях и других хрониках). При этом многие другие детали из писем

<sup>63</sup> Нам известно три разных издания, содержащих данный текст. Во-первых, он был опубликован в газете “Europäische Montags Zeitung” (“Европейская понедельничная газета”), выходившей в Ганновере, в номере XXX за июль 1671 г. под заглавием — “Moskau den 20. Junij/ styl. nov.” (“из Москвы 20 июня по новому стилю”; более пространное заглавие, “Umständiger Bericht. . .”, здесь отсутствует). Во-вторых, известен самостоятельный памфлет, экземпляр которого хранится в Баварской государственной библиотеке в Мюнхене (шифр: *Res4 Crim.140,18*). Наконец, памфлет с тем же содержанием, но дополненный фантастическим портретом Разина, сохранился в Королевской библиотеке в Копенгагене, а именно, внутри тома газеты “Северный Меркурий” за 1671 г. (памфлет в этом комплекте помещен после стр. 436, среди выпусков за август). Немецкий текст и русский перевод были опубликованы в издании [Маньков 1975: 96–97; 121–123], где имеется также факсимильное изображение фантастического портрета Разина [ibid.: 122]. В отличие от А. Г. Манькова, мы считаем, что памфлет не является приложением к “Гамбургской газете” за 1671 год; очевидно, он был добавлен к годовому комплекту газеты “Северный Меркурий” коллекционером-абонентом на основе тематики — ведь эта газета (как и другие гамбургские газеты) регулярно публиковала статьи о Разине. О том, что брошюра не относится к к этому периодическому изданию, свидетельствует тот факт, что в другом полном годовом комплекте “Северного Меркурия” за 1671 г. (их сохранилось всего два), хранящемся в библиотеке им. Дейхмана в Осло (Deichmanske bibliotek), нет подобного приложения, зато коллекционер в другом месте, после стр. 148, добавил иной независимый памфлет, тоже тематически связанный с содержанием газеты.

<sup>64</sup> Об этом можно сделать вывод из фразы “Его царское величество оказал милость нам, немцам” [Маньков 1975: 122].

Коха, безусловно представляющие интерес для печатной публикации с точки зрения их живописности и сенсационности, совершенно не упоминаются (например, пытки и ответы Разина при допросе; “государево слово” Фрола; захват пьяного Стеньки в плен Корнилой Яковлевым). Все это наводит на мысль, что автором “Подробного донесения” был не Кох, а другой иностранец, не столь осведомленный, но тем не менее бывший свидетелем доставки братьев Разиных в Москву и казни на Красной площади, что и объясняет параллели с наблюдениями Коха.

Примечательно, что информация из “Подробного донесения”, по всей видимости, послужила источником для “ярмарочных известий” из Франкфурта и Лейпцига, а также ряда немецких и нидерландских ежегодных исторических хроник [Маньков 1975: 84]. Такие детали “Подробного донесения”, как забрызганные кровью Разина зрители, сто тысяч собравшегося на площади народа, брошенные собакам внутренности казненного, повторяются в целом ряде других публикаций, причем зачастую в виде дословных заимствований. Впрочем, порой первоначальная информация обрастала додуманными подробностями, что можно продемонстрировать на следующем примере. В изданном во Франкфурте-на-Майне в 1671 г. *Relationis historicae semestralis autumnalis continuatio* (“Продолжении исторических известий за осеннее полугодие”) описывается, как у стоящего на повозке Степана Разина “обе руки были прибиты гвоздями к краям повозки, и из них текло много крови” [Ibid.: 126]. При этом в самом “Подробном донесении” сообщается лишь коротко и неопределенно, что руки Разина были “вытянуты и прибиты к краям повозки” (“die Hände waren aussgestreckt und jede an den Seiten des Wagens angenagelt”). Разобраться в том, что прибиты были не сами руки, а железные наручи-скобы, сковывавшие руки, помогают письма Коха. Эти же наручи схематично изображены и на рисунке из стокгольмского архива. Таким образом, описание того, как из рук Разина текла кровь, надо целиком признать выдумкой автора заметки из франкфуртского “Продолжения исторических известий за осеннее полугодие”. Подобным образом в том же издании оказывается домыслена речь Степана Фролу: вместо лаконичного одного предложения из источника, “Подробного донесения”, здесь в уста Стеньки вложена по-барочному витиеватая длинная напутственная реплика.

И все же более поздние публикации о казни Разина обрастали не только выдуманными деталями. В лейпцигском “*Continuatio VIII der Zehen-jährigen Historischen Relation*” (“Восьмом продолжении десятилетних исторических известий”) в дополнение к информации, повторяющей сведения из “Подробного донесения”, упоминаются и другие детали пытки Разина: удары кнутом и пытка огнем; допрос, устроенный князем

Долгоруковым; “дерзкие” ответы Степана (“он отвечал очень дерзко”) и даже обещание Фрола показать сокровища брата [Маньков 1975: 129–130]. Все это уже напоминает сведения, переданные в письмах Кристофом Кохом, хотя однозначно признать их источником информации затруднительно. Примечательно, что, согласно тому же источнику, Разин на допросе якобы обвинил некоторых из “господ” в тайной связи с ним самим<sup>65</sup>, в то время как Кох писал, как было упомянуто выше, что Разин имел в виду симпатию к восставшим конкретно со стороны атамана Яковлева. Вполне вероятно, что новости приходили в Европу и от других оставшихся безымянными информантов. Так, 23-й выпуск “*Diarium Europaeum*” (“Европейского дневника”), изданный во Франкфурте-на-Майне в 1672 г., упоминает еще одну отличную от донесений Коха версию захвата Разина в плен, “когда он навещал жену и детей в городе Кагальник”, причем сообщается, что данное известие было получено “21 мая из самой Москвы” [ibid.: 133]. В том же “Европейском дневнике” упоминается и новая версия реплики Разина перед казнью — он якобы заявил: “Вы думаете, что убиваете Разина, но настоящего вы еще не поймали, и есть еще много Разиных, которые отомстят за мою смерть” [ibid.: 134]<sup>66</sup>. При этом автор “Дневника” добавил: “Из-за этого жители Пскова не захотели устраивать никакого торжества, так как они не верили, что казни был подвергнут подлинный главарь мятежников” [ibid.]. Видимо, данная новость пришла в Германию из Пскова — возможно, от находившегося в этом городе шведского купца.

Можно резюмировать, что, по всей видимости, сразу после поимки Разина и особенно после его казни в Москве и других городах циркулировали различные слухи о пленении, допросе и высказываниях бунтовщика. Одновременно могли сосуществовать несколько версий, объяснявших одно и то же событие. Эта молва полуфольклорного свойства доходила, в частности, и до иностранцев, которые затем распространяли полученную информацию далее в Европу. Даже сам Кристоф Кох, несомненно бывший свидетелем казни Разина, опирался в своих донесениях не только на собственные наблюдения, но и на слухи. Именно

<sup>65</sup> “... und zwar sollte er, als die Rede ging, hierbey etliche Grandes beschuldigt haben, daß sie mit ihm correspondiret, welches aber annoch in geheim gehalten würde” [Маньков 1975: 104], т. е. “а именно, якобы во время своей речи он [Разин] обвинил многих господ, что они поддерживали с ним связь, что, впрочем, пока хранится в тайне” (в издании [ibid.: 129] перевод данного отрывка неточен).

<sup>66</sup> Интересно, что отчасти схожая формулировка встречается в письме Коха Хельмфельту от 23 мая: “Четыре дня назад сюда из Казани приехал лейтенант, который рассказал, что там захватили в плен нескольких людей Разина. И когда им сообщили, что их отец Стенька теперь пойман и надеяться им больше не на что, они будто заявили в ответ, что даже если Степан и схвачен, то он лишь один из многих и у них найдется еще много таких же, как он”.



поэтому немецкие газеты и памфлеты отразили различные варианты реплик Стеньки перед смертью или во время пыток, опубликовали различные версии поимки Разина. Если даже какая-то информация из донесений Коха опосредованно и попала в печать (например, в лейпцигские “ярмарочные известия”), он был лишь одним из многих возможных информаторов, сообщавших о событиях в Московии.

## VI. Выводы

Письма Кристофа Коха из стокгольмского Государственного архива, описывающие пленение, доставку, пытку и казнь Степана Разина, а также приложенный к ним цветной рисунок не только позволяют нам дополнить наши знания о данном событии, но и проливают свет на способы распространения информации в России и Западной Европе в 70-е годы XVII в. С большой долей вероятности можно говорить о том, что московское правительство специально велело изготовить изображение казни знаменитого бунтовщика и было заинтересовано в поступлении такой визуальной пропаганды в страны Западной Европы. Нам удалось проследить судьбу трех подобных рисунков, один из которых лег в основу известной английской гравюры с портретом Разина, напечатанной в Лондоне в 1672 г. Тем самым наконец-то можно сделать вывод, что этот портрет пусть и опосредованно, но все же основан на рисунке очевидца и, по-видимому, в целом является вполне реалистичным.

Пропагандистская кампания московского правительства оказалась весьма успешной: подробные рассказы о казни предводителя масштабного восстания довольно быстро, с июля 1671 г., стали появляться сначала в немецкой и голландской периодике, затем в виде отдельных брошюр на немецком, нидерландском, английском и французском языках и, наконец, попали в литературно-мемуарные издания — книги Стрейса, Койэтта, Раутенфельса, а также в хроники типа “Theatrum Europaeum”. Более того, описание необычной процедуры ввоза закованного в цепи Разина на телеге в Москву, подкрепленное изображением на английской гравюре, стало одним из самых запоминающихся событий и оставалось в памяти европейцев даже спустя десятилетия, когда интерес к самому восстанию и фигуре Разина угас. Вероятно, именно традиция, восходящая к английской гравюре и — еще раньше — к московскому рисунку, предопределила подобный выбор.

Изучение самих донесений Коха позволяет ответить на вопрос об источниках информации шведского купца. Во-первых, Кох опирался на собственные наблюдения, во-вторых, использовал официальные документы, полученные от русской стороны, — например, упомянутый рисунок, а также, по-видимому, текст обвинения Разина. В-третьих, пересказ



некоторых подробностей допроса Разина вкупе с рассказом о поимке бунтовщика атаманом Корнилой Яковлевым позволяют заключить, что у Коха, вероятно, был информатор из числа государственных служащих. Наконец, в письмах пересказываются и некоторые городские слухи, сопровождавшие казнь известного преступника.

Что же касается влияния донесений Коха на последующие западноевропейские печатные сообщения о казни Разина, то следов дословных заимствований из сохранившихся в шведском архиве писем шведского купца в других источниках найти не удалось. Ряд памфлетов и периодических изданий упоминают детали, отсутствующие у Коха, или же приводят отличающиеся версии событий и реплик. Все это указывает на то, что сведения в Западную Европу поступали от нескольких информаторов, причем не только из Москвы, но и из Пскова и, возможно, Новгорода, т. е. городов, в которых присутствовали иностранцы. При этом информация передавалась во многом со слухов и потому обрастала полуфольклорными мотивами, которые затем еще и искажались издателями, как было продемонстрировано на примере сообщения о прибитых и кровоточащих руках Степана Разина.

## Библиография

### Архивные источники

#### *Bengt Horn samling, E4304*

Riksarkivet (Stockholm) (далее — RAS), Bengt Horn samling, E4304, Письма губернатору Эстонии Бенгту Хорну за 1658–1672 гг.

#### *Livonica II, 179*

RAS, Livonica II, 179, Письма генерал-губернатора Ингерманландии Симона Грундель-Хельмфельта шведскому королю за 1668–1670 гг.

#### *Livonica II, 180*

RAS, Livonica II, 180, Письма генерал-губернатора Ингерманландии Симона Грундель-Хельмфельта шведскому королю за 1671–1673 гг.

### Литература и издания источников

#### Анисимов 1999

Анисимов Е. В., *Дыба и кнут. Политический сыск и русское общество в XVIII веке*, Москва, 1999.

#### Буганов 1994

Буганов В. И., «Розыскное дело» Степана Разина», *Отечественная история*, 1, 1994, 28–42.

#### ——— 1995

Буганов В. И., *Разин и разинцы. Документы, описания современников*, Москва, 1995.

#### Висковатов 1878

Висковатов К. А., «Москва в 1687–1688 гг.», *Русская старина*, 23, 1878, 121–129.

ГОЛЬДБЕРГ 1968

Гольдберг А. Л., “К истории сообщения о восстании Степана Разина”, in: А. Г. МАНЬКОВ, ред., *Записки иностранцев о восстании Степана Разина*, Ленинград, 1968, 157–164.

ДАВИД 1968

Давид И., “Современное состояние Великой России или Московии”, пер. с лат. А. В. Флоровского, Ю. Е. Копелевич, подгот. к публ. А. С. Мыльников, *Вопросы истории*, 3, 1968, 92–97.

ДЖЕНСЕН, МАЙЕР 2016

Дженсен К., Майер И., *Придворный театр в России XVII века. Новые источники*, Москва, 2016.

КОЙЭТТ 1900

Койэтт Б., *Посольство Кунраада фан-Кленка к царям Алексею Михайловичу и Феодору Алексеевичу*. = *Voyagie van den Heere Koenraad van Klenk, Extraordinaris Ambassadeur van haer Ho: Mo: aen Zyne Zaarsche Majesteyt van Moscovien*, пер. и примеч. А. В. Ловягина, С.-Петербург, 1900.

КУРЦ 1912

Курц Б., “Донесения Родеса и архангельско-балтийский вопрос в половине XVII в.”, *Журнал Министерства народного просвещения. Новая серия*, 38 (март), 1912, 72–105.

——— 1914

Курц Б. Г., *Состояние России в 1650–1655 гг. по донесениям Родеса*, Москва, 1914.

МАНЬКОВ 1968

Маньков А. Г., ред., *Записки иностранцев о восстании Степана Разина*, Ленинград, 1968.

——— 1975

Маньков А. Г., ред., *Иностранные известия о восстании Степана Разина. Материалы и исследования*, Ленинград, 1975.

НЕКЛЮДОВ 2014

Неклюдов С. Ю., “Фольклорный Разин: аспект демонологический”, in: *In Umbra: Демонология как семиотическая система*. Альманах, Москва, 2014, 237–274.

ПОПОВ 1857

Попов А. Н., *История возмущения Стеньки Разина*, Москва, 1857.

ПОПОВ 1961

Попов М. Я., “О месте казни и погребения С. Т. Разина”, *Вопросы истории*, 8, 1961, 208–212.

РЕЙТЕНФЕЛЬС 1997

Рейтенфельс Я., “Сказания светлейшему герцогу Тосканскому Козьме Третьему о Московии”, in: А. Роде, А. Мейерберг, С. Коллинс, Я. Рейтенфельс, *Утверждение династии*, Москва, 1997, 231–406.

РОВИНСКИЙ 1891

Ровинский Д. А., *Материалы для русской иконографии*, 12, С.-Петербург, 1891.

СМЕНЦОВСКИЙ 1932

Сменцовский М. Н., “К истории казни Степана Разина”, *Каторга и ссылка*, 3, 1932, 129–136.

СОЛОВЬЕВ 1991

Соловьев В. М., *Современники и потомки о восстании С. Т. Разина*, Москва, 1991.

СТРЕЙС 1935

Стрейс Я., *Три путешествия*, пер. Э. Бородиной, ред. А. Морозова, Москва, 1935.

СУМАРОКОВ 1774

Сумароков А. П., *Сокращенная повесть о Стеньке Разине*, С.-Петербург, 1774.

## ШАМИН 2011

ШАМИН С. М., *Куранты XVII столетия. Европейская пресса в России и возникновение русской периодической печати*, Москва, С.-Петербург, 2011.

## ШВЕЦОВА 1959

ШВЕЦОВА Е. А., сост., *Крестьянская война под предводительством Степана Разина. Сборник документов*, 2/2, Москва, 1959.

## ——— 1962

ШВЕЦОВА Е. А., сост., *Крестьянская война под предводительством Степана Разина. Сборник документов*, 3, Москва, 1962.

## ЯКУБОВ 1897

ЯКУБОВ К. И., "Россия и Швеция в первой половине XVII века", *Чтения в Императорском Обществе Истории и Древностей Российских при Московском университете*, 182/3, 1897, I-X, 1-240.

## DROSTE, MAIER 2018

DROSTE H., MAIER I., "Christoff Koch (1637–1711) — Sweden's Man in Moscow," in: S. G. BRANDTZÆG, P. GÖRING, C. WATSON, eds., *Travelling Chronicles: News and Newspapers from the Early Modern Period to the Eighteenth Century*, Leiden, Boston, 2018.

## GOL'DBERG 1970

GOL'DBERG A. L., "Deutsche Quellen des 17. Jahrhunderts über Stepan Razin," in: H. GRASSHOFF, U. LEHMANN, Hrsg., *Studien zur Geschichte der russischen Literatur des 18. Jahrhunderts*, Berlin, 1970, 209–232.

## GOTTFRIED 1700

GOTTFRIED J. L., *Omstandigh vervolgh op Joh. Lodew. Gottfrieds Historische kronyck, of algemeene historische gedenk-boeken der voornaemste uytgeleesenste weereldlycke en kercklycke geschiedenissen. . .*, 2, Leiden, 1700.

## IMHOF 1701

IMHOF A. L., von, *Neu-eröffneter Historischer Bilder-Saal, Das ist: Kurtze, deutliche und unpassionirte Beschreibung Der Historiae Universalis. . .*, 5, Nürnberg, 1701.

## KÖRBER 2016

KÖRBER E.-B., *Messrelationen. Geschichte der deutsch- und lateinischsprachigen "messentlichen" Periodika von 1588 bis 1805* (= Presse und Geschichte — Neue Beiträge, 92), Bremen, 2016.

## MAIER 2017

MAIER I., "How Was Western Europe Informed about Muscovy? The Razin Rebellion in Focus," in: S. FRANKLIN, K. BOWERS, eds., *Information and Empire: Mechanisms of Communication in Russia, 1600–1850*, Cambridge, 2017, 113–151.

## PEACEY 2016

PEACEY A., "'MY FRIEND THE GAZETIER': DIPLOMACY AND NEWS IN SEVENTEENTH-CENTURY EUROPE," in: J. RAYMOND, N. MOXHAM, eds., *NEWS NETWORKS IN EARLY MODERN EUROPE* (=THE HANDPRESS WORLD, 35), LEIDEN, 2016, 420–442.

## RAUCH 1952

RAUCH G., VON, "Moskau und der Westen im Spiegel der schwedischen diplomatischen Berichte der Jahre 1651–1655," *Archiv für Kulturgeschichte*, 34, 1952, 22–66.

## KOLLMANN 2012

KOLLMANN N. S., *Crime and Punishment in Early Modern Russia*, Cambridge (MA), 2012.

## WELKE 1976

WELKE M., "Rußland in der deutschen Publizistik des 17. Jahrhunderts (1613–1689)," *Forschungen zur osteuropäischen Geschichte*, 23, Berlin, 1976, 105–276.

## References

- Anisimov E. V., *Dyba i knut. Politicheskii sysk i russkoe obshchestvo v XVIII veke*, Moscow, 1999.
- Buganov V. I., "‘Rozysknoe delo’ Stepana Razina," *Otechestvennaia istoriia*, 1, 1994, 28–42.
- Buganov V. I., *Razin i razintsy. Dokumenty, opisaniiia sovremennikov*, Moscow, 1995.
- Droste H., Maier I., "Christoff Koch (1637–1711) – Sweden’s Man in Moscow," in: S. G. Brandtzæg, P. Goring, C. Watson, eds., *Travelling Chronicles: News and Newspapers from the Early Modern Period to the Eighteenth Century*, Leiden, Boston, 2018.
- Gol’dberg A. L., "K istorii soobshcheniia o vosstanii Stepana Razina," in: A. G. Man’kov, red., *Zapiski inostrantsev o vosstanii Stepana Razina*, Leningrad, 1968, 157–164.
- Gol’dberg A. L., "Deutsche Quellen des 17. Jahrhunderts über Stepan Razin," in: H. Grasshoff, U. Lehmann, Hrsg., *Studien zur Geschichte der russischen Literatur des 18. Jahrhunderts*, Berlin, 1970, 209–232.
- Jensen C., Maier I., *Pridvornyi teatr v Rossii XVII veka. Nove istochniki*, Moscow, 2016.
- Kollmann N. S., *Crime and Punishment in Early Modern Russia*, Cambridge (MA), 2012.
- Körber E.-B., *Messrelationen. Geschichte der deutsch- und lateinischsprachigen "messentlichen" Periodika von 1588 bis 1805* (= Presse und Geschichte – Neue Beiträge, 92), Bremen, 2016.
- Maier I., "How Was Western Europe Informed about Muscovy? The Razin Rebellion in Focus," in: S. Franklin, K. Bowers, eds., *Information and Empire: Mechanisms of Communication in Russia, 1600–1850*, Cambridge, 2017, 113–151.
- Man’kov A. G., red., *Zapiski inostrantsev o vosstanii Stepana Razina*, Leningrad, 1968.
- Man’kov A. G., red., *Inostrannye izvestiia o vosstanii Stepana Razina. Materialy i issledovaniia*, Leningrad, 1975.
- Nekliudov S. Iu., "Fol’klorny Razin: aspekt demonologicheskii," in: *In Umbra: Demonologiiia kak semioticheskaiia sistema. Al’manakh*, Moscow, 2014, 237–274.
- Peacey A., "‘My Friend the Gazetier’: Diplomacy and News in Seventeenth-Century Europe," in: J. Raymond, N. Moxham, eds., *News Networks in Early Modern Europe* (=The Handpress World, 35), Leiden, 2016, 420–442.
- Popov M. Ia., "O meste kazni i pogrebeniia S. T. Razina," *Voprosy istorii*, 8, 1961, 208–212.
- Rauch G., von, "Moskau und der Westen im Spiegel der schwedischen diplomatischen Berichte der Jahre 1651–1655," *Archiv für Kulturgeschichte*, 34, 1952, 22–66.
- Shamin S. M., *Kuranty XVII stoletii. Evropeiskaia pressa v Rossii i vozniknovenie russkoi periodicheskoi pechati*, Moscow, St. Petersburg, 2011.
- Shvetsova E. A., sost., *Krest’ianskaia voina pod predvoditel'stvom Stepana Razina. Sbornik dokumentov*, 2/2, Moscow, 1959.
- Shvetsova E. A., sost., *Krest’ianskaia voina pod predvoditel'stvom Stepana Razina. Sbornik dokumentov*, 3, Moscow, 1962.
- Smentsovskii M. N., "K istorii kazni Stepana Razina," *Katorga i ssylka*, 3, 1932, 129–136.
- Solov'ev V. M., *Sovremenniki i potomki o vosstanii S. T. Razina*, Moscow, 1991.
- Welke M., "Rußland in der deutschen Publizistik des 17. Jahrhunderts (1613–1689)," *Forschungen zur osteuropäischen Geschichte*, 23, Berlin, 1976, 105–276.

## Acknowledgements

Riksbankens jubileumsfond, The Swedish Foundation for Humanities and Social Sciences.  
Project No. RFP12-0055:1

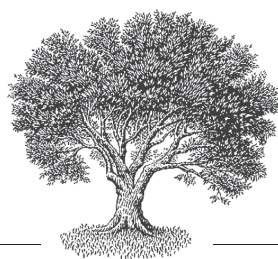
## Gleb Kazakov

Akademischer Mitarbeiter, Internationales Graduiertenkolleg 1956  
„Kulturtransfer und ‚kulturelle Identität‘ — Deutsch-russische Kontakte im europäischen Kontext“, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg  
Stadtstraße 5, D-79085 Freiburg  
Deutschland/Germany  
gleb.kazakov@gmail.com

## Ingrid Maier, fil. dr.

Professor i ryska, Uppsala universitet, Institutionen för moderna språk  
Box 636, SE — 751 26 Uppsala  
Sverige/Sweden  
Ingrid.Maier@moderna.uu.se

Received October 10, 2016



Псалтирь на  
церковнославянском,  
греческом и  
польском языках из  
библиотеки  
Симона Азарьина

The Book of Psalms  
in the Church  
Slavonic, Greek, and  
Polish Languages  
from Simon Azarjin's  
Library

**Елена Александровна  
Целунова**

Институт отельного бизнеса  
Прага, Чехия

**Jelena A. Celunova**

Institute of Hospitality Management  
Prague, Czech Republic

Резюме

Статья посвящена исследованию рукописной Псалтири первой половины XVII века из книжной коллекции Симона Азарьина. Псалтирь написана интерлинеарно на трех языках: церковнославянском, греческом и польском. Наличие польского текста в православной псалтири делает этот памятник уникальным. Целью исследования является выяснение того, кем и с какой целью эта Псалтирь была создана. Отсутствие предисловия и каких-либо указаний об авторе, времени и месте создания перевода заставляет обратиться к косвенным данным, а именно — к текстологическому исследованию и к анализу церковнославянского и польского языков рукописи. Текстологическое исследование церковнославянского текста Псалтири выявило его соответствие дониконовским текстам, а анализ польского текста позволяет утверждать, что автор пользовался католической Библией Леополиты 1561 года, подвергая ее сильной редакции — как текстологической, так и языковой. Анализ внесенных в польский текст и язык изменений позволяет предположить, что автором рукописи мог быть выходец из Западной Руси, при этом сам текст был скорее всего создан в Троице-Сергиевом монастыре.



Стремление приспособить польский текст к церковнославянскому свидетельствует о том, что трезычная псалтирь могла быть создана для жителей бывших территорий Великого княжества Литовского, конвертирующихся из католицизма или из унии в православие. Польский текст в этом случае был нужен именно для того, чтобы будущий православный верующий понимал церковнославянский язык богослужения.

#### Ключевые слова

псалтирь, перевод, церковнославянский язык, польский язык, интерлинейный текст, Троице-Сергиев монастырь, Симон Азарьин

#### Abstract

This article is devoted to research on the Book of Psalms manuscript written in the first half of the 17th century from Simon Azarjin's book collection. The Book of Psalms is written inter-linearly in three languages: Church Slavonic, Greek, and Polish. The availability of the text in Polish in the Orthodox psalms makes this memorable text unique. The research concentrates on the clarification of the aim that led to the creation of the Book of Psalms. The lack of a preface or any other evidence of its author, time, or place of its translation forces us to turn to indirect facts, namely, to research of the textological character and to an analysis of Church Slavonic and Polish texts. Textological research of the Church Slavonic edition of the Book of Psalms reveals its similarity with pre-Nikonian texts and the analyses of the text in Polish allows us to affirm that the author had used the Catholic Leopolita's Bible in 1561, exposed it to a profound edition—both textological as well as linguistic. The analysis of the inserted changes into the text in Polish and the alternated language itself enables us to assume that the author of the manuscript might have been a native from West Russia, while the text itself had probably been created in the Trinity Monastery of St. Sergius. The efforts aimed at adaptation of the Polish text into the text in Church Slavonic prove that the tri-lingual Book of Psalms might have been created for the inhabitants of the previous territories of Great Principality of Lithuania who converted from the Catholic Church or from the Greek Catholic into the Orthodox Church. The text in Polish had thus been needed especially for those believers practicing the Orthodox religion in order to understand the Church Slavonic language of worship.

#### Keywords

Book of Psalms, translation, Church Slavonic language, Polish language, inter-linear text, Trinity Monastery of St. Sergius, Simon Azarjin

Предметом настоящего исследования является малоизвестная в научном сообществе рукопись из библиотеки Симона Азарьина, хранящаяся в рукописном собрании Российской государственной библиотеки и доступная в электронной фотокопии на сайте Троице-Сергиевой лавры [ЛсСА]. В описи эта книга озаглавлена как “Псалтирь на славяно-греческом и польском языках”, но, поскольку титульного листа у рукописи

нет, ее исконное название неизвестно. Эта рукописная книга представляет собой Псалтирь, написанную интерлинеарно на трех языках: сначала идет строка с текстом на церковнославянском (далее — цсл.) языке, под ней тот же текст на греческом языке, а под ним на польском. Греческий и польский тексты являются подстрочным переводом цсл. текста Псалтири. В данной структуре можно найти отступления, о которых будет сказано ниже. Рукопись была коротко описана наместником Троице-Сергиевой лавры архимандритом Леонидом (Кавелиным) [1883: 7–8].

Размер рукописи в лист, текст написан на 239 листах, в начале и в конце находятся пустые листы (восемь в начале и пять в конце). Первоначальная нумерация листов не сохранилась, настоящая полистовая карандашная нумерация относится к более позднему времени и принадлежит, скорее всего, архимандриту Леониду (Кавелину), просматривавшему рукопись и делавшему в ней отметки карандашом.

Рукопись написана на бумаге иностранного производства. На филигранях изображен “рог изобилия” в гербовом щите, под которым написаны литеры MIENVFRIN<sup>1</sup>. Датировка рукописи по водяным знакам — 1642–1647 гг. [Дианова, Костюхина 1980: 134, № 1147].

Книга написана чернилами, при этом цсл. текст написан полууставом XVII века, греческий текст — курсивом, а польский текст — польской разновидностью готического шрифта. Цсл. текст рукописи написан более темными чернилами, что визуально его выделяет. Начальные буквы цсл. текста псалмов отсутствуют — вероятно, предполагалось дописать их чернилами или киноварью другого цвета. Книга переплетена, сохранились две застёжки. На первом пустом листе находится запись, сделанная чернилами скорописью XVIII века: “Псалтырь на славенскомъ греческомъ и польскомъ языкахъ” и несколько владельческих номеров. Владельческие номера были поставлены в Троице-Сергиевой Лавре и соответствуют номеру этой рукописной книги по проводившимся в лавре описям<sup>2</sup>.

По нижнему полю рукописи (далее — *ПсСА*), начиная с первого листа, через лист написана вкладная запись следующего содержания:

ЛѢТА | ЗОРОГ | ДА | В ДО | жи|вѡ|на|чѢ|ныѣ | Трѣцы | в' Се|ргіе|евъ | мнѣрь | сию | кнѣзѣ |

<sup>1</sup> Выражаю глубокую благодарность Т. М. Мосоловой и О. Стариковой за помощь в определении филиграней рукописи.

<sup>2</sup> Следует отметить, что в самом раннем после поступления книги в Троице-Сергиеву лавру монастырском учете, сделанном в 60-е годы XVII в., в перечне вкладных книг, оставленных Симоном Азарьиным, рукопись озаглавлена как “Книга на трех языках, в десять, письменная” и фигурирует под номером 1 (А) [Клитина 1979: 308]. Надпись Глава ѱѣд (769) соответствует описи лаврской библиотеки 1723 года, номера Глава рѣг (143), 3037, зачеркнутые номера № 142 и № 24 также, вероятно, являются номерами монастырского учета второй половины XVIII и XIX веков.

Следует отметить несколько характерных текстологических особенностей рукописи ПсСА. Псалмы в ней не делятся на стихи, а идут сплошным текстом. При этом визуально трудно определить, где заканчивается один псалом и начинается другой, поскольку каждый лист целиком занят текстом на трех языках, а на полях находятся вставки пропущенного текста и отдельных слов (возможно, что для визуального отделения псалмов предполагалось использовать чернила другого цвета, но этот замысел не был приведен в исполнение). Как уже отмечалось, рукопись написана на трех языках, и под каждой строкой, написанной на цсл. языке, следует ее перевод сначала на греческий, а потом на польский язык. Хотя цсл. текст написан полууставом без разбивки на слова, создатель рукописи явно старался там, где это возможно, приводить греческие и польские слова строго под их цсл. оригиналом, делая даже те же переносы слов. Однако, начиная со второго псалма, мы находим перед каждым псалмом краткое изложение содержания этого псалма (без разбивки на стихи), но только на польском языке. Известно, что такого рода комментарии к псалмам (так называемые аргументы) были характерны для польских текстов Псалтири, но в православной церкви были не приняты, в силу чего они отсутствуют в цсл. и греческой Псалтири<sup>3</sup>.

2017 №2 Slovëne

На л. 3об. после окончания 3-го псалма в польском тексте читаем: “Chwała oycu y synowi y Duchowi .ŝ. Ninie y zawždy y na wieki wiekow. Amen. Alleluia Alleluia<sup>4</sup> Chwała tobie Boże. 3 kroć. Panie zmiluysie, 3 kroć. chwała oycu y Ninie: &c. tak maś mowic za kaźdu słwu [и исправлено на *a*. — *Е. Ц.*]. y kaphisma”. Это замечание присутствует только в польском тексте<sup>5</sup> и соответствует Уставу чтения Псалтири на православном богослужении, в котором говорится, что на Славах следует произносить: “Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия. Слава Тебе, Боже (трижды). Господи, помилуй (трижды). Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь”. В цсл. и греческом текстах это замечание отсутствует. Аналогичные указания встретились в польском тексте ПсСА еще несколько раз: на л. 6об. в конце 7-го псалма написано “Alleluia 3 kroć”; на лл. 42об., 49, 53, 59об., 106об., 175 в конце псалмов 36, 39, 42, 45, 73, 108 написано “Chwała”; на лл. 18, 96об., 171 в конце 17, 69, 106 псалма “Chwała oycu”; на л. 20об. после 20 псалма “Chwała oycu y synu”; на лл. 88об., 92, 163об., 181, 200об. после псалмов 66, 67, 104, 114, 123 Chwała oycu y synu y Duchowi .ŝ.”.

118-й псалом, составляющий 17-ю кафизму, разделен в соответствии с православной традицией на три части (“Славы”), озаглавленные как “statia ·ā, στάσις α, statia pierwsza” [190], “statia ·β, στάσις β, statyia wtora” [191об.], “statia ·γ, στάσις γ”, польское заглавие отсутствует [194об.], а также в соответствии с еврейской традицией делится на части, каждая из которых озаглавлена буквой еврейского алфавита. Однако в тексте находим только 18 буквенных обозначений вместо 22 (*Gimel, Daleth, He, Wau, Zain, Heth, Teth, Lame[d], Mem, Nun, Samech, Ain, Phe, Sadic, Koph, Resz, Shin, Thau*), остальные писец забыл написать или же они были срезаны при переплете книги.

---

отметить наличие аргументов в другом библейском тексте — в двух греческо-церковнославянских рукописях Нового Завета, созданных в последней трети XVII в. справщиками Московского Печатного двора в процессе работы над новым переводом Библии. Источником аргументов является польский Новый Завет Якуба Вуйка 1593 г., а также еще какой-то, пока не установленный, новозаветный текст [Пентковская 2016б: 194].

<sup>4</sup> Так называемое “сугубое” повторение слова аллилуйя характерно для богослужебных текстов, написанных до реформ патриарха Никона. “Сугубая” аллилуйя свидетельствует о написании рукописи в дониконовскую эпоху.

<sup>5</sup> Польская формулировка молитвы *ninie y zawždy y na wieki wiekow. amen* встречается и в других памятниках письменности, напр., в произведениях Петра Скарги [SlP XVI 18: 399] или в изданной в Кракове в 1532 г. Псалтири, где эта молитва является восьмым стихом первого псалма, а потом повторяется (часто в сокращенном виде) после окончания некоторых других псалмов: “Chwała oycu i sinu y duchu swietemu. iako była na początku y ninie y zawždy y na wieki wiekom. Amen” [P1532 1: 8].

Еще одной текстологической особенностью *ПсСА* является то, что она содержит 151-й псалом. Этот псалом [*ПсСА*, л. 223] и следующие за ним избранные песни [*ПсСА*, л. 223об.–237об.] подстрочно переведены только на греческий язык, но при этом под греческим текстом оставлены пропуски, позволяющие предполагать, что и их тоже собирались перевести на польский язык. На л. 238–238об. находится Песнь Пресвятой Богородице “Величит душа моя господа” на четырех языках: цсл., греческом, латинском и польском. После ее окончания на л. 238об.–239об. Песнь Захарии — опять только по-церковнославянски и по-гречески. Рукопись заканчивается кратким текстом на греческом языке.

Рукопись *ПсСА* представляет интерес прежде всего тем, что в ней наряду с цсл. и греческим текстом Псалтири находится польский текст. Если славяно-греческие интерлинейрные тексты Псалтири в рукописных собраниях XVII века хотя и редко, но встречаются<sup>6</sup>, то наличие польского текста делает эту рукопись уникальной. В XVII веке в Московской Руси был замечен интерес к переводу текстов священного писания с польского на цсл. язык. Так, известно, что польская Библия Якуба Вуйка 1599 года стала источником для перевода на цсл. язык книги Иова, выполненного монахом Чудова монастыря Моисеем в 1671 году [Исаченко 2002; Пентковская 2016а], к польским текстам — прежде всего к библии Вуйка — обращались во второй половине XVII века справщики Московского Печатного двора при переводе на цсл. язык Нового Завета [Пентковская 2016б], а московский книжник Авраамий Фирсов при переводе Псалтири на “простой обыклои словенской” язык обращался сразу к трем польским текстам Псалтири — из Библии Вуйка 1599 г., из Брестской Библии 1563 г. и из Гданьской Библии 1632 г. [Целунова 2006]. Тем не менее, случаев перевода текста Священного писания с цсл. на польский язык в Московской Руси того времени не известно<sup>7</sup>.

В связи с этим возникает вопрос, является ли польский текст *ПсСА* переводом с цсл. или же был целиком позаимствован из какой-то польской Псалтири. Наличие в польском тексте *ПсСА* аргументов к псалмам

<sup>6</sup> Две интерлинейрные славяно-греческие рукописные Псалтири находятся в собрании Московской духовной академии [*Пс8*; *Пс9*], причем первая из них также принадлежала Симону Азарьину. Обе рукописи были созданы в Троице-Сергиевом монастыре в первой трети XVII века в связи с работой по сохранению наследия Максима Грека, которая велась под руководством архимандрита Дионисия Зобнинского [Вернер 2017: 41], и обнаруживают определенное текстологическое и языковое сходство. Сближает их также то, что в обеих рукописях греческий текст написан кириллическими буквами.

<sup>7</sup> В то же время такого рода переводы в это время встречаются в Юго-Западной Руси. Например, в 1638 г. в Евье была издана переведенная с цсл. языка на польский Псалтирь, в которой начальные стихи каждого псалма написаны на цсл. языке [Сопиков 1813: 280, № 1737; Ундольский 1871: 57, № 461; Книга Белоруссии 1986: 107, № 129].



заставляет искать польский источник прежде всего среди тех библейских текстов, которые содержат аргументы. Таких библий несколько: это уже упоминавшиеся католическая Библия Якуба Вуйка 1599 г. [B99], протестантская Брестская Библия 1563 г. [B63] и Библия Шимона Будного 1572 г. [B72], а также Псалтирь Врубеля 1528 г. [PV], Псалтирь Миколая Рея 1548 г. [PR] и Библия Леополиты 1561 г. [BL]. Текстологическое сравнение всех перечисленных польских источников с аргументами к псалмам польского текста *ПсСА* позволяет однозначно утверждать, что польским источником рукописи является католическая Библия Леополиты 1561 г.<sup>8</sup>

Приведем несколько примеров перевода аргументов в *Таблице 1*<sup>9</sup>:

Таблица 1

№ пс.	<i>ПсСА</i>	Библия Леополиты
7	Ten psalm iest o newim (исправлено: nn)ości pána jezusa, y o iego w niebo wstąpieniu, który spiewał p. Dáwid: a sa słowá chuzy syna iemini [5].	Ten Psalm iest o niewinności Páná Jezusa y o iego w Niebo wstąpieniu, który spiewał Pánu Dawid a sa słowá Chuzy syna Jemini [528].
53	Uczy Prorok człowieká sprawiedliwego, aby w przeciwniństwach umiał chwálic Bogá [71об.].	Uczy Prorok człowieka sprawiedliwego / aby w przeciwnościach umiał chwálic Bogá [548].
129	Modlitwa osobliwa káiacego sie á pokutuiacego człowieká, który prosi áby go pán wolnym od grzechow uczynił [203].	Modlitwá osobliwa káiacego sie á pokutuiacego człowieká / który prosi áby go Pan wolnym od grzechow uczynił [582].

Дальнейший текстологический анализ подтвердил, что автор *ПсСА* обращался к тексту Псалтири из Библии Леополиты, постоянно сверяя его с цсл. текстом и оставляя без изменения только те фрагменты, которые т е к с т у а л ь н о совпадали с цсл. Псалтирью, и изменяя порядок слов, отдельные слова и фразы, а также опуская некоторые фрагменты в тех случаях, когда этого требовал текст цсл. Псалтири. Такой творческий

<sup>8</sup> Библия Леополиты (далее — *BL*) является первой полной католической Библией на польском языке. Первое издание вышло в Кракове в 1561 г., в 1575 г. вышло второе издание, а в 1577 г. — третье. В 1579 г. отдельно была переиздана Псалтирь. “Леополита” — имя редактора Библии Яна Леополиты, профессора Краковской академии, знавшего латинский, греческий и древнееврейский языки. Редактируя перевод Библии, он пользовался не только Вульгатой, но также греческим текстом и чешской Библией 1549 г. [FRISK 1989: 51–66; RYTKIEWICZ 2002: 215–230]. Это пока единственный известный нам случай, когда Библия Леополиты была использована русскими книжниками для перевода.

<sup>9</sup> Здесь и далее при передаче старых текстов мы старались придерживаться орфографии оригиналов, иногда ее немного упрощая и сохраняя при этом все надстрочные знаки, кроме знаков ударения и придыхания. В скобках указывается лист рукописи *ПсСА* или страница из Библии Леополиты.

подход к исходному польскому тексту из Библии Леополиты позволяет считать, что перед нами перевод цсл. текста Псалтири на польский язык, явившийся результатом редакции исходного текста из Библии Леополиты. Для иллюстрации приведем в *Таблице 2* текст 10-го псалма из *ПсСА* (приводится только цсл. и польский тексты, греческий текст не является предметом настоящего исследования) и из Библии Леополиты<sup>10</sup>.

Таблица 2

[9об.–10] (1) В концеѣ. Ѹѡмѣ Дѣдѣѣ. ꙗ
(1) <i>Psalm Dawidow 10.</i> <i>Vczy prorok odpierać kaćerom ktorzy vsiuią. wiernego w niewierność swą przewrocić.</i>
(1) Psalm Dawidow 10. Vczy Prorok odpierać kaćerzom /kthorzy vsiuią. wiernego w niewierność swą przewrocić.
(1) [N]а ꙗ оуповаѣ. како речеѣѣ дѣши мои. превитан по горамѣ ꙗко птица.
(2) <i>W pane duffanie tam iakoż wy mowicie duŝy moiey / przenieś sie na gory iako wrobl,</i>
(2) W Panie swym duffanie mam: iakoż wy mowicie dussy moiey /przenieś sie na gorę iako wrobl.
(2) ꙗко се грѣшници налагоша лѣкѣ. оуготоваша стрѣлы въ тѣлѣ. сострѣлати во мрѣцѣ правыа сѣцемѣ.
(3) <i>boć oto grzeŝnicy wyciagnuли łuk / nagotowali strzały swe w saydak / aby postrzelali z cienia / tych ktorzy su vprzeymego serca.</i>
(3) Boć oto grzessnicy wyciągnęli łuk: nagotowali wssystkie strzały w tule swoim / aby postrzelili serca prawych z cienia.
(3) зане ꙗже ты соверши, они разрѣшиша. праведник же что сотвори.
(4) <i>abowem coś ty był sprawił. oni skażili / sprawiedliwy co uczynił:</i>
(4) abowem coś thy był sprawił. oni skażili: a sprawiedliwy człowiek co uczynił:
(4) ꙗ въ цркви сѣѣи своѣи. ꙗ на нѣси престолѣ его. очи его, на ницаго призираетѣ вѣжди его испытаетѣ сны члѣвскѣа.
(5) <i>pan w Cerkwie Swietey swoiey / pan w niebiesiech stolica ie oczý iego na vbogiego patrza /, powiek iego pytaia synow ludzkich.</i>
(5) Pan w kościele świętym swoim: Pan w niebiesiech stolica iego. Oczy iego zawżdy na vbogiego patrzą: powieki oczu iego pytaią synow ludzkich.
(5) ꙗ испытатѣ праведнаго и нечестиваго любан же неправдѣ, ненавидитѣ свою дѣлѣ.
(6) <i>pan pyta prawe° y nieprawego / ale kto sie kocha we złości / nienawidzi swoiey duŝe.</i>
(6) Pan pyta prawego y nieprawego: ale ten kthory sie we złości kocha: nienawidzi dusse swoiey.
(6) одождѣ на грѣшники сѣѣи. огонь, и жѣпелѣ, ꙗ дѣхѣ вѣренѣ чаетѣ чаша ихѣ.

<sup>10</sup> Тексты даны в следующей последовательности: цсл. текст *ПсСА* (с нумерацией стихов согласно Септуагинте), затем выделенный курсивом польский текст из *ПсСА*, а под ним текст из Библии Леополиты (нумерация стихов польской Библии следует Вульгате). В первых двух строках дается текст аргументов, поэтому цсл. текст отсутствует.

(7) <i>Spuści na grzeŝniki siđła iako deŝcz / ogieñ y ŝiarku / y wiatry nawalnoŝci / cząstka kielicha ich.</i>
(7) Spuści na grzeŝniki siđła iako desscz / ogieñ y ŝiarkę / y wiatry nawalnoŝci (a tho będzie) cząstka kielicha a trapienia ich.
(7) ІАКО ПРАВЕДЕНЪ ГЪ И ПРАВДЫ ВОЗЛЮБИ. ПРАВАА ВИДѢ ЛИЦЕ ЕГО. СЛАВА
(8) <i>Boć sprawiedliwy pan / a sprawiedliwość miłue / vprzeymość rado widźi oblicze iego. chwała</i>
(8) Boć sprawiedliwy / a nic niema miłszego nad sprawiedliwość vprzeymość rado widźi oblicze iego.

Приведенное сравнение демонстрирует как факт обращения автора рукописи к тексту Библии Леополиты, так и характер внесенных изменений.

Внесенные в текст ВЛ изменения можно классифицировать следующим образом: (1) сокращение текста (см. *Таблицу 3*); (2) изменение порядка слов в тексте (см. *Таблицу 4*); (3) изменение грамматических и синтаксических форм (см. *Таблицу 5*); (4) лексические замены; (5) новый перевод фрагмента текста (см. *Таблицу 6*). Чаще всего встречается комбинация замен. Лексические замены мы разберем отдельно, а ниже в таблицах приведем примеры всех остальных изменений, внесенных автором в польский текст Псалтири из Библии Леополиты.

*Таблица 3*

цсл. текст ПсСА [№ псалма, лист]	пол. текст ПсСА	Библия Леополиты
[ПсСА, 94, л. 146об.] ІАКО КЛАХСА ВО ГНѢВѢ МОЕМЪ	<i>iakom przysiągł w gniewie moim</i>	[566] iakom przysiągł na ten czas gdym sie gniewał
[ПсСА, 146, л. 220] БЛГОВОЛІ ГЪ НА БОАЦИХСА ЕГО	<i>upodobanie pańskie iest nad temi ktorzy sie boia go</i>	[588] upodobanie a kochanie Pańskie iesth nad tymi co sie go obawiają
[ПсСА, 31, л. 32] В ПОТОПѢ ВОДЪ МНОГИХЪ	<i>w potopie wod wielkich</i>	[538] w pothopie nawalności wod wielkich

*Таблица 4*

цсл. текст ПсСА [№ псалма, лист]	пол. текст ПсСА	Библия Леополиты
[ПсСА, 43, 54об.] ДАДЪ ЕСИ НАС ІАКО ОВЦА СНѢДИ	<i>Dajeś nas iakoby owce na pokarm</i>	[544] Dajeś nas i na pokarm akoby owce
[ПсСА, 2, 2] ТОГДА ВОЗГЛЕТЪ К НИМЪ ГНѢВОМЪ СВОИМЪ	<i>a tedy do nich mowic budzie w gniewie swoim</i>	[527] a thedy w gniewie swoim do nich mowić będzie
[ПсСА, 6, 4об.] ГРОБЪ ОТВЕРСТЪ ГОРТАНЬ ИХЪ	<i>Grob otworzony iest gardło ich</i>	[528] Garło ich iest iako grob otworzony

Таблица 5

цсл. текст ПсСА [№ псалма, лист]	пол. текст ПсСА	Библия Леополиты
[ПсСА, 16, 13об.] оуслыши	<i>wysłuchay</i>	[531] racz wysłysseć
[ПсСА, 79, 119об.] ѿвѣса предъ ефреѣмомъ и венѣаминѣ и манасѣем	<i>okaż sie przed ieffraimē / beniaminem / manassem</i>	[560] okaż sie przed Effraim/ Beniamin y Manasse
[ПсСА, 88, 134] блжени людѣ въдѣщеніи воскликновѣніе	<i> błogosławiony lud umie spiewanie</i>	[563] błogosławiony lud który umie chwałę (czynić Panu)

Таблица 6

цсл. текст ПсСА [№ псалма, лист]	пол. текст ПсСА	Библия Леополиты
[ПсСА, 34, 36об.] и на ма возвеселишася	<i>oni naprzeciw mnie wveselili sie</i>	[540] oni na złość mnie wesela stroili
[ПсСА, 103, 158об.] насытатся древа польскаа. кедры ливанѣстїи и хже еси насадилъ	<i>budu nasycone drzewa polne y cedry Libanskie ktore wśczępił</i>	[569] przyciągną k sobie wilgość hoynie drzewa polne: y Cedrowie Libańskie ktore wśczępił
[ПсСА, 50, 67] ѿко беззаконїе моє азъ знаю	<i>boć ia znam złość moie</i>	[547] Boć ia uznawam sprosność nieprawości moiey

Особо следует отметить случаи “двойного” перевода цсл. текста, когда переводчик кроме переведенного текста в строке приводит еще один перевод над строкой. Такие пояснения могут касаться как польского текста (в этом случае над словами польского текста появляются пояснения на цсл. языке), так и цсл. текста (в этом случае пояснения на цсл. языке даются над словами цсл. текста, т. е. по существу происходит правка цсл. текста), напр.: ѿрѣвши дѣшѣ мою — *odpuďzař prořbu* (мѣтѣшѣ) *moie* [132]; вселеннѣю и концы (полность) ея — *okrug źemie y pelnoř ieu* [133об.]; и лѣта ихъ со тѣщанїемъ — *y lata ich barzo* (сѣло) *spieřnie* (спѣшны) [114]; бл҃говоли г҃ъ на боащихъ его — *upodobanie* (бл҃говоленїе) *pańskie* (г҃не) *iest* (есть) *nad* (над) *temi* (тѣми) *ktorzy* (которые) *sie boia* (боатся) *go* [220] и др. Польский текст во всех этих случаях полностью взят из Библии Леополиты. Подобного рода “надстрочный” перевод встречается и в греческом тексте Псалтири, однако касается он только порядка слов, напр.: маломъ числомъ — ἀριθμῶ (числомъ) βράχεις (маломъ) [161]. Фактически это глоссы, но не на полях рукописи, а в тексте<sup>11</sup>.

<sup>11</sup> Подобный способ глоссирования (не на полях, а в тексте) характерен также для интерлинейной славяно-греческой Пс8 из собрания Московской духовной академии, также принадлежавшей Симону Азарьину [Пс8, л. 19об., 38об., 41 и др.].

Настоящее исследование рукописи *ПсСА* ставит перед собой задачу попытаться найти ответ на следующие вопросы: является ли рукопись *ПсСА* оригинальным произведением или списком с неизвестной нам рукописи, а также кем и с какой целью она была создана.

Исследователи библиотеки Симона Азарина отмечают, что большая часть его рукописной коллекции состоит из произведений, переписанных в Троицком скриптории, и что у Азарина был свой личный писец [Опарина 1998: 194–197]. На основании анализа и классификации почерков троицких рукописей были выявлены имена некоторых писцов троцкого скриптория первой трети XVII века [Кедров 1892: 11–14; Клосс 2012: 21–22]. Тем не менее рукопись *ПсСА* написана писцом, чей почерк не встречается в других рукописных книгах собрания Симона Азарина, что неудивительно, так как рукопись написана на трех языках одним писцом. То есть писец должен был знать не только цсл. и греческий языки, что, вероятно, не являлось в XVII веке в православных монастырях большой редкостью, но и польский язык. То, что рукопись написана одним писцом, определяется не только визуально. Об этом свидетельствуют также некоторые описки, в частности, написание польской буквы в цсл. тексте. Таких описок всего три (написание слова *серца* вм. *серца* на л. 82, *ѡаѡа* вм. *ѡаша* на л. 107 и *ѡсакого* вм. *всакого*<sup>12</sup> на л. 163), но они красноречиво подтверждают тот факт, что рукопись писал один писец, хорошо владевший тремя языками. В рукописи довольно часто встречаются пропуски слов и словосочетаний, дополненные тем же писцом на полях книги, зачеркивания и исправления в тексте, не дописаны начальные буквы псалмов, что дает основания полагать, что перед нами оригинальное произведение, возможно, его черновой вариант. Об этом же свидетельствует замечание на полях рукописи [103], написанное латинскими буквами по-русски: *dopisat izynoy psa. . .* (окончание фразы не сохранилось, так как края рукописи были обрезаны, но текст можно восстановить как *дописат(ь) из иной псалтири*, т. е. писец, он же автор, оставил для себя помету, предполагая позже найти в иной польской псалтири более точное соответствие цсл. тексту)<sup>13</sup>.

<sup>12</sup> Написание буквы *w* в начале этого слова можно было бы также интерпретировать как отражение белорусского произношения фонемы <в> как звука [ŭ], что нам представляется менее правдоподобным, поскольку никаких других примеров такого произношения в тексте *ПсСА* нам не встретилось, в то время как замена букв была отмечена несколько раз. К тому же написание этой буквы в этом слове абсолютно идентично написанию польской буквы *w* в этой рукописи.

<sup>13</sup> Трудно сказать, какое именно место в 72-м псалме хотел уточнить переводчик. Весь польский фрагмент этого псалма на л. 103 взят из Библии Леополиты и является достаточно точным соответствием цсл. тексту. Возможно, автора не устраивал перевод следующей цсл. фразы: *скотенъ въ оу тебе* — *stałem sie v ciebie. iako bydlu* (в BL *bidle*).



Поскольку в Псалтири нет ни предисловия, ни послесловия, в которых могла бы содержаться информация о времени, цели, писце или авторе этого произведения, атрибутировать *ПсСА* приходится на основании косвенных данных, прежде всего языковых. Особенности цсл. и польского языков рукописи, а также возможные ошибки и описки ее писца могли бы помочь с определением, в частности, того, была ли рукопись написана на великорусской или же на западнорусской территории<sup>14</sup>.

Характеризуя цсл. текст рукописи *ПсСА*, следует прежде всего отметить его соответствие дониконовским текстам Псалтири. Даже беглое сравнение этого текста с текстом старопечатной Псалтири с воследованием, изданной в Москве в 1636 году и также принадлежавшей библиотеке Троице-Сергиевой лавры [*Пс1636*], обнаруживает почти полное текстуальное сходство. В то же время для *ПсСА* характерно то, что она не разделена на кафизмы<sup>15</sup> и в ней нет однообразия в способе обозначения номера псалма. До 38-го псалма их нумерация встречается то в тексте (напр., псалмы 1–3, 6–8 и др.), то на полях (напр., 4, 5, 9, 10 и др.), то номер псалма вообще отсутствует (11 и 76), но начиная с 39-го псалма устанавливается постоянное место обозначения его номера — на полях рукописи. Это обстоятельство лишний раз свидетельствует о том, что анализируемая рукопись, скорее всего, является черновым вариантом задуманной триглотты.

Орфография цсл. текста *ПсСА* в целом соответствует нормам первой половины XVII века, но наблюдается непоследовательность в

<sup>14</sup> Сам факт наличия рукописи в библиотеке Симона Азарьина автоматически не является свидетельством того, что Псалтирь была создана в Троице-Сергиевом монастыре. Известно, что большая часть рукописного собрания Симона Азарьина была переписана в троицком скриптории [Опарина 1998: 194], но определенная часть его библиотеки была пополнена за счет книг, поступавших в казну Троице-Сергиева монастыря, келарем и казначеем которого Симон Азарьин являлся с 1634-го по 1654 г. [Клитина 1979: 302]. Так, например, несколько владельческих записей имеет рукопись *Андр151* из его собрания. Как уже отмечалось, *ПсСА* имеет семь владельческих номеров, являющихся номерами монастырского учета, но, кроме вкладной записи Симона Азарьина, другие владельческие пометы в ней отсутствуют. Можно предположить, что Симон Азарьин был первым владельцем этой рукописной книги, но можно почти полностью исключить его авторство, поскольку почерк рукописи не совпадает с многочисленными автографами Симона Азарьина, оставленными им на рукописях своего собрания. Выше уже отмечалось, что *ПсСА* является черновым оригиналом задуманной трехязычной Псалтири, из чего следует, что написана она самим автором. Для объективности все же следует отметить, что известные нам автографы Симона Азарьина представляют собой только скоропись на цсл. языке, а рукопись написана полууставом, греческим курсивом и польским готическим шрифтом, что не позволяет убедительно сравнить почерк рукописи с автографами Симона Азарьина.

<sup>15</sup> Обозначены только две кафизмы: третья на л. 14 и двенадцатая на л. 128, но и они надписаны только латинскими буквами: *Kaphisma*.

употреблении дублетных букв ѡ/ѡ, и/ї, ѡ/ѡ, ѡ/ѡ, которые часто пишутся в одних и тех же словах и позициях, напр.: ѡвлюсѡ [14об.]<sup>16</sup> и ѡвишасѡ [15об.], ѡзыкѡ [17об. и др.] и ѡзыкѡ<sup>17</sup> [18, 21об.], ѡмѡ [6], моѡ [13об.]; ѡуста [14], ѡуповаютѡ [7об.] и ѡбогихѡ [7об.], ѡбогомѡ [7об.]; вышнїи [7], повелѣнїемѡ [5об.] и честию [6об.], презриши [8об.] и помнїши [6об.], имени [7] и ї дѡхѡ [10], ми [5об.] и мї [14об.]; ѡроужїѡ [22], ѡбѡша [14], ѡдежди [21об.] и ѡроужїѡ [14], ѡгнь [20об.]. Хотя в ПсСА всюду встречается написание ѡломѡ с буквой “пси”, так же последовательно слово псалтырь пишется без этой буквы (напр., л. 32об.). Особое внимание следует обратить на многочисленные случаи написания буквы ѡ вместо ѡ в некоторых приставках и предлогах, напр.: кѡ ѡѡ [3], вѡ вѡкѡ вѡка [22], вѡсхоженїѡ [126], вѡздремлетѡ [198об.], вѡстати [200], сѡзираѡи [202об.], вѡдрѡжена [216], сѡвѡтѡ [168об., буква ѡ исправлена на ѡ]. При этом нормой для рукописи всё же является написание буквы ѡ в этой позиции (напр., вознесѡ, воспоемѡ, возвашѡ, сотвори, соверши и др.), что соответствует и печатной Псалтири с воследованием 1636 года. По наблюдениям Б. А. Успенского, написания предлогов и приставок с буквой ѡ, а не с буквой ѡ были ранее приняты в Московской Руси и соответствовали орфоэпической традиции чтения буквы ѡ как ѡ в предлогах и приставках сѡ, вѡ, кѡ и приставке вѡз, однако в XVII веке эта традиция была последовательно представлена главным образом в Юго-Западной Руси, где являлась нормой и была закреплена в грамматиках Лаврентия Зизания 1596 г. и Мелетия Смотрицкого 1619 г. В Московской Руси эта традиция начинает распространяться со второй половины XVII века в результате влияния книжной культуры Юго-Западной Руси на великорусскую книжную культуру [Успенский 1997: 165–169]. Таким образом, случаи написания буквы ѡ вместо ѡ в приставках и предлогах можно интерпретировать двояко: во-первых, как отражение старого книжного произношения, и во-вторых, как югозападнорусское влияние<sup>18</sup>. Характерно, что один раз нами было отмечено написание буквы ѡ вместо буквы ѡ в слове вѡчѡство [217об.], что также соответствует старому книжному произношению буквы ѡ как [e] (о примерах написания буквы “ерь” в суффиксах -ѡств- см.: [Успенский 1997: 169–170]).

<sup>16</sup> Здесь и далее при цитировании ПсСА в скобках указываются листы рукописи.

<sup>17</sup> Оба графических варианта ѡзыкѡ и ѡзыкѡ могут употребляться в одном и том же значении: ‘народ’ — пол. *narod* [17об., 18 и др.] или ‘орган речи’ — пол. *jezyk* [21об., 56об. и др.].

<sup>18</sup> Следует отметить, что подобные случаи написания буквы ѡ вместо ѡ в некоторых приставках и предлогах были нами отмечены также в двух уже упоминавшихся рукописных славяно-греческих Псалтирях XVII века из Троицкого собрания — Пс8 и Пс9, напр., в Пс8: вѡскѡни [19об.], вѡзлюблю [20об.], вѡсташѡ [38об.] и др.; в Пс9: сѡтвори [5], вѡстахѡ [20], вѡда [16об.] и др. Поэтому первое предположение нам кажется более вероятным.

На фоне в целом правильного цсл. языка выделяются некоторые отклонения от нормы. Это, прежде всего, девять случаев цоканья: оцысти [24об., 68, 118об.], оцыститъ [6, 114об.], оцыстиши [84об.], оцыщающаго [155об.], не оцытитса [173об.], оцыщеніе [203]. Нельзя не заметить, что все примеры цоканья отмечены только в словах с корнем чист-. Весьма знаменательно, что аналогичные случаи встретились нам также в рукописной *Пс8* (л. 35 *ицысти*, л. 101об. *оцыстиши*, л. 132об. *оцысти*, л. 137 *оцысти*, л. 8 *ицысти* — глосса к глаголу *изостритъ*, л. 82 *оцысти* глосса к глаголу *истреби*), причем все позиции с цоканьем, кроме последней глоссы, в обеих рукописях совпадают. В рукописи *Пс9* те же формы встречаются во всех позициях, кроме одной [лл. 6, 25, 71, 92, 95, 133 и 158]<sup>19</sup>. Более того, написание форм *оцысти* / *оцисти* sporadически встречается и в других рукописях, созданных в Троице-Сергиевом скриптории<sup>20</sup>, что могло бы свидетельствовать в пользу того, что исследуемая нами рукопись была создана именно здесь.

Далее в цсл. тексте *ПсСА* нам встретилось три примера аканья (*калѣна* [116], *паоучахѣса* [138об.] и *арганы* [208об.]), а также семь случаев написания русского ж вместо цсл. жд: *въсхоженіа* [126], *преже* [202об.], *оутверженіе* [14об., 16, 27об.], *оутверждаетъ* [40] и *чюжји* [17об., там же: *чюждји*]. Отметим также несколько примеров окончания -ого в Р. п. ед. ч. адъективного склонения: *всакого* [104, 115об., 163, 198об.] и *единого* [221об.], однако во всех этих случаях окончание -ого встретилось и в печатной *Пс1636*.

Как видим, цсл. текст рукописи, хотя и содержит определенные диалектные особенности, не позволяет с полной определенностью отнести ее автора и место написания к конкретной территории, однако дает основания предполагать, что рукопись могла быть написана в скриптории Троице-Сергиева монастыря.

Что касается польского текста *ПсСА*, то он предоставляет богатый материал для анализа. Как уже отмечалось, автор пользовался польским текстом Псалтири из Библии Леополиты в качестве подстрочника, часто оставляя его без изменения, но иногда внося изменения не только в его текст, но и в язык.

Пожалуй, самой яркой чертой польского языка рукописи является способ передачи носовых гласных. Несмотря на то, что автор пользовался печатным польским текстом Псалтири, в котором носовые гласные употребляются в соответствии с традициями польского языка того

<sup>19</sup> Эти интерлинейрные славяно-греческие рукописи представляют собой списки с Псалтири Максима Грека 1552 г. [ВЕРНЕР 2017: 41].

<sup>20</sup> Так, написание *оцысти* / *оцисти* нам встретилось в двух рукописных Псалтирях с воследованием из собрания Московской духовной академии: в рукописи из библиотеки архимандрита Дионисия [*Пс73*, л. 69об.] и в *Пс137* на лл. 6, 6об. (на л. 22 форма *оцысти*).

времени<sup>21</sup>, эти буквы в исследуемой рукописи отсутствуют<sup>22</sup>. Судя по всему, автор некоторое время колебался в способе обозначения носовых гласных, так как в польском заглавии рукописи он использовал обозначение носового гласного с помощью двух букв, о чем свидетельствует написание *KSENGA*, а на том же первом листе рукописи встретилось также написание *be<sup>n</sup>dzie*. Подобное обозначение носового гласного было использовано в рукописи еще только один раз: *trombach* [149об.] (BL *trąbach*). Так называемое разложение носовых гласных на два звука было весьма характерно для периферийного польского диалекта (*polszczyzna kresowa*), и многочисленные примеры такого написания исконных носовых гласных встречаются во многих документах и памятниках письменности XVI–XVII вв. [KURZOWA 1993: 82; KURYŁOWICZ 2005: 29–30]. В исследуемом памятнике такого рода написания исключительно редки — всего три случая, нормой же для ПсСА является употребление на месте носовых гласных *q* и *ę* в Библии Леополиты букв *u* и *a*, напр.: *muż* [18] = *męż*, *wugle* [15] = *węgle*, *ruce* [25об.] = *ręce*, *muka* [13] = *męka*, *wystupki* [19] = *występki*, *nauczu* [34об.] = *nauczę*, *koronu* [20] = *koronę*, *luknie sie* [26] = *lęknie sie*, *rozráduiu sie y rozweselu sie* [30] = *rozráduię sie y rozweselę sie*; *mudrość* [18об.] = *mądrość*, *ruk* [14] = *rąk*, *sudy* [16] = *sądy*, *su* [3] = *są*, *wstupił* [15] = *wstąpił*, *krug* [33] = *krąg*, *bacżuc* [38об.] = *bacząc*, *moci* [17об.]

<sup>21</sup> В XVI в. в польской письменности использовалось несколько конкурировавших между собой орфографических традиций. В частности, наряду с печатными текстами с этимологически правильным написанием носовых гласных часто встречаются тексты, в которых вместо этимологического *ę* пишется буква *e* (реже — вместо *q* буква *a*), что является отражением деназализации носовых гласных в некоторых польских диалектах. Наиболее последовательно процесс деназализации отражается в написании возвратного местоимения *się* как *sie*, которое присуще произведениям, изданным в большинстве польских типографий того времени [BUNČIĆ 2012: 235–236]. Для Библии Леополиты характерно этимологически правильное написание носовых гласных, однако возвратное местоимение пишется без носового — как *sie*.

<sup>22</sup> Следует отметить, что иногда в рукописи встречается своеобразное написание буквы *a* с небольшим хвостиком, уходящим под строку, которое мы не склонны рассматривать как носовую букву *q* по следующим причинам. Во-первых, если рассматривать такие написания как “*a* носовое”, то следует констатировать, что в подавляющем большинстве случаев написания с “носом *a*” встречаются компактно и являются неправильными (напр., на л. 60: *poddqł*, *miłowqł*; на л. 56: *q*, *twqrz*, *pqnie*, *prqwie*; на л. 62: *dqwa*, *mąty*, *nqrodowie*), что было бы по крайней мере странным, если учесть, что у автора рукописи был перед глазами печатный польский текст псалтири, орфографии которого он в остальном старался следовать. Во-вторых, написание буквы *a* с таким же хвостиком время от времени встречается в греческом и даже в цсл. тексте, где носовых гласных быть не могло (напр., на лл. 183об., 184об., 186, 190, 195 и др.). В-третьих, в рукописи почти не встречается написание буквы *ę*, поэтому предположение, что “*a* с хвостиком” является носовой гласной, означало бы, что в польском тексте ПсСА встречается только одна носовая гласная, да и та не на месте. По-видимому, хвостик у буквы *a* время от времени появлялся случайно в результате особенностей пера или почерка писца рукописи.



= *mocą*; *we wnutrz* [58] = *we wnątrz*; *rozciagni* [38об.] = *rosciągni*, *żadości* [39] = *żądności*, *naciagnuli* [83 об.] = *naciągnęli*, *mowiac* [37] = *mowiąc*, *czynia* [39] = *czynią*, *pode mna* [17] = *pode mną*, *przed miesiacem* [99об.] = *przed miesiącem*, *kwitnuć* [142об.] = *kwitnąć*. Иногда такие манипуляции с носовыми гласными приводят к образованию непонятных слов, напр.: *przekluć* [185об.] (BL *przekłęć*), *porzudki* [150об.] (BL *porządki*), *cżusto* [82, 202об.] (BL *często*), *rzudził* [62] (BL *rządził*), *porzudnie* [64об.] (BL *porządnie*), *ruża* [59об.] (BL *ręża*).

Очевидно, что писец рукописи ПсСА, сознательно отказываясь от употребления специальных букв для носовых гласных в польском тексте, колебался в способе их обозначения на письме, поскольку в рукописи часто встречаются исправления на месте носовых гласных<sup>23</sup>, напр.: *muđrości* [67об.] (*u* исправлено на *a*, BL *mądrości*), *vwesele* [IBID.] (*e* исправлено на *u*, BL *vwesela*), *z toba* [103] (*a* исправлено на *u*, BL *z toba*; при этом на л. 175 мы видим обратное исправление: в слове *S tobu* *u* исправлено на *a*, BL *S thoba*), *muż* [126] (*u* исправлено на *a*, BL *mąż*; при этом на л. 176об. мы видим обратное исправление: в слове *maż* *a* исправлено на *u*, BL *mąż*), *lecucey* [139] (*u* исправлено на *a*, BL *lecaucey*), *ziemie* [150] (*e* в окончании исправлено на *u*, BL: *ziemię*), *pragnacy* [168] (*a* в суффиксе исправлено на *u*, BL *pragnący*).

Зафиксированы также частые случаи деназализации гласного *ę*, причем во всех позициях, напр.: *świety* [72] = *święty*, *mie* [72] = *mię*, *iezyki* [4об.] = *ięzyki*, *piniedzy* [12] = *piniędzy*, *ymie* [19об.] = *imię*, *wieźienie* [71] = *więzienie* и др., а также несколько примеров деназализации гласного *ą*: *powstawaiocych* [18] (BL *powstawaiających*), *sosiadom* [55] (BL *sąsiadom*).

Все эти примеры свидетельствуют прежде всего о том, что в родном языке автора рукописи носовые гласные отсутствуют и что он довольно непоследовательно старался обозначать носовые гласные буквами *a*, *u* или *e*.

Если случаи деназализации носовых гласных наблюдаются как в памятниках, написанных на исконной польской территории, так и в памятниках, отражающих периферийные диалекты [ŚCISŃSKA 2015: 204], то передача носовых гласных *ą* и *ę* буквами *u* и *a* (так называемая “русская” реализация носовых гласных<sup>24</sup>) наблюдается, причем очень непоследовательно, только в памятниках, отражающих северный периферийный польский диалект и написанных в северо-восточных регионах

<sup>23</sup> Для рукописи характерен следующий способ исправлений: писец, как правило, не зачеркивает исправляемую букву, а пишет над ней другую.

<sup>24</sup> Термин “ruska realizacja samogłosek nosowych” употребляется в работах польских исследователей в качестве обозначения одного из способов передачи носовых гласных в памятниках письменности, отражающих периферийный польский диалект [KURZOWA 1993: 85; GREK-PABISOWA, MARYNIAKOWA 1997: 47].



Речи Посполитой [GREK-PABISOWA, MARYNIAKOWA 1997: 47; KURZOWA 2006: 85; KURYŁOWICZ 2005: 30; LUTO-KAMIŃSKA 2015: 33]. Способ передачи носовых гласных в ПсСА является, таким образом, весьма нетипичным именно своей последовательностью, которая проявляется в том, что польский текст Псалтири совершенно избавляется от носовых гласных. В результате этой самой значительной интервенции в польский язык ПсСА многие польские слова становятся похожими на русские (ср.: *рука, научу, поступки, вниду, трубы, зубы, голубица, внутрь, глубокость, на бубне, на работу свою* и др.). В то же время некоторые польские слова с носовой гласной, у которых есть аналог в русском языке, переводчик модифицирует “нерусским” способом, напр.: *cżusto* [82] (вм. \**cżasto*, ср. рус. *часто*), *porzudki* [150об.] (вм. \**porzadki*, ср. рус. *порядки*), *świety* [72] (вм. \**światy*, ср. рус. *святой*), *madrość* [41об.] (вм. \**mudrość*, ср. рус. *мудрость*), *w umie* [19об.] (вм. \**imia*, ср. рус. *имя*), *iezyki* [4об.] (вм. \**iazyki*, ср. рус. *языки*), *ogładam* [16] (вм. \**ogladam*, ср. рус. *глядеть*), *cżustki* [30об.] (вм. \**cżastki*, эта форма также встречается, напр., на л. 83). Особенно часто такие нереализованные русские формы встречаются в окончаниях местоимений, напр.: *radu twoie* [19об.], *wolu twoie* [47об.], *duśu moie* [лл. 49об., 51, 75об.], *prawdu swoje* [75об.], *wyrwi u uwielbie go* [141], при этом следует отметить, что к концу рукописи именно они чаще всего написаны “правильно” (т. е. с окончанием — *и*) или исправлены.

Особенно ярким примером последовательной замены польских носовых гласных *ę* и *a* буквой *и* являются написание форм глагола *быть* (в пол. тексте инфинитив *bydź* на л. 4): *budi* вместо *będe*<sup>25</sup> (напр., л. 71об., 72 и др.), *budziesz* вместо *będziesz* (напр., л. 16), *budzie* вместо *będzie* (напр., л. 13, 29 и др.), *budziem* [58об.] вместо *będziem*, *budziemy* [106об.] вместо *będziemy*, *budi* вместо *będą* (напр., л. 19), *budź* вместо *bądź* (напр., л. 26об.). Таким образом, исконно польские глагольные формы последовательно заменяются их западнорусскими вариантами. Отметим также, что для обозначения глагола *сѧ* писец пользуется написанием *си*.

Очевидно, что именно такой способ произношения польских носовых гласных присутствовал в том диалекте польского языка, которым владел автор анализируемой рукописи, и данные исследований позволяют вполне определенно указать на северо-восток Речи Посполитой — Литву и Белоруссию. Так, Е. Ф. Карский писал о “странном явлении” в словарных полонизмах у белорусов, когда польские носовые гласные передаются через кириллические буквы *у* и *а* [КАРСКИЙ 1903: 169]. Написание буквы *е* на месте общерусского *а* после мягкого согласного, отражающее белорусское произношение, отмечает Е. Ф. Карский во многих западнорусских памятниках письменности XV–XVII вв., написанных

<sup>25</sup> Один раз на месте польского *będe* нами была отмечена форма *bedu* [14об.].

на “простой мове”<sup>26</sup>. В польском языке ПсСА, таким образом, получило отражение белорусское произношение польских носовых. Примеры деназализации носового гласного *ę* и написания *и* на месте носового *a* (*pujdu, s tobi, sie*) отмечаются в текстах на “простой мове” и другими исследователями [MOSER 2002: 50].

Отметим еще некоторые особенности польского языка ПсСА. В памятнике достаточно часто наблюдаются случаи замены буквы *h* буквой *ch*, но только в трех словах: *choynu, choynie* (вм. *hoynu, hoynie*, напр., л. 42об.), *na charfie* (вм. *na harffie*, напр., л. 32об.) и *zchanbion, pochańbieni* (вм. *zhańbion, pohanbieni* л. 31, 35об.). Эти формы встречаются наряду с правильными написаниями с буквой *h* (напр., лл. 118, 142, 141об. и др.). Отмечены также два случая обратной замены: написание *niehay* [198об.] вм. *niechay* и *grzehi* [31об.] вм. *grzechy*. Примеры подобных замен могут свидетельствовать о том, что автор рукописи не различал звонкий фриктивный [ɣ] и глухой [ch]. Поскольку западнорусский язык различал эти звуки, случаи смешения букв *h* и *ch* достаточно редко фиксируются в памятниках западнорусской письменности этого времени [GREK-PAWISOWA, MARYNIAKOWA 1997: 54; LUTO-KAMIŃSKA 2015: 36; KURYŁOWICZ 2005: 39]. Отмечено также несколько случаев написания *r* на месте *rz*, напр.: *odrucatem* [16] вместо *odrzucatem, chresciański* [50об.] на месте *chrześcijański*, а также случаи гиперкорректного написания *rz* на месте *r*, напр.: *grzyzła* [93] вместо *gryzła, na gorzu* [116] вместо *na gorę, trzesktał* [144] вместо *tresktał*. Подобные примеры нередко встречаются в памятниках, отражающих периферийный польский диалект [SICIŃSKA 2015: 210–211].

Некоторые явления, связанные с диакритикой, трудно интерпретировать однозначно, поскольку их можно рассматривать как ошибки правописания (результат невнимательности или небрежности писца рукописи) или же как фонетическое явление, отражающее особенности произношения автора. Речь идет о написании букв *ł* и *l*, *n* и *ń* и об обозначении мягких свистящих и шипящих с помощью надстрочных знаков. Следует отметить, что ошибки в написании диакритических знаков характерны для многих памятников польской письменности исследуемого периода, в том числе написанных на исконных польских территориях. Однако если в последних памятниках эти явления редки и интерпретируются исследователями как ошибки правописания, то подобные ошибки в памятниках, написанных в Юго-Западной Руси, исследователи, как правило, объясняют особенностями местного произношения [см. SICIŃSKA 2015: 207–210; GREK-PAWISOWA, MARYNIAKOWA 1997: 53–54; LUTO-KAMIŃSKA 2015: 36; KURYŁOWICZ 2005: 25, 37–38].

<sup>26</sup> Среди приведенных им примеров отметим следующие: *светога, гледели, езыхъ, пѣнези, присегою* [КАРСКИЙ 1908: 95–98].

В рукописи ПсСА много случаев, когда писец писал букву *l* вместо буквы *ł*, напр.: *od zlego* [41], *widziałem* [42], *wiedlug* [119], *napelnieni* [199об.], *cialo* [13], *daleś* [17], *z wesolym* [59об.] и др. Однако часто встречается и обратное явление, когда вместо буквы *l* мы находим написание *ł*, напр.: *ludzie* [57, 89], *Psałm* [62], *słuby* [75], *łudu* [79], *nałazłem* [134об.], *nieprzyiaciel* [135] и др. Встречаются также примеры с “забытой” диакритикой для обозначения мягких согласных, напр.: *słonce* [207] (BL *słońce*), *zchanbion* [31] (BL *zhañbion*), *prozby* [180] (BL *proźby*), *ciem* [215об.] (BL *cieñ*), *pańskie* [3об.] (BL *pańskie*), *błogostawienstwo* [3об.] (BL *błogostawieństwo*), *skonczenie* [191об.] (BL *zkończenie*), но значительно более часты случаи, когда диакритический знак избыточен, напр.: *pomoć* [44об.] (BL *pomoc*), *ćorki* [57об.] (BL *corki*), *ćo* [153] (BL *co*), *głos* [59] (BL *głos*), *czaś* [184об.] (201 BL *czas*), *na świtanu* [59] (BL *na switanu*), *o świadectwach* [184] (BL *o swiadectwach*), *świadectwa* [191об.] (BL *swiadectwa*) и др. Следует отметить, что в целом писец относительно редко забывал написать диакритику для обозначения шипящих и мягких свистящих. При этом для обозначения буквы *ż* [ʒ] и диграфов (*cż*, *dż*, *rż*) он использовал запятую над буквой *z*, для обозначения мягких свистящих *ć*, *ś*, *ź* он пользовался точкой, а мягкость *n* обозначал всеми возможными надстрочными знаками: “гачеком” (*ń*), “тильдой” — прямой или волнообразной черточкой над (*ñ*), косой черточкой (*ň*) или точкой (*·n*). Характерно, что такое использование диакритики сложилось не сразу, и на первых листах рукописи писец пользовался диакритикой Библии Леополиты, в которой точка над буквами *ć*, *ś*, *ź* обозначала их мягкость, с помощью точки обозначался звук [ʒ], она использовалась в диграфах *cż*, *dż*, *rż*, а для обозначения мягкого *ñ* употребляется “гачек” или точка (*ń* / *·n*)<sup>27</sup>.

Из фонетических особенностей польского текста ПсСА отметим еще редкие примеры мягкого *ch* и *cż*, которые проявляются написаниями *chi* и *czi*: *chiba* [11] (BL *chyba*), *chitrze* [162] (BL *chytrze*), *cżynili* [55, 164об.] (BL *czynili*), а также случаи смешения букв *i* и *y*, напр.: *samy* [18об.] (BL *sami*), *sprawi* [18] (BL *sprawy*), *tiś* [20] (BL *tyś*), *broni* [23об.] (BL *brony*), *cali* [74об.] (BL *cały*), *wziely* [84об.] (BL *wzięli*), *ygrzysko* [118] (BL *igrzysko*), *cyśy* [39об.] (*ciśsy*), *zwiczay* [188] (BL *zwyczaj*), *długiemy* [219] (BL *długiem*), *rozmnożyli sie* [48] (BL *rozmnożyły sie*), *skarbi* [45об.] (BL *skarby*) и др. Последнее явление встречается в памятниках письменности рассматриваемого периода, отражающих как мазовецкий, так и северный периферийный диалект польского языка [KURYŁOWICZ 2005: 33–34]. Имеется

<sup>27</sup> Общих орфографических правил в польском языке XVI–XVII вв. еще не было, поэтому исследователи отмечают большое разнообразие в орфографии печатных и рукописных произведений этого времени, в частности, в написании диакритики [Bunčić 2012: 220, 231–240].

также несколько примеров написания буквы *y* вместо *i* после предлогов (напр., *w umie* л. 19об.), что также было характерно для западнорусских памятников письменности [КАРСКИЙ 1908: 263–264].

Интересно, что в памятнике не засвидетельствованы случаи написания буквы *y* вместо *i* после *r*, а также после шипящих и *s*. Такие написания были характерны для памятников западнорусской письменности и отражали твердое белорусское произношение звуков [р], [ч], [ж], [ш], [щ] и [ц] [КАРСКИЙ 1908: 261–262]. Исключением является встретившееся несколько раз написание *morze cъyrwone* [164об., 165об.] (BL *czerwone*).

Об особенностях произношения автора рукописи, в частности о мягком произношении *e* [je] в некоторых словах, свидетельствуют написания: *z iegypta* / *z iegyptu* [120/178] (BL *z Egyptu*), *w iegyptcie* [лл. 164об., 165об., 206] (BL *w Egyptcie*), *iedomskie* [208об.] (BL *Edomskie*), *panienki* [221об.] (BL *panenki*), *Izraelu* [107об.] (BL *Israelu*), *wiedlug* [119, 188об.] (BL *wedlug*). К особенностям произношения можно также отнести написание *Angioły* [157об.] (BL *Anioły*), а отражением аканья считать следующие два примера: *sieratami* [173] (BL *sirothami*) и *raspaczał* [38об.] (BL *rospaczal*).

Интересной графической особенностью польского текста рукописи является частое использование знака ~ “тильда” (волнообразная, но чаще почти прямая горизонтальная черта) над гласными для обозначения выносных согласных *m* или *n*. Напр., *ō* = *on*, *om*: *zchanbiō* [29об.], *potōstwo* [22], *skrōne* [24об.], *nieprzyiacielō* [29] и др.; *ẽ* = *en*, *em*: *o testamẽcie* [24об.], *cźłowieczẽstwa* [29об.], *wołałẽ* [15], *iest panẽ* [23], *odẽnie* [29] и др.; *ĩ* = *in*, *im*: *moĩ* [30об.], *w niĩ* [36]; *ã* = *an*, *am*: *kłãstwa* [78], *pã* [76об.]; *ũ* = *un*, *um*: *ugrũtował* [23] и др. Эти написания встречаются во всех позициях (в конце слова, в окончании, на стыке слов) и не находят поддержки в тексте Библии Леополиты. Знак “тильда” в этой функции широко использовался в средневековых текстах, написанных на латинском и некоторых других языках, в том числе в книгах на польском языке, изданных в Литве [ЛУТОКАМИЃСКА 2015: 30; СЕМКОВСЗ 1951: 474]. Использование “тильды” свидетельствует о знакомстве автора рукописи с книжностью на польском и латинском языках.

Что касается морфологии польского текста ПсСА, то она в целом оставлена без изменений, а немногочисленные случаи замены грамматических форм непоследовательны и не меняют “польского” облика текста<sup>28</sup>.

<sup>28</sup> Из наиболее значительных можно отметить частые случаи изменения грамматической формы существительного в польской конструкции *na wiek(i) wiekot* на конструкцию *na wiek(i) wiekow*, которая соответствует *вовѣкъ вѣка* или *вовѣки* цсл. текста Псалтири [57, 70, 80об. и др.].



В целом без существенных изменений сохранен в польском тексте ПсСА и синтаксис Библии Леополиты. Из синтаксических замен отметим только непоследовательную замену словом *ktory* слова *co* в придаточных предложениях, напр.: *nad temi ktorzy sie boia go* [156] (в BL: *nad temi co sie go boia*; цсл. на боѣщихса его), *ktory snopki znoši* [202об.] (в BL: *co snopki znoši*; цсл. рѣкоати събирали).

Выше уже отмечалось, что одним из способов изменения текста польского источника ПсСА является замена некоторых слов. Из многочисленных лексических замен следует прежде всего отметить *последовательную* замену слова *kościół* словом *cerkiew* [4, 24, 25 об., 26 и др.], слова *krześcijański* словом *chrześcijański* / *chrescijański* [4, 22об., 50об., 79 и др.] и слова *krystus* словом *chrystus* [6, 13, 19об., 20об., 49 и др.]<sup>29</sup>. Поскольку эти замены осуществляются автором рукописи последовательно, можно судить, что он придавал этим словам особое значение. Слово *kościół* и его производные в польском тексте рукописи не встретились ни разу, вместо него последовательно употребляется слово *cerkiew*. Согласно словарю польского языка С. Линде, это слово в старопольском языке имело значение “православная церковь”: “kościół szczególnie Greckiego obrządku” [LINDE 1807, 1.I: 227], в то время как слово *kościół* “tylko katolikom służyć może” [LINDE 1808, 1.II: 1094]. Эта замена весьма показательна для определения адресата анализируемого памятника письменности.

Остальные лексические замены, хотя и многочисленны, однако не столь последовательны. Некоторые из них даны в Таблице 7<sup>30</sup>:

Таблица 7

лист ПсСА	цсл. текст ПсСА	пол. текст ПсСА	Библия Леополиты / стр.
11об.	вѣзѣмѣнѣ	głupi	niemądry / 531
25	ѡ бѣдѣ	z potrzeb	z nędzy / 536
164	вѣ бѣговоленіи	w ulubieniu	w dobrej wole / 570
25об.	благотѣпїе	ochudażność	piękność / 536
173	взыщѣ	śperuie	rumował / 573
13	видѣти	oglądać	oberzeć / 531
145	возвеселиша	uweseliły	rozradowały / 566
30об.	в въздыханіихъ	w łkaniu	w płaczu / 538
145об.	возрадѣмса	raduemy się	weselmy się / 566
173	восхитѣ	rozszarpała	rozdarła / 573

<sup>29</sup> Эта замена осуществляется также в однокоренных словах, напр.: *chrystusowy* вместо *krystusowy* [12об., 14об., 56 и др.], *antychrystowych* вместо *Anthykrystowych* [69].

<sup>30</sup> Слова в таблице приводятся в алфавитном порядке цсл. слов и даются в формах, встретившихся в тексте ПсСА.



лист ПсСА	цсл. текст ПсСА	пол. текст ПсСА	Библия Леополиты / стр.
11	врагъ	nieprzyjaciel	przeciwnik / 530
124об.	гнои	plugastwo	smieci / 561
40	грѣшніцы	grzesznicy	złossnicy / 541
11	доколѣ	dokudže	pokieyže / 530
113об.	жилицъ	namiećiech	mieśskaniach / 558
126	законъ даан	zakonudawca	sprawca zakonu / 561
25	не изнемогъ	nie osłabieiu	nie ustąpiłem / 536
29	исповѣдайте	wyznawaycie	chwalcie / 537
79об.	коновъ	garniec	garnek / 550
24об.	кроткиа	skrōne	ćiche / 536
78	лжа	kłāstwa	lży / 550
81об.	лживи	kłamliwi	fałeczni / 551
33об.	во множествѣ	w okwitości	w hoyności / 539
22	насытатса	budu nāsyceni	będą nakarmieni / 535
24	невѣжества	nieumieietności	niedbałości / 535
102	неправдѣ	nieprawość	niecnotę / 556
68	нечестивїи	niepobożni	niewierni / 547
63об.	обѣщаеъ	starze	zgrzybieie / 546
212	окръженїа	krużenia	obthoczenia / 585
16об.	очи	oczy	wzrok / 532
104об.	вскордомъ	toporem	nasiekiem / 556
213	не ѿими	nie odluczay	nie zgładzay / 585
15об.	ѿкрышася	odkryły sie	ukazały sie / 532
139	плещма	barkami	ramiony / 564
153об.	плоти	ciała	mięsa / 568
70	помощника	spomożycielem	spomocnikiem / 547
141	поперещи	podpceś	potłoczyś / 565
91	предвариша	uprzedziły	przedeszli / 553
158	предѣлъ	granicu	czyl / 569
193об.	пригвозди	przebodź	zkol / 578
184об.	призрю	przebaczu	przeglądnę / 576
198	пришельствова	mieśkała	pielgrzymowała / 580
185об.	пришлецъ	obywatel	przychodzień / 576
61об.	прїимѣте	obłapćie	rozmiłuycie sie / 546
165	прогнѣваша	rozdrażnili	rozżarzyły / 571
19об.	прошенїа	prożby	żądności / 534
29об.	в радость	w radość	w wesele / 537

лист ПсСА	цсл. текст ПсСА	пол. текст ПсСА	Библия Леополиты / стр.
121об.	радѣитеса	rozraduycie sie	rozweselcie sie / 560
136об.	расхищахѣ	szarpali	darli / 564
99об.	рѣно	welnu	runo / 555
104об.	свѣтило	światnicu	kościół / 556
18	и сѣмени его	y potomstwu ie <sup>o</sup>	y plemieniu ie <sup>o</sup> / 533
15	смѣтишася	zaburzyły sie	rozsypany sie / 532
56	спиши	drżymieś	zasypiaż / 544
64об.	собрѣте	zgromadzaycie	zbieraycie / 546
71об.	сѣди ми	osudź mie	wybaw mię / 548
145об.	сѣшѣ	suśu	ziemię / 566
193об.	оубоахся	ułukł	obawał / 578
95	(да) оузратъ	patrzaycie	weyzrzycieź / 554
41	оуклониса	odwroc sie	uchyl sie
97	ѡ ѹрева	z żywota	z brzucha / 555
211об.	ѡдъ аспидинъ	iad zmijowy	iad gadziny / 585

Из таблицы видно, что некоторые лексические замены были обусловлены цсл. текстом Псалтири, однако достаточно часто переводчик следует собственным языковым принципам, заменяя польское слово равнозначным ему синонимом. Все эти слова встречаются в словарях польского языка XVI [SŁP XVI] и XVII–XVIII вв. [SŁP XVII]<sup>31</sup>. Следует отметить, что некоторые из них фиксируются словарем белорусского языка Носовича [1870]<sup>32</sup>, но при этом либо совсем отсутствуют в “Словаре русского языка XI–XVII вв.”, либо впервые встречаются в памятниках письменности XVII в. [СлРЯ XI–XVII]<sup>33</sup>. Следует также подчеркнуть полное отсутствие как в цсл., так и в польском тексте ПсСА диалектной лексики<sup>34</sup>.

<sup>31</sup> Имеются в виду слова, написанные в соответствии с орфографическими правилами польского языка, напр. *światnica*, *oglądać*, *pamięć*, *zakonodawca* и др.

<sup>32</sup> Это слова *облапиць*, *згромажаць*, *спомогаць*, *мѣшкаць* ‘проживать’, *оглядаць* ‘осматривать’, *забуриваць* ‘разрушать’, *лкаць* ‘глотать’, *плюгавство* ‘дрянь, мерзость’, *улюбиць*, *разшарпаць* ‘разорвать’.

<sup>33</sup> В XVII веке в великорусских памятниках письменности впервые встречаются следующие слова из приведенного выше списка: *облапление*, *мѣшкати*, *оглядати*, *плюгавство*. В большинстве своем эти слова пришли в русский язык из польского через посредство западнорусского (старобелорусского) языка.

<sup>34</sup> Наблюдения над лексикой ПсСА могли бы стать предметом самостоятельного исследования. В рамках настоящей работы нас в первую очередь интересовал факт замены польского слова из Библии Леополиты другим, но тоже польским словом, встречающимся в памятниках письменности на польском языке и зафиксированным словарями польского языка XVI–XVII веков.

Подводя итоги наблюдениям над особенностями польского языка *ПсСА*, можно отметить следующее: несмотря на то, что в распоряжении автора была польская Псалтирь из Библии Леополиты, он частично изменил не только текст, но и язык источника. Критика текста состояла в стремлении максимально точно передать на польском языке цсл. текст Псалтири. Языковые изменения касались прежде всего фонетики (главным образом носовых гласных) и частично словарного состава. В польском языке рукописи получили отражение некоторые фонетические черты, свойственные северному периферийному диалекту, однако самые яркие фонетические черты белорусского языка (такие как твердые [р], [ч], огубление твердого [л], аканье) практически не отразились ни в польском, ни в цсл. языке памятника. Некоторые языковые особенности польского текста *ПсСА* (прежде всего “русский” способ передачи носовых гласных) сближают его с текстами, написанными на “простой мове”, однако отсутствие характерных для “простой мовы” лексических белорусизмов, а также чисто польская морфология и синтаксис позволяют нам считать польский язык *ПсСА* образцом одной из его западнорусских диалектных разновидностей<sup>35</sup>.

Таким образом, суммируя данные анализа цсл. и польского языков *ПсСА*, можно почти полностью исключить вероятность создания рукописи на западнорусской территории. Более того, некоторые косвенные данные наводят на мысль о возможности создания триглотты в Троице-Сергиевом монастыре. Это, во-первых, интерлинеарный характер оформления текста, свойственный также двум славяно-греческим псалтырям, переписанным несколько ранее в Троицком монастыре (в западнорусских двуязычных аналогах тексты обычно писались параллельно в двух колонках). Во-вторых, определенное сходство в оформлении глосс, когда пояснение (вариант перевода) слова дается интерлинеарно — над поясняемым словом. В-третьих, совпадение в одних и тех же позициях примеров цоканья, которое заставляет задуматься над вопросом, не является ли одна из славяно-греческих рукописей протографом *ПсСА*. Однако даже поверхностное текстологическое сравнение обнаруживает определенные различия между рукописями *Пс8* и *Пс9*, восходящими к

<sup>35</sup> Отличие польского языка *ПсСА* от написанных кириллицей текстов на “простой мове” можно наглядно продемонстрировать путем сравнения двух образцов перевода одного и того же текста Псалтири: из *ПсСА* и из приведенного Е. Ф. Карским отрывка западнорусской Псалтири XVII в. на “простой мове” [КАРСКИЙ 1908: 72]. Ср.: *Rzekł pan panu memu. siadź na prawicy moiej. Aż położy nieprzyjaciół twoie podnożkię nog twoich. Rozgu moci twoiey wypuści p. z Syonu. panuiż wpośrzodku nieprzyjaciół twoich* [*ПсСА*, л. 175, псалом 105, л. 175] — и *Рекъ панъ пану моему: сѣди на правици моеѣ, ажъ положу непрѣтели твоѣ подножкомъ ногъ твоихъ. розгъ моты твоѣй пошлетъ тебѣ господь з сиону; пануй же впосредку непрѣтелѣй твоихъ* (Западнорусская Псалтирь XVII в.).

переводу Максима Грека, и рукописью *ПсСА*<sup>36</sup>. Если также учесть, что греческий текст в *Пс8* и *Пс9* написан кириллицей (т. е. в фонетической транскрипции), в то время как в *ПсСА* он написан греческим курсивом, можно говорить скорее о близости установок, но не о близости цсл. и греческого языков этих рукописей.

Выше уже отмечалось, что рукопись, по-видимому, представляет собой оригинальное произведение, скорее всего, его черновой вариант. В этом случае писец *ПсСА* одновременно являлся ее автором, о котором можно сказать, что он прекрасно владел тремя или четырьмя языками (цсл., греческим, польским и латинским) и, скорее всего, был выходцем из Юго-Западной Руси, где, вероятно, и получил образование в одной из братских школ<sup>37</sup>. Троице-Сергиев монастырь являлся в XVI–XVII вв. одним из крупнейших культурных центров Московской Руси, в котором обитало около 300 монахов [Николаева 2000: 157], в том числе — выходцев из Литвы, Белоруссии и Украины. Возможно, один из них и был автором анализируемой рукописи<sup>38</sup>.

Что касается причин и цели создания триглотты, то на этот счет в самой рукописи нет прямых указаний, но проведенное исследование позволяет выдвинуть определенную гипотезу. Текстологические и некоторые языковые данные свидетельствуют о том, что Псалтирь, в том числе ее польская часть, была предназначена православным христианам (ярким свидетельством этого является как пояснение на л. 30б. рукописи о правилах византийского обряда богослужения — необходимости чтения молитвы на “славах”, так и последовательная замена в польском тексте *ПсСА* слова *koscioł* словом *cerkiew*). Сильное вмешательство

<sup>36</sup> Сравнение цсл. и греческого текстов трех псалтирей из Троицкого собрания не являлось предметом настоящего исследования. Мы говорим о текстологических отличиях на основании сравнения не всего текста, а только отдельных его фрагментов.

<sup>37</sup> Как в православных, так и в униатских братских школах Юго-Западной Руси изучались цсл., греческий, польский и латинский языки [Целунова 1998: 59–64].

<sup>38</sup> Не беремся строить безосновательных предположений, кто именно был автором *ПсСА*, но нельзя не отметить, что на эту роль подходил бы и сам владелец рукописи — Симон Азарьин. В его образованности не приходится сомневаться. Прямых указаний на то, что Симон Азарьин владел греческим языком, не сохранилось, но косвенно об этом может свидетельствовать наличие в его келейной библиотеке книг на греческом языке (кроме уже упоминавшихся псалтирей, это №№ 52, 72, 75 и 76 по каталогу монастырского учета 60-х гг. XVII в. [Клитина 1979: 310–311]). Польские книги в его книжном собрании (по каталогу это №№ 20, 92–95 [ibid: 309, 312]) могли бы подтверждать его знание польского языка. Польский язык он мог изучить, находясь в имении княжны Мстиславской, род которой являлся потомками Гедиминовичей. В Троице-Сергиевой обители в первой половине XVII в. были и другие образованные люди, владевшие языками. Например, келарь Троицкой обители Арсений Суханов получил образование в одной из западнорусских братских школ и прекрасно владел цсл., греческим, польским и латинским языками.

в фонетическую структуру польского языка, проявившееся прежде всего в фактическом “устранении” из нее носовых гласных, дает основание предположить, что адресатом *ПсСА* являлись жители (или житель) восточной части Речи Посполитой, для которых было привычным именно такое произношение польских слов с носовыми гласными. Чисто гипотетически можно предположить, что *ПсСА* предназначалась либо для униатов, возвращавшихся в православие, либо для католиков, проходивших обряд перекрещивания.

Известным борцом с католической и униатской “ересью” был в начале XVII в. патриарх Филарет, келейником которого служил одно время Симон Азарьин. При патриархе Филарете в 1620 г. на заседании церковного Собора были приняты правила чинопоема в православие католиков, униатов и православных из Литвы и Польши, а также в 1628 г. — запрет на распространение в Московской Руси книг “литовской” печати. Хотя русские духовные власти поддерживали миграцию из Речи Посполитой, однако при переходе выходцев из Юго-Западной Руси на русскую службу их полагалось перекрещивать [Опарина 1998: 58–65]. Сохранились многочисленные свидетельства современников о том, что в конце XVI — XVII вв. знание цсл. языка в Юго-Западной Руси было недостаточным и что даже православные священники, не понимая цсл. книг, вынуждены были обращаться к книгам на польском языке [Карский 1903: 140–143; Мартел 1938: 68–72; Успенский 2002: 405–406]<sup>39</sup>. Польский язык стал основным для западнорусской шляхты, по-польски писали не только униатские (Ипатий Потей, Лев Кревза и др.), но и православные культурные деятели Юго-Западной Руси (например, Мелетий Смотрицкий) [Целунова 1998: 91–97]. Именно для выходцев из восточных земель Речи Посполитой, плохо понимавших цсл. язык, могла предназначаться трехязычная псалтирь, в которой польский текст был нужен именно для того, чтобы будущий православный верующий понимал церковнославянский язык богослужения. Греческий язык в этом случае был использован для придания высокого статуса цсл. языку и должен был демонстрировать “истинность” и профессиональную “правильность” цсл. текста. И не случайно эта Псалтирь оказалась в книжном собрании Симона Азарьина, который, несмотря на запрет патриарха, собирал и давал указания переписывать произведения

<sup>39</sup> Приведем хорошо известное высказывание иезуита Петра Скарги, который в своем труде “O iedności kościoła Bożego pod iednym pasterzem” так характеризует современное ему западнорусское духовенство: “inż go [цсл. язык. — Е. Ц.] teraz prawie nikt doskonale nie rozumie. Bo tey na świecie nacyey nie masz, która by im tak, iako w księgach iest, mowiła; a swych też reguł, grammatyk y kalepinow do wykładu niema, ani iusz mieć może. Y stąd popi waszy, gdy co w Słowieńskim chcą rozumieć, do Polskiego się vdać po tłumaczstwo muszą; abo więc tylo vsty a w czytaniu doktormi są. Y inney szkoły chyba na czytanie nie mai” [РИБ VII: 486].



украинско-белорусских авторов различных вероисповеданий [Опарина 1998: 197]. В его библиотеке были не только полемические книги представителей киевской метрополии, но и произведения авторов, против которых эта полемика была направлена. Замечательно в этой связи то, что среди прочих рукописных книг в его коллекции находится “Книга приходящихъ от розныхъ вѣръ” [Чин188]. Наличие в книжном собрании Симона Азарина книги о чинах принятия в православие говорит о том, что проблематика перекрещивания была ему интересна и небезразлична, в силу чего он вполне мог заказать перевод на польский язык цсл. псалтири, чтобы помочь новообращенным участвовать в православном богослужении. Это вполне соответствовало его установкам защитника православной веры.

## Библиография

### Сокращения

МДА — Московская духовная академия

МК — Музей книги

ОР — Отдел рукописей

РГБ — Российская государственная библиотека, Москва

STSL.RU — электронные копии рукописей и старопечатных книг на сайте Троице-Сергиевой лавры (<http://old.stsl.ru/manuscripts/>; последнее обращение: 25.12.2017)

### Источники (рукописные и старопечатные книги)

#### Андр151

ОР РГБ, ф. 304. I (Главное собрание библиотеки Троице-Сергиевой лавры), № 151, *Книга глаголемая Андриятис Иванны пресвятаго, архиепископа Константинограда, Златоустаго* (STSL.RU).

#### ПсСА

ОР РГБ, ф. 173. I (Фундаментальное собрание библиотеки МДА), № 10, *Псалтирь на славяно-греческом и польском языках* (STSL.RU).

#### Пс8

ОР РГБ, ф. 173. I (Фундаментальное собрание библиотеки МДА), № 8, *Псалтирь славяногреческая* (STSL.RU).

#### Пс9

ОР РГБ, ф. 173. I (Фундаментальное собрание библиотеки МДА), № 9, *Псалтирь славяногреческая* (STSL.RU).

#### Пс73

ОР РГБ, ф. 173. I (Фундаментальное собрание библиотеки МДА), № 73, *Псалтирь с воследованием* (STSL.RU).

#### Пс137

ОР РГБ, ф. 173. I (Фундаментальное собрание библиотеки МДА), № 137, *Псалтирь с воследованием* (STSL.RU).

**Ps1636**

МК РГБ, фонд IV, № 459, *Псалтирь*, Москва, 1636 (STSL.RU).

**Ps1715**

МК РГБ, фонд III, № 51, *Псалтирь*, Киев, 1715 (STSL.RU).

**Чин188**

ОР РГБ, ф. 173.I (Фундаментальное собрание библиотеки МДА), № 188, *Чинопоследование соединяемым из иноверных к православной католической восточной церкви* (STSL.RU).

**BL**

*Biblia to iest Księgi Starego y Nowego Zakonu na Polski ięzyk z pilnością według Łacińskiej Bibliey od Kościoła Krześciańskiego powszechnego przyięthey, nowo wyłożona*, w Krakowie w Drukarni Scharffenbergerów, 1561 (цит. по интернет-изданию электронной фотокпии на сайте <https://www.polona.pl/item/11633395/526/>; последнее обращение: 25.12.2017).

**B63**

*Biblia święta, tho iest, Księgi Starego y Nowego Zakonu, właśnie z Żydowskiego Greckiego y Łacińskiego, nowo na Polski ięzyk, z pilnością y wiernie wyłożone*, Brześć Litewski, 1563 (доступна в электронной фотокпии на сайте <http://www.wbc.poznan.pl/>; последнее обращение: 25.12.2017).

**B72**

*Biblia to iest księgi Starego y Nowego przymierza znowu z ięzyka Hebrayskiego / Greckiego y Łacińskiego na Polski przełożone*, 1572 (доступна в электронной фотокпии на сайте <http://www.wbc.poznan.pl/>; последнее обращение: 25.12.2017).

**B99**

*Biblia to jest Księgi Starego y Nowego Przymierza według Łacińskiego przekładu starego, w kościele powszechnym przyiętego, na Polski ięzyk z nowu z pilnością przełożone, z dokładaniem textu Żydowskiego y Greckiego, y z wykładem Katholickim, trudniejszych miejsc, do obrony wiary świętej powszechnej przeciw kacerstwóm tych czasów należących*, przez D. ІАКУБА ВУУКА z WĄGROWCA, Theologa Societatis Iesu, Kraków, 1599 (доступна в электронной фотокпии на сайте <http://www.wbc.poznan.pl/>; последнее обращение: 25.12.2017).

**PR**

*Psalterz Dawidów, który snadź jest prawy fundament wszystkiego pisma krześcijińskiego*, 1548 (доступна в электронной фотокпии на сайте <http://www.wbc.poznan.pl/>; последнее обращение: 25.12.2017).

**PV**

*Żołtarz Dawidow przez mistrza Walentego Wróbla z Poznania na rzecz polską wyłożony*, Kraków, 1539 (доступна в электронной фотокпии на сайте <http://www.dbc.wroc.pl/>; последнее обращение: 25.12.2017).

**P1532**

*Psalterz albo koscielne spiewanie / Krola Dawida /: nowy pilnie przełożony / z łacinskiego ięzyka w polski / według szczerego textu*, Kraków, 1532 (доступна в электронной фотокпии на сайте <http://www.jbc.bj.uj.edu.pl/>; последнее обращение: 25.12.2017).

**Литература****ВЕРНЕР 2017**

ВЕРНЕР И. В., “К истории перевода Псалтыри Максимом Греком в 1522–1552 годах: хронология, текстология, методология”, *Славяноведение*, 2, 2017, 40–54.

**ИСАЧЕНКО 2002**

ИСАЧЕНКО Т. А., “Книга Иова в переводе монаха Чудова монастыря Моисея (1671 г.): особенности языка и историко-литературный контекст”, *Древняя Русь. Вопросы медиевистики*, 2002, 4 (10), 67–75.

Дианова, Костюхина 1980

Дианова Т. В., Костюхина Л. М., *Водяные знаки рукописей России XVII в. (По материалам Отдела рукописей ГИМ)*, Москва, 1980.

КАРСКИЙ 1896

КАРСКИЙ Е. Ф., *Западнорусские переводы Псалтири в XV–XVII веках*, Варшава, 1896.

——— 1903

КАРСКИЙ Е. Ф., *Белорусы, 1: Введение в изучение языка и народной словесности*, Варшава, 1903.

——— 1908

КАРСКИЙ Е. Ф., *Белорусы, 2: Язык белорусского племени*, Варшава, 1908.

КЕДРОВ 1892

КЕДРОВ Н. И., *Просветительская деятельность Троице-Сергиевой лавры за первые три века ее существования*, Москва, 1892.

КЛИТИНА 1979

КЛИТИНА Е. Н., “Симон Азарьин (Новые данные по малоизученным источникам)”, in: *Труды Отдела древнерусской литературы*, 34, Ленинград, 1979, 298–312.

КЛОСС 1998

КЛОСС Б. М., *Избранные труды, 1: Житие Сергия Радонежского*, Москва, 1998.

——— 2012

КЛОСС Б. М., *О происхождении названия “Россия”*, Москва, 2012.

КНИГА БЕЛОРУССИИ 1986

*Книга Белоруссии. 1517–1917. Сводный каталог*, Минск, 1986.

ЛЕОНИД 1883

ЛЕОНИД (КАВЕЛИН), “Сведения о славянских рукописях, поступивших из книгохранилища Свято-Троицкия Сергиевы Лавры в библиотеку Троицкой Духовной семинарии в 1747 году”, *Чтения в Императорском Обществе Истории и Древностей Российских при Московском Университете*, 4, 1883, 1–112.

НИКОЛАЕВА 2000

НИКОЛАЕВА С. В., “Троице-Сергиев монастырь в XVI – начале XVII века: состав монашеской братии и вкладчиков” (дисс. [. . .] канд. ист. наук, Москва, 2000).

НОСОВИЧ 1870

НОСОВИЧ И., *Словарь белорусского наречия*, С.-Петербург, 1870.

ОПАРИНА 1998

ОПАРИНА Т. А., *Иван Наседка и полемическое богословие киевской митрополии*, Новосибирск, 1998.

ПЕНТКОВСКАЯ 2016А

ПЕНТКОВСКАЯ Т. В., “Перевод аргументов к книге Иова 1671 г. на фоне московских библейских переводов с польского языка”, *Вестник Московского университета. Серия 9: Филология*, 2, 2016, 10–39.

——— 2016Б

ПЕНТКОВСКАЯ Т. В., “Новый Завет в переводе книжного круга Епифания Славинецкого и польская переводческая традиция XVI в.: перевод аргументов к Апостолу”, *Русский язык в научном освещении*, 1 (31), 2016, 182–227.

РИБ VII

*Русская историческая библиотека, издаваемая Археографическою комиссиею*, 7: *Памятники полемической литературы в Западной Руси*, С.-Петербург, 1882.

СЛРЯ XI–XVII вв.

*Словарь русского языка XI–XVII вв.*, 1–30–, Москва, 1975–2015–.

Сопиков 1813

СОПИКОВ В. С., *Опыт российской библиографии, или Полный словарь сочинений и переводов, напечатанных на славенском и российском языках от начала заведения типографий до 1813 года*, 1, С.-Петербург, 1813.

Ундольский 1871

УНДОЛЬСКИЙ В. М., *Хронологический указатель славяно-русских книг церковной печати с 1491-го по 1864-ый*, 1: *Очерк славяно-русской библиографии*, Москва, 1871.

Успенский 1997

УСПЕНСКИЙ Б. А., "Русское книжное произношение XI–XII вв. и его связь с южнославянской традицией (Чтение еров)", in: ИДЕМ, *Избранные труды*, 3: *Общее и славянское языкознание*, Москва, 1997, 143–208.

——— 2002

УСПЕНСКИЙ Б. А., *История русского литературного языка (XI–XVII вв.)*, Москва, 2002.

Целунова 1998

ЦЕЛУНОВА Е. А., "Культурная и языковая ситуация Великого княжества Литовского", in: *AION. Slavistica: annali dell'Istituto universitario orientale di Napoli*, 5: 1997–1998, Napoli, 2000, 33–109.

——— 2006

ЦЕЛУНОВА Е. А., предисл., исслед., подгот. текста, *Псалтырь 1683 года в переводе Авраамия Фирсова: Текст, словоуказатель, исследование*, Москва, 2006.

BUNČIĆ 2012

BUNČIĆ D., "The Standardization of Polish Orthography in the 16th Century," in: S. BADDELEY, A. VOESTE, eds., *Orthographies in Early Modern Europe*, Berlin, 2012, 219–254.

FRICK 1989

FRICK D. A., *Polish Sacred Philology in the Reformation and the Counter-Reformation. Chapters in the History of the Controversies (1551–1632)* (= University of California Publications in Modern Philology, 123), Berkeley (CA), 1989.

GREK-PABISOWA, MARYNIAKOWA 1997

GREK-PABISOWA I., MARYNIAKOWA I., "Język polski na Kresach północno-wschodnich dawniej i dziś," in: I. GREK-PABISOWA, ed., *Historia i współczesność języka polskiego na Kresach wschodnich*, Warszawa, 1997, 27–109.

KURYŁOWICZ 2005

KURYŁOWICZ B. I., *Język polski w szesnastowiecznych księgach miejskich Knyszyna*, Białystok, 2005.

KURZOWA 1993

KURZOWA Z., *Język polski Wileńszczyzny i Kresów północno-wschodnich XVI–XX w.*, Warszawa, Kraków, 1993.

——— 2006

KURZOWA Z., *Polszczyzna Lwowa i Kresów południowo-wschodnich do roku 1939*, Kraków, 2006.

LINDE 1807–1808, 1.I–II

LINDE S. B., *Słownik języka polskiego*, 1.I–II, Warszawa, 1807–1808 (<http://www.kpbc.umk.pl/publication/8173>; последнее обращение: 25.12.2017).

LUTO-KAMIŃSKA 2015

LUTO-KAMIŃSKA A., "Alfurkan tatarski Piotra Czyżewskiego — opis zabytku (grafia z elementami fonetyki)," in: *Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej*, 50, 2015, Warszawa, 18–47.

MARTEL 1938

MARTEL A., *La langue polonaise dans les pays ruthenes. Ukraine et Russie Blanche. 1569–1667*, Lille, 1938.

## MOSER 2002

MOSER M., "Zur Polsschyzna kresowa in Weißrussland und der Ukraine und ihrer sprachlichen Charakteristik," *Die Welt der Slaven*, 47, 2002, 31–56.

## PIETKIEWICZ 2002

PIETKIEWICZ R., *Pismo Święte w języku polskim w latach 1518–1638. Sytuacja wyznaniowa w Polsce a rozwój edytorstwa biblijnego*, Wrocław, 2002.

## SEMKOWICZ 1951

SEMKOWICZ W., *Paleografia Łacińska*, Kraków, 1951.

## SICIŃSKA 2015

SICIŃSKA K., "Cechy fonetyczne polszczyzny południowokresowej w listach metropolity kijowskiego Jana (Hioba) Boreckiego z lat 1624–1629," *Rozprawy Komisji Językowej ŁTN*, 61, 2015, 199–220.

## SŁP XVI

*Słownik polszczyzny XVI wieku*, 1–36, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, 1966–2012 (<http://spxvi.edu.pl/>; последнее обращение: 25.12.2017).

## SŁP XVII

*Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku* (<http://sxvii.pl/>; последнее обращение: 25.12.2017).

## References

Bunčić D., "The Standardization of Polish Orthography in the 16th Century," in: S. Baddeley, A. Voeste, eds., *Orthographies in Early Modern Europe*, Berlin, 2012, 219–254.

Celunova Je. A., "Kul'turnaia i iazykovaia situatsiia Velikogo kniazhestva Litovskogo," in: *AION. Slavistica: annali dell'Istituto universitario orientale di Napoli*, 5: 1997–1998, Napoli, 2000, 33–109.

Celunova Je. A., *Psaltyr' 1683 goda v perevode Avramiia Firsova: Tekst, slovoukazatel', issledovanie*, Moscow, 2006.

Dianova T. V., Kostiukhina L. M., *Vodianye znaki rukopisei Rossii XVII v.*, Moscow, 1980.

Frick D. A., *Polish Sacred Philology in the Reformation and the Counter-Reformation. Chapters in the History of the Controversies (1551–1632)* (= University of California Publications in Modern Philology, 123), Berkeley (CA), 1989.

Grek-Pabisowa I., Maryniakowa I., "Język polski na Kresach północno-wschodnich dawniej i dziś," in: I. Grek-Pabisowa, ed., *Historia i współczesność języka polskiego na Kresach wschodnich*, Warszawa, 1997, 27–109.

Isachenko T. A., "Kniga Iova v perevode monakha Chudova monastyrja Moiseia (1671 g.): osobennosti iazyka i istoriko-literaturnyi kontekst," *Drevnyaya Rus. Voprosy Medievistiki*, 2002, 4 (10), 67–75.

Klitina E. N., "Simon Azar'in (Novye dannye po maloizuchennym istochnikam)," in: *Trudy Otdela drevnerusskoi literatury*, 34, Leningrad, 1979, 298–312.

Kloss B. M., *Izbrannye trudy*, 1: *Zhitie Sergiia Radonezhskogo*, Moscow, 1998.

Kloss B. M., *O proiskhozhdenii nazvaniia "Rossiia"*, Moscow, 2012.

Kurylowicz B. I., *Język polski w szesnastowiecznych księgach miejskich Knyszyna*, Białystok, 2005.

Kurzowa Z., *Język polski Wileńszczyzny i Kresów północno-wschodnich XVI–XX w.*, Warszawa, Kraków, 1993.

Kurzowa Z., *Polsschyzna Lwowa i Kresów południowo-wschodnich do roku 1939*, Kraków, 2006.

Luto-Kamińska A., "Alfurkan tatarski Piotra Czyżewskiego — opis zabytku (grafia z elementami fonetyki)," in: *Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej*, 50, 2015, Warszawa, 18–47.

Martel A., *La langue polonaise dans les pays ruthènes. Ukraine et Russie Blanche. 1569–1667*, Lille, 1938.

Moser M., "Zur Polsschyzna kresowa in Weißrussland und der Ukraine und ihrer sprachlichen Charakteristik," *Die Welt der Slaven*, 47, 2002, 31–56.

Oparina T. A., *Ivan Nasedka i polemicheskoe bogoslovie kievskoi mitropolii*, Novosibirsk, 1998.

Pentkovskaya T. V., "The Translation of the Arguments to the Book of Job, 1671, against the Background of Moscow Biblical Translations from Polish," *Moscow State University Bulletin. Series 9. Philology*, 2, 2016, 10–39.

Pentkovskaya T. V., "The New Testament in the Translation of the Circle of Epiphanius Slavinsky and the Polish Translation Tradition of the 16th Century: Translation of Summae in the Apostolos," *Russian Language and Linguistic Theory (Russkij yazyk v nauchnom osveshchenii)*, 1 (31), 2016, 182–226.



Pietkiewicz R., *Pismo Święte w języku polskim w latach 1518–1638. Sytuacja wyznaniowa w Polsce a rozwój edytorstwa biblijnego*, Wrocław, 2002.

Semkowicz W., *Paleografia Łacińska*, Kraków, 1951.

Sicińska K., "Cechy fonetyczne polszczyzny południowokresowej w listach metropolity kijowskiego Jana (Hioba) Boreckiego z lat 1624–1629," *Rozprawy Komisji Językowej ŁTN*, 61, 2015, 199–220.

Uspenskij B. A., *Izbrannye trudy*, 3: *Obshchee i slavianskoe iazykoznanie*, Moscow, 1997.

Uspenskij B. A., *Istoriia russkogo literaturnogo iazyka (XI–XVII vv.)*, Moscow, 2002.

Verner I. V., "On the History of Maximus the Greek's Translation of Psalter in 1522–1552: Chronology, Textology, and Methodology," *Slavianovedenie*, 2, 2017, 40–54.

---

### Jelena Celunova, CSc.

docentka katedry jazyků

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.

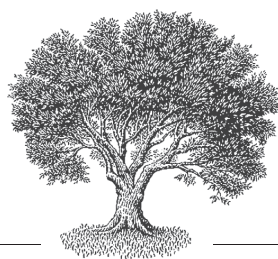
Svídnická 506

181 00 Praha 8

Česká republika / Czech Republic

celunova@vsh.cz

Received May 25, 2017



Иллюстрации  
к “Разговору  
в царстве мертвых  
замечательного  
русского царя  
Петра Великого  
и ужасного тирана  
Ивана Васильевича II”  
(Ивана Грозного)  
Д. Фассмана (1725)  
как инструмент  
конструирования  
представлений о  
России в Европе\*

**Екатерина Александровна  
Скворцова**

С.-Петербургский государственный  
университет  
С.-Петербург, Россия

Illustrations to  
“Gespräche in dem  
Reiche derer Todten  
zwischen dem  
vortreflichen  
Moscowitischen Czaar  
Petro Magno und dem  
grossen Tyrannen Ivan  
Basilowiz II” (Peter the  
Great and Ivan the  
Terrible) by David  
Fassmann (1725)  
as an Instrument of  
Constructing a Picture  
of Russia

**Ekaterina A. Skvortcova**

St. Petersburg State University  
St. Petersburg, Russia

---

\* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 17-78-10130).

## Резюме

“Разговоры в царстве мертвых” Давида Фассмана (1683–1744) — журнал, издававшийся в Лейпциге в 1718–1740 гг. и имевший большой успех. Каждый из 240 выпусков построен в форме диалога в загробном мире двух исторических личностей. Тексты 83–86 энтревю, где собеседниками выступают Петр Великий и Иван Грозный, получили убедительную историческую и литературоведческую интерпретацию в работе Э. Маттеса (1987). В настоящей статье выявлены особенности визуализации содержания 83–86 энтревю в иллюстрациях, которые в тесной взаимосвязи с текстом служили важным инструментом насаждения определенных представлений о России. Иллюстрации к первому диалогу серии, где образы Петра и Ивана противопоставлены друг другу, и ко второму, где они преподнесены по принципу подобия, делают “тирана” и “варвара” Ивана Грозного точкой отсчета, соотнося с которой деяния Петра читатель вынужден обнаружить не только различия, но и сходство. Благодаря этому складывается многомерный образ России начала XVIII века. Персонажей второй иллюстрации — тигра и палача — можно идентифицировать как Ивана и Петра только через сопоставление стихов-эпиграммы к изображению, иллюстрации к предыдущему диалогу, текста следующего энтревю и известных по другим текстовым и изобразительным источникам фактов о представленной здесь казни стрельцов (1698), о которых сам Фассман умалчивает в духе характерного для барокко *ars dissimulandi*. Во фронтисписе к 85-му энтревю секретарь, приносящий вести из мира живых, и портрет Екатерины I подчеркивают связь прошлого и настоящего, истории и политики. А иллюстрация к последнему диалогу из серии возвращает к теме прославления Петра.

## Ключевые слова

Давид Фассман, “Разговоры в царстве мертвых”, Петр Великий, Иван Грозный, репрезентация монарха, слово и изображение, иллюстрация, гравюра, изобразительное искусство XVIII века, *ars dissimulandi*, эмблематика, Просвещение, немецкая литература

## Abstract

The journal created by David Fassmann (1683–1744), *Gespräche in dem Reiche derer Todten*, edited in Leipzig, was a huge success. Each of the 240 issues presents a dialogue between two historical figures from the afterworld. In the 83rd–86th Entrevuë, the interlocutors are Peter the Great and Ivan the Terrible. The texts of the four conversations were thoroughly examined by Eckhard Matthes (1987). The present paper explores how the illustrations to the 83rd–86th Entrevuë visualize the texts, which is significant as they were an important instrument for disseminating certain notions about Russia. While the illustration to the first dialogue of the suite juxtaposes Peter and Ivan, the illustration to the second one emphasizes the similarities between them. So the image of the “tyrant” and “barbarian” Ivan becomes a reference point with which a reader is urged to compare Peter’s deeds, seeing not only the differences but also the similarities. This greatly contributes to the creation of the multifaceted image of Russia of the early 18th century. The characters of the second illustration—a tiger and an executioner—can be identified as Ivan and Peter only if the reader takes into

consideration an epigram to the illustration, the illustration to the previous dialogue, the text of the next Entrevuë, and facts about the execution of the strel'tsy known from other texts and images, about which Fassmann remains silent in the spirit of *ars dissimulandi*, which was typical for baroque culture. In the frontispiece to the 85th Entrevuë, a secretary bringing news from the world of the living and a portrait of Catherine I emphasize the connection of the past and the present, i.e., history and policy. Finally, the illustration to the last dialogue of the series returns to the glorification of Peter the Great declared in the first dialogue.

#### Keywords

David Fassmann, *Dialogues of the Dead*, Peter the Great, Ivan the Terrible, representation of the monarch, text and image, illustration, engraving, 18th century fine arts, *ars dissimulandi*, emblem, Enlightenment, German literature

“Разговоры в царстве мертвых” (“Gespräche in dem Reiche derer Todten”) — раннепросветительский журнал, издававшийся в Лейпциге с 1718 по 1740 г. Каждый выпуск построен в форме беседы в загробном мире исторических личностей, которые встречаются, чтобы поведать друг другу историю своей жизни и обсудить политические, моральные или философские вопросы. В конце “Разговора. . .” сообщаются последние новости, которые в царство теней из мира живых приносят особый персонаж — Секретарь.

Автор “Разговоров. . .” Давид Фассман (1683–1744) — создатель целого ряда периодических изданий, таких как “Der reisende Chineser” (1721–1733), “Sonderbare Nationen Gespräche” (1727–1733), “Staatsmann” (1731–1739) и прочих<sup>2</sup>. Прежде чем обратиться к журналистике, он испытал себя на военном поприще, затем в роли секретаря, учителя словесности, переводчика, придворного историографа. Его становлению как публициста, безусловно, способствовали как этот опыт, так и обучение в гимназии в Ансбахе, университетах Байройта, Утрехта, Оксфорда, Галле (хотя и недолгое, прерывавшееся в силу разных обстоятельств); а также многочисленные путешествия по Европе и пережитые приключения. По верному замечанию Р. Минцлова, “при очень замечательном

<sup>2</sup> См. издания: Der auf Ordre und Kosten seines Kaysers, reisende Chineser: was er, Von dem Zustand und denen Begebenheiten der Welt, insonderheit aber derer Europäischen Lande, dem Beherrscher des Chinesischen Reichs vor Bericht erstattet. Nebst etlichen sonderbaren Nachrichten, Bestehende: [. . .] Leipzig, 1721–1733; Nationen=Gespräche, Oder Curieuse Discourse Über die Jetzigen Conjecturen und wichtigsten Begebenheiten [. . .]. Berlin, 1727–1733; Der mit Historischen Politischen und andern importanten Sachen beschäftigte Staats=Mann, oder Gründliche Erzählung Alles dessen, was von Höfen grosser Potentaten [. . .] geschrieben wird, oder sich sonst in der Welt ereignet und zuträget. Mit darüber beygefüigten Vernünftigen und gründlichen Raisonnemens. Leipzig, 1731–1739.

природном уме и огромной начитанности, изучив, сверх того, во время своих странствований и походов, все требования современного общества и самое сие общество во всех его слоях, Фассман, на новом поле своей деятельности, явился с первой минуты совершенным мастером дела” [Минцлов 1856: 385].

“Разговоры. . .” Фассмана наследуют традиции античных “Разговоров в царстве мертвых” Лукиана Самосатского (около 120 — после 180 гг. н. э.), а также сочинений Бернара де Фонтенеля (1657–1757) и Франсуа Фенелона (1651–1715) — главных представителей в литературе Нового времени этого жанра, вновь обретшего распространение в Западной Европе начиная с эпохи Возрождения. Фассман ограничивал число главных действующих лиц двумя, что ориентирует читателя на их сопоставление, — в этом сказалось влияние “Параллельных жизнеописаний” Плутарха. Наконец, идею представить свое сочинение в виде периодического издания Фассман заимствовал у своего университетского наставника в Галле Христиана Томазия (1655–1728), создавшего первый регулярный пользовавшийся успехом немецкоязычный журнал “Monatsgespräche” (1688–1690) [DREYFÜRST 2014: 3, 126–133]. Позиционируя “Разговоры в царстве мертвых” перед читателями как средство обрести по меньшей мере “видимость учености”, Фассман стремился привлечь широкую аудиторию и преуспел в этом: постоянный спрос позволил издать 240 диалогов. Автор использовал для обозначения номера журнала специальный, ныне устаревший термин “Entrevuë”, которым подчеркивался диалогический характер изложения, придающий повествованию занимательность и особую убедительность. Тиражи в некоторых случаях доходили до 15 000 экземпляров. Это было одно из самых читаемых немецкоязычных изданий XVIII века. Его популярность позволила Фассману существовать в качестве независимого журналиста, что для той эпохи было редкостью. Большой успех “Разговоров в царстве мертвых” был отчасти обусловлен ранее распространившейся модой на них во Франции. Впоследствии на протяжении XVIII века в немецкой литературе было создано более 500 подобных сочинений. Важным следствием интереса к ним стало возрождение в ней жанра диалога вообще в разных его формах [ВАУМВАСН 2002: 75–81]. С другой стороны, “Разговоры. . .” Фассмана положили начало целому направлению в немецкой исторической журналистике, а именно, по определению Р. Е. Прутца, “повествовательным журналам” (“erzählende Journalen”). При этом ни одно издание этого рода не могло сравниться с ними по влиянию [PRUTZ 1845: 397].

Журнал Фассмана давно привлек внимание исследователей. В XIX веке он получил освещение в работе по истории немецкой журналистики



Р. Е. Прутца [PRUTZ 1845: 397–406], а также упоминался в трудах К. Ф. А. Гудена и Ф. Ферстера [GUDEN 1831: 60–61; FÖRSTER 1834: 272–275]. В конце XIX и на протяжении XX столетий ученые обращались к “Разговорам” Фассмана как в контексте изучения его творчества [LINDENBERG 1937; KRAUZE 2001], так и в связи с историей жанра “разговоров в царстве мертвых” в немецкой и в целом европейской литературе [RENTSCH 1895; RUTLEDGE 1974; BAUMWACH 2002]. Отдельные вопросы, например, отражение в журнале медицинских и ориентальных сюжетов, стали предметом специальных исследований [ЕСКНАРДТ 1987; FRANKE 2005]. Однако первая фундаментальная работа, где целенаправленно и детально исследуется издание Фассмана, появилась лишь недавно; она принадлежит перу С. Драйфюрст [DREYFÜRST 2014]. В этом труде рассмотрены особенности трансформации жанра “Разговоров. . .” у Фассмана по отношению к предшествующим образцам и современному литературному контексту, изучена проблема трактовки категорий “свой” и “чужой”, а также заложены методологические основы для дальнейшего изучения диалогов, которое представляется необходимым в силу внушительного объема издания Фассмана и чрезвычайного разнообразия привлекаемого в нем исторического материала.

В “Разговорах. . .” присутствует тема России. Один или оба заглавных героя представляют ее в 11 из 240 диалогов: это Иван Грозный [FASSMANN 1725-83, 1725-84 1725-85, 1725-86], Петр Великий [IBID.; FASSMAN 1728], Екатерина I [IDEM 1729], Анна Иоанновна [IDEM 1741-1; IDEM 1741-2], Петр II [FASSMANN 1732-1, 1732-2], царевич Алексей Петрович [IBID.], А. Д. Меншиков [IDEM 1730], В. В. Голицын [IDEM 1737], К. фон Гохмут [IBID.]. В российской историографии первым на эти издания указал Р. Минцлов, опиравшийся в своей характеристике на Прутца. Об историческом значении и литературных особенностях “Разговоров. . .” Минцлов отозвался весьма нелестно:

При настоящем взгляде на науку и литературу эта популяризированная довольно пошлым образом история, сколоченная большей частью из газетных статей, с прикрасами “высокого слога” и иногда самых нелепых аллегорий и картин, представляется, конечно, верхом безвкусыя; но в то время все сие совершенно соответствовало духу и потребности эпохи и нисколько не удивительно, что Фассман сделался любимцем публики [Минцлов 1856: 386].

Однако он прибавил, что

из числа этих странных произведений [. . .] многие получают особое значение как отпечаток современных взглядов и отголосок тогдашних мнений [. . .] и все вообще — как материал для истории литературы, чуждой нам, правда, по происхождению и языку, но *своей* по содержанию, имевшему постоянным предметом Россию и русского царя [Минцлов 1856: 347].

Несмотря на ценность “Разговоров. . .” как историко-литературного и художественного источника, краткое описание Минцлова оставалось единственным упоминанием о них в отечественной научной литературе, как дореволюционной, так и советской. В этом отношении журнал Фассмана разделяет судьбу в российской историографии жанра “разговоров в царстве мертвых” в целом. По сей день единственным обобщающим исследованием о его бытовании в России остается книга итальянского литературоведа Н. Марчалис, до сих пор не переведенная на русский язык [MARČIALIS 1989], а специального внимания удостоивались лишь отдельные образцы. В последнее время интерес к этому жанру в российской науке постепенно возрастает (см., например, [ИСАЧЕНКО 2014]). Однако изданные Фассманом диалоги пока не удостоились комплексного источниковедческого и литературоведческого анализа. Так, в диссертации Е. В. ЕРМАСОВА [2000: 41–43], посвященной теме, для которой они составляют важнейший материал, — образу Петра I и России в немецкой публицистике первой четверти XVIII века, — факты и сведения, приводимые Фассманом, привлекаются, но само его сочинение получает лишь очень сжатую характеристику, не привносящую новых оценок и подходов. Между тем эти диалоги, что отмечено еще Минцловым, представляют несомненный интерес как источники, свидетельствующие об особенностях восприятия России в Западной Европе в первой половине XVIII века. Однако они не только отражали бытовавшие представления о России, но и являлись важным инструментом распространения таких представлений. И потому художественные средства Фассмана, при помощи которых он внедрял свои идеи, заслуживают особого внимания.

В четырех “Разговорах. . .”, составляющих серию, собеседниками выступают Петр Великий и Иван Грозный (83–86 интервью) [FASSMAN 1725-83, 1725-84, 1725-85, 1725-86]<sup>3</sup>. Количество диалогов с этими персонажами свидетельствует о большом интересе к теме<sup>4</sup>. Убедительный анализ этих диалогов был предложен Э. Маттесом [MATTHES 1987]. Однако исследователь сосредоточивается исключительно на тексте, оставляя в стороне иллюстрации. Тем не менее гравированные фронтисписы этого периодического издания заслуживают особого внимания.

<sup>3</sup> В заглавии Иван Грозный назван Иван Васильевич II, см.: [СКВОРЦОВА 2015: 504–505].

<sup>4</sup> Единственная серия, которая превзошла эту по количеству вошедших в нее диалогов, посвящена Евгению Савойскому и Филиберу де Грамону (пять интервью: 212–216). В остальные входит три (8 из 240 интервью), чаще два (51 из 240 интервью) “Разговора”. Обычно персонажи встречаются лишь в одном диалоге (105 из 240 интервью). Полный список 240 “Разговоров” см.: [DREYFÜRST 2014: 565–588].

В журнале Фассмана гравированный фронтиспис предпослан каждому диалогу. В большинстве случаев (в том числе и на фронтисписах к 83–86 энтревю) ни рисовальщик, ни гравер не указаны<sup>5</sup>. Обычно на гравюрах представлены заглавные герои диалога на фоне городского пейзажа или идеализированного ландшафта. В оформлении разворота, как справедливо указывает Драйфюрст, очевидна ориентация на барочную эмблематическую традицию, построенную на игре трех элементов — *picture* (изображение), *inscriptio* (девиз) и *subscriptio* (сопровождающая эпиграмма). Однако изображение, в эмблематике весьма лаконичное, здесь в духе новых тенденций тяготеет к пространной иллюстративности, а девиз, обычно краткий, становится столь обстоятельным, что занимает всю правую страницу разворота [DREYFÜRST 2014: 241–243].

С. Драйфюрст были обозначены основные направления необходимых изысканий — выявление иконографических источников и сведений об их циркуляции в Лейпциге, анализ возможных новаций, привнесенных создателями иллюстраций при использовании образцов. Последнее направление исследований до сих пор остается не реализованным не только по отношению к диалогам с участием героев российской истории, но и к “Разговорам. . .” Фассмана вообще. Иллюстрации к первым были введены в научный оборот еще в конце XIX века Д. А. Ровинским, который привел их краткие описания и помещенные под ними стихи<sup>6</sup>. Единственная попытка выявить иконографические источники и определить взаимосвязи иллюстраций с текстом Фассмана и идеями эпохи была предпринята на материале диалогов, где в качестве персонажей выступают российские императрицы — Екатерина I и Анна Иоанновна [Скворцова 2015; SKVORTSOVA 2016]. Ранее вопрос об иконографических источниках фронтисписов к другим диалогам исследователи затрагивали лишь вскользь на отдельных примерах [DREYFÜRST 2014: 248–251; FRANKE 2005: 774–775].

Фронтисписы к “Разговорам. . .” Петра и Ивана, построенные в своей основе на тех же принципах, должны стать предметом особого рассмотрения. Если Екатерине I и Анне Иоанновне Фассман избрал в собеседники правительниц других государств, то здесь оба персонажа относятся к истории России, к разным ее эпохам. К тому же “Разговоры. . .”

<sup>5</sup> Фассман, будучи автором, с большой вероятностью мог влиять на программу иллюстраций. В начале 1 энтревю он даже приводит разъяснение изображения на фронтисписе [DREYFÜRST 2014: 236–237].

<sup>6</sup> Портреты Ивана Грозного [Ровинский 1887, 2: 1026 по. 77, 78, 79], Петра I [ИДЕМ 1888, 3: 1723–1724 по. 657, 658, 659, 660], Екатерины I [ИДЕМ 1887, 2: 762 по. 104], Петра II [ИДЕМ 1888, 3: 1759–1760 по. 42], Анны Иоанновны [ИДЕМ 1886, 1: 320 по. 118, 119], царевича Алексея Петровича [ИВІД.: 286 по. 33], А. Д. Меншикова [ИДЕМ 1887, 2: 1277 по. 35], аллегорическая композиция, знаменующая скорбь России по почившему Петру II [ИДЕМ 1888, 3: 1759–1760 по. 42].

Петра и Ивана составляют целую серию с продуманной композицией (см. Илл. 1-4). Наконец, изображенная на одном из фронтисписов сцена казни разительно отличает их от прочих диалогов с российскими персонажами, обнаруживая причастность особому кругу идей. Иллюстрации к диалогам Петра и Ивана не только визуализируют содержание, но и обогащают его новыми нюансами, и подчас, на первый взгляд, не вполне соответствуют заданным в тексте оценкам. Это позволяет поставить принципиально новый вопрос — о характере взаимодействия текста и изображения в рамках серии из четырех диалогов. Ответ на него и является целью настоящей статьи<sup>7</sup>.

Следует оговориться, что в поставленные задачи не входит внутренняя критика источника, установление достоверности заключенной в нем информации. Они ограничиваются внешней критикой, которая в данном случае сводится прежде всего к интерпретации иллюстраций в их взаимосвязи с текстом и выявлению идей, которые стремился внушить читателю автор. Ввиду ряда обстоятельств (соображений предосторожности, стремления заинтриговать читателя, представить идеи более доказательными, влияния эмблематической традиции и др.) Фассман предпочитает прямым декларациям окольные пути, отдавая дань приемам эпохи барокко. Поэтому анализ частного вопроса — взаимоотношений слова и изображения — приобретает значение для более широкой проблематики, а именно — прояснения представлений о России, бытовавших и распространявшихся в конце первой четверти XVIII века при помощи популярного лейпцигского издания.

83 энтрею, первый “Разговор. . .” из серии бесед Петра Великого и Ивана Грозного, открывает фронтиспис, имеющий программный характер (см. Илл. 1). В нем визуально воплощены три важнейшие идеи. Он знаменует недавнюю кончину Петра, прославляет его деяния и зримо формулирует противопоставление Петра и Ивана как персонификаций двух этапов в развитии России. За Петром, облаченным в латы и горностаевую мантию, стоит смерть в виде скелета, которая произносит: “Ich freß all Menschen Kind wie ich sie find, doch find die Grösstesste aller besten” (“Я пожираю всех отпрысков рода человеческого, каких найду, но самые большие из них — самые лучшие”)<sup>8</sup>. Трон правителя окружают Марс, Нептун, Минерва, Аполлон и Меркурий, оплакивающие его смерть. Фассман не ограничивается сопутствующим четверостишием, в

<sup>7</sup> Кроме того, анализ этих иллюстраций развивает проблему сопоставления Ивана IV и Петра I, поднятую А. М. Панченко и Б. А. Успенским, непосредственно на материале начала XVIII века. См.: [Панченко и Успенский 1983].

<sup>8</sup> Здесь и далее перевод сделан автором статьи. Автор благодарит за консультации д-ра Т. Плата (Университет Грайфсвальда).



котором изливает скорбь о почившем великом монархе<sup>9</sup>, но и во вступлении перечисляет всех представленных на гравюре богов — “друзей Петра” [FASSMAN 1725-83: 163]. Они входили в традиционный пантеон монарших добродетелей. Напрашивается параллель: в элегии В. К. Тредиаковского по случаю смерти Петра предстают они же (только место Аполлона и Меркурия заняла Политика): “Се бегут: Паллада, Марс, Нептун, Политика, // Убоявшеся громка Вселенныя крика” (“Элегия о смерти Петра Великого”, 1725) [ТРЕДИАКОВСКИЙ 1963: 57]. В разъяснении эти аллегории не нуждались. Фассман называет их в тексте, дублируя смысл изображения, единственно с целью вывести одическую тему на первый план. Напротив Петра на троне восседает Иван в обшитом мехом кафтане, с горлатной шапкой на голове<sup>10</sup>. Контраст их одеяний — европейского у Петра и традиционно-русского у Ивана — служит визуальным противопоставлением старой (для Фассмана это значит отсталой, варварской) и новой (просвещенной) России.

Публикация 83 энтревью вызвала большое неудовольствие Екатерины I. Однако отнюдь не потому, что в нем живописуются ужасы правления Ивана Грозного (“противовес” в виде описания реформ Петра будет дан лишь в последующих диалогах), а русские названы “настоящими варварами, хуже турок и татар” (в таком состоянии, по Фассману, они пребывали потому, что их правители нарушали “естественное право” и “право народа”) [FASSMAN 1725-83: 214]. Более чувствительными для императрицы оказались нюансы, касающиеся непосредственно ее жизни. Саксонские цензурные ведомства изъяли этот диалог из продажи [DREUFÜRST 2014: 163]. Автор из предосторожности покинул Лейпциг и скрывался у родственников в сельской местности, а затем и вовсе переехал в Прагу.

<sup>9</sup> Der heut, dem Ansehen nach, der höchsten Ceder gleichet,  
Liegt morgen starr und todt, in einer finstern Grufft,  
Die Kaiser-Blum verwelck't, so leicht als Veil verbleichet,  
Und Hoheit in der Welt ist Schatten-gleiche-Lufft.  
(Тот, кто походил на величайший кедр, // Будет завтра лежать мертвым и жестким в темном склепе, // Цвет императора увял, столь же легко, как выцветает фиалка, // И величие в мире - это тень, подобная воздуху).

<sup>10</sup> Горлатная шапка была предметом повседневного царского костюма [САВВАИТОВ 1865: 570–571]. В гардеробе Петра в селе Преображенском был лишь один русский наряд с “шапкой горлатной заячей черной” [УСТЯЛОВ, 1: 200]. Тем не менее существуют европейские портретные гравюры, в которых он изображен именно в таком головном уборе: гравюра И. Л. Хонинга (конец XVII в., Гос. Эрмитаж) [ВАСИЛЬЕВ 1966: 82], гравюра из Городской библиотеки Трира (Городская библиотека Трира [TRIPOTA]), гравюра из Австрийской Национальной библиотеки (PORT\_00033437\_01) [DIGITALER PORTRAITINDEX]. Из этого можно заключить, что горлатная шапка воспринималась на рубеже XVII–XVIII веков как традиционный элемент царского костюма и ее выбор в качестве головного убора царя, представляющего “старую Россию”, вполне естественен.



Дошедшие до наших дней экземпляры сохранили следы переработки текста с целью сделать возможным его дальнейшее распространение. Главное отличие новых экземпляров заключается в том, что за 160-й страницей следует страница с любопытным номером “161–179”, а за ней — 180-я. На этот факт обратил внимание Р. Минцлов [1856: 386–387]. Он выявил в собрании Императорской публичной библиотеки (ныне Российская Национальная библиотека в С.-Петербурге) три издания “Разговора. . .”, имеющие помимо указанного и другие, менее значительные отличия; описал наиболее заметные из них и верно определил первоначальный вариант и перепечатки. Он указывал, какой текст был изначально помещен на таинственных страницах 161–179 — “биография Екатерины I и изложение порядка престолонаследия после Петра Великого”. Минцлов отмечает, что, хотя на странице под номером 161–179 Иван сразу же переходит к рассказу о себе, логика изложения не нарушается и, как констатировал историк, пропуск этот “не случайный, а преднамеренный”. Однако вскользь оброненный вопрос — “С какою целью?” — Минцлов оставляет без ответа и не связывает купюру с недовольством с российской стороны, о котором ему, по-видимому, не было известно [ibid.: 386–387]. Н. Марчалис обнаруживает прямую зависимость этих фактов [MARČALIS 1989: 57], однако не уточняет, что именно пришлось не по вкусу при российском дворе. Эти подробности представляют интерес.

В коллекции Россики Российской Национальной библиотеки имеется первоначальный экземпляр (13.13.5.31), а также два экземпляра, вышедшие после цензурной правки (13.8.4.62; 13.8.4.70). В исходном варианте на страницах 169–177 говорится о происхождении Екатерины (она названа дочерью знатного лифляндца и его подданной, с. 169). Затем помещен двусмысленный разговор, в котором Петр пытается убедить Ивана в том, что Екатерина в первом замужестве не утратила девственность, хотя состояла в нем целый год (с. 170–171). Завершается этот фрагмент пассажем, в котором Иван обстоятельно перечисляет все причины, почему некоторые могут не захотеть признать Екатерину законной правительницей, заверяя, впрочем, что он, конечно, считает ее таковой. И Петру приходится признаться, что он озадачен его словами (с. 175).

В появившихся позже экземплярах (13.8.4.62; 13.8.4.70) эта часть текста отсутствует. От первоначального их отличает также название, в котором опущено упоминание об истории Екатерины<sup>11</sup>. Кроме того, в

<sup>11</sup> В первоначальном варианте за поименованием героев диалога следовало пояснение: “worinnen die Ankunfft des Erstern in dem Reiche derer Todten, wie auch verschiedene sonderbare Nachrichten von seiner hinterlassenen Gemahlin, und dann die entsetzliche Historie des Letztern, welche nicht ohne Erstaunen kan gelesen werden, ingleichen mancherley wichtige Discourse, enthalten” (“в котором

самом первом варианте имеется весьма пространное вступление. Оно было разбито на две части. В первой упоминаются три встречи автора с Петром. О последней, в Карлсбаде, в действительности столь же мало-значительной, что и две другие, рассказывается подробно. При этом Петр предстает не в ореоле величия, а в бытовой обстановке, когда, оказавшись без свиты, он воспользовался услугами Фассмана как сопровождающего и расспрашивал его о значении общеизвестных латинских слов (*Redemptor*) (с. 158–160). Во второй части, наравне с завязкой сюжета, приведено уже упоминавшееся описание фронтисписа с перечислением персонификаций добродетелей Петра, которое усиливает панегирическую тему (с. 163). Очевидно, таким образом Фассман играет на контрасте, то возвышая, то намеренно принижая образ Петра. В одном из последующих экземпляров отсутствует весь этот отрывок (13.8.4.70). А в другом опущен только рассказ о встрече Фассмана с императором, тогда как панегирический фрагмент перенесен в конец (13.8.4.62, с. 230–233). В этом экземпляре (13.8.4.62), как и в первоначальном, в конце диалога в царство мертвых прибывает секретарь, приносящий вести о добром правлении Екатерины (с. 222–233). В экземпляре под шифром 13.8.4.70 и этот фрагмент исключен. Таким образом, это наиболее сокращенный вариант, из которого удалены все фрагменты, связанные с Екатериной, а также панегирический отрывок в честь Петра. Последнее изменение невозможно объяснить предосторожностью. Вероятно, оно было предпринято, чтобы сохранить равновесие: поскольку пропущены сомнительные подробности, опущена и хвалебная часть.

Как первоначальный, так и последующие экземпляры открывает страница 157 (была продолжена нумерация предыдущего выпуска этого же года). Исключено в вариантах, появившихся после цензурных неприятностей, в действительности 8 страниц (а не 18, как следует из обозначения номера страницы "161–179"), но из-за несовпадений в начале исходного и последующих экземпляров уничтоженные листы замещает страница не с номером 169–177, а с номером 161–179. Это вызвано желанием сохранить тот же номер открывающей страницы и дальнейшую сквозную нумерацию выпусков.

---

содержится рассказ о прибытии первого [Петра. — *Е. С.*] в царство мертвых, а также различные курьёзные известия о его оставшейся [в мире живых — *Е. С.*] супруге, а затем ужасающую историю последнего [Ивана. — *Е. С.*], которую невозможно читать без изумления, и прочие важные рассуждения"). В новом варианте формулировка обрела такой вид: "Worinnen die Historie des Letzttern, so nicht ohne Erstaunen gelesen werden, in gleichen viele Erzählungen, von des erstern grossen und berühmten Thaten, nebst ausführlichen Nachrichten von der Religion derer Moscowiter enthalten" ("в котором содержится история последнего, которую невозможно читать без изумления, а также рассказ о великих и славных деяниях первого и подробные сведения о религии москвитов").

Когда Фассман почувствовал, что находится вне опасности, он отправился в Берлин. Там российский посол граф А. Г. Головкин сообщил ему, что “российская императрица в своей великой щедрости не отдавала приказ подать иск против него при дворе королевства Польши и курфюршества Саксонии” [MARCIALLIS 1989: 57–58]. Зато в качестве ответной меры при российском дворе было инициировано издание “Разговора между трех приятелей, сошедшихся в одном городе, а именно: Менарда, Таландра и Варемунда” [Р.Р.В. 1841; MARCIALLIS 1989: 57–60]<sup>12</sup>, опровергающего “злые клеветы”, “пашквили и басни” [Ibid.: 347] о России и российских государях сразу трех европейских авторов — несостоявшегося воспитателя царевича Алексея М. фон Нойгебауера, секретаря посольства Священной Римской империи в России И. Г. Корба и Фассмана<sup>13</sup>. Так серия диалогов Фассмана оказалась приравненной к самым одиозным антироссийским сочинениям первой четверти XVIII столетия.

Фронтиспис к следующему разговору (84 энтрею) — одна из самых ярких иллюстраций к диалогам Фассмана, несомненно отвечающая потребности публики в скандальных сенсациях. Изображена кровавая расправа тирана со своими подданными. Жестокий правитель представлен в образе тигра<sup>14</sup>, хищно вознесшего когтистые лапы и торжествующе созерцающего сцену массовой казни. Монарха в нем изобличает подбитая горностаем мантия. То, что это именно Иван Грозный, понятно по горлатной шапке — точно такой же, что венчала царя на фронтисписе к предыдущему “Разговору”. Даже и без какого-либо комментария легко поддающаяся истолкованию изобразительная метафора получает словесное разъяснение в сопровождающем иллюстрацию четверостишии:

In alten Zeiten stack, offft unter Hermelinen  
Ein Tyger, welches Blut, wie Wasser in sich soff.  
Aus viel Exempeln mich nur eines zu bedienen;  
War nicht Basilowitz recht von dergleichen Stoff?

“В давние времена под горностаем [под королевской мантией, обитой горностаем. — Е. С.] мог часто скрываться тигр, лакающий кровь, как воду. Из многих примеров я обращаюсь лишь к одному: разве не принадлежал Васильевич как раз к такому роду?” [перевод мой. — Е. С.].

<sup>12</sup> Год первой публикации неизвестен.

<sup>13</sup> Однако имя его остается неназванным: “а именно я разумею то о некотором авторе, который уже несколько таких книжечек выдал, образом будто разговоров меж собою некоторых умерших государей в государстве мертвых наречено” [Р.Р.В. 1841: 347]. В случае с Фассманом оспариваются именно сведения о происхождении Екатерины [Ibid.: 347–352].

<sup>14</sup> По окрасу кожи его скорее можно было бы принять за леопарда, но в сопутствующем четверостишии речь идет именно о тигре.

Э. Маттес видел в этом изображении предвестие карикатур, которые получают распространение в XIX веке, и трактовал его как художественное явление, опередившее свое время. С. Драйфюрст оспаривает это суждение, указывая на существовавшую в литературе задолго до Фассмана традицию уподобления врага или жестокого правителя зверю за его “бесчеловечные”, читай: “зверские” качества [DREYFÜRST 2014: 514]. Фассман наследует это уподобление. Некоторых правителей (не только Ивана Грозного, но и, например, марокканского султана Мулая Исмала ибн Шарифа) Фассман наделяет поистине демоническими чертами. Это позволило Драйфюрст охарактеризовать его сочинение как “раннепроектную версию средневековых бестиариев” [ibid.: 519]. Согласно интерпретации исследовательницы, средневековые сказания о населяющих дальние страны монструозных существах у Фассмана сменяются описаниями людей-“монстров”, физическое уродство которых отражает их предвзятые моральные качества. С тиграми Фассман нередко сравнивает дурных восточных правителей, как мужчин, так и женщин (“reissende Tygerthiere”) [ibid.: 548]. Однако развернутое на изобразительном уровне в качестве реализованной метафоры уподобление правителя зверю — Ивана IV тигру — стоит в “Разговорах. . .” Фассмана особняком.

Уподобление правителя-злодея тигру или иным свирепым хищникам из семейства кошачьих — льву и леопарду — весьма распространенный в европейской литературе топос. Ввиду этого ограничусь указанием лишь двух примеров его использования, относящихся к немецкой традиции и близких по времени создания диалогам Фассмана, а потому, вероятно, ему известных. Соположение тирана и тигра встречается в изданном во Франкфурте в 1715 г. поэтическом лексиконе И. К. Мейнлинга [MÄNNLING 1715: 278–279] (второе издание: [ibid. 1719: 416]). Несколько дальше отстоит от диалогов Фассмана по времени создания второй пример — гравюра Абрахама Убри (Abraham Aubry, работал в 1650–1682 гг.) из серии “Монархии” под названием “Первая монархия, или Империя сирийцев и халдеев” (Музей герцога Антона-Ульриха, Брауншвейг, Aubry AB 3.43) [BILDINDEX]. Сопровождающий восточного властителя-тирана тигр становится своего рода атрибутом, который олицетворяет его жестокий необузданный нрав. Неправедного правителя поражает ангел. Под гравюрой приведены пояснительные стихи на немецком языке. Этот пример представляет особый интерес, поскольку здесь сравнение с тигром проведено как на словесном, так и на визуальном уровне.

Идентификация персонажей, изображенных на фронтисписе к 84 интервью, при кажущейся очевидности отнюдь не столь однозначна. Кого следует видеть во втором персонаже — палаче, который с остервенением



рубят головы осужденных? Д. А. Ровинский трактует это изображение следующим образом: “Картинка, изображающая казнь стрельцов; Петр I сам рубит им топором головы; Иоанн Грозный в виде тигра смотрит на его работу; кругом колеса и виселицы” [Ровинский 1888, 3: 1723–1724]. Ученый не дает пояснений об основаниях для такой интерпретации. Действительно, она как будто бы самоочевидна. К такому пониманию располагает ее композиция и художественный строй предшествующих иллюстраций. Фигура вершителя казни, приближенная к переднему плану, воспринимается как равнозначная возвышающемуся над горами трупов тигру. В палаче угадывается не просто исполнитель чьей-то воли, но одно из главных действующих лиц. На иллюстрациях к другим “Разговорам” перед читателем обычно представляли два главных (точнее — заглавных) героя. И на этой гравюре, как и на предыдущей, где были изображены Петр и Иван, естественно ожидать увидеть их же. Если тигр — это Иван (а на это указывает как горлатная шапка, так и стихи под гравюрой), то неизбежно следует предположение, что палач — это Петр. Тем более иконография персонажа — усатого, с волевым подбородком и характерным разрезом глаз — не противоречит такому заключению. Однако и не служит однозначным тому подтверждением. А костюм его — простая рубаха — отвечает роли палача, но, в отличие от облачения тигра-Ивана, не содержит никаких намеков на то, что перед нами правитель России. Более того, в приведенном под гравюрой четверостишии как тиран охарактеризован лишь Иван, о Петре не говорится ни слова. Поэтому представляется необходимым поставить два вопроса: есть ли какие-либо весомые доказательства того, что в образе палача представлен именно Петр — и не была ли подобная двусмысленность изображения намеренной?

Представленная на фронтисписе сцена не соотносится с текстом 84 энтрею. Об ужасных злодеяниях и казнях, учиненных Иваном Грозным, речь шла в предыдущем, 83 диалоге. В этом — слово предоставлено в основном Петру, который рассказывает о проведенных им реформах церкви, а также об обретенном им титуле императора; Иван лишь изредка прерывает его вопросами. Изображение, хотя и несогласованное с текстом этого “Разговора. . .”, тем не менее носит программный характер, отражая ключевой аспект в характеристике Ивана — изуверскую жестокость. В 83 энтрею Иван описывает самые разнообразные способы казни, применявшиеся им, заставляя Петра в ужасе воскликнуть: “Liebster Gott!” [Fassmann 1725-83: 182]. Однако именно тот “прием”, что изображен на гравюре, — когда приговоренные, выстроившись в ряд, укладывали головы на балки, а затем палач рубил их<sup>15</sup>, — им не

<sup>15</sup> Упоминание этого способа казни см.: [Корб 1867: 228–229].



упоминается. Зато описание такого способа казни присутствует в 85 интервью, а именно в связи с казнью Петром стрельцов после подавления восстания 1698 года: "Von denen vorher erwehnten gefangenen Strelizen oder Soldaten aber, welche wirklich die Waffen wider mich gebraucht [. . .] wurden bei nahe 3000. hingerichtet, und zwar so, dass denen einen die Köpffe auf öffentlichen Marckt, und gelegten Balcken, zu denen sie Kuppelweise, allemal 20. bis 30. gefuhret wurden, herunter geschlagen. . ." ("Из тех прежде упомянутых стрельцов и солдат, однако, которые действительно употребили против меня оружие [. . .] около 3000 были казнены таким образом, что на публичном рынке их подводили по 20–30 человек к балкам и отрубали им головы") [FASSMANN 1725-83: 340]. Помимо фронтисписа к "Разговору. . ." Фассмана, известны и другие изображения такого способа казни, хотя и без участия в ней Петра. В частности, предположительно к первой четверти XVIII века относят гравюру из Государственного Эрмитажа (Гравюра резцом; 15,0×27,2; ГЭ, ЭРГ-7821), которую сопровождает надпись на голландском языке "Justitie gedaan over de Rebellen binnen en buiten de Stad Muskou" ("Суд, совершаемый над мятежниками внутри и вне города Москвы"), где на первом плане представлены выстроившиеся в ряд склонившиеся стрельцы, одни с отрубленными головами, другие в ожидании рокового момента [Васильев 1966: 106] (см. Илл. 5). Другое подобное изображение — иллюстрация к "Дневнику" И. Г. Корба, секретаря посольства Священной Римской империи в России, которое возглавлял Игнатий Христофор фон Гвариент [Корв 1700]. Эти сопоставления подтверждают, что сцена на фронтисписе представляет именно казнь стрельцов.

В тексте "Разговора. . ." нет указаний на то, что Петр рубил стрельцам головы собственноручно. Однако создатель гравюры проецирует на правителя роль палача не метафорически, постольку-поскольку приговор исходил от него. В Европе бытовали известия о личном участии Петра в казнях. Об этом говорится в одном из использованных Фассманом источников, а именно в "Дневнике" И. Г. Корба [Маттнес 1987: 121; Корв 1700]<sup>16</sup>. Публикация этого сочинения вызвала серьезное дипломатическое напряжение. Ответ на вопрос, что именно стало причиной недовольства при российском дворе, не так прост, как может показаться на первый взгляд. Попытку ответить на него предпринимает М. Гриссе

<sup>16</sup> На русский язык "Дневник" был переведен сразу же [Михайловский 1895: 16]. Рукопись перевода хранится в Российской Национальной библиотеке (Ф. 550. (ОСРК). F.IV. № 321). Л. Н. Майков полагал, что он был выполнен единолично Николаем Спафарием, имя которого указано на титульном листе рукописи [Майков 1891: V]. Д. Г. Полонский выявил, что, согласно пометам на листах рукописи, в работе участвовали также переводчики Матвей Белецкий, Иван Тяжкогорский и Моисей Арсеньев [Полонский 2013: 236–237]. Полный перевод на русский был впервые издан в 1867 г. [Корв 1867].

[GRIESSE 2013]. Исследователь полагает, что причиной с большой долей вероятности были изложенные в “Дневнике” факты о расправе со стрельцами. При этом казнь как максимально публичный ритуализированный “Theater des Schreckens” была заимствована Петром именно с Запада. Чуждым европейским обычаям могло показаться лишь непосредственное участие в ней царя<sup>17</sup>. Однако и этому, с точки зрения Гриссе, современники могли найти объяснение и оправдание в особом “усердии” Петра, с которым он стремился не только достичь равенства с Европой, но и превзойти ее, ради чего “не гнушался ни инструмента плотника, ни инструмента палача”. Согласно выводу исследователя, возмущение российских властей, вероятнее всего, могли спровоцировать две сопровождавшие текст гравюры, на которых казнь была представлена со всеми натуралистическими подробностями [ibid.: 95, 97, 105]. Наряду с разными способами умерщвления, на одной из них изображен и тот самый, с массовым отрубанием голов на балках<sup>18</sup> (см. Илл. 6). Распознать царя в ком-либо из палачей на гравюрах невозможно. Но сведения о том, что он собственной персоной показан в их рядах на одной из них, появились в современной печати. Их распространял впавший в немилость и покинувший Россию наставник царевича Алексей Петровича Мартин фон Нойгебауер в своем опусе о России “Vertrautes Schreiben. . .” (1705) [ibid.: 110–111]. Гриссе полагает, что столь обычное для европейской и непривычное для православной культуры натуралистичное изображение казни, да еще такой, в которой лично участвовал государь, в России могло послужить дополнительным стимулом к распространению слухов о Петре как об антихристе. Именно это и повлекло за собой неприятие книги при российском дворе и дипломатический скандал. Российской стороне не удалось добиться конфискации “Дневника”, но все доступные на рынке экземпляры были раскуплены агентами Петра и преданы сожжению в Москве. В Вене, в силу разницы изобразительной традиции, как считает Гриссе, такая реакция на это сочинение осталась не вполне понятой. Однако столь многочисленные в XVII веке европейские рассказы о восстаниях в России с этого момента резко обрываются [ibid.: 124].

Некоторые положения, выдвигаемые Гриссе в качестве объяснения реакции на “Дневник” с российской стороны, имеют дискуссионный характер. Так, спорным представляется его главный вывод, согласно которому причиной недовольства стали прежде всего опасения, что натуралистические изображения казни, проникнув из Европы в Россию, могли взбудоражить общественное мнение. Во-первых, в России, где и

<sup>17</sup> Опровержение сведений о личном участии царя в казни см.: [Голиков 1791: 246–247].

<sup>18</sup> Иллюстрация между страницами 160–161.

была совершена массовая казнь, о ней и об участии в ней царя было и так известно. Во-вторых, хотя, по справедливому замечанию С. И. Николаева, протест действительно “вызвал не столько сам «Дневник» в целом, сколько подробное описание стрелецкого розыска [. . .] и следовавших затем казней стрельцов” [Николаев 1996: 46], в нем присутствует целый ряд других мотивов и сюжетов, которые не могли не вызвать раздражения при российском дворе<sup>19</sup>.

Наконец, негативно могли восприниматься не иллюстрации, но и собственно рассказ о расправе. Этого не исключает и сам Гриссе, объясняя сложность выявления причин дипломатического кризиса тем, что в России “Дневник” воспринимали как целое и не уточняли, что является неприемлемым — иллюстрации или же текст [GRIESSE 2014: 113]). Строго говоря, этот факт может быть свидетельством как недостаточной ясности сведений в источниках, так и того, что негативно было воспринято и то, и другое. Доказательства предположения, что причиной негодования были именно иллюстрации, Гриссе приводит исключительно косвенные. С другой стороны, есть источники, свидетельствующие, что неудовольствие мог вызвать и текст. Например, в апологетическом “Разговоре между трех приятелей. . .”, который исследователь не привлекает, автор главным образом стремится оправдать жестокость казни, о которой можно было судить по тексту “Дневника”, даже если бы он не сопровождался иллюстрациями. Этой жестокости автор ищет оправдание, объясняя ее “злоковарством” стрельцов и их склонностью к бунтам, проявлявшейся и до правления Петра:

Понеже оные Стрельцы, не токмо сначала его государствования, как выше объявлено, но и еще при отце и брате Е. В. блаженные памяти, многие rebelli чинить дерзали. И тако на таких злых людей не возможно было инако, как чрезвычайно жестокой способ употребить, дабы у них впредь ту склонность к смутам и возмущениям пресечь и пролитую от них и единомышленников их кровь толь многих знатных господ отмстить [. . .] Что же принадлежит о многих притом описанных нескладных обстоятельствах, и то подлинно большая часть неправды и по страсти писаны, как и во всей той книге чинено, и малые богатели все к противности толкованы [Р. Р. В. 1841: 336–338].

Несмотря на отсылки Гриссе к европейской традиции публичных казней как элемента устрашения, очевидно, что Корб, несомненно осуждая стрельцов, их казнь описывает с явным сочувствием: “День этот омрачен казнью двухсот человек и во всяком случае должен быть признан скорбным” [КОРБ 1906: 123].

<sup>19</sup> Об одном из них см.: [Николаев 1996: 46–51]. В дипломатической переписке “Дневник” характеризуется как “книга о состоянии и порядках Московского государства”, о Гвариенте сказано: “с приезде его нас учинили барбарами” [Устрялов 1858, 1: 328–329; ибид 1863, 4/2: 211–212].

Так или иначе, “Дневник” Корба, как выявил Маттес, был использован Фассманом в качестве одного из источников сведений о России [MATTHES 1987: 121]. Иллюстрация к нему, где присутствует изображение массового отрубания голов, с большой вероятностью была известна создателю фронтисписа к сочинению Фассмана. И он, очевидно, рассчитывал, что столь характерный сюжет, даже будучи решенным иконографически несколько иначе, будет легко распознан читателем как расправа над стрельцами. При этом указание Нойгебауера, будто бы на одной из иллюстраций к “Дневнику” Корба (хотя и не на той, где изображена казнь на балках), Петр присутствует как палач, могло, наравне с письменными известиями об этом, послужить обоснованием для введения его в этой роли в композицию фронтисписа к изданию Фассмана.

Введение этого сюжета не только на текстовом, но именно на изобразительном уровне акцентировало на нем внимание. Причем он дан с особой нарочитостью: изображение пресловутой казни помещено на фронтисписе. Если иллюстрации к “Дневнику” Корба воспринимались как хладнокровное в своей обстоятельности повествование, то здесь гротескность гравюры исключает нейтральную оценку “театра страха” как обычного механизма поддержания авторитета власти. Характер изображения несомненно осуждающий<sup>20</sup>. В связи с этим примечательно, что Фассман, успевший ранее столкнуться с проблемами в отношениях с российскими властями, несмотря на это вновь осмелился поднять на страницах своего журнала очень болезненный вопрос, уже бывший прежде камнем преткновения для дипломатов.

При этом Фассман, как и создатель иллюстрации, ловко балансирует на опасной грани. С одной стороны, в угоду публике он приправляет свое повествование рискованными подробностями и раззадоривает любопытство читателя, открывая его знакомство с очередным номером журнала скандальной картинкой. С другой стороны, смысл этой картинки как будто ускользает от однозначного толкования. Уверенно утверждать, что палач — это Петр, иконография оснований не дает, в сопровождающих стихах он вообще не упоминается, позволяющий идентифицировать персонажа способ казни описан не в этом, а в следующем интервью, причем о личном участии царя в казни умалчивается. Кажущаяся амбивалентность интерпретации, по-видимому, должна была

---

<sup>20</sup> При этом в последнем в этом цикле, 86 интервью, когда Петр рассказывает о пожаре во дворце (1689) и примененных к повинным стрельцам пытках, Иван сентенциозно замечает, что это может повредить репутации страны. Однако Петр отвечает, что в Европе пытки еще страшнее [FASSMAN 1725 86: 373–374]. То ли Фассман решил смягчить рассказ о жестокостях в России из предосторожности после неприятностей с 83 интервью, то ли хотел избежать тенденциозности. Однако проскользнувшее в тексте замечание имеет меньшую силу воздействия на читателя, чем изображение жесткой расправы, к тому же помещенное на фронтисписе.



послужить прикрытием для Фассмана в случае возникновения проблем с цензурой и одновременно поддразнить читателя, еще более усиливая его интерес. В этом приеме можно усмотреть наследие типичного для XVI и XVII вв. *ars dissimulandi* (“искусство сокрытия”). Эта “совокупность личностных поведенческих и институциональных практик” имела риторические корни и первоначально возникла как троп, как риторическая фигура, состоящая в “сокрытии собственного мнения”, но приобрела значение также как феномен религиозной (утаивание конфессиональных взглядов), экономической (секреты производственного мастерства) и политической (макиавеллизм) жизни [Иванова 2017]. Уже отходившая к концу первой четверти XVIII века в прошлое, такая модель мышления органично вписывается в раннепросветительский журнал Фассмана, представлявший собой, как убедительно показала С. Драйфюрст, сложный переходный организм, в котором консервативные представления вступали в противоречие с просветительскими убеждениями, протестантские взгляды — с католическими и православными, ученость — с педантичностью, старые немецкие обычаи — с новой французской модой, а морализаторство — с развлекательностью и пристрастием к скандальности [DREYFÜRST 2014: 408].

84 энтревью примечательно тем, что именно иллюстрация, сначала привлекающая внимание своей необычностью и примитивной выразительностью, затем провоцирует читателя к более глубокому осмыслению “Разговора. . .”. На уровне текста Фассман также стремится направить нас к верному пониманию заложенной в нем идеи. Он осуществляет это прежде всего при помощи коротких реплик собеседника, изредка перебивающих того, кто в данный момент рассказывает о своей жизни. Например, в 85 энтревью речь Петра прерывает замечание Ивана: “Was ich aber sonst noch bei eurer Reformation auszusetzen habe, ist dieses, dass ihr, so zu reden, alles auf einmal abschaffen wollen, und dabei mit allzugrosser Schärfe verfahren” [FASSMAN 1725-85: 309] (“Что бы я еще подверг критике в ваших реформах, так это то, что вы, так сказать, желали упразднить все сразу и притом действовали с очень большой резкостью”). Упрек в чрезмерной форсированности преобразований, вложенный Фассманом в уста Ивана, обнажает главное противоречие Петровской эпохи, которое и по сей день остается предметом горячих споров. Оценка деятельности Петра выводится из поля однозначности. При этом в отношении второго героя диалога Фассман, напротив, не обходится без упрощения. Иван изображен безусловно негативно. Несмотря на то, что в начале XVIII века в Германии предпринимались попытки дать его царствованию иные оценки, Фассман возрождает представления о нем, почерпнутые из сочинений П. Одерборна (впервые опубликовано в 1588 г.)



и П. Петрея (впервые — 1615 г.) [Маттнес 1987: 121]. Как отмечает Драйфюрст, в стремлении Фассмана вынести бесспорный моральный вердикт чувствуется влияние “Разговоров в царстве мертвых” Фенелона [DREYFÜRST 2014: 113]. Однако упрощение касается лишь некоторых обстоятельств и характеров и одновременно служит утверждению в целом далеко не односложной картины. Маттнес верно указывает, что для Фассмана важно не столько проследить развитие России с XVI по XVIII век, сколько представить Россию как страну острых противоречий, персонифицированных в фигурах Петра и Ивана [Маттнес 1987: 124]. Отказ от борьбы противоположностей в образе Ивана не только не препятствует, но, напротив, способствует конструированию сложного образа современной России. Как антипример государя, он служит своего рода ориентиром, с которыми читатель сравнивает Петра и в отдельных аспектах оказывается вынужден констатировать не различие, а сходство. Этому служит и взаимодействие иллюстраций к 83-му энтревью, где образы Петра и Ивана рядоположены по принципу противопоставления, и к 84-му, где они же даны по принципу подобия. Фассман не был художником и создателем иллюстраций. Однако он был автором текста и, с большой вероятностью, определял программу иллюстраций, поэтому идея этой тонкой игры принадлежала ему.

В героях иллюстрации к 85 энтревью Ровинский также склонен видеть Петра и Ивана: “Иоанн Грозный встречает Петра I, идущего с тростью, в царстве мертвых. За Иоанном два боярина” [Ровинский 1888, 3: 1724] (см. Илл. 3). Однако иконография героев не имеет ничего общего с узнаваемыми образами, хорошо знакомыми читателю по двум предыдущим диалогам. Вероятно, персонаж с тростью — это секретарь, приносящий вести из мира живых, а группа персонажей — безымянные обитатели царства мертвых. Драйфюрст указывает, что секретарь играет в “Разговорах. . .” Фассмана весьма заметную роль [DREYFÜRST 2014: 185]. Он становится связующим звеном в структуре журнала, который был задуман не только как средство распространения верных знаний о древней, средневековой и новой истории, но имел и дидактическую функцию, должен был транслировать представления об искусстве правильного государственного управления, соединяя таким образом историю и политику [ИДЕМ: 164, 180, 193]. К событиям современности в иллюстрации адресует и портрет Екатерины, помещенный в медальоне, и приведенное под иллюстрацией четверостишие, которое предрекает России, укрепленной реформами Петра, стабильное будущее<sup>21</sup>. В самом

<sup>21</sup> Moscau hat zwar bisher im schoensten flor gestanden  
Gleich einem Kaiserthum durch Petri Glanz u. Ehr.  
Jetzt gleicht es einem Schiff, das nimmer denckt zu stranden,  
Weil es sehr wohl beschuetzt schwebt mitten in dem Meer.

диалоге рассказ Петра о событиях его царствования перемежается с известиями о последних событиях — о похоронах императора и организованном Екатериной всеобщем трауре по нему, о смерти царевны Натальи Петровны, обсуждается и актуальный вопрос престолонаследия.

На фронтисписе к последнему энтревью из серии (86-му) две крылатые Славы возносят медальон с надписью “Petrus Magnus” (см. Илл. 4). Под ним девять муз и на первом плане — две фигуры, по-видимому, Аполлон<sup>22</sup> и персонификация мира и изобилия. Под ними стихи:

Wie schön klingt doch der Nam des Vaterlandes Vater:  
Petrus der Große war dergleichen in der That.  
Er war des Landes Stütz, der Rußen bester Rather,  
Gesegnet ist das Land, das einen Petrum hat.

(“Как красиво звучит имя “Отец Отечества” // Петр великий был таким в действительности. // Он был защитой страны, лучшим российским советчиком, // Благословенна страна, в которой правил Петр”.)

Гравюра соответствует тексту диалога, в котором значительное внимание уделено новому, императорскому титулу российского монарха, и одновременно служит завершающим аккордом, который возвращает нас к прославленной теме, заявленной в иллюстрации к первому “Разговору. . .” Петра и Иоанна.

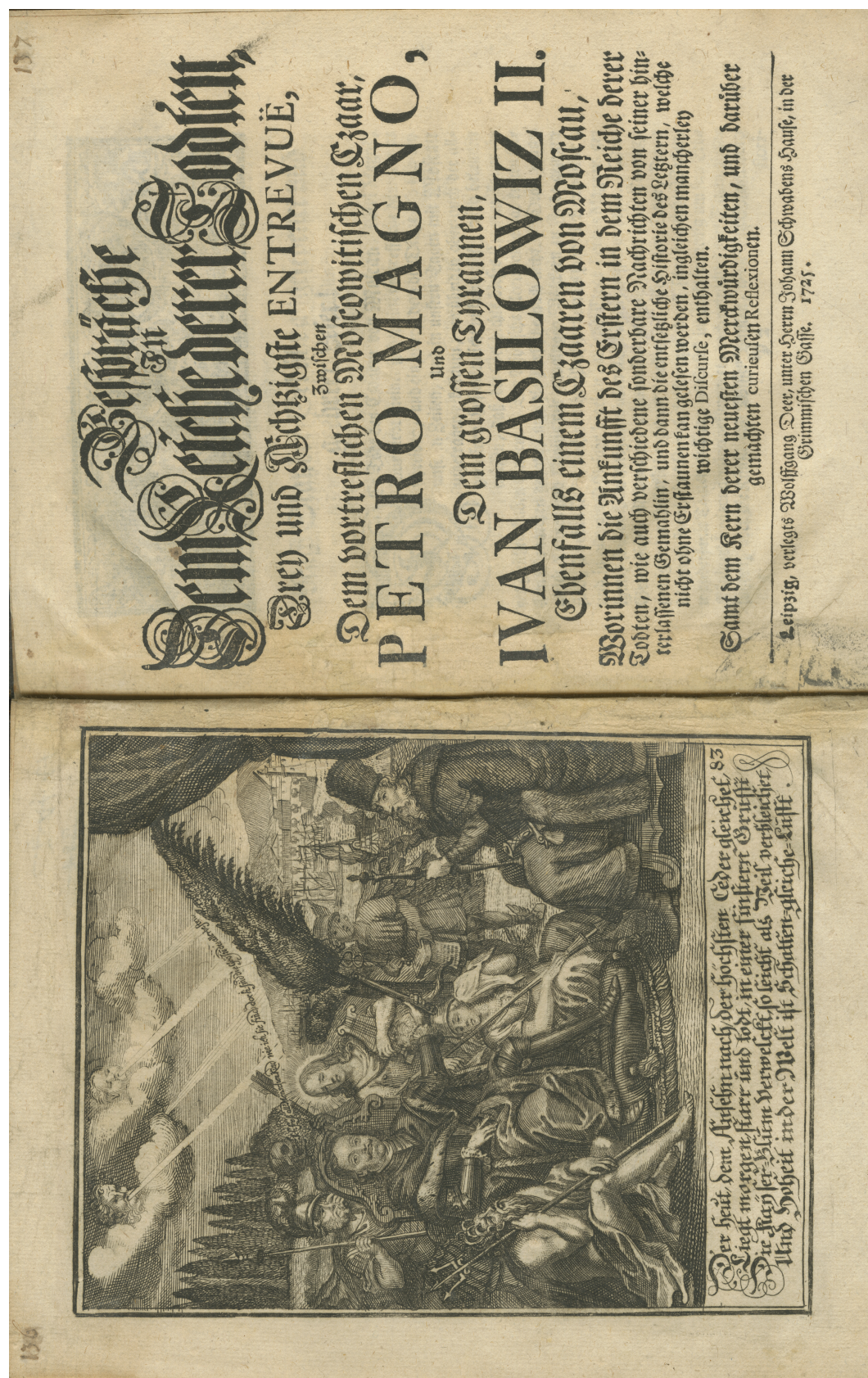
С. Драйфюрст выделяет несколько вероятных причин, вследствие которых Фассман решил использовать в оформлении журнала иллюстрации, что было сравнительно дорогим делом. Иллюстративный ряд должен был сделать журнал более привлекательным для покупателей, помочь читателю вообразить персонажей, а также места, события и обстоятельства, которые трудно описать словами, и наконец, будучи элементом “целостной визуально-текстовой формы эмблемы”, рисунки представляли интерпретации содержания, предвзято читательское восприятие или же, напротив, заставляя читателя мысленно вернуться к прочитанному [DREYFÜRST 2014: 241, 243]. В серии “Разговоров. . .” Петра Великого и Ивана Грозного последняя функция приобретает особое значение. Иллюстрация к 84 энтревью вступает в сложные взаимоотношения с фронтисписом к предшествующему энтревью и с текстом. Идентифицировать персонажей возможно только сопоставив стихи-эпиграмму

(“Москва до сих пор находилась в пышном расцвете, // Равно как и Империя в блеске и чести Петра. // Сейчас она подобна кораблю, который никогда не сядет на мель, // Поскольку скользит в море, будучи достаточно защищенным”.)

<sup>22</sup> Рядом с музами логично ожидать увидеть именно Аполлона. Змея не входит в число его атрибутов. Но широко известны его образы в качестве победителя змея Пифона или Аполлона Врача, которые могли послужить основанием для того, чтобы изобразить его со змеей.

к изображению, иллюстрацию к предыдущему диалогу, текст следующего энтревью и известные по другим текстовым и изобразительным источникам факты, о которых в тексте Фассман счел благоразумным умолчать. Иллюстрации к 83-му и 84-му энтревью, где первая выполнена по принципу противопоставления, а вторая по принципу подобия, делают образ Ивана Грозного своеобразной точкой отсчета, с которой необходимо соотносить деяния Петра. В свое время А. М. Панченко и Б. А. Успенский убедительно показали, что основой репрессивной политики Ивана IV и его «охранительных предначертаний» была «попытка борьбы с историей», «попытка сохранить средневековое единство веры и культуры», тогда как реформатор России Петр, создававший новый государственный порядок, в борьбе за новизну в русской жизни принимал «на себя функции демиурга» [Панченко и Успенский 1983: 78]. Можно осторожно предположить, что Фассману, многократно обдумывавшему различные исторические сюжеты, в том числе российские, эта мысль была близка. Фактически Фассман, на словах признавая и превознося Петра в качестве реформатора, в опубликованных им изображениях массовой казни стрельцов давал европейскому читателю наглядное представление о цене этих реформ. Вне зависимости от направления преобразований, своей жестокостью царь-реформатор Петр мог бы вызывать изумление и восторг средневекового тирана Ивана — именно такое впечатление должно было оставлять взаимодействие текста и изображения при знакомстве с изданием Фассмана. Фронтиспис к 85-му энтревью вносит разнообразие, подчеркивая введением фигуры секретаря и портрета Екатерины I в медальоне связь прошлого и настоящего, иными словами — связь истории и политики. Иллюстрация к последнему диалогу из серии (86 энтревью) возвращает нас к панегирической теме, обозначенной в иллюстрации к 83 энтревью. Таким образом, фронтисписы к серии “Разговоров. . .” Петра I и Ивана IV образуют законченный ансамбль, обогащающий содержание текста. Обладающие силой прямого воздействия, предпосланные популярному изданию, эти визуальные образы должны были стать действенным инструментом в создании образа России в общественном мнении не только Саксонии, где они были изданы, и немецкоязычном мире, но и в Европе в целом.





Илл. 1. Фронтиспис к первой части "Разговора Петра Великого и Ивана Грозного" Д. Фассмана (83 энтрею). 1725. Гравюра резцом. © Российская национальная библиотека (шифр 13.13.5.31), С.-Петербург.





Илл. 2. Фронтиспис ко второй части “Разговора Петра Великого и Ивана Грозного” Д. Фассмана (84 интервью). 1725. Гравюра резцом.  
 © Российская национальная библиотека (шифр 13.8.4.63), С.-Петербург.





Илл. 3. Фронтиспис к третьей части "Разговора Петра Великого и Ивана Грозного" Д. Фассмана (85 энтревя). 1725. Гравюра резцом.  
© Российская национальная библиотека (шифр 13.8.4.64), С.-Петербург.





Илл. 4. Фронтиспис к четвертой части “Разговора Петра Великого и Ивана Грозного” Д. Фассмана (86 энтревью). 1725. Гравюра резцом.  
 © Российская национальная библиотека (шифр 13.8.4.65), С.-Петербург.





Илл. 5. Казнь стрельцов. Гравюра резцом. ЭРГ-7821. © Государственный Эрмитаж, С.-Петербург.





Илл. 6.

Казнь стрельцов.  
Иллюстрация к  
“Дневнику” Корба  
(KORB J. G.,  
*Diarium itineris in*  
*Moscoviam...*  
Wien, [1700]).  
Гравюра резцом.  
© Российская  
национальная  
библиотека  
(шифр 13.14.41),  
С.-Петербург.



Illustrations to “Gespräche in dem Reiche derer Todten zwischen dem vortreflichen Moscowitischen Czaar Petro Magno und dem grossen Tyrannen Ivan Basilowiz II” (Peter the Great and Ivan the Terrible) by David Fassmann (1725) as an Instrument of Constructing a Picture of Russia

## Библиография

ВАСИЛЬЕВ 1966

ВАСИЛЬЕВ В. Н., ред., *Памятники русской культуры первой четверти XVIII века в собрании Государственного Эрмитажа: каталог*, Ленинград, Москва, 1966.

ГОЛИКОВ 1791

ГОЛИКОВ И., *Дополнение к деяниям Петра Великого*, 15, Москва, 1791.

ДАНИЕЛЬ 1989

ДАНИЕЛЬ С. М., “Кончетто / Изображение и слово в искусстве барокко”, in: *Проблема интерпретации литературных образов в изобразительном искусстве*, Ленинград, 1989, 28–37.

ЕРМАСОВ 2000

ЕРМАСОВ Е. В., “Петр I и Россия в немецкой публицистике первой четверти XVIII века” (диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук, Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского, Саратов, 2000).

ИВАНОВА 2017

ИВАНОВА М. В., “Похвала сокрытию: о протеистической модели философствования”, *Вопросы философии*, 5, 2017, 102–111.

ИСАЧЕНКО 2014

ИСАЧЕНКО Е. Г., “«Разговоры в царстве мертвых» А. П. Сумарокова”, in: *Литературная культура России XVIII века*, 5, С.-Петербург, 2014, 100–118.

КОРЬ 1867

КОРЬ И. Г., *Дневник поездки в Московское государство Игнатия Христофора Гвариента, посла императора Леопольда I к царю и великому князю московскому, Петру Первому, в 1698 году, веденный секретарем посольства Иоанном Георгом Корбом*, перев. с лат. Б. ЖЕНЕВА, М. СЕМЕВСКОГО, Москва, 1867.

——— 1906

КОРЬ И. Г., *Дневник путешествия в Московию (1698 и 1699 гг.)*, перев. и примеч. А. И. МАЛЕИНА, С.-Петербург, 1906.

МАЙКОВ 1891

МАЙКОВ Л. Н., *Рассказы Нартова о Петре Великом*, С.-Петербург, 1891.

МИНЦЛОВ 1856

МИНЦЛОВ Р., “Библиографические отрывки. Статья пятая. Несколько редких и малоизвестных иноязычных сочинений, относящихся до Петра Великого и его века”, *Отечественные записки*, 104 (2), 1856, 345–395.

МИХАЙЛОВСКИЙ 1895

МИХАЙЛОВСКИЙ И. Н., *Очерк жизни и службы Николая Спафария в России*, Киев, 1895.

НИКОЛАЕВ 1996

НИКОЛАЕВ С. И., *Литературная культура Петровской эпохи*, С.-Петербург, 1996.

ПАНЧЕНКО, УСПЕНСКИЙ 1983

ПАНЧЕНКО А. М., УСПЕНСКИЙ Б. А., “Иван Грозный и Петр Великий: концепции первого монарха”, in: *Труды Отдела древнерусской литературы*, 37, Ленинград, 1983, 54–78.

ПОЛОНСКИЙ 2013

ПОЛОНСКИЙ Д. Г., “Самоидентификация русского дворянства и петровская реформа эпистолярного этикета (конец XVII – начало XVIII в.)”, in: *Правящие элиты и дворянство России во время и после петровских реформ (1682–1750)*, Москва, 2013, 234–255.

Р.Р.В. 1841

[Р.Р.В.], ред., “Разговор между трех приятелей, сошедшихся в одном городе, а именно: Менарда, Таландра и Варемунда”, *Русский Вестник*, 4, 1841, 304–360.



РОВИНСКИЙ 1886–1889, 1–4

РОВИНСКИЙ Д. А., *Подробный словарь русских гравированных портретов*, 1–4, С.-Петербург, 1886–1889.

САВВАИТОВ 1865

САВВАИТОВ П. В., “Описание старинных царских утварей, одежд, оружия, ратных доспехов и конского прибора, извлеченное из рукописей архива Московской Оружейной палаты; с объяснительным указателем (с 12-ю таблицами рисунков)”, *Записки Императорского Археологического общества*, 11, 1865, 270–608.

СКВОРЦОВА 2015

СКВОРЦОВА Е. А., “Иллюстрации к «Разговорам в царстве мертвых»: проблема утверждения титула императора России в XVIII веке”, *Актуальные проблемы теории и истории искусства*, 5, С.-Петербург, 2015, 503–512, DOI: 10.18688/aa155-6-55.

ТРЕДИАКОВСКИЙ 1963

ТРЕДИАКОВСКИЙ В. К., *Избранные произведения*, вступ. ст. и подготовка текста Л. И. Тимофеева, примеч. Я. М. Строчкова, Москва, Ленинград, 1963.

УСТРЯЛОВ, 1–4/2

УСТРЯЛОВ Н. Г., *История царствования Петра Великого*, 1, 3, 4/2, С.-Петербург, 1858–1863.

BILDINDEX

Bildindex der Kunst & Architektur: Deutsches Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte – Bildarchiv Foto Marburg (<http://www.bildindex.de/document/obj35008712?part=0&medium=hauma-aubry-ab3-0043>; last access on: 15.12.2017)

DIGITALER PORTRAITINDEX

Digitaler Portraitindex der druckgraphischen Bildnisse der Frühen Neuzeit: Deutsches Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte – Bildarchiv Foto Marburg (<http://www.portraitindex.de/documents/obj/oai:baa.onb.at:4152820>; last access on: 15.12.2017)

FASSMANN 1725-83

[FASSMANN D.], *Gespräche in dem Reiche derer Todten*, 83 *Entrevuë*, Zwischen Dem vortreflichen Moscowitischen Czaar Petro Magno, Und Dem grossen Tyrannen, Ivan Basilowiz II. Ebenfalls einem Czaaren von Moscau, Worinnen die Ankunft des Erstern in dem Reiche derer Todten, wie auch verschiedene sonderbare Nachrichten von seiner hinterlassenen Gemahlin, und dann die entsetzliche Historie des letztern, welche nicht ohne Erstaunen kann gelesen werden, ingleichen mancherley wichtige Discurse, enthalten. Samt dem Kern derer neusten Merkwürdigkeiten, und darüber gemachten curieusen Reflexionen, Leipzig, 1725.

——— 1725-84

[FASSMANN D.], *Gespräche in dem Reiche derer Todten*, 84 *Entrevuë*, Bestehende, In einer Fortsetzung der vorhergehenden, Zwischen Dem vortreflichen Moscowitischen Czaar Petro Magno, Und Dem grossen Tyrannen, Ivan Pasilowiz II. Ebenfalls einem Czaaren von Moscau, Worinnen der Beschluss der Historie des letztern, und sonderbare Nachrichten von der Religion derer Moscowiter, auch Anmerkungen über die Punkte, in Ansehung derer sie entweder von denen Evangelischen, oder Römisch-Catholischen, unterschieden, ingleichen verschiedene, zur Historie Petri Magni gehörige, wundersame Erzehlungen enthalten. Samt dem Kern derer neusten Merkwürdigkeiten, und darüber gemachten curieusen Reflexionen, Leipzig, 1725.

——— 1725-85

[FASSMANN D.], *Gespräche in dem Reiche derer Todten*, 85 *Entrevuë*, Bestehende, In einer Fortsetzung der vorhergehenden, Zwischen Dem vortreflichen Moscowitischen Czaar Petro Magno, Und Dem grossen Tyrannen, Ivan Basilowiz II. Ebenfalls einem Czaaren von Moscau, Worinnen viele sonderbare Nachrichten, von dem Leben und der Regierung Petri Magni, mitgetheilt werden. Samt dem Kern derer neusten Merkwürdigkeiten, und darüber gemachten curieusen Reflexionen, Leipzig, 1725.

——— 1725-86

[FASSMANN D.], *Gespräche in dem Reiche derer Todten, 86 Entrevuë, Bestehende, In einer Fortsetzung und Vollendung, derer vorhergehenden, Zwischen Dem vortreflichen Moscovitischen Czaar Petro Magno, Und Dem zwar auch grossen, aber über alle Massen strengen Ivan Basilowiz II. Ebenfalls einem Czaaren von Moscau, Worinnen der Beschluss der Historie und Erzählung derer grossen Thaten der Ersten, wie auch den ganzen Materie, welche in denen drey vorhergehenden Entrevuën tractiert worden, nebst vielen anderen sonderbaren und wichtigen Discursen enthalten. Samt dem Kern derer neusten Merkwürdigkeiten, und darüber gemachten curieusen Reflexionen*, Leipzig, 1725.

——— 1728

[FASSMANN D.], *Curieuses und Besonders Gespräche In dem Reiche derer Todten, Zwischen Dem Helden-müthigen Könige in Schweden Carl XII. Und Dem unvergleichlichen Czaar Petro Magno, Worinnen Ihre gantze Historie und rühmliche Thaten beschrieben*, Frankfurt und Leipzig, 1728.

——— 1729

[FASSMAN D.], *Gespräche In Dem Reiche derer Todten, Hundert Neun und Zwansigste Entrevuë, Zwischen Der Rußischen Kayserin Catharina, Und Der weltberühmten Orientalischen Königin Zenobia, Worinnen, nebst einer Lesens-würdigen Dedication und Vorrede zum 9ten Band dieser Gespräche, auch mancherley sonderbaren Discursen, die herrliche Historie beyder grossen Printzeßinnen enthalten. Samt dem Kern derer neuesten Merckwürdigkeiten, und darüber gemachten curieusen Reflexionen*, Leipzig, 1729.

——— 1730

[FASSMANN D.], *Gespräche in dem Reiche derer Todten, Hundert Acht und Dreyßigste Entrevue. Zwischen Dem Knees Menzikoff, Und Dem Frantzösischen Marschall von Ancre, worinnen, nebst ganz sonderbaren Discursen, dieser beyden wundersamen Personen gehabtes Erstaunenswürdiges Glückes, aber auch darauf erfolgter, erschrecklicher Fall, [. . .] enthalten*, Leipzig, 1730.

——— 1732-1

[FASSMANN D.], *Gespräche in dem Reiche derer Todten, Hundert Neun und Dreyßigste Entrevuë, zwischen Dem letzt-verstorbenen jungen Russischen Kayser Petro II. Und Seinem Vater, dem Czaarewitz, Alexio Petrowitz, Worinnen die Historie des Letztern, nebst vielen sonderbaren Discursen und Nachrichten enthalten. Samt dem Kern derer neuesten Merkwürdigkeiten, und darüber gemachten curieusen Reflexionen*, Leipzig, 1732.

——— 1732-2

[FASSMANN D.] *Gespräche In Dem Reiche derer Todten, Hundert und Viertzigste Entrevuë, Bestehende, In einer Fortsetzung und Vollendung der nechst-vorhergehenden, Zwischen Dem letzt-verstorbenen jungen Rußischen Käyser, Petro II. Und Seinem Vater, dem Czaarewitz, Alexio Petrowitz: Worinnen die Historie des jungen Monarchen, desgleichen verschiedene sonderbare Discurse und Nachrichten enthalten. Samt dem Kern derer neuesten Merckwürdigkeiten, und darüber gemachten curieusen Reflexionen*, Leipzig, 1732.

——— 1737

[FASSMANN D.], *Gespräche im Reiche derer Todten, Zwei Hundert Vier und Zwansigste Entrevuë, Zwischen Dem Russischen Knees oder Fürsten, Basilio Galliczyn, Der im vorigen Seculo, al sein grosser Czaarischer General und Ministre, berühmt worden, Und Dem, im verwichenen 1736ten Jahre verstorbenen, Vortrefflichen Russischen General Carl von Hochmuth, Linen Sachsen von Geburt, Worinnen, Unter vielen herrlichen Discursen, beyder aufgeführtet Personen Leben, gehabte sonderbare Fata, und gethane Thaten enthalten. Samt dem Kern derer neuesten Merkwürdigkeiten, und darüber gemachten curieusen Reflexionen. Ingleichen dem Register zum Vierzahnden Band dieser Gespräche*, Leipzig, 1737.

——— 1741-1

[FASSMANN D.], *Erster Theil Des Gespräches im Reiche derer Todten, zwischen dem Allerdurchlauchtigsten/ Großmächtigsten/ unüberwindlichsten Kayser, Fürsten und Herrn,*

Carolo VI. Des Heil. Römischen Reichs erwehlten Kayser, Könige zu Ungarn und Böheim, Erzherzoge zu Oesterreich. Und der Allerdurchlautisten / Großmächtigsten Kayserin und Groß-Fürstin, Frauen Anna, Kayserin, Groß-Fürstin and Selbst-Erhalterin von Russland. Worinnen dieser beyden höchsten Häupter Leben, und eines ewigen andenkenswürdige Thaten, ganz besonders hohe Eigenschaften, und was zu ihren Historien gehört, zu finden, Braunschweig und Leipzig, 1741.

——— 1741-2

[FASSMANN D.], *Gespräch im so genannten Reiche der Todten, zwischen Elisabetha, Königin von England und Ireland, und Anna Ivanowna, Kayserinn und Selbst-Halterin aller Russen. darinnen dieser beyden Damen merckwürdiges Leben und Ihre so Weise, als Höchst –Beglückte Regierung, aus sonderbaren Nachrichten, glaubwürdig erzehlet wird*, Franckfurt am Mayn, 1741.

BAUMBACH 2002

BAUMBACH M., *Lukian in Deutschland. Eine forschungs- und rezeptionsgeschichtliche Analyse vom Humanismus bis zur Gegenwart*, München, 2002.

DREYFÜRST 2014

DREYFÜRST S., *Stimmen aus dem Jenseits: David Fassmanns historisch-politisches Journal "Gespräche in dem Reiche derer Todten" (1718–1740)*, Berlin, Boston, 2014.

ECKHARDT 1987

ECKHARDT N., "Arzt, Medizin und Tod im Spiegel der von David Fassmann (1683–1744) in den Jahren 1718 bis 1739 herausgegebenen Zeitschrift "Gespräche in dem Reiche derer Todten" (Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der Medizin Der Medizinischen Fakultät der Universität Düsseldorf, Düsseldorf, 1987).

FÖRSTER 1834

FÖRSTER F., *Friedrich Wilhelm I, König von Preussen*, 1, Potsdam, 1834.

FRANKE 2005

FRANKE P., "Zwischen Pietismus und Orientalismus. Eine Begegnung in "Reiche derer Todten" zwischen Ernst dem Frommen und Mulay Ismail," in: *Interdisziplinäre Pietismusforschungen Beiträge zum Ersten Internationalen Kongress für Pietismusforschung 2001*, Tübingen, 2005, 769–779.

GRIESSE 2013

GRIESSE M., "Der diplomatische Eklat um das Gesandtschaftstagebuch von Johann Georg Korb (1700/01): Ein Zusammensto unterschiedlicher frühneuzeitlicher Bilkulturen?" in: *Politische Kommunikation zwischen Imperien. Der diplomatische Aktionsraum Südost- und Osteuropa* (= Innsbrucker historische Studien, 29), Innsbruck, Wien, Bozen, 2013, 87–124.

GUDEN 1831

GUDEN K. F. A., *Chronologische Tabellen zur Geschichte der deutschen Sprache und National-Literatur*, 1, Leipzig, 1831.

KORB 1700

KORB J. G., *Diarium itineris in Moscoviam perillustris ac magnifici domini Ignatii Christophori de Guarient et Rall, Sacri Romani Imperii, & Regni Hungariae Equitis, Sacrae Caefareae Majestatis Consiliarii Aulico-Bellici ab Augustißimo & Invictißimo Romanorum Imperatore Leopoldo I. ad Serenißimum, ac Potentißimum Tzarum et Magnum Moscoviae Ducem Petrum Alexiowicium anno MDCXCVIII ablegati extraordinarii*, Wien, [1700].

KRAUZE 2001

KRAUZE J., "David Fassmann's »Gespräche im Reiche derer Todten«. Kultur und literaturgeschichtliche Form und Wirkung," *Studia Niemcoznawcze*, 22, 2001, 259–275.

LINDENBERG 1937

LINDENBERG L., *Leben und Schriften David Fassmann's (1683–1744): mit besonderer Berücksichtigung seiner Totengespräche*, Berlin, 1937.

Illustrations to "Gespräche in dem Reiche derer Todten zwischen dem vortreflichen Moscovitischen Czaar Petro Magno und dem grossen Tyrannen Ivan Basilowiz II" (Peter the Great and Ivan the Terrible) by David Fassmann (1725) as an Instrument of Constructing a Picture of Russia

——— 1971

LINDENBERG L., "David Fassmann (1683–1744)," in: H.-D. FISCHER, Hrsg., *Deutsche Publizisten des 15. Bis 20. Jahrhunderts*, Pullach i. Isartal, Berlin, 1971, 87–97.

MÄNNLING 1715

MÄNNLING J. CH., *Deutsch-Poetisches Lexicon der auserlesensten Phrasiologi aus denen vornehmsten Poëten, e.g. Opitz, Tocherning, Flemming, absonderlich aber Hoffmannswaldau, Abschatzen, Lohensteinen, Gryphiis, Neukirchen, Mühlpforten, Hallmannen und andern hellen Sternen Schlesiens; zusammengetragen nebst der Historia Mythologica der heydnischen Götter und Göttinnen. . .*, Frankfurt, Leipzig, 1715.

——— 1719

MÄNNLING J. CH., *Poetisches Lexicon, darinnen die schönsten Realia und auserlesensten Phrases aus denen berühmtesten Poeten Schlesiens so dann eine vollständige Historia Mythologica derer heydnischen Götter und Göttinnen und endlich ein richtiges Reim-Register nach Ordnung des Alphabeths allen Liebhabern der Poeste und Vergnügen sonderlich aber der studierenden Jugend zum Nutz enthalten*, Frankfurt, Leipzig, 1719.

MARCIALIS 1989

MARCIALIS N., *Caronte y Catarina: Dialoghi dei morti nella letteratura russa del XVIII secolo*, Roma, 1989.

MATTHES 1987

MATTHES E., "Das veränderte Russland und die unveränderten Züge des Russenbilds," in: M. KELLER, Hrsg., *Russen und Russland aus deutscher Sicht. 18. Jahrhundert: Aufklärung*, München, 1987, 109–135.

PRUTZ 1845

PRUTZ R. E., *Geschichte des Deutschen Journalismus*, 1, Hannover, 1845.

RENTSCH 1895

RENTSCH J., "Das Totengespräch in der Literatur," in: *Lucianstudien*, 1: *Wissenschaftliche Beilage zu dem Programme des königlichen Gymnasiums zu Plauen*, Plauen, 1895, 15–40.

RUTLEDGE 1974

RUTLEDGE J., *The Dialogue of the Dead in Eighteenth-Century Germany*, Bern, Frankfurt, 1974.

SKVORTCOVA 2016

SKVORTCOVA E., "Russian Empresses and their Foreign Counterparts: The Validation of the New Title of the Russian Ruler in Illustrations of David Fassman's 'Dialogues of the Dead'," in: *Study Group on Eighteenth-Century Russia Newsletter (New Series): Synopses of Papers Read at the Annual Meetings of the Study Group*, 4, 2016 (<http://www.sgcr.co.uk/newsletter2016/skvortcova.html>; last access on 15.12.2017)

TRIPOTA

Trierer Porträt Datenbank ([http://www.tripota.uni-trier.de/single\\_picture.php?signatur=121\\_anon\\_1246](http://www.tripota.uni-trier.de/single_picture.php?signatur=121_anon_1246); last access on: 15.12.2017)

## References

Baumbach M., *Lukian in Deutschland. Eine forschungs- und rezeptionsgeschichtliche Analyse vom Humanismus bis zur Gegenwart*, München, 2002.

Daniel S. M., "Konchetto / Izobrazhenie i slovo v iskusstve barokko," in: *Problema interpretatsii literaturnykh obrazov v izobrazitel'nom iskusstve*, Leningrad, 1989, 28–37.

Dreyfürst S., *Stimmen aus dem Jenseits: David Fassmanns historisch-politisches Journal "Gespräche in dem Reiche derer Todten" (1718–1740)*, Berlin, Boston, 2014.

Franke P., "Zwischen Pietismus und Orientalismus. Eine Begegnung in "Reiche derer Todten" zwischen Ernst dem Frommen und Mulay Ismail,"



in: *Interdisziplinäre Pietismusforschungen Beiträge zum Ersten Internationalen Kongress für Pietismusforschung 2001*, Tübingen, 2005, 769–779.

Griesse M., “Der diplomatische Eklat um das Gesandtschaftstagebuch von Johann Georg Korb (1700/01): Ein Zusammenstoß unterschiedlicher frühneuzeitlicher Bilkulturen?” in: *Politische Kommunikation zwischen Imperien. Der diplomatische Aktionsraum Südost- und Osteuropa* (= Innsbrucker historische Studien, 29), Innsbruck, Wien, Bozen, 2013, 87–124.

Isachenko E. G., “Dialogues of the Dead of A. P. Sumarokov,” in: *Literaturnaia kul'tura Rossii XVIII veka*, 5, St. Petersburg, 2014, 100–118.

Ivanova M. V., “The Praise of Concealment: On the Proteistic Model of Philosophizing,” *Voprosy Filosofii*, 5, 2017, 102–111.

Krauze J., “David Fassmann’s »Gespräche im Reiche derer Todten«. Kultur und literaturgeschichtliche Form und Wirkung,” *Studia Niemcoznawcze*, 22, 2001, 259–275.

Lindenberg L., *Leben und Schriften David Fassmann's (1683–1744): mit besonderer Berücksichtigung seiner Totengespräche*, Berlin, 1937.

Lindenberg L., “David Fassmann (1683–1744),” in: H.-D. Fischer, Hrsg., *Deutsche Publizisten des 15. Bis 20. Jahrhunderts*, Pullach i. Isartal, Berlin, 1971, 87–97.

Marcialis N., *Caronte y Catarina: Dialoghi dei morti nella letteratura russa del XVIII secolo*, Roma, 1989.

Matthes E., “Das veränderte Russland und die unveränderten Züge des Russenbilds,” in: M. Keller, Hrsg., *Russen und Russland aus deutscher Sicht. 18. Jahrhundert: Aufklärung*, München, 1987, 109–135.

Nikolaev S. I., *Literaturnaia kul'tura Petrovskoi epokhi*, St. Petersburg, 1996.

Panchenko A. M., Uspenskij B. A., “Ivan Grozny i Petr Velikii: kontseptsii pervogo monarkha,” in: *Trudy Otdela drevnerusskoi literatury*, 37, Leningrad, 1983, 54–78.

Polonski D. G., “Samoidentifikatsiia russkogo dvorianstva i petrovskaja reforma epistolarnogo etiketa (konets XVII – nachalo XVIII v.),” in: N. N. Petrukhintsev, L. Erren, eds., *Ruling Elites and the Nobility in Russia during and after the Reforms of Peter the Great (1682–1750)*, Moscow, 2013, 234–255.

Rutledge J., *The Dialogue of the Dead in Eighteenth-Century Germany*, Bern, Frankfurt, 1974.

Skvortcova E., “Illustrations to ‘Dialogues of the Dead’: A Problem of the Validation of the Title of the Russian Emperor in the 18th Century,” in: *Actual Problems of History and Theory of Art*, 5, St. Petersburg, 2015, 503–512, DOI: 10.18688/aa155-6-55.

Skvortcova E., “Russian Empresses and their Foreign Counterparts: The Validation of the New Title of the Russian Ruler in Illustrations of David Fassman’s ‘Dialogues of the Dead,’” in: *Study Group on Eighteenth-Century Russia Newsletter (New Series): Synopses of Papers Read at the Annual Meetings of the Study Group*, 4, 2016 (<http://www.sgecr.co.uk/newsletter2016/skvortcova.html>).

Vasilyev V. N., ed., *Pamiatniki russkoi kul'tury pervoi chetverti XVIII veka v sobranii Gosudarstvennogo Ermitazha: katalog*, Leningrad, Moscow, 1966.

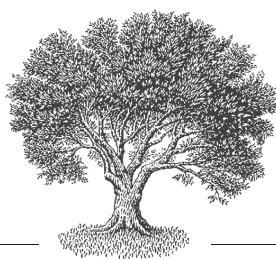
## Acknowledgements

Russian Science Foundation. Project No. 17-78-10130.

---

**Екатерина Александровна Скворцова**, канд. искусствоведения  
С.-Петербургский государственный университет, Институт истории,  
старший преподаватель кафедры истории русского искусства  
199034 С.-Петербург, Менделеевская линия, д. 5  
Россия/Russia  
[e.skvortsova@spbu.ru](mailto:e.skvortsova@spbu.ru)

Received August 21, 2017



**“Краткое руководство  
к красноречию”  
М. В. Ломоносова:  
история первого  
издания (1748 г.)\***

**Андрей Александрович  
Костин**

Институт русской литературы  
(Пушкинский Дом) РАН; Национальный  
исследовательский университет “Высшая  
школа экономики”  
С.-Петербург, Россия

**Константин Николаевич  
Лемешев**

Институт русской литературы  
(Пушкинский Дом) РАН  
С.-Петербург, Россия

**Mikhail Lomonosov’s  
“Short Manual in  
Rhetoric”: The  
History of the First  
Edition from 1748**

**Andrei A. Kostin**

Institute of Russian Literature  
(Pushkin House) of the Russian  
Academy of Sciences; National  
Research University Higher School of  
Economics  
St. Petersburg, Russia

**Konstantin N. Lemeshev**

Institute of Russian Literature  
(Pushkin House) of the Russian  
Academy of Sciences  
St. Petersburg, Russia

**Резюме**

В статье исследуется история первых изданий “Краткого руководства к красноречию” М. В. Ломоносова, выпущенных Академией наук в 1748 и 1765 гг. На основании текстологических данных демонстрируется, что устоявшийся в литературе взгляд на историю этих изданий, возводящий каждое из них к единственному сохранившемуся комплексу корректурных листов как непосредственному источнику, неверен. Анализ трех нестандартных экземпляров первого

---

\* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 15-04-00551-ОГН).

издания, привлечение документации Канцелярии и типографии Академии наук, текстологический и кодикологический анализ показывают, что работа академической типографии над первым изданием “Краткого руководства” в 1747–1748 гг. была осложнена как утратой части тиража в пожаре 5 декабря 1747 г., так и дефицитом бумаги летом 1747 г., но прежде всего тем, что к началу печатания книги большая ее часть еще не была написана. В результате того, что отдельные фрагменты текста передавались автором в типографию по мере их написания, допечатка утраченной в пожаре части тиража весной 1748 г. совпала по времени с написанием последних глав книги. Это позволило Ломоносову радикально переработать вводные параграфы ранней главы “О вымыслах”, превратив ее отчасти в теоретическое обоснование допустимости “вымышленных” жанров, образцы которых составляли наиболее важную часть книг, издававшихся и готовившихся Академией наук в 1747–1748 гг. (“Эзоповы притчи” в переводе С. С. Волчкова, переводы “Путешествия Телемака” и “Аргениды”, трагедии А. П. Сумарокова). В заключении приводится уточненная генеалогическая схема прижизненных печатных изданий “Краткого руководства” и обосновывается статус его московского издания (1759–1765) как содержащего наиболее поздний авторизованный текст.

#### Ключевые слова

М. В. Ломоносов, текстология, история текста, XVIII век, история книгопечатания, риторика

#### Abstract

The article studies the first editions of Mikhail Lomonosov's “Kratkoe rukovodstvo k krasnorechiiu” (A Short Manual in Rhetoric), issued by the Academy of Sciences in 1748 and 1765. The textual variants help us demonstrate that the common view of the history of these texts, as descending directly from the only extant set of proofs, is false. Through textual and codicological analysis (including the presentation of three unique copies of the first edition), and using the records of the Academy Chancellery and Typography, we argue that the creation of the unique variant copies of the first edition were caused not only by the fire in the Academy building (December 5, 1747), but also by the lack of paper in the Typography's stock and the fact that the greater part of the book had not yet been written by the time the printing process began. For more than a year, Lomonosov had provided the Typography with only small portions of the text; thus when, in the spring of 1748, the portion of the print run that had been damaged by the fire was reprinted, it coincided with the creation of the last chapters. This made it possible for Lomonosov radically to rewrite the first paragraphs of an early chapter, “On fictions,” turning it into a theoretical text, legitimizing the fiction genres that became a crucial part of the Academy's publications in 1747/48 (Volchkov's translation of Aesop's Fables; the translations of Fenelon's *Telemaque* and Barclay's *Argenis*; Sumarokov's tragedies). The article concludes with a verified stemma of the print sources of the “Kratkoe rukovodstvo” issued during Lomonosov's lifetime, and the Moscow edition (1759–1765) is argued as representing the presentation of the latest authorized text.

#### Keywords

Mikhail Lomonosov, textual critics, 18th century, print history, rhetoric

Д. М. Буланин недавно напомнил нам, что «главная задача текстологии, как, впрочем, и критики текста, — проследить движение памятника [. . .] во времени, насколько такое движение отражено во взаимоотношении списков» [Буланин 2014: 19–20]. Это емкое определение следует уточнить лишь в том, что к новой (печатной) литературе оно применимо не в меньшей степени, чем к литературе рукописной. Учет вариантов различных редакций памятника важен не сам по себе; он должен производиться не столько для отдельных прикладных задач (таких как реконструкция недоступного будущему читателю текста отдельного источника/редакции, учет систематической правки на том или ином этапе истории текста, принятие решений об эмендациях), но прежде всего для аргументированной реконструкции того, как менялся со временем текст памятника, где, когда и почему возникали его редакции и изводы. Из этого принципиального тезиса следует в том числе, что столь занимающий текстологов «новой» русской литературы вопрос об «основном» тексте во многом вторичен, поскольку может решаться только после того, как определено, из каких элементов складывается история текста (установление их при этом вовсе не равнозначно сколько бы ни было тщательному учету и описанию известных источников).

Этот тезис особенно важен при текстологической работе с сочинениями середины XVIII века — эпохи, от которой литературные памятники сохранились по большей части в столь скудном числе редакций (одна, в лучшем случае две печатных), что работа с ними заставляет зачастую забывать о базовых текстологических вопросах, подменяя их второстепенными техническими проблемами, например, уделяя излишнее внимание орфографическому/пунктуационному режиму издания. Тот факт, что даже единственная сохранившаяся печатная редакция представляет собой лишь эпизод в истории текста (включающей, помимо авторских рукописей, также несколько корректур), может выноситься за скобки при решении большого числа связанных с этим текстом интеллектуальных задач, однако исследователь, готовящий такой текст к публикации, не должен забывать об этом обстоятельстве. Необходимо учитывать, в частности, что печатные тексты, помещенные в различных экземплярах издания с идентичным титулом и идентичного состава, могут содержать между тем различный текст<sup>1</sup>.

Реконструкция печатной истории (прохождения через типографию) для текста середины XVIII века должна строиться в первую очередь на тщательном учете и анализе вариантов. Кодикологические и

---

<sup>1</sup> Ср., например, хрестоматийный случай с вариативностью текста в экземплярах первого издания «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева [Западов 1992: 550–557].



документальные данные оказываются в этой текстологической работе лишь пособием, пусть и важнейшим; сведенные в аппарат варианты приобретают смысл лишь в том случае, если задается вопрос о времени и причинах их появления, а проблема “основного” текста в таком анализе занимает второстепенное положение. Кажется, ни один русский памятник середины XVIII века не иллюстрирует верность этих тезисов столь наглядно, как “Краткое руководство к красноречию” М. В. Ломоносова.

### 1. Проблема “основного текста”

Риторика М. В. Ломоносова — “Краткое руководство к красноречию” (далее КРК) — известна в трех прижизненных изданиях:

- 1) Печатавшееся в 1747–1748 гг. издание Академии наук ([10], 315, [2] с.; 8°) с выходными данными: “ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ / при Императорской Академіи Наукъ / 1748” [СК XVIII, 2: 168, № 3743] (далее КРК-1);
- 2) Печатавшееся в 1759–1765 гг. издание Московского университета, составляющее второй том “Собрания разных сочинений” Ломоносова ([10], 224, [2] с.; 4°) с выходными данными: “Печатано при Императорскомъ Московскомъ Университетѣ, / 1759. года” [СК XVIII, 2: № 3730] (далее КРК-2). Титульный лист этого издания содержит указание на то, что публикуемый в нем текст — “Второе издание с сочинителевыми исправлениями”;
- 3) Издание, выпущенное Академией наук в 1765 г. ([2], 315, [2] с.; 8°), в основном повторяющее текст первого издания, в том числе выходные данные [СК XVIII, 2: № 3744]<sup>2</sup> (далее КРК-3).

Помимо этих трех изданий (и исключая ряд фрагментарных источников; см. указания на них в: [Ломоносов 1952А]), текстология КРК строится также на двух сохранившихся подготовительных редакциях текста:

- 4) Черновая рукопись (автограф), содержащая весь текст КРК, кроме посвящения и титульного листа (СПФ АРАН. Ф. 20. Оп. 3. № 49; далее КРК-Рук);
- 5) Корректурный экземпляр с правкой, внесенной как рукой Ломоносова, так и рукой еще одного неустановленного лица, содержащий полный текст КРК (СПФ АРАН. Ф. 20. Оп. 3. № 50; далее КРК-Корр).

Неидентичность КРК-1 и КРК-3 была установлена в конце 1940-х гг. при подготовке “Полного собрания сочинений” Ломоносова на основании изучения филиграней в экземплярах БАН [Ломоносов 1952А:

<sup>2</sup> С тем же текстом на титульном листе и выходными данными книга была издана еще дважды — в 1776-м и в 1780-х гг. [СК XVIII, 2: №№ 3745, 3746].

808<sup>3</sup>], поводом к чему послужили известные делопроизводственные материалы Академии наук [Билиарский 1865: 640 (2-й паг.); Ломоносов 1895: 282 (2-й паг.)]. При выборе основного текста В. В. Виноградов, С. Г. Бархударов и Г. П. Блок (редакторы тома филологических трудов) и В. Н. Макеева, совместно с Г. П. Блоком готовившая тексты к изданию, применили общий для ПСС принцип "последней воли автора" [Ломоносов 1952А: 809]<sup>4</sup>; источником, отражающим ее, было решено считать обнаруженное публикаторами академическое издание 1765 г. Как показала полемика, развернувшаяся весной 1956 — в начале 1957 г., через несколько лет после выхода тома в свет [Морозов 1956; Виноградов, Бархударов, Блок 1956; Морозов 1957; От редакции 1957], это решение вряд ли может быть признано удачным.

Дискуссия совпала по времени с работой А. А. Морозова над томом избранных "Сочинений" Ломоносова [1957]<sup>5</sup>. Поскольку это издание включает в том числе и текст КРК по изданию Московского университета (КРК-2), можно предположить, что для А. А. Морозова причиной к написанию рецензии, запустившей обсуждение, стало обращение к экземпляру БАН 1748/5а, по которому готовился текст ПСС, и оценка возможности его использования в качестве источника в своей книге. Результаты этой оценки изложены в первой части рецензии (вторая посвящена орфографическому режиму ПСС). По мнению А. А. Морозова, несмотря на технически подтверждаемый статус последнего прижизненного издания, текст КРК-3 не может быть признан отражением "последней воли автора", поскольку носит явные следы механического ("тютелька в тютельку") копирования КРК-1<sup>6</sup>: изменения, внесенные в

<sup>3</sup> Примечания Г. П. Блока и В. Н. Макеевой; далее ссылки на это издание сокращенно — ПСС.

<sup>4</sup> М. И. Сухомлинов, напротив, для подготовки основного текста использовал КРК-1, считая это издание наиболее авторизованным [Ломоносов 1895: III–IV]. Сухомлинову были неизвестны различия в текстах первого издания КРК и двух его позднейших академических перепечаток, вышедших с указанием 1748 г. на титульном листе; четвертое издание, вышедшее в 1780-х гг., он полагал прижизненным [Ibid.: III; ср. также с. 119–120 2-й паг.]. В подобной квалификации первых печатных изданий КРК Сухомлинов следует за П. П. Пекарским [1873: 387]. Не вполне понятно, как хронологически и генеалогически располагал Сухомлинов *editio princeps* относительно источников, означенных им как Р1 (=КРК-1 и КРК-3) и РII (=КРК-Корр). Опора Сухомлинова на текст первых изданий была принципиальной, что наиболее отчетливо высказано в предисловии к первому тому [Ломоносов 1891: VII]; в этом он заметно отошел от принципов, заявленных им в начальном проекте издания, где сочинения, выходявшие при жизни несколько раз, предлагалось печатать по последнему изданию [Сухомлинов 1887: V]. О традиции издания памятников древней литературы как методологическом основании окончательной позиции М. И. Сухомлинова в его издании см.: [Берков 1963: 94–96 и др.].

<sup>5</sup> Книга подписана в печать 8 февраля 1957 г.

<sup>6</sup> А. А. Морозов описывает предполагаемый источник текста КРК-3 как "первое издание Риторики 1748 года и притом по дефектному, не выправленному даже

текст КРК-2, в позднейшем издании не учитывались, при этом КРК-3 воспроизводит не только ряд очевидных опечаток КРК-1, отмеченных в финальном списке погрешностей, но и сам этот избыливающий ошибками список<sup>7</sup>. Последовавший печатный обмен мнениями о тексте КРК-3 между редакторами тома, А. А. Морозовым и читателями журнала “Звезда” выявил и другие проблемы квалификации КРК-3 как авторизованного издания. Среди доводов, приведенных редакторами в пользу подобного статуса КРК-3, значимым может быть признан только один: они обратили внимание на то, что §§146–151 в КРК-1 и КРК-2 в основном совпадают, в то время как КРК-3 дает для них содержательно иной текст<sup>8</sup>. Между тем основной довод редакторов тома в пользу своей правоты состоял в том, что

. . . если бы даже эти два текста совпадали, то как могли составители седьмого тома игнорировать тот совершенно бесспорный факт, что в январе 1765 г., сдавая “Риторику” в набор, Ломоносов не пожелал перепечатывать текст предыдущего издания 1759 г., а дал для типографии другой текст? [Виноградов, Бархударов, Блок 1956: 471].

Этот довод чрезвычайно сомнителен, поскольку, как указали в продолжение полемики В. Л. Ченакал, Г. Е. Павлова и Н. В. Соколова (составители летописи жизни и творчества Ломоносова), фронтальный просмотр документации Академии наук не обнаруживает никаких источников, указывающих на личное участие Ломоносова в издании Риторики 1765 г.; наоборот, известно, что инициатором переиздания выступил комиссар академической книжной лавки С. В. Зборомирский [От редакции 1957: 222]<sup>9</sup>. Что касается различных редакций §§146–151, то в

в свое время экземпляру” [Морозов 1956: 168]. Из текста рецензии непонятно, имеется ли в виду экземпляр из “дефектной” части тиража, или КРК-Корр.

<sup>7</sup> Список содержит указания на 14 погрешностей; при этом в шести из них есть ошибки (неправильно указан адрес “погрешности” или слово передано ошибочно).

<sup>8</sup> Указывая на то, что “заключительные строки §107 в издании 1765 г. даны [. . .] в несколько сокращенной редакции, и притом в такой, которой не встречаем ни в предшествующих двух изданиях, ни в корректурных оттисках первого издания, ни в рукописи” [Виноградов, Бархударов, Блок 1956: 470–471], редакторы тома ПСС невольно приводят довод в пользу механически скопированного в КРК-3 текста первого издания: пропуск в КРК-3 на с. 100 (окончание §107) слов “они печаль и плач отложили, и паче бы” представляет собой стандартную ошибку при копировании текста — пропуск строки источника (ср. строку 4 на с. 100 в КРК-1 и в КРК-Корр). Другой аналогичный пропуск сделан в КРК-3 в §65 (ср. с КРК-1 и КРК-Корр — с. 63, строка 14).

<sup>9</sup> К сожалению, в архиве журнала “Звезда” материалы за 1956/57 гг. сохранились фрагментарно; подлинников писем в редакцию В. Л. Ченакала, Г. Е. Павловой, Н. В. Соколовой, А. И. Андреева и др. среди них найти не удалось (см. ЦГАЛИ СПб. Ф. 177. Оп. 2. №№ 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 30, 31; Оп. 7, №№ 8, 28; при работе над статьей нам остались недоступны находившиеся на реставрации единицы

своем ответе А. А. Морозов справедливо отметил, что в данном случае КРК-3 не содержит новый текст с изложением материала якобы “проще и яснее, чем в изданиях 1748 и 1759 г.” [Виноградов, Бархударов, Блок 1957: 471], но воспроизводит текст, сохранившийся в КРК-Корр [Морозов 1957: 220]

Дискуссия 1956–1957 гг. об “основном” тексте КРК отчетливо показала, что существенных оснований для того, чтобы считать КРК-3 отражением “последней воли автора”, нет. Последующие обращения исследователей к этому вопросу лишь добавили несколько дополнительных аргументов в пользу значимости КРК-2 как издания с содержательной авторской правкой, окончание публикации которого совпало по времени с изданием КРК-3 [Мельникова 1966: 21; Карпова 1968; Николаев 1994]<sup>10</sup>.

## 2. История издания: гипотетический прототип и вопрос о соотношении редакций

Подводя итог изучению истории прижизненных изданий КРК, можно сказать, что в предшествующих исследованиях были сделаны важнейшие

---

хранения, возможно, содержащие необходимые материалы: Оп. 3, № 334; Оп. 7, № 6). Стоит заметить, что приведенные еще М. И. Сухомлиновым [Ломоносов 1895: 282 (2-й паг.)] данные о запросе Зборомирского в академическую Канцелярию, сделанном в мае 1764 г., сообщаются и комментаторами ПСС [Ломоносов 1952А: 808]. Используемый как ими, так и составителями “Летописи жизни и творчества М. В. Ломоносова” [Летопись 1961: 405] документ — решение академической Канцелярии от 26 мая 1764 г. по запросу Зборомирского, подписанное в том числе Ломоносовым (СПФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. № 534. л. 130–131) — как не позволяет говорить о полной непричастности Ломоносова к академическому переизданию Риторики, так и не дает оснований предполагать, что он лично отбирал текст для набора, который начался заметно позже принятого решения — лишь в январе 1765 г.

<sup>10</sup> В комментарии к новейшему переизданию КРК Л. И. Сазонова оставляет в стороне вопрос о статусе текстов КРК-2 и КРК-3 [Сазонова 2011]. Попытка П. Е. Бухаркина произвести ревизию взгляда на КРК-2 как издание, отражающее “последнюю волю автора”, и предпочесть ему КРК-3 [Бухаркин 2013] не представляется убедительной. Единственный существенный довод, приводимый исследователем в пользу своего мнения, состоит в характеристике варианта КРК-1 (повторенного в КРК-3): “Корой обводит сестр продерзка Фаетонта” как “естественного в контексте ломоносовской поэзии второй половины 1740–1760-х годов”, в то время как вариант КРК-2 (“Обводит дерскаго корой сестр Фаетонта”) — “противоречащим общей эволюции ломоносовского поэтического стиля”, поскольку он отяжелен “сложной инверсией” (с. 59). Согласиться с этим тезисом мешает то, что инверсии, осложненные отрывом эпитета от определяемого им понятия фрагментом из нескольких слов, свойственны поэтическим сочинениям Ломоносова как 1740-х, так и 1760-х гг. (ср. в оде на восшествие 1748 г.: “Но дом себе имеет тесный”, “Но жизнью мир порочит злою”, “Драгих мне в дар ловить зверей”; и в эпистоле Г. Г. Орлову 1764 г.: “Кронштатских вобразив за лето шум валов”, “Збирая сладостны себе и нам соты”, “Ты, верны Отчеству распростирая длани”; здесь и далее отсылки на поэтические тексты Ломоносова даются описательно; если не оговорено иное, используется текст ПСС).



выводы: прежде всего, установлен не только факт существования второго академического издания (КРК-3), но и выявлены отражающие эту редакцию экземпляры, а также ее основные отличия от редакций КРК-1 и КРК-2. Результат анализа этих отличий отчетливо показал, что нет существенных оснований считать редакцию КРК-3 авторизованной. Вместе с тем, об истории трех первых изданий КРК все еще можно сказать словами редакторов ПСС: она остается “местами запутанной, не везде отчетливой” [Ломоносов 1952а: 809].

Многочисленные вопросы и неясности в этой истории в самом общем виде могут быть сведены к следующему: нам до сих пор неизвестно, какой текст послужил тем источником, с которого в 1765 г. делался набор КРК-3. Тезис этот может показаться странным или сомнительным, поскольку как издатели ПСС, так и исследователи, не считавшие текст КРК-3 авторизованным, уверенно говорят о том, что он набирался непосредственно с КРК-Корр [Ломоносов 1952а: 806–807; От редакции 1957: 222; Карпова 1968: 82; Тюличев 1983: 54]. Между тем это текстологическое по своей сути предположение делалось лишь на основании различий в макроэлементах печатных экземпляров (пропуски отдельных строк; очевидно различный, в том числе по верстке, текст нескольких параграфов), без внимательного изучения вариантов текста.

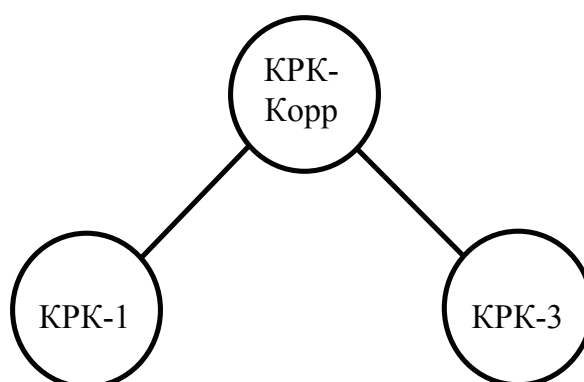


Рис. 1. Генеалогия печатных редакций КРК по ПСС<sup>11</sup>

Генеалогическая схема, предполагающая сохранившуюся корректуру непосредственным источником изданий как 1748, так и 1765 гг., а каждый из изданных текстов — взаимно независимой редакцией (Рис. 1), может быть построена, только если выполнены три условия:

А) известны варианты, общие для КРК-Корр и КРК-1, отличающие их от КРК-3;

<sup>11</sup> В схеме не учитывается КРК-2, печатание которого с выправленного Ломоносовым КРК-1 не вызывает сомнений.

Б) известны варианты, общие для КРК-Корр и КРК-3, отличающие их от КРК-1;

В) не обнаружены варианты, общие для КРК-1 и КРК-3, отличающие их от КРК-Корр.

Из всех этих условий бесспорно выполняется только первое: группа вариантов, уникальных для КРК-3, довольно многочисленна, что показывает как текстологический аппарат ПСС, так и дополняющие его материалы<sup>12</sup>; всего таких вариантов (стемматически значимых) удастся выявить 29. Показательно, что они не только равномерно распределены по объему книги<sup>13</sup>, но и наряду с обоснованной в ряде случаев коррекцией текста, испорченного в КРК-Корр (порча эта не везде очевидна), в других — независимо его “портят”. Эти данные даже в отсутствие внешних сведений о датировке издания заставили бы считать КРК-3 самостоятельной редакцией, очень близкой к КРК-Корр и КРК-1, но отличной от них. Они не позволяют, однако, судить о том, какой из этих текстов послужил источником для набора в 1765 г., и не исключают возможности неизвестного промежуточного звена. Для решения вопроса о том, имеем ли мы здесь дело с древовидной схемой двух текстов, независимо восходящих к общему источнику (*Рис. 1*), или же с последовательными редакциями (КРК-Корр → КРК-1 → КРК-3), или со схемой, предполагающей гипотетический промежуточный источник, необходимо проверить два оставшихся требования.

Проверка условия Б показывает, что варианты, общие для КРК-Корр и КРК-3, но отсутствующие в КРК-1, встречаются лишь на страницах 149–156. В их число входит не только очевидно различающийся текст §§148–151 (и инципита §152), но и семь стемматически значимых

<sup>12</sup> См. в приведенных ПСС постранично вариантах (указывается номер страницы и литерный индекс варианта через дефис): 94-а, 136-а, 136-б, 137-а, 145-б, 176-в, 218-а, 283-в, 371-б. К этим вариантам можно добавить следующие (приводятся с сообщением адреса варианта по странице и строке в издании КРК-3; сообщается сначала текст по КРК-Корр и КРК-1, за ним после знака ‘/’ — текст по КРК-3; дается также номер параграфа). В печатном листе В: удаляться/уменьшаться (39-23; §51); благостояния/благосостояния (39-24; §51); в печ. л. Г: возвращенны/возвращенны (64-15; §66); в печ. л. Е: стремнительно/стремительно (90-18; §99); употребили/употребляли (94-17; §103); в печ. л. И: в пыли и в поте / в пыли и поте (137-16; §132); в печ. л. І: крилами/крылами (156-23; §156); в печ. л. К: которых/котором (161-17; §161); пренесения/принесения (167-24; §167); вопрошениях/прошениях (175-17; §179); в печ. л. Л: метафоры/метафор (177-26; §183); серебром/серебром (180-4; §185); в печ. л. Н: прославлять/представлять (210-25; §228); Афинеане/Афиняне (212-28; §231); Июлию/Июлию (215-32; §235); странного/страшного (218-28; §239); в печ. л. С: действия/действия (287-10; §288); в печ. л. Т: Увидел/Увидев (303-29; §306); в печ. л. У: Сенека/Секста (314-26; §325); отвечает/отвечал (315-9; §326).

<sup>13</sup> Такие варианты не встречаются только на семи печатных листах книги из двадцати: Б, Д, З, М, О, П, Р.

вариантов в других параграфах<sup>14</sup>. Таким образом, второе условие “простой древовидной” истории печатных редакций КРК полностью не выполняется.

Последнее ее условие (В) не выполняется вовсе. Тринадцать стемматически значимых вариантов, общих для КРК-1 и КРК-3 (или свидетельствующих о зависимости КРК-3 от КРК-1), где КРК-Корр предлагает отличное чтение, равномерно распределены по тексту книги (встречаются на 12 печатных листах из 20)<sup>15</sup>. Помимо этого, КРК-3 повторяет также все исправления опечаток, устраненных в КРК-1, но не выправленных в КРК-Корр.

В целом этот анализ показывает, что текст КРК-3 не мог набираться с КРК-Корр, и историю первых академических печатных редакций можно было бы представить в виде традиционной последовательной схемы (корректурa первого издания → первое издание → второе издание), если бы не группа вариантов на страницах 149–156. В случае с этим фрагментом, как было отмечено еще в ходе полемики 1956–1957 гг.<sup>16</sup>, текст

<sup>14</sup> Из этих вариантов текстологический комментарий ПСС фиксирует лишь два (219-а, 226-б). К ним необходимо добавить следующие (адресация приводится по страницам и строкам КРК-3; приводится сначала текст по КРК-Корр и КРК-3, за ним после знака ‘/’ — текст по КРК-1): 1) с. 149, стр. 25–26: со всем / во всем; 2) с. 149, стр. 33: не утверждается / так не утверждается; 3) с. 155, стр. 11: что нибудь / что несколько (ср. вариант ПСС 225-а); 4) с. 155, стр. 14: средствях / средствах; 5) с. 155, стр. 20–22: Во-первых предлагаем учение, как составлять чистые и смешанные вымыслы / Но в них предлагаем только учение, как составлять чистые вымыслы (ср. варианты ПСС 225-б, в, г). Особое значение имеет последний вариант, содержательно связанный с правкой, внесенной в КРК-1 в §§148–152. Следует также учесть, что КРК-3 сближает с КРК-Корр ряд орфографических вариантов (Богов/богов; твой/Твой и др. на с. 154–155).

<sup>15</sup> Варианты приводятся с указанием адреса по странице и строке издания КРК-3; сообщается сначала текст по КРК-1 и КРК-3, за ним после знака ‘/’ — текст по КРК-Корр; дается также номер параграфа. В печ. л. А: свойства [. . .] свойства / свойства [. . .] свойства (8-2, 3; §5); в печ. л. Г: и не токмо / не токмо (52-22; §59); в печ. л. Д–Е: не следует: Цицерон [граница печатного листа] сильнее / не [граница печатного листа] следует: Цицерон сильнее (с. 80–81); в печ. л. Ж: потомков / потомком (99-2, 3; §107); супругов/супругом (107-9; §112); в печ. л. И: из/ил (159-23; §158); в печ. л. Л: Дафнис/Дафин (186-27; §195); услышал/услышил (189-14; §199); в печ. л. М: разнятся/разнется (195-19; §211); в печ. л. Н: Древних и / И древних (220-10; §239); в печ. л. П: посмотрив (КРК-1) / посмотрим (КРК-3) / посмотрвн (256-6; §271); в печ. л. Р: косвенные. [конец абзаца] Прямые / ковсвенные. Прямые (267-13,14; §278); в печ. л. Т: испужавшись / испуагвшись (301-7; §303). Здесь приведены только варианты, имеющие стемматическую значимость (в ряде случаев подтверждаемую обращением к КРК-Рук). Не рассматриваются варианты, предполагающие (о чем говорят знаки вноски) наличие вставных рукописных листов с набранным в КРК-1 текстом, не сохранившихся в дошедшем до нас комплекте КРК-Корр (ср. варианты в ПСС: 109-в, 274-е); текст, исключенный из КРК-Корр в связи со вставкой на страницу фрагмента схожего объема (см. варианты в ПСС: 275-в), или же текст, возможно, читавшийся на обрезанной при переплете части листов КРК-Корр (см. правку §43).

<sup>16</sup> Участники полемики обратили внимание на различия лишь в §§146–151, однако варианты встречаются и в пяти следующих параграфах (см. прим. 14).

КРК-1 никак не мог послужить источником для КРК-3, поскольку многочисленные варианты здесь в основном соответствуют редакции КРК-Корр.

Вместе с тем сличение печатного текста КРК-Корр и внесенной в него корректурной правки с текстом КРК-3 показывает, что хранящийся в СПФ АРАН комплект корректурных листов также не мог послужить источником набора КРК-3. Основное различие в текстах страниц 149–156, читающихся с одной стороны в КРК-1, а с другой — в КРК-Корр и КРК-3, заключается в радикально переработанном изложении теории вымыслов в §§148–151 [ЛЕМЕШЕВ 2018]. В КРК-Корр весь текст этих параграфов вычеркнут (одинарная косая черта от верхней строки к нижней на страницах 151–153), против начала исключенного фрагмента на поле помещен знак вноски (~ /), конец вставки обозначен горизонтальным отчеркиванием под строкой. Вставной фрагмент, очевидно, был записан от руки на приложенном к корректуре листке, который, как и другие подобные вставки (см. прим. 15), не сохранился. Помимо этой, наиболее значимой и заметной правки, КРК-Корр содержит также в §§148–152 несколько исправлений<sup>17</sup>.

- 1) с. 151, стр. 4: “Вымыслом” → “Вымыслами”;
- 2) с. 151, стр. 6: после слова “человеческим” добавлена запятая;
- 3) с. 152, стр. 10–11: “предложения” → “возражения”;
- 4) с. 153, стр. 1: “Авторов” → “Авторов Езоповы притчи”;
- 5) с. 154, стр. 1: “Еще разделяются вымыслы на прямые и косвенные” → “Частные вымыслы разделяются на прямые и косвенные”;
- 6) с. 154, стр. 3–4: “Прямые предлагаются просто, как подлинные деяния без всяких оговорок” → “Прямые предлагаются просто, наподобие подлинных деяний без всяких оговорок”.

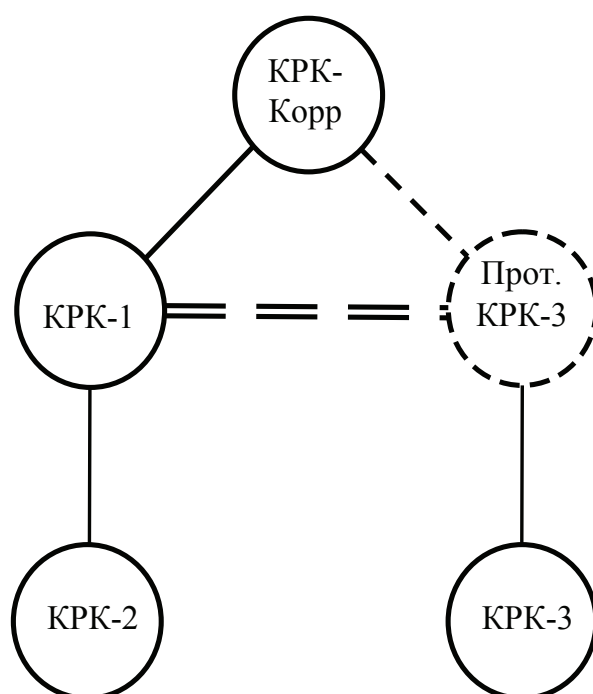
Текст КРК-3 воспроизводит эту правку лишь частично: учтены исправления 2, 3, 4 и 6. Эта выборочность не случайна. Оба варианта, не попавшие в КРК-3 (1, 5), внесены в редакцию КРК-1, причем исправление № 5 напрямую связано с теоретическими изменениями, внесенными Ломоносовым в параграфы о вымыслах (148–151) после исключения их раннего текста, известного по КРК-Корр. В §150 КРК-1 и КРК-2 читаем: “. . . разделяются вымыслы на *цельные* и *частные*: *цельными* называем те, которые составляют целое слово; *частными*, которые в правдивое слово Ораторы и Стихотворцы для его возвышения вмещают”. Начальной редакции главы “О вымыслах” (за которой следует КРК-3) эта отразившаяся в исправлении № 5 дихотомия частных/цельных вымыслов

<sup>17</sup> Не учитывается не имеющая стемматического значения правка в стихотворном примере из §152.



была неизвестна. Из сказанного следует заключить, что правка вноси-лась в КРК-Корр на страницах 149–156 в два этапа. На первом — до 4 мая 1747 г.<sup>18</sup> — был подготовлен текст, использованный впоследствии в академическом издании 1765 г.; после второго<sup>19</sup> появилась поступившая в продажу в 1748 г. редакция КРК-1.

Воспроизведение в КРК-3 лишь первого слоя правки из КРК-Корр заставляет признать, что академическое издание 1765 г. (КРК-3) не могло набираться с сохранившихся корректурных листов (КРК-Корр)<sup>20</sup>. Следовательно, необходимо ввести в историю текста КРК новую — гипотетическую — редакцию: прототип КРК-3. Текст этой редакции для большинства страниц был идентичен или восходит к КРК-1, а на страницах 149–156 отразил текст, соответствующий начальному слою правки КРК-Корр (см. *Рис. 2*).



*Рис. 2.* Генеалогическая схема КРК по текстологическим данным стандартных экземпляров

<sup>18</sup> Дата подписания Ломоносовым в печать листа I из КРК-Корр; см. об этом ниже.

<sup>19</sup> При этом превращение текста КРК-Корр в КРК-1 на страницах 149–156 очевидно требовало еще по меньшей мере одной стадии внесения правки, не отраженной в КРК-Корр и затрагивающей все параграфы со 146-го по 156-й, а не только вычеркнутые §§148–151.

<sup>20</sup> Если бы страницы 149–156 в КРК-3 спустя 17 лет после первого издания набирались непосредственно с КРК-Корр, они неизбежно отразили бы читаемые здесь следы поздней редакции (измененные инципиты §§148 и 152: “Вымыслами. . .”, “Частные вымыслы разделяются. . .”).

Столь подробное рассмотрение генеалогического соотношения известных печатных источников текста КРК вряд ли требовалось бы само по себе (к тому же, предложенная схема ниже будет пересмотрена). Результат его между тем наглядно показывает, что наши сведения об истории печатных редакций КРК далеки от полноты. Нам не только не известно вполне, какие редакции составляют эту историю, но и то, как они соотносятся между собой и какие обстоятельства вызвали их появление. Между тем история прохождения КРК через типографию в 1747/48 г. достаточно хорошо документирована, а само первое издание сохранилось в довольно большом числе экземпляров. Тщательное изучение этих экземпляров в сочетании с внимательным чтением документов типографии Академии наук позволяют восстановить эту историю подробно, что ведет к уточнению данных о хронологии работы Ломоносова над КРК, а также позволяет увидеть за разнообразием печатных редакций не сумму случайностей и типографского произвола, но закономерную, взаимосвязанную и осознанную череду решений.

### 3. Вариативность КРК-1: источники с уникальным текстом

Изучение 16 известных нам экземпляров КРК-1<sup>21</sup> показывает, что это издание вариативно, поскольку в трех экземплярах на двух печатных листах читается текст, отличный от остальных экземпляров (различия касаются во всех случаях как расположения литер в строках и колоннитулах и декоративных элементов, так и написания отдельных слов, а также в одном случае — иной редакции нескольких параграфов)<sup>22</sup>:

- 1) Экземпляр библиотеки Саратовского университета (далее КРК-Сар): текст, отличный от остальных экземпляров, читается на с. 149–156

<sup>21</sup> В собраниях С.-Петербурга (БАН: 179л, 201д; ИРЛИ РАН: 49 3/27 (2) верх, 102 1/136; РНБ: 18.41.6.70/1; МАЭ РАН: МЛ-1108), Москвы (РГБ: АН/48Л (инв. 11609), АН/48Л (инв. 20284), АН\_80/48-л (инв. № 14774-73 = МКШ-2211)), Киева (Национальная библиотека Украины: Гр.5748; Государственная научно-педагогическая библиотека Украины: 808/Л-75), Казани (Казанский федеральный университет, Р. 140765), Саратова (Саратовский государственный университет: № 147220), Перми (Пермская государственная краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького: 09Г (инв. 60953)), Харькова (Харьковский государственный университет, 470 5/19 РК145396) и Нежина (Нежинский государственный университет, ELV 2 № 25). Изучение и описание казанского экземпляра выполнено по составленному нами вопроснику и сообщено Т. В. Костиной.

<sup>22</sup> Не рассматриваются случаи вариативности в строках у края страницы, единичные для соответствующих листов и не находящие соответствия в распределении типов бумаги. Ср. с. 81 (л. Е, первая страница; варьируется сигнатура: "Д" или "Е"); с. 196 (лист М, 4-я страница; текст последнего слова в первой строке варьируется: "укр ашеніе" или "укра шеніе") и с. 235 (лист О, 11-я страница; текст колоннитула варьируется: "О ХРІИ" или "РО ХІИ").

(внутренние [5–12] страницы 16-страничного печатного листа I<sup>23</sup> [далее I<sup>in</sup>]);

- 2) В экземпляре МАЭ РАН (далее КРК-МАЭ) уникальный текст представлен на с. 145–148 и 157–176 (внешние [1–4 и 13–16] страницы листа I [далее I<sup>ex</sup>] и полностью лист К);
- 3) В экземпляре БАН 201д (далее КРК-БАН) на с. 161–176 (лист К) читается текст, идентичный КРК-МАЭ.

Текст листа К из экземпляров КРК-МАЭ и КРК-БАН отличается прежде всего тем, что здесь исправлены три опечатки, имеющиеся в тексте остальных экземпляров (далее для обозначения стандартного текста, отличного от уникальных экземпляров, используется сокращение КРК-1<sup>ст</sup>). Все эти опечатки учтены в приложенном к КРК-1 списке погрешностей<sup>24</sup>. Точно так же корректирующую правку относительно КРК-Корр и КРК-1<sup>ст</sup> предлагает полулист I<sup>ex</sup> в экземпляре КРК-МАЭ<sup>25</sup>.

Различия между текстом полулиста I<sup>in</sup> из библиотеки Саратовского университета и КРК-1<sup>ст</sup> гораздо существеннее. Восемь страниц в КРК-Сар содержат тот текст, который предполагается начальным слоем правки КРК-Корр и который был набран впоследствии в КРК-3. Можно без преувеличения сказать, что КРК-Сар имеет ключевое значение для истории текста КРК: он подтверждает реальность гипотетической, выявленной на основании текстологических данных редакции (прототип КРК-3).

Помимо описанных различий, три уникальных экземпляра обнаруживают еще две особенности, позволяющие хронологически соотнести их вариативные листы с остальными листами книги. Прежде всего это распределение филигранных. Всего в издании используется три различных типа бумаги<sup>26</sup>; для листов КРК-1<sup>ст</sup> они распределяются так:

<sup>23</sup> КРК-1 состоит из 20 печатных листов 8°, имеющих буквенные сигнатуры от А до У, а также посвящения с сигнатурой )(.

<sup>24</sup> С. 162, стр. 1: смерны → смертны; с. 164, стр. 10: возмущенный → возмущенный; с. 169, стр. 13: Каталина → Катилина. Между тем в листе К из экземпляров КРК-БАН и КРК-МАЭ не произведена предлагавшаяся списком погрешностей замена слова “части” на “книги” в §180 (с. 176): “Правила, предложенные в сей части, служат больше в прозе, нежели в стихах. . .”; в редакции КРК-2, учитывающей правку из списка погрешностей, это исправление также не внесено.

<sup>25</sup> Ср. в КРК-1 (с. 160, стр. 21): “сочиил”, исправленное в КРК-МАЭ на “сочинил”. В КРК-МАЭ на полулисте I<sup>ex</sup> также унифицировано написание названия поэмы Виргилия как “Енеида” (в КРК-1<sup>ст</sup> встречается также “Енейда”).

<sup>26</sup> Целые филигранные всех трех типов просматриваются в экземплярах изданного в формате 2° “Военного устава с артикулом военным” (С.-Петербург, 1748): в тетрадях А–К здесь использована бумага типа А; тетради Л–Ы напечатаны на бумаге типов Б и В. При описании филигранных знак “/” означает конец строки; знак “|” — границу полулиста; словесное описание филигранны приводится в квадратных скобках.

- А. ([виноград] / 1742 | P FARGEAVD<sup>27</sup> / LIMOSIN / FIN): печ. л. **А–К**.  
 Б. (I PIGOIZARD / GROSBON / DANGOUMOIS / 1746<sup>28</sup> | [голова мавра(?)]<sup>29</sup>): печ. л. **Л–У**, полулисты )( [с текстом посвящения] и **I<sup>in</sup>**.  
 В. ([fleur de lis над (виноградом ?)] / [шестиконечная звезда] | I PIGOIZARD / GROSBON / DANGOUMOIS / 1744<sup>30</sup>) — бумага использована для печатных листов **Л–О, Т**.

Во всех трех уникальных экземплярах (далее КРК-1<sup>yh</sup>) текст соответствующих страниц напечатан на бумаге, отличной от той, что использована в этом случае в КРК-1<sup>ст</sup>:

	КРК-1 <sup>yh</sup>	КРК-1 <sup>ст</sup>
п/л I <sup>ex</sup> (с. 145–148, 157–160)	<b>тип Б</b> (КРК-МАЭ)	<b>тип А</b>
п/л I <sup>in</sup> (с. 149–156)	<b>тип А</b> (КРК-Сар)	<b>тип Б</b>
л. К (с. 161–176)	<b>тип В</b> (КРК-БАН, КРК-МАЭ)	<b>тип А</b>

Во всех случаях разночтений между КРК-1<sup>yh</sup> и КРК-1<sup>ст</sup> текст на бумаге типа А читается в более раннем состоянии, соответствующем правке в КРК-Корр.

Одну важную особенность имеет распределение элементов филигранны и контрамарки листа I в экземпляре КРК-МАЭ. Из восьми книжных листов этого печатного листа (I1...I8) элемент филигранны (ее нижняя половина) просматривается на книжных листах I2 и I7; элементы контрамарки расположены на книжных листах I3 (нижний элемент) и I4 (верхний элемент). Такое распределение элементов аномально, поскольку набор текста в печатный 16-страничный лист (in-8°) предполагает, что при расположении нижних элементов филигранны на книжных листах I2 и I7 элементы контрамарки будут находиться на книжных листах I1 (нижний) и I4 (верхний), либо I5 (верхний) и I8 (нижний); расположение элементов контрамарки на книжных листах I3 и I4 при наборе листа для фальцовки in-8° невозможно, как и отсутствие элементов контрамарки во внешней полутетради (на книжных листах I1 или I8). Это означает, что тексты полулистов I<sup>ex</sup> и I<sup>in</sup> в экземпляре КРК-МАЭ

<sup>27</sup> Также встречается вариант без конечного D: P FARGEAU; ср.: HEAWOOD 1957 №№ 3325, 3329 (P FARGEAU) и № 3326 (P FARGEAUD).

<sup>28</sup> Текст контрамарки смещен к краю листа.

<sup>29</sup> На части листов над филигранью "голова" помещена также лилия. Закономерность в распределении филигранный типа Б с лилией и без нее не выявляется. Из-за того, что этот небольшой элемент располагался в центре полулиста, на месте сгиба и обреза бумаги, и во многих случаях утрачивался при переплете, невозможно соотнести каждый сохранившийся печатный лист с одним из двух подтипов бумаги типа Б. В связи с этим в последующем анализе они не различаются.

<sup>30</sup> Текст контрамарки размещен по центру полулиста.



(I<sup>in</sup> здесь соответствует КРК-1<sup>ст</sup>) набирались каждый в своем полулисте, который затем фальцевался in-4°.

Другой отличительной особенностью уникальных экземпляров оказывается оформление колонтитулов на соответствующих страницах. Общая для всей книги верстка предполагала, что на левой стороне разворота указывается номер главы (“ГЛАВА ПЕРВАЯ”), а на правой — ее сокращенное название (“О РАСПОЛОЖЕНИИ ИДЕЙ ВООБЩЕ”). Если судить по листам КРК-1<sup>ст</sup>, одна особенность в этом общем оформлении делит книгу на две части. На начальных листах (А–Л, с. 1–192) после номера главы в левом колонтитуле ставилась точка (исключения единичны — ср. с. 42, 82, 116, а также четные страницы полулиста I<sup>in</sup>), а на листах, оканчивающих книгу (лл. М–У, стр. 193–315), пунктуационные знаки после номера главы отсутствуют (единственное исключение — с. 226). В уникальных экземплярах на соответствующих страницах левые колонтитулы оформлены обратным образом (приводится текст первого левого колонтитула на листе):

	КРК-1 <sup>ун</sup>	КРК-1 <sup>ст</sup>
п/л I <sup>ex</sup> (с. 146, 148, 158, 160)	ГЛАВА СЕДЬМАЯ (КРК-МАЭ)	ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
п/л I <sup>in</sup> (с. 150–156, четные)	ГЛАВА ОСЬМАЯ. (КРК-Сар)	ГЛАВА ОСЬМАЯ
л. К (с. 161–176, четные)	ГЛАВА ОСЬМАЯ (КРК-БАН, КРК-МАЭ)	ГЛАВА ОСЬМАЯ.

Совпадение вариативности текста с распределением бумаги (закономерное с точки зрения удаленности/близости от текста КРК-Корр), а также особенности типографского оформления листов заставляют признать, что вариативность издания КРК-1 неслучайна и вызвана отдельными эпизодами прохождения книги через типографию. Реконструировать эти эпизоды позволяет как текстологическая работа с сохранившимися источниками текста КРК, так и обращение к документам академических Канцелярии и типографии.

#### 4. Прохождение КРК через типографию: анализ типографских отчетов

Основой для реконструкции истории первого издания КРК служат отчеты, поданные типографией в Канцелярию Академии наук по завершении работ, сохранившиеся в нескольких редакциях и списках (СПФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. № 118, л. 368–369, 370; № 1142, л. 331, 332)<sup>31</sup>. В начале

<sup>31</sup> Эти документы (по книге № 118) были известны П. С. Билярскому и редакторам ПСС [Билярский 1865: 106–107; Ломоносов 1952а: 806].

июня 1748 г. (не позже 7-го числа) были подготовлены рапорты, позволявшие отдельно оценить стоимость работ по набору и печатанию книги (от корректора А. Барсова), а также потраченной на издание бумаги (от наборщика И. Ильина). В сокращенном виде содержание этих отчетов может быть изложено так.

“Краткое руководство к красноречию” — книга, содержащая 20½ печатных листов (20 листов занимает собственно книга, включая титульный лист, и пол-листа — посвящение) — печаталась вследствие указа, данного академической Канцелярией 19 января 1747 г. Она была напечатана тиражом 606 экземпляров (600 экземпляров на обычной “комментарной” бумаге и шесть экземпляров на более дорогой и высококачественной “александрийской”). Во время пожара 5 декабря 1747 г. частично пострадала “первая половина” книги. Утраченные листы были вновь набраны и допечатаны в соответствии с установленным объемом утрат (отчет сообщает о допечатке 204 экземпляров листа одиннадцатого [“за како”], 124 экземпляров листа первого [“за аз”], 50 экземпляров листа второго [“за буки”], а также 112 экземпляров<sup>32</sup> половины десятого листа [“поллиста за I”]). Помимо этого, было “перепечатано поллиста для того, что от сочинителя оное поллиста было переправлено”, причем работу по “перепечатке” типография отказалась включить в расчет, поскольку “она вновь не набирается, а была прежде набрана в целом листе, и перепечатка была небольшая”; тираж этого перепечатанного полулиста составил 606 экземпляров. В результате, когда отпечатанные листы были наконец собраны в книги, оказалось, что 38 экземпляров на “комментарной” бумаге и один на “александрийской” некомплекты, поскольку назначенные в них печатные листы, “которые и на лицо, токмо многие затоптаны и передраны, и в книгу не годны”. В общей сложности на издание обычной (на “комментарной” бумаге) части тиража было израсходовано 13 342 листа бумаги, в том числе 1 042 — “на корректуры и приправки и перепечатку”<sup>33</sup> (СПФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. № 1142. л. 407).

Таким образом, типографские отчеты подтверждают данные изучения сохранившихся экземпляров КРК-1 и недвусмысленно указывают на

<sup>32</sup> Типографская калькуляция включает следующий пункт: “четвертого за поллиста за I пятьдесят шесть копеек”. Оттиск одного листа с готовой печатной формы стоил в Академии наук в 1748 г. 1 копейку, однако, поскольку часть тиража КРК (в т. ч. посвящение) печаталась на полулистах, за расчетную единицу в отчете принят полулист: “за каждое поллиста по деньге” (= ½ коп.). Следовательно, 56 копеек учтено за оттиск 112 экземпляров полулиста I.

<sup>33</sup> В отчете указаны “корректуры, приправки и перепечатки”, но не учтена “допечатка” (употребление слова в отчете терминологично) утраченной в пожаре части тиража. Только с прибавлением 490 допечатанных листов (итого 13 832 л.) бумажные расходы типографии согласуются с практикой, при которой на корректуры каждого листа уходило шесть или семь листов, а на “макулатуру и на приправку” — один лист на каждые двадцать оттисков (СПФ АРАН. Ф. 3. Оп. 4. № 131. л. 39 об. — 40).

существование различных, набранных в разное время вариантов 3½ листов первого издания, а также на то, что в состав финального тиража входил отпечатанный полным тиражом полулист, назначенный к замене текста, ранее отпечатанного также полным тиражом в начальной редакции.

Между тем остается не вполне ясным, как сохранившиеся источники соотносятся со сведениями типографских отчетов о допечатках и перепечатках; в частности, какие из редакций текста листа I (и его полулистов) представляют собой окончательный текст издания 1748 г. Особое значение имеет сообщение об одном из полулистов (его сигнатура в отчете не указана): “от сочинителя оное поллиста было переправлено”. Это свидетельство ставит вопрос о степени участия Ломоносова в появлении различных печатных вариантов КРК-1 и о принципах его работы с типографией.

#### 5. Работа Ломоносова над текстом КРК: подготовка отдельных глав и разделов по мере печатания книги

Как уже говорилось, указ об издании риторики Ломоносова был выпущен академической Канцелярией 19 января 1747 г. И полный текст указа [МАТЕРИАЛЫ 1895: 362–364], и его архивное оформление в составе дел Канцелярии говорят о том, что непосредственным поводом для него послужило обращение С. С. Волчкова к президенту Академии наук К. Г. Разумовскому с просьбой об издании пяти его переводов с соответствующим вознаграждением. Результатом рассмотрения этой просьбы стало решение об издании рассчитанных на “широкого” читателя русских книг, которые, по сведениям Разумовского и Канцелярии, имелись к тому времени в “издательском портфеле” Академии наук:

Понеже в Типографии работы ныне у некоторых наборщиков нет, а дабы они праздны не были и втуне жалованья не получали, то в Канцелярии Академии наук определено: следующие книги печатать: 1) изданной профессором Ломоносовым риторики шестьсот книг; переводу секретаря Волчкова: 2) совершенное воспитание детей; 3) эзоповы фабулы с нравоучениями; 4) курасову историю; переводу переводчика Лебедева: 5) история Корнелия Непота, каждой по заводу; 6) Теоретической и экспериментальной физики шестьсот книг в октаву на комментарной бумаге, да на александрийской меньшей руки всех помянутых книг по шести экземпляров; 7) перевода профессора Тредиаковского роленовой древней истории первые три тома в кварту по шести сот книг на календарной и по шести книг на александрийской бумаге меньшей руки; в типографии корректору Барсову оные книги раздать в набор наборщикам и смотреть за ними, чтоб всемерно положенное число каждый из них набрал и сколько которой книги листов в нынешнем генваре месяце и кем ими набрано будет, подать в Канцелярию репорт и впредь помесечно о том репортовать, дабы Канцелярия могла видеть, кто из наборщиков в деле своем рачительны. . .

Поскольку далее в тексте указа специально поднимется вопрос о том, насколько продвинулся В. К. Тредиаковский в переводе "Древней истории" Ш. Роллена (Канцелярия явно не знала о ходе работ), а ломоносовская Риторика характеризуется в нем как "изданная", можно не сомневаться в том, что, по мнению К. Г. Разумовского и Канцелярии Академии наук, к началу 1747 г. текст Риторик был Ломоносовым полностью подготовлен<sup>34</sup>. Между тем знакомство с текстом КРК — как по печатным редакциям, так и по черновой (наборной) рукописи — убеждает в обратном.

Последние параграфы книги включают примеры, взятые Ломоносовым из его оды на восшествие 1747 г.<sup>35</sup> (указ о ее подготовке был дан в августе 1747 г. [Ломоносов 1959: 936–937]), и более того, один — из оды на восшествие 1748 г.<sup>36</sup> Можно было бы предположить, что эти фрагменты были заготовлены Ломоносовым заранее, к концу 1746 г., однако несколько предложенных автором КРК отсылок на собственный текст указывают на то, что работа над значительной частью черновой рукописи велась Ломоносовым не раньше осени 1747 г.

Так, начиная с редакции КРК-Рук в §275 читается следующая отсылка на пример соединительного силлогизма: "пример одного для изъяснения прочесть можно (§82, стр. 78)". Действительно, на странице 78 в КРК-Корр и КРК-1 помещен соответствующий пример из Лактанция, начинающийся со слов "Ежели правда, что звезды не Боги. . .". Отсылка в рукописи к печатной странице не могла появиться раньше, чем эта страница была набрана в типографии. Таким образом, сохранившаяся в КРК-Корр авторская отметка об отправке в печать листа Д, содержащего страницы 65–80: "марта 19 дня. Печатать. [Ломоносов]", — позволяет отнести работу в КРК-Рук над параграфами 275–326 к периоду после 19 марта 1747 г.

Эти данные могут быть уточнены. В §120 во всех источниках текста, начиная с КРК-Рук, приводится следующая отсылка к теории смеха:

[Смех] происходит от представления таких вещей, которые в себе *прекословие* заключают, то есть которые в натуре быть не могут или нравам и обыкновениям человеческим весьма противны и общему понятию странны кажутся, как:

*О волк, овец изрядный пастырь!*

О чем смотреть должно в третьей главе вторых части сея книги, также и в следующей главе сея части.

<sup>34</sup> Можно предполагать, что основанием для включения Риторик в перечень назначенных к изданию книг послужило не только известное обсуждение в 1744 г. в академической конференции ее ранней редакции — "Краткого руководства к риторике" [Ломоносов 1952А: 791–792], но и прямое указание Ломоносова в прошении о присуждении профессорской должности в апреле 1745 года на подготовленный текст: "В бытность мою при Академии Наук трудился я [. . .] и сочинил на российском же языке [. . .] «Риторику»" [Ломоносов 1952Б: 338].

<sup>35</sup> Строфы 20, 11, 13 оды — см. §§312, 321, 324.

<sup>36</sup> Строфа 17 — см. §320.



120-й параграф, напечатанный в КРК-Корр и КРК-1 на страницах 122–125 (процитированный фрагмент — на с. 123; печатный лист 3), входит в состав главы 6-й “О возбуждении, утолении и изображении страстей” части первой КРК. Если исходить из известного текста КРК, приведенная отсылка должна указывать на главу 3-ю “О тропах речений” второй части КРК, а также на главу 7-ю “О изобретении витиеватых речей” части первой. Вторая из этих отсылок — к известному изложению Ломоносовым иезуитской теории остроумия [LEWIN 1972: 309–324; Софронова 1986; Сазонова 2013: 31–33; Костин, Николаев 2013] — вполне ожидаема и точна. Однако первая, скорее всего, ошибочна. Во второй части КРК в главе 3-й “О тропах речений” говорится о шести тропах — метафоре, синекдохе, метонимии, антономазии, катахрезисе и металепсисе, ни один из которых не основан на “прекословии”<sup>37</sup>. Наиболее вероятным соответствием для вышеприведенного фрагмента из §120 в составе второй части КРК является четвертая глава “О тропах предложений”. Здесь в §§199–201 толкуется о тропах, представляющих собой различные “виды насмешества” — иронии и ее разновидностях: сарказме, хариентизме и астеизме. Кажется верным предположить, что, ссылаясь в §120 на учение о тропах, Ломоносов имел в виду параграфы, связанные с теорией иронии. В этом убеждает и то, что пример вызывающего смех “прекословия”, приведенный Ломоносовым в §120 перед отсылкой к двум последующим главам (*О волк, овец преславный пастырь* = *O, praeclarum ovium custodem lupum*, Cic. Phil. III: 27), использовался в риторических пособиях именно как иллюстрация иронии<sup>38</sup>. В соответствии с этой традицией та же фраза как пример иронии была использована Ломоносовым в ранней (созданной в 1743 г.) редакции Риторики<sup>39</sup>, где параграф об иронии завершает первую главу “О словах риторических” (глава эта включала материал, который в КРК разнесен по двум главам:

<sup>37</sup> С теорией остроумия или смеха в главе о тропах речений может быть связан лишь небольшой фрагмент §183, толкующего об особенностях употребления метафор: по Ломоносову, “к вещам высоким и важным непристойно переносить речений от вещей низких и подлых [. . .] к низким и подлым вещам от высоких и важных переносить речения также непристойно, кроме шуток; например: блистающая солома, громогласный комар”.

<sup>38</sup> Ср., например, в “Rhetorica et dialectica” A. Becco (Vessodi via rhetorica); “De rhetorica facultate” С. Фантаччини (Lib. 3), “Palaestra oratoria” Я. Мазена (Lib. 1, Cap. 27, §2); “De arte rhetorica” Д. де Колонья (Lib. 1, Cap. 4, §7) и др. (пособия установлены с помощью поиска по ресурсу “Google Books”). В 1716 г. выражение как пример иронии употребил в письме Стефан Яворский: “Аще бых не ведал, яко сицево именование от любления происходит, непщевал бых быти ironiam, similem illi, ubi lupus ovium pastor appellatur: o praeclarum ovium custodem lupum” [Терновский 1866: 548]. Об использовании Ломоносовым пособия Мазена см.: [Костин 2015: 17–20].

<sup>39</sup> “Ирония есть, когда предложенная идея значит противное. Н. п. О волк! овец изрядный пастырь” [Ломоносов 1952а: 55].

“О тропах речений” и “О тропах предложений”). Таким образом, в отсылке из §120 КРК к учению о тропах следует видеть след работы Ломоносова над созданием новой структуры второй части КРК “О украшении”, отталкивавшейся от текста его ранней Риторики, но значительно обновленной, причем изменения эти к моменту написания и печатания §120 все еще не приняли окончательного вида. Имеющиеся в нашем распоряжении материалы не позволяют надежно реконструировать структуру части “О украшении”, какой ее мыслил Ломоносов, делая в §120 отсылку к третьей главе, ставшей в итоге четвертой. Была ли им после этого написана первая глава “О украшении вообще”, или вторая “О течении слова”, или превращены из гипотетических двух (“О тропах” и “О фигурах”) в известные четыре — те главы (“О тропах речений”, “О тропах предложений”, “О фигурах речений” и “О фигурах предложений”), что восходят к материалам Риторики 1743 г., нам неизвестно<sup>40</sup>. Но мы можем с уверенностью говорить, что, подписывая 6 апреля 1747 г. к печати лист 3, содержащий в §120 ошибочную отсылку, автор Риторики все еще не только не имел готового к изданию текста второй части своей книги, но и не выработал окончательно ее структуру. А ведь к этому моменту прошло уже почти три месяца от указа об издании Риторики. Вместе с тем, последний из печатных листов КРК, отпечатанных до летнего перерыва (подписанный 6 мая лист К), завершается первым параграфом главы “О тропах речений” (§181). Это значит, что окончательная структура части второй “Об украшении”, предполагающая разделение теории тропов и фигур по дихотомии речений/предложений, была выработана Ломоносовым в течение апреля 1747 г., причем в то же время им были подготовлены для печати помещенные на листах И, I и К заключительные главы раздела “О изобретении”: “О изобретении витиеватых речей” и “О вымыслах”.

## 6. Хронология работы над КРК-1: основные данные

Сделанные наблюдения о том, что авторская работа над КРК велась параллельно с процессом печатания книги, как кажется, не только

<sup>40</sup> Более вероятно последнее предположение. Начальный слой текста §169 в КРК-Рук предполагал изложение теории фигур предложений и речений в единстве: “Таковые движения называются фигурами речений и предложений; фигуры речений состоят в обращении речений, предложений в обращении предложений”. В результате правки, однако, они были рассмотрены в этом параграфе отдельно с самостоятельными примерами. После §188, завершавшего главу “О тропах речений”, в КРК-Рук был записан номер следующего параграфа (“§189”), затем вычеркнут и вместо него записано название главы “О фигурах речений [sic! — А. К., К. Л.]”, под ним — номер §189 со следующим текстом в инципите: “Тропы речений суть главные слова украшения”. Верное указание в заголовке главы и ее первом параграфе — “предложений”, а не “речений” — появилось лишь в результате правки.

объясняют, почему ломоносовская Риторика набиралась с черновой рукописи<sup>41</sup>, но и приводят к заключению, что текст отдавался автором в типографию разрозненными фрагментами. Это, в свою очередь, заставляет с особым вниманием отнестись к неоднократно публиковавшимся сведениям о том, когда Ломоносовым были подписаны к печати отдельные печатные листы [ПЕКАРСКИЙ 1873: 387 (для листов Е и I); ЛОМОНОСОВ 1895 (приведены постранично в разделе вариантов); КУНЦЕВИЧ 1918: 9; ЛОМОНОСОВ 1952А (приведены постранично в текстологическом комментарии)].

Датированные отметки о передаче корректуры в типографию имеются на следующих листах КРК-Корр:

Д: 19 марта [1747 г.]	I: 4 мая [1747 г.]
Е: 26 марта [1747 г.]	К: 6 мая [1747 г.]
Ж: 28 марта [1747 г.]	Л: 23 сентября [1747 г.]
З: 6 апреля [1747 г.]	Н: 12 февраля 1748 г.

Хронологическая привязка работы Ломоносова над последними, не датированными в КРК-Корр листами книги возможна благодаря следующим сведениям:

а) 29 марта 1748 г. Ломоносов просил Канцелярию о выплате ему досрочно жалования за март со следующей мотивировкой: “Для переплету сочиненной мною Риторики, в каком должен я поднести Его императорскому высочеству [. . .] потребны мне необходимо деньги” [Биллярский 1865: 99; ПЕКАРСКИЙ 1873: 390] (ср.: СПФ АРАН. Ф. 3; Оп. 1, № 115, л. 446).

б) Переплетенный экземпляр для поднесения великому князю был получен Ломоносовым ранее 7 июня 1748 г.; при этом первый документ, упоминающий о Риторике как о завершенной книге, датирован 6 июня; 8 июня Ломоносов дал расписку о получении из типографии 25 экземпляров, включая выданные ранее 14 на “ординарной” и два на подносной “александрійской” (СПФ АРАН. Ф. 3, Оп. 1, № , л. 370–372; № 1142, л. 257, 258).

в) Как было отмечено выше, в книге выделяются листы с различным оформлением левого колонтитула: в первой части книги (до листа Л)

<sup>41</sup> О том, что сохранившаяся черновая рукопись была в то же время наборной, говорят прежде всего типографские отметки (внесенные не почерком Ломоносова) о границах печатных листов, причем эти границы указывают на верстку листов в первой корректуре: в результате работы с набранным текстом он существенно перерабатывался, и границы листов в КРК-Корр и КРК-1 изменялись. Практика работы с черновыми рукописями была для академической типографии в конце 1740-х гг. обычной: так набирался, в частности, первый том “Новых комментариев. . .” (СПФ АРАН. Ф. 20, Оп. 3, № 58).

они набраны с точкой после номера главы; во второй половине — без точки. Изменение правил оформления колонтитула произошло не раньше 12 февраля 1748 г., когда Ломоносов подписал в печать листы М и Н: в КРК-Корр, где поставлена эта дата, их левые колонтитулы набраны по "старой" манере (с точкой), а в КРК-1 уже использовано новое оформление. Это означает, что допечатка по меньшей мере листов К и І и печать листов М–У (использующих оформление без точки; а также, по-видимому, допечатка листов А и Б) производилась после 12 февраля 1748 г.

При использовании указанных хронологических привязок необходимо учитывать, что, скорее всего, текст сдавался Ломоносовым в типографию относительно крупными блоками, позволявшими набрать несколько печатных листов; соответственно, по меньшей мере некоторые из недатированных листов читались Ломоносовым в корректуре одновременно со следующими за ними датированными листами. Уверенно можно говорить о том, что лист Н правился непосредственно после листа М и был передан в типографию вместе с ним<sup>42</sup>.

Важно отметить, что в работе Ломоносова и типографии над КРК было два больших перерыва. Первый из них связан с листом Л, подписанным в печать спустя почти пять месяцев после листа К (перерыв с 6 мая по 23 сентября 1747 г.); второй — с листами М и Н, также переданными в типографию почти пять месяцев спустя после листа Л (перерыв с 23 сентября 1747 по 12 февраля 1748 г.; от завершения работы над листом К до подписания в печать листа М прошло более девяти месяцев). Наконец, остается непонятным, в какое время и какие листы завершали работу над изданием КРК и в каком отношении находится печать заключительных листов с допечаткой листов, пострадавших в пожаре.

## 7. Дефицит бумаги летом 1747 г. и его последствия

Обращение к делопроизводству Академии наук за 1747/48 гг. позволяет объяснить первый из отмеченных перерывов: он был связан прежде всего с отсутствием необходимой для издания бумаги. На протяжении 1740-х гг. объем продукции типографии Академии наук был относительно незначительным. В 1743 г. на все издания академической типографии было использовано около 200 стоп бумаги, в 1744–1746 (и 1748) гг. этот показатель колебался в пределах 330–460 стоп (для сравнения: в это время московская синодальная типография расходовала в год более

<sup>42</sup> В КРК-Корр §225, начинающий здесь лист Н, был Ломоносовым существенно сокращен (исключен второй, стихотворный пример) с целью включения нового параграфа (§225 по КРК-1, нач.: "Присовокупление есть, когда. ."); соответственно, старый параграф получил новый номер — 226. Знак вставки текста нового параграфа на прилагаемом листке ("~~~") внесен в КРК-Корр на последней странице листа М. Ср. также прим. 54.



5000 стоп)<sup>43</sup>. На этом фоне отчетливо выделяется выпуск книг 1747 г., потребовавший использовать около 900 стоп бумаги, т. е. вдвое-втрое больше, чем в предшествовавшие годы. Во многом этот увеличенный расход был вызван процитированным выше указом об издании семи книг от 19 января 1747 г. По большей части они печатались на самой ходовой для издания книг бумаге, называвшейся в типографской документации “заморской комментарной” или просто “комментарной”. К 1 января 1747 г. запасы этой бумаги, судя по ведомости И. Ильина, составляли лишь 123 стопы<sup>44</sup>. Печать только выпущенных к концу 1747 г. трех переводов С. С. Волчкова потребовала более 160 стоп; между тем в типографии на той же бумаге печатались другие книги, начатые до, после и в связи с указом 19 января. В результате к середине или концу июня 1747 г. запасы “заморской комментарной” бумаги на складе типографии были исчерпаны (ср.: СПФ АРАН. Ф. 3, Оп. 1, № 1142, л. 24, 26 и др.).

Покупка относительно крупной — в несколько сотен стоп — партии голландской бумаги в Петербурге была если не невозможной, то по меньшей мере экономически невыгодной. Для Академии наук бумага традиционно закупалась в Голландии представителями российского посольства, причем покупка эта требовала переписки, предполагавшей по меньшей мере две отправки писем из Петербурга (одного — с сообщением необходимых параметров и количества бумаги; другого — с согласием на согласованную цену и векселем). В целях экономии подобная переписка начиналась с открытием навигации, и с учетом необходимости таможенного оформления новая партия могла попасть на склады Академии наук не ранее сентября. Этот порядок, известный по другим хорошо документированным случаям закупки Академией наук крупных партий бумаги [Костин 2017а: 57–58], имел место и в 1747 г.: первая партия “заморской комментарной” бумаги в 490 стоп была принята И. Ильиным на баланс 24 сентября; дополнение к ней в 316 стоп, прибывшее от того же купца Пастора — 2 ноября<sup>45</sup>.

Летний перерыв в работе над рядом изданий из-за недостатка бумаги подтверждается не только документами, но и распределением бумаги в книгах академической типографии, выпущенных в 1747 и 1748 гг.

<sup>43</sup> Расчеты проведены по [СК XVIII], электронной базе данных русской книги гражданской печати XVIII века на сайте РНБ ([www.nlr.ru/rlin/ruslbr\\_v2.php?database=RLINXVIII](http://www.nlr.ru/rlin/ruslbr_v2.php?database=RLINXVIII)) и по каталогам [СКИН XVIII; Гусева 2010].

<sup>44</sup> В реальности запасы бумаги были еще меньше, поскольку цифра в ведомости была лишь бухгалтерской условностью. Она не учитывала листы, истраченные на печатание книг, начатое в предшествующие годы, но еще не оконченное: бумага записывалась в расход лишь после полного завершения работы над книгой.

<sup>45</sup> Переписку по закупке партии бумаги см. в деле СПФ АРАН. Ф. 3, Оп. 1, № 1142 (ср. также: СПФ АРАН. Ф. 3, Оп. 4, № 131, л. 31, 32).

Если сопоставить составленный И. Ильиным список книг за эти годы, напечатанных на "заморской комментарной" бумаге (СПФ АРАН. Ф. 3, Оп. 1, № 1142, л. 168–176)<sup>46</sup>, с их известными экземплярами, то окажется, что последней по началу производства книгой, целиком отпечатанной на бумаге с белой датой "1742" типа А (см. выше), стала "Theoretisch-practische Abhandlung des Scharbockes" А. Нича, указ о публикации которой был дан 16 июня 1747 г.<sup>47</sup> Все книги, записанные в ведомости Ильина ранее этой брошюры, напечатаны целиком или в последних листах на бумаге типа А. Наоборот, все книги, записанные в ведомости позже, либо целиком напечатаны на бумаге типов Б и В (если указ об их издании вышел после июня 1747 г.), либо, как в случае с ломоносовской Риторикой, включают на первых листах бумагу типа А, а на последних — вперемешку бумагу типов Б и В<sup>48</sup>.

Таким образом, распределение бумаги в известных экземплярах КРК-1 не случайно: начало книги (листы с А по К) было отпечатано до мая 1747 г. — когда в типографии Академии наук еще не закончились запасы "заморской комментарной" бумаги; оставшиеся листы (включая посвящение и титульный лист, а также допечатку уничтоженных пожаром 5 декабря 1747 г. листов) печатались начиная с сентября 1747 г. — уже после того, как в Петербург прибыла партия бумаги, содержащая листы с одной фабрики (I. Pigoizard), но произведенные в разные годы (1744 и 1746).

Это обстоятельство объясняет, почему между подписанием в корректуру листов К (6 мая) и Л (23 сентября) прошло столь долгое время: по меньшей мере с середины июня новый лист не мог быть отдан в работу, поскольку в типографии закончилась необходимая бумага. Судя по всему, Ломоносов воспользовался предоставленной паузой для более глубокой переработки своего труда<sup>49</sup>, и появление бумаги на складе застало его в процессе этой работы. Как следствие, в сентябре 1747 г. он смог представить в типографию лишь небольшой фрагмент — помещающуюся

<sup>46</sup> Книги записывались в ведомость в порядке подачи отчета об издании, после завершения всех типографских работ. Запись включает дату подачи отчета, дату указа об издании, краткое заглавие книги и счет израсходованной бумаги в стопах, десятах и листах.

<sup>47</sup> Отчет об издании книги подан 29 сентября 1747 г.

<sup>48</sup> Возникший летом 1747 г. дефицит наиболее ходовой книжной бумаги голландского (французского) производства на складе Академии наук привел к тому, что в 1748 г. Академия увеличила закупку русской бумаги; начиная с 1749 г. книги, выпущенные на русской бумаге, доминируют в изданиях Академии наук над книгами на "заморской" бумаге.

<sup>49</sup> Показательно, что текст сданной в типографию к началу мая 1747 г. главы "О тропах речений" не обнаруживает зависимости от "Commentariorum rhetoricorum" Г. Воссия — основного пособия, использованного Ломоносовым при написании следующих трех глав, печатавшихся начиная с сентября 1747 г. [Костин 2015].

на листе Л главу “О тропах предложений”, а также первые параграфы (до §204) главы “О фигурах речений”; следующий фрагмент — заключительные главы части “О украшении” — были переданы в типографию лишь в начале февраля 1748 г.

8. “Допечатка”, “перепечатка”, “от сочинителя исправленное поллиста”

Все вышеизложенное позволяет связать воедино данные о распределении филиграней, особенности типографского оформления листов и сведения отчетов. Очевидно, что лист К в экземплярах КРК-МАЭ и КРК-БАН и полулист I<sup>ex</sup> в КРК-МАЭ относятся к числу “допечатанных” после пожара, поскольку 1) во время изготовления основного тиража этих листов в мае 1747 г. в типографии еще не было бумаги, на которой они отпечатаны (бумага типа Б и В); 2) оформление их колонтитулов (без точки на левой странице) указывает на набор после 12 февраля 1748 г.; 3) на них представлена корректорская правка — внесение исправлений и несущественных изменений без значительной переработки текста. Относительно сведений отчета о “допечатке [. . .] поллиста за I” тиражом 112 экземпляров кодикологические признаки (колонтитулы, тип бумаги и характер правки) позволяют определить, что речь может идти только о внешнем полулисте I<sup>ex</sup>, один экземпляр которого сохранился в КРК-МАЭ.

Что касается внутренних полулистов I<sup>in</sup> в сохранившихся экземплярах КРК, то и у них различие филиграней и оформления колонтитулов указывает на разное время изготовления — соответственно май 1747 г. (I<sup>in</sup> в экземпляре КРК-Сар) и период после 12 февраля 1748 г. (КРК-1<sup>ст</sup>). Изменения текста на этом полулисте столь значительны, что только он может быть соотнесен с тем полулистом, для которого, по сведениям отчета, было выполнено “перепечатание [. . .] в 606 книг [т. е. полный тираж. — А. К., К. Л.]” — в качестве новой редакции, отменявшей напечатанный годом ранее текст.

Различение полулистов I<sup>ex</sup> в экземпляре КРК-МАЭ и I<sup>in</sup> в КРК-1<sup>ст</sup> как “допечатанного” и “перепечатанного” (типографский отчет терминологичен в употреблении этих слов: последнее относится к оттиску полного тиража, а первое — восполнению пожарных утрат) позволяет объяснить отмеченную выше аномалию в распределении элементов филигранны и контрамарки листа I в экземпляре КРК-МАЭ, свидетельствующую о том, что каждый из его полулистов набирался отдельно для фальцовки in-4° — в отличие от набора для фальцовки in-8° для всех остальных полных листов. Поскольку из отчета нам известно, что “перепечатанный” полулист (I<sup>in</sup>) набирался в “целом листе”, отмеченную аномалию следует объяснить

тем, что уже при наборе предполагалось отпечатать полулисты I<sup>ex</sup> и I<sup>in</sup> различным тиражом (соответственно 112 и 606 экземпляров) и фальцевать отдельно. Поскольку издание книги предполагало также включение в нее посвящения, процесс печатания полулистов распадался на три этапа: на первом с одного печатного листа сделано 112 оттисков двух полулистов — I<sup>ex</sup> и I<sup>in</sup> (за счет чего восстанавливалась “пожарная” утрата 112 экз. I<sup>ex</sup>). После этого набор I<sup>in</sup> сохранялся, так как с него необходимо было сделать еще 494 оттиска, а I<sup>ex</sup> был рассыпан, чтобы на его место набрать текст посвящения. При чтении корректуры этого листа (включавшего текст посвящения и I<sup>in</sup>) у Ломоносова возникла необходимость внести небольшую правку в текст I<sup>in</sup>, учтенную в отчете (“от сочинителя оное поллиста было переправлено”); в итоге было сделано 606 оттисков этого “перепечатанного” полулиста вместе с полулистом посвящения<sup>50</sup>.

Совместное изготовление полулиста посвящения и полулиста I<sup>in</sup> является важным датирующим признаком, так как работа с посвящением относится к завершающей стадии работы над книгой в целом, следовательно, тогда же происходила и работа с полулистом I<sup>in</sup>. А в таком случае и “небольшая перепечатка”, согласно отчету, предпринятая автором в данном полулисте, относится, скорее всего, к этой заключительной стадии работы. Это хорошо согласуется с тем, что финальная редакция полулиста I<sup>in</sup> обнаруживает очевидную связь с правкой предпоследней главы КРК (“О расположении описаний”).

#### 9. Заключительный этап работы Ломоносова над текстом КРК в 1748 г.: правка глав “О расположении описаний” и “О вымыслах”

О том, что написание текста и чтение корректур трех последних листов КРК (л. С, Т, У), содержащих главу “О расположении описаний”, и итоговый перенбор полулиста I<sup>in</sup> с первыми параграфами главы “О вымыслах” шли параллельно, говорят перекрестные отсылки в текстах соответствующих абзацев и связанность правки, обнаруживаемые для каждого из трех последних листов книги и полулиста I<sup>in</sup>.

##### а) Листы I<sup>in</sup> и С

1. §287 (ч. 3, гл. 5 “О расположении описаний”; л. С) во всех редакциях, кроме КРК-Рук, содержит отсылку на 138 параграфов назад:

<sup>50</sup> В большинстве сохранившихся экземпляров (за исключением экземпляров РНБ и КРК-Сар) филигранные листы посвящения и I<sup>in</sup> находятся в отношениях дополнительного распределения: если в посвящении просматривается филигрань, то в I<sup>in</sup> — контрамарка, и наоборот. Это говорит о том, что посвящение и I<sup>in</sup> набирались, скорее всего, в одном листе, а затем перед брошюровкой разрезались и вкладывались каждый в свое место.



§287: Вымышленное описание изображает вещь, которой нет и не бывало, и тем оно от вымысла не разнится. Таковые описания весьма часто находятся у Стихотворцев, о чем смотри §149.

Упоминаемый здесь §149 входит в число радикально переработанных параграфов полулиста I<sup>in</sup>. Поскольку в КРК-Корр и КРК-Сар по месту отсылки читается текст, специально не связанный с “вымышленными описаниями” (§149 здесь посвящен сравнению вымыслов с военными хитростями), отсылка из §287 может указывать только на текст в поздней редакции, где помещен фрагмент, непосредственно посвященный описаниям и повествованиям:

КРК-1<sup>ст</sup> (§149): Чистые и смешанные вымыслы суть или описания, как у Овидия описан солнцев дом в его превращениях и у Virgilия в Енеиде поля Елизейские; или повествования, каковы суть в Овидиевых превращениях: повествования о сражении Центавров, о перемене нимфы Дафны в лавровое дерево, Атланта в гору, и прочая.

Этот текст не только соответствует отсылке из §287: он основан на начальной редакции этого параграфа, читающейся в КРК-Рук<sup>51</sup>.

б) Листы I<sup>in</sup> и T

2. §295 из КРК-Рук отсутствует в КРК-Корр и следующих печатных редакциях, т. е. был исключен из текста в одной из ранних корректур:

КРК-Рук (§295): Повествования равным образом, как описания, разделяются на правдивые и вымышленные; из первых состоят все правдивые Истории, из последних все Романы, как Барклаева Аргенида, Телемак и большая часть Исторических поэм.

Исключение этого параграфа объясняется тем, что, с одной стороны, в I<sup>in</sup> сохранялся сходный по содержанию и перечню образцов текст начального §151 (перенесенный в §148)<sup>52</sup>; с другой — что тот же набор жанров и образцов рассматривался в §305, вычеркнутом из КРК-Рук и ставшем основой для §151 в переработанном I<sup>in</sup><sup>53</sup>.

<sup>51</sup> КРК-Рук, §287: “. . . Вымышленное описание изображает вещь, которой нет и не бывало, и тем оно от вымысла разнится. Таковые описания весьма часто находятся у стихотворцев, как у Овидия во второй книге превращений описание солнцева дому, у Virgilия в Енеиде в шестой книге описание полей Елизейских”.

<sup>52</sup> Ср. в КРК-Корр и КРК-Сар, §151: “Смешанные вымыслы состоят отчасти из правдивых, отчасти из вымышленных действий [. . .] Таковы суть: Гомерова Илиада и Одиссея, Virgilиева Енеида [. . .] и [. . .] странствование Телемакова, Фенелоном сочиненное”, и КРК-1<sup>ст</sup>, §148: “Смешанные вымыслы состоят из правдивых вещей или действий, однако таким образом, что чрез разные выдуманные прибавления и отмены с оными много разнятся. Таковы суть: Гомерова Илиада и Одиссея, Virgilиева Енеида и похождение Телемакова”.

<sup>53</sup> Ср. КРК-Рук, §305 [вычеркнут]: “Повесть есть пространное вымышленное или смешанное повествование [. . .] Сюда надлежит Телемак, Барклаева Аргенида и проч.”

3. Переработанный текст §151 содержит отсылку на материалы печатного листа Т: "басни в прозе писал Филострат о Купидонах, а в стихах Анакреон; примеры смотри §299. и 300.". Следовало бы ожидать, что отсылка к двум параграфам с "баснями" указывает, соответственно, на прозаические и стихотворные примеры. Это, однако, не так: и в 299-м, и в 300-м параграфах (напечатанных в л. Т) читаются прозаические фрагменты о купидонах из Филострата, а "басня" из Анакреона ("Ночною темнотою..."), известная по КРК-Рук (§310) и печатным редакциям (§309), но входящая в печ. л. У, остается в §151 из перепечатанного полулиста I<sup>in</sup> без отсылки.

4. Заключительные страницы листа С в КРК-Корр и КРК-1 имеют номера 182–188 вместо верных 282–288; судя по отметкам наборщиков, эта ошибка распространялась в несохранившейся первой корректуре на лист Т (ср. на полях КРК-Рук отметки о границе набранных в первой корректуре листов: "Лист Т стр. 189"; "Лист У стр. 205" вместо верных "289 [...] 305"). Это нарушение пагинации можно объяснить предшествующей работой наборщиков с перенабором страниц 149–156 для полулиста I<sup>in</sup>, причем последующая корректировка пагинации затронула затем и этот полулист, поскольку в нем на развороте со страницами 152–153 читаются ошибочные номера 252–253.

в) Листы I<sup>in</sup>, Т и У

5. Как отмечено выше, переработанный §151 из I<sup>in</sup> отсылает к известным номерам параграфов листа Т с примерами прозаических басен о Купидинах, но оставляет без конкретной привязки отсылку к поэтической басне из Анакреона. Содержащий эту последнюю §309 из листа У, наоборот, в КРК-Рук оставляет открытой отсылку на два примера из Филострата: "Прозаичные примеры смотри в § [пропуск] и [пропуск]". В КРК-Корр на место пропусков были уже помещены верные номера — 299 и 300.

6. На последней странице КРК-Корр (л. У) в таблицу погрешностей, несмотря на ее многочисленные ошибки (см. прим. 7), внесено единственное исправление: вычеркнута (рукой Ломоносова) корректировка для строки 5 на с. 156 (п/л I<sup>in</sup>): "напечатано «чудовиц», читай «чудовищ»". Отказ от публикации сведений об этой погрешности вызван тем, что с появлением нового тиража полулиста I<sup>in</sup> (где опечатка на странице 156 уже была исправлена) они оказывались не нужны. С точки зрения истории текста важно, что последняя "погрешность", внесенная в список, относится к листу Р<sup>54</sup>; список не включает опечаток из листов С и Т, очевидно, все еще находившихся в типографской работе. Представленный в листе

<sup>54</sup> Нижнее поле последней страницы листа Р в КРК-Корр обрезано. Скорее всего, на этом поле Ломоносовым была поставлена датирующая помета, отмечающая этап связанной работы над корректурами листов О, П и Р.

У из КРК-Корр список погрешностей не учитывал, таким образом, всего заключительного этапа работы над книгой, включая переработку I<sup>in</sup>.

Соотношение этих данных с различными стадиями работы Ломоносова и типографии над тремя последними листами книги и полулистом I<sup>in</sup> может быть представлено в форме таблицы:

	Авторская работа над л. С	Авторская работа над л. Т	Переработка л. I <sup>in</sup>	Передача в типографию л. С	Передача в типографию л. I <sup>in</sup>	Первые корректуры л. С	Первые корректуры л. I <sup>in</sup>	Передача в типографию л. Т	Первые корректуры л. Т	Перепенабор I <sup>in</sup>	Авторская работа над л. У	Передача в типографию л. У	Первые корректуры л. У	Чтение л. У в КРК-Корр
Написание §287	•													
Написание §295	•	•												
Написание и отказ от §305 в КРК-Рук	•	•	•											
Перенос фрагмента из §287 в л. I <sup>in</sup>	•	•	•	•		•								
Нарушение пагинации в л. С, Т	•	•	•	•	•	•								
Исключение §295	•	•	•	•		•		•	•					
Нарушение пагинации в л. I <sup>in</sup>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Отсылка на примеры из Филострата без указания №№ параграфов	•	•	•	•				•			•			
Отсылка из л. I <sup>in</sup> на §§299 и 300	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•			
Исключение опечатки 'чудовищ/чудовищ' из списка погрешностей	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•

Имеющиеся данные не позволяют сделать заключения о том, что представляла собой правка в тексте I<sup>in</sup>, внесенная на последней стадии перенабора (после печати 112 экз. I<sup>ex</sup>). Уверенно можно говорить лишь о том, что после исключения §305 из КРК-Рук текст I<sup>in</sup>, передававшийся в типографию (в составе листа КРК-Корр с приложенным к нему рукописным листком) включал дихотомию цельных/частных вымыслов, предложенную в новом §151. Об этом говорит правка инципита §152 в КРК-Корр, опирающаяся на новую дихотомию (см. с. [320–321]).

Ключевым моментом в подготовке заключительных глав КРК стала работа Ломоносова в рукописи над §305, где рассматривались различные жанры вымышленного повествования<sup>55</sup>. Отказ от него запустил работу над новым изложением теории вымыслов в соответствующей главе и, соответственно, появление нового полного тиража листа I<sup>in</sup>.

Это означает, что пожар 5 декабря 1747 г., очень значимый для истории Академии наук, не был решающим фактором в неспешной работе Ломоносова над заключительными главами его книги. Их вдумчивая подготовка, потребовавшая привлечения новых пособий и уже мало опиравшаяся на начальную редакцию Риторики 1743 г., завершилась лишь весной 1748 г. напряженной работой над предпоследней главой "О расположении описаний", потребовавшей переписать и перепечатать полным тиражом отпечатанные еще в мае 1747 г. вводные теоретические параграфы главы "О вымыслах".

### Заключение

Рассмотренные данные по истории работы Ломоносова и академической типографии над изданием КРК в 1747–1748 гг. позволяют наконец предложить генеалогическую схему различных редакций этой книги, как объясняющую существование отдельных известных экземпляров, так и прогнозирующую возможный состав экземпляров гипотетических (см. Рис. 3).

Объем журнальной статьи не позволяет нам дать подробный анализ того, как Ломоносов перерабатывал теорию вымыслов для финальной редакции полулиста I<sup>in</sup> (см. подробнее: [Лемешев 2018]). Говоря тезисно, следует указать, что работа эта была связана с радикальным пересмотром взглядов на природу литературного вымысла и допустимость "цельного" вымышленного повествования (басни). Результатом переработки стала презентация различных типов "вымышленного" повествования в виде системы жанров, описывавшей те издания, которые типография Академии наук выпускала в 1747–1748 гг.: басня ("Эзоповы басни" в переводе С. С. Волчкова), политический роман (издание "Похождения Телемакова" в переводе А. Ф. Хрущева и начало работы В. К. Тредиаковского по новому переводу "Аргениды" Баркляя), трагедия ("Гамлет" и "Хорев" А. П. Сумарокова) и др. В результате переработки, пришедшейся на весну 1748 г., "Краткое руководство к красноречию" становилось не только утилитарным пособием по риторике, но и трактатом, обосновывающим существование новой русской литературы — литературы, включающей вымысел как важнейший элемент.

<sup>55</sup> См. текст этого вычеркнутого параграфа в текстологическом аппарате ПСС (361-е).



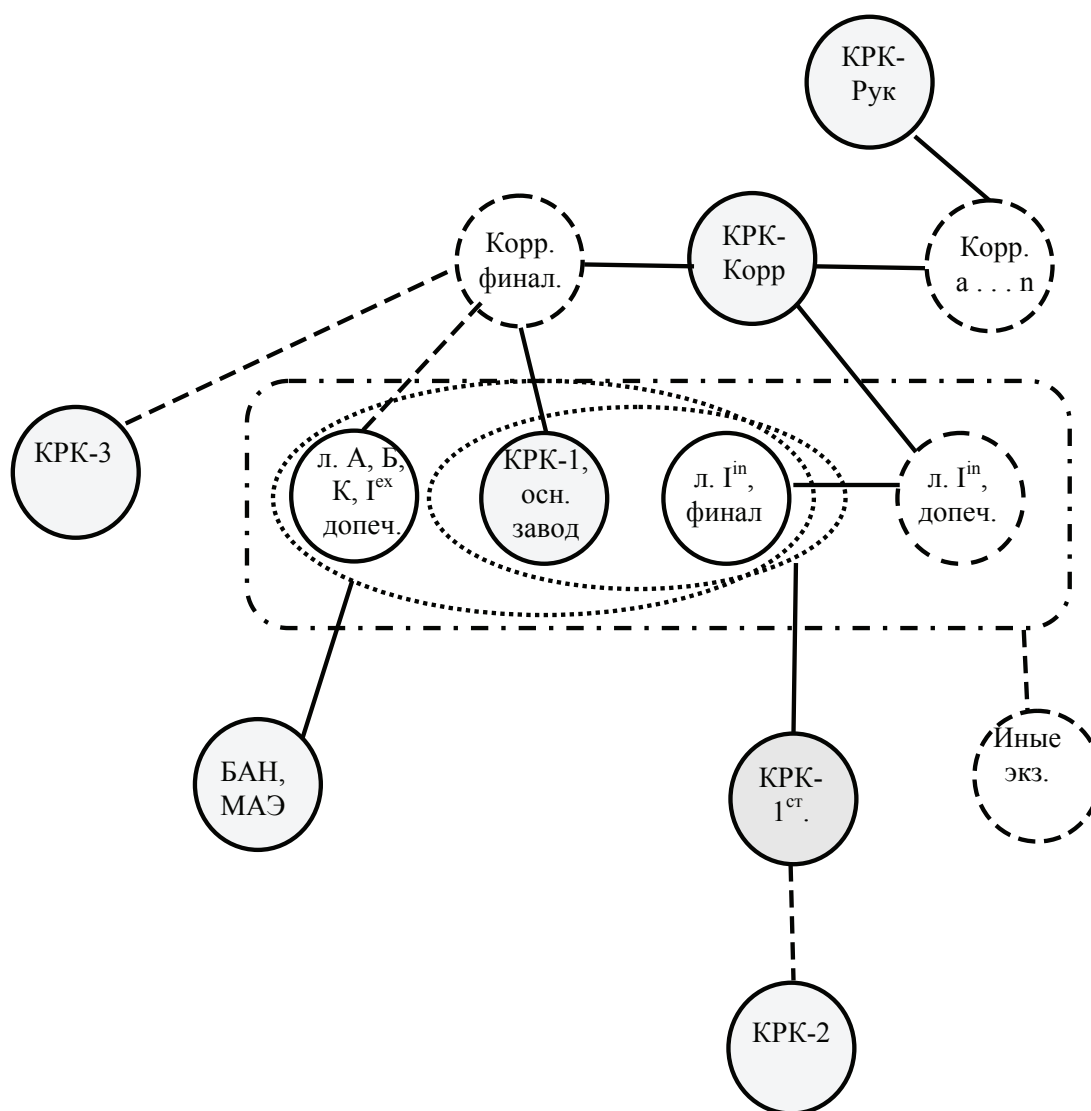


Рис. 3. Генеалогическая схема известных и гипотетических редакций КРК<sup>56</sup>

<sup>56</sup> Элементы схемы, помещенные в заливные серым цветом круги, означают сохранившиеся источники текста; в круги с пунктирной границей — гипотетические экземпляры и листы. Объединение элементов в область, окруженную «точечной» границей, указывает на известные экземпляры, сформированные из отпечатанных на разных этапах листов КРК; в область, окруженную границей из штрихов и точек, — те источники, из которых в 1748 г. могли быть собраны различные комплекты книги. Помимо употребляемых в статье, схема использует следующие сокращения: «**Корр. а...п**» — одна из ранних корректур, предшествующая КРК-Корр (и их совокупность); «**Корр. финал**» — последняя типографская корректура; «**КРК-1, осн. завод**» — набор тиража печатных листов, не включающий допечатки и перепечатки, соответствующий ему экземпляр — КРК-Сар; «**л. I<sup>in</sup> финал**» — тираж полулиста I<sup>in</sup>, отпечатанный в результате окончательной переработки весной 1748 г.; «**л. I<sup>in</sup> допеч**» — первая переработанная весной 1748 редакция I<sup>in</sup>; «**лл. А, Б, К, I<sup>ex</sup> допеч**» — листы, допечатанные для восполнения части тиража, утраченной в пожаре 5 декабря 1747 г. Сплошные соединяющие линии означают подтверждаемую текстом связь элементов; пунктирные — гипотетическую. Перенос допечатанных листов А, Б, К, I<sup>ex</sup> и К мог осуществляться как с последней корректуры, так и с тиражных листов. Текст КРК-2 мог набираться как с экземпляра КРК-1<sup>ст.</sup>, так и с экземпляра, включающего допечатанные листы А, Б, К и I<sup>ex</sup>; КРК-3 мог набираться как с экземпляра основного завода, так и с сохранившихся в типографии финальных корректурных листов (см. прим. 57).

Это наблюдение, как кажется, позволяет дать окончательный ответ на вопрос о статусе академического издания КРК 1765 г. Появление этой редакции, не учитывавшей правки, внесенной Ломоносовым весной 1748 г. в главу о вымыслах, не было, конечно, “академическим браком” (в характеристике А. А. Морозова). Поставленные в необходимость переиздать текст, давно раскупленный читателями (уже к декабрю 1748 г. экземпляров КРК в книжной лавке Академии наук не осталось [Тюличев 1988: 237]), сотрудники академической типографии были вынуждены набирать его с того экземпляра, который оказался у них на руках. Был ли это случайно собранный в 1748 г. экземпляр вроде того, что хранится сейчас в библиотеке Саратовского университета, или набор печатных листов из архива типографии<sup>57</sup> — вряд ли когда-либо удастся установить. Существенно, однако, что, выбрав невольно этот источник, типография Академии наук опубликовала в итоге текст, не только существенно искажающий авторскую волю, но и содержащий буквальную “порчу текста”: отсылка на §149 из §287 оказывалась в этой редакции лишённой смысла; связанное с этой отсылкой изложение теории вымышленных описаний вовсе пропало из текста.

Изменения, внесенные в академическое издание КРК 1765 г. относительно его оригинала (текста, читающегося в экземпляре КРК-Сар), хотя и охватывают всю книгу, но могут быть охарактеризованы либо как механическая порча текста, либо как корректорская правка, не требовавшая авторского вмешательства (хотя в ряде случаев ошибки оригинала далеко не очевидны). В этом отношении они качественно отличаются от тех более 400 исправлений, которые Ломоносов вносил в текст, по-видимому, вплоть до 1765 г. при подготовке второго (московского) издания своего труда. Затрагивающая лексику, грамматические формы, стихотворный ритм, синтаксические конструкции, иллюстративный

<sup>57</sup> Многочисленные данные, в том числе материалы настоящей статьи, показывают, что хранящиеся в настоящее время в СПФ АРАН корректурные листы КРК с авторской правкой Ломоносова не были последней корректурой. Принятое 3 июля 1746 г. положение об академической типографии предписывало “впредь от всякой последней корректуры по чистому листу вносить в Канцелярию, дабы Его сиятельство о всех в Академической типографии происходящих работах известен быть мог” (СПФ АРАН. Ф. 3, Оп. 1, № 102, л. 127). Всего в процессе подготовки книга проходила не менее 6–7 корректур (СПФ АРАН, Ф. 3, Оп. 4, № 131, л. 39 об.–40). Поскольку Ломоносов имел возможность перерабатывать текст I<sup>in</sup> по давней корректуре, можно предполагать, что одна из предварительных корректур могла передаваться автору, в то время как финальные хранились в типографии. В таком случае полный комплект финальных корректурных листов по изданию Риторике в типографии АН должен был содержать по два отпечатанных в разное время (до и после пожара) экземпляра листов А, Б, I<sup>ex</sup> и К; допожарный лист I с текстом, соответствующим саратовскому экземпляру; и лист, включающий посвящение и перепечатанный полулист I<sup>in</sup>. Решение печатать текст по полному листу I, не разбираясь в старых типографских обстоятельствах, представляется в этой ситуации вполне логичным.

материал, формулировки теоретических положений, эта правка носит авторский характер (что подтверждается указанием на титульном листе)<sup>57</sup>. Таким образом, вопрос о “последней авторской воле” в отношении истории текста КРК решается однозначно: она отражена лишь во втором (московском) издании, а с академического издания 1765 г. начинается печатная жизнь этого текста “после автора”, продлившаяся вплоть до конца XIX века: впервые после КРК-2 текст этого сочинения по авторизованной редакции был издан лишь в 1895 г. М. И. Сухомлиновым.

#### Сокращенные названия учреждений и архивов

БАН — Библиотека Российской академии наук (С.-Петербург)

ИРЛИ РАН — Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук (С.-Петербург)

МАЭ РАН — Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук (С.-Петербург)

РГБ — Российская государственная библиотека (Москва)

РНБ — Российская национальная библиотека (С.-Петербург)

СПФ АРАН — С.-Петербургский филиал архива Российской академии

ЦГАЛИ СПб. — Центральный государственный архив литературы и искусства С.-Петербурга

#### Библиография

##### БЕРКОВ 1963

БЕРКОВ П. Н., “Издания русских поэтов XVIII века. История и текстологические проблемы”, in: *Издание классической литературы. Из опыта “Библиотеки поэта”*, Москва, 1963, 59–136.

##### БИАРСКИЙ 1865

БИАРСКИЙ П. С., *Материалы для биографии Ломоносова*, С.-Петербург, 1865.

##### БУЛАНИН 2014

БУЛАНИН Д. М., “Текстология древнерусской литературы: ретроспективные заметки по методологии”, *Русская литература*, 1, 2014, 18–51.

##### БУХАРКИН 2013

БУХАРКИН П. Е., “Краткое руководство к красноречию М. В. Ломоносова: литературный статус и некоторые проблемы филологического изучения”, in: *Филологическое наследие М. В. Ломоносова*, С.-Петербург, 2013, 36–71.

##### ВИНОГРАДОВ, БАРХУДАРОВ, БЛОК 1956

ВИНОГРАДОВ В. В., БАРХУДАРОВ С. Г., БЛОК Г. П., “По поводу одной критической статьи (Письмо в редакцию)”, *Известия АН СССР. Отделение литературы и языка*, 15/5, 1956, 469–472.

##### ГУСЕВА 2010

ГУСЕВА А. А., *Свод русских книг кирилловской печати XVIII века типографий Москвы и Санкт-Петербурга и универсальная методика их идентификации*, Москва, 2010.

<sup>57</sup> Анализ значительной части вариантов КРК-2 в лингвистическом и культурном контексте 1740–1750-х гг. см.: [Костин 2017б].

ЗАПАДОВ 1992

ЗАПАДОВ В. А., "История создания «Путешествия из Петербурга в Москву» и «Вольности», in: А. Н. РАДИЩЕВ, *Путешествие из Петербурга в Москву. Вольность*, В. А. ЗАПАДОВ, подг., С.-Петербург, 1992, 475–623.

КАРПОВА 1968

КАРПОВА Е. Е., "К вопросу о каноническом тексте риторики Ломоносова", in: *XXI Герценовские чтения. Филологические науки. Программа и краткое содержание докладов*, Ленинград, 1968, 81–82.

Костин 2015

Костин А. А., "Творческая история «Краткого руководства к красноречию» М. В. Ломоносова в свете компиляционных источников (новые материалы)", *Slavica Revalensia*, 2, 2015, 9–34.

——— 2017А

Костин А. А., "Тредиаковский в 1755 году: несколько архивных замечаний", in: *XVIII век*, 29, С.-Петербург, 2017, 50–59.

——— 2017Б

Костин А. А., "Тредиаковский — читатель ломоносовской Риторики (вопрос к истории текста)", in: *XVIII век*, 29, С.-Петербург, 2017, 21–49.

Костин, Николаев 2013

Костин А. А., Николаев С. И., "Неучтенный источник Риторики Ломоносова («Оратор без подготовки» М. Радау)", in: *Чтения Отдела русской литературы XVIII века*, 7, С.-Петербург, 2013, 41–53.

Кунцевич 1918

Кунцевич Г. З., *Библиография изданий сочинений М. В. Ломоносова на русском языке*, Петроград, 1918.

ЛЕМЕШЕВ 2018

ЛЕМЕШЕВ К. Н., "Теория вымысла в Риторике М. В. Ломоносова: редакции теоретического текста", *Русская литература*, 2018 [в печати].

Летопись 1961

*Летопись жизни и творчества М. В. Ломоносова*, Москва, Ленинград, 1961.

Ломоносов 1891

*Сочинения М. В. Ломоносова*, с объяснительными примечаниями акад. М. И. Сухомлинова, 1, С.-Петербург, 1891.

——— 1895

*Сочинения М. В. Ломоносова*, с объяснительными примечаниями акад. М. И. Сухомлинова, 3, С.-Петербург, 1895.

——— 1952А

Ломоносов М. В., *Полное собрание сочинений*, 7, Москва, Ленинград, 1952.

——— 1952Б

Ломоносов М. В., *Полное собрание сочинений*, 10, Москва, Ленинград, 1952.

——— 1957

Ломоносов М. В., *Сочинения*, А. А. МОРОЗОВ, сост., подг. текста, вступ. ст. и комм., Москва, 1957.

——— 1959

Ломоносов М. В., *Полное собрание сочинений*, 8, Москва, Ленинград, 1959.

МАТЕРИАЛЫ 1895

*Материалы для истории Императорской академии наук*, 8, С.-Петербург, 1895.



Мельникова 1966

Мельникова Н. Н., *Издания, напечатанные в типографии Московского университета. XVIII век*, Москва, 1966.

Морозов 1956

Морозов А. А., “Последняя воля Ломоносова”, *Звезда*, 4, 1956, 167–172.

——— 1957

Морозов А. А., “Академический брак и его ученые (Письмо в редакцию)”, *Звезда*, 2, 1957, 220–221.

Николаев 1994

Николаев С. И., “Пометы В. К. Тредиаковского на «Кратком руководстве к красноречию» М. В. Ломоносова”, in: *Маргиналии русских писателей XVIII века*, С.-Петербург, 1994, 7–15.

От редакции 1957

“От редакции”, *Звезда*, 2, 1957, 221–222.

ПЕКАРСКИЙ 1873

ПЕКАРСКИЙ П. П., *История Императорской Академии наук в Петербурге*, 2, С.-Петербург, 1873.

САЗОНОВА 2011

САЗОНОВА Л. И., “[Комментарии]”, in: М. В. Ломоносов, *Полное собрание сочинений*, 7, Москва, С.-Петербург, 2011, 662–718.

——— 2013

САЗОНОВА Л. И., “Риторика Ломоносова: актуальные проблемы риторической традиции XVIII века”, in: *Чтения Отдела русской литературы XVIII века*, 7, С.-Петербург, 2013, 20–40.

СК XVIII, 2

*Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. 1725–1800*, 2, Москва, 1964.

СКИН XVIII

*Сводный каталог книг на иностранных языках, изданных в России в XVIII веке*, 1–3, Ленинград, 1984–1986.

СОФРОНОВА 1986

СОФРОНОВА Л. А., “М. В. Ломоносов и М. К. Сарбевский (к опыту сопоставления двух систем)”, in: *М. В. Ломоносов и русская культура. Тезисы докладов конференции*, Тарту, 1986, 7–11.

СУХОМЛИНОВ 1887

“Записка М. И. Сухомлинова о предпринимаемом им издании сочинений Ломоносова”, *Сборник Отделения русского языка и словесности*, 42, 1887, iv–vi.

ТЕРНОВСКИЙ 1866

ТЕРНОВСКИЙ Ф., “Письма митрополита Стефана Яворского”, *Труды Киевской духовной академии*, 4, 1866, 539–555.

ТЮЛИЧЕВ 1983

ТЮЛИЧЕВ Д. В., “Прижизненные издания литературных произведений и некоторых научных трудов М. В. Ломоносова”, in: *Ломоносов. Сборник статей и материалов*, 8, Ленинград, 1983, 49–75.

——— 1988

ТЮЛИЧЕВ Д. В., *Книгоиздательская деятельность Петербургской академии наук и М. В. Ломоносов*, Ленинград, 1988.

HEAWOOD 1957

HEAWOOD E., *Watermarks mainly of the 17th and 18th centuries*, Hilversum, 1957 (Monumenta Chartae Papyraceae Historiam Illustrantia, I).

LEWIN 1972

LEWIN P., *Wykłady poetyki w uczelniach rosyjskich XVIII w. (1722–1774) a tradycje polskie*, Wrocław, 1972.

## References

- Berkov P. N., "Izdaniia russkikh poetov XVIII veka. Istoriia i tekstologicheskie problem," in: *Izdanie klassicheskoi literatury. Iz opyta "Biblioteki poeta"*, Moscow, 1963, 59–136.
- Bukharkin P. E., "'Brief Guide to Rhetoric. . .' of by M. V. Lomonosov: Literary Status and Some Problems of Philological Research," in: *The Philological Heritage of M. Lomonosov*, St. Petersburg, 2013, 36–71.
- Bulanin D. M., "Textual Studies of Old Russian Literature: Retrospective Notes on Methodology," *Russkaia Literatura*, 1, 2014, 18–51.
- Guseva A. A., *Svod russkikh knig kirillovskoi pechati XVIII veka tipografii Moskvy i Sankt-Peterburga i universal'naia metodika ikh identifikatsii*, Moscow, 2010.
- Heawood E., *Watermarks mainly of the 17th and 18th centuries*, Hilversum, 1957 (Monumenta Chartae Papyraceae Historiam Illustrantia, I).
- Karpova E. E., "K voprosu o kanonicheskom tekste ritoriki Lomonosova," in: *XXI Gertsenovskie chteniia. Filologicheskie nauki*, Leningrad, 1968, 81–82.
- Kostin A. A., "A creative History of Mikhail Lomonosov's 'Kratkoe rukovodstvo k krasnorechiiu' in Light of Some Compilations: New Perspectives," *Slavica Revalensia*, 2, 2015, 9–34.
- Kostin A. A., "Trediakovskii v 1755 godu: neskol'ko arkhivnykh zamechaniĭ," in: *XVIII vek*, 29, St. Petersburg, 2017, 50–59.
- Kostin A. A., "Trediakovskii — chitatel' lomonosovskoi Ritoriki (vopros k istorii teksta)," in: *XVIII vek*, 29, St. Petersburg, 2017, 21–49.
- Kostin A. A., Nikolaev S. I., "Neuchtennyi istochnik Ritoriki Lomonosova ('Orator bez podgotovki' M. Radau)," in: *Chteniia Otdela russkoi literatury XVIII veka*, 7, St. Petersburg, 2013, 41–53.
- Kuntsevich G. Z., *Bibliografiia izdaniĭ sochinenii M. V. Lomonosova na russkom iazyke*, Petrograd, 1918.
- Lemeshev K. N., "Teoriia vymysla v Ritorike M. V. Lomonosova: redaktsii teoreticheskogo teksta," *Russkaia Literatura*, 2018 [forthcoming].
- Lewin P., *Wykłady poetyki w uczelniach rosyjskich XVIII w. (1722–1774) a tradycje polskie*, Wrocław, 1972.
- Mel'nikova N. N., *Izdaniia, napechatannye v tipografii Moskovskogo universiteta. XVIII vek*, Moscow, 1966.
- Morozov A. A., "Posledniaia volia Lomonosova," *Zvezda*, 4, 1956, 167–172.
- Morozov A. A., "Akademicheskii brak i ego uchenye (Pis'mo v redaktsiiu)," *Zvezda*, 2, 1957, 220–221.
- Nikolaev S. I., "Pomety V. K. Trediakovskogo na 'Kratkom rukovodstve k krasnorechiiu' M. V. Lomonosova," in: *Marginalii russkikh pisatelei XVIII veka*, St. Petersburg, 1994, 7–15.
- Sazonova L. I., "Ritorika Lomonosova: aktual'nye problemy ritoricheskoi traditsii XVIII veka," in: *Chteniia Otdela russkoi literatury XVIII veka*, 7, St. Petersburg, 2013, 20–40.
- Sofronova L. A., "M. V. Lomonosov i M. K. Sarbevskaia (k opytu sopostavleniia dvukh sistem)," in: *M. V. Lomonosov i russkaia kul'tura*, Tartu, 1986, 7–11.
- Tyulichev D. V., "Prizhiznennye izdaniia literaturnykh proizvedenii i nekotorykh nauchnykh trudov M. V. Lomonosova," *Lomonosov. Sbornik statei i materialov*, 8, Leningrad, 1983, 49–75.
- Tyulichev D. V., *Knigoizdatel'skaia deiatel'nost' Peterburgskoi akademii nauk i M. V. Lomonosov*, Leningrad, 1988.
- Vinogradov V. V., Barkhudarov S. G., Blok G. P., "Po povodu odnoi kriticheskoi stat'i (Pis'mo v redaktsiiu)," *Izvestiia AN SSSR. Otdelenie literatury i iazyka*, 15/5, 1956, 469–472.
- Zapadov V. A., "Istoriia sozdaniia 'Puteshestviia iz Peterburga v Moskvu' i 'Vol'nosti'," in: A. N. Radishchev, *Puteshestvie iz Peterburga v Moskvu. Vol'nost'*, St. Petersburg, 1992, 475–623.

## Acknowledgements

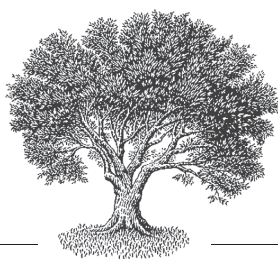
Russian Foundation for Basic Research. Project No. 15-04-00551-OGN.

**Андрей Александрович Костин**, кан. филол. наук  
заведующий Отделом библиографии и источниковедения  
a.al.kostin@gmail.com

**Константин Николаевич Лемешев**  
научный сотрудник Отдела библиографии и источниковедения  
konstantinkn2013@yandex.ru

Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН  
199034 С.-Петербург, наб. Макарова, д. 4  
Россия/Russia

Received August 29, 2017



Споры о  
местоимениях  
*сей* и *оный* как  
факт истории  
русской культуры  
и литературного  
языка XVIII–XIX вв.

Disputes over the  
Pronouns *Sei* and *Onyi*  
(Russian ‘This One’  
and ‘That One’) in the  
History of Russian  
Culture and Standard  
Language in the 18th–  
19th Centuries

Любовь Георгиевна  
Чапаева

Московский педагогический  
государственный университет  
Москва, Россия

Lyubov G. Chapaeva

Moscow State Pedagogical University  
Moscow, Russia

Резюме

Состояние литературного языка на разных этапах его существования так или иначе оценивается носителями языка. Языковая рефлексия по поводу письменной формы языка, его норм, стилистических свойств может влиять на изменение по крайней мере отдельных его элементов. В истории русского литературного языка, аккумулировавшего в своем составе церковнославянскую и русскую языковые стихии, проблема славянизмов вызывала споры с 30-х гг. XVIII в. Разное отношение к ним иногда приобретало идеологический характер, а отдельные наиболее архаичные единицы становились символами борьбы за чистоту письменного языка, освобождение от славянизмов, за его приближение к современной разговорной речи. Почти столетие такими символами были местоимения *сей* и *оный*. Стилистическая характеристика указательных местоимений оказывается неразрывно связанной с базовыми культурологическими оппозициями: *свое* — *чужое*, *старое* — *новое*. В статье исследуются не

только известные источники, в которых речь идет о возможности и невозможности употребления архаичных местоимений, но также привлекаются малоизвестные и не изученные ранее. Комплексный анализ одного звена языковой системы основывается на тесном взаимодействии языка и культуры в процессе эволюции литературной формы общенародного языка, причем мы учитываем влияние метаязыковой деятельности (выраженной языковой рефлексии) на изменения литературного языка.

#### Ключевые слова

русский литературный язык, старое и новое, свое и чужое, славянизмы, архаизмы

#### Abstract

Under all circumstances, native speakers continue to evaluate the state of standard language during various stages of its existence. Reflection about written language composition, its rules, and its stylistic features can result in changes in at least some elements or links of the system. In the history of the standard Russian language, which had absorbed the Church Slavonic and Russian language environments, the Slavism issue has been causing disputes since the 1730s. Different attitudes toward Slavisms acquired ideological qualities; some of the most archaic linguistic units became symbols of the fight for freeing the language from the old, for its modernization, and for bringing it closer to the spoken word. The pronouns *sei* and *onyi* acted as such symbols for almost a century. The stylistic characteristics of demonstrative pronouns turn out to be inextricably intertwined with basic cultural oppositions: *ours–theirs*, *new–old*. The article utilizes well-known sources containing various kinds of speculations about the possibility and impossibility of using archaic pronouns, as well as sources that are less known or have not been used previously. This complex approach to analyzing one link of the language system is based on the close collaboration between the language and the culture during the evolution of the standard form of people's language, and takes into account the influence of metalinguistic activity (expressed language reflection) on changes in the standard language.

#### Keywords

Russian standard language, old and new, ours and theirs, Slavism, archaism

На фоне фундаментальной проблемы формирования русского литературного языка частная история местоимений *сей* и *оний* может восприниматься по-разному. С одной стороны, судьба двух неличных местоимений, хотя и обладающих яркой книжной маркированностью, — это слишком незначительное явление в системе русского языка; с другой стороны, оно становится идеологическим символом принадлежности к старому книжному языку, маркирующим определенный взгляд на характер русского литературного языка<sup>1</sup>. Историю местоимений *сей* и

<sup>1</sup> Например, В. И. Даль полагал, что местоимения не заслуживают той роли, которая отводится им в спорах о русском языке, но явно указывает на их идеологическую маркированность: «И чем же мы занимаемся, если вздумаем



оний и лингвистическую рефлексию по их поводу следует рассматривать в контексте не только языковых процессов XVIII–XIX вв., но и культурных. Цель нашего исследования состоит в том, чтобы показать, как в этой частной подсистеме книжного языка отражаются глобальные изменения в русском общественном и языковом сознании, выявляются такие базовые и перекрещивающиеся оппозиции культуры, как *свое* и *чужое*, *старое* и *новое*. Славянизмы в этих оппозициях в рассматриваемый нами период оцениваются как *старое*, но для носителей разных лингво-идеологических установок могут восприниматься как *свое*, так и *чужое*.

В начале XIX в. в рамках полемики архаистов и новаторов на фоне оппозиции *свое* — *чужое* и ее конкретизации в антитезе *русский* — *церковнославянский* рождались некие условные знаки принадлежности к определенному направлению, становившиеся устойчивыми языковыми символами, продолжавшими существовать и в более позднее время. Обычно ими становились слова, которые не имели абстрактного или идеологического значения. Как отметил Г. О. Винокур, слово могло быть абсолютно случайно выбрано из “разряда наиболее «экзотичных» славянизмов, так как в этом случае сильнее выражается «экспрессия старины и церковности»” [Винокур 1959: 126]. В начале XIX в. такими символами языковой полемики архаистов и новаторов стали служебные слова церковнославянского происхождения *абие*, *аще* и некоторые другие, в злоупотреблении которыми новаторы упрекали архаистов [Лотман, Успенский 1996]. Авторы исследования утверждают, что война вокруг архаичных лексем имела давнюю историю, потому что они воспринимались как символы не только устаревшего языка, но и устаревших лингвистических взглядов в спорах о литературном языке еще в середине XVIII в., помогали идентифицировать *своих* и *чужих*.

Показательно, как А. Ф. Воейков, рецензируя книгу Е. Станевича, уже в 1808 году отмечает, что

желая доказать, что онъ старообрядецъ в слогѣ, и тѣмъ придать себѣ больше важности, онъ, кстати и не кстати употребляетъ слова *зане*, *колико*, *наипаче*, *корыстно*, *суесловіе*, *на прикладъ*, *поелику*, *радъ*, *купно*, *кольми же*, *паче*, *словоизвитія*, *метаетъ*, *рѣя*, *словесники* и проч.: какое благоразуміе! Г. Станевичъ знаетъ, что сіи слова въ Русской литературѣ тоже, что орлы, драконы, лиліи, изображаемыя на знаменахъ войскъ; они показывают, къ какой из сторонъ принадлежитъ авторъ [Воейков 1808: 118].

О том же пишет в конце 30-х гг. XIX в. В. Г. Белинский: “В нашей литературе возник уже давно вопрос о словах: *сей*, *оний*, *ибо*, *таковый* и тому

---

пуститься на розыски и поправки языка? Придираемся к тому, к сему — вот я невзначай и попал на *роковое словечко* [выделено нами. — Л. Ч.!]” [Даль 1842: 547]. Об “идеологической норме” подробнее см. [Рей, Делесаль 1983].

подобных, которые одними почитаются необходимостью русской речи, а другими — ее уродством и искажением” [Белинский, 2: 429].

А. Д. Григорьева ссылается на мнение В. В. Виноградова (из неопубликованной статьи) о важности трансформации, которую претерпевают эти местоимения в истории русского литературного языка:

Достаточно сослаться на сложные синонимические соответствия местоимений в системе трех стилей (ср. *сей*, нейтральное *тот* и простонародное *этом*), на борьбу Карамзина и его школы с перегрузкой речи местоимениями и частицами, на ту полемику, которая развернулась вокруг слов *сей*, и *оний* в 20–30-х годах XIX в., на те своеобразные и сложные явления, которые были связаны в русском литературном языке XIX в. с вытеснением *оний* через *тот* и в известных условиях — через косвенные падежи местоимения 3-го лица *его*, *ее* и т. п. [Григорьева 1953: 137].

Стилистическая синонимичность местоимений *сей* — *этом*, *оний* — *тот* зарождается в период формирования нового литературного языка на основе взаимодействия московского говора и церковнославянского наследия в XVIII в. Отсутствие местоимения *этом* в письменных источниках практически до конца XVII в. [Хабургаев 1990: 227–228] может говорить как о его позднем происхождении, так и о сознательном выборе местоимения *сей* в качестве одного из элементов книжности, обязательных для письменного текста русского Средневековья.

Местоимения *сей* и *оний* осознаются как формы книжного, письменного языка, противопоставленные разговорным *тот* и *этом*, уже в первых грамматических сочинениях XVIII в. В параграфе 49 рукописной грамматики В. Е. Адодурова (30-е годы XVIII в.), опубликованной Б. А. Успенским, говорится, что “слово этоъ [. . .] есть природно руское и тожь значит, что мѣстоименіе сей; в писмѣ оно понынѣ еще не очень часто случается, но въ обыкновенных разговорахъ без него обойтись неможно для того что мѣстоименіе сей бывает тогда уже весьма неупотребительно” [Успенский 1975: 105]. Несмотря на стилистически ограниченную характеристику местоимения *сей*, вопрос о его изгнании из русского языка пока не ставится, хотя В. Адодуров был сторонником ориентации литературного языка на живую разговорную речь. В примечаниях Б. А. Успенского сообщается, что на различие в употреблении местоимений *сей* и *этом* указал в своей грамматике еще Лудольф в 1696 г.; противопоставлены формы и в рукописном лексиконе первой половины XVIII в., составленном, возможно, Татищевым, который полагал, что слово *этом* иноязычного, “сарматского” происхождения [Успенский 1975: 189].

В подготовительных материалах к “Грамматике” М. В. Ломоносова (1755 г.) об оппозиции местоимений *сей* — *этом* не говорится, речь идет

лишь о том, что *сей* в целом не свойственно разговорному языку: “Сей употребляется в простых разговорах только в косвенных падежах в знаменовании только времени и места: на сих днях, на сем мѣсте и <пишется> говорить сіомъ и въ семъ случаѣ, и къ тому, и къ сему” [Ломоносов 2011: 486]. В “Грамматике” перечислены местоимения, среди них есть *тот*, *сей*, *он*, но нет *этого* [ibid.: 429]. Правда, говоря о том, что *е*, “на другую сторону обороченное”, русскому языку не нужно, автор приводит в числе примеров слово «етотъ» [ibid.: 331]. Таким образом, местоимение *этот*, конечно, употребляется в живой речи, но к грамматике литературного (книжного) языка отношения не имеет. Его “права” в письменности отвоевываются постепенно. А. П. Сумароков полагал, что, например, в трагедиях *этот* допустимо: “Я люблю сего, а ты любишь другаго, есть правильно; но грубо. Я люблю етова, а ты другова — [. . .] пріятняе” (цит. по: [Успенский 1975: 190]). Персонажи комедии Фонвизина “Недоросль” предпочитают местоимение *этот*, местоимение *сей* встречается только три раза: в устойчивых сочетаниях “на сих днях”, “сей же час” и в диалектно-просторечном варианте “посесь час” [Фонвизин 1959: 105, 141, 171]<sup>2</sup>. Стилистическая дифференциация местоимений осознается драматургом и его современниками:

Чрезвычайно любопытно сравнить его [Фонвизина. — Л. Ч.] рассказы об одних и тех же предметах в двояком виде, в беседах с сестрою более свободы и живости, нежели в других; тут он даже предупредил современных нам [Я. К. Грот писал об этом в 1848 году! — Л. Ч.] гонителей *сего* — *оного*, часто употребляя местоимение *этот* и почти никогда не прибегая к *оному*: “кажется, довольно познакомился я с Парижем и узнал *его* столько, что в другой раз охотою, конечно, в *него* не поеду, мне обещали показать *этого* урода (Руссо), Вольтер также здесь: *этого* чудотворца на той неделе увижу”. Впрочем, не избегал он и местоимения *сей*, потому что не чувствовал в том надобности [Грот 1901: 83].

Попытка интерпретировать сложившуюся традицию противопоставления в русском языке местоимений *сей* — *этот* и местоимений *он* — *он* (*его*) намечается в грамматиках Н. И. Греча и А. Х. Востокова. Н. И. Греч пытается найти грамматическое разграничение, функциональную мотивировку для их употребления:

Сие указание на предметы третьего лица производится посредством местоимений указательных: *он*, *сей*, *этот*, *тот*, *такой*, *таковой*, *толикий*, выражающих близость или отдаление предмета, сходство или подобие, и заменяющих личные местоимения третьего лица в наименовании предметов вещественных [Греч 1827: 87].

<sup>2</sup> См., например, в Толковом словаре живого великорусского языка В. И. Даля: “ПОСЕЬ нар. *сиб.* Посель, доселе, по сие время, до сего” [Даль 2: 332].

Как видим, местоимения *сей* и *оний* даются в общем перечне, и их общей особенностью автор грамматики считает указание на неодушевленные предметы. Это весьма любопытное замечание, особенно относительно местоимения *оний*, поскольку в дальнейшем Греч именно для этого значения будет обосновывать необходимость сохранения местоимения в литературном языке. В грамматике А. Х. Востокова (1831 г.) говорится, что форма *его* одинакова и для одушевленных и для неодушевленных, или “отвлеченных” предметов, “но в книжном языке, при имени предмета неодушевленного или отвлеченного винительный не только мужского и среднего, но и женского рода [. . .] *его, ее* заменяется нередко винительным местоимения указательного *оний, оное, оную*” [Восток 1831: 94].

В 1848 году была опубликована книга П. А. Вяземского о Фонвизине, написанная в конце 20-х годов. В тексте местоимение *сей* используется без каких-либо ограничений, так как, по замечанию Я. К. Грота, написавшего на нее рецензию, “словечко это еще мирно жило под покровом своего ничтожества и не думало не гадало, что ему готовится ожесточенное гонение, но зато и громкая слава — слава наполнить собою мир и потом навсегда возвратиться в свое ничтожество” [Грот 1901: 86]. А. Д. Григорьева замечает, что Пушкин употребляет местоимение *оний* преимущественно в деловых и публицистических сочинениях; в поэзии, по ее подсчетам, преобладает местоимение *сей*, а в прозе — *этот* [Григорьева 1953: 194]. “Сокращая употребление местоимения *сей* в авторской речи, Пушкин повышает тем самым стилистическую выразительность этого местоимения, следовательно, и возможность его использования как характерологического средства” [ibid.]. К концу 30-х гг. XIX в. местоимение *этот* свободно употребляется в письменном языке, местоимение *сей* вытесняется из диалогов литературных персонажей, из писем, не предназначенных для печати, таким образом, стилистическая дифференциация местоимений становится очевидной. В связи с этим с новой остротой встает вопрос о праве существования и необходимости местоимений *сей, оний* в литературном языке, как и устаревших славянизмов в целом.

Полемика в фельетонах, посвященных проблемам архаичных славянизмов, и в первую очередь — указательных местоимений, была начата О. И. Сенковским, со временем нашла отражение почти во всех журналах и продолжалась еще долго после того, как сам Сенковский перестал в ней участвовать. Именно Сенковский придает этим местоимениям статус символа всего архаичного, устаревшего, мертвого в языке, статус элементов, принадлежащих чужому церковнославянскому языку, делает их употребление смешным, “источником комизма”.



В 1833 г. вышли “Фантастические путешествия барона Брамбеуса”, в которых Сенковский дважды затрагивает эту проблему. В “Осенней скуке” (рассказ-предисловие) он замечает: “. . . проза круглый год несет вздор; у нас, на Руси, лучшие ее страницы засыпаны толстым слоем острых, шероховатых, засаленных местоимений *сей* и *оный*, которых, по прочтении, не смее вы даже произнести в честной компании” [Сенковский, 2: 5]; и далее:

русская изящная словесность XIX столетия не хотела говорить русским языком XIX века [. . .] Тайно покупала у понытчиков в числе прочего казенные местоимения *сей* и *оный*, [. . .] и [. . .] никак не соглашалась стряхнуть с себя пыль канцелярских форм [. . .], заставляла меня, злополучного, думать на одном языке [. . .], а писать на другом [Сенковский, 2: 6–7].

Затем в рассказе “Ученое путешествие на Медвежий остров” герой предлагает улучшить слог перевода “по правилам риторики профессора Толмачева и подсыпать в него несколько пудов предпотопных местоимений *сей* и *оный*, без которых у нас нет ни счастья, ни крючка, ни изящной прозы” [ibid.: 184]. В рецензии на роман Ф. Булгарина “Мазепа” (“Драма из эпохи самозванцев”) в том же году Сенковский критикует автора за “книжный дидактический слог” диалогов, “неупотребительные в беседах” слова и обороты речи, за то, что “*сей, оный, а потому* и проч. довольно часто наворачиваются на язык. . .” [Сенковский, 8: 55].

В “Обвинительных пунктах против барона Брамбеуса” Сенковский в сжатой форме обобщает свои мысли о литературном языке и отмечает, что

упомянутый Брамбеус открыл в русском языке источник комизма, которого не было, [. . .] тот искусственный язык, которым мы прежде писали, [. . .] вдруг стал комическим, смешным до того, что наши прекраснейшие прежние фразы, украшенные древними *сими, оными, коими, таковыми, ибо, поелику* и прочая, наши чудные периоды, раззолоченные славянскими словами и формами, служат теперь новым орудием слога для возбуждения в нужном случае улыбки в читателе [Сенковский, 8: 252].

Образцом такого юмористического употребления архаичных местоимений стала “Резолюция на челобитную *сего, оного, такового, коего, вышеупомянутого, вышереченного, нижеследующего, ибо, а потому, поелику, якобы* и других причастных к оной челобитной, по делу об изгнании оных без суда и следствия из русского языка” (1835 г.), в которой выражен приговор местоимениям:

Принадлежите ли вы русскому языку XIX века? Нет. Можно ли вас произнести перед порядочными людьми, чтоб они не усмехнулись? Нет. Можно ли взять с собою куда-нибудь на вечер, повести в общество, явиться с вами в го-

стиной? Нет — вас надобно всегда оставлять в передней. . . [СЕНКОВСКИЙ, 8: 237].

О. И. Сенковскому возражает критик “Русского инвалида” А. Кораблинский:

Называя местоимения *сей* и *оний* подъяческими загвоздками, какое же имя дадите вы ветхим словам *зане, воздоенный, ради, паки* и проч. Однако самые щеголеватые (*les puristes*) песнопевцы наши их употребляют вопреки воплю князя П. И. Шаликова и покойных князя Григория Хованского и П. И. Макарова [КОРАБЛИНСКИЙ 1834: 428].

Надо отметить, что Кораблинский еще несколько раз в газете “Русский инвалид” вступал в полемику с Сенковским, всякий раз отстаивая местоимения *сей* и *оний* в контексте общей идеи о необходимости сближения письменного литературного языка с живым разговорным.

Ф. Булгарин также считал, что местоимения “*сей, сии, оний, оные, таковые, кои* — кои не употребляются в разговоре” [БУЛГАРИН 1836: 1080], но в книжном языке необходимы, так как “дают слогу ясность и определенность” [Ibid.].

В 1838 году со специальной брошюрой “Литературные пояснения” в полемику включается Н. И. Греч. Выступая за сохранение архаичных местоимений в составе русского литературного языка, Греч продолжает утверждать, что между русскими и церковнославянскими местоимениями существуют функциональные различия:

Словом *этот* означает указание на предмет с намерением отличить его от другого, например: *этот* человек глуп, а *тот* зол, и сверх того оно употребляется отдельно, как фр. *cela, celui-ci, celui-là*: *это* дурно. *Сей* есть просто указание: *сия* книга продается у Смирдина. Это как бы член определительный [ГРЕЧ 1838: 9].

В другой работе Н. И. Греч уточняет: “Сверх того, слово *этот* употребляется преимущественно в изустной, простой речи, в слоге разговорном, а *сей* в деловом, в письмах, в дидактических сочинениях” [ГРЕЧ 1840: 212].

Если в данном случае можно видеть попытку стилистического противопоставления местоимений *этот* и *сей*, их распределения по разным стилям речи, то в “Чтениях о русском языке” речь явно идет о вкусовых предпочтениях:

У нас за пять лет перед сим<sup>3</sup> воздвигалось гонение на невинные слова *сей* и *оний* [. . .] Неопытные и нетвердые в слоге и языке испугались, стали не только избегать этих слов, но и старались повторять как можно чаще: *тот*,

<sup>3</sup> Н. И. Греч имеет в виду, что с 1834 года стали печататься фельетоны о местоимениях в “Библиотеке для чтения”.

*этот, этим, тем* [. . .] Сия зараза простерлась до того, что и из деловых бумаг изгнали старинные формы и вместо: *к сему прошению руку приложил*, стали писать: *к этому прошению руку приложил* [. . .] *Сей* приятнее слуху, нежели *этот*; *сей* короче и лучше улегается в стихе. [. . .] Зачем бросать нам обороты и выражения полезные и необходимые? [Греч 1840: 211–212].

Впрочем, Н. И. Греч как автор грамматик русского языка пытается найти грамматические свойства архаичных местоимений, доказывая их неслучайность и необходимость для русского языка:

Слово *оный* родилось в русском языке по необходимости. Местоимения всякого языка должны выражать заменяемые ими имена предметов пола мужского и женского, и еще предметов неодушевленных [. . .] В русском языке они [имена предметов неодушевленных. — Л. Ч.] бывают рода мужского, женского и среднего. И от этого в последнем случае происходит сбивчивость. Наше местоимение 3-го лица среднего рода отличается от местоимения мужского рода только в именительном падеже: *он, оно*; во всех прочих нет различия. Как тут различить имена предметов одушевленных и неодушевленных? Например, в одной из предыдущих фраз сей самой статьи я написал: “В русском языке находим *оное* (слово) в древнейших памятниках”. Можно ли здесь поставить *его*? Нет! Это значило бы, что мы находим не вещь, не неодушевленный предмет, а человека [Греч 1838: 13–14].

Гоголь в статье “О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году”, опубликованной в № 1 “Современника” за 1836 г., осуждает Сенковского за разбор “разного литературного сора”, мелочность и ничтожность предметов критики, в частности, за то, что он

завязал целое дело о двух местоимениях: *сей* и *оный*, которые показались ему, неизвестно почему, неуместными в русском слоге. Об этих местоимениях писаны им были целые трактаты, и статьи его, рассуждавшие о каком бы то ни было предмете, всегда оканчивались тем, что местоимения *сей* и *оный* совершенно неприличны [Гоголь 1952: 160–161].

Гоголь не высказывает своего отношения к местоимениям и славянизмам в целом, но не считает необходимым их изгнание из русского языка, и сам употребляет их в статье, не дифференцируя *сей* и *этот*, например: *этот журнал, статья сия* и под.

Пушкин, справедливо считавший, что письменный и разговорный языки не могут быть равны в своих средствах, в “Письме к издателю”, опубликованном в следующем номере “Современника”, писал:

Шутки г. Сенковского насчет невинных местоимений *сей, сия, сие, оный, оная, оное* — не что иное, как шутки. Вольно же было публике и даже некоторым писателям принять их за чистую монету. Может ли письменный язык быть совершенно подобным разговорному? Нет, так же, как разговорный

язык никогда не может быть совершенно подобным письменному. Не одни местоимения *сей* и *оний*, но и причастия вообще и множество слов необходимых обыкновенно избегаются в разговоре [Пушкин 1951: 438–439].

Но это не означает, по мнению Пушкина, необходимости изгнания этих слов из русского письменного литературного языка [ibid.: 439].

Н. И. Надеждин, в отличие от Пушкина, провозглашал, по сути, еще карамзинский принцип “писать, как говорят, и говорить, как пишут” и, признавая, что Сенковский проявляет неумеренную горячность в “этом крестовом походе” против невинных местоимений, воспринимал его позицию всерьез:

Осуждая приторность повторения про одно и то же, я считаю долгом отдать справедливость основной мысли г. Брамбеуса, из которой происходит его ожесточение против “*сих*” и “*оних*” [...] [Сенковский] хочет освободить русский язык из тяжкого плена книжного, хочет стряхнуть с него всю школьную, семинарскую пыль, хочет, чтоб у нас писали, как говорят [...], хочет, чтоб язык письменный не различался от разговорного [Надеждин 1972: 426].

В. Г. Белинский также счел необходимым несколько раз высказаться по поводу местоимений *сей* и *оний*. Он был достаточно критично настроен по отношению к лингвистическим взглядам Сенковского и обвинял его в безграмотности и незнании правил русского языка, но при этом признавал, что тот “по справедливости не любит” “славяно-церковных” *сей* и *оний*. Сам Белинский полагал, что их употребление в иных случаях необходимо “для большей ясности в слоге, особенно когда дело идет о предметах догматических, ученых”, он против “их употребления без всякой нужды” [Белинский, 1: 194]. Правда, в состав литературного языка, частично описанного Белинским в “Основаниях русской грамматики” (1838 г.), эти местоимения не включены, здесь приводятся только местоимения *тот*, *то*, *это* [ibid.: 595], хотя других элементов книжного языка в “Основаниях” достаточно. Впрочем, возможно, им было уготовано иное место в грамматическом описании, так как Белинский не считал *сей*, *оний*, *тот*, *этот* местоимениями, называя их определительными словами [ibid., 2: 548].

В рецензии 1836 года на одну из научных публикаций Белинский недвусмысленно высказывается против этих местоимений, солидаризируясь с Сенковским:

Брошюрки г. А. Т. возбудили против себя самое ожесточенное гонение. [...] “Библиотека для чтения” осмеяла их за то, что они “преисполнены *сими* и *оними* [...]”. Известна ее ожесточенная ненависть к проклятым *сим* и *оним*. “Северная пчела” [...] *сии* и *оние* [...] жалуется и горячо [...]. Я, с своей стороны, не уступаю “Библиотеке” в ненависти к *сим* и *оним*, считая, по уважению



прав собственности, делом незаконным похищать сии местоимения у подъячих, которым оные толико любезны и вожделенны, и притом не видя в них ни малейшей надобности [Белинский, 2: 85–86].

Но при этом Белинский замечает, что употребление этих местоимений можно простить “за мысль”, так как содержание важнее формы [Белинский, 2: 86]. Легко заметить, что Белинский не столь однозначно связывает эти местоимения с церковнославянской традицией, скорее — с дурным слогом канцеляристов и приказным стилем. В этом он не противоречит Сенковскому. Однако отношение к слогу у Сенковского и Белинского существенно различается: если для первого важен правильный, разговорный русский язык, ровный и лексически однородный, то для второго важнее чувство, мысль, для выражения которой возможен и неправильный, с “ошибками против грамматики” язык.

Кто много знает и у кого знание есть род верования, у кого ум и чувства сливаются вместе, тот имеет право не уважать грамматики, потому что взамен этого, в его речи будет жар, энергия, движение, могущество, следовательно, у того слог будет прекрасен [. . .] Но кто о высоких истинах говорит также спокойно и хладнокровно, как *О сенокосе, о вине, О псарне и своей родне*, тому надо крепко держаться грамматики [. . .], задумываться над словом, размышлять над фразой [Белинский, 2: 87].

Сохраняя за местоимениями *сей* и *оний* статус высокой книжности, Белинский высказывается против их употребления в драматическом слоге: “в драматических произведениях эти слова всеми единодушно признаны негодными к употреблению, потому что они не употребляются в разговорной речи, а драматический слог есть по преимуществу разговорный” [Белинский, 2: 428]. Белинский не считает необходимым выбирать высокий слог для перевода трагедии Шекспира (ср. его высказывания по поводу перевода “Илиады” [ИДЕМ, 1: 107]) и в целом высказывается против теории трех стилей: “Шекспир писал драмы, а не трагедии, а во-вторых, он не читал русских риторик и не верил разделению слога на *высокий, средний и низкий*. Для него существовал *один* слог — слог души человеческой [. . .] Шекспир не гнушался никакими словами: для чистого все чисто” [ИДЕМ, 2: 430]. Теперь Белинский иначе смотрит и на особенности слога в целом: “Не менее того согласны все и в том, что стихотворный язык, точно так же, как и прозаический, должен быть правилен грамматически, верен своему духу, свободен, развязен, чужд вычурных книжных оборотов” [ИВРД.: 429].

Как можно заметить, отношение Белинского к архаичным местоимениям совпадает с пушкинским: он относится к высказываниям Сенковского как к шутке и считает, что нет никакого “процесса о двух

местоимениях”. В заметке 1836 г. “Несколько слов о «Современнике»” Белинский отвечает на слова Гоголя, связавшего “жалкое” состояние журнальной литературы с “тяжелым делом” по поводу местоимений *сей* и *оний*:

Мы, напротив, осмеливаемся думать, что жалкое состояние нашей литературы и вообще нашей умственной деятельности гораздо более доказывается защищением и употреблением *сих* и *оних*, нежели нападками на *сии* и *оние* [. . .]. Спрашиваем почтенного издателя “Современника” почему он, употребляя *сии* и *оние*, не употребляет *сиречь*, *понеже*, *поелику*, *аще*, *сице*? Он, верно, сказал бы, потому, что эти слова вышли из употребления, что они не употребляются в разговоре? Но чем же счастливее их *сии* и *оние*, которые тоже вышли из употребления, и не употребляются в разговоре? [Белинский, 2: 183].

Вскоре появляется шутливая заметка В. Г. Белинского “Литературная тяжба о *сих* и *этих*”, где он говорит о ничтожности предмета спора, его субъективности и предлагает придумать третье слово, которое бы всех устроило: “Что теперь делать нашим авторам: за *сии* будет их преследовать *этот* журналист, а за *эти* их будет преследовать *сей* журналист” [Белинский, 2: 366].

К концу 30-х годов отношение Белинского к “Библиотеке для чтения” и к самому Сенковскому становится менее ироничным, более сдержанным, он стремится осмыслить место и роль журнала и его редактора в русской культуре. Журнал отличается “положительностью в искусстве и знании”, самобытностью, так как имеет “свой образ мнений” и свой язык [Белинский, 2: 544]. Язык оказывается одним из важнейших достоинств журнала: “Во всех статьях «Библиотеки для чтения» вижу какую-то легкость, разговорность [. . .] г. Сенковский сделал значительный переворот в русском языке” [ibid.: 546]. Теперь в вопросе о местоимениях Белинский безоговорочно занимает его сторону, заявляя, что спор о них “совсем не так мало важен, как думают” [ibid.: 544]. Правда, Белинский против излишней категоричности суждений Сенковского, кроме того, он не согласен с идеей Сенковского о том, что достоинство литературного языка в ровности и чистоте стиля, в единстве разговорной и письменной речи.

Он хочет совсем изгнать их [архаичные местоимения. — Л. Ч.] из языка русского, равно как и слова: *объемлющий*, *злато*, *младой*, *очи*, *ланиты*, *уста*, *чело*, *рамена*, *стоны* и пр. Увлечшись своей мыслью, он не хочет видеть, что слог в самом деле не один, что самый драматический язык, выражая потрясенное состояние души, разнится от простого разговорного языка, равно как драматический язык необходимо разнится от языка проповеди [Белинский, 2: 546].

Согласившись с Сенковским в том, что для языка “разговорного, общественного, так сказать, комнатного” данные архаизмы не нужны, В. Г. Белинский говорит о необходимости дистанции между разговорным и книжным языком, а художественный стиль, по его мнению, шире литературного и может вмещать как архаичные и “высокие”, так и разговорные элементы.

Рассуждая далее о различиях стихотворного и прозаического языка, В. Г. Белинский включает местоимения в состав славянизмов, которые, в отличие от прозы, в языке поэзии вполне уместны, если этого требует “поэтический инстинкт” истинного поэта: “Есть вещи, о которых трудно спорить, которые не поддаются мысли, когда чувство молчит” [Белинский, 2: 547]. Белинский продолжает развивать идею, выдвинутую еще карамзинистами, о вкусе как о единственно возможном критерии оценки литературного (преимущественно поэтического) языка, но, в отличие от Сенковского и карамзинистов, он не столь категоричен в отношении славянизмов и устаревших слов. Белинский подвел итог спорам о местоимениях, подразумевая под ними архаичную книжную лексику в целом:

Если она [“Библиотека для чтения”. — Л. Ч.] ошибается, думая, что богословские и философские истины должны излагаться таким же языком, как статьи о сельском хозяйстве [. . .], то она права, доказывая, что в романе, повести, журнальной статье *сии* и *оние* никуда не годятся и что изгнание их из общественного языка должно служить к его гибкости, заставив искать новых оборотов, которые помогут обойтись без книжных слов. Вы [Греч. — Л. Ч.] сами говорите, что этим словам не может быть места в комедиях, в повестях, подражающих изустному рассказу, в разговорах, в дружеских письмах и т. п.; [. . .] *теперь* это все говорят; но кто причиною, что это теперь *все* говорят? [Белинский, 2: 547].

Заслуга в этом принадлежит, безусловно, Сенковскому и его журналу. Его насмешливые и остроумные выступления привели к тому, что употребление архаичных местоимений резко пошло на убыль, а приверженность к ним определенных авторов, по мнению Белинского, стала вызывать насмешки: “как-то неловко произнести это слово, читая книгу, когда его нельзя без смеху произнести, говоря” [Белинский, 2: 547].

Язвительные высказывания О. И. Сенковского об архаичных местоимениях оказали огромное влияние на современников. Как отмечает Б. В. Томашевский, ссылаясь на Н. Тихонравова, люди, “ведавшие изданием сочинений” Гоголя и Пушкина, “подпав под влияние пропаганды Сенковского”, заменяли в их ранних произведениях местоимения *сей* и *оний* местоимениями *этот* и *тот*, несмотря на то, что оба писателя расходились во взглядах на эти формы с Сенковским, а М. Лермонтов,

по свидетельству Томашевского, сам заменял архаичную лексику, судя по черновикам, в частности, *сих* заменял на *этих* [ТОМАШЕВСКИЙ 1959: 60].

Таким образом, характеристика местоимений как архаичных и комичных исключает их из примет книжности, их употребление даже в книжных текстах должно быть стилистически мотивировано. В 1847 году в “Современных заметках” Белинский вновь возвращается к проблеме местоимений, его собственные взгляды стали теперь более радикальными, и он называет *сей* “обветшалым и смешным” словом, тогда как во времена Карамзина *сей*, *оний*, *кой*, *поелику* были только “обветшалыми”, и выступает за их изгнание даже из научного и публицистического стиля. Он пишет: “Мы крепко убеждены в том, что слово *сей* никогда не должно употреблять, кроме тех немногих речений, в которых оно сохранилось употреблением, каковы: *сейчас*, *сегодня*, *сию минуту*, *до сих пор*, *по сию пору*” [БЕЛИНСКИЙ, 10: 172]. Изменению взглядов Белинского в немалой степени способствовал новый этап полемики о языке (и в частности о славянизмах) в 1840-х гг. между “Москвитянином” и “Отечественными записками”, отражавшими позиции славянофилов и западников<sup>4</sup>.

Позицию “Москвитянина” в отношении славянизмов и архаизмов выражал С. П. Шевырëв. Вступаясь за местоимения, “этих мучеников”, Шевырëв полагает, что, следуя правилу “пишите, как говорят”, в обычной речи и в журнальной статье часто употреблять местоимение *сей* неуместно. Но из языка поэзии его нельзя изгнать и заменить “неблагозвучным” *этот*, как и из научного стиля: “Из самого языка прозы ученой нельзя никак изгнать этого местоимения. Дело в том, что у нас и литературный язык должен действовать также на разговорный” [ШЕВЫРËВ 1842: 169]. Местоимение *сей*, по его мнению, еще может проникнуть в разговорный язык. Что же касается местоимения *оний*, то и без него в литературном языке не обойтись, поскольку оно, по мнению С. П. Шевырëва, опирающегося на устаревшие грамматические представления, указывает на более отдаленный предмет.

Но к концу 40-х годов и в “Москвитянине” местоимения *сей* и *оний* воспринимаются как неуместные в литературном языке. Например, в статье Д. Голохвастова “Голос в защиту русского языка” (1845 г.), открывшей полемику о языке между “Москвитянином” и “Отечественными записками”, приводится посвящение Пушкина к “Истории Пугачева”: “Драгоценной для россиян памяти Николая Михайловича Карамзина *сей* труд, гением его вдохновенный” [ГОЛОХВАСТОВ 1845: 56]. При этом

<sup>4</sup> О лингвистических взглядах славянофилов и западников, их отношении к славянизмам, просторечию, заимствованиям и к другим элементам в составе письменного литературного языка см. [ЧАПАЕВА 2007].



автор замечает: “Нельзя не согласиться, что есть что-то официальное и канцелярское в самом складе и языке этого посвящения, написанного по Ломоносовской конструкции с заветным *сей*” [Голохвастов 1845: 57].

Местоимения *сей* и *оний* употребляются в художественных и журнальных текстах все реже, но в 60-х годах В. И. Даль сохраняет их еще в своем словаре, помечая в словарной статье местоимения *оний*, что оно “обще с местоимением *сей* изгоняется из обиходу”; но лексикограф сомневается, что от слов этих следует избавиться, ссылаясь на возможность их поэтического употребления: “но Дмитриева стих: *То сей, то оний на бок гнется*, и Пушкина: *Мы к оной* (грамоте) *руку приложили*, доказывают, что словечко это не лишнее” [Даль, 2: 674]. Эту же идею он высказывает еще раз, комментируя местоимение *сей*: “Нет разумной причины на изгнание местм. *сей*, заменяемое незвучным *этом*; оно осталось, впрочем, и в беседе, во многих реченьях и оборотах” [Даль, 4: 171].

Итак, спор об архаичных местоимениях, то затухая, то обостряясь, тянулся не одно десятилетие, и, как отметил Н. И. Надеждин,

сильно заблуждаются те, кто полагает, что это лишь пустая ссора *de lana carina*. [. . .] “Сей” и “оний” — это боевой клич того традиционного искусственного языка, который и сегодня еще жеманится в нашей литературе. Речь идет не просто о замене местоимений, но о том, чтобы утверждать господство национального языка, который употребляет именно эти местоимения и избегает те (цит. по: [Манн 1969: 334]).

Рефлексия по поводу местоимений *сей* и *оний*, во-первых, является отражением разного отношения к церковнославянскому языку: как к *своему* или *чужому* в русском культурном наследии. Те, кто воспринимает церковнославянский язык как свой, родной (архаисты начала XIX в., Греч, Шевырев, славянофилы 30–40-х гг.), положительно оценивают славянизмы в целом в составе русского литературного языка, и, следовательно, находят место в нем архаичным местоимениям, несмотря на их “старину”. Те, кто полагает, что церковнославянский язык — чужой, иной, нерусский (карамзинисты-новаторы, Сенковский, Надеждин, Белинский, западники 30–40-х гг.), к архаичным славянизмам относятся негативно, выступая за их исключение из литературного языка, и в конкретном случае — за исключение местоимений *сей* и *оний*.

Во-вторых, в спорах о местоимениях находят отражение различные подходы к проблеме соотношения книжного письменного языка и разговорного в рамках общенационального языка. Известный принцип карамзинистов “писать, как говорят, и говорить, как пишут” поддерживается Сенковским и Надеждиным, делая их яростными противниками архаизмов-славянизмов, так как они неупотребительны в разговорной

речи, следовательно, не уместны и в письменном языке. С другой стороны, сторонники идеи о противопоставленности письменного и разговорного языка (архаисты, Пушкин, поздний Белинский) постепенно приходят к мысли о том, что местоимения *сей* и *оный* не входят в ту группу славянизмов, которые уже усвоены русским языком (например, поэтическим), и, обладая стилистической маркированностью, создают богатство стилей литературного письменного языка.

Таким образом, рефлексия по поводу состава письменного языка, его генетической характеристики и стилистических свойств повлияла на изменение по крайней мере одного из элементов языковой системы.

### Библиография

Белинский, 1–13

Белинский В. Г., *Полное собрание сочинений*, 1–13, Москва, 1953–1959.

Булгарин 1836

Булгарин Ф. [Б.], "Образчик разговорного языка", *Северная пчела*, 270, 1836, 1079–1080.

Винокур 1959

Винокур Г. О., *Избранные работы по русскому языку*, Москва, 1959.

Воейков 1808

Воейков А. Ф., "Мнение беспристрастного о способе сочинять книги и судить о них", *Вестник Европы*, 18, 1808, 115–123.

Востоков 1831

Востоков А. Х., *Русская грамматика, по начертанию его же сокращенной грамматики полнее изложенная*, С.-Петербург, 1831.

Гаспаров 1999

Гаспаров Б. М., *Поэтический язык Пушкина как факт истории русского литературного языка*, С.-Петербург, 1999.

Гоголь 1952

Гоголь Н. В., "О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 годах", in: *ИДЕМ, Полное собрание сочинений*, 8: *Статьи*, Москва, Ленинград, 1952, 156–176.

Голохвастов 1845

Голохвастов Д. [Д], "Голос в защиту русского языка", *Москвитянин*, 11, 1845, 47–134.

Греч 1827

Греч Н. И., *Пространная русская грамматика*, С.-Петербург, 1827.

——— 1838

Греч Н. И., *Литературные пояснения*, С.-Петербург, 1838.

——— 1840

Греч Н. И., *Чтения о русском языке*, 2, С.-Петербург, 1840.

Григорьева 1953

Григорьева А. Д., "К истории местоимений *сей* и *оный* в русском литературном языке начала XIX в. (*Сей* и *оный* у Пушкина)", *Труды Института языкознания*, 2, 1953, 137–197.

Грот 1901

Грот Я. К., "Фонвизин, разбор сочинения князя Вяземского (1848)", in: *ИДЕМ, Труды*, 3: *Очерки из истории русской литературы (1848–1893)*, С.-Петербург, 1901, 73–92.

Даль, 1–4

Даль В. И., *Толковый словарь живого великорусского языка*, 1–4, Москва, 1955–1956.

Даль 1842

КАЗАК ЛУГАНСКИЙ [Даль В. И.], “Полтора слова о нынешнем русском языке”, *Москвитянин*, 2, 1842, 532–556.

КОРАБЛИНСКИЙ 1834

КОРАБЛИНСКИЙ А., “За коренные русские православные местоимения *сей* и *оний*”, *Литературные прибавления к Русскому инвалиду*, 54, 1834, 427–429.

ЛОМОНОСОВ 2011

ЛОМОНОСОВ М. В. “Труды по филологии (1739–1758)”, in: ИДЕМ, *Полное собрание сочинений*, 7, Москва, С.-Петербург, 2011.

ЛОТМАН, УСПЕНСКИЙ 1996

ЛОТМАН Ю. М., УСПЕНСКИЙ Б. А., “Споры о языке в начале XIX в. как факт русской культуры: «Происшествие в царстве теней, или Судьбина российского языка» — неизвестное сочинение Семена Боброва”, in: Б. А. УСПЕНСКИЙ, *Избранные труды*, 2: *Язык и культура*, Москва, 1996, 411–572.

МАНН 1969

МАНН Ю. В., “Статья Надеждина на немецком языке”, *Известия АН СССР. Серия литературы и языка*, 28/4, 1969, 330–338.

НАДЕЖДИН 1972

НАДЕЖДИН Н. И., *Литературная критика. Эстетика*, Москва, 1972.

ПУШКИН 1951

ПУШКИН А. С., “Письмо к издателю” in: ИДЕМ, *Полное собрание сочинений*, 7: *Критика и публицистика*, Москва, Ленинград, 1951, 435–442.

РЕЙ, ДЕЛЕСАЛЬ 1983

РЕЙ А., ДЕЛЕСАЛЬ С., “Проблемы и антиномии лексикографии”, in: *Новое в зарубежной лингвистике*, 14: *Проблемы и методы лексикографии*, Москва, 1983, 261–300.

СЕНКОВСКИЙ, 1–9

СЕНКОВСКИЙ О. И., *Собрание сочинений Сенковского (барона Брамбеуса)*, 1–9, С.-Петербург, 1858–1859.

ТОЛСТОЙ 1992

ТОЛСТОЙ Н. И., “Взгляды А. Н. Пыпина на историю русского литературного языка (Страничка из истории русской лингвистики)”, in: W. MOSKOVICH ET AL., eds., *Russian Philology and History: In Honour of Professor Victor Levin*, Jerusalem, 1992, 156–169.

ТОМАШЕВСКИЙ 1959

ТОМАШЕВСКИЙ Б. В., *Писатель и книга: Очерк текстологии*, Москва, 1959.

УСПЕНСКИЙ 1975

УСПЕНСКИЙ Б. А., *Первая русская грамматика на родном языке (Доломоновский период отечественной русистики)*, Москва, 1975.

ФОНВИЗИН 1959

ФОНВИЗИН Д. И., “Недоросль”, in: ИДЕМ, *Собрание сочинений в двух томах*, 1, Москва, Ленинград, 1959, 105–176.

ХАБУРГАЕВ 1990

ХАБУРГАЕВ Г. А., *Очерки исторической морфологии русского языка. Имена*, Москва, 1990.

ЧАПАЕВА 2007

ЧАПАЕВА Л. Г., “Культурно-языковая ситуация в России 1830–1840-х гг. в контексте споров славянофилов и западников” (автореф. дисс. . . . доктора филологических наук, Москва, 2007).

ШЕВЫРЕВ 1842

ШЕВЫРЕВ С. П., "Взгляд на современную русскую литературу. Статья вторая. Сторона светлая (Состояние русского языка и слога)", *Москвитянин*, 3, 1842, 153–191.

## References

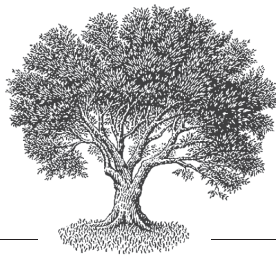
Gasparov B. M., *Poeticheskii iazyk Pushkina kak fakt istorii russkogo literaturnogo iazyka*, St. Petersburg, 1999.Grigoryeva A. D., "K istorii mestoimenii *sei* i *onyi* v russkom literaturnom iazyke nachala XIX v. (*Sei* i *onyi* u Pushkina)," *Trudy Instituta iazykoznanii*, 2, 1953, 137–197.Khaburgaev G. A., *Ocherki istoricheskoi morfologii russkogo iazyka. Imena*, Moscow, 1990.Lotman Yu. M., Uspenskij B. A., "Spory o iazyke v nachale XIX v. kak fakt russkoi kul'tury: 'Proisshestvie v tsarstve tenei, ili Sud'bina rossiiskogo iazyka' — neizvestnoe sochinenie Semena Bobrova," in: B. A. Uspenskij, *Izbrannye trudy*, 2, Moscow, 1996, 411–572.Mann Yu. V., "Stat'ia Nadezhdina na nemetskom iazyke," *Izvestiia AN SSSR. Seriya literatury i iazyka*, 28/4, 1969, 330–338.Rey A., Delesalle S., "Проблемы и антиномии лексикографии," in: *Novoe v zarubezhnoi lingvistike*, 14, Moscow, 1983, 261–300.Tolstoy N. I., "Vzgliady A. N. Pypina na istoriiu russkogo literaturnogo iazyka (Stranichka iz istorii russkoi lingvistiki)," in: W. Moskvich et al., eds., *Russian Philology and History: In Honour of Professor Victor Levin*, Jerusalem, 1992, 156–169.Tomashevskiy B. V., *Pisatel' i kniga: Ocherk tekstologii*, Moscow, 1959.Uspenskij B. A., *Pervaya russkaia grammatika na rodnom iazyke (Dolomonosovskii period otechestvennoi rusistiki)*, Moscow, 1975.Vinokur G. O., *Izbrannye raboty po russkomu iazyku*, Moscow, 1959.доц. **Любовь Георгиевна Чапаева**, д. филол. наукМосковский педагогический государственный университет, Институт  
филологии, профессор кафедры общего и прикладного языкознания  
119991 Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1, стр.1

Россия/Russia

lg4@mail.ru

Received December 13, 2016





Un précepteur éclairé  
à l'épreuve :  
Frédéric-César de  
La Harpe à la Cour  
impériale de Russie  
(1783-1795)\*

**Andrei Yu. Andreev**

Université d'État Lomonossov  
de Moscou  
Moscou, Russie

**Danièle Tosato-Rigo**

Université de Lausanne  
Lausanne, Suisse

“Закалка для  
просвещенного  
воспитателя”:  
Фредерик-Сезар Лагарп  
при российском  
императорском дворе  
(1783–1795)

**Андрей Юрьевич Андреев**

Московский государственный  
университет им. М. В. Ломоносова  
Москва, Россия

**Даниэль Тозато-Ригго**

Лозаннский университет  
Лозанна, Швейцария

Abstract

Des nombreux maîtres qui veillèrent dès sa tendre enfance à son éducation, Alexandre Ier a rendu un hommage particulier à l'un d'entre eux, Frédéric-César de La Harpe (1754-1838) qui, après l'avoir initié à la langue française, lui enseigna la géographie, l'histoire, l'arithmétique et la géométrie, ainsi que les rudiments de la philosophie. L'historiographie s'est plu à voir dans le Suisse un heureux « élu » de Catherine II, appelé par elle à faire l'éducation d'Alexandre et dûment

\* Cet article s'inscrit dans le cadre du projet « Educating Russia's Princes. Swiss Enlightened Tutors at the Court of Catherine the Great », soutenu par le Rossijskij Fond Fundamental'nyx Issledovanij (RFFI, № 16-21-41001) et le Fonds National Suisse de la recherche scientifique (FNS, IZLR\_163860).

récompensé de ses efforts. La présente contribution revient sur les coulisses de ce long préceptorat (1783-1795) qui fut dans les faits moins idyllique que son évocation postérieure pourrait le faire croire. Elle esquisse, sur la base de documents inédits trouvés dans les archives suisses et russes, en croisant l'histoire des pratiques avec celle des idées et des représentations, un tableau plus complexe du parcours de l'éducateur ainsi que du cadre de son activité, la cour russe. La Harpe a-t-il vraiment opté pour le métier de précepteur ? Est-ce véritablement sur l'invitation de Catherine II que le Suisse est parvenu à ses fonctions ? Dans quelle mesure son enseignement concrétisait-il les vœux de la tsarine ? Et enfin, comment le Suisse ressentait-il sa situation à la cour, définitivement érigée après 1814 en « success story » ? En apportant des éléments de réponses à ces questions, l'article met en évidence les divers concours de circonstances qui amenèrent le républicain suisse à la cour et lui permirent d'y rester, les difficultés qu'il y rencontra malgré le soutien réitéré de Catherine II, soutien que la tsarine lui retira au moment où il s'y attendait le moins, enfin, les tensions permanentes entre idéal pédagogique et exercice du métier au quotidien.

### Mots clefs

éducation, Lumières, Russie, Suisse, Alexandre I, Catherine II, La Harpe

### Резюме

Среди всех педагогов, занимавшихся воспитанием и обучением Александра I с раннего детства, неизменно выделяется фигура швейцарца Фредерика-Сезара Лагарпа (1754–1838), который преподавал будущему императору сначала французский язык, затем также и географию, историю, арифметику с геометрией и начала философии. Историографическая традиция рассматривает Лагарпа в роли счастливого “избранника” Екатерины II, приглашенного ею на роль наставника Александра и надлежащим образом вознагражденного за свои труды. Данная статья позволяет заглянуть за кулисы долгого учебного процесса (1783–1795) и вскрывает картину менее идиллическую, чем она воспринималась впоследствии. Документы, обнаруженные в швейцарских и российских архивах, позволяют вскрыть сложности и противоречия, связанные с деятельностью Лагарпа в России и с воплощением на практике его педагогических идей в столкновении с условиями жизни при русском дворе. Действительно ли Лагарп стремился к ремеслу воспитателя? Было ли его вступление в должность следствием приглашения Екатерины II? В какой степени его идеи конкретизировали общие замыслы императрицы по воспитанию внуков? Как сам швейцарец оценивал свое положение при дворе (которое лишь после 1814 г. было представлено всем как “успешное”)? Отвечая на эти вопросы, статья анализирует различные свидетельства о сложном стечении обстоятельств, приведшем Лагарпа к русскому двору, о моральных и материальных трудностях, которые он там переживал, о степени его поддержки со стороны Екатерины II, в которой он так нуждался (но которой лишился в критический момент своей карьеры), о постоянном расхождении между его педагогическим идеалом и возможностями его применения в повседневной жизни.

### Ключевые слова

воспитание, Россия, Швейцария, просвещение, Александр I, Екатерина II, Лагарп

« Tout ce que je suis et tout ce que, peut-être, je vaux, c'est à Monsieur La Harpe que je le dois », déclarait au printemps 1814 Alexandre I<sup>er</sup> au roi de Prusse : cette citation [SCHNEIDER 1888, 3: 224-225], destinée à faire fortune par la suite, affirmait, outre l'attachement de l'ancien disciple à celui qui avait été des années durant son maître, le Suisse Frédéric-César de La Harpe, le succès d'un idéal pédagogique. Le précepteur était parvenu à façonner durablement son élève, ou, pour le moins, à lui transmettre un certain nombre de principes et de valeurs dont le tsar aimait à se réclamer. De son côté, La Harpe ne manqua pas de faire de sa qualité d'éducateur d'Alexandre son titre le plus cher et le plus glorieux.

De nombreux historiens ont souligné par le passé que l'activité pédagogique de La Harpe en Russie n'avait été possible que grâce à l'idée précise que Catherine II, en suivant les idées des Lumières, s'était faite de l'éducation de ses petits-fils Alexandre et Constantin. C'est dans cette perspective qu'elle aurait réuni des enseignants compétents, choisissant pour précepteur principal La Harpe, connu pour ses idées libérales<sup>1</sup>. Cette interprétation fait de La Harpe celui qui conduisit le « projet éclairé » de Catherine II et le mena à bien. Elle lui suppose évidemment une place d'honneur, solidement établie, à la cour de Russie à la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle.

La présente contribution se penche sur les coulisses de cette scène idyllique en s'appuyant sur de nouvelles sources historiques liées à l'activité de La Harpe, dont l'exploitation scientifique n'est qu'à ses débuts. Il s'agit en premier lieu des nombreuses lettres que le Suisse a adressées de S.-Petersbourg entre 1783 et 1795, alors qu'il s'occupait de l'instruction des petits-enfants de Catherine II, à ses parents et amis proches ; il s'agit en second lieu de l'important ensemble de lettres de la même période à son supérieur, le comte Nicolaï Saltykov, qui témoignent sans détours de l'atmosphère dans laquelle se déroula l'activité du Suisse à la cour de Russie. Les copies de ces lettres ont été pourvues des années plus tard par La Harpe de notes de caractère mémoriel qui se révèlent très précieuses pour comprendre les faits<sup>2</sup>. L'ensemble de ces documents, mis en contexte, apporte, comme nous souhaitons le montrer, un nouvel éclairage sur plusieurs questions qui seront successivement abordées dans les lignes qui

<sup>1</sup> Les circonstances générales du préceptorat de F.-C. de La Harpe en Russie ont été traitées de nombreuses fois, en particulier dans l'étude fondamentale que lui a consacré Mikhail Soukhomlinov [СУХОМЛИНОВ 1871], dans l'édition de la correspondance en langue française de La Harpe avec Alexandre I<sup>er</sup> et la famille impériale de Russie [BIAUDET, NICOD 1978-1980] et dans quelques travaux récents [РЫЖЕНКОВ 2009; STROEV 2011; REY 2011; EADEM 2013].

<sup>2</sup> La correspondance de La Harpe avec le gouverneur Saltykov vient d'être publiée (traduite en russe) par nos soins [АНДРЕЕВ, ТОЗАТО-РИГО 2014: 172-278]; celle adressée au cousin et ami de La Harpe Henri Polier l'est sur le site de l'université de Lausanne : <http://lumieres.unil.ch/>. Des extraits de cette correspondance ont paru dans la *Revue historique vaudoise* de 1971.

suivent. Ainsi, pour commencer, La Harpe a-t-il vraiment opté pour le métier de précepteur ? Est-ce véritablement sur l'invitation de Catherine II que le Suisse est parvenu à ses fonctions ? Dans quelle mesure son enseignement concrétisait-il les vœux de la tsarine ? Et enfin, comment le Suisse ressentait-il sa situation à la cour, définitivement érigée après 1814 en « success story » ? En d'autres termes, il s'agira, en croisant l'histoire des pratiques avec celle des idées et des représentations, d'esquisser un tableau à la fois plus différencié et plus complexe du préceptorat de Frédéric-César de La Harpe à la cour de Russie.

### De Rolle à S.-Pétersbourg

Frédéric-César de La Harpe est né à Rolle, dans la province francophone de la République de Berne (Pays de Vaud). Il est issu d'une famille noble dont certains membres siégeaient dans les conseils de la ville. Le jeune homme prépara, moins par vocation que pour répondre aux attentes paternelles, un doctorat en droit qu'il acheva à l'université de Tübingen en 1774. Il obtint la patente d'avocat à la cour suprême des appellations romandes – la plus haute instance juridique de la province – et siégea dès 1780 au conseil général (Conseil des Deux-Cents) de la ville de Lausanne. A l'âge de vingt-six ans il était déjà parvenu au sommet de la carrière juridique et aux charges urbaines, dont il pouvait espérer gravir les échelons. Pourquoi dès lors repartir à zéro et se tourner vers la lointaine Russie ?

La réponse tient autant à l'évolution personnelle du Suisse qu'à une suite de hasards. La Harpe, acquis au système représentatif et aux idées de Rousseau, à quelques réserves près<sup>3</sup>, supportait mal l'inégalité des droits qui prévalait dans la République de Berne d'Ancien Régime, comme dans l'ensemble de la Confédération suisse. Lorsque, durant une séance de la cour suprême des appellations, un magistrat bernois l'exhorta « à ne pas oublier sa qualité de sujet », profondément humilié, le Vaudois commença à songer sérieusement à quitter le Pays de Vaud, d'autant plus que le barreau ne le passionnait guère. Lecteur insatiable, féru de philosophie et de mathématiques qu'il avait étudiées pendant deux ans à l'Académie de Genève, il était avant tout un homme de lettres.

C'est alors que le hasard s'en mêla. Les faits nous font remonter à Voltaire, qui avait recommandé à Catherine II un jeune Suisse aspirant à la carrière

<sup>3</sup> Dans les marginalia aposées à son exemplaire de *La Nouvelle Héloïse*, le noble La Harpe s'oppose notamment à la thèse de Rousseau selon laquelle la noblesse était l'ennemie des lois et de la liberté et ne pouvait qu'opprimer les peuples : « Rousseau se trompe ici [...]. Il est vrai que les plus rudes attaques furent portées à la Liberté de nos Pères par la Noblesse, mais il n'est pas moins vrai que plusieurs Nobles se distinguèrent aussi pour une aussi belle cause, par leur désintéressement, aux dépenses de leur sang et de leur fortune : plusieurs de nos Républiques n'ont même été soutenues que par les résolutions généreuses de cette Classe » [KOPANEV 2006: 22].



militaire, Jean-François de Ribaupierre<sup>4</sup> avec lequel La Harpe était lié d'amitié. Fils du châtelain du château de Prangins, qui est situé à proximité de Genève et dans lequel Voltaire avait résidé quelques mois, Ribaupierre s'était lié d'amitié d'abord avec Stepan Stepanovitch Apraxine, qu'il avait rencontré lors de ses études à Leyden, puis avec le fils aîné du général Bibikov. Muni de la précieuse recommandation du « patriarche de Ferney », il épousa en 1779 la fille du général, Agrafena Alexandrovna Bibikova, qui était aussi demoiselle d'honneur de Catherine II. Ce mariage lui donna accès à l'entourage immédiat de l'impératrice. Sur recommandation de Ribaupierre, son compatriote et ami, La Harpe se vit confier une mission délicate : détourner Iakov Lankoï, le plus jeune frère du nouveau favori de Catherine II Alexandre Dimitrievitch Lankoï, des bras d'une aventurière qu'il avait rencontrée à Dresde et qu'il semblait prêt à épouser à Paris. De concert avec son correspondant permanent à Paris, Grimm, qui était au courant de l'affaire, Catherine II avait formé le plan d'envoyer le jeune homme de dix-sept ans en Suisse puis en Italie en compagnie d'un cousin venu à la rescousse depuis St-Petersbourg, Vassiliï Lankoï [STROEV 2011: 24–25]. La Harpe les accompagna comme mentor et guide, avec pour mission d'empêcher tout contact entre Iakov et « Lenchen » (nom donné par Catherine II à l'inconnue) et de tout mettre en œuvre pour guérir ce dernier de sa « maladie amoureuse ».

Informée au fur et à mesure des détails du voyage par les rapports et lettres que La Harpe et les Lankoï envoyaient à Grimm, Catherine II se montra très satisfaite de l'influence que La Harpe exerça sur le jeune Lankoï, et demanda qu'il le ramène dans la capitale, ce dont elle informait Grimm dans une lettre du 4 mars et du 1<sup>er</sup> avril 1782 [ГРОТ 1878: 229-230, 232]. Le général Lankoï écrivait de son côté au Vaudois pour l'inviter à S.-Petersbourg, l'assurant de sa bienveillance [La Harpe J 124]. Pendant le trajet qui le conduisait à la capitale, La Harpe réfléchissait à son avenir. Il ne songeait à l'évidence nullement au préceptorat, mais à l'alternative qui se posait alors aux jeunes gens de son milieu : affaires politiques ou carrière militaire ? Voici comment, depuis Vienne, il expliquait son point de vue sur la question à son ami Henri Polier :

Je préférerais, il est vrai, le parti des affaires politiques au parti militaire, toutes choses d'ailleurs égales, parce que le 1<sup>er</sup> a plus de rapport aux études particulières que j'ai faites et à mon système de conduite et de morale, parce que je serais plus

<sup>4</sup> La littérature secondaire relative à Ribaupierre se limite au « Русский биографический словарь », à la brève notice du *Dictionnaire biographique des Genevois et des Vaudois qui se sont distingués dans leur pays ou à l'étranger* d'Albert de Montet (publiée en 1877–1878 et reprise inchangée des dictionnaires plus récents), ainsi qu'à l'étude de PAUL-LOUIS BADER [1932]. L'édition et l'étude de sa correspondance de Russie conservée au Musée national suisse – Château de Prangins, a été réalisée par Elise Forestier dans le cadre de son mémoire de master [FORESTIER 2017].

assuré d'y faire mon chemin, et de me rendre utile et parce que cette route me mettrait plus en état de voir réaliser quelques-unes de mes idées. Quant au parti militaire, quoique j'ai fait sans le savoir quelques études préparatoires, ayant cultivé si longtemps les mathématiques, je ne puis dire qu'il m'inspire aujourd'hui un grand désir de l'embrasser [*La Harpe H 37*, 11.01.1783].

### Créer sa propre place

Arrivé à S.-Petersbourg à la fin du mois de février 1783, La Harpe fut fort bien accueilli par Alexandre Lanskoï, qui lui sut gré de sa « mission pédagogique ». Le général le présenta à Catherine II qui n'ignorait aucun détail du « sauvetage » de Iakov Lanskoï et qui le couvrit apparemment d'éloges [*La Harpe G.Aa 52*, f. 1-2]. Pourtant, les jours passaient, et quoiqu'il ait « baisé la main de Sa Majesté [Catherine II] et de la Grande-Duchesse », comme il s'empressait de le signaler à son ami Henri Polier [*La Harpe H 37*, 11.01.1783], La Harpe ne voyait venir aucune des ouvertures espérées. On semblait l'avoir purement et simplement oublié. Sans ressources financières, logé chez son ami Ribaupierre, il décida alors de céder aux instances de son ami Polier qui l'appela à remplacer son frère à des conditions économiquement avantageuses comme précepteur des enfants d'un parlementaire irlandais, Lord Tyrone.

Mais à peine sa décision fût-elle communiquée à Lanskoï et au comte Alexandre Vorontsov, haut dignitaire éclairé de la cour, qu'une proposition parvenait à La Harpe. On lui offrait « une place dans l'établissement qu'on formait pour l'éducation de ses petits fils ». Cette fois encore, un compatriote s'était révélé d'une grande utilité. Il s'agit du Vaudois Daniel-Louis Frossard de Saugy, beau-frère de Ribaupierre et secrétaire de Vorontsov. Il est à l'origine de l'entretien entre le comte et La Harpe qui déboucha sur sa nomination.

Pourtant, plusieurs mois s'écoulèrent sans qu'il ne se passe rien. Saltykov était retenu hors de S.-Petersbourg par des affaires personnelles, et même les rappels réitérés que lui adressa Catherine II, par lettres du 22 avril et du 4 septembre 1783, ne purent accélérer la mise en place de l'équipe éducative [ЕКАТЕРИНА 1864: 944–945]. Ce n'est que le 13 mars 1784 que l'impératrice signait l'oukaze d'instructions (« Наставления ») pour l'éducation des grands-ducs [*Госархив II-1-115*] (publiée dans : [ЕКАТЕРИНА 1880: 301–330] ; la copie en français, de la main de La Harpe : [*Зимний дворец 1-290*, л. 1–26]). En six parties, ces dernières fixaient un ensemble de règles et de principes pédagogiques inspirés par Locke et Rousseau selon lesquels, sous la direction de Saltykov, les maîtres devaient développer physiquement et moralement les petits-fils de la tsarine [PLAVINSKAIA 2003]. Dans une lettre à Grimm, Catherine II énumérait les personnes qui donneraient vie à ce programme, au nombre desquelles La Harpe était mentionné comme « l'un de ceux qui seraient présents auprès d'Alexandre avec ordre exprès de s'entretenir avec lui en français »

[Грот 1878: 297]. Une place bien modeste, trop modeste aux yeux de La Harpe, qui prit alors l'initiative d'élaborer lui-même sous la forme d'un copieux mémoire pédagogique l'éventail d'activités qu'il visait [*La Harpe H 42,1*]<sup>5</sup>.

Ce mémoire, que La Harpe transmit le 10 juin 1784 à Saltykov pour être lu par l'impératrice, développait en près de vingt-cinq pages les matières qu'il convenait d'enseigner à Alexandre. Recommandant l'éducation d'un souverain éclairé prônant l'égalité entre les hommes et aspirant à faire le bonheur de son peuple, il mettait en avant le fait que le futur monarque russe ne devait nullement ressembler à un savant, dans quelque domaine que ce soit, mais « être honnête homme et citoyen éclairé et savoir de tous ces objets ce qu'il en faut pour estimer ce qu'ils valent et pour n'être pas exposé à ignorer les devoirs auxquels il est tenu comme prince d'une monarchie où sa volonté seule décidera du bonheur ou du malheur de plusieurs millions d'hommes » [*La Harpe H 42,1, f. 22*]. Ses principes s'accordaient parfaitement avec ceux que Catherine II affichait en se faisant le chantre de l'égalité naturelle [LORTHOLARY 1951: 102; ШИЛЬДЕР 1897: 27] et avec le texte de ses « Instructions ». Le Mémoire fournissait même une sorte de complément à ces dernières, qui ne développaient guère de programme d'enseignement.

S'estimant capable d'enseigner à la fois l'histoire universelle, la littérature, la géographie et la philosophie, La Harpe concluait son texte par un appel à peine déguisé à ne pas être cantonné à la langue française, auquel Catherine II répondit dans la marge du texte : « Celui qui a composé cet écrit paraît assurément capable d'enseigner plus que la seule langue française » [*La Harpe H 42,1, f. 22*]. L'impératrice ayant passé quasiment tout le mois de juin 1784 avec Lanskoï, le Suisse dut incontestablement une part de la promotion qui suivit quelques jours plus tard, avec son inclusion dans le groupe des instituteurs des grands-ducs, à son protecteur.

De ce qui précède il ressort en premier lieu que Catherine II, contrairement à sa manière de procéder avec d'Alembert, par exemple, auquel elle avait cherché bien des années auparavant à confier l'éducation de son fils Paul [LORTHOLARY 1951: 88-93], n'a nullement recherché comme futur éducateur pour ses petits-fils tout spécialement La Harpe. Au cours des premières semaines de son séjour à S.-Pétersbourg, le Suisse a commencé par recevoir son lot de compliments pour le « sauvetage » du jeune Lanskoï avant d'être oublié et de songer à quitter la Russie où il ne comptait plus trouver une place honorable (n'étant, comme il l'écrivait lui-même, « pas assez connu » pour cela). Plutôt que par le « projet éclairé » de la souveraine, la nomination du Suisse fut suscitée, de

<sup>5</sup> La Harpe a obtenu de conserver le document original apostillé par Catherine II [*La Harpe H 42,1*]. E. SCHNEIDER [1902: 235-267] l'a publié en reproduisant la transcription du texte original établie par Sukhomlinov [СУХОМЛИНОВ 1871: 143-164].

façon beaucoup plus traditionnelle, par la protection d'un puissant, le favori de Catherine II A. D. Lanskoï (« mon seul Protecteur » écrira La Harpe), qui lui procura d'abord un poste à la cour, puis celui de précepteur des grands-ducs Alexandre et Constantin. Dans l'une des remarques plus tardives apportées à ses écrits pédagogiques, La Harpe le souligne : « Quelques jours après, le Général Alexander Dmitrievitsch Lanskoï, favori de Catherine II, qui me voulait du bien, me prit à part pour me féliciter du jugement favorable porté sur moi par l'impératrice. Cet événement fut un heureux hasard » [*La Harpe H 42,1*, f. 1]. Le Suisse contribua lui-même à cet heureux concours de circonstances, en y employant tous ses efforts, n'hésitant pas à recourir à ses compatriotes de S.-Pétersbourg.

Certes, Catherine II appréciait la vision pédagogique déployée par La Harpe dans son mémoire du 10 juin 1784. Ceci dit, là encore, le témoignage du principal concerné est fort instructif, car il confirme non seulement que l'initiative vint de son côté, mais qu'elle fut couronnée de succès. C'est bien lui, écrit La Harpe, qui a élaboré, en pensant à lui-même, l'éventail des enseignements qui devait lui permettre d'occuper une position centrale dans l'éducation des petits-fils de Catherine II, ou, en d'autres termes, de « créer la place qui lui convenait dans la nouvelle organisation » [*La Harpe G.Aa 52*, f. 4]. Enfin, il apparaît que pour le Suisse la perspective encore très nébuleuse d'éduquer des membres de la famille impériale – potentiels dirigeants d'une grande puissance – l'emportait sur tous les avantages matériels qui lui étaient promis dans d'autres pays.

### Investissement didactique

Pendant ces longs mois d'attente, soucieux d'être à la hauteur du rôle qu'il espérait jouer auprès des grands-ducs, La Harpe s'était mis à apprendre le russe. Il dévorait les ouvrages d'éducation conseillés par son mentor rollois, le juriste Jean-Marc-Louis Favre, qui l'avait déjà suivi dans ses études de droit à Tübingen et avait mis à sa disposition sa vaste bibliothèque. Selon Favre « dans plus de 20000 volumes imprimés depuis 1760 il n'y a peut-être rien de bon qu'on ne trouve imprimé dans Locke », dont Condillac était le « disciple en tout ». Une leçon que La Harpe retiendra pleinement. Son compatriote avait aussi attiré son attention sur *Adèle et Théodore* de Mme de Genlis, paru en 1782 (« beaucoup de bonnes choses bien exprimées, surtout beaucoup de dextérité ! ») ou encore sur le *Nouveau Robinson* de Campe [*La Harpe J 72*, 3.12.1783]. Aidé par lui, La Harpe se constitua ce qu'il appela « une bibliothèque consultative ». Elle comprenait également les vies de Plutarque, divers préceptes tirés des Anciens, plusieurs chapitres de Montaigne, l'*Emile* de Rousseau, et l'*Essai sur l'éducation nationale* de Le Chalotais. C'est, de fait, un véritable système qu'il élaborait dans la perspective de sa future tâche éducative : un système dans lequel

l'observation – en parfaite conformité avec les idées de Locke – jouerait un rôle central<sup>6</sup>.

L'apprentissage de la langue française aux grands-ducs, qui avaient eu des gouvernantes anglaises, n'en constitua pas moins, malgré les hautes ambitions de La Harpe, la première étape de son enseignement. Si Alexandre, capable après quelques mois déjà d'écrire un grand nombre de termes français, commettait beaucoup de fautes d'orthographe, c'était en partie dû à la méthode même de La Harpe, qui encourageait ses élèves à écrire de façon autonome plutôt qu'à recopier, comme il s'en justifie auprès de Saltykov le 10 juillet 1785 [*La Harpe H* 42,2], et l'explique avec davantage de détails dans une lettre à J.-M.-L. Favre du 8 août 1785 [LA HARPE 1896: 303–306]. A l'en croire, la méthode choisie remporta un certain succès, puisqu'au printemps 1785 les deux enfants comprenaient déjà passablement leur maître<sup>7</sup>. Le précepteur privilégiait – contrairement à ce qui lui a fréquemment été reproché – comme le suggérait Locke, et Rousseau après lui, l'approche la plus concrète possible. Ainsi, en 1786, soit après deux ans d'enseignement du français, il écrivait qu'il s'était « imposé la gêne d'user de circonlocutions toutes les fois qu'il a été question de termes techniques dont l'explication ne pourrait pas être bien entendue » [ДУРОВ 1870: 156]. De même, l'enseignement de la géographie, qu'il commença alors que ses élèves avaient respectivement sept et huit ans, reposait sur l'observation de cartes et de lieux, à commencer par les plus proches : Tsarskoe Selo, leur résidence, avec le palais impérial et son parc, puis S.-Pétersbourg, suivie de l'ensemble du district (ou « gouvernement »), des districts avoisinants, auxquels vinrent s'ajouter les autres parties de l'empire russe, puis enfin les pays étrangers avec leurs mers, rivières, massifs montagneux et capitales [LA HARPE 1896: 304]. L'information historique, véhicule de morale, s'insérait au fur et à mesure, et de plus en plus systématiquement, dans la présentation des divers pays. A partir de juin 1785, La Harpe commença également à enseigner aux grands-ducs les mathématiques, pratiquement à partir de zéro. En l'espace d'une année Alexandre se montra capable d'effectuer les quatre opérations, et Constantin apprit la table des multiplications. La Harpe s'attela alors à la géométrie avec Alexandre. Selon le rapport du précepteur, ils en étaient déjà arrivés à la fin de l'année 1790 à des opérations complexes incluant la multiplication des racines.

<sup>6</sup> Cet aspect est analysé plus en détail dans l'étude récente de V. Rjéoutski et N. Vochtchinskaïa [RJEOUTSKI 2016: 201–219].

<sup>7</sup> La Harpe a rédigé des rapports hebdomadaires ainsi que des rapports annuels plus étoffés rendant compte à Saltykov, à l'intention de Catherine II, de la progression des études d'Alexandre et Constantin. Tandis que les rapports annuels de 1786, 1789 et 1790 ont été publiés [ДУРОВ 1870], des copies de plusieurs autres rapports pour la période 1785–1793 [Зимний дворец 1-290] sont demeurés inédits. L'édition critique, par nos soins, de l'ensemble des rapports conservés de La Harpe est en cours dans le cadre du projet de recherche *Educating Russia's Princes* (voir note 1).



Le vaste programme que le Suisse s'était engagé à mettre en œuvre multipliait les supports d'enseignement à réaliser. Pour l'enseignement de l'histoire, discipline maîtresse de la formation aussi bien morale que politique d'Alexandre, La Harpe coucha dans plusieurs cahiers pour les diverses périodes étudiées les événements marquants « et surtout ces hommes extraordinaires dont les vertus ou les vices, les actions méritoires et les fautes, doivent particulièrement servir à l'instruction de tout homme appelé à jouer un rôle sur le théâtre du monde » [ДУРОВ 1870: 160]. Le précepteur en tirait des dictées pour les grands-ducs<sup>8</sup>. Recopier et adapter quantité d'extraits des classiques et des meilleurs ouvrages contemporains – en français, allemand ou anglais, s'agissant par exemple du tout récent *Decline and Fall of the Roman Empire* de Gibbon, que La Harpe découvrit avec enthousiasme – devint vite une tâche épuisante [La Harpe H 33: lettre de La Harpe à Monod du 13 novembre 1784]. L'ampleur du travail contraignit l'éducateur à renoncer à divers projets d'écriture qui lui tenaient à cœur, dont une histoire de la Suisse.

Fidèle à ses principes, La Harpe observait de près ses élèves. Il en tirait des conclusions sur les qualités d'Alexandre (« de la sagacité, la conception facile et de la mémoire ») comme sur ses défauts (tel « le penchant à éviter tout ce que lui donne quelque peine », et « l'habitude de mêler les jeux aux occupations sérieuses » [ДУРОВ 1870: 162–166]) et ceux de son frère Constantin. Suivant les pratiques éducatives popularisées par les philanthropinistes allemands, et à l'instar des gouvernantes suisses de ses sœurs, Jeanne Huc-Mazelet et Esther Monod-Rath, La Harpe pratiquait l'écriture éducative [ТОЗАТО-РИГО 2014: 32–33] : inattention, distraction ou paresse manifestes devaient être rapportées par Alexandre lui-même dans des cahiers particuliers ou sur des billets que La Harpe suspendait pour l'exemple dans la salle d'étude, « comme un monument propre à l'honorer » [АНДРЕЕВ, ТОЗАТО-РИГО 2014: 119]. Un monument tout entier destiné à rappeler à l'élève que sa haute naissance ne le dispensait pas du labeur intellectuel. « Au lieu de m'encourager et de redoubler d'efforts pour profiter des années d'études qui me restent, écrit ainsi Alexandre sur un billet de 1790, je deviens de jour en jour plus nonchalant, plus inappliqué, plus incapable, et m'approche chaque jour d'avantage de mes pareils qui pensent sottement être des Perfections par cela seul qu'ils sont Princes ». Et, peu auparavant : « Après avoir appris à lire 6 ans de suite, on a été obligé de me remettre à épeler comme un enfant de 6 ans ; je n'ai donc rien appris pendant cette longue période de ma vie ; non que les facultés me manquent, mais je suis

<sup>8</sup> Les thèmes d'histoire romaine dictés aux grands-ducs en 1785 et 1786 sont conservés à la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne. Les cahiers d'Alexandre sont conservés au Musée de Pavlovsk et à la Bibliothèque nationale de Russie (S.-Pétersbourg). L'enseignement de l'histoire par La Harpe à Alexandre fait l'objet de la thèse de doctorat en cours de Matthieu Clément à l'Université de Lausanne, qui exploite ce matériau.

indolent, paresseux, et sans émulation » [Эрм. 576-4: 14 décembre 1789]<sup>9</sup>. Autant de témoignages du fait que l'impérial élève, dont les rapports du précepteur se plaisaient à signaler les progrès dans les disciplines enseignées, n'était pas toujours à la hauteur des attentes de son maître.

## Désillusions

Le précepteur d'Alexandre avait d'autres sujets de préoccupation. Nonobstant la satisfaction que la tsarine semblait tirer de son enseignement, il « luttait contre l'indigence » :

Si je racontais à d'autres personnes, qu'appeler à enseigner à deux grands princes les connaissances qui doivent former leur cœur et leur esprit, et honoré (je le crois) de la confiance de mes supérieurs, j'ai pourtant été à la veille de vendre mes effets pour vivre seulement mal à mon aise ; à coup sûr elles croiraient que je leur en impôse, et cependant j'aurais dit la vérité [La Harpe H 42,4, mars 1785].

De fait, les promesses matérielles reçues en 1783, qui comprenaient, outre 1'500 roubles d'appointements annuels dont il toucha la première année d'avance, l'assurance d'être « bien logé, nourri, chauffé, éclairé, voituré, servi, blanchi etc. » [Monod 487–512, 5.8.1783] semblaient oubliées. N'avoir pas demandé de contrat à son engagement avait été une incontestable erreur, comme le précepteur s'en aperçut. La Harpe était contraint d'économiser sur tout, y compris les repas (se contentant parfois de pain et d'eau) et l'habillement, continuant notamment à porter son habit militaire bernois. Le renouvellement de sa garde-robe, comme il l'expliquait à son ami Monod, aurait coûté l'équivalent de sa première année d'appointements. Une paire de « culottes de soie » ne revenait-elle pas à 12 roubles, le salaire qu'il devait verser à son laquais ? [La Harpe H 33, 7.5.1783] Il s'en fallut de peu pour que, poussé par la nécessité, il ne déposât sa montre, à laquelle il tenait beaucoup, au mont-de-piété. Il se vit néanmoins obligé à contracter quelques dettes. Et la fierté l'empêcha d'accepter 500 roubles que lui apportèrent les laquais des grands-ducs. « Je ferai une expérience avec la première année, précise-t-il, et comme je marque toute ma dépense, je verrai au plus juste. [...] Je préférerai de demander mon congé, plutôt que de demeurer exposé au péril de m'endetter ». [La Harpe H 33, 2.6.1784] Enfin, en mars 1785, Catherine répondait à ses demandes par une augmentation de traitement de 1'200 roubles<sup>10</sup>. La Harpe en fut reconnaissant à son supérieur et porte-parole, Saltykov, dans lequel il vit un protecteur, du moins jusqu'au moment où il s'aperçut que les rapports réguliers qu'il lui remettait sur les

<sup>9</sup> Voir aussi les « Archives de la honte » du grand duc Alexandre [Богданович 1867: 382–383; Rjéoutski 2016: 225–229].

<sup>10</sup> « L'augmentation de 1200 roubles qui m'a été accordée me tire de cette subjection abjecte dans laquelle je croupissais » [La Harpe H 33, 22.4.1785].

progrès de l'éducation des grands-ducs étaient traduits par les soins de Saltykov en russe et transmis à l'impératrice... en son propre nom [*La Harpe G.Aa 52, f. 9*].

A tout cela s'ajouta une autre source de désillusion. A son entrée en fonctions, La Harpe se retrouva cavalier au service d'Alexandre, « obligé de mener pendant plusieurs mois la vie d'un courtisan », consistant « à veiller sur la pensée, les actions, jeux et leçons du jeune homme, qu'il ne faut jamais perdre de vue, à le conduire, à le corriger » de 8 heures du matin à 9 heures le soir, « où le jeune homme se couche ». « Je fais les fonctions de précepteur sans pouvoir jouir du titre, et je me trouve être le dernier de tous les officiers attachés au Prince », se plaignait-il à Monod sept mois plus tard [*La Harpe H 33, 22.4.1785*]. Une fonction que La Harpe qualifia d'esclavage et dont il fut libéré après quelques mois, sans pour autant améliorer son statut. De toute évidence, le décès prématuré du favori de Catherine II Lanskoï l'avait privé d'un soutien précieux, comme il le releva à diverses reprises par la suite.

Membre de l'élite dans sa ville de Rolle, comme à Lausanne, La Harpe supportait mal le rang très inférieur que lui valait son grade militaire de major de milice bernoise à la cour russe. Il s'insurge régulièrement dans sa correspondance contre la logique de la Table des rangs, qui faisait la part belle à l'ancienneté, à laquelle il dut au reste sa seule promotion, en juillet 1788, au grade de lieutenant-colonel. Un conflit l'opposa aux « sous-gouverneurs » Alexandre Protassov et Karl Osten-Sacken qui, tous deux généraux, prétendaient, en tant que supérieurs hiérarchiques, inspecter son enseignement, comme il s'en plaint amèrement en août 1785 à son mentor Favre [*LA HARPE 1896: 306*] et à son ami Monod [*La Harpe H 33*]. Un autre incident qui l'affecta fut le refus qu'on opposa un an plus tard à sa demande de disposer d'un équipage convenable pour se rendre en ville [*La Harpe H 42,4*]. Loin de prendre son parti, La Harpe suit avec écœurement l'avancement des deux maîtres entrés en fonction à la cour après lui. « Cette promotion me parut relativement à moi *un passedroit notoire ainsi qu'un témoignage public de mécontentement et de disgrâce* » proteste-t-il le 2 février 1791 auprès de Saltykov qui lui fait à plusieurs reprises, mais en vain, espérer réparation [*La Harpe H 42,4*]. Même son mariage en été 1791 avec Dorothee Boehtlingk, fille d'un négociant allemand de S.-Petersbourg, n'apporta aucun changement à cette situation, comme La Harpe le souligne dans une lettre à Monod du 18 janvier 1793 [*La Harpe H 33*].

D'un côté, par l'étendue de son enseignement, La Harpe occupait une position qui dépassait clairement celle d'un instituteur. Le Suisse le mettait en avant en écrivant à Saltykov, fin 1794 :

Les fonctions que j'ai remplies auprès de Leurs Altesses Impériales n'ont jamais été celles d'un simple maître particulier. Il n'est pas douteux, au contraire, que j'ai été leur précepteur, puisque j'en ai rempli tous les devoirs, dont nul n'a été chargé que moi [*La Harpe G.Aa 52, f. 13*].

Dans ses rapports annuels La Harpe ne se bornait pas à énumérer ce qui avait été fait durant les leçons, mais se livrait à d'amples réflexions sur le caractère de ses élèves et sur les moyens de favoriser leur développement intellectuel et moral, selon une conception, là encore, très large de ses devoirs. Pourtant, d'un autre côté, La Harpe n'occupa jamais formellement la place de précepteur principal – et à vrai dire de gouverneur – d'Alexandre à laquelle il prétendait. Outre le fait que d'autres maîtres aussi connus que le géographe allemand Peter Simon Pallas ou l'écrivain Mikhaïl Mouraviev s'occupaient également d'Alexandre, le « gouverneur en chef » était bien le comte Saltykov, auquel étaient directement subordonnés les deux sous-gouverneurs ayant le grade de généraux, Protassov et Osten-Sacken. Ces derniers avaient l'obligation de se trouver en permanence l'un auprès d'Alexandre et l'autre de Constantin, et de dormir dans leur chambre. Les maîtres auxquels appartenait La Harpe représentaient une sorte de « troisième échelon » de la hiérarchie. Ils donnaient leurs leçons aux heures fixées en ne passant qu'un temps très limité avec leurs élèves. Dès lors, le fait que les rapports annuels rédigés par La Harpe aient été remis à Catherine II au nom de Saltykov – procédé que le premier qualifia d'escroquerie – entrait parfaitement dans la logique hiérarchique de la cour russe. Bien d'autres personnes du reste, outre Saltykov et les sous-gouverneurs, étaient hiérarchiquement supérieurs à La Harpe, ce qui blessait cruellement son amour-propre.

Rester ou partir ? Un dilemme résolu « en haut lieu »

À l'absence de la promotion attendue s'ajoutèrent entre 1791 et 1793 d'autres difficultés : des attaques dirigées contre La Harpe par des ennemis politiques, en majorité des émigrés français et des compatriotes. Les pamphlets que le Suisse avait publiés anonymement au lendemain de la Révolution française, de même qu'une pétition interceptée par la police bernoise demandant des réformes politiques dans la République de Berne, n'y étaient pas étrangères. Le climat de suspicion qui l'entourait amena La Harpe à interrompre la rédaction d'une étude sur l'origine des sociétés et de deux autres textes, également destinés à l'éducation des grands-ducs, commencés en 1790<sup>11</sup>.

Combien de fois La Harpe a-t-il songé à démissionner ? On ne saurait le dire. Le Vaudois évoque plusieurs fois cette perspective. Ses papiers recèlent une demande de congé datée du 26 juillet 1789 [*La Harpe H 42,2*]. Deux mois plus tôt, il écrivait à son ami Monod : « Vous n'avez aucune idée de la manière dont les hommes même constitués en dignité sont traités par leurs supérieurs ; quant à ceux qui sont dans mon grade à peine daigne-t-on les regarder, et à coup sûr on ne leur offre pas une chaise » [*La Harpe H 33: 12.5.1789*]. Au fil

<sup>11</sup> Le premier, très fragmentaire, traite du « sentiment de rectitude » [*La Harpe Db 6*] ; le second a pour titre « Quelle est l'influence de la morale des gouvernements sur celle des peuples ? » [*La Harpe Db 7*]. L'édition de ces documents inédits est en préparation par nos soins.

de sa correspondance avec ses amis, le précepteur invoque sa vocation comme antidote au découragement<sup>12</sup>. Dans la partie de ses mémoires publiée en 1804, il souligne les épreuves endurées, affirmant avoir trouvé dans les valeurs républicaines et surtout dans l'exemple des Anciens la force de rester en fonctions :

Etranger et sans protecteur, comment n'aurais-je pas éprouvé à la Cour des contradictions, des obstacles et des injustices ? Assurément j'eus ma bonne part de tout cela. [...] Lorsque, cruellement contrarié, j'étais tenté de demander mon congé, soudain je me renfermais, et consultant les anciens, le bon Plutarque en particulier, j'y trouvais soudain des consolations et des encouragements. Caton, Aratus, Philopoimen, Démosthène, Brutus, Cimon etc., auxquels des talents supérieurs, des services signalés, et d'éminentes vertus, donnaient tant de droits au bonheur, avaient été méconnus, persécutés, sans cesser pour cela de sortir de la ligne de conduite qu'ils s'étaient tracée ; et de simples contradictions, d'insignifiants passe-droits ou d'autres misères pareilles m'auraient fait renoncer à mon entreprise, lorsque par une persévérance constante il s'agissait de faire naître un meilleur avenir en faveur de 50 millions d'hommes ! [VOGEL 1864: 75-76].

Apparemment, la seule personnalité de la cour à marquer de l'estime pour les qualités et pour l'enseignement de La Harpe était la tsarine elle-même. C'est que, par définition, seules les leçons du Suisse répondaient entièrement à l'« esprit éclairé » qui inspirait les Instructions de Catherine II, un esprit auquel d'autres, et non des moindres, à l'instar du général Protassov, s'opposaient. Ce dernier note avoir tenté de réfuter les idées des Lumières insufflées par La Harpe à Alexandre, qui s'était montré favorable au principe de la « représentation du peuple » pendant la Révolution française [ПРОТАСОВ 1880: 764]. Insensible au climat d'adversité qui les entourait, Catherine II assista à diverses reprises de façon impromptue aux leçons de La Harpe, et fit des commentaires qui enthousiasmèrent le précepteur, à en juger d'après sa correspondance (lettres de La Harpe à Polier du 1/12 juin 1785 [<http://lumieres.unil.ch/>; *Monod* 487–512] et à Monod du 31 mai/10 juin 1786 [*La Harpe H* 33]). Le précepteur rapportait mot pour mot à son père certains compliments de l'impératrice, comme celui-ci :

Les maximes que vous lui inculquez sont bien faites pour lui rendre l'âme forte, je les lis moi-même avec le plus grand plaisir, et je suis infiniment satisfaite de vos soins<sup>13</sup>.

Catherine II loua à diverses reprises La Harpe en public. Le 10 novembre 1790 encore, au cercle de l'Ermitage, elle remerciait le Vaudois de ses peines et

<sup>12</sup> Par exemple dans sa lettre du 10 août 1785 à Henri Monod : « On peut pourtant faire quelque bien ou diminuer du moins la somme des maux, et cela vaut encore la peine d'y penser quand on songe à l'avenir. Par cette raison je n'entre jamais chez ces enfants sans être arrêté à la porte par une voix intérieure qui me crie, prends courage, supporte, aie patience, et souviens-toi qu'il ne s'agit pas d'un seul individu mais de plusieurs millions d'hommes » [*La Harpe H* 33].

<sup>13</sup> Lettre de La Harpe à son père du 30 janvier / 10 novembre [sic] 1786 [MONNARD 1838: 95]. Et La Harpe d'ajouter, quelques lignes plus bas : « Je vous avouerai que ces sortes de témoignages me font oublier bien des choses, et je n'hésiterais pas entre eux et un ruban ».



l'assurait de sa satisfaction : « *Vous méritez tous mes éloges* » [La Harpe H 42,4: 6.2.1791]. Ainsi, à l'éternelle question de savoir s'il devait rester ou partir le précepteur répondait en restant, à la fois parce qu'il éprouvait de l'attachement pour ses élèves, qu'il se convainquit de l'importance de sa mission et qu'il craignait en rentrant en Suisse de décevoir ses parents et l'impératrice, qui lui avait offert une seconde augmentation en 1793. Du reste, La Harpe n'avait pas de plan alternatif. Dans le contexte post-révolutionnaire, l'éducateur avait en outre pris quelques précautions, dont celle de remplacer son cours sur l'origine des sociétés par la lecture d'ouvrages « dans lesquels la cause du genre humain était plaidée avec énergie par des hommes morts avant la révolution ». « Cela réussit, précise La Harpe dans ses mémoires, et grâce aux discours de Démosthène, à Plutarque, à Tacite, à l'*histoire des Stuarts*, à Locke, à Algernon Sydney, à Gibbon, à Mably, à Rousseau et aux *Mémoires posthumes* de Duclos, je pus remplir ma tâche en homme qui était responsable envers un grand peuple » [VOGEL 1864: 77].

Les signes de bienveillance de Catherine à l'égard du Suisse se prolongèrent jusqu'à la fin de l'année 1790. Dès l'année suivante toutefois, l'écho des événements parisiens arriva jusqu'à S.-Petersbourg. Les aristocrates émigrés affluaient en nombre croissant à la cour, et, bien accueillis dans les salons impériaux de l'Ermitage, se plaignaient des injustices dont ils étaient victimes et de la « folie révolutionnaire ». Suspecté de jacobinisme, La Harpe parvenait néanmoins à se disculper devant l'impératrice. Aussi, lorsqu'à l'automne 1793 Catherine II manifesta le désir de se séparer de lui, le Vaudois n'y était nullement préparé. Il explique cette disgrâce par le fait que l'ayant à demi-mot invité à s'associer au plan qu'elle préparait pour écarter son fils, l'empereur Paul I<sup>er</sup>, du pouvoir, il refusa. La souveraine aurait dès lors jugé nécessaire de l'éloigner. Une mesure qui put être reportée, à la demande du Vaudois, jusqu'au printemps 1795, sans que le plan d'éducation prévu pour Alexandre puisse être mené à terme.

« Tout ce que je suis...c'est à M. La Harpe que je le dois »

Arrivés au terme de cette étude, il convient de souligner les divers concours de circonstances qui amenèrent La Harpe à la cour de Russie et lui permirent d'y rester, à titre de maître ou – à ses yeux – de « précepteur principal », mais également la tension permanente entre idéal pédagogique et exercice du métier au quotidien que thématisent sa correspondance et son autobiographie. Si les incertitudes, difficultés et désillusions qui marquèrent son préceptorat furent sans doute le lot de plus d'un « outchitel' » à la cour impériale, le soutien que Catherine II accorda au Suisse semble, quant à lui, plus exceptionnel. Il s'explique selon nous essentiellement par la réputation de souveraine éclairée que la tsarine chercha à conserver le plus longtemps possible, à laquelle ses « Instructions » pour l'éducation de ses petits-fils, complétées par le Suisse, appor-

taient un jalon, ainsi que par une forme de fidélité à son favori prématurément disparu, Lanskoï, protecteur de La Harpe.

Quant à l'image d'Epinal, évoquée au début de cette contribution avec la fameuse déclaration d'Alexandre (« Tout ce que je suis [...] c'est à Monsieur La Harpe que je le dois »), l'harmonieux couple maître-élève, tout à la gloire du maître d'ailleurs, nonobstant le fait que l'élève ait été tsar de toutes les Russies, elle naît bien plus tard. C'est en effet à Paris, en 1814, qu'Alexandre, auréolé de sa victoire sur Napoléon, met son ancien précepteur sur un piédestal en déclarant publiquement sa dette à son égard. Le moment n'était pas anodin. Non seulement les deux hommes venaient de fêter leurs retrouvailles, La Harpe s'étant précipité au quartier général allié pour y plaider – non sans succès – l'indépendance de son canton auprès de son ancien élève, mais le tsar recueillait alors et entretenait tous les espoirs et suffrages des libéraux. En prenant La Harpe pour secrétaire pendant son séjour parisien, le tsar tirait profit des connaissances du contexte politique français de ce dernier, mais il gratifiait en même temps une figure du libéralisme. De son côté, La Harpe voyait dans le « tsar libéral » l'accomplissement du projet de son préceptorat. Le soutien à un régime monarchique, voire despotique, ne pouvait se justifier aux yeux d'un précepteur nourri des idées des Lumières, républicain de surcroît, que dans le cas d'un prince éclairé par la philosophie, partisan de l'égalité naturelle des hommes. La politique intérieure et extérieure menée ultérieurement par Alexandre I<sup>er</sup> aura beau mettre à mal l'image du tsar libéral, La Harpe ne cessera jamais, en lui écrivant pratiquement jusqu'à sa disparition, d'éduquer le tsar en parfait monarque.

#### Archives

- ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации (Москва)  
 РГАДА — Российский государственный архив древних актов (Москва)  
 ОР РНБ — Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (С.-Петербург)  
 ACV — Archives cantonales vaudoises (Lausanne)  
 BCUL — Bibliothèque Cantonale et Universitaire de Lausanne

#### Manuscripts

##### *La Harpe Db 6-7*

BCUL, Manuscrits, Fonds La Harpe (IS 1918), Db 6 et Db 7, Fragments des travaux destinés à l'instruction des grands ducs.

##### *La Harpe G.Aa 52*

BCUL, Manuscrits, Fonds La Harpe (IS 1918), G.Aa 52, « Correspondance relative à la fixation de mon traitement comme précepteur des Grands Ducs de Russie ».

##### *La Harpe H 33*

BCUL, Manuscrits, Fonds La Harpe (IS 1918), H 33, Lettres de F.-C. La Harpe à H. Monod (1774–1828).

*La Harpe H 37*

BCUL, Manuscrits, Fonds La Harpe (IS 1918), H 37, Lettres de F.-C. La Harpe à H. Polier (1780–1803).

*La Harpe H 42,1*

BCUL, Manuscrits, Fonds La Harpe (IS 1918), H 42,1, Mémoire remis à Catherine II et apostillé de la main de celle-ci, 10 juin 1784.

*La Harpe H 42,2*

BCUL, Manuscrits, Fonds La Harpe (IS 1918), H 42,2, Rapports et mémoires relatifs à l'éducation des grands ducs (1785-1794).

*La Harpe H 42,4*

BCUL, Manuscrits, Fonds La Harpe (IS 1918), H 42,4, Copies des lettres de F.-C. La Harpe à Saltykov (1785-1794).

*La Harpe J 72*

BCUL, Manuscrits, Fonds La Harpe (IS 1918), J 72, Lettres de J.-M.-L. Favre à F.-C. La Harpe (1772–1790).

*La Harpe J 124*

BCUL, Manuscrits, Fonds La Harpe (IS 1918), J 124, Lettres d'Alexandre Lanskoi à La Harpe du 11 mars et 18 octobre 1782.

*Monod 487-512*

ACV, Fonds P René Monod, 487-512, Lettres de F.-C. La Harpe à H. Polier (1783–1803). (publiées sur le site : <http://lumières.unil.ch/>).

*Госархив II-1-115*

РГАДА, Госархив, разряд II, оп. 1, д. 115, Наставление имп. Екатерины II генералу Н. И. Салтыкову о воспитании великих князей, 1784.

*Зимний дворец 1-290*

ГАРФ, ф. 728 (Коллекция документов рукописного отделения библиотеки Зимнего дворца), оп. 1, д. 290, Бумаги воспитателей великих князей Александра и Константина Павловичей.

*Эрм. 576-4*

ОР РНБ, ф. 886 (Эрмитажное собрание), д. 576-4, « Cahier renfermant les hauts faits du G<sup>d</sup> duc Alexandre pendant sa treizième année ».

## Bibliographie

## BADER 1932

BADER P.-L., *Un Vaudois à la cour de Catherine II : François de Ribeaupierre (Ivan Stepanovitch) 1754–1790*, Lausanne, Genève, 1932.

## BIAUDET, NICOD 1978-1980

BIAUDET J.-C., NICOD F., éd., *Correspondance de Frédéric-César de La Harpe et Alexandre Ier, suivie de la correspondance de F.-C. de La Harpe avec les membres de la famille impériale de Russie*, 1–3, Neuchâtel, 1978–1980.

## FORESTIER 2017

FORESTIER E., « “ Major et mari ”. Lettres de Jean-François de Ribeaupierre à son père (1778–1785) » (mémoire de master, Lausanne, 2017).

## КОПАНЕВ 2006

КОПАНЕВ N., « Ils servirent leur patrie par l'épée et la plume », in: L. GOLAY, A. KAROUOVA, eds., *Suisse-Russie : des siècles d'amour et d'oubli*, Berne, 2006, 17–24.

## LA HARPE 1896

[LA HARPE F.-C.], « Une lettre inédite de Frédéric-César de la Harpe sur ses fonctions de précepteur des grands-ducs de Russie », *Revue historique vaudoise*, 4/10, 1896, 301–315.

LORTHOLARY 1951

LORTHOLARY A., *Le mirage russe en France au XVIIIe siècle*, Paris, 1951.

MONNARD 1838

MONNARD CH., *Notice biographique sur le général F.-C. de La Harpe*, Lausanne, 1838.

PLAVINSKAIA 2003

PLAVINSKAIA N., «Catherine II et le grand duc Alexandre Pavlovitch», in: G. Luciani, C. Volpilhac-Auger, eds., *Institution du prince au XVIIIe siècle*, Ferney-Voltaire, 2003, 175–180.

REY 2011

REY M.-P., «De Rolle à Saint-Pétersbourg, l'itinéraire d'un homme d'influence, F.-C. de La Harpe, précepteur et confident du tsar Alexandre Ier», in: O. MEUWLY, ed., *Frédéric-César de La Harpe. 1754–1838*, Lausanne, 2011, 36–47.

——— 2013

REY M.-P., «La Harpe éducateur du futur Alexandre I<sup>er</sup>», in: V. RJÉOUTSKI, A. TCHOUDINOV, eds., *Le Précepteur francophone en Europe, XVII–XIXe siècles*, Paris, 2013, 259–272.

RJÉOUTSKI 2016

RJÉOUTSKI V., ed., *Quand le français gouvernait la Russie : L'éducation de la noblesse russe 1750–1880*, Paris, 2016.

SCHNEIDER 1888

SCHNEIDER L., *Aus dem Leben Kaiser Wilhelms: 1849–1873*, Berlin, 1888.

——— 1902

[Schneider E.], *Le gouverneur d'un prince. Frédéric-César de Laharpe et Alexandre Ier de Russie d'après les manuscrits inédits de F.-C. Laharpe*, Lausanne, 1902.

STROEV 2011

STROEV A., «Les débuts pédagogiques de Frédéric-César de La Harpe», in: O. MEUWLY, ed., *Frédéric-César de La Harpe. 1754–1838*, Lausanne, 2011, 23–35.

VOGEL 1864

VOGEL J., éd., *Mémoires de Frédéric-César Laharpe, concernant sa conduite comme Directeur de la République Helvétique, adressés par lui-même à Zschokke*, Paris, Genève, 1864 (original des mémoires en cours de publication sur : <http://lumières.unil.ch/>).

АНДРЕЕВ, ТОЗАТО-РИГО 2014

АНДРЕЕВ А. Ю., ТОЗАТО-РИГО Д., *Император Александр I и Фредерик-Сезар Лагарп. Письма. Документы*, 1: 1782–1802, Москва, 2014.

БОГДАНОВИЧ 1867

БОГДАНОВИЧ М. И., «Учебные тетради великого князя Александра Павловича», *Сборник Императорского Русского исторического общества*, 1, 1867, 369–383.

ГРОТ 1878

ГРОТ Я. [К.], изд., примеч., *Письма императрицы Екатерины II к Гримму (1774–1796)* (= *Сборник Императорского Русского Исторического общества*, 23), С.-Петербург, 1878.

ДУРОВ 1870

ДУРОВ Н. П., изд., «Записки Лагарпа о воспитании великих князей Александра и Константина Павловичей. 1786–1794», *Русская старина*, 1, 1870, 152–205.

ЕКАТЕРИНА 1864

«Письма императрицы Екатерина II к Н. И. Салтыкову. 1763–1796», *Русский архив*, 9, 1864, 925–988.

——— 1880

*Бумаги императрицы Екатерины II, хранящиеся в Государственном архиве Министерства иностранных дел*, 4 (= *Сборник Императорского Русского Исторического общества*, 27), С.-Петербург, 1880.

ПРОТАСОВ 1880

ДМИТРИЕВ Д., изд., предисл., «Дневные записки А. Я. Протасова о воспитании великого князя Александра Павловича», *Древняя и новая Россия*, 17/8, 1880, 760–769.

РЫЖЕНКОВ 2009

РЫЖЕНКОВ М. Р., «Ф.-С. Лагарп — воспитатель будущего российского императора Александра I: по документам РГАДА», *Вестник архивиста*, 4, 2009, 172–184.

СУХОМЛИНОВ 1871

СУХОМЛИНОВ М. И., *Фридрих-Цезарь Лагарп, воспитатель императора Александра I*, С.-Петербург, 1871.

ТОЗАТО-РИГО 2014

ТОЗАТО-РИГО Д., «Пользуются репутацией людей честных и порядочных. . .» Швейцарские гувернеры и гувернантки в России (1750–1850)», *Родина*, 1, 2014, 30–34.

ШИЛЬДЕР 1897

ШИЛЬДЕР Н. К., *Император Александр I, его жизнь и царствование*, 1, С.-Петербург, 1897.

---

**Andrei Yu. Andreev**

Lomonosov Moscow State University  
Moscow, Russia

**Danièle Tosato-Rigo**

University of Lausanne  
Lausanne, Switzerland

## **Tempering an Enlightened Educator: Frédéric-César de La Harpe at the Russian Imperial Court (1783–1795)**

### **Abstract**

Among all the educators who cared for him from his early childhood, Alexander I gave a particular honor to only one, the Swiss teacher Frédéric-César de La Harpe (1754–1838), who, invited to teach the French language, was further his instructor in geography, history, arithmetic, and geometry, as well as the foundations of philosophy. This Swiss teacher has been regarded in historical studies as the fortunate “chosen one” by Catherine II, who summoned him to direct Alexander’s education and who rewarded him accordingly afterwards. The present article peers into the backstage of the long educational process (1783–1795) in which he was engaged, revealing the less idyllic facts. Based on unpublished documents in Russian and Swiss archives, this study presents a picture of the place of an educator on the main stage of his activity, the Russian Imperial court, and thus the interplay of the history of practice and of ideas and their representations. Did La Harpe himself choose to work as an educator? Did Catherine II really search and find the Swiss teacher for his abilities? Did his teaching indeed represent a concretization of Catherine’s thoughts on this matter? And finally, how did La Harpe himself estimate his situation at the court, which was transformed into a “success story” only after 1814? This article, offering some answers to these questions, adds to the analysis the different circumstances of La Harpe’s appearance and later life at the court; the difficulties he faced in spite of the support of Catherine II, which was, regrettably, withdrawn unexpectedly; and, finally, the permanent discrepancies between his pedagogical ideals and the everyday studies in which he engaged.



## Keywords

education, Russia, Switzerland, Enlightenment, Alexander I, Catherine II, La Harpe

## References

- Andreev A. Yu., Tosato-Rigo D., *Imperator Aleksandr I i Frederik-Sezar Lagarp: pis'ma, dokumenty*, 1, Moscow, 2014.
- Bader P.-L., *Un Vaudois à la cour de Catherine II: François de Ribeaupierre (Ivan Stepanovitch) 1754–1790*, Lausanne, Genève, 1932.
- Biaudet J.-C., Nicod F., éd., *Correspondance de Frédéric-César de La Harpe et Alexandre Ier, suivie de la correspondance de F.-C. de La Harpe avec les membres de la famille impériale de Russie*, 1–3, Neuchâtel, 1978–1980.
- Kopanev N., “Ils servirent leur patrie par l'épée et la plume,” in: L. Golay, A. Karouova, eds., *Suisse-Russie: des siècles d'amour et d'oubli*, Berne, 2006, 17–24.
- Lortholary A., *Le mirage russe en France au XVIIIe siècle*, Paris, 1951.
- Plavinskaia N., “Catherine II et le grand duc Alexandre Pavlovitch,” in: G. Luciani, C. Volpilhac-Auger, eds., *Institution du prince au XVIIIe siècle*, Ferney-Voltaire, 2003, 175–180.
- Rey M.-P., “De Rolle à Saint-Pétersbourg, l'itinéraire d'un homme d'influence, F.-C. de La Harpe, précepteur et confident du tsar Alexandre Ier,” in: O. Meuwly, ed., *Frédéric-César de La Harpe. 1754–1838*, Lausanne, 2011, 36–47.
- Rey M.-P., “La Harpe éducateur du futur Alexandre Ier,” in: V. Rjéoutski, A. Tchoudinov, eds., *Le Précepteur francophone en Europe, XVII–XIXe siècles*, Paris, 2013, 259–272.
- Rjéoutski V., ed., *Quand le français gouvernait la Russie: L'éducation de la noblesse russe 1750–1880*, Paris, 2016.
- Ryzhenkov M. R., “S. La Harpe—educator of the future Emperor Alexander I of Russia. According to documents of Russian State Archive of Ancient Documents,” *Herald of an Archivist*, 4, 2009, 172–184.
- Stroev A., “Les débuts pédagogiques de Frédéric-César de La Harpe,” in: O. Meuwly, ed., *Frédéric-César de La Harpe. 1754–1838*, Lausanne, 2011, 23–35.
- Tosato-Rigo D., “‘Pol'zuiutsia reputatsiei liudei chestnykh i poriadochnykh. . .’ Shveitsarskie guverneri i guvernantki v Rossii (1750–1850),” *Rodina*, 1, 2014, 30–34.

## Acknowledgements

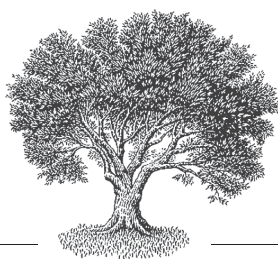
Russian Foundation for Basic Research. Project No. 16-21-41001.  
Swiss National Science Foundation. Project No. IZLR\_163860.

---

проф. **Андрей Юрьевич Андреев**, доктор ист. наук  
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова,  
исторический факультет,  
профессор кафедры истории России XIX – начала XX века  
119192 Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, корп. 4,  
Исторический факультет  
Россия/Russia  
andrv@hist.msu.ru

prof. **Danièle Tosato-Rigo**, Ph.D.  
Université de Lausanne, Section d'histoire, professeur d'histoire moderne  
Section d'histoire  
Quartier UNIL-Chamberonne  
Bâtiment Anthropole 5187.1  
CH-1015 Lausanne  
Suisse/Switzerland  
daniele.tosato-rigo@unil.ch

Received February 20, 2017



# Church History and the Predicament of the Orthodox Hierarchy in the Russian Empire of the Early 1800s\*

**Eugene I. Lyutko**

St. Tikhon's Orthodox University  
Moscow, Russia

# Церковная история и положение православной иерархии в Российской империи начала XIX в.

**Евгений Игоревич Лютько**

Православный Свято-Тихоновский  
гуманитарный университет  
Moscow, Russia

## Abstract

In this article, the author tries to reflect the emergence of the intellectual concept of “Church History” through a number of theoretical frameworks, setting this discursive turn on the map of the epoch. The first is the problem of the cultural gap arising during the 18th century between the intellectual elites of the nobility and clergy. Second, we examine the bureaucratization of the empire leading both to the convergence of parallel “ecclesiastical” and “civil” administrative structures and to the emergence of the bureaucratic layer between episcopate and the monarch, who was considered as the formal “head” of the earthly ecclesiastical structure. Third, we consider the establishment of the administrative bonds between governmental authorities and individuals, which were understood as being in competition for the “pastoral” power of the church hierarchy. We next examine the change in the mode of knowledge distribution, which took place within the emergence of the “public sphere” in the early 19th-century

---

\* The article was written in 2016 within the framework of the project “The Encounter of Theology and History in the Context of the Russian Ecclesiastical Scholarship of the 19th–early 20th centuries” supported by the Development Foundation of St. Tikhon's Orthodox University.

Russian Empire. Finally, we look at the problem of the national identity emerging in the late 18th and early 19th centuries, which was centered around the concept of the ethnic community and political body (and its history) rather than on the community of believers actualized in the discourse of the epoch as the concept of Church (and its history). All those narratives on social change strive to explain the global change in Orthodox theology, which became centered on ecclesiology. This change might be effectively problematized as a transition between first and second “orders of theology” within the framework proposed by G. Kaufman. This method of explanation may be especially productive when it comes to drawing an analogy between Russian and Western theology in the modern period.

### Keywords

Russian Church history, intellectual history, Christianity in the modern Russian Empire, ecclesiastical historiography, history of theology

### Резюме

В данной статье предпринимается попытка с точки зрения ряда теоретических программ осмыслить возникновение в Российской империи начала XIX в. интеллектуального феномена “церковной истории”. Выделяется несколько нарративов, в рамках которых может проясниться место этого дискурсивного поворота “на карте” высказываний эпохи: 1) проблема культурного разрыва, который в течение XVIII в. образуется между дворянской и “духовной” интеллектуальными элитами; 2) бюрократизация империи, приведшая, с одной стороны, к созданию параллельных “церковных” и “гражданских” административных инстанций, а с другой — к возникновению бюрократической “прослойки” между епископатом и императором как формальным главой церковной организации; 3) установление административной связи между властью и индивидом, которая различается как “конкурентоспособная” по отношению к пастырской власти церковной иерархии; 4) изменения в характере “дистрибуции знания”, происходящие в процессе становления в Российской империи конца XVIII – начала XIX в. “публичного пространства”; 5) проблема возникновения национальной идентичности, от которой отстраивается отличная от нее конфессиональная идентичность, центральным элементом которой является понятие о “Церкви”. Эти нарративы о социальном изменении могут объяснить глобальное изменение в характере православного богословия, в центре которого начиная с XIX в. оказывается понятие о Церкви и ее бытии во времени — эклесиологическая проблематика. Наряду с прочими вариантами осмысления, этот терминологический сдвиг может быть продуктивно проблематизирован в качестве перехода от первого ко второму “порядкам теологии” в рамках системы, предложенной Г. Кауфманом, что позволяет провести аналогии в истории европейской и российской богословской мысли Нового времени.

### Ключевые слова

история Русской церкви, интеллектуальная история, христианство в России Нового времени, церковная историография, история богословия

The beginning of the 19th century was an era of rapid development of the Russian Empire. This immense state at the eastern border of Europe at this period became an evident leader in the international political arena of the time, especially after the Napoleonic wars. It is generally accepted that the Russian Orthodox Church was a beneficiary of this victorious march of Russian political force. However, this dramatic change was in fact a serious challenge for the Russian Church's intellectual leaders. This paper shows the gravity of this shift through the example of a new intellectual concept invented in the Russian context in the early 19th century: "The History of the Church." Earlier history was understood as a unity of its actors by both Church and State leaders. The political development and modernization of the Russian Empire eliminated this unity. The historiographical concept of the "History of the Church" was crucial for the building of a new "Church identity," while this identity was strictly opposed both to the emerging national, governmental, and liberal ideology and to the non-Orthodox intellectual movements within the Russian intellectual elite.

### The Church and the State?

There is a widespread assumption that Church and State in Russia are merged under any regime. Indeed, on the one hand, one of the key features of Orthodoxy is the predominant loyalty of its hierarchy to the political authority, which is seen not as a historical variable, but as an integral component of the reality of life. On the other hand, it should be noted that our discussion of the relationship between the Church and the State in Russia throughout its history is based on the modern understanding of social structure. When we think about history, we extrapolate the existing structures into the reality of the past. This approach may help to build neat narratives, but it will not get us to the root of the matter. In other words, when we speak about such categories as "the History of the Church" or "the relationship between Church and State" at the time of Emperor Alexius I Comnenus, Pope Gregory VII, or Ivan the Terrible, we introduce discursive constructions which are a priori inapplicable to these epochs. Thus, we deprive ourselves of the possibility of distinguishing a more nuanced actuality.

However, we cannot deny the fact that, once the structure of knowledge had taken its present shape, abstract social entities such as "Society," "State," "Church" (as a confessional community), "Culture," "Medicine," "Science," and so forth began to be distinguished in a historical perspective. In this paper, we are not making an attempt to conceptualize these changes as a whole, but will focus on the concept of "Church History" in the Russian cultural space, including the process of its emergence and transformation within the settings of Russian Empire in the late 18th–early 19th centuries.

## The Emergence of the Concept of “Church History”

In the third quarter of the 18th century, the “Church History” genre in Russia emerged. The first author who used this terminology was Archpresbyter Peter Alekseev (1731–1801), who made an attempt to create a comprehensive ecclesiastical history in the late 1770s [КНИГПЦ]. It can be stated that his manuscript was written in the clearly “presbyterian” style, as was his social activism. As shown by O. Tsapina, Archpresbyter Peter transferred the social tensions between the educated white clergy and monastic hierarchy onto the content of the historical text [TSAPINA 2002]. We can even say cautiously that his work was part of the Catherinian project of the reintegration of the ecclesiastical hierarchy into the body of her modernized “regular state.” Of course one of the main themes in this project was the “clash” between imperious bishops and educated and loyal white clergy [TSAPINA 2001]. It seems that later, Catherine abandoned this theme, and the white clergy was gradually “returned” to the bishops’ domain. However, the historical work by Archpresbyter Peter has never been published, and the ecclesiastico-historical theme was shortly thereafter intercepted by his opponent, Metropolitan Platon [ПЛАТОН 1805] and his adherents, that is, by the academic “episcopalian” tradition, which was bound together with the learned monastic identity [МЕТНОДИУС 1805; СКОРОДУМОВ 1807; ФИЛАРЕТ 1816; ИННОКЕНТИЙ 1817]. But why did the concept of “Church History” become so relevant to this “platonic” tradition and afterwards become crucial for the Russian Orthodox self-representation in the 19th century? And what is the difference between this modern historical worldview and the traditional one?

In 1805, a provincial priest called Nikita Smirnov published a book entitled, according to the half title: *The History of the Memorable Council of Florence in terms of the Union Undertaking to Unify the Eastern Church with the Western Church* [СМИРНОВ 1805]. However, the real author of this book was his elder brother, Archbishop Methodius (Smirnov) [STRAHL 1828: 481], who gave this publication a different title, which appears on the book’s title page: *The History of the Council of Florence Convened to Restore the Connection between the Greeks and the Romans*. That this latter title was intended to be the original title of the book is indicated by the fact that it does not mention the Church or churches, but only the relationships between the “Greek” and “Roman” communities. The author still sees no difference between *international* and *inter-confessional* relations. However, this was noted by someone who edited the book—a Petersburg censor or editor—someone who put this set of relationships in the “modernized” categories. The quantity of ecclesiastico-historical literature that appeared at that time suggests that it was not a one-off event. In this paper, we will try to answer the question why the concept of Church in the Russian



Empire of the early 19th century finds its place in the topology of public space and in the space of historical memory, which it occupies to the present day, and we will state the possible reasons for this shift.

### The Cultural Gap after the Petrine Reforms

It is generally accepted that Peter's reforms led to an insurmountable cultural division between the Russian nobles and members of other estates in the empire.<sup>2</sup> The estate [*soslovnaia*] system itself, in which everyone takes care of their own business, works for the benefit of the state, and does not interfere with the powers of the other, was an outstanding invention by Peter and, from a pragmatic point of view, was, of course, quite effective. At the same time, we do not suggest that an "estate system" was exclusively a "state project" without any interest "from below" [FREEZE 1986; CONFINO 2008: 688; МИРОНОВ 2014: 334–340].

At the same time, this set the scene for the emergence of two intellectual elites: the nobility and the clergy. By the beginning of the 19th century, the estrangement between the estates had reached such a degree that some researchers speak about the emergence of "if not a state within a state, then at least a subsociety within the larger society" [МИРОНОВ 2014: 370]. This situation is very vividly described by R. Pinkerton, an English missionary, who devoted an entire book to the Russian Church: "The candidates for the priesthood being thus trained up from their early years in these secluded retreats, have but few opportunities of mixing in civil society. Therefore, on leaving the seminary, and entering the world, a student is like a foreigner coming into a strange country, with the language and manner of which he has but an imperfect acquaintance" [PINKERTON 1814: 10].

We should note that at the same time in England, future ministers were educated together with all the other members of the elite [PARK 1990: 79]. However, in Russia the cultural gap had gradually formed an estate-based mindset characterized by the separation from other communities. This separation was based on the concept of a special "soteriological" destination of priestly dynasties and by the reluctance to admit outsiders into their ranks [МИЛЮКОВ 1897: 138–141; MANCHESTER 2008: 68–94]. By the end of the 18th century, the hierarchy (i.e., monastic Orthodox bishops) had acquired the features of a monolithic corporation unified by ethnicity (Great Russians) as well as by the ecclesiastical estate background. Their formal education and career path (seminary education, monastic vows, administrative posts in the theological and educational institutions, episcopal ordination, system of transfers from a less prestigious eparchy to a central one) would remain unchanging through

---

<sup>2</sup> See some classic masterpieces on the history of the clergy in Russia [ЗНАМЕНСКИЙ 1873; FREEZE 1977].

the 19th century. They were united by a single ethos with the key features of “theological wisdom” [Сухоба 2012], i.e., efficient management of the eparchy, and emphasis on the development of religious education [FREEZE 1985: 96].

### Modernization and Bureaucratization of the Empire

According to Freeze, in the early 19th century, the government of the Russian Empire noticed an ordered hierarchy of social estates among its subjects [FREEZE 1986: 35].

§ *Changes in the structure of the social elites, the cultural gap between the nobles and other populations of the empire, and the isolation of the clergy estate are sometimes viewed through the prism of “Westernization” as a process of the artificial saturation of the intellectual and mundane living space of the nobles with elements of Western culture. However, in our opinion, westernization was just a side effect of the modernized state building process designed to put everything in its place and to set functional goals for everything.*

In general, the beginning of the 19th century was a time of rapid sophistication, that is, modernization and functional differentiation of the society. Alexander I was determined to fulfill his grandmother’s intention to build a “modern state,” and was preparing for efficient organization of the empire, particularly in the first half of his reign. An emphasis on functional differentiation in relation to the nobility and the clergy had already been made by Peter: during the 18th century, the Church hierarchs had been gradually discharged from control of political and economic processes in the empire. The apogee of this process was marked by Catherine’s secularization decree of 1764. Gradually losing their *institutional autonomy*, representatives of the Church hierarchy had to construct the *autonomy of “discourse.”* In the early 19th century, the concept of social ordering develops further—this period is characterized by widespread separation between “religious” and “civil.”

Thus, in 1803 and 1814, two educational systems were formed: secular and ecclesiastical. As a result, if previously the clergy’s education had been isolated only by custom, after the reform of 1814, the “system” of ecclesiastical (i.e., based on social estate) education received a legal basis [Сухоба 2007]. In 1804, the secular and ecclesiastical censorship areas were delimited; or, rather, this dichotomy was the result of taking everything not directly related to the issues of dogma, church life, etc. out of the control of an ecclesiastical censor [Жирков 2001: 40]. The same holds for the intellectual elites: whereas in the 18th century, the Academy of Sciences had not only foreign and Russian secular scholars but also many members of the clergy, in the 19th century, such blending became rather an exception to the rule. As the result, the Ecclesiastical Academy, founded in 1814, is considered not only an institution of

higher education, but also a special academy “of all sciences needed by the clergy,” similar to the “secular” Academy of Sciences in Petersburg [СУХОВА 2013: 141]. Even the area of the empire itself seems to concentrate around two poles, Moscow and Petersburg, which began to be considered the “ecclesiastical” and “civil” centers of the empire.

§ *According to the suggestion of Boris Uspenskij and Lotman, Peter’s idea envisaged the “Moscow the Third Rome” concept to be split semiotically into religious and political components. Petersburg would be declared a new “Third Rome” and Moscow would be deposed as a center of “sanctimonious holiness” and “papal” spirit, remaining, however, the center of the pre-Petrine culture, which—after the ideas of the Orthodox kingdom are removed from its core and after this symbolic nature is transferred to Petersburg—became the center of exclusively religious culture [УСПЕНСКИЙ, ЛОТМАН 1996].*

A natural consequence of the “ordering” of the empire was an immense expansion of its bureaucratic presence. And this presence no longer involved any Church hierarchs. Whereas Patriarch Nikon had been virtually an equal partner in governance with Tsar Alexei Mikhailovich, and Archbishop Theofan Prokopovich was the primary counselor and coordinator in various key issues for Peter I, Alexander I placed representatives of the Church hierarchy at the end of the line in guiding his decision making. And while even Catherine II actively communicated with bishops and used their authority in her political game, Alexander had no such relations, which had lost all their political value.

§ *Catherine II and Paul were, perhaps, the last Russian monarchs who had a coherent political program in relation to the clergy. In particular, Catherine strove to “disengage” white clergy from the monastic hierarchy. Moreover, she actively heated up (where it was politically reasonable) conflicts between the two groups. In line with these ideas was Catherine’s reluctance to recognize the right of the clergy to constitute a separate estate. In the Alexander era, bureaucracy (and secularization) of the empire had reached such a scale that the government (with the exception of the Chief Procurator of the Holy Synod) was much less interested in parish clergy in isolation from the monastic hierarchy [RAEFF 1974; TSAPINA 2001].*

Weakening direct and immediate relations between the episcopate and the monarch at a time of the expansion of the empire, the growth of the bureaucracy, and the “depersonalization of the state” (the rise of the concept of the “state affairs” [DIXON 2003: 191])—all of these were built on the model of the European absolute monarchies. All these factors initially caused the concept of “Moscow the Third Rome,” which had been so meaningful in the 16th century, to become irrelevant for the given time period. And despite the fact that the emperor of Russia formally remained “head of the Greco-Russian Church” until 1917, his person begins gradually to drop out of the theology of ecclesiastical intellectuals [ХОНДЗИНСКИЙ 2010: 66–67, 256–272].

## Two "Pastorates"

A medieval Russian monarch is a shepherd to his subjects surrounded by members of the Church hierarchy who share this pastorate with him or her. This dialectics of the princely pastorate is well expressed by Joseph of Volotsk:

For the tsar by his nature is like all people, but by his power he is like the Supreme God. And just as God wants to save all the people, so the tsar should protect everything that is subject to him from any harm, both mental and physical [Юсиф: 547].

Evidently St. Joseph eliminates the very boundary between prince and bishop in relation to their pastoral duties:

The Holy Apostles say about the tsars and the bishops who do not care about their patrials: a wicked tsar not caring about his patrials is not a tsar but a torturer; and an evil bishop not taking care of the flock is not a shepherd but a wolf [Юсиф: 549].

However, while the tsar is a shepherd to all the people, at the local level, pastoral ministry is provided by representatives of the Church hierarchy. Despite all his unity with the congregation in the medieval period, a priest was the only "institution member" (if medieval hierarchy may be called an "institution") who dealt with the rural population in the Middle Ages and Early Modern period. A priest is not only a churchman but also a manager who regulates a tremendous number of social processes. However, since the time of Peter I, this role of the priest was increasingly taken over by a civil administrator, with his distinctive but also "pastoral" model, as M. Foucault precisely described it in his lecture on 15 February 1978 [FOUCAULT 2004].

The first sign of the establishment of a "new pastorate" was the introduction of the capitation (or head) tax (in 1718, when a "person" became the unit of fiscal taxation) and the Table of Ranks (1722), which defined the framework for bureaucracy as a social phenomenon. These establishments made up a symbolic link between the "public shepherd" and the object of his attention—a "person." The establishment of the Ministry of National Education (1802) is an even more significant turning point in understanding the relationship between the sovereign and the Church hierarchy: at this point, the state (in the form of its officials) began to be involved in people's lives, performing some of the functions formerly held by priests. In other words, "public shepherds" began to take on the "pastoral" function of the Church priests, that is, to teach people. Of course, none of the above implies that an appeal to the monarch's pastorate suddenly disappeared from the Church's discourse. However, the unique bond between the ecclesiastical hierarchy and the monarch was broken by bureaucracy, and the subsequent discourse supplements an appeal to the monarch with an appeal to an abstract entity ascending directly to the figure of Christ, i.e., the Church.

## Emergence of the “Public Sphere”

In the late 18th and 19th centuries, the Church hierarchy faced a difficult and unusual situation—a space where knowledge distribution began to follow a new path untypical for the traditional society had appeared. “By ‘the public sphere’ we mean first of all a realm of our social life in which public opinion can be formed. Access is then guaranteed to all citizens” [HABERMAS ET AL. 1974]. With a certain amount of caution we can suggest that in the Russian Empire of the early 19th century (or even the late 18th century if Novikov’s circle is considered), subtle contours of the “public sphere” had emerged, as *views* of important political, religious, or social matters were formed and discussed, and they began to interact with each other in this new context. In addition, for some reason those views differed from those of the power authority. In fact, it was in the first quarter of the 19th century when the first manifestations of political opposition appeared in the Russian Empire. And it was this time which saw an extraordinary development of all sorts of mystical (intellectual) movements that became the most important challenge for the Church hierarchy, as formerly, they had conveyed their views from a single authoritarian position.

The largest of these movements, which contributed to the crystallization of ecclesiology and the development of discourse on the Church, was Russian Freemasonry. Its representatives in the late 18th and early 19th centuries challenged the correlation between “Christianity” and the institutional Church, putting forward the concept of the “Interior Church,” or the true Church, which, in fact, corresponded to the framework of the Masonic community [ЛОПУХИН 1798; ДАНИЛОВ 2010].

Thus, in the early 19th century, we can detect the first manifestation of the inter-confessional *discussion* (as a *public sphere* element) which replaces *polemics* with heterodoxy. The distinction between those terms is scarcely perceptible, and we once again turn to Foucault to explain it: “I insist on this difference [between discussion and polemics] as something essential: a whole morality is at stake, the one that concerns the search for truth and the relation to the other. In the serious play of questions and answers, in the work of reciprocal elucidation, the rights of each person are in some sense immanent in the discussion. They depend only on the dialogue situation” [FOUCAULT 1997: 111].

It seems that it was not by chance that at the origin of the inter-confessional discussion stood the same person who was among the first authors of church-historical writings—St. Philaret (Drozdov), a “pitchfork” for the theological thought of his era. His work, *Conversation between a Seeker and a Believer Concerning the Orthodoxy of the Eastern Greco-Russian Church* [ФИЛАРЕТ 1815], may be the first published work in which a member of the Church hierarchy was on a par with his opponent, and the interaction took place not between “the bearer of truth” and “the deluded” but between “a believer” and “a seeker.”



## National Identity Problem

The question of national identity in Russia in the early 19th century is complicated and controversial. Of course, when we talk about “national identity” and apply this term to the reality of the Russian Empire in the early 19th century, we should not think about, for example, the German national idea of the same period—they are barely comparable. The “nation” (*narod/natsija*) was a concept developed and complemented within the linguo-cultural community rather than defined by the borrowed terminology.

After the French Revolution, the concept of “nation” settled in the French lexicon of the Russian nobility denoting a “super-estate” community, as opposed to the concept of nation as an “estate corporation,” as it was understood back in the era of Catherine [МИЛЛЕР 2012: 7–10]. In such texts as *The History of the Russian State* by N. M. Karamzin and *Letters of a Russian Officer* by F. N. Glinka, the concepts of “fatherland” and “Russian people” become independent players in the historical narrative [ТИШКОВ 2007: 568; СТРОГАНОВ 2012: 175–212]—as “collective identities,” belonging to which is an essential characteristic for people of the Russian Empire. As L. Greenfeld provocatively concludes: “With the ‘discovery of the people’ the period of gestation of the Russian national consciousness ended. When the eighteenth century drew to a close, the matrix in which all the future Russians would base their identity was complete and the sense of nationality born. It was a troubled child, but the agony of birth was over, and the baby could not be pushed back. For the time to come, it would determine the course of Russian history” [GREENFELD 1992: 260].

After the War of 1812 this national identity claims to be of the ultimate, almost religious, value. However, the connecting element here is not *confession*, but belonging to the *ethnic* and *public community*. This fact, in turn, calls forth another discursive entity—the Church—where the crucial role is reserved for belonging to a confession.

## Theological Perspective

The hierarchy of the Russian Church in the early 19th century was in an ambiguous position: on the one hand, it represented the official religion of the vast empire, had an efficient mission, increased the number of believers each year, and had ambitious plans to heal the bleeding wound of the Old Believer schism. On the other hand, the modernization of the Russian Empire and Russian society placed Russian hierarchs in an increasingly rigid framework, and resulted in expected changes in the interpretation models extended to historical retrospection.

We identified a number of theoretical frameworks that seem to explain the emergence of a narrative concerning the history of the Church in Russian discourse. However, what meaning does this historical and ecclesiological

turn have for theology as a discursive framework for the Christian thought that is striving toward comprehension of reality?

Speaking of Western theology during the second millennium, G. KAUFMAN [1975] introduces the concept of the “orders of theology”: the first order is the natural representation of beliefs of the Christian community; the second is the representation of beliefs in the context of diversity of worldviews; the third emerges when the very possibility of religious truth appears to be, if not questionable, then related to the individual religious worldview and unable to have real social value and historical efficacy.

In the history of Western theology, the “second order” means the situation in which “bearers” of the Christian intellectual tradition face the need to confront themselves, first, with their own multiplicity (the Reformation), and second, with the revealed cultural diversity of the world (the great geographical discoveries). The second order theology is a reflection on the theological statement of the first order with respect to the introduced data—in our case, the fruits of the process of modernization [KAUFMAN 1975: 45; BEILBY 1999: 129].

Here we state that the beginning of the 19th century was the time when Orthodox theology took the shape of “second level theology.” In the late 18th and early 19th centuries, Russian hierarchy as a bearer of theological knowledge was in a position of similar “correlation” in a number of key aspects. First, with the bureaucracy, concerning the relationship with the monarch and the right to teach. Second, with the “flickering” public space, concerning the right to express the truth authoritatively and categorically without resorting to discussion and argumentation. Third, with the so-called national identity, in connection with the right to impose an ultimate value basis in order to determine the historical identity of the empire’s residents. And fourth, with other Christian confessions, representatives of which felt increasingly free in the state elite.

Thus, within the framework of such “correlation,” the discourse on the history of the Church is an argument to demonstrate the intellectual validity and competence of the hierarchy in all of the above matters. The history of the Church is a space (in both the historical past and social topology) where the hierarchy now stands in the list of the ever-increasing number of other social abstractions in the modernizing Russian Empire. The history of the Church is also the developmental locus of the “second level theology” based on the idea of correlation between Orthodox theology with non-Orthodox doctrines and secular knowledge, and designed to justify the “Orthodox ecclesiastical worldview” in correlation with them.

## Bibliography

## BEILBY 1999

BEILBY J., "An Evaluation of Gordon Kaufman's Theological Proposal," *American Journal of Theology & Philosophy*, 20/2, 1999, 123–146.

## CONFINO 2008

CONFINO M., "The Soslovie (Estate) Paradigm. Reflections on Some Open Questions," *Cahiers du monde russe*, 4 (49), 2008, 681–704.

## DIXON 2003

DIXON S., *The Modernization of Russia. 1675–1825*, Cambridge, 2003.

## FOUCAULT 1997

FOUCAULT M., "Polemics, Politics, and Problematizations," in: P. RABINOW, ed., *Ethics: Subjectivity and Truth*, New York, 1997.

## ——— 2004

FOUCAULT M., *Sécurité, territoire, population: cours au Collège de France, 1977–1978*, Paris, 2004.

## FREEZE 1977

FREEZE G. L., *The Russian Levites: Parish Clergy in the Eighteenth Century*, Cambridge, 1977.

## ——— 1985

FREEZE G. L., "Handmaiden of the State? The Church in Imperial Russia Reconsidered," *Journal of Ecclesiastical History*, 36/1, 1985, 82–102.

## ——— 1986

FREEZE G. L., "The Soslovie (Estate) Paradigm and Russian Social History," *The American Historical Review*, 91/1, 1986, 11–36.

## GREENFELD 1992

GREENFELD L., *Nationalism. Five Roads to Modernity*, Cambridge (MA), 1992.

## HABERMAS ET AL. 1974

HABERMAS J., LENNOX S., LENNOX F., "The Public Sphere: An Encyclopedia Article (1964)," *New German Critique*, 3, 1974, 49–55.

## KAUFMAN 1975

KAUFMAN G., *Essay on Theological Method*, Missoula (MT), 1975.

## MANCHESTER 2008

MANCHESTER L., *Holy Fathers, Secular Sons: Clergy, Intelligentsia, and the Modern Self in Revolutionary Russia*, DeKalb (IL), 2008.

## METHODIUS 1805

METHODIUS (SMIRNOV), ARCH., *Liber historicus de rebus, in primitiva sive trium primorum et quarti ineuntis seculorum Ecclesia Christiana, præsertim, quum prima Christi nati ætas floreret, gestis*, Mockba, 1805.

## PARK 1990

PARK T., REV., "Theological Education and Ministerial Training for the Ordained Ministry of the Church of England 1800–1850" (PhD Thesis, Open University, 1990).

## PINKERTON 1814

PINKERTON R., *The Present State of the Greek Church in Russia*, London, 1814.

## RAEFF 1974

RAEFF M., "The Empress and the Vinerian Professor," *Oxford Slavonic Papers*, 7, 1974, 18–40.

## STRAHL 1828

STRAHL PH., *Das gelehrte Russland*, Leipzig, 1828.

TSAPINA 2001

TSAPINA O. A., "Secularization and Opposition in the Time of Catherine the Great," in: *Religion and Politics in Enlightenment Europe*, D. V. KLEY, J. E. BRADLEY, eds., Notre Dame (IN), 2001, 334–389.

——— 2002

TSAPINA O., "A Russian Fleury, a Russian Mosheim? Reception of European Ecclesiastical Historiography in Catherinean Russia," *82nd Meeting of the American Catholic Historical Association. Session "Frontiers of Faith in Russia: Open or Closed: Catholicism, Protestantism, Old Belief and Orthodoxy in Russia In Search of a Community"*, San Francisco, January 6, 2002 (<https://www.academia.edu>, last access on 16.05.2017).

ДАНИЛОВ 2010

ДАНИЛОВ А. В., *Розенкрейцер и реформатор российского масонства И. В. Лопухин: его учение о «внутренней церкви» как новация масонской мистики*, Минск, 2010.

ЖИРКОВ 2001

ЖИРКОВ Г. В., *История цензуры в России XIX–XX вв.*, Москва, 2001.

ЗНАМЕНСКИЙ 1873

ЗНАМЕНСКИЙ П. В., *Приходское духовенство в России со времен реформы Петра*, Казань, 1873.

ИННОКЕНТИЙ 1817

ИННОКЕНТИЙ (СМИРНОВ), *Начертание церковной истории, от библейских времен до XVIII века, в пользу духовного юношества*, С.-Петербург, 1817.

ИОСИФ

ИОСИФ ВОЛОКОЛАМСКИЙ, прп., *Просветитель*, Казань, 1886.

КНИГРЦ

АЛЕКСЕЕВ П., ПРОТОПРЕСВИТЕР, "Краткое начертание истории греко-русской Церкви" (рукопись: Российская государственная библиотека (Москва), Научно-исследовательский отдел рукописей, ф. 435 (собрание В. Г. Черткова), д. 91).

ЛОПУХИН 1798

ЛОПУХИН И. В., *Некоторые черты о внутренней церкви*, С.-Петербург, 1798.

МИЛЛЕР 2012

МИЛЛЕР А. И., "История понятия нация в России", in: *Понятия о России: к исторической семантике имперского периода*, 2, Москва, 2012, 7–49.

МИЛЮКОВ 1897

МИЛЮКОВ П. Н., *Очерки по истории русской культуры, 2: Церковь и школа*, С.-Петербург, 1897.

МИРОНОВ 2014

МИРОНОВ Б. Н., *Российская империя: от традиции к модерну*, 1, С.-Петербург, 2014.

ПЛАТОН 1805

ПЛАТОН (ЛЕВШИН), МИТР., *Краткая российская церковная история, сочиненная преосвященным Платоном, митрополитом Московским в Вифании*, Москва, 1805.

СКОРОДУМОВ 1807

СКОРОДУМОВ А., "Рассуждение о пользе и важности Церковной истории", in: *Рассуждение о религии патриархов до закона живших и о пользе и важности церковной истории*, С.-Петербург, 1807.

СМИРНОВ 1805

СМИРНОВ Н. А., свящ., *История о достопамятном Флорентийском соборе, по части унии, каковая была предпринята для соединения Восточной Церкви с Западной*, С.-Петербург, 1805.

СТРОГАНОВ 2012

СТРОГАНОВ М. А., ред., *Война 1812 года и концепт “отечество”*, Тверь, 2012.

СУХОВА 2007

СУХОВА Н. Ю., “Духовно-учебная реформа 1808–1814 гг. и становление высшей духовной школы в России”, in: *Вертоград наук духовный*, Москва, 2007, 15–52.

——— 2012

СУХОВА Н. Ю. “«Духовная ученость» в России в первой половине XIX в.”, *Филаретовский альманах*, 8, 2012, 31–54.

——— 2013

СУХОВА Н. Ю., “«Идея Академии» в подготовке и проведении духовно-учебных реформ XIX — начала XX в.”, *Вестник Екатеринбургской духовной семинарии*, 2 (6), 2013, 138–153.

ТИШКОВ 2007

ТИШКОВ В. А., “Российская нация и ее критики”, in: *Национализм в мировой истории*, В. А. Тишков, В. А. Шнирельман, ред., Москва, 2007, 558–601.

УСПЕНСКИЙ, ЛОТМАН 1996

УСПЕНСКИЙ Б. А., ЛОТМАН Ю. М., “Отзвуки концепции «Москва — Третий Рим» в идеологии Петра I (к проблеме средневековой традиции в культуре барокко)”, in: Б. А. УСПЕНСКИЙ, *Семиотика истории. Семиотика культуры*, Москва, 1996, 60–74.

ФИЛАРЕТ 1815

ФИЛАРЕТ (ДРОЗДОВ), *Разговоры между испытующим и уверенным о Православии Восточной Греко-Российской Церкви*, Москва, 1815.

——— 1816

ФИЛАРЕТ (ДРОЗДОВ), *Начертание церковно-библейской истории, в пользу духовного юношества*, С.-Петербург, 1816.

ХОНДЗИНСКИЙ 2010

ХОНДЗИНСКИЙ П., свящ., *Святитель Филарет Московский: Богословский синтез эпохи*, Москва, 2010.

---

## References

Beilby J., “An Evaluation of Gordon Kaufman’s Theological Proposal,” *American Journal of Theology & Philosophy*, 20/2, 1999, 123–146.Chondzinskij P. V., *Sviatitel’ Filaret Moskovskii: Bogoslovskii sintez epokhi: Istoriko-bogoslovskoe issledovanie*, Moscow, 2012.Confino M., “The Soslovie (Estate) Paradigm. Reflections on Some Open Questions,” *Cahiers du monde russe*, 4 (49), 2008, 681–704.Danilov A. V., *Rozenkreitser i reformator rossiiskogo masonstva I. V. Lopukhin: ego uchenie o “vnutrennei tserkvi” kak novatsiia masonskoi mistiki*, Minsk, 2010.Dixon S., *The Modernization of Russia, 1675–1825*, Cambridge, 2003.Foucault M., “Polemics, Politics, and Problematizations,” in: P. Rabinow, ed., *Ethics: Subjectivity and Truth*, New York, 1997.Foucault M., *Sécurité, territoire, population: cours au Collège de France, 1977–1978*, Paris, 2004.Freeze G. L., *The Russian Levites: Parish Clergy in the Eighteenth Century*, Cambridge, 1977.Freeze G. L., “Handmaiden of the State? The Church in Imperial Russia Reconsidered,” *Journal of Ecclesiastical History*, 36/1, 1985, 82–102.Freeze G. L., “The Soslovie (Estate) Paradigm and Russian Social History,” *The American Historical Review*, 91/1, 1986, 11–36.Greenfeld L., *Nationalism: Five Roads to Modernity*, Cambridge (MA), 1992.Habermas J., Lennox S., Lennox F., “The Public Sphere: An Encyclopedia Article (1964),” *New German Critique*, 3, 1974, 49–55.Kaufman G., *Essay on Theological Method*, Missoula (MT), 1975.Manchester L., *Holy Fathers, Secular Sons: Clergy, Intelligentsia, and the Modern Self in Revolutionary Russia*, DeKalb (IL), 2008.Miller A. I., “Istoriia poniatiia natsiia v Rossii,” in: *Poniatiia o Rossii: k istoricheskoi semantike imperskogo perioda*, 2, Moscow, 2012, 7–49.Mironov B. N., *Rossiiskaia imperiia: ot traditsii k modernu*, 1, St. Petersburg, 2014.



Raef M., "The Empress and the Vinerian Professor," *Oxford Slavonic Papers*, 7, 1974, 18–40.

Stroganov M. A., ed., *Voina 1812 goda i kontsept "otechestvo"*, Tver, 2012.

Sukhova N. Yu., "Dukhovno-uchebnaia reforma 1808–1814 gg. i stanovlenie vysshei dukhovnoi shkoly v Rossii," in: *Vertograd nauk dukhovnyi*, Moscow, 2007, 15–52.

Sukhova N. Yu., "Dukhovnaia uchenost' v Rossii v pervoi polovine XIX v.," *Filaretovskii al'manakh*, 8, 2012, 31–54.

Sukhova N. Yu., "The Idea of Academy' in Preparing and Conducting Spiritual and Educational Reforms in the XIX–Early XX Centuries," *Bulletin of the Ekaterinburg Theological Seminary*, 2 (6), 2013, 138–153.

Tishkov V. A., "Rossiiskaia natsiia i ee kritiki," in: *Natsionalizm v mirovoi istorii*, V. A. Tishkov, V. A. Shnirelman, eds., Moscow, 2007, 558–601.

Tsapina O. A., "Secularization and Opposition in the Time of Catherine the Great," in: *Religion and Politics in Enlightenment Europe*, D. V. Kley, J. E. Bradley, eds., Notre Dame (IN), 2001, 334–389.

Uspenskij B. A., Lotman Ju. M., "Otvuki kontseptsii 'Moskva — Tretii Rim' v ideologii Petra I (k probleme srednevekovoi traditsii v kul'ture barokko)," in: B. A. Uspenskij, *Semiotika istorii. Semiotika kul'tury*, Moscow, 1996, 60–74.

Zhirkov G. V., *Istoriia tsenzury v Rossii XIX–XX vv.*, Moscow, 2001.

### Acknowledgements

Development Foundation of St. Tikhon's Orthodox University. Project "The Encounter of Theology and History in the Context of the Russian Ecclesiastical Scholarship of the 19th–early 20th centuries"

---

**Евгений Игоревич Лютко**, магистр истории

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Богословский факультет

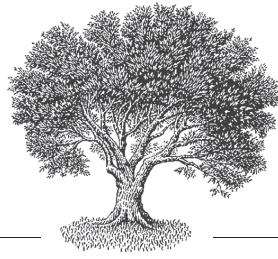
аспирант, сотрудник Научного центра истории богословия и богословского образования

127051 Москва, Лихов пер., д. 6., к. 1

Россия/Russia

e.i.lutjko@gmail.com

Received December 24, 2016



# The “Idea of the University” in the Russian Theological Academies (19th and Early 20th Centuries)\*

**Natalia Yu. Sukhova**

St. Tikhon's Orthodox University  
Moscow, Russia

# “Идея университета” в духовных академиях России (XIX – начало XX века)

**Наталья Юрьевна Сухова**

Православный Свято-Тихоновский  
гуманитарный университет  
Москва, Россия

## Abstract

For the first time, the Humboldtian university model is considered against the background of the 19th- and early 20th-century history of the Russian theological academies. The influence of educational ideas—direct or mediated by the experience of Russian universities—upon higher theological schools is traced along different historical phases delineated by two reforms: one that, between 1808 and 1814, introduced certain university elements into the life of the academies, and another that, in 1869, ushered in the research university model in its entirety. The author concludes that the fundamental principles of the research university significantly affected the further development of Russian theological scholarship, stimulating processes of specialization within the field and triggering the use of the method of historical criticism in all branches of theology. At the same time, however, some of the elements of the research university model failed to meet the specific needs of the theological schools. The application of methods of historical criticism, in turn, prompted speculation about the divine inspiration of the Scriptures, the affiliation of theological scholarship with the Church, and the limits of freedom in theological scholarship.

---

\* This article was prepared as part of the project “Theology Meets History in the Russian Spiritual and Academic Tradition of the 19th–early 20th Centuries,” supported by the Endowment Fund of St. Tikhon's Orthodox University of the Humanities.

## Keywords

Russian theological academies, Humboldtian university model, concept of a university, “research university,” theology, theological scholarship, critical historical methods

## Резюме

Статья посвящена истории “идеи университета” в духовных академиях России в XIX – начале XX в. На материалах реформ российского духовного образования, проектов, аналитических записок и дискуссий автор выявляет влияние западноевропейских научно-образовательных моделей и опыта российских университетов на высшую духовную школу на разных исторических этапах. Первым ключевым моментом в развитии “идеи университета” в российской духовной школе является реформа 1808–1814 гг., когда в модель духовной академии были включены некоторые университетские черты. Вторым ключевым моментом стала реформа 1869 г., когда российские духовные академии были преобразованы в соответствии с моделью “университета исследования”. Автор приходит к выводу, что основные принципы “университета исследования” оказали заметное влияние на развитие богословской науки в России, ее специализации, стимулировали активное введение историко-критических методов во всех областях богословия. Однако не все университетские черты оказались приемлемыми для духовной школы с ее особыми задачами; использование же историко-критических методов в богословских исследованиях обострило рефлексию конфессиональности богословской науки, богодухновенности священных текстов, свободы научно-богословского исследования.

## Ключевые слова

российские духовные академии, “идея университета”, “университет исследования”, богословская наука, историко-критические методы

## Introduction

The reforms of European education undertaken in recent decades have been intended to correct deficiencies, but also to challenge educators with many new questions and problems. These trends also affected Russian theological schools, called upon, on the one hand, to integrate fully into the Russian academic and educational system and, on the other hand, into the international one. To do this, the theological schools had to adopt some of the ideas that are typical of these systems, and in a very difficult timeframe: educational spaces themselves are dynamic, and the complex processes taking place within them can become the subjects of heated disputes, which, as it sometimes seems, do not ever reach a definitive resolution. Whereas for some specialists new ideas seem too radical, as breaking the very idea of theological schools, for others they can appear too sluggish and not modern enough. The problems of modern theological schools encourage us to focus on the experience gained by previous generations, i.e., on tradition. Furthermore, there are certain features specific to the current system of theological and religious education in Russia

that can easily be lost in the process of integration. We need to appraise the true value of those specific features in order to understand whether we can afford to lose them or must work to keep them. An additional incentive for returning to tradition is provided by certain aspects of how theological and religious education are organized in Russia, which, in the context of current processes, we should either reject or, if we feel confident in their value, work to combine them harmoniously with new ideas.

Russian theological schools represent an interesting phenomenon, both historically and theologically.<sup>1</sup> On the one hand, a theological school is intended to educate future priests to serve the Orthodox Church in the most difficult of arenas. On the other hand, at its highest level, the academy, it should prepare scholars to serve the Church through research, and for that reason theological academies have always been "laboratories of theological thought." Preparation for these ministries, in light of their specific challenges, has always required special conditions, a special rhythm of life, and a special type of personality. In the 19th- and early 20th-century Russian context, theological academies and seminaries were called "spiritual" institutions. The very term "spiritual" has multiple meanings: on the one hand, it refers to the main purpose of the school in training future priests; on the other hand, during the Synodal period (1721–1918) the school served the Estate-related purpose of providing free education for young men who belonged to the so-called Spiritual Estate, i.e., the sons of the clergy. But the notion of "spirituality" goes beyond that in pointing to the inextricable link between intellectual and spiritual life, to the mystical depth of the Church, to the formation of the integral personality to serve God and the Church. Understanding this depth, and fine-tuning theological education accordingly, has always been a challenge for theological schools, especially at the highest level: the theological ("spiritual") academies. In this article, however, the author prefers the term "theological," which is familiar in the European context.

## Study

Some features and rights of universities date back to the first Russian schools: the Kiev-Moghila School and the Slavic-Greek-Latin School of Moscow, which received the status of Academy in 1701. In the very structure of these schools, a sequence of philologically and philosophically oriented "courses," topped by theology, were adopted by the Kiev School from the Jesuit colleges and then translated to Moscow; in this structure, one can find similarities with a medieval university curriculum in which the youngest (that is, the philosophical) department has been divided into classes, and of the three special departments

<sup>1</sup> There is some general literature on the Russian theological school in the 19th century in [Титлинов 1908–1909; Тарасова 2005; Сухова 2006; ЕADEM 2009].

there remains only the theological one. All these features give historiographers of the Russian universities a reason to consider the Moscow Academy not only the first Moscow High School, but also the immediate predecessor of Moscow University [RIDDER-SYMOENS 1996; АНДРЕЕВ 2009; ЛАРИОНОВ 2010]. However, the situation is not so simple, as the University of Moscow at the time of its establishment, in 1755, was truncated in comparison with the European model: theology was not included in the University but was left in the care of the Holy Synod [УМУ 1830].

From the 1760s through the 1780s, a new “university rush” began in Russia: a number of projects were drawn up, some of which were focused on religious education and theology as a subject of study. Thus, it was proposed either to reorganize the existing Academies (in Kiev and Moscow) into “theological universities,” or to include theology in the University of Moscow program in the form of a department to be controlled by the University or by the Church [ЧИСТОВИЧ 1857: 66–67; АЛЕКСАНДРЕНКО 1873; ЛАЗАРЕВСКИЙ 1896; ПЕТРОВ Н. 1906: 487–488; РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 1910: 30–39, 268–323; ТИТЛИНОВ 1916: 766–779; ПЕТРОВ Ф. 1997: 43–44]. However, in those years most of the new ideas remained at the draft stage.

In the early 19th century two educational reforms were successively conducted in Russia, the university reform (1803–1804) and the reform of theological schools (1808–1814). As a result of these reforms, two scientific and educational systems similar in structure were set forth [УМУ 1830; УУДУ 1830: 383; ПУПДУ 1830: 950–954]. The higher levels of these systems, i.e., universities and theological academies, were also similar. And it is at this level where the main educational principles, the “philosophy” of education, were defined.

One of the “university” elements applied to the theological academies was a system of academic and pedagogical qualification “parallel” to the university system: student, candidate, master, and doctor [СУХОВА 2009]. Extension of the university “degrees” to “theological learning” was regarded as challenging. For example, in 1812 Hieromonk Philaret (Drozdov), a teacher in the capital’s Theological Academy that was the first to undergo the transformation, wrote: “. . . when the teachers in church became scarce, there appeared doctors, professors, and bachelors. The spirit of the Gospel, just like alcohol, is now measured in degrees” [ФДП 2003: 658]. However, two years later the Holy Hierarchy Philaret himself became a Doctor of Theology, and as a rector of the Theological Academy of St. Petersburg, he took part in conferring the first master’s and candidate’s degrees on the first students graduating from the Theological Academy.

But the “idea of the university” in the Theological Academy model was interrelated with three other ideas: 1) being a center of research, that is, an academy of theological research; 2) providing religious upbringing of “Youth dedicated



to the Church" [УУДУ 1830: 368]; and 3) providing professional training for theological ministry. This combination had the potential to complicate the organization and procedures of the academies. The scientific academy was thus separated from its educational function, even though the same professors were required both to cultivate erudition and to teach [ПУПДУ 1830: 916, 938]. The main academic body at the Theological Academy, along the lines of the Academy of Sciences, was the Conference, which included both internal and external members [ПУПДУ 1830: 938–940; УМУ 1830: 571]. While a university inspector had to keep an eye mainly on state-funded (bursary) students to make sure they attended classes [УМУ 1830: 582–583], the "inner formation of young men to be disposed toward an active Christianity" was seen as the "sole mission" of the academies [УУДУ 1830: 369; ПУПДУ 1830: 911]. Although the academies were not pastoral schools as such, since this task was given predominantly to seminaries, their theological and professional purpose did introduce certain peculiarities: for example, the doctoral and master's insignia—crosses—and the doctorate in theology were accessible to the clergy only.<sup>2</sup>

Practice revealed certain weak and ill-conceived features of the Theological Academy model, and by the middle of the 19th century many people were dissatisfied with it. Academy graduates were accused of lacking special theological knowledge required in various spheres of Church life; "theological encyclopedism" appeared to have undergone degradation; and the system of scientific and pedagogical qualification failed to meet its main objective, which was to stimulate research activity. As a consequence, the concept of the "Academy of Theological Research" was not implemented in its planned entirety. A more successful concept of a higher theological school was yet to be found.

The key concepts of the new 1869 Charter of the Theological Academies were "specialization" and "research." The academies were intended to encourage specialized research by members of teaching corporations and graduates in theology, and one of the methods of solving this problem was specialization: students in their first three years were supposed to focus on a range of disciplines taught in their chosen department, whereas students in the final year focused on a narrower group of subjects, and professors focused only on the disciplines they taught [УШПДА 1873: 545, 548–549, 553].

<sup>2</sup> See [ПУПДУ 1830: §402–406, 419, 424–425, pp. 947, 948, 949] (see above). Although the 1814 Charter did not require priesthood in order to become a Doctor of Theology, the agreed right for a Doctor of Theology to be a "Christian teacher" (§419) was understood in exactly this way, and in practice, throughout the duration of the Charter, the doctorate was only given to persons with a ministerial rank. The only exception over the course of fifty-five years (1814–1869) is when the degree of Doctor of Theology was given to Georgy Mavrokordato, a professor at the University of Athens; but that was intended to help the fraternal Local Church which, at that time, was struggling to revive academic approaches to theology, and needed the evidence of academic status for its best scholars.

Theological academies were turned into theological universities of a sort: only the Scriptures of both Testaments, basic theology, and a block of philosophical disciplines remained compulsory for all students, while all the other disciplines were distributed across three departments (Theology, Church History, and Church Praxis) [УШПДА 1873: 552]. The final-year (fourth-year) course went beyond basic theological education and focused on actually preparing the best students for research and teaching and for writing the master's thesis [IBID.: 553–554; ПИ 1874]. Theological research by teachers was stimulated by the fact that faculty positions required certain degrees to be taken (a master's degree for an associate professor and adjunct professor, and a doctorate for a full professor) [УШПДА 1873: §46–48, 145–146, pp. 547, 554]; on top of that, doctorates were made accessible for laymen, and the subsequent period demonstrated the commitment of this part of the academies' professorate to research activity.<sup>3</sup>

Of the four ideas included in the model of the Theological Academy in the early 19th century, the first two—the Academy of Sciences and the University—gained strength and merged, while the other two—spiritual training and the pastoral ideal—weakened. The weakening of the pastoral ideal can also be seen in the fact that during the entire period when the 1869 Charter was in effect, pastoral theology in all four academies was taught by laymen. Indeed, so the logic went, if pastoral theology is a science (a university discipline), then why can it not be taught by any capable professor?

Although the 1869 Reform addressed internal spiritual and academic problems, the transformation relied on educational ideas of the time—first of all, on the idea of a “research university”—albeit with a time lag of half a century. The influence of the “Classical University” concept was reflected, above all, in the fact that spiritual academies had shifted the focus of their work to research and inquiry, and they invited teachers and students to take part in this process of education through learning and research (in German, *Bildung durch Wissenschaft*). Permission for all professors and associate professors of the academies to create their own syllabi, to choose textbooks, and to regulate teaching time at their own discretion, only submitting final reports on the given course to the academic council, is an echo of the idea of “freedom to teaching” (*Lehrfreiheit*). This also included the introduction of “free” teachers (*Privatdozenten*), who, according to the Charter, were absolutely free to choose a teaching discipline and free to terminate courses at their discretion, merely by informing the authorities [УШПДА 1873: 547–548]. An echo of the “freedom to learn” is suggested by the provision of students with a double choice of specialization through divisions and subject groups in the final year. Finally,

---

<sup>3</sup> In the fifteen years during which the 1869 Charter was in operation, 33 out of 40 Doctorates in Theology (82.5%) were awarded to laymen (Academy professors).

there were specifically negotiated auxiliary aids to be provided to the academies: the availability of academic trips and the organization of research competitions, awards, museums, and offices, which were also characteristic features of a "research university" [IBID.: 555].

There is also a more subtle confluence: in the "special and practical lectures," one can recognize colloquia for critical analysis of sources, characteristic of the "classic university" [ПГИА 797: 423]; in the strengthening philosophical orientation [IBID.: 54, 421, 425–425v, 427], one can see the increased value of the Faculty of Philosophy which reflected the passion for "pure" science [АНДРЕЕВ 2009: 506–512, 520–522]; and in the weakening vocational pastoral orientation of the theological academies, one can recognize the lower value of professionally oriented faculties.

Of course, the "research university" model also had an effect on Russian universities, and thus could be studied by academies both directly through the German academic "statutes" and indirectly through the Charter of Russian Universities, especially as in the preparations for the spiritual and academic reform of 1869 it was repeatedly emphasized that it "follows" the reform of Russian universities of 1863 [ПГИА 797: 399–438]. For example, the provisions for *Privatdozenten* in the 1869 Charter of Theological Academies are very similar to those of the 1863 University Charter [УШПДА 1873: 547–548; ОУИР 1866: 630].

However, a direct impact of Humboldtian University and its Faculty of Theology is also evident. For example, German academic theology also had its effect on the structure of education in the academies: all theological disciplines were divided into exegetical, systematic, historical, and practical specializations; the first was made compulsory, whereas the other three were defined by their respective departments. Preparatory documents to the 1869 Reform contain only general references to European universities; however, articles published in the "academic" periodicals confirm that German universities—primarily, the University of Berlin—were at the center of attention [СЕРЕДИНСКИЙ 1869: 342–354].<sup>4</sup> In addition, the rector of the capital's Academy, Archpriest John Yanyshchev, who had served at the Russian cathedral in Wiesbaden for a long time, considered the "research university" very useful, and many of the ideas in the 1869 Charter belonged to him.

The 1869 Charter remained in force for only fifteen years. It definitely had some success in the research enthusiasm that gripped both teachers and students of higher theological schools; in the debates and discussions that took

<sup>4</sup> Archpriest T. F. Seredinskiy, who graduated from the capital's Theological Academy, was a rector at the embassy church in Berlin. His article summarizes the Theological Faculty Charter: "Statuten der theologischen Facultät der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin 1838."

place; in the international contacts in the form of internships at European universities; in the analysis of sources in libraries and archives; and in the rather quick results in the form of doctoral and master's theses. The freedom of teaching and the institution of *Privatdozenten* encouraged creativity in the development of new courses [ГЦ 1916: 260–272; БСМДА 1914: 672–674; БСМДА 1915: 714–721]. However, it turned out that higher theological schools were unprepared for such a radical transformation, and the Church system as a whole was not ready to use specially trained personnel. Insufficient training and clarification of new ideas, particularly of special and practical lectures, reduced their effectiveness and provoked remarks about their incompatibility with the tradition of Russian theological schools. Another problem was decreased attention to the specifics of the theological school: the academic rhythm was governed by a passion for research, often at the expense of the liturgical and spiritual life of teachers and students [ГЦ 1916: 388, 9–15; БСМДА 1916: 610].

In 1884, a new reform of the theological academies abolished the main ideas of 1869: departmental specialization, a special final-year schedule, and *Privatdozenten* [ПГИА 1604; ОЗ 1884: 23–24, 33–37]. Teachers at the academies were obliged to lecture from predefined programs, and special emphasis was placed on the religious life of theological academies, as well as on enhancing liturgical life and on the pastoral training of students. Thus, it might seem that the idea of a “research university” had been rejected by the Russian spiritual and academic tradition. However, this is not quite true. The connection between research and training in theological academies has remained inseparable ever since, although there were attempts to “protect” the educational process from unverified research findings; this relationship persisted also both in the “degree-related” requirements for teachers and in the research requirements for dissertations [УШПДА 1887: 234–235, 241]. The “freedom of teaching” was also partially preserved: despite repeated requests from the Synod, researchers told their audiences what they believed was most important for achieving academic qualifications, without adhering to the approved programs. Despite the fact that specialized practical classes had little success within the terms of the 1869 Charter, colloquia in one form or another, for example, student groups or teaching experiments, reappeared in the academies later on. Finally, in spite of repeated attempts to focus the research interests of theological academies exclusively on theology, academies still contained a wide spectrum of different disciplines.

In the late 19th and early 20th centuries, representatives of academies insistently suggested not only returning to the academic features of the 1869 Charter, but also strengthening them by more precisely following the example of European universities. Thus, the 1905 draft proposal for the Moscow Theological Academy proposed fundamentally enhancing the flexibility of education

and involving students in the building up of their own "educational path"; abolishing the obligation to remain in a certain course, following the example of German universities; and only obliging a student to stay at the Academy for at least four years, during which time they were to submit a certain number of written papers annually and pass exams and tests. The main ideologist behind the project was Professor I. V. Popov, who had been on an internship in Germany, at Berlin and Munich universities, a short time before (in the 1902–1903 academic year) [ЖПЗПП 1907: 53–57].

More radical modes of connecting theology with the "university idea" were considered in these years. For example, Archpriest Pavel Svetlov, Professor of Theology at the University of Kiev, who believed the development of theological research to be impossible in "denominational schools" such as the theological academies, suggested that it be completely transferred to the universities, where theological departments would be established [ЖПЗПП: 48–53, 58–61; СВЕТЛОВ 1897; IDEM 1906]. However, most representatives of theological academies supported the retention of the existing model of the higher theological school that had demonstrated its viability, albeit with a more consistent adoption of academic ideas (freedom to conduct research, to teach, and to study, and a diversity of forms of education, such as colloquia and specialized courses) [ЖПЗПП 1907: 53].

Another stage of the "academic aspirations" among the theological academies presented itself in 1918, although it was stimulated by extreme conditions and the impossibility of the existence of the old denominational model of the theological academy. Two academies—one in Petrograd and the other in Kazan—attempted to merge into local universities in the form of theological faculties. They failed, but the project drawn up by N. N. Glubokovsky, a professor at the Petrograd Academy, attempted to combine the advantages of a university faculty with those of an independent Church school. On closer examination, it becomes clear that this project was a more elaborate version of the 1760s proposal by the Department of Theology at the University of Moscow.

## Conclusions

1. Despite certain "fluctuations" in the process of transforming the theological academies, the academic features of a university were never totally extraneous to the Russian higher theological schools from the time of their foundation. Also, during the 19th and early 20th centuries, the elements of a university model were becoming increasingly important, especially in the field of research and education.
2. "Fluctuations" superimposed on the general strengthening of the "idea of the university" were due to three main factors: 1) the distinctive features of



historical periods and ecclesiastical situations that directly or indirectly influenced theological schools; 2) the unwillingness fully to use innovations, leading to their rejection; 3) the underestimation of the particular ecclesiastical, educational, and professional challenges of the higher theological school, which could not be fully met within a university model.

3. The experiment conducted from 1869 to 1884 put Russian theological academies as close as possible to the model of the classical European university. Thus, it helped to clearly recognize the features that were both useful and unacceptable for the higher spiritual school. Some elements came to stay, becoming essential for the higher theological school, and they survived all further modifications of the model.

4. Integrating university features into the higher theological school model and their adaptation and adjustment turned out to be both a positive and a negative experience. On the one hand, the legacy of the Russian theological school should be taken into account during its current transformations. On the other hand, this chapter in the history of Russian theological education is also an integral part of the history of European higher education. Therefore, without a detailed study of all the nuances and peculiarities of the implementation of the seemingly well-known idea of the Classical University in Russian theological schools, the history of European education cannot be considered complete.

## Bibliography

### Sources

#### ВСМДА 1914–1916

МУРЕТОВ М. Д., “Из воспоминаний студента Императорской Московской духовной академии XXXII курса (1873–1877)”, *Богословский вестник*, октябрь–ноябрь, 1914, 646–676; октябрь–декабрь, 1915, 700–778; октябрь–декабрь, 1916, 582–612.

#### ГС 1916

СОКОЛОВ В. А., “Годы студенчества (1870–1874)”, *Богословский вестник*, февраль, 1916, 246–275 (2-я пагин.); март–апрель, 1916, 385–420 (2-я пагин.); май, 1916, 3–36 (3-я пагин.).

#### ЖПЗПП 1907

*Журналы и протоколы заседаний Высочайше учрежденного Предсоборного Присутствия*, 1, С.-Петербург, 1907.

#### ОЗ 1884

*Объяснительная записка к проекту изменений в Уставе православных духовных академий*, С.-Петербург, 1884.

#### ОУИРУ 1866

“Высочайше утвержденный 18 июня 1863 г. Общий Устав Императорских российских университетов”, in: *Полное собрание законов Российской Империи. Собрание второе*, 38/1, 39752, С.-Петербург, 1866, 621–638.

## ПИ 1874

*Положение об испытаниях на ученые степени и звание действительного студента в духовных академиях, Казань, 1874.*

## ПУПДУ 1830

“Высочайше утвержденный 30 августа 1814 г. проект Устава православных духовных училищ”, in: *Полное собрание законов Российской Империи. Собрание первое*, 32, 25673, С.-Петербург, 1830, §442–479, 910–956.

## РГИА 797

Российский государственный исторический архив, ф. 797, оп. 37 (отд. 1, ст. 2), д. 1.

## — 1604

Российский государственный исторический архив, ф. 1604, оп. 1, д. 159.

## УМУ 1830

“Высочайше утвержденный 5 ноября 1804 г. Устав Императорского Московского университета”, in: *Полное собрание законов Российской Империи. Собрание первое*, 23, 21498, С.-Петербург, 1830, §163–177, 570–589.

## УУДУ 1830

“Высочайший именной указ от 26 июня 1808 г., данный Синоду «Об усовершенствовании духовных училищ; о начертании правил для образования сих училищ и составлении капитала на содержание духовенства», in: *Полное собрание законов Российской Империи. Собрание первое*, 30, 23122, С.-Петербург, 1830, §1–12, 368–395.

## УУМУ 1830

“Именной указ от 24 января 1755 г. «Об учреждении Московского Университета и двух Гимназий». С приложением Высочайше утвержденного проекта по сему предмету”, in: *Полное собрание законов Российской Империи. Собрание первое*, 14, 10346, С.-Петербург, 1830, §4, 284–294.

## УШПДА 1873

“Высочайше утвержденные 30 мая 1869 г. Устав и штаты православных духовных академий”, in: *Полное собрание законов Российской Империи. Собрание второе*, 44/1, 47154, С.-Петербург, 1873, 545–556.

## — 1887

“Высочайше утвержденные 20 апреля 1884 г. Устав и штаты православных духовных академий”, in: *Полное собрание законов Российской Империи. Собрание третье*, 4, 2160, С.-Петербург, 1887, 232–243.

## ФДП 2003

ФИЛАРЕТ (Дроздов), свт., “Письмо к священнику Г. Г. Пономареву от 26 февраля 1812 г.”, in: ИДЕМ, *Избранные труды, письма, воспоминания*, Москва, 2003.

## Literature

## RIDDER-SYMOENS 1996

DE RIDDER-SYMOENS H., ed., *A History of the University in Europe, 2: Universities in Early Modern Europe (1500–1800)*, Cambridge, 1996.

## АЛЕКСАНДРЕНКО 1873

АЛЕКСАНДРЕНКО В. Н., “Проект богословского факультета при Екатерине II”, *Вестник Европы*, 6/11, 1873, 300–317.

## АНДРЕЕВ 2009

АНДРЕЕВ А. Ю., *Российские университеты XVIII – первой половины XIX века в контексте университетской истории России*, Москва, 2009.

ЛАЗАРЕВСКИЙ 1896

ЛАЗАРЕВСКИЙ А., “По поводу ста лет от смерти графа П. А. Румянцева”, *Киевская старина*, 12, 1896, 374–394.

ЛАРИОНОВ 2010

ЛАРИОНОВ А. А., “«Университетская автономия» в Московской Славяно-греко-латинской академии (XVIII – начало XIX в.)”, *Вестник Московского университета. Серия 8: История*, 3, 2010, 27–39.

ПЕТРОВ Н. 1906

ПЕТРОВ Н. И., “Киевская академия в царствование Екатерины II (1762–1796)”, *Труды Киевской духовной академии*, 7, 1906, 453–494.

ПЕТРОВ Ф. 1997

ПЕТРОВ Ф. А., *Немецкие профессора в московском университете*, Москва, 1997.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 1910

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ С., *Материалы для истории учебных реформ в России в XVIII–XIX вв.*, 1, С.-Петербург, 1910.

СВЕТЛОВ 1897

СВЕТЛОВ П. Я., прот., *Место богословия в семье университетских наук*, Киев, 1897.

——— 1906

СВЕТЛОВ П. Я., прот., *О необходимости богословских факультетов в университетах или о реформе высшего религиозного образования в России*, Киев, 1906.

СЕРЕДИНСКИЙ 1869

[ТАРАСИЙ СЕРЕДИНСКИЙ, прот.,] “Богословский факультет Королевского Берлинского университета”, *Христианское чтение*, 2/8, 1869, 342–354.

СУХОВА 2006

СУХОВА Н. Ю., *Высшая духовная школа: проблемы и реформы (вторая половина XIX века)*, Москва, 2006.

——— 2009

СУХОВА Н. Ю., *Система научно-богословской аттестации в России в XIX – начале XX в.*, Москва, 2009.

ТАРАСОВА 2005

ТАРАСОВА В. А., *Высшая духовная школа России в конце XIX – начале XX века*, Москва, 2005.

ТИТЛИНОВ 1908–1909

ТИТЛИНОВ Б. В., *Духовная школа в России в XIX столетии*, 1–2, Вильна, 1908–1909.

——— 1916

ТИТЛИНОВ Б. В., *Гавриил Петров, митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский. Его жизнь и деятельность, в связи с церковными делами того времени*, Петроград, 1916.

ЧИСТОВИЧ 1857

ЧИСТОВИЧ И. А., *История Санкт-Петербургской духовной академии*, С.-Петербург, 1857.

## References

Andreev A. Yu., *Rossiiskie universitety XVIII – pervoi poloviny XIX veka v kontekste universitetskoi istorii Rossii*, Moscow, 2009.

de Ridder-Symoens H., ed., *A History of the University in Europe*, 2: *Universities in Early Modern Europe (1500–1800)*, Cambridge, 1996.

Larionov A. A., “University Autonomy in Moscow Slavic-Greek-Latin Academy (18th Century–Early 19th Century),” *Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya 8: Istoriia*, 3, 2010, 27–39.

Petrov F. A., *Nemetskie professora v moskovskom universitete*, Moscow, 1997.

Sukhova N. Yu., *Vysshaia dukhovnaia shkola: problemy i reformy (vtoraia polovina XIX veka)*, Moscow, 2006.

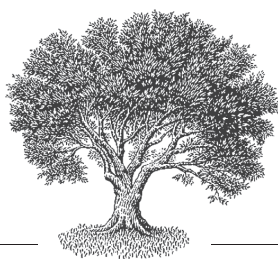
Sukhova N. Yu., *Sistema nauchno-bogoslovskoi attestatsii v Rossii v XIX – nachale XX v.*, Moscow, 2009.

Tarasova V. A., *Vysshaia dukhovnaia shkola Rossii v kontse XIX – nachale XX veka*, Moscow, 2005.

---

проф. **Наталья Юрьевна Сухова**, доктор церковной истории, доктор ист. наук  
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет,  
Богословский факультет, профессор кафедры общей и русской церковной  
истории и канонического права  
127051 Москва, Лихов пер., д. 6  
Россия/Russia  
suhovanat@gmail.com

Received February 12, 2017



Трансформации  
агиографического  
кода в “Очарованном  
страннике”  
и принцип  
амбивалентности в  
поэтике Н. С. Лескова

**Андрей Михайлович  
Ранчин**

Московский государственный  
университет им. М. В. Ломоносова  
Москва, Россия

Transformations of the  
Hagiographic Code  
in *The Enchanted  
Wanderer*  
and the Principle of  
Ambivalence in the  
Poetics of Nikolai  
Leskov

**Andrey M. Ranchin**

Lomonosov Moscow State University  
Moscow, Russia

Резюме

Статья посвящена анализу и интерпретации повести Н. С. Лескова “Очарованный странник”. Повесть Лескова построена на весьма сложном сочетании разнородных элементов, прежде всего восходящих к житиям святых и к фольклору. Агиографические элементы имеют в этом произведении амбивалентную семантику. Отдельные события из жизни главного героя, Ивана Северьяныча Флягина, соотносятся с эпизодами-топосами агиографии, в то время как другие его поступки с ними контрастируют. “Очарованный странник” — произведение с амбивалентной семантикой, которая создается благодаря взаимодействию и игре различных кодов. Поэтика амбивалентности, характерная в целом для творчества писателя, в “Очарованном страннике” приобретает особенно отчетливый характер.



## Ключевые слова

Н. С. Лесков, “Очарованный странник”, поэтика, агиографический код, амбивалентность

## Abstract

The present paper analyses and interprets the tale *The Enchanted Wanderer*. The story, written by Nikolai Leskov, is built on a very complex combination of different elements, primarily relating to the lives of the saints and to folklore. Hagiographical elements in this work possess ambivalent semantics. Single events from the life of the protagonist, Ivan Sever'ianych Fliagin, correlate with the episodes-topoi in hagiography, while other actions are in contrast with them. The interpretation of Ivan Fliagin's (monk Ishmael's) fate by the narrator obviously does not coincide with the author's vision, which is infinitely more complex. Undoubtedly, the only righteous beginning in Fliagin's soul is the desire to sacrifice himself for the people. The life of Leskov's hero, perceived by its non-reflective consciousness as integrity, for the ideal or so-called abstract reader is split into a series of diametrically opposed or ambivalent acts. This life should be read through different codes, primarily from hagiography and folklore (fairy and epic tales). At the same time, in the hagiographic code Ivan turns out to be both a hero and an anti-hero. The hagiographic code is inadequate to describe the personality and fate of Ivan-Ishmael: it periodically “fails” when trying to describe the life of the hero. Reality is presented by Leskov as a much richer phenomenon than literature. *The Enchanted Wanderer* is a work with ambivalent semantics, which is created by the interaction and interplay of different codes. The poetics of ambivalence is characteristic in general for works by this writer. In *The Enchanted Wanderer* it has a particularly distinct character..

## Keywords

N. S. Leskov, *The Enchanted Wanderer*, poetics, hagiographical code, ambivalence

Как известно, одна из отличительных особенностей поэтики многих произведений Н. С. Лескова — это акцентированная неоднозначность персонажей и сюжетных мотивов, которые порождают различные, а нередко и взаимоисключающие интерпретации, “программируемые” автором. Его произведения “интригуют читателя истолкованием нравственного смысла происходящего в них” [Лихачев 1987б: 329]. Одним из примеров “мягкого” конфликта интерпретаций можно назвать рассказ “Бесстыдник”, в котором и рассказчиком Порфирием Никитичем, и воспроизводящим его рассказ повествователем “[о]ткровенно циничный взгляд” интенданта-вора Анемподиста Петровича “признается правильным” [Идем 1987а: 324]. В этом случае неверная интерпретация на всех уровнях наррации оценивается как истинная, однако ее радикальное несоответствие общепризнанной системе нравственных координат побуждает читателя признать, что здесь автор прибегает к иронии и что

истолкование, предлагаемое нарраторами, — ложное. Однако у Лескова весьма многочисленны и тексты значительно более сложные. Писатель неоднократно создает образы персонажей-трикстеров, в разной степени обладающих взаимоисключающими свойствами, совмещающих серьезное и комическое [McLEAN 1977: 469; SPERRLE 2002: 19]. Даже, казалось бы, симпатичный персонаж-бессребреник — главный герой сказа “Левша”, преданный своей родине, может быть понят как фигура двойственная, не лишенная черт, связанных с “изнаночным”, бесовским миром [Панченко 2000]. При этом сам мотив “одоления”, “посрамления” англичан русскими мастерами получает откровенно амбивалентный характер. Амбивалентность вообще присуща художественному миру многих произведений писателя [Жолковский 2008; Поздина 2009], причем часто она создается столкновением различных стилей и жанровых элементов в границах одного текста [SPERRLE 2000; Поздина 2009]. Элементы амбивалентности присущи даже некоторым текстам писателя, претендующим на дидактичность, назидательность [Ранчин 1998].

Рассмотрим с этой точки зрения одно из самых известных произведений Лескова — повесть “Очарованный странник”, в которой сложным и причудливым образом взаимодействуют стили и коды, восходящие к различным традициям и пластам словесности; среди них по своей значимости выделяются два, которые можно обозначить как агиографический и фольклорный. Стоит заметить, что традиционно “Очарованный странник” истолковывался и отчасти истолковывается как повесть о герое, наделенном чертами праведничества, причем ее соотносимость с агиографией интерпретируется как изображение посредством житийной топики пути к нравственной истине<sup>1</sup>. Однако недавно О. Е. Майорова [2015] предложила интерпретацию повести как произведения с амбивалентной семантикой. Моя статья отчасти развивает ее подход.

Оспаривая принятую в российском лесковедении трактовку повести и образа ее героя (“Акцентируя эпический подтекст повести, российские исследователи обычно трактуют Флягина в исключительно высоком ключе, как идеал русского человека из простонародья” [Майорова 2015: 352]), О. Е. Майорова доказывает, что “смысловой центр повести заключается не в репрезентации русскости — будь то ее высокая или сниженная проекция — и не в конструировании национальной идентичности, но в ее проблематизации, в обнажении ее глубинной уязвимости, размытости и ускользающей природы” [ibid.: 353]<sup>2</sup>. Напоминая о

<sup>1</sup> Из работ последнего времени наиболее отчетливо это истолкование проведено в кандидатской диссертации Д. В. Неустроева [2008].

<sup>2</sup> Проблематизация национальной самоидентификации, действительно, очень важна в повести, однако я в отличие от О. Е. Майоровой не могу считать ее смысловым центром произведения: этой теме посвящена меньшая часть

семантической многомерности и элементах амбивалентности, присущих поэтике Лескова, исследовательница обнаруживает их и в “Очарованном страннике”:

Будучи ироничным писателем, с присущей ему игровой авторской позицией, Лесков любил создавать многослойные тексты, открытые амбивалентным прочтениям и построенные на переосмыслении сложившихся риторических схем и популярных мифов. Рассыпанные по его произведениям ссылки на такие мифы [. . .] опасно воспринимать напрямую, как ключ к пониманию текста [Майорова 2015: 354].

Как показывает О. Е. Майорова, уподобление Флягина Илье Муромцу, в исследовательских трактовках обычно принимаемое абсолютно серьезно, включает в себе очевидную иронию: свободолюбие и даже бунтарство Ильи контрастирует с обычной для Ивана подчиненностью обстоятельствам и с безусловным приятием лесковским героем существующей социальной иерархии; поступки Флягина и ситуации, в которых он оказывается, весьма непохожи на деяния богатыря и на преодолеваемые героем былины обстоятельства. Хотя утверждение: “Предложенное самим Лесковым сравнение Ивана Северьяныча с героем баллады Толстого насквозь иронично” [Майорова 2015: 354–355] мне представляется преувеличением, так как у Ивана Флягина есть определенное отнюдь не ироническое сходство с былинным Ильей Муромцем — прототипом героя А. К. Толстого<sup>3</sup>, амбивалентная семантика былинных фольклорных мотивов в повести была показана достаточно убедительно. Предваряя выводы собственного исследования, замечу, что оно также выявляет амбивалентный характер лесковского текста — причем не только его фольклорного, но и агиографического кода.

Нарративная структура лесковской повести достаточно сложна: в ней есть главный герой-рассказчик — Иван Северьяныч Флягин — и

---

текста — вскоре после рассказа о возвращении Флягина из “татарского” плена она сходит на нет. Так же сложно согласиться и с мыслью исследовательницы, что в “Очарованном страннике” Лесков “приближается к антиимперской позиции, которую вскоре начнет горячо и последовательно отстаивать Лев Толстой — и через несколько лет Лесков станет толстовским единомышленником” и что “Очарованный странник” “оказался поворотным произведением в идеологической траектории писателя” [Майорова 2015: 362]. “Очарованный странник” не является манифестацией как-либо социальных или политических идей автора — амбивалентная поэтика текста как раз и препятствует превращению его в идеологическое высказывание — в отличие от произведений Л. Н. Толстого и от некоторых поздних сочинений самого Лескова, близких толстовскому учению.

<sup>3</sup> Флягина роднит с Ильей Муромцем и сила, и мужество, и страннический дух, и готовность пострадать “за народ” — за свою землю. Однако эти качества проявляются преимущественно в части повести, посвященной жизни героя после возвращения из казахских степей, а в этой части парадоксальным образом (вполне “по Лескову”) явная соотнесенность с былинными сюжетами как раз исчезает.

повествователь обрамляющего, рамочного текста — один из слушателей флягинской истории; в терминах нарратологии В. Шмида [2003: 79] это, соответственно, вторичный и первичный нарраторы. Вопрос о том, какому из нарративных уровней текста принадлежат смыслы, передаваемые агиографическим и фольклорным кодами, — собственно авторскому, то есть плану абстрактного автора в терминах В. Шмида [ibid.: 41–57]<sup>4</sup>, повествовательному плану и кругозору Флягина или плану/сознанию безымянного первичного нарратора, в ряде случаев не имеет однозначного решения.

Смыслы, передаваемые агиографическим и фольклорным кодами, носят оценочный, интерпретативный характер по отношению к герою и его судьбе и отчасти близки к той семантике, которую, по Б. А. Успенскому [1995: 19–29], включает в себя точка зрения в плане идеологии. Однако в отличие от отчетливого выражения авторской позиции, о котором пишет Б. А. Успенский, эти оценки, как правило, имеют “мерцающий” и неустойчивый характер и часто амбивалентны. Их природа не идейная, а коннотативная.

Начнем с заглавия, в известной мере задающего перспективу восприятия текста. Эпитет *очарованный* в выражении *Очарованный странник* интерпретировался исследователями повести по-разному, порой диаметрально противоположным образом. Заглавие, естественно, отражает точку зрения абстрактного автора, которая может здесь совпадать с точкой зрения первичного нарратора, которого ничто не мешает воспринимать как фиктивного автора. Именование Флягина, данное в названии текста, разумеется, не может принадлежать нарративному плану этого героя. Кроме того, Иван Северьяныч, чуждый рефлексии, никаких обобщающих определений в отношении себя самого не предлагает.

По мнению А. Л. Волынского [2011: 70], смысл заглавия заключается в выражении особого рода фатализма — народной веры, заключающейся в приятии, “блаженном послушании” воле Божества, в восприятии жизни как “дороги” к Богу. В такой трактовке *очарованность* имела положительный смысл и соотносилась с послушанием воле Провидения, отличающей святого в житиях.

Иной была точка зрения другого младшего современника Лескова — А. А. Измайлова, чья незаконченная книга об авторе “Очарованного странника” была опубликована совсем недавно:

“Очарованный” — это, по-видимому [...] из рыцарского романа, где рыцарь совершенно так же, как Иван Северьяныч, подхвачен какою-то властной волной колдовского очарования и несется на ней, потеряв свою волю. В герою

<sup>4</sup> И соотносимому с ним плану абстрактного читателя; см. об этом понятии: [Шмид 2003: 57–63].

“Странника” Лесковым схвачена та почти страшная черта русской души, которая вынуждает человека трагически пассивно принимать все, что над ним не (sic! — А. Р.) пронесет Рок, гораздо повелительнее Рока древнегреческой трагедии. Какой-то самум подхватывает бедное пассивное существо, вертит его и кидает по произволу, обращая все его добрые начинания во зло, но зато самыми его преступлениями как будто ведя на путь спасения, создает ему жизнь, пеструю и фантастическую, как сказки Шехеразады. . . [Измайлов 2011: 369].

В этой трактовке акцентируется не приятие воли Божией, а околдованность имперсональным Роком, не свободное подчинение, а пассивность, безволие. С этой точки зрения Иван Северьяныч Флягин, главный герой повести, не имеет ничего общего со святым жития; А. А. Измайлов сближает его с персонажем совсем иного плана — с героем рыцарского романа. (Насколько оправданно это сближение — отдельный вопрос, останавливаться на котором сейчас нет возможности.) При таком понимании эпитет *очарованный* если не наделяется, то может наделяться пейоративными коннотациями. *Колдовское очарование*, о котором пишет А. А. Измайлов, — понятие, в христианском сознании безусловно относимое не к проявлениям праведности или святости, а к пленению бесовской силой.

В дальнейшем лесковеды, обращавшиеся к повести, акцентировали или эту несвободу [ANSBERG 1957: 69], “плененность” Флягина земным, плотским миром, прикованность к нему [RÖSSLER 1939: 15], околдованность и оцепенение [ГОРЕЛОВ 1988: 190], или многозначность *очарованности* [ВИДУЭЦКАЯ 2000: 42–43]. Скорее позитивно осмысляла эту *очарованность* И. В. Столярова:

Во многом именно в этой обостренной эмоциональной восприимчивости Ивана Северьяновича, в артистическом, импульсивном складе его натуры, ведомой более инстинктом красоты, чем соображениями рассудка, кроется смысл той характеристики героя, которая вынесена в заглавие повести и не раз потом появляется на ее страницах. . . [СТОЛЯРОВА 1978: 42].

Однако она также делает акцент на многозначности — но не на ценностной амбивалентности позитивное/негативное, а на допустимости двоякого толкования очарованности как чуткости героя к реальному/иллюзорному воздействию мистических сил [ЕАДЕМ 1996б: 7–8].

По мнению Н. И. Либана,

название — ключ к повести. Странничество поэтической души, бессознательно тянущейся к красоте, способной прочувствовать её совершенство, — и человек во власти чар, околдованный. Зависимый от прелести, не владеющий собой из-за бесконечной впечатлительности, слабый при своей по-былинному богатырской силе [ЛИБАН 2015: 327].



Обратимся к примерам употребления слова *очарованный* в тексте повести. Пример первый: “Мы дали ему немножко поотдохнуть и дерзнули на новые вопросы о том, как он, наш очарованный богатырь, выправил свои попорченные волосаною сечкою пятки и какими путями он убежал из татарской степи от своих Наташей и Колек и попал в монастырь?” [Лесков 1957: 436]. Здесь *очарованность* соотносится не с путем к Богу, прочитывается не в житийном коде, а в фольклорном, так как эпитет относится к *богатырю* — Флягину, соотнесенному с героем былин. Поскольку речь идет о плене у “татар” (казахов) и о невозможности Ивана ходить на стопах (в его пятки “татары” зашили конский волос), Флягин в фольклорном (былинном) коде ассоциируется обессиленным или неспособным двигаться богатырем — с Ильей Муромцем в сюжете о его исцелении после тридцати лет, что он “сиднем сидел” [Илья Муромец 1958: 9–16]. Это негативная *очарованность*, подобная околдованности злыми чарами.

Пример второй. “История очарованного странника, очевидно, приходила к концу, оставалось любопытствовать только об одном: как ему повелось в монастыре” [Лесков 1957: 505]. Мотива (метафорического, ассоциативного) злых чар, пленивших героя, здесь нет. Эпитет *очарованный* в сочетании с лексемой *странник* вызывает ассоциации с путем как метафорой жизни. В агиографическом коде эта метафора может быть интерпретирована как путь к Богу (в предметном плане — в новый монастырь, на Соловки, куда отправился Иван — отец Измаил).

Последний пример содержится почти в самом конце текста. “[О]чарованный странник как бы вновь ощутил на себе наитие вещательного духа и впал в тихую сосредоточенность, которой никто из собеседников не позволил себе прервать ни одним новым вопросом” [Лесков 1957: 513]. Здесь контекстом поддерживается толкование *очарованности* как послушания воле Божией и даже как профетического, пророческого дара (“вещательный дух”). Впрочем, поскольку прежде читатель познакомился с “пророчествами” Флягина о близкой войне, которые в тексте повести воспринимаются полукомически, ибо кажутся безосновательными, “наитие вещательного духа” могло бы также восприниматься как ироническая характеристика, если бы такая интерпретация не блокировалась упоминанием о жертвенном желании Ивана-Измаила: “мне за народ очень помереть хочется” [ibid.: 513] — своеобразной вариации евангельского речения Христа: “Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих” (Иоан 15:13).

Таким образом, в двух из трех случаев употребления эпитет *очарованный* имеет явный или вероятный позитивный смысл как указание на восхищенность героя благодатью Божией: Флягин ведом, восхищен,

как некий человек “восхищен был до третьего неба” и “восхищен был в рай” (2 Кор 12:2–4). Два примера из трех трактуют очарованность в житийном коде, еще один — в фольклорном, и притом негативно. Так агиографический и фольклорный коды образуют в этом случае оппозицию. Эта сложная семантика принадлежит к повествовательному пласту абстрактного автора и, возможно, также первичного нарратора, но, конечно, не главного героя.

Неоднократно в повести употребляются слова, однокоренные с лексемой *очарованный*. Таково прилагательное *чародейный*, имеющее однозначно негативную семантику (“колдовской”).

Как усну, а лиман рокошет, а со степи теплый ветер на меня несет, так точно с ним будто что-то плывет на меня чародейное, и нападает страшное мечтание: вижу какие-то степи, коней, и все меня будто кто-то зовет и куда-то манит: слышу, даже имя кричит: “Иван! Иван! иди, брат Иван!” Встрепенешься, инда вздрогнешь и плюнешь: тьфу, пропасти на вас нет, чего вы меня вскрикались! оглянешься кругом: тоска; коза уже отойдет далеко, бродит, травку щипет, да дитя закопано в песке сидит, а больше ничего... Ух, как скучно! пустынь, солнце да лиман, и опять заснешь, а оно, это течение с поветрием, опять в душу лезет и кричит: “Иван! пойдём, брат Иван!” [Лесков 1957: 410].

*Чародейное* находится в одном ряду со *страшным мечтанием*, понимаемым в соответствии с церковнославянской традицией как фантом, иллюзия, бесовское искушение (сравним, например, цитаты с лексемой *мьчтаниѹ*: [СДРЯ, 5: 100], молитву на освящение воды, молитву священномученика Киприана и подбор речений из святоотеческой книжности и их толкования у святителя Игнатия Брянчанинова [Игнатий Брянчанинов 1870: II, 7, 31, 57, 69, 95, 139, 144, 183, 187, 204, 229, 235 и сл.]). Однако мотив, казалось бы, однозначно определяемый в агиографическом коде как дьявольский соблазн, в дальнейшем раскрывается противоположным образом — как тяга к странствиям, ведущая Ивана-Измаила в паломничество на Соловки — в обитель, которую Флягин узрел в одном из своих юношеских видений. Парадокс заключается также в том, что чародейная сила, влекущая Ивана, рисует перед ним видение будущей жизни в плену (здесь “включается” фольклорный, былинно-сказочный код повестей о Еруслане Лазаревиче и о Бове Королевиче), но это “мечтание” почти тотчас же сменяется другим видением, уже принадлежащим к агиографическому коду повести:

Ан вдруг вижу: это надо мною стоит тот монах с бабьим лицом, которого я давно, форейтором бывши, кнутом засек. Я говорю: “Тпружи! пошел прочь!” А он этак ласково звенит: “Пойдем, Иван, брат, пойдём! тебе еще много надо терпеть, а потом достигнешь”. Я его во сне выругал и говорю: “Куда я с тобой пойду и чего еще достигать буду”. А он вдруг опять облаком сделался и сквозь

себя показал мне и сам не знаю что: степь, люди такие дикие, сарацины, как вот бывают при сказках в Еруслане и в Бове Королевиче; в больших шапках лохматых и с стрелами, на страшных диких конях. И с этим, что вижу, слышались мне и гогот, и ржанье, и дикий смех, а потом вдруг вихорь... взмело песок тучею, и нет ничего, только где-то тонко колокол тихо звонит, и весь как алою зарею облитый большой белый монастырь по вершине показывается, а по стенам крылатые ангелы с золотыми копьями ходят, а вокруг море, и как который ангел по щиту копьем ударит, так сейчас вокруг всего монастыря море всколыхнется и заплещет, а из бездны страшные голоса вопиют: “Свят!” [Лесков 1957: 410].

Видение, предрекающее приход святого в монастырь, — традиционный агиографический мотив. Сравним в Киево-Печерском патерике видение Шимоном-Симоном Успенской Печерской церкви в море во время бури — позднее он будет погребен в этой обители [Библиотека 1997б: 298] или видение Епистимии в Житии Галкатиона и Епистимии, предрекающее ее отречение от мира, монашество и спасение души через мученичество: она видит “единъ ликъ черноризцевъ, другій ликъ дѣвъ красныхъ, третій ликъ члвѣквъ бл҃гоуспѣвшихъ” [Книга житий 1764, 1: 308 об.].

Первое же видение в “Очарованном страннике” (“мечтание”) может быть интерпретировано и в агиографическом коде — как бесовское наваждение, о чем свидетельствуют такие детали, как “гогот, и ржанье, и дикий смех”. Сравним смех как знак принадлежности дьявольскому миру в средневековой и народной русской культуре [Лотман, Успенский 1977]. Однако, вопреки агиографической традиции, наваждение сбывается, оказывается истинным: Ивана действительно ждет долгая жизнь в “татарском” плену.

Перед нами первый пример семантической “развилки” житийного и былинно-сказочного кодов: один и тот же мотив получает в них принципиально различное значение. Безусловно негативное значение имеет лексема *чародей*. Флягин рассказывает:

Стал я для всех барышников-цыганов все равно что божия гроза, и узнал стороною, что они собираются меня бить. Я от этого стал уклоняться, потому что их много, а я один, и они меня ни разу не могли попасть одного и вдоволь отколотить, а при мужиках не смели, потому что те за мою добродетель всегда стояли за меня. Тут они и пустили про меня дурную славу, что будто я чародей и не своею силою в твари толк знаю, но, разумеется, все это было пустяки: к коню я, как вам докладывал, имею дарование и готов бы его всякому, кому угодно, преподать, но только что, главное дело, это никому в пользу не послужит [Лесков 1957: 450].

Интересно, что в этом фрагменте выражение *не своею силою* имеет безусловно пейоративную семантику, в то время как в речи Флягина,

объясняющего свою жизнь: “я многое даже не своею волею делал” [ІВІД.: 395], синонимичное выражение *не своею волею* имеет скорее позитивный смысл “волею Божией”, хотя не исключена и двойственная трактовка. Так создается еще одна амбивалентная развилка “смыслов”: Иван Северьяныч прожил жизнь, воплощая (неосознанно, как правило) волю Божию — и был влеком силой дьявольской. Естественно, возможна и иная интерпретация: жизнь Флягина определяется сочетанием, точнее борьбой, этих двух начал за душу героя. Однако четкое разграничение божественного и дьявольского оказывается — с точки зрения Ивана, не вполне эксплицированной в тексте, но реконструируемой читателем, — затруднительным, по отношению к некоторым событиям — невозможным и/или нерелевантным. В авторском же видении, как и в восприятии образованного читателя с секулярными рационалистическими взглядами, оппозиция божественное — дьявольское неактуальна, точнее, она функционирует как дихотомия, образуемая культурными и литературными коннотациями, но не как мировоззренческая константа.

В церковнославянской традиции глагол *очаровати* означает “околдовать”, он и производное от него причастие *очарованъ* и однокоренные *чара*, *чарование*, *чаровати* и др. обладают однозначными пейоративными коннотациями [МСДРЯ, 2: 844, 3: 1471–1474]. “Словарь Академии Российской” в конце XVIII века так же однозначно определяет *чары* как “колдовство, волшебство”, а слово *очарованный* толкует как “околдованный, замороженный”; примеры на основные лексемы гнезда даются библейские [САР, 6: 664–666]. Только в “Словаре церковно-славянского и русского языка” 1847 года появляется прилагательное *очаровательный* в значении “прелестный, привлекательный для сердца” с примером “Очаровательная красота”. А глагол *очаровывать* трактуется как многозначный: “1) чарованіємъ, колдовствомъ, волшебствомъ выводить из обыкновеннаго состоянія, обавать, обвораживать; 2) прельщать, плѣнять”. Пример: “Она очаровала меня своимъ пеніємъ” [СЦСРЯ, 3: 149].

В языке литературы к этому времени *очаровать*, *очаровательный* и *очарованный* уже давно употребляются в новом значении, возникшем под влиянием французского языка. В языке Пушкина *очаровательный* — “волшебный, чудодейственный, полный очарования” без пейоративных оттенков значения [СЯП, 3: 273].

В повести Лескова эпитет *очарованный* находится на скрещении двух контрастных семантико-стилистических полей, “оборачиваясь” то позитивным, то негативным смыслами. Особенную нетривиальность эта амбивалентная игра приобретает благодаря тому, что лексема, в церковнославянских текстах однозначно обозначавшая результат вредоносного воздействия злой силы, у Лескова наряду с исконным значением

приобретает способность обозначать восхищенность в духе, приятие в себя Божией благодати. Поскольку автор “Очарованного странника” прекрасно знал церковнославянскую книжность и отличался тонким чувством языка и вкусом, эта игра — не случайный стиливой сбой, а выражение интенции писателя. Прихотливая словесная игра, в которую вовлекаются однокоренные лексемы и из рассказа Ивана, и из рамочного повествования, осознается исключительно на уровне авторской интенции, строящей повесть как литературный текст, она не может принадлежать повествовательному уровню не только Флягина, но и его слушателя.

Если заглавие и ключевое определение главного героя прочитываются в агиографическом коде как амбивалентные, то первый эпизод из жизни Ивана — рождение — соотносится с житийной традицией, казалось бы, однозначно. Флягин — “моленный сын”, появившийся на свет после долгих и усердных молитв бесчадных родителей, кроме того, он “сын обещанный” — по словам монашка, явившегося Ивану в видении, мать обещала свое дитя Богу [Лесков 1957: 398]. Дитя, родившееся у бесчадных отца и матери после усердных молений, — топос в агиографии. Левкипия, мать святого мученика Галактиона,

видѣ въ видѣніи Гѣда нашего Іиѣа Хрѣта [. . .] и мнѣша припасти къ ногамъ егѡ, и слышати ѿ прѣстѣхъ оустъ егѡ нѣкіа глаголы, ѡбѣщающа неплодство еѣ разрѣшити, и подати таковаго сына, иже будетъ стрѣтемъ Егѡ подражатель, и црѣствіа Егѡ общникъ [Книга житий 1764, 1: 307 об.].

### Родители Евфимия Великого

многоа лета баху неплодни и безчадни, о чесѡмъ немалаа имъ бѣ печаль всегда. Входяще же въ близъ бывшую црковъ сѣагѡ мѣнка Полнеувкта, молахуса выну, ему разрѣшитиса ихъ без чадію. И во едину ѿ ношей терпѣшимъ имъ въ молитвѣ, бысть нѣкое Бжественое явленіе гл҃ющи: будете оутѣшени, даеѣ бо вамъ Бгѣ сына оутѣшенію тезоименита [Книга житий 1764, 3: 369–369 об.].

Так же Бог дарует сына Симеону и Марии (Житие Феодора Едесского [Книга житий 1764, 4: 282 об.]), “плодъ благословенный” родительских молитв — Акакий, епископ Мелитинский (Житие Акакия, епископа Мелитинского [ibid., 3: 255]), после усердных молитв матери к Господу был зачат и рожден Алексей человек Божий (Житие Алексия человека Божия [ibid.: 98 об.–99]).

Встречается в житиях и мотив вручения вымоленного младенца Господу. Такой эпизод есть, например, в Житии Евфимия Новгородского:

законну живуѣу им, но чѣ не имѣаху. и ѡ семъ немалу печаль имуще. тѣмже начаѣа Бгѣу молитиса паче же къ Прѣстой Бгѡмѣре, разрѣшити тѣхъ неплодство. и понѣ мѣтву тѣ Бгѣу оуслышав’шу. зачѣста и родиста сего Бжественаго ѡтрока.



и [. . .] принесоста родителіе того в црѣвь идѣже баху молилися ѡ дарованіи чѣ. и прѣ иконоу мѣре Хѣвы. отроча повер'гыше и рекоша. се Црѣ и Влѣще еже ты ларовала еси намъ. сіа тебѣ приношаемъ [МОНУМЕНТА 1997: 672, л. 336с].

### Аналогичный эпизод содержится в Житии Стефана Нового: родители

скорбаху, понеже не имѣху сына [. . .] и о семъ прилѣжно молахуса къ Бѣгу, и мѣтѣни многіа твораху, а наипаче супруга: и ѡбѣщаваше, якѡ аще таковагѡ дара сподобится, принесетъ его в даръ единокровному Сѣну и Слову Бѣію [Книга житий 1764, 1: 178 об.].

Благодарные родители преподобномученицы Феодосии обещают дитя Господу [Книга житий 1764, 3: 513 об.]. В Житии Симеона Дивногорца Иоанн Предтеча является матери и объявляет, что она зачнет сына, который будет “сосудъ сѣтъ быти имущаго на службу Гѣду Бѣ у нашему” [ibid.: 496 об.–497]. Встречается этот мотив и в Житии преподобной Кириакии (память 7 июля)<sup>5</sup>.

У этого житийного мотива есть библейский агиографический субстрат (см. об этом понятии [Лурье 2009: 54–70]) — ветхо- и новозаветные сказания о молитвенных детях. К. А. Гримстад соотнес с этой точки зрения Ивана Флягина с Иоанном Предтечей, опираясь на их тезоименность [GRIMSTAD 2007: 169]. Помимо Иоанна Предтечи молитвенными детьми являются праотец Исаак (о возможной соотнесенности с ним Флягина см. ниже) и пророк Самуил.

Поскольку рождение по родительским молитвам — это “сильный” житийный мотив<sup>6</sup>, а Флягин, ставший монахом, должен знать агиографию, читатель вправе предположить, что Иван, ставший отцом Измаилом, может осознавать это сходство. Однако в рассказе Флягина нет никаких следов такого осознания, как не будет их и в отношении сонных видений, предрекших и “татарский” плен, и посещение Соловков.

Однако если зачатие Ивана по материнским молитвам может быть интерпретировано в агиографическом коде как событие, подобное зачатию святого по молитвам родителей, то рождение обладает амбивалентной семантикой. Рождение Ивана стоит матери жизни (она умирает в родах), умирает по той причине, что у младенца была очень большая голова:

<sup>5</sup> За ряд указаний я признателен О. В. Гладковой.

<sup>6</sup> В повести есть и пример “слабого” сходства с агиографическим мотивом: это рассказ Флягина о священнике-пьянице, молившемся за самоубийцу, — сюжет, который, как доказывает М. П. Чередникова [1977], навеян одним из сказаний Пролога. Эта соотнесенность вряд ли может быть обнаружена даже “идеальным” читателем лесковской повести-нефилологом и относится скорее к генезису лесковского произведения, а не к числу его актуальным претекстов-подтекстов.

От родительницы своей я в самом юном сиротстве остался и ее не помню, потому как я был у нее *молитвенный сын*, значит, она, долго детей не имея, меня себе у бога все выпрашивала и как выпросила, так сейчас же, меня породивши, и умерла, оттого что я произошел на свет с необыкновенною большою головою, так что меня поэтому и звали не Иван Флягин, а просто Голован [Лесков 1957: 395].

Таким образом, Иван как бы совершает первое убийство еще при рождении. Большая голова героя в фольклорном коде прочитывается как атрибут, свойственный чудовищному противнику — антагонисту богатыря (у чудища из былины “Илья Муромец и Идолище” “голова [...] как пивной котел” [Илья Муромец 1958: 181]). В народных поверьях огромная голова — признак антихриста (сравним рассказ о Тришке в “Бежином луге” И. С. Тургенева [1979: 99–100]). В агиографическом коде мотив смерти матери Ивана в родах из-за непомерно большой головы сына свидетельствует о негативных признаках героя, отчетливо отличающего его от житийного праведника<sup>7</sup>.

Еще в большей мере диссонирует с агиографической традицией вина юного Флягина в гибели монаха. В агиографическом коде мотив причастности героя к смерти монаха был бы допустим, если бы предполагал как естественное следствие покаяние, раскаяние в совершенном грехе; однако Иван Северьяныч, совершивший преступление ненамеренно, даже в преклонном возрасте не испытывает таких чувств по поводу содеянного. Следствием убийства оказывается не покаяние центрального персонажа повести, а щедрые подарки монастырю, поднесенные его хозяином: “по осени от нас туда в дары целый обоз пошел с овсом, и с мукою, и с сушеными карасями” [Лесков 1957: 399]. Этот мотив трагически соотносится с таким житийным топосом, как неожиданное (чудесное) доставление припасов в обитель некими боголюбцами; такие эпизоды есть, например, в самом раннем древнерусском преподобническом житии — в Житии Феодосия Печерского [Библиотека 1997а: 406–408].

Поступок Флягина, определивший его дальнейшую скитальческую и неприкаянную судьбу, — жестокая расправа с кошкой графининой горничной, съевшей его голубей, — может быть интерпретирован как своего рода “антиагиографический” мотив. Правда, он соотносится с глубоко нетривиальным агиографическим текстом — с автоагиобиографией,

---

7 В этом несомненное отличие Флягина, прозванного Голованом, от праведника — главного героя повести Лескова “Несмертельный Голован” (1880), не отнимающего чужую жизнь, а спасающего от гибели. Между прочим, несмотря на прозвание центрального персонажа этой повести и подробный портрет, в тексте нигде не сказано, что его отличала большая голова. О житийной традиции в этом произведении см.: [Майорова 1987].

с Житием протопопа Аввакума. Автор и герой Жития в юности, “видев у соседа скотину умершу, и той нощи, восставше, пред образом плакався довольно о душе своей, поминая смерть, яко и мне умереть; и с тех мест обыкох по вся нощи молиться” [Аввакум 1960: 59]. В Житии Аввакума — произведении, оставившем в творчестве Лескова глубокий след (см. [Эйхенбаум 1924: 156; ГЕБЕЛЬ 1945: 97–98, 134, 187; СЕРМАН 1958; МЕЛЕНТЬЕВА 2004: 56–71]), — смерть животного — причина перемены настроений автора-героя; в повести Лескова следствием гибели голубей оказывается не обращение мыслей Флягина к Богу, а месть: поведение Флягина диаметрально противоположно возможному восприятию произошедшего святым, праведником, с которым соотносит себя Аввакум.

Еще дальше от житийного святого оказывается Иван, когда пытается наложить на себя руки: в житийном коде эта попытка интерпретируется как действие, контрастное по отношению к деяниям праведника. Здесь Флягин в рамках житийного кода опознается как “антигерой”. При этом парадокс заключается в том, что в роли спасителя выступает цыган, предотвративший смертный грех. Между тем и как приверженцы неясной веры, лишь номинально исповедующие православие, и как “экзотический” восточный народ цыгане в пределах житийного кода повести (и в соответствии с представлением о них самого Флягина) должны выступать в роли вредоносных противников наподобие сарацин или муринов-эфиопов в переводной агиографии. В дальнейшем этот же цыган — спаситель Ивана склоняет героя к воровству, выступая уже в негативной функции, более характерной для цыган по народным представлениям. Вскоре после этого Иван покупает фальшивый паспорт за целковый, сережку и нателный крест: он в первый раз отрекается от своего имени, от своего “я” и словно бы отрекается от веры в Христа (продажа креста). В роли “искусителя” здесь выступает не персонаж иной веры и этнокультурной среды, а “свой”, православный писарь. Для контрастного сравнения: в дальнейшем иноверцы-“татары” не будут посягать на веру Ивана, а прохиндей-писарь как бы побуждает героя повести к отступничеству. Интересно, однако, что герой Лескова, даже прожив много лет и став рясофорным монахом, не видит греха ни в попытке самоубийства, ни в продаже крестика: по крайней мере, в его рассказе на корабле нет никаких знаков раскаяния. После этого на протяжении довольно значительного отрезка текста соотнесенность с агиографией — как в позитивном, так и в негативном (контрастном и/или травестийном) плане — перестает быть актуальной.

В эпизоде поединка с “татарином” Савакиреем действия Флягина прочитываются не в житийном, а в фольклорном коде, но особенным образом — как травестийный аналог одоления противника былинным

богатырем. (Антагонист-“татарин” — персонаж традиционный для былины, но нагайка как оружие борьбы и взаимная порка как форма поединка, естественно, невозможны в этом фольклорном жанре.) Флягин действует так же, как и его соперник, его оружием, что для былинного героя исключено. В “татарских” эпизодах Иван оказывается своим среди чужих и чужим среди своих: “татары” ему помогают спастись от наказания за убийство их соплеменника, барин его изгоняет; русские чиновники намерены его арестовать за убийство, “русские торговцы Флягину не помогают, миссионеры русской церкви ему отказывают, местный поп его наказывает, барин — изгоняет” [Гримстад 1995: 459]. Здесь в повести властвует авантюрное повествование, частично соотносимое с кодом богатырской сказки (сравним видение Флягиным всадников наподобие тех, что изображены на рисунках к “Бове” и “Еруслану”, и пребывание в “татарском” плену: “люди такие дикие, сарацины, как вот бывают при сказках в Еруслане и в Бове Королевиче; в больших шапках лохматых и с стрелами, на страшных диких конях” [Лесков 1957: 410]) и с литературным кодом текстов о кавказском и иных пленниках [Потапова, Цыганова 1998], травестийно — с “Энеидой” Вергилия (“страсть” Ивана к кобыле Дидоне и “измена” — любовь к Грушеньке). Впрочем, “островерхие шапки” — атрибут бесов в иконографии и в некоторых житиях [Антонов, Майзульс 2011: 94 и илл. V, 122–123], так что “татарские эпизоды” повести в агиографическом коде могут быть истолкованы как перемещение Флягина в нечистое, бесовское пространство. Единственным явным — фольклоризованным — претекстом из древнерусской книжности, содержащем религиозные мотивы, в этой части лесковского произведения, находящейся между первой отлучкой героя и встречей с цыганкой Грушенькой, является Повесть о Горе-Злочастии [Вигзелл 1996], а не агиографические памятники. Лишь один эпизод, явно — но опять-таки пародически, травестийно соотносенный с агиографическим кодом, имеется в “татарских главах” — это “миссионерское” деяние Ивана перед бегством от степняков: обращение их в православие посредством “чуда” с фейерверками, позаимствованными у пришлых индийцев; Флягин здесь комически соотносен со своим вероятным небесным покровителем Иоанном Крестителем [Гримстад 1995: 458] и с двумя русскими проповедниками, недавно сгинувшими в этих степях. (Очередной парадокс проявляется в том, что Иван в “обращении” иноверцев преуспел — не в пример убитым ими монахам.)

Новая метаморфоза в жизни Флягина после возвращения из “татарского” плена связана с воздействием на него запойного барины-магнетизера. Фигура магнетизера, если можно так сказать, в высшей степени амбивалентна. Он обманщик, напоивший и охмуривший Ивана,

который душой словно ребенок: магнетизер по сговору с цыганами привел к ним денежного клиента, он внушил герою веру в колдовской “магнетизм”. При проецировании на библейский претекст он предстает как тот, к кому может быть применено суровое речение Спасителя: “А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской” (Мф. 18:6). В агиографическом коде образ магнетизера прочитывается как фигура соблазнителя, бесовского служителя.

Однако он действительно исцелил Флягина от пьянства. (Конечно же, освобождение героя от пагубной страсти может объяснено психологическими причинами, но наступает оно именно после “сеанса”.) При этом “исцелитель” соотнесен не только с бесом, но и с царем и пророком Давидом. Магнетизер “говорит мне божественным языком”:

— Ты, — говорит, — чтобы слышать, подражай примерно гуслеигрателю, како сей подклоняет низу главу и, слух прилагая к пению, подвизает бряцало рукою.

— Нет, — думаю, — да что же это такое? Это даже совсем на пьяного человека речи не похоже, как он стал разговаривать!

А он на меня глядит и тихо по мне руками водит, а сам продолжает в том же намерении уговаривать.

— Так, — говорит, — купно струнам, художне соударяемым единым со другими, гусли песнь издают и гуслеигратель веселится, сладости ради медовыя [ЛЕСКОВ 1957: 467].

По справедливому замечанию К. А. Гримстада, в этом эпизоде “the multilingual man now testifies that in order to understand the meaning of real beauty one must imitate King David” [GRIMSTAD 2007: 177].

Исполнены глубоко скрытой иронии слова магнетизера, обращенные к “простецу” Флягину; собеседник Ивана мучим жаждой выпить, а для ее удовлетворения, считает он, все средства хороши — выманивая у Флягина деньги на водку и заманивая его к цыганам, магнетизер оправдывает собственное пьянство:

А ты знаешь ли, любезный друг: ты никогда никем не пренебрегай, потому что никто не может знать, за что кто какой страстью мучим и страдает. Мы, одержимые, страждем, а другим зато легче. И сам ты если какую скорбь от какой-нибудь страсти имеешь, самовольно ее не бросай, чтобы другой человек не поднял ее и не мучился; а ищи такого человека, который бы добровольно с тебя эту слабость взял [ЛЕСКОВ 1957: 460].

Однако эта речь воспринимается иначе задним числом — в сопоставлении с печальным концом барина, умирающего от перепоя у порога цыганского дома в то самое время, как Иван освобождается от пристрастия к



вину, покоренный красотой Грушеньки. Если в “реалистическом” плане смерть магнетизера объясняется физической причиной, то в агиографическом коде она приобретает совсем иные коннотации, ассоциируясь с речениями Христа: “Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих” (Иоан. 15:13), — и наставлением апостола Павла: “Носите бремена друг друга” (Гал. 6:2); смерть магнетизера словно оказывается своеобразной реализацией этих наставлений. Естественно, фактически запойный барин отнюдь не жертвует собой ради ближнего осознанно: возникающие у читателя евангельские ассоциации проникнуты иронией, хотя невольная “жертва” оказывается абсолютно серьезной.

Оба прочтения возможны, естественно, только на уровне авторского видения: простодушный и не способный к анализу Иван его заметить не попросту не может, не акцентирует его и первичный нарратор.

Вместе с тем магнетизер, выступающий в функции своеобразного целителя-экзорциста, и эту его роль уже осознает сам Иван (“магнетизер, он пьяного беса от меня свел” [Лесков 1957: 475]), одновременно обладает для Ивана и ролью вредителя (“а блудного при мне поставил” [ibid.: 475]). По справедливому мнению Г. А. Шкуты, в “Очарованном страннике” присутствует “мерцающий сюжет о договоре человека с дьяволом”, магнетизер наводит на Флягина и страсть-эрос, и жажду странствий (эпитет *блудный* многозначен, и Иван сам говорит о своих блужданиях как следствии влияния магнетизера)<sup>8</sup>. “В тексте «Очарованного странника» *друг*-магнетизер интерпретируется как знак установления дружеских отношений Флягина с inferнальным миром”; “[м]агнетизер [...] наделяет его способностью оценить и увидеть «красу, природы совершенство», приставив [...] «блудного беса». Эти дополнительные дары есть зеркальное отражение мотивов исходного сюжета (обращение к дьяволу мотивировано желанием героя обрести любовь женщины)”, прообраз такого сюжета содержится в Повести о Савве Грудцыне, где героя толкает на странствия названный брат-бес [Шкута 2005: 18, 22, 23]<sup>9</sup>.

<sup>8</sup> О. Е. Майорова при обсуждении моего доклада (научный семинар “«Свое» и «чужое» у Лескова”, НИУ ВШЭ, 26 ноября 2016 г.), из которого выросла эта статья, заметила, что чувство Флягина к Грушеньке асексуально и *блудный бес*, как ей представляется, относится только к странствиям, блужданиям Флягина. Однако когда Иван Северьяныч говорит о *блудном бесе*, одни его странствия давно закончились, а другие начнутся еще не скоро. Магнетизер, вселивший в героя *блудного беса*, знакомит его с цыганкой. Кроме того, рассказывая о видениях, в которых в монастыре ему являлся некий женский образ, Иван-Измаил, отождествляет его с Грушенькой, соглашаясь с настоятелем, что это блудное искушение. При этом чувство Ивана к Грушеньке — это, по парадоксальному, но точному выражению Н. И. Либана, “разгульная сила платонической любви” [Либан 2015: 324].

<sup>9</sup> Вместе с тем никак нельзя согласиться с мнением Г. А. Шкуты, утверждающей: “Бес-попутчик — символ: душа открыта для божественных истин, но бес,

Сцена в цыганском доме, когда Иван знакомится с Грушенькой, очевидным образом проецируется на изображение разгула бесовских сил в агиографии. Из дома доносится инфернальный шум:

А передо мною опять мой вихрястенький баринок, и рожа у него вся светом светится, а сзади себя слышу страшный шум и содом, голоса и бряцанье, и гик, и визг, и веселый хохот. Осматриваюсь и понимаю, что стою, прислонясь спиною к какому-то дому, а в нем окна открыты и в середине светло, и оттуда те разные голоса, и шум, и гитара ноет. . . [Лесков 1957: 466].

Флягин, приходящий в себя, сравнивает магнетизера, приведшего его к этому дому, с бесом:

Но только тут, как мне стал из окон дома свет светить и я почувствовал, что в сознание свое прихожу, то я его перестал опасаться и говорю:

— Ну, послушай ты, кто ты такой ни есть: черт, или дьявол, или мелкий бес, а только, сделай милость, или разбуди меня, или рассыпся [Лесков 1957: 466].

В доме начинается неистовая пляска:

Пляшут и цыгане, пляшут и цыганки, и господа пляшут: все вместе вьются, точно и в самом деле вся изба пошла. Цыганки перед господами носятся, и те поспевают, им вслед гонят, молодые с посвистом, а кои старше с покрехтом. На местах, гляжу, уже никого и не остается. . . Даже от которых бы степенных мужчин и в жизнь того скоморошества не ожидал, и те все поднимаются. Посидит-посидит иной, кто посолиднее, и сначала, видно, очень стыдится идти, а только глазом ведет, либо усом дергает, а потом один враг его плечом дернет, другой ногой мотнет, и смотришь, вдруг вскочит и хоть не умеет плясать, а пойдет такое ногами выводить, что ни к чему годно! Исправник толстый-претолстый, и две дочери у него были замужем, а и тот с зятьями своими тут же заодно пыхтит, как сом, и пятками месит, а гусар-ремонтёр, ротмистр богатый и собой молодец, плясун залихватский, всех ярче действует: руки в боки, а каблуками навыверт стучит, перед всеми идет — козырится, взагреб валяет, а с Грушей встренется — головой тряхнет, шапку к ногам ее ронит и кричит: “Наступи, раздави, раскрасавица!” — и она. . . Ох, тоже плясунья была! Я видал, как пляшут актеры в театрах, да что все это, тьфу, все равно что офицерский конь без фантазии на параде для одного близиру манежится, невесть чего ерихонится, а огня-жизни нет. Эта же краля как пошла, так как фараон плывет — не колыхнется, а в самой, в змее, слышно, как и хрящ хрустит и из кости в кость мозжечок идет, а

---

ее смущающий, возвращает героя к земным делам и обязанностям, в числе которых и флягинское «за народ очень помереть хочется» [Шкута 2005: 24]. И паломничество на Соловки, и жертвенное желание Флягина “за народ [. . .] помереть” [Лесков 1957: 513], конечно, не образуют оппозиции “божественным истинам” и не имеют никакого отношения к бесовскому началу — ни в сознании героя, ни в плане авторского видения.

станет, повыгнется, плечом ведет и бровь с носком ножки на одну линию строит. . . Картина! Просто от этого виденья на ее танец все словно свой весь ум потеряли: рвутся к ней без ума, без памяти: у кого слезы на глазах, а кто зубы скалит, но все кричат: “Ничего не жалею: танцуй!” — деньги ей так просто зря под ноги мечут, кто золото, кто ассигнации [Лесков 1957: 473].

Выразительный аналог в агиографии — пляска Исаакия Печерского: “И рече единъ от бесовъ, глаголемый Христос: «Възмѣте сопѣли, и бубны, и гусли и ударяйте, а Исакий нам спляшет». И удариша в сопѣли, и в гусли, и в бубны, и начаша им играти. И утомивше его, остави его елико жива суща, и отъидоша, поругавшеся ему” [Библиотека 1997б: 476]. После этой пляски Исаакий обессилел, Иван после пьяной ночи с магнетизером, перешедшей в посещение цыган, заболел белой горячкой и не мог встать. Ассоциация Флягин — Исаакий поддерживается монашеским именем лесковского персонажа Измаил: Измаил и Исаак — “парные” имена в Книге Бытия; так зовут двух сыновей праотца Авраама. Лесков прекрасно знал Киево-Печерский патерик, в составе которого находится сказание об Исаакии, и неоднократно к нему обращался в своих произведениях [Яхненко 2003; Мелентьева 2004: 101–104; Филатова 2012].

Хотя параллели с Киево-Печерским патериком возникают только на уровне коммуникации абстрактный автор — абстрактный читатель, “бесовский”, “инфернальный” характер происходящего ощущает сам Флягин, поначалу воспринимающий открывшееся его глазам как наваждение.

Амбивалентна роль цыганки Грушеньки. С одной стороны, она толкает Флягина на убийство, и только это свое преступление он осознает как смертный грех, требующий искупления; но прежде всего искупления требует ее душа — она самоубийца, и Иван жаждет спасти ее своими молитвами. Но прежде он заявлял князю, что за такую “красу природы совершенство [. . .] восхищенному человеку погибнуть [. . .] даже радость” [Лесков 1957: 22]. В агиографическом коде это признание Ивана прочитывается как указание на негативную роль цыганки — губительницы героя. Грушенька — соблазн, и ее позднейшие явления в мечтаниях уже в монастыре игумен оценивает как бесовское искушение:

Как я ему открылся, что мне все Груша столь живо является, что вот словно ею одною вокруг меня весь воздух дышит, то он сейчас кинул в уме и говорит: “У Якова-апостола сказано: «Противустаньте дьяволу и побежит от вас», и ты, — говорит, — противустань”. И тут наставил меня так делать, что ты, — говорит, — как если почувствуешь сердцеразжижение и ее вспомнишь, то и разумеи, что это, значит, к тебе приступает ангел сатанин, и ты тогда сейчас простирайся противу его на подвиг: перво-наперво стань на колени.

Колени у человека, — говорит, — первый инструмент: как на них падешь, душа сейчас так и порхнет вверх, а ты тут, в сем возвышении, и бей поклонов земных елико мощно, до изнеможения, и изнуряй себя постом, чтобы заморить, и дьявол как увидит твое протягивание на подвиг, ни за что этого не стерпит и сейчас отбежит, потому что он опасается, как бы такого человека своими кознями еще прямее ко Христу не привести, и помыслит: “Лучше его оставить и не искушать авось-де он скорее забудется”. Я стал так делать, и действительно все прошло [Лесков 1957: 506].

Да и сам Флягин так говорит о бесе, посещавшем его в образе Грушеньки в видениях: “В соблазнительном женском образе никогда-с больше не приходит, а если порою еще иногда покажется где-нибудь в уголке в келье, но уже в самом жалостном виде: визжит, как будто поросенок издыхает” [Лесков 1957: 507].

С другой стороны, жертвенность страданий Флягина после гибели Грушеньки (см. о них [ANSBERG 1957: 73]) ведет его к Богу, и, таким образом, Грушенька в агиографическом коде повести как бы выполняет роль путеводительницы главного героя. А после смерти она становится небесной покровительницей Ивана при переправе через реку на Кавказе, помогающей ему по молитве Флягина (он молится Богу и ей — самоубийце, “душа которой теперь погибшая”, как он сам уверен!):

Я и подумал: “Чего же мне лучше этого случая ждать, чтобы жизнь кончить? благослови, господи, час мой!” — и вышел, разделся, “Отчу” прочитал, на все стороны начальству и товарищам в землю ударил и говорю в себе: “Ну, Груша, сестра моя названная, прими за себя кровь мою!” — да с тем взял в рот тонкую бечеву, на которой другим концом был канат привязан, да, разбежавшись с берегу, и юркнул в воду . . . [Лесков 1957: 458].

А я видел, когда плыл, что надо мною Груша летела, и была она как отроковица примерно в шестнадцать лет, и у нее крылья уже огромные, светлые, через всю реку, и она ими меня огораживала. . . [Ibid.: 500].

В фольклорном коде роль Грушеньки в этом эпизоде может прочитываться как функция сказочного волшебного помощника; переправа через опасную реку — устойчивый мотив в волшебных сказках (ср. [Пропп 1996: 202–215]). Но более уместным представляется здесь обращение к житийному коду (Иван молится перед своим отчаянным поступком). В этом случае аналогами будут, например, ангелы и Борис и Глеб в Житии Александра Невского, помогающие в победах святому князю, а также эти святые братья в Сказании о Мамаевом побоище и в Повести об Азовском осадном сидении. (Два последних произведения — не жития, в данном случае в них инкорпорированы элементы агиографического кода.)

Впрочем, наделение Грушеньки атрибутами святости происходит и раньше, сразу после ее гибели:

[Д]умаю только одно, что Грушина душа теперь погибшая и моя обязанность за нее отстрадать и ее из ада выручить. А как это сделать — не знаю и об этом тоскую, но только вдруг меня за плечо что-то тронуло: гляжу — это хворостинка с ракиты пала и далекомько так покатила, покатила, и вдруг Груша идет, только маленькая, не больше как будто ей всего шесть или семь лет, и за плечами у нее малые крылышки; а чуть я ее увидал, она уже сейчас от меня как выстрел отлетела, и только пыль да сухой лист вслед за ней воскурились.

Думаю я: это непременно ее душа за мной следует, верно она меня манит и путь мне кажет. И пошел [Лесков 1957: 498].

Прямое упоминание Флягиным-рассказчиком и игуменом беса-искусителя и упоминание о видении Грушеньки в роли небесной помощницы свидетельствуют об осознании героем повести обеих ролей. Однако их взаимоисключающий характер Иван-Измаил никак не акцентирует: разительное противоречие остается им не замеченным.

Дальнейшие странствия Ивана Северьяныча также обнаруживают амбивалентность при интерпретации посредством житийного кода. В театре он исполняет роль демона, черта. (К тому же театр в мире житий — пространство негативное, бесовское.) В монастырь его приводит не вера, не желание искупить грехи, а невозможность прокормиться в миру:

Поэтому в контексте повествования тот важный жизненный шаг, который как будто бы должен неминуемо свершиться в жизни Ивана Северьяныча независимо ни от каких житийских перипетий — уход в монастырь — обретает не столько провиденциальный смысл, сколько смысл социально-психологический, почти бытовой [Столярова 1996а: 58].

Конечно, Провидение может избирать для своих целей любые средства, однако сам герой повести отнюдь не истолковывает уход в монастырь как следствие глубинной провиденциальной воли.

В обители Флягин оказывается таким же парией, “маргиналом”, как и в миру, и уходит (пусть и с согласия игумена) в паломничество на Соловки. Бесовские искушения — топос преподобнической агиографии — в повести Лескова оборачиваются комически, травестийно: вместо беса отец Измаил поражает обухом топора несчастную корову. Сам Иван-Измаил видит в этом козни бесов<sup>10</sup>, однако для образованного читателя-

<sup>10</sup> В житиях бесы и сами могут принимать облик животных, но только диких [Руди 2011: 528]. Однако поскольку Флягин убивает корову, а беса убить невозможно (ср. [Юрганов 2006]), несчастное животное и для него не является воплощением нечистого духа, который лишь “подвел” корову под топор монаха.



адресата повести произошедшее — не более чем нелепый случай, не имеющий никакой сверхъестественной подоплеки. Агиографический код, на протяжении большей части повести — вплоть до признания героем долга отомстить, спасти душу Грушеньки — бесспорно актуальный только в плане видения абстрактного автора, теперь становится значимым, явственным и для Флягина, но именно сейчас раскрываемые посредством этого кода смыслы приобретают откровенно иронический характер — с точки зрения автора и абстрактного читателя. Авторская точка зрения и точка зрения главного героя радикально расходятся.

Монастырь не становится для лесковского героя конечной точкой в жизненных странствиях (как это обычно происходит в агиографии). И вообще, “композиция «Очарованного странника» — это композиция путешествий, ведь Флягин всё время в пути. А житие всё статично, там всё на месте стоит” [ЛИБАН 2015: 343]. В действительности, житийный герой может странствовать, но в своих путешествиях и даже приключениях он сохраняет тождество себе самому. Флягин же все время проявляется, поворачивается новыми сторонами своего “я”.

Показательно соотношение крестильного и монашеского имен героя. Если имя, данное при крещении, соотносит его с другим моленным ребенком — Иоанном Предтечей (а в фольклорном коде, в волшебной сказке — с Иваном-дураком), то имя, которым он был наречен при постриге, — с ветхозаветным Измаилом, сводным братом Исаака. К. А. Гримстад сопоставляет Флягина с Измаилом как странника с прародителем кочевых племен: “Like the Old Testament wanderer Ishmael, the forefather of the nomadic Arab tribes, Fliagin, too, is ‘a wild man’. . .” [GRIMSTAD 2007: 169]. По мнению исследователя,

“Очарованный странник” Лескова — в сущности антитетическая нравственная повесть. Свойственная главному герою двойственность (Иоанн-Измаил) определяет его поведение по отношению к инородцам — к татарам и цыганам. Подобным образом повествование построено на противоречии разных тенденций и планов [Гримстад 1995: 461]<sup>11</sup>.

Но имя восточных нехристианских кочевых народов *измаильтяне* в церковной традиции, образывавшей агиографический субстрат и агиографический контекст (летописи и т. п.) на Руси, имело еще и особенные коннотации “нечестивые, безбожные” [Чекин 2000]. Парадоксальным

<sup>11</sup> Амбивалентна, между прочим, и фамилия героя. Она, как неоднократно указывалось, производна от *фляги* и отсылает к пьянству героя [McLEAN 1977: 243; WIGZELL 1998: 502]; но одновременно она отсылает к метафоре *праведник* — *сосуд Божий*, характерной для церковной книжности, в том числе для агиографии [РАНЧИН 1996: 122]. По поводу монашеского имени Флягина см. также наблюдения в диссертации Д. В. Неустроева [2008], глава “Поэтика” «Очарованного странника», параграф “Поэтика заглавия и именология”.

образом Флягин, именно ставший монахом, ассоциируется с этими “безбожными сынами Измаиловыми”. Столь же показательно, что в монастыре он вновь, после многих лет, оказывается при лошадях. А к лошадям Иван Северьяныч испытывал до встречи с Грушенькой страсть, присущую как раз кочевникам-“измаильтянам”. Описание кобылы Дидоны и привязанности к ней Флягина несомненно ориентировано на такой литературный претекст, как “Герой нашего времени” (страсть к коню Карагезу иноверца Азамата). “Дикость”, “стихийность” Флягина акцентирована и его отчеством (ср. латинское *severus* — “суровый, жестокий” [Ранчин 1996: 122]).

Лесков включил повесть “Очарованный странник” в цикл “Праведники” при переиздании в составе прижизненного собрания сочинений. Казалось бы, такое решение должно означать, что автор призывает относиться к Флягину как к праведнику. Однако, как сказано в предисловии к циклу, образующему второй том собрания, спрошенные о праведниках

все отвечали мне в том роде, что праведных людей не видывали, потому что все люди грешные, а так, кое-каких хороших друзей и тот, и другой знавали. Я и стал записывать. Праведны они, думаю себе, или неправедны, — все это надо собрать и потом разобрать: что тут возвышается над чертою простой нравственности и потому “свято господу” [Лесков 1989: 4].

Очевидно, что главный герой “Левши” — сказа, вошедшего в состав цикла, праведником назван быть не может, несмотря на свою патриотическую самоотверженность, герой одноименного рассказа Шерамур — тоже, что признает и сам автор. Солдат Постников из “Человека на часах” всего лишь исполняет свой долг, и то не сразу. (Хотя при этом он совершает подвиг, преодолевая страх смертный.) Так же всего лишь принципу справедливости следует герой “Пигмея”, равно как и Николай Фермор из “Инженеров-бессребреников”, отличающийся необычайно чутким чувством честности. Никак не относится к праведникам центральный персонаж “Русского демократа в Польше”. Конечно, можно согласиться с мнением: “Праведники Лескова отнюдь не святые, у них немало человеческих слабостей и недостатков” [Маркадэ 2006: 354]. Но вот центральный персонаж “Несмертельного Голована” действительно праведник. Как праведник, несомненно, и герой “Однодума” квартальный Рыжов. Произведения цикла “Праведники”, несомненно, соотносятся с агиографией (ср. [Лукьянчикова 2004])<sup>12</sup>, однако эта связь отнюдь не является подражанием; в случае с “Очарованным странником” она в высшей степени нетривиальна и амбивалентна. “Очарованный странник” — центральное произведение цикла — проблематизирует саму концепцию праведничества.

<sup>12</sup> О рецепции писателем житийной традиции см.: [Лукьянчикова 2008].

Первичный нарратор в лесковской повести отзывается о герое с симпатией и даже с восхищением и рисует его привлекательный портрет. М. П. Болотная, полностью принимая эту оценку, даже приходит к выводу: “Дистанция между автором, рассказчиком, слушателями, читателем сокращается в сказе настолько, насколько это возможно” [Болотная 2012: 215]. Для такого заключения, на мой взгляд, нет оснований, и проведенный анализ это доказывает. Я склонен согласиться с характеристикой Флягина и Ахиллы Десницына из “Соборян”, которая принадлежит Ф. Вигзелл:

Leskov wished to highlight what he saw as both the virtues and the failings of the ordinary Russian, full of potential but ill equipped for the modern world. Both are flawed modern versions of the epic hero, whose decency, spontaneity and utter devotion to Russia and her people cannot adequately compensate for their binge drinking, brawling and reckless behavior [WIGZELL 2001: 41].

В финале повести рассказчик подытоживает услышанное словами:

Проговорив это, очарованный странник как бы вновь ощутил на себе наитие вещательного духа и впал в тихую сосредоточенность, которой никто из собеседников не позволил себе прервать ни одним новым вопросом. Да и о чем было его еще больше расспрашивать? повествования своего минувшего он исповедал со всею откровенностью своей простой души, а провещания его остаются до времени в руке сокрывающего судьбы свои от умных и разумных и только иногда открывающего их младенцам [Лесков 1957: 513].

Сентенция повествователя представляет собой вариацию речений Христа: “Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное” (Мф 18:3), — и “пустите детей приходить ко Мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам: кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него” (Лк 18:16). В этом контексте герой “Очарованного странника” предстает подобием житийного святого, праведником. Но такова лишь точка зрения рассказчика. Флягин действительно воплощает в себе “наивность”, “детскость”, по Лескову присущую народу (ср. [Столярова 1978: 124–125; Горелов 1988: 210–212].) “Детскость” Флягина — простота нереплексивного сознания, а “детскость”, о которой говорил Христос, — простота, искренность и чистота веры. Некоторые поступки Ивана действительно проникнуты высоким нравственным чувством или, по крайней мере, человеческим эмоциональным порывом: решение отдать дитя несчастной матери, покаяние перед оскорбленным офицером и готовность подарить ему желанного коня, сострадание Грушеньке, покаяние за причастность к смерти цыганки, выразившееся в избавлении от рекрутчины парня, вместо которого Флягин идет в солдаты, заступничество

за бедную актрису, жажда за *народ помереть*. Однако другие поступки, часть из которых была рассмотрена выше, никак не укладываются в модель праведной жизни. Едва ли можно говорить о “[с]ложном процессе духовного пробуждения и самоопределения Ивана Северьяныча Флягина”, называть его путь “духовными исканиями” и противопоставлять “глубину религиозных переживаний и незаметное для самого сползание в низину суеверий, домыслов, предрассудков, свойственных простонародной среде” [Столярова 2010: 13, 29]. Готовность пожертвовать собою за народ, к которой Иван-Измаил приходит на склоне лет, действительно, свидетельствует о некоей глубокой перемене личности героя. Впрочем, сама эта перемена и напряженное ожидание близкой войны как будто бы оказываются результатом лишь внезапного внешнего воздействия — прочтения эпизода из Жития Тихона Задонского<sup>13</sup>; Иван-Измаил и здесь, как прежде, ведóm внешней силой. Эта перемена — не следствие духовных поисков, она совершается спонтанно; из всех своих прежних грехов “очарованный странник” признает только помощь Грушеньке в уходе из жизни, потому что этот поступок подпадает под формализованное понятие греха, в то время как с неформализованной нравственной точки зрения имплицитного читателя, которому адресует свой текст Лесков, это наименьший из грехов Ивана. Иван и на склоне своих дней не считает грехом ненамеренное убийство монаха; по-прежнему не отказывается, видимо, считать страдания матери, разлученной с ребенком, заслуженным наказанием за связь с любовником, которую называет нарушением “закона и релегии” [Лесков 1957: 412]; не признает своими “татарских” жен и прижитых с ними детей и не вспоминает о них, ибо не было венчания и дети не крещены; не находит ничего предосудительного в чисто формальном, ритуализованном “обращении” в христианство “татар”, напуганных фейерверком. И православие центрального персонажа повести остается в значительной степени “обрядо-верческим”.

Трактовка судьбы Флягина повествователем, очевидно, не совпадает с несоизмеримо более сложным авторским видением. Несомненно праведническим началом во Флягине оказывается только желание жертвы за народ. Это значит очень много, но не всё. Жизнь лесковского героя, ощущаемая его нерелефлексивным сознанием как целостность<sup>14</sup>, в восприятии образованного читателя (шмидовского абстрактного читателя) расщеплена на ряды диаметрально противоположных или амбивалентных поступков, прочитываемых в разных кодах — прежде всего

<sup>13</sup> О роли отсылки к Житию см. [Горелов 1988: 221; Столярова 2010: 27–29].

<sup>14</sup> Ср.: “Лесковский герой знает, то есть чувствует, что надо сделать, что сказать, ответить, он никогда не думает” [Либан 2015: 326].

в агиографическом и фольклорном (сказочном и былинном). При этом в житийном коде Иван оказывается то героем, то антигероем. Агиографический код оказывается неадекватным личности и судьбе Ивана-Измаила: описывая их, он периодически “дает сбой”. Действительность оказывается богаче литературы.

“Очарованный странник” (не он один, но он — наиболее отчетливо) свидетельствует об особенном характере лесковского художественного мира: реальность, воссоздаваемая писателем, — разорванная, сотканная из противоречий, рационально необъяснимая. Но такова прежде всего не реальность бытия, а реальность народного сознания, манифестацией и квинтэссенцией которого является Иван Северьяныч Флягин. Но с внутренней точки зрения самого героя этой разорванности и противоречивости нет. Она возникает лишь при интерпретации души и деяний персонажа — “естественного человека” — реципиентом, принадлежащим миру цивилизации.

## Библиография

Антонов, Майзульс 2011

Антонов Д. И., Майзульс М. Р., *Демоны и грешники в древнерусской иконографии: семиотика образа*, Москва, 2011.

Библиотека 1997А

*Библиотека литературы Древней Руси*, 1, С.-Петербург, 1997.

——— 1997Б

*Библиотека литературы Древней Руси*, 4, С.-Петербург, 1997.

Болотная 2012

Болотная М. П., “Образ автора как категория подтекста в повести Н. С. Лескова «Очарованный странник»”, *Известия Пензенского государственного педагогического университета им. В. Г. Белинского*, 27, 2012, 212–216.

Вигзелл 1996

Вигзелл Ф., “Блудные сыновья или блуждающие души: «Повесть о Горе-Злочастии» и «Очарованный странник» Лескова”, *Труды Отдела древнерусской литературы*, 50, С.-Петербург, 1996, 754–762.

Видуэцкая 2000

Видуэцкая И. П., *Николай Семенович Лесков. В помощь преподавателям, старшеклассникам и абитуриентам*, Москва, 2000.

Волинский 2011

Волинский А., “Н. С. Лесков”, in: А. А. Александрова, В. А. Котельникова, О. Л. Фетисенко, подгот. текста и коммент., О. Л. Фетисенко, отв. ред., *Н. С. Лесков: Классик в неклассическом освещении*, С.-Петербург, 2011, 35–154.

ГЕБЕЛЬ 1945

ГЕБЕЛЬ В., *Н. С. Лесков: в творческой лаборатории*, Москва, 1945.

ГОРЕЛОВ 1988

ГОРЕЛОВ А. А., *Лесков и народная культура*, Ленинград, 1988.



ГРИМСТАД 1995

ГРИМСТАД К. А., “Полиэтничность как религиозная проблема в «Очарованном страннике» Н. С. Лескова”, in: *Проблемы исторической поэтики*, 5, Петрозаводск, 1995, 454–461.

ГРОССМАН 1945

ГРОССМАН Л. П., *Н. С. Лесков: жизнь — творчество — поэтика*, Москва, 1945.

ЖИТИЕ АВВАКУМА 1960

Н. К. Гудзий, ред., В. Е. Гусев, А. С. Елеонская, А. И. Мазунин, В. И. Малышев, Н. С. САРАФАНОВА, подгот. текста и коммент., *Житие протопопа Аввакума им самим написанное и другие его сочинения*, Москва, 1960.

ЖОЛКОВСКИЙ 2008

Жолковский А. К., “Маленький метатекстуальный шедевр Лескова”, *Новое литературное обозрение*, 93, 2008, 155–173.

ИГНАТИЙ БРЯНЧАНИНОВ 1870

*Избранные речения святых иноков и повести из жизни их, собранные епископом Игнатием*, С.-Петербург, 1870.

ИЗМАЙЛОВ 2011

Измайлов А., “Лесков и его время”, in: О. Л. Фетисенко, отв. ред., Н. С. Лесков: Классик в неклассическом освещении, С.-Петербург, 2011, 155–440.

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 1958

Астахова А. М., подгот. текстов, ст. и коммент., Лихачев Д. С., отв. ред., *Илья Муромец*, Москва, Ленинград, 1958.

КНИГА ЖИТИЙ 1764

[Димитрий, митрополит Ростовский], *Книга житий святых*, 1–4, Киев, 1764.

ЛЕСКОВ 1957

Лесков Н. С., *Собрание сочинений в 11 томах*, 4, Москва, 1957.

——— 1989

Лесков Н. С., *Собрание сочинений в 12 томах*, 2, Москва, 1989.

ЛИБАН 2015

Либан Н. И., *Русская литература: Лекции о русской литературе. Работы разных лет. Из архива*, Москва, 2015.

ЛИХАЧЕВ 1987А

Лихачев Д. С., “«Ложная» этическая оценка у Н. С. Лескова”, in: ИДЕМ, *Избранные работы в 3 томах*, 3, Москва, 1987, 322–327.

——— 1987Б

Лихачев Д. С., “Особенности поэтики произведений Н. С. Лескова”, in: ИДЕМ, *Избранные работы в 3 томах*, 3, Москва, 1987, 327–337.

ЛОТМАН, УСПЕНСКИЙ 1977

Лотман Ю. М., Успенский Б. А., “Новые аспекты изучения культуры Древней Руси”, *Вопросы литературы*, 3, 1977, 145–178.

ЛУКЬЯНЧИКОВА 2004

Лукьянчикова И. В., “Трансформация агиографической традиции в произведениях Н. С. Лескова о «праведниках»” (диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук, Ярославль, 2004).

——— 2008

Лукьянчикова И. В., “Жанровая специфика жития в художественном осмыслении Н. С. Лескова”, *Альманах современной науки и образования*, 1 (8), 2008, Тамбов, 117–120.

ЛУРЬЕ 2009

ЛУРЬЕ В. М., *Введение в критическую агиографию*, С.-Петербург, 2009.

МАЙОРОВА 1987

МАЙОРОВА О. Е., “Рассказ Н. С. Лескова «Несмертельный Голован» и житийная традиция”, *Русская литература*, 3, 1987, 170–179.

——— 2015

МАЙОРОВА О., “Опыт реинтерпретации «Очарованного странника» Н. С. Лескова”, in: Е. Лямина, О. Лекманов, ред.-сост., *Русско-французский разговорник, или / ou Les Causeries du 7 Septembre: Сборник статей в честь В. А. Мильчиной*, Москва, 2015, 352–363.

МАРКАДЭ 2006

МАРКАДЭ Ж.-К., *Творчество Н. С. Лескова: романы и хроники*, пер. с французского А. И. Поповой, Е. Н. Березиной, Л. Н. Ефимова, М. Г. Сальман, С.-Петербург, 2006.

МЕЛЕНТЬЕВА 2004

МЕЛЕНТЬЕВА И. Е., “Образы древнерусской литературы в творчестве Н. С. Лескова” (диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук, Москва, 2004).

МСДРЯ

*Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам*, труд И. И. Срезневского, 1–3, С.-Петербург, 1893–1912.

НЕУСТРОЕВ 2008

НЕУСТРОЕВ Д. В., “«Очарованный странник» Н. С. Лескова: Генезис и поэтика” (диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук, Москва, 2008).

ПАНЧЕНКО 2000

ПАНЧЕНКО А. М., “Лесковский Левша как национальная проблема”, in: ИДЕМ, *О русской истории и культуре*, С.-Петербург, 2000, 396–400.

ПОЗДИНА 2009

ПОЗДИНА И. В., “Повести Н. С. Лескова 1860-х годов в аспекте жанрового синкретизма, мифопоэтики и народной культуры” (диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук, Челябинск, 2009).

ПОТАПОВА, ЦЫГАНОВА 1998

ПОТАПОВА Г. Е., ЦЫГАНОВА Ю. А., “«Кавказский пленник» — от Пушкина до Лескова”, *Начало*, 4, 1998, 71–86.

ПРОПП 1996

ПРОПП В. Я., *Исторические корни волшебной сказки*, 2-е изд., отв. ред. В. И. Еремина, Н. М. Герасимова, С.-Петербург, 1996.

РАНЧИН 1996

РАНЧИН А. М., “«Очарованный странник» Н. С. Лескова”, in: В. Б. КАТАЕВ, ред., *От Крылова до Чехова: Статьи о русской литературе*, Москва, 1996, 114–126.

——— 1998

РАНЧИН А. М., “К поэтике литературной мистификации: легенды Н. С. Лескова по старинному Прологу”, in: *Тыняновский сборник: Шестые — Седьмые — Восьмые Тыняновские чтения*, Москва, 1998, 96–117.

РУДИ 2011

РУДИ Т. Р., “Пустынножители Древней Руси (из истории агиографической топики)”, in: Т. Р. Руди, С. А. Семячко, отв. ред., *Русская агиография: Исследования, материалы, публикации*, 2, С.-Петербург, 2011, 517–530.

САР, 6

*Словарь Академии Российской*, 6, С.-Петербург, 1794.

СДРЯ, 5

*Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.)*, 5, Москва, 2002.

СЕРМАН 1958

СЕРМАН И. З., “Протопоп Аввакум в творчестве Н. С. Лескова”, *Труды отдела древнерусской литературы*, 14, Москва, Ленинград, 1958, 404–407.

СЦСРЯ, 3

*Словарь церковно-славянского и русского языка*, 3, С.-Петербург, 1847.

СТОЛЯРОВА 1978

СТОЛЯРОВА И. В., *В поисках идеала: Творчество Н. С. Лескова*, Ленинград, 1978.

——— 1996А

СТОЛЯРОВА И. В., “Лесков и Россия”, in: Н. С. ЛЕСКОВ, *Полное собрание сочинений в 30 томах*, 1, Москва, 1996, 7–100.

——— 1996Б

СТОЛЯРОВА И. В., *Повесть “Очарованный странник” в творчестве Н. С. Лескова*, С.-Петербург, 1996.

——— 2010

СТОЛЯРОВА И. В., “Эсхатологические мотивы в рассказе Н. С. Лескова «Очарованный странник»”, in: И. П. ВИДУЭЦКАЯ, отв. ред., *Н. С. Лесков в пространстве современной филологической мысли (К 175-летию со дня рождения)*, Москва, 2010, 11–30.

ТУРГЕНЕВ 1979

ТУРГЕНЕВ И. С., *Полное собрание сочинений и писем в 30 томах*, 2-е изд., испр. и доп., 3, Москва, 1979.

УСПЕНСКИЙ 1995

УСПЕНСКИЙ Б. А., “Поэтика композиции”, in: ИДЕМ, *Семиотика искусства*, Москва, 1995, 9–218.

ФИЛАТОВА 2012

ФИЛАТОВА Н. А., “Традиции древнерусской литературы в творчестве Н. С. Лескова” (диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук, Астрахань, 2012).

ЧЕКИН 2000

ЧЕКИН Л. С., “Безбожные сыны Измаиловы: половцы и другие народы степи в древнерусской книжной культуре”, in: *Из истории русской культуры*, 1, Москва, 2000, 691–716.

ЧЕРЕДНИКОВА 1977

ЧЕРЕДНИКОВА М. П., “Древнерусские источники повести Н. С. Лескова «Очарованный странник»”, *Труды Отдела древнерусской литературы*, 32, Ленинград, 1977, 361–369.

ШКУТА 2005

ШКУТА Г. А., “Фольклорно-мифопоэтические основы творчества Н. С. Лескова: Мифопоэтический аспект” (автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук, Новосибирск, 2005).

ШМИД 2003

ШМИД В., *Нарратология*, Москва, 2003.

ЭЙХЕНБАУМ 1924

ЭЙХЕНБАУМ Б. М., *Сквозь литературу*, Ленинград, 1924.

ЮРГАНОВ 2006

ЮРГАНОВ А. Л., *Убить беса: Путь от Средневековья к Новому времени*, Москва, 2006.

ЯХНЕНКО 2003

ЯХНЕНКО Е. В., “Жанровые традиции древнерусской словесности в творчестве Н. С. Лескова” (диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук, Москва, 2003).

ANSBERG 1957

ANSBERG B., "Frame Story and First Person in N. S. Leskov," *Scando-Slavica*, 3, 1957, 49–73.

GRIMSTAD 2007

GRIMSTAD K. A., *Styling Russia: Multiculture in the Prose of Nikolai Leskov*, Bergen, 2007.

MCLEAN 1977

MCLEAN H., *Nikolai Leskov: The Man and His Art*, Cambridge (MA), 1977.

MONUMENTA 1997

WEIHER E., ed., *Die Grossen Lesemenäen des Metropoliten Makarij, Великие Минеи Четии митрополита Макария*, 1 (= Monumenta linguae Slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertationes, 39), Freiburg i. Br., 1997.

RÖSSLER 1939

RÖSSLER M. I., *Nikolai Leskov und seine Darstellung des religiösen Menschen*, Weimar, 1939.

SPERRLE 2000

SPERRLE C., "Narrative Structure in Nikolai Leskov's Cathedral Folk: The Polyphonic Chronicle," *Slavic and East European Journal*, 44/1, 2000, 29–47.

——— 2002

SPERRLE C., *The Organic Worldview of Nikolai Leskov: Studies in Russian Literature and Theory*, Evanston, 2002.

WIGZELL 1998

WIGZELL F., "The Cathedral Folk: Soboriane," in: N. CORNWELL, ed., *Reference Guide to Russian Literature*, London, Chicago, 1998, 501–502.

——— 2001

WIGZELL F., "Folklore and Russian Literature," in: N. CORNWELL, ed., *The Routledge Companion on Russian Literature*, London, New York, 2001, 36–48.

---

## References

Ansberg B., "Frame Story and First Person in N. S. Leskov," *Scando-Slavica*, 3, 1957, 49–73.Antonov D. I., Maizuls M. R., *Demons and Sinners in Old Russian Iconography: The Semiotics of the Image*, Moscow, 2011.Astakhova A. M., ed., *Ilya Muromets*, Moscow, Leningrad, 1958.Bolotnaia M. P., "Obraz avtora kak kategoriia podteksta v povesti N. S. Leskova 'Ocharovannyi strannik,'" *Izvestiia Penzenskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. V. G. Belinskogo*, 27, 2012, 212–216.Chekin L. S., "Bezbozhnye syny Izmailovy: polovtsy i drugie narody stepi v drevnerusskoi knizhnoi kul'ture," in: *Iz istorii russkoi kul'tury*, 1, Moscow, 2000, 691–716.Cherednikova M. P., "Drevnerusskie istochniki povesti N. S. Leskova 'Ocharovannyi strannik,'" *Trudy Otdela drevnerusskoi literatury*, 32, Leningrad, 1977, 361–369.Eikhenbaum B. M., *Skvoz' literaturu*, Leningrad, 1924.Gebel V., *N. S. Leskov: v tvorcheskoi laboratorii*, Moscow, 1945.Gorelov A. A., *Leskov i narodnaia kul'tura*, Leningrad, 1988.Grimstad K. A., "Polietnichnost' kak religioznaia problema v 'Ocharovannom strannike' N. S. Leskova," in: *Problemy istoricheskoi poetiki*, 5, Petrozavodsk, 1995, 454–461.Grimstad K. A., *Styling Russia: Multiculture in the Prose of Nikolai Leskov*, Bergen, 2007.Grossman L. P., *N. S. Leskov: zhizn' — tvorchestvo — poetika*, Moscow, 1945.Gudzii N. K., ed., *Zhitie protopopa Avvakuma im samim napisannoe i drugie ego sochineniia*, Moscow, 1960.Izmailov A., "Leskov i ego vremia," in: O. L. Fetisenco, ed., *N. S. Leskov: Klassik v neklassicheskom osveshchenii*, St. Petersburg, 2011, 155–440.Liban N. I., *Russkaia literatura: Lektsii o russkoi literature. Raboty raznykh let. Iz arkhiva*, Moscow, 2015.Likhachev D. S., *Izbrannye raboty v trekh tomakh*, 3, Moscow, 1987.Lotman Ju. M., Uspenskij B. A., "Novye aspekty izucheniia kul'tury Drevnei Rusi," *Voprosy literatury*, 3, 1977, 145–178.Lukianchikova N. V., "Zhanrovaia spetsifika zhiitiia v khudozhestvennom osmyslenii N. S. Leskova," *Al'manakh sovremennoi nauki i obrazovaniia*, 1 (8), 2008, Tambov, 117–120.

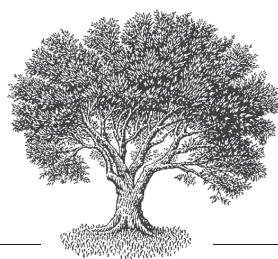
- Lourié B., *Vvedenie v kriticheskuiu agiografiu*, St. Petersburg, 2009.
- Maierova O. E., "Rasskaz N. S. Leskova 'Nesmertel'nyi Golovan' i zhitiinaia traditsiia", *Russkaia literatura*, 3, 1987, 170–179.
- Maierova O., "Opyt reinterpretatsii 'Ocharovannogo strannika' N. S. Leskova", in: E. Liamina, O. Lekmanov, eds., *Russko-frantsuzskii razgovornik, ili / ou Les Causeries du 7 Septembre: Sbornik statei v chest' V. A. Milchinoi*, Moscow, 2015, 352–363.
- Marcadé J.-C., *Tvorchestvo N. S. Leskova: romany i khroniki*, transl. by A. I. Popova et al, St. Petersburg, 2006.
- McLean H., *Nikolai Leskov: The Man and His Art*, Cambridge (MA), 1977.
- Panchenko A. M., *O russkoi istorii i kul'ture*, St. Petersburg, 2000.
- Potapova G. E., Tsyganova Ju. A., "Kavkazskii plennik' — ot Pushkina do Leskova," *Nachalo*, 4, 1998, 71–86.
- Propp V. Ya., *Istoricheskie korni volshebnoi skazki*, St. Petersburg, 1996.
- Ranchin A. M., "Ocharovannyi strannik' N. S. Leskova," in: V. B. Kataev, ed., *Ot Krylova do Chekhova: Stat'i o russkoi literature*, Moscow, 1996, 114–126.
- Ranchin A. M., "K poetike literaturnoi mistifikatsii: legendy N. S. Leskova po starinnomu Prologu," in: *Tynianovskii sbornik: Shestye — Sed'mye — Vos'mye Tynianovskie chteniia*, Moscow, 1998, 96–117.
- Rössler M. I., *Nikolai Leskov und seine Darstellung des religiösen Menschen*, Weimar, 1939.
- Rudi T. R., "Pustynnozhiteli Drevnei Rusi (iz istorii agiograficheskoi topiki)," in: T. R. Rudi, S. A. Semiachko, eds., *Russkaia agiografia: Issledovaniia, materialy, publikatsii*, 2, St. Petersburg, 2011, 517–530.
- Serman I. Z., "Protopop Avvakum v tvorchestve N. S. Leskova," *Trudy otdela drevnerusskoi literatury*, 14, Moscow, Leningrad, 1958, 404–407.
- Shmid V., *Narratologiya*, Moscow, 2003.
- Sperrle C., "Narrative Structure in Nikolai Leskov's Cathedral Folk: The Polyphonic Chronicle," *Slavic and East European Journal*, 44 (1), 2000, 29–47.
- Sperrle C., *The Organic Worldview of Nikolai Leskov: Studies in Russian Literature and Theory*, Evanston, 2002.
- Stoliarova I. V., *V poiskakh ideala: Tvorchestvo N. S. Leskova*, Leningrad, 1978.
- Stoliarova I. V., "Leskov i Rossiia," in: N. S. Leskov, *Polnoe sobranie sochinenii v 30 tomakh*, 1, Moscow, 1996, 7–100.
- Stoliarova I. V., *Povest' "Ocharovannyi strannik" v tvorchestve N. S. Leskova*, St. Petersburg, 1996.
- Stoliarova I. V., "Eskhatologicheskie motivy v rasskaze N. S. Leskova 'Ocharovannyi strannik'," in: I. P. Viduetskaia, ed., *N. S. Leskov v prostranstve sovremennoi filologicheskoi mysli (K 175-letiiu so dnia rozhdeniia)*, Moscow, 2010, 11–30.
- Uspenskij B. A., *Semiotika iskusstva*, Moscow, 1995.
- Viduetskaya I. P., *Nikolai Semenovich Leskov. V pomoshch' prepodavateliam, starsheklassnikam i abiturientam*, Moscow, 2000.
- Volynskiy A., "N. S. Leskov," in: O. L. Fetisenko, ed., *N. S. Leskov: Klassik v neklassicheskom osveshchenii*, St. Petersburg, 2011, 35–154.
- Weihert E., ed., *Die Grossen Lesemenäen des metropoliten Makarij, Velikie Minei Chetii mitropolita Makarii*, 1 (Monumenta linguae Slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertationes, 39), Freiburg i. Br., 1997.
- Wigzell F., "Bludnye synov'ia ili bluzhdaiushchie dushi: 'Povest' o Gore-Zlochastii' i 'Ocharovannyi strannik' Leskova," *Trudy Otdela drevnerusskoi literatury*, 50, St. Petersburg, 1996, 754–762.
- Wigzell F., "The Cathedral Folk: Soboriane," in: N. Cornwell, ed., *Reference Guide to Russian Literature*, London, Chicago, 1998, 501–502.
- Wigzell F., "Folklore and Russian Literature," in: N. Cornwell, ed., *The Routledge Companion on Russian Literature*, London, New York, 2001, 36–48.
- Yurganov A. L., *Ubit' besa: Put' ot Srednevekov'ia k Novomu vremeni*, Moscow, 2006.
- Zholkovskiy A., "Malen'kii metatekstual'nyi shedevr Leskova," *Novoe literaturnoe obozrenie*, 93, 2008, 155–173.

---

проф. Андрей Михайлович Ранчин, доктор филол. наук  
 Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова,  
 филологический факультет  
 доцент кафедры истории русской литературы  
 119991 Москва, Ленинские горы, ГСП-1, МГУ им. М. В. Ломоносова,  
 1-й корпус гуманитарных факультетов  
 Россия/Russia  
 aranchin@mail.ru

Received December 13, 2016





Толстой, Арцыбашев  
и Вагнер: об одном  
случае полемики  
в “Круге чтения”  
Л. Н. Толстого

**Анастасия Андреевна  
Тулякова**

Национальный исследовательский  
университет “Высшая школа экономики”  
Москва, Россия

Leo Tolstoy, Mikhail  
Artsybashev, and  
Richard Wagner:  
About One Case of  
Polemics in Tolstoy’s  
*The Circle of Reading*

**Anastasia A. Tulyakova**

National Research University Higher  
School of Economics  
Moscow, Russia

Резюме

В статье рассматривается эпизод из истории создания позднего дидактического собрания мудрых мыслей Л. Н. Толстого “Круг чтения” (1908) — включение в его второе издание переработанной новеллы Мопассана “Порт” под названием “Сестры”. Автор доказывает, что причиной такого творческого решения Толстого стала его полемика с “санинством” как одним из самых модных этических течений 1900-х годов. Ключевым компонентом поведения и гедонистической философии Санина в одноименном романе М. П. Арцыбашева было кровосмешение. На этой же теме основывается и сюжет новеллы Мопассана. На основе публицистических текстов Толстого 1890-х годов, в том числе трактата “Что такое искусство?” (1898), статья реконструирует взгляд писателя на формы и границы репрезентации инцеста в операх Вагнера и в философии Ф. Ницше, с которыми Толстой полемизирует — и в связи с этим рассуждает об этическом потенциале искусства и его вседозволенности. В такой перспективе реакция Толстого на роман Арцыбашева, сочетающий мотивы инцеста и крайнего индивидуализма, оказывается новой фазой старого спора. Писатель включает рассказ “Сестры” во вторую редакцию “Круга чтения” как ответ на

философию “санинства”. Таким образом, сборник мудрых мыслей Толстого может рассматриваться не только как дидактический, но и как полемический и глубоко укорененный в идеологическом контексте 1890-х – 1900-х гг.

#### Ключевые слова

Толстой, Мопассан, Арцыбашев, “Круг чтения”, инцест, санинство

#### Abstract

The article deals with a case from the creative history of Leo Tolstoy's *The Circle of Reading* (1908), when Tolstoy included the revised story of Guy de Maupassant's *Le Port* under the title “Sisters” in the second edition of the book. The author proves that the reason for Tolstoy's decision was his polemic with “saninstvo” as one of the most fashionable ethical trends of the first decade of the 1900s. The key component of Sanin's behavior and hedonistic philosophy in Mikhail Artsybashev's novel was incest. Maupassant's novella is based on the same plot. On the basis of Tolstoy's nonfictional texts of the 1890s, including the treatise *What Is Art?* (1898), the article reconstructs the writer's view on the forms and boundaries of the representation of incest in Richard Wagner's operas and in Friedrich Nietzsche's philosophy, with which Tolstoy also polemicized and in connection with which he stated the ethical potential of art and its permissiveness. From this perspective, Tolstoy's reaction to Artsybashev's novel, combining the motives of incest and extreme individualism, turns out to be a new phase of the old dispute. Tolstoy included the story “Sisters” in the second edition of *The Circle of Reading* as a response to the philosophy of “saninstvo.” Thus, Tolstoy's collection of wise thoughts can be considered not only as didactic, but also as a polemical text, and deeply rooted in the ideological context of the 1890s–1900s.

#### Keywords

Leo Tolstoy, Guy de Maupassant, Mikhail Artsybashev, *The Circle of Reading*, incest, saninstvo

“Круг чтения” Л. Н. Толстого (1906, 1908 гг.) представляет собой дидактическое собрание афоризмов и рассказов на каждый день, которые писатель тщательно выбирал и записывал на протяжении двадцати лет. Исследования, посвященные “Кругу чтения”, как правило, касаются вопросов о тематическом составе книги и отражении в ней идеологии позднего Толстого. В таких работах речь идет о принципах отбора Толстым афоризмов и текстов для “Круга чтения” в соответствии с собственными, подчас противоречивыми взглядами на тот или иной вопрос, анализируются источники, к которым обращался Толстой во время работы над сводом изречений<sup>1</sup>. Однако, как мы постараемся показать,

<sup>1</sup> См. об этом, например, вторую главу диссертации [Карлик 1998]. Переработанная диссертация вышла книгой [ЕАДЕМ 2012]. Особый интерес в этом исследовании представляет анализ жанровой природы “Круга чтения” и его генезиса, восходящего к традициям древнерусской литературы. Источники высказываний “Круга чтения” с комментариями изложены в издании

“Круг чтения” может быть прочитан и в другом контексте — как полемический ответ писателя на наиболее “острые”, широко обсуждаемые проблемы 1890–1900-х гг.

Одной из таких проблем стало свободное сексуальное поведение, центральное для некоторых культурно-этических течений современности, в том числе “санинства” — философии главного героя романа М. Арцыбашева “Санин” (1907), о которой пойдет речь в статье. Толстой, отрицательно реагируя на распространение подобных тенденций, включает в “Круг чтения” сюжеты, разоблачающие чуждые ему этические концепции и утверждающие новый “свод правил” морального поведения. Объектом нашего исследования станет переведенный рассказ Мопассана “Сестры”, включенный во второе издание “Круга чтения” и содержащий мотив инцеста. В статье мы проанализируем источники (творчество Вагнера, Ницше и М. Арцыбашева), на которые полемически реагирует Толстой, дополняя свод афоризмов текстом Мопассана, и покажем, как их отрицательная оценка писателем обусловила расширение тематического репертуара “Круга чтения”.

Одним из дополнений, внесенных Толстым во второе издание “Круга чтения” (1908)<sup>2</sup>, стал рассказ “Сестры”. Н. Н. Гусев, участвовавший в подготовке этого тома, указывал в комментариях, что Толстой работал над переделкой книги в 1908 г., и тогда же в печатный экземпляр первого издания, служивший наборным экземпляром для второго, была вложена — в недельные чтения с 1-го по 7-е декабря — брошюра “Сестры”, вышедшая до того отдельным изданием (42: 578, 585).

Рассказ “Сестры” представляет собой творческую обработку новеллы Г. Де Мопассана “Порт” (“Le port”, впервые напечатан в “L’Echo de Paris” от 15 марта 1889 г.) [MAUPASSANT 1889: 1], которой писатель заинтересовался еще в 1890 г.<sup>3</sup> К этому же времени относится правка Толстым перевода рассказа, выполненного домашним учителем Толстых А. М. Новиковым<sup>4</sup>.

[Николюкин 1991]. Анализ афоризмов отдельных авторов из “Круга чтения” посвящены пятая глава уже упомянутой диссертации Карлик Н. А., а также работа [КАВАЦЦА 1988]. Новое понимание “Круга чтения” как целостного текста предлагают А. Г. Гродецкая [2012] и Ирина Паперно [PAPERNO 2014].

<sup>2</sup> Второе издание “Круга чтения” переработано Толстым в 1908 г. и выбрано в качестве источника основного текста в “Полном собрании сочинений в 90 томах” [Толстой 1928–1958, 1–90]. Здесь и далее ссылки на это издание даются в тексте в круглых скобках с указанием номера тома и страницы.

<sup>3</sup> Об этом свидетельствует запись в дневнике Толстого в период с 15 по 23 октября 1890 г.: “Занятий в эти дни б[ыло] только — изложение Дианы, поправка статьи об охоте и рассказ Ги Мопассана — чудный, к[оторый] перевел А[лексей] М[итрофанович] [Новиков]” (51: 95).

<sup>4</sup> Подтверждение этому можно обнаружить в письме Толстого к В. Г. Черткову от 18 октября 1890 г. (“Перевожу я вам в Посред[ник] ужасной силы и цинизма и

Сюжет рассказа “Сестры” основывается на трагическом узнавании братом и сестрой друг друга после совершенного инцеста. Последовательность событий выглядит следующим образом. Корабль “Пресвятая Дева Ветров”, на котором служит моряк Селестен Дюкло, после четырехлетнего плавания останавливается в Марселе. Команда во главе с Дюкло решает весело провести время на берегу и отправляется в город в поисках публичного дома. В одном из таких домов служит сестра Селестена Франсуаза, которую он оставил в родном городе тринадцатилетней девочкой и которая после смерти всех родственников от тифа была вынуждена стать проституткой. Не узнав сестры, Дюкло выбирает ее в “подруги” на вечер. Проведя некоторое время в комнате наверху, Дюкло и Франсуаза возвращаются в общую залу и вступают в разговор. Моряк расспрашивает девушку о ее происхождении, в свою очередь, она интересуется тем, как долго он плавает и не встречался ли ему корабль “Пресвятая Дева Ветров”, на котором служит ее брат. Расспросы девушки вызывают у Селестена любопытство до тех пор, пока она не рассказывает ему о судьбе его семьи. В этот момент происходит трагическое узнавание героями друг друга. Далее Дюкло подробнее расспрашивает Франсуазу о том, что привело ее в публичный дом, обнимает и целует ее как сестру, что особенно подчеркивается Мопассаном. Затем Дюкло впадает в истерику. Друзья Дюкло, полагая, что он пьян, относят его в комнату девушки, с которой он только что проводил время. Там Франсуаза просидела с братом до утра, “плача так же горько, как и он”<sup>5</sup>.

Толстой, работая над уже текстом перевода, значительно упростил язык новеллы, исключил отдельные фразы, исправил язык диалогов и отказался от финала Мопассана. По Толстому, матросы пытаются отвести Дюкло наверх, но он бросается к одному из моряков, сидящему с девушкой, отталкивает их друг от друга и говорит ему о том, что девушка — его сестра: “все они кому-нибудь да сестры” (42: 305). После этого с ним случается припадок, и матросы относят его наверх в комнату Франсуазы<sup>6</sup>.

---

глубоко нравственно действующий рассказ Gui Mopassant. На днях пришлю”) (87: 51) и дневниковых записях от 24–26 октября: “Утром поправил и записал рассказы Ги Мопассана” (запись от 24 октября 1890 г.): “Не писал, но поправлял сначала. Потом поправил рассказы Мопассана” (запись от 25 октября 1890 г.). “Рано встал. Опять поправлял Мопассана и ничего не пришлось написать” (запись от 26 октября 1890 г.) (51: 97).

<sup>5</sup> В оригинале “en pleurant autant que lui” [MAUPASSANT 1889: 1].

<sup>6</sup> Около 1 ноября 1890 г. Толстой отправил два переведенных рассказа Мопассана — “Порт” и “Дорого стоит” — Черткову в Петербург, выразив желание, чтобы тексты были изданы отдельной книжечкой (24: 674). Но, по-видимому, вторая новелла не была пропущена цензурой, и перевод “Порта”, на тот момент называвшийся “У девок”, решено было печатать в газете А. С. Суворина “Новое время” (ibid.). Настаивая на смягчении некоторых выражений, казавшихся ему непристойными, Суворин в письме к Черткову от 2 января 1891 г. предложил

Культурный контекст, обусловивший обращение Толстого к рассказу “Сестры” как в начале 1890-х гг., так и в 1907–1908 гг., не становился предметом исследования, между тем реконструкция этих обстоятельств позволяет уточнить механизм отбора текстов для “Круга чтения”.

Толстой высоко оценивал рассказ Мопассана, о чем свидетельствует его отзыв о нем в “Предисловии к собранию сочинений Мопассана”:

Прочтите его сына-идиота, ночь с дочерью (“L’ermite”), моряк с сестрой (“Le port”), “Оливковое поле”, “La petite Roque”, англичанку “Miss Harriet”, “Monsieur Parent”, “L’armoire” (девочка, заснувшая в шкапе), свадьбу в “Sur l’eau” и последнее выражение всего: “Un cas de divorce”. То самое, что говорил Марк Аврелий, придумывая средство разрушить в представлении привлекательность этого греха, это самое яркими художественными образами, переворачивающими душу, делает Мопассан. Он хотел восхвалять любовь, но чем больше узнавал, тем больше проклинал ее. Он проклинает ее и за те бедствия и страдания, которые она несет с собою, и за те разочарования и, главное, за ту подделку настоящей любви, за тот обман, который есть в ней и от которого тем сильнее страдает человек, чем доверчивее он предается этому обману (30: 20–21).

Из перечня произведений Мопассана, упоминаемых Толстым, видно, что его внимание привлекла тема инцеста (ср. прежде всего рассказы “Порт” и “Отшельник”) — одна из ведущих для французского писателя. Но для нас в данном случае интерес будет представлять не прямой диалог писателей, но более широкий контекст обращения к теме кровосмешения. Как представляется, эта тема была важна для Толстого в связи с его размышлениями об этическом потенциале искусства и опасности вседозволенности в “поэзии», о чем он рассуждает в трактате “Что такое искусство?” (1898).

В 1889 – начале 1890-х гг. Толстой работает над циклом статей об искусстве, предвосхитивших трактат, одна из глав которого посвящена творчеству Вагнера. Толстой анализирует тетралогия “Кольцо Нибелунгов”, отмечая при этом недостатки вагнеровского музыкального направления. Но и либретто, которое Толстой прочел, произвело на него неприятное впечатление: “Произведение это есть образец самой грубой, доходящей даже до смешного, подделки под поэзию” (30: 132). Таким образом, Толстой критикует Вагнера и как композитора, и как поэта, и приходит к выводу, что тот “составил образцовое поддельное произведение искусства” (ibid.: 138).

---

в качестве заголовка дать название “Сестры”, которое более соответствовало финалу рассказа. В итоге, однако, после обсуждения предложений редакции “Нового времени” с Толстым, рассказ — с незначительными стилистическими поправками — был напечатан под заглавием “Франсуаза”, которое предложил Н. С. Лесков (27: 675).



В связи с анализируемым сюжетом отметим, что Толстой, разбирая сюжет вагнеровской оперы, обратил особое внимание на мотив инцеста между братом и сестрой, который писатель упомянул в ряду эффектов, влияющих на зрительское восприятие оперы:

Начиная с сюжета, взятого из древности, и кончая туманами и восходами луны и солнца, Вагнер в этом произведении пользуется всем тем, что считается поэтичным. Тут и спящая красавица, и русалки, и подземные огни, и гномы, и битвы, и мечи, и любовь, и *кровосмешение*, и чудовище, и пение птиц — весь арсенал поэтичности употреблен в дело (30: 138; курсив мой. — А. Т.).

Существенно, что, пересказывая сюжет “Нибелунгов” в приложении к трактату, Толстой дважды упоминает о кровосмешении между Зигмундом и Зиглиндой, разлученными в детстве братом и сестрой, которые влюбляются друг в друга, еще не подозревая, что они кровные родственники, и которые даже в момент узнавания не отказываются от охвативших их чувств. Толстой описывает этот эпизод из “Валькирии”, второй оперы тетралогии, следующим образом:

На сцене помещено в середине дерево. Вбегает Зигмунд усталый и ложится. Входит Зиглинда, хозяйка, жена Гундинга, и дает ему приворотный напиток, и оба влюбляются друг в друга. Приходит муж Зиглинды, узнает, что Зигмунд из враждебной породы, и завтра хочет с ним драться, но Зиглинда напаивает дурманом своего мужа и приходит к Зигмунду. Зигмунд узнает, что Зиглинда его сестра и что его отец вбил меч в дерево, так что никто не может вынуть его. Зигмунд выхватывает этот меч и совершает блуд с сестрой. Во втором действии Зигмунд должен драться с Гундингом. Боги рассуждают, кому дать победу. Вотан хочет пожалеть Зигмунда, одобряя его поступок блуда с сестрой, но, под влиянием жены Фрики, велит валькирии Брунгильде убить Зигмунда (30: 201).

Толстой, как видно из его рассуждений о тетралогии в трактате “Что такое искусство?”, знал, что мотив кровосмешения был привнесен самим композитором в сюжет оперы<sup>7</sup>: в народном эпосе Зигфрид является сыном короля Зигмунда и его супруги Зиглинды. Таким образом, инцест, изначально отсутствовавший в сагах, но появившийся у Вагнера и потому привлечший внимание Толстого, вынудил писателя добавить в

<sup>7</sup> По замечанию современного исследователя, “Вагнер не только включает в «Валькирию» тему инцеста и развивает ее, но и изображает инцест и его последствия как центральный мотив оперы” [KERSHNER 2006: 167; перевод мой. — А. Т.]. Одна из возможных причин, по которой Вагнер включает в оперу этот мотив, по его собственному признанию, — намеренная героизация Зигфрида. Зигфрид, как величайший герой всех времен, не может быть рожден людьми, а должен быть создан через их уничтожение. См. об этом: [WAGNER 1998: 89–107; EMIG 1998].

пересказ сюжета любопытную деталь, оправдывающую появление этого мотива в опере. В либретто Вагнера не содержится намек на то, что Зиглинда напоила Зигмунда “приворотным напитком”, речь идет только о питье с медом. Вероятно, Толстой дополняет свой пересказ этой деталью для того, чтобы пояснить, что стало причиной кровосмешения между братом и сестрой, переросшего впоследствии в противоестественную любовь. Одновременно с этим Толстой причисляет мотив инцеста к “арсеналу поэтичности” (30: 138), который использует Вагнер, рассчитывая привести в оперу более “эффектности и занимательности” (30: 119)<sup>8</sup>.

В “Валькирии” Зигмунд и Зиглинда были наказаны Вотаном потому, что его супруга Фрика восприняла союз между братом и сестрой как оскорбление самого Вотана. И хотя Фрика невзлюбила близнецов потому, что они родились от другой матери, она делает все возможное, чтобы доказать Вотану противоестественность такого союза: упоминает об измене Вотана, следствием которой и стало рождение близнецов, упрекает супруга в бесчестии, на которое он обрек и ее. Вотан же не видит ничего предосудительного в том, что герои полюбили друг друга, но все же уступает жене и губит Зигмунда. Зиглинду же спасает дочь Вотана — валькирия Брунгильда, знающая, что та должна родить героя Зигфрида.

Работе над трактатом предшествовал целый ряд статей Толстого об искусстве, большинство из которых стало “подготовительным этапом” к нему (30: 509). И хотя Толстой еще в уста Левина вкладывал рассуждение о вагнеровском направлении в музыке<sup>9</sup>, резкая критика и обличение Вагнера впервые возникло лишь в поздней публицистике Толстого. Здесь рядом с именем Вагнера, завладевшего умами “квази-образованных людей” (30: 136), ожидаемо появляется имя Фридриха Ницше, известность и влияние которого не уступали славе Вагнера, в свое время повлиявшего на взгляды немецкого философа<sup>10</sup>. Но если к Вагнеру Толстой относился отрицательно и в течение жизни не менял своего мнения

<sup>8</sup> Речь идет о поэтических средствах, которые автор может использовать для того, чтобы достичь наибольшей “эффектности и занимательности” (30: 138) того сюжета, который обрабатывает. Таким образом, Толстой обвиняет Вагнера в неразборчивости поэтических средств, которые в своей совокупности превращают “Кольцо Нибелунгов” в “подделку под искусство” (ibid.).

<sup>9</sup> В антракте между Левиным и Песцовым завязался спор о достоинствах и недостатках вагнеровского направления музыки. Левин доказывал, что ошибка Вагнера и всех его последователей в том, что музыка хочет переходить в область чужого искусства, что так же ошибается поэзия, когда описывает черты лиц, что должна делать живопись, и, как пример такой ошибки, он привел скульптора, который вздумал высекать из мрамора тени поэтических образов, восстающие вокруг фигуры поэта на пьедестале (19: 262–263).

<sup>10</sup> О влиянии Вагнера на творчество Ницше см., например: [HOLLINRAKE 2010; PRANGE 2013].

о композиторе, то Ницше вызывал у писателя двойственные чувства<sup>11</sup>. С одной стороны, Толстой осуждал Ницше за сверхиндивидуализм, “учение эгоизма, зла и ненависти” (34: 309), согласно которому одни наделяются правами, а другие лишаются их. С другой стороны, в августе 1908 г. Толстой, как отмечал Маковицкий [1979, 3: 172], перечитывал Ницше, полагая, что мог неправильно его понять. Однако как только произведения Ницше были ему присланы и Толстой начал их читать, то сразу оставил это занятие по той причине, что у Ницше “все основано на противоречии тому, что признается истиной” [ibid.: 176].

Новое обращение Толстого к Ницше, философские взгляды которого для писателя генетически были связаны с творчеством Вагнера, в 1908 г., вероятно, могло быть подсказано актуализацией дискуссии о ницшеанстве в связи с выходом напущенного романа Арцыбашева “Санин” (1907). Существенно, что в нем ницшеанские идеи заглавного героя<sup>12</sup> переплетались с мотивом инцеста, занимавшим Толстого еще с начала 1890-х гг. Роман Арцыбашева соединял в себе то, о чем Толстой активно размышляет в период конца 1890 – начала 1900-х гг. и что отражается в работе над трактатом “Что такое искусство?” и переводом “Сестер”.

По сюжету Владимир Санин после длительного отсутствия возвращается в родной провинциальный городок, где обнаруживает повзрослевшую и похорошевшую сестру Лиду. Санин смотрит на сестру как на женщину, ценит ее красоту и изящество. Лида не может не замечать внимания брата, который и привлекает, и пугает ее. После неудачного романа с офицером Зарудиным, от которого Лида беременна, она решает утопиться, однако Санин отговаривает ее от самоубийства и предлагает ей выйти замуж за Новикова, который давно влюблен в девушку. Санин беседует с Новиковым, оправдывает Лиду в его глазах, говоря, что история с Зарудиным — всего лишь “весенний флирт”. Далее линия брата и сестры оттеняется второй сюжетной линией, в которой также участвуют брат и сестра из семейства Сварожичей. Однако у Юрия и Ляли, в отличие от Санина и Лиды, не возникает взаимного влечения.

Роман Арцыбашева получил скандальную известность благодаря философии вседозволенности, последователем которой является главный герой. Писателя обвиняли в том, что он проповедует культ эротических наслаждений, вместе с этим некоторые современники видели в нем наследника традиций классической литературы, поскольку

<sup>11</sup> Подробное рассмотрение отношений Толстого и Ницше не является целью нашей статьи. Из немногочисленных работ, посвященных этому вопросу, см.: [ОБОЛЕНСКИЙ 1893; ШЕСТОВ 1900: 139–167, 112–135; ADAMS 1911: 82–105; DAVIS 1929; KARENOVICS 2014: 505–509] и др.

<sup>12</sup> См. об этом: [BOELE 2009].

Арцыбашев в своих текстах пытался описать жизнь во всем ее многообразии<sup>13</sup>.

Толстой относился к творчеству Арцыбашева двойственно. В целом писатель положительно оценивал его ранние опусы<sup>14</sup>, отмечая, что, хотя тот, как и многие, “невежда во всем том, что сделано великими мыслителями прошедшего” (57: 20), мысль его самобытна, в отличие, например, от Горького или Куприна, у которого есть “простой талант без содержания” (*ibid.*). В свою очередь, Арцыбашев, признавая значительную роль Толстого в формировании собственного писательского пути<sup>15</sup>, нередко полемизировал с идеями толстовства в своих текстах.

Роман Арцыбашева принято рассматривать как ответ позднему Толстому. Речь идет не только об аллюзиях на определенные тексты писателя, но и о ниспровержении в романе совокупности идей, разрабатываемых Толстым в поздних публицистических текстах [LEBLANC 2006: 18–23]. Санинская философия основывается на отрицании главных нравственных принципов философии Толстого и утверждении прав сверхчеловека, отсылающей к ницшеанской философии сверхиндивидуализма [ВОЕЛЕ 2009: 11–12]. Подобная полемика прослеживается как в сюжете, так и в идеологии романа. Например, Арцыбашев иронизирует над героем Фон-Дейцем, который является карикатурой на толстовца. Санин не только высмеивает героя, но и провоцирует его на споры, пытаясь дискредитировать культурную миссию христианства.

Безусловно, мировоззрение Санина и его полемика с идеями толстовства были очевидны для писателя. Хотя Толстой признавался Маковицкому и сыну Илье, что “Санина не читал” [МАКОВИЦКИЙ 1979, 3: 44], в письме к студенту М. М. Докшицкому, который спрашивал у писателя, что лучше — санинство или христианство, рассказывал: “Я взял те №№ журнала, в которых он помещался, и прочел все рассуждения самого Санина, и ужаснулся не столько гадости, сколько глупости, невежеству и самоуверенности, соответствующей этим двум свойствам автора [. . .] человек говорит обратное тому, что всеми считается истиной,

<sup>13</sup> См. об этом: [Николаев 1998: 221–244]. Например, А. Богданович писал, что “его манера напоминает несколько Л. Н. Толстого — тщательностью анализа и углубленностью. [. . .] Влияние Толстого сказывается скорее в направлении художественной пытливости г. Арцыбашева, которого захватывают везде важные, вечные стороны жизни, вопросы не временные, текущие, злободневные, а всегда способные волновать сердце людей” (цит. по: [ИВІД.]).

<sup>14</sup> Толстой в целом положительно отзывался о таких рассказах Арцыбашева, как “Бунт”, “Кровь”, “Подпрапорщик Гололобов”, “Смех”.

<sup>15</sup> В очерке о Толстом Арцыбашев писал: “В моей жизни он сыграл слишком большую роль, чтобы я не чувствовал к нему благодарности и не жалел бы его”. См. об этом: [АРЦЫБАШЕВ 2006: 32]. Влияние творчества Толстого на Арцыбашева см. также: [Кокозово 2015: 162–179; LEBLANC 2006: 16–32] и др.

например, что вода сухая, что уголь белый, что *кровосмешение хорошо*, что драться хорошо и т. под.” (письмо от 10 февраля 1908 г.) (78: 58–59; курсив мой. — А. Т.)<sup>16</sup>.

Письмо Докшицкого к Толстому не единственное, в котором адресант спрашивает у Толстого совета, кому довериться — Арцыбашеву или христианству. Подобные письма с просьбами о совете и осуждением того влияния, которое оказывает “возмутительный роман Арцыбашева” на умы молодых людей, приходили Толстому довольно часто<sup>17</sup>. Некоторые просили Толстого написать что-нибудь назидательное, чтобы наставить молодежь на путь истинный<sup>18</sup>. Учитывая, что это время Толстой работал над второй редакцией “Круга чтения”, дополняя его рядом текстов, мы полагаем, что включение переработанного рассказа Мопассана под названием “Сестры” в состав новой редакции книги могло быть вызвано реакцией писателя на обсуждение романа Арцыбашева, в котором утверждалась эротическая вседозволенность, доходящая до оправдания инцеста как ее частного случая. Скандал вокруг “Санина” и просьбы адресантов написать нравоучительный текст в ответ “санинству” могли побудить Толстого дополнить “Круг чтения” произведениями, которые утверждали бы иные ценности. “Круг чтения”, задуманный, в первую очередь, как сборник мудрых мыслей на все случаи жизни, изначально не содержал в себе изречений, порицающих эротическое влечение людей друг к другу. Толстой, осознавая актуальность этой темы в связи с многочисленными обращениями, судя по всему, дополнил сборник еще и в этом направлении. Можно предположить, что размышления Толстого 1890-х гг. о границах искусства побудили его противопоставить роману “Санин” текст, в котором бы нашли отражение истинные христианские ценности, явленные в сходной сюжетной схеме.

Таким образом, история переиздания “Сестер” показывает, что “Круг чтения” представляет собой не просто собрание афоризмов и истин на каждый день. Текст Толстого более укоренен в идейном контексте 1890–1900-х годов, чем было принято считать, и может рассматриваться как полемический ответ Толстого на философские и этические импульсы извне.

<sup>16</sup> Любопытно, что тремя годами ранее, в 1905 г., Маковицкий в дневнике зафиксировал отзыв Толстого о Ницше, который предвосхищал мысль, высказанную писателем об Арцыбашеве: “Ницше утверждает противоположное аих lieux communs. Тургенев сказал о таких людях, что они будут спорить против того, что вода течет, утверждая, что вода твердая. Так и Ницше утверждает противоположное христианским истинам. Меня удивляет, как люди могут интересоваться Ницше?” [Маковицкий 1979, 1: 255].

<sup>17</sup> См., например, письмо ученика четвертого класса гимназии [Маковицкий 1979, 3: 153], косвенно — письмо Н. Н. Ленской от 26 июля 1908 г. (78: 351).

<sup>18</sup> См. письмо Отилии Циммерман к Толстому от 15 апреля 1908 г. [LeBlanc 2006: 16].



## Библиография

АРЦЫБАШЕВ 2006

АРЦЫБАШЕВ М. П., "О Толстом", in: ИДЕМ, *Записки писателя*, Москва, 2006, 31–44.

БЕМ 1926

БЕМ А. Л., сост., СРЕЗНЕВСКИЙ В. И., доп., *Библиографический указатель творений Толстого*, Ленинград, 1926.

ГРОДЕЦКАЯ 2012

ГРОДЕЦКАЯ А. Г., "«Ищи же истину — она этого хочет»", in: Л. Н. Толстой, *Мысли мудрых людей на каждый день*, С.-Петербург, 2012, 5–20.

КАВАЦА 1988

КАВАЦА А., "«Круг чтения» Л. Н. Толстого", *Русская речь*, 6, 1988, 24–29.

КАРЛИК 1998

КАРЛИК Н. А., "«Круг чтения» Л. Н. Толстого" (Дис. [. . .] канд. филол. наук, Москва, 1998).

——— 2012

КАРЛИК Н. А., *Афористика Л. Н. Толстого: сборник мудрых мыслей "Круг чтения"*, С.-Петербург, 2012.

МАКОВИЦКИЙ 1979, 1–4

ЩЕРБИНА В. Р., гл. ред., *У Толстого, 1904–1910: "Яснополянские записки" Д. П. МАКОВИЦКОГО*, 1–4 (= Литературное наследство, 90), Москва, 1979.

НИКОЛАЕВ 1998

НИКОЛАЕВ П. В., "Л. Н. Толстой и М. П. Арцыбашев", in: К. Н. Ломунов, отв. ред., *Толстой и о Толстом*, 1, Москва, 1998, 221–244.

НИКОЛЮКИН 1991

НИКОЛЮКИН А. Н., сост., *Толстой Л. Н. Круг чтения*, 1–2, Москва, 1991.

ОБОЛЕНСКИЙ 1893

ОБОЛЕНСКИЙ Л. Е., "Лев Толстой и Фридрих Ницше, как антиподы (По поводу сочинения Felix Schröder: *Le Tolstoisme*. Paris)", *Новости*, 312, 1893, 2–3.

ТОЛСТОЙ 1928–1958, 1–90

ТОЛСТОЙ Л. Н., *Полное собрание сочинений*, 1–90, Н. К. Гудзий, Н. Н. Гусев, Н. К. Пиксанов et al., ред., Москва, 1928–1958.

ШЕСТОВ 1900

ШЕСТОВ Л., "Добро в учении гр. Л. Толстого и Фр. Ницше", *Русское Богатство*, 2–3, 1900, 112–135, 139–167.

ADAMS 1911

ADAMS M., "Ethics of Tolstoy and Nietzsche," *International Journal of Ethics*, 22/1, October, 1911, 82–105.

BOELE 2009

BOELE O., *Erotic Nihilism in Late Imperial Russia. The Case of Mikhail Artsybashev's Sanin*, Madison (WI), 2009.

DAVIS 1929

DAVIS H. E., *Tolstoy and Nietzsche: A Problem in Biographical Ethics*, New York, 1929.

EMIG 1998

EMIG C., *Arbeit am Inzest: Richard Wagner und Tomas Mann*, Frankfurt a. M., 1998.

HOLLINRAKE 2010

HOLLINRAKE R., *Nietzsche, Wagner and the Philosophy of Pessimism*, London, New York, 2010.

## KARENOVICS 2014

KARENOVICS I., "Friedrich Nietzsche," in: M. GEORGE, J. HERLTH, C. MÜNCH, U. SCHMID, Hrsg., *Tolstoj als theologischer Denker und Kirchenkritiker*, Göttingen, 2014, 505–509.

## KERSHNER 2006

KERSHNER G. D., "Transgression and Taboo: Eros, Marriage, and Incest in *Die Walküre*," in: L. J. DIGAETANI, *Inside the Ring: Essays on Wagner's Opera Cycle*, Jefferson (NC), 2006, 154–172.

## KOKOBOBO 2015

KOKOBOBO A., "Corpses of Desire and Convention: Tolstoy's and Artsybashev's Grotesque Realism," in: K. BOWERS, A. KOKOBOBO, *Russian Writers and the Fin de Siècle. The Twilight of Realism*, Cambridge, 2015, 162–179.

## LEBLANC 2006

LEBLANC R. D., "Saninism Versus Tolstoyism: The Anti-Tolstoyan Subtext in Mikhail Artsybashev's Sanin," *Tolstoy Studies Journal*, 18, 2006, 16–32.

## MAUPASSANT 1889

MAUPASSANT G., "Le Port," *L'Echo de Paris*, 1, 15 Mars, 1889.

## PAPERNO 2014

PAPERNO I., "Who, What Am I?": *Tolstoy Struggles to Narrate the Self*, Ithaca, London, 2014.

## PRANGE 2013

PRANGE M., *Nietzsche, Wagner, Europe*, Boston (MA), 2013.

## WAGNER 1998

WAGNER N., *Wagner Theater*, Frankfurt a. M., Leipzig, 1998.

## References

Bem A. L., Sreznevskiy V. I., *Bibliograficheskii ukazatel' tvorenii Tolstogo*, Leningrad, 1926.

Boele O., *Erotic Nihilism in Late Imperial Russia. The Case of Mikhail Artsybashev's Sanin*, Madison (WI), 2009.

Cavazza A., "'Krug chteniia' L. N. Tolstogo," *Russkaia rech'*, 6, 1988, 24–29.

Davis H. E., *Tolstoy and Nietzsche: A Problem in Biographical Ethics*, New York, 1929.

Emig C., *Arbeit am Inzest: Richard Wagner und Tomas Mann*, Frankfurt a. M., 1998.

Grodetskaya A. G., "'Ishchi zhe istinu — ona etogo khochet'," in: L. N. Tolstoy, *Mysli mudrykh liudei na kazhdyi den'*, St. Petersburg, 2012, 5–20.

Hollinrake R., *Nietzsche, Wagner and the Philosophy of Pessimism*, London, New York, 2010.

Karenovics I., "Friedrich Nietzsche," in: M. George, J. Herlth, C. Münch, U. Schmid, Hrsg., *Tolstoj als theologischer Denker und Kirchenkritiker*, Göttingen, 2014, 505–509.

Karlik N. A., *Aforistika L. N. Tolstogo: sbornik mudrykh myslei "Krug chteniia"*, St. Petersburg, 2012.

Kershner G. D., "Transgression and Taboo: Eros, Marriage, and Incest in *Die Walküre*," in: L. J. DiGaetani, *Inside the Ring: Essays on Wagner's Opera Cycle*, Jefferson (NC), 2006, 154–172.

Kokobobo A., "Corpses of Desire and Convention: Tolstoy's and Artsybashev's Grotesque Realism," in: K. Bowers, A. Kokobobo, *Russian Writers and the Fin de Siècle. The Twilight of Realism*, Cambridge, 2015, 162–179.

LeBlanc R. D., "Saninism Versus Tolstoyism: The Anti-Tolstoyan Subtext in Mikhail Artsybashev's Sanin," *Tolstoy Studies Journal*, 18, 2006, 16–32.

Nikolaev P. V., "L. N. Tolstoi i M. P. Artsybashev," in: K. N. Lomunov, ed., *Tolstoi i o Tolstom*, 1, Moscow, 1998, 221–244.

Paperno I., "Who, What Am I?": *Tolstoy Struggles to Narrate the Self*, Ithaca, London, 2014.

Prange M., *Nietzsche, Wagner, Europe*, Boston (MA), 2013.

Wagner N., *Wagner Theater*, Frankfurt a. M., Leipzig, 1998.

**Анастасия Андреевна Тулякова**, магистр филологии

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики",

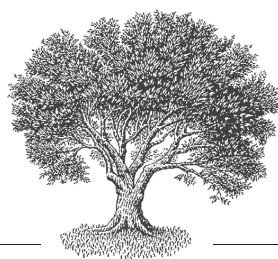
Факультет гуманитарных наук, Школа филологии, аспирант

105066 Москва, ул. Старая Басманная, д. 21/4, стр. 1

Россия/Russia

anastasia.tulyakova93@gmail.com

Received May 9, 2017



Пастернак и  
Клопшток  
(о стихотворении  
Б. Пастернака  
“Цельною льдиной из  
дымности вынут. . .”)

Boris Pasternak  
and Friedrich  
Gottlieb Klopstock  
(about Pasternak's  
Poem *The Starry  
River of a Week Ago*)

**Роберта Сальваторе**

Мессинский университет  
Мессина, Италия

**Roberta Salvatore**

University of Messina  
Messina, Italy

Резюме

В данной статье на основе подробного анализа стихотворения Б. Пастернака “Цельною льдиной. . .” (1917) доказывается, что описанный в нем пейзаж представляет собой изображение художественного процесса и размышление о его сущности. Предложенное толкование подкрепляется и отсылками к прозе и письмам поэта, и образной переключкой пастернаковского текста с группой из пяти стихотворений Ф. Клопштока, где фигурное катание служит метафорой творчества. Именно этот “цикл” Клопштока в немецкой литературе кладет начало специфической традиции изображения этого спорта, в котором катание символизирует порыв и опасность вдохновения. В заключительной части статьи обсуждается вероятность знакомства Пастернака с творчеством Клопштока и идейные переключки между этими двумя поэтами.

Ключевые слова

Борис Пастернак, Фридрих Готлиб Клопшток, фигурное катание как образ творчества, поэтика

Abstract

The aim of this paper is to demonstrate that Boris Pasternak's poem *The Starry River of a Week Ago* (1917) is a description of the creation process and a reflection on the nature of this process. To support this view, attention will be drawn to some

significant sets of images and themes in this text that are found also in a group of five poems by Friedrich Gottlieb Klopstock, in which ice-skating functions as a metaphor of creation. These poems will give rise to a specific tradition within German poetry where ice-skating is symbolic of both the rapture and the risk of inspiration. In the last part of the paper it will be shown that, although there is no evidence of Pasternak's acquaintance with Klopstock's poetry, his thorough knowledge of German language and literature leaves little doubt about this acquaintance. Moreover, it is possible to find a number of affinities in the way of thinking of these two writers.

### Keywords

Boris Pasternak, Friedrich Gottlieb Klopstock, ice-skating as a metaphor of creation, poetics

- 1 Цельною льдиной из дымности вынут
- 2 Ставший с неделю звездный поток.
- 3 Клуб конькобежцев вверх опрокинут:
- 4 Чокается со звонкою ночью каток.
  
- 5 Реже-реже-ре-же ступай, конькобежец,
- 6 В беге ссекая шаг свысока.
- 7 На повороте созвездьем врежется
- 8 В небо Норвегии скрежет конька.
  
- 9 Воздух железом к ночи прикован.
- 10 О конькобежцы! Там — все равно,
- 11 Что, как орбиты змеи очковой
- 12 Ночь на земле, и как кость домино;
  
- 13 Что языком обомлевшей легавой
- 14 Месяц к скобе примерзает; что рты,
- 15 Как у фальшивомонетчиков, — лавой
- 16 Дух захватившего льда налиты.

Это стихотворение входит в книгу “Поверх барьеров” (1917). С новым названием “Зимнее небо” и незначительными изменениями в стихах 9 и 11 оно вошло также в переработанную версию этой книги 1929 г. Текст почти не привлекал внимания исследователей: видимо, яркость описания и загадочность некоторых образов мешали подступиться к его глубинному, эмоциональному содержанию<sup>1</sup>. Всё же комментаторы последнего

---

<sup>1</sup> Единственный развернутый анализ этого текста принадлежит Б. Арутюновой [AROUTUNOVA 1979].

издания Пастернака очень точно отметили, что “тема отражения неба в пруду [. . .] есть по существу тема искусства и жизни, иными словами, существования двух миров” [ПАСТЕРНАК 2003, 1: 439]<sup>2</sup>. Нам хотелось бы развить эту мысль, исходя прежде всего из образа конькобежца. Мы постараемся доказать, что главной темой этого стихотворения является тема творчества, воспринятого одновременно как судьба художника и как результат его дарования. Именно образ конькобежца становится у Пастернака воплощением сложной связи между действительностью, художником и его произведением. Начнем с краткого разбора этого текста.

1. Цельною льдиной из дымности вынут. . .

Стихотворение представляет собой развернутое уподобление катка звездному небу, причем пространственная смежность этих двух реалий обуславливает их наложение<sup>3</sup>. Первая строфа, где задается основная тема, целиком построена на принципе перевернутости. Этот прием обнаруживается на разных уровнях четверостишия. Во-первых, главная метафора представлена здесь перевернутым процессом: от результата, “цельной льдины” — через застилающий сначала эту будущую льдину туман — к первоначальному “жидкому состоянию” звездного потока<sup>4</sup>. Итак, небо-поток показано динамически, в обратном порядке своего оформления. Наряду с обращением временного порядка происходит и двоякая пространственная инверсия: во втором двустишии каток не только как бы поднимается на небо, устраняя оппозицию верха и низа, но и предстает в зеркальном отражении. Во-вторых, строй предложения явно призван обманывать читательские ожидания. В самом деле, на протяжении всего первого двустишия, казалось бы, описывается какая-то ледяная поверхность, и только в самом его конце выражение “звездный поток” превращает льдину из детали реального пейзажа в метафору, которая включается в более широкий смысловой план. Это переосмысление, однако, не опровергает первоначального понимания текста: прямое значение картины сосуществует с переносным, и это внутреннее противоречие поддерживается определением “с неделю”, плохо

<sup>2</sup> В дальнейшем все тексты Пастернака приводятся по этому изданию.

<sup>3</sup> В частности, можно предположить, что ледяная поверхность сопоставляется с Млечным Путем. Наряду с визуальным сходством отметим здесь то, что прилагательное “млечный” в названии галактики хорошо согласуется и с жидким состоянием “звездного потока”, и с его затвердением, которое выражено причастием “ставший”. К тому же “дымность”, откуда выглядывает льдина, напоминает определение звездного скопления как “туманности”.

<sup>4</sup> Образ ночного неба как воды и его ассоциация со льдом появляется уже в ранней прозе Пастернака [2004, 3: 352, 467].



связывающимся с описанием неба<sup>5</sup>. Превращению материи соответствует аналогичный процесс в языке: в то время как льдина возвращается к своему изначальному жидкому состоянию, “поток” в конце четверостишия неожиданно отождествляется со словом “каток”, создавая эффект паронимического сближения. В обоих случаях изменение формы означает и смену содержания: язык и действительность обнаруживают глубинное соответствие, потому что в них сходным образом выражается одно и то же явление. В таком преломлении каток, при всей своей предметности, представляет собой и пространство творчества, где действительность приобретает новую, более правдивую форму, и поэтому в нем отношения могут оказаться другими, перевернутыми<sup>6</sup>.

Построение первой строфы подчеркивает момент преобразования, и тем самым подспудно вводит в текст тему творчества. На него намекают также аллюзии на Книгу Бытия: упоминание семи дней явно отсылает к сроку создания мира, равно как и наличие дыма, который у Пастернака часто ассоциируется с первозданностью вселенной<sup>7</sup>. Показывая образ в его развертывании, перевернутый порядок восстанавливает свежесть первичного узнавания мира и позволяет воспринимать произведение не только как результат, но и как динамический процесс.

Во второй строфе сопоставление ночного неба с катком развивается дальше, и следы коньков на льду уподобляются созвездиям. Опять-таки, невозможно определить основу сравнения и вспомогательный образ: правильнее толковать эти стихи как одновременное изображение двух совпадающих реалий<sup>8</sup>. Тема творческого перевоплощения действительности заложена также в соотношения созвездия как символа судьбы со следами на льду в качестве реализации художественного знака. Их

---

<sup>5</sup> Перевернутость изображения сближает небо с зеркалом, намекая на тему творческого перевоплощения действительности. Это сходство проявляется в пространственном перемещении, где смежность превращается в тождество. Однако каток и звездный поток не сливаются ни в конкретном, ни в языковом плане: они могут “чокаться” между собой, сохраняя свою отдаленность, и не образуют метафору, потому что не происходит прямого сдвига термина с одного предмета на другой. Троп осуществляется лишь в предметном плане, потому что в поэтическом пространстве смещается не слово или понятие, а сам каток.

<sup>6</sup> Тост (“чокается”), скрепляющий соприкосновение неба и земли, по-новому подчеркивает представление звездного скопления как жидкого потока. Этот образ варьирует ключевую для Пастернака тему контакта человеческого и божественного миров; об этом см. [Жолковский 2011: § 2].

<sup>7</sup> См., например, стихотворения “Любимая, жуть! . . .” и “Степь”; ср. также первое стихотворение цикла “Болезнь”, где в седьмой день заболевания происходит выздоровление, символизирующее чудотворное влияние искусства.

<sup>8</sup> Текст построен на метонимических сдвигах: существительное “скрежет” (конька) заменяет более привычное выражение “скрежешущий конек”, а “Небо Норвегии” метонимически отсылает к определению гоночных коньков как “норвежских”; см. [AROUTUNOVA 1979: 211; ПАСТЕРНАК 2003, 1: 440].

объединяет образ линии: в качестве созвездия она указывает на предназначение подлинного художника, но одновременно является и плодом таланта, новообретенной формой произведения<sup>9</sup>. В линии творение и творец совпадают.

Третья строфа описывает воздействие морозного воздуха на конькобежцев и вид земли с высоты перевернутого в небе катка. В первом стихе образ прикованного воздуха восходит, вероятно, к характерной для русской народной культуры ассоциации мороза с ковкой: славяне представляли себе зиму в виде кузнеца, который заковывает природу цепями и строит ледяные мосты<sup>10</sup>. Это четверостишие вводит тему контраста мороза и тепла, которая и развивается в конце стихотворения: образ жгучего мороза, превращающего холод в жар, передает способность искусства оживлять материю<sup>11</sup>.

Труднее понять конец четверостишия, где ночь сравнивается с орбитами очковой змеи и с костью домино. Эти образы служат хорошим примером того, как часто поэзия Пастернака озадачивает нас неуловимостью связей, скрепляющих образы. Если, как здесь, отсутствует даже пространственная смежность сопоставляемых элементов, упорядоченность образов может показаться столь случайной, что ставится под сомнение сама логичность развития текста. Иногда уместно предполагать, что основа сравнения имеет языковую мотивированность, и тогда можно попробовать восстановить вероятный переход от одного образа к другому. В данном случае термин “орбита” отсылает к небесной обстановке стихотворения: если небо уподобляется катку, то бег конькобежцев по нему напоминает путь движения небесных тел. Вместе с тем этот термин означает также характерные пятна на шее кобры. Название

<sup>9</sup> Ср. повторяющийся образ созвездий в сборнике “Близнец в тучах”, где быт постоянно противопоставляется поэзии, избранности и бессмертию художников. Ср. также образ неба, гадающего по линиям площади, как по ладони, в отрывке “Я спускался к Третьяковскому проезду. . .” (1910) [ПАСТЕРНАК 2004, 3: 431]. О значимости темы линии в творчестве Пастернака говорит лейтмотив знака, который вдохновение оставляет на действительности. Этот знак может принимать вид герба (“Полярная швея”; “Баллада”), клейма (“Тоска, бешеная. . .”), тавра (“Как казначей. . .”), чекана (“Баллада”), печати (“Послесловье”). Все они наделены способностью придавать особую форму материи, оставляя на ней отличительный отпечаток.

<sup>10</sup> Это поверье проявляется в многочисленных поговорках: ср. [АФАНАСЬЕВ 1995, 1: 297]; ср. аналогичный по происхождению образ в стихотворении П. Вяземского “Первый снег”: “Цепями льдыстыми покорный пруд окован. . .”.

<sup>11</sup> Тема появляется уже в прозаическом отрывке “Диалог” (1917), где роль художников в идеальном обществе описывается как биржа жарообмена [ПАСТЕРНАК 2004, 3: 382]. Еще раньше, в письме родителям от 23 июля 1914 г., Пастернак называет художника “кочегаром культуры” [ИДЕМ 2005, 7: 192]. Ср. также в “Охранной грамоте” определение главного стремления художника: “Цель же я видел всегда в пересадке изображения с холодных осей на горячие, в пуске отжитого вслед и в нагонку жизни” [ИДЕМ 2004, 3: 160].

животного (очковая змея) вызывает следующее сравнение ночи с костью домино: в слове “очко” теперь актуализируется значение значка на костяшках<sup>12</sup>.

Итак, внешне непоследовательные образы обнаруживают глубинную языковую связность. На синтагматическом уровне проявляется только сходство: с одной стороны, звезды на ночном небе уподобляются светлым значкам на черных костях домино<sup>13</sup>; с другой же — сопоставление неба и катка обуславливает сходство следов бега по льду с орбитами светил и с пятнами очковой змеи. На глубинном уровне сравнения связаны и отчасти мотивированы лингвистически. Восстановление пропущенных звеньев не только облегчает понимание логической стройности строфы, но и доказывает изоморфизм мира и языка: структура текста призвана показать органическое соответствие подлинного строя действительности системе отношений в языке. Тема линии, являющаяся лейтмотивом предыдущих четверостиший, здесь принимает сначала форму орбиты, а потом — кости домино<sup>14</sup>. В процессе игры костяшки выстраиваются в причудливую линию, которая может напоминать рисунок того или иного созвездия<sup>15</sup>. К тому же эта игра по-новому подтверждает связь искусства с судьбой, так как являлась распространенным способом гадания<sup>16</sup>.

В четвертой строфе сравнение ртов бегающих конькобежцев с проглотившими “лаву льда” фальшивомонетчиками представляет собой новую вариацию на тему “жгучего мороза”. Образ объясняется тем, что в древней России фальшивомонетчиков казнили вливанием в рот расплавленное олово или свинец<sup>17</sup>. Это уподобление тоже затрагивает тему

---

<sup>12</sup> Точнее, сближаются два отличных друг от друга слова: *pluralia tantum* “очки” и термин “очко” (мн. ч. “очки”) — значки на костяшках.

<sup>13</sup> Домино тоже способно выражать зеркальность земли и неба, так как его кости бывают либо черного, либо белого цвета: в первом случае оно соответствует переполненному конькобежцами катку, во втором — усеянному звездами небу.

<sup>14</sup> При переделке 1929 г. стих 11 превращается в “что как орбиты какой-то очковой”, где устраняется связь с коброй, но остается намек на очки. В версии 1957 г. образ меняется в корне. В новой форме “что как глаза со змеиным разрезом” возвращается змея, но сравнение касается не ее пятен, а разреза глаз. Выражение приобретает логичность, но утрачивает содержательность, потому что сохраняются одни визуальные элементы изображения в ущерб выше отмеченным семантическим признакам.

<sup>15</sup> Благодарю Ф. Б. Успенского за это замечание.

<sup>16</sup> Домино тесно связано с игрой в кости; некоторые исследователи даже считают, что оно является переложением разных комбинаций костей в гадательных целях.

<sup>17</sup> Наказание предусмотрено в V главе Соборного Уложения 1649 г. Аналогичный образ появляется и в стихотворении О. Мандельштама “1 января 1924”: “Еще немного — оборвут / Простую песенку о глиняных обидах / И губы оловом зальют” (1924). [Ronen 1983: 253] указывает, что образ расплавленного металла в виде напитка и казни встречается в футуристической поэзии, и в связи с этим

творчества: “олово” отсылает к “слову” не только в силу паронимической аттракции, но и намеком на фразеологизм “слово — олово”, которым уверяют в надежности своего обещания<sup>18</sup>.

Более загадочным оказывается сравнение примерзшей к скобе луны с языком легавой. По мнению Б. Арутюновой, образ описывает мерцание луны на скобах коньков и опирается как на сходство их формы и блеска, так и на смежность конькобежцев со звездным небом. Исследовательница объясняет появление собаки уподоблением бега на коньках быстроте легавой: “Само сравнение с языком легавой может быть объяснено чисто физическим контрастом его влажности и тепла дыхания с холодом металла коньков: отражение месяца на скобе может к нему примерзнуть как язык легавой” [AROUTUNOVA 1979: 212]. Наряду с этим толкованием можно предположить, что собака отсылает к одноименным созвездиям, которые зимой можно видеть недалеко от Млечного Пути. Рядом с ними находятся также созвездия Ориона и Зайца, называющие мифического владельца самых легавых и их жертву. Хорошо знавший мифологию и астрологию Пастернак мог представлять себе серп луны у созвездия Пса как язык самого звездного животного. В таком случае луна, напоминая одновременно по форме и скобу, и язык легавой, разделяется в образе языка собаки, лижущего скобу и от мороза прилипшего к ней. Пониманию этого образа способствует сопоставление с двумя сравнениями, имеющими аналогичную структуру:

воздух	железом	к ночи	прикован
месяц	языком обомлевшей легавой	к скобе	примерзает
рты	как у фальшивомонетчиков		налиты лавой льда

На основе трех сравнений лежит тема сковывающего мороза, которому противопоставляется жар, воплощенный и ковкой металла, и языком собаки, и дыханием конькобежцев. В последних двух образах передается также понятие сильнейшего переживания, не подлежащего словесному выражению. Итак, можно предполагать, что образ луны зрительно воплощает фразеологизм “язык прилипает (к гортани)”. С одной стороны, близость луны и созвездия Пса вызывает сравнение серпа луны с языком легавой; с другой же — тема невыразимых эмоций лирического переживания приводит к реализации вышеупомянутого выражения. В

перечисляет отдельные произведения В. Хлебникова (“Кавэ-кузнец”; “Опять чугунный кипятик. . .”) и Н. Асеева (“В стоны стали”), написанные позже этого стихотворения Пастернака.

<sup>18</sup> Кроме О. Мандельштама, связь между этими словами обыгрывают В. Маяковский в том же 1924 г. (“Владимир Ильич Ленин”) и Б. Пастернак в стихотворении 1936 г. “Скромный дом, но рюмка рому. . .” [RONEN 1983: 254].

целом эти три сопоставления описывают пушкинский “холод вдохновения”, то есть несказанность поэтического вдохновения, которое все-таки просится на бумагу. Оксюморон жгучего мороза разрешается лирическим преображением действительности, где противоположности сливаются как при восторженной встрече катка с Млечным Путем.

## 2. Образы катания на льду в творчестве Пастернака

Смысл, вложенный Пастернаком в образ конькобежца, проясняется в письме родителям от 12/13 июля 1914 г.:

Искусство я представляю себе в виде какого-то векового вдохновения, которое мчится на одном коньке, скользя по душевным затонам отдельных избранных, и оставляя свой след на них, след одномерной, делимой только в одном направлении — в направлении историческом, — и не делимой никак иначе математической линии. Абсолютная оригинальность художника, его индивидуальность — это ведь сама неделимость того следа, который оставляет искусство, — если он отчерчен искусством, художник неделим, — как линия прохождения искусства — не иначе [ПАСТЕРНАК 2005, 7: 186].

Если здесь линия как своего рода отпечаток искусства, отличающий художника от остальных людей, относится только к творчеству как таковому, то в стихотворении она является также формой произведения. Примечательно, что у Пастернака творческий процесс вообще связан с темой судьбы: само искусство предстает как гадание, где человек призван уловить сущность и верно передать ее. Такое представление четко выражается в стихотворении “Скромный дом, но рюмка рому. . .” (1936): “Слитки рифм, как воск гадальный, / Каждый миг меняют вид. / От детей дыханье в спальней / Паром их благословит”<sup>19</sup>.

Установленная в письме связь между образами конькобежца и художника повторяется дважды в “Охранной грамоте” (1929–1931). Первый случай завершает часть автобиографии, посвященную итальянскому путешествию Пастернака 1911 г. В тексте пребывание в Венеции передается прежде всего как волнующее переживание отношений между художником, искусством и действительностью. В связи с этим кажется неслучайным, что описание венецианского эпизода обрамляется именно образами звездного потока и катания. Напомним первое впечатление писателя при выходе с вокзала: “. . . что-то плавное тихо скользнуло мне под ноги. . . тронутое двумя-тремя блестками звезд” [ПАСТЕРНАК 2004, 3: 198; здесь и далее курсив мой. — Р. С.]. Во время следующего блуждания по ночному городу автор описывает, как

<sup>19</sup> Ср. также письмо Н. В. Завадской от 25 декабря 1913 г. [ПАСТЕРНАК 2005, 7: 155], в котором Пастернак описывает творческий процесс, как разгадывание. О теме линии в ранней прозе Пастернака см. [Горелик 2000: 18–27].



В высоте поперек черных, как деготь, щелей [. . .] *светлело ночное небо*, и все куда-то уходило. Точно *по всему Млечного пути* тянул пух семенившегося одуванчика, и будто ради того лишь, чтобы пропустить колонну-другую *этого движущегося света*, расступались порою переулки, образуя площади и перекрестки [ПАСТЕРНАК 2004, 3: 200].

В конце пути прогулка уподобляется передвижению по небу: “. . . у меня сложилось такое чувство, *будто я только что пересек расстояние, равное звездному небу Венеции*, в направлении, встречному его движению” [ПАСТЕРНАК 2004, 3: 201]. Наконец, пребывание в Венеции закрывается описанием оживленности площади Св. Марка во время вечернего спектакля: “Когда концерт кончился, стал слышен жернов равномерного шарканья, вращавшийся и раньше по галерейному кругу, но тогда заглушавшийся музыкой. Это было кольцо фланеров, шаги которых шумели и сливались, *подобно шороху коньков в ледяной чашке катка*” [ibid.: 208]. В другом отрывке так передается то ошеломляющее впечатление, которое Маяковский произвел на Пастернака при их первой встрече:

Он [. . .] хмурился, рос, ездил и выступал, и в глубине за всем этим, *как за прямою разбежавшегося конькобежца*, вечно мерещился какой-то предшествующий всем дням его день, когда был взят этот изумительный разгон, распрямлявший его так крупно и непринужденно. За его манерою держаться чудилось нечто подобное решенью, когда оно приведено в исполнение и следствия его уже не подлежат отмене. Таким решением была его гениальность [. . .] [ПАСТЕРНАК 2004, 3: 215–216].

Гениальность Маяковского противопоставляется описанной несколько раньше посредственности последнего русского императора, которому судьба отвела несоразмерную с его способностями роль в истории. Это противоречие выражается в контрасте между глаголами *скользить* и *поскальзываться*, которые этимологически родственны, но обозначают разное движение:

Что же делается с людьми этого страшного призванья, если они не Цезари, если опыт не перекипает у них политикой, если у них нет гениальности — единственного, что освобождает от судьбы пожизненной в пользу посмертной? Тогда *не скользят, а поскальзываются*, не ныряют, а тонут, не живут, а вживаются в щекотливости, низводящие жизнь до орнаментального прозябанья [ПАСТЕРНАК 2004, 3: 211]<sup>20</sup>.

<sup>20</sup> Об этом противоречии см. [Флейшман 1979: 129–130, прим. 24; idem 2003: 337].

### 3. Истоки связи между темой творчества и образом конькобежца

Связь катания на льду с творчеством имеет вполне определенные литературные корни. В немецкой поэзии существует целая традиция, в которой катание на коньках не только является основным предметом изображения, но и прочно сочетается с поэтическим творчеством. Зачинателем этого направления является Фридрих Готлиб Клопшток (1724–1803). Хотя до него катание на льду уже нашло свое описание в немецкой литературе [Lee 1999: 194], именно Клопшток придал этой теме огромную популярность и особое значение, выходящее за рамки простого живописания. Этому зимнему спорту поэт посвятил пять стихотворений: “Der Eislauf” (1764), “Der Kamin” (1765), “Braga” (1766), “Die Kunst Tialfs” (1767), “Winterfreuden” (1797)<sup>21</sup>.

Для нашей темы особый интерес представляет “Der Eislauf”, где впервые устанавливается качественная однородность создания поэтического текста и катания, одинаково наделенных трансцендентальной сущностью. Именно такое восприятие катания кладет начало специфической традиции поэтического изображения этого спорта, который, благодаря личному опыту и лирическому примеру Клопштока, станет весьма популярным в немецкой литературной среде второй половины XVIII века<sup>22</sup>.

В тексте целый ряд намеков превращает катание в символ лирики: эти разные занятия объединяет и возможность преодолеть ограниченность человеческой жизни, достигая бессмертия, и присущая этой попытке опасность.

Тема смерти вообще обрамляет текст. В первой строфе гибель еще только метафорична, она предстает как “погребение в вечную ночь”, то есть как забвение, грозящее и самым блестящим достижениям человеческого духа: “Vergraben ist in ewige Nacht / Der Erfinder grosser Name zu

<sup>21</sup> В дальнейшем они будут обозначены так: “Der Eislauf” — [E]; “Der Kamin” — [K]; “Braga” — [B]; “Die Kunst Tialfs” — [KT]; “Winterfreuden” — [W]. Тексты цитируются по изданию [Klopstock 2010].

<sup>22</sup> См. свидетельство Гете в его автобиографии “Dichtung und Wahrheit” (ч. III, кн. 12). Назовем только несколько из этих авторов: J. W. Goethe (“Mut”, “Winter”); Novalis (“Der Eislauf”); J. G. Herder (“Der Eistanz”); K. W. Ramler (“Sehnsucht nach dem Winter”), H. Löns (“Immer langsam voran”); C. F. Meyer (“Die Schlittschuhe”); August von Platen (“Auf Gewässer, welche ruhen. . .”); A. H. Hoffmann von Fallersleben (“Der Eislauf”); F. Rückert (“Die Schlittschuhläuferin”); F. C. Bindemann (“Der Eislauf”); G. Sander (“Lied auf dem Eise zu singen”); R. Schölßer (“Eiskunstläufer”), E. Geibel (“Sei mir gegrüßt, o klingender frost. . .”). К этой традиции примыкает и Вордсворт в своей Прелюдии (W. Wordsworth, “The Prelude”, кн. I, ст. 452–499) и вслед за ним английский поэт Edmund Blunden (“The Midnight Skaters”). Хочется упомянуть и современного канадского поэта Р. Питерса (Robert Peters), который назвал один из своих сборников “The Poet as Ice-Skater” (1975).

oft! / [. . .] Wer nannte dir den kühneren Mann, / Der zuerst am Maste Segel erhob? / Ach verging selber der Ruhm dessen nicht, / Welcher dem Fuss Flügel erfand!" Примером незаслуженно забытых творцов являются создатели паруса и коньков. Сближение этих разных занятий предваряет образ поэта-конькобежца, так как морское плавание издавна служит метафорой опасности лирического путешествия [LEE 1980: 47]<sup>23</sup>. К тому же это сопоставление, в котором парус соотносится с коньками, а море — со льдом, лежит в основе описания катка как потока, которое становится лейтмотивом последующих стихов о катании: в дальнейшем у Клопштока ледяная поверхность названа "хрустальное озеро" или "хрустальная вода" ("des krystallinen Sees", "der Woge von Krystall" [B]), "затвердевшая вода" или "затвердевший поток" ("das erstarrte Gewässer" [K]; "der stehend Strom" [KT]), или просто поток ("Strom" [B], [KT]). Таким образом, катку приписываются динамичность и потенциальная опасность морской пучины.

Тем не менее в начале текста подчеркиваются преимущественно те черты катания, которые сближают его с поэзией. Описывая коньки как "крылья для ног" и "водяные котурны", Клопшток наделяет их способностью временно преодолевать прикованность человека к земле и открывать доступ к высшей реальности. Катание позволяет испытывать полноту жизни: оно дарит восторг и здоровье, обостряет чувства, даже дает возможность предчувствовать то, что еще невидимо<sup>24</sup>. Примечательно, что это занятие разворачивается в особое время, ночью: ночь с одной стороны является символом забвения ("ewige" Nacht), с другой же — представляет собой самое подходящее время для катания, то есть поэтическую пору, когда действительность преобразуется, раскрывая свою подлинную сущность. Вообще образ катания построен на оппозиции: с одной стороны, он противопоставляется обыденному быту — городскому уюту и дню, с другой же — его характеризует контраст между тишиной полей и звуком коньков, скользящих по льду. Этот скрип как будто оживляет природу и издалека предвещает присутствие конькобежцев. Наконец, катание объявляется верным источником славы для самого Клопштока, изобретшего "танец для скользящей стали", то

<sup>23</sup> Одинаковым образом Пастернак в своей переписке описывает порыв вдохновения образом "отчаливания" [ПАСТЕРНАК 2005, 7: 41]; метафоры "мачта лиризма" [ИВІД.: 151] и "мачта гениальности" [ИДЕМ 2004, 3: 161] передают его понятие поэзии, и "порванные снасти" [ИВІД.: 436, 444, 481, 502] обозначают начало лирического пути. Этот набор образов пронизывает также стихотворение "Лирический простор" (1913).

<sup>24</sup> Все это передается конкретными образами: "Und sollte der unsterblich nicht seyn, / Der Gesundheit uns und Freuden erfand, / Die das Ross muthig im Lauf niemals gab, / Welche der Reihn selber nicht hat? / [. . .] Fern verräth deines Kothurns Schall dich mir, / Wenn du dem Blick, Flüchtling, enteilst [. . .] / Winterluft reizt die Begier nach dem Mahl; / Flügel am Fuss reizen sie mehr!"

есть сумевшего не только изобразить, но и ритмом передать всю прелесть катания<sup>25</sup>. Знаменательно, что катание и посвященная ему поэзия оказываются тождественными: Клопшток сначала гордо напоминает свой “танец” в стихах, а потом излагает свои взгляды на то, какие движения отличают настоящего мастера катания. При этом образцом для подражания спортивному совершенству является именно художник, в частности — рисовальщик И. М. Прейслер<sup>26</sup>: “Künstle nicht! Stellung, wie die, lieb’ ich nicht, / Zeichnet dir auch Preisler nicht nach.” Отсылка к авторитету Прейслера подчеркивает внутреннюю связь катания с искусством и важную роль оригинальности в творчестве<sup>27</sup>.

Во второй половине стихотворения светлая картина катания резко омрачается. Мы уже видели, что ночь, идеальное поэтическое время, является одновременно и метафорой вечного забвения. Звуки на катке также неоднозначны: если скрежет коньков предвещает приближение еще невидимых конькобежцев, то иногда слышно “Wie der Todeston wehklagt auf der Flut”, когда лед внезапно раскололся. “Хрустальная равнина” манит человека (“des Krystalls Ebne dir winkt”), но ее привлекательность может обернуться трагедией: “Denn wo dort Tiefen sie deckt, strömts vielleicht, / Sprudeln vielleicht Quellen empor. / Den ungehörten Wogen entströmt, / Dem geheimen Quell entrieselt der Tod!” Предлагая уникальный экзистенциальный опыт, чреватый или вдохновением, или фатальным исходом, каток является моделью непредсказуемости жизни. Во время катания конькобежец будто преодолевает силу тяжести, но это ощущение может оказаться призрачным, ведь он такой же легкий, но и такой же хрупкий, как листок в воздухе: “Glittst du auch leicht, wie diess Laub, ach dorthin; / Sänkest du doch, Jüngling, und stürbst!” Итак, в конце текста начальная метафора забвения как “вечного погребения” превращается в настоящую гибель, окрашивая стихотворение новым, более трагическим значением.

В следующих стихотворениях о катании на коньках эта картина обрастает новыми подробностями, но существенно не меняется. Описанный пейзаж остается прежним, равно как и стержневая роль в тексте оппозиций день/ночь и быт/катание. Появление луны отмечает переход от обычной обстановки к поэтической: катание производится ночью

<sup>25</sup> Именно “Der Eislauf” считается блестящим примером ритмического подражания походки по льду в стихах: см. [TNAUER 1981: 33].

<sup>26</sup> J. M. Preisler (1715–1794) немецкий гравер, профессор Датской Королевской Академии изящных искусств и личный друг Клопштока.

<sup>27</sup> Значение оригинальности еще ярче выражается в стихотворении “Die Kunst Tialfs”, где Клопшток восхваляет опыт первого прохода по еще нетронутую катку: “O Bahn des Krystalls! Eh sie dem Schlittner den Stachel reicht, / Eh sie durch Schärfung den Huf, durch den Eissporn den Wanderer / Sichert, erstarr, erstarr an der Esse die Amboshand!”

или рано утром, когда иней отражает первый свет; мягко сверкающие поля погружены в тишину, прерываемую лишь звуком коньков<sup>28</sup>. Коньки снова описаны как крылья и водяные котурны<sup>29</sup>. Бег по льду неизменно вызывает радостное ощущение полного здоровья, вдохновляет и дарит освежающую теплоту<sup>30</sup>. Мы уже видели, что каток постоянно изображается как поток, приобретая характерные для воды динамичность и опасную непредсказуемость. В описании ледяной поверхности получает также развитие зеркальность земли и неба: если в "Der Eislauf" лед просто сопоставлялся со звездами, а в "Braga" уже появились "звезды хрустального озера", которые могли относиться так к небу, как к блистающему катку, в стихотворении "Die Kunst Tialfs" лед назван "звездным хрусталем" и вообще "поток"ом<sup>31</sup>. Итак, с одной стороны звездное небо как будто переносится на землю, с другой — лед сохраняет свое изначальное жидкое состояние. У Пастернака это отношение повторяется, но в перевернутом виде: не звезды спускаются на землю, а каток

<sup>28</sup> "Sein Licht hat er in Düfte gehüllt, / Wie erhellt des Winters werdender Tag / Sanft den See! Glänzenden Reif, Sternen gleich, / Streute die Nacht über ihn aus! // Wie schweigt um uns das weisse Gefild! / Wie ertönt vom jungen Froste die Bahn! / Fern verräth deines Kothurns Schall dich mir. . ." [E]; "Welche Tage gabest du mir! wie begannen sie, wenn sich / In der Frühe Glanz färbte noch bleibender Reif; / Welche Nächte, wenn nun der Mond mit der Heitre des Himmels, / Um der Schönheit Preis, siegend stritt, und besiegt" [W]; "der Jüngling [. . .] / Blickt er umher, und sieht, / Wie der Wecker mit dem röthlichen Fuss / Halb im Gewölke steht, / Und der Winter um sich her das Gefilde / Sanft schimmernd bedeckt, und schweigt. [. . .] Wenn am Abend / Rauschender Winterkohl / Sie geletzt hat, so verlassen sie schnell / Die sinkende Glut des Heerds, / Und beseelen sich die Ferse, die Ruh / Der schimmernden Mitternacht" [K]; "Wecket dich der silberne Reif / Des Decembers, o du Zärtling! nicht auf? / [. . .] Der December hat noch nie so schön, / Nie so sanft, wie heut, über dem Gefilde gestrahlt! / Und die Blume von dem nächtlichen Frost Blühte noch niemals, wenn es tagte, so! [. . .] Schwebete den Tanz des Bardiets / In dem schimmernden Gedülte" [B]; "Wie das Eis hallt! Töne nicht vor! ich dulde es nicht! / Wie der Nacht Hauch glänzt auf dem stehenden Strom! [. . .] In dem hellen Dufte des schönsten der Dezembertag [. . .] Wer sind sie, die daher in dem weissen Dufte schweben? [. . .] Nur Ein Gesetz: Wir verlassen nicht eh den Strom, / Bis der Mond an dem Himmel sinkt! / [. . .] Wie glatt ist der schimmernde Frost!" [KT].

<sup>29</sup> "Und beflügelt sich mit Stahle den Fuss [. . .] Jetzt legt auch die Beflüglung des Stahls" [K]; "Darf nie wieder am Fuss schwingen die Flügel des Stahls? / Wasserkothurn. . ." [W]; "Über der Woge von Krystall erfand / Diese Beflüglungen des Stahles" [B]; "Und dem Jüngling horcht, der hinter ihr / Den Stahlen der ruhenden Flügel giebt?" [KT] (здесь речь идет, однако, не о коньках, а о полозьях).

<sup>30</sup> Cp.: ". . . von dem Gefühle der gesundheit froh" [B]; "Mit Gefühle der Gesundheit durchströmt / Die frohe Bewegung sie, / Da die Kühlungen der reineren Luft / Ihr eilendes Blut durchwehn, [. . .] Unermüdet von dem flüchtigen Tanze" [K]; "Der du so oft mit der labenden Glut der gefühlten Gesundheit / Mich durchströmetest, Quell längeres Lebens mir warst" [W], см. также "Gesundheit [. . .] und Freuden [. . .] / Welche der Reihn selber nicht hat? [. . .] Winterluft reizt die Begier nach dem Mahl; / Flügel am Fuss reizen sie mehr!" [E].

<sup>31</sup> Cp.: "Glänzenden Reif, Sternen gleich" [E]; "die Gestirne des krystallnen Sees" [B]; "Sternkrystall", "bestirntem Krystall", "Stehenden Strom", "Strom" [KT]; cp. также "im Laufe zum besternten Landsee" [K].



поднимается на небо, которому, в свою очередь, предписывается жидкое состояние “звездного потока”. К тому же катание на льду сочетается также с образами охоты и пира: коньки звенят, как весеннее пение охотников (“Wie des Jägers Lenzgesang aus der Kluft zurüch, / Tönt unter ihrem Tanze der Krystall!”)<sup>32</sup>, а конькобежцы подкрепляют себя вином: “Du Schweber mit der blinkenden Schale dort: / Den der Winzer des Rheins kelterte, / Den! und die Schale voll bis zum Rand’ herauf! / Im Fluge geschwebt! doch kein Tropfen fall’ auf den Strom!” [КТ]<sup>33</sup>.

Связь поэзии с катанием подчеркивается отсылкой к норвежской мифологии. В “Braga” внушенному ночным катанием лирическому преобразению действительности соответствует появление в лесу Браги, северного бога поэзии и катания<sup>34</sup>. Тот же мифический пласт появляется у Клопштока год спустя в стихотворении “Die Kunst Tialfs”<sup>35</sup>, в котором представлен диалог трех бардов. К тому же этот текст содержит многочисленные намеки на функциональную схожесть катания на коньках и лирического вдохновения. Например, извилистый ход конькобежцев поэт уподобляет мышлению, таким образом подчеркивая с одной стороны молниеносность поэтических ассоциаций, с другой же — ведущую роль ритма в стихотворчестве<sup>36</sup>.

<sup>32</sup> Ср. также “Winterfreuden”, ст. 13. Эти темы уже кратко появились в стихотворении “Der Eislauf”, где упоминаются звуки рогов, подразумевая, видимо, музыкальные инструменты охотников; в тексте описывается также изобилие еды, призванной утолить возбужденный катанием голод конькобежцев. Эти образы найдут отражение и в следующей традиции стихов о катании, см. например “The Prelude” Вордсворта: “We hissed along the polished ice in games / Confederate, imitative of the chase / And woodland pleasures, the resounding horn, / The pack loud bellowing, and the hunted hare.”

<sup>33</sup> Ср. также: “Wir haben doch zum Schmause genug / Von des Hahnes Frucht? und Freuden des Weins?” [E]; “blinkete heller der Wein” [W]; “O wie trunken von den Mimer! Ich sah / Fern in den Schatten an dem Dichterhain” [B].

<sup>34</sup> В другом произведении, “Wingolf” (1767), Клопшток указывает не на Браги, а на Улля как на мастера катания. Эта последняя версия больше соответствует норвежской мифологии, где Браги прославляется красноречием и искусством плетения слов, в то время как Улль известен как отменный стрелок, конькобежец и лыжник (см. [Симек 1996: 42–43, 339]). О том, как своеобразно Клопшток обращался с норвежской мифологией см. [STRICH 1970: гл. 1, § 4; BROWNING 1978: 252–254].

<sup>35</sup> Эту оду, впервые опубликованную в 1771 г. под названием “Eisode”, пересказывает и хвалит Мадам де Сталь в книге “De l’Allemagne” (гл. “De la poésie allemande”).

<sup>36</sup> “Schnell wie der Gedanke, schweben sie in weitauskreisenden Wendungen fort, / Wie im Meere die Riesenschlange sich wälzt”: сравнение быстроты катания с молниеносностью мысли и упоминание змей отсылают к изложенному в Младшей Эдде случаю, когда Тор и его сподвижники тщетно стараются превзойти Локи. В частности, сначала Тьяльф состязается в беге с помощником Локи по имени Хуги (‘мысль’), а потом сам Тор с трудом поднимает кота, который на самом деле оказывается змеей Мидгардом, кольцами тела обнимающей мир. Возможно, что, наряду с вышесказанным, образ очковой змеи у Пастернака навеян и этим мифическим фоном стихов Клопштока.

Несколько раньше Клопшток воспеваает радость хождения по нетронутому льду, что явно коррелирует с его поклонением оригинальности писателя, с восприятием творчества как пути в неизвестность. Эта установка у Клопштока находит самое верное подтверждение в изобразительном искусстве: как в “*Der Eislauf*” искусственная поза конькобежца подвергалась критике и объявлялась недостойной мастерства Прейслера, так же и в стихотворении “*Der Kamin*” напоминает, что любой подлинный мастер рисования неестественности платного натурщика предпочитает непринужденность непрофессиональной модели<sup>37</sup>. В связи с этим, наряду с положительными качествами катания, снова появляются и его губительные черты, которые в этот раз отражаются в личном опыте поэта: в “*Winterfreuden*” Клопшток вспоминает случай на озере Лингби, когда поэт чуть не утонул из-за внезапно расколовшегося льда.

Таким образом можно сказать, что этими произведениями Клопшток дал новое осмысление катанию на коньках, которое оказывается вовсе не развлечением, а продолжением поэтической деятельности в другой форме<sup>38</sup>. При этом сама поэзия предстает как глубочайшее жизненное испытание, где для достижения бессмертия человек призван обнажать свою суть, подвергаясь риску полного провала. Итак, по меткому замечанию Альберт, катание на коньках “*als Modell der Dichtung die poetologischen Grundfragen des 18. Jahrhunderts thematisiert: das Verhältnis von Antike und Moderne, von Autorität und Originalität, die Bestimmung der Dichtung als «Malerei» oder «Darstellung von Empfindung» und schließlich die Nähe von schöpferischem Selbstgefühl und Tod*” [ALBERT 1994: 82].

#### 4. Пастернак и Клопшток

У нас нет сведений, подтверждающих знакомство Пастернака с поэзией Клопштока вообще и с этими стихотворениями в частности. Насколько мы знаем, немецкий поэт не упоминается ни в произведениях, ни в письмах Пастернака. К тому же известные нам исследования о связи творчества Пастернака с немецкой культурой не выявили каких-либо

---

Оды Клопштока о катании могли отражаться в произведении Пастернака и на языковом уровне: появление орбиты у Пастернака может быть мотивировано еще и тем, что в немецком языке *Bahn* означает одновременно и каток (*Eisbahn*), и орбиту небесных тел.

<sup>37</sup> “*Die gesünderen, und froheren wünschet / Der kennende Zeichner sich, / Und vertauschte das gelohnte Modell / Gern mit dem freyeren*” [K]; ср. также “*Dann war leichter der Schwung, und die Stellung unkünstlicher*” [WF].

<sup>38</sup> Клопшток демонстративно подчеркивал это осмысление и в повседневной жизни: когда молодые поэты пытались поговорить с ним о литературе, он непременно переходил на тему мастерства конькобежного катания (см. Гете, “*Dichtung und Wahrheit*», ч. III, кн. 15: [ГОЕТНЕ 1985: 696–697]).

следов чтения Клопштока [EVANS-ROMAINE 1997; NÖLDEKE 1986; SNEIK-HOLESLAMI 1985]. Все же это предположение остается вполне вероятным, учитывая глубокое знание Пастернаком немецкого языка и культуры. В юности поэт дважды достаточно долго бывал в Германии: сначала вся его семья прожила семь месяцев в Берлине в 1906 г., а потом он один провел в Марбургском университете летний семестр 1911 г. В своих воспоминаниях А. ПАСТЕРНАК [2002: 259] утверждает, что во время первого совместного пребывания в Берлине “брат начал увлекаться чтением немецких классиков — стихов главным образом”: возможно, именно к этому периоду и относится знакомство Пастернака с интересующими нас произведениями Клопштока.

В частности, внимание к одам немецкого поэта могло вызвать в нем то место гетевской автобиографии “*Dichtung und Wahrheit*”, где писатель изображает увлечение ночным катанием, внушенное ему Клопштоком. Здесь Гете описывает внутреннее единство природы, стихов и вдохновения, которые плавно переходят друг в друга: впечатления от ночного катания напоминают оссиановскую атмосферу и вызывают в памяти соответствующие стихи Клопштока; этот восхитительный опыт, в свою очередь, вдохновляет молодого Гете к созданию новых произведений<sup>39</sup>. Клопшток упоминается также в романе “*Die Leiden des jungen Werther*”. В известном эпизоде Шарлотта, любясь красотой природы после дождя, передает свой восторг Вертеру простым восклицанием “Клопшток!”, что является верным намеком на его популярнейшую оду “*Frühlingsfeier*”<sup>40</sup>. К тому же, хотя Гете довольно быстро затмил Клопштока<sup>41</sup>, седьмая строфа стихотворения “*Der Eislauf*” считается одной из вершин немецкой лирики [ТНАУЕР 1981: 34], так что вряд ли этот текст остался вне круга чтения Пастернака. Наконец, поскольку многие известные композиторы создавали музыкальные переложения стихов

<sup>39</sup> И. Гете, “*Dichtung und Wahrheit*”, ч. III, кн. 2: [ГОЕТНЕ 1985: 557–558]. У Гете катание на льду появляется также в романе “*Wilhelm Meisters Wanderjahre*”, в сцене ночной прогулки на коньках, где каток определяется как “*eine glatte, dem Geschickten, dem Kühnen geöffnete Fläche verbunden*” (кн. II, гл. V: [ГОЕТНЕ 1970: 177]).

<sup>40</sup> Уже в начале XIX века в России Клопшток стал настолько малоизвестным, что один из переводчиков романа Гете воспринял его фамилию как опечатку в слове “клапшtos” (особый удар кием в игре на бильярде), и соответственно искажил русский текст [Вяземский 1929: 253–254].

<sup>41</sup> Еще в позднем периоде его творчества во всей Европе Клопштока скорее уважали как автора поэмы “*Der Messias*”, чем читали на самом деле [ТНАУЕР 1980: 358–359]. Гете перенял у него много тем и образов, подавая их в новом виде. Огромный успех его произведений заслонил имя Клопштока и скрыл эту преемственную связь: см. [ЛЕЕ 1999]. О быстро прошедшей славе Клопштока см. эпиграмму Лессинга: “*Wer wird nicht einen Klopstock loben? / Doch wird ihn jeder lesen? — Nein. / Wir wollen weniger erhoben / Und fleißiger gelesen seyn*” (цит. в [ТНАУЕР 1973: 207]).

Клопштока<sup>42</sup>, маловероятно, что имя немецкого поэта могло остаться незамеченным молодым Пастернаком, готовящимся к музыкальной карьере.

“Конькобежный цикл” Клопштока содержит в себе много тем, перекликающихся с жизненным опытом и эстетическими размышлениями молодого Пастернака. Оба поэта устанавливают существенную связь между творчеством и испытанным ими риском внезапной гибели. Мы видели, что у Клопштока представление катания на льду как угрожающей фатальными последствиями деятельности генетически отсылает к случаю на озере Лингби, где, как рассказывается в стихотворении “Winterfreuden”, немецкий поэт чуть не утонул, провалившись во внезапно расколовшийся лед<sup>43</sup>. Образ грозных волн у него связан также с кораблекрушением, пережитым во время путешествия из Гамбурга в Копенгаген в 1756 г. [Klopstock 1988: 45–48]. Пастернак тоже многократно ощущал близость смерти летом 1903 г., когда ряд трагических случаев оставил неизгладимый след в его душе: многократные попытки самоубийства одной молодой девушки и гибель спасавшего ее студента, падение с лошади самого будущего поэта, после которого он стал хромотать, а его отец, художник Л. Пастернак, прекратил работу над картиной, изображающей ту ночную скачку. По меткому замечанию О. Раевской-Хьюз [1994: 147], “многообразный опыт смерти лета 1903 г. — действительной смерти «ближнего», собственного «падения-поражения» и «разрыва» в творческой биографии отца — был также и опытом начала творчества и бессмертия. [. . .] Бессмертие, связанное в дальнейшем с преображением, было осознано в первую очередь именно как творческое бессмертие”<sup>44</sup>. Итак, для обоих поэтов творчество является экзистенциальной деятельностью, где каждый раз подвергается испытанию достоинство художника.

<sup>42</sup> Напр. Шуберт (“An sie”; “Nun laßt uns den Leib begraben”; “Furcht der Geliebten”; “Das große Halleluja”; “Das Rosenband”; “Dem Unendlichen”; “Die frühen Gräber”; “Die Gestirne”; “Edone”), Малер (“Aufersteh’n, ja aufersteh’n wirst du”) Р. Штраус (“Das Rosenband”); Глюк (“Der Jüngling”; “Die frühen Gräber”; “Die Neigung”; “Die Sommernach”).

<sup>43</sup> “Ach einst wurdest du mir, Kothurn, zum tragischen! führtest / Mich auf jüngerer Eis, welches dem eilenden brach. Bleich stand da der Gefährt; mein Schutzgeist gab mir Entschluss ein; / Jener bebte nicht mehr; und die Errettung gelang. / Als sie noch schwankend schien, da rührte mich innig des Himmels / Lichtere Bläue, vielleicht bald nun die letzte für mich! / Dank dir noch Einmal, Beindorf, dass du mich rettetest!”

<sup>44</sup> Вот как в дальнейшем Пастернак опишет значение этого события для своей жизни: “Мне жалко 13-летнего мальчика с его катастрофой 6 августа. Вот как сейчас лежит он в свежей незатвердевшей гипсовой повязке, и через его бред проносятся трехдольные, синкопированные ритмы галопа и падения. Отныне ритм будет событием для него, и наоборот, события станут ритмами; мелодия же, тональность и гармония — обстановкою и веществом события” [ПАСТЕРНАК 2004, 5: 319]. См. также [Горелик 2000: 14–16].

Добавим, что Клопшток и Пастернак одинаково ассоциируют творческий процесс с рисованием, указывая на естественность самовыражения как на верный залог подлинности в искусстве. Мы видели, что немецкий поэт, объясняя своему товарищу, как надо кататься на льду, подчеркивает, что в рисунке, как и в движениях искусного конькобежца, осуждается прежде всего наигранность, и апеллирует к авторитету гравера И. М. Прейслера<sup>45</sup>. По мысли Клопштока, движения конькобежцев должны подражать естественности линий рисунка, и тогда катание превращается из простого вида спорта в настоящее искусство. В свою очередь такое рафинированное движение достойно стать источником художественного вдохновения: “Ist die Stellung nur richtig, kann der gute Eisläufer umgekehrt dem «kennende[n] Zeichner» Modell stehen; «gesünder», «froher» und «freier» als «das gelohnte Modell», wird er dem bildenden Künstler zu einer neuen Inkarnation idealer Schönheit” [HILLIARD 1989: 150]. Итак, линии рисунка и следы коньков оказываются эквивалентными<sup>46</sup>; при этом отсылка к другому виду искусства обеспечивает ту возможность соперничества, а не слепого подражания, которая, по мнению Клопштока, лежит в основе настоящего искусства<sup>47</sup>. Пастернак тоже считал непринужденность самовыражения непременным зародышем оригинальности<sup>48</sup> и связывал ее с образом линии. В его ранней неоконченной статье в защиту искусства Л. Пастернака<sup>49</sup> стилизация осуждается как установка на форму, а не на содержание: по мнению писателя, настоящее искусство не подражает уже устоявшему стилю, а черпает вдохновение у самой природы. В этом смысле творчество соответствует рисованию с натуры: линия наброска моделирует способность настоящей художественной формы синтезировать одним штрихом разнообразие и переменчивость действительности. Поэт следующим образом описал принцип работы своего отца:

<sup>45</sup> Среди изобразительных искусств Клопшток особенно ценил гравюру, потому что возможность бесконечного воспроизведения рисунка обеспечивает долговечность художнику и его изделию [THAYER 1973: 190]. Тем не менее писатель отдавал абсолютное преимущество литературе, чья словесная природа позволяет действовать одновременно и на эмоциональном, и на умственном уровнях. Об этой теме см. [HILLIARD 1987: § 6; THAYER 1980: 337–339].

<sup>46</sup> Именно в этом соответствии исследователи обнаруживали связь описания извилистого движения конькобежцев у Клопштока с известной теорией змеевидной линии красоты, предложенной В. Хогартом (W. Hogarth): см. [HILLIARD 1989: 151; ВЕДЕНК 2004: 133–138].

<sup>47</sup> О связи этого представления Клопштока с переосмыслением понятия оригинальности в XVIII в. вообще и с произведением Э. Янга (E. Young) “Conjectures on Original Composition” (1759) в частности, см. [LEE 1999: 50–51].

<sup>48</sup> Ср., например: [ПАСТЕРНАК 2005, 7: 94–95, 138, 646; ИДЕМ 2004, 5: 57].

<sup>49</sup> Вероятно, статья должна была служить ответом на выпады, адресованные весной 1910 г. А. Бенуа Л. Пастернаку в рамках критики деятельности Союза русских художников.



он один [. . .] пошел от вероятного родника формы, от линии, рассчитанной на цельность и непрерывность, [. . .] линии, твердо знающей, что рука, ведущая ее, воссоздаст живую кровеносную ткань природы, не осекаясь ни на чем и в срок достаточно мгновенный для того, чтобы живая кровь, как в натуре, не обогнала ее и не оставила ее позади <сего>, обреченного на удел атрофированной линии. . . [ПАСТЕРНАК 2004, 5: 286–287]<sup>50</sup>.

Эта общая установка на непосредственность выражения приводит обоих поэтов к высоко эмоциональной поэзии, где предельно вещественное описание действительности построено на внезапных тематических переходах. Итак, стихи Клопштока и раннего Пастернака производят впечатление пиндарического парения, когда только лирический восторг, пронизывающий действительность, связывает далекие друг от друга образы. Любопытно, что писатели одинаково находят аналогию этой ведущей роли переживания на композиционном уровне в древнегреческих дифирамбах<sup>51</sup>. Наконец, тема несказанности поэтического вдохновения, выраженная в конце пастернаковских стихов о катании, проявляется также в творчестве Клопштока: по мнению К. Альберт [ALBERT 1994], отождествление поэзии с катанием допускает и толкование возможной гибели как неспособности художника найти в самом себе словесное воплощение божественного духа.

##### 5. “Цельною льдиной. . .” и цикл Клопштока о катании

Идейная близость Пастернака и Клопштока обуславливает многочисленные переклички стихотворения “Цельною льдиной. . .” с циклом Клопштока о катании. У немецкого поэта Пастернак заимствовал образ поэта-конькобежца, некоторые основные темы и отдельные штрихи. Мы видели, как оба поэта считали творчество экзистенциальным опытом,

<sup>50</sup> Любопытно, что именно во время берлинского пребывания 1906 г. Л. Пастернак занимался офортом [ПАСТЕРНАК Е. 1997: 77; ПАСТЕРНАК Л. 1975: 100]. Вообще отец поэта очень любил эту технику изображения и, хотя ему не пришлось много заниматься ей, всячески старался развивать в Москве все виды графического искусства [Ibid.: 28, 138–140, 228]. О связи поэзии Б. Пастернака с творчеством его отца см. [SALYS 1992].

<sup>51</sup> По мнению Бухштаба [2000: 293] сочетание лаконичной загадочности и обостренного лиризма у Пастернака напоминает греческий дифирамб и оду периода классицизма. Любопытно, что уже в 1917 г., говоря о цикле “Поверх барьеров”, К. Г. Локс отметил “дифирамбизм” Пастернака, который и одобрил это определение [ПАСТЕРНАК 2005, 7: 314]. Клопшток определенно провозглашает дифирамбическую сущность своей поэзии в первой версии стихотворения “Die Kunst Tialfs”: “The poetry that is sung and the dance that is skated are united as single action by [. . .] an action identified with the enthusiasms of dithyrambic poetry, represented in the ode both by the patronage of the god Braga and by Pindar, who in the first version of the poem is specifically named: «Sie tanzten fort, Strophen und Antistrophen, / Ruhten selten Epoden aus. / Sie tanzten den ganzen Pindar durch»” [LEE 1999: 196] (ср. также [ALBERT 1994: 82; BROWNING 1978: 197–214]).

линию — воплощением моделирующей функции искусства, а поэзию — возможностью передать “диво на земле”<sup>52</sup>, т. е. восторг перед жизнью в конкретных, осязаемых формах. В частности, они сходятся и в представлении о физической трансцендентности: у Пастернака тоже зеркальность Земли и Неба как преодоление их оппозиции<sup>53</sup> осуществляется не через отталкивание от предметного мира, а через обостренность чувственного восприятия, которое позволяет временно переживать полноту вечности. Вообще Пастернак по-новому воспроизводит многие подробности клопштоковского цикла: ночная обстановка, луна, дымка, образ затвердевшего потока, тема вина, подкрепляющее силы и скрепляющее дружбу, контраст между тишиной и звуком коньков, и между холодом льда и теплом катания, отождествление катка со звездным небом, отсылки к теме охоты<sup>54</sup>. Наконец, на языковом уровне термины *Bahn* и *Riesenschlange* у Клопштока, возможно, отражаются в образе “орбиты змеи очковой” у Пастернака<sup>55</sup>. Эти соответствия наглядно доказывают, что одним из источников пастернаковского стихотворения являются перечисленные оды Клопштока. Мы показали, что существует богатая традиция стихов о катании на коньках, чьи авторы быстро превзошли в популярности ее основателя. Среди этих произведений стихи Гете и Гердера тоже оказываются близкими Пастернаку. Тем не менее, как нам кажется, эти совпадения обусловлены скорее всего общей отсылкой к Клопштоку<sup>56</sup>, и могут дополнять, но не опровергать связь

<sup>52</sup> Ср. письмо К. Г. Локсу от 27 января 1917 г. “. . . нет того дива на земле, перед которым стало бы в тупик диво человеческого восприятия; надо только, чтобы это диво было на земле, то есть в форме в своей указывало на начало своей жизненности и на приспособленность своего сожития со всей прочей жизнью” [ПАСТЕРНАК 2005, 7: 314].

<sup>53</sup> Об отношении земли и неба у Клопштока ср. следующее описание стихотворения “Der Eislauf”: “The poet evokes a moment at which the diffused light of the still arriving day is punctuated («Sternen gleich») by the legacy of the night («Mond» [. . .]) just left. [. . .] with the common margin of landscape and sky obscured by luminous mist, and the lake at once bathed in soft light and sparkling radiantly, a single simile seems almost to erase the distinction between earth and heaven itself [. . .] The light, silence, and rushing but harmonious motion of «Der Eislauf» combine to make it the earthly approximation in Klopstock’s poetry of the celestial expanses with which it is made to seem, through description and rhetorical figuration, almost continuous [. . .] «Der Eislauf» is unique [. . .] in its representation of momentary physical transcendence” [THAYER 1981: 39–40].

<sup>54</sup> О проявлении перечисленных тем в одах Клопштока о катании см. выше, прим. 30, 32, 33, 34.

<sup>55</sup> См. выше, прим. 37. Термин *Bahn* часто появляется в цикле Клопштока о катании: “Wie ertönt vom jungen Froste die Bahn! [. . .] Zurück! lass nicht die schimmernde Bahn / Dich verführen, weg vom Ufer zu gehn!” [E]; “der Bahn warnende Stimme vernahm” [W]; “scholl schnelleres Getöse der Bahn!” [B]; “O Bahn des Krystalls!” [KT].

<sup>56</sup> Гете и Гердер придают катанию более общий экзистенциальный смысл, следуя в этом не только Клопштоку, но и его предшественнику Брокесу: см. [LEE 1999: 194,

стихов Пастернака с циклом Клопштока, которая не сводится к лексическим переключкам, а затрагивает и смысловой пласт произведения.

При этом нельзя не отметить, что Пастернак своеобразно переосмысливает все эти идейные, тематические и образные переключки. Он вводит тему перевернутости творческого видения и по-новому развивает образ линии, которая становится также знаком судьбы художника, объединяя изображенную действительность, произведение искусства и его создателя. К тому же у Пастернака творчество так органично срастается с представленной картиной, что эта тема с трудом улавливается при первом чтении: на него намекают лишь зеркальность земли и неба и аллюзии на книгу Бытия. Яркость описанного мира усиливается тем, что Пастернак систематически разворачивает и опредмечивает образы Клопштока. Таким образом внимание переходит от создателя к его произведению: назидательность Клопштока исчезает, и поэт уже не наставляет неопытного товарища, а сам сливается с преображенным миром так же, как луна превращается одновременно в скобу и в лижущий ее язык легавой.

\* \* \*

В заключение заметим, что образ конькобежца появляется также в цикле О. Мандельштама на смерть А. Белого<sup>57</sup>. В стихотворении “Голубые глаза, и горячая лобная кость” одно из определений недавно скончавшегося поэта звучит так: “Конькобежец и первенец, веком гонимый взашей / Под морозную пыль образуемых вновь падежей”; в следующем за ним стихотворении “10 января 1934”<sup>58</sup> образ повторяется: “Где прямизна речей / Запутанных, как честные зигзаги / У конькобежца в пламень

прим. 19]. Гете перенимает у Клопштока связь катания со смертью, расширяя ее значение от индивидуального до общечеловеческого плана: в стихотворении “Winter” каток представляет собой превратность жизненного пути (“Nur die Fläche bestimmt die kreisenden Bahnen des Lebens / Ist sie glatt, so vergift jeder die nahe Gefahr”), а таяние льдов и приток воды к морю явно намекает на смену поколений (“Dieses Geschlecht ist hinweg, zerstreut die bunte Gesellschaft [...] / Schwimme, du mächtige Scholle, nur hin! und kommst du als Scholle / Nicht hinunter, du kommst doch wohl als Tropfen ins Meer”). “Der Eistanz” Гердера на словесном уровне оказывается ближе и Клопштоку, и Пастернаку: “Da stand sie, die Sonne, in Dünste gehüllt, / Da rauchen die Berge, da schwebet ihr Bild, / Da ging sie danieder, und siehe, der Mond, / Wie silbern er über und unter uns wohnt! [...] Seht auf nun, da brennen im himmlischen Meer / Die Funken und brennen im Frost um uns her. [...] Wir gleiten, o Brüder, mit fröhlichem Sinn / Auf Sternengefilten das Leben dahin. [...] Er macht' uns geräumig den luftigen Saal / Und gab uns in Nöthen die Füße von Stahl / Und gab uns im Froste das wärmende Herz.”

<sup>57</sup> Об этом цикле вообще см. [СПИВАК 2008А; ЕАДЕМ 2008Б; Полякова 1992].

<sup>58</sup> У этого текста нет устоявшегося названия: в собрании сочинений Мандельштама в трех томах [МАНДЕЛЬШТАМ 2009, 1: 192] стихотворение называется “Утро 10 января 1934 года”, в издании из серии “Библиотека поэта” [ИДЕМ 1978: 172] оно дается вообще без названия.

голубой, — Морозный пух в железной крутят тяге, с голуботвердой чокаясь рекой”. Примечательно, что в обоих случаях фигура конькобежца связана с речевым творчеством. На такую образную перекличку между стихами Пастернака и Мандельштама в свое время указали Л. Флейшман [1979: 130, прим. 24] и О. Ронен<sup>59</sup>. Можно предполагать, что Мандельштам ориентировался не только на своего современника, но и на литературную традицию, творчески переосмысленную самим Пастернаком. В этой связи следует подчеркнуть, что именно в 1930-е годы Мандельштам читал Клопштока<sup>60</sup>. Переклички с ранним текстом Пастернака не мотивированы просто зимней обстановкой стихотворения или их близостью к темам и стилю самого Белого<sup>61</sup>, но являются прежде всего отсылкой к образу поэта-конькобежца, который Клопшток создал, а Мандельштам, видимо, узнал в стихах Пастернака. Это восприятие поэзии как экзистенциального опыта хорошо вписывается в поминальные стихи 1934 г., где смерть Белого предстает как реализация смерти Поэта. Благодаря отсылке с одной стороны к Клопштоку — при посредстве Пастернака, — с другой же — к Пушкину [Сура 2003: 170–171], образ Белого приобретает более общие черты, и цикл, по собственному признанию Мандельштама<sup>62</sup>, предвещает также участь своего автора.

Итак, и Пастернак, и Мандельштам подхватывают у Клопштока вложенные в образ конькобежца размышления о сути творчества и о судьбе художника, которые тесно связаны со смертью. Однако эта тема у них отражается по-разному. Для раннего Пастернака искусство призвано восхвалять жизнь и обеспечивать возрождение действительности; в

<sup>59</sup> Замечание О. Ронена цитируется в кн. [Роллак 1995: 182, прим. 123].

<sup>60</sup> “В Армении О. М. вернулся к немцам и в тридцатых годах усиленно их покупал [...] Завел он и Клопштока, потому что, как он говорил, это звучит, как орган” [Мандельштам Н. 1999: 288].

<sup>61</sup> Гинзбург [1974: 393] в образе конькобежца видит зимний вариант столь характерной для Белого темы танца: “«Образуемых вновь падежей» — это словотворчество Белого, конькобежец же он потому, — что он человек, — как говорит Цветаева, — в танце «смыслов, слов... фалд». А раз он конькобежец, то и от падежей идет морозная пыль и т. д.” [Полякова 1992: 147] связывает это уподобление с языковым творчеством поэта: лингвистические выражения Белого позволяют “приравнять его к конькобежцу, делающему на льду сложные фигуры”. К тому же исследовательница отмечает, что вообще ассоциация Белого с зимой обусловлена разными факторами: во-первых, зимние реалии играют важную роль в поэзии Белого и появляются также в названиях некоторых его произведений (“Северная симфония” и “Кубок метелей”); во-вторых, это время года традиционно связана с тематикой смерти, и наконец, именно в этот период, в январе, скончался поэт.

<sup>62</sup> “На сопереживание построен весь цикл Андрею Белому [...] Только тогда Мандельштаму стала совершенно ясна тема соумирания, сочувствия смерти другого как подготовки к собственному концу. Вот тогда-то я и говорила ему: «Что ты себя сам хоронишь?» — а он отвечал, что надо самому себя похоронить, потому что неизвестно, что еще предстоит” [Мандельштам Н. 1990: 321].

этом ракурсе смерть понимается скорее абстрактно, как перспектива творческого увековечения мира и самого художника. Для позднего Мандельштама значение смерти задается вереницей гибелей таких писателей, как Н. Гумилев, А. Блок, Андрей Белый: смерть оказывается конкретным экзистенциальным условием жизни любого поэта.

## Библиография

АФАНАСЬЕВ 1995, 1–3

АФАНАСЬЕВ А. Н., *Поэтические воззрения славян на природу*, 1–3, Москва, 1995 [1-е изд.: Москва, 1865–1869].

БУХШТАБ 2000

БУХШТАБ Б. Я., “Пастернак. Критическое исследование”, in: ИДЕМ, *Фет и другие. Избранные работы*, сост., вступ. ст., подгот. текста М. Д. Эльзона при участии А. Е. БАРЗАХА, С.-Петербург, 2000, 281–347.

ВЯЗЕМСКИЙ 1929

ВЯЗЕМСКИЙ П. А., *Старая записная книжка*, Ленинград, 1929.

ГИНЗБУРГ 1974

ГИНЗБУРГ Л. Я., *О лирике*, 2-е изд., доп., Ленинград, 1974.

ГОРЕЛИК 2000

ГОРЕЛИК Л. Л., *Ранняя проза Пастернака: Миф о творении*, Смоленск, 2000.

ЖОЛКОВСКИЙ 2011

ЖОЛКОВСКИЙ А. К., “Место окна в мире Пастернака”, in: ИДЕМ, *Поэтика Пастернака. Инварианты, структуры, интертексты*, Москва, 2011, 27–64.

МАНДЕЛЬШТАМ 1978

МАНДЕЛЬШТАМ О. Э., *Стихотворения*, Ленинград, 1978.

——— 2009–2011, 1–3

МАНДЕЛЬШТАМ О. Э., *Полное собрание сочинений и писем*, 1–3, Москва, 2009–2011.

МАНДЕЛЬШТАМ Н. 1990

МАНДЕЛЬШТАМ Н. Я., *Вторая книга*, Москва, 1990.

——— 1999

МАНДЕЛЬШТАМ Н. Я., *Воспоминания*, Москва, 1999.

ПАСТЕРНАК 2003–2005, 1–11

ПАСТЕРНАК Б. Л., *Полное собрание сочинений с приложениями*, 1–11, Москва, 2003–2005.

ПАСТЕРНАК А. 2002

ПАСТЕРНАК А. Л., *Воспоминания*, Москва, 2002.

ПАСТЕРНАК Е. 1997

ПАСТЕРНАК Е. Б., *Борис Пастернак. Биография*, Москва, 1997.

ПАСТЕРНАК Л. 1975

ПАСТЕРНАК Л. О., *Записи разных лет*, Москва, 1975.

ПОЛЯКОВА 1992

ПОЛЯКОВА С. В., *Осип Мандельштам: наблюдения, интерпретации, неопубликованное и забытое*, Ann Arbor, 1992.

РАЕВСКАЯ-ХЬЮЗ 1994

РАЕВСКАЯ-ХЬЮЗ О., “О самоубийстве Маяковского в Охранной Грамоте Пастернака”, in: K. POLIVANOV, I. SHEVELENKO, A. USTINOV, eds., *Themes and variations. In Honor of*



*Lazar Fleishman / Темы и вариации: сборник статей и материалов к 50-летию Лазаря Флейшмана* (= Stanford Slavic Studies, 8), 1994, 141–152.

СПИВАК 2008А

СПИВАК М., “О. Э. Мандельштам и П. Н. Зайцев (К вопросу об истории, текстологии и прочтении стихотворного цикла «Памяти Белого»”, in: И. ДЕЛЕКТОРСКАЯ, О. ЛЕКМАНОВ, Д. МАМЕДОВА, П. НЕРЛЕР, ред., *Сохрани мою речь*, 4/1, Москва, 2008, 513–546.

——— 2008Б

СПИВАК М., “«Непонятен, понятен, невнятен. . .»: «темные места» в стихотворениях О. Э. Мандельштама на смерть Андрея Белого”, in: W. G. WESTSTEIJN, ed., *Дело Авангарда / The Case of the Avant-Garde*, Amsterdam, 2008, 25–42.

СУРАТ 2003

СУРАТ И., “Смерть поэта. Мандельштам и Пушкин”, *Новый мир*, 3, 2003, 155–173.

ФЛЕЙШМАН 1979

ФЛЕЙШМАН Л., “О гибели Маяковского как «литературном факте». Постскрипtum к статье Б. М. Гаспарова”, in: L. FLEISHMAN, O. RONEN, D. SEGAL, eds., *Slavica Hierosolymitana*, 4, Jerusalem, 1979, 126–130.

——— 2003

ФЛЕЙШМАН Л., *Борис Пастернак в двадцатые годы*, С.-Петербург, 2003 [1-е изд.: München, 1980].

ALBERT 1994

ALBERT C., “Dichten und Schlittschuhlaufen: Eine poetologische Betrachtung von Klopstocks Eislaufoden,” *Lessing Yearbook*, 26, 1994, 81–92.

AROUTUNOVA 1979

AROUTUNOVA B., “Земля и небо. Наблюдения над категориями пространства и времени в ранней лирике Пастернака”, in: *Boris Pasternak 1890–1960. Colloque de Cerisy-la-Salle (11–14 septembre 1975)*, Paris, 1979, 195–224.

BEDENK 2004

BEDENK J., *Verwicklungen. William Hogarth und die deutsche Literatur des 18. Jahrhunderts (Lessing, Herder, Schiller, Jean Paul)*, Würzburg, 2004.

BROWNING 1978

BROWNING R. M., *German Poetry in the Age of Enlightenment. From Brockes to Klopstock*, University Park, 1978.

EVANS-ROMAINE 1997

EVANS-ROMAINE K., *Boris Pasternak and the Tradition of German Romanticism* (= Slavistische Beiträge, 344), München, 1997.

GOETHE 1970

GOETHE J. W., *Werke in zehn Bänden*, 7, Zürich, 1970.

——— 1985

GOETHE J. W., *Sämtliche Werke nach Epochen seines Schaffens*, 16, München, 1985.

HILLIARD 1987

HILLIARD K., *Philosophy, Letters, and the Fine Arts in Klopstock's Thought*, London, 1987.

——— 1989

HILLIARD K., “Klopstock in den Jahren 1764 bis 1770: metrische Erfindung und die Wiedergeburt der Dichtung aus dem Geiste des Eislaufs,” *Jahrbuch der Deutschen Schiller Gesellschaft*, 33, 1989, 145–184.

KLOPSTOCK 1988

KLOPSTOCK F. G., *Briefe 1753–1758*, Berlin, New York, 1988.

——— 2010

KLOPSTOCK F. G., *Oden*, Berlin, New York, 2010.

LEE 1980

LEE M., "The Imperiled Poet: Images of Shipwreck and Drowning in Three Klopstock's Odes," *Lessing Yearbook*, 12, 1980, 43–61.

——— 1999

LEE M., *Displacing Authority: Goethe's Poetic Reception of Klopstock*, Heidelberg, 1999.

NÖLDEKE 1986

NÖLDEKE E., *Boris Leonidovič Pasternak und seine Beziehungen zur deutschen Kultur*, Tübingen, 1986.

POLLAK 1995

POLLAK N., *Mandelstam the Reader*, Baltimore, London, 1995.

RONEN 1983

RONEN O., *An Approach to Mandel'shtam*, Jerusalem, 1983.

SALYS 1992

SALYS R., "Boris Pasternak and His Father's Art," *Oxford Slavonic Papers*, 25, 1992, 120–135.

SHEIKHOESLAMI 1985

SHEIKHOESLAMI E. A., *Der Deutsche Einfluss im Werke von Boris Pasternak*, Ann Arbor, 1985.

SIMEK 1996

SIMEK R., *Dictionary of Northern Mythology*, trans. by A. HALL, ST. EDMUNDS, Suffolk, 1996.

STRICH 1970

STRICH F., *Die Mythologie in der deutschen Literatur von Klopstock bis Wagner*, 1, Bern, München, 1970.

THAYER 1973

THAYER T. K., "Klopstock and the literary Afterlife," *Literaturwissenschaftliches Jahrbuch*, 14, 1973, 183–208.

——— 1980

THAYER T. K., "Rhetoric and the Rethorical in Klopstock's Odes," *Euphorion. Zeitschrift für Literaturgeschichte*, 74/4, 1980, 335–359.

——— 1981

THAYER T. K., "Intimation of Immortality: Klopstock's Ode «Der Eislauf»,» in: *Goethezeit: Studien zur Erkenntnis und Rezeption Goethes und seiner Zeitgenossen. Festschrift für Stuart Atkins*, Bern, 1981, 31–43.

## References

Albert C., "Dichten und Schlittschuhlaufen: Eine poetologische Betrachtung von Klopstocks Eislaufoden," *Lessing Yearbook*, 26, 1994, 81–92.

Aroutunova B., "Zemlia i nebo. Nabludenii nad kategoriiami prostranstva i vremeni v rannei lirike Pasternaka," in: *Boris Pasternak 1890–1960. Colloque de Cerisy-la-Salle (11–14 septembre 1975)*, Paris, 1979, 195–224.

Bedenk J., *Verwicklungen. William Hogarth und die deutsche Literatur des 18. Jahrhunderts* (Lessing, Herder, Schiller, Jean Paul), Würzburg, 2004.

Browning R. M., *German Poetry in the Age of Enlightenment. From Brockes to Klopstock*, University Park, 1978.

Bukhshtab B. Ya., *Fet i drugie. Izbrannye raboty*, M. D. Elzon, A. E. Barzakh, eds., St. Petersburg, 2000.

Evans-Romaine K., *Boris Pasternak and the Tradition of German Romanticism* (= Slavistische Beiträge, 344), München, 1997.

Fleishman L., "O gibeli Maiakovskogo kak 'literaturnom fakte.' Postskriptum k stat'e B. M. Gaspa-

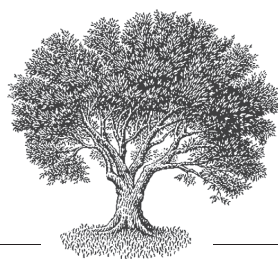
- rova," in: L. Fleishman, O. Ronen, D. Segal, eds., *Slavica Hierosolymitana*, 4, Jerusalem, 1979, 126–130.
- Fleishman L., *Boris Pasternak in the Twenties*, St. Petersburg, 2003.
- Ginzburg L. Ya., *O lirike*, 2nd ed., Leningrad, 1974.
- Gorelik L. L., *Ranniaia proza Pasternaka: Mif o tvorenii*, Smolensk, 2000.
- Hilliard K., *Philosophy, Letters, and the Fine Arts in Klopstock's Thought*, London, 1987.
- Hilliard K., "Klopstock in den Jahren 1764 bis 1770: metrische Erfindung und die Wiedergeburt der Dichtung aus dem Geiste des Eislaufs," *Jahrbuch der Deutschen Schiller Gesellschaft*, 33, 1989, 145–184.
- Lee M., "The Imperiled Poet: Images of Shipwreck and Drowning in Three Klopstock's Odes," *Lessing Yearbook*, 12, 1980, 43–61.
- Lee M., *Displacing Authority: Goethe's Poetic Reception of Klopstock*, Heidelberg, 1999.
- Nöldeke E., *Boris Leonidovič Pasternak und seine Beziehungen zur deutschen Kultur*, Tübingen, 1986.
- Pasternak E. B., *Boris Pasternak. Biografiia*, Moscow, 1997.
- Poliakova S. V., *Osip Mandel'shtam: nabliudeniiia, interpretatsii, neopublikovannoe i zabytoe*, Ann Arbor, 1992.
- Pollak N., *Mandelstam the Reader*, Baltimore, London, 1995.
- Raevsky Hughes O., "O samoubiistve Maikovskogo v Okhrannoi Gramote Pasternaka," in: K. Polivanov, I. Shevelenko, A. Ustinov, eds., *Themes and variations. In Honor of Lazar Fleishman* (= Stanford Slavic Studies, 8), 1994, 141–152.
- Ronen O., *An Approach to Mandel'shtam*, Jerusalem, 1983.
- Salys R., "Boris Pasternak and His Father's Art," *Oxford Slavonic Papers*, 25, 1992, 120–135.
- Sheikholeslami E. A., *Der Deutsche Einfluss im Werke von Boris Pasternak*, Ann Arbor, 1985.
- Simek R., *Dictionary of Northern Mythology*, trans. by A. Hall, St. Edmunds, Suffolk, 1996.
- Spivak M., "O. E. Mandel'shtam i P. N. Zaitsev (K voprosu ob istorii, tekstologii i prochtenii stikhotvornogo tsikla 'Pamiati Belogo')," in: I. Delektorskaya, O. Lekmanov, D. Mamedova, P. Nerler, eds., *Sokhrani moiu rech'*, 4/1, Moscow, 2008, 513–546.
- Spivak M., "Neponiaten, poniaten, nevniaten. . .: 'temnye mesta' v stikhotvoreniiakh O. E. Mandel'shtama na smert' Andreia Belogo," in: W. G. Weststeijn, ed., *The Case of the Avant-Garde*, Amsterdam, 2008, 25–42.
- Strich F., *Die Mythologie in der deutschen Literatur von Klopstock bis Wagner*, 1, Bern, München, 1970.
- Surat I., "Smert' poeta. Mandel'shtam i Pushkin," *Novyi mir*, 3, 2003, 155–173.
- Thayer T. K., "Klopstock and the literary Afterlife," *Literaturwissenschaftliches Jahrbuch*, 14, 1973, 183–208.
- Thayer T. K., "Rhetoric and the Rethorical in Klopstock's Odes," *Euphorion. Zeitschrift für Literaturgeschichte*, 74/4, 1980, 335–359.
- Thayer T. K., "Intimation of Immortality: Klopstock's Ode «Der Eislauf»," in: *Goethezeit: Studien zur Erkenntnis und Rezeption Goethes und seiner Zeitgenossen. Festschrift für Stuart Atkins*, Bern, 1981, 31–43.
- Zholkovsky A. K., *Poetika Pasternaka. Invarianty, struktury, interteksty*, Moscow, 2011.

---

**Roberta Salvatore, R. T. D.**

Università degli Studi di Messina  
Dipartimento di civiltà antiche e moderne  
Viale Annunziata, Messina 98168  
Italia/Italy  
robertasalvatore@mail.ru

Received May 22, 2017



“Под властью угля”,  
или История о том,  
как британский  
углекоп Гарольд  
Хезлоп так и не  
стал советским  
писателем\*

**Елена Сергеевна  
Островская**

Национальный исследовательский  
университет “Высшая школа  
экономики”  
Москва, Россия

“Under the Sway of  
Coal,” or a Story of  
the British Coal  
Miner Harold  
Heslop, Who Failed  
to Become a Soviet  
Writer

**Elena S. Ostrovskaya**

National Research University  
Higher School of Economics  
Moscow, Russia

Резюме

Статья посвящена стремительной и краткой писательской карьере британского писателя-горняка Гарольда Хезлопа в СССР: с 1926 по 1931 год были опубликованы переводы трех его романов и выполнен перевод четвертого, а сам он в 1930 году присутствовал и выступал на Харьковской конференции МОРПа в качестве одного из двух членов британской делегации, но после этого ему, несмотря на многочисленные попытки, не удалось добиться встречи с советским читателем помимо нескольких журнальных публикаций. Любопытный биографический эпизод рассматривается в контексте ситуации в советской литературе и критике, институциональных стратегий издательств и журнала “Интернациональная литература” и личных дружеских связей писателя, а также в контексте британской рабочей литературы.

\* В данной научной работе использованы результаты проекта “Европейская литература в компаративном освещении: метод и интерпретация”, выполненного в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2016 году.

## Ключевые слова

Гарольд Хезлоп, “Интернациональная литература”, “На литературном посту”, Харьковская конференция МОРПа, Сергей Динамов, Анна Елистратова, советско-британские литературные контакты, британская рабочая литература.

## Abstract

The paper focuses on the rapid and short-living Soviet writing career of the British coal miner Harold Heslop. Between 1926 and 1931, three novels by Heslop were published in the USSR (in Russian translation) and the translation of a fourth was commissioned and completed, and in 1930 the author himself travelled to the USSR as one of two members of the British delegation at the Kharkov conference of the International Union of Revolutionary Writers (IURW). However, that was the end of his success: the translated novel *Red Earth* was not published nor were any of his later novels. The only venue for his rare shorter essays and occasional prose excerpts was the magazine *International Literature*. The paper discusses this curious writer's biography from different perspectives. It analyzes at length the critical article by Anna Elistratova, published in *Na literaturnom postu* and *International Literature*, juxtaposing the two versions and the text of Heslop's novel to contextualize the writer and his work in the Soviet literary criticism of the time. It explores archival materials—Heslop's correspondence with different people and institutions as well as institutional papers—to discuss the case as personal as well as institutional history, representative of the situation of the 1930s. Finally the article shifts perspective to discuss the author and his work in the context of the British working-class literature of the time.

## Keywords

Harold Heslop, *International Literature*, *Na literaturnom postu*, Kharkov conference of the IURW, Sergey Dinamov, Anna Elistratova, Soviet-British literary contacts, British working-class literature

В 1932 году в первом номере нового журнала “International Literature” была напечатана статья Анны Елистратовой — секретаря англо-американской секции МОРПа (Международной организации революционных писателей) и литературного критика — “The Work of Harold Heslop”. На четырех журнальных страницах уместился обзор творчества английского писателя-углекопа Гарольда Хезлопа, обсуждение его немногих позитивных черт и беспощадная, но конструктивная критика. Иными словами, весьма характерная публикация для времени “политической инструментализации критики” [Добренко 2011: 146]. Выделенным было культурное пространство, осваиваемое критиком, и объект критического анализа. В статье, помещенной в английской, т. е. предназначенной преимущественно для британской и американской аудитории, версии многоязычного журнала, издававшегося в СССР, рассматривались четыре романа английского писателя-шахтера, из которых только два



были опубликованы на английском языке: один из двух других вышел в Советском Союзе в русском переводе, второй и вовсе был представлен как ненапечатанный (хотя в этот момент он готовился к печати в СССР). Иными словами, как критическая статья, так и рассматривавшиеся в ней произведения принадлежат к конструируемому журналом культурному пространству англоязычной "интернациональной" литературы. Журнал — орган МОРПа — знакомил читателей с произведениями писателя Хезлопа, члена организации, и тут же подвергал их сокрушительной критике. Статья стала одновременно пиком его успеха у советской критики и началом его заката.

Представляется, что казус неудавшегося "советского" писателя Гарольда Хезлопа и статьи, если не непосредственно положившей конец его карьере в СССР, то оказавшейся ее финальным аккордом, позволяет продемонстрировать механизмы конструирования пространства взаимодействия советской и британской культуры второй половины 20-х — первой половины 30-х годов и роль в них как отдельных личностей, так и "интернациональных" культурных институций, МОРПа и журнала "International Literature", а также советских культурных институций, с которыми они были так или иначе связаны.

"Who Was Harry Heslop?"

В 1994 году, спустя одиннадцать лет после смерти Гарольда Хезлопа, британское коммунистическое издательство "Wilshart" выпустило его автобиографию "Out of the Old Earth". В предисловии, озаглавленном "Who Was Harry Heslop?", Энди Крофт, один из двух публикаторов книги, аттестовал его человеком, практически в одиночку создавшим шахтерский роман в Британии [СРОФТ 1994: 37]. В 30-е годы именно на него равнялись молодые шахтеры, обратившиеся к литературе (ср. свидетельство Сида Чаплина, гораздо более известного писателя-углекопа), а в середине 80-х его имя уже было прочно забыто [ibid.: 7]. С 1929 по 1935 год Хезлоп опубликовал пять романов, так или иначе связанных с жизнью шахтеров: "The Gate to a Strange Field" (1929, об углекопах), "Journey Beyond" (1930, о безработных), "Goaf" (1934, снова из жизни шахтеров), "The Crime of Peter Ropner" (1934, детектив, но тоже из шахтерской жизни Севера) и "Last Cage Down" (1935, опять о шахтерах). В 1946 году, после десятилетнего перерыва, вышел его последний роман "The Earth Beneath", опять на магистральную для него тему угля. И хотя он не переставал писать до конца жизни, после 1946 года все его рукописи возвращались из редакций, а возобновление интереса к его творчеству произошло уже посмертно: в 1984 году был переиздан роман "Last Cage Down", а в 1994-м — опубликована автобиография "Out of the

Old Earth". Однако заметная часть его творческого наследия так и осталась в виде рукописей, возвращенных из редакций, в его архиве в Дарэме.

Биография "советского" британского писателя Хезлопа, то есть хроника его переводов и публикаций в Советском Союзе, имеет иные временные рамки и иные вехи. В 1926 году ленинградское издательство "Прибой" напечатало первый роман начинающего английского автора под названием "Под властью угля (роман из жизни английских углекопов)" [Хезлоп 1926]. Предисловие к нему было написано Иваном Майским, на тот момент — торговым представителем Советского Союза в Великобритании, а впоследствии, в 1932–1943 годах — чрезвычайным и полномочным послом СССР в Великобритании. На титульном листе подчеркивалось, что роман переведен "с рукописи", т. е. на языке оригинала он не издавался; на английском языке он увидел свет только в 1934 году под оригинальным заглавием "Goaf". В СССР же он уже в 1929 году был переиздан в популярном многотиражном журнале "Роман-газета" [Идем 1929].

Появившийся таким образом советский писатель не терял надежды получить признание на родине, и два следующих его романа, "The Gate to a Strange Field" (1929) и "Journey Beyond" (1930), сначала выходят на английском языке в лондонских издательствах, а уже потом на русском [HESLOP 1929; Идем 1930; Гезлоп 1930; Гезлоп 1931]. Однако стремительная карьера писателя Хезлопа закончилась так же внезапно, как и началась: в 1930 же году был заказан и к началу 1931 года завершён перевод четвертого романа Хезлопа, утопии "Red Earth". Перевод был выполнен, но издание так и не состоялось. На языке оригинала роман тоже опубликовать не удалось ни в Британии, ни в США. На этом карьера успешного советского романиста закончилась, и, хотя рассказ писателя и отдельные статьи появлялись в журнале "Интернациональная литература" на протяжении 1930-х годов, романы его в СССР больше не публиковались.

### Гарольд Хезлоп как советский писатель

По-видимому, культурный проект "писатель Гарольд Хезлоп" изначально возник по инициативе Ивана Майского. В предисловии к роману Майский благодарит "счастливый случай", который "свел" его с Хезлопом "летом прошлого года в Лондоне" [Хезлоп 1926: 3]. За два года до этого, в 1924 году, молодой шахтер победил в конкурсе эссе Дарэмской ассоциации шахтеров (Durham Miners' Association, DMA) и был премирован двухгодичным курсом обучения в Лондонском центральном рабочем колледже. В автобиографии "Out of the Old Earth" Хезлоп рассказывает, что отнес рукопись романа, над которым трудился много месяцев ("I had toiled over for many months"), в издательство "Herbert Jenkins Ltd.", получил отказ и, расстроенный, постарался о нем забыть, как вдруг по почте

пришло письмо от советского торгпреда с приглашением в посольство и просьбой принести рукопись романа “о жизни шахтеров на севере” (“This novel might be of interest to the readers in my country”) [HESLOP 1994: 169].

“Рабочее кооперативное издательство «Прибой»”, в котором выходит книга, занималось главным образом выпуском политической и агитационной литературы и обратилось к изданию художественной литературы как раз в 1926 году. Возглавил литературно-художественный отдел Михаил Слонимский, племянник переводчицы романа Зинаиды Венгеровой, имевший опыт “доставать сочинения русских и иностранных авторов” еще по издательству “Всемирная литература”, где он работал в 1919 году [Слонимский 1941: 100]. Перевод книги Хезлопа, таким образом, стал дополнением к редакционному портфелю и источником заработка для Венгеровой. Последнее было важным соображением для Майского, знакомого с переводчицей со времен первой своей эмиграции: в 1930 году он даже (безуспешно) пытался выхлопотать для нее особую пенсию от советского государства у председателя правления Госиздата А. Халатова в обмен на передачу прав на все переведенные ею литературные произведения [Майский 2005: 358]. Но и интерес к тому, чтобы в СССР публиковались современные британские писатели, явно не был случайным: спустя более десяти лет Майский снова демонстрирует его в переписке с Хезлопом. В 1937 году он пишет британскому писателю короткую записку с вопросом о современной английской литературе:

Наши люди в СССР очень хотят издать несколько новых английских книг на русском языке, и я буду благодарен, если Вы поможете мне, предложив перечень книг, которые покажутся Вам подходящими для наших читателей (письмо от 25 января 1937 года) [ИДЕМ 2011: 260]<sup>1</sup>.

Да и к самому Хезлопу, его жизни и творчеству, Майский проявляет живой и, по-видимому, искренний интерес, и переписка между ними продолжается годы.

Судя по переписке, Майский выступал в роли не только своеобразного литературного агента начинающего британского писателя, т. е. вел переговоры о публикации его романов, но и редактора. Например, предлагал свои соображения о том, как улучшить романы: “Red Earth” — об этом в его письме Хезлопу:

Please let me know [. . .] if you are prepared to make suggested alterations or you prefer to leave the novel as it is now. In the first case I will have in Moscow with *Zemlya I Fabrika* only preliminary talk about publication of the book [Майский 2011: 106, 107], —

<sup>1</sup> Оригинал на английском. Приводится в переводе, помещенном в издании.

и “Last Cage Down” — что следует из более поздней переписки Хезлопа с московскими литературными функционерами:

I believe that I have told you how the manuscript will be sent. Until it has been approved by a person whose opinion I highly value it will not be sent to you. Please understand that it is still in the possession of this friend [письмо Хезлопа Динамову 06.01.1935: Хезлоп—Динамов 1934–1937: л. 6].

(Личность друга, чье мнение Хезлоп высоко ценит, не идентифицируется, но предыдущая история их отношений и тот факт, что рукопись в Москву переправляется через Майского и с его сопроводительным письмом [МАЙСКИЙ—ДИНАМОВ 1935], недвусмысленно указывают на него.)

Немаловажно и посредничество Майского между Хезлопом и издательствами в финансовых вопросах: судя по их переписке и автобиографии писателя, Хезлопу относительно исправно переводили гонорары, что, безусловно, представляло определенные трудности для Майского и очень много значило для молодого англичанина, который с 1927 года был без работы [МАЙСКИЙ 2011: 103; NESLOR 1994: 171–172].

Второй и третий романы Хезлопа выходят в СССР в 1930 и 1931 годах в издательствах “Земля и фабрика” и “ГИХЛ”. “За бортом жизни” (“Journey Beyond”) переводит Лидия Слонимская, жена Александра Слонимского, другого племянника Венгеровой и тоже литературного деятеля, а предисловия к обоим романам пишет Исаак Звавич — в 1922–1927 годах — консультант советского торгпредства в Великобритании и, таким образом, коллега Майского.

В контексте литературного процесса и издательской политики СССР, однако, появление писателя Гарольда Хезлопа не выглядит личным проектом видного дипломата Майского, а напротив, становится частью процесса воспитания пролетарских советских писателей (такую задачу, помимо прочих, ставил перед собой руководимый Слонимским отдел “Прибоя”) и знакомства советского читателя с классово и идейно близкими зарубежными писателями. Это означало публикацию активных деятелей РАППа и зарубежных писателей-коммунистов. Так, в “Прибое” в 1926–1927 годах вышли “Комиссары” Юрия Либединского, “Разгром” Александра Фадеева, “Голод” Сергея Семенова и т. д. Иностранные писатели были представлены идеологическими соратниками и собратьями по классу — латышским писателем-коммунистом Линардом Лайценсом, румыном Панайотом Истрати, шведом Франком Хеллером, японцем Иноскэ Наканиси; печатались и более известные, но идеологически близкие авторы — Герберт Уэллс, Томас Манн, Синклер Льюис, Анри Барбюс, а также классики — Золя, Мериме, По. Многие книги вскоре были переизданы в основанной в 1927 году “Роман-газете”, в том числе и роман Хезлопа.

Во главе издательства "Земля и фабрика", созданного в 1922 году Владимиром Нарбутом, с 1928 года стоял Илья Ионов, а в 1929 году его сменил Анатолий Луначарский, после чего в 1930 году оно, как и "Прибой", было поглощено Гослитиздатом ("Прибой" был его частью уже с 1927 года, но до 1930 года сохранял торговую марку). Как и "Прибой", издательство "ЗИФ" публиковало разных авторов; с 1926 года оно берет установку на выдвижение молодых писательских сил и ознакомление читателей с лучшими произведениями советских и иностранных авторов. В последние годы "ЗИФ", как и "Прибой", активно публикует рапповцев, и, вероятно, самая известная книга издательства за 1930 год — программный сборник РАППа "С кем и почему мы боремся" под редакцией Леопольда Авербаха. Творчество молодого британского углекопа в этой компании смотрится вполне естественно, а вскоре он получает возможность и лично познакомиться с деятелями самой влиятельной литературной группировки СССР конца 1920-х — начала 1930-х годов.

Гарольд Хезлоп на Харьковской конференции МОРПа

1930-й год становится апогеем творческих отношений Хезлопа с Советским Союзом: выходит один роман, два переводятся, а кроме того, его приглашают делегатом на Харьковский пленум МБРЛ (Международного бюро революционной литературы; в процессе и организация, и мероприятие меняют название: МБРЛ превращается в МОРП, международную организацию революционных писателей, а пленум — в конференцию), и в конце октября он прибывает в Ленинград, затем едет в Москву, откуда вместе с другими участниками конференции отправляется на поезде в Харьков [Heslop 1994: 214]. Приглашение исходит не от Майского, а от Белы Иллеша, председателя МБРЛ [Майский 2011: 94, 97]. В автобиографии Хезлоп особо подчеркивает роль, которая отводилась в мероприятии РАППу и его функционерам — по-видимому, РАПП пытался конкурировать с Коминтерном за контроль над МБРЛ-МОРПом ("Control of our business has ascended from Illes to Leopold Averbach the moment we were entrained. [. . .] He it was whose duty lay in giving the conference the precise proletarian tone") [Heslop 1994: 215].

Посещение харьковской конференции стало поворотным моментом в судьбе Хезлопа: из малоизвестного начинающего писателя он на краткий миг становится публичным лицом, представляющим от лица британских рабочих писателей. Его позиции на конференции были почти монопольными, так как он был одним из двух представителей Великобритании и единственным писателем (второй член делегации, Боб Эллис, — деятель компартии Великобритании, публицист и редактор партийной газеты, был чужд художественной литературе, то есть



был английским “writer”, но не русским писателем)<sup>2</sup>. Ему пришлось выступить с речью, весьма спонтанной и мало отличающейся от других речей конференции: она состояла из критики буржуазной литературы Англии, сетований по поводу отсутствия полноценной рабочей литературы и надежд на будущее. В анекдотическом изложении Энди Крофта выступление становится историей провинциала на всемирном конгрессе:

For seven days he sat listening to delegates from all over the world [. . .] On the eighth day he was called upon to describe the British “situation.” He could only begin by apologizing, “It must be recognized that proletarian art in Great Britain is in a very backward condition—and is in fact hardly begun” [CROFT 1984: vii].

Речь Гарольда Хезлопа на Харьковской конференции не прошла незамеченной и в Англии. Вероятно, самым именитым среди его читателей-соотечественников был Т. С. Элиот: в 1932 году в апрельской книжке журнала “Criterion” часть колонки главного редактора была посвящена британской пролетарской литературе. Элиот призывал “товарища Джеймса [sic!] Хезлопа” в свидетели неудовлетворительного состояния коммунистического искусства в Британии, перефразируя его высказывание о пролетарском искусстве применительно к искусству коммунистическому (“Communist art is in a bad way”), а потом и цитируя выступление, почерпнутое из специального номера “интереснейшего” (“a most interesting”) журнала “Литература мировой революции”, с купюрами, но весьма подробно. Пламенно-обличительная речь Хезлопа, усвоившего обличительную и одновременно прогрессистскую риторику конгресса, приводится Элиотом с минимальными комментариями, акценты и ирония выражаются главным образом паузами и отточиями. Прочитировав “ради справедливости” и “с симпатией” (“in fairness and with warm sympathy”) пассаж о прогнившем искусстве загнивающего капитализма, критик обращается к списку новых пролетарских писателей: Джеймс Си. Уэлш, Джон С. Кларк и Джо Корри — и, выдержав паузу при помощи отточий, многозначительно продолжает цитировать, иронически противопоставляя “огромное разочарование” Хезлопа в писателе Джо Корри и его надежду на собственное будущее:

---

<sup>2</sup> Хезлоп весьма комично описывает свой разговор с Замятиным, которого он по просьбе Венгеровой посетил в Ленинграде: “. . . Why are you visiting Russia?” The guide intervened quietly. ‘Mister Heslop is on his way to Kharkov. . . to the Conference,’ she told him. He barely acknowledged her intrusion. ‘Is the British delegation large?’ he asked. ‘Only two.’ He glanced at the girl. . .” [HESLOP 1994: 205–206].

But for himself Comrade Heslop has hope:

I make bold to say that my association with you, my stay in Soviet Russia (and) my friendship with my critical friend Ellis have put me on the path towards the creation of real proletarian art [ELIOT 1932: 306].

В данном случае надежда Хезлопа опиралась на трезвый расчет: он попал в самый центр международной деятельности пролетарских и революционных писателей, познакомился с советскими литераторами и литературными функционерами ("came into close contact with all the big literary people in Russia, including Averbach and Dinamov", как он пишет Майскому 14 января 1931 года [МАЙСКИЙ 2011: 95]), и его жизнь должна была измениться окончательно: появились люди, у которых и вместе с которыми можно было учиться подлинному пролетарскому искусству, и появился печатный орган — журнал МОРПа, "Литература мировой революции", который будет печатать произведения революционных писателей. (До Харьковской конференции органом МБРЛ являлся "Вестник иностранной литературы", но на конференции было решено изменить название и формат журнала и сделать издание на русском и трех европейских языках. "Литература мировой революции" выходила в таком виде только год, а потом снова была преобразована: в 1932 году иноязычные версии, а с 1933 года уже и русская стали выходить под новым названием "Интернациональная литература".) Хезлоп был вдохновлен и увлечен новыми знакомствами и еще долго потом состоял в переписке с редакторами журнала, сменявшими друг друга на этом посту: Сергеем Динамовым, Тимофеем Рокотовым и Борисом Сучковым, фактически вплоть до окончательного его закрытия. Эти люди принимали решение о том, чтобы напечатать рассказ, отрывки из романа или статью в журнале, и могли порекомендовать роман к публикации в формате книги (хотя тут, вероятно, Хезлоп переоценивал возможности своих корреспондентов). Иными словами, благодаря Харьковской конференции молодой англичанин получил то, о чем может только мечтать начинающий писатель, — писательскую среду и журнальные знакомства.

Или так казалось в Харькове. Поездка в Советский Союз представлялась поворотным моментом карьеры Хезлопа, однако при ретроспективном анализе она оказывается пиком его карьеры, за которым очень быстро следует спад. Само затянувшееся пребывание в СССР (после Харьковской конференции писателю "сообщили", что он остается, чтобы присутствовать на процессе Промпартии, по крайней мере, именно так он объясняет этот эпизод своей биографии [HESLOP 1994: 232]) оплачивалось и потому способствовало улучшению материальной ситуации семьи. Определенный позитивный эффект поездки имела и в дальнейшем: по возвращении он в течение какого-то времени выступает со

своими впечатлениями в печати и даже на телевидении. И наконец, на какое-то время безработный Хезлоп находит работу в Торгпредстве СССР в Лондоне, в представительстве Интуриста.

Но творческое сотрудничество постепенно сводится к минимуму: “Красная земля” так и не будет напечатана<sup>3</sup>, и больше романы Хезлопа на русский не переводятся. Переписка с редакторами журнала тоже оказывается менее успешной, чем могла бы: после Харькова имя Хезлопа вносится в публикуемый в каждом номере список постоянных авторов, но постоянным автором он от этого не становится. В 1933 году в журнале помещают его рассказ “Ten Thousand Men: A Story of the British Coal Miners”, посвященный, как обычно, безуспешной борьбе британских углекопов за свои права, на сей раз в сопоставлении с победными реляциями из Советского Союза [HESLOP 1933]. Но это единственное художественное произведение Хезлопа, напечатанное журналом. Помимо этого, ему заказывают несколько статей о текущем состоянии английской литературы и отдельных авторах и периодически помещают отрывки из его писем в разделе “Интернациональная хроника” или — после неоднократных напоминаний — публикуют анонс его новой книги [Анонс 1936; Иностранные писатели 1937; Хэзлоп 1939; IDEM 1940].

Насколько неизбежен был подобный поворот событий? Он без труда вычитывается в иронии Элиота, но, если следовать логике времени, дела Хезлопа шли как раз неплохо: в эпоху, когда литературная критика подменяет собой литературу [ДОБРЕНКО 2011: 161], ему удается заручиться поддержкой как раз нужных людей. Энди Крофт объясняет внезапный неуспех Хезлопа в Советском Союзе тем, что к власти в МОРПе приходят революционно настроенные рапповцы, а статью Анны Елистратовой он считает непосредственным проявлением рапповской атаки на попутчиков [CROFT 1984: X]. И, что неудивительно, в оценке РАППа в своей судьбе Хезлоп времен автобиографии не сходится с Хезлопом — автором писем 1931 года: молодой писатель радуется знакомству (“all the big literary people”), а автор “Out of this Earth” винит их в своем неуспехе.

---

<sup>3</sup> Сюжет с “Красной землей” неоднократно фигурирует в переписке Хезлопа с русскими корреспондентами. В письмах Майскому начала 1931 года исключительно в позитивном ключе: Хезлоп сообщает, что получил часть гонорара [Майский 2011: 95]; а уже в 1932 году, в переписке с Динамовым, тон писателя меняется, 29 марта 1932 года он осведомляется, что происходит с романом [см. письмо Хезлопа Динамову 29.03.1932 в: Хезлоп–Динамов 1932–1937: л. 3–7], а 11 октября 1933 года описывает ситуацию как совершившийся факт, но причины произошедшего ему не ясны (“I have not yet understood why my manuscript, *The Red Earth*, should be accepted, translated, partly paid for, and then dropped as if it had become a hot coal or a thing unclean”) [письмо Хезлопа Динамову 11.10.1933: Хезлоп–Динамов 1932–1937: л. 27].

# "The Work of Harold Heslop":

Гарольд Хезлоп в свете классовой критики

Статья Анны Елистратовой о творчестве Хезлопа в первом номере "International Literature" появилась в 1932 году, т. е. примерно через полтора года после Харьковской конференции. А за несколько месяцев до того она была напечатана на русском языке в октябрьском (30-м) номере журнала "На литературном посту" за 1931 год ("О творчестве Гарольда Хезлопа" [ЕЛИСТРАТОВА 1931]). Любопытно, что в статье в "International Literature" — по большей части весьма точном переводе напостовской — имеется ряд расхождений с русским текстом, как содержательного, так и идеологического плана, по-видимому, небезынтересных для понимания отношения МОРПа к Хезлопу и роли статьи Елистратовой в судьбе писателя.

Статья вполне соответствует духу и букве рапповской критики, органом которой являлся журнал "На литературном посту", и воспроизводит основную матрицу текстов такого рода: классовая борьба, социал-фашизм, оппортунизм, предательская маска ("insidious mask"<sup>4</sup>), недооценка революционной сознательности масс. Гарольду Хезлопу этот набор, как и тесно связанная с ним риторическая схема, был прекрасно знаком по Харьковской конференции, где он не только слышал и воспринимал, но и успешно применял эту лексику и эту конструкцию. Основным риторическим приемом становится построение от обратного. Елистратова берет за отправную точку тот же тезис об отсутствии в Британии полноценной пролетарской литературы, что и писатель в своей речи ("Английский пролетариат до сих пор не создал своей классово самостоятельной литературы") и представляет его классовую причину как оппортунизм британского рабочего движения. Оппортунизм и социал-фашизм воплощают крайнюю степень падения, основное же отличие Хезлопа от товарищей, награжденных ярлыком "социал-фашизма", в том, что он — единственный писатель рабочего происхождения, который открыто связывает себя с платформой МОРПа и имел смелость публично признать и обличить собственные ошибки [ЕЛИСТРАТОВА 1932: 99], в статье, однако, ошибки подробно освещаются. В речи Хезлопа весьма эмоционально и образно обличается буржуазная литература, тем не менее, по тонкому наблюдению Энди Крофта, адресная критика направлена исключительно на писателей рабочих — Хенли, Кларка, Грина [CROFT 1990: 64]. И наконец, оба высказывания завершаются на более или менее оптимистичной ноте: статья с ее "дружеской критикой" ("inspired by friendly motives"), немало задевшей писателя, имеет целью помочь ему с исправлением ошибок ("We aim at helping him to develop into a genuine proletarian artist. This he can do only

<sup>4</sup> Здесь и далее английский текст приводится в случае расхождения с русским. — Е. О.

by acquiring in its fullness the world outlook of the revolutionary working class”). И это, в определенном смысле, ответ на оптимистический заключительный пассаж выступления Хезлопа, который Элиот иронически и прозорливо интерпретирует как надежду:

... I admit that I have labored under bourgeois influence. My experience in the USSR, together with severe, but friendly criticism of my friend, Bob Ellis, has made me peculiarly aware of the fact toward which I have been blindly groping. I make bold to say that my association with you, my stay in Soviet Russia [and] my friendship with my critical friend Ellis have put me on the path towards the creation of real proletarian art [HESLOP 1931: 227].

Ретроспективно выступление Хезлопа на конгрессе выглядит как прививка, которая не сработала: хитроумно освоив схему так, что критике подверглись его собраты по перу, а сам он ограничился признанием ошибок и туманными надеждами на будущее, писатель как будто пытался избежать настоящей атаки. В действительности, по-видимому, он воспринимал выступление скорее как ритуальное, своего рода посвящение и не предполагал, что ему, уже признавшему свои ошибки, могут снова указать на них, и гораздо более сурово.

В расхождениях между первой (русской) и второй (английской) редакциями статьи Елистратовой можно выявить две закономерности. Во-первых, при сохранении общей структуры и примерной длины текста в английскую включается разбор “Красной земли”, что приводит к некоторым сокращениям в разборе других произведений, а во-вторых, хотя набор обличительных эпитетов один и тот же, но распределяются они несколько по-разному, и, как следствие этого непонятого на первый взгляд жонглирования, общий тон критики несколько смягчается. В английском тексте подчеркивается открыто задекларированная связь писателя с МОРПом и смелость, с которой он публично признал и обличил собственные ошибки, и таким образом из лагеря социал-фашистов он переводится в лагерь реформистов. Техника незамысловатая, но весьма виртуозная; минимальные изменения достигаются за счет рокировки понятий и синтаксического перераспределения акцентов:

Наряду с *этими ярко выраженными представителями обуржуазившейся рабочей аристократии*, ряд других английских писателей выступает в литературе в качестве выразителей психоидеологии тех элементов рабочего класса, которые до последнего времени продолжают еще находиться *под идеологическим влиянием социал-фашизма*. . .

*Alongside these definitely social-fascist writers, representing the upper few of the labor aristocracy, we find a number of other English writers who represent those unclassconscious masses who until quite recently were and to a certain extent still are, under the ideological influence of reformism. . .*



а более серьезные — простой заменой:

в плену <i>социал-фашистской идеологии</i>	completely under the influence of <i>reformist ideas</i>
--	--

— или пропуском соответствующей фразы:

Это разрешение проблемы вождя и массы сближает роман Хезлопа с рядом типич- но социал-фашистских произведений.	—
--	---

Показателен характер критики романа "Под властью угля", визитной карточки писателя Хезлопа в СССР, и изменений в английском тексте статьи. Суть претензий — непонимание автором исторической роли рабочего класса и чрезмерный интерес к индивидуальным судьбам его героев. Так, согласно рецензенту, рабочее движение описывается Хезлопом с чисто эстетической точки зрения, а врагом рабочих является не капиталистическая эксплуатация, а, в соответствии с заглавием, уголь. (Тут критика самого Хезлопа по отношению к коллегам по цеху и критика Елистратовой в его собственный адрес снова совпадают в риторической конструкции: писатель, конечно, выступает против, но не против капитализма, а против его кризиса ("revolt is against the *decay* of capitalism, rather than against capitalism itself" и "they are under the sway not of capitalist exploitation, but of coal") [HESLOP 1931; ЕЛИСТРАТОВА 1931: 22; ЕЛИСТРАТОВА 1932: 99].) Кроме того, в героическом (в английском тексте — романтическом) свете преподносятся герои романа — Биль Ватсон, член парламента, свято верящий в парламент как институт, и Том Дрери, "романтический одиночка ибсеновского типа". И наконец, совмещение классового и эстетического аспектов: в соответствии с традициями мелкобуржуазного романа, Хезлоп изображает социальное только сквозь призму личного и находит спасение от всех социальных зол в уходе в личную жизнь и утешении мелкобуржуазного "семейного счастья" ("depicts the social only through the prism of the personal"; "finds the solution of all social ills in retreat into personal life and in the consolations of the petty bourgeois 'family happiness'") [ЕЛИСТРАТОВА 1932: 100].

Изменения в английском тексте типовые: квалификация опасного влияния меняется с социал-фашизма на реформизм и текст сокращается за счет цитат (Елистратова иллюстрирует свои соображения о толпе как массе и, главное, о несознательности "псевдокоммуниста" Дрери) и сопоставлений с другими "социал-фашистскими" произведениями (помимо Ибсена, лишь упомянутого, но не обличенного в английской версии, в русской Дрери сопоставляется с Валером Кретьеном из "типично социал-фашистского" романа Жоржа Давида "Парад") [ЕЛИСТРАТОВА 1931: 23].

От романа к роману характер претензий критика к автору практически не меняется: непонимание исторической роли народных масс и рабочего движения (“рабочее движение представляется [. . .] как нечто хаотическое и неподдающееся организации” (unorganized)), героизация / романтизация героя или чрезмерный к нему интерес за счет интересов класса (“Instead of dealing with unemployment as a political problem, Heslop concentrates readers’ attention on the individual sufferings of two unemployed workers” — в русской версии статьи этой мысли соответствует целый абзац) и “мещанская” или “сентиментальная” идеализация семьи (“Хэзлоп, как художник, выступает здесь перед нами как типичнейший «мещанин в пролетариате»”; “Heslop is still under the influence of sentimental individualism”). Отсутствие прогресса во взглядах и творчестве писателя подчеркивается особо и является важным аргументом против него: “Политически второй роман стоит еще на очень низком уровне” (“Heslop’s political insight in his second novel is of a rather poor caliber”), “Neither can one speak of any such radical change in his last work, the novel *Martha Drake*<sup>5</sup>” [ЕЛИСТРАТОВА 1931: 23; ЕЛИСТРАТОВА 1932: 100]. Однако “Красная земля” несколько выбивается из общей тенденции. Здесь рецензент переключается на почти хвалебный тон (“Another unpublished work of Heslop’s which deserves attention”, “The theme of the novel clearly distinguishes Heslop from English writers of social fascist outlook”), однако и этот роман демонстрирует ошибочность воззрений Хезлопа на классовую борьбу и революцию, а также неверный выбор литературного метода. Тезис весьма подробно разворачивается на материале романа, однако отчасти позитивный поворот в его оценке позволяет выйти на сдержанно оптимистический финал. Тут версии снова соединяются, и в русской версии, чтобы обеспечить этот финал, рецензент помещает “Красную землю” в сноску. Здесь же статья снова сливается с речью самого Хезлопа на съезде: с правильным идеологическим руководством писатель не безнадёжен, и советская критика готова ему в этом помочь:

И задачей нашей критики должно являться не только обнаружение отдельных непролетарских элементов в творчестве тех или иных писателей, представляющих, подобно Хезлопу, несознательные слои рабочего класса, но и оказание им помощи в деле перестройки всего их творчества на основе освобождения его от паутины социал-фашистской идеологии [ЕЛИСТРАТОВА 1931: 24].

---

<sup>5</sup> Роман “Journey Beyond”. Елистратова вслед за Звавичем утверждает, что при публикации в Англии название романа пришлось сменить, но в действительности роман был опубликован под оригинальным заглавием.

В английской версии от ярлыков решили избавиться: "a thorough revision of their ideology along revolutionary lines") [ELISTRATOVA 1932: 102].

О творчестве писателя Гарольда Хезлопа: "Под властью угля"  
Для советского читателя и массовой советской прессы Хезлоп, по-видимому, так и остался автором романа "Под властью угля". Критические отзывы на роман были немногочисленными и трактовали его по-разному. Так, в краткой обзорной заметке "Английские писатели-шахтеры" в "Вестнике иностранной литературы" за июль 1928 года роман характеризуется как идеологически ошибочное произведение: "Обрисовывая быт и условия труда на севере Англии, Хезлоп [. . .] не делает необходимых революционных выводов из им же описываемых общественных явлений" [ШАХТЕРЫ 1928: 139]. А в анонсе переиздания 1929 года в "Правде" акценты расставлены по-другому: "[Р]оман отображает политический и производственный быт английских шахтеров, предательскую политику тред-юнионов, роль коммунистов в героической борьбе рабочих в великую забастовку 1926 года"<sup>6</sup>. Клишированность формулировок вполне соответствует предмету описания, роман действительно легко типизируется как шахтерский и состоит из стандартных элементов этого склонного к шаблонным сюжетным ходам и конфликтам жанра.

Одним из истоков жанра принято считать роман Эмиля Золя "Жерминаль", ему-то Хезлоп в значительной степени обязан сюжетной канвой одной из центральных линий. Золя задает набор базовых элементов повествования: молодой герой — лидер шахтеров в их борьбе, забастовка, подстрекатель и предатель, завал, спасение главного героя, но не его товарища по несчастью. От Золя же идет традиция метафорического прочтения шахты как диаволического мифологического существа, пожирающего жизни людей, оказавшихся в его чреве, — которое становится важным топосом большинства шахтерских романов [HOLDERNESS 1984: 22]. У Хезлопа на этой метафоре строится уже заглавие: региональный арготизм "goaf", "старая выработка" в переводе Венгеровой — пустое пространство, которое остается после выемки угля; это огромные подземные пустоты, пребывание в которых опасно из-за вероятности обвала и недостатка кислорода; буквальный и метафорический смысл слова и образа обсуждается героями и проблематизируется автором [Хезлоп 1926: 81; CUNNINGHAM 1989: 316; FORDAM 2009A: 316]. В русском переводе заглавия метафоризация переводится на языковой уровень и подкрепляется идеологически: заглавие переведено не просто на русский,

<sup>6</sup> В действительности "Под властью угля" написано до забастовки 1926 года [Анонс 1929].

но на язык классовой борьбы, что, с одной стороны, было неплохим маркетинговым ходом, так как сокращало дистанцию между книгой и ее потенциальным читателем, а с другой — дополнительным аргументом для критики Елистратовой (“they are under the sway not of capitalist exploitation, but of coal”) [ELISTRATOVA 1932: 99].

Стилистическая беспомощность романа “Под властью угля” (что только усиливается в русском переводе) уравнивается прихотливым сюжетом. Основная сюжетная линия — драматическая профсоюзная карьера молодого коммуниста Тома Дрери, хотя как персонаж он находится в тени Били Ватсона, на племяннице которого он женится в ходе повествования. Биль — его политический оппонент: в отличие от Тома, он считает, что жизнь шахтеров можно облегчить только политическим воздействием, и потому много лет является членом парламента<sup>7</sup>. Тома избирают секретарем профсоюза “Лоджа”, но это совпадает с заметным ухудшением условий оплаты труда горняков. Он предлагает забастовку, и шахтеры горячо его поддерживают, однако, столкнувшись с трудностями, идут на поводу у его антагониста, Джона Гартли, который, движимый местью и завистью к Тому, вступает в сделку с хозяевами копи и подстрекает шахтеров к открытому выступлению. Импровизированная демонстрация оборачивается полным поражением рабочих и судебным разбирательством, а Тома несправедливо обвиняют как зачинщика и призывают к суду.

В разгар неприятностей в шахте происходит обвал, и Том с Гартли вдвоем оказываются в завале. Обычные действия по спасению ведутся очень медленно, но из Лондона приезжает Биль и в одиночку организует спасательную экспедицию. Когда завал удастся преодолеть, Биль и его старый друг Джим Троттер пробираются по узкому проходу, но находят только труп Джона Гартли, который отказался идти с Томом искать выхода через старую выработку (goaf) и, в припадке отчаяния, совершил самоубийство. Ватсон и Троттер отправляются на поиски Тома и с трудом успевают его спасти. Ватсон на руках выносит Тома, но теперь того обвиняют в убийстве Гартли.

Последняя часть романа представляет увлекательный судебный и даже отчасти детективный сюжет, где почти отчаявшийся Биль снова вынужден спасти Тома, на сей раз из лап правосудия. Задача кажется еще более безнадежной, но и она разрешается благодаря неординарным интеллектуальным способностям его друга и адвоката Тома Бэна Перли, как до того — недюжинной силе и упорству самого Били. Счастливый

---

<sup>7</sup> Возможно, именно политическая деятельность героя стала причиной неочевидной транслитерации его имени в русском переводе, так как Bill традиционно передается на русский как Билл.

финал означает для Тома оправдание и возможность тихого семейного счастья с женой Цинтией и новорожденной дочерью.

Сюжет отчетливо воспроизводит основные мотивы на тот момент еще немногочисленных шахтерских романов (помимо Золя, назовем "Король угля" Эптона Синклера (1917), где, кроме завала и забастовки, важную роль играет противостояние героя и профсоюза). Кроме того, Хезлоп, по-видимому, ориентируется и на другой "мелкобуржуазный роман" — "Отверженные" Виктора Гюго. Сюжетная линия, в которой Биль Ватсон выносит Тома Дрери из "старой выработки", на разных уровнях уподобляет Ватсона Жану Вальжану: и в портретном сходстве — недюжинной физической силой, и биографически — он выносит возлюбленного (уже мужа) своей племянницы. (Да и пучок символических смыслов старой выработки, по-видимому, восходит, в том числе, к парижской клоаке<sup>8</sup>.) Таким образом, трудно не согласиться с Анной Елистратовой, когда она говорит о романтическом построении образа Били Ватсона.

Однако с основной претензией критика — ее прочтением финала как спасения от всех социальных зол в уходе в личную жизнь и утешения мелкобуржуазного "семейного счастья" — все несколько сложнее. Действительно, дважды ложно обвиненный в преступлениях, которых он не совершал, Том Дрери после благополучного исхода суда утрачивает интерес к профсоюзным делам и уезжает с молодой женой Цинтией и новорожденным ребенком (что и излагает критик в русской версии статьи). Но на этом роман не кончается. В финале они возвращаются и, когда их приходит навестить пожилой шахтер Джим Тротер (принимавший участие в поисках и спасении Тома и боровшийся за него на суде и на заседании профсоюза), выясняется, что причина отхода Тома от профсоюзной деятельности отнюдь не в "семейном счастье", а напротив — в радикализации его представлений о методах борьбы. Кроме того, оказывается, что коммунистические воззрения героя находят отклик у немолодого шахтера, и последний абзац романа оборачивается торжеством коммунизма.

— Я все более склоняюсь к самым крайним убеждениям, Джим, — сообщил Том в этот вечер старому углекопу.

[...]

Джим засмеялся. [...]

От революционных мыслей у него слегка закружилась голова. Том улыбнулся его смятению. [...]

<sup>8</sup> Из переписки с Динамовым складывается впечатление, что роман "Отверженные" имел особое значение для писателя: в нескольких строках, посвященных его деду по отцу, шахтеру, как и все мужчины в роду, упоминается, что он читал этот роман Гюго вслух жене и это заняло у него четыре года [письмо Хезлопа Динамову 24.05.1936: Хезлоп-Динамов 1932–1937: л. 32].



Джим с сияющим лицом взглянул на молодую женщину. Он старался сдержать охватившее его волнение.

— Ваш друг, — крикнул он.

[. . .]

— Что? — спросила Цинтия.

— Ваш друг — вступит в коммунистическую. . .

Джим от волнения не мог закончить фразу.

Цинтия улыбнулась ему и крепко его поцеловала [Хезлоп 1926: 240].

В финале, где основные сюжетные линии завершились развязкой, на передний план выходит идеологический конфликт романа, сталкивающий профсоюзную борьбу и коммунистическую идеологию и завершающийся демонстрацией несостоятельности первой. Подобный конфликт — неизменный атрибут шахтерских романов Хезлопа, “романов конфронтации”, если следовать классификации Дэвида Белла, автора диссертации по шахтерским романам 1929–1939 годов (“novels [. . .] in which the primary conflict between capital and labour is modified by a secondary conflict within labour on the question of ways and means of achieving a socialist society”) [BELL 1995: [1]]. Очевидно, что постановка проблемы (борьба не с самим капитализмом, а с ошибочными методами борьбы с капитализмом) воспроизводит логику внутрипартийной борьбы и, вероятно, была подсказана писателю его первым читателем и другом Иваном Майским. Драматургия этой идеологической линии укладывается в ту же схему, что Хезлоп и Елистратова использовали в своих критических высказываниях: весь текст представляет собой обличение, которое к концу приобретает характер тотального, а в последних строках открывается новый горизонт, знаменующий новую, правильную, жизнь.

Печальный итог:

как Гарольд Хезлоп так и не стал советским писателем

Почему советские литературные функционеры утратили интерес к Гарольду Хезлопу, вопрос не столь праздный. Сам писатель и Энди Крофт видят причину загадочной истории с неизданной “Красной землей” в засилье рапповцев, полагавших, что писателю-попутчику (“несознательному представителю рабочего класса”) не место в советском издательстве, и возлагают персональную ответственность за нее на Анну Елистратову, чья разгромная статья изменила отношение к молодому английскому углекопу [HESLOP 1994: 195; CROFT 1984: X]. Однако реальность, похоже, была устроена менее линейным образом. Маловероятно, что на ситуацию с “Красной землей” повлияла именно Елистратова: она, по-видимому, ознакомилась с романом, когда статья для “На литературном посту”

(вышедшая в октябре 1931 года) уже была практически написана, и успевала вставить сноску и, возможно, внести изменения в завершающие абзацы, но не в статью целиком. Английская версия выходит на несколько месяцев позже русской, но с учетом перевода и издательского цикла вполне вероятно, что в действительности новая версия писалась почти сразу. К концу 1931 года выход романа уже явно откладывался.

Параллельно с драматическим сюжетом "Красной земли" разворачивалась история с неудачной попыткой Боба Эллиса и Гарольда Хезлопа создать британскую секцию МОРПа: в 1931–32 годах они состоят в оживленной переписке с функционерами МОРПа — Анталом Гидашем, Белой Иллешем и другими. Реализовать проект так и не удается, и отношения сторон охлаждаются [Островская 2014]. Возможно, это тоже сыграло свою роль. (Хезлоп был обижен вдвойне: создавать секцию поручили не ему, но от обвинений в неудаче проекта это его не избавило.)

С 1932 года начинается оживленная переписка Хезлопа с Динамовым, которая после его ареста не прерывается, а поддерживается его преемниками в кресле главного редактора "Интернациональной литературы" (переписка с Динамовым и его преемниками представляет собой несколько достаточно обширных единиц хранения в разных архивах: РГАЛИ и ИМЛИ), но в долгосрочной перспективе на публикациях писателя в журнале это не очень сказывается. Его имя стоит в списке постоянных авторов, однако постоянным автором журнала он так и не становится.

И тем не менее, советские литературные институты, точнее, то, что с ними происходило, явно имели самое непосредственное отношение к советской судьбе писателя Хезлопа. Радикальным изменениям подвергся журнал-орган МОРПа. За те же полтора года, что отделяют публикацию статьи от Харьковской конференции, он дважды поменял название и формат, а затем и состав редакции. Первый номер "International Literature" за 1932 год, где помещена статья Елистратовой, начинается с постановления "О перестройке литературно-художественных организаций", расформировавшего РАПП и положившего начало новой политике государства в области литературы и искусства. МОРП просуществовал еще два года, но "перестройка" велась и в нем. Иллеш, Авербах и Бруно Ясенский, главный редактор "Интернациональной литературы", утрачивают свои позиции, и, начиная с 1933 года, главным редактором журнала (и отдельно — его английской версии) становится Сергей Динамов. Именно на это время приходится изменение отношения советских литературных функционеров к Хезлопу, и даже можно вслед за Анной Елистратовой сказать — к "такому писателю как Хезлоп". Если исходить из общей рамки советской политики по отношению к иностранным

писателям, этому соответствует поворот от поиска писателей рабочего происхождения, которых можно научить писательскому делу, к поиску известных писателей, выступавших на стороне Советского Союза. Именно так работает советская культурная дипломатия в 1930-е годы и международное писательское сообщество: на первый съезд Союза писателей в 1934 году и на конгресс в защиту мира в Париже в 1935 году Хезлопа уже не приглашали. Декларативно это было сформулировано Сергеем Динамовым еще в 1931 году в письме в редколлегию журнала (тогда “Литература мировой революции”), где он указывает на недостаток “ярких по мастерству вещей” [Динамов 1931: л. 1]. В действительности, однако, это означало, что редакция ищет писателей с именем, и в этом смысле писатель, произведения которого не публикуются на родине, был менее интересен. К 1932 году, когда термин “пролетарский” вытесняется из активного культурного обихода, интернациональный пролетарский писатель уже не нужен, да и концепция создания и распространения “литературы мировой революции” сменяется попыткой апроприации “мировой литературы” [CLARK 2011: 7].

Гарольд Хезлоп перестает быть интернациональным революционным писателем и становится только британским писателем. Сегодня его творчество принадлежит истории британской рабочей литературы и является объектом внимания исследователей, как специализирующихся на левых или пролетарских авторах [KLAUS 1982; HOLDERNESS 1984; Fox 1994], так и изучающих теоретические аспекты британского романа и межвоенной британской литературы [FORDHAM 2009A; ИДЕМ 2009В]. Однако своеобразное положение писателя между двумя культурами и принципиальная невозможность описать его в координатах лишь одной из них предполагают особый подход, учитывающий специфику и взаимоотношения обеих. Британский исследователь Джон Фордэм предлагает рассматривать произведения Хезлопа сквозь призму “интермодернизма” (виртуальный конструкт, актуализирующий промежуточный характер ряда явлений межвоенной литературы, традиционно описываемой в координатах бинарной оппозиции модернизма и (соц)реализма или модернизма и постмодернизма). Представляется, что еще одно промежуточное пространство, которое активно осваивал писатель, — это пространство между британской и советской литературой (сравним у Фордэма: “Heslop’s ‘intermodernism’ refuses any easy assimilation into either the Soviet or the English models of the proletariat” [ИДЕМ 2009А: 58]), и оно определяет не только подход к изучению его творчества, но и его значимость для описания культурного поля советской и левой британской литературы 1930-х годов.

## Библиография

### Сокращения

ОР ИМЛИ — Отдел рукописей Института мировой литературы

РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства

### Архивные материалы

#### Динамов 1931

Письмо Сергея Динамова в редколлегию журнала “Литература мировой революции”. ОР ИМЛИ. Ф. 75. Оп. 2. Ед. хр. 3.

#### Майский–Динамов 1935

Письмо Ивана Майского Сергею Динамову 09.03.1935. РГАЛИ. Ф. 1397. Оп. 1. Ед. хр. 619. Л. 8.

#### Хезлоп–Динамов 1932–1937

Переписка Сергея Динамова с Гарольдом Хезлопом. 1932–1937 гг. ОР ИМЛИ. Ф. 75. Оп. 3. Ед. хр. 44.

#### ——— 1934–1937

Переписка Сергея Динамова с Гарольдом Хезлопом. 1934–1937 гг. РГАЛИ. Ф. 1397. Оп. 1. Ед. хр. 619. Л. 1–30.

### Печатные источники

#### Анонс 1929

[S. a.,] “[Под властью угля] Анонс”, *Правда*, 78 (4212), 05.04.1929, 4.

#### ——— 1936

[S. a.,] “[Последняя смена] Новая книга Харольда Хэзлопа”, *Интернациональная литература*, 1, 1936, 167.

#### Гезлоп 1931

Гезлоп Г., *За бортом жизни*, Москва, Ленинград, 1931.

#### Геслоп 1930

Геслоп Г., *У врат будущего*, Москва, Ленинград, 1930.

#### Елистратова 1931

Елистратова А., “О творчестве Гарольда Хезлопа”, *На литературном посту*, 30, 1932, 21–24.

#### Иностранные писатели 1937

[S. a.,] “Иностранные писатели к XX-летию Октябрьской Социалистической Революции”, *Интернациональная литература*, 10, 1937, 147–154.

#### Майский 2005

Майский И. М., *Избранная переписка с российскими корреспондентами*, 1, Москва, 2005.

#### ——— 2011

Майский И. М., *Избранная переписка с иностранными корреспондентами*, 1, Москва, 2011.

#### Слонимский 1941

Слонимский М. Л., “Максим Горький”, *Литературный современник*, 6, 1941, 97–113.

#### Хезлоп 1926

Хезлоп Г., *Под властью угля*, Ленинград, 1926.

#### ——— 1929

Хезлоп Г., *Под властью угля* (= Роман-газета, 6 (36)), 1929.

#### Хэзлоп 1939

Хэзлоп Г., “Дело Ленина продолжает Сталин”, *Интернациональная литература*, 1, 1939, 22.

——— 1940

ХЭЗЛОП Г., «Поминки по Финнегану» Джеймса Джойса», *Интернациональная литература*, 1, 1940, 185–188.

ШАХТЕРЫ 1928

[S. a.], «Английские писатели-шахтеры», *Вестник иностранной литературы*, 7, 1928, 138–139.

ЕЛИОТ 1932

ЕЛИОТ Т. С., «A Commentary», *The Criterion*, 11/44 (April), 1932, 471–472.

ЕЛИСТРАТОВА 1932

ЕЛИСТРАТОВА А., «The Work of Harold Heslop», *International Literature*, 1, 1932, 99–102.

НЕСЛОП 1929

НЕСЛОП Н., *The Gate of a Strange Field*, London, 1929.

——— 1930

НЕСЛОП Н., *Journey Beyond*, London, 1930.

——— 1931

НЕСЛОП Н., [«Speech at the Kharkov conference»], *International Literature*, special issue, 1931, 226–227.

——— 1933

НЕСЛОП Н., «Ten Thousand Men», *International Literature*, 2, 1933, 32–40.

——— 1994

НЕСЛОП Н., *Out of the Old Earth*, Newcastle upon Tyne, 1994.

## Литература

ДОБРЕНКО 2011

ДОБРЕНКО Е., «Становление института советской литературной критики в эпоху культурной революции: 1928–1932», in: Е. ДОБРЕНКО, Г. ТИХАНОВ, ред., *История русской литературной критики: советская и постсоветская эпохи*, Москва, 2011, 142–206.

ОСТРОВСКАЯ 2014

ОСТРОВСКАЯ Е. С., «Первая попытка создания британской секции МОРПа в контексте истории МОРПа и журнала «Интернациональная литература», *Новые российские гуманитарные исследования*, 15.12.2014 (<http://www.nrgumis.ru/articles/290/>; последнее обращение 21.11.2017).

BELL 1995

BELL D., *Ardent Propaganda: Miners Novels and Class Conflict 1929–1939*, Umeå, 1995.

CLARK 2011

CLARK K., *Moscow, The Fourth Rome: Stalinism, Cosmopolitanism, and the Evolution of Soviet Culture, 1931–1941*, Cambridge (MA), 2011.

CROFT 1984

CROFT A., «Introduction», in: H. HESLOP, *Last Cage Down*, London, 1984, VII–XIII.

——— 1990

CROFT A., *Red Letter Days: British Fiction in the 1930s*, London, 1990.

——— 1994

CROFT A., «Who Was Harry Heslop?» in: H. HESLOP, *Out of the Old Earth*, Newcastle upon Tyne, 1994, 7–38.

CUNNINGHAM 1989

CUNNINGHAM V., *British Writers of the Thirties*, Oxford, New York, 1989.

FORDHAM 2009A

FORDHAM J., «‘A Strange Field’: Region and Class in the Novels of Harold Heslop», in: *Intermodernism: Literary Culture in Mid-Twentieth-Century Britain*, Edinburgh, 2009, 56–72.



——— 2009B

FORDHAM J., "Working-Class Fiction Across the Century," in: R. CASERIO, ed., *The Cambridge Companion to the Twentieth-Century English Novel*, Cambridge, New York, 2009, 131–145.

FOX 1994

FOX P., *Class Fictions: Shame and Resistance in the British Working Class Novel, 1890–1945*, Durham, 1994.

HOLDERNESS 1984

HOLDERNESS G., "Miners and the Novel: From Bourgeois to Proletarian Fiction," in: J. HAWTHORN, ed., *The British Working-Class Novel in the Twentieth Century*, London, Baltimore (MD), 1984, 19–34.

KLAUS 1982

KLAUS H. G., *The Socialist Novel in Britain*, Brighton, 1982.

## References

Bell D., *Ardent Propaganda: Miners Novels and Class Conflict 1929–1939*, Umeå, 1995.

Clark K., *Moscow, The Fourth Rome: Stalinism, Cosmopolitanism, and the Evolution of Soviet Culture, 1931–1941*, Cambridge (MA), 2011.

Croft A., "Introduction," in: H. Heslop, *Last Cage Down*, London, 1984, vii–xiii.

Croft A., *Red Letter Days: British Fiction in the 1930s*, London, 1990.

Croft A., "Who Was Harry Heslop?" in: H. Heslop, *Out of the Old Earth*, Newcastle upon Tyne, 1994, 7–38.

Cunningham V., *British Writers of the Thirties*, Oxford, New York, 1989.

Dobrenko E., "Stanovlenie instituta sovetskoi literaturnoi kritiki v epokhu kul'turnoi revoliutsii: 1928–1932," in: E. Dobrenko, G. Tikhanov, eds., *Istoriia russkoi literaturnoi kritiki: sovetskaia i postsovetskaia epokhi*, Moscow, 2011, 142–206.

Fordham J., "'A Strange Field': Region and Class in the Novels of Harold Heslop," in: *Intermodernism:*

*Literary Culture in Mid-Twentieth-Century Britain*, Edinburgh, 2009, 56–72.

Fordham J., "Working-Class Fiction Across the Century," in: R. Caserio, ed., *The Cambridge Companion to the Twentieth-Century English Novel*, Cambridge, New York, 2009, 131–145.

Fox P., *Class Fictions: Shame and Resistance in the British Working Class Novel, 1890–1945*, Durham, 1994.

Holderness G., "Miners and the Novel: From Bourgeois to Proletarian Fiction," in: J. Hawthorn, ed., *The British Working-Class Novel in the Twentieth Century*, London, Baltimore (MD), 1984, 19–34.

Klaus H. G., *The Socialist Novel in Britain*, Brighton, 1982.

Ostrovskaya E. S., "Pervaia popytka sozdaniia britanskoi seksii MORPa v kontekste istorii MORPa i zhurnala 'Internatsional'naia literatura'," *Novye rossiiskie gumanitarnye issledovaniia*, 15.12.2014 (<http://www.nrgumis.ru/articles/290/>).

## Acknowledgements

Project "European Literature in Comparative Perspective: Method and Interpretation," carried out within the framework of the Basic Research Program at the National Research University Higher School of Economics, Moscow in 2016.

**Елена Сергеевна Островская**, канд. филол. наук

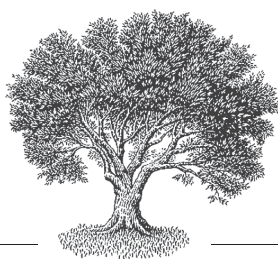
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики",  
доцент Школы филологии Факультета гуманитарных наук

105066 Москва, ул. Старая Басманная, д. 21/4

Россия/Russia

esostrovskaya@hse.ru

Received December 16, 2016



Из истории сербско-  
русских историко-  
культурных связей:  
Душан Иванович  
Семиз (1884–1955) и  
его семья. Заметки  
к материалам  
петербургских  
и московских  
архивов\*

**Милена Всеволодовна  
Рождественская**

С.-Петербургский государственный  
университет  
С.-Петербург, Россия

From History of  
Serbian-Russian  
Historical and  
Cultural Relations:  
Dušan I. Semiz (1884–  
1955) and His Family.  
Commentaries to  
Archival Materials  
from St. Petersburg  
and Moscow

**Milena V. Rozhdestvenskaia**

St. Petersburg State University  
St. Petersburg, Russia

Резюме

Судьба сербского политэмигранта в России, журналиста, политического деятеля и историка Душана Ивановича Семиза (1884–1955) и его семьи впервые рассматривается на основе архивных материалов из петербургских и некоторых московских хранилищ — Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН, Центрального государственного исторического архива (С.-Петербург), Архива РАН (Москва). Журналист, корреспондент и фотокорреспондент

\* Статья подготовлена к XVI Международному Съезду славистов (август 2018, Белград). Приношу глубокую благодарность Дмитрию Георгиевичу Полонскому за неоценимую помощь и советы при подготовке статьи.

на фронтах Первой мировой войны, автор исторических и политических брошюр и книг, переводов сербского эпоса на русский язык, Д. И. Семиз был впервые арестован в Ленинграде в 1929 г. и осужден на пять лет исправительно-трудовых лагерей. За первым последовал еще ряд арестов. Д. И. Семиз работал на лесоповале в Архангельской области и на строительстве Беломорско-Балтийского канала, отбывал ссылку в Казахстане, в поселке Берлик, куда позже был выслан А. И. Солженицын. Освобожден незадолго до смерти в 1953 г. В статье приводятся фрагменты работ Д. И. Семиза об историко-политических отношениях России и Сербии, его письма родным из заключения и ссылки и письма родных к нему. В них видна яркая личность Д. И. Семиза, его мужественный и сильный характер, до конца не сломленный даже в условиях лагеря. Представленные в статье архивные материалы являются еще одним живым свидетельством эпохи сталинских репрессий, а также представляют интерес для изучения сербско-русских историко-культурных связей в середине XX века.

#### Ключевые слова

Душан Иванович Семиз, семья Семизов, архивные материалы, сербско-русские историко-культурные связи, история Балкан, журналистика, сталинские репрессии, Беломорско-Балтийский канал, ГУЛАГ

#### Abstract

The fate of a Serbian political emigrant in Russia, the journalist, politician, and historian Dušan Ivanović Semiz (1884–1955) and his family, is studied for the first time on the basis of archival materials from St. Petersburg: the Institute of Russian Literature of the Russian Academy of Sciences (Pushkin House) and the Central State Historical Archive (St. Petersburg) and Archive of Russian Academy of Sciences (Moscow). Dušan Semiz was a journalist and press correspondent at the frontlines of WWI and the author of historical and political pamphlets and books, and translations of Serbian epics into Russian. He was first arrested in Leningrad in 1929 for being a former active participant in the Serbian nationalist revolutionary organisation Crna ruka (The Black Hand) and sentenced to five years in the GULAG. His first spell in the labor camps was followed by several others. Semiz did hard labor as a lumberjack in the Archangel region and at the construction of the White Sea–Baltic Canal; he was exiled to Kazakhstan in Berlik, where Alexander Solzhenitsyn was also later exiled. Semiz was not released from the GULAG until 1953, not long before his death. Here I present some fragments of the works by Semiz on historical and current relationships between Serbia and Russia, the causes of WWII, as well as his letters from the GULAG and exile to his family and letters from his family to him. These documents show his strong personality, which was maintained even through his period in the GULAG. The archive materials presented in the paper are another historical document of Stalinist terror and are of interest for the study of Serbo-Russian historical and cultural links in the mid 20th century.

#### Keywords

Dušan Semiz, Semiz family, archival materials, Serbian-Russian historical and cultural relations, History of Balkans, repressions by Stalin, White Sea-Baltic Canal, GULAG

Имя Душана Ивановича Семиза нельзя назвать совсем не известным в истории славистики. Родившийся в г. Мостаре (Герцеговина) 21 мая 1884 года, он умер в феврале 1955 года в России, в небольшом городке Мышкине Ярославской области, незадолго до этого вернувшись из ссылки после сталинских лагерей, и был похоронен на Мышкинском городском кладбище. Его судьба в связи с судьбой его семьи заслуживает особого внимания не только как яркий пример человеческой личности в трагической истории русского XX века, но и как феномен сербско-русских историко-культурных связей, в которые вмешалась большая политика. В 1998 г. в краткой заметке я писала о Д. И. Семизе:

большую часть жизни он прожил в Петербурге-Ленинграде, оставил немалое историко-литературное и публицистическое наследие, много писал и думал об исторических путях Сербии и России, о судьбах славянства в XX веке, о южнославянских культурных традициях. Академик Н. С. Державин в конце 1920-х гг. назвал Д. И. Семиза серьезным специалистом по истории и культуре южных славян [Рождественская 1998: 27].

В этой статье меня будет интересовать главным образом его жизнь в России и в СССР; то, как основные ее события отразились в архивных материалах. Однако я не ставлю целью их полное и комментированное описание и воссоздание на их основе биографии Д. И. Семиза — это дело специалистов-историков. Хочу лишь обратить внимание заинтересованных исследователей на некоторые любопытные материалы о Д. И. Семизе, сохранившиеся в государственных хранилищах Петербурга и Москвы, поэтому рассматриваю свою статью как предварительную.

В Петербурге архивные материалы Д. И. Семиза хранятся, во-первых, в Отделе рукописей Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН (ОР ИРЛИ)<sup>1</sup> и в Центральном государственном историческом архиве С.-Петербурга (ЦГИА)<sup>2</sup>. В Москве они находятся в Архиве РАН (АРАН) в фонде академика В. И. Пичеты (1878–1947), известного слависта и родственника Д. И. Семиза<sup>3</sup>. Кроме того, в Государственном Архиве РФ (Москва) в фонде Отделения по охране общественной безопасности и порядка в Москве (т. е. Охранного отделения) при московском градоначальнике хранится дело за 1916 г. с заголовком “О присяжном

<sup>1</sup> ИРЛИ РАН, ф. 470. В настоящее время фонд находится в научно-технической обработке. Сердечно благодарю заведующую ОР ИРЛИ РАН д. ф. н. Татьяну Сергеевну Царькову за любезное разрешение ознакомиться с фондом и частично опубликовать ряд материалов.

<sup>2</sup> ЦГИА, ф. 513, оп. 163 (Петроградская городская управа), № 1791.

<sup>3</sup> Два письма Д. И. Семиза в личном фонде В. И. Пичеты: АРАН, ф. 1548, оп. 3. Д. 198 и АРАН, ф. 1548, оп. 4. Д. 92. За эти сведения и возможность ознакомиться с письмами Д. И. Семиза благодарю члена-корреспондента РАН Ф. Б. Успенского и старшего научного сотрудника Архива РАН Д. Г. Полонского.

поверенном Душане Ивановиче Семиз<sup>4</sup>. К сожалению, этот фонд оказался вне нашего поля зрения, и его материалы остаются за рамками данной статьи, в которой основное внимание уделяется петербургским архивам.

По ходу изложения в статье приводятся фрагменты из писем Душана Ивановича и его родных, хранящиеся в ОР ИРЛИ, без указания на номер дела и страницы, поскольку фонд, как было указано, еще находится в научно-технической обработке. В тех случаях, когда слова в документе сокращены, недостающие буквы восстанавливаются в угловых скобках. В прямоугольные скобки заключаются некоторые купюры и примечания. В петербургском ЦГИА фонд Д. И. Семиза (ф. 513) представлен в основном документами о его служебных передвижениях, заявлениями и деловыми записками. Помимо послужного списка Д. И. Семиза, здесь имеются сведения о том, что он окончил курс юридических наук Императорского Казанского университета, работал в должности помощника делопроизводителя 4-й степени V Отделения, стал кандидатом правоведения Императорского университета делопроизводства городской управы. Все эти материалы относятся к периоду жизни Д. И. Семиза в России до его арестов. Отражена в них и патриотическая деятельность Д. И. Семиза во время Балканской и Первой мировой войн<sup>5</sup>. Так, сохранилась недатированная записка председателя подготовительной Комиссии по организации врачебной и санитарной помощи войскам Болгарии, Греции, Сербии, Черногории П. П. Дурново<sup>6</sup> городскому голове И. И. Глазунову<sup>7</sup> о том, что “секретарем Комиссии приглашен делопроизводитель городской Управы Д. И. Семиз” (ЦГИА, ф. 513, оп. 163. Д. 1791. Л. 29). Позднее, 29 июля 1914 г., Д. И. Семиз, занимавший тогда должность делопроизводителя 2-го стола Инженерно-канализационного Отдела, подал рапорт с просьбой разрешить ему “долгосрочный

<sup>4</sup> ГА РФ, ф. 63, оп. 36. Д. 267.

<sup>5</sup> Скорее всего, в сохранившихся документах речь идет о Первой Балканской войне (октябрь 1912 — май 1913), которая велась между Балканским союзом (Болгария, Греция, Сербия, Черногория) против Османской империи. Война завершилась Лондонским мирным договором 30 мая 1913 г. Однако Балканский союз не был удовлетворен условиями договора, и 29 июня вспыхнула Вторая Балканская война, длившаяся всего месяц и закончившаяся Бухарестским мирным договором 29 июля 1913 г.

<sup>6</sup> Петр Павлович Дурново (1835–1919) — государственный военный деятель, генерал от инфантерии, управляющий Департаментом уделов, московский генерал-губернатор, с 1881 по 1917 г. гласный Петербургской городской думы, член Государственного совета. О нем: [Шилов И Кузьмин 2006: 307–309].

<sup>7</sup> Илья Иванович Глазунов (1856–1913) — с 1881 г. гласный Петербургской городской думы, был также почетным мировым судьей, членом Совестьательного по врачебно-санитарной части присутствия. Занимал должность городского головы с января 1910 по февраль 1913 г. Соответственно, записку можно датировать этим временным промежутком. Об И. И. Глазунове: [Бауман 2003: 279–280].



отпуск без сохранения содержания в виду начавшихся военных действий между Сербией и Австро-Венгрией” и, как он писал, “желая принести посильную помощь родившему меня сербскому народу, я отправляюсь добровольцем на театр военных действий” (ЦГИА, ф. 513, оп. 163. Д. 1791. Л. 35).

В фонде Д. И. Семиза в ОР ИРЛИ сохранились также материалы делового характера, связанные уже в основном с годами его арестов и ссылкой. Это переписка дочери Д. И. Семиза М. Д. Семиз с должностными лицами по поводу арестов отца, запросы прокурору, письма в официальные инстанции ОГПУ и НКВД, официальные характеристики Д. И. Семиза. Основную часть сознательной жизни до своего первого ареста органами ГПУ в 1929 г. Д. И. Семиз прожил в тогдашнем Ленинграде, поэтому его фонд в ОР ИРЛИ оказался наиболее полным, чем в других хранилищах. Он содержит материалы, связанные не только с личностью самого Д. И. Семиза, но и с членами его семьи. Фонд состоит из пяти объемных коробок с папками, содержащими документы, конверты с письмами, фотографии, альбомы, рукописные и машинописные материалы. Они весьма разнообразны по содержанию и представляют собой богатый источник для исследователей не только сербско-русских исторических, политических и культурных связей, но и для истории ГУЛАГа в СССР. Особое место занимает и присоединенный к фонду Д. И. Семиза архив его дочери, Милены Душановны Семиз (1909–1984), специалиста по византийскому и древнерусскому искусству, в прошлом сотрудницы Государственного Эрмитажа, а в последние годы жизни — заведующей библиотекой Центрального музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева в Москве. Архив Д. И. Семиза был передан ею в ОР ИРЛИ в 1958–1959 гг., а после смерти ее собственный архив по завещанию был присоединен к фонду отца. В немногих сохранившихся ответных письмах дочери к отцу, написанных с огромной любовью, в полной мере проявились ее мужество и терпение. Всю свою жизнь без остатка она посвятила ему, и слово “папа” в ее устах звучало всегда с большой буквы. В одном из писем от 22 февраля 1947 г. в лагерь под Архангельском она писала:

Дорогой, родной, папа мой! Получили твою открыточку. Я уже писала тебе, что 12/II 47 послала в прокуратуру УИТЛ Арх<ангельской> обл<асти> заявление, с приложением документов о болезни мамы. С просьбой разрешить тебе приехать в Мышкин. Даже если и <в> ссылку, то сюда, где живем мы. Ибо мама больна, я одна не разорвусь помочь и ей, и тебе и, главное, Мышкин — сельская местность, у нас поселковый совет и живут много административно высланных. Хорошо бы, и ты со своей стороны похлопотал. [. . .] Господи! скорее бы нам быть вместе! Голубенький мой, жду твоей телеграммы — помчусь! Навстречу!

В приволжский городок Мышкин, родные места жены Д. И. Семиза Натальи Дмитриевны Роговой, она с дочерью были высланы из Ленинграда как члены семьи репрессированного после первой блокадной зимы в 1942 г. И оставались там жить вплоть до смерти Н. Д. Роговой-Семиз в июне 1965 г., после чего в 1966 г. Милена Душановна переехала в Москву. А пока она делала все возможное и невозможное, чтобы хоть чем-то облегчить участь своего отца. Иногда это удавалось. Ей помогали народная артистка СССР Е. П. Корчагина-Александровская (1874–1951) — депутат исполкома Ленинграда в те годы; а также директор Государственного Эрмитажа академик И. А. Орбели (1887–1961), отправлявший ее как свою сотрудницу под видом научных поездок в Архангельскую область с тем, чтобы она смогла повидаться с отцом на пересылках. В ее части фонда Д. И. Семиза сохранилось несколько документов, свидетельствующих о ее хлопотах об отце в высших государственных инстанциях, материалов по истории ее семьи, переписка с ее друзьями, бывшими коллегами по Государственному Эрмитажу<sup>8</sup>. Эта женщина, которую мне посчастливилось не просто знать многие годы как ближайшую подругу моей матери по ленинградскому университету, но быть ее крестницей и получить ее имя, обладала удивительным даром притяжения к себе людей, и ее дом в последние годы жизни в Москве всегда был полон друзей, особенно молодых. Именно она бережно сохранила архив своего отца. Эта статья — дань и ее памяти.

Краткие биографические сведения о Д. И. Семизе уже становились предметом исследовательского внимания [Горяинов 2006: 117; Заварзина 2016; Рогов 1998; Рождественская 1996; ЕАДЕМ 1998]<sup>9</sup>. Однако в этих небольших статьях архивные материалы из петербургских хранилищ использованы далеко не полностью. Так как моя заметка [Ibid.: 27–30] вышла тиражом в 200 экземпляров и стала библиографической редкостью, приведу эпиграф к ней из стихотворения о Д. И. Семизе брата его жены А. Д. Рогова, историка и поэта:

С герцеговинских круч пришедший к нам юнак  
 Надолго жертвой стал всеильного тирана.  
 Из беломорских стуж, из пекла Казахстана  
 Непокоренный дух принес в родной очаг.

<sup>8</sup> Письма М. Д. Семиз адресованы сотрудникам Государственного Эрмитажа Т. А. Измайловой (1907–1989), В. С. Шандровской (1922–2017), А. В. Банк (1906–1984), А. Л. Якобсону (1906–1984), И. Г. Спасскому (1904–1990), Т. М. Соколовой (?), А. Ф. Каликину (1876–1971), А. Я. Каковкину (1938–2015) и др.

<sup>9</sup> В содержательной публикации гимназистки А. Заварзиной впервые приведены материалы из архива Романа Дмитриевича Рогова, жившего в г. Владимире, — брата жены Д. И. Семиза Натальи Дмитриевны Роговой-Семиз: ее письма брату и письма М. Д. Семиз к дяде [Заварзина 2016].

На стене Мышкинского дома, куда из лагеря и ссылки возвращался Д. И. Семиз и где он скончался в феврале 1955 г., еще в конце 1950-х и в 1960-е гг. висели рядом два его портрета. На одном полноватый, пышноволосый, с твердым горячим взглядом крепкий молодой мужчина, на другом — седой, изможденный старик с потухшим взором, с изборожденным резкими морщинами лицом. В этих фотографиях — весь путь его русской Голгофы. Позже А. Д. Рогов напишет:

Где ты, дом наш родной? Не промотан,  
Не проигран судьбой в “фараон”,  
Ты великою бурей разметан  
И преступной рукою сожжен.

Душан Йован (Иванович) Семиз родился и учился в гимназии в городе Мостаре, откуда был исключен с “волчьим билетом” в связи с участием в оппозиционном политическом движении и беспорядками среди гимназистов. Он переезжает в Полтаву к своему родственнику по материнской линии, протоиерею Йовану Пичета, отцу будущего известного славыста академика Владимира Ивановича Пичеты [Горяинов 2004: 116–153]; оканчивает Полтавскую духовную семинарию, а затем обучается юриспруденции в Казанском и С.-Петербургском университетах, о чем сохранились сведения в фонде Д. И. Семиза в петербургском ЦГИА. На протяжении всей жизни Душан Иванович никогда не забывал о родной сербской земле и своих предках. Во вступительной статье к предполагаемому изданию сербского эпоса в его переводах, но так и не увидевшему свет, он писал:

Слушая песни из уст дедов и отцов, мы напивались [так! — М. Р.] беззаветною любовью к родившему нас народу, подчас обильно обливая слезами, горькими детскими слезами его тяжелую жизнь в прошлом и настоящем, в своей юной душе давая себе обет — служить ему, бороться за него, защищать его, мстить за него, не покидать его, отдать ему всего себя и самую жизнь свою. Мы любовались героями песен, мы хотели быть на них похожими и обладать их качествами (ОР ИРЛИ, ф. 470. Л. 2 [машинопись, копия]).

Эти слова звучат как клятва. Понятно, что вынужденный с юных лет покинуть родину, Д. И. Семиз постоянно думал о ней и о своем роде. В его фонде в ОР ИРЛИ сохранилась составленная им родословная Семизов. Особенно его патриотические чувства обострились в заключении.

В одном из писем от 1 марта 1933 г. из лагеря на Беломорско-Балтийском канале он даже советовал жене и дочери: “Быть может, никогда больше не увижу вас. . . О Господи, что делать? Что с нами делают и еще сделают?! Подумайте в крайности, как бы вам вырваться на мою родину.

Быть может, хоть там жизни спасете”. Даже в лишениях и болезни Д. И. Семиз находит утешение в памяти о родной потерянной им Сербии, в любви к своим близким. Сознание единства своего рода, надежда на воссоединение с семьей поддерживают его силы. В том же письме из Белбалтлага он пишет:

У нас тоже беда не меньшая — смена начальства. Падение на Канале темпов — всем льготы аннулированы. Снова пересмотр, многих лишают данных в ноябре льгот. Могут и меня лишить, но я не печалюсь. Я согласен на все муки и страдания, лишь бы вы были здоровы, и вас бы не терзали и не мучили. Свиданья прекратили давать. Никого к нам не подпускают, ждем еще больших строгостей. Много народу из инж<енерно>-техн<ического> персонала арестовано — так говорят. Предают суду за “туфту”. Что будет дальше, не знаем, и что нас в дальнейшем ждет, тоже не знаем. Поэтому о приезде одной из вас речи быть не может. И это меня убивает, хотелось бы с вами проститься перед вашей Голгофой.

В другом письме уже от 20 ноября 1942 г. Д. И. Семиз также страдает от невозможности быть рядом с родными в эти трудные для него и всей страны годы, и от неведения своей будущей участи:

Как бы хотелось еще раз в жизни взглянуть на собранные вместе остатки нашей когда-то большой семьи. Сколько могил рассеяно по разным концам Родины и за Родину. А в Югославии никого в живых нет, вероятно. Бранко старый партизан [. . .] положил свою голову. А я инициатор и организатор в 1915 г. 50-тысячного добровольческого корпуса — где нахожусь? И сколько еще пробуду здесь?

Забываясь о положении своих родных, он даже предлагал им отказаться от него, что, к сожалению, нередко входило в практику тех лет:

Я привык к терзаньям [. . .], что лично готов всю жизнь быть в таких условиях, только бы вас не пр<нрзб>, не мучили, не терзали. Если преследование вас <нрзб> моего заключения, если нужно и вам это [. . .] откажитесь формально от меня. Ведь формальность же не связывает нас — а любовь, кровь. А любовь не вытравится, кровь не подменится — она говорит и будет говорить (письмо от 1 марта 1943 г.).

В Сербии до переезда в Россию Д. И. Семиз был активным участником движения южных славян за независимость, входил в студенческие революционные организации “Черная рука”<sup>10</sup> и “Млада

<sup>10</sup> Об этой организации, действовавшей до 1917 гг. и ставившей целями освобождение сербов из-под власти Австро-Венгрии и создание Великой Сербии на территории, населенной южными славянами; руководстве и деятельности “Черной руки”, см.: [МАСКЕНЗИЕ 1989] (русское издание: [Маккензи 2005]); КАЗИМИРОВИЧ 1997; ПИСАРЕВ 1990].

Босна”<sup>11</sup>. В начале XX в. он включается в политическую борьбу, в качестве журналиста и историка публикует статьи об истории Сербии и южных славян на Балканах, в годы Первой мировой войны участвует не только в боевых действиях, но становится фронтовым военным корреспондентом, о чем свидетельствует богатейший фотоархив в его фонде в ОР ИРЛИ. Выходят его публикации в периодической печати на его родине, а также в Петербурге и Москве. в журналах “Nova Evropa”, “Маевци”, “Вестник Европы”, в газетах “Биржевые Ведомости”, “День”, “Русское слово” и других. Активно работает в Славянском комитете во время войны, читает лекции в Большом зале Политехнического музея в Москве, сбор с которых идет на помощь славянам на Балканах и раненым. Статьи Д. И. Семиза выходили на сербском и русском языках, иногда под псевдонимом “Шумбор”. Оттиски статей, их черновые варианты, машинописные экземпляры многих этих публикаций и документов сохранились в его пушкинодомском фонде [Вукичевич и Семиз 1913; Семиз 1908; IDEM 1912; IDEM 1916А; IDEM 1916Б]. В одной из своих книг о борьбе сербов в Первую мировую войну Д. И. Семиз писал:

Жестока судьба сербов. Отступая к Косову, армия получила приказ “Раненых товарищей не подбирать!” Там, на Косове, нет городов, негде поместить, нечем кормить больных и раненых. А впереди — отступление в Албанию. Господи, что это за муки были! Кто не был на войне, тот не поймет, что такое боевой товарищ. На войне люди живут, как умирающий, приобщившись св. Тайн накануне смерти. Брат родной не так дорог, не так близок, как боевой товарищ. Взгляд, проникающий в душу, умоляющий, беспомощный, сопровождает вас. Вы отходите, бросаете друга, сознавая, что он будет приколот безжалостной рукой врага. Армия это знала, она это реально осязала [Семиз 1916А: 35].

Два года спустя, в 1918 г., Д. И. Семиз опубликовал книгу о движении сербских добровольцев во время Первой мировой войны “Дрина-Добруджа-Мурманск”. Он сблизился с учеными-славистами В. Ягичем, С. Младеновым. Вместе с тем, еще с 1902 г. жизнь Д. И. Семиза была все больше связана с С.-Петербургом и одновременно с городком Мышкином на Волге Ярославской губернии. Из этих мест (городов Рыбинск и Мышкин) происходила семья его будущей жены, врача Натальи Дмитриевны Роговой, принадлежавшая к дворянскому роду. С Душаном Ивановичем они обвенчались 10 июля 1907 г. в церкви Рождества Пресвятой Богородицы села Оносово Мышкинского уезда Ярославской губернии. Вскоре молодая семья переезжает в С.-Петербург. Он продолжает

---

<sup>11</sup> “Млада Босна” — сербско-боснийская молодежная революционная организация (1912–1914), боровшаяся за присоединение Боснии и Герцеговины к Великой Сербии. Члены “Младой Босны” поддерживали связь с организацией “Черная рука”.



работать как журналист, печатает на сербском языке статьи о России и Сербии, о проблемах сербско-хорватской идентичности, переводит на русский язык сербский эпос. Он работает в культурно-просветительских организациях, а также как юрисконсульт в разных учреждениях, но об этом далее.

Первый раз Д. И. Семиз был в 1929 г. арестован решением Коллегии ОГПУ по 116 и 117 статьям Уголовного кодекса<sup>12</sup> и осужден на 10 лет в исправительно-трудовой лагерь в Карелию, в Медвежьегорск (Медгора), а затем переведен в Беломорско-Балтийский лагерь (Белбалтлаг). В фонде Д. И. Семиза в РО ИРЛИ в одной из папок сохранилась “Книжка ударника” Белбалткомбината ОГПУ 1933 г., на обложке которой отпечатано: “Труд в СССР есть дело чести, дело славы, дело доблести и героизма (Сталин)”. В Белбалтлаге Д. И. Семиз был техническим делопроизводителем, однако, судя по письмам к родным, ему приходилось часто выполнять и тяжелую физическую работу и в лагере в Архангельской области, и на строительстве канала, при этом страдая от голода и болезней. Дочь старалась поддержать отца, отправляя посылки с самым необходимым, что тоже требовало от нее немалых усилий и материальных, и физических. 7 марта 1943 г. Душан Иванович в письме, отправленном близким из так называемого “Сельхозучастка” на станции Плесецкая Северной железной дороги, писал:

О посылке: кланяюсь вам в ноги за вашу заботу. Иногда просто валюсь с ног, идя по снегу, которого здесь небывалое количество. Сугробы по несколько метров. Получаю 0,500 гр. хлеба, вот и вся моя пища. Боюсь, что не выживу, уж очень, даже катастрофически, худею не по дням, а по часам, да на холоде и ветрах провожу с утра до ночи. Приходится работать, людей не хватает. Подготавливаем парники, теплицы к посевам. Заготавливаем удобрения для полей. Я писал вам, что я теперь работаю на сельскохозяйственном участке. Работа ударная, необходимая — было бы питание да силенки работать, то можно было с пользой и для своего здоровья — на чистом воздухе, кругом в лесу...

Однако даже чистый лесной воздух не спасал от болезней, и в письме Д. И. Семиза от 21 апреля 1943 г. читаем:

Сегодня или завтра отправляют в лазарет — второй день лежу с температурой — истощен окончательно и все время чувствую голод [...]. Сегодня украли

<sup>12</sup> Указанные статьи УК РСФСР в действовавшей тогда редакции 1926 г. предусматривали наказание за растрату и получение взятки. К разряду политических эта репрессия, очевидно, не относилась. Пока сложно сказать, в чем конкретно обвинялся по этим статьям Д. И. Семиз, каковы были основания и подробности дела 1929 г. Выяснение этих вопросов требует в будущем специальных дополнительных разысканий в Центральном архиве ФСБ РФ, где могут сохраниться материалы НКВД об аресте Д. И. Семиза.

у меня сапоги, которые из дому были мне вами даны. Они меня спасали. Попал в тяжелое положение [. . .]. Ноги опухли до колен, как тумбы, а идти сегодня придется по грязи, да с поклажей.

Лагерная жизнь, как теперь хорошо известно и от немногих живых свидетелей, и по сочинениям В. Т. Шаламова, А. И. Солженицына и других, меняет реальное восприятие важного и неважного; сосредоточивается на самом, казалось бы, незначительном в обыденной жизни.

По-видимому, только скудная помощь родных и надежда на конечное соединение с семьей давали силы Душану Ивановичу для работы. В упомянутой “Книжке ударника”, выданной Д. И. Семизу в Белбалтлаге, есть записи о благодарности от Центрального штаба по трудсоревнованию и ударничеству Беломорско-Балтийского лагеря ОГПУ “за хорошую работу”, отметки об общественных нагрузках Д. И. Семиза — участие в работе юридической бригады, в выпуске стенгазет, в ведении среди заключенных кружка по экономике. Сохранилась также выписка из личного дела под № 3212 “За ударную работу и трудовые зачеты”. В 1934 г. Д. И. Семиз был досрочно освобожден, вернулся в Ленинград, работал инспектором-методистом культурно-массового Отдела Ленсовета по организации лекций и научных докладов и университетов культуры, а затем вплоть до своего второго ареста 26 февраля 1938 г. по доносу квартирной соседки в доме на Литейном проспекте, 24, — известном петербуржцам Дому Мурузи, где проживала семья Д. И. Семиза, — был юрисконсультom административного Отдела ленинградского Губисполкома, затем Облисполкома, а в момент ареста юрисконсультom Ленинградского мясокомбината.

26 июля 1939 г. Д. И. Семиз был вновь осужден, как отмечено в выданной ему справке под № 558, “по делу НКВД СССР г. Москва, по статье 58-6-11 УК к лишению свободы на 5 лет без поражения в правах”<sup>13</sup>. Он был арестован и отправлен в лагерь в с. Наволоки Архангельской области. Незадолго до начала Великой Отечественной войны, 3 марта 1941 г., Д. И. Семиз пишет родным:

Живу, как на необитаемом острове — значительно хуже, чем было в тюрьме во всех отношениях. Особым совещанием изолирован, репрессирован на пять лет, считая с 27/II 38 г. за шпионаж <по> какой-то или одной из статей. Срок кончается 6/II/ 43 года. Уже четвертый год начался. Доживу ли я еще эти 2 года, не знаю. Честно говоря, я сомневаюсь. . . Я жертва стихии, Комитетских

---

<sup>13</sup> Скорее всего, донос соседки по квартире был только одним из предлогов ареста. Статья, по которой был осужден Д. И. Семиз в 1939 г., — “шпионаж в составе организованной группы”. Возможно, причиной ареста было то, что Душан Иванович принадлежал сербской диаспоре. Этот вопрос требует более основательного изучения в будущем.

установок. Подошел под мерку и признаки, и пошел, куда многие и многие тысячи пошли. А “люди” помогли мне указать на меня, что, мол, “не то он де<лае>ть”. И с своей стороны смошенничали в установлении свидетельств с “установками и признаками”. Вот все в моем “деле” — мое дело.

В годы войны обстоятельства содержания заключенных изменились, но вопрос об освобождении Д. И. Семиза оставался открытым, вместе с тем давая ему определенную надежду. Иногда его охватывало отчаяние. В письме семье от 26 ноября 1942 г. он сообщал:

С сегодняшнего дня осталось ровно три месяца, когда срок мой должен закончиться. Боюсь думать об этом дне, а еще более беспокоит сознание, что могу остаться здесь до окончания войны. Немало случаев, что таких, как я, задерживают — дают расписаться, что их оставляют до конца войны. Но есть случаи, что и не задерживают. Чем руководствуются, трудно сказать [. . .]. В лучшем случае, если удастся вырваться отсюда, к вам мне попасть и свидеться с вами не придется. Приехать ко мне сюда невозможно — и некуда. Заколдованный круг замкнулся для меня. И за что и для чего все это? Вот это сознание и беспомощность убивают. А тут еще годы, болезнь, истощение усиливают безнадежность и веру в скорый конец, который прекратит бессмысленную и ненужную мою жизнь.

Однако в 1948 г. Душана Ивановича Семиза вновь ожидали лагерь и ссылка. Он был освобожден из заключения только после смерти Сталина в 1953 г., но не реабилитирован, претерпев краткое возвращение на свободу. В 1955 г. его дело было прекращено, очевидно, в связи со смертью в феврале того же года. В той части фонда Д. И. Семиза в РО ИРЛИ, которая составляет архив М. Д. Семиз, содержится ее переписка со следователями, крупными и мелкими начальниками НКВД и МВД, от которых зависела судьба ее отца. Это тоже важный пласт источников повседневной жизни тогдашнего Ленинграда и страны в целом. В 1950 г., находясь в ссылке в Казахстане, Д. И. Семиз писал в заявлении на имя начальника Управления МГБ по Ярославской области:

Тяжело мне умирать, сознавая свою полную невиновность перед Советским Союзом, которому я отдал знания, свои силы и энергию лучших годов жизни, работая не покладая рук с первого дня Октябрьской революции. Тяжело умирать и кончать жизнь свою беспомощным, вдали от семьи. Помогите мне реабилитировать себя и умереть в окружении семьи [Рождественская 1998: 28].

Об этом же просил Д. И. Семиз и в заявлении на имя Председателя Верховного Совета СССР К. Е. Ворошилова от 8 августа 1953 г., уже после смерти Сталина. Из этого документа мы узнаем об основных этапах мученического пути Д. И. Семиза. Он писал:

Заявление в прокуратуру я подал с твердым убеждением, что прокуратура и правосудие объективно, по-советски, отнесутся к моему заявлению. [. . .] В результате я был арестован 26. II. 1938. Следствие никакого обвинения не могло мне предъявить, поэтому вынуждено было создавать обвинительный материал в процессе следствия, которое продолжалось полтора года. В результате недоброкачественных материалов ОСО НКВД СССР своим протоколом № 22 от 26.VII.1939 г. постановило заключить меня в ИТЛ сроком на пять лет по ст. 58.6. УК, охарактеризовав меня в своем протоколе “активный участник сербской освободительно-революционной организации”<sup>14</sup>. На постановление ОСО я подал жалобу Прокурору Ленинградского военного Округа, который, проверив мою жалобу, опротестовал постановление ОСО, о чем официально известил мою семью, а я был задержан этапированием. В апреле 1940 года я отправлен был в ИТЛ в Наволоки Архангельской области. Срок моего заключения истекал 26. II. 1943 г., но я был задержан до окончания Отечественной войны. Освобожден 19. II. 1947 на общих основаниях, с ограничениями, предусмотренными 33 ст. Положения о паспортах. Таким образом я пробыл в заключении 9 лет, имея наказание 5 лет. После освобождения проживал с семьей в г. Мышкине Ярославской области, где был снова арестован 14. XII. 1948 г. и направлен в административную ссылку в с. Берлик Казахской ССР. Невзирая на мою инвалидность (II группа), находясь в ИТЛ, — работал. В 1943 г. был вызван в Управление лагерями Архангельской области, где мне было объявлено нач<sup>альником</sup> III Отдела т. Сусветовым, что Управление решило освободить меня и назначить своим юрисконсультom, но в силу моего крайнего тогда истощения я заявил ему, что едва ли смогу справиться с работой. Мне уже 70 лет и 50 лет стажа. Инвалид и больной, нуждаюсь в постоянном уходе. Поэтому прошу Вас, гр. Председатель, распространить на меня п. 6. амнистии Верховного Совета СССР от 27. III. 53 г. и дать мне возможность дожить оставшиеся дни жизни в кругу своей семьи.

На это заявление ответа не последовало.

6 ноября 1951 г. Д. И. Семиз записал: “Дежурство в 12 часов ночи. 23 года назад роковой перелом в моей жизни”. Однако приведенное заявление, видимо, все же возымело действие. Осенью 1953 г. в Мышкин пришла телеграмма: “Освобожден. Ликвидируюсь, подробности письмом”. Однако дальнейшие приводимые сведения и письмо весны 1954 г. свидетельствуют, что Д.И. Семиз еще не освободился, а лишь ожидал освобождения. Во многом помогли и хлопоты Милены Душановны, свидетельством чему являются ответные письма к ней начальников разного уровня. Так, 15 апреля 1954 г. в Мышкин было отправлено из Москвы письмо за подписью военного прокурора Отдела ГВП полковника юстиции Васильева, в котором тот сообщал, “что проверка дела и жалобы Д. И. Семиз еще не окончено. Приняты меры к ускорению проверки, по окончании которой о результатах Вам будет сообщено”.

<sup>14</sup> См. прим. 16.

27 июня 1954 г. военный прокурор Отдела ГВП, майор юстиции Шкарупа писал М. Д. Семиз:

На Ваше заявление от 5 июня 1954 года сообщаю, что согласно указу Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1953 г. “Об амнистии” с Вашего отца Семиз Душана Ивановича, как осужденного к 5 годам ИТЛ и отбывшего эту меру наказания, судимость снята, и он подлежит освобождению из ссылки. Ваши предыдущие жалобы на неосновательность осуждения отца проверяются. Проверка еще не окончена. О результатах Вам будет сообщено дополнительно.

Наконец, когда Д. И. Семиза уже не было в живых, 14 декабря 1955 г. Военным трибуналом Ленинградского военного округа было сообщено о его реабилитации, которая произошла 12 декабря того же года “за отсутствием состава преступления с освобождением от ссылки на поселение”<sup>15</sup>.

Но вернемся к предшествующим освобождению Д. И. Семиза временам. Еще находясь в лагере, он старался заниматься умственным трудом; продолжал начатую еще в Ленинграде работу по переводу сербского эпоса на русский язык. В его фонде в ОР ИРЛИ сохранился машинописный перечень и тексты с авторской правкой 55-ти переведенных песен эпоса и две общие тетради с черновыми автографами переводов. Среди них песни о Марке Кралевице, о построении города Скадра, об Асан-Агнице, о царице Милице, о женитьбе князя Лазаря и т. д. Эти переводы, как мы уже знаем, получили поддержку акад. Н. С. Державина, который в 1934 г. дал рекомендацию Д. И. Семизу в члены Секции научных работников при Профсоюзе работников политико-просветительных учреждений СССР, охарактеризовав его как “специалиста по истории Югославии и единственного у нас в Ленинграде квалифицированного специалиста в этой области”. Общение, хотя и письменное, Д. И. Семиза с Н. С. Державиным не прервалось и позднее<sup>16</sup>. Вступительная статья Д. И. Семиза о сербском эпосе к предполагаемому изданию этих переводов, машинописная копия которой с авторской правкой сохранилась в ОР ИРЛИ, носит скорее эмоционально-поэтический, чем строго научный характер, но, на наш взгляд, представляет определенный интерес для фольклористов. Д. И. Семиз пишет в ней:

. . . мне и моим сверстникам православным, католикам и мусульманам, получившим со мною одинаковое воспитание, “народне песме” и их герои не

<sup>15</sup> Заявления Д. И. Семиза и все приведенные письма цитируются по оригиналам из его архивного фонда в ОР ИРЛИ.

<sup>16</sup> В личном архивном фонде Н. С. Державина сохранилось отправленное ему из Мышкина письмо Д. И. Семиза, относящееся к 1940-м годам: СПФ АРАН, ф. 827, оп. 4. Д. 490.



переставали быть нашими современниками. Мы не спрашивали, жив ли Кралевиц Марко, Милош Обилич, Старина Новак, Вуядин, Байо Пивлянин и Иво Селянин. Мы знали, что они живут и будут жить, и это было для нас так же ясно и просто, как то, что небо синее и будет синеть.

Даже в лишениях и болезни Д. И. Семиз находит утешение в памяти о родной Сербии, в любви к своим близким. Сознание единства своего рода, надежда на воссоединение с семьей поддерживают его силы. Во многих письмах постоянно звучит тема незаслуженного обвинения, жажда восстановления справедливости, тревога и все-таки вера и надежда на свободу.

Еще в конце 1941 г. Д. И. Семиз даже обратился за помощью к своему родственнику В. И. Пичете, причем за помощью не только бытового характера. В письме из с. Наволоки Плесецкого района Архангельской области он просил сообщить о местонахождении своей семьи, с которой потерял связь: “Просьба к тебе, — узнать и сообщить мне о судьбе моих. Написать им, если узнаешь их место нахождения — чтобы мне написали и прислали посылку, в которой крайне нуждаюсь: мыла, сахару, круп каких-нибудь, луку и жиров. Как роскош<ь> пачку махорки”. Помимо сугубо бытовых просьб он обращается к В. И. Пичете с просьбой, более для него важной:

Буду очень благодарен, если позвониш<ь> Бошковичу <который находится в Москве>, или в Коминтерн, или Аграрный Институт, и передашь ему мою просьбу, чтобы принял меры к моему освобождению<sup>17</sup>. Изолирован я постановлением Особ<ого> Совещания на 5 л. за мою принадлежность к б<ывшей> сербской нац<ионально-револ<юционной> орган<изации> “Черная Рука”. Мои товарищи, бывшие в эмиграции в Зап<адной> Европе — волей народа в марте с. г. возвращены на родину и стали — Душан Симович<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Филипп Васильевич Бошкович-Филиппович (1878–1938) — серб, югославский подданный, член ЦК компартии Югославии. Проживал в Москве. Ответственный референт Международного аграрного института. Был арестован 7 февраля 1938 г. Обвинялся по ст. 58. п. 4, 10, 11 УК РСФСР в том, что “с 1929 г. являясь членом антисоветской троцкистской организации, связанной с антисоветской организацией в Коминтерне, прибыл по ее заданию в СССР под видом партработника для проведения предательской к-р деятельности среди югославян, находящихся в СССР”. Приговорен к расстрелу Военной коллегией Верховного суда СССР 8 апреля 1938 г. по обвинению в участии в контрреволюционной террористической организации. Расстрелян и похоронен на полигоне близ пос. Коммунарка (Московская область) 8 апреля 1938 г. Реабилитирован 3 октября 1957 г. См.: АП РФ, ф. 3, оп. 24. Д. 415. Л. 198–199; публикация справки НКВД: [РАССТРЕЛЬНЫЕ СПИСКИ].

<sup>18</sup> Душан Симович (1882–1962) — югославский военачальник, генерал авиационных войск; в 1938–1940 гг. начальник Генштаба армии Королевства Югославии; в марте-апреле 1941 г. премьер-министр Югославии. После объявления гитлеровской Германией войны против Югославии уехал в Лондон, вернулся в Югославию в 1945 г. О нем и его правительстве см., например:

премьером югославского правительства <нрзб> в Лондоне, а Борин Симич<sup>19</sup> приезжал в начале апреля с. г. в Москву во главе югославской делегации, подписавшей договор дружбы с Сов<етским> Союзом. Эта честь им оказана народом как лидерам “Черной Руки”, я же охарактеризован Постановлением Особ<ого> Совец<ания> “активным деятелем Черной Руки” и поэтому изолирован на 5 лет. Сообщи мне адрес Бошковица, и я напишу ему тоже. Положение мое тяжелое. Остался год и 2 месяца, но я до срока не доживу, до того я ослаб и изнемог. Привет Алек<сandre> Петровне<sup>20</sup>. Прости за беспокойство. Крепко обнимаю Душан (АРАН, ф. 1548, оп. 3. Д. 198. Л. 1–1об.).

Как видим, Д. И. Семиз был осведомлен о судьбе своих бывших соратников, несмотря на отсутствие какой бы то ни было связи с ними. При этом он явно не знал об аресте Ф. Бошковица, произошедшим почти одновременно с его собственным арестом, если просил В. И. Пичету обратиться к нему. Вряд ли В. И. Пичета мог в таком случае помочь Д. И. Семизу. Его письмо в рукописи датировано 16 февраля 1941 г., а упомянутый в письме Душан Симович уехал в Лондон в апреле того же года. На этом основании можно предположить, что Д. И. Семиз ошибочно датировал свое письмо В. И. Пичете, и в реальности оно было написано в декабре. С другой стороны, находясь в лагере, Д. И. Семиз мог и не знать точной даты отъезда Д. Симовича. Ситуация остается не проясненной, ее предстоит выяснить будущим исследователям биографии Д. И. Семиза, обратившись в Центральный архив ФСБ, что потребует усилий и времени.

Из письма родным от 6 февраля 1943 г. узнаем, что Душан Иванович спустя два года был “оставлен в том же положении до окончания военных действий”. 7 марта 1943 г. в письме родным Д. И. Семиз снова вспоминает о В. И. Пичете:

По-моему, В. И. в Ташкенте. Я здесь встретил его статью — с пометкой “Ташкент”. Не там ли часть академиков и собралась для работы? В последнем письме я писал, что следует обязательно посетить ген<ерала> майора Гундорова<sup>21</sup>, если Милуша<sup>22</sup> попадет в Москву. Он председатель Военной Ком<ендатуры>.

[ТОМАСЕВИЧ 2001] (по указателю).

<sup>19</sup> Борин (Божин) Симич (1881–1966) — полковник сербской армии, сторонник неприсоединения Югославии к Тройственному союзу. Министр без портфеля в правительстве Д. Симовича. Участвовал в работе Коминтерна и в подписании договора 5 апреля 1941 г. о дружбе и ненападении между СССР и Королевством Югославия.

<sup>20</sup> Александра Петровна Пичета (1892–1973) — вторая жена В. И. Пичеты.

<sup>21</sup> Александр Семенович Гундоров (1895–1973) — генерал-лейтенант инженерных войск, председатель Всеславянского комитета, который он возглавлял с момента его создания в 1941 г. Д. И. Семиз имел в виду свое предыдущее письмо семье.

<sup>22</sup> Имеется в виду М. Д. Семиз.

Но и через одиннадцать лет после этого письма, в 1954 г., Душан Иванович все еще не представлял своей дальнейшей судьбы. Он писал родным 16 апреля:

Вчера освободили еще 5 человек пятилетников — русских и одного кабардинца. Осталось здесь нас пятилетников еще 5 чел. Подождем следующей очереди — быть может, и я попаду, уверяют, что амнистия распространена на всех 5-летников, но я “обжегся на молоке и на воду дую”. Я полон сомнений и недоверия. Не знаю, писать мне дополнительно прокуратуре свои объяснения, поскольку следствие, видимо, не все материалы приобщило к делу. Ведь по моему делу было опрошено 15 человек, главным образом, служащие мясокомбината, да наш Костя<sup>23</sup>. И никто не показал ни слова против меня и наоборот, все показания в мою пользу. Невыгодно было, вероятно, приобщить их к делу, а я их читал. [. . .] Даже если в руках и будет документ, и то буду не уверен.

Из ссылки Д. И. Семиз вернулся в город Мышкин. Отдельную страницу его биографии представляет его деятельность в разные годы в Мышкине в качестве журналиста, политика, преподавателя, и изучение этой страницы — задача будущего. Недолго довелось Душану Ивановичу Семизу прожить после освобождения в кругу семьи, рядом с матерью и дочерью. Мышкин стал и местом его упокоения на небольшом городском кладбище у церкви “Всех скорбящих радость”, долгие годы стоявшей разрушенной, а ныне полностью восстановленной. Рядом с мужем в июне 1965 года под общим крестом нашла свой последний приют и Наталья Дмитриевна Рогова-Семиз. Родовой дом Роговых на Никольской площади под № 13 сохранился в Мышкине до сих пор, и стараниями известного мышкинского культурного деятеля, краеведа, писателя, историка Владимира Александровича Гречухина на этом доме была установлена памятная доска о семье Роговых-Семиз.

В заключение приведу письмо Д. И. Семиза из его фонда в ОР ИРЛИ, написанное им 18 мая 1944 г. в ответ на письмо дочери, которая действительно положила “жизнь свою за други своя”. В письме отец воздаст должное этой искренней дочерней любви. Привожу письмо полностью, не исправляя некоторых авторских стилистических шероховатостей, вызванных тем, что русский язык все же не был для Д. И. Семиза родным:

Милые мои, мы в своей жизни много вынесли, еще много ужасных страданий висит над нашими головами, но если вы вспомните, ЧТО [выделено автором. — М. Р.] достигли путем наших страданий, то мы должны благословить

---

<sup>23</sup> Костя — Константин Романович Рогов (1913–1987), горный инженер, до Великой Отечественной войны жил в Ленинграде, в послевоенное время и до конца жизни — в Москве. Племянник Д. И. Семиза и двоюродный брат М. Д. Семиз. В фонде Д. И. Семиза в ОР ИРЛИ сохранилось несколько его писем к дяде и сестре.

их. Достигли человеческого сознания и человеческой жизни в глубоком, в бесконечном значении этого слова, а для достижения такой цели можно много вынести [. . .] Взаимная любовь, которая на протяжении 40 лет никогда не оставляла нашу семью, но напуганная обрушившимися несчастными обстоятельствами, она всех нас без исключения глубоко, благодаря этому, скрылась в сердце каждого, лишилась возможности свободного проявления, но она снова разогреет и оживит жизнь нашей семьи, и ее вечер будет, в это я верю, еще светлее и глубже, чем ее утро.

Милуша моя, человек должен страдать, чтобы быть человеческим. Страдание — это оживотворяющий принцип существования, оно просветляет непосредственное, возвышая его до духовного. Без страдания все было бы мертво и неподвижно, поэтому радоваться нужно, что мы избраны по-человечески страдать. Только человек, в котором воплотилась человечность — человек. Только такой человек способен и может любить. Он ее сосуд, а любовь — высшая действительность истинного в человеке, это только и в состоянии озарить жизнь. Вот и еще почему я плакал — слезами радости над твоим письмом за тебя, родная, человеческого человека, озаряющего твою и нашу с мамой жизнь. [. . .] и твоя к нам любовь есть Высшее, есть откровение. Поэтому и впредь имей твердую веру в простой голос твоей прекрасной благородной души. Следуй всегда лишь ее побуждениям, люби нас и никогда не забывай, что твоя любовь для меня и для матери, для родителей твоих — есть наша отчизна, святая обитель нашего общего счастья.

### Список сокращений

- АП РФ — Архив Президента РФ (Управление информационного и документационного обеспечения Администрации Президента РФ, Москва)  
 АРАН — Архив Российской академии наук (Москва)  
 ББЛП — Беломорско-Балтийское лагерное производство  
 ГПУ — Главное политическое управление СССР  
 ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН (С.-Петербург)  
 ИТЛ — исправительно-трудовой лагерь  
 МГБ — Министерство государственной безопасности СССР  
 НКВД — Народный комиссариат внутренних дел СССР  
 ОСО — Особое совещание  
 РГИА — Российский государственный исторический архив (С.-Петербург)  
 СПФ АРАН — С.-Петербургский филиал Архива Российской академии наук  
 УИТЛ — Управление исправительно-трудовых лагерей  
 УК — Уголовный кодекс РСФСР (СССР)  
 ФСБ РФ — Федеральная служба безопасности Российской Федерации  
 ЦГИА — Центральный государственный исторический архив С.-Петербурга

## Библиография

БАУМАН 2003

БАУМАН А. Л., ред., *Руководители Санкт-Петербурга*, С.-Петербург, Москва, 2003.

ВУКИЧЕВИЧ И СЕМИЗ 1913

ВУКИЧЕВИЧ М. М., СЕМИЗ Д. И., *Сербы и болгары в борьбе за свободу и культуру: Исторические параллели с XIV в. до 1878 г.*, С.-Петербург, 1913.

ГОРЯИНОВ 2004

ГОРЯИНОВ А. Н., *В России и эмиграции: Очерки о славяноведении и славистах первой половины XX века*, Москва, 2006.

ЗАВАРЗИНА 2016

ЗАВАРЗИНА А., «А дух славянский жив и будет жить вовеки, ибо с нами Бог наш» (Судьба семьи Семиз на фоне российской истории 30–60 годов XX века), in: И. ЩЕРБАКОВА, сост., *По крупницам. Российские школьники об истории XX века: Сборник работ лауреатов Всероссийского конкурса исторических исследовательских работ старшеклассников "Человек в истории. Россия — XX век"*, Электронная публикация, 24.05.2016 (<http://urokiistorii.ru/article/53234>, последнее обращение: 10.01.2018).

КАЗИМИРОВИЋ 1997

КАЗИМИРОВИЋ В., *Црна Рука. Личности и догађаји у Србији од преврата 1903 г. до Солунског процеса 1917 године*, Крагујевац, 1997.

МАККЕНЗИ 2005

МАККЕНЗИ Д., *Апис: гениальный конспиратор*, перев. с англ. И. МАКАРОВА, Москва, 2005.

ПИСАРЕВ 1990

ПИСАРЕВ Ю. А., *Тайны Первой мировой войны: Россия и Сербия в 1914–1915 гг.*, Москва, 1990.

РАССТРЕЛЬНЫЕ СПИСКИ

“Бошкович-Филиппович Филипп Васильевич. Справка НКВД”, in: С. А. МЕЛЬЧИН ET AL., сост., *Сталинские расстрельные списки*, Электронное издание (<http://stalin.memo.ru/spravki/7-199.htm>; последнее обращение: 10.12.2017).

РОГОВ 1998

РОГОВ Д. К., “Из истории одной российской семьи”, in: *Опочининские чтения*, 6, Мышкин, 1998, 31–33.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 1996

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ М. В., “Душан Иванович Семиз. Сербская Голгофа”, in: *Петербургские чтения*, 96: *Материалы Энциклопедической библиотеки “С.-Петербург — 2003”*, С.-Петербург, 1996, 458–460.

——— 1998

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ М. В., “Душан Иванович Семиз: Сербская Голгофа”, in: *Опочининские чтения*, 6, Мышкин, 1998, 27–29.

СЕМИЗ 1908

СЕМИЗ Д. И., *Очерк истории Боснии и Герцеговины*, С.-Петербург, 1908.

——— 1912

СЕМИЗ Д. И., *Сербский народ накануне войны*, С.-Петербург, 1912.

——— 1916А

СЕМИЗ Д. И., *Австрийские сербо-хорваты и Сербия*, Москва, 1916.

——— 1916Б

СЕМИЗ Д. И., *Сербская Голгофа: [О сербско-немецкой войне]*, Москва, 1916.



ШИЛОВ И КУЗЬМИН 2006

ШИЛОВ Д. Н., КУЗЬМИН Ю. А., *Члены Государственного совета Российской империи. 1801–1906. Биобиблиографический справочник*, С.-Петербург, 2006.

MACKENZIE 1989

MACKENZIE D., *Apis: The Congenial Conspirator: The Life of Colonel Dragutin T. Dimitrijević*, New York, 1989.

TOMASEVICH 2001

TOMASEVICH J., *War and Revolution in Yugoslavia, 1941–1945: Occupation and Collaboration*, Stanford, 2001.

## References

Bauman A. L., ed., *Rukovoditeli Sankt-Peterburga*, St. Petersburg, Moscow, 2003.

Goryainov A. N., *V Rossii i emigratsii: Ocherki o slavianovedenii i slavistakh pervoi poloviny XX veka*, Moscow, 2006.

Kazimirović V., *Crna Ruka. Ličnosti i događaji u Srbiji od prevrata 1903 g. do Solunskog procesa 1917 godine*, Kragujevac, 1997.

MacKenzie D., *Apis: The Congenial Conspirator: The Life of Colonel Dragutin T. Dimitrijević*, New York, 1989.

MacKenzie D., *Apis: The Congenial Conspirator*, transl. into Russian by I. Makarov, Moscow, 2005.

Pisarev Yu. A., *Tainy Pervoi mirovoi voyny: Rossiia i Serbiia v 1914–1915 gg.*, Moscow, 1990.

Rogov D. K., “Iz istorii odnoi rossiiskoi sem’i,” in: *OPOCHININSKIE CHTENIIA*, 6, Myshkin, 1998, 31–33.

Rozhdestvenskaia M. V., “Dushan Ivanovich Semiz. Serbskaia Golgofa,” in: *Peterburgskie chteniia*, 96, St. Petersburg, 1996, 458–460.

Rozhdestvenskaia M. V., “Dushan Ivanovich Semiz. Serbskaia Golgofa,” in: *OPOCHININSKIE CHTENIIA*, 6, Myshkin, 1998, 27–29.

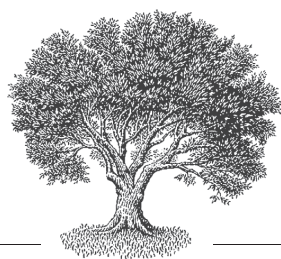
Shilov D. N., Kuz'min Yu. A., *Chleny Gosudarstvennogo soveta Rossiiskoi imperii. 1801–1906. Biobibliograficheskii spravocnik*, St. Petersburg, 2006.

Tomasevich J., *War and Revolution in Yugoslavia, 1941–1945: Occupation and Collaboration*, Stanford, 2001.

Zavarzina A., “‘A dukh slavianskii zhiv i budet zhit' voveki, ibo s nami Bog nash' (Sud'ba sem'i Semiz na fone rossiiskoi istorii 30–60 godov XX veka),” in: I. Shcherbakova, ed., *Po krupitsam. Rossiiskie shkol'niki ob istorii XX veka* (<http://urokiistorii.ru/article/53234>).

**Милена Всеволодовна Рождественская**, доктор филологических наук  
С.-Петербургский государственный университет,  
профессор кафедры истории русской литературы  
филологического факультета,  
190034 С.-Петербург, Университетская наб., д. 11  
Россия/Russia  
[m.rozhdestvenskaya@spbu.ru](mailto:m.rozhdestvenskaya@spbu.ru)

Received August 26, 2017



Влияние островного  
статуса группы на  
систему ценностей:  
к вопросу об  
идентичности  
старообрядцев  
Польши по данным  
языка\*

**Максим Максимович  
Макарцев**

Институт славяноведения РАН  
Москва, Россия

The Influence of the  
Island Status of a  
Community on Its  
System of Values:  
On the Identity of  
the Old Believers  
in Poland through  
Their Language

**Maxim M. Makartsev**

Institute for Slavic Studies of the  
Russian Academy of Sciences  
Moscow, Russia

Резюме

Статья посвящена системе ценностей и идентичности старообрядцев северо-восточной Польши. Она основана на автогенерируемых описаниях, полученных в открытом интервью во время экспедиции 2016 года. Информантам задавался вопрос “Как бы вы описали старообрядцев? Какие они для вас?”. Полученные ответы можно анализировать разными способами. В данной статье внимание обращается на структуру лексического поля реакций, которое описывается в терминах одной из универсальных классификаций ценностей (Й. П. ван Уденховена и Б. де Раада, подход “снизу вверх”). Лексическое поле реакций определенным образом отражает систему ценностей. Таким образом, анализ реакций на вопрос интервью дает возможность описать систему

\* Статья подготовлена в рамках гранта РНФ 16-18-02080 “Русский язык как основа сохранения идентичности старообрядцев Центральной и Юго-Восточной Европы”.

ценностей. Самым важным ценностным фактором у опрошенных информантов является “духовность”, которая мотивирует как первичный и как вторичный фактор большинство их реакций. Среди прочих важных факторов — “благожелательность”, “организация” и “достижение”. Полученная таким образом иерархия ценностных факторов сравнивается со списком оппозиций, через которые может быть определена идентичность островных сообществ (разработана А. А. Плотниковой): язык, религия, культурная традиция, тип расселения (компактное / дистантное), гражданство. Религия является наиболее важным параметром по числу реакций. Культурная традиция и тип расселения определяют некоторые из реакций. В то же время язык и гражданство не играют никакой роли в ответах. Гражданство — поскольку все информанты являются польскими гражданами. Язык — по причине языкового сдвига в сообществе, которое включает в себя также говорящих на польском языке, чье знание русского достаточно ограничено и пассивно.

#### Ключевые слова

русский язык за рубежом, старообрядцы Польши, славянские островные группы, идентичность, система ценностей

#### Abstract

The article considers the identity and system of values of the Old Believers in north-eastern Poland. The data for the article were open interviews eliciting self-generated labels, which are then compared with the typology of other Slavic island communities. Each of the informants was asked the questions: “How would you describe Old Believers? What are they like in your opinion?” The answers can be analyzed from various viewpoints. In the article, the scope of analysis is the structure of the lexical field of the reactions. It is then described in terms of one of the existing universal classifications of values (by J. P. van Oudenhoven and B. de Raad, a bottom-up approach). It is argued that the lexical field of the reactions reflects in a specific way the system of values, thus the analysis of the reactions to the interview questions allows for an assessment of the system of values. The most important factor is spirituality, which defines the majority of the reactions. Among other important factors are benevolence, organization, and achievement. This hierarchy is then compared to the list of the oppositions through which the identity of island communities can be defined (created by Anna Plotnikova, a top-down approach): language, religion, cultural tradition, type of incorporation into the society of the majority (dispersed vs. compact dwelling), and citizenship. From the enumerated parameters, religion seems to be the most important. Cultural tradition and type of incorporation seem to condition some of the reactions. At the same time, language and citizenship do not play any roles in the answers of the informants. Citizenship due to the fact that the group members only have Polish citizenship, so it is not an option to take part in creation of community identity. Language because linguistic shift has already started, so the community includes also Polish speakers whose knowledge of Russian is very limited and passive.

#### Keywords

Russian language abroad, Old Believers in Poland, Slavic island communities, identity, system of values

Старообрядцы Польши — миноритарная этноязыковая и культурно-конфессиональная группа в Северо-Восточной Польше, компактно расселенная в небольших анклавах в Подляшском и Варминьско-Мазурском воеводствах. Их основными центрами являются города Августов и Сувалки (в Сувалках находится большая моленная и управляющий совет старообрядцев Польши), села Габове-Гронды и Бур Августовского повята (фактически это один населенный пункт, разделенный на две части шоссе), село Водилки Сувальского повята, село Войново Пиского повята. История старообрядцев Польши восходит к XVII–XVIII векам. Село Габове-Гронды, в котором на настоящий момент старообрядцы по-прежнему являются доминирующей группой, было основано в 1865 году переселенцами из сувальско-сейненского региона. В межвоенный период духовный центр старообрядцев Польши находился в Вильне. Во время Второй мировой войны большинство старообрядцев было выслано в Германию (прежде всего в Восточную Пруссию), откуда после войны вернулись не все — многие предпочли остаться в Латвии или Литве. В настоящее время общины старообрядцев имеют субурбанный характер: многие члены общин переселились в города (прежде всего Августов и Сувалки), многие живут в селах, но ездят на работу в Августов или Сувалки. Все старообрядцы Польши принадлежат к поморскому согласию<sup>1</sup> [GREK-PAWISOWA 1999: 54–55; RAŚKO-KONIECZNAK 2016: 15]; там же см. исторический очерк расселения старообрядцев на территории современной Польши; см. также очерк истории старообрядцев сувальско-августовского региона и их социолингвистическое исследование в [GŁUSZKOWSKI 2011]; см. обзор языковой и этнолингвистической ситуации в [ГАНЕНКОВА 2017Б]).

Старообрядцы Польши по крайней мере в селах Габове-Гронды и Бур имеют статус островной группы (в других районах Польши можно говорить скорее о дисперсном расселении). Островной характер старообрядцев Польши, их удаленность от материнского ареала, противопоставленность как окружению, так и материнскому ареалу, создают сложную ситуацию, в которой вопросы идентичности и взаимодействия с окружением играют особую роль.

Идентичность можно описать как социальный дейксис, который позволяет задать положение говорящего по отношению к другим индивидуумам и группам людей *sub specie* оппозиции *свой — чужой* (которую обычно рассматривают как одну из базовых для модели мира — [Цивьян 2009: 6]). М. Бухольц и К. Холл описывают идентичность как

---

<sup>1</sup> В настоящее время они объединены в две церковных структуры: Восточную старообрядческую церковь Польши (к ней относится большинство старообрядцев Польши) и Древлеправославную церковь старообрядцев.

“реализацию культурного семиозиса, воплощаемую в производстве релевантных социополитических связей сходства и различия (*similarity and difference*), аутентичности и неаутентичности (*authenticity and inauthenticity*), легитимности и нелегитимности (*legitimacy and illegitimacy*)” [BUSNOLTZ, HALL 2004: 382]<sup>2</sup>. Понимаемая таким образом идентичность имеет несколько важных параметров: она зависит от (социального) контекста, является динамической категорией (постоянно воспроизводится в зависимости от динамики контекста, ср. с проблематикой позициональности в этнографическом исследовании) и не существует без фона (*свое* задается через не-*свое*, то есть *чужое*; границы *чужого* определяют границы *своего*).

Одной из проблем в исследовании идентичности является ее в высшей степени субъективный характер. При прямом вопросе об идентичности собеседника, его группы и их отношении к некоторым другим группам может быть получен самый разный набор ответов (в зависимости от того, кто спрашивает, в каком контексте, кто при этом присутствует, ведется или не ведется запись и т. д.), но даже если ответы унифицированы, влияния наблюдателя нельзя исключить. При исследовании миноритарных групп роль фактора субъективности возрастает, поскольку информанты могут опасаться нанести вред группе и снизить потенциал ее выживания в потенциально недружественном окружении. Таким образом, встает вопрос о том, можно ли в принципе делать верифицируемые утверждения об идентичности группы.

Конечно, при описании всех параметров (контекста и т. д.) выявляются предполагаемые источники интерференции, а позициональный подход (см., например, [МАНЕР, ТЕТРЕАУЛТ 1993]) позволяет показать, какие именно элементы идентичности исследователя повлияли на идентичность информанта. При длительном включенном наблюдении (*participant observation*) возможно набрать некоторый достаточный материал для исключения вероятных факторов интерференции. Но есть ли другие способы? Каким образом подбирать стимулы для интервью так, чтобы в сжатые сроки получить некоторый набор устойчивых параметров для описания идентичности группы?

В настоящей статье описывается опыт исследования идентичности миноритарной этноязыковой и культурно-конфессиональной группы старообрядцев Польши (Сувальский регион) методом автогенерируемых описаний, результаты которого накладываются на типологию островных групп.

Метод автогенерируемых описаний восходит к психолексическому подходу в психологии, который предполагает разработку таксономии

<sup>2</sup> Здесь и далее перевод автора статьи, если не указано иное.



для описания личности на основе естественного языка: “Наиболее явные индивидуальные и социально релевантные для жизни людей различия находят выражение в их языке” [JOHN ET AL. 1988: 174] (там же см. библиографию вопроса)<sup>3</sup>. Он предполагает анализ идентичности и других характеристик группы на основании автоописаний в полуструктурированных интервью. Материал автоописаний структурируется и описывается на основе частноязыковых или универсальных психолексических моделей, созданных по данным словарей: списки эпитетов для описания личности, извлеченные из словарей, выстраиваются в некоторые тематические ряды, проходят тестирование с информантами, экспертную оценку, после чего сводятся в еще более крупные кластеры. В современной психологии принят список из пяти элементов-мегакластеров, называемый “Большая пятерка” (англ. *Big Five*): экстраверсия (*Surgency*), уступчивость (*Agreeableness*), сознательность (*Conscientiousness*), эмоциональная стабильность (*Emotional Stability*), интеллект (*Intellect*) — см. [GOLDBERG 1992], русский перевод и валидизация в [КНЯЗЕВ ET AL. 2010].

Голландские исследователи Б. де Раад и Й. П. ван Уденховен отмечают, что выделение эпитетов для составления психологического портрета личности и многочисленные работы по исследованиям системы ценностей (см., например, [ШВАРЦ 2008]) имеют схожий метод составления аппарата [DE RAAD, VAN OUDENHOVEN 2008]<sup>4</sup>: источником всего возможного многообразия эпитетов является словарь языка (по возможности, тезаурус). Авторы указывают на схождения между личностными чертами и ценностями [ibid.: 86–87]: например, и те, и другие вызывают predisposed индивидуума к определенным действиям в определенных условиях, а некоторые личностные черты по набору факторов совпадают с ценностями (например, такая личностная черта,

<sup>3</sup> В то же время вторая часть постулата: “. . . чем более важно такое различие, тем больше вероятность того, что оно будет выражено одним словом” — вызвала критику не только со стороны психологов, но и со стороны лингвистов; даже если не принимать во внимание нечеткие границы слова как языковой единицы, очевидно, что существуют устойчивые сочетания слов, выражающие одно понятие (фразеологизмы), генерализованные выражения, гештальты и т. д. Сравним, с другой стороны, развитые синонимические ряды для разных концептов, часто важных для той или иной культуры, например, множественность имен бога в христианской и иудейской религиозной традиции.

<sup>4</sup> Отметим, впрочем, что здесь имеются в виду только работы в русле психолексического подхода. Он не единственный для описания системы ценностей. Исследование ценностей может вестись не только через анализ эпитетов-автоописаний, но и через анализ нарративов, порождаемых в качестве реакций на ключевые слова. Этот метод применяется в проекте EUROJOS [АНТРОПОВ ET AL. 2016], а наиболее представительным изданием в настоящий момент является “Аксиологический лексикон славян и их соседей” [BARTMIŃSKI ET AL. 2015].

как уступчивость (*Agreeableness*), и такая ценность, как благожелательность (*Benevolence*) — [IBID.: 93]). На основе существующих списков Б. де Раад и Й. П. ван Уденховен провели эксперимент в Нидерландах, на базе которого было сформулировано восемь ценностных факторов: благожелательность (*Benevolence*), любовь и счастье (*Love and Happiness*), организованность и достижение (*Organisation and Achievement*), компетенция (*Competence*), статус и комфорт (*Status and Comfort*), эстетика и эрудиция (*Aesthetics and Erudition*), духовность (*Spirituality*), семья и традиция (*Family and Tradition*) [IBID.: 93–95] (там же см. описание каждого из факторов) и показана их связь с личностными чертами.

Живя в социуме, респонденты обладают агентивностью, т. е. имеют контроль над своим поведением; влияют своими действиями на других субъектов; их действия являются объектом оценки, в том числе в аспекте возможной ответственности (по [DURANTI 2004: 453]). Система ценностей содержит в себе критерии для оценки действий иных членов социума, соответственно, через анализ этой системы можно показать, какие элементы социальных практик осознаются респондентами как важные для их сообщества. Это значит, что описание системы ценностей по данным языка позволяет задать контуры для описания идентичности респондентов. Существенно, что такие списки претендуют на всеохватность, тезаурусность, применимость к любой культуре, задавая пространство ее координат. Из этого есть два важных следствия. Во-первых, описание любой культуры по этой модели будет по определению меньше, чем возможный набор параметров. Во-вторых, поскольку разные культуры описываются в рамках одной системы координат, появляется возможность сравнивать их между собой на основании *tertium comparationis*.

Возможный набор оппозиций, через которые потенциально может определяться идентичность у островных групп, предлагается А. А. Плотниковой [2016а: 235 и далее] на материале Южной Славии и северных Балкан (одна из рассматриваемых в ее книге групп — старообрядцы-липоване в Румынии) и включает в себя такие параметры, как язык, религию, культурную традицию (определяемую через сочетание *своих* и *чужих* элементов и определение этих элементов на уровне дискурса), особенности проживания (сосуществование разных групп вместе или проживание в рамках замкнутой общины; экзогамия или эндогамия), гражданство (членам некоторых миноритарных островных групп соответствующие матичные государства могут предоставлять гражданство или особый статус и поддержку).

Перечисленные списки задают сетку значений, претендующую на известную степень полноты. Например, значительная часть статьи

Б. де Раада и Й. П. ван Уденховена [De Raad, Van Oudenhoven 2008] посвящена установлению по возможности однозначных связей между выделенным для нидерландской культуры списком, иными универсальными и культурно-специфическими списками, и Большой пятеркой. Их подход можно описать как bottom-up “снизу вверх”: все возможные элементы лексико-семантического поля “описание личности человека” сводятся в последовательно укрупняющиеся кластеры, пока не приводятся к универсальным. Подход А. А. Плотниковой [2016А] обратный — top-down “сверху вниз”: определяются возможные области взаимодействия и противопоставления между двумя культурами, в каждой из которых затем возможно проводить анализ всё более глубоких уровней взаимодействия (и нижним порогом здесь будет анализ судьбы отдельных лексем (сравним подход в [Плотникова 2017А; ЕАДЕМ 2017Б])). Как кажется, параметры, которые она задает, являются достаточными для описания отношений между островной группой и окружением (по крайней мере на материале славянских традиций в Юго-Восточной Европе). Можно ли объединить оба подхода для описания идентичности островной группы?

Для составления психологического профиля личности через ее языковое поведение и описания системы ценностей культуры существуют специальные тесты (тест NEO PI-R [Costa, McCrae 1992], см. также опыт применения этого теста для описания и сравнения разных культур: [McCrae, Allik 2002]). Применяемый при этом подход — ономаσιологический: использование тех или иных эпитетов в ответах респондентов воспринимается как свидетельство об определенных группах ценностей, актуальных для них (авторы приводят алгоритм для перехода от многообразных по форме и содержанию ответов респондентов к фиксированному списку ценностей — [De Raad, Van Oudenhoven 2008: 89–93]). Это значительно упрощает сбор материала и задачи исследователя: для достижения верифицируемых утверждений о системе ценностей сообщества достаточно собрать набор эпитетов по определенным критериям. При этом влияние интерференции на окончательные выводы исследователя (например, желания представить себя и свое сообщество в наиболее благоприятном виде в глазах внешнего наблюдателя) здесь сведено к минимуму: утверждения типа “Мы работающие” или “Мы религиозны” при таком методе анализа трактуются не тавтологически (“По словам представителей сообщества Х, они религиозны”), а как свидетельство того, что для сообщества важны ценности группы “Организация и достижение” или “Духовность”. При этом, что исключительно важно, контуры системы ценностей сообщества задаются самими информантами (объективно для информантов

ценно именно то, о чем они заговаривают сами в ответ на открытые вопросы интервью).

Старообрядцы Польши традиционно противопоставляют себя окружению (полякам) по языку (русский vs. польский, хотя молодое поколение почти полностью перешло на польский язык), религии (древле-православие поморского согласия vs. римский католицизм), культурной традиции, особенностям проживания (до недавнего времени для старообрядцев была характерна эндогамия). Этническая принадлежность группы, как правило, противопоставляется польской и определяется ее членами как русская<sup>5</sup>. В то же время идентичность старообрядцев Польши по отношению к России и проживающим в ней русским (не-старообрядцам), а также по отношению к православным украинцам и белорусам определяется фактором гетероконфессиональности, который может включаться и выключаться в зависимости от коммуникативной ситуации (участников, темы и т. д.)<sup>6</sup>. Это создает амбивалентность, при которой декларируемое отношение к тем или иным сообществам может меняться даже в пределах одной коммуникативной ситуации. Поэтому при сборе материала для настоящего исследования было принято решение двигаться вслед за автономиями и автогенерируемыми описаниями членов группы, уходя от упоминания поляков или русских в стимулах.

При ведении полевой работы среди старообрядцев Польши мы исходили из ряда критериев. С одной стороны, было важно получить материал по системе ценностей, достаточный для описания идентичности группы. С другой стороны, работа по этому направлению должна была вписываться в общие задачи экспедиционного коллектива<sup>7</sup>: сбор материала о языковой ситуации у старообрядцев Польши, запись продолжительных нарративов для анализа переключения и смешения

<sup>5</sup> Сравним деятельность сельского ансамбля “Рябинушка”, который представляет Габове-Гронды и Бур на разных фольклорных мероприятиях в Польше и за рубежом. В репертуар ансамбля входят традиционные песни села, авторские песни одной из жительниц, авторские песни из России (“Выйду ночью в поле с конем”, слова А. Шаганова, музыка И. Матвиенко) и даже украинские (“Розпрягайте, хлопці, коней”, “Несе Галя воду”, “Ти ж мене підманула”), которые стали известны участницам из российских телевизионных программ.

<sup>6</sup> Одно из самых последних по времени исследований идентичности старообрядцев Польши (региона Сувалок) см. в [SNARSKI 2017].

<sup>7</sup> Во время интервью важным фактором была позициональность исследователей и информантов. В разное время определяющими становились разные слои идентичности исследователей: гендер (мужской / женский), этническое происхождение (русские), родной язык (русский), гражданство (россияне), конфессиональная принадлежность (в разговоре с информантами существенную роль играло частично старообрядческое происхождение одного из исследователей), брачный статус, городское происхождение.

кодов; наблюдение над разными формами смешанной польско-русской речи; наблюдение над тактиками интерсубъективности [BUSCHOLTZ, HALL 2004: 382 et passim]; сбор материала по этнолингвистическим опросникам [Толстой 1983; Плотникова 1996] и т. д. Поэтому был определен следующий формат для сбора материала.

В интервью сбор информации по этнолингвистическим опросникам и вопросы о языковой ситуации использовались как стимулы для записи продолжительных нарративов, которые затем служили материалом для языкового анализа. Наблюдения над взаимодействием информантов с исследователями проводились в продолжение разговора и выявляли разные тактики интерсубъективности, изменчивую позициональность и ее параметры. От сбора информации по тесту NEO PI-R и подобным было решено отказаться, поскольку это не дало бы возможности записать продолжительные нарративы, разговор свелся бы к перечислению эпитетов и просьбе оценить их, более того, названия эпитетов звучали бы на русском литературном языке, что совершенно не гарантировало, что их все мог бы понять носитель диалекта. Вместо этого после основного корпуса интервью мы задавали следующий вопрос-стимул: “Как бы вы описали староверов<sup>8</sup>? Какие они для вас?”<sup>9</sup> При необходимости мы уточняли вопрос: “О немцах говорят, что они пунктуальные, о французах — что они легкомысленные. А вот как бы вы описали староверов?” Такого типа открытые вопросы позволяют получить реакции, не предусмотренные тестом (что и произошло в нескольких случаях, см. далее). Следует подчеркнуть, что исследование пилотное, и оно, во-первых, не ставит целью описать подробно идентичность старообрядцев Польши (оно ограничено одним регионом — Сувальским — и построено на ответах ограниченного количества респондентов), а во-вторых, его, безусловно, следует дополнять другими методами исследования идентичности (см. указанную работу К. Снарского — [SNARSKI 2017]). Речь скорее идет о том, чтобы задать контуры идентичности на основе автогенерируемых описаний, которые затем можно уточнять другими методами.

Всего в мини-корпус вошли высказывания 9 респондентов, см. таблицу 1:

---

<sup>8</sup> Самоназвание представителей группы *староверы*, а не *старообрядцы*. Многие информанты подчеркивали, что для них существенно определять себя именно через *старую веру*, в отличие от никониан, которые отошли от веры предков, а принятие ими новых обрядов — уже следствие.

<sup>9</sup> Я хотел бы выразить благодарность Бунеште Хакманеши (Университет Мумбаи), которая продемонстрировала, как этот метод применяется в полевых условиях, на Летней школе по антропологии, этнографии и сопоставительному фольклору Балкан в Конице (Греция, Университет Янины) в 2015 году.



Таблица 1. Сведения об информантах<sup>10</sup>

	пол	возраст	образование	место проживания <sup>11</sup>
JB	м	40–50	высшее	Białobrzegi
MG	м	50–60	высшее	Gabowe Grądy
AG	ж	60–70	среднее специальное	Gabowe Grądy
EG	ж	60–70	среднее	Gabowe Grądy
NS	ж	60–70	среднее	Suwałki
VA	ж	60–70	высшее	Augustów
FG	ж	60–70	среднее	Gabowe Grądy
PW	м	до 25	среднее	Wodзилki
TG	ж	старше 90	среднее	Gabowe Grądy

В качестве ответа на вопрос-стимул мы получали набор эпитетов, описания ситуаций, размышления над тем, что такое быть старообрядцем в Польше, продолжительные нарративы о повседневных практиках старообрядцев, всего тридцать шесть единиц (без учета синонимических — тридцать), которые можно свести в двадцать кластеров по подфакторам по классификации Б. де Раада и Й. П. ван Уденховена, которые затем сводятся в восемь ценностных факторов [DE RAAD, VAN OUDENHOVEN 2008] (см. таблицу 2)<sup>12</sup>. Ответы информантов приведены в сжатом виде в транскрипции международным фонетическим алфавитом: консонантизм строго по МФА, вокализм при записи упрощен. Произношение информантов сильно варьируется между диалектным русским<sup>13</sup>, стандартным русским и стандартным польским (даже у одного информанта в разных отрезках нарратива) и часто требует специального программного обеспечения для определения качества гласных. По этой причине (а также для упрощения чтения записи) в безударных слогах степень редукции не отмечается и везде ставится этимологическая гласная (*a* или *o*). Ёканье не отмечается, но отмечается яканье (*nʲa znaʲu*).

<sup>10</sup> Для сохранения анонимности респонденты обозначаются кодами (вторая буква — обозначение пункта записи).

<sup>11</sup> Совпадает с местом записи.

<sup>12</sup> Две ценности (чистый и справедливый) вынесены за пределы таблицы, поскольку им не нашлось места в исходной классификации.

<sup>13</sup> Диалект старообрядцев Польши наиболее близок к западной группе среднерусских акающих говоров [GREK-PAVISOWA 1968: 167; PAŚKO-KONIECZNAK, GRZYBOWSKI 2016: 16–17]; собственно, материнским ареалом в узком смысле для них, по всей видимости, являются области Новгорода и Пскова: [GREK-PAVISOWA 1968: 37] и по многим параметрам совпадает с диалектом старообрядцев Латгалии, где экспедиционный коллектив работал в июне 2016 года [Пилипенко 2016; Плотникова 2016б; Ганенкова 2017а; ЕАДЕМ 2017б].

Ударение отмечается только в случае отличия от литературного, а также в словах, которых нет в русском литературном языке.

Таблица 2. Реакции на вопрос-стимул

ценностный фактор	подфакторы <sup>14</sup>	ценность	антиценность
благожелательность ( <i>Benevolence</i> )	мирность, уступчивость, терпимость (peacefulness, agreeableness, tolerance)	МИРНЫЙ starovier [. . .] dolžen [. . .] n'ia siarditša (VA)	НЕМИРНЫЙ jeetʃtakije, kotorije [. . .] sporjut (AG); rugajutša (AG)
	правдивость (truthfulness) <sup>15</sup> :	ПРАВДИВЫЙ n'ie obmánʃtʃiki (EG); n'ie vral'i (MG); n'ia l'gati (VA)	НЕПРАВДИВЫЙ obgovar'ivajut (AG)
	готовность помочь (supportiveness)	—	ЗАВИСТЛИВЫЙ zav'isimije [. . .] (с объяснением:) staroviera koliet súktšes [. . .] drugovo staroviera (JB)
	обязательность (obligingness)	ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ odołził starovier, znaj što on oddast (EG)	—
	дружба (friendship)	БРАТСКИЙ bratija (TG)	—
	общительность (being social)	ЗНАКОМЫЙ fée potʃt'i znakomije (AG)	—
		—	РАЗДЕЛЕННЫЙ eil'no podiel'enije miezdu soboj (JB);
любовь и счастье ( <i>Love and Happiness</i> )	любовь (love)	—	НЕЛЮБЯЩИЙ drug druga n'ie ljubit (JB)
	дружественность, контактность (friendliness, contact)	ОТКРЫТЫЙ otkritie (AG)	—

<sup>14</sup> Приводятся только релевантные для эпитетов, зарегистрированных у информантов. Если для одного эпитета релевантно несколько факторов, они приводятся все.

<sup>15</sup> Этот подфактор не учитывается Б. де Раадом и Й. П. ван Уденховеном в кратком описании факторов ценностей [DE RAAD, VAN OUDENHOVEN 2008: 94], но он включен в семантический набор *благожелательности* вслед за Л. Л. Парком, который пересматривает описание ценностей, выполненное С. Шварцем [ibid.: 108].

организованность и достижение ( <i>Organisation and Achievement</i> )	трудолюбие (industriousness)	РАБОТЯЩИЙ raboťŕŕije (EG); kŕiepkŕije takŕije, za raboťŕŕije l'udi (NS); raboťŕŕij (PW)	ЛЕНИВЫЙ jesiti i łodirief (NS)
	образование (education)	ОБРАЗОВАННЫЙ oťŕŕeni mnogo obrazovanix (AG)	—
компетенция <sup>16</sup> ( <i>Competence</i> )		—	—
статус и комфорт ( <i>Status and Comfort</i> )	репутация (reputation)	ИЗВЕСТНЫЙ stŕynuli (EG)	—
эстетика и эрудиция ( <i>Aesthetics and Erudition</i> )		—	—
духовность ( <i>Spirituality</i> )	идеализм (idealism)	ИСТИННЫЙ ist'iniye (EG)	—
	религиозность (being religious)	ВЕРУЮЩИЙ v'erujuťŕŕije (EG); kŕiepkŕije v svojoj v'eri (MG)	—
	приверженность религии (religious conviction)	СОБЛЮДАЮЩИЙ РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ И ЗАПРЕТЫ nie kurilŕi (MG); nie pilŕi (MG); posniťŕsalŕi fŕŕio vŕiemŕa (NS)	—
		НАБОЖНЫЙ l'ubliu v molienŕuju xodzit' ŕŕasto (FG)	—
		ЕДИНОВЕРНЫЙ jedinov'ernŕije moi (TG)	—
семья и традиция ( <i>Family and Tradition</i> )	традиция (tradition)	НЕИЗМЕННЫЙ kŕiepkŕije f sobie (MG); l'udi zakopŕore (MG)	—
Вне классификации:	чистота	ЧИСТЫЙ nie biwo ŕtob mitŕi jamu (MG) <sup>17</sup>	—
	справедливость	СПРАВЕДЛИВЫЙ spraviedlivŕij (VA) <sup>18</sup>	—

<sup>16</sup> Подфакторы: “Decisiveness, self-assuredness, enterprising spirit, change, exploration, progressiveness, adventure, independence, autonomy, vigorousness, determination, career, freedom of will, courage, individuality” [DE RAAD, VAN OUDENHOVEN 2008: 94].

<sup>17</sup> Не учитывается в [DE RAAD, VAN OUDENHOVEN 2008: 94], но включен в семантический набор *безопасности* (Security) вслед за Л. Л. Парксом [ibid.: 108]. Иллюстрацию см. в нарративе 1.

Как видно из таблицы 2, полученные реакции показывают значительное разнообразие. Часто респонденты дают не в строгом смысле эпитеты, а свободные ассоциации. Чтобы включить их в таблицу, необходимо провести несколько семантических операций (выделить тему в соответствии с ближайшим по значению подфактором и сформулировать ее в адъективной форме: *nje obmánŕŕsiki* (EG); *nje vralji* (MG); *nja lŕgati* (VA)] **ПРАВДИВЫЙ**; *odołził starovier, znaj ŕto on oddast* (EG)] **ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ** и др.) Ценности при этом могут иметь положительный или отрицательный знак: в ответах староверы характеризуются и как обладающие некоторыми положительными качествами, и как не обладающие — к сожалению информанта, которое часто выражено лексическими средствами. Т. е. к каждой ценности можно подобрать соответствующую антиценность, соответствующую тому же ценностному фактору (мирный vs. немирный, правдивый vs. неправдивый, работающий vs. ленивый и т. д.). В то же время и ценности, и антиценности складываются в некоторый идеальный образ старообрядца (который делает X и не делает Y), с которым говорящий (в отличие, например, от исследователя) так или иначе себя идентифицирует (ср. фрагмент диалога: “Исследователь 1: «староверы» [они] — это... Что вам в голову приходит? — FG: [. . .] *Naprimier, [я] l’ubliu v molennuju chodziti ŕŕasto*”).

Контекстное значение ряда слов может отличаться от ожидаемого: в этом случае я исхожу, конечно, из контекстного значения:

### Нарратив 1 (MG)

*Kriepkie f sobie. Kriepkie f sobie, nu kak mozno inatŕŕe skazati? Kriepkije f sobie! Ih, znajetie, skoko, skoko, skoko ih, kakie ispitanija? Skoko biadi, skoko feavo, a ih, i dalŕŕe dierzimea, nu. Kriepkije f svoih, kagritŕŕa, v svoih, v svojoj vieri, nu. Nu eto starovieri. P[onji]majetie, uŕe stoliko liet proflo, hoti bi ot raskola, trista, bo-liej liet, i mi veo jestŕŕa, sohranili mi eto veo, nu. . . . Kak vam skazati, nu, znajetie ŕto ja vam skazu jeco, jeco do ŕtoroj mirovoj vojni f Polŕŕi biwo tak: starovier nie davaw prieagi v sudie. I jon biw, jon biw takij, eto, eto bili prosto takije l’udji, kotorije, kotorije nie vrali, jani, jani nja kurili, nja pili, p[onji]majetie. Eto biwo to ŕto, starovier prihodiw f sut, i jon nie davaw prieagi ŕto jon nie budiet vrati, p[onji]majetie, tak biwo. A jestŕŕo, jeco skazu ŕto tuta, v etoj dierievnje ko[g]da-to prijezdaw, ico eto bili da voecieatih got, prijezdaw diriektor bolnitsi. Jon prijezdaw suda v banju k nam. I jeeli, i jon, primerno, biw togda u nievo biw nariad, albo dizur, kak po polsku skazati, i jon prinimaw l’udiej v balnitsu, i biwo tak ŕto kakaja dierievnja. Kak polskaja, to tak: v vannuju, miti, odiavati. Gabove Grondi, Bur — odiavati, f pawatu. Nie biwo ŕtob miti jamu, ponimajetie? Znaw, ŕto kazdij starovier, i takoj, i takoj, i takoj, to jon ras toŕŕna v niedielju to biw v banie.*

<sup>18</sup> Также не учитывается в [DE RAAD, VAN OUDENHOVEN 2008: 94], но включен в семантический набор *универсализма* (Universalism) вслед за Л. Л. Парксом, а также в семантический набор *баланса* вслед за У. Реннером [ibid.: 108].

[. . .] Nu ſto, nu. Kriepkiije v vieri svojoj, nie znaju kak inaſſe skazati odnim slovom takim, da. Upor. . . nie, nie upriamije, bo upriamije to duraki, no? Ale takijje. . . kriepkiije v svojoj vieri.

На мой взгляд, в данном случае было бы неправильно относить слова “jani nie kurili, nie pili” к фактору “Статус и комфорт” (ср. соответствующие подфакторы по [DE RAAD, VAN OUDENHOVEN 2008: 94]: “Статус, благополучие, собственность, репутация, успех, награда, совершенствование, эротичность, сексуальность, процветание, элегантность, честь, гордость, еда, стиль”<sup>19</sup>), поскольку они идут в ряду “Kriepkiije f sobie; nie vrali; nja kurili, nja pili; kriepkiije v svojoj vieri”, т. е. сводятся, в конечном счете, к соблюдению религиозных предписаний (сюда же и “posniſſali fsio vriemja” (NS) — безусловно, идея здесь совсем не в еде/питье, а в соблюдении религиозных предписаний).

Рассказ о бане, конечно, не вписывается в рамки ценностей, выделяемых по факторам, хотя баня — один из важнейших элементов “старообрядческого текста”<sup>20</sup>, во всяком случае в применении к Польше. Наши информанты подчеркивали, что баня есть только у них и отличает даже зрительно старообрядческое хозяйство от польского. Конечно, мотив чистоты, как известно, — один из важнейших в славянской народной культуре и традиционной модели мира, ср. с соответствующим списком: “Чистота. . . сближается с белым, целым, первым, новым, нетронутым, правильным, святым, божественным, своим, и противопоставляется грязному, старому, использованному, грешному, демонологическому, чужому” [ВАЛЕНЦОВА 2014: 547]. Исходя из факторов Б. де Раада и Й. П. ван Уденховена, чистоту затруднительно было бы отнести к одной категории: здесь и “статус и комфорт”, и “эстетика”, и “семья и традиция”, и даже “духовность”. В их классификации чистота вообще отсутствует, но С. Шварц (система факторов у которого устроена несколько иным образом) включает ее в семантический набор безопасности (*Security*: “национальная безопасность, услуги на взаимной основе, семейная безопасность, чувство принадлежности, социальный порядок, здоровый, чистый”<sup>21</sup>): “мотивация этого типа ценностей — безопасность, гармония и стабильность общества, отношений между людьми и индивидуума” [SCHWARTZ 1992: 9].

Кроме того, в классификацию факторов ценностей по Б. де Рааду и Й. П. ван Уденховену не вписывается также СПРАВЕДЛИВОСТЬ (очевидно,

<sup>19</sup> “Status, wealth, property, standing, beauty, reputation, success, reward, perfection, eroticism, sexuality, prosperity, elegance, honour, pride, food, style.”

<sup>20</sup> Если выделять его по аналогии с “Петербургским текстом” [ТОПОРОВ 2003; ИДЕМ 2009].

<sup>21</sup> “National security, reciprocation of favors, family security, sense of belonging, social order, healthy, clean” [SCHWARTZ 1992: 6].



она “повисает” между “благожелательностью” и “организацией”)<sup>22</sup>. С. Шварц рассматривает ее как ценность круга универсализма (*Universalism*: “равенство, единство с природой, мудрость, мир красоты, социальная справедливость, широкие взгляды, защита окружающей среды, мир в мире”)<sup>23</sup> [SCHWARTZ 1992: 7].

Конечно, отнесение каждой из ценностей только к одной ячейке таблицы — некоторая условность, сравним следующий нарратив:

### Нарратив 2 (VA)

Nu, ja bi skazala, starovier do. . . xotcu skazati po-pol'skij, pšede wšistkim... dołžen bići spraviedlivij, nie łgati, nie łgati, nie sierdiŭsa, nu? Nu bo kak budieš Boży molitŭsa, da? Jesli sierdiŭsia?

Как видно из примера, поведение по отношению к другим людям, которое в таблице включено в фактор “благожелательность” (мирность, уступчивость, терпимость, правдивость и т. д.) имеет религиозную мотивировку. Так же и с подфакторами “справедливость”, “традиция”: их вторичный мотивационный тип — это “духовность” (по Ш. Шварцу [SCHWARTZ 1992]).

По приведенной таблице вырисовывается следующая система ценностей старообрядцев Польши. Самый важный ценностный фактор — “благожелательность” (*пять* ценностей: мирный, правдивый, обязательный, братский, знакомый, *четыре* антиценности: немирный, неправдивый, завистливый, разделенный, причем выделяется две пары ценность / антиценность: мирный / немирный, правдивый / неправдивый). К этому фактору относится двенадцать реакций информантов.

Второй по важности ценностный фактор, в случае рассматриваемого сообщества тесно связанный с фактором “благожелательность” — “духовность” (*пять* ценностей: истинный, верующий, соблюдающий религиозные запреты и предписания, набожный, единоверный, *восемь* реакций информантов). Этот фактор в качестве вторичного определяет также ряд эпитетов, связанных с другими факторами: неизменный (первичный фактор “семья и традиция”, вторичный фактор “духовность”), братский (первичный фактор “благожелательность”), справедливый (вне классификации).

Третий по важности ценностный фактор — “организованность и достижение” (две ценности: работающий и образованный; одна

<sup>22</sup> Справедливость (justice) учитывается ими при сравнении разных систем анализа ценностей [DE RAAD, VAN OUDENHOVEN 2008: 98], но ее неожиданное отсутствие среди факторов ценностей, к сожалению, никак не комментируется.

<sup>23</sup> “Equality, unity with nature, wisdom, a world of beauty, social justice, broad-minded, protecting the environment, a world at peace” [IBID.].

антиценность: ЛЕНИВЫЙ; выделяется пара РАБОТЯЩИЙ / ЛЕНИВЫЙ; всего четыре реакции).

Остальные ценностные факторы (“любовь и счастье”, два эпитета, две реакции; “статус и комфорт”, один эпитет, одна реакция; а также подфактор “чистота”, находящийся вне классификации де Раада и ван Уденховена), судя по выборке, носят периферийный характер (а факторы “компетенция” и “эстетика и эрудиция” — ни одной реакции — и вовсе за пределами системы ценностей, восстанавливаемой на основе выборки).

Из всего набора оппозиций, через которые может определяться идентичность у островных групп [Плотникова 2016а: 235 и далее]: язык, религия, культурная традиция, особенности проживания, гражданство, у староверов Польши, как можно судить на основе полученной выборки, самую важную роль играет религия, к которой в случае рассматриваемой группы примыкает культурная традиция (представлена в выборке только одной ценностью: неизменный). Особенности проживания (тесная связь внутри группы, но в то же время ее размытие в связи с миграциями населения) также находят отражение в реакциях (сравним ценности БРАТСКИЙ, ЗНАКОМЫЙ vs. РАЗДЕЛЕННЫЙ). В то же время такие параметры, как язык и гражданство, никак не отражаются в полученных реакциях. Связь этих параметров с идентичностью старообрядцев Польши следует выявлять на основе полуструктурированных интервью. Судя по всему, то, что особый язык группы не присутствует в реакциях, объясняется языковым сдвигом, который переживает сообщество (сравним диалог: Исследователь 1: Староверы ни по-украински, ни по-белорусски не говорят, они. . . JB (перебивая): Ni po-ruski. Ni po-ruski. . .)<sup>24</sup>.

## Библиография

АНТРОПОВ ET AL. 2016

АНТРОПОВ Н., ПЛОТНИКОВА А., ТОЛСТАЯ М., “Международная конференция «Славянская этнолингвистика: методы, результаты, перспективы»”, *Wiener Slavistisches Jahrbuch. Neue Folge*, 4, 2016, 271–277.

ВАЛЕНЦОВА 2014

ВАЛЕНЦОВА М. В., “Чистота”, in: Н. И. Толстой, общ. ред., *Славянские древности. Этнолингвистический словарь*, 5, Сказка – Ящерица, Москва, 2014, 547–552.

ГАНЕНКОВА 2017А

ГАНЕНКОВА Т. С., “Полевые заметки о языке старообрядцев Латгалии”, in: *Emigrantologia Słowian*, Toruń, 2017, 25–31.

<sup>24</sup> О современных процессах в языке старообрядцев Польши см. [Глушковски 2014: 89–98], там же ссылки на другие работы по этой теме.

——— 2017б

ГАНЕНКОВА Т. С., “О языковой и этнолингвистической ситуации старообрядцев Сувальско-Сейненского и Августовского районов Польши и Латгалии”, *Вестник славянских культур*, 4, 2017 (в печати).

Глушковски 2014

Глушковски М., “Особенности языка среднего поколения старообрядцев сувальского и августовского регионов”, in: D. PAŚKO-KONIECZNAK, M. ZIÓŁKOWSKA-MÓWKA, M. GŁUSZKOWSKI, S. GRZYBOWSKI, red., *Staroobrzędowcy za granicą II. Historia. Religia. Język. Kultura*, Toruń, 89–98.

КНЯЗЕВ ET AL. 2010

Князев Г. Г., Митрофанова Л. Г., Бочаров В. А. “Валидизация русскоязычной версии опросника Л. Голдберга «Маркеры факторов ‘большой пятерки’»”, *Психологический журнал*, 31/5, 2010, 100–110.

Пилипенко 2016

Пилипенко Г. П., “Полевое исследование старообрядцев в Латвии”, *Славянский альманах*, 3–4, 2016, 504–509.

Плотникова 1996

Плотникова А. А., *Материалы для этнолингвистического изучения балканославянского ареала*, Москва, 1996.

——— 2016а

Плотникова А. А., *Славянские островные ареалы: архаика и инновации*, отв. ред. С. М. Толстая, Москва, 2016.

——— 2016б

Плотникова А. А., “Об экспедиции к латгальским староверам”, *Живая старина*, 4, 2016, 50–53.

——— 2017а

Плотникова А. А., “Традиции старообрядцев в иноэтничном и иноязычном окружении. Старообрядческие поселения в Добрудже”, *Балканистичен форум = Balkanistic Forum*, 26/3, 2017, 166–180.

——— 2017б

Плотникова А. А., “О лексике старообрядцев Румынии в историко-сопоставительной ретроспективе”, in: *Славянский мир в третьем тысячелетии*, 12: *Этнические, конфессиональные, социокультурные компоненты идентичности народов Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы*, Москва, 2017, 377–392.

Толстой 1983

Толстой Н. И., отв. ред., Гура А. В., Терновская О. А., Толстая С. М., ред., *Полесский этнолингвистический сборник: Материалы и исследования*, Москва, 1983.

Топоров 2003

Топоров В. Н., *Петербургский текст русской литературы. Избранные труды*, С.-Петербург, 2003.

——— 2009

Топоров В. Н., *Петербургский текст*, Москва, 2009.

Цивьян 2009

Цивьян Т. В., *Модель мира и ее лингвистические основы*, Москва, 2009.

ШВАРЦ 2008

Шварц Ш., “Культурные ценностные ориентации: природа и следствия национальных различий”, *Психология. Журнал Высшей школы экономики*, 5/2, 2008, 36–67.

BARTMIŃSKI ET AL. 2015

BARTMIŃSKI J., BIELIŃSKA-GARDZIEL I., ŻYWICKA B., red., *Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów*, Lublin, 2015.

BUCHOLTZ, HALL 2004

BUCHOLTZ M., HALL K., "Language and Identity," in: A. DURANTI, ed., *A Companion to Linguistic Anthropology*, Malden (MA), 2004, 369–394, DOI: 10.1002/9780470996522.ch16

DE RAAD, VAN OUDENHOVEN 2008

DE RAAD B., VAN OUDENHOVEN J. P., "Factors of Values in the Dutch Language and Their Relationship to Factors of Personality," *European Journal of Personality*, 22, 81–108.

DURANTI 2004

DURANTI A., "Agency in Language," in: IDEM, ed., *A companion to linguistic anthropology*, Malden (MA), 2004, 451–473, DOI: 10.1002/9780470996522.ch20

COSTA, MCCRAE 1992

COSTA P. T., MCCRAE R. R., *Revised NEO Personality Inventory and NEO Five Factor Inventory Professional Manual*, Odessa (FL), 1992.

MAHER, TETREAULT 1993

MAHER F. A., TETREAULT M. K., "Frames of Positionality: Constructing Meaningful Dialogues about Gender and Race", *Anthropological Quarterly*, 66/3 (= *Constructing Meaningful Dialogue on Difference: Feminism and Postmodernism in Anthropology and the Academy*, 2), 1993, 118–126, DOI: 10.2307/3317515

MCCRAE, ALLIK 2002

MCCRAE R. R., ALLIK J., eds., *The Five-Factor Model of Personality Across Cultures*, New York, 2002.

JOHN ET AL. 1988

JOHN O. P., ANGLEITNER A., OSTENDORF F., "The Lexical Approach to Personality: A Historical Review of Trait Taxonomic Research," *European Journal of Personality*, 2, 1988, 171–203.

GŁUSZKOWSKI 2011

GŁUSZKOWSKI M., *Sociologiczne i psychologiczne uwarunkowania dwujęzyczności staroobrzędowców regionu suwalsko-augustowskiego*, Toruń, 2011.

GOLDBERG 1992

GOLDBERG L. R., "The Development of Markers for the Big-Five Factor Structure," *Psychological Assessment*, 4, 1992, 26–42.

GREK-PABISOWA 1968

GREK-PABISOWA I., *Rosyjska gwara starowierców w województwach olsztyńskim i białostockim*, Wrocław, Warszawa, Kraków, 1968.

——— 1999

GREK-PABISOWA I., *Staroobrzędowcy. Szkice z historii, języka, obyczajów. Wybór prac z okazji 45-lecia pracy naukowej*, Warszawa, 1999.

PAŚKO-KONIECZNIK 2016

PAŚKO-KONIECZNIK D., "Historia i osadnictwo," in: D. PAŚKO-KONIECZNIK, M. ZIÓŁKOWSKA-MÓWKA, M. GRUPA, S. GRZYBOWSKI, A. JASKÓLSKI, M. GŁUSZKOWSKI, *Rosyjska gwara staroobrzędowców w północno-wschodniej Polsce. Wybór tekstów*, Toruń, 2016, 15.

PAŚKO-KONIECZNIK, GRZYBOWSKI 2016

PAŚKO-KONIECZNIK D., GRZYBOWSKI S., "Dwujęzyczność i charakterystyka gwary macierzystej," in: D. PAŚKO-KONIECZNIK, M. ZIÓŁKOWSKA-MÓWKA, M. GRUPA, S. GRZYBOWSKI, A. JASKÓLSKI, M. GŁUSZKOWSKI, *Rosyjska gwara staroobrzędowców w północno-wschodniej Polsce. Wybór tekstów*, Toruń, 2016, 16–17.

SCHWARTZ 1992

SCHWARTZ S. H., "Universals in the Content and Structure of Values: Theoretical Advances and Empirical Tests in 20 Countries," *Advances in Experimental Social Psychology*, 25, 1992, 1–65.

SNARSKI 2017

SNARSKI K., "Współczesna tożsamość kulturowa staroobrzędowców zamieszkałych na Suwalszczyźnie" (praca doktorska, Lublin, 2017).

## References

- Antropov N., Plotnikova A., Tolstaya M., "Mezhunarodnaia konferentsiia 'Slavianskaia etnolingvistika: metody, rezul'taty, perspektivy'," *Wiener Slavistisches Jahrbuch. Neue Folge*, 4, 2016, 271–277.
- Bartmiński J., Bielińska-Gardziel I., Żywicka B., red., *Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów*, Lublin, 2015.
- Bucholtz M., Hall K., "Language and Identity," in: A. Duranti, ed., *A Companion to Linguistic Anthropology*, Malden (MA), 2004, 369–394, DOI: 10.1002/9780470996522.ch16
- De Raad B., Van Oudenhoven J. P., "Factors of Values in the Dutch Language and Their Relationship to Factors of Personality," *European Journal of Personality*, 22, 81–108.
- Duranti A., "Agency in Language," in: A. Duranti, ed., *A companion to linguistic anthropology*, Malden (MA), 2004, 451–473, DOI: 10.1002/9780470996522.ch20
- Costa P. T., McCrae R. R., *Revised NEO Personality Inventory and NEO Five Factor Inventory Professional Manual*, Odessa (FL), 1992.
- Maher F. A., Tetreault M. K., "Frames of Positionality: Constructing Meaningful Dialogues about Gender and Race", *Anthropological Quarterly*, 66/3 (= *Constructing Meaningful Dialogue on Difference: Feminism and Postmodernism in Anthropology and the Academy*, 2), 1993, 118–126, DOI: 10.2307/3317515
- McCrae R. R., Allik J., eds., *The Five-Factor Model of Personality Across Cultures*, New York, 2002.
- John O. P., Angleitner A., Ostendorf F., "The Lexical Approach to Personality: A Historical Review of Trait Taxonomic Research," *European Journal of Personality*, 2, 1988, 171–203.
- Ganenkova T. S., "On the Language of the Old Believers in Latgale," in: *Emigrantologia Słowian*, Toruń, 2017, 25–31.
- Ganenkova T. S., "On Linguistic and Ethnolinguistic Situation of Old Believers in Polish Counties of Suwalki, Sejny, and Augustow and in Latgale," *Vestnik Slavianskikh Kultur—Bulletin of Slavic Cultures*, 4, 2017 (in print).
- Głuszkowski M., *Sociologiczne i psychologiczne uwarunkowania dwujęzyczności staroobrzędowców regionu suwalsko-augustowskiego*, Toruń, 2011.
- Głuszkowski M., "Characteristic Features of the Language of the Old Believers' Middle-aged Generation in Suwałki and Augustów Region," in: D. Paško-Koneczniak, M. Ziółkowska-Mówka, M. Głuszkowski, S. Grzybowski, eds., *Staroobrzędowcy za granicą II. Historia. Religia. Język. Kultura*, Toruń, 89–98.
- Goldberg L. R., "The Development of Markers for the Big-Five Factor Structure," *Psychological Assessment*, 4, 1992, 26–42.
- Grek-Pabisowa I., *Rosyjska gwara starowierców w województwach olsztyńskim i białostockim*, Wrocław, Warszawa, Kraków, 1968.
- Grek-Pabisowa I., *Staroobrzędowcy. Szkice z historii, języka, obyczajów. Wybór prac z okazji 45-lecia pracy naukowej*, Warszawa, 1999.
- Knyazev G. G., Mitrofanova L. G., Bocharov A. V., "Validization of Russian Version of Goldberg's 'Big-Five Factor Markers' Inventory," *Psichologicheskii Zhurnal*, 31/5, 2010, 100–110.
- Paško-Koneczniak D., "Historia i osadnictwo," in: D. Paško-Koneczniak, M. Ziółkowska-Mówka, M. Grupa, S. Grzybowski, A. Jaskólski, M. Głuszkowski, *Rosyjska gwara staroobrzędowców w północno-wschodniej Polsce. Wybór tekstów*, Toruń, 2016, 15.
- Paško-Koneczniak D., Grzybowski S., "Dwujęzyczność i charakterystyka gwary macierzystej," in: D. Paško-Koneczniak, M. Ziółkowska-Mówka, M. Grupa, S. Grzybowski, A. Jaskólski, M. Głuszkowski, *Rosyjska gwara staroobrzędowców w północno-wschodniej Polsce. Wybór tekstów*, Toruń, 2016, 16–17.
- Pilipenko G. P., "Fieldwork on the Old Believers in Latvia," *Slavic Almanac*, 3–4, 2016, 504–509.
- Plotnikova A. A., *Materiály dlia etnolingvističeskogo izučeniia balkanoslavijskogo areala*, Moscow, 1996.
- Plotnikova A. A., *Slavianskie ostrovnye arealy: arkhajka i innovatsii*, ed. by S. M. Tolstaya, Moscow, 2016.
- Plotnikova A. A., "Ob ekspeditsii k latgaľskim staroveram," *Zhivaia starina*, 4, 2016, 50–53.
- Plotnikova A. A., "Traditions of the Old Believers in the Foreign Ethnic and Linguistic Environment," *Balkanistic Forum*, 26/3, 2017, 166–180.
- Plotnikova A. A., "O leksike staroobriadtsev Rumynii v istoriko-sopostavitel'noi retrospective," *Slavic World in the Third Millennium*, 12, Moscow, 2017, 377–392.
- Schwartz S. H., "Universals in the Content and Structure of Values: Theoretical Advances and Empirical Tests in 20 Countries," *Advances in Experimental Social Psychology*, 25, 1992, 1–65.
- Schwartz S. H., "Cultural Value Orientations: Nature and Implications of National Differences," *Psychology. Journal of the Higher School of Economics*, 5/2, 2008, 36–67.
- Tolstoy N. I., Gura A. V., Ternovskaya O. A., Tolstaya S. M., eds., *Poleskii etnolingvističeskii sbornik: Materiály i issledovaniia*, Moscow, 1983.
- Toporov V. N., *Peterburgskii tekst russkoi literatury. Izbrannye trudy*, St. Petersburg, 2003.
- Toporov V. N., *Peterburgskii tekst*, Moscow, 2009.
- Tsivjan T. V., *Model' mira i ee lingvističeskie osnovy*, Moscow, 2009.
- Valentsova M. V., "Chistota," in: N. I. Tolstoy, ed., *Slavianskie drevnosti. Etnolingvističeskii slovar'*, 5, Moscow, 2014, 547–552.



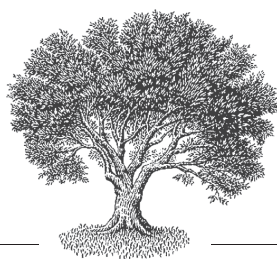
#### Acknowledgements

Russian Science Foundation. Project No. 16-18-02080.

---

**Максим Максимович Макартцев**, канд. филол. наук  
Институт славяноведения РАН,  
старший научный сотрудник Отдела типологии и сравнительного  
языкознания  
119991 Москва, Ленинский проспект, д. 32А  
Россия/Russia  
makartsev@bk.ru

Received March 31, 2017



*Проповеди в религиозной  
и культурной политике  
и практике России и  
Европы (XVII – начало  
XIX вв.)*

*Sermons in Religious  
and Cultural Politics and  
Practice in Russia and  
Europe in the 17th–Early  
19th Centuries*

**Круглый стол “Проповеди  
в религиозной и культурной  
политике и практике  
России и Европы  
(XVIII – начало XIX вв.)”.**  
**26–27 августа 2016 г.**  
**Германский исторический  
институт в Москве**

**Round Table: “Sermons  
in Religious and Cultural  
Politics and Practice in  
Russia and Europe in the  
18th–Early 19th Centuries”.**  
**August, 26–27, 2016.**  
**German Historical Institute  
in Moscow**

**Денис Анатольевич  
Сдвижков**

Германский исторический институт  
в Москве  
Москва, Россия

**Denis A. Sdvizhkov**

German Historical Institute in Moscow  
Moscow, Russia

Исследовательский интерес к истории проповеди в России, угасший по понятным причинам на 70 лет, возобновился в последние десятилетия. При этом из чисто церковной истории он в значительной степени переместился в область занятий “светских” филологов и историков (см., например, работы [КАГАРЛИЦКИЙ 1999; КОРЗО 1999; ФЕДОТОВА 1999; ЕАДЕМ 2001; KISLOVA 2014; SCHIERLE 2015]).

В августе 2016 г. в Германском историческом институте в Москве состоялся круглый стол, посвященный проповедям в религиозной и культурной политике и практике России и Европы XVIII – начала XIX вв. Избранные материалы круглого

стола и составили подборку в этом номере. Проект под названием "Церковь говорит", в рамках которого обсуждались проповеди и их значение в культуре, направлен на изучение ключевых элементов церковного языка и в целом семантики религиозности синодального периода. Культура и язык проповеди рассматриваются в нем наряду с языком и способами самоописания субъекта в церковной автобиографии; итогом должно стать исследование по истории ключевых понятий церковного языка в России XVIII–XIX вв.

Задача этой части проекта состояла в определении структурных особенностей, сопровождающих становление проповеди в России — не как особого пути (*Sonderweg*), но в сравнении и пересечении с другими случаями. Поэтому ключевым элементом состоявшихся докладов была контекстуализация и роль трансферов не только в истории светских государственных и общественных институтов, но и религиозности в целом. Центально- и южноевропейский материал данного блока статей призван дать такой контекст и показать, какое влияние протестантский и католический мир оказывали на церковную жизнь и проповеди в России, какие существовали точки пересечения, какие процессы в истории проповеди в разных славянских странах были параллельными.

## Библиография

КАГАРЛИЦКИЙ 1999

КАГАРЛИЦКИЙ Ю. В., "Риторические стратегии в русской проповеди переходного периода, 1700–1775 гг." (Дисс. . . . канд. филол. наук, Москва, 1999).

КОРЗО 1999

КОРЗО М. А., *Образ человека в проповеди XVII века*, Москва, 1999.

ФЕДОТОВА 1999

ФЕДОТОВА М. А., "Украинские проповеди Дмитрия Ростовского (1670–1700 гг.) и их рукописная традиция", in: *Труды Отдела древнерусской литературы*, 51, С.-Петербург, 1999, 253–288.

— 1999

ФЕДОТОВА М. А., "Украинские проповеди Дмитрия Ростовского (1670–1700 гг.) и их рукописная традиция", in: *Труды Отдела древнерусской литературы*, 52, С.-Петербург, 2001, 409–431.

KISLOVA 2014

KISLOVA E. I., "Sermons and Sermonizing in 18th-Century Russia: At Court and Beyond," *Slověne = Словѣне. International Journal of Slavic Studies*, 3/2, 2014, 175–193.

SCHIERLE 2015

SCHIERLE I., "Концепты социального порядка в проповедях второй половины XVIII века," in: E. WAEGEMANS, H. VAN KONINGSBRUGGE, M. LEVITT, M. LJUSTROV, eds., "A Century Mad and Wise" *Russia in the Age of the Enlightenment. Papers from the IX International Conference of the Study Group on Eighteenth-Century Russia (Leuven 2014)*, Groningen, 2015, 325–336.

## References

Fedotova M. A., "Dimitrii Rostovskii's Ukrainian Sermons of 1670–1700 and Their Manuscript Tradition," in: *Trudy Otdela drevnerusskoi literatury*, 51, St. Petersburg, 1999, 253–288.

Fedotova M. A., "Sermons by Dimitry of Rostov of His Ukrainian Period (1670–1700) and Their Manuscript Tradition," in: *Trudy Otdela drevnerusskoi literatury*, 52, St. Petersburg, 2001, 409–431.

Kislova E. I., "Sermons and Sermonizing in 18th-Century Russia: At Court and Beyond," *Slověne*, 3/2, 2014, 175–193.

Korzo M. A., *Obraz cheloveka v propovedi XVII veka*, Moscow, 1999.

Schierle I., "Kontsepty sotsial'nogo poriadka v propovediakh vtoroi poloviny XVIII veka," in:

E. Waegemans, H. van Koningsbrugge, M. Levitt, M. Ljustrov, eds., *"A Century Mad and Wise" Russia in the Age of the Enlightenment. Papers from the IX International Conference of the Study Group on Eighteenth-Century Russia (Leuven 2014)*, Groningen, 2015, 325–336.

---

**Денис Анатольевич Сдвижков**, канд. ист. наук

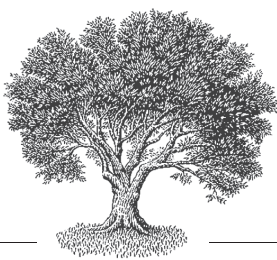
Германский исторический институт в Москве, научный сотрудник

109044 г. Москва, ул. Воронцовская, д. 8, стр. 7

Россия/Russia

denis.sdvizkov@dhi-moskau.org

Received September 29, 2017



**“Слово о милости” в  
церковнославянском  
переводе второй  
половины XVII в.  
и его польский  
оригинал: передача  
реалий\***

**Татьяна Викторовна  
Пентковская**

Московский государственный  
университет им. М. В. Ломоносова  
Москва, Россия

**“The Word for Mercy”  
in the Church Slavonic  
Translation of the  
Second Half of the  
17th Century and  
Its Polish Original:  
Realia Interpretation**

**Tatiana V. Pentkovskaya**

Lomonosov Moscow State University  
Moscow, Russia

**Резюме**

“Слово о милости”, считавшееся ранее оригинальным сочинением Епифания Славинецкого или его ученика Евфимия Чудовского, является переводом проповеди Петра Скарги “Kazanie o miłosierdziu”. Церковнославянский перевод представляет собой опыт межконфессиональной переадресации польского текста, то есть его адаптации к православной традиции и московской историко-культурной ситуации. В работе проанализированы проблемы интерпретации реалий в церковнославянском переводе “Слова о милости”. Отличительной чертой перевода является элиминация деталей польского происхождения текста, в результате чего переводному тексту придается характер оригинального сочинения. Этой цели подчинены замена или устранение имен святых, чтимых в западной традиции, а также введение лексических грецизмов, являющихся

---

\* Приношу искреннюю благодарность О. А. Остапчук и С. И. Тереховой за помощь в работе над статьей.



маркерами принадлежности к византийско-церковнославянской традиции. При выборе лексических эквивалентов для передачи иностранных реалий переводчик мог обращаться к мультязычным лексиконам, таким как Лексикон Г. Кнапского и греко-славяно-латинский Лексикон Епифания Славинецкого. Сходные приемы применял в своих работах Симеон Полоцкий, так что подобный способ обращения с текстом западного происхождения не был индивидуальной особенностью книжников Чудова монастыря, но отражал сложившуюся в Москве практику. Отличительная особенность “Слова о милости” заключается в том, что его церковнославянская версия представляет собой уникальный опыт ассимиляции западных идей государственной благотворительности и их приспособление к ситуации России второй половины XVII в. Сделанные в переводе идеологические замены позволяют придать “Слову” характер социально-юридического проекта, характерного для Нового времени.

#### Ключевые слова

церковнославянские переводы с польского, иноконфессиональное влияние, Петр Скарга, книжный круг Епифания Славинецкого и Евфимия Чудовского, реалии, идеологические замены, лексиконы

#### Abstract

“The Word for Mercy” was considered to be an original essay, written by Epiphanius Slavinetzky or Euthymius Chudovsky. In fact, it is a translation of Piotr Skarga’s cognominal sermon. The Church Slavonic translation is an example of the so-called inter-confessional rendering of the Polish original that shows its adaptation to the Orthodox tradition and to Russian historical and cultural specificity. The present paper analyses the problems of realia interpretation in the Church Slavonic translation of the Polish source. A distinctive feature of the translation is the elimination of specific signs of the Polish origin of the text. The translator pretends that a translated text is an original composition. To achieve this goal, he changes or omits the names of the Western saints. As markers indicating its place within the Byzantine tradition, he uses Greek lexical borrowings. Making a choice between lexical equivalents for transmission of the foreign realia, the translator probably uses multilingual lexicons such as the *Thesaurus Polono-Latino-Graecus* by Grzegorz Knapiusz and the *Trilingual Lexicon* by Epiphanius Slavinetzky. Very similar methods characterize the works of Simeon of Polotsk. Thus it was not only the practice of the Chudov Monastery bookmen, but also Muscovite prevailing practice. “The Word for Mercy” is a unique example of adaptation of the Western ideas of state charity to the Russian situation in the second half of the 17th century. The ideological changes in the translation give this sermon features of the socio-legal project that is the hallmark of Early Modern times.

#### Keywords

Church Slavonic translations from Polish, ino-confessional influence, Piotr Skarga, Epiphanius Slavinetzky and Euthymius Chudovsky literary environment, realia, ideological replacements, lexicons

Перевод — это опыт языковой интерпретации исходного текста, который в наиболее общем смысле может быть определен как переадресация данного текста иноязычной аудитории. В процессе переадресации важнейшая роль отводится способам передачи так называемой культурно-коннотативной лексики, под которой подразумеваются в первую очередь лексемы, обозначающие реалии [Уржа, Скворцова 2016: 86–87]. В современной теории перевода процесс лексической адаптации реалий переводимого текста к культурным реалиям языка перевода обозначается термином “доместикация” [Venuti 2004]. Для переводов раннего Нового времени существенным является также конфессиональный фактор. Религиозная борьба и процессы государственной конфессионализации в этот период вызывают преобразование лингвистического мышления [Живов 2017, 2: 898–900]. В условиях религиозной полемики возможным и отчасти легитимным оказывается использование “чужих” текстов: так, Сильвестр Медведев в “Книге о Манне хлеба животного” пишет о допустимости использования православными книжниками богословских сочинений, переведенных с латыни, если они не противоречат православному учению и “Христову законоположению” [Пуминова 2015: 178]. Та же практика действовала и в Речи Посполитой:

Do dobrego tonu polemiki należało powoływanie się na źródła wskazywanie przez samego przeciwnika ideowego, a zatem w omawianym piśmiennictwie, niezależnie od jego prowienienji, natkniemy się zarówno na greckich, łacińskich, jak i słowiańskich historyków oraz na liczne fragmenty z ich dzieł [STRADOMSKI 2004: 89].

Исходя из этого, можно выделить две типовые ситуации, в которых происходит переадресация переводных текстов, — переадресация внутриконфессиональная и межконфессиональная. К опытам внутриконфессиональной переадресации текста относится, в частности, сербская церковнославянская версия Бесед на Евангелие от Матфея, которую в 1615 г. создал афонский монах Иов Шишатовец. Исходным текстом для него стал перевод Бесед, выполненный старцем Силуаном и Максимом Греком в 1524 г. Переадресация эксплицируется здесь не только в языковых изменениях, но и в прямой замене читательской аудитории, названной в предисловии: свой труд Силуан предназначает “русскому московскому народу”, а Иов — народу сербскому [Ангелов 1981: 326–327].

При переадресации межконфессиональной происходит идеологическая переработка исходного текста. Характерны в этом отношении памятники Юго-Западной Руси. Например, в основу катехизиса перемышльского епископа Иннокентия Винницкого, вышедшего в 1685 г. в Уневе, был положен польский перевод с латыни Катехизиса бельгийского

богослова и проповедника Жака Маршана, причем отступления от оригинала в простомовной версии были связаны со стремлением сгладить противоречия католической и православной традиции [Корзо 2008: 111; ЕАДЕМ 2011А: 23–24]. Иннокентий Гизель, архимандрит Киево-Печерской лавры, составляя свое пособие по нравственному богословию “Мир с Богом человеку” (опубликовано в Киеве в 1669 г.), компилирует сочинения польского доминиканца Миколая Мосчиского и привлекает некоторые другие католические источники. Все они подвергаются редакционной обработке, которая включает расширение текста цитатами из Св. Писания, замену иллюстративных примеров (так, примеры из Житий Петра Скарги заменяются примерами из Печерского Патерика), замену канонических правил. Наряду с заменами значимыми являются и пропуски: так, устраняются упоминания Фомы Аквинского и цитаты из католических схоластов XVI – начала XVII вв. [Корзо 2011А: 94–97].

Сложный случай такого рода переработки представляют собой сочинения Симеона Полоцкого. Так, стихотворный “Вертоград многоцветный” обнаруживает текстуальные заимствования из проповедей иезуита Маттиаса Фабера “Concionum opus tripartium”, а “История о путешествиях, чудодействах [. . .] Иисуса Христа” является компиляцией свода “Evangelicae historiae quadripartite Monas” Герарда Меркатора. Среди источников Катехизисов Симеона Полоцкого находится, в частности, пасторский компендиум Жака Маршана “Hortus Sacrae Doctrinae floribus polymitus, exemplis selectes adornatus”, опубликованный в 1626–1627 гг. При этом одно из сочинений Маршана — “Praxis Catechistica” — вошло в пространный Катехизис Симеона Полоцкого практически полностью [Корзо 2008: 109–111; ЕАДЕМ 2011А: 102–103; ЕАДЕМ 2011В].

В сферу идеологической переработки исходного текста включаются также и сознательные пропуски каких-либо фрагментов. Такие части текста могут заменяться чем-либо другим. Например, из текста Катехизиса Маршана Симеон Полоцкий исключает пассажи, чуждые для православных читателей, такие как рассуждение о делении христиан на францисканцев, бернардинцев и бенедиктинцев, фрагмент об индульгенциях (он был заменен толкованием евангельских блаженств) и нек. др. Имена западных мучеников (святых Севастиана, Диакона и Бландина) устраняются из текста Симеона Полоцкого [Корзо 2008: 113–114].

В ряде случаев заменам идеологического характера подвергается лексика. Характерна в этом отношении замена термина *purgatorium* на *мытарства* у Симеона Полоцкого. У него же “*materia et forma*” таинства передается как *вещь и образ*, а молитва к Деве Марии *rosarium* заменяется на *Акафист* и *Параксис* [Корзо 2008: 117].

Рассмотрим в данном отношении трактат<sup>1</sup> “Слово о милости”, с момента его введения в научный оборот Г. Певницким в 1861 г. и до наших дней считавшийся оригинальным произведением Епифания Славинецкого или его ученика Евфимия Чудовского<sup>2</sup>. Нам удалось установить, что “Слово”, в котором предлагается проект устройства так называемых “нищепиталищ”, т. е. домов призрения, представляет собой перевод проповеди Петра Скарги (1536–1612), написанной для основанного им в 1584 г. Братства Милосердия в Кракове. Польский текст “Kazania o miłosierdziu” на протяжении второй половины XVI – конца XVII вв. неоднократно переиздавался. Известно четыре церковнославянских списка XVII в. “Слова о милости”: *Барс459* (л. 158–191 об.), *Син716* (л. 37–119); *Син483* (л. 883–915) и список из собрания НБУ № 290/145 (л. 414–457), оказавшийся нам недоступным. Два из четырех списков — *Син483* и *Барс459* — являются черновиками-автографами Евфимия Чудовского [ПЕНТКОВСКАЯ 2016А: 105]<sup>3</sup>.

Сопоставление церковнославянского и польского текста показывает, что в перевод “Слова о милости” были внесены изменения идеологического характера. Прежде всего это регулярная передача прил. *katolicki* как православный, которая, в частности, наблюдается в сочетании *Kátholicka wiára* / православная вѣра:

*Син716* (XVII в.)<sup>4</sup> Бѣ мѣти вѣра православная, іакъ древо бѣ плода: надежда, іакъ наинникъ бѣ трѣда: любовь, іакъ мати бѣ детей: мѣтва, іакъ птица бѣ крилъ: постъ, іакъ іадъ бѣ соли (л. 20 об.) — Bez miłosierdzia wiára Kátolicka / iáko drzewo bez owocu / nádzieiá iáko náiemnik bez roboty / miłość iáko mátká bez dzieci / modlitwá iáko ptak bez skrzydeł / poŝt iáko potrawá bez soli (л. 10)<sup>5</sup>.

Аще же и разнствѣтъ вѣра демонѡвъ ѿ православныхъ вѣры, іакъ явленна есть вѣдомостію и разѡмомъ Естественнѣ: православная же вѣра ѿ Гда Бга дхѡ стѣмъ в срѣца наша влѣяна есть (л. 25) — Acz y tym różna iest wiára czártowska od Kátolickiey wiáry / iŝ iest wiadomoŝciá y rozumem przyrodzonym wyciŝniona: a Kátolicka wiára od Páná Bogá Duchem S. w fercá náŝe wlaná iest (л. 14).

<sup>1</sup> В работах, посвященных “Слову о милости”, его жанр определяется как проповедь. Трактатом или посланием к пастве называет его О. Б. СТРАХОВА [1995: 108–110], полагая, что оно не было предназначено для произнесения с кафедры.

<sup>2</sup> Обзор истории изучения “Слова о милости” и версий об авторстве находится в работе [ПЕНТКОВСКАЯ 2016А: 102–105].

<sup>3</sup> В настоящей работе используется варшавское издание *Kazanie o Miłosierdziu 1628*.

<sup>4</sup> “Слово о милости” находится на л. 20–71. Здесь и далее церковнославянский перевод “Слова” цитируется по этому списку.

<sup>5</sup> Польский текст передается с соблюдением основных орфографических особенностей старопечатных источников.

Аще же речеши: Ѹбо и махометанинѣ<sup>6</sup>, и еретикѣ, Ѹгда творятъ дѣла мѣти, добрую ли вѣрѣ православнѣю показѣтъ въ себѣ. Ѹвѣщаю. Добрая дѣла или растѣтъ на естественной добротѣ, яко Ѹѣдеевъ и махометянѣ<sup>7</sup>, и еретикѣвъ: или на православнѣй вѣрѣ, яже присадися къ бл҃гомѣ кореню хр҃тѣ, и бл҃годѣйствомѣ егѡ, яко самъ Гдѣ гл҃е: азъ есмь лоза, вы же рождѣе (л. 25) — A jeśli rzecześ: To y Turek y hæretyk / gdy czyni uczynki miłościerne / wiäre w sobie dobrą Kátholicką pokázuie? Ná to miey taką odprawę. Dobrę uczynki ábo rośtą ná przyrodzoney cności / iáko u Zydow / pogan / y hæretykow: ábo ná Kátholickiey wierze / która wśczepiona ieŃt w dobry pniak w ChryŃtuŃi y zaŃlugi iego / iáko Pan Ńam mowi: Jam ieŃt mácicá / á wyŃcie rozgi (л. 14).

Еще в одном случае устанавливается порядок подачи милостыни в том случае, если одним из просителей является *Kátholik* / православный, а другим — еретик:

Два просятъ, единъ православный, второй еретикъ: извѣстно первое дати должнствѣ<sup>8</sup> вѣры ст҃ия домовникѣ: по семъ аще можно, дати и еретикѣ, ради сего, яко чл҃вкъ естъ (л. 55 об.–56) — Dwá żebrzą / ieden Kátholik / drugi hæretyk / pewnie pierwey dáć Ńię ma wiáry Ńwiętey domownikowi / toż ieŃli może być / dla tego iż człowiek ieŃt / dáć hæretykowi (л. 42).

Наконец, замена появляется в связке *христианин* и *Kátholik* / православный со ссылкой на 2-ю главу Соборного Послания ап. Иакова, общей темой которой является деятельное милосердие:

Безъ мѣтивыхъ дѣлъ никтоже познаетъ хр҃тіанина и православна сѣща, гл҃етъ ст҃ий Іаковъ (л. 24 об.) — Bez miłościernych uczynkow / nie pozna nikt Chrześćianiná y Kátholiká práwego / mowi S. JákuB (л. 14).

Такая замена сама по себе является частью традиции: так, в переводах, выполненных с латыни в Новгороде в кругу архиепископа Геннадия Гонзова (так называемое “Слово кратко” в защиту церковных имуществ, антииудейские трактаты Николая де Лиры и Самуила, толковая Псалтырь Брунона Вюрцбургского и некоторые другие), термин *catholicus* регулярно передается несколькими способами. Это **православный**, **сѣборный** (причем в переводе толковой Псалтыри Брунона, сделанном Дмитрием Герасимовым, последнее в ряде случаев глоссируется первым), а также транслитерированный вариант **кафоликии**. Функциональное переосмысление католического по происхождению текста обуславливает использование термина **православный** в переводе антииудейских трактатов там, где речь идет о христианской вере вообще, в прочих случаях задействован вариант **сѣборный** [ТОМЕЛЛЕРИ 2016: 11–12]. Подобная установка,

<sup>6</sup> На поле: агарининѣ.

<sup>7</sup> На поле: агаринѣвъ.



очевидно, могла применяться в тех контекстах “Слова о милости”, где христианская вера противопоставляется еретическим течениям и исламу, причем вариативность словоупотребления практически отсутствует.

Словосочетание καθολικὴ ἐκκλησία / *ecclesia catholica*, обозначающее универсальную, всеобщую церковь, превратилось в религиозно-политический концепт с распространением христианства, что позволило впоследствии славянским переводчикам передавать соответствующее прилагательное термином **сѣборьный**. Дальнейшее семантическое развитие порождало следующую логическую цепочку: “Кафолическая церковь значит всеобщая церковь. Всеобщая церковь — это церковь христианская. Христианская церковь — это единственная церковь и единственно правильная церковь. То есть это — правоверная церковь” [ПОДТЕРГЕРА, ТОМЕЛЛЕРИ 2009: 50–51, 66]. В переводе “Слова” этот смысл преломляется в зафиксированном один раз варианте передачи лексемы *katholik* как *правоверный*:

Правовѣрный же аще бѣга дѣла творитѣ, показѣтъ ѿ немѣ вѣрѣ, ꙗкѡ ѿ Бѣѣ сотворены сѣтъ (л. 25 об.) — Lecz gdy Kátholik dobre uczynki czyni: pokázuią w nim wiárę / iż w Bogu iáko Pan mowi / uczynione są (л. 14).

Более широкий контекст показывает, что христианин здесь, как и в вышеприведенных примерах, противопоставляется еретику и магометанину: творящий добрые дела христианин руководствуется при этом истинной верой, тогда как добродетельные поступки нехристиан объясняются “добрым естеством, к милости и человеколюбию склонным”, а потому не ведут к спасению.

Анализ соответствий в различных европейских языках для καθολικός / *catholicus* в Лексиконе А. Калепина (1502 г.), проведенный В. С. Томеллери и И. А. Подтергерой, показывает, что и в более позднее время на первый план выдвигается сема всеобщности, универсальности: *Catholicus*, καθολικός, Gall. Universel. Ital. Catholico, universale. Germ. Allgemein. Hisp. Universal. Pol. Powszechnij, obecnyj [. . .] Angl. Generall, universall (цит. по: [ПОДТЕРГЕРА, ТОМЕЛЛЕРИ 2009: 55]). Но уже в конце XVII в. в греческом (1688 г.) и латинском (1677 г.) словарях дю Канжа отражается более обширный спектр значений лексемы *catholicus*, в частности, здесь появляется узко конфессиональное значение ‘католический’: “Romani [. . .] qui alias Christiani, vel etiam Catholici” (цит. по: [ПОДТЕРГЕРА, ТОМЕЛЛЕРИ 2009: 57]).

Польские данные демонстрируют тот же спектр значений, что и другие европейские языки. Так, в латино-польском лексиконе И. Мончинского *Catholicus* определяется как *Vniuersalis*, а *Catholica ecclesia* — как та, которая включает в себе всех верных от первочеловека Адама до

только что родившегося [MACZYŃSKI 1564: 41; ПОДТЕРГЕРА, ТОМЕЛЛЕ-РИ 2009: 55, прим. 25]. В польской традиции, вероятно, под протестантским влиянием, закрепились также передача *catholicus* как *христианский*, что утвердилось и в западнорусской традиции (так интерпретирует этот термин князь Курбский) [IBID.: 88–91]. Этот смысл существует на фоне значения лексемы *katolik* ‘członek Kościoła rzymskokatolickiego’, которая, в свою очередь, включается в противопоставление “*katolik* / *heretyk*” и образует устойчивый ряд “*prawowierny katolik*”, “*katolik i prawowierny*”, в частности, в сочинениях П. Скарги [SŁOWNIK POLSZCZYZNY XVI w., 10: 174–175].

В польском оригинале “Слова о милости” конкретные еретики не называются и не перечисляются, однако Епифанию Славинецкому наверняка было известно знаменитое полемическое сочинение П. Скарги “*O jedności kościoła bożego*” [SKARGA 1577], вторая часть которого была посвящена, в частности, обсуждению различия между схизмой и собственно ересью и в которой ответственность за раскол возлагается на греков. Третья часть этого полемического сочинения обращена к восточным славянам, которые остаются в схизме<sup>8</sup>. Выбор варианта *православный* для перевода термина *katolicki* снимает вопрос о фактическом наполнении термина *еретик* и таким образом разрешает данную коллизию.

В отличие от полемического трактата о церковном единстве, в фокусе повествования П. Скарги в проповеди о милосердии находится абстрактная дихотомия католики (т. е. христиане) / нехристиане. В перспективе переводчика место католиков занимают православные, что позволяет обойти конфессиональные проблемы и, кроме того, адаптирует реалии.

Перевод “Слова о милости” может быть сопоставлен в данном отношении с другими произведениями той же эпохи, в том числе с переводами самого Епифания Славинецкого. Сложности при передаче термина могут разрешаться православными книжниками разными способами. Так, пассаж западноевропейского источника о том, почему зримая Церковь называется кафолической (*Catholicam*), сознательно пропущен С. Полоцким при создании катехизиса [КОРЗО 2008: 113–114].

Закарпатский православный книжник Михаил Оросвиговский Анд-релла в полемическом сочинении 1699–1701 гг. “Оборона верному человеку” настаивает на различении понятий “католический” и “кафолический”:

<sup>8</sup> Об отношении к православным как к схизматикам (еретикам), отступившим от христианства, свидетельствует следующий западноевропейский пример, относящийся к 1656 г.: *Ducem Moschoviae hic et nunc impossibile ad fidem catholicam inducere* — “Великого князя Московского здесь и теперь невозможно ввести в кафолическую (‘всеобщую’) веру” [ПОДТЕРГЕРА, ТОМЕЛЛЕ-РИ 2009: 79].

“... юж бо евангельская вера моя, а не католицка, но кафоли́тскаа. Знаю аз кафоликом быти, а не католиком, геретиком, его” [Неменский 2010: 41]. В основе такого различения лежит принцип графико-орфографической дифференциации значений слова<sup>9</sup>. Какова степень императивности такого принципа в данной паре, предстоит выяснить. Ср. сочетание “святую Православную, истинно каѳолическую вѣру” в присяжном обете новопоставленного иерея в Чиновнике из библиотеки киевского Софийского собора, созданном при митрополите Сильвестре Косове (1647–1657 гг.) [Неселовский 1906: прилож. XI, № 20].

В переводе “Деяний церковных” Цезаря Барония, сделанном в Москве с польской версии Петра Скарги в конце XVII в.<sup>10</sup>, унифицировано употребление прил. *каѳолический* и сущ. *каѳоликъ* вне зависимости от контекста [Подтергера, Томеллери 2009: 59]. В отличие от данной тактики, подход Епифания Славинецкого в этом пункте отличается избирательностью. В 1665 г. он выполнил перевод “Богословия” Иоанна Дамаскина с греческого языка при одновременном учете латинской версии. В тех случаях, когда речь идет о соборной и вселенской Церкви и об апостольских посланиях, Епифаний использует заимствование *каѳолический*, как и в переводе Символа веры. В значении научного термина Епифаний передает то же слово как повсеместный и общий [ibid.: 79–100]. Такое разделение находится в полном соответствии с данными греко-славяно-латинского Лексикона Епифания<sup>11</sup>: *καθολικός, ου ὁ повсакъ, повсакъеский* [сверху: *повсемстве*] *universalis* *каѳолический* *catholicus* (Син.греч383, л. 361 об.). При этом греч. *ὀρθόδοξος, ου ὁ* переводится как *православный* *orthodoxus*, *правомнителенъ* *recte opinator* (л. 506 об.). Таким образом, в Лексиконе прил. *каѳолический* и *православный* не являются взаимозаменяемыми.

Несовпадение словоупотребления в епифаниевском переводе “Богословия” и атрибутируемом Епифанию переводе “Слова о милости” могло бы послужить косвенным аргументом в пользу гипотезы о принадлежности перевода “Слова” не ему, а Евфимию Чудовскому, высказанной в свое время С. Н. Брайловским [1894: 2–3]. Однако препятствует этому общий анализ передачи реалий оригинала в церковнославянской

<sup>9</sup> Об этом принципе применительно к различению грамматических значений см., например: [Кузьминова 2011: 36–55; Живов 2017, 2: 845–847].

<sup>10</sup> Существует по крайней мере четыре перевода с польского “Деяний церковных”. Перевод рукописи РГАДА, ф. 381 № 341, из которой экскерпированы данные в работе [Подтергера, Томеллери 2009], не определен [Николаев 2008: 160].

<sup>11</sup> Отметим, что в епифаниевском переводе Лексикона Калепина 1642 г. латинскому *catholicus* соответствуют два варианта: транслитерированный грецизм *каѳолический* и его славянский эквивалент *соборный* [Подтергера, Томеллери 2009: 87].

версии “Слова”. Материал показывает, что тактика при переводе “Слова” подчинена определенной цели — устранить следы польского оригинала.

Этой же идее подчинены, в частности, случаи замены и устранения имен святых в переводе “Слова”:

Не мнози Гликери, мали Госанин таковѣи за чистотѣ ѿмрети изволившии:  
бѣдство, срамота, гладъ, искушеній вина (л. 51–51 об.) — Niewiele Lukreciy /  
niewiele Zuzan tákich: nędzǎ / śromotǎ / głód / do pokus przyczynǎ (л. 37).

При общности упоминания имени библейской Сусанны, перевод и оригинал различаются в выборе первого примера женской нравственности и целомудрия. В качестве такового Петр Скарга избирает легендарную жену римского патриция Лукрецию, совершившую самоубийство ради спасения чести. История Лукреции в числе других античных сюжетов актуализируется в эпоху Ренессанса и находит воплощение как в живописи, так и в литературе [РУЕНТЕ 2010: 1363–1364]. Ключевым в ренессансной интерпретации образа Лукреции становится понятие чистоты и добродетели: так, в одноименной поэме Шекспира Лукреция “предстает перед читателем в качестве святой, а сама поэма приближается к жанрам жалобных поэм и жития святых” [ЗЕЛЕЗИНСКАЯ 2012: 117–118, 126].

Отсылка к античности, имеющаяся в польском оригинале, заменяется в церковнославянском переводе именем христианской святой Гликерии. Вероятнее всего, в переводе речь идет о Гликерии, мученице Ираклийской (ок. 177 г.). В греческой традиции существуют краткая и пространная редакция ее Жития, а также рассказ о чуде, принадлежащий Никифору Каллисту Ксанфопулу. Служба св. Гликерии содержится и в Студийском, и в Иерусалимском уставе [АФИНОГЕНОВА, ЛУКАШЕВИЧ 2006: 573–574]. Память мученицы Гликерии под 13 мая отмечается уже в Мстиславовом Евангелии [ЛОСЕВА 2001: 338]. Появление имени этой святой, заменяющей Лукрецию, объясняется, в частности, текстом посвященного ей кондака, в котором особо подчеркивается соблюдение ею целомудрия: Кондакъ, гласъ, г. [. . .] Дѣѣ ѡбѣщѣи и вѣѣ мѣю, соблюла еси нетѣѣнное твое дѣѣвство: ѡбѣщѣю же ко гдѣ ѡсѣрдѣствовавши, пострада дѣи мѣжемѣдреннѣ даже до смерти. сѣгѣ ради и сѣгѣвымъ тѣ дѣѣѣ мѣченице вѣнцемъ вѣнчаеѣтъ хрѣѣтъ бѣѣ (Служ. Мин 1691, л. 119). Именно гимнографическими текстами и может быть мотивирована подстановка имени Гликерии, так как здесь ясно выражен мотив целомудрия и непорочности, отстаиваемых даже перед лицом смерти, однако причины выбора переводчиком именно этого имени все же до конца не ясны.

Какие еще источники, кроме служебных миней, содержащие сведения о св. Гликерии, могли быть известны переводчику “Слова”? Поскольку перед нами только упоминание имени святой, ответить на этот вопрос



сложно. Так, мучение св. Гликерии было издано по-гречески и по-латыни в третьем майском томе *Acta Sanctorum* в 1680 г.<sup>12</sup>, однако возможность знакомства переводчика “Слова” с этим изданием существует только в том случае, если Слово было переведено позднее этой даты. Житие св. Гликерии вошло в состав житийного свода св. Димитрия Ростовского, однако третий том, в котором находятся майские жития, был опубликован только в 1700 г. Память св. мученицы Гликерии с кратким текстом, описывающим ее мучение за веру, находится в Стишном Прологе тырновской редакции [ПЕТКОВ, СПАСОВА 2013: 36–37]. Страсть св. мученицы Гликерии вошла и в московское издание *Пролога 1643*, а также в последующие издания, например, *Пролог 1696*. Пространная и проложная версии жития св. Гликерии вошли в майский том Великих Миней Четьих митрополита Макария (13 мая, лл. 462a–469d, 469d–470a) [ВМЧ 2009]. Житие св. Гликерии содержат также Минеи Четьи Германа Тулупова (*Тр676*, 1630 г., л. 300 об.–309). В Минеях Четьих Иоанна Милютина (1646–1654 гг.) под 13 мая читается Мучение св. мученицы Гликерии (*Син805*, л. 858–871). Таким образом, вероятнее всего предполагать в данном случае обращение переводчика к церковнославянским московским источникам, и в первую очередь гимнографическим.

В двух случаях в переводе устраняется упоминание римского папы:

И постъ есть полезенъ<sup>13</sup>, глѣтъ нѣкѣй сѣй, егда ѿемше что чрева, ницемъ даемъ: Ёже сластопитанія ѿемлѣся, нѣдномъ дарѣтся: аще же не сице, не имать великія ползы (л. 35) — Y post tak ięszce pożyteczny / mowi ieden święty / gdy to co się brzuchowi uwłoczy / ubogiemu się udziela: to co się rojkoży odeymuie / nędznemu się dáruię: inaczey nie ma wielkiego pożytku. На поле ссылка, отсутствующая в церковнославянском переводе: Leo Papa (л. 23).

Аналогичный случай представлен ниже:

о сицевыхъ ѿбогихъ глѣтъ сѣй двѣ блженъ, разѹмѣвай на нища и ѿбога (л. 45 об.) — O takich ubogich mowi S. Leo Papież: Błogosławiony / mowi Dawid / ten ktory zrozumiewia niedośćatęcznym y ubogim (л. 32).

<sup>12</sup> XIII МАЙ. ΑΘΛΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ. Ex Codice XXVII Palatino Bibliothecae Vaticanae fol. 19 (12\*–15\*). В *Acta Sanctorum* на л. 188–193 содержится латинский текст “De SS. Glyceria Virgine et Laodicio Custode Carceris, martyribus Heracleae in Thracia. Circa annum CLXXVII”. Под указанной в *Acta Sanctorum* датой (177 г.) информация о св. Гликерии отсутствует в латинском издании “Деяний церковных” Цезаря Барония, см., например, издание 2-го тома 1609 г. *Annales ecclesiastici*, стлб. 226–228. Отсутствуют под 13 мая тексты о св. Гликерии и в “Житиях святых” Петра Скарги [SKARGA 1598] Отсутствуют под 13 мая сведения о св. Гликерии также в более раннем, чем *Acta Sanctorum*, издании картезианта Лаврентия Сурия (Laurentius Surius) “De vitis sanctorum omnium nationum, ordinum et temporum”, представляющем собой латинскую обработку Житий святых Симеона Метафраста, см. майский том издания [SURIUS LAURENTIUS 1572].

<sup>13</sup> На поле киноварью: постъ кѣй полезенъ.



В польском тексте даны ссылки на Льва I Великого, равно чтимого обеими Церквями<sup>14</sup>. Память св. Льва, папы римского, отмечается в православной традиции 18 февраля. В “Житиях святых” Петра Скарги [СКАРГА 1592] его житие помещено под 11 апреля: *Zywot ś. Leoná wielkiego Papieżá / wzięty z żywotow Biskupow Rzymjskich [ . . . ] Zył okolo roku Pánjskiego / 442 (л. 311–314)*. На л. 314–315 излагаются основные постулаты его учения, к которым относится в том числе ключевая для рассуждений автора “Слова о милости” рубрика: *Wiárá nic nie iest bez uczynkow* (л. 315).

В переводе заменяются характерные для Речи Посполитой реалии. В частности, в двух контекстах замены касаются упоминания замков в иллюстративных примерах:

Аще бы кто продава<sup>1</sup> Црѣтво, или градъ кѣй: ѿ великою Епархією, и реклъ, Еже имаши, сѣ даждь за тоѣ, и превозможеш<sup>15</sup> сего и сего любимича моего, вѣщше же не потреба: ты же ничтоже имаши, точію нѣколики селяны, или нивы на селѣ, или ветхѣю<sup>16</sup> ризѣ: Еда бы на такову кѣплю не потщался еси. Сѣе тебѣ гдѣ глѣтъ<sup>17</sup>: сотворите себѣ любимичи ѿ мамны, дайте колѣнкѣ можете любимичемъ моимъ, ониже прѣимѣтъ вы ѿ скнѣи и грады и Црѣтва вѣчная (л. 36)<sup>18</sup> — *Gdyćby kto przedawał Królestwo Polskie / ábo zamek iáki z wielką wołoscią / y rzekł: day zań to co maś / á przemożesz temu á temu przyiacielowi memu / á więcey nie potrzebá: á tyby nie miał iedno kilá kmieci / ábo zágon roley / ábo zdárká sukniá: izaliby Jię do tákiego tárgu nie porwał? Tożci Pan mowi: Czyńcie sobie przyaciele z pieniędzy / daycie co możecie przyaciołom moim / á oni was przyimá do przybytkow y zamkow onych / y Królestw wiecznych* (л. 24).

Аще бы црѣ великѣй согласился ѿ тобою: се ты до времени шбогачѣ, и зъ блгѣти моея дая двѣстѣ сѣла, и двадесятъ грады, даждь единому сѣлу ономѣ, Емѣже азъ повелю, за сѣе же дамъ тебѣ на оная двѣсти села вѣчность, к семѣже и гдѣ ты вѣщшымъ поставлю. Еда бы ѿ таковаго согласенія шбогачѣси (л. 36 об.) — *Gdyby Krol wielki ták Jię z tobá znowił: o to cię do czásu ubogacam / dáięć dwieście wsi y 20. zamkow do łáski moiey / day iednę z tych wioskę temu komu ia każę / á zá to / damci ná one dwieście wsi wieczność / y ieszcze cię pánem więkšym uczynię: izaliby od tákiey znowy ućiekał?* (л. 24).

<sup>14</sup> См. характерное полемическое высказывание униата Ипатия Потя, обращенное к анонимному православному оппоненту: *Świętych ojców greckich, jak i łacińskich, których jednak i zarówno w poczwósci mamy i wychwalamy — Atanazyjusza, Bazylija Wielkiego, Grzegorzów obydwu, Chryzostoma, Cyryllów obu, Epifaniusza, Ambrozyja, Augustyna, Hieronima, Grzegorza, Leona Wielkiego i innych — naśladowując ich nauki, granic nie przestąpiłšmy*. Цит. по [STRADOMSKI 2004: 88].

<sup>15</sup> На поле: превъидеши.

<sup>16</sup> На поле: радраннѣю.

<sup>17</sup> На поле: лѣ: сѣ:

<sup>18</sup> Ср. Лк 16:9 “и азъ вамъ глаголю, сотворите себѣ любимичи ѿ мамны неправды: да егда всхлѣбете, прѣимѣтъ вы ѿ вѣчныхъ скнѣи” (*Син.греч* 472, л. 159 об.). Таким образом, цитата выровнена по переводу Нового Завета книжного круга Епифания Славинецкого († 1675). Это может служить косвенным датирующим признаком для перевода “Слова”.

Польское замковое зодчество является составной частью европейской феодальной замковой структуры. Для польского культурно-исторического ареала было характерно сооружение феодального замка дворцового типа, берущего начало в германской традиции. В Западной и Юго-Западной Руси распространение получили также родовые замки, выполненные в североитальянской традиции замкового зодчества [Килимник 2014: 52–53]. Для Московской Руси замок как архитектурный тип не был характерен.

Сама лексема *замок* восходит к польскому *zamek* и появляется в русской письменности в XVI в. [Польские дела 1887: sub 1549 г.]. Она имеет значение не только ‘замок, укрепленное жилище’, но и ‘укрепленная часть города, крепость’ [Фасмер 1996: 77; СлРЯ XI–XVII вв., 5: 242], что, по всей вероятности, и служит основанием для переводчика “Слова” выбрать соответствующий вариант *градъ*. Важно отметить, что само слово, как и стоящее за ним понятие, в конце XVII в. было освоено русской культурной традицией, и отказ от его употребления вызван не столько отсутствием или незнанием соответствующей реалии, сколько стремлением устранить признаки западного происхождения текста.

Примечательно, что в процессе замены активно участвуют грецизмы: так, в первом примере “z wielką wołością” (отметим: здесь восходящий к древнерусскому административному термину) заменяется на *с великою Епархією*. Греч. новозаветн. ἐπαρχία имеет несколько значений: ‘епархия, префектура, провинция’, ‘область’ [Сорнослес 1992: 493]. Заимствование *епархия* активно употребляется в церковнославянских текстах южно- и восточнославянского происхождения уже в древнейший период развития книжности (оно употребляется, в частности, в Хронике Иоанна Малалы и в Хронике Георгия Амартола) [СДРЯ XI–XIV, 3: 212; Чернышева 1994: 423]. Выбор грецизма в данном случае имеет под собой формальные основания (если не учитывать приобретение самим греческим словом и, соответственно, его славянской транслитерацией узкого значения церковно-административной единицы): он абсолютно точно соответствует др.-рус. *волость*. “Обратной транслитерации”, однако, в переводе не происходит: грецизм нужен для введения текста в русло византийско-церковнославянской традиции, маркером которой он является.

Грецизм *епархия* появляется еще раз при замене лексемы *powiat*, обозначающей территориально-административную единицу Речи Посполитой:

Многѡ во єсть въ цр҃кѣ сѣ<sup>м</sup>, и єгѡ Епархіѣхъ и во градѣ сѣмъ мѣстѣхъ  
щедрѣхъ: (вѣди ѿ сєгѡ Гдѣ Бгѣ слава:) но мало бл҃гочинны<sup>х</sup>, и ѡ подаяніи мѣстни  
расѣднѣхъ, и въ совершеніи бл҃гѡ намѣренія ѡмнѡгѡ вѣрныхъ и дѣльныхъ и

8сѣрдныхъ (л. 39 об.) — Bo wiele ieŃt / z czego bądź Pánu Bogu chwałá / w tym kroleŃtwe / y **w tym powiećie** y mieŃćie iáłmuŃnikow miłóŃiernych: ále porządnych / y około czynienia iáłmuŃn roŃtropnych / y w wykonániu dobrego poŃtánowienia wiernych y dzielnych y pilnych nie wiele (л. 27)<sup>19</sup>.

В “Книге Лексикон грекославенолатинский” Епифания Славинецкого лексеме ἐπαρχία даны следующие соответствия: ἐπαρχία, ας ἡ **приначалие начаѣство** *principatus*·**власть** *Епархία* *Епаршество* (*Син.греч*383, л. 266). В польско-латинско-греческом лексиконе Г. Кнапского греческим соответствием для *powiat* является *enarхия*: Powiát Ńwićcki / poŃpolity / w ktorym ŃiemŃskie Ńády bywáia. DióceŃis [. . .] Pagus [. . .] Prouincia [. . .] ἡ ἐπαρχία [КНАПИУШ 1643: 801]. Словарь Г. Кнапского послужил одним из источников латино-польского лексикона Епифания Славинецкого 1642 г.: в особо сложных случаях (в частности, при переводе ботанической и зоологической терминологии) в поисках славянского соответствия восточнославянский книжник обращался к польским лексемам и толкованиям в словаре Г. Кнапского. Этим источником Епифаний пользовался и в дальнейшем, после переезда в Москву, при совместной с Арсением Сатановским работе над “Лексиконом словенолатинским”. Лексикон Г. Кнапского был и в библиотеке Евфимия Чудовского: “К<нига> печатная, Лексикон польско-латино-грецкой Григория Кнапия том 1-й, в досках [. . .] Того ж Григория Кнапия том 2-й в полдестъ латино-полский лексикон” [НИКОЛАЕВ 1996: 158–161].

Таким образом, передача лексемы с территориально-административным значением с помощью грецизма получает объяснение при обращении к синхронным лексикографическим источникам, которыми мог пользоваться переводчик. Подкрепляется оно и данными источников предшествующего периода. Так, М. И. Чернышева фиксирует перевод латинской лексики терминологического характера укоренившимися в церковнославянском языке грецизмами, в частности, соответствие *praefectus* — **ипархъ** в Житии свят. Николая Мирликийского, созданном в кругу князя А. Курбского [ЧЕРНЫШЕВА 2004: 75].

Грецизм в переводе используется и для обозначения носителей власти:

Тогw ради<sup>20</sup> Цри, wпаты, и началники, сѣое писаніе бгы зоветъ, понеже первое дѣло тѣхъ есть, блгw члkwмъ творити, оныя защищати, питати и ми тѣхъ, и блгое имѣніе рáмножати, и нждѣ ихъ ѡдаляти: сѣ бо есть истиннw Гдне

<sup>19</sup> Порядок слов и пунктуационное оформление синтагм в переводе в этом фрагменте не вполне соответствует польскому оригиналу.

<sup>20</sup> На поле: **Чиновници чesw ради бги зовѣтса**. В польском тексте этому соответствует заголовок *Urzędy czemu się bogami zowią* (л. 13). Лексема **чиновникъ** фиксируется уже в старейших переводах с греческого со значением ‘правитель, сановник’ [СРЗ, 3: 1519].

и Бже<sup>21</sup> дѣло, давати, помѣщствовати, и нѣждѣ ѿ члѣкъ ѿгоняти<sup>22</sup>. Іакѡже бо црїе, впаты, и началници вѣщающа мѣста имѣтъ: зане полезнѣйшій чинъ исправляютъ, члѣкомъ сѣжающе и имѣнїя нхъ множаще: сице мѣтъ паче и || л. 24 (мѣ) нхъ добротъ вышшее мѣсто имать: такѡ бо Црѣ на велико<sup>м</sup> правленїи члѣкѡ<sup>в</sup> сѣди<sup>т</sup> — Dla tego<sup>23</sup> Pány / Krole / Urzędy / Pismo S. bogami zowie / iż ich napierwŝa powinnoŝć ieŝt / ludziom dobrze czynić / onych bronić / żywić / y pokoy ich / y dobre mienie rozmnażać / y nędzę ich oddalać: bo to ieŝt prawnie Pánjskie y Bojskie dzieło / dawać / wspomagać / á nędzę od ludzi płoŝać<sup>24</sup>. A iáko krolowie y urzędy / y pánowie nawyżŝe mieyscá máia: bo napożyteczniejszy urząd ludziom ŝluząc / y dobre ich mnożąc odprawuia: ták miłosierdzie nád inŝemi cnotámi nawyżŝe mieysce ma: bo iáko Krol y pan ná wielkiey poŝludze ludzkiey ŝiedzi (л. 13).

В польском оригинале порядок слов меняется, и начальной последовательности *Pány / Krole / Urzędy* далее соответствует *krolowie y urzędy / y pánowie*. В церковнославянской версии в обоих случаях порядок неизменен: Црїи, впаты, и началници. В отношении порядка слов церковнославянский перевод не всегда следует польскому оригиналу, как это происходит, по всей вероятности, и в данном случае. Отметим два значения слова *urząd*<sup>в</sup>: в одном из них *urząd ludziom* переводится как *на правленїи члѣкѡ<sup>в</sup>*, в другом *urzędy* переводятся как *началници*. Выбор церковнославянской лексемы определяется, вероятнее всего, обращением к словарям. Так, в соответствующей статье словаря Г. Кнапского представлен обширный греческий синонимический ряд: “*urząd / persiony urzędowe* [...] *Magistratus* [...] *ὁ ἄρχων, οἱ ἄρχοντες, οἱ τὰς ἀρχὰς ἄρχοντες: ὁ τιμοῦχος, ὁ πολιτευτῆς, οὔ. δήμαρχος: οἱ ἐν ἀξιωματι: οἱ προεστηκότες: οἱ πολιτευόμενοι: οἱ ἐπ’ ἀξιώσεως, οἱ ἐν ἀρχοῦς ὄντες*” [КНАПИУСЗ 1643: 1199–1200]. В Лексиконе Епифания Славинецкого *ὁ ἄρχων* передается как *начальникъ princeps*. *вождь дух. повеліте Imperor* (Син.греч383, л. 156 об.).

Лексемы *Pán* и *Krol* имеют значительную область пересечения значений, совпадая, в частности, в латинском соответствии *Rex* (ср. “*Rex Król Pan*” в латинско-польском словаре Г. Кнапского [КНАПИУСЗ 1626, 2: 953]). Поэтому однозначно определить, какую именно лексему передает грецизм *впаты*, затруднительно.

Греч. *ὁ ὕπατος* означает ‘консул’ [СОРНОСЛЕС 1992: 1108]. Славянское заимствование также относится к числу ранних (13 Слов Григория Богослова, Хроника Иоанна Малалы, Хроника Георгия Амартола и др.). В церковнославянских источниках заимствование *впаты* имеет значение ‘правитель, консул’, ‘владыка’ [СДРЯ XI–XIV, 4: 164, 213; СРЗ, 1: 1110; СРЗ, 3: 1238]. О широкой распространенности этого грецизма в русском книжном языке свидетельствует

<sup>21</sup> На поле: Гѣа и Бѣа.

<sup>22</sup> На поле: нсхѡ<sup>л</sup> кв: ѡа<sup>л</sup>, па:

<sup>23</sup> На поле: Urzędy czemu ŝię bogami zowie.

<sup>24</sup> На поле: Echo. 22. Pŝal. 81.



его употребление в Сказании о Мамаевом побоище, в котором *оупатъ* употребляется для обозначения определенных чинов татарского войска: “(Мамай) нача глаголати ко своимъ оупатомъ и княземъ и оуланомъ” [Чернышева 1994: 416; СРЗ, 3: 1238]. Словарь старославянского языка фиксирует *впатъ* ‘сатрап — *summus provinciae Persarum magistratus*’ (с вариантами *ипатъ*, *ѡпатъ*) в Паремийниках: *и посла навъходоносоръ цѣсѣа<sup>р</sup>ъ събрати въсѣа паты и воеводы и мѣстныѣ князѣ* τοὺς ὑπάτους Деян 3:2 [SJS, 4: 1040].

В греко-славяно-латинском Лексиконе Епифания Славинецкого греч. ὁ ὑπάτος имеет следующие соответствия: *высочайший* *supremus*, *глубочайший* *profundissimus*, *впатъ* *consul*, *вождь* *dux* (л. 697). Учитывая порядок слов в первой цепочке польского фрагмента, а также то, что *Pan* имеет также значение ὁ κύριος, δεσπότης πάντων [KNAPIUSZ 1643: 665], можно предположить, что форме *Pánu* в переводе соответствует Цѣи, а грецизм *впаты* передает польск. *Krole*.

Благодаря упомянутым мультязычным словарям перевод на церковнославянский язык с польского включался в традиционную парадигму переводов с классических языков, то есть с греческого и латыни.

В переводе “Слова” снимаются все упоминания Польского государства. Так, в приведенном выше примере “Gdyby kto przedawał Krolestwo Polskie (л. 24)” в церковнославянском переводе читается: *Аще вы кто продава<sup>а</sup> Цѣ<sup>с</sup>тво* (л. 36). В следующем случае *ná Rzeczpospolitą* заменяется более абстрактным *ѣ народъ*:

*Аще вы ты на вѣсѣженіе веденъ былъ смертноѣ за таковоелико злодѣйство: и аще вы сѣдѣи повелѣли тебѣ дати сотнѣю часть имѣній твоихъ ѣ народъ, и свободити тя ѿ смерти: Ёда вы долгѡ размышляѣси, еже и все и|| л. 37 (оѡ) мѣніе твое дати; (л. 36 об.) — Gdyby cię ná plác do czwiertowania zá iákie złočynŕstwo wiedżiono: á krolby ábo urząd do ciebie rofkazał: Day ŕetną część dobr twoich ná Rzeczpospolitą / á wolnym od tey śmierci zoŕtanieŕ: izaliby ŕię długo rozmyślał / ábyś y wŕytkiego co maŕ dać nie miał? (л. 25).*

Отметим попутно, что в этот фрагмент внесены и иные изменения. Так, выражение *ná plác do czwiertowania* передается как *на вѣсѣженіе смертноѣ*. Характерно, что заимствование *плац* в переводе не применяется. Старейший зафиксированный в словарях пример употребления этой лексемы, пришедшей в русский язык как раз через польское посредство, относится к 1697 г. (в форме *пляц* ‘площадь’), а в значении военного термина — к более позднему времени (1716 г.) [Фасмер 1996, 3: 276; СЛРЯ XVIII в., 20: 13]. При этом замена конкретного вида казни на общее обозначение связана не с отсутствием данного способа в Москве. Четвертование как вид казни применялось в России в XVII в.: так, в 1654 г. был четвертован самозванец Анкудинов, а в 1671 г. Степан Разин [Непомнящая 2006: 212; Казаков, Майер 2017]. Переводчик, судя по всему,



намеренно избегает упоминания подобного рода деталей в контексте темы милосердия. Но само отсутствие лексемы связано не только с подобной интенцией переводчика, а с его пуристическим отношением к заимствованиям западноевропейского происхождения.

Такая же замена названия конкретного государства более общим понятием находится и в третьей части трактата:

Вицѣвое радѣленіе трѣдѣвъ и должности въ единомъ народѣ, во ѡбщесложеніи, іакѡ во единомъ тѣлѣ бл҃гочиннѡ<sup>25</sup> да исправляется, на долгѡ пребываетъ, со ѡтѣшеніемъ всѣхъ, и приказаніемъ бл҃гимъ вываецъ (л. 63 об.) — Takiе podzielenie robot u powinności w iedney Rzeczypospolitey / w iednym Bractwie iako w iednym cieie pięknie się odprawuie / długo trwa / z poćiechą wŹytkich / y z przykłádem dobrym zoŹtáie (л. 47).

Контекст позволяет считать, что в польском оригинале речь может идти не только о Речи Посполитой, но и о государстве вообще. В церковнославянском переводе этот эффект усиливается благодаря изменению глагольной формы: наст. время оригинала *się odprawuie* правится на так называемый оптатив **да исправляется**.

В лексиконе Г. Кнапского *Rzeczpospolita* / *Respublica* имеет следующие соответствия: “res publica: Politia, ἡ πολιτεία. [. . .] τὸ κοινὸν. v. *Pospolite dobro* [. . .] *Ciuitas* [. . .] *Publicum*” [КНАПИУСЗ 1643: 968]. В Лексиконе Епифания находим то же соответствие: “полιτεία ας ἡ тожде еже πόλις. πόλις εως ἡ град<sup>д</sup> *urbs*. гражданство *politia*” (*Син.греч*383, л. 571). При этом τὸ κοινὸν переводится как **общее** *commune*. **народное** *publicum* (л. 405 об.). Закономерным образом в переводе атласа Блау (в части, выполненной Епифанием Славинецким) латинскому *respublica* регулярно соответствует **Гражданство** (*Син*19)<sup>26</sup>. Выбор лексемы **народъ** в “Слове” также получает объяснение при обращении к лексикону Г. Кнапского: “*Pospolity aliter, publiczny / rzeczy pospolitey należący* [. . .] ὁ δημόσιος, δημοσιακός, δῆμιος, λήϊτος” [КНАПИУСЗ 1643: 788]. Ср. соответствия этим греческим словам в Лексиконе Епифания: “δημοσιακός тожде еже δημόσιος **народный** *publicus*. **люный** *popularis*” (*Син.греч*383, л. 284); “δῆμιος οὐ ὁ **народный** *publicus*. **людский** *popularis*” (*Син.греч*383, л. 183 об.); “λήϊτος οὐ ὁ **люды** *populus*. **народъ** *turba*” (*Син.греч*383, л. 431 об.). *Respublica* переводится как “весь народ” и Симеоном Полоцким [Корзо 2008: 117].

Уход от конкретного обозначения государства отвечает авторскому замыслу создателя церковнославянской версии “Слова” и связан с изменением прагматики текста. При этом в обоих случаях переводчик “Слова” не употребляет саму лексему *государство*, которая известна в русских источниках с XV в. [СлРЯ XI–XVII вв., 4: 108].

<sup>25</sup> На поле глосса: **с҃тройноу**.

<sup>26</sup> Благодарю Н. В. Николенкову, обратившую мое внимание на этот факт.

В переводе “Слова” отмечаются не только лексические замены реалий, но и идеологически значимые добавления. Так, в оригинале звучит призыв к следованию традиции “иных Церквей, в особенности Итальянской”, опыт которой в распространении практики Братства Милосердия П. Скарга использовал при организации Братства в Кракове. В переводе в данном фрагменте сделана следующая вставка:

И хотѣше семѹ помѣщствовати, подражамъ древнимъ Цркви<sup>М</sup> Греческимъ, и Италійскимъ, совѣтъ<sup>М</sup> вамъ и прошѹ<sup>М</sup> в имени Гдѣ Іиса Хрѣта, еже наздати во градѣ семѣ двмы мѣти и собранія<sup>М</sup><sup>27</sup>, и чинѣ ѹстроивше, вторагѹ домоваго нищепрѣтелища нищия, по силѣ своей назирати, и добрая мѣтивая дѣла, и бл҃гѹ мѣтины чл҃ческихъ ікономію насадити, на образѣ ины<sup>М</sup> (л. 61 об.) — *Y chcąc tego ratować / náślądując kościołow innych / zwłaszcza Włojskich / rádziło się wam / áby Bráctwo Miłosierdzia w tym mieście założone y włsczepione było / ktoreby porządki sobie postánowiwszy / owe wtorego domowego špitalá ubogie / wedle możności opátrowało / á dobre się miłosierne uczynki / y dobre iálmużn ludzkich šáfowanie włsczepiło / ná przykład innym* (л. 46).

Подобная вставка, уравнивающая упоминание “италийской страны” обращением к “греческому царству”, имеется и далее:

Таковыми двмы и слоги древле Греческое царство, и во Италійской странѣ бл҃гими дѣлы цвѣтѣше, и тѣмъ стояше, и тѣмъ Гдѣ Бгѣ хранѣше тоє ѿ паденія, и тѣ<sup>М</sup> грѣхы тѣхъ гаситѣ. да бѹдѹтъ слози таковѣи, или общесобранія в разная бл҃готворенія раздѣлившаяся. Овѣи тѣхъ да презираетѣ сироты, и поверженныя мѣнци. Овѣи же вдовы овнищавшыя є дѣтми. . . (л. 63 об.) — *Tákimi Bráctwy Włojska ziemiá w dobre uczynki zákwitnęła / y tym stoi / y tym iey Pan Bog od upadku broni / y tym grzechy šwoie gáši. Są Compánie ábo Bráctwá / ktore między się rozmaíte miłosierdzia uczynki rozebrały: Jedno Bráctwo opátruie šieroty y porzucone dzieci: Drugie wdowy zubożále z dżiatkámí. . .* (л. 47).

Таким образом, в переводе фактически добавляются указания на Византию (к чему отсылает употребление нар. древле ‘в древности, давно’ и прил. древнымъ — не только ‘древний, старинный’, но и ‘прежний, предшествующий’ [СДРЯ XI–XIV вв., 3: 77–79]). Ссылка на Италию оригинала остается, но упоминание прежнего греческого царства и практики греческой церкви автоматически относит “Италийскую страну” к временам Западной Римской империи. Так осуществляется деактуализация реалий оригинала, в котором речь идет не столько о традиции, сколько о современной практике.

Снятие актуализации происходит и в цитированном выше случае замены *турок* польского оригинала на *махометян* и *агарян* (последний

<sup>27</sup> На поле глосса: *молю*.

<sup>28</sup> На поле глосса: *славгы*.

вариант добавляется в глоссе): махометанинъ [глосса: агарининъ] — *Tur- rek*; см. также: *Аще бы тя плѣнилъ агарини<sup>н</sup>* (л. 36) — *Gdyby cie poimał Turczyn* (л. 24). Упоминание в глоссе агарян позволяет вписать “Слово” в византийско-церковнославянскую традицию, к чему и стремится переводчик, явно знакомый с византийским приемом нарочитой архаизации названий народов, когда, например, сербы именуются античными трибаллами [Лукин 2013: 30].

Примечательно, что в епифаниевском переводе Атласа Блау отражена иная стратегия перевода. В главе “*Описаніе склавоніи, кроатіи, босніи и далматіи*” читается: *Главнѣ здѣ Торжище есть, нанемже ТѸрскіи товарѣ, камѣ либѣ рѣпродавѣются* (Син19, л. 72) — “*nobile hic emporium est, in quo Turciæ merces quaquaversum distrahuntur*”<sup>29</sup> [BLAEU 1645: 34 b]. Актуальность упоминания турок для П. Скарги несомненна: в XVI в. Османская империя являлась грозным противником Европы. Не менее значимы были отношения с турками и в России XVII в., когда делался перевод “Слова”, однако особая задача, стоявшая перед переводчиком, потребовала в данном случае замены реалий.

При общей стратегии адаптации перевода к культурно-исторической ситуации России второй половины XVII в. выделяются случаи, когда в языке существует собственный эквивалент реалии или понятия, и случаи, когда такой эквивалент отсутствует. Ключевым понятием текста является б р а т с т в о как особая социальная система, создание которой п р е д л а г а е т с я в переводе (что кардинально отличает церковнославянскую версию “Слова” от польской, в которой описывается уже существующая организация). Отсутствие этой реалии в действительности Московского царства не приводит переводчика к необходимости употребить прямую семантическую кальку *братство*. Способы перевода лексемы *Bráctwo* разнообразны и отражают в конечном счете многоаспектность этого понятия. Прежде всего, это *Bráctwo* — *домъ милованія* (л. 48). В том же ряду стоят: *дѣмѣ мѣти и собранія* [на поле глосса: *слогѣ*] — *Bráctwo Miłosierdzia* (л. 61); *дѣмѣ и слогѣ* — *Bráctwy* (л. 63 об.); *слогѣ таковѣ, или общесобранія* — *Compánie ábo Bráctwá* (передача польской внутритекстовой глоссы); *во общесложеніи* — *w jednym Bráctwie* (л. 63 об.). В таком соположении совмещаются семы ‘место’ и ‘коллектив’. Вариативность передачи реалии сочетается с элементами объяснительного перевода.

В переводе рубрики-заголовка фигурирует также лексема *собраніе*: *Полза велія собранія бл҃гочинныхъ* (л. 63, заголовок на полях) — *Pożytek wielki Bractw porządných* (л. 47, заголовок на полях). Лексемы *слогъ* ‘союз’ [СлРЯ XI–XVII вв., 25: 108], *с҃ложено* ‘соединение’ [СлРЯ XI–XVII вв.,

<sup>29</sup> Благодарю Н. В. Николенкову, указавшую мне этот пример.

25: 109], **собрание** ‘собрание, сообщество, содружество’ [СлРЯ XI–XVII вв., 26: 30] содержат общую сему объединения в коллектив. Все три лексемы употребляются в русской книжности с древнейшего периода.

Еще один вариант перевода представлен ниже:

Єдино Ѹстроєніє сихъ не подиметъ всѣхъ точію ономѹ да слѣжитъ еже можеть (л. 64) — A iedno Bráctwo wŹyŹtkiego Źię niepodeymuie / iedno tego czemu zdoła (л. 48).

Многозначная лексема **Ѹстроєніє** имеет в числе значений ‘устройство’, ‘чин, порядок’ [СРЗ, 3: 1286].

Польская лексема имеет в словаре Г. Кнапского следующие соответствия: “Bráctwo / Societas, Sodalitas, Sodalitium [...] Ordo [...] ἡ φρατρία Fratria [...] ἡ ἐταιρεία” [КНАПИУСЗ 1643: 44]. В лексиконе Епифания варианты перевода ἡ φρατρία таковы: “плѣмѣ tribus. клеврѣтство sodalitium. дрѹжество societas. сѹх<sup>д</sup> conventiculum” (Син.греч383, л. 728). В этом перечне не встречается ни один из вариантов перевода лексемы *Bráctwo* в “Слове”.

В Московской Руси слово *братство* имело только значение ‘родство между братьями, братские отношения’, ‘монастырская братия’, что отражало отсутствие здесь братств как цеховых организаций ремесленников и различного рода обществ [СлРЯ XI–XVII вв., 1: 325]. Значения ‘объединение ремесленников одной или близких профессий’, ‘цех’ и ‘церковная либо монастырская община’, ‘культурно и национально-религиозное объединение, организация’ закономерным образом отражаются с XV в. в западнорусских источниках [ССМ XIV–XV ст., 1: 121; ССМ XVI–XVII ст., 3: 63–64; Гістарычны слоўнік, 2: 207–208] и несомненно были известны переводчику. При этом в переводе пропускается фрагмент, в котором в польском оригинале упоминается цеховое братство:

U nas po wielkiey cześci Źą Bráctwá RzemieŹlnikow / ná ktorych rzeczy Źwe opátruia / ábo iákich KoŹcielnych poŹlug doglądáia (л. 48).

Прибегнуть к прямому переносу значения, как уже отмечалось, мешала установка на доместикацию текста.

Первая словарная фиксация лексемы *братство* в терминологическом значении ‘союз, объединение людей, созданные для какой-либо цели и подчиняющиеся определенным правилам’ в России относится только к первой трети XVIII в.: “Главнѣишии в каком ниестъ братствѣ или старшина в какой компании (Русско-голландский лексикон Я. В. Брюса 1717 г., л. 35)” [СлРЯ XVIII в., 2: 129–130].

Как уже отмечалось, Петр Скарга основал Братство Милосердия при костеле св. Барбары в Кракове в 1584 г., ориентируясь на опыт



других стран Европы, прежде всего Италии. Эта благотворительная ин- ституция включала в себя не только дома призрения, но и систему бан- ков, выдающих беспроцентные ссуды или ссуды под низкий процент [PENNY CYCLOPAEDIA: 351; GLOGER 1900, 1: 67].

В переводе “Слова” полностью устраняется фрагмент оригинала, в котором напрямую упоминается итальянская благотворительная бан- ковская организация Montes pietatis и Братство Милосердия в Кракове:

Zábiegáiąc tym ták okrutnym drapieżtвом y grzechom w lichwie / á ludzkim potrzebom / są u ludzi pobożnych y miłosiernych / zwłaszcza we Włoŝkych Montes pietatis, ábo komory potrzebnych / ná którą ſię też Bráctwo Miłosierdzia tu w Krá- kowie / zá Bozką / y wiela miłosiernych Prálatow y Pánow ſzczodrobliwoŝcią / zdobywa (л. 39)<sup>30</sup>.

Этому предложению в оригинале (и в переводе) предшествует рассуж- дение о том, что первейшая добродетель христианина — давать деньги займы без процентов. Заголовок, отсылающий к деятельности ита- льянского Братства милосердия, вообще не переводится на церковносла- вянский: “Dobre uczynki we Włoŝech Bráctwy kwitną” (л. 47). Заголовок третьей части видоизменяется таким образом, чтобы убрать название этой польской социальной институции, ср.: ТРЕТІА ЧАСТЬ W 8мно<sup>М</sup> намѣреніи и совершеніи мѣти (л. 61 об.) — “TRZECIA CZESC. O Przedŝię- wzięciu y konaniu Bráctwa Miłosierdzia” (л. 46)<sup>31</sup>.

Можно было бы предположить, что за систематическим устранени- ем и заменой слова *братство* кроется негативное или, по крайней мере, неоднозначное отношение автора перевода (Епифания Славинецкого?) к соответствующему социальному институту, однако этот случай вхо- дит в число систематических замен и пропусков в церковнославянской версии реалий оригинального текста, относящихся к Речи Посполитой, и формально от них не отличается. При этом устранение данной реалии в церковнославянской версии “Слова” позволяет переводчику обойти ключевой вопрос о том, кто же (какая именно организация) должен за- ниматься устройством благотворительности: если Петр Скарга возла- гает эту обязанность на определенную религиозно-общественную ор- ганизацию при костеле, то в переводе благотворительная система как структура представлена гораздо менее конкретно.

При переводе устраняются также локальные привязки оригиналь- ного текста. В частности, в нем опускается напоминание о пожаре, слу- чившемся в одном из районов Кракова:

<sup>30</sup> Пропускаются также аналогичные внутритекстовые ссылки оригинала на Братство Милосердия в Кракове на л. 39 (ср. л. 53 перевода), л. 40 (ср. л. 54 перевода).

<sup>31</sup> В издании ошибочно “26”.



Wyśedł goſpodarz ná pole robić y z żoną y z dziećmi y z czeladką / prydzie á ono wſytko zgorzáło co miał / popioł tyło zoſtał / zoſtaie głodny / nági / mizerny. **Toż ſię y częſto w miáſtách dzieie / iáko y tu nie dawno ná Gárbárzách** (л. 37) — Иѣде Гдѣнь на поле<sup>32</sup> земледѣлати со женою и чады, и съ рабы: ѣ домъ же прѣиде, и се все еже имяше сгорѣ, точію пепелъ воста, бысть гладенъ и нагъ милостный (л. 51).

Существенно видоизменяется фраза про костел св. Барбары, при котором возникло Братство Милосердия: **Здѣ ҃вѣ да возставитъ Гдѣ Бгѣ двмы милованія виною, юже имяше пррѣкъ Еліссеѣ** (л. 64) — ср.: “Oto tu Pan Bog w tym Kościele S. Bárbáry wzbudził Bráctwo Miłosierdžia / z tákiey przyczyny / iáką miał Helizeuſ Prorok” (л. 48) — ‘Вот здесь, в этом костеле св. Барбары, Господь Бог устроил Братство Милосердия по той же причине, которая была у пророка Елисея’. Здесь же переделывается глагольная форма с пр. вр. на так называемый оптатив: **да возставитъ** — *wzbudził* (ср. пример на л. 63 об.). Это изменение связано с общим изменением прагматики текста: в переводе вместо описания уже действующей системы излагается *проект* устройства институтов государственного призрения в России.

Обзор примеров показывает, что при общей высокой точности передачи оригинала в переводе имеется достаточное количество случаев отклонения от него. Все рассмотренные фрагменты свидетельствуют о том, что несовпадения перевода с оригиналом объясняются не низкой квалификацией переводчика, а стоявшей перед ним особой задачей. В общем виде эта задача может быть сформулирована как придание переводному тексту характера оригинального сочинения. Пропуски и замены определенных мест текста функционально значимы и могут быть охарактеризованы как результат “идеологической доместикации” иноконфессионального текста. Отметим, что переводчик “Слова” (Епифаний Славинецкий или Евфимий Чудовский) действует в том же ключе, что и Симеон Полоцкий, что свидетельствует о том, что подобный способ обращения с текстом западного происхождения не был индивидуальной особенностью книжников Чудова монастыря, но отражал определенную практику. Можно отметить также, что такого рода идеологические замены относятся не только к процессу самого перевода, но одновременно отражают рецепцию католического текста в иноконфессиональной среде.

Следует особо отметить, что с лингвистической точки зрения адаптация данного сочинения заключается не в лексической замене одних местных реалий (Речи Посполитой) другими (московскими). В церковнославянском тексте “Слова” не отмечаются лексические русизмы,

<sup>32</sup> На поле заголовок: *погорѣвшій*, соответствующий польскому *Pogorzáli*.

известные в переводах Епифания Славинецкого и Евфимия Чудовского с греческого языка [ПЕНТКОВСКАЯ 2016в: 31–38; 40–41]. При этом в данном переводе с польского задействованы лексические грецизмы, как и в переводе с польского аргументов к Новому Завету 70-х гг. XVII в. [ЕАДЕМ 2016с: 204–206]. Их наличие, наряду с использованием так называемого “чистого” церковнославянского, призвано ввести данный текст в круг византийско-церковнославянской книжности. Именно в выборе типа языка и определенных маркеров традиции, каковыми, безусловно, являются грецизмы, и заключается доместикация этого переводного источника.

Особая важность рассмотренного текста состоит в том, что “Слово о милости” в его церковнославянской версии отражает опыт ассимиляции западных идей государственной благотворительности и их приспособление к ситуации России второй половины XVII в., что станет особенно актуальным уже в следующем, XVIII в. В этом аспекте идеологические замены приобретают особое значение, позволяя ввести этот трактат не только в контекст русской книжности, но и в круг московских юридических инициатив Нового времени.

Сокращенные названия библиотек и древлехранилищ

- ГИМ — Государственный исторический музей (Москва)  
 НБУ — Национальная библиотека Украины им. В. И. Вернадского (Киев)  
 РГАДА — Российский государственный архив древних актов (Москва)  
 РГБ — Российская государственная библиотека (Москва)

## Библиография

### Рукописи

#### *Син19*

ГИМ, Синодальное (Патриаршее) собрание славянских рукописей, № 19, Атлас Блау, 1659 г.

#### *Син.греч383*

ГИМ, Синодальное (Патриаршее) собрание греческих рукописей, № 383, Книга Лѣксиконъ грекославенолатинской, XVII в.

#### *Син.греч472*

ГИМ, Синодальное (Патриаршее) собрание греческих рукописей, № 472, Новый Завет в переводе книжного круга Епифания Славинецкого, втор. пол. XVII в.

#### *Син483*

ГИМ, Синодальное (Патриаршее) собрание славянских рукописей, № 483, Сборник слов и поучений, втор. пол. XVII в.

*Син716*

ГИМ, Синодальное (Патриаршее) собрание славянских рукописей, № 716, Сборник, XVII в.

*Син805*

ГИМ, Синодальное (Патриаршее) собрание славянских рукописей, № 805, Минеи Четыи Иоанна Милютина, XVII в.

*Барс459*

ГИМ, собрание Е. В. Барсова, № 459, Сборник слов и поучений, втор. пол. XVII в.

*Тр676*

РГБ, ф. 301.1 (Главное собрание Троице-Сергиевой лавры), № 676, Минеи Четыи Германа Тулупова, 1630 г. (электронная копия на сайте Троице-Сергиевой лавры: <http://old.stsl.ru/manuscripts/>; последнее обращение: 30.08.2017).

*Деяния Церковные*

РГАДА, ф. 381, № 341, Деяния Церковные Цезаря Барония, XVII в.

## Старопечатные книги

*Пролог 1643*

РГБ, Музей книги, Кир. 2°, Пролог, вторая половина (март – август), Москва: Печатный двор, 6 декабря 1643 г. (электронные копии на сайте Троице-Сергиевой лавры: <http://old.stsl.ru/manuscripts/oldprint/>, а также на сайте РГБ: <http://rsl.ru/>; последнее обращение: 30.08.2017).

*Пролог 1696*

РГБ, Музей книги, Кир. 2°, Пролог, Вторая половина (март – август). Москва: Печатный двор, февраль 1696 г. (электронные копии: <http://old.stsl.ru/manuscripts/oldprint/>, <http://rsl.ru/>; последнее обращение: 30.08.2017).

*Служ.Мин 1691*

РГБ, Музей книги, фонд IV, Печатная минея служебная за май, 1691 г. (электронная копия: <http://old.stsl.ru/manuscripts/oldprint/>; последнее обращение: 30.08.2017).

*Acta Sanctorum*

*Acta sanctorum Maii*, 3, Bruxelles, 1968 [репринт: 1680] (электронная копия на портале “Documenta Catholica Omnia”: <http://www.documentacatholicaomnia.eu/>; последнее обращение: 30.08.2017).

*Annales ecclesiastici*

*Annales ecclesiastici, auctore Caesare Baronio Sorano [ . . . ], tomus secundus: incipiens ab exordio Traiani Imperatoris, perducitur usque ad Imperium Constantini Complectitur annos CCV sextum ex parte tantum attingit [ . . . ], Coloniae Agrippinae, 1609* (электронная копия: <https://babel.hathitrust.org/>; последнее обращение: 30.08.2017).

*BLAEU 1645*

BLAEU G., BLAEU I., ed., *Theatrum orbis terrarum, sive Atlas novus in quo tabulae et descriptions omnium Regionum*, 1, Amsterdami, 1645 (ГИМ, № 54000/ГО-5683/1).

*Kazanie o Miłosierdziu 1628*

*Bractwo Miłosierdzia w Krakowie v s. Barbary zaczete Roku Panskiego 1584 miesiąca Octobra, a roku 1592 w Warszawie miesiąca Septemb. v s. Iana przyięte, do ktorego aby Pan Bog serca ludzkie wzbudzić raczył wydane iest naprzod Kazanie o Miłosierdziu y o zaleceniu y przedsięwzięciu Bractwa tego, ktemu przydane są tegoż Bractwa powinności y porządki y czytania z Pisma S., z*

*doktorow y z zywotow ss. o miłosierdziu y jałmużnie*, Warszawa, 1628 (электронная копия: <https://polona.pl/item/22764223/>; последнее обращение: 30.08.2017).

#### Knapiusz 1643

KNAPIUSZ G., *Thesaurus Polono latino-graecus*, 1–2, Cracoviæ, 1643 (электронная копия на сайте Варшавского университета: <http://ebuw.uw.edu.pl/>; последнее обращение: 30.08.2017).

#### Maczinsky 1564

*Lexicon Latino Polonicum ex optimis Latinae linguae Scriptoribus concinnatum*, Ioanne Maczinsky Equite Polono interprete, Regiomonti Borussiae, 1564 (электронная копия на сайте Великопольской цифровой библиотеки: <http://www.wbc.poznan.pl/>; последнее обращение: 30.08.2017).

#### Skarga 1577

*O Jedności Kościoła Bożego pod iednym Pasterzem Y o Greckim od tey Jedności odstąpieniu: z Przestrogą y upominaniem do Narodow Ruskich przy Grekach stoiących: Rzecz krotka na trzy części rozdzielona Teraz przez Księdza Piotra Skargę Zabrania Pana Jezusowego wydana*, Wilno, 1577 (электронная копия на сайте Нижнесилезской цифровой библиотеки: <http://www.dbc.wroc.pl/>; последнее обращение: 30.08.2017).

#### ——— 1592

*Żywoty świętych starego y nowego zakonu na każdy dzień przez cały rok wybrane z poważnych pisarzów y doktorów. Przez ks. Piotra Skargę Societatis Iesu przebrane, uczynione i w język polski przełożone . . .*, Kraków, 1592 (электронная копия: <http://www.dbc.wroc.pl/>; последнее обращение: 30.08.2017).

#### ——— 1598

*Żywoty świętych Starego y Nowego Zakonu na każdy dzień przez cały rok wybrane z poważnych pisarzow y doktorow kościelnych [ . . . ], k temu kazania krotkie [ . . . ] przez [ . . . ] Piotra Skargę [ . . . ] przebrane, vczynione y vv ięzyk polski przelozone, teraz znowu przez niegoż przegłądane y czwarty raz w druk podane*, Kraków, 1598 (электронная копия: <https://polona.pl/item/40584538/441/>; последнее обращение: 30.08.2017).

#### SURIUS LAURENTIUS 1572

*Tomus Tertius: Complectens Sanctos Mensium Maii Et Iunii*, Coloniae Agrippinae, 1572 (электронная копия на портале “Das Münchener DigitalisierungsZentrum”: <https://www.digitale-sammlungen.de/>; последнее обращение: 30.08.2017).

### Издания

#### ВМЧ 2009

ВАЙЕР Э., ШКУРКО А. И., ШМИДТ С. О., *Die grossen Lesemenäen des Metropoliten Makarij: Uspenskij spisok. Mai, 2: 9.–23. Mai.* = Великие Минеи четьи митрополита Макария: Успенский список, 9–23 мая (= Monumenta linguae Slavicae dialecti veteris, 53), Freiburg i. Br., 2009.

#### ПЕТКОВ, СПАСОВА 2013

ПЕТКОВ Г., СПАСОВА М., *Търновската редакция на Стишния Пролог. Текстове, лексикален индекс, 9: Месец май*, Пловдив, 2013.

#### ПОЛЬСКИЕ ДЕЛА 1887

*Памятники дипломатических сношений Московского государства с Польско-Литовским, 2: 1533–1560* (= Сборник Императорского Русского исторического общества, 59), С.-Петербург, 1887.

## Словари

Гістарычны слоўнік, 1–36–

*Гістарычны слоўнік беларускай мовы*, 1–36–, Мінск, 1982–2016–.

ССМ XIV–XV ст., 1–2

*Словник староукраїнської мови XIV–XV ст.*, 1–2, Київ, 1977–1978.

ССМ XVI–XVII ст.

*Словник староукраїнської мови XVI – першої половини XVII ст.*, 3, Львів, 1996.

СлРЯ XI–XVII вв., 1–30–

*Словарь русского языка XI–XVII вв.*, 1–30–, Москва, 1975–2015–.

СлРЯ XVIII в., 1–21–

*Словарь русского языка XVIII в.*, 1–21–, Ленинград, С.-Петербург, 1984–2015–.

СДРЯ XI–XIV вв., 1–11–

*Словарь древнерусского языка XI–XIV вв.*, 1–11–, Москва, 1988–2016–.

СРз, 1–3

СРЕЗНЕВСКИЙ И.И., *Материалы для словаря древнерусского языка*, 1–3, С.-Петербург, 1893 [репринт: Москва, 1989].

ФАСМЕР 1996, 1–4

ФАСМЕР М., *Этимологический словарь русского языка*, 3-е русск. изд., перев. с нем. и доп. О. Н. ТРУБАЧЕВА, 1–4, С.-Петербург, 1996.

SJS, 1–4

*Slovník jazyka staroslověnského*, 1–4, Praha, 1966–1997 [репринт: С.-Петербург, 2006].

SŁOWNIK POLSZCZYNY XVI w., 1–36–

*Słownik polszczyzny XVI wieku*, 1–36–, Wrocław et al., 1966–2012–.

SOPHOCLES 1992

SOPHOCLES E. A., *Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods*, Hildesheim, Zürich, New York, 1992.

## Литература

АНГЕЛОВ 1981

АНГЕЛОВ Б., “Книжовна дейност на Йов Шишатовач”, in: *Текстологија средњовековних јужнословенских књижевности*, Београд, 1981, 320–328.

АФИНОГЕНОВА, ЛУКАШЕВИЧ 2006

АФИНОГЕНОВА О. Н., ЛУКАШЕВИЧ А. А., “Гликерия”, in: *Православная энциклопедия*, 11, Москва, 2006, 573–575.

БРАЙЛОВСКИЙ 1894

БРАЙЛОВСКИЙ С. Н., *Слово чудовского инока Евфимия о милости* (= Памятники древней письменности, 101), С.-Петербург, 1894.

ЖИВОВ 2017, 1–2

ЖИВОВ В. М., *История языка русской письменности*, 1–2, Москва, 2017.

ЗЕЛЕЗИНСКАЯ 2012

ЗЕЛЕЗИНСКАЯ Н. С., “Шекспировская Лукреция в контексте европейской традиции”, *Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология*, 3, 2012, 117–127.

КАЗАКОВ, МАЙЕР 2017

КАЗАКОВ Г. М., МАЙЕР И., “Иностранные известия о казни Степана Разина. Новые документы из стокгольмского архива”, *Slověne*, 6/2, 2017, 210–243.



Килимник 2014

Килимник Е. В., “Архитектурно-историческая типология феодальных замков Европы”, *Приволжский научный вестник*, 11–1 (39), 2014, 50–56.

Корзо 2008

Корзо М. А., “О некоторых источниках катехизисов Симеона Полоцкого”, *Київська Академія*, 6, 2008, 102–122.

——— 2011а

Корзо М. А., “Освоение католической традиции московскими книжниками второй половины XVII века”, in: *Человек верующий в культурах России. Материалы Международной научной конференции 19–20 ноября 2010 г.*, С.-Петербург, 2011, 93–107.

——— 2011в

Корзо М. А., *Нравственное богословие Симеона Полоцкого: освоение католической традиции московскими книжниками второй половины XVII века*, Москва, 2011.

Кузьминова 2011

Кузьминова Е. А., “Принцип антистиха в славянской грамматической традиции”, *Вестник Московского государственного университета. Серия 9: Филология*, 5, 2011, 36–55.

Лосева 2001

Лосева О. В., *Русские месяцесловы XI–XIV веков*, Москва, 2001.

Лукин 2013

Лукин П. Е., *Славяне на Балканах в Средневековье: Очерки истории и культуры*, Москва, 2013.

Неменский 2010

Неменский О. Б., “Конфессиональная и этническая идентичность автора в полемических сочинениях Михаила Оросвиговского Андреллы”, *Studia Slavica et Balcanica Petropolitana*, 1 (7), 2010, 33–56.

Непомнящая 2006

Непомнящая Т. В., *Назначение уголовного наказания. Теория, практика, перспективы*, Москва, 2006.

Неселовский 1906

Неселовский А., *Чины хиротесий и хиротоний*, Каменец-Подольск, 1906.

Николаев 1996

Николаев С. И., “Словарь Г. Кнапского в России (Библиографические разыскания)”, in: *XVIII век*, 20, С.-Петербург, 1996, 157–168.

——— 2008

Николаев С. И., *Польско-русские литературные связи XVI–XVIII вв.: Библиографические материалы*, С.-Петербург, 2008.

Пентковская 2016а

Пентковская Т. В., “«Слово о милости» книжного круга Епифания Славинецкого: проблемы и перспективы изучения”, *Stephanos*, 5 (19), 2016, 100–111 (<http://stephanos.ru/>; последнее обращение: 30.08.2017).

——— 2016в

Пентковская Т. В., “Адаптирующие глоссы в поздних церковнославянских переводах с греческого”, *Вестник МГУ. Серия 9: Филология*, 1, 2016, 26–45.

——— 2016с

Пентковская Т. В., “Новый Завет в переводе книжного круга Епифания Славинецкого и польская переводческая традиция XVI в.: перевод аргументов к Апостолу”, *Русский язык в научном освещении*, 1 (31), 2016, 184–229.

ПОДТЕРГЕРА, ТОМЕЛЛЕРИ 2009

ПОДТЕРГЕРА И. А., ТОМЕЛЛЕРИ В. С., “Catholicus: съборьный — католическѣи — православьный (из истории термина)”, *Русский язык в научном освещении*, 1, 2009, 44–108.

ПУМИНОВА 2015

ПУМИНОВА Н., “Конфликт «старого» и «нового» в полемике грекофилов и латинствующих в Москве в последней четверти XVII века”, in: M. KUCZYŃSKA, J. STRADOMSKI, red., *Zbrojne i ideologiczne konflikty w dawnym piśmiennictwie Słowian i ich echa w nowszej kulturze* (= Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne, 11), Kraków, 2015, 173–182.

СТРАХОВА 1995

СТРАХОВА О. Б., “Литературная деятельность Евфимия Чудовского (библиографические материалы)”, *Palaeoslavica*, 3, 1995, 53–61.

ТОМЕЛЛЕРИ 2016

ТОМЕЛЛЕРИ В. С., “Некоторые заметки о терминологии переводных сочинений: славянская передача термина «catholicus» в новгородских переводах с латыни”, *Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii*, 55/2, 2016, 5–42.

УРЖА, СКВОРЦОВА 2016

УРЖА А. В., СКВОРЦОВА В. В., “Текстовые функции культурно-коннотированной лексики в рассказе В. Пелевина «СПИ» и его англоязычном переводе”, *Мир русского слова*, 3, 2016, 85–96.

ЧЕРНЫШЕВА 1994

ЧЕРНЫШЕВА М. И., “Греческие слова, способы их адаптации и функционирования в славянском переводе «Хроники» Иоанна Малалы”, in: В. М. ИСТРИН, *Хроника Иоанна Малалы в славянском переводе*, подгот. изд., вступ. ст. и прилож. М. И. ЧЕРНЫШЕВОЙ, Москва, 1994, 402–462.

——— 2004

ЧЕРНЫШЕВА М. И., “Агиографический свод князя А. Курбского: переводческая практика (предварительные наблюдения)”, in: М. Л. РЕМНЁВА, О. В. ДЕДОВА, А. А. ПОЛИКАРПОВ, сост., *Русский язык. Исторические судьбы и современность. II Международный конгресс исследователей русского языка. Труды и материалы*, Москва, 2004, 75–76.

GŁOGER 1900–1903, 1–4

GŁOGER Z., *Encyklopedia staropolska*, 1–4, Warszawa, 1900–1903.

PENNY CYCLOPAEDIA

*The Penny Cyclopaedia of the Society for the Diffusion of Useful Knowledge*, 15, London, 1839.

PUENTE 2010

PUENTE C. M., “La historia de Lucrecia en prosa y en verso,” in: *Dulces Camenae. Poética y poesía Latinas*, Jaén, Granada, 2010, 1359–1370.

STRADOMSKI 2004

STRADOMSKI J., “O rażącej sile argumentu w siedemnastowiecznej polemice religijnej — uwagi kilka,” in: M. WALCZAK-MIKOŁAJCZAKOWA, red., *Kulturowe konteksty integracji europejskiej*, Gniezno, 2004, 86–95.

VENUTI 2004

VENUTI L., *The Translator's Invisibility: A History of Translation*, London, New York, 1995.

## References

Afinogenova O. N., Lukashevich A. A., “Glike-riia,” in: *Pravoslavnaia entsiklopediia*, 11, Moscow, 2006, 573–575.

Angelov B., “Knizhovna deinost na Iov Shishatovats,” in: *Tekstologija srednjovekovnih južnoslovenskih književnosti*, Beograd, 1981, 320–328.

Chernysheva M. I., "Grecheskie slova, sposoby ikh adaptatsii i funktsionirovaniia v slavianskom perevode 'Khroniki' Ioanna Malaly," in: V. M. Istrin, *Khronika Ioanna Malaly v slavianskom perevode*, ed. by M. I. Chernysheva, Moscow, 1994, 402–462.

Chernysheva M. I., "Agiograficheskii svod kniazia A. Kurbskogo: perevodcheskaia praktika (predvaritel'nye nabliudeniia)," in: M. L. Remnyova, O. V. Dedova, A. A. Polikarpov, eds., *Russkii iazyk. Istoricheskie sud'by i sovremennost'*, Moscow, 2004, 75–76.

Kazakov G. M., Maier I., "Foreign Reports about Stepan Razin's Execution. New Documents from the Stockholm Archive," *Slověne*, 6/2, 2017, 210–243.

Kilimnik E. V., "Architectural-historical Typology of Feudal Castles of Europe," *Privolzhskii nauchnyi vestnik*, 11–1 (39), 2014, 50–56.

Korzo M. A., "O nekotorykh istochnikakh katekhizisov Simeona Polotskogo," *Kyivs'ka Akademiia*, 6, 2008, 102–122.

Korzo M. A., "Osvoenie katolicheskoi traditsii moskovskimi knizhnikami vtoroi poloviny XVII veka," in: *Chelovek veruiushchii v kul'turakh Rossii*, St. Petersburg, 2011, 93–107.

Korzo M. A., *Nravstvennoe bogoslovie Simeona Polotskogo: osvoenie katolicheskoi traditsii moskovskimi knizhnikami vtoroi poloviny XVII veka*, Moscow, 2011.

Kuzminova E. A., "The Principle of Anti-verse in Slavic Grammatical Tradition," *Moscow State University Bulletin. Series 9. Philology*, 5, 2011, 36–55.

Loseva O. V., *Russkie mesiatseslovy XI–XIV vekov*, Moscow, 2001.

Lukin P. E., *Slaviane na Balkanakh v Sredne-vekov'e: Ocherki istorii i kul'tury*, Moscow, 2013.

Nemensky O. B., "Confessional and Ethnic Identity of the Author in Polemical Writings of Michael Orosvigovsky Andreella," *Studia Slavica et Balcanica Petropolitana*, 1 (7), 2010, 33–56.

Nepomnyashchaya T. V., *Naznachenie ugovnogo nakazaniia. Teoriia, praktika, perspektivy*, Moscow, 2006.

Nikolaev S. I., "Slovar' G. Knapskogo v Rossii (Bibliograficheskie razyskaniia)," in: *XVIII vek*, 20, St. Petersburg, 1996, 157–168.

Nikolaev S. I., *Pol'sko-russkie literaturnye sviazi XVI–XVIII vv.: Bibliograficheskie materialy*, St. Petersburg, 2008.

Pentkovskaya T. V., "'The Word for Mercy' by Epiphanius Slavinsky Literary Environment: Problems and Prospects of Study," *Stephanos*, 5 (19), 2016, 100–111.

Pentkovskaya T. V., "Adapting Glosses in the Late Church Slavonic Translations from Greek," *Moscow State University Bulletin. Series 9. Philology*, 1, 2016, 26–45.

Pentkovskaya T. V., "The New Testament in the Translation of the Circle of Epiphanius Slavinsky and the Polish Translation Tradition of the 16th

Century: Translation of Summae in the Apostolos," *Russian Language and Linguistic Theory (Russkij iazyk v nauchnom osveshchenii)*, 1 (31), 2016, 184–229.

Petkov G., Spasova M., *Tŭrnovskata redaktsiia na Stishniia Prolog. Tekstove, leksikalen indeks*, 9, Plovdiv, 2013.

Puente C. M., "La historia de Lucrecia en prosa y en verso," in: *Dulces Camenae. Poética y poesía Latinas*, Jaén, Granada, 2010, 1359–1370.

Puminova N., "Konflikt 'starogo' i 'novogo' v polemike grekofilov i latinstvuushchikh v Moskve v poslednei chetverti XVII veka," in: M. Kuczyńska, J. Stradomski, red., *Zbrojne i ideologiczne konflikty w dawnym piśmiennictwie Słowian i ich echa w nowszej kulturze* (= Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne, 11), Kraków, 2015, 173–182.

Sophocles E. A., *Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods*, Hildesheim, Zürich, New York, 1992.

Stradomski J., "O rażącej sile argumentu w siedemnastowiecznej polemice religijnej — uwag kilka," in: M. Walczak-Mikołajczakowa, red., *Kulturowe konteksty integracji europejskiej*, Gniezno, 2004, 86–95.

Strakhova O. B., "Literaturnaia deiatel'nost' Evfimiia Chudovskogo (bibliograficheskie materialy)," *Palaeoslavica*, 3, 1995, 53–61.

Podtergera I. A., Tomelleri V. S., "Catholicus: s'bor'nyi — katholicheskii — pravoslavnyi (iz istorii termina)," *Russian Language and Linguistic Theory (Russkij iazyk v nauchnom osveshchenii)*, 1, 2009, 44–108.

Tomelleri V. S., "Some Observations on the Terminology of Translated Works: Slavonic Equivalents for the Term 'Catholicus' in Translations from Latin Performed in Novgorod the Great," *Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii*, 55/2, 2016, 5–42.

Urzha A. V., Skvortcova V. V., "Textual Functions of the Culturally Marked Words in V. Pelevin's Short Story 'Sleep' and its English Translation," *The World of Russian Word*, 3, 2016, 85–96.

Vasmer M., *Etimologicheskii slovar' russkogo iazyka*, 3rd ed., transl. and add. by O. N. Trubachev, 1–4, St. Petersburg, 1996.

Venuti L., *The Translator's Invisibility: A History of Translation*, London, New York, 1995.

Weier E., Šmidt S. O., Škurko A. I., *Die grossen Lesemenäen des Metropoliten Makarij: Uspenskij spisok. Mai, 2: 9–23. Mai*, (= Monumenta linguae Slavicae dialecti veteris, 53), Freiburg i. Br., 2009.

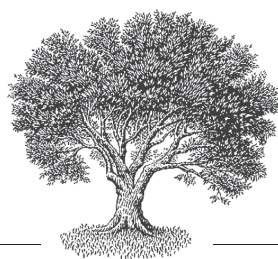
Zelezinskaya N. S., "Shakespearean Lucrece in the Context of European Tradition," *Perm University Herald. Russian and Foreign Philology*, 3, 2012, 117–127.

Zhivov V. M., *Istoriia iazyka russkoi pis'mennosti*, 1–2, Moscow, 2017.

---

проф. **Татьяна Викторовна Пентковская**, доктор филол. наук  
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова,  
профессор кафедры русского языка филологического факультета  
119991 Москва, Ленинские горы, ГСП-1, 1-й корпус гуманитарных  
факультетов  
Россия/Russia  
pentkovskaia@gmail.com

Received February 3, 2017



# Православная проповедь в Речи Посполитой XVII в.: некоторые наблюдения

**Маргарита Анатольевна  
Корзо**

Институт философии РАН  
Москва, Россия

# The Orthodox Sermon in the Polish-Lithuanian Commonwealth of the 17th Century: Some Observations

**Margarita A. Korzo**

Institute of Philosophy of the Russian  
Academy of Sciences  
Moscow, Russia

## Резюме

Институционализацию практики устной церковной проповеди у православных Речи Посполитой на рубеже XVI–XVII вв. принято связывать с внешними (преимущественно католическими) влияниями. Статья представляет собой попытку переосмыслить их рецепцию и предложить объяснение этих процессов не в категориях механического заимствования и “повреждения” православного вероучения (Г. Флоровский), но в категориях творческого “ответа” на внешний конфессиональный “вызов” эпохи (концепция “полиморфности” Джованни Броджи Беркофф). Одним из примеров подобной рецепции стали поучения-образцы на церковные таинства и погребение в составе православных требников: впервые включенные в виленское издание 1621 г., поучения подобного рода были легитимизированы Петром Могилой в *Евхологионе* 1646 г. В качестве модели для них послужили аналогичные поучения-образцы о таинствах в приложении к польской версии посттридентского *Римского ритуала*, которые текстологически формировались еще с середины XVI в. и известны в редакциях Ст. Карнковского, М. Кромера, И. Поводовского. Хотя идея поместить в составе требника проповеди-образцы была навеяна именно польским опытом, это не означало, что православные



авторы также заимствовали сами тексты поучений из польских ритуалов. В качестве примера заимствования было проанализировано *Казане на Погребе* из виленского издания 1621 г. Текстологический анализ текста показал его композиционную и даже отчасти содержательную зависимость от проповеди польского доминиканца В. Ляуданьского (Вильна, 1617), а также знакомство православных книжников с доступным только в латиноязычных изданиях богословским наследием Августина.

#### Ключевые слова

православная проповедь, Речь Посполитая XVII в., католические влияния, религиозное наставление, православные требники

#### Abstract

It has traditionally been assumed that the oral preaching practice of the Orthodox Church in Poland at the turn of the 16th and 17th centuries was brought to life by external and mainly Catholic influences. The present article attempts to rethink these influences and offer an explanation not in terms of “mechanical” borrowings and a succumbing of Orthodox theology to Western influences (the concept of “pseudomorphosis” articulated by G. Florovsky), but rather in terms of a creative response to the external confessional challenges of the epoch (the concept of “polymorphism” proposed by G. B. Bercoff). Examples of such a reception are the sample sermons on the church sacraments and funeral sermons included as an annex to Orthodox rituals. Published for the first time in the Vilnius edition in 1621, texts of this kind were legitimized by Metropolitan of Kiev Piotr Mogila in his *Euhologion* of 1646. Instructive sermons from the Polish version of the *Roman Ritual*, which go back to the 16<sup>th</sup>-century teachings on the church sacraments by S. Karnkowski, M. Kromer, and H. Powodowski, were used as models for these Orthodox sample sermons. Although the idea to incorporate such sample sermons in Orthodox rituals was inspired by the Polish tradition, this does not mean that the Orthodox authors also borrowed the instruction texts from the Catholic rituals. As an example of borrowings, the article analyzes the “Kazanie na pogrzebe” from the *Vilnius Ritual*, 1621. Textual analysis of the given sermon shows its compositional and, partially, even its substantial dependence on a sermon written by a Polish Dominican, W. Laudański (1617), and also its familiarity with Augustine’s theological legacy, which was available only in Latin editions.

#### Keywords

Orthodox sermon, Polish-Lithuanian Commonwealth of the 17th century, Catholic influences, religious indoctrination, Orthodox *Agendas*

#### Вместо введения

Из всего многообразия представленных в исследовательской литературе подходов к изучению проповеднического наследия православных Речи Посполитой XVII в. менее всего внимания уделялось анализу про-

поведи как одного из инструментов индоктринации и формирования определенного типа конфессионального сознания. Выполняя функцию трансляции религиозных представлений и ценностей, проповедь становится разновидностью “прикладного богословия”, в рамках которого христианское учение переводится на понятный язык практических наставлений, обращено к верующим в виде конкретных религиозно мотивированных норм, образцов и моделей поведения. Нормативную программу, которую проповедники предлагали своей пастве, нельзя, конечно же, отождествлять с господствовавшими в обществе той эпохи социальными практиками и нравами. Точно также как нельзя из самого факта практики устного наставления в церкви и наличия больших тиражей опубликованных проповедей делать какие-либо выводы об успешности и эффективности индоктринационного усилия духовенства той эпохи. Но при этом содержащаяся в проповедях нормативная программа может рассматриваться как самостоятельный и представляющий значительный интерес феномен, особенно если поставить перед собой задачу сравнить проповедническое наследие разных, но современных друг другу и сосуществующих в рамках единого государственного образования конфессиональных традиций.

С обозначенным выше аспектом изучения проповеди как одного из каналов индоктринации тесно связан вопрос о ее оригинальности или неоригинальности, вопрос об источниках православных проповеднических текстов. Данный источниковедческий вопрос должен, по сути дела, предшествовать анализу содержания не только вероучительных текстов в строгом смысле этого слова, но и всех памятников, которые выполняют функцию трансляции религиозного знания: если проповедники той эпохи обращались к созданным в рамках иных конфессиональных традиций сочинениям и использовали их в качестве основы для своих текстов, то как это отражалось на конфессиональном облике православной проповеди?

Не претендуя на полноту освещения обозначенной выше проблемы источников, я останавлиюсь лишь на трех ее аспектах: как можно охарактеризовать роль внешнего (иноконфессионального) влияния на утверждение практики православной проповеди в Речи Посполитой; можно ли усмотреть влияние католических образцов на возникновение такого нового для православной книжности XVII в. жанра проповеди, как поучения-образцы в составе требников; какие конкретно тексты польских католических проповедей — непосредственно или в измененном виде — были использованы православными книжниками для составления данных поучений-образцов.

## Заимствование или ответ на внешний вызов?

Тезис о том, что в восточнославянском православном мире вплоть до XVII в. не существовало проповеди как обязательной части богослужения, восходит еще к дореволюционной историографии [Асоченский 1876]. Подтверждение данному тезису мы находим и в полемической литературе первой половины XVII в. в Речи Посполитой, которая фиксирует отсутствие такой формы церковного учительства у православных, по крайней мере на постоянной основе [STRADOMSKI 2003: 250–251]. Даже отдельные примеры авторской проповеди [ПЕРШІ УКРАЇНСЬКІ ПРОПОВІДНИКИ 1973] не опровергают того факта, что до XVII в. не существовало регулярной и, что крайне важно, формализованной практики устного церковного наставления в том виде, который мы видим, например, у представителей разных протестантских конфессий.

Появление устной проповеди как некоего явления украинско-белорусской, а позднее и московской православной Церкви было отголоском “католического школьного проповедничества” [Никольский 1901: 4]. Ранее роль проповеди выполняли уставные или соборные чтения, состоявшие из творений отцов и учителей Церкви, агиографических памятников и иных назидательных сочинений. Обычай этих чтений установился в киевских монастырях уже в XI в. [ІВІД.: 7–8]. Во второй половине XVI в. на территории современной западной Украины широкое распространение получают так наз. учительные евангелия — сборники смешанного типа, включающие поучения на все воскресные и праздничные библейские чтения, тематические слова, выдержки из назидательных сочинений раннехристианской эпохи. Их появление связывают с распространением на этих землях протестантских влияний. Учительные евангелия предназначались изначально именно для индивидуального благочестивого чтения, но позднее использовались и в качестве материала для устных наставлений. Несмотря на появление печатных версий подобного рода сборников (в том числе в авторской обработке — Мелетия Смотрицкого 1616 г. и Кирилла Транквиллиона-Ставровецкого 1619 г.), вплоть до первой трети XVIII в. учительные евангелия активно функционировали и в рукописной форме [ЧУБА 2002; ЕАДЕМ 2011: 5–28].

Историографический тезис об относительно позднем генезисе регулярного и формализованного церковного наставления у православных Речи Посполитой и о важности католического влияния на его развитие в целом не вызывает отторжения, хотя и нуждается в некоторой корректировке. В частности, в польской Католической церкви, по крайней мере до первой трети XVII в., а в некоторых регионах и значительно позднее, проповедь также не была обязательной частью богослужения и постоянной церковной практикой. Чтобы в этом убедиться, достаточно

обратиться к польскому синодальному законодательству, которое с завидным постоянством на протяжении всего XVII в. напоминает приходскому духовенству о необходимости читать собственные или хотя бы зачитывать составленные авторитетными богословами проповеди, и даже пытается ввести какие-то санкции против нерадивых проповедников [BRZozowski 1975: 406]. Данное наблюдение отнюдь не противоречит факту расцвета католического проповедничества в Речи Посполитой той эпохи, появлению отдельных его школ и направлений, изданию устных поучений сотнями тиражей. На уровне низовой приходской практики масштабы данного явления были более чем скромными, и на протяжении XVII в. в польском приходе проповедничество конкурировало, а иногда и вытеснялось катехизацией, что нашло свое выражение в своеобразной “специализации” пастырского слова: проповедь выполняла преимущественно нравственно-обличительную функцию, громила господствующие пороки и служила укреплению нравственных устоев приходской общины; в то время как знакомство прихожан с основами вероучения или индоктринация осуществлялись в рамках катехизации. В XVIII в. данная тенденция только усугубляется: в синодальных постановлениях первой половины столетия отчетливо различались “*doctrina christiana*” (то есть катехизация) и “*praedicatio*” (то есть проповедование или нравственное поучение), с явным предпочтением для первой формы наставления [Kraśnik 1973: 16–17]. Данная тенденция сохраняется и в последующем: со второй половины XVIII в. в российской и австрийской частях разделов Польши проповедь как жанр практически исчезает из католической приходской практики, уступая место катехизису [Kasabuła 1998: 434; Olszewski 1996: 84].

У православных Киевской митрополии XVII в. ситуация была принципиально иная. Ограниченное число источников не позволяет судить о масштабах устного поучения в приходе, но, скорее всего, они были более чем скромные. У православных не существовало практики церковных миссий, во время которых, по аналогии с миссиями католиков, могли произноситься проповеди. О зачитывании готовых поучений из учительных евангелий во время богослужений можно судить лишь по маргинальным записям в отдельных сборниках. Гораздо больше материала сохранилось о практике школьной проповеди: в православных братствах Вильны, Львова, Луцка, Кременца и других городов с конца XVI в. существовала особая должность “казнодеев”; позднее она была учреждена при Киево-Братском училищном монастыре и Киево-Печерской Лавре [Лукашова 2006: 184–186; Макарий 1996: 549].

Но, несмотря на относительную скудость источников, важен сам факт появления относительно регулярной устной проповеди у православных

Речи Посполитой, и механизмы появления данной формы церковного наставления можно рассматривать как ответ на внешний конфессиональный вызов. Реформация в Европе сделала очевидной необходимость новых форм пастырской деятельности и дала тем самым импульс развитию католического проповедничества. В свою очередь, успехи распространения протестантских вероучений в Речи Посполитой и пастырские усилия польской церкви противостоять этим успехам стимулировали появление у православных совершенно новых для них форм индоктринации, в том числе и устной проповеди.

Данную очень упрощенную формулу “вызов – ответ” можно рассматривать по аналогии с развитием богословской мысли первых веков существования христианства, когда появление той или иной ереси стимулировало богословское творчество и выработку своих – “правильных” – символов веры. И эта формула “вызов – ответ” представляется более продуктивной, нежели распространенная ранее точка зрения о простом подражании и механическом заимствовании.

С другой стороны, важно понять, какие конкретно формы может принимать такой ответ на внешний вызов в интересующую нас эпоху и какая конкретно роль отведена “внешней” традиции в таком ответе. Речь может идти о механическом перенимании или копировании чужих образцов, что поставил в упрек православным Речи Посполитой о. Георгий Флоровский, выдвинув тезис о латинизации или “псевдоморфозе” сначала украинско-белорусского, а позднее под его влиянием и московского православия [Флоровский 1982: 49]. Ответ на внешний вызов может принимать и иные формы, когда “внешняя” традиция или “внешний” опыт выступают не более чем источником вдохновения: в данном случае можно говорить о культурном синтезе, когда из “чужой” традиции воспринимается не все подряд, но лишь то, что соответствует данной религиозной культуре. И в этом последнем случае религиозная идентичность формируется не путем консервации собственной традиции, но через ее творческое развитие. Данный подход по отношению к украинским реалиям XVII в. был предложен итальянской исследовательницей Джованни Броджи Беркофф, которая сформулировала концепцию “полиморфности” или многогранности и многоликости православной культуры той эпохи, которые следует понимать не как свидетельство ее неразвитости, но как одну из ключевых конституирующих черт данной культуры [Версофф 2003: 325–387; Довга 2012: 41–42].

Для православных Речи Посполитой историю внешних вызовов и ответов на них можно представить в виде следующей схемы. На рубеже XVI–XVII вв. преимущественно протестантские традиции выступают своего рода внешним “интеллектуально-раздражающим” фактором.



Несмотря на то, что православные книжники активно полемизируют с рядом положений протестантского вероучения, они одновременно с этим попадают под влияние протестантизма. Упреки подобного рода звучали в начале XVII в. из уст и католиков, и униатов [Корзо 2007: 253–255]. В середине столетия идет процесс постепенного изживания протестантских влияний, что стало возможным не в последнюю очередь благодаря сознательным усилиям православных элит Могилянского круга. Парадокс состоит в том, что это изживание осуществляется в значительной степени за счет обращения к католической традиции [Томсон 1993: 98, 101], которая в этот период становится основным источником вдохновения для православных книжников Киевской митрополии: многие из них имели опыт обучения в иезуитских коллегиях, свободно владели латынью и совершенно не знали греческого, хорошо ориентировались в схоластической литературе, поскольку богословский курс в Киево-Могилянской коллегии читался по Фоме Аквинскому и Франциску Суаресу [Срасcraft 1984: 75; Brüning 2007: 5–19], охотно покупали для частных библиотек западные книги [Снагирова 2006], а также цитировали греческих Отцов Церкви зачастую по европейским латиноязычным изданиям их сочинений.

### Проповеди-образцы

Для православной письменности Речи Посполитой XVII в. одной из новых разновидностей проповеднического текста были так называемые проповеди-образцы на различные церковные таинства и на погребение в составе православных требников. Такие поучения писались анонимно и служили для духовенства в качестве модели для составления своей – авторской – проповеди. Обращает на себя внимание уже сам язык данных поучений: в то время как богослужебная литература Киевской митрополии издавалась на церковнославянском языке местного извода, проповеди-образцы всегда написаны на так называемой “простой мове” [Moser 2002]. Данная особенность, с одной стороны, отражала восходящую еще к Средневековью практику выбирать язык в зависимости от коммуникативной ситуации (разведение *lingua ad homines* и *lingua ad Deum* [Темсинас 2009]), с другой же – свидетельствовала о постепенном расширении пространства использования “простой мовы”, о ее проникновении в литургическую практику.

Поскольку ни рукописные восточнославянские требники более ранней эпохи, ни греческие евхологии подобных проповедей не содержали (там могли sporadически встречаться лишь объяснения последовательности действий священников при отправлении таинств и статьи канонического характера [Афанасьева 2012; Еадем 2015;

ШМАНЬКО 2009: 97–108]), то необходимо задаться вопросом, на какие конкретно образцы могли опираться православные авторы начала XVII в.

В Католической церкви Речи Посполитой о необходимости составления коротких типовых поучений о таинствах на польском языке говорится уже в постановлениях Варшавского провинциального синода 1561 г. Первый опыт подобного рода наставлений принадлежит перу будущего Примаesa Польши, тогдашнего епископа Куявии Станислава Карнковского (Stanisław Karnkowski, 1520–1603). Его “*Napominania zbawienne*” публиковались в Кракове в 1569, 1570 и 1577 гг.; известна и латинская версия памятника (Кёльн, 1572). Карнковский останавливается только на пяти таинствах: крещение, Евхаристия, елеопомазание, брак и покаяние (ему посвящены две катехезы). Продолжением дела Примаesa стали поучения епископа Мартина Кромера (Kromer, 1512–1589), опубликованные первоначально отдельным изданием в 1570 г., а впоследствии вошедшие в состав служебника “*Agenda prowincji Gnieźnieńskiej*” (Кёльн, 1578). Кромер увеличил число наставлений о таинствах с шести до восьми, составив еще по одной беседе на брак и Евхаристию, а также написав два совершенно новых поучения — о св. Мессе и “Науку, или Проповедь о том, как вести себя на погребении людей христианских”. Опыт Карнковского и Кромера был использован впоследствии архипресвитером Мариацкого костела в Кракове Иеронимом Поводовским (Powodowski, ок. 1543–1613): в подготовленный им к печати служебник “*Agenda seu Ritus Sacramentorum Ecclesiasticorum*” (Краков, 1591) вошли проповеди на все семь таинств, о Мессе и на погребение на латыни, польском и немецком языках (всего двенадцать поучений). Данные проповеди-образцы были перепечатаны впоследствии практически без изменений в составе “*Rytuał Piotrkowski*” 1631 г. — в отредактированной с учетом особенностей польской богослужебной практики версии римского посттридентского ритуала папы Павла V [NOWAK 1999: 84–85; WRONA 1951: 329–380].

Важно подчеркнуть, что в самом римском оригинале ритуала подобного рода поучений о таинствах в форме обращенных к верующим проповедей мы не встречаем. Нет их и в использовавшихся на территории Речи Посполитой протестантских ритуалах (“*Ustawy Kościelne*” в лютеранских общинах и “*Formy albo porządki sprawowania Świętości Pańskich*” у реформатов), а также в “*Kirchenordnungen*” на территории немецких земель. Единственный найденный пример — приложение к “*Kirchenordnung*” 1580 г. Августа Саксонского (1526–1586), в котором присутствует четыре очень лаконичных образца проповедей на погребение [DIE EVANGELISCHEN KIRCHENORDNUNGEN 1979: 371–375].

Проповеди-образцы о таинствах встречались в польской католической письменности не только в приложении к служебникам, но и в составе различного рода тематических сборников проповедей. Основоположником данного жанра религиозной литературы становится польский иезуит Петр Скарга (Piotr Skarga, 1536–1612) с его фундаментальным собранием “Kazania o siedmiu sakramentach” (Краков, 1600), куда вошли также четыре образца поучений на погребение, предназначенные для произнесения как непосредственно на траурных церемониях, так и во время различного рода религиозных праздников. Эти произведения сильно отличались от проповедей, которые он произносил на самом деле: в образцах текст выстроен по законам риторики, композиционно и стилистически они богаче “живых” поучений иезуита [КОМОРОВСКА 2011: 86]. Проповеди-образцы о таинствах создавались и представителями других конфессий: так, реформат Самуэль Дамбровский (Samuel Dambrowski, 1577–1625) включил в состав своего собрания “Postylla chrześcijańska” (Торунь, 1620–1621) 28 поучений подобного рода. Одновременно с проповедями-образцами в польской письменности этой эпохи развивается и жанр светских речей на погребение и заключение брака [SKWARA 2009: 16–17, 20–24; TRĘBSKA 2008].

В православной книжности XVII в. также можно встретить сборники проповедей с единичными проповедями-образцами. Так, “Поченіе на шлюбъ внегода обручается моужъ къ женѣ и та к нему” и “Поченіе на преставленіе вѣрнѣго челоуѣка, надгробное сѣло душе полезное” вошли в состав “Евангелія учительного” (Рохманов, 1619) первоначально православного, а затем перешедшего в унию богослова Кирилла Транквиллиона Ставровецкого (ум. 1646). Почти через столетия известный барочный проповедник и выпускник Киево-Могилянского коллегиума Иоанникий Галятовский (ум. 1688) поместил в своем гомилетическом сборнике “Ключъ разуменія” (Киев, 1659) четыре образца погребальных проповедей для представителей различных групп и сословий [KUCZYŃSKA 2004]. Сложно судить со всей определенностью, имеем ли мы дело с самостоятельным феноменом или с некоторым подражанием католической традиции, поскольку уже в рукописных учительных евангелиях спорадически встречаются проповеди-образцы на брак и погребение. Но в случае с проповедями-образцами о таинствах в составе требников можно с большой долей вероятности утверждать, что православные авторы опирались именно на польский католический опыт.

Первым православным требником, в котором встречаются подобные образцовые проповеди или своего рода заготовки, которые каждый проповедник мог приноровить к какому-то конкретному случаю,

добавив туда факты индивидуальной биографии, стало виленское издание 1621 г. “Требникъ, сиречь Молитовникъ. Имѣяй в себѣ Церковная послѣдованія” был подготовлен к изданию “законниками монастыря братского Церкви Сошествіа пресвятого и животворящего Духа” и посвящен Киевскому митрополиту Иову (Борецкому, 1560–1631) [Кніга БЕЛАРУСІ 1986: № 97; PIETESŁAWSEW 2003: 104]. В приложении к памятнику на листах продолжающейся пагинации были помещены по два поучения-образца на брак, покаяние и погребение. Во всех трех случаях первое наставление более пространное по содержанию, а второе — краткое; при общем сходстве основных мыслей краткие наставления не являются сокращением пространных. О том, что мы имеем дело именно с проповедями-образцами, свидетельствуют по крайней мере два обстоятельства: во-первых, в поучениях встречаются безличные обороты “тот, имярекъ . . .” [ТРЕБНИК 1621: 20 нн. об.] — в этом месте священник мог вставить конкретное имя вступающего в брак, приступающего к исповеди или умершего; во-вторых, некоторые поучения обрываются буквально на полуслове (“и прочая, и прочая”).

При том, что сама идея поместить в составе требника проповедей-образцы была, как представляется, навеяна именно польским католическим опытом, это отнюдь не означает, что православные книжники заимствовали и сами тексты поучений из польских ритуалов — непосредственным источником для них могли быть совершенно иные (и не обязательно католические!) сочинения.

“Казане на Погребе” из виленского требника 1621 г.

Каждое из поучений виленского требника нуждается в самостоятельном рассмотрении. Поскольку же задачей данного исследования является выявление именно “внешних” влияний, то я остановлюсь лишь на пространном поучении на погребение. “Казане на Погребе” [ТРЕБНИК 1621: 15 нн. об.–19 нн. об.] имеет подзаголовок “Утѣха живыхъ, над оумерлыми, на погребѣ, для которыхъ причинъ немаются фрасовати” и построено как перечисление десяти причин, почему стоит не оплакивать умерших, но наоборот — радоваться их участи. Текст поучения предельно лаконичен: каждый пункт состоит из констатирующего тезиса и небольшой иллюстрации к нему. Функцию иллюстраций выполняют как библейские фрагменты (в форме буквальных цитат или в пересказе), так и ссылки на отдельных богословов. Совпадение библейского цитатного ряда в разных проповедях не может быть аргументом в пользу их зависимости друг от друга, но таким аргументом может стать общность цитат из богословской традиции — и таких цитат в “Казаню”

четыре. В первом и втором пунктах (христианину не надлежит горевать об умерших, поскольку он должен руководствоваться волей Бога, а не своими собственными симпатиями; смерть является своеобразным актом справедливости и возвращением Богу того, что и так принадлежит ему: справедливо “то отшукати и знову взяти, што чїе есть”) цитируется безлично “един з докторов”; в восьмом и десятом пунктах составители “Казаня” ссылаются на Августина.

Подобные безличные отсылки (“один из докторов” или “многие считают”, “как считает один из учителей” и другие) были достаточно распространенным приемом заимствования в книжности Киевской митрополии: приводилась цитата какого-нибудь католического богослова, но снималось упоминание о ее авторе [Корзо 2011: 42–44]. Под “одним из докторов” в виленском поучении скрывается псевдо-Иероним Стридонский (342–419/420). “Казане” цитирует практически дословно пассаж из приписываемого богослову послания утешительного “К Тиразиуму”, составленного по случаю кончины его дочери [HIERONYMUS 1846: 278–279]. Целостный фрагмент псевдо-Иеронима, в котором он рассуждает о бесполезности горевать об умерших, разбит в “Казаню” на две части: зачало попадает в первый пункт, а концовка цитаты — во второй. Как в послании псевдо-Иеронима, так и в виленском поучении логическим завершением фрагмента служат слова Иова “Господь дал, Господь и взял” (Иов 1:21).

При том что Иероним принадлежал к числу часто цитируемых в католической письменности той эпохи авторов, в хронологически близких виленскому требнику изданиях проповедей на погребение данный фрагмент воспроизводится лишь однажды. Речь идет о надгробном слове доминиканца Войцеха Ляуданского, произнесенном 26 мая 1617 г. в Костеле Св. Духа в Вильне во время церемонии погребения князя, воеводы мстиславского Александра Головчинского (ок. 1570–1617). Проповедь была опубликована в том же 1617 г. в виленской типографии Леона Мамоница с посвящением зятю умершего, старосте лидскому Кшиштофу Стефану Сапеге (1590–1627)<sup>1</sup>.

О доминиканце Ляуданском известно лишь то, что он в начале XVII в. выполнял функции лектора богословия в Вильне [WIADOMOŚCI O DOMINIKAŃSKIM 1917: 257]. Речь шла, судя по всему, о конvente доминиканцев в столице Великого княжества Литовского. Помимо упомянутого фрагмента из Иеронима [LAUDAŃSKI 1617: C3], проповедь Ляуданского и “Казане” из требника имеют еще ряд общих черт. Оба выстраиваются как рефлексия вокруг слов пророка Иеремии “Не плачьте

<sup>1</sup> Один из экземпляров данного довольно редкого издания хранится в фондах Национальной библиотеки им. Оссолинских во Вроцлаве (шифр XVII-1334-II).



об умершем и не жалеете о нем” (Иер 22:10). Хотя данный сюжет представляется одной из наиболее очевидных тем для надгробного слова, в польской книжности, помимо проповеди виленского доминиканца, лишь два поучения используют слова Иеремии в качестве “мotto”: Иероним Поводовский в проповеди на погребение короля Стефана Батория (Краков, 1588) и Мартин Белобжеский — на погребение короля Сигизмунда Августа (Краков, 1574) [KAZANIA FUNERALNE 2014: 75, 243]. Целый ряд пунктов виленского “Казаня” производит впечатление пересказа тех или иных пассажей из сочинения Ляуданьского; хотя последнее значительно больше по объему, насыщено ссылками на античных авторов и содержит биографические данные Головчинского.

Представляется весьма вероятным, что составители виленского требника вполне могли отталкиваться от поучения доминиканца или использовать его в качестве образца и источника: в пользу этого говорят не только отмеченное выше сходство, но и хронологическая близость памятников. Велика вероятность того, что кто-то из братчиков мог присутствовать на самой церемонии погребения.

Правда, в анализируемой проповеди доминиканца нет процитированных в виленском требнике двух фрагментов Августина, хотя западный богослов упоминается у Ляуданьского трижды: два раза без указания сочинения (в рассуждениях о том, что смерть надо понимать как конец земному изгнанию человека и что пышные похороны совершенно бесполезны для умерших [LAUDAŃSKI 1617: C2, C3]) и один раз с указанием “Serm. 22 de verbis Dei”. Можно предположить, что либо составители “Казаня” решили украсить поучение приглянувшимися им цитатами (но почему именно из Августина?), либо, помимо Ляуданьского, был использован еще какой-то текст, из которого они попали в требник.

Первая цитата из Августина “Часто Богъ бываетъ ображонъ жебы пріатель не был ображоный” появляется в контексте рассуждений о том, что друзья зачастую могут быть препятствием для нашего спасения, когда дружеские (приятельские) чувства ставятся выше любви к Богу. И здесь составители “Казаня” отсылают к книге Августина “на Бытіа” [ТРЕБНИК 1621: 18 нн. об.]. Ни в одной из работ западного богослова, посвященных разбору первой библейской книги (“De Genesi ad Litteram, De Genesi ad Litteram imperfectus” и “De Genesi contra Manichaeos”) данного рассуждения найти не удалось.

Второй, более пространный фрагмент позаимствован из книги “О стараню за оумерлыхъ” или “De cura pro mortuis gerenda” и представляет собой дословную цитату:

Матка моя, мовит, которая мя и по земли и по морю наследовала, жебы тылько зо мною жила не дай Боже жебы тепер в животе щасливом мела быти так окрутною, жебы, гды што сердце мое трапит, сына смутного немела потешити которого дивне миловала, которого негды смутным видети нехотела, и прочая [ТРЕБНИК 1621: 19 нн.–19 нн. об.].

. . . me ipsum pia Mater nulla nocte desereret, quae terra marique secuta est, ut mecum viveret: absit enim, ut facta sit vita feliciora crudelis usque adeo, ut quando aliquid angit cor meum, nec tristem Filium consoletur, quem dilexit unice, quem nunquam voluit moestum videre [AUGUSTINUS 1845: 604].

Здесь Августин на примере отношений со своей матерью говорит о связи близких людей, которая не заканчивается после смерти: Моника как при жизни всячески радела о его благе, так и после своего ухода в мир иной не оставляет его своими заботами. Сочинение Августина было составлено между 420 и 424 гг. как ответ епископу Нолы Паулину, активно цитировалось в католической письменности, вошло в ряд авторитетных канонических памятников (например, “Декреты” Грациана) и в первые печатные собрания сочинений Августина [DÖRR 2013: 271–272].

Хотя православные книжники Киевской митрополии неплохо ориентировались в наследии Августина, “De cura pro mortuis gerenda” нельзя отнести к числу наиболее часто цитируемых сочинений богослова [Корзо 2016: 176–192]. С другой стороны, на него ссылались почти все составители проповедей-образцов на погребение в составе католических ритуалов в Речи Посполитой, обосновывая практику молитвы за души умерших. Данный сюжет актуализируется в католической письменности в контексте антипротестантской полемики, поскольку протестанты отрицали не только католическое чистилище, но и саму идею того, что определенные благочестивые практики живущих способны изменить загробную участь умерших. Контекст, в котором “De cura pro mortuis gerenda” появляется в виленском “Казаню”, несколько иной, но все равно соответствует логике взаимной молитвенной помощи здравствующих и почивших, и может быть истолкован как антипротестантский полемический выпад. Сложно объяснить, почему составители виленского требника для обоснования данной идеи обратились к сочинению именно Августина. Как наследие греческих богословов<sup>2</sup>, так и

<sup>2</sup> В памятниках Киевской митрополии для обоснования практики молитвы за умерших чаще всего цитировались “Слово об усопших в вере” Иоанна Дамаскина, “О церковной иерархии” псевдо-Дионисия Ареопагита, “Толкование на Послание к Филиппийцам” Иоанна Златоуста. Еще один вопрос, на который пока сложно ответить точно — почему составители “Казаня” умолчали об Иерониме и при этом указали авторство Августина? Было ли это случайностью или свидетельствует об ином богословском статусе высказываний этих авторов в восприятии виленских православных книжников?

сама православная литургия могли служить богатейшим источником для аргументации [Nowak 2008: 115–119]. Можно предположить, что в данном конкретном случае составители “Казаня” ориентировались на некие готовые, сложившиеся в польской католической традиции образцы типовых проповедей из ритуалов, восприняв не только сам жанр поучения, но и сложившуюся в рамках данного жанра систему аргументации. Весьма примечательно, что проповеди-образцы не прижились в виленской книжности более поздней эпохи: в последующих изданиях виленских требников они больше не встречаются.

Данный жанр поучения получил развитие в иных регионах Киевской митрополии: так, проповеди-образцы помещает в требнике своей редакции Львовский архиепископ Арсений Желиборский (1618–1662). Он ограничивается, правда, лишь “Предмовой священнической при шлюбе” и “Казанем на погребении Православного христианского человека” [Евхологiон 1645: 37–44, 122–133 об.]. Написанные на “простой мове”, они уже не выносятся в приложение к требнику, но инкорпорируются в основной текст: в чин обручения и чин на разлучение души. Несколько иначе поступает Киевский митрополит Петр Могила (1596–1646), публикуя в 1646 г. “Евхологiон” своей редакции: все восемь проповедей-образцов собраны компактно в третьей части, образуя (как в польских ритуалах и в виленском издании 1621 г.) своего рода приложение к основной части требника [Евхологiон 1646: 835–848, 900–946]. Известно, что Могила составил только одну такую проповедь-образец — на основе своего устного поучения, произнесенного, скорее всего, при венчании великого гетмана литовского Януша Радзивилла (1612–1655) с дочерью молдавского господаря Василия Лупулы (1595–1661) Марией [Крыжановский 1890: 117]. Невозможно сказать определенно, в какой степени приходское духовенство пользовалось этими заготовками в своей проповеднической практике; но факт необычайно широкого распространения Требника Могилы не только в среде православных, но и греко-католиков даже в XVIII в. [Соловий 1964: 73] заставляет предполагать широкую популярность этих проповедей-образцов.

### Вместо заключения

Схематично описанные выше варианты ответа на внешний конфессиональный вызов не исчерпывали, конечно же, всего многообразия культурных процессов в Киевской митрополии. Наряду с данной условно называемой “прозападной” линией существовало и консервативное крыло, которое защищалось от всех внешних вызовов обращением к старине. Но не подлежит сомнению, что именно Могилянская эпоха способствует превращению проповеди из явления маргинального в норму

церковной жизни и что именно опыт польской Католической церкви сыграл в этой трансформации значительную роль. Речь идет как об институциональном опыте в целом, так и о влиянии отдельных польских проповедников или отдельных жанров проповеди на православную традицию. Подобное влияние было зафиксировано на примере проповедей-образцов о таинствах в составе православных требников XVII в.

За пределами исследования остался целый комплекс вопросов, ответ на которые позволит уточнить или даже пересмотреть существующие представления о феномене православного проповедничества в Речи Посполитой XVII в. и о той роли, какую “внешние” влияния сыграли в процессе формирования его конфессионального облика. Приведенный выше, а также многие другие примеры использования католических памятников в качестве источника для православного текста<sup>3</sup> актуализирует вопрос о том, с помощью каких техник удавалось переложить текст с одного конфессионального языка на язык другой религиозной традиции. Эту задачу можно рассматривать как одну из наиболее важных при изучении проповеднического наследия Киевской митрополии той эпохи.

## Бібліографія

Аскоченский 1876

Аскоченский В. И., *Русское проповедничество, историческое его обозрение и взгляд на современное его направление*, С.-Петербург, 1876.

АФАНАСЬЕВА 2012

АФАНАСЬЕВА Т. И., *Древнеславянские толкования на литургию в рукописной традиции XVI–XVI вв. Исследование и тексты*, Москва, 2012.

——— 2015

АФАНАСЬЕВА Т. И., *Литургии Иоанна Златоуста и Василия Великого в славянской традиции (по служебникам XI–XV вв.)*, Москва, 2015.

Довга 2012

ДОВГА Л., *Система цінностей в українській культурі XVII століття (на прикладі теоретичної спадщини Інокентія Гізеля)*, Київ, Львів, 2012.

Евхологон 1645

*Евхологион, си ест Молитвослов, или Требник*, Львов, 1645.

——— 1646

*Евхологион, албо Молитвослов, или Требник*, Киев, 1646.

Кніга Беларусі 1986

ГАЛЕНЧАНКА Г. Я., рэд., *Кніга Беларусі: 1517–1917. Зводны каталог*, Мінск, 1986.

<sup>3</sup> Круг таких памятников постоянно расширяется; достаточно сослаться на последние исследования переводов проповедей польского иезуита Петра Скарги на церковнославянский язык [Пентковская 2016: 100–111].

КОРЗО 2007

КОРЗО М. А., *Украинская и белорусская катехетическая традиция конца XVI–XVIII вв.: становление, эволюция и проблема заимствований*, Москва, 2007.

——— 2011

КОРЗО М. А., *Нравственное богословие Симеона Полоцкого: освоение католической традиции московскими книжниками второй половины XVII века*, Москва, 2011.

——— 2016

КОРЗО М. А., “Блаженный Августин в религиозной книжности Киевской митрополии конца XVI–XVII вв.”, in: *Блаженный Августин и августинизм в западной и восточной традициях*, Москва, 2016, 176–192.

КРЫЖАНОВСКИЙ 1890

КРЫЖАНОВСКИЙ Е. М., “О Требнике Киевского митрополита Петра Могилы”, in: *ИДЕМ, Собрание сочинений*, 1, Киев, 1890, 87–165.

ЛУКАШОВА 2006

ЛУКАШОВА С. С., *Мирыне и церковь: религиозные братства Киевской митрополии в конце XVI века*, Москва, 2006.

МАКАРИЙ 1996

МАКАРИЙ (БУЛГАКОВ), МИТР., *История Русской Церкви*, 6/2, Москва, 1996.

НИКОЛЬСКИЙ 1901

НИКОЛЬСКИЙ Н. К., *Исторические особенности в постановке церковно-учительного дела в Московской Руси (XV–XVII вв.) и их значение для современной гомилетики*, С.-Петербург, 1901.

ПЕНТКОВСКАЯ 2016

ПЕНТКОВСКАЯ Т. В., “Слово о милости книжного круга Епифания Славинецкого: проблемы и перспективы изучения”, *Stephanos*, 5 (19), 2016, 100–111 (<http://stephanos.ru/>, последнее обращение: 23.11.2017).

ПЕРШІ УКРАЇНСЬКІ ПРОПОВІДНИКИ 1973

*Перші українські проповідники і їх твори* (= Opera Greco-Catholicae Academiae Theologicae, 35), Рим, 1973.

СОЛОВИЙ 1964

СОЛОВИЙ М., *Божественна Літургія*, Рим, 1964.

ТРЕБНИК 1621

*Требникъ, сиречь Молитовникъ. Имеяй в себе Церковная последованія*, Вильна, 1621.

ФЛОРОВСКИЙ 1982

ФЛОРОВСКИЙ Г., *Пути русского богословия*, Брюссель, 1982.

ЧУБА 2002

ЧУБА Г., “Текстологическая классификация украинских учительных Евангелий второй половины XVI века”, *Славяноведение*, 2, 2002, 82–96.

——— 2011

ЧУБА Г., *Українські рукописні учительні Євангелія. Дослідження, каталог, описи*, Київ, Львів, 2011.

ШМАНЬКО 2009

ШМАНЬКО Т., “Статті морально-канонічного характеру в рукописних службниках і требниках XVI–XVII ст.”, *Київська Академія*, 7, 2009, 97–108.

AUGUSTINUS 1845

MIGNE J.-P., ed., *Patrologiae Cursus Completus. Series Latina*, 40: AUGUSTINUS, *De cura pro mortuis gerenda*, Parisiis, 1845, 591–610.



## BERCOFF 2003

BERCOFF G. B., "Ruś, Ukraina, Ruthenia, Wielkie Księstwo Litewskie, Rzeczpospolita, Moskwa, Rosja, Europa Środkowo-Wschodnia: o wielowarstwowości i polifunkcjonalizmie kulturowym," in: A. ALBERTI, ed., *Contributi italiani al XIII congresso internazionale degli slavisti*, Pisa, 2003, 325–387.

## BRÜNING 2007

BRÜNING A., "On Jesuit Schools, Scholasticism and the Kievan Academy—Some Remarks on the Historical and Ideological Background of its Founding," *Київська Академія*, 4, 2007, 5–19.

## BRZOWSKI 1975

BRZOWSKI M., *Teoria kaznodziejstwa (wiek XVI–XVIII)*, in: M. RECHOWICZ, ed., *Dzieje teologii katolickiej w Polsce*, 2/1, Lublin, 1975, 361–428.

## CHARIPOVA 2006

CHARIPOVA L. V., *Latin Books and the Eastern Orthodox Clerical Elite in Kiev, 1632–1780*, Manchester, New York, 2006.

## CRACRAFT 1984

CRACRAFT J., "Theology at the Kiev Academy During Its Golden Age," *Harvard Ukrainian Studies*, 8/1–2, 1984, 71–80.

## DIE EVANGELISCHEN KIRCHENORDNUNGEN 1979

SEHLING E., Hrsg., *Die Evangelischen Kirchenordnungen des XVI. Jahrhunderts*, 1/1, Aalen, 1979.

## DÖPP 2013

DÖPP S., "De cura pro mortuis gerenda," in: K. POLLMANN, ed., *The Oxford Guide to the Historical Reception of the Augustine*, 1, Oxford, 2013, 271–274.

## HIERONYMUS 1846

MIGNE J.-P., ed., *Patrologiae Cursus Completus, Series Latina*, 30: HIERONYMUS, *Ad Tyrasium super morte filiae suae consolatoria*, Parisiis, 1846, 278–279.

## KASABUŁA 1998

KASABUŁA T., *Ignacy Mossalski biskup wileński*, Lublin, 1998.

## KAZANIA FUNERALNE 2014

PANUŚ K., SKWARA M., eds., *Kazania funeralne* (= Kazania w kulturze polskiej, 2), Kraków, 2014.

## KOMOROWSKA 2011

KOMOROWSKA M., "Wzorzec kazania przygodnego u Piotra Skargi," in: M. CHOPTIANI, W. RYCZKA, eds., *Studia rhetorica*, Kraków, 2011, 81–91.

## KRACIK 1973

KRACIK J., "Katolicka indoktrynacja doby saskiej w parafiach zachodniej Małopolski," *Roczniki Teologiczno-kanoniczne*, 20/6, 1973, 13–27.

## KUCZYŃSKA 2004

KUCZYŃSKA M., *Ruska homiletyka XVII wieku w Rzeczypospolitej. Ewolucja gatunku – specyfika funkcjonalna* (Cyryl Stawrowiecki: *Ewangelia pouczająca. Rachmanów 1619*; Joannicjusz Galatowski: *Klucz rozumienia. Kijów 1659*) (= Uniwersytet Szczeciński. Rozprawy i studia, 571), Szczecin, 2004.

## LAUDAŃSKI 1617

LAUDAŃSKI W., *Kazanie przy pogrzebie Wielmożnego Pana Jego mości Alexandra Hołowczyńskiego Woiewody Mściławskiego odprawowane w Kościele świętego Ducha Roku 1617. Dnia 26. Maia*, Wilno, 1617.

## MOSER 2002

MOSER M., "Что такое «простая мова?»", *Studia Slavica Hung.*, 47/3–4, 2002, 221–260, DOI: 10.1556/SSLav.47.2002.3-4.1

NOWAK 1999

NOWAK WŁ., "Agenda biskupa Marcina Kromera w dziele ujednolicenia liturgii sakramentalnej w Polsce po Soborze Trydenckim," in: IDEM, ed., *Agendy i rytuały Diecezji Warmińskiej (1574–1939)*, Olsztyn, 1999, 39–104.

NOWAK 2008

NOWAK A. Z., *Człowiek wobec wieczności. Ukraińskie i białoruskie prawosławne piśmiennictwo żałobne XVII wieku* (= Biblioteka Tradycji, 73), Kraków, 2008.

OLSZEWSKI 1996

OLSZEWSKI D., *Polska kultura religijna na przełomie XIX i XX wieku*, Warszawa, 1996.

PIERESŁAWCEW 2003

PIERESŁAWCEW Z., *Druki cyryliczne z oficyn Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI–XVIII wieku*, Olsztyn, 2003.

SKWARA 2009

SKWARA M., *Polskie drukowane oracje pogrzebowe XVII wieku*, Gdańsk, 2009.

STRADOMSKI 2003

STRADOMSKI J., *Spory o "wiarę grecką" w dawnej Rzeczypospolitej*, Kraków, 2003.

ТЕМЧІНАС 2009

ТЕМЧІНАС S., "Функционирование руськой мовы и иерархия церковных текстов", *Studia Russica*, 23, 2009, 226–234.

THOMSON 1993

THOMSON FR. J., "Peter Mogila's Ecclesiastical Reforms and the Ukrainian Contribution to Russian Culture. A Critique of Georges Florovsky's Theory of the Pseudomorphosis of Orthodoxy," *Slavica Gandensia*, 20, 1993, 71–114.

TRĘBSKA 2008

TRĘBSKA M., *Staropolskie szlacheckie oracje weselne. Genologia, obrzęd, źródła*, Warszawa, 2008.

WIADOMOŚCI O DOMINIKANACH 1917

WOŁYŃIAK (GIŻYCKI J.), ed., *Wiadomości o dominikanach prowincji litewskiej*, 1, Kraków, 1917.

WRONA 1951

WRONA W., "Dzieje rytuału piotrkowskiego," *Polonia Sacra. Kwartalnik teologiczny*, 4/4, 1951, 329–380.

## References

Afanasyeva T. I., *Drevneslavianskie tolkovaniia na liturgiiu v rukopisnoi traditsii XVI–XVI vv. Issledovanie i teksty*, Moscow, 2012.

Afanasyeva T. I., *Liturgii Ioanna Zlatoustia i Vasilii Velikogo v slavianskoi traditsii (po sluzhebnikom XI–XV vv.)*, Moscow, 2015.

Bercoff G. B., "Ruś, Ukraina, Ruthenia, Wielkie Księstwo Litewskie, Rzeczpospolita, Moskwa, Rosja, Europa Środkowo-Wschodnia: o wielowarstwowości i polifunkcjonalizmie kulturowym," in: A. Alberti, ed., *Contributi italiani al XIII congresso internazionale degli slavisti*, Pisa, 2003, 325–387.

Brüning A., "On Jesuit Schools, Scholasticism and the Kievan Academy—Some Remarks on the Historical and Ideological Background of its Founding," *Київська Академія*, 4, 2007, 5–19.

Brzozowski M., *Teoria kaznodziejstwa (wiek XVI–XVIII)*, in: M. Rechowicz, ed., *Dzieje teologii katolickiej w Polsce*, 2/1, Lublin, 1975, 361–428.

Charipova L. V., *Latin Books and the Eastern Orthodox Clerical Elite in Kiev, 1632–1780*, Manchester, New York, 2006.

Cracraft J., "Theology at the Kiev Academy During Its Golden Age," *Harvard Ukrainian Studies*, 8/1–2, 1984, 71–80.

Dovha L., *Systema tsinnostei v ukraïns'kii kul'turi XVII stolittia (na prykladi teoretychnoi spadshchyny Inokentiiia Gizelia)*, Kiev, Lviv, 2012.

Döpp S., "De cura pro mortuis gerenda," in: K. Pollmann, ed., *The Oxford Guide to the Historical Reception of the Augustine*, 1, Oxford, 2013, 271–274.

Florovsky G., *Ways of Russian Theology*, Brussels, 1982.

Kasabuła T., *Ignacy Mossalski biskup wileński*, Lublin, 1998.

Komorowska M., "Wzorzec kazania przygodnego u Piotra Skargi," in: M. Choptiani, W. Ryczka, eds., *Studia rhetorica*, Kraków, 2011, 81–91.

Korzo M. A., *Ukrainskaia i beloruskaia kateheticheskaia traditsiia kontsa XVI–XVIII vv.: stanovlenie, evoliutsiia i problema zaimstvovaniia*, Moscow, 2007.

Korzo M. A., *Nravstvennoe bogoslovie Simeona Polotskogo: osvonenie katolicheskoi traditsii moskovskimi knizhnikami vtoroi poloviny XVII veka*, Moscow, 2011.

Korzo M. A., "Blazhennyi Avgustin v religioznoi knizhnosti Kievskoi mitropolii kontsa XVI–XVII vv.," in: *Blazhennyi Avgustin i avgustinizm v zapadnoi i vostochnoi traditsiakh*, Moscow, 2016, 176–192.

Kracik J., "Katolicka indoktrynacja doby saskiej w parafiach zachodniej Małopolski," *Roczniki Teologiczno-kanoniczne*, 20/6, 1973, 13–27.

Kuczyńska M., *Ruska homiletyka XVII wieku w Rzeczypospolitej. Ewolucja gatunku – specyfika funkcjonalna* (Cyryl Stawrowiecki: *Ewangelia pouczająca. Rachmanów 1619; Joannicjusz Galatowski: Klucz rozumienia. Kijów 1659*) (= Uniwersytet Szczeciński. Rozprawy i studia, 571), Szczecin, 2004.

Lukashova S. S., *Laymen and Churches: Religious Brotherhoods in the Kievan Metropolitanate at the End of the XVI c.*, Moscow, 2006.

Macarius (Bulgakov), Metropolitan, *Istoriia Russkoi Tserkvi*, 6/2, Moscow, 1996.

Moser M., "Chto takoe 'prostaia mova'?" *Studia Slavica Hung.*, 47/3–4, 2002, 221–260, DOI: 10.1556/SSLav.47.2002.3–4.1

Nowak Wł., ed., *Agendy i rytuały Diecezji Warmińskiej (1574–1939)*, Olsztyn, 1999.

Nowak A. Z., *Człowiek wobec wieczności. Ukrainie i białoruskie prawosławne piśmiennictwo żałobne XVII wieku* (= Biblioteka Tradycji, 73), Kraków, 2008.

Olszewski D., *Polska kultura religijna na przełomie XIX i XX wieku*, Warszawa, 1996.

Panuś K., Skwara M., eds., *Kazania funeralne* (= *Kazania w kulturze polskiej*, 2), Kraków, 2014.

Pentkovskaya T. V., "'The Word for Mercy' by Epiphanius Slavinsky Literary Environment: Problems and Prospects of Study," *Stephanos*, 5 (19), 2016, 100–111.

Pieresławcew Z., *Druki cyrylickie z oficyn Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI–XVIII wieku*, Olsztyn, 2003.

Sehling E., Hrsg., *Die Evangelischen Kirchenordnungen des XVI. Jahrhunderts*, 1/1, Aalen, 1979.

Shmanko T., "The Articles of Moral and Canonical Nature in Manuscripts Service and Ritual Books of the XVI–XVII Centuries," *Kyivs'ka Akademiia*, 7, 2009, 97–108.

Skwara M., *Polskie drukowane oracje pogrzebowe XVII wieku*, Gdańsk, 2009.

Solovyi M., *Bozhestvenna Liturhiia*, Rome, 1964.

Stradomski J., *Spory o "wiarę grecką" w dawnej Rzeczypospolitej*, Kraków, 2003.

Tchuba G., "A Textological Classification of the Ukrainian Didactic Gospels of the Second Half of XVI Century," *Slavianovedenie*, 2, 2002, 82–96.

Tchuba G., *Ukrains'ki rukopysni uchytel'ni Ievanheliia. Doslidzhennia, katalog, opysy*, Kiev, Lviv, 2011.

Temčinas S., "Funktsionirovanie rus'koi movy i ierarkhiia tserkovnykh tekstov," *Studia Russica*, 23, 2009, 226–234.

Thomson Fr. J., "Peter Mogila's Ecclesiastical Reforms and the Ukrainian Contribution to Russian Culture. A Critique of Georges Florovsky's Theory of the Pseudomorphosis of Orthodoxy," *Slavica Gandensia*, 20, 1993, 71–114.

Trębska M., *Staropolskie szlacheckie oracje weselne. Genologia, obrzęd, źródła*, Warszawa, 2008.

Wołyniak (Giżycki J.), ed., *Wiadomości o dominikanach prowincji litewskiej*, 1, Kraków, 1917.

Wrona W., "Dzieje rytuału piotrkowskiego," *Polonia Sacra. Kwartalnik teologiczny*, 4/4, 1951, 329–380.

**Маргарита Анатольевна Корзо**, канд. ист. наук

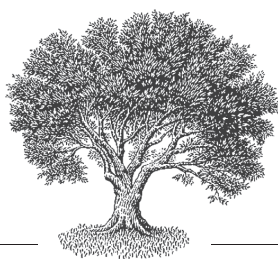
Институт философии РАН, старший научный сотрудник сектора этики

109240 Москва, ул. Гончарная, д. 12, стр. 1

Россия/Russia

korzor@zmail.ru

Received February 13, 2017



# Theory and Practice of Parochial Preaching in the late 18th-century Polish-Lithuanian Commonwealth\*

**Stanisław Witecki**

Jagiellonian University  
Kraków, Poland

# Теория и практика приходской проповеди в Речи Посполитой в конце XVIII столетия

**Станислав Витецкий**

Ягеллонский университет  
Краков, Польша

## Abstract

In the last decades of the 18th century, a few Polish dioceses were governed by representatives of the Catholic Enlightenment. Their pastoral activities focused on the reform of the priesthood and, especially, on the duty of preaching. Despite being perceived as members of a single group, their ideas differed to the point of being mutually contradictory. Interpretation of the ideological differences among these bishops is the preliminary aim of the paper. I examined pastoral letters and preacher handbooks written by four of these bishops: Michał Poniatowski, Ignacy Massalski, Wojciech Skarszewski, and Porfiriusz Skarbek-Ważyński. However, my main concern is the social practice of parochial preachers in their dioceses. I was interested in the methodology of sermonizing, the frequency of preaching topics, and the style and content of homilies delivered by clergy. I based my research on pastoral visitations, especially from the Diocese of Płock, providing information about the printed collections of sermons used by parochial clergy as well as the texts they wrote. The main conclusions are as follows: the clergy adopted to some extent only those reforms which were adjusted to their parochial needs and were supported by administrative pressure. Regardless of theoretical programs,

---

\* The research is funded by the Polish Ministry of Science and Higher Education (2012–2015) under the Diamond Grant program (project no. DI2012018742).

preaching in the Commonwealth was changing in the direction of “Enlightened Tridentine Catholicism.” This means that the clergy accepted an enlightened style and language and a focus on morality, but not models of social and natural worlds. However, by rejecting the latter, they avoided enhancing the process of division between popular and elite.

### Keywords

Catholicism, parochial preaching, Enlightenment, book collections, models of the social and natural world

### Резюме

В последние десятилетия XVIII века несколько польских епархий находились под управлением представителей католического священства. Их пастырская деятельность сконцентрировалась на реформе духовенства, в частности, на распространении проповедничества. Несмотря на то, что эти люди воспринимались как члены одной группы, их идеи могли радикально различаться. Я исследовал пастырские письма и “Учебник для проповедника”, написанные четырьмя епископами: Михалом Понятовским, Игнатием Массальским, Войцехом Скаршевским и Порфирием Скарбек-Важинским. Однако моей главной задачей было изучение социальной практики приходских священников в их епархиях. Меня интересовала их методика проповедования, частота тем, стиль и содержание проповедей, произнесенных духовенством. Мое исследование опирается на описание пасторских визитов (в первую очередь в Полоцкой епархии), в которых сохраняется информация об использованных коллекциях проповедей, а также на тексты, написанные приходскими священниками. В результате исследования можно сделать вывод, что священники только частично усвоили результаты реформ, приспособленных для приходских нужд и поддержанных административными средствами. Несмотря на теоретические программы, проповедь в Речи Посполитой менялась в направлении “Католического триденского Просвещения”. Это значит, что священники приняли стиль и язык Просвещения и сосредоточились на нравовании, а не на моделях социальных и естественных миров. Однако, отказываясь от них, они избегали распространения разделения культуры на элитарную и популярную.

### Ключевые слова

католицизм, приходское проповедование, Просвещение, библиотеки, модели социального и природного мира

### Preface

Parochial preaching in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the late 17th century was a well-established social practice. The obligation to deliver a sermon every holiday and Sunday was imposed by bishops, especially after the Council of Trent [ZWIAZEK 1977: 26–27]. The clergy might have prepared their own text based on the Bible, on works of the Church Fathers, or on catechisms, but apparently most of them used printed collections of sermons,



which constituted the main body of parish book collections at least from the 16th century [WYCZAŃSKI 1953].

Clergy who were willing to buy a printed collection of homilies had a variety of texts and authors to choose from. Since seminaries and monastic colleges taught how to deliver homilies, every priest was at least supposed to have some preaching skills [KASABUŁA 1996; GRZYBOWSKI 1973]. The most talented were mainly monks who held the official position of a preacher in the monastic, collegiate, and cathedral churches. They delivered sermons not only on a daily basis, but also during public political events, and therefore could easily gain popularity among the nobility and patriciate. The existence of a regular group of listeners was a good reason for printing entire collections of sermons, and publication frequently occurred with the consent of or active promotion by bishops [ZWIAZEK 1997–1998; SZCZUROWSKI 2004].

Homilies were obligatory for parochial clergy but their usage also corresponded to social needs. Those needs, however, changed over time, and so did the style, topics, and functions of written sermons [PELCZAR 1886; BRZOZOWSKI 1975]. At the end of the 16th and the beginning of the 17th centuries, sermons served as religious polemic against Protestantism, and were written in the characteristically persuasive style of Renaissance rhetoric [ZWIAZEK 1977: 1997–1998]. In the late 17th century, they dealt with theological nuances, frequently promoting Marian and Christ-centered piety, and were delivered in the conceptual, emotional and ornate baroque style [PAZERA 2000; PANUŚ 2001; WOLAŃSKI 2012]. At the beginning of the 18th century, the style of sermons did not change much but the main purpose of the Church was to educate the people, and to do so, the focus was on teaching [WIŚLICZ 2005]. Finally, from the mid-18th century, sermons abandoned unnecessary ornaments, examples, and digressions under the pressure of monastic school reforms, and they changed their argumentative tactics in the face of the need to refute secularist ideas [PAZERA 2000].

The present article is concerned with this last period, referred to as the “enlightened age” both by contemporary writers and modern scholars [BUTTERWICK 2005]. However, enlightenment was conceived in a multitude of ways, sometimes with elements contradicting one another. Historians try to organize this chaos of ideas somehow by using such labels as Radical Enlightenment, Catholic Enlightenment, Enlightened Catholicism, and, finally, the Counter-Enlightenment [BUTTERWICK 2014]. The characteristic trait of the Polish-Lithuanian Commonwealth was that clergy could be found in all of these groups, and also that the phenomenon of Radical Enlightenment scarcely existed. Despite vivid differences, all shades of Enlightenment thought had common ground: an awareness of the changes that were occurring and an active approach toward addressing them. This notion applies to sermonizing as well [BUTTERWICK 2008; ŚLUSARSKA 2010; SZCZUROWSKI 2014].

In the late 18th century there were a few bishops in the Polish-Lithuanian Commonwealth who were trying to influence the methods and topics of parochial preaching [ŚLUSARSKA 1998; SZCZUROWSKI 2011]. Since they had the power and tools to impose their ideas, the first aim of the present article is to interpret their various sermonizing programs. The second aim is not so much to check their effectiveness but rather to investigate the social practice of parochial preaching independently. Both theory and practice might be divided into methodology and ideology. I pose the following set of questions in order to address the first problem. What kind of knowledge was demanded and possessed by a parish preacher? How were they supposed to prepare to give sermons and how, in fact, did they do so? What techniques of language, style, and performance did they rely on? What was the suggested aim of delivering sermons and what were the true aims?

The second problem invokes questions about views on natural, social, moral, and dogmatic issues promoted both by bishops and by parish clergy. In answering all these questions, I attempt to solve broader concerns of cultural history. Did the parochial preaching practice support or restrict the process of division between elite and popular culture, and did the sermon help in promoting modern concepts of nature, reason, freedom, and citizenship?

### 1. Methodology

The analysis of books written by contemporary writers can be misleading because changes in their content did not directly translate into the style and topics of parochial preaching. Homilies had to be bought, read, and adopted in the first place [ZWIAZEK 1997–1998]. Since writers promoting new cultural trends competed with those faithful to a variety of ever-accumulating traditions, parsons and vicars had to choose from these available options. Also, it is equally important to note that sermon collections of the best-known preachers from previous ages were still available in bookshops [IMAŃSKA 2000; RUDNICKA 1972].

Thus, it is necessary to begin by checking which books parsons and vicars owned, read, and employed in the process of preparing their own sermons. Only the most frequently used homilies should be taken into account. This information can be found in the records of the canon visitations. Most of them included indexes of parish book collections, which show only the accumulated reading tradition to the point of the decease of a former parson [LITAK 1962]. However, the visitations of the Diocese of Płock conveyed by the order of Bishop Michał Poniatowski in 1775–1776 and 1781 contained additional indexes of private, recently bought books, and divided all of them according to the criterion of function. Additionally, priests themselves declared the most important topics of their sermons [MDDZP, 1–15]. I have categorized this information

according to the divisions taken from catechisms [WAŻYŃSKI 1792; WUJKOWSKI 1733], but also according to the detailed instructions about preaching topics provided in Bishop Poniatowski's pastoral letter [PONIATOWSKI 1785, 1: 406–442]. I have counted the number of priests declaring certain themes in order to compare practice and theory. Furthermore, the book drawn up by the diocese, made up of printed homilies delivered by parish clergy, has survived. I have analyzed all of these sources separately, but in the present article I present them collectively as parish clergy discourse in general, not singling out any particular authors.

The Diocese of Płock has been the main focus of the investigation of preaching practice because other dioceses did not provide such information. This diocese was also crucial to the research into theory, since Bishop Michał Jerzy Poniatowski was one of the leading reformers [ZIELIŃSKA 1977]. The choice of this diocese seems to be self-explanatory, although it is not sufficient to draw conclusions about preaching theory throughout the entire Commonwealth. Investigating all dioceses, however, is not possible, so it was necessary to identify other specific dioceses to consider for research.

I had no doubts that the Diocese of Vilnius would be my choice, since it was the biggest and most important in the Grand Duchy of Lithuania. It was also governed by Ignacy Massalski, a bishop who revealed his opinions about sermonizing and who supported preachers, and whose ideas were undoubtedly enlightened but in a completely different manner from those of Michał Poniatowski [KASABUŁA 1998; ŚLUSARSKA 2010; GRZYBOWSKI 1983].

It was also necessary to investigate one of the dioceses of the Archdiocese of Lwów. I have chosen the Roman Catholic Diocese of Chełm and the Greek Catholic Diocese of Chełm, which were part of the Kiev Greek Catholic Archdiocese, because comparison between two traditions seemed to be valuable. Their territories overlapped almost entirely and were situated in the Polish-Ruthenian ethnic borderland [DĘBIŃSKI 1914; BOBRYK 2005; GIL 2005; KUMOR-MIELNIK 2010]. Such comparison was not a sufficient cause to choose them, however, since there were other similar pairs of dioceses. The main reasons for their selection were, once again, the bishops who ruled them at the end of the 18th century. In the Roman Catholic diocese, the leader was Wojciech Skarszewski, one of the most active polemicists and reformers but also a conservative whose ideas exemplify the thin line between Catholic Enlightenment and Counter-Enlightenment [BUTTERWICK 2012: 626–630; 2008: 208]. In the Greek Catholic counterpart, it was Porfiriusz Skarbek Ważyński, the first bishop who asked the clergy about their books [ŁAPIŃSKI 1985].

It is necessary to indicate briefly that the analysis of the most frequently used books requires a long and difficult process of identification based on rough descriptions by visitors [SZADY 2008], constructing a large database,

and employing statistical analysis. Nuances of this process were explained elsewhere [WITECKI N.D.], and data are presented on my webpage: <http://ksiegozbioryparafialne.omnino.com.pl/>.

## 2. Enlightenment by Superiority of Knowledge

The theory of preaching was imposed on the parish clergy of the Diocese of Płock in a pastoral letter that was more than two hundred pages long. It was designed as the main regulation, to be used in place of the regulations previously supplied by the diocesan synods. It was signed by Michał Poniatowski, but in all likelihood it was prepared by a group of collaborators headed by auditor Krzysztof Żurawski [GRZYBOWSKI 1983: 35–42]. In the context of this article, authorship is less important than the means of implementation, which translated to its effectiveness.

The pastoral letter was published at the beginning of the pontificate on 20 August 1775, and was sent to all parsons as a binding set of rules [PONIATOWSKI 1785, 1: 391–589]. Furthermore, deans were required to read it loudly at the obligatory deanery congregations, organized twice a year. The implementation of the new law was tested during the visitation announced on 8 March 1775 [IBID.: 292–337], and conducted between 1775 and 1781. Violations were to be punished in the form of fines and mandatory re-education. So, the program of preaching applied in the Diocese of Płock was more of an enforced law than a pure theory. Subsequent analysis is based on the views of this letter presented in many places, and I have omitted repeating references to the same source [IBID.: 406–442].

The program was based on a clear hierarchy of values. The most important was salvation, and the only duty of a priest was to do whatever was possible in order to bring the faithful closer to God. In accordance with Catholic dogma, salvation depended on faith and morality; the latter, however, was given overwhelming preponderance in the program. Moral behavior was, in turn, dependent mainly upon the knowledge of good and bad, whereas sins were caused by ignorance. Thus, the duty of parish clergy was, in fact, to teach good manners. However, the authors of the program believed that education was based on personal example, and particularly on the moral and intellectual superiority of the priests. As a consequence of the belief in a direct relationship between knowledge and morality, the program very briefly dealt with the methodology of preaching.

Sermons had to be, above all, well structured according to the appropriate rules and devoid of any digression or unnecessary information. Sermonizing had to be focused on promoting virtues, and if condemning sins was necessary, it had to be done gently and never individually. Since the art of preaching was difficult, authors of the program, although reluctantly, agreed to the practice

of reading printed homilies from the pulpit. They found it less harmful than speaking “anything which comes to the preacher’s mind” [PONIATOWSKI 1785: 416], however, they decided to supplement the pastoral letter with a detailed list of recommended books in order to make sure that the priest would read acceptable texts. They mentioned eight renowned Polish and foreign preachers from the late 16th and early 17th centuries, and seven contemporary authors whose works, without exception, are nowadays considered an integral part of Enlightened Catholicism. The recommended sermons, both old and new alike, had in common the use of language without Latin inclusions, well-organized structure, and simple, though persuasive, rhetoric. Most of them focused predominantly on moral issues, even if they derived them from dogmas or sacred stories [WITECKI 2017].

Authors of the pastoral letter paid much more attention to the topics of sermons. They can be divided into three classes of priority, according to the amount of text dedicated to them and the length of the descriptions of violations related to the topic. The most important theme of the sermons was supposed to be the problem of intemperate alcohol consumption, a social plague fatally affecting other behavior and depriving humans of dignity. Equally important was the promotion of the virtue of love, derived from the great commandment, but interpreted with the greatest stress on love for people and works of mercy. The beliefs necessary to salvation and, especially, the Four Last Things, were also classified among the most important issues to be addressed in sermons.

The second class of priority involved a restrictively treated sexual morality. Clergy would condemn not only adultery, but even conversation with and presence in the proximity of suspicious people. Apart from that, the authors of the pastoral letter obliged parsons and vicars to preach about a wide range of socio-economic values. First of all, they had to promote the idea of the equality of people in the eyes of God, and, consequently, the duty of inter-estate respect. Second, they were to denounce disrespect for serfs as well as frauds and intrigue, simultaneously promoting modesty. It is clear that, as a whole, such socio-economic preaching was addressed to the nobility, and its aim was to mitigate the harshness of the feudal system. On the other hand, the obligation to respect estate responsibilities, addressed mostly to the peasantry, was one of the least important topics. These topics were supplemented by such traditional religious values as piety and asceticism, represented by contempt of the world and mortification of the senses. Finally, among these topics were situated laziness, wrath, and greed, the foundation of the Seven Deadly Sins.

The catalogue may be supplemented by the most important topics discussed by the recommended authors, such as Samuel Wysocki, Kasper Baslam, and Wawrzyniec Rydzewski. The dignity and obligation of work, the refinement of manners, the obligation to work toward political community, and, most



of all, the rehabilitation of reason as a source of both knowledge and faith, are the ideas referred to as enlightened [ZAKRZEWSKI 1986]. The last idea—the rehabilitation of reason as a source of both knowledge and faith—was also a constant theme of the pastoral letter as a whole. Authors fought against magic and witchcraft not as a sin but as a superstition, and they promoted independent studies of the Bible by the clergy. Therefore, the most important feature of the theory of preaching in the Diocese of Płock was its intellectualism, and the program can be called enlightened through its moral and knowledge superiority.

### 3. Enlightenment by Simplicity and Utility

In the Diocese of Vilnius, Bishop Ignacy Massalski did not write a single pastoral letter that was meant to serve as a set of mandatory rules. His views about preaching did not take the form of law and their implementation was not tested. However, he did present his opinions in many ways [KASABUŁA 1998]. First, during the jubilee in 1776 he issued a long and detailed list of topics that had to be preached [MASSALSKI 1776]; he supported some extraordinary preachers by printing their works [SZCZUROWSKI 2004; ŚLUSARSKA 2010]; and, finally, in 1793 an anonymous parenetic book titled *Kapłan sługa boży y pasterz dusz czyli list xiędza plebana do xiędza brata swego zamykający w krótkim zebraaniu obowiązki kapłańskie i pasterza dusz*, which was about the ideal priest, was printed, presenting a full program of sermonizing, part of which was written directly by the bishop [KAPŁAN SŁUGA BOŻY 1793]. Further analysis is based mainly on the latter source and the instruction for the jubilee.

Differences between programs imposed in Lithuania and Mazovia began with the hierarchy of values. For Ignacy Massalski, salvation was only one of the preaching aims. Equally important was the quality of life on earth, which sermons had to enhance by teaching not only morality but also practical knowledge essential for economic well-being and health. This general transition toward earthly utility had deep consequences in the promoted values and topics of sermons.

Since redemption was not the only aim of preaching, a set of values directly derived from theology were enriched with concepts of happiness, helpfulness, and peacefulness. The traditional ideal of piety was reinterpreted as good manners, fairness, and utility. Most of these values were related to the idea of effective collaboration among people and were preached in the context of social institutions. One of these institutions was family, considered widely as a set of relationships between spouses, between parents and children, and between householder and farmhand. Another institution was the village, understood as a union between a landlord and serfs. The last one was the state, which was understood mostly as a set of relationships between a monarch and the nobility, who are named, significantly, not as subjects but as citizens. Although the

term “patriotism” was not used, preachers were nevertheless expected to promote this value. As a whole, these values gave rise to concrete responsibilities, such as mutual respect, hard work, the repair of roads and bridges, and prayer for the fatherland. Of course, apart from these merits, all traditional Catholic virtues and sins, enumerated in every handbook of moral theology, were still to be preached.

The most outstanding characteristic of Ignacy Massalski’s theory was, however, the obligation to use sermons as a tool to transmit information from beyond the realm of morality. As the first chairman of the National Education Commission, he is best known for promoting the establishment of parish schools. He demanded that preachers should justify the need for educating both boys and girls in order to combat superstition and train more effective laborers. Promotion of education should not be misread as intellectualism, since the bishop of Vilnius simultaneously discouraged clergy from any reasoning about dogmas or presenting opposing views that were held by other Christian denominations. Beliefs had to be accepted only by faith, and preaching these beliefs was to be as short as possible. Much more important was to promote the bishop’s physiocratic ideals of reforming agriculture. He required the priest to deliver sermons dedicated to the cultivation of gardens, handcraft, and trade, in addition to the use of proper tools, such as ploughs and harrows. From the desire to improve farming conditions derived his notions about inter-estate respect and responsibilities. All of these topics were preached extensively by Wilhelm Kaliński and Franciszek Karpowicz, writers promoted by the bishop of Vilnius.

These outstandingly concrete and utilitarian ideas had to be delivered in a manner that was calibrated to the listener’s capabilities. Since it was obvious that most of the preached values were addressed to the peasant, the main feature of sermons was supposed to be simplicity. It was clearly stated that parish clergy were not allowed to imitate the style typical of municipal and public preachers, but instead to make sermons which resembled the peasants’ style, vocabulary, and way of thinking. The authors of *Kapłan sługa boży* even listed Latin words that were to be avoided, and suggested that even biblical citations should be translated into Polish. However, citations, digressions, and comparisons in general were condemned, and perceived as boring to the listeners. For the same reasons, sermonizing had to be loud, well-pronounced, and varied in timbre. Since such vocalization was impossible while reading, the practice was forbidden; if reading was unavoidable, the priest was not expected to read entire sermons, but rather short passages from simple, ascetic books. To ensure the attention of the faithful, sermons were supposed to be delivered in the morning and to be short. It can be concluded that Ignacy Massalski did not believe in the direct power of words, and found methodology crucial for

effective preaching. And this was the justification for requiring preachers to be gentle in their approach, because frank assessments of flaws might have discouraged listeners. It is worth noting, however, that all this simplicity must not have been merely justification for lack of skills and knowledge. On the contrary, as the folk style was not natural for the preachers, they had to prepare themselves even harder in order to realize these goals.

#### 4. Counter-Enlightenment Reform

Wojciech Skarszewski became the bishop of the newly organized dioceses of Chełm and Lublin at the end of the Four-Year Sejm. He was a well-known journalist who actively fought against secularist projects of the parliament, defending clergy but also criticizing their shortcomings and accepting the need for some reform. His project is a good example of a Counter-Enlightenment set of conservative, although not reactionary, values [BUTTERWICK 2008: 208]. Soon after his consecration, he issued the pastoral letter serving as a new mandatory set of rules [SKARSZEWSKI 1792]. It was sent to all parsons, and deans were obliged to read it during obligatory congregations. This action was similar to that taken by Michał Poniatowski, and it is possible that the pastoral letter was designed as a form of polemic. The analysis below is based on this pastoral letter.

Skarszewski accepted the idea that the most important topic of sermons had to be morality. This notion was common to all of the bishops described so far, and can be found as a general trend in the theory of preaching of the age. However, Skarszewski not only prioritized moral issues, as Massalski did, and he not only practically restricted preaching about these topics, as Poniatowski did, but he also literally forbade clergy to preach about any nonreligious topics. He strongly believed that every estate had its own responsibilities, and he did not agree with the notion that a priest had to engage in economic or hygienic education.

His precise views about moral teachings were also exceptional, since he limited them to condemning sins according to the Ten Commandments, and he described the most commonly committed sins: murder, adultery, theft, perjury, and one social vice that does not appear in the Decalogue—intemperance in alcohol consumption. Focusing on sins and on virtues distinguished his program from the others described above. He did not promote the vision of God as more just than merciful. Although, in general, he did not encourage preaching about social issues, he did mention estate responsibilities. However, as opposed to Massalski and Poniatowski, he focused only on the subjects' duty of subordination, omitting the necessity of the nobility's respect toward the peasants.

Skarszewski had precisely the same opinion as Massalski, and forbade explanations of dogmas which, he believed, were to be based on faith alone.

His opinion about the role of reason was, however, much more conservative. He did speak against witchcraft as a superstition, and even condemned practices which did not derive from faith but were not contrary to it. However, in the same passage he suggested that the Church had to tolerate some vices of belief in order to avoid loss of faith. He accepted the clergy's responsibility to organize parish schools, yet he did not mention this in his preaching theory, and generally perceived this obligation as useful for the Church because it served as a preliminary training for future priests and church servants.

The bishop of Chełm and Lublin did not pay much attention to preaching methodology. Like all of the previously described hierarchs, he condemned the use of misleading examples, stories, and comparisons of saints. In the program of the seminar, he also discouraged future preachers from using emotional gesticulation and vocalization. Delivering sermons was to be made in a serious manner. He recommended basing sermons on the Bible and Church Fathers and, like Poniatowski, he provided a list of recommended books. It was, however, a completely different literary canon. There were no contemporary authors, and the only preachers were Piotr Skarga and Wojciech Tytkowski. Apart from that, he suggested reading Bible commentary and ascetic meditations. In general, he fought against the obvious weaknesses in preaching that he observed, and he turned to the past, not to contemporary examples, for inspiration in order to correct these faults.

## 5. Greek Catholic "Tridentinization"

Porfiriusz Skarbek-Ważyński became an eparch of the Greek Catholic Diocese of Chełm in 1790, and, despite his strong involvement in the Four-Year Sejm and then in the Kościuszko Uprising, he was engaged in church reforms [ŁAPIŃSKI 1985]. From 1791 on, he organized synods every year, and during these gatherings he personally met with priests and gave them orders, which, of course, were obligatory [LIKOWSKI 1902]. In 1793 he organized a deanery visitation, intended to control implementation of his program.

According to canon visitations prior to the last decade of the 18th century, there were no parish book collections apart from liturgical books [SYGOWSKI 2000]. Seemingly, there was no tradition of sermonizing. However, Bishop Skarbek-Ważyński was born as a Roman Catholic, and during his political career was a supporter of the most progressive movements, and I have presumed that his program would try to bring Greek Catholic culture closer to the Roman patterns. And in many ways, it did.

Rules issued during the synod were based on those written during the provincial synod in Zamość, in 1720, which were intended to adjust the Uniate Church's practices to those established at the Council of Trent. Bishop Skarbek-Ważyński focused especially on teaching basic Catholic beliefs, which

apparently had been neglected. At first, he wrote and printed catechisms, and then he ordered every priest to buy them to use as a handbook in the newly organized Brotherhoods of Christian Knowledge [WAŻYŃSKI 1792]. He also insisted on the obligation to study moral theology. However, he did not say a word about the necessity of delivering sermons.

## 6. Shades of Enlightenment—The Practice of Preaching

In the Diocese of Płock, the preaching methodology happened to be much more similar to the theory of Bishop Massalski than to that of Bishop Poniatowski.<sup>2</sup> Priests declared that they had simplified their argumentation to make it understandable for the group of the faithful, which consisted of peasants, citizens of small towns, and the nobility. For the same reason, they used language and styles resembling those of their listeners. Interestingly, they justified their methodology practically but also named it as contemporary, being fully aware that addressing sermons to the folk and using modern classicistic rhetoric taught in reformed monastic schools were approaches compatible with one another. This style was also characteristic of the books most frequently used to prepare the sermons; these books were, without exception, written by contemporary authors recommended in the pastoral letter. Thus, the reform was at least partially successful.

It was not, however, fully effective because the clergy did not adopt all the recommended books, but made a firm and well-directed selection of the most practical genres: moral theology and sermons. Among the latter, they chose predominantly the sermons written by three authors: Samuel Wysocki, Kasper Balsam, and Wawrzyniec Rydzewski. The most popular was Samuel Wysocki, who was admittedly the most traditional preacher, and whose modernity was visible only in language. When it came to the topics he chose, he always interpreted biblical excerpts in terms of moral teachings, which, of course, was consistent with the views of all the bishops described above. He promoted solemnity during masses and fought against many behaviors traditionally accepted among the folk, which was similar to Bishop Poniatowski's attempts to restrict the popular para-liturgy [WYSOCKI 1768; IDEM 1760; BĄK 2002]. The sermons of Wawrzyniec Rydzewski were stylistically similar [RYDZEWSKI 1768B; IDEM 1768A].

On the other hand, the second most popular author was Kasper Balsam, who was a preacher of especially enlightened views, in addition to his rhetoric, which was exemplary for its classicism [PAZERA 2000: 39–48; GRZEBIEŃ 1981]. He preached extensively about the estate responsibilities of the nobility with

<sup>2</sup> All information about the content of book collections and declarations about the topics and style of preaching in the Diocese of Płock derives from the following extensive sources: [MDZP, 1–15; AV 288; AV 307].



respect to the peasants, and about the duties of good citizens, all of which resembled Massalski's program. The most striking elements of his approach were his views about the role of reason. He thought that reason was equally important as faith, and that they were allies in establishing the unshakable certainty of Catholic morality [BALSAM 1761]. This belief in reason resembled only the program of the bishop of Płock.

The style and ideology of books used in the Diocese of Płock resembled the enlightened Catholic values. It seems that parish clergy at least knew and accepted them. However, it is important to note that the most extensively used book was not a sermon but the catechism *Chleb duchowny*. . ., written by Jan WUJKOWSKI [1733]. This shows that the practice of sermonizing was interrupted at the beginning of the 18th century, and that catechism teaching was still dominant. The catechism presented a style and content that contradicted the views presented in Michał Poniatowski's letter. What is more, the parochial clergy's own declaration of preaching topics was much more conservative and less compatible with the reform program. The most noticeable aspect was the imbalance between preaching against sins, promoting values, and teaching beliefs—the first one was twice as frequent as the other two. This was not consistent with Poniatowski's and Massalski's ideas of transmitting positive examples.

In terms of condemned sins, those from the Decalogue and the Church Commandments dominated. The former occupied a secondary place in the program of Michał Poniatowski, the latter were completely absent. The difference is very significant, since the parish clergy was vividly interested in the participation in the sacraments. Attendance at masses was a precondition of any preaching strategy, and it was essential. However, priests also paid much attention to another sacrament, which showed their more ritualistic attitude towards religion; this was also connected with the *iura stolae* charges, constituting a large portion of their earnings. Parochial clergy preached a lot about the Seven Deadly Sins, not only about laziness, wrath, and greed. On the other hand, the condemnation of heavy alcohol consumption was relatively rare, and economic misdeeds typical of nobility were completely absent.

The latter was especially striking if preached virtues are taken into consideration. The bishop and his collaborators demanded sermons about modesty, and only two priests delivered sermons about the corresponding vices of pride and luxury. The pastoral letter required the promotion of the idea of the equality of estates in the eyes of God, and there was not even one priest who preached on this topic. On the other hand, clergy often preached about the virtues of dutifulness, patience, humility, and submission, which had the lowest priority in official guidelines. Clergy also sporadically mentioned the need for a fear of God, which was against the vision of a subtle God of mercy. Apart from these significant differences, there were also some similarities. Priests paid as much

attention to the virtue of love as the bishop and his collaborators did, however, they emphasized the love of God more than the love of the people. Moreover, they sometimes enlisted the love of God as the Great Commandment and sometimes as Theological Virtues, which means that they also preached about faith and hope. The bishop and his subordinates also had more or less similar attitudes to sexual morality, treating it as of mediocre importance.

When it comes to preached beliefs, there are also more similarities than differences from the blueprint provided in the pastoral letter. Vaguely described “beliefs necessary for salvation” were given the highest priority in the pastoral letter and were often preached by parish clergy. This characterization accounted for the most important dogmas described in all catechisms and moral theology manuals. Among the most important were the Four Last Things, which was also one of the most frequently preached topics. In this context, it is necessary to emphasize again that sacraments were the most frequent theme of the homilies given by the greatest number of priests. This does not mean that Bishop Poniatowski did not care about the rites. He certainly did, but was more interested in the performances of the priests than in the participation by the faithful.

The themes generally selected for preaching showed much greater differences between theory and practice than could be concluded on the basis of an analysis of the books read by the clergy. The list of books that were read and the declared themes of sermons are the only sources that give socially representative data, however they do not show nuances of the content of the sermons. Thus, reading the homilies delivered by parish clergy and monks from the Diocese of Płock was valuable [KAZANIA NIEKTÓRE 1785]. It is necessary to remember that sermons were printed with the consent of the bishop and his administration, so they could not include any completely unacceptable ideas. Any differences from the official guide are particularly significant because homilies were written with the full awareness of the editors’ views. Further analysis is based on these sermons as a whole, without taking into account all of the differences among authors.

On the surface, their content was consistent with the views of all bishopric guidelines, since morality was a topic considered by almost all of them. However, the clergy much more frequently chose condemnation of sins rather than promotion of values. Among the latter there were homilies about works of mercy and about establishing and maintaining a brotherhood of mercy. Sermons addressing the issue of sins were about heavy alcohol consumption, misdeeds related to money and ownership, as well as about slander and insincerity, which were interpreted as vices obstructing the cooperation among people. This stress on practical morality based on actively helping one another and promoting health was consistent with the views presented in the pastoral

letter. Apart from these subjects, preachers talked about topics not mentioned in official guidelines, although not prohibited. The most interesting are those against duels and about the duties of doctors, since they were addressed to the nobility and patriciate and they revealed traits not visible in the declaration placed in the visitation protocols.

Although topics of sermons were more or less consistent with the views presented in pastoral letters, clergy contradicted their supervisors at the much deeper level of metaphysical presuppositions. Generally speaking, they provided a model of the natural world dependent only on God. Every social or natural fact, including climate-related accidents, was supposed to occur as the will of God and was interpreted as good in and of itself or as a punishment. This interpretation was contrary to two of Bishop Poniatowski's ideas, which were concerned with the installation of lightning rods and the explanation of storm damage in terms of natural causes [PONIATOWSKI 1785, 4: 183–187]; it was also contrary to Bishop Massalski, who gave scientifically informed advice to fight scarcity and plagues [MASSALSKI 1771; IDEM 1787].

In this deterministic view, the only exception was human behavior, which, on the contrary, was completely free, and therefore people bore full responsibility for their deeds. Where there was sin, there was punishment, and not only given at the final judgment but also during one's earthly life. There were no excuses and no attenuating circumstances, and thus no promotion of changes to the social rules. The social hierarchy was even more relevant in the context of morality. Superiors, such as the nobility or householders, had to control the behavior of subjects, farmhands, and children. Since they were responsible for their salvation, they were obliged to impose punishment. On the other hand, the duty of the subordinates was, first and foremost, to listen to their superiors, even if their requests were not morally correct. So, the individual responsibility in the face of God was weakened by the demands of the coherence of the feudal system.

At the same time, moral behavior was possible only with the accompaniment of faith, and without it, even apparently good action was morally invalid. Thus, faith was the greatest value and it was autonomous, threatened primarily by reason, which was regarded not as an ally but as an enemy. In consequence, preachers discouraged people from thinking independently and even from reading the Bible. This approach was opposite to the views of Kasper Balsam. It may also be significant that there were no sermons against superstition but there was one about the sacrilegious usage of the body and blood of Christ. Since the dogmas were based on faith, and sins were only the fault of the sinner, preachers denied any responsibility for faithful morality, and defended the idea that their abilities and the style of their sermons was irrelevant. This was, of course, completely opposite to Bishop Poniatowski's views, and

especially to Massalski's. Nevertheless, the clergy insisted on people's obligation to attend mass, listen to sermons, and learn the catechisms, which of course was not against their guidelines.

In the Diocese of Vilnius, clergy did not describe their preaching performance. Book collections are the only, albeit imperfect, source.<sup>3</sup> They show a vivid tradition of preaching from the late 16th century up to the times of Bishop Massalski, with all phases described above, in the introduction. However, with one important exception, there was no time when catechisms substituted for sermons, and authors from the beginning of the 18th century were very popular. The newest visitations demonstrate also the first sign of a change in the direction promoted by the bishop. There were several books by a supporter of physiocracy, Michał Karpowicz, and by a promoter of rhetorical simplicity, Wawrzyniec Rydzewski.

In the Roman Catholic Diocese of Chełm, clergy also did not describe their preaching performance. Most of the information about visitations comes from the 1770s, so it shows collections of books used at the beginning of this century.<sup>4</sup> They consist mostly of sermons written before the end of the 17th century, and indicate the strength of preaching practice in the golden age of Polish homilies. Apart from that, they consist of catechisms, which indicate the substitution of homilies with basic teachings. Nevertheless, the newest visitation shows a couple of books by Samuel Wysocki, so even in this diocese the practice of preaching was revived in the manner of classicistic rhetoric.

In the Greek Catholic Diocese of Chełm, during the term of Bishop Porfiriusz Skarbek-Ważyński, clergy for the first time revealed the content of parochial book collections.<sup>5</sup> They consisted of moral theology, mostly published in the previous few decades, ascetic books, and Skarbek-Ważyński's own catechisms. The book culture of Uniate priests thus became more similar to the Roman model, but sermonizing was not part of this process. Differences between the two denominations were still striking after over two hundred years of institutional and dogmatic union and the parallel processes of the Latinization of architecture and the Polonization of the clergy.

<sup>3</sup> Information about book collections in the Diocese of Vilnius derives from the following sources: FHL, 6; FHL, 7; FHL, 8; FHL, 9; F.694.1.3381; F.694.1.3417; F.694.1.3437; F.694.1.3440; F.694.1.3459; F.694.1.3461; F.694.1.3477; F.694.1.3478; F.694.1.3485; F.694.1.3487; F.694.1.3489; F.694.1.3492; F.694.1.3494; F.694.1.3499; F.694.1.3500; F.694.1.3506; F.694.1.3512; F.694.1.3517; F.694.1.3562; F57-B53-175; F57-B53-271; F57-B53-308; F57-B53-460; F57-B53-582; F57-B53-858; F57-B53-947; F57-B53-990; F57-B53-1226.

<sup>4</sup> Information about book collections in the Roman Catholic Diocese of Chełm derives from the following sources: Rep 60A, 161; Rep 60A, 163; Rep 60A, 164; Rep 60A, 178.

<sup>5</sup> All information about book collections in the Greek Catholic Diocese of Chełm derives from the following sources: 35/95/0/5/114, 35/95/0/5/119, 35/95/0/5/120, 35/95/0/5/122, 35/95/0/5/124, 35/95/0/5/127, 35/95/0/5/133, 35/95/0/5/134, 35/95/0/5/135, and 35/95/0/5/136.

## Conclusion

In the Greek Catholic Diocese of Chełm, Bishop Porfiriusz Skarbek-Ważyński did not propose any theory of sermonizing, and there is no evidence of any such practice. The preaching theory of the Roman Catholic bishops described here can be interpreted through a variety of Enlightenment concepts. Bishop Massalski was closest to the ideas of Catholic Enlightenment. His stress on the nonreligious functions of sermons—especially agricultural efficiency, mitigating the harshness of the feudal system, and stressing patriotic duties—was consistent with the cultural trends of general state and societal transformation, which happened to be introduced by Catholics. The program introduced in the pastoral letter signed by Bishop Poniatowski and his collaborators could be interpreted as Enlightened Catholicism. Imposing only the religious function of sermons but demanding clarity of style, wide erudition, nontraditional ethical values, and the rehabilitation of reason were in line with the cultural trends that reformed the drawbacks of the baroque style and of popular beliefs within the general frame of Catholic theology. Finally, the late program of Bishop Wojciech Skarszewski can be placed somewhere between Enlightened Tridentine Catholicism and Counter-Enlightenment. He was willing to reform the faults of parish preaching caused by individual vanity and the weaknesses of baroque style, but did not intend to change the topics of sermonizing in any way. He actively rejected the idea of any nonreligious duties of the clergy. In this context, it is important to stress that, at some level, all the bishops discussed here shared some of the ideas of Counter-Enlightenment. They actively and openly refuted freethinking, deism, and atheism.

Regardless of the differences in programs in all Latin dioceses, the preaching practice was changing in the direction of Enlightened Tridentine Catholicism. This means that the clergy accepted the classicist style and language, but rejected any changes in models of the natural and social worlds. As a result of the availability of source material, this approach is most apparent in the Diocese of Płock. The clergy accepted only those aspects of the reform which were in line with the practical needs of preaching to the folk, and rejected any intellectually derived ideas. Although they bought and read untraditional books by Kasper Balsam, their own sermons and declarations represented a different worldview. Whereas the bishop of Płock and his collaborators advocated the equality of the different social estates in dignity, mercifulness of God, natural causality, and the value of reason, clergy preached about the differences between the estates in their duties and responsibilities, in the justice and mercifulness of God, in supernatural causality, as well as in the dangers of reasoning. What was similar about bishop and clergy was the conviction that morality was more important than dogma, however, the parsons also underlined the necessity for participation in sacraments.



Apart from these basic agreements in style and moralizing, the differences are quite striking. However, it is important to question their meaning and consequences. From the anachronistic perspective of contemporary liberal philosophy, the rejection of more enlightened ideas can be interpreted as at least traditionalism and even as obscurantism. In the end, modern ideas of equality, reason, and citizenship were scarcely preached despite bishopric recommendation. However, from the more historic and emic perspective of values jointly believed by bishops and parish clergy, the interpretation would be different. Parsons and vicars adopted the ideas that were not too much in opposition to the predominant views of their faithful, and they also adopted the methodology that helped them improve communication with the folk. Thus, they not only avoided inducing a questioning of the faith, but they also strengthened their relationship with listeners. In a more general perspective, the introduction of the bishops' ideas may have caused a faster division between elite and popular culture [BURKE 2009]. Refuting it may have slowed it down.

## Bibliography

### Abbreviated Names of Libraries, Archives, and Depositories

#### VUB

*Vilniaus Universiteto Biblioteka, Retų spaudinių skaitykla* = Vilnius University Library, Rare Book Reading Room

#### LVIA

*Lietuvos valstybės istorijos archyvas* = Lithuanian State Historical Archives

#### ADPŁ

*Archiwum Diecezjalne w Płocku* = Archives of Diocese of Płock

#### APL

*Archiwum Państwowe w Lublinie* = State Archives in Lublin

#### AAL

*Archiwum Archidiecezjalne w Lublinie* = Archives of Archdiocese of Lublin

#### BJ

*Biblioteka Jagiellońska* = Jagiellonian Library in Kraków

### Manuscripts

#### AV 288

ADPŁ, AV 288, Protokół wizytacji dekanatu Płock, r. 1774.

#### AV 307

ADPŁ, AV 307, Protokoły wizytacji dekanatów: Ostrołęka, Ostrów, Wąsocz, Wizna, Wyszaków, r. 1774.

#### F.694.1.3381

LVIA, F.694.1. 3381 — księga z wieloma niepowiązanymi wizytacjami.

#### F.694.1.3417

LVIA, F.694.1. b. 3417 — inwentarze parafii Bobrujski, z różnych lat w tym z r. 1796.

*F.694.1.3437*

LVIA, F.694, apr.1, b. 3437 — inwentarz parafii Kossów, r. 1765.

*F.694.1.3440*

LVIA, F.694, apr.1, b. 3440 — inwentarz parafii Iskołdź, r. 1766.

*F.694.1.3459*

LVIA, F.694, apr.1, b. 3459 — księga z różnymi dokumentami w tym z inwentarzem parafii Darewo, r. 1778.

*F.694.1.3461*

LVIA, F.694, apr.1, b. 3461 — inwentarz parafii Duniłowicze, r. 1774.

*F.694.1.3477*

LVIA, F.694, apr.1, b. 3477 — inwentarz parafii Duniłowicze, r. 1781.

*F.694.1.3478*

LVIA, F.694, apr.1, b. 3478 — inwentarz parafii Soleczniki Wielkie r. 1781.

*F.694.1.3485*

LVIA, F.694, apr.1, b. 3485 — protokół wizytacji parafii Niemenczyn, r. 1782.

*F.694.1.3487*

LVIA, F.694, apr.1, b. 3487 — protokół wizytacji dekanatu Połock, r. 1782.

*F.694.1.3489*

LVIA, F.694, apr.1, b. 3489 — protokół wizytacji parafii pod wezwaniem św. Piotra i św. Pawła na Antokolu k. Wilna, r. 1782.

*F.694.1.3492*

LVIA, F.694, apr.1, b. 3492 — protokół wizytacji dekanatu Raduń, r.1782.

*F.694.1.3494*

LVIA, F.694, apr.1, b. 3494 — inwentarz parafii Nowe Troki.

*F.694.1.3499*

LVIA, F.694, apr.1, b. 3499 — protokół wizytacji parafii Petryków, r. 1783.

*F.694.1.3500*

LVIA, F.694, apr.1, b. 3500 — protokół wizytacji parafii Wołma, r. 1783.

*F.694.1.3506*

LVIA, F.694, apr.1, b. 3506 — protokół wizytacji parafii Wilno Zarzecze, r. 1784.

*F.694.1.3512*

LVIA, F.694, apr.1, 3512 — opis parafii pod wezwaniem św. Kazimierza w Wilnie, r. 1785.

*F.694.1.3517*

LVIA, F.694, apr.1, b. 3517 — fragment całej wizytacji dekanatu Świr, r. 1786 dotyczący parafii Świranki.

*F.694.1.3562*

LVIA, F.694, apr.1, b. 3562 — protokół wizytacji dekanatu Oszmiana, r. 1798.

*F57-B53-175*

VUB, F57-B53-175 — inwentarz parafii Wielka Brzostowica, r. 1782.

*F57-B53-271*

VUB, F57-B53-271 — protokół wizytacji dziekańskiej parafii Wołpa, r. 1782.

*F57-B53-308*

VUB, F57-B53-308 — protokół wizytacji dziekańskiej parafii Hoża, r. 1783.

*F57-B53-460*

VUB, F57-B53-460 — inwentarz parafii Zelwa, r. 1783.

*F57-B53-582*

VUB, F57-B53-582 — inwentarz parafii Korkożyski, r. 1782.

*F57-B53-858*

VUB, F57-B53-858 — inwentarz parafii Olkienniki, r. 1765.

*F57-B53-947*

VUB, F57-B53-947 — protokół wizytacji dziekańskiej parafii Repla, r. 1782.

*F57-B53-990*

VUB, F57-B53-990 — protokół wizytacji dziekańskiej parafii Rudomin, r. 1783.

*F57-B53-1226*

VUB, F57-B53-1226 — protokół wizytacji dziekańskiej dekanatu Kupiszki, r. 1796.

*Rep 60A, 161*

AAL, Rep 60A, 161 — protokół wizytacji generalnej diecezji chełmskiej, r. 1763–1764.

*Rep 60A, 163*

AAL, Rep 60A, 163 — księga zawierająca różne typy dokumentów w tym protokoły wizytacji biskupich rzymskokatolickiej diecezji chełmskiej.

*Rep 60A, 164*

AAL, Rep 60A, 164 — księga zawierająca różnorodne typy dokumentów w tym protokoły wizytacji biskupich rzymskokatolickiej diecezji chełmskiej.

*Rep 60A, 178*

AAL, Rep 60A, 178 — wizytacja dekanatów Krasnystaw, Luboml i Chełm, r. 1793–1795.

*35/95/0/5/114*

APL, 35/95/0/5/114 — Akta wizytacji i inwentarze cerkwi w dekanatach: chełmskim, dubienieckim, horodelskim, hrubieszowskim, lubelskim, lubomelskim, międzyrzeckim, ratneńskim, szczebrzeskim, tarnogrodzkim i włodawskim. . . , r. 1767–1812.

*35/95/0/5/119*

APL, 35/95/0/5/119 — Akta wizyty generalnej dekanatów Lubelskiego i Krasnostawskiego i Chełmskiego. . . , r. 1774–1774.

*35/95/0/5/120*

APL, 35/95/0/5/120 — Wizyta dekanatu Bełskiego. . . , r. 1774–1775.

*35/95/0/5/122*

APL, 35/95/0/5/122 — Wizytacje dziekańskie i inwentarze cerkwi w dekanatach: strzemieleckim, włodawskim, tyszowieckim, szczebrzeskim. . . , r. 1774–1785.

*35/95/0/5/124*

APL, 35/95/0/5/124 — Wizyty Generalne Dekanatów Chełmskiego, Szchebrzeskiego y Zamoyskiego. . . , r. 1778–1779.

*35/95/0/5/127*

APL, 35/95/0/5/127 — Wizyta Generalna dekanatów Horodelskiego [tyszowieckiego, lubelskiego, szczebrzeskiego i zamojskiego]. . . , r. 1779–1780 i 1782–1782.

*35/95/0/5/133*

APL, 35/95/0/5/133 — Wizyta generalna dekanatu Ratneńskiego i Kaszogrodzkiego. . . , r. 1789–1789.

*35/95/0/5/134*

APL, 35/95/0/5/134 — Akta dawne Konsystorza Chełmskiego i Brzeskiego zawierające wizyty i inwentarze. . . , r. 1790–1793.

35/95/0/5/135

APL, 35/95/0/5/135 — Wizyta jeneralna dekanatów Krasnostawskiego i Lubelskiego. . . , r. 1792–1793.

35/95/0/5/136

APL, 35/95/0/5/136 — Wizyta jeneralna dekanatu Lubomlskiego. . . , r. 1793.

#### Editions

MDDZP, 1–15

GRZYBOWSKI M., ed., *Materiały do dziejów ziemi płockiej. Z archiwaliów diecezjalnych płockich XVIII wieku*, 1–15, Płock, 1982–1998.

LIKOWSKI 1902

LIKOWSKI E., ed., *Synody Dyecezyi Chełmskiej Obrządku Wschodniego*, Poznań, 1902.

FHL, 6

“Kauno dekanato vizitacija 1782,” in: J. VYTAUTAS, ed., *Fontes Historiae Lituaniae*, 6, Vilnius, 2001.

FHL, 7

“Breslaujos dekanato vizitacija 1784,” in: R. FIRKOVICIUS, ed., *Fontes Historiae Lituaniae*, 7, Vilnius, 2008.

FHL, 8

“Ukmerges dekanato vizitacija 1784,” in: S. JEGELEVICIUS, ed., *Fontes Historiae Lituaniae*, 8, Vilnius, 2009.

FHL, 9

“Pabaisko dekanato vizitacija 1782–1784,” in: A. BALIULIS, ed., *Fontes Historiae Lituaniae*, 9, Vilnius, 2010.

#### Old prints

BALSAM 1761

BALSAM K., *Kazania na niedziele całego roku*. . . , 1, Poznań, 1761.

KAPŁAN SŁUGA BOŻY 1793

*Kapłan sługa boży y pasterz dusz czyli list xiędza plebana do xiędza brata swego zamykaiący w krótkim zebraniu obowiązki kapłańskie i pasterza dusz*, Wilno, 1793.

MASSALSKI 1771

MASSALSKI I. J., *Sposoby proste y łatwe podane od doktorów dla mieszkających po wsiach na ustrzerzenie się morowej zarazy, lub ratowanie, pod czas oney*. . . , Wilno, 1771 (VUB, IV 31066).

——— 1776

MASSALSKI I. J., *Instrukcyje na jubileusz dla xx. plebanów*, Wilno, 1776 (VUB, IV 24698).

——— 1787

MASSALSKI I., *Ignacy Jakob Massalski z bożey y stolicy apostolskiej łaski biskup wileński. Całemu duchowieństwu dyecezyi naszej zdrowie y pasterskie błogosławieństwo. Nieuradzay lat przeszłych gdy po mimo zapasy baczných na przyszłość gospodarzów dało się uczuć*. . . , Wilno, 1787 (VUB IV 24705).

KAZANIA NIEKTÓRE 1785

*Kazania niektóre księży diecezji płockiej z podanych co rocznie dwiema ratami w waju i w październiku do kancelarji zadwornej biskupiej 1782. Teraz z tejże kancelarji wydane i do druku podane*, 1785.

PONIATOWSKI 1785

PONIATOWSKI M., *Rozrządzenia y pisma pasterskie za rządów J. O. Xięcia JMCI Michała Jerzego Poniatowskiego Biskupa Płockiego do diecezji płockiej wydane dla wygody teyże Dyecezyi zebrane i do Druku podane*, 1–4, Warszawa, 1785.

RYDZEWSKI 1768A

RYDZEWSKI W., *Kazania Przygodne*. . . , Wilno, 1768.

RYDZEWSKI 1768B

RYDZEWSKI W., *Kazania Świąteczne*. . . , Wilno, 1768.

SKARSZEWSKI 1792

SKARSZEWSKI W., *Rozporządzenie pasterskie na dyecezya hełmską lubelską roku 1792*, Warszawa, 1792.

WAŻYŃSKI 1792

Ważyński P. S. *Katechizm albo krótkie zebranie nauki chrześcijańskiej, dla pożytku dusz ludzkich spisane, do druku podane i dna dwie klasy podzielone*, Poczajów, 1792.

WUJKOWSKI 1733

WUJKOWSKI J. S., *Chleb duchowny, wszystkim chrześcianom na posiłek w drodze do nieba idącym wystawiony. Albo raczej, katechizm na świat polski wychodzący*. . . , Kalisz, 1733.

WYSOCKI 1760

WYSOCKI S., *Adwent z postem. Kazaniami o sądzie bożym, o męce pańskiej, o pokucie, o umartwianiu pięciu ciała zmysłów, y inszych prawdach wiary chrześcijańskiej, ku większej chwale boskiej, y pożytkom dusz ludzkich po różnych katedrach, z rejestrem kaznodziejskim na wszystkiego całego roku niedziele*, Warszawa, 1760.

——— 1768

WYSOCKI S., *Nauki, homilie i materie kazań*. . . , 3, Warszawa, 1768.

## References

BAK 2002

BAK J., *Wady ganione i cnoty zalecane w spuściznie kaznodziejskiej Samuela Wysockiego (1706–1771)*, Kalisz, 2002.

BOBRYK 2005

BOBRYK W., *Duchowieństwo unickiej diecezji chełmskiej w XVIII wieku*, Lublin, 2005.

BRZozowski 1975

BRZozowski M., "Teoria kaznodziejstwa (Wiek XVI–XVIII)," in: M. RECHOWICZ, red., *Dzieje teologii katolickiej w Polsce, 2: Od Odrodzenia do Oświecenia, 1: Teologia humanistyczna*, Lublin, 1975, 363–427.

BURKE 2009

BURKE P., *Kultura ludowa we wczesnonowożytnej Europie*, Warszawa, 2009.

BUTTERWICK 2005

BUTTERWICK R., "What Is Enlightenment [Oświecenie]? Some Polish Answers, 1765–1820," *Central Europe*, 3/1, 2005, 19–37.

——— 2008

BUTTERWICK R., "Between Anti-Enlightenment and Enlightened Catholicism: Provincial Preachers in Late Eighteenth-century Poland-Lithuania," in: R. BUTTERWICK, S. DAVIES, G. SÁNCHEZ ESPINOSA, eds., *Peripheries of the Enlightenment* (= Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, 2008, 1), Oxford, 2008, 201–228.

——— 2012

BUTTERWICK R., *Polska rewolucja a Kościół katolicki 1788–1792*, Kraków, 2012.

——— 2014

BUTTERWICK R., "Między oświeceniem a katolicyzmem, Czyli o katolickim oświeceniu i oświeconym katolicyzmie," *Wiek Oświecenia*, 30, 2014, 11–55.

DĘBIŃSKI 1914

DĘBIŃSKI K., *Chełmska rzymsko-katolicka diecezja obrządku łacińskiego*, Lublin, 1914.



GIL 2005

GIL A., *Chełmska diecezja unicka 1596–1810* (= Studia i materiały do dziejów chrześcijaństwa wschodniego w Rzeczypospolitej, 1), Lublin, 2005.

GRZEBIEŃ 1981

GRZEBIEŃ L. "Kasper Balsam," in: *Słownik Polskich Teologów Katolickich*, Warszawa, 1981, 93–94.

GRZYBOWSKI 1973

GRZYBOWSKI M., "Reforma studiów seminaryjnych w diecezji płockiej biskupa Michała Jerzego Poniatowskiego (1773–1785)," *Studia Płockie*, 1, 1973, 175–193.

——— 1983

GRZYBOWSKI M., *Kościelna działalność Michała Jerzego Poniatowskiego biskupa płockiego 1773–1785*, Warszawa, 1983.

IMAŃSKA 2000

IMAŃSKA I., *Druk jako wielofunkcyjny środek przekazu w czasach saskich*, Toruń, 2000.

KASABUŁA 1996

KASABUŁA T., "Seminarium diecezjalne wileńskie w okresie rządów biskupa Ignacego Massalskiego," *Roczniki Teologiczne Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego*, 46/4, 1996, 129–144.

——— 1998

KASABUŁA T., *Ignacy Massalski biskup wileński*, Lublin, 1998.

KUMOR-MIELNIK 2010

KUMOR-MIELNIK J., "Organizacja terytorialna diecezji chełmskiej i lubelskiej do 1805," *Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne*, 94, 2010, 61–77.

ŁAPIŃSKI 1985

ŁAPIŃSKI J., "Porfiriusz Skarbek Ważyński jako zakonnik i hierarcha unicki," *Prawo Kanoniczne*, 28/3–4, 1985, 269–74.

LITAK 1962

LITAK S., "Akta wizytacyjne parafii z XVI–XVIII w. jako źródło historyczne," *Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego*, 5/3, 1962, 41–58.

PANUŚ 2001

PANUŚ K., *Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim, 2: Kaznodziejstwo w Polsce*, Kraków, 2001.

PAZERA 2000

PAZERA W., *Polskie Kaznodziejstwo epoki oświecenia*, Częstochowa, 2000.

PELCZAR 1886

PELCZAR J. B., *Zarys dziejów kaznodziejstwa w Kościele katolickim*, 1–2, Kraków, 1886.

RUDNICKA 1972

RUDNICKA J., "Ruch księgarski w Warszawie za Stanisława Augusta (1764–1795)," *Warszawa XVIII Wieku*, 1, Warszawa, 1972, 229–258.

ŚLUSARSKA 1998

ŚLUSARSKA M., "Oświeceniowe modele biskupa, plebana i parafii. Kontynuacja czy zmiana tradycji?" in: *Dwór — Plebania — Rodzina chłopska. Szkice z dziejów wsi polskiej XVII i XVIII wieku*, Warszawa, 1998, 37–53.

——— 2010

ŚLUSARSKA M., "Ku odnowie życia religijno-moralnego wiernych i poprawie ich obyczajów. Duchowieństwo diecezji wileńskiej w okresie pontyfikatu biskupa Ignacego Jakuba Massalskiego (1762–1794) a oświeceniowa reforma katolicka," *Senoji Lietuvos Literatūra*, 33, 2010, 171–211.

SYGOWSKI 2000

SYGOWSKI P., "Unicka diecezja chełmska w protokołach wizytacyjnych biskupa Maksymiliana Ryłły z lat 1759–1762," in: *Miejsce i rola kościoła greckokatolickiego w Kościele powszechnym*, 5, Przemyśl, 2000, 233–285.

SZADY 2008

SZADY J., *Księgozbiory parafialne w prepozyturze wiślickiej w drugiej połowie XVIII wieku*, Lublin, 2008.

SZCZUROWSKI 2004

SZCZUROWSKI R., "Jubileuszowe kazania księży Michała Karpowicza (1744–1803) i Wilhelma Kalińskiego (1747–1789) w zmiennych ocenach badaczy," *Folia Historica Cracoviensia*, 10, 2004, 347–60.

——— 2011

SZCZUROWSKI R., "Pastoralny i literacki wzorzec kapłana doby oświecenia," in: R. SZCZUROWSKI, E. E. WRÓBEL, red., *Historia bliższa ludziom. Prace ofiarowane księdzu profesorowi Janowi Kracikowi w 70. rocznicę urodzin*, Kraków, 2011, 333–46.

——— 2014

SZCZUROWSKI R., *Zaradzić potrzebom doczesnym i wiecznym. Idee oświecenia w Kościele katolickim w Polsce (do 1795 r.)*, Kraków, 2014.

WIŚLICZ 2005

WIŚLICZ T., "Jak nauczyć analfabetę? Metodologiczne problemy duszpasterstwa katolickiego w Rzeczypospolitej XVIII wieku," in: S. ACHREMCZYK, red., *Między barokiem a oświeceniem. Edukacja, wykształcenie, wiedza*, Olsztyn, 2005, 161–176.

WITECKI 2017

WITECKI S., "Oświeceniowy kanon lektur i jego recepcja wśród płockiego duchowieństwa parafialnego w czasach biskupa Michała Jerzego Poniatowskiego," *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne*, 144/3, 515–538.

——— N.D.

WITECKI S., "Oświecony katolicyzm trydencki. Księgozbiory duchowieństwa parafialnego diecezji płockiej w okresie pontyfikatu bp Michała Jerzego Poniatowskiego," *Wiek Oświecenia* (in print).

WOLAŃSKI 2012

WOLAŃSKI F., *Kaznodziejstwo bernardyńskie w staropolskim systemie komunikacji społecznej schyłku epoki saskiej. Studium kształtowania wyobrażeń i postaw*, Toruń, 2012.

WYCZAWSKI 1953

WYCZAWSKI H. E., "Biblioteki parafialne w diecezji krakowskiej u schyłku XVI wieku," *Polonia Sacra*, 6–7, 1953.

ZAKRZEWSKI 1986

ZAKRZEWSKI A., *Idee oświecenia w kazaniach polskich*, Częstochowa, 1986.

ZIELIŃSKA 1977

ZIELIŃSKA Z., "Michał Jerzy Poniatowski h. Ciołek," in: *Polski Słownik Biograficzny* (<http://www.ipsb.nina.gov.pl/index.php/a/michal-jerzy-poniatowski-h-ciolek>; last accessed on 18.12.2017).

ZWIĄZEK 1977

ZWIĄZEK J., *Katolickie poglądy polityczno-społeczne w Polsce na przełomie XVI i XVII wieku w świetle kazań* (= *Studia Kościelno-Historyczne*, 2), Lublin, 1977.

——— 1997–1998

ZWIĄZEK J., "Kazania jako źródło historyczne," in: *Folia historica cracoviensia*, 4–5, 1997–1998.

## Acknowledgements

Diamond Grant program of the Polish Ministry of Science and Higher Education (2012–2015).  
Project No. DI2012018742.

**mgr Stanisław Witecki**

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Historii,  
doktorant w Zakładzie Antropologii Historycznej

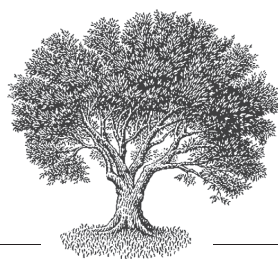
Gołębia 13

31-007 Kraków

Polska/Poland

stanislaw.witecki@gmail.com

Received January 31, 2017



# Preaching and Confessional Culture in Early Modern Germany. Catholic Sermons between 1650 and 1800

**Florian Bock**

Eberhard Karls University of Tübingen  
Tübingen, Germany

# Проповеди и конфессиональная культура в Германии раннемодерного периода. Католические проповеди в 1650– 1800 гг.

**Флориан Бок**

Тюбингенский университет  
Эберхарда и Карла  
Тюбинген, Германия

## Abstract

With the Council of Trent, Catholicism defined itself for the first time as a confession with distinct identifying features. In order not only to create but also to maintain such a Catholic Confessionalised identity, Catholic preachers needed to react to contemporary settings and currents as well as to fixed points of reference, as represented by the decrees of Trent. The scope provided by the Trent decree on preaching, “super lectione et praedicatione,” was so wide that, based upon it, individual ideas could be constructed about what constituted a “good” sermon. This can be seen in the various hermeneutics of the Council that developed up to the 18th century, and the associated post-Tridentine practices of piety, which are commonly grouped under the terms “Baroque” and “Enlightenment.” This article, which analyses sermons from the perspective of aesthetics of production and reception, is nonetheless able to show that along with Baroque and Enlightened piety, Jansenist influences also coexisted, something which has hardly been appreciated so far in research. At the same time, the preachers and the audiences

do not seem to have understood the complex network of variously coded elements of Catholic confessional culture as a contradiction: the pastoral strategies of Catholics from the years 1650 to 1800 seem rather not to have been characterised by wave-like motion, with specific extensions on the ritual-sensual or rational-iconoclastic levels, as has been assumed in research. Such asynchrony can also be recognised in textual samples drawn from the Russian Orthodox history of preaching.

#### Keywords

sermon, aesthetics of production/reception, Council of Trent, Confessionalisation, Jansenism, Enlightenment

#### Резюме

Тридентский собор способствовал самоопределению католицизма как конфессии с особыми отличительными признаками. Для того, чтобы не только создать, но и поддерживать такую католическую идентичность, католические проповедники должны были реагировать на современное им окружение и тенденции развития, равно как и на отправные позиции, зафиксированные в Тридентских постановлениях. Область, охваченная декретом Тридентского собора о проповедях “*super praedicatione*”, была настолько широка, что, опираясь на нее, можно было выстроить индивидуальные представления о том, что именно составляло “хорошую” проповедь. Это можно видеть по различной интерпретации Собора вплоть до XVIII в. и связанным с ней посттридентским практикам благочестия, объединяемых обычно под названием “барочных” и “просвещенческих”. В настоящей статье, где проповеди исследуются с точки зрения их создания и рецепции, тем не менее можно показать, что с барочными и просвещенческими практиками соседствовали и янсенистские влияния, — чему предыдущие исследования практически не уделяли внимания. В то же время проповедники и их аудитория, очевидно, не видели в комплексе разнонаправленных элементов католической конфессиональной культуры противоречий. Пастырские стратегии католиков 1650–1800 гг., в частности, не характеризует, как принято считать в историографии, волнообразный ритм, с соответствующими ответвлениями в ритуально-сенсуалистскую или рационально-иконоборческую сферу. Подобную асинхронность можно также обнаружить по образцам текстов, представляющих историю проповедничества в русском православии.

#### Ключевые слова

проповедь, эстетика создания/восприятия, Тридентский собор, конфессионализация, янсенизм, Просвещение

Lower Franconia at the end of the 17th and the beginning of the 18th century was an agricultural world in which, for centuries, the rhythms of life had been largely determined by the seasons. In the Franconian imperial circle, a set liturgical calendar of feast days and celebrations dominated, lending everyday Catholic life its routine. In the middle of this living environment, a Benedictine father called Albert Melchior was active. He came from Haßfurt am Main and was sent as a priest primarily in village churches.



Presumably it was these pastoral experiences which, in 1722, caused him to compose a work that has been neglected by researchers, entitled *Einfaches Bauren-Concept* (Simple farmers' concept) [MELCHIOR 1722], which contained 101 "short and simple sermons" for the rural population. Based on the title and the structure of the collection, a basic type of church congregation can be identified which functioned as a target group and hence, in turn, is likely to have had an influence on the form of the sermons. According to the subtitle, Melchior wished to warn the rural population against "rampant vices" and, instead, help them to gain the "necessary virtues." This protection and care for the moral stability of the collective group are apparently responsibilities assumed by the priest: around the tree on the frontispiece there is a cleric in the posture of teaching, standing in front of a group of members of the rural population. He encourages steadfast modesty and speaks to the rural population at eye level, not from the pulpit. They are apparently not meeting in the church, which can be seen in the background, but on a field. In accordance with this context, the individual sermons contained in the volume have titles written above them which are drawn from real life, such as "Cultivate your field properly." They refer to topics including moral education, justification, working morale, etc., which we commonly attribute to the Catholic Enlightenment. However, many of the sermons are emblematically constructed and hence still point unambiguously to the period of Confessionalisation. According to Gottfried Bitter, this kind of emblematic sermon is characterised by the mobilisation of polyhistoric, universal knowledge of the time: in the style of the *sermo humilis*, Melchior often refers to agricultural knowledge such as correct crop management, but does not order such practices stringently [BITTER 1997: 271].

For instance, in the eleventh sermon of the volume, which is intended for the fifth Sunday after Epiphany, the key topic is the parable of the "weeds among the wheat." This lemma is supplemented by a *subscriptio* in the form of a motto: "The enemy sows weeds among the wheat" (Mt 13:25). Against the background of this motto, Melchior extends the logic of the parable by drawing comparisons, among other things, with gardeners who plant thistles among the flowers and shepherds who leave the wolf among the lambs. This is a pastoral strategy that attains its goal through its proximity to real life, the richness of its imagery, the connection of quotes from Scripture with natural science (agriculture) and sometimes also with current political events [BITTER 1997; FISCHER 1952].

The normative demands of school poetics, derived from the example of the literature of antiquity, were abandoned by Melchior—at least at first sight; instead, the gift of imagination and fantasy seem to have been a prerequisite for a good preacher [BREUER 1997; O'MALLEY 1995: 121]. The abundance of images and allusions in the sermon was intended to direct the imagination of

the church [BREUER 1997] and thus to become itself an inner image for the listeners [BERNS 2000].

I chose Melchior's *Bauren-Concept* as an introduction to this article in order to show that in this collection of sermons, the approaches that anticipate an enlightened, virtuous "Education of the Human Race" (Lessing) are found in one and the same text specimen alongside elements of the emblematic sermon, as it was known in the Confessional period. A look at the index of the *Bauren-Concept* supports this postulation: if we look through the entries in this index, we find an apparently Enlightened Christocentrism, which exhorts one to lifelong self-education and reasonable behaviour, alongside a Baroque piety towards Mary, which is fed primarily by the accentuation of the virginity of Mary and her immaculate conception. When I write in the following sections about Catholic sermons between Confessionalisation and Enlightenment, I would ask readers to keep in mind conceptions of sermons such as those of Melchior. The integration of various cultures of piety displayed in these works seems to me to be absolutely characteristic of the period between 1650 and 1800.

## I. Sources and Methodology

My sources come from the former central library of the Bavarian Capuchin province, where there are stored more than 33,000 sermon volumes from the period up to 1800 alone. However, the purpose is not specifically to provide a piety-related contribution to the history of the order of the Capuchins—especially since studies on this topic already exist [THIESSEN 2002; ILG 2007]. The inventory of the Bavarian province also includes sermons of the Benedictines, Franciscans, Jesuits, and Cistercians. However, even secular priests, on whose collective biography there is hardly any information, acted as authors or compilers of sermons. The place of printing of the sermons ranges from Frankfurt to Vienna, and so it is not only a broadly understood "South German" area of investigation which is covered, but above all those regions which are consistently the subject of research on the Catholic Enlightenment (Baden-Württemberg, Bavaria). Through this broad access, a restriction to the "great" figures of the league is avoided, and room is left for differences. In the years 1999 and 2000, the sermons were transferred by the University of Eichstätt from the central library of the Capuchins to Altötting [LITTGER 2000; IDEM 2003], but to date they have received only little attention from scholars, despite the fact that two-thirds of the inventory is already electronically catalogued. In order to avoid despairing at the mountains of archives, of course restrictions had to be made for this article. Hence, in order to assume with some assurance a widespread pastoral, popularising effect, I am concentrating exclusively on German-language sermons, and not those in Latin. The focus of the following pages is, first, on so-called sermon collections, such as Melchior's *Farmers' Concept*, which were



Albert Melchior, *Einfaches Bauren-Concept, Das ist: Kurtze und Einfältige Predigen, Auff jeden Sonntag und Feyertag mit einer Predig ausgetheilt.* [Simple Farmers' Concept: Short and Simple Sermons, a Sermon for Each Sunday and Feast Day.] Würzburg, 1722, Shelfmark: 04/1 AÖ 4828.



Title Page





Frontispiece



composed for a particular clientele (for instance, the rural population) on a particular occasion, and then, like a tract, published in a collection. A relevant criterion for their structure may be (but is not necessarily) the connection with the church year and the corresponding pericopes of the Gospel: here there is an overlap with the so-called *Predigtpostille* (sermon notes). Another factor for the inclusion of a collection of sermons may be the systematic penetration of a particular thematic area, such as that of the Good Shepherd and His sheep, or of the priest and his parish, as is the case for Kayserstuell's *Schaafschwemme* [The washing of sheep].

An investigation of sermons should not be limited to a description of their content nor should it, from an ethnological perspective, make inferences on day-to-day culture on the basis of admonitions and moral didactics [MOSER-RATH 1991; WELZIG 1981; IDEM 1995], which can hardly succeed in being ultimately true. It appears more worthwhile to place the focus on individual and collective practices which are connected with the reading of and listening to sermons. Reconstructing these modes of reading or listening to sermons and revealing the underlying forms of sense-producing actions, as well as displaying their dependence on the psychological dispositions of the related actors, intellectual experiences, and social milieus [CHARTIER 1990: 7–24], is admittedly easier said than done. Only in the rarest of cases is it possible to speak about the effect of sermons, as for the 17th and 18th centuries there are no *rapportationes*, i.e., notes on the reactions of the listeners during the sermons, a practice that is familiar in Italy [MICHELSON 2013]. If a focus is to be placed on the interaction with the parish, which is to be deduced from the printed sermon, then the aesthetics of production and reception, originating from literary analysis, offers a way forwards: the preacher and the audience together form a community of shared experience, and as early as the production of the sermon, the preacher takes into account the fact that the parish will derive symbolic meanings from what is heard [SEMSCH 2005]. A perspective shown by the sermon will always be co-determined by the images in the imagination of the listener. The preachers bring about a “film before the film” [BERNS 2000] in the listeners, or a “cinema in their head.” Hence, each text requires an implicit or “imagined” reader [LENTES 2002]. This perspective has not yet been explored in church history research on sermons.

## II. Sermons of the Baroque or of Confessionalisation

The impulses of the Council of Trent (1545–1563) developed into the so-called Catholic Reform and Counter-Reformation, as can be read in every introduction to church history. The first term refers to a self-examination of the church through inner renewal, and the second refers to its self-assertion in the battle against Protestantism as a result of this inner renewal.



The pivotal point here was the correct preservation of spiritual offices. After all, it was difficult to know where to begin reforming given the considerable gaps in the education of the clergy; the experience of mixed religiosity without knowledge of the correct handling of rituals, liturgy, catechesis, and performance of the sacraments; the small size of a specialist library which, around 1600, still consisted of between two and six books for a simple curate; and the highly rudimentary reception of the decrees of the Council of Trent.

Hence particular care was taken initially to provide an appropriate education for the clergy, whose obligation of pastoral activity—spiritual guidance—and whose activity of proclamation (this is where the sermon comes in) were now strongly emphasised (session of 15 July 1563). On pain of church punishments, the obligation to preach was reinforced. According to the Council decree “*super lectione et praedicatione*” a sermon, which was to be brief and comprehensible in its expression, should have an instructive and cautionary character: vices are to be avoided and virtues to be striven after [CONCILIUM TRIDENTINUM 2002]. In order to check that the reforms decreed were properly put into practice, regular visits and clergy assemblies were stipulated at the level of the dioceses (11 November 1563), although these doubtless took place much less frequently than the cycle determined by the Council stipulated. However, here too it was the case that the successful reception of the Council took several centuries. The reforms which were introduced were implemented very slowly, as evidenced by the case of Albert Melchior from Lower Franconia, who was mentioned at the beginning of this study.

An essential topic of the Trent Reform can therefore be seen in an intensified, sustainable conveying of the contents of faith to all groups. There was awareness that in the sermon as a medium—as *the* connection between the clergy and the laypeople—the central services of communication took place. The preacher was to take care of the internalisation and canonisation of the contents of faith, and in his sermons had to ensure the formalisation of the *recta intentio* [HOLZEM 2004: 239]. In an act of commitment, the believers were not just supposed to be able to recite what they had heard, but also were able to implement the messages preached in real-life religiosity.

From the rather general stipulations of the Trent Decree, in the post-Council years a series of differentiated tasks developed. The inspiration here was given by the Ciceronian teaching of *decorum*, which, together with the Ignatian *applicatio sensuum*, stands for a commentary of the times that was mediated by images. Events from secular history were connected with their interpretations in terms of the history of salvation. The perspective of the enduring validity of the events within this history of salvation removes the differences in time and blurs the boundary between biblical events and the present.

The strengthening of religion in everyday life, according to the theory of the sermon, was to be attained via the incorporation of many everyday ideas and practices. The priest occupied a kind of middle ground: he stood between the life worlds of his parish and the church; he was fully integrated into local communal life and, at the same time, was the official representative of the truths of faith [THIESSEN 2012: 432]. What then was the image which presented itself to the commentator of the times or preacher?

The dispute with the Reformation, the experience of the Thirty Years' War, natural catastrophes which led to crop failures, and many other things led to the creation of a form of piety which was characterised by the consciousness of the limited nature of man and his indebtedness towards God [KRANEMANN 2013]. At the same time, it was possible for this to be combined with a perceptible joy of life. Sensual and sensuous experience promoted a purposeful staging of the corporality of the human [IBID.], and feeling and emotion were confronted by a knowledge of the limited nature of perishable earthly existence. It was a "Pastoral Theology of Fear and Hope" in the best sense [DELU-MEAU 1990].

This specifically Catholic way, to the modern era [HERSCHE 2006: 937–943], was also reflected in the space of the church. In the context of the sacralisation of day-to-day life, which Catholic Confessionalised piety carried out with success, particularly in the South German and Austrian area, Baroque churches and their fittings were understood as concrete places of salvation, as crystallisation points of the history of salvation [HAWEL 1987: 295]. The ceiling paintings suggested a place where heaven was open, allowing free communication between humans and God [ANGENENDT 1994: 246]. The relics and saints that were displayed further strengthened this function as a place of mediation of grace. Hence the Baroque church space may be described as the throne room of Christ; the liturgy, and hence also the sermon, set the stage for the presence of Christ. The focus was on piety relating to the Passion and on veneration of the Eucharist, which became particularly dominant for the interpretation of the atoning death and sacrifice of Christ. In this way, the Confessionalised pastoral practice functioned "to a considerable extent in materialised silent aesthetic messages," through which the "new verbal elements of faith practice, the confessional and the pulpit, were embedded in this symbolic texture" [PFISTER 2002: 140f.].

Behind this view of piety is the Tridentine ideal of the priest as the *pastor bonus*—more precisely, the correct, uniformly executed rite which had to prove itself to be worthy of holy things. The Tridentine ideal is governed by a strict regularity in execution. For we should not be deceived: behind the cascades of rhetorical torrents of words there is often a strictly analogical composition of textual references from the Bible and Patristics. Borrowing from Baroque

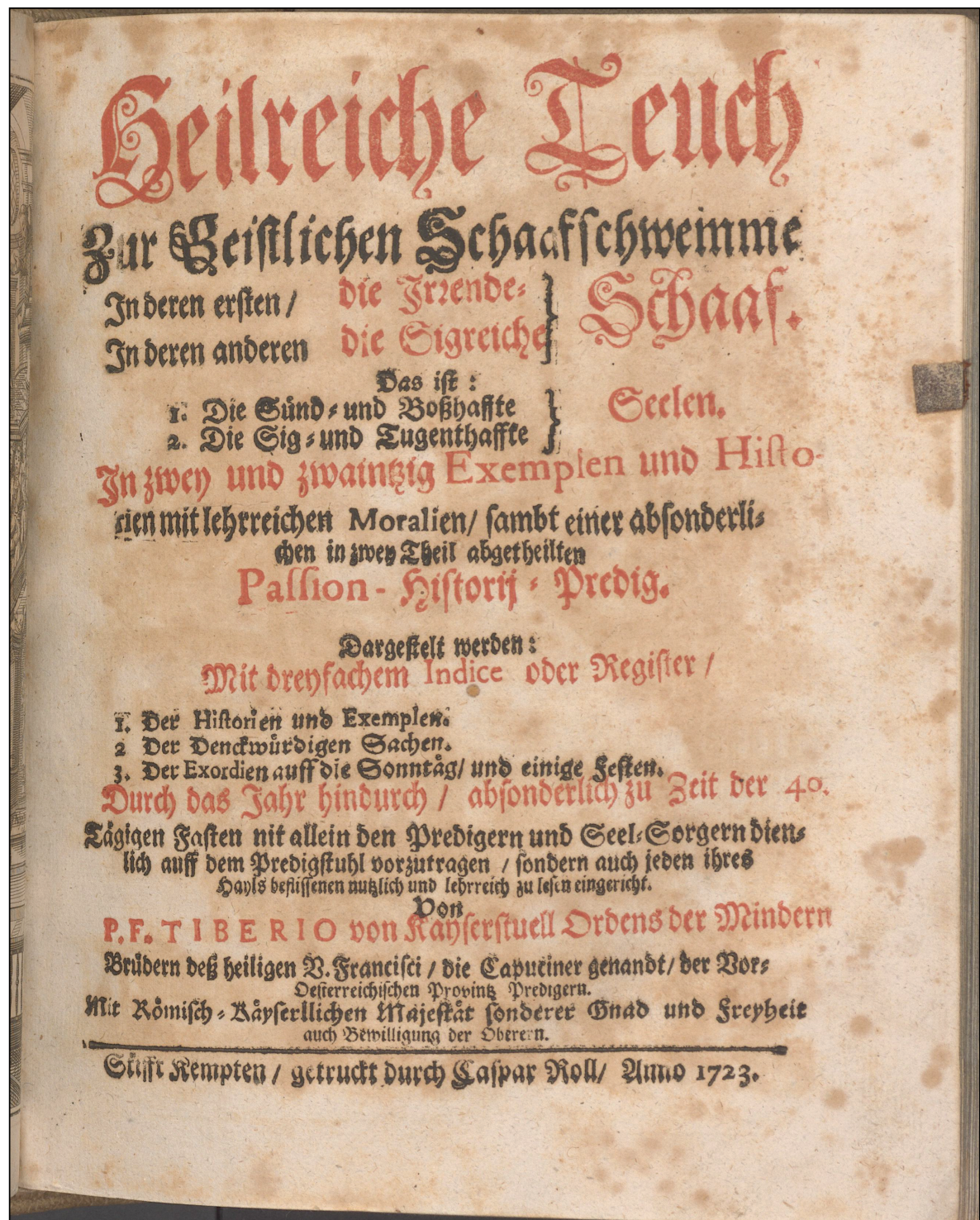
theatre, the preacher and audience often acted as if they were in a “holy game” with each other [BITTER 1997]. The sermon they heard was intended to warn, comfort, strengthen, and prepare the soul, as well as demanding that Christians fulfilled their duties. The printed sermons circulating at this time were not only used by the minister as a background and as inspiration, but, for those who were able to afford them, they served as edifying reading or even provided sought-after material for the father of the house, to be read out loud [EYBL 1982: 44–85].

An example of the ideal of the *pastor bonus* is represented by the collection of sermons which appeared in 1723, *Pool of Salvation for the Spiritual Washing of Sheep* by the Capuchin Tiberius von Kayserstuell. The striking frontispiece is immediately eye-catching. At first glance the scene might seem to be overwhelming in detail, like a children’s game in which a hidden object needs to be discovered in the picture, however, the image presents a clear perspective, formed from bottom to top. With reference to John 5:1–18 we see the Biblical background of the Temple of Jerusalem with its five pillars in the entrance area, and to the north of it there is a pool called Bethesda. Bethesda can mean both “sheep gate” and “house of grace.” Here, according to the New Testament, Jesus heals a lame man on the Sabbath, and in this *Stagnum Salomonis*, in the Pool of Solomon, according to the Old Testament, the sheep selected for ritual sacrifice had been purified previously. Kayserstuell also uses this background to herald a process of sanctification in his collection of sermons: the wandering sheep need to become victorious, and the sinful souls need to transform into virtuous souls. As a *pictura* the Capuchin father, whose order was well known in the 17th century for popular sermons [SCHNEYER 1968: 278], chose a practice which was known in the early modern period: sheep washing, in which shepherds made sheep swim through rivers or pools several times in order to purify their wool. The person responsible for the purification of their soul is the *pastor bonus*, who meets us as a preacher in the right-hand half of the image and attends to the souls entrusted to him in his church.

Through the *inscriptio* “Pool of salvation for the spiritual washing of sheep,” even the theologically uninformed reader will at least be able to understand the middle part of the image, the Old Testament purification of the sheep, and, thanks to the explanatory words and the title engraving, will be able to equate this with a process of purification of the soul. The religious expert will, moreover, be able to recognise the parallel made between the sheep washing and the New Testament healing of the lame, on the far left, with the Post-Tridentine preaching scene on the far right. The minister, as Kayserstuell says, continually watches over the members of his church, knows its members comprehensively and thoroughly, and is responsible for their mistakes before God as if they were his own [KAYSERSTUELL 1723: ivf.].



Tiberio von Kayserstuell [OFMCap], *Heilreiche Teuch Zur Geistlichen Schaafschwemme*  
[Pool of Salvation for the Spiritual Washing of Sheep], Kempten, 1723, Shelfmark: 04/1  
AÖ 1347.



Title Page





Frontispiece



Anyone who, like numerous authors of the late 19th and early 20th centuries, understands the Catholic Baroque sermon as a “low point” [KEPLER 1892: 118] in the entire history of homilies has understood very little [STINGEDER 1920: 149]. It is not the case that an external formalism spread at the cost of the spiritual content. Rather, the Baroque mode of proclamation offers a universal knowledge of time, in order to use all senses equally to display the logic of faith to the understanding and the heart.

### III. Jansenian Tendencies as an Intermediate Impulse

The period between 1650 and 1800 has perhaps also been a dark spot in German-language research on Catholicism; this is because little is known to date about the influence of Jansenism, which originally came from France, on preachers of Germany, Austria, and German-speaking Switzerland. Jansenism dates back to Cornelius Jansen (1585–1638), the Bishop of Ypres. In 1640 a book written by him about the Augustine teaching of grace was published posthumously [JANSEN 1640], in which Jansen, drawing on the church fathers, taught that man has no influence of his own on his redemption, but instead is entirely dependent on the divine will of grace. For Jansenism the basic sinfulness of the human is the decisive criterion; man is always characterised by his weakness and dependence on God [BENDEL 2007: 152f.].

For Jansenists, nothing was more urgent than the desire to put God in a gracious disposition. Preachers, as experts in religious knowledge, therefore had a double function from the beginning in Jansenism, as they themselves were susceptible to sin, and thereby shortened the communicative distance between man and God, even making direct contact with the intangible, transcendent power superfluous. At the same time, however, they could also intercede for the individual sinner [SCHUCHART 1972].

This strong argumentation with the need for grace, which presumably developed through the constant confrontation with Reformational counterparts, did not mean a retreat into the world, but an organisation within the world. Eloquence, as it was maintained above all by the Jesuits, drawing on rhetoric from antiquity, was now seen as a sign of human weakness, even as a gateway for the sin of pride [SAUGNIEUX 1976: 1–6]. In the sense of the moral rigour [HERSCHE 1977] propagated instead in the collections of sermons, the idea was to take into consideration almost every situation in life and to have the appropriate, relevant sermon for each situation. Emphasising the early church, and with the necessity of regular confession, listening to the sermons was not under any circumstances to become a mechanical act, but instead believers were to accept God's will with a pure, humble, and eager heart. One example showing how such an ascetic attitude could be expressed in sermons is also to be found in Kayerstuell's *The Washing of Sheep*, which oscillates between Confessionalised and Jansenian piety:

... Jesus Christ bore everything with patience and longsuffering, with which virtue he gave you, my Christian, a hearty example—if your enemy or someone else attacks your honour, you should not hate him, persecute him, disgrace him, mock him, nor [should you] seek revenge on such people, nor bear a grudge, nor make them your enemy or slander them. No, but according to the example of Christ, you should with patience and mildness pass on your suffering to God, complain of it to him and speak to him of it. You are allowed to protect your honour, which people are trying to take from you, but without anger and without revenge. Just as the man of God's heart, David, did [. . .]. Also learn yourself, according to the example of the gentle David, to suffer patiently, yes, according to the glorious example of Christ, when persecuted learn to pray for your enemies. In this way, everything will turn towards your current and eternal honour and glory [KAYSER-STUELL 1723: 434].

In this radical, conscious, earnest listening there is already common ground with the impending Enlightenment, and in the ideal of a priest as a shepherd who tirelessly works for his sheep we see common features with the Confessionalised sermon. Jansenists—above all the followers in their centre, the Port Royal des Champs monastery close to Versailles—however, consisted primarily of educated members of the French upper classes, which again forms a contrast with the Enlightenment. The image of humans held together by the Enlightenment was directed towards education of the people, and was characterised by postulates of equality. In contrast to this, Jansenism, despite all of its orientation towards the “common man,” was ultimately based on a theory of election [HERSCHE 1977: 372; 393].

#### IV. Sermons of the Enlightenment Period

Those theologians who had committed themselves to Enlightenment patterns of thought criticised piety practices of the period of Confessionalisation and tried to attain a new theology and liturgical practice in the realm of the church. The Catholic Enlightenment, which according to Klueting is to be periodised approximately from 1740 up to the Secularisation of 1803 [KLUETING 1993], spoke to the believers of an intellectual foundation for faith, and hence set new dimensions to the religious living environment. Enlightened Catholicism had its expression in a return to consideration of the Holy Scripture and the church fathers, instead of dogmatics and casuistry; liturgically, in the place of the Baroque staging of the mass, there was a rejection of such “enchantment of the world,” which only promoted superstition [NEUVILLE 1787: 439]. Instead, the sermon was to be used for instruction and edification, and the overall target was a penetration of the Catholic faith according to reason, in the sense of the improvement of the heart. The happiness of humans, in this world and the next, could be named as a goal. “What was meant by this was a state in which the different parts of the

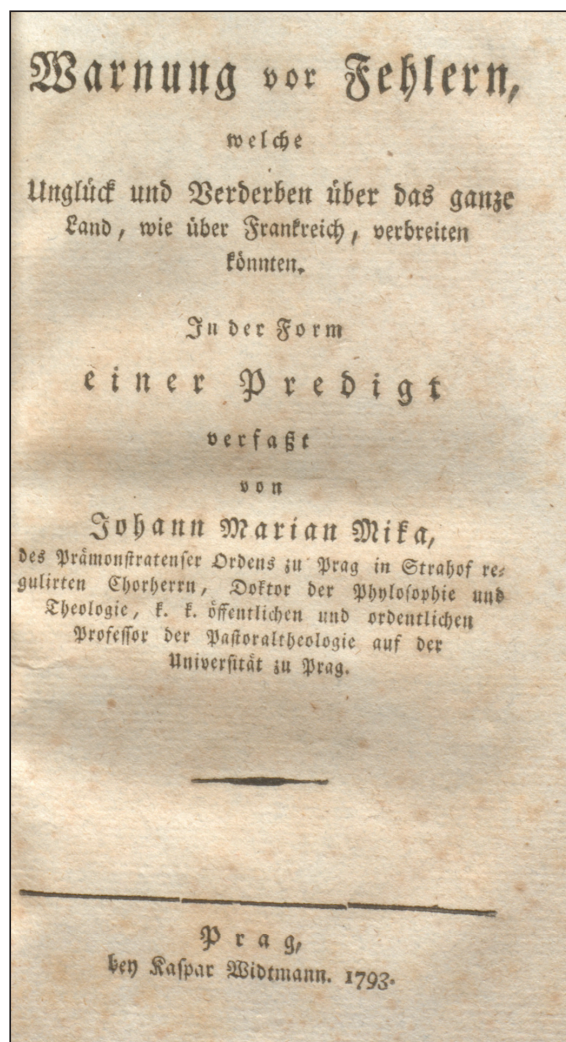
Enlightened Catholic understanding of the body and the soul were harmonious with each other to such a high degree that in people's inner worlds a happy emotional state was already possible" [HANDSCHUH 2014: 216].

The focus of my remarks in the final few pages will be a sermon by the Prague pastoral theologian Marian Mika. In 1793 Mika published a sermon with the title *Warning Against Errors which could Spread Catastrophes and Destruction across the Whole Country, as in France* [MIKA 1793]. From its outward appearance alone, the change is noticeable from the large, weighty collection of postils of Albert Melchior or Tiberio von Kayserstuell to the sermon of Mika, which has been kept simpler and refers to a specific event. The question of Mika's topic is quickly answered: the turmoils of the French Revolution, which were seen as arising from a deification of philosophy and which threatened to spread over to European countries outside of France, for him were nothing other than signs of a "disordered" mode of life: the individual is dissatisfied with his societal status and rebels against authority. The background for him is apparently the letter to the Romans (Rom 13:1–7) in which Paul recommends a clear subordination of Christians under worldly rulers, as the latter, and societal order in general, is divinely ordained and hence unchangeable. Mika wishes to describe to his "reasonable" readers the depraved behaviour of the revolutionaries in popular, generally comprehensible language, not in the tone of a bitter reprimand, but with a mild depiction of the French, carried by love of his neighbour, and to compare it with biblically legitimised faithfulness to the monarchy. As an ideal state form, as is made sufficiently clear in his sermon, Mika envisaged absolutist monarchism propagated with Josephinism arranged by the state church. His sermon is decidedly not directed towards the general public, which, through a precise description of the revolutionary vices, would presumably only be encouraged to imitate such vices.

The desire for maintenance of the internal order of society corresponds, in Mika's work, in a particular manner with the external arrangement of his sermon, which he understands as quite pragmatic, simple moral instruction. Baroque allegorical interpretations, additive construction principles, and fanciful, imaginative communication between the ingenious preacher and the excited audience [BREUER 1997] are no longer Mika's concern. He describes the "external arrangement" of his sermon itself as "systematic," as pastoral experience taught that only a regularly arranged sermon led to success. There followed—similarly to a rhetorical *dispositio*—the "skeleton of the whole sermon," which, together with the preamble, takes up 22 of a total of 150 pages of the whole presentation and is structured up to the ninth (!) level (RomanIII. LargeA.Arabic3.Delta.Arabic3.d.Beta.c.Arabic1). In the sermon itself, a precise system of footnotes is included, further reinforcing the impression of a scientific order. If one takes a look at the *Tabellarischen Grundriß der in deutscher*



Johann Marian Mika, *Warnung vor Fehlern, welche Unglück und Verderben über das ganze Land, wie über Frankreich, verbreiten könnten* [Warning against errors which could spread catastrophes and destruction across the whole country, as in France], Prague, 1793, Shelfmark: 041/1 AÖ 4380.



Title Page

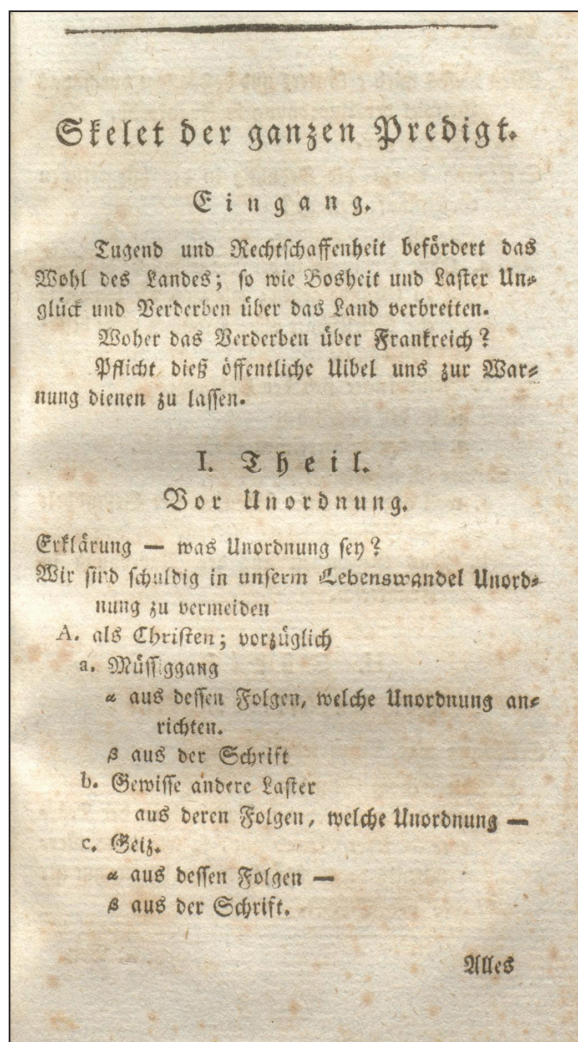


Table of Contents

*Sprache vorzutragender Pastoraltheologie* (Tabular overview of pastoral theology to be presented in the German language) by Franz Stephan Rautenstrauch (1777) [ZOTTL, SCHNEIDER 1987: 27–34], which circulated widely at the end of the 18th century, it becomes clear where Mika apparently gained the idea for such a finely sculptured structure.

As should be apparent from the preceding remarks, preachers such as Mika no longer saw themselves as being subject to the Tridentine ideal of the *pastor bonus*. Instead they understood themselves as interpreters [KRAUSE 1965: 36] with the responsibility of “enlightening” central truths of the faith virtually

casuistically [BAUMGARTL 2004: 54]. As becomes apparent here, the Enlightenment in Catholic Germany, perhaps unlike Protestantism, was generated not as an academic theology, but as a pastoral reform movement which was genuinely directed towards mediation—an enlightenment of the people in the truest sense of the word, the ideas of which were to reach as many people as practically possible. In this way, preachers and liturgists of the time understood themselves as disseminators who passed on their expert knowledge to the church and who trained themselves continuously. They communicated with each other across an extended journalistic landscape and the so-called pastoral conferences [KRANEMANN 2016A: 377]. It is not by chance that the beginnings of an independent theological discipline called liturgics lie in the Enlightenment [IBID.: 367]. As binding principles of the liturgy and the sermon were their accordance with scripture, their inerrancy, and the appropriateness towards the divine dignity: the whole human was to be offered to God [IBID.: 374]. What was of decisive importance was that now the people—not only the celebrating priest—understood the service and its pastoral situation, its “Sitz im Leben.” The dialogue of the sermon was here no longer a fictitious one understood as a parlour game, as in the times of Confessionalisation. Sermons were no longer intended to impress the listeners with an all-too-sensuous emotion-grabbing which sometimes even contradicted reason, but rather, in the simple style of the apostles, were to proclaim the word of the scriptures—no more, but also no less [BÜTTNER 1998: 168].

The pastor, as an expert in the conveying of enlightened theology, was to allow himself to be led by pastoral cleverness and not to bring about any escalations in conflict by insensitively condemning Baroque forms of piety. Instead, a gradual, communicatively mediated work of persuasion was to be carried out with respect to this. What was intended was a gradual transition of the old Confessionalised into the new Enlightened Catholic piety [HANDSCHUH 2011: 158]. Most preachers between 1650 and 1800 were therefore not agents in the sense of an implementation of religious norms from “above” to “below,” but relatively conciliatory mediators between the laypeople and the sacred [THIESSEN 2012: 447].

## V. A Comparison with Russian Orthodox Sermons

In the comparison between the German-language Catholic and Russian Orthodox history of sermons in the early modern era, startling similarities can be found, even if they are asynchronous to some extent. Since other articles within this issue of the journal are devoted to dealing with the sermon in a Russian Orthodox context, the following section is accordingly restricted to a few remarks, which admittedly are from the perspective of a Catholic church historian. While the Peace of Westphalia of 1648 heralded the end for the time being of the wars of religion in Europe, and the German empire was divided up along confessional lines, at the same time in Russia there was a religious



vacuum. The arising of an absolute monarchy and the definitive establishment of serfdom, as well as the form of liturgy introduced in 1652 by the patriarch of the time, Nikon, which ended in a division of the Orthodox Church in 1666, demanded new reflection on “how to preserve a virtuous life in the face of the moral temptations of court life and great wealth, the temptations of avarice and pride” [BUSHKOVITCH 1992: 175]. A form of religiosity designed to answer these questions, and which now entailed more than mere liturgy, spread out following the top-down model, from the elite of society to the social classes outside of the court culture. A key role was played here by the Zealots of Piety, who were very close to Tsar Alexei I (1629–1676), and who had existed since the 1630s. Via the confessor of the tsar, Stefan Vonifatiyev, this group was able to exercise direct influence on church politics—all the more so after Alexei had fallen out with Nikon. Their demand for a rebirth of the “genuine” Orthodox faith allowed them to become the true power within the Russian Orthodox Church. “In the course of the century, with the decline of monasticism and the increasing restrictions on the popular miracle cults, preaching seemed to be stepping in to provide the needed religious guidance” [BUSHKOVITCH 1992: 175]. The contents of the sermon were now aligned above all towards morality and virtue. Parallel influences, for instance from the Ukrainian Baroque with its metaphorical expressions, its syllogisms, and so forth were not at all able to change this didactic impulse. Among other things, in close combination with the state, people turned with care towards the poor—long before Catholic sermons in the Enlightenment period were to declare this one of their dominant concerns. With this virtuous turn, the great topic of the European Enlightenment, the way was cleared for the reforms of Peter the Great (1672–1725).

As Igor Smolitsch displayed in his voluminous two-tome *Geschichte der russischen Kirche 1700–1917* [History of the Russian church, 1700–1917] [SMOLITSCH 1964; IDEM 1991], it was above all the Holy Synod, which was set up under Peter I in 1721 according to the German Lutheran example, that brought about a comprehensive clerical reform and which attached great value to the sermon, which, however, was oriented along the lines of state politics. Here there are unmistakable similarities with the Council of Trent and its significance for the Roman Catholic area. The reign of Catherine II (1729–1796) further constructed enlightened absolutism and promoted Latin humanism [OKENFUSS 1995]. “Sermons on Education” or “on the Usefulness of Learning,” as held for instance by Metropolitan Platon (1737–1812), were the logical consequence. His way of reading the Bible readily matched that of the Catholic Enlightenment: “the meaning of the biblical text, including opaque passages, should be clearly explained [. . .] apparent contradictions should be reconciled by comparing parallel passages. [. . .] Platon stresses the importance of extracting moral lessons from study of the Bible” [KIMERLING WIRTSCHAFTER 2013: 18f.].

However, the Russian “flirtation” with enlightened ideals proved not to be very long-lasting [OKENFUSS 1995: 234]. The laws decreed by Peter the Great, primarily against the Old Believers, hollowed out the societal position of the Russian Orthodox Church [FREEZE 1977], so that a new generation of preachers made a break with the hitherto close relationship with the state. A new preaching style was crystallised, one which was no longer top-down but bottom-up, and which, apart from a few exceptions, came from the married, i.e., secular, clergy. Studies on representative Russian Orthodox preachers in the second half of the 19th century, such as Bishop Theophan the Recluse (1815–1894), Archbishop Ambrose (Kliucharev; 1820–1901), and Archpriest John Sergiyev of Kronstadt (1829–1908), show that they loaded their texts with a combination of spiritual teaching, apologetics, and mystagogy [FELMY 1972]. In particular, Theophan’s interpretation of the preacher as a spiritual father (in Russian, *pastyr' dobryj*) is similar to the Tridentine ideal of the *pastor bonus*. However, there is one significant difference: Theophan is not concerned with incorporating his observations of social reality or the everyday experiences of his audience. Instead, in his sermons, the state of people’s souls, the virtuous feelings of the religiously directed soul, appear to be the foundation and the point of departure. The soul is surrounded by the unalterable nature (according to Theophan) of the Orthodox faith, which resists all contemporary currents.

## VI. Conclusion: Different Arrangements of Religious Knowledge

With the Council of Trent, Catholicism defined itself for the first time as a confession with distinct identifying features. In order not only to create but also to maintain such a Catholic Confessionalised identity, it was, however, necessary to react to contemporary settings and currents as well as to fixed points of reference, such as those represented by the decrees of Trent. At the same time, the decrees of the Council itself, and their reception, must not be limited to an anti-Protestant emphasis, but instead the church assembly’s potential for reform, in particular reform of concrete pastoral care, must be acknowledged. This much is not disputed. This role of Trent can also be confirmed for this article on Catholic sermons: the Council was a pastoral reinforcement insofar as, on the basis of the very brief decree “super lectione et praedicatione,” it stimulated reflection about what constituted a good sermon. The stipulations themselves remained imprecise: first, a sermon was to be preached using an easily understandable, brief manner of speaking, and second, it was to have a teaching and warning character. Put more clearly, this meant that vices were to be avoided and that virtues were to be striven after.

However clearly Trent distanced itself from the doctrines of the Reformers, the reform decree relating to the sermon can be read in an open manner. For all of the preachers analysed here could subscribe to the attributes mentioned

above. What is more, the latitude provided by Trent was so great that, based on it, individual ideals of a “good” sermon could be constructed. In the same way that the liturgical reform after Trent did not generate “the” unitary celebration of the mass (contrary to a long-established assumption in liturgical research), in the sermon there was also a distance between Tridentine stipulations and the latitude available *in situ* [KRANEMANN 2016B]. With respect to liturgy, Trent had determined the words and the actions, but had left great flexibility and variability in the setting [STRINGER 2005]. Instead of a uniform top-down reception, a co-existence of highly varied receptions of the Council’s regulations can be assumed. The Council Fathers were concerned first of all with removing shortcomings in pastoral care. The boundaries of what could be said from the pulpit were clearly regulated insofar as any action against Catholic tradition could endanger the proper veneration of God and, hence, the attainment of grace: “They reformed, according to their own self-understanding, not according to the criteria of time, but according to the authoritative tradition, without specifying clearly which tradition was meant in individual cases” [KRANEMANN 2016B: 314].

The hermeneutics of the Council, which were developed up to the 18th century, and the associated practices of piety are generally grouped under the terms “Baroque” and “Enlightenment.” However, this article has been able to show that alongside Baroque and Enlightened piety, there were also Jansenian influences, something that has scarcely been appreciated in research to date. If one follows the innovative concept of the Tübingen church historian Andreas Holzem, even the concept of Confessionalisation is to be understood very widely, and is applicable in various shades and nuances from 1550 to 1850. The Catholic Enlightenment would then, for instance, be a form of Confessionalisation, in which specific needs of the Catholicism of the time were fulfilled [HOLZEM 2015: 12–32]. Drawing such a long line unmistakably has a price: if one decides in favour of such continuity, then such apparent differences as the definition of the Enlightenment as the “Anti-Baroque” [HERSCHE 2006: 960] and the transformation of the Catholic culture of piety from the (figuratively speaking) Baroque shrine to Jansenian Bible reading would be declared to be mere superficial processes. With such an assumption of continuity religious knowledge was only arranged differently, but what took place over the space of 300 years was the constant battle for the formation of religiously constituted groups. The two archives of knowledge, Confessionalisation and Enlightenment, are not separated by a hiatus, but rather are characterised by a pastorally motivated, flowing and gradual transition. Hence one could speak of the development and manifestation of a particular Catholic “Confessional culture.” The concept, on the one hand, includes the normative stipulations of the Council of Trent, but, on the other hand, equally emphasises the contextual and ephemeral nature of contemporary Catholicism [WASSILOWSKY 2016: 28].

At the same time, the preachers and the listening audience do not seem to have seen a complex of variously coded elements of Catholic Confessional culture as constituting a contradiction: the pastoral strategies of Catholics of the years from 1650 to 1800 seem precisely not to have been characterised by wave-like movement, with respective specific extensions on the ritual/sensual or rational/iconoclastic levels, as described by Peter Hersche [HERSCHE 2016: 499–503]. Instead, for the Catholic Confessional culture or society, between the Baroque and the Enlightenment there is a confirmation of the differentiation between a distinct profile, as determined by Trent, and its soft formulation [WASSILOWSKY 2016: 28]. For this reason, it is impossible to make too stark a contrast between time periods, as is encountered in many encyclopaedia entries on Catholic sermons: confusion is caused by differentiating between a Confessionalised sermon, on the one hand, and an Enlightened sermon, on the other hand, as well by using terms such as “no longer” or “not yet.” Clearly, contemporaries were well able to tolerate the plurality of cultures of piety, and did not see them as being agonistic to each other. Instead, a normalising and stabilising force was gained through pastoral plausibility: anything was retained which successfully led to a particular behaviour as a result of hearing (or reading) the sermon. This success was proved if a spiritual implementation of the contents preached took place in education and ways of life, and hence validity was ascribed to the listeners for inward and outward practice of belief [HOLZEM 2015: 342]. In other words, it was a question of how the new regulations established or the old regulations reiterated by the Council of Trent were acted out *in situ*. Religious knowledge is formed in a critical discourse and must be kept plausible. It is precisely at this point that the sermon connects normative tradition with societal dynamics. Preaching is a process of carrying out this permanently necessary transformation within a constant process of transfer. Religious knowledge in the sermon is constantly transformed, and the world must constantly be reordered in its current situation through faith. The composing of a sermon involves a kind of “trial and error” procedure, but not a conscious decision to detach the Confessionalised stock of knowledge from the Enlightened stock, or even to create a hiatus to create a hard line of demarcation. Rather, a particular kind of thought dominates little by little—the years between 1650 and 1800 on the Catholic side were a period of transition, similar to the slow formation of confessional landscapes which has been described for the Reformation period. The sermon culture within German Protestantism can be described as being at least as varied, something which can only be indicated briefly within this article. However, in order to discover dynamic trends in Protestant sermons which are not tied to periodisation schemes, it would be necessary to widen the temporal perspective further, beyond the Reformation period to the periods normally described as Orthodoxy, Pietism, and Enlightenment.

Let us extend our perspective once again: interestingly, in this juxtaposition of different preaching styles, parallels can be drawn with the Russian Orthodox history of sermons. With a certain amount of asynchrony, which has to do with the differing political conditions in the two realms, similar ideals expressed by preachers can nonetheless be observed: the figure of the spiritual father, for instance as embodied by Theophan the Recluse, is similar in many ways to the *pastor bonus* of the Council of Trent. Conversely, in the 17th century in Russia the Zealots of Piety were already propagating an idea of preaching which, in its close dependency on the state as well as its emphasis on morality, social care, and virtue, is reminiscent of the European Enlightenment of the 18th century. This article therefore also aims to be a plea to take greater consideration of transnational perspectives in historical sermon research.

## Bibliography

### Primary Sources

#### CONCILIUM TRIDENTINUM 2002

CONCILIUM TRIDENTINUM, "Decretum secundum: super lectione et praedicatione," in: J. WOHLMUTH, Hrsg., *Dekrete der Ökumenischen Konzilien, 3: Konzilien der Neuzeit. Konzil von Trient (1545–1563), Erstes Vatikanisches Konzil (1869/70), Zweites Vatikanisches Konzil (1962–1965)*, Paderborn, München, Wien, Zürich, 2002, 667–670.

#### JANSEN 1640

JANSEN C., *Augustinus, sive doctrina Sti. Augustini de humanae naturae sanitate, aegritudine, medicina adversus pelagianos et massilienses*, 1–3, Löwen, 1640.

#### KAYSERSTUELL 1723

VON KAYSERSTUELL T., *Heilreiche Teuch Zur Geistlichen Schaafschwemme*, Kempten, 1723.

#### MELCHIOR 1722

MELCHIOR A., *Einfaches Bauren-Concept, Das ist: Kurtze und Einfältige Predigen, Auff jeden Sonntag und Feyertag mit einer Predig ausgetheilt*, Würzburg, 1722.

#### MIKA 1793

MIKA J. M., *Warnung vor Fehlern, welche Unglück und Verderben über das ganze Land, wie über Frankreich, verbreiten könnten*, Prag, 1793.

#### NEUVILLE 1787

NEUVILLE, "Vom ehrerbietigen Verhalten in den Gotteshäusern," in: G. WEDEL, Hrsg., *Sammlung auserlesener Kanzelreden auf alle Sonn- und Festtage der christkatholischen Kirche aus den Werken der besten deutschen und französischen Redner gezogen*, Bamberg, Würzburg, 1787, 404–461.

## References

#### ANGENENDT 1994

ANGENENDT A., *Heilige und Reliquien. Die Geschichte ihres Kultes vom frühen Christentum bis in die Gegenwart*, München, 1994.

#### BAUMGARTL 2004

BAUMGARTL E., *Martin Knoller 1725–1804. Malerei zwischen Spätbarock und Klassizismus in Österreich, Italien und Süddeutschland*, München, Berlin, 2004.



BENDEL 2007

BENDEL R., "Jansenistische Gebetbücher," in: M. PAMMER, Hrsg., *Handbuch der Religionsgeschichte im deutschsprachigen Raum*, 5: 1750–1900, Paderborn, 2007, 152–153.

BERNS 2000

BERNS J. J., *Film vor dem Film. Bewegende und bewegliche Bilder als Mittel der Imaginationssteuerung in Mittelalter und Früher Neuzeit*, Marburg, 2000.

BITTER 1997

BITTER G. (unter Mitarbeit von M. SPLONKOWSKI), "VII. Katholische Predigt der Neuzeit—2.4 Emblematische Predigt (sog. Barockpredigt)," *Theologische Realenzyklopädie*, 27, 1997, 262–296.

BREUER 1997

BREUER D., "Der Prediger und die Macht der Phantasie. Besonderheiten der Barockpredigt," *Rottenburger Jahrbuch für Kirchengeschichte*, 16, 1997, 61–70.

BUSHKOVITCH 1992

BUSHKOVITCH P., *Religion and Society in Russia. The Sixteenth and Seventeenth Centuries*, Oxford, 1992.

BÜTTNER 1998

BÜTTNER F., "Abschied von Pracht und Rhetorik. Überlegungen zu den geistesgeschichtlichen Voraussetzungen des Stilwandels in der Sakraldekoration des ausgehenden 18. Jahrhunderts in Süddeutschland," in: A. TACKE, Hrsg., *Herbst des Barock. Begleitbuch zu den Ausstellungen im Museum der Stadt Füssen (Deutschland) 10. Juli bis 25. Oktober 1998 und im Museum in der Burg Zug (Schweiz) 15. November 1998 bis 28. Februar 1999*, Berlin, 1998, 165–173.

CHARTIER 1990

CHARTIER R., *Lesewelten. Buch und Lektüre in der Frühen Neuzeit. Aus dem Französischen von Britta Schleinitz und Ruthard Stäblein*, Frankfurt a. M., 1990.

DELUMEAU 1990

DELUMEAU J., *Sin and Fear: The Emergence of the Western Guilt Culture, 13th–18th Centuries*, E. NICHOLSON, transl., New York, 1990.

EYBL 1982

EYBL F. M., *Gebrauchsfunktionen barocker Predigtliteratur. Studien zur katholischen Predigtsammlung am Beispiel lateinischer und deutscher Übersetzungen des Pierre de Besse* (= Wiener Arbeiten zur Deutschen Literatur, 10), Wien, 1982.

FELMY 1972

FELMY K. C., *Predigt im orthodoxen Russland. Untersuchungen zu Inhalt und Eigenart der russischen Predigt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts* (= Kirche im Osten, 11), Göttingen, 1972.

FISCHER 1952

FISCHER B., "Predigtgrundsätze des heiligen Karl Borromäus," *Trierer Theologische Zeitschrift*, 61, 1952, 213–221.

FREEZE 1977

FREEZE G. L., *The Russian Levites. Parish Clergy in the Eighteenth Century*, Harvard, 1977.

HANDSCHUH 2011

HANDSCHUH C., "'Musterbilder für den Kirchengebrauch.' Katholische Aufklärung, Kunst und Kunstgebrauch," *Rottenburger Jahrbuch für Kirchengeschichte*, 30, 2011, 141–159.

——— 2014

HANDSCHUH C., *Die wahre Aufklärung durch Jesum Christum. Religiöse Welt- und Gegenwartskonstruktion in der Katholischen Spätaufklärung* (= Contubernium, 81), Stuttgart, 2014.

HAWEL 1987

HAWEL P., *Der spätbarocke Kirchenbau und seine theologische Bedeutung. Ein Beitrag zur Ikonologie der christlichen Sakralarchitektur*, Würzburg, 1987.

HERSCHE 1977

HERSCHE P., *Der Spätjansenismus in Österreich* (= Österreichische Akademie der Wissenschaften. Veröffentlichungen der Kommission für Geschichte Österreichs, 7), Wien, 1977.

——— 2006

HERSCHE P., *Muße und Verschwendung. Europäische Gesellschaft und Kultur im Barockzeitalter*, 1–2, Freiburg i. Br., 2006.

——— 2016

HERSCHE P., REINHARD W., “Wie modern ist der Barockkatholizismus? Oder: Wie barock ist der moderne Katholizismus?” in: P. WALTER, G. WASSILOWSKY, Hrsg., *Das Konzil von Trient und die katholische Konfessionskultur (1563–2013). Wissenschaftliches Symposium aus Anlass des 450. Jahrestages des Abschlusses des Konzils von Trient, Freiburg i. Br. 18.–21. September 2013* (= Reformationgeschichte Studien und Texte, 163), Münster, 2016, 489–518.

HOLZEM 2004

HOLZEM A., “Das Buch als Gegenstand und Quelle der Andacht. Beispiele literarischer Religiosität in Westfalen 1600–1800,” in: IDEM, Hrsg., *Normieren – Tradieren – Inszenieren. Das Christentum als Buchreligion*, Darmstadt, 2004, 225–262.

——— 2015

HOLZEM A., *Christentum in Deutschland 1550–1850. Konfessionalisierung – Aufklärung – Pluralisierung*, 1–2, Paderborn, 2015.

ILG 2007

ILG M., “Die Kapuziner,” in: F. JÜRGENSMEIER, R. E. SCHWERDTFEGGER, Hrsg., *Orden und Klöster im Zeitalter von Reformation und katholischer Reform 1500–1700*, 3 (= Katholisches Leben und Kirchenreform im Zeitalter der Glaubensspaltung, 67), Münster, 2007, 215–237.

KEPPLER 1892

VON KEPPLER P. W., “Zur Entwicklungsgeschichte der Predigtanlage,” *Theologische Quartalsschrift*, 74, 1892, 52–120.

KIMERLING WIRTSCHAFTER 2013

KIMERLING WIRTSCHAFTER E., *Religion and Enlightenment in Catherinian Russia. The Teachings of Metropolitan Platon*, DeKalb, 2013.

KLUETING 1993

KLUETING H., “‘Der Genius der Zeit hat sie unbrauchbar gemacht.’ Zum Thema Katholische Aufklärung – Oder: Aufklärung und Katholizismus im Deutschland des 18. Jahrhunderts. Eine Einleitung,” in: H. KLUETING, N. HINSKE, K. HENGST, Hrsg., *Katholische Aufklärung – Aufklärung im katholischen Deutschland* (= Studien zum 18. Jahrhundert, 15), Hamburg, 1993, 1–35.

KRANEMANN 2013

KRANEMANN B., “Klang-Raum Barock – Die Spiritualität. Frömmigkeit mit Sitz im Leben – Katholische Spiritualität der Barockzeit,” *Musica Sacra*, 133, 2013, 234.

——— 2016A

KRANEMANN B., “Die Liturgie der Aufklärung zwischen Verehrung Gottes und sittlicher Besserung des Menschen,” in: S. PATZOLD, F. BOCK, Hrsg., *Gott handhaben. Religiöses Wissen im Konflikt um Mythisierung und Rationalisierung*, Berlin, 2016, 365–385.

——— 2016B

KRANEMANN B., “Liturgiereform nach Trient. Dynamiken eines Erneuerungsprozesses,” in: P. WALTER, G. WASSILOWSKY, Hrsg., *Das Konzil von Trient und die katholische Konfessionskultur (1563–2013). Wissenschaftliches Symposium aus Anlass des 450. Jahrestages des Abschlusses des Konzils von Trient, Freiburg i. Br. 18.–21. September 2013* (= Reformationgeschichte Studien und Texte, 163), Münster, 2016, 303–333.

## KRAUSE 1965

KRAUSE R., *Die Predigt der späten deutschen Aufklärung (1770–1805)* (= Arbeiten zur Theologie II. Reihe, 5), Stuttgart, 1965.

## LENTES 2002

LENTES T., "Inneres Auge, äußerer Blick und heilige Schau," in: K. SCHREINER, Hrsg., *Frömmigkeit im Mittelalter. Politisch-soziale Kontexte, visuelle Praxis, körperliche Ausdrucksformen*, München, 2002, 179–220.

## LITTGER 2000

LITTGER K. W., "Die Übernahme der Zentralbibliothek der Bayerischen Kapuziner in Altötting durch die Universitätsbibliothek Eichstätt," *Jahrbuch für Kirchliches Buch- und Bibliothekswesen*, 1, 2000, 133–140.

## ——— 2003

LITTGER K. W., "Die Zentralbibliothek der Bayerischen Kapuziner in der Universitätsbibliothek Eichstätt," in: H. HOLZBAUER, Hrsg., *Ausstellungen in der Universitätsbibliothek Eichstätt-Ingolstadt. Vorträge bei Ausstellungseröffnungen* (= Schriften der Universitätsbibliothek Eichstätt, 52), Wiesbaden, 2003, 71–90.

## MICHELSON 2013

MICHELSON E., *The Pulpit and the Press in Reformation Italy*, Cambridge (MA), London, 2013.

## MOSER-RATH 1991

MOSER-RATH E., *Dem Kirchenvolk die Leviten gelesen. Alltag im Spiegel süddeutscher Barockpredigten*, Stuttgart, 1991.

## O'MALLEY 1995

O'MALLEY J. W., *Die ersten Jesuiten*, K. MERTES, Übers., Würzburg, 1995.

## OKENFUSS 1995

OKENFUSS M. J., *The Rise and Fall of Latin Humanism in Early-Modern Russia. Pagan Authors, Ukrainians, and the Resiliency of Muscovy* (= Brill's Studies in Intellectual History, 64), Leiden, New York, Köln, 1995.

## PFISTER 2002

PFISTER U., "Geschlossene Tabernakel – saubere Paramente: Katholische Reform und ländliche Glaubenspraxis in Graubünden, 17. und 18. Jahrhundert," in: N. HAAG, S. HOLTZ, W. ZIMMERMANN, D. R. BAUER, Hrsg., *Ländliche Frömmigkeit. Konfessionskulturen und Lebenswelten 1500–1850. Hans-Christoph Rublack zum 70. Geburtstag*, Stuttgart, 2002, 115–141.

## SAUGNIEUX 1976

SAUGNIEUX J., *Les jansénistes et la renouveau de la prédication dans l'Espagne de la seconde moitié du XVIIIe siècle*, Lyon, 1976.

## SCHNEYER 1968

SCHNEYER J. B., *Geschichte der katholischen Predigt*, Freiburg i. Br., 1968.

## SCHUCHART 1972

SCHUCHART A., *Der "Pastor bonus" des Johannes Opstraet. Zur Geschichte eines pastoraltheologischen Werkes aus der Geisteswelt des Jansenismus* (= Trierer Theologische Studien, 26), Trier, 1972.

## SEMSCH 2005

SEMSCH K., "Produktionsästhetik," in: *Historisches Wörterbuch der Rhetorik*, 7, 2005, 140–154.

## SMOLITSCH 1964

SMOLITSCH I., *Geschichte der russischen Kirche 1700–1917*, 1 (= Studien zur Geschichte Osteuropas, 9), Leiden, 1964.

## ——— 1991

SMOLITSCH I., *Geschichte der russischen Kirche*, 2, G. L. FREEZE, Hrsg. (= Forschungen zur osteuropäischen Geschichte, 45), Berlin, 1991.

STINGEDER 1920

STINGEDER F., *Geschichte der Schriftpredigt. Ein Beitrag zur Geschichte der Predigt*, Paderborn, 1920.

STRINGER 2005

STRINGER M. D., *A Sociological History of Christian Worship*, Cambridge, 2005.

THIESSEN 2002

VON THIESSEN H., *Die Kapuziner zwischen Konfessionalisierung und Alltagskultur. Vergleichende Fallstudie am Beispiel Freiburgs und Hildesheims 1599–1750* (= Rombach Wissenschaften. Reihe Historiae, 13), Freiburg i. Br., 2002.

——— 2012

VON THIESSEN H., "Intendierte Randständigkeit und die 'Macht der Schwachen.' Zur Wahrnehmung des erneuerten Armutsideals der Kapuziner in der Gesellschaft der Frühen Neuzeit," in: H.-D. HEIMANN, A. HILSEBEIN, B. SCHMIES, C. STIEGEMANN, Hrsg., *Gelobte Armut. Armutskonzepte der franziskanischen Ordensfamilie zwischen Ideal und Wirklichkeit vom Mittelalter bis in die Gegenwart*, Paderborn, 2012, 423–447.

WASSILOWSKY 2016

WASSILOWSKY G., "Das Konzil von Trient und die katholische Konfessionskultur," in: P. WALTER, G. WASSILOWSKY, Hrsg., *Das Konzil von Trient und die katholische Konfessionskultur (1563–1613). Wissenschaftliches Symposium aus Anlass des 450. Jahrestages des Abschlusses des Konzils von Trient, Freiburg i.Br. 18.–21. September 2013* (= Reformationgeschichte Studien und Texte, 163), Münster, 2016, 1–29.

WELZIG 1981

WELZIG W., Hrsg., *Predigt und soziale Wirklichkeit. Beiträge zur Erforschung der Predigtliteratur* (= Daphnis – Zeitschrift für Mittlere Deutsche Sprache und Kultur der Frühen Neuzeit, 10,1), Amsterdam, 1981.

——— 1995

WELZIG W., KABAS H., WOYTECK R., Hrsg., *Predigten der Barockzeit. Texte und Kommentar* (= Österreichische Akademie der Wissenschaften Philosophisch-Historische Klasse, Sitzungsbericht, 626), Wien, 1995.

ZOTTL, SCHNEIDER 1987

ZOTTL A., SCHNEIDER W., Hrsg., *Wege der Pastoraltheologie. Texte einer Bewusstwerdung. 18. Jahrhundert: Grundlegung und Entfaltung*, Eichstätt, 1987.

## Acknowledgements

DFG-Project "Pastoral Strategies between Confessionalisation and Enlightenment"

**Dr. Florian Bock**

Universität Tübingen

Katholisch-Theologische Fakultät

Lehrstuhl für Mittlere und Neuere Kirchengeschichte

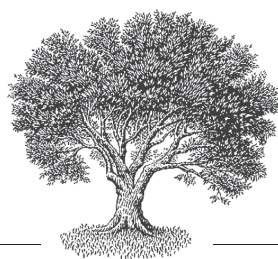
Liebermeisterstraße 12

72076 Tübingen

Deutschland/Germany

florian.bock@uni-tuebingen.de

Received January 25, 2017



# Preachers, Sermons, and State Authorities in late Baroque Dubrovnik\*

# Проповедники, проповеди и государственная власть в Дубровнике эпохи барокко

**Relja Seferović**

Croatian Academy of Sciences and  
Arts, Institute for Historical Sciences in  
Dubrovnik  
Dubrovnik, Republic of Croatia

**Реля Сеферович**

Институт исторических наук  
в Дубровнике Хорватской академии  
наук и искусств  
Дубровник, Республика Хорватия

## Abstract

In order to keep its traditional neutrality in foreign policy and to preserve inner stability after the disastrous earthquake of 1667, the state authorities of the Republic of Dubrovnik controlled the entire public life in this city-state, which was clamped between Ottoman and Venetian possessions on the coast of the south Adriatic. They managed to impose their will on archbishops of the local Church in various aspects of religious life, including the election of public preachers in the city cathedral. Treated as simple officials in service of the government, these clerics (mostly members of various religious orders who came from Italy) played their role according to their employers' desires, with only formal concern for their flock. However, sermons by their local counterparts, who preached mostly in smaller city churches, left a deeper mark in this highly conservative Catholic milieu. An analysis of their experiences and preserved

---

\* This paper was funded by the Croatian Science Foundation, as part of the project No. 5106 "Transformations of the Collective and Individual Identities in the Republic of Dubrovnik from the Late Middle Ages until the Nineteenth Century."



texts of their sermons offers a new perception of the political, social, linguistic, and even theological culture of late Baroque Dubrovnik, a city whose importance remained incomparable within the Slavonic world in the Mediterranean.

#### Keywords

Republic of Dubrovnik, Senate, Small Council, preachers, sermons, 18th century, archbishop, religious orders, cathedral

#### Резюме

После разрушительного землетрясения 1667 г. для сохранения внутренней стабильности и традиционного нейтралитета в международной политике органы государственной власти в Республике Дубровник контролировали всю общественную жизнь этого города-государства, зажато́го между Османской империей и венецианскими владениями на побережье южной Адриатики. Они смогли навязать свою волю архиепископам местной церкви в различных аспектах религиозной жизни, в том числе в выборе проповедников городского собора. Рассматриваемые просто как должностные лица на службе правительства, эти священники (в основном члены различных религиозных орденов родом из Италии) играли свою роль в соответствии с пожеланиями светских работодателей и только формально заботились о своей пастве. Напротив, проповеди их коллег, служивших преимущественно в небольших городских церквях, оставили куда больший след в своем глубоко консервативном католическом окружении. Анализ этих опытов и сохранившихся текстов проповедей демонстрируют нам новые способы понимания политической, социальной, языковой и даже богословской культуры позднебарочного Дубровника — города, чрезвычайно важного для всего славянского мира Средиземноморья.

#### Ключевые слова

Республика Дубровник, Сенат, Малый совет, проповедники, проповеди, XVIII век, архиепископ, религиозные ордены, собор

### The Public Manifestation of the Faith

Holy mass, solemn procession, and pious sermon: within the frame of these three typical public manifestations of the faith, the sermon offers the quickest approach to both the secular and the spiritual culture of a society with a strongly developed rhetorical culture, as was the case for the former Republic of Dubrovnik/Ragusa.<sup>1</sup> Lying on a narrow strip on the south-east Adriatic coast, deprived of natural resources,<sup>2</sup> at the very edge of the Roman civilized world (as it was usually perceived), on the brink of the Ottoman Empire, and in constant threat from the Venetian Republic (with its numerous attempts

<sup>1</sup> These bilingual forms of local names have remained in use almost until the present day.

<sup>2</sup> Traditionally, the settlers preferred to live on the coast working as seamen and merchants rather than cultivating the sterile surrounding land [CERVA 2008: 273].

to re-establish its rule over this territory)<sup>3</sup>—as a result of all these factors, diplomacy in Dubrovnik was an absolute necessity for survival. Their opponents regarded Ragusans as humble servants and even spies who cared only for their own well-being and who managed to turn every crisis to their benefit,<sup>4</sup> while, on the other hand, they tried to present themselves as gallant, devoted, and intrepid defenders of the Catholic Church across the Balkans. This is why rhetoric, in the form of secular speeches and ecclesiastical sermons, was such an important element in the public life of Dubrovnik, even in foreign and domestic policy. To approach this issue, a dedicated researcher may rely on the wealth of primary sources and commentaries, both in manuscripts and in published form.<sup>5</sup>

Religion played a very important role in the life of each individual; the Catholic faith was a part of the Ragusan identity.<sup>6</sup> This was obvious both in private and in public matters. As an 18th-century local observer remarked, “Ragusan folk, especially patricians, are so pious that every morning, when they leave their homes, they go to church first and only after that do they turn themselves to their business and other duties” [CERVA 2008: 527].<sup>7</sup> The public manifestations of the faith served also to extol the inner political principles and values of the ruling class. Thus it is justified to remark that:

. . . all these occasions served as opportunities to stress the values of the nobility and the Republic. These rituals encouraged particular political and social ideas, and ensured mediation between the elite and the populace. It was important to unite the entire community by means of ceremony, since it assigned everyone their own position in the hierarchy [JANEKOVIĆ-RÖMER 2015: 414].

<sup>3</sup> In 1205, “Dubrovnik had to accept Venetian supreme authority and in the course of [the] following 150 years remained the principal Venetian maritime base in the southern Adriatic area” [KREKIĆ 2007: 9]. Until the very end of the 18th century, the *Serenissima* never gave up its pretensions on Dubrovnik and its hinterlands.

<sup>4</sup> These rumors were especially spread by the Venetians, even going so far as to accuse Ragusans of treachery regarding their dealings with the Ottoman Turks [KUNČEVIĆ 2012: 35–36].

<sup>5</sup> Local historiography (with annals and biographical collections as predominant genres) was the most prolific source type in the Adriatic region, with the possible exception of Venetian historiography. In the absence of an appropriate monograph dedicated to this topic, an interested reader is advised to consult critical editions of various texts by Ragusan authors written in Latin or in Italian, mostly published by the Croatian Academy of Sciences and Arts.

<sup>6</sup> With the exception of Catholics, only Jews were allowed to spend the night within the city walls. Although the Hebrew community had firmly established itself in Dubrovnik since the early 16th century, until the end of the Republic, in 1808, only Catholics enjoyed its full citizenship. Occasional attempts by the state authorities to accept non-Catholics as their equals were looked upon with scorn by members of the clergy [CERVA 2008: 512–513; SEFEROVIĆ 2012A: 134–146].

<sup>7</sup> This is an echo of a thought by Philip de Diversis, a 15th-century Dubrovnik schoolmaster born in Tuscany, from his “Description of the Glorious City of Dubrovnik” [DE DIVERSIS 2004: 91, 174].

As one of the important means to preserve this hierarchy, preachers were carefully chosen, and they enjoyed various privileges in Dubrovnik, mercifully granted by the Senate, the supreme governing body in the state, which always kept them under close surveillance.

### How the Cathedral Preachers Were Elected

Among the various duties of the Small Council, the main executive power in the state, was the election of public preachers in the cathedral at the beginning of every year.<sup>8</sup> These preachers had to deliver sermons during the Advent and Lenten cycles before the Ragusan elite, because only patricians were permitted to follow the Divine service in the cathedral. The other city churches served for commoners and were in the hands of local preachers: the state authorities did not appoint them. According to the list of cathedral preachers from 1700 to 1800, the Small Council would usually engage the same preacher for Advent and Lent; only seldom were two separate preachers appointed.<sup>9</sup> Sometimes, in spite of meticulous preparation, it was necessary to improvise and find a suitable replacement, for example, when the invited preacher suddenly became unable to perform his duty, due to illness or other causes.<sup>10</sup>

This topic was often discussed during regular meetings of the Senate, especially concerning the remuneration of elected preachers, as well as different principles for their invitation, criteria that often changed over time, due to various interests of high political circles in the Republic. The government carefully observed how clerics behaved towards lay people in general; it independently chose and invited good preachers, demonstrating care that religious solemnities were always performed in the most successful way and that they completely fulfilled the spiritual needs of the people [SAMARDŽIĆ 1983: 211]. The state authorities often interfered directly in Church affairs, even deciding about the times of holy masses both in the cathedral and in the church of

---

<sup>8</sup> Although it was the main task of the Great Council, involving all Ragusan patricians, to elect the new dignitaries of the Republic at the beginning of every year, some duties were specifically under the purview of the Small Council, including the election of cathedral preachers.

<sup>9</sup> I have established this list on the basis of various primary sources from the State Archives of Dubrovnik, especially from the conclusions by the Senate (*Acta Consilii Rogatorum*) and the Small Council of the Republic of Dubrovnik (*Acta Consilii Minoris*) [SEFEROVIĆ 2008: 117–119].

<sup>10</sup> Augustinian friar Vincenzo Tei, in his letter in June 1796, informed the Ragusan Senate of his inability to come and preach because of a sciatica attack, causing him intolerable pain; in another instance, Dominican friar Vito Antonio Cavalloni, in 1774, changed his mind because he was offered a chair in theology at the Illyrian College in Loreto. Other preachers refused to come because of sudden duties in various monasteries in their religious orders across Italy. Capuchin friar Michelangelo Mitrovich refused the offer to preach in 1746, claiming that he needed more time to prepare [SEFEROVIĆ 2008: 96–98].

St. Blaise (dedicated to the main Ragusan patron saint): the Small Council, from the end of 1737 until the beginning of 1741, rendered several decisions about this.<sup>11</sup> However, they took special care regarding the sermons.

According to the regular procedure, at the first meeting of the Small Council following the public festivities in January,<sup>12</sup> they would elect two patricians, usually members of the Small Council itself, to propose a preacher for two years in advance. They followed the same method regardless of the origin of the preacher, domestic or foreign. It seems, though, that this practice was established due to particular situations with respect to foreign preachers: as opposed to local clergymen, many foreigners were professionals who were compelled to plan their preaching tours for several years in advance, so it was important to approach them in time, in order to persuade them to come.<sup>13</sup>

The decision of two electors in the Small Council about the would-be preachers had to be approved at a separate session of the Senate, and by a majority of two-thirds. This practice did not change even after the disastrous earthquake of 6 April 1667,<sup>14</sup> and it was regularly observed until the end of the Republic in the early 19th century. However, the approval by the Senate was a mere formality, because many members of the Senate were also members of the Small Council.

In the period after the Great Earthquake, it happened only once that electors did not reach a mutual agreement on the would-be preacher in the cathedral: in 1721, three candidates were proposed to the Small Council and its members decided by vote who would preach in 1723 [*Cons. Min.*, Vol. 90, F. 264v–265r]. An irregularity also occurred in 1763, when, due to a clash among powerful patrician clans, two electors were appointed only at the beginning of March.<sup>15</sup> In all other cases, electors performed their duty in time and in mutual accord.

The first appointment of the electors by the Small Council after the Great Earthquake happened in January 1668, when they chose a preacher for 1670:

<sup>11</sup> The cathedral was destroyed in the Great Earthquake in 1667, and until its restoration and consecration in 1713, the church of St. Blaise served as its replacement. When this church was destroyed by fire in 1706, it was the Dominican church that temporarily replaced the cathedral.

<sup>12</sup> The list of public festivities in the Republic of Dubrovnik by the middle of the 18th century has been analyzed by both Ragusan classical and contemporary historians [*CERVA* 2008: 444–448; *LONZA* 2009: 387–399].

<sup>13</sup> In his letter from Rome in 1768, Jesuit Aurelio Maria Rezzonico politely declined the invitation to preach in Dubrovnik, saying that he was engaged for eleven years in advance, thus setting the record for advanced bookings [*SEFEROVIĆ* 2008: 98].

<sup>14</sup> Poetically described as “the first death of the city” [*VOJNOVIĆ* 1912: 52–69], in this tragedy nearly two thousand people, or more than one-third of the city’s inhabitants, lost their lives [*VEKARIĆ* 2011: 271–273].

<sup>15</sup> An open clash within patriciate ranks by the end of 1762 and at the beginning of 1763 produced a four-month stalemate within the government [*ČOŠIĆ, VEKARIĆ* 2005: 89].

this was Dominican friar Hyacinth Maria Passati, a local man who later became bishop of the Diocese of Ston, one of the two suffragan bishoprics in the Dubrovnik Metropolitan Church [CERVA 1977: 156–157]. Since the first regular election of the city rector after the Great Earthquake happened only at the beginning of May 1669 [SAMARDŽIĆ 1960: 441], it was obviously more important to re-establish the line of the Advent and Lenten preaching cycles in order to regain stability than to re-establish the formal political order in the Republic.

Among the preachers who were invited to give sermons during Advent and Lent, there is absolute domination of members of various religious orders; only on rare occasions were members of the lay clergy appointed. This may have been caused by two reasons: by the desire to employ a respected preacher with good connections abroad (thus contributing to the prestige of the Republic in wide circles), and by the desire to avoid an independent critic from their own political environment, which would be a figure difficult to control.<sup>16</sup> Nevertheless, exceptions were made from time to time. A distinguished name among lay clergymen was Canon Stephanus Rosa, a member of the chapter of the Ragusan Church, who ascended to the cathedral pulpit three times during the 18th century [CERVA 1980: 127; SEFEROVIĆ 2008: 118]. The guest from the island of Korčula, which was under Venetian political control, Canon Jakob Arneri, was invited once, and another canon from Dubrovnik, Jeronim Bona, also preached on one occasion in the cathedral, during Lent [SEFEROVIĆ 2008: 87–88, 104, 118]. They did not leave a deeper mark in the long line of their preacher colleagues, apparently serving only as a sort of *intermezzo* until the tradition of monks and friars as preachers in the cathedral was re-established.

Members of various religious orders were regularly invited to preach in the cathedral. Over the course of the 18th century, Franciscans (either from the Observant or from the Capuchin branch of the order) were the most popular preachers in the Dubrovnik cathedral: they were elected thirty-five times, whereas Dominicans were elected seventeen times to address the Ragusan patriciate from the cathedral pulpit [SEFEROVIĆ 2008: 117–119]. Contrary to the established practice in the rector's chapel (where only Franciscan and Dominican preachers performed holy services), members of other religious orders, such as Benedictines, Barnabites, Theatines, and Augustinians, also came to preach from the pulpit of the Ragusan cathedral. However, these orders were represented only until the beginning of the 18th century, and

---

<sup>16</sup> While all religious orders were regularly compelled to turn to state officials for various kinds of material help, especially during the long reconstruction of their churches and monasteries after the Great Earthquake, diocesan clerics enjoyed a higher level of independence, thanks to their fraternity of priests, St. Peter's Chair in Antioch, which the state authorities were unable to subdue [LASIĆ 2001: 695–699; SEFEROVIĆ 2012A: 125–134].



between 1700 and 1800, there were only a few Jesuits and Piarists (their direct successors in Dubrovnik, after the temporary suppression of the Jesuit order in 1773) [IDEM 2015: 313] who interrupted the long sequence of preachers coming from the two most prominent mendicant orders.

Preachers in the cathedral delivered their sermons three times a week in Advent and in Lent. This tempo was officially confirmed by the decree of the Small Council in 1729 [*Cons. Rog.*, Vol. 154, F. 94v–96r] but it was also the case in previous years: during the plague epidemic in 1691, Jesuit Ardelio Della Bella also preached three times a week [SEFEROVIĆ 2008: 86]. The Small Council intervened on another important matter: due to some bad experiences with foreign preachers, they changed the law in 1729, deciding that subsequently, only subjects of the Republic of Dubrovnik were to be elected cathedral preachers.<sup>17</sup>

Yet this practice did not last for long. Up to the end of the 18th and the beginning of the 19th centuries, no further limitations were imposed on foreign preachers. On the contrary, at the beginning of April 1782, the Senate issued a new law on cathedral preachers for Advent and Lent [*Cons. Rog.*, Vol. 190, F. 78r–78v], reducing their income and deciding that local clerics could not preach in the cathedral unless they were elected by a two-thirds majority in the Senate. In spite of this decision, domestic preachers remained predominant, but this was due to other reasons, especially the great political crisis both in the Apennines and in Dubrovnik after the escalation of the Napoleonic wars, when some distinguished foreign preachers were compelled to decline the invitation from Dubrovnik.<sup>18</sup>

What they actually missed becomes obvious from a formal letter of invitation, written in Italian by the Small Council to an unknown preacher:

To the Most Reverend Father: the news we received from many parts about the talents God has bestowed on you in service of apostolic preaching motivates us to engage you to the benefit of our homeland. We are therefore pleased to have decided to invite you to preach from the pulpit of our cathedral during Advent and the subsequent Lent. We let you know about our decision so that you can arrange your matters and be with us in time, to answer our call and perform your duty with the benefice to the souls and in accordance with the public wish [*Lettere di ponente*, Vol. 49, f. 231r].

These expressions were suitable for domestic and foreign preachers, as well as for members of the diocesan clergy and various religious orders who were

<sup>17</sup> "... omnes illi qui in posterum essent nominati... pro concionatore nostrae ecclesiae cathedralis non possint esse nisi nationales" [*Cons. Rog.*, Vol. 154, f. 95v].

<sup>18</sup> At the end of the 18th century, Jesuit Stefano Antonio Morcelli even turned down an official offer to become the Ragusan archbishop because he preferred to stay in his native Brescia and help his flock, which was in peril due to the imminent French invasion [SEFEROVIĆ 2016A: 279–280].

honored by the invitation to address the Ragusan public. The letters of invitation were usually sent either to Ragusan diplomatic representatives in Rome (asking them to find a suitable preacher there), or to generals of the chosen religious orders, with the same request, that is, to send an appropriate preacher to Dubrovnik. In both cases the preachers were supposed to be highly respected persons of advanced age, with adequate previous experience and perfect behavior. This request, however, would occasionally cause serious trouble to skillful Ragusan diplomats, as it was often impossible to find an appropriate person in a relatively brief period of time. In the middle of the 18th century, for example, ambassador Benedikt Stay openly complained in a letter to his superiors in Dubrovnik that “all the good preachers, and even the average ones, were already engaged, and it was hardly possible in September to find someone to preach in Dubrovnik during Lent” [*Acta et Diplomata*, Vol. 16, Doc. No. 2048]. So, to put it simply, even in Rome it was hardly possible in only six months to find a good and reliable preacher, one who was willing to take this challenge and cross the Adriatic Sea to Dubrovnik. On the other hand, it happened on a few occasions that foreign preachers approached Ragusan representatives in Italy to ask them personally if they could provide them with recommendations to preach in the cathedral. In spite of the fact that some of them were recommended by illustrious people such as Roman cardinals themselves,<sup>19</sup> the Ragusan government remained suspicious and preferred to make its own choice on all occasions.

The most popular individual preachers were two domestic men: the Franciscan friar Sebastian Slade Dolci was invited to preach seven times between 1729 and 1771, thus setting the record for the greatest number of invitations, and the Benedictine monk Ludovico Moreno preached six times between 1709 and 1725 [SEFEROVIĆ 2008: 117–118].<sup>20</sup> What put them above the others was the fact that they were both employed by the state as official advisers in theological matters; as the so-called *teologi di Stato*, they proved themselves to be reliable and educated civil servants who successfully performed the delicate duty of preaching in the cathedral [IDEM 2010: 249–251].

Apart from their experience and good manners, preachers were expected to avoid any sensitive political points in their sermons; they were not permitted to negotiate on material conditions offered by the Ragusan government; and they were not to be Venetian subjects. A long-standing Ragusan distrust of Venice, originating from the middle of the 14th century, when they overthrew the Venetian rector and started on the long path toward becoming an independent

<sup>19</sup> Cardinal Nicholas Radulović, in 1701, praised his former secretary, Francesco Ruggieri, very highly, even recommending that he become the official Ragusan envoy at the Holy See in Rome [*Acta et diplomata*, Vol. 1, doc. No. 4].

<sup>20</sup> Moreno was an Italian by birth but he spent decades living in Dubrovnik, and enjoyed a great deal of respect for his loyalty [SLADE 2001: 120, 222].

city-state [JANEKOVIĆ-RÖMER 2003: 87], was present in ecclesiastical matters, too. As Ragusan archbishops were not permitted to be Venetian subjects, this was obviously also a *condicio sine qua non* for other members of the clergy. There were only two exceptions noted in this period: the Dominican friar Cherubin Veci, from the island of Hvar (not far from the city of Split), was invited to preach at the Dubrovnik cathedral in 1708, and Jakob Arneri, from the nearby island of Korčula, delivered his sermons in Advent of 1739 and in the subsequent Lent of 1740 [SEFEROVIĆ 2008: 87–88, 118]. Their engagement may be explained in light of certain commercial interests of the Republic of Dubrovnik with respect to the middle Dalmatian islands during that time.

Political interests definitely played a role in the election and appointment of preachers in the cathedral, but its impact was less visible in other places of public worship in the city.

### Other Places of Public Worship

From the second half of the 17th century until the early 19th century, the main city churches where sermons were delivered were the cathedral and the Dominican, Franciscan, and Jesuit churches, as there were no typical parish churches in the city.<sup>21</sup> There was a delicate balance among these churches, and any disturbance would have caused serious trouble: when Archbishop Andrea de Robertis imprudently excommunicated Dominican friars in Dubrovnik and forbade holy services in their church after some incidents in 1709, the state authorities immediately sent a complaint to the pope, explaining that local people were left almost without a place to worship, and that the Franciscan church could not possibly accept all of them while the cathedral was still under construction and renovation after the Great Earthquake [SEFEROVIĆ 2012A: 26–34]. In spite of the proverbial rivalry among the two mendicant orders, the Dominicans and Franciscans traditionally maintained good mutual relations in Dubrovnik, and they also collaborated in preaching. They respected the old custom of exchanging visits on the feasts of their founders, with Dominicans preaching at the Franciscan church on St. Francis' Day and the Franciscan friars reciprocating by visiting the Dominican church on St. Dominic's and St. Thomas Aquinas' feasts [*Monumenta congregationis*: 160–161].

The Dominicans and Franciscans also preached in open places, for example, in the city loggia near the church of St. Blaise, where they were active three times a week during Lent, in alternation [*Monumenta congregationis*: 152–154]. In the second half of the 18th century, the Jesuits introduced some

<sup>21</sup> In spite of requirements issued by the Council of Trent, and regardless of several attempts by Ragusan archbishops from the second half of the 16th century on, it was only by the end of the 18th century that separate parishes were finally established in the city [SEFEROVIĆ 2012B: 128–130].

new places for preaching, mostly at the initiative of their prominent member Bernardo Zuzzeri. He became very influential after his sermons in the Jesuit church, which were given every Sunday in front of the pious confraternity of *Bonae Mortis* (Good Death), gathering both patricians and commoners [BAŠIĆ 1872: xiv]. Zuzzeri apparently was so convincing that he won the trust of the state authorities, who, in 1734, asked for his help in providing Lenten sermons in the cathedral as a replacement for an invited and previously announced preacher who had failed to appear. Although he had very little time to prepare, Zuzzeri successfully improvised. As a skillful orator, he knew how to use the same sermons on different occasions (with slight changes), and he even managed to reduce his appearances to only twice a week [IBID.]. It was also due to Zuzzeri's merit that preachers began to visit churches outside the city walls. He personally established a preaching cycle in the church of Our Lady of Mercy, located on the nearby peninsula of Lapad (some 5 km away from the city walls), where he used to preach every Saturday during Lent [IBID.].

There was a special case regarding preaching in the rector's chapel, which was located in the Rector's Palace. Since the new rector was regularly elected every month, according to century-long practice in Dubrovnik [CERVA 2008: 311–312], it was at his own discretion to invite either Dominican or Franciscan friars to preach during the period of his rule. They were appointed according to the family traditions of the rector: patrician families had their graves in the churches of one of these two monasteries. The salary of these preachers was always covered from a special rector's treasury.<sup>22</sup>

Apart from these preachers in the rector's chapel, it seems that only cathedral preachers in Dubrovnik received regular income for their services, as such payment had been prescribed by the Senate: whereas foreign preachers were paid 250 ducats for their efforts, local men never received more than 150 ducats [SEFEROVIĆ 2008: 86–87].<sup>23</sup> Domestic preachers who delivered their sermons in other city churches were not entitled to any income. All rewards they received from their flock had to be used for their monasteries.<sup>24</sup> Obviously, this situation was not very favorable for domestic preachers, but they were able to compensate for this loss in their own preaching tours abroad, far away from the borders and control of the Ragusan Republic.

<sup>22</sup> From the second half of the 17th century to the beginning of the 19th century, their income remained the same, two *grossi* per day. In the early 19th century, this was the price of a chicken egg at the public market in the city [DETTA, Vol. 90, f. 14r, 15v, 34r].

<sup>23</sup> In comparison, at the beginning of the 18th century, the official diplomatic representative of the Republic of Dubrovnik in Rome earned 100 ducats per year [SEFEROVIĆ 2012A: 19], while the bishop of Ston, in the middle of the 18th century, received only 80 ducats per year from the state authorities [IBID.: 76].

<sup>24</sup> When high ecclesiastical officials, such as archbishops or archpresbyters, delivered short sermons after solemn masses on various feasts, they would receive a significant financial reward from the state authorities, up to 40 *grossi* [DETTA, passim].

### Ragusan Preachers Abroad

Although Venetian subjects were never warmly greeted in Dubrovnik, things functioned quite well in the opposite direction, and there were many Ragusan preachers who performed their holy service in various cities under Venetian political control. This occurred not only in nearby Kotor (which was an especially common destination for Franciscan friars coming from various monasteries of St. Francis' Province in Dubrovnik) [SOPTA 2006: 84], but also in Split (some 220 km away), where Dominican friar Albert a Thaddeis was praised for his sermons in the cathedral at the end of the 17th century [CERVA 1975: 30–31].

Other distinguished preachers from Dubrovnik, for example, the Franciscan friar Sebastian Slade Dolci, the canon Stephanus Rosa, and the Jesuit Bernardo Zuzzeri, all mentioned above, preached on a number of occasions not only in Venetian Dalmatia, but also in Habsburg lands and in various cities across the Apennines [SEFEROVIĆ 2008: 105]. Under the title *Memoria dei pulpiti occupati dallo stesso P. Dolci*, Friar Dolci proudly presented a long list of pulpits where he preached the word of God over a span of 22 years (1723–1745): from cities on the coast of the Istrian Peninsula (Isola/Izola, Parenzo/Poreč, Rovigno/Rovinj, Pirano/Piran, Grado/Gradež), to the most important centers across the Apennines, including Sinigaglia (famous for its fair, where Ragusan merchants were regular customers), Florence, Naples, and Rome (Dolci must have reached the pinnacle of his career while preaching at *Ara Coeli*, the main Franciscan monastery in Rome) [*Orationes Latinae*: 174–175].

It appears as if foreign powers were less suspicious than the Republic of Ragusa with respect to their preachers, but the truth is that nearby regions were far behind Dubrovnik in terms of the level of their economic development. Since the local people in Dalmatia lived in poor conditions, preachers simply educated them through their sermons, while in relatively rich Dubrovnik, preachers had other interests, sometimes in direct conflict with the wishes of their seemingly humble public [SEFEROVIĆ 2008: 113]. Besides, the successful tours of Ragusan preachers across the Apennines may be attributed to the fact that they had studied theology at various Italian universities, for example, Naples and Padua, and had gotten their first experiences as preachers addressing that public [IDEM 2012A: 217–224; IDEM 2013: 90, 96, 99–102]. Undoubtedly, they enjoyed more liberty there than at home.

### The Influence of the Senate over the Role of the Archbishop

Apart from their “correct” political adherence, public preachers had to accept other conditions imposed by the government. These conditions were, above all, connected to their material rights (especially their salary), but also to their status in Dubrovnik in general. During the 18th century, there were several



concrete legal steps issued by the authorities of the Republic to regulate the position of the Advent and Lenten preachers in the cathedral. Although formally it was the archbishop's blessing that determined who would preach from the most prestigious city pulpit, it was in fact the Senate that made the final call. Besides, due to the archbishopric's low income and relative poverty in general [SEFEROVIĆ 2012A: 41–55], the state took charge of all the major financial issues of the Ragusan Church.

It is obvious that the archbishops were never seriously consulted on these matters. Their opinion was only formally relevant.<sup>25</sup> However, there were some occasions when the would-be cathedral preacher did not have even their formal support, and when archbishops tried to impose their opinion against the government's wishes, even looking for papal support for their views. This happened when archbishops were personally offended by the public preachers in the cathedral, or when they openly protested against blatant violations of ecclesiastical immunity. At the end of the 17th century, Archbishop Placido Scoppa excommunicated the preacher Ottavio Bonamici, a Celestine monk. Scoppa was offended by one sermon delivered by this foreign friar, and forbade him from continuing to preach in the cathedral [SEFEROVIĆ 2012A: 23]. The next such case occurred in 1717, when another dissatisfied archbishop, Giovanni Battista Conventati, cancelled his permission to Benedictine monk Ludovico Moreno to preach during Lent. This happened because the archbishop rejected an opinion about ecclesiastical immunity issued by Moreno, who was acting in his position as official adviser to the state in theological matters. The Senate had to make a great effort, asking through diplomatic channels for papal intervention, in order to hear sermons from one of its favorite preachers [IDEM 2010: 250].

Although the Holy See supported the views of the Senate on both occasions and permitted preachers to continue with their duties, this was not the case in 1704, when, upon the intervention of the Holy See, a local cleric was denied the right to preach in the cathedral. The problem arose because the Small Council appointed, and the Senate approved, as the cathedral preacher Vincent Lupis, a cleric who at that moment was the bishop of Ston. According to high ecclesiastical dignitaries, he was not supposed to preach outside his own diocese, notwithstanding the fact that his bishopric was very small.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Apart from the low income and poverty of the archbishopric, we may search for an explanation also in the fact that Ragusan archbishops from 1362 until 1722 were always foreign prelates, who very seldom personally came to the city. Although the situation changed in 1722, from which time until the end of the Republic all the archbishops were domestic people who actually lived in the city, their influence remained irrelevant.

<sup>26</sup> On this occasion, the state authorities had to accept a harsh response from Rome: "If there are just ten men in his own diocese, let him preach to these ten!" [SEFEROVIĆ 2008: 92].

However, less than half a century later this was forgotten, and the Dominican friar Hyacinth Maria Milković, again as the bishop of Ston, was appointed to preach in the cathedral of Dubrovnik. He even received 400 ducats from the Senate on 8 April 1747, both as a reward for his sermons in Advent and Lent and as additional financial support for his bishopric [*Cons. Min.*, Vol. 96, f. 92r]. In brief, the state authorities enjoyed almost absolute freedom in their election of preachers, and the role of the church authorities was usually reduced only to formal acceptance of the imposed solutions.

### The Arrival of Foreign Preachers and Their Sojourn in the City

In contrast to the practice of itinerant preachers, who in earlier periods made occasional visits to Dubrovnik, either on their way to adjacent lands or simply in pilgrimage,<sup>27</sup> at least from the late 17th until the beginning of the 19th century, all visits of foreign preachers were carefully planned by the government of the Republic. Upon acceptance of the formal invitation, the chosen preacher would receive further instructions about how to reach this distant city. He would embark on a ship under the flag of St. Blaise, usually in the ports of Ancona, Venice, or Naples, entrusting Ragusan captains for his safety. Not all of these preachers were willing to do so: on a number of occasions, among the reasons for turning down this offer from Dubrovnik were complaints of the long and hard journey across the sea [SEFEROVIĆ 2008: 94, 96]. However, such problems were soon forgotten upon their entrance into the city.

Sometimes arriving in the company of fellow clergymen, foreign preachers enjoyed several advantages in comparison to their domestic counterparts, with more liberty and significantly better material conditions. Since all their expenses were covered from public sources,<sup>28</sup> their finances were meticulously described in the records, and we can follow them closely. Already in 1672, only five years after the Great Earthquake, while the city was still under reconstruction, there was a precise description, informing us even about the wages of various Ragusan workmen for their services in the context of the visiting preacher. While almost the whole city was in ruins, it was necessary to provide the preacher with a suitable home for the several months he was going to spend in Dubrovnik. Additional expenses were needed to prepare his dwelling place. For this purpose some private houses were taken for rent and various refurbishments were paid for (new furniture and furnaces were brought in,

<sup>27</sup> Apart from legends about the arrival of St. Francis himself [ŠKUNCA 2010: 17; Roščić 2012: 34], it is important to mention in this context the Franciscan friar Tommaso from Osimo, who roused many spirits among Ragusans during his brief visit in 1515 [SEFEROVIĆ 2014: 71].

<sup>28</sup> Their expenses officially came from the rector's own purse, and they were later covered from public means, according to decisions made by the Small Council and later approved by the Senate [*Detta*, *passim*].

sometimes even doors had to be repaired). The state authorities had also to settle the account with the captain of the ship that brought the preacher to the port of Gruž, approximately 5 km from the city itself, and to pay the soldiers who carried the preacher in a litter and provided him with a solemn escort during his stay in the city.<sup>29</sup>

It was natural to expect some help from various religious orders with the preachers' accommodations: they were supposed to accept their brethren coming from abroad in their appropriate monasteries. However, problems would appear when preachers were members of religious orders that did not exist in Dubrovnik (only Benedictines, Dominicans, Franciscans, and Jesuits, later replaced by Piarists, had their houses in the city). It was under such circumstances that local friars would not show their hospitality: at the end of 1751, for example, the Carmelite friar Gasparo de Santa Anna, from Milan, was rejected when he turned to the Jesuits, asking them to accept him in their College during his stay in Dubrovnik. They replied simply that his sojourn of six months was too long. When he afterwards turned to the Dominican friars, asking for the same favor, he was rejected again, with the same excuse. It was only upon the intervention of the Small Council that the Dominicans finally permitted him to stay in their monastery [SEFEROVIĆ 2012A: 185].

In spite of these unpleasant experiences, foreign preachers mostly carried very favorable impressions from Dubrovnik. It was quite common, upon their return to Italy, to send complimentary letters to their former hosts, expressing their gratitude for their invitation and hospitality. For example, in his letter to the Ragusan Senate from Genoa in April 1716, Jesuit Giovanni Battista Cancellotti mentioned with pride that he praised Dubrovnik wherever he went, to the extent that others even began to believe that he was a Ragusan subject [*Acta et diplomata*, Vol. 7, Doc. No. 953]. Similarly, the Carmelite friar Gasparo de Santa Anna assured the Senate in 1752 that he would never stop offering his prayers to the Lord for the conservation and salvation of the Ragusan Republic [SEFEROVIĆ 2008: 99]. Occasionally, even generals of religious orders wrote similar letters, promising the Republic their good will and their inclination and readiness to help: no doubt this was motivated by their intentions to preserve and support members of their religious orders under Ragusan political control.<sup>30</sup> It was important also for Ragusan authorities to maintain their good

---

<sup>29</sup> The same service was offered to other high dignitaries: the public physician, controllers of various public works, and members of the government of the Republic [*Detta*, passim].

<sup>30</sup> For example, Friar Bernardo di Saluzzo, general master of the Franciscan Order of Capuchins, sent a complimentary letter to the rector and Small Council of the Republic of Dubrovnik at the end of June 1702, to express his gratitude because they were so pleased with sermons delivered by the Capuchin friar he had sent to Dubrovnik, Ansovino da Camerino [SEFEROVIĆ 2008: 99].

name and prestige among the foreign preachers, educated and respected men who traveled a lot and who could have further contributed to Ragusan glory in important circles simply by talking about it. Some preachers, indeed, developed a genuine interest in the city and its inhabitants, spreading news about them, for example, about the astronomer and mathematician Vincentius Pozza, from the middle of the 17th century, “whose fame spread almost across all of Italy, thanks to churchmen who used to come every year to Dubrovnik to give their sermons” [CERVA 1980: 190].

It cannot escape our notice that preachers always received gifts in material goods from the Senate. During their stay in Dubrovnik they enjoyed various delicacies such as lamb, chocolate, sugar, good fish, shellfish, and wine; gifts from the Renaissance period included luxury goods such as expensive clothes, carpets, and even weapons [SEFEROVIĆ 2016B: 199–200]. They were never offered (and apparently never asked for) books and manuscripts; they never seriously bothered to improve the lives of their brethren from the same religious orders who were living in the territory of the Republic of Dubrovnik; and they never refused financial awards (currently, we know of only one case when a foreign preacher refused the financial reward for himself, instead passing the money on to his religious order: Capuchin friar Ansovino da Camerino in 1702) [SEFEROVIĆ 2008: 99]. This was simply how professionals behaved: their task was only to preach and to perform this duty in an efficient manner, without any genuine emotions. Their public expected nothing else—sermons were just an outer, public confirmation of the faith, and it mattered only how one performed this ritual. This was the case with the patricians who gathered in the cathedral, whereas commoners in other churches showed deeper feelings and more devotion, perhaps because foreign preachers hardly ever crossed their doorstep. For patricians, as the ruling class, it was necessary not to disturb the balance, but sometimes this did happen.

### The Address of Preachers to the Public

*Cari signori, ascoltanti, uditori, signori riveritissimi, uditori miei cari.* . .<sup>31</sup> These expressions were often heard from the cathedral pulpit during sermons in Italian. However, even in this late period it was not uncommon to deliver a sermon in Latin. At least two cases have been preserved, both by Ragusan patricians who addressed the public in the cathedral: Lucas Gozze in his sermon on Christ's sufferings, *De internis Christi morientis cruciatibus oratio* in 1799 and Natalis Saraca in 1800, in his sermon on Christ's Passion, *De*

<sup>31</sup> “Dear gentlemen, hearers, listeners, most honorable gentlemen, my dear listeners,” taken as an incipit of various sermons gathered in collections in the late 18th and 19th centuries, but mostly copied from originals dating from earlier times [Predica: 8].

*Passione Christi Oratio*.<sup>32</sup> On both occasions the archbishop was also present, and they addressed him at the beginning, greeting him before the members of the Senate and other distinguished patricians: *Praesul amplissime, P[atres] C[onscripti] vosque omnes ornatissimi auditores*.

On the basis of copies of sermons delivered in the cathedral and in other churches in Dubrovnik, it is possible to estimate that sermons lasted for approximately one hour. While an anonymous preacher mentioned specifically that it was his intention to spend just half an hour, *mezz'oretta* [*Sermoni di passione*: 277], with his flock, sermons were usually longer, as they contain sixteen–twenty pages in manuscript.<sup>33</sup> Laudatory or funeral speeches, given at the same time in the cathedral in honor of deceased dignitaries of the Republic, both secular and ecclesiastical, also lasted up to forty-five minutes [SEFEROVIĆ 2012B: 121]. City fathers were apparently too impatient to hold out any longer: this is yet another proof that the sermons in the cathedral served only to fulfill an expectation, answering only a formal need. If we take into account published sermons delivered by the Dominican friar Archangel Kalić and by the Jesuit Zuzzeri in the late 18th century, it appears that sermons lasted longer in smaller churches. By preaching in their native language, the speakers managed to attract their listeners' attention for a longer period, and, judging by the reactions of their public, they were more successful than the refined preachers in the cathedral.

The Republic of Dubrovnik was a multilingual environment par excellence: this city-state of merchants and diplomats skillfully used a variety of languages, receiving praise from many impressed foreigners because of this talent [SEFEROVIĆ 2012A: 16–17; CERVA 2012: 356]. In 1783 Latin was formally replaced by Italian as the official language of public documents [ĆOSIĆ 1996: 138], although it was still used in the records of the Small Council<sup>34</sup> and occasionally in official correspondence (especially in letters addressed to the papacy). However, in public sermons in this period only two languages were used: Italian in the cathedral and the local Slavic idiom in other churches. This practice is known not only from the preserved texts of sermons, but also from various eulogies.<sup>35</sup> This environment was thus favorable for Italian preachers,

<sup>32</sup> Both solemn speeches were preserved in a manuscript in the Scientific Library of Dubrovnik, No. 839.

<sup>33</sup> This is according to various collections of sermons kept in the library of the St. Francis' Monastery in Dubrovnik [*Sermoni di passione*] and in the Scientific Library of Dubrovnik [*Predica*].

<sup>34</sup> This practice, of writing decisions of the Small Council in Latin, remained until the end of the Republic.

<sup>35</sup> Dozens of similar speeches have been preserved in 19th-century copies. These collections have been kept in the libraries of the St. Francis' Monastery [BRLEK 1952: 219, 241], but also in the St. Dominic's Monastery and in the Scientific Library in Dubrovnik.



who could easily perform their duties at the Dubrovnik cathedral speaking in their native language. In the words of a connoisseur of the local circumstances, who wished to compliment Ragusans,

almost all of them speak Italian excellently because of their connections with Italy, from which place every year they bring a distinguished preacher at significant expense to preach for Advent and Lent in their cathedral, although they have many good preachers who preach in their native language surprisingly well [*CERVA 2012: 356*].

Apparently, this practice survived from earlier times. Another newcomer to Dubrovnik from the Apennine Peninsula, Dominican friar Serafino Razzi, who from 1584 to 1587 performed important duties both in the Dominican Province in the city and as a high ecclesiastical dignitary in the archbishopric, noticed the following peculiarities about sermons delivered in the cathedral: “. . . they always preach in Italian in the cathedral. The Ragusan patricians keep this custom, among other reasons, also to show that they originate from Roman, Italian blood” [*RAZZI 2011: 157*].

Apart from his obvious attempt to contribute to the old city legends about the ancient Roman origins of the Ragusan patriciate, legends that were common along Dalmatian shores and very popular among other writers as well,<sup>36</sup> Razzi's words bring our attention to the social role of the preachers. Commoners were not allowed to enter the cathedral;<sup>37</sup> sermons were designed only for the patricians. However, in other city churches the public was mixed: patricians were, of course, always free to attend the Divine service, but commoners were the main public to whom sermons were directed. This fact also influenced the contents of the sermons. While it was common to preach in the cathedral about some abstract theological points, carefully avoiding anything that would rouse political suspicion,<sup>38</sup> preachers in other churches often used their position to point out some common evils in the society, such as usury or prodigality.

<sup>36</sup> The story of the legendary King Pavlimir-Bel created a lasting inspiration for generations of historians from Dubrovnik and adjacent regions. In this legend, the king was said to have come from Rome and established Dubrovnik's public life on new grounds, founding the Senate from among his men who followed him from Rome and from inhabitants of the ancient Roman colony of Epidaurus, some 20 km east of Dubrovnik [*CERVA 2008: 272–280; SEFEROVIĆ 2011: 133–178*].

<sup>37</sup> There may have been exceptions related to hearing confessions before some great feast days, such as Easter. On other occasions, it was extremely rare to permit commoners to enter the cathedral, which might occur, for example, during some public disputes among members of the clergy [*SEFEROVIĆ 2014: 57–59*].

<sup>38</sup> The situation in 1763 was typical: members of the Small Council postponed the election of the cathedral preacher for two months, and Jesuits even skipped the sermons in their church, being afraid that some expressions might be “misunderstood” [*SEFEROVIĆ 2008: 90–91*].

Local preachers, born in Dubrovnik, were well aware of all the hidden deficiencies of their compatriots whom they were free to address in their native language, and they were very successful in their work, leaving much stronger impressions than their colleagues, who were engaged for quite expensive means in the cathedral. Outside the city the situation was even worse: poor priests who served in almost ruined churches in remote villages near the Ottoman border or on quite distant islands were hardly motivated to fulfill their pastoral duties, especially for preaching. They occasionally received some help from Jesuit missionaries. Several written reports convince us of good receptions by the flock, including mass peace offerings and greetings to the preachers at the beginning of their sermons [VANINO 1987: 115–131]. However, archbishops were justifiably dissatisfied with this situation, and they tried in vain to improve it. In spite of their efforts to increase the discipline of local priests,<sup>39</sup> there is a convincing opinion by Archbishop Raimond Gallani, who noted in a letter to Rome, after his official visitation of the diocese in 1724, that many priests accepted their appointments in distant villages almost as punishment [SEFEROVIĆ 2012A: 61]. As a result, the flock remained poor and uneducated.

This last characteristic was shared in the city itself by women. It was a common opinion that patrician women were uneducated and that they understood only their native language,<sup>40</sup> while women of the class of commoners were in much worse condition, and occasionally provoked jest even from their friars and confessors.<sup>41</sup> Nuns were in a particular position: nobody was allowed to preach in convents without the previous consent of the archbishop. This was again related to the wishes of the state authorities: they jealously kept convents under direct control, because these monasteries mostly gathered daughters from patrician families [SEFEROVIĆ 2012A: 97–117, 148–149; CERVÁ 2012: 552].

This was not the only occasion on which state authorities were concerned that preachers might provoke some undesirable consequences. In this light we may also observe some contemporary remarks about the style of individual preachers. The favorite preacher at the Ragusan cathedral, the Franciscan friar Sebastian Slade Dolci, was famous for his learning, clarity of expression, and sonorous voice. There has also been preserved a detailed description of

<sup>39</sup> At a diocesan synod in 1729, Archbishop Angelo Franchi asked all clergymen to write sermons as part of their regular exams [SEFEROVIĆ 2012A: 53–54].

<sup>40</sup> Even nuns belonged to the same category, as is proven by letters sent to the state authorities, which are practically never written in Latin or in Italian but rather in their native language.

<sup>41</sup> In his descriptions of regular rites at the Dominican church in the first half of the 18th century, S. M. Cerva could not restrain himself from mentioning the “poor little women” (*mulierculae*) who devotedly visited every single one of the eighteen altars in the church [Monumenta Congregationis: 98].

a performance by the Dominican friar Hyacinth Maria Passati. According to his younger contemporary and member of the same monastery in Dubrovnik, Seraphinus Maria Cerva, Passati was “famous by his gestures and body composure, but above all by his exceptionally clear, pleasant, and strong voice: he did not lack any of those virtues that make a good orator” [CERVA 1977: 157].

Unfortunately, there were preachers who suffered because of physical impediments to successful preaching. For example, many contemporaries believed that the Franciscan friar Angelo Dolci was as learned and gifted as his elder brother, Sebastian, but he was a much weaker preacher due to his stammering [RODE 1914: 96]. The Dominican friar Kalić had a quiet voice and weak breath by nature, but (unlike Angelo Dolci) he was often invited to preach and enjoyed great respect at the pulpit of the Dominican church, due to his austerity and the high quality of his sermons [SKURLA 1873: VI, VIII; SEFEROVIĆ 2012B: 108].

We can only speculate as to whether or not secular orators were equal to the religious speakers in their oratorical skills. It was common for a member of the Ragusan patriciate to greet the preacher before his sermons in the cathedral and to give a complimentary speech. Due to the silence of our sources, we cannot establish with certainty the topics of these speeches, but we assume that they were connected with the general topics of the sermons. These patricians always received an appropriate gift in food for their effort, usually a lamb and some delicacies.<sup>42</sup> It may be possible to connect this custom with the “political preaching,” *predica della politica*, which was settled by the Senate decision in 1782 [SEFEROVIĆ 2012B: 134]. Several samples of similar talks have been preserved in later copies in Ragusan libraries, including speeches by Ragusan clergymen in Italy, especially by the friar Sebastian Slade Dolci, whose speech delivered in Lucca in 1731 for the city council was published [KNEZOVIC 2011: 272]. Preaches were usually praised for their efforts, but there were occasions when they were not spared from severe criticism, coming both from secular and spiritual circles.

### The Critics of the Preachers

Commonly perceived as “masters of human hearts,”<sup>43</sup> preachers enjoyed a unique role in society and, accordingly, had special responsibilities. Nevertheless, the Ragusan public bore witness to various incidents that occurred during their performances. Some of the public reactions were strictly personal: the flock generally disliked the custom of Dominican friar Anthony Bonda, who, in the early 18th century, used to threaten people openly during his sermons,

<sup>42</sup> There are various examples from the 18th and early 19th centuries [Detta, passim].

<sup>43</sup> The expression describes the Ragusan-born Jesuit, Đuro Bašić [GORTAN 1970: 632–633].

pointing at major sinners in the public [CERVA 1975: 100]; his contemporary, fellow Dominican Jerome Philippi, enjoyed the bad reputation of being a “strange” man, because of his untidy attire and irregular habits [IDEM 1977: 143].

Ragusans showed a surprising level of tolerance, however: no preacher was attacked or scorned because of his physical inabilities to perform his task. The critics in this period based their opinions on other things that were in direct relation to the sermons themselves. These were connected both to the message of the sermon (including various theological and political issues) and to its form, that is, to the performance by the preachers. It seems that members of the Mendicant Orders (the most popular preachers) were particularly exposed to severe criticisms.

On the basis of content and style of preaching, the Holy See several times repeated its warnings to Franciscan friars to omit jests and jokes in their sermons (which were, more or less, typical for Baroque oratory), and its letters of complaint about these matters reached the St. Francis’ Province in Dubrovnik [SEFEROVIĆ 2008: 84–85]. The basic argument was that preachers were not supposed to entertain but to perform their duty in the most serious way, even when this was contrary to public taste. In the words of a renowned historian from that time, these sermons were not accepted by the wide public unless they were witty, embellished with strange tales, and even making the audience laugh [CERVA 1980: 73].

It is interesting that the same criticisms were addressed to other public speakers, specifically, to those who had to deliver funeral speeches in honor of deceased dignitaries of the Republic. In the beginning of the 19th century, Piarist Francesco Maria Appendini, in his review of the political and cultural history of Dubrovnik entitled *Notizie storiche di Ragusa*, noticed that funeral speeches were regularly performed until the Great Earthquake. Appendini praised the speakers’ serious efforts (these were also recognized by the learned Ragusan public), but then observed that this practice significantly deteriorated from the late 17th century on, with the unnecessary surfeit of “vague Baroque rhetoric” [APPENDINI 1803: 128, 134]. Although the same remark was made by S. M. Cerva, who detested public school teachers as exceptionally bad speakers on similar occasions, claiming that they sometimes produced a completely wrong effect [CERVA 2008: 529], preserved texts do not confirm these harsh opinions. On the contrary, on the basis of many speeches of this kind<sup>44</sup> we can agree only that speakers seem to have been well prepared and highly motivated to perform their duty well, and that there was really nothing inappropriate in their appearances. Even on those occasions when foreigners were engaged, everything was fine: the public preacher Giovanni

---

<sup>44</sup> See published texts with Croatian translations and commentaries [BAŠIĆ 1872; SKURLA 1873; SEFEROVIĆ 2012B; IDEM 2015, IDEM 2016A].

Stephano Facchinelli, in 1709, was awarded the special honor of giving a laudatory speech on the Feast of St. Blaise, and he got his well-deserved prize afterwards.<sup>45</sup>

However, some curious incidents really did happen during the sermons in the cathedral, and they were related not to jests and similar trivialities, but to politics and to theological subtleties. At least two similar cases were mentioned in the early decades following the Great Earthquake. It was friar Giovanni Criosotomo Bonarrota, the provincial of St. Francis' Province of Dubrovnik, who first claimed in his sermon that Jesus himself had knelt in front of the Devil, when he washed Judas Iscariot's feet on Maundy Thursday.<sup>46</sup> Any major consequences for the Republic for such an audacious construction, involving a trial in front of the pope himself, were luckily avoided when this unhappy preacher conveniently died just few years later (while his trial process was still being prepared). Another curious theological incident occurred when Dominican friar Salvatore Giorgi, a few years later, provoked an indignant outburst among distinguished listeners who gathered to hear his sermon about the Holy Virgin, during which Giorgi denied the Immaculate Conception.<sup>47</sup> His biographer, a Dominican friar from the same monastery in Dubrovnik, preserved the honor of his fellow brother by claiming that he justified himself in Rome, and he even added a witty story: when another Franciscan preacher, Dionysius Gigli, became a preacher in the cathedral and tried to attack this erroneous view from the most prestigious city pulpit, by Divine miracle the attacker simply remained speechless and was compelled to withdraw from the pulpit in shame.<sup>48</sup>

However, much more importance in public was given to the political contexts of these sermons. When Sebastian Slade Dolci, speaking in 1760 from the cathedral pulpit, took the liberty of accusing the state authorities by saying that the Senate had squandered money, soldiers, and wisdom,<sup>49</sup> he was not

<sup>45</sup> His reward included six bottles of wine and four hens [*Detta*, Vol. 24, f. 80r].

<sup>46</sup> This is not only according to the Dominican historiographer [*CERVA 1977*: 278–280], who was obviously ill disposed towards this prominent Franciscan, but also according to Franciscan sources themselves, even briefly mentioning the entire incident [*RODE 1914*: 52].

<sup>47</sup> Apparently, Giorgi was luckier than his Franciscan predecessor, because he managed to justify himself in front of the Holy See [*CERVA 1980*: 73–75]. Perhaps there was also some importance in the fact that Bonarrota was a commoner, while Giorgi was a patrician by birth.

<sup>48</sup> This curious episode is also mentioned by Cerva in Gigli's biography [*CERVA 1975*: 252–253], but it is not mentioned in other sources. Since both Cerva and Franciscan authors were contemporaries, obviously some of them tried to hide the truth. In his own biography of Gigli, Slade omits this detail and only praises Gigli as great theologian and preacher, someone who prepared more than 300 sermons in Italian and in his native idiom [*SLADE 2001*: 101].

<sup>49</sup> The former French envoy to Dubrovnik, Alexandre Le Maire, was delighted to include this episode in his report to the French government in 1766 [*SEFEROVIĆ 2012A*: 197].



allowed to preach in Dubrovnik for the next ten years. Another Franciscan friar, Marin Marincelo, had intervened in a similar way previously, in 1684 [PANTIĆ 1957: 26], and suffered serious consequences: although he was a good theologian and excelled as a diplomatic envoy of the Republic, he never became the bishop of Ston. Until the end of the Republic there were similar attempts to send some political messages from pulpits, but in a more subtle way, especially underlining the unfortunate subordination of the Church to the state. Dominican friar Kalić deliberately mentioned in a sermon three ecclesiastical dignitaries who suffered because they resisted the state: St. Ambrosius, St. John Chrysostom, and St. Thomas Becket [SEFEROVIĆ 2012B: 105]. However, thanks to the preachers' self-imposed discipline and some precautionary steps by the government, no harm was done. There were other means to arouse the public sentiments.

### Preachers' Legacy: Books and Advice

Apart from the power of their words, ever since the Middle Ages "preachers demanded tangible signs of the spiritual regeneration they effected and the mission often ended with an *auto-da-fé* in which games of chance and female frippery were burned on a pyre" [VAUCHEZ 1997: 331]. Thanks to the common sense and careful surveillance by the state authorities, similar incidents never took place in Dubrovnik and, what is especially important, there were no outbursts of violence.<sup>50</sup> Yet it cannot be denied that some preachers were more passionate than others. During the second visit of the Jesuit Giovanni Battista Cancellotti to Dubrovnik, in 1718–1719, when he preached in the church of St. Blaise, many books were burned and destroyed under the crucifix and there were also many reconciliations among devoted believers, to the benefit of the entire community [VANINO 1937: 50]. Apart from morning sermons in the cathedral, Cancellotti held oratories in the church of St. Blaise for eight evenings consecutively, during which he also whipped himself.<sup>51</sup> Dominican friar Kalić was less radical when, in 1784, he described the plague epidemic as the finger of God against extravagance in the city, but his sermons were published at state expense, which was a unique case [SKURLA 1873: VII]. In the same year, 1784, there occurred the last major decision by the state authorities regarding sermons: the Senate decided that all sermons must be handed over in written form [*Cons. Rog.*, Vol. 192, f. 214r].

<sup>50</sup> In 1724 the state authorities ordered the first large-scale confiscation and destruction of the books of the Talmud, but this remained an isolated incident, provoked by the Senate's desire to indulge the archbishop [SEFEROVIĆ 2006: 187–188].

<sup>51</sup> These oratories were held in the city protector's church until 1725, and subsequently in the Jesuit College church [VANINO 1987: 106]. According to the Book of Annals of the Jesuit College in Dubrovnik, it was Cancellotti himself who introduced these oratories, and the Jesuits subsequently retained them until 1771 [IDEM 1937: 166].

Although it had never become a custom to sell sermons after the preaching cycle, sermons in the 18th century still put their stamp on both spiritual and public life [LONZA 2009: 347–348]. However, things began to change at the beginning of the 19th century, when there appeared a general lack of discipline. This phenomenon may have been related to the quick penetration of new ideas brought by the Enlightenment and the French Revolution,<sup>52</sup> or it may be connected to the fact that the Republic of Dubrovnik was in its final decay. The situation became so intolerable at the beginning of the 19th century that the state authorities were even compelled to proclaim, on 22 May 1803, that all coffee shops in the city must be closed during the holy mass in the cathedral [Cons. Min., Vol. 114, f. 110r]. They were not even sure anymore who would preach in the cathedral. When canon Raphael Radeaglia was granted this honor on 26 February 1803 for Advent of the following year, the Small Council informed him that this period was already reserved for another preacher and that he would preach on the first available subsequent occasion. He simply served as a backup in case the invited preacher failed to come [*ibid.*, f. 84r].

But it was during this period that preachers in smaller churches even more closely followed the reactions of their flock, and tried to adapt their sermons in accordance with general expectations. By the end of the 17th century, Franciscan friar Vital Andriassi wrote a treatise called *Viridarium* (Spiritual garden), a collection of disputes on moral theology, in which he discussed some concrete problems of preaching. In the chapter entitled “The Problem with Those Who Fall Asleep at Sermons” (*Problema de dormientibus concionis tempore*), Andriassi noted that at sermons, men fall asleep more often than women. Probably based on his own rich experience, he concluded that there were two likely reasons for this: first, that women are naturally more shy than men in public, and second, that preachers sometimes attract attention from their public not only by the power of their word but also by their own appearance [SEFEROVIĆ 2013: 105].

These remarks offer an interesting insight into the psychology of the flock. Although it practically never happened that public sermons (especially in the cathedral) induced believers to mass confessions (this did not happen even during those tragic days of the Great Earthquake), or to change their erroneous, sinful daily routine, our sources claim that there were some successful sermons against usury. These were given by Dominican friar Raimund Sey in the Dominican church at the end of the 18th century, when apparently the Jews themselves were touched and decided to forgive their debtors [SEFEROVIĆ 2008: 111].

---

<sup>52</sup> There were various political factions within the Ragusan patriciate at the end of the 18th century, and these divisions became visible even in public oratory [SEFEROVIĆ 2015: 323–325].

There may be new discoveries in light of the abundant material that has been preserved. On well-stocked shelves in Dubrovnik's archives and libraries, we discover hundreds of sermons, written in three main languages: Latin, Italian, and Croatian. Due to the lack of a complete catalogue of these texts,<sup>53</sup> the researcher is compelled to turn to general catalogues of the libraries. Today there are preserved manuscripts with copies of sermons, written down in the 19th century,<sup>54</sup> during the period of the Austrian government.<sup>55</sup> From the second part of the 18th century, there appeared several collections of sermons in printed form. Their authors were local preachers—Franciscans, Jesuits, and Dominicans—who published their sermons, written in their native language, even in Venice.<sup>56</sup> Sermons thus acquired a new function, becoming textbooks for young clergymen and for students of preaching and rhetoric in general.

In the period after the Great Earthquake until the beginning of the 19th century, there appeared several handbooks for would-be preachers. In comparison to Italy, which served as a model in so many features of local spiritual life, their number is surprisingly small.<sup>57</sup> The explanation is that various sermons shared a common pattern and that there was also, in general terms, quite a low level of education in Dubrovnik. Starting with an appropriate sentence from the New Testament, usually either related to a feast that was celebrated on a particular day or in direct connection with the long preaching cycles in Advent and Lent, sermons would end with blessings of the gathered flock or with an invitation to join in common prayer or to hear confessions.

Apart from brilliant rhetoricians and preachers such as the Jesuit Ivan Luccari, who, in the second part of the 17th century, excelled as a teacher of rhetoric at the College in Rome and enjoyed great respect among his contemporaries [CERVA 1977: 233–234; SLADE 2001: 117], similar attempts by his colleagues in Dubrovnik brought little success. Obviously written under Luccari's

<sup>53</sup> The author of this paper intends to prepare a catalogue in his forthcoming book about preachers in Dubrovnik, spanning the period from the Middle Ages until the end of the Republic of Dubrovnik, in the early 19th century.

<sup>54</sup> Many Latin texts by Ragusan authors have been preserved in this way. Today they are kept mostly in the library of the St. Francis' Monastery and in the Scientific Library.

<sup>55</sup> Since the disappearance of the Republic, political changes followed the changes in ecclesiastical organization, as the former Archbishopric and Metropolitan See of Dubrovnik was reduced to a mere bishopric in 1828, a status it has retained up to the present day.

<sup>56</sup> While Kalić and Zuzzeri got their sermons published in Dubrovnik, Franciscan friar Vital Andriassi published a collection of his Lenten sermons in Venice in 1661, and, in the same city in 1679, he published a collection of his Advent sermons [SLADE 2001: 145]. We may perceive them as a continuation of the practice established in the 16th century, when Dominican friar Clemens Ragnina prepared the first edition of his huge collection, entitled *Quodlibet declamatorium* (Venice, 1541) [SEFEROVIĆ 2016B: 208].

<sup>57</sup> Between the 1570s and the 18th century, over 1,200 works on sacred rhetoric appeared [NORMAN 2001: 138].

influence by an anonymous Jesuit, there appeared the *Trattato della Eloquenza Ecclesiastica*, a manuscript with sixty numbered pages.<sup>58</sup> It was addressed to pupils in the seminary and to would-be parish priests, but its real purpose was to serve for education in the Jesuit College, extolling Paolo Segneri as a great model. The treatise heavily relied on Cicero, both in its approach to the public and its advice regarding behavior and appropriate gestures by the preacher. It also included some advice about moral theology, logic, and history in general. Since the anonymous author of this treatise instructed young preachers to follow Cicero as their ideal orator, he obviously neglected the advice from the Holy See stating that preachers should restrain themselves from going too far with rhetorical embellishments in their sermons.

Another example of a similar kind has been preserved in the library of the St. Francis' Monastery in Dubrovnik, where many books and manuscripts from the temporarily closed Jesuit College found their place. In a work with the title *Formulae oratoriae*, there is another proof of strong influence from Cicero on the practice of local preachers, which is surprising coming from such a late period [*Formulae oratoriae*]. In this careful selection of sentences from various speeches by Cicero, divided into thirty-two separate elements, a young cleric had a reliable and thorough guide to becoming a good preacher. Unfortunately, this text was already outdated and thus was not effective: written by an anonymous author in the 18th century, when Latin was not in regular use even at the most prestigious pulpits in Dubrovnik, and especially not in peripheral, distant churches, this manual had only a theoretical, and not a practical, purpose.

This is yet another proof that preachers in the sunset of the Republic of Dubrovnik played merely a formal role. It was only important to maintain the tradition of giving sermons. After all, this was one of the key features of the Republic of Dubrovnik and its distinct legacy.

### Concluding Remarks and Possibilities for Further Research

Preaching was perceived as one of the main elements in spiritual culture, with a vital role in the everyday life of all Ragusan citizens, regardless of their social status. In the struggle for survival after the Great Earthquake of 1667 and the subsequent political changes that finally brought the Republic of Dubrovnik to its end at the beginning of the 19th century, public authorities used every opportunity to consolidate the state. In this agenda, sermons were a particularly important tool, with two separate purposes: in smaller churches, to keep the commoners loyal and devoted to the ruling class of patricians within the existing political framework of the old Republic, and in the cathedral, to preserve a tradition of inviting foreign preachers for formal reasons, to contribute

<sup>58</sup> Today kept in the Scientific Library in Dubrovnik, manuscript No. 835.

to the international reputation of the state. The multilingual environment in Dubrovnik, where sermons were given in Latin, Italian, and Croatian, significantly facilitated this task for foreign clerics, usually members of various religious orders coming from Italy at the invitation and expense of the state.

Since the large amount of primary sources (both of secular and of ecclesiastical origin) is still unexplored, the first task of the present research was to establish the background of the preachers and the direct steps taken by the government to control their activity, including the variety of laws brought at regular sessions of the Senate and the Small Council of the Republic. A more complete insight into this complex mosaic will depend on subsequent analyses of the sermons themselves and of manuals for would-be preachers, preserved either in manuscripts or in printed form.

## Bibliography

### Primary Sources

State Archives of Dubrovnik

#### *Acta et diplomata*

*Acta et Diplomata*, series 76, 18th century.

#### *Cons. Min.*

*Acta Consilii Minoris*, series 5.

#### *Cons. Rog.*

*Acta Consilii Rogatorum*, series 3.

#### *Detta*

*Detta*, series 6.

#### *Lettere di ponente*

*Litterae et epistulae ponentis*, series 27.6.

Library of St. Dominic's Monastery in Dubrovnik

#### *Monumenta Congregationis*

*Monumenta Congregationis Sancti Dominici de Ragusio Ordinis Fratrum Praedicatorum edita a fratre Seraphino Maria Cerva. Seculum primum ab anno MCCXXV ad annum MCCCXXIV*, Ms. no. 34-IX-9/1.

Library of St. Francis' Monastery in Dubrovnik

#### *Formulae oratoriae*

*Formulae oratoriae*, MS No. 139.

#### *Orationes Latinae*

*Orationes Latinae civium Rhacusinorum Rhacusii habitae*, MS No. 243.

#### *Sermoni di passione*

*Sermoni di passione*, MS No. 173.

Scientific Library in Dubrovnik

#### *Predica*

*Predica XXI. Venerdì dopo la 3.a Domenica di Quaresima. Della divina misericordia*, MS No. 464/2.



## Published Sources

## CERVA 1975

CERVA S. M., *Bibliotheca Ragusina in qua Ragusini scriptores eorumque gesta et scripta recensentur*, 1, S. KRASIĆ, ed., Zagreb, 1975.

## ——— 1977

CERVA S. M., *Bibliotheca Ragusina in qua Ragusini scriptores eorumque gesta et scripta recensentur*, 2, S. KRASIĆ, ed., Zagreb, 1977.

## ——— 1980

CERVA S. M., *Bibliotheca Ragusina in qua Ragusini scriptores eorumque gesta et scripta recensentur*, 3, S. KRASIĆ, ed., Zagreb, 1980.

## ——— 2008

CERVA S. M., *Prolegomena in Sacram metropolim Ragusinam*, R. SEFEROVIĆ, ed., Zagreb, Dubrovnik, 2008.

## ——— 2012

CERVA S. M., *Prolegomena za Svetu dubrovačku metropoliju*, R. SEFEROVIĆ, ed., Zagreb, Dubrovnik, 2012.

## DE DIVERSIS 2004

DE DIVERSIS F., *Opis slavnoga grada Dubrovnika*, Z. JANEKOVIĆ-RÖMER, ed., Zagreb, 2004.

## RAZZI 2011

RAZZI S., *Povijest Dubrovnika*, S. KRASIĆ, ed., Dubrovnik, 2011.

## RODE 1914

BENVENUTUS RODE P., ed., *Necrologium Fratrum Minorum de Observantia Provinciae S. Francisci Ragusii, Ad Claras Aquas (Quaracchi)*, 1914.

## SLADE 2001

SLADE S., *Fasti litterario-Ragusini. Dubrovačka književna kronika*, P. KNEZOVIĆ, ed., Zagreb, 2001.

## SOPTA 2006

SOPTA J., ed., *Spisi Franjevačke provincije u Dubrovniku: analitički inventar*, Dubrovnik, 2006.

## VANINO 1937

VANINO M., ed, *Chronicon Collegii Ragusini 1559–1764*, Sarajevo, 1937.

## References

## APPENDINI 1803

APPENDINI F. M., *Notizie storico-critiche sulle Antichità. Storia e Letteratura de' Ragusei*, 2, Ragusa, 1803.

## BAŠIĆ 1872

BAŠIĆ GJ., "Život Bernarda Cuceri, družbe Isusove," in: J. RIEGER, ed., *Besjede duhovne Bernarda Cucera, Dubrovčanina*, Zagreb, 1872, IX–XIX.

## BRLEK 1952

BRLEK M., *Rukopisi knjižnice samostana Male braće u Dubrovniku*, Zagreb, 1952.

## ĆOSIĆ 1996

ĆOSIĆ S., "Administrativna struktura i plaće službenika Dubrovačke Republike (1700–1808.)," *Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru*, 38, 1996, 129–156.

## ĆOSIĆ, VEKARIĆ 2005

ĆOSIĆ S., VEKARIĆ N., *Dubrovačka vlastela između roda i države: salamankezi i sorbonezi*, Zagreb, Dubrovnik, 2005.

GORTAN 1970

GORTAN V., "Đuro Ferić. Georgius Ferrich (1739–1820)," in: V. GORTAN, V. VRATOVIĆ, ed., *Hrvatski latinisti*, 2, Zagreb, 1970, 611–697.

JANEKOVIĆ-RÖMER 2003

JANEKOVIĆ-RÖMER Z., *Višegradski ugovor temelj Dubrovačke Republike*, Zagreb, 2003.

——— 2015

JANEKOVIĆ-RÖMER Z., *The Frame of Freedom: The Nobility of Dubrovnik between the Middle Ages and Humanism*, Zagreb, Dubrovnik, 2015.

KNEZOVIĆ 2011

KNEZOVIĆ P., "Sebastijan Slade," in: S. SLADE, *Fasti litterario-Ragusini. Dubrovačka književna kronika*, P. KNEZOVIĆ, ed., Zagreb, 2001, 271–276.

KREKIĆ 2007

KREKIĆ B., "Dubrovnik and Venice in the Thirteenth and Fourteenth Century: A Short Survey," in: IDEM, *Unequal Rivals: Essays on Relations between Dubrovnik and Venice in the Thirteenth and Fourteenth Centuries*, Zagreb, Dubrovnik, 2007, 9–46.

KUNČEVIĆ 2012

KUNČEVIĆ L., "Dubrovačka slika Venecije i venecijanska slika Dubrovnika u ranom novom vijeku," *Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku*, 50, 2012, 9–37.

LASIĆ 2001

LASIĆ S., "Crkvene bratovštine u nadbiskupiji s posebnim osvrtom na 'Popovski zbor'," in: Ž. PULJIĆ, N. A. ANČIĆ, ed., *Tisuću godina uspostave dubrovačke nad(biskupije)*, Split, Dubrovnik, 2001, 687–701.

LONZA 2009

LONZA N., *Kazalište vlasti. Ceremonijal i državni blagdani Dubrovačke Republike u 17. i 18. stoljeću*, Zagreb, Dubrovnik, 2009.

NORMAN 2001

NORMAN C. E., "The Social History of Preaching: Italy," in: L. TAYLOR, ed., *Preachers and People in the Reformations and Early Modern Period*, Leiden, Boston, Köln, 2001, 125–191.

PANTIĆ 1957

PANTIĆ M., *Sebastijan Slade-Dolči, dubrovački biograf XVIII veka*, Beograd, 1957.

ROŠČIĆ 2012

ROŠČIĆ N. M., *Sv. Frane brodolomac. Dolazak sv. Frane u Hrvatsku 1212*, Zagreb, Split, 2012.

SAMARDŽIĆ 1960

SAMARDŽIĆ R., *Borba Dubrovnika za opstanak posle velikog zemljotresa 1667 g. Arhivska građa (1667–1670)*, Beograd, 1960.

——— 1983

SAMARDŽIĆ R., *Veliki vek Dubrovnika*, 2nd ed., Beograd, 1983.

SEFEROVIĆ 2006

SEFEROVIĆ R., "Dubrovački teolozi o židovskoj zajednici u prvoj polovici 18. stoljeća," *Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku*, 44, 2006, 139–188.

——— 2008

SEFEROVIĆ R., "Adventski i korizmeni propovjednici u dubrovačkoj katedrali u 18. stoljeću," *Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku*, 46, 2008, 81–124.

——— 2010

SEFEROVIĆ R., "Dubia et consulta: mišljenja državnih teologa Dubrovačke Republike u 17. i 18. stoljeću," *Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku*, 48, 2010, 243–300.

——— 2011

SEFEROVIĆ R., "Fantazija povijesti: legenda biskupa Antuna Primija o kralju Pavlimiru," *Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku*, 49, 2011, 133–178.

——— 2012A

SEFEROVIĆ R., "Crkva iza Dvora. Kroz povijest dubrovačke Crkve 18. stoljeća uz pratnju Serafina Marije Cerve," in: S. M. CERVA, *Prolegomena za Svetu dubrovačku metropoliju*, R. SEFEROVIĆ, ed., Zagreb, Dubrovnik, 2012, 9–253.

——— 2012B

SEFEROVIĆ R., "O nadbiskupu Lazzariju uz retorički ornat," *Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku*, 50, 2012, 91–161.

——— 2013

SEFEROVIĆ R., "Moralnoteološka promišljanja klerika u baroknom Dubrovniku," *Croatica Christiana Periodica*, 72, 2013, 85–117.

——— 2014

SEFEROVIĆ R., "Sveta godina 1550. u Dubrovniku: svetkovine, prijepori i pojedinci," *Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku*, 52/1, 2014, 51–87.

——— 2015

SEFEROVIĆ R., "Politička retorika Francesca Marije Appendinija s kraja Republike," *Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku*, 53/2, 2015, 311–349.

——— 2016A

SEFEROVIĆ R., "Isusovac Antonio Morcelli, nesuđeni nadbiskup s kraja Republike," *Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku*, 54/2, 2016, 263–291.

——— 2016B

SEFEROVIĆ R., "Svjetlo riječi, sjena vlasti: kasnorenesansni propovjednici u dubrovačkoj katedrali," in: Z. BLAŽEVIĆ, L. PLEJIĆ POJE, ed., *Tridentska baština. Katolička obnova i konfesionalizacija u hrvatskim zemljama*, Zagreb, 2016, 193–209.

SKURLA 1873

SKURLA S., "O. Arkangjeo Kalić," in: IDEM, ed., *O. Arkangjela Kalića Korizmene propovijedi i besjede za različite svečanosti i prigode*, Dubrovnik, 1873, v–xiii.

ŠKUNCA 2010

ŠKUNCA S. J., "Putovanje kroz povijest," in: I. FISKOVIĆ, ed., *Milost susreta. Umjetnička baština Franjevačke provincije Sv. Jeronima*, Zagreb, 14–27.

VANINO 1987

VANINO M., *Isusovci i hrvatski narod*, 2, Zagreb, 1987.

VAUCHEZ 1997

VAUCHEZ A., "The Saint," in: J. LE Goff, ed., *The Medieval World*, London, 1997, 313–345.

VEKARIĆ 2011

VEKARIĆ N., *Vlastela grada Dubrovnika, 1. Korijeni, struktura i razvoj dubrovačkog plemstva*, Zagreb, Dubrovnik, 2011.

VOJNOVIĆ 1912

VOJNOVIĆ L., "Prva smrt Dubrovnika (6. aprila 1667)," *Letopis Matice srpske*, 86, 1912, 52–69.

## Acknowledgements

I wish to express my sincere gratitude to Dr. Ekaterina I. Kislova, from the Moscow State University Philology Department, and to Dr. Denis A. Sdvizkov, from the German Historical Institute in Moscow, for inviting me to the round table on Sermons in Religious and Cultural Politics and Practice in Russia and Europe in the 18th–early 19th centuries, organized by the German Historical Institute in Moscow on 26 and 27 August 2016, where I read the first draft of this paper and discussed it with other participants, whose efforts helped me to improve it significantly.

**Relja Seferović, Ph.D.**

Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku

Lapadska obala 6

20000 Dubrovnik

Republika Hrvatska / Republic of Croatia

rseferovic@hazu.hr

Received March 9, 2017



## Пять уточнений к “Словарю русского языка XVIII века”

**Василий Михайлович  
Круглов**

Институт лингвистических исследований  
РАН  
С.-Петербург, Россия

## Five Additions to *The Dictionary of the 18th-century Russian Language*

**Vasily M. Kruglov**

Institute for Linguistic Studies of the  
Russian Academy of Sciences  
St. Petersburg, Russia

### Резюме

В статье анализируется семантика и происхождение слов *олбрим* и *обденковать*. В русском языке Петровской эпохи существительное *олбрим* (ср. белорусское *олбрим*, *обрим*; украинское *олбрым* < польское *olbrzym*, *obrzym* < греческое ὄβριμος) употреблялось в значении ‘гигант, великан’, а глагол *обденковать* (< немецкое *abdanken*; ср. польское *abdankować*) — в значении ‘подать в отставку, уволиться со службы’. Во второй части статьи анализируется смысл трех контекстов, неправильная интерпретация которых стала причиной появления в “Словаре русского языка XVIII века” ряда неточностей, касающихся вариантов слова *олбрим*, семантики глагола *гомонить* и даты появления в русском языке заимствования *дистракция*.

### Ключевые слова

русский язык, XVIII век, историческая лексикология, историческая лексикография

### Abstract

The article analyzes the semantics and origins of the words *olbrim* and *obdenkovat*. In the Russian language of the age of Peter the Great, the noun *olbrim* (cf. Belorussian *olbrim*, *obrim*; Ukrainian *olbrym* < Polish *olbrzym*, *obrzym* < Greek ὄβριμος) was used in the meaning of ‘giant’ and the verb *obdenkovat*



(German *abdanken*; cf. Polish *abdankować*) in meaning of ‘to resign.’ The second part of the article analyzes the sense of three contexts in which incorrect interpretation caused several inaccuracies in *The Dictionary of the 18th-century Russian Language* related to variants of the word *olbrim*, the semantics of the verb *gomonit’*, and the date of the initial appearance of the borrowed word *distrakcija*.

#### Keywords

Russian language, 18th century, historical lexicology, historical lexicography

Настоящие заметки содержат несколько уточнений и дополнений к “Словарю русского языка XVIII века” [СлРЯ XVIII в.] (далее Словарь). В разное время и по разным поводам обращаясь к отдельным фрагментам Словаря и его картотеки, мы заметили ряд лакун и неточностей, касающихся семантической характеристики отдельных слов и их происхождения, а также интерпретации некоторых контекстов.

#### Слова с неясным значением

В качестве заголовочных слов в Словарь в числе прочих включаются лексемы, значение которых для составителей и редакторов осталось неясным. В этих случаях в словарных статьях на месте дефиниции ставится знак вопроса в круглых скобках. Обратим внимание на два таких случая.

Во-первых, это слово *олбрим*, помещенное в шестнадцатом выпуске. Ср.:

▲ ОЛБРИМ (лбр-, -рым), а, м. (*чаще мн.*) (?) В нижних рамах [...] написах гигантомахию, сирѣчь брань олбрымов, сынов земных с небом и богами. Апофеосис 23. На единой <картине> убо паллада вводит Геркулеса со оружием своим в небо, яко да за боги и с богами брань творит на олбрымов. Апофеосис 145 [СлРЯ XVIII в., 16: 264].

Несмотря на то, что в русском языке XVIII века слово действительно не получило широкого распространения, содержание имеющихся цитат недвусмысленно указывает на то, что оно использовалось в качестве обозначения гигантов античной мифологии. В первой цитате прямо говорится, что *олбрымы* — это “сыны земные”, противостоящие богам в гигантомахии — битве богов с гигантами<sup>1</sup>. Вторая цитата сообщает дополнительные сведения о том, что “за боги и с богами брань творит” Геркулес (которому, как известно, за участие в этой брани было даровано бессмертие).

<sup>1</sup> О гигантах и гигантомахии есть сведения, например, в “Словаре античности” [СА: 137–138] и в Словаре Брокгауза и Ефрона [ЭСБЕ, 8: 620].

Полезными для читателей Словаря могли бы стать сведения о происхождении слова. В “Словаре русского языка XI–XVII веков” статья *Олбрим* отсутствует [СлРЯ XI–XVII вв., 12: 355], и это с большой долей вероятности указывает на то, что слово, пусть и на короткое время, впервые появилось в русском языке именно в XVIII веке. Источником заимствования послужил древнегреческий язык (ср. ὄβριμος — “1) могучий, мощный; 2) огромный, тяжелый; 3) бурный, неистовый” [Дворецкий 1958, 2: 1150]), а посредником, по всей видимости, стал польский (ср. *olbrzym, obrzym*), где слово со второй половины XV века употреблялось в значении “człowiek wielkich rozmiarów, homo ingentis corporis, gigas” [Sł. Staropolski, 5: 567]. В польском языке лексема была в достаточной степени употребительной, о чем свидетельствует наличие у нее в XVIII веке нескольких дериватов: *olbrzymka, obrzymica, olbrzymisko, olbrzymowaty, olbrzymowy, olbrzymiski, olbrzymstwo* [SJP, 3: 545]. С конца XVI – начала XVII века в значении “великан, исполин, гигант” слово *олбрим* фиксируется в белорусском и украинском языках. В белорусском языке имелись варианты *олбрим, обрим, обрым, олбрым, албрим*, а также производные — прилагательные *олбримовый (обримовый)* и *олбримский* [ГСБМ, 22: 188]; в украинском — только существительное *олбрим (олбрым)* [СЛУМ XV–XVIII ст., 2: 41].

Согласно имеющимся у нас данным, в русском языке XVIII века лексема *олбрим* не получила достаточного распространения. Ее употребление ограничилось, по-видимому, тремя контекстами в издании “Политиколепная апофеосис”. Следовательно, мы не можем говорить здесь о процессе заимствования и пытаться определить ту роль, которую играли в этом процессе возможные языки-посредники. Учитывая греческое происхождение слова, а также то обстоятельство, что в восточнославянских языках *олбрим* встречается в пересказах сюжетов античной мифологии и в переводах библейских текстов, целесообразно рассматривать данный случай сквозь призму другого явления и охарактеризовать его как “лексический европеизм” — слово, в истории которого отразился процесс конвергенции словарного состава европейских языков, вызванный широкими культурно-историческими причинами [Кепперт 2010].

Обратим также внимание на слово *обденковать*, помещенное в пятнадцатом выпуске. Ср.:

ОБДЕНКОВАТЬ, кую, куёт, сов. (?). Из старых генералов толко Рейншелд да Мардефелд в Шведском войскѣ остались, а протчие при Шведском выходѣ из Саксонии всѣ обденковали. ПБП VI 462 [СлРЯ XVIII в., 15: 220].

Приведенная в статье цитата является фрагментом русского перевода “дополнительных пунктов”, которые камердинер польского короля Августа II намеревался при личной встрече сообщить Петру I, но был

вынужден задержаться в Минске и изложить их графу Г. И. Головкину<sup>2</sup>. Если заглянуть в источник и продолжить цитату, то значение глагола несколько проясняется. Речь идет о том, что “протчие генералы” освободили свои места (ср.: “. . . и сіе мѣста король Шведской все молодыми людьми изнаполнилъ”).

Как и в рассмотренном выше примере с лексемой *олбрим*, несомненную пользу могли бы принести сведения о происхождении слова. По всей видимости, глагол *обденковать* является заимствованием из немецкого языка (ср. *abdanken*). Словарь братьев Гримм приводит сведения о значении немецкого этимона и его типичных употреблении: “*drückt abdanken aus abdicare, abdicare se magistratu, sich vom amte losdanken, es niederlegen: der minister hat abgedankt, es kam dahin, daß er abdanken muste*” [DWBG, 1: 18–19]. Посредником при заимствовании немецкого глагола мог выступить польский язык, где присутствовал глагол *abdankować* (в значении ‘уволить со службы’) и его производное *abdank* (*habdank*). В словаре С. Б. Линде имеются сведения о польском глаголе и его немецком источнике. Ср.: “ABDANKOWAĆ [. . .] Niemieck. abdanken [. . .] Wojsko rozpuścić i abdankować” [SJP, 1: 1–2].

Семантическая структура этого глагола подробно описана в “Словаре немецких заимствований в польском письменном и литературном языке” (“Das Wörterbuch der deutschen Lehnwörter in der polnischen Schrift- und Standardsprache”). Здесь указано, что, начиная со второй четверти XVII века, *abdankować* (*habdankować*) употреблялся в значении (1) “‘entlassen, verabschieden, (ein Heer) aus dem Dienst entlassen’ – ‘odprawić, zwalniać, rozpuszczać (armię)’”, а также в подтвержденных единичными употреблениями значениях (2) “‘befreien, freimachen’ – ‘zwalniać kogoś od czegoś’” и (3) “‘aufgeben, in Ruhe lassen’ – ‘porzucić, zostawić w spokoju’” [DE VINCENZ, HENTSCHEL]. Остается добавить, что с начала XVII в. в белорусских и украинских текстах встречаются лексемы *габданк* [ГСБМ, 6: 234] и *абданк* [СЛУМ XVI–XVII ст., 1: 64–65], правда, в другом значении — в качестве названия старого польского герба.

Таким образом, принимая во внимание все сказанное выше, можно сделать вывод о том, что в приведенной цитате глагол *обденковать* употребляется в значении “уволиться со службы, подать в отставку”.

<sup>2</sup> Ср. выше в том же томе письмо Г. И. Головкина Петру I из Минска от 5 декабря 1707 г., описывающее эти события: “Доносимъ вашему величеству, что отъ Августа пріехалъ его камердинеръ Шпигель и привезъ отъ него грамоту, съ которой и съ приложенного въ ней писма переводъ посылаемъ. . . . А онъ, Шпигель, самъ просится, дабы отпустить его к вашему величеству; но мы его уговорили, объявляя, будто вскорѣ васъ сюда ожидаемъ, чтобы подождать, дабы получить межъ тѣмъ отъ вашего величества о томъ указъ, отпускать ли ево къ вамъ. . . . А до сего часу подаль намъ Шпигель нѣкоторые пункты для извѣстія вашему величеству, о которыхъ де ему самъ король повелѣлъ изустно вашему величеству донести” [ПБП, 6: 459, 460–461].

## Неверная интерпретация контекстов

В разобранной выше статье о слове *олбрим* появление варианта *лбрим* вызвано, по-видимому, тем, что, обратившись к тексту источника, составители и редакторы не увидели в нем явной опечатки. Соответствующий фрагмент, оставшийся за пределами Словаря, был взят из издания “Политиколепная апофеосис” (1709) — описания триумфальных врат, воздвигнутых Словено-греко-латинской академией к торжественному входу войск в Москву 21 декабря 1709 г. после Полтавской победы. Этот фрагмент выглядит следующим образом:

Пріступаю нынѣ до втораго садняго ліца вратъ, їдеже келїіку малую краткаго радї време́не построїхомъ честї Его Царскаго Пресвѣтлаго Велїчества, еяже храмъ есть вся вселенная, да тако їсъ малаго сего їсображенїя велїчїну ея всякъ благоразумный возмо́жетъ познатї, якоже прежде їсъ перста на малої таблїцѣ отъ апеллеса напїсаннаго бесмѣрную велїкость *отъ лбрїма*<sup>3</sup> познава́шея [АПОФЕОСИС 1709: 157].

Здесь говорится о том, что с задней стороны триумфальных врат в честь Петра I была построена “келийка”, которая получилась небольшого размера из-за отсутствия достаточного времени для постройки большой. Эта келья является частью храма всей вселенной, и всякий смотрящий на нее (благодаря высокому художественному уровню исполнения) может познать ее истинный размер, так же как в древние времена на небольшой картине Апеллеса<sup>4</sup> можно было познать “безмерную великость” гиганта, созерцая изображение лишь его пальца. Таким образом, фрагмент “великость отъ брима” следует считать опечаткой и читать его как “великость олбрима”, а существование варианта *лбрим* следует считать неподтвержденным.

Рассмотрим следующий случай, где имеющаяся в источнике опечатка, напротив, не остается без внимания, но предложенная конъектура оказывается ошибочной по причине того, что привлекается лишь карто-течный материал, а более широкий контекст источника не используется. Следует добавить, что на основе этой конъектуры устанавливается дата вхождения заимствования в русский язык. Речь идет о статье *Дистракция*, помещенной в четвертом выпуске Словаря. Ср.:

Δ ДИСТРАКЦИЯ 1758, и, ж. Фр. *distraction*. *Рассеянность, невнимательность, расстройство*. Г. Замятин от печальных извѣстїй чувствовал в себе дистракцію, поелику темнота его уведо́млений так меня судить заставляет. Док. Румянц. II 210. | *Жарг.* Твои листы вѣчно меня прельщають: клянусь, что я всегда фельетирую их без всякой дистракции. Жив. 65. [Олимпияда:] Я в такой теперь дистракции, чтоб от скуки чево нибудь поѣла. Ек. II Ворч. 179.

<sup>3</sup> Здесь и далее курсив в цитатах принадлежит автору статьи.

<sup>4</sup> Придворный художник Александра Македонского. См., например: [СА: 39].

— *Отвлечение, увеселение*. Я много вас обезпокоил неприятными вещами; теперь дозвоьте сдѣлать вам distraction дѣлами для вас посторонними. АВ XIII 349 [СлРЯ XVIII в., 6: 140].

Дата 1758 г. недвусмысленно указывает на то, что в основу датировки было положено письмо М. П. Бестужева-Рюмина М. Л. Воронцову, которое опубликовано в многотомном издании “Архив князя Воронцова” и в котором встречается форма “дистрация” (без “к”). В письме речь идет о том, что М. П. Бестужев-Рюмин оставил письмо М. Л. Воронцова у кардинала Берни, для того чтобы последний показал его королю, но Берни попал в немилость, которая случилась весьма быстро и неожиданно, и сколько эта немилость будет продолжаться, покажет лишь время. Обратим внимание на служащие дополнительной подсказкой синонимы *немилость* и *дистрация*, употребленные соответственно перед и после интересующей нас формы. Ср.:

На другой день ѣздилъ я къ господину Булоню и ему сообщилъ всѣ мои учиненные эмарши о семъ дѣлѣ; за что онъ мнѣ благодарилъ и сказалъ, что я изрядно учинилъ, что письмо ваше у кардинала оставилъ для показанія королю и извѣстной дамѣ; а сего дня увѣдомился я, что якобы кардиналъ Берни съ *немилостью* у короля попалъ, и повелѣно ему въ свое аббатство ѣхать. Сіе меня весьма фрапировало, и вѣрить тому не хотѣлъ, а наипаче, что вчерась, когда я видѣлся съ господиномъ Булонемъ, какъ выше сего упомянуто, ни мало о томъ не зналъ и не отзывался. Сія *дистрация* весьма скоропостижно воспослѣдовала; кто тому причиною есть, за краткимъ временемъ провѣдать невозможно было, еже вскоре окажется; и уже кардиналъ изъ Парижа и выѣхалъ. Вотъ, милостивой государь мой, какія здѣсь частыя перемѣны въ министерствѣ случаются! Зѣло жаль сего доброжелательнаго министра, который ко мнѣ особливую конфиденцію имѣлъ; долго ли сія *дистрация* продолжаться будетъ, время окажется, и я не премину отъ времени до времени дискурсивно о томъ увѣдомлять.

Парижъ въ 3-й день Декабря 1758 г. [АВ, 2: 335–336].

Таким образом, широкий контекст свидетельствует о том, что имеющуюся в источнике форму “дистрация” следует считать явной опечаткой и читать как “дистрация” (‘немилость’; ср. фр. *disgrace* [ФРЛ 1: 331]), а не “дистракция” (‘рассеянность’), а предложенную датировку (1758 г.) следует считать ошибочной.

Последний из анализируемых нами случаев касается слов *гомон* и *гомонить*, помещенных в пятом выпуске Словаря. Ср.:

▲ ГОМОН, а, м. (*Редко*). *Мятеж; шум*. ЛП 76, Сл. Кург.<sup>4</sup> 223, САР<sup>1</sup> II 199.

— Норм. САР<sup>1</sup> вышедшее из употребления.

Δ ГОМОНИТЬ, ню, нѣт, *несов. кого-что. (Редко). Успокаивать*. РЦ 102, САР<sup>1</sup> II 199 [СлРЯ XVIII в., 5: 162].



Из статьи следует, что в XVIII веке глагол *гомонить* уже утратил свое первоначальное значение ‘кричать, шуметь’ [ФАСМЕР 1: 436] и употреблялся только в значении ‘успокаивать’. Действительно, во втором томе “Словаря Академии Российской” читаем: “ГОМОНЮ [. . .] Успокаиваю” [САР<sup>1</sup>, 2: 199]. Если же обратиться к другому источнику, указанному в словарной статье, — “Российскому Целлариусу” (1771 г.), то обнаруживается еще одно значение глагола (ср.: “гомоню, [. . .] *ни́ть*, lärgen, unruhig machen” [РЦ: 102]), и следовательно, в русском языке XVIII века глагол *гомонить* обладал более развитой семантической структурой, чем это указано в Словаре, и употреблялся не только в значении ‘успокаивать’, но и в значении ‘шуметь, беспокоить’.

## Библиография

### Печатные источники

АВ, 1–40

*Архив князя Воронцова*, 1–40, Москва, 1870–1897.

ПБП, 1–13

*Письма и бумаги императора Петра Великого. [1688–1713]*, 1–13, С.-Петербург, Ленинград, Москва, 1887–2003.

АПОФЕОСИС 1709

*Политиколепная апофеосис*, Москва, 1709.

### Словари

ГСБМ, 1–36–

*Гістарычны слоўнік беларускай мовы*, 1–36–, Мінск, 1982–2015–.

ДВОРЕЦКИЙ 1958, 1–2

ДВОРЕЦКИЙ И. Х., *Древнегреческо-русский словарь*, 1–2, Москва, 1958.

РЦ

ГЕЛТЕРГОФ Ф., *Российской Целлариус, или Этимологической российской лексикон*, Москва, 1771.

СА

ИРМШЕР Й., ЙОНЕ Р., *Словарь античности*, Москва, 1994.

САР<sup>1</sup>, 1–6

*Словарь Академии Российской*, 1–6, С.-Петербург, 1789–1794.

СЛРЯ XI–XVII вв., 1–30–

*Словарь русского языка XI–XVII веков*, 1–30– Москва, 1975–2015–.

СЛРЯ XVIII в., 1–21–

*Словарь русского языка XVIII века*, 1–21–, Ленинград, С.-Петербург, 1984–2015–.

СЛУМ XV–XVIII ст., 1–2

ТИМЧЕНКО Є., *Матеріали до словника писемної та книжної української мови XV–XVIII ст.*, 1–2, Київ, Нью-Йорк, 2002–2003.

СЛУМ XVI–XVII ст., 1–16–

*Словник української мови XVI – першої половини XVII ст.*, 1–16–, Львів, 1994–2013–.

ФАСМЕР, 1–4

ФАСМЕР М., *Этимологический словарь русского языка*, пер. с нем. и доп. О. Н. ТРУБАЧЕВА, под ред. Б. А. ЛАРИНА, 1–4, Москва, 1986–1987.

ФРЛ, 1–2

*Полной французской и российской лексикон*, 1–2, С.-Петербург, 1786.

ЭСБЕ, 1–82

БРОКГАУЗ Ф. А., ЕФРОН И. А., изд., *Энциклопедический словарь*, 1–82, С.-Петербург, 1890–1904.

DWBG, 1–16

*Deutsches Wörterbuch Von Jacob und Wilhelm Grimm*, 1–16, Leipzig, 1854–1961.

SJP, 1–6

LINDE S. B., *Słownik języka polskiego*, 1–6, Lwów, 1854–1860.

SŁ. STAROPOLSKI, 1–11

*Słownik staropolski*, 1–11, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź, 1953–2002.

DE VINCENZ, HENTSCHEL

de VINCENZ A., HENTSCHEL G., *Das Wörterbuch der deutschen Lehnwörter in der polnischen Schrift- und Standardsprache. Von den Anfängen des polnischen Schrifttums bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts*, Göttingen, Oldenburg. Elektronische Ausgabe (электронный ресурс <http://diglib.bis.uni-oldenburg.de/bis-verlag/wdlp>; последнее обращение: 09.12.2017).

## References

KEIPERT 2010

KEIPERT H., “Die lexikalischen Europäismen auf lateinisch-griechischer Grundlage,” in: U. HINRICHS, Hrsg., *Handbuch der Eurolinguistik*, Wiesbaden, 2010, 635–659.

**Василий Михайлович Круглов**, доктор филол. наук,

заведующий лабораторией Института

лингвистических исследований РАН

199053 С.-Петербург, Тучков переулок, д. 9

Россия/Russia

[vmkruglov@yandex.ru](mailto:vmkruglov@yandex.ru)

Received February 6, 2017



Этнолингвистическое  
изучение Полесья.  
1995–2016 гг. (Обзор)\*

The Ethnolinguistic  
Study of Polesie, 1995–  
2016: An Overview

**Светлана Михайловна  
Толстая**

Институт славяноведения Российской  
академии наук  
Москва, Россия

**Svetlana M. Tolstaya**

Institute for Slavic Studies of the  
Russian Academy of Sciences  
Moscow, Russia

Полесье, один из архаичных славянских регионов, занимающий промежуточное положение между тремя восточнославянскими ареалами, граничащий с западнославянским диалектным континуумом и не имеющий непосредственных контактов с неславянскими этносами, чем объясняется его особое значение для этногенетических, лингвогенетических и этнокультурных исследований [Полесье и этногенез славян 1983], стало активно изучаться только в середине XX века, когда по инициативе Н. И. Толстого Институт славяноведения организовал серию экспедиций в Полесье первоначально с целью сбора материалов для полесского диалектного словаря, а позднее — для комплексного изучения языка, фольклора и всей традиционной народной культуры Полесья и создания Полесского этнолингвистического атласа (подробнее см. [Толстая 2007]). За последние полвека полесские исследования российских, белорусских, украинских, польских диалектологов, фольклористов, этнографов, историков превратились в особую отрасль славистики

\* Обзор подготовлен в рамках работы над проектом “Славянские архаические ареалы в пространстве Европы: этнолингвистические исследования”, поддержанным РНФ (№ 17–18–01373). Благодарю М. Н. Толстую за помощь в поисках литературы.

и обогатились множеством ценных трудов. Настоящая публикация продолжает серию обзоров полесских исследований, главным образом лингвистических и этнолингвистических, доведенных в предшествующих изданиях до 1995 г. [Толстой 1968; Толстые 1983; Толстой 1995; Толстая 1996]. Число появившихся за эти десятилетия работ так велико, что их полный охват, а тем более анализ, в рамках одной статьи невозможен; к тому же проблематика полесских говоров и народной традиции Полесья затрагивается и во многих трудах более крупного масштаба (белорусского, украинского, восточнославянского, общеславянского), а также в работах по смежным территориям (польское Подлясье, Белосточчина и др.). Поэтому мы ограничиваемся теми источниками, которые оказались нам доступны, в некоторых случаях восполняя пропуски предыдущих обзоров.

Лингвогеография Полесья. В 2012 г. была издана посмертно монография замечательного житомирского ученого-подвижника Н. В. Никончука (1937–2001), посвященная лингвогеографии украинского и белорусского Полесья [Никончук 2012]. Книга представляет собой перевод с русского языка его докторской диссертации, защищенной в 1982 г. Она обобщает материалы созданного им фундаментального “Лексического атласа Правобережного Полесья”, насчитывающего более 2000 карт, из коих опубликована лишь десятая часть [Никончук 1994; Толстая 2000], дает характеристику связей Полесья с другими украинскими и белорусскими диалектными ареалами и обосновывает внутреннее членение изучаемой территории на 18 диалектных типов на основе комплекса лексических, семантических, словообразовательных черт (синхронных и исторических). Одновременно была опубликована программа-вопросник к “Лексическому атласу Правобережного Полесья” [Никончук 2012а], а несколько раньше — библиография трудов Н. В. Никончука, во многом определивших современный уровень наших знаний в области полесской лексики и ареалогии [Идем 2007]. В Житомире был издан сборник памяти Н. В. Никончука, показавший выдающийся вклад этого ученого в изучение Полесья [ПЗв].

После чернобыльской катастрофы 1986 г. специальное внимание было уделено изучению диалектов тех районов, которые были затронуты радиацией. Группа украинских диалектологов провела серию исследований переселенцев из чернобыльской зоны с целью создания диалектной базы данных и сохранения сведений о диалектах и традиционной культуре исчезнувших поселений. В конце 1990-х гг. в Киеве были изданы две книги под названием “Говоры чернобыльской зоны” — сборник диалектных текстов [ГЧЗ 1996] и системное описание грамматики и некоторых групп лексики [ГЧЗ 1999]. В 1998 г. в Ровно вышел в свет

сборник “Этнокультура Волынского Полесья и чернобыльская трагедия” [Этнокультура 1998]. В 2003 г. было издано четырехтомное монографическое лингвистическое и этнолингвистическое описание говора села Машево Чернобыльского района Киевской обл., жители которого после Чернобыля были компактно переселены в другой район той же области [МАШЕВЕ 2003].

Вопросы диалектного членения Полесья обсуждаются в работах Ф. Д. Климчука [1998, 1999], Н. Дейниченко [1997], В. М. Куриленко и В. В. Приймака [2007], в учебном пособии по западнopolесской диалектологии Г. Л. Аркушина [2012]. Ареалогии и стратиграфии украинских полесских говоров на примере некоторых тематических групп лексики (животноводческой и пищевой) посвящена небольшая монография В. М. Куриленко [2001], содержащая 44 карты с сеткой в 140 населенных пунктов. Автор уточняет внешние границы полесского ареала и внутренние границы между диалектами и выделяет группы верхнеприпятских, верхнествижских, овручских, серединно-будских и посеимских говоров. См. также статью Л. Дорошенко [2001] о членении восточнополесских говоров Украины. Проблемы исторической диалектологии Полесья исследуются в серии работ В. М. Моисеенко [Мойсієнко 2006; ІДЕМ 2007; ІДЕМ 2016].

Особую область современной славянской диалектологии составляет проблематика языковых (диалектных) п о г р а н и ч и й. В случае Полесья это прежде всего пограничье восточно-западнославянское, т. е. украинско- и белорусско-польское [Толстая 1992]. Большое внимание уделяется этой проблематике в польской науке [ЛЕСІВ 1997; KOŚĆ 1999; SPOTKANIA 2006; FLORA 2006; PASTUSIAK 2007; POGRANICZA 2015]. В 1999 г. завершен многотомный атлас восточнославянских говоров Белостокского воеводства [AGWSB]. В конце 1990-х гг. велась работа над международным проектом по изучению польско-белорусско-украинского пограничья по обе стороны Буга [CZYŻEWSKI, NIEBRZEGOWSKA-BARTMIŃSKA 2001; BUG 2002; GMINA WOLA UHRUSKA 2003; СМЕНТАРЗЕ 2014]. См. также совместное украинско-польское издание “Украинские и польские говоры пограничья” 2001 г. [УПГП] и работы украинских диалектологов об украинских говорах польского Подлясья [Бідношия 2006; Аркушин 2007].

Атласы. Говоры Полесья, представленные в общих чертах на картах национальных атласов Белоруссии [ДАБМ; ЛАБНГ] и Украины [АУМ 2], Общеславянского лингвистического атласа, лексического атласа Правобережного Полесья Н. В. Никончука [1994] (см. выше), атласа Нижней Припяти Т. В. Назаровой [1985], получили в последние десятилетия более детальное лингвогеографическое описание в серии региональных



атласов, как общего характера, так и тематических. К атласам общего типа относятся региональные атласы Березовского района Брестской области [ЛЕВАНЦЭВІЧ 2001], так называемого Выгоновского Полесья (Брестская обл.) [САМУЙЛІК 2009; ІДЕМ 2013], Пружанского района Брестской обл. [БОСАК, БОСАК 2005–2006] (160 лексических карт из 231 села), северо-восточной части Брестской обл. [ЧАРНЯКЕВІЧ 2009], лексический атлас и словарь Припятского Полесья [Лексіка Припяцкага Палесся 2008]. Тематическую серию составляют атласы строительной терминологии [Євтушок 1993; Дорошенко 1999], названий одежды [ПОНОМАР 1997], животноводческой лексики [Куриленко 2004], названий лекарственных растений [ОМЕЛЬКОВЕЦЬ 2003], названий животных [АРКУШИН 2008], охотничьей лексики [ІДЕМ 2008А], энтомологической лексики [ЧИРУК 2010]. В 2012 г. увидело свет исследование Е. Д. Турчин, посвященное лексике питания восточнополесских украинских говоров (Черниговская и Сумская обл.), к которому дано приложение в виде атласа из 77 карт, девять из которых показывают основные для этой территории изоглоссы и микроареалы [Турчин 2012]. Заслуживает упоминания и атлас именного словоизменения западнополесских говоров — один из немногих опытов картографирования грамматических диалектных черт [Зінчук 2010]. Словообразование имени в западнополесских говорах исследуется в монографии Г. Л. Аркушина [2004].

Самым новым в этом ряду явился труд минских диалектологов, посвященный лексике Туровщины под редакцией Г. А. Цыхуна [ЛМТ] (более 300 карт), существенно дополнивший известный словарь этого региона [ТС], давно вошедший в научный оборот и широко используемый в лексикологических и этимологических исследованиях славянской лексики. В результате Туровская земля оказалась одной из наиболее изученных зон Полесья, а вероятно, и всей Белоруссии. Важным выводом для славянской ареалогии оказалась диалектная расчлененность этой сравнительно небольшой территории, наличие в ее границах микрозон, имеющих заметные различия в лексике, которые связывают Туровщину с другими, в том числе далекими, славянскими лексическими ареалами (*вершок — сметана, жарыць — смажыць, сіняк — черняк, спёка — жара, похмарок — помяг, радуга — веселка* и т. д.).

Лексикология и лексикография. Характерное для нашего времени внимание к культурным функциям языка и изучению языковой картины мира объясняет появление большого числа работ, посвященных лексике полесских говоров; появились и новые опыты ее лексикографической обработки. К коллекции региональных белорусских словарей, среди которых еще сравнительно недавно практически отсутствовали

полесские (см. [Толстая 1985]), добавилась целая серия полесских словарей и словарных подборок. К наиболее важным трудам этого типа относятся словари Брестщины [ДСБ] и словарь западнopolесских говоров [Аркушин 2000; *идем* 2016]. Г. Л. Аркушину принадлежит также ценный словарь народных эвфемизмов в украинских диалектах и молодежном жаргоне Западного Полесья [*идем* 2005], а также трехтомный словарь прозвищ [*идем* 2009]. Заслуживают внимания и материалы к словарю мозырских говоров Белоруссии [Купрыенка, Шур 1996], словарь Лельчицкого района Гомельской области [Кучук, Малюк 2000], небольшие словарики, изданные в Бресте [Ляшкевич 2004; Пашкевич 2008]. Однако больше всего публикуется тематических словарей разного объема и полноты, с разной степенью систематизации изучаемой лексики.

Серьезное исследование земледельческой лексики северовосточного украинского Полесья на основе богатых собственных полевых материалов (из почти 300 обследованных пунктов) опубликовала в трех книгах Е. Л. Бабичева. В первой из них [Бабичева 2011] предложен опыт классификации всего лексико-семантического поля (земельные угодья, колосовые хлеба, уборочная пора, сноп и солома, сельскохозяйственные работы, хозяйственные строения и приспособления, зерно и мука, наименования лиц по роду деятельности). Вторая книга [*идем* 2012] представляет тот же материал в другом ракурсе — с точки зрения его словообразовательной структуры и мотивационных связей. Третья книга [*идем* 2013] — обширный словарь земледельческой лексики Черниговско-Сумского Полесья с подробной разработкой значений каждой лексемы и с перечнем всех устойчивых словосочетаний, в которые она входит. Например, статья “Хлеб” занимает семь страниц и включает более сотни названий и разного рода определений хлеба (по качеству, обрядовым функциям и др.): *атесливый, забувний, закалец, лёглый, мёртвый, окисливый, прахольный, репаний, пухкий* и т. д. Фактически эта работа представляет собой текстовый эквивалент атласа, поскольку все лексемы и все значения снабжены точной географической документацией. Этот интегральный жанр словаря-атласа, впервые предложенный Н. В. Никончуком [Никончук 1979; Толстая 1982], получил продолжение в трудах других исследователей полесской лексики.

Несколько работ посвящены полесским названиям одежды и обуви. Группа житомирских авторов издала под редакцией Н. В. Никончука солидное исследование этой темы на материале правобережного Полесья также в жанре словаря-атласа [НОВПП 1998], а спустя несколько лет вышел словарь той же лексики одного из авторов этого коллективного труда [Гриماشкевич 2002], включивший полевой материал из

более чем 300 населенных пунктов Житомирской области и пограничных сел других областей Украины. В Гомеле издан словарь названий одежды, обуви и головных уборов в говорах Гомельской обл., предваряемый лексико-семантической классификацией, анализом мотивационных связей и происхождения изучаемой лексики [Станкевич, Воінава 2004]. Житомирским авторам принадлежит также монография по народной медицине [Никончук и др. 2001], построенная по идеографическому принципу (общие названия болезней и недугов, названия больного человека, названия нарывов, опухолей, телесных недостатков, глазных болезней, детских болезней и т. д.) и обобщившая материал почти 3000 населенных пунктов Полесья. Ботанической лексике посвящено исследование М. В. Поистоковой [Поістогова 2005], специально лекарственным растениям — диссертация, а затем атлас [Омельковец 2003] и книга, изданная в Луцке [ЕАДЕМ 2006]. Ценный материал по ботанической лексике Чернобыльской зоны обобщен в новой монографии [Ткачук 2016].

В 2009 г. в Минске вышел объемный том архивных заметок и материалов замечательного диалектолога, уроженца и исследователя Полесья В. Л. Веренича [Вярэнч 2009], содержащий полевые записи по ономастике (имена, прозвища, топонимы и микротопонимы, этнонимы) и лексике (особенно названия болезней) говоров Брестской и Гомельской областей Белоруссии и Ровенской области Украины, материалы для полесского словаря, ценные сведения по истории и терминологии гончарства в Полесье и др.

К немногим опытам представления диалектной лексики одновременно в географической и исторической перспективе, а также в ее отношении к литературному лексикону относится монография Г. Л. Аркушина “Народная лексика Западного Полесья” [Аркушин 2014].

Из области ономастики заслуживают упоминания киевский сборник “Ономастика Полесья” под редакцией И. М. Железняк [ОП], содержащий ценные материалы и разработки по этимологии полесских гидронимов, топонимов и некоторых антропонимов и их параллелей в балтийском, балканском, великорусском ареалах; серия монографий гомельской исследовательницы Н. А. Богомольниковой — по ойконимии [Багамольнікова 2003], по гидронимии бассейна Припяти [ЕАДЕМ 2004] и по топонимии Гомельщины [ЕАДЕМ 2008]; словарь микротопонимов Мозырского Полесья А. А. Ивановой ([2007], 4405 единиц из 132 населенных пунктов), а также словарь географической терминологии Волинского Полесья [Данилюк 2013].

Большое внимание в последнее время уделяется записи и публикации диалектных текстов. В 2015 г. в Киеве по материалам

международной конференции издан солидный сборник работ, посвященный диалектному тексту как важнейшему источнику для изучения грамматики и лексики диалекта [Текст 2015]. Появился ряд специальных изданий текстов полесских говоров — волынских [Аркушин 2010], брестских [ИДЕМ 2012А], текстов польского Подлясья [ИДЕМ 2007]. Весьма солидный том диалектных текстов примыкающей к Полесью южной части Киевской обл. издан в Черкассах [Говірки 2008]. Есть подобные издания текстов и для белорусского Полесья [Гавораць чарнобыльцы 1994].

Фольклор и традиционная культура. Комплексное этнолингвистическое изучение языка и традиционной духовной культуры Полесья продолжалось в описываемый период учениками и последователями Н. И. Толстого в Институте славяноведения РАН. После выхода в 1995 г. очередного тома из серии “Славянский и балканский фольклор”, посвященного Полесью [СБФ 1995], в котором были предложены опыты картографирования явлений традиционной духовной культуры Полесья и создания тематических словарей (терминологии народного календаря, свадебной лексики), полесская проблематика развивалась в нескольких направлениях. Прежде всего была начата электронная обработка богатого Полесского архива, собранного экспедициями 1970–1980 гг. Материалы этого архива широко использовались при создании общеславянского этнолингвистического словаря “Славянские древности” [СД], а также многих других трудов московской этнолингвистической школы (см. [Плотникова 2012; Славянская этнолингвистика 2013]).

В 2001 г. вышел в свет “Восточнославянский этнолингвистический сборник” [ВЭЛС], основу которого составили полесские исследования (по народной демонологии, антропологии, ткачеству, поверьям о ходячих покойниках), а также тематические словари полесской этнокультурной лексики (родинного, погребального обряда, астрономии и метеорологии, демонологии, обрядов и поверий, связанных с хлебом). Полесские материалы послужили главным источником для исследования Г. И. Кабаковой по народной антропологии и реконструкции “женского текста” традиционной славянской культуры [КАБАКОВА 2001]. Монография О. А. Седаковой “Поэтика обряда. Погребальная обрядность восточных и южных славян” [СЕДАКОВА 2004] выросла из наблюдений автора над обрядностью и верованиями жителей Полесья в экспедициях 1970-х гг. Полевые записи по народному календарю Полесья были обобщены в виде этнолингвистического словаря в работе [Толстая 2005]. Архивные записи составили основу сборника полесских заговоров, насчитывающего более тысячи текстов, подготовленных к печати и снабженных комментариями участниками полесских экспедиций [ПЗ].



Наконец, в 2010 г. началась обработка, систематизация и издание полесских материалов по народной демонологии, составивших четыре объемистых тома, из которых три уже увидели свет [НДП].

Один из активных участников полесских экспедиций 1970–1980 гг. А. Б. Страхов, живущий ныне в США, публикует свои полевые записи и записи некоторых своих коллег в серии “Полесские фольклорно-этнографические материалы в современных записях” (астрономия и метеорология, представления о птицах, заговоры, народная демонология и др.) в издаваемом им журнале *Palaeoslavica* [СТРАХОВ 2004–2015]. В этом журнале печатаются также и другие статьи, заметки и материалы на полесские темы А. Б. Страхова и других авторов (Ф. Д. Климчука, Г. Лопатина, Н. П. Антропова и др.).

В 1996 г. в Киеве состоялась международная научная конференция с участием украинских, белорусских, российских, польских ученых, посвященная комплексному изучению Полесья и приуроченная к 10-й годовщине Чернобыльской трагедии. Тогда же был издан сборник материалов, который должен был положить начало серии исследований языка, культуры и истории Полесья [Полісся 1996], а затем во Львове вышли сборник “Древляни” [1996] с ценными материалами по истории и культуре Полесья и особым вниманием к Чернобыльской зоне и том “Полісся України” [1997], посвященный истории и этнографии Киевского Полесья. На Украине и в Белоруссии в те же годы были начаты региональные серийные издания по истории и культуре отдельных областей Полесья, наиболее значительные из которых — украинская серия “Волинь-Житомирщина” и белорусские серии “Памяць” (историко-документальная хроника городов и районов Белоруссии) и “Загароддзе” (материалы научно-краеведческого общества западного Полесья, созданного в 1995 г.), издающиеся в Минске.

Значительным событием в изучении Полесья стало варшавское издание этносоциологических исследований известного польского ученого Юзефа Обрембского, работавшего в белорусском Полесье в 1930-х гг., под редакцией и с предисловием Анны Энгелькинг [ОВРЕЎСКИ 2005; IDEM 2007]. В Варшаве же в 1999 г. был издан прекрасный альбом фотографий 1920–1930 гг., запечатлевших виды полесских сел, постройки, интерьеры изб, одежду, быт, портреты полешуков [ПАЛЕССЕ 1999]. Исключительную ценность представляет найденная в архиве этнографического музея г. Торуня рукопись третьей части трилогии Ч. Петкевича “Речицкое Полесье”, посвященная общественной жизни полешуков, которая была опубликована в 2013 г. [PIETKIEWICZ 2013]. Вместе с первыми двумя частями, изданными в 1928 г. (“Kultura materialna”) и 1938 г. (“Kultura duchowa”), она составила единое подробное описание Речицкого Полесья.



В белорусской серии книг под общим названием “Традиционная художественная культура белорусов” вышли два тома (каждый в двух книгах), посвященные народной культуре белорусского Полесья — Брестской и Гомельской областей [ТМКБ 2009, 2013]. В них представлены все разделы народной традиции и фольклора — календарные праздники, семейные обряды, верования, фольклор (песни, проза, малые жанры, игры и др.), традиционный костюм и пр.

Целый ряд изданий посвящен народной традиции и фольклору Гомельщины — “Народная мифология Гомельщины” [НМГ 2003], “Народное духовное наследие Гомельского района” [НДСГР 2007], “Народная духовная культура Брагинщины” [НДКБ 2007], “Народные духовные богатства Буда-Кошелевского района” [ЖПР 2008]. Вопросы археологии, истории, культуры, языка и фольклора Восточного Полесья, состояния традиционной культуры и проблемы ее сохранения после Чернобыльской катастрофы обсуждались в монографии [ТМДК 2003], а затем на конференции под тем же названием, прошедшей в Гомеле [ТМДК 2006]. Из фольклорных изданий, относящихся к Гомельщине, отметим сборники заговоров [Таямницы 1997; Вярхеевка 2009; еадем 2013], примет и поверий [Прыкметы 2007], свадебных обрядов и фольклора [Вяселле 2003].

Народная традиция украинского Полесья нашла отражение в сборнике исследований и материалов, посвященном Ровенскому Полесью [ЕСРП 2002], в житомирском издании “Этнолингвистические студии” [ЕС 2007], в серии исследований отдельных сторон традиционной культуры — народного календаря [Пархоменко 2008; Волинь 2007], свадебного обряда [Несен 2005; Цвид-Гром 2000], погребального обряда [Конобродська 2007], народной медицины [Колодюк 2006; Ігнатенко 2013], малых жанров фольклора [Аркушин 2003; Добролюба 2003], фольклорной прозы одного села [Брицина, Головаха 2004]. В 2015 г. вышла в свет книга Г. Л. Аркушина, содержащая диалектные тексты на темы традиционной культуры, обрядов, обычаев, верований, записанные автором в селах Волыни, Брестщины и польского Подлясья [Аркушин 2015].

Несмотря на неизбежную неполноту представленной здесь лингвистической и этнокультурной библиографии Полесья, прогресс в изучении этого во многих отношениях ключевого региона славянского мира, достигнутый за последнее двадцатилетие, очевиден. Накопленные фактические данные и наблюдения, результаты конкретных исследований, полевых и кабинетных, охватывающих все Полесье, какую-то его часть, микрорегион или даже один говор или одну локальную традицию, позволили включить полесские данные в широкий круг общеславянских

сопоставлений и подтвердит исключительное значение Полесья для праславянских реконструкций языка и традиционной духовной культуры славян (ср. [Плотникова 2013; Николаев, ТЕР-АВАНЕСОВА, Толстая 2013]).

## Библиография

Аркушин 2000

Аркушин Г. Л., *Словник західнополіських говірок*, 1–2, Луцьк, 2000.

——— 2003

Аркушин Г., *Сказав, як два зв'язав. Народні вислови та загадки із Західного Полісся і західної частини Волині*, Люблін, Луцьк, 2003.

——— 2004

Аркушин Г., *Іменний словотвір західнополіського говору*, Луцьк, 2004.

——— 2005

Аркушин Г. Л., *Словник евфемізмів, уживаних у говірках та молодіжному жаргоні Західного Полісся і західної частини Волині*, Луцьк, Люблін, 2005.

——— 2007

Аркушин Г., *Голоси з Підляшшя (Тексти)*, Луцьк, 2007.

——— 2008

Аркушин Г., *Атлас західнополіських фаунономенів*, Луцьк, 2008.

——— 2008a

Аркушин Г., *Атлас мисливської лексики Західного Полісся*, Луцьк, 2008.

——— 2009

Г. Л. Аркушин, упор., *Словник прізвищ північно-західної України у трьох томах*, Луцьк, 2009.

——— 2010

Аркушин Г., *Голоси з Волинського Полісся: Тексти*, Луцьк, 2010.

——— 2012

Аркушин Г. Л., *Західнополіська діалектологія*, Луцьк, 2012.

——— 2012a

Аркушин Г., *Голоси з Берестейщини: Тексти*, Луцьк, 2012.

——— 2014

Аркушин Г. Л., *Народна лексика Західного Полісся*, Луцьк, 2014.

——— 2015

Аркушин Г. Л., *“Всього на світі хватає...” (фольклор, звичаї та обряди Західного Полісся у діалектологічних записах)*, Луцьк, 2015.

——— 2016

Аркушин Г., *Словник західнополіських говірок*, 2-е вид., перероб. і доповн., Луцьк, 2016.

АУМ 2

*Атлас української мови*, 2: Волинь, Наддністрянщина, Закарпаття і суміжні землі, Київ, 1988.

БАБИЧЕВА 2011

БАБИЧЕВА Е. Л., *Земледельческая лексика Черниговско-Сумского Полесья. Опыт лексико-семантической классификации*, Сумы, 2011.

——— 2012

БАБИЧЕВА Е. Л., *Словообразовательная структура земледельческой лексики северо-восточного Полесья*, Сумы, 2012.

——— 2013

БАБИЧЕВА Е. Л., *Говоры левобережнополесского порубежья (земледельческая лексика)*, Сумы, 2013.

БАГАМОЛЬНИКАВА 2003

БАГАМОЛЬНИКАВА Н. А., *Айканімія Гомельшчыны: Слоўнік*, Гомель, 2003.

——— 2004

БАГАМОЛЬНИКАВА Н. А., *Гідронімы басейна ракі Прыпяць: структурна-семантичныя тыпы матывацыі*, Гомель, 2004.

——— 2008

БАГАМОЛЬНИКАВА Н. А., *Тапанімія Гомельшчыны: структурна-семантична характарыстыка*, Гомель, 2008.

БІДНОШИЯ 2006

БІДНОШИЯ Ю., *Етнолінгвістичні матеріали з північного Підляшшя*, Київ, 2006.

БОСАК, БОСАК 2005–2006

БОСАК А. А., БОСАК В. М., *Атлас гаворак Пружанскага раёна Брэсцкай вобласці і сумежжа (Верхняяга Над'ясельдзя)*, 1: *Фанетика і марфалогія*, Мінск, 2005; 2: *Лексіка*, Мінск, 2006.

БРІЦИНА, ГОЛОВАХА 2004

БРІЦИНА О., ГОЛОВАХА І., *Прозовий фольклор села Плоске на Чернігівщині: Тексти та розвідки*, Київ, 2004.

ВОЛИНЬ 2007

Волинь філологічна: текст і контекст. Західнополіський діалект у загально-українському та всеслов'янському контекстах, 4, Луцьк, 2007.

ВЭЛС

Плотникова А. А., *ответ. ред., Восточнославянский этнолингвистический сборник. Исследования и материалы*, Москва, 2001.

ВЯРГЕЕНКА 2009

ВЯРГЕЕНКА С., *“На моры-акіяне, на востраве Буяне...” (лекавыя замовы Гомельшчыны): фальклорна-этнаграфічны зборнік*, рэд. В. С. НОВАК, Гомель, 2009.

——— 2013

ВЯРГЕЕНКА С. А., *уклад., Гаючае слова роднай зямлі (беларускія лекавыя замовы). Фальклорна-этнаграфічны зборнік*, Гомель, 2013.

ВЯРЭНІЧ 2009

ВЯРЭНІЧ В. Л., *Палескі архіў. Лінгвістычныя, этнаграфічныя і гістарычныя матэрыялы*, Ф. Клімчук, Э. Смулкова, А. Энгелькінг, рэд., Мінск, 2009.

ВЯСЕЛЛЕ 2003

НОВАК В. С., *уклад., рэд., Вяселле на Гомельшчыне. Фальклорна-этнаграфічны зборнік*, Мінск, 2003.

ГАВОРАЦЬ ЧАРНОБЫЛЬЦЫ 1994

КРЫВІЦКІ А. А., *склад. і навук. рэд., Гавораць чарнобыльцы (з мясцовых гаворак чарнобыльскай зоны ў Беларусі)*, Мінск, 1994.

ГОВІРКИ 2008

*Говірки південної Київщини. Збірник діалектних текстів*, Черкаси, 2008.

ГРИМАСHEВИЧ 2002

ГРИМАСHEВИЧ Г., *Словник назв одягу та взуття середньополіських і суміжних говірок*, Житомир, 2002.

ГЧЗ 1996

Гриценко П. Ю., ред., *Говірки чорнобильської зони. Тексти*, Київ, 1996.

ГЧЗ 1999

Гриценко П. Ю., ред., *Говірки чорнобильської зони. Системний опис*, Київ, 1999.

ДАБМ

*Дыялекталагічны атлас беларускай мовы*, Мінск, 1963.

Данилюк 2013

Данилюк О. К., *Словник народних географічних термінів Волині*, 2-е вид., доп. і виправ., Луцьк, 2013.

Дейниченко 1997

Дейниченко Н., "Ареальне членування східнополіського говору", in: *Український діалектологічний збірник*, 3, Київ, 1997, 172–177.

Доброльожа 2003

Доброльожа Г., *Красне слово — як золотий ключ. Постійні народні порівняння в говірках Середнього Полісся та суміжних територій*, Житомир, 2003.

Дорошенко 1999

Дорошенко Л. І., "Ареалогія будівельної лексики східнополіського діалекту" (дисертація канд. філол. наук, Київ, 1999).

——— 2001

Дорошенко Л., "Історіографія діалектного членування східнополіського говору", in: *Волинь — Житомирщина*, 6, 2001, 238–248.

Древляни 1996

*Древляни*, 1: *Збірник статей і матеріалів з історії та культури Поліського краю*, Львів, 1996.

ДСБ

*Дыялектны слоўнік Брэстчыны*, Мінск, 1989.

ЕС 2007

Гриценко П., Конобродська В., відп. ред., *Етнолінгвістичні студії*, 1, Житомир, 2007.

ЕСРП 2002

*Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся*, III, Рівне, 2002.

Етнокультура 1998

*Етнокультура Волинського Полісся і чорнобильська трагедія*, 3: *Зарічненський р. Рівненської області*, Рівне, 1998.

Євтушок 1993

Євтушок О., *Атлас будівельної лексики Західного Полісся*, Рівне, 1993.

ЖПР 2008

*Жаўруковая песня радзімы. Народныя духоўныя скарбы Буда-Кашалёўскага краю*, агульн. рэд. В. С. Новак, Гомель, 2008.

Зінчук 2010

Зінчук Р. С., *Атлас словозміни іменників у західнополіських говірках*, Луцьк, 2010.

Иванова 2007

Иванова А. А., *Микротопонимия Мозырского Полесья*, 2-е изд., Мозырь, 2007.

Ігнатенко 2013

Ігнатенко І., *Народна медицина українців середнього Полісся: традиції та сучасність (на польових етнографічних матеріалах)*, Кам'янець-Подільський, 2013.

КАБАКОВА 2001

КАБАКОВА Г. И., *Антропология женского тела в славянской традиции*, Москва, 2001.

Климчук 1998

Климчук Ф. Д., “Диалектные типы Полесья”, in: *Слово и культура. Памяти Н. И. Толстого*, 1, Москва, 1998, 118–135.

——— 1999

Климчук Ф. Д., “Диалектные типы Полесья на общеславянском фоне”, in: *Славянские этюды*, Москва, 1999, 214–227.

Колодюк 2006

Колодюк І., *Народна медицина у традиційній культурі українців центрального Полісся (остання чверть ХХ — початок ХХІ ст.)*, Київ, 2006.

Конобродська 2007

Конобродська В., *Поліський поховальний і поминальні обряди. Етнолінгвістичні студії*, 1, Житомир, 2007.

Купрыенка, Шур 1996

Купрыенка В. А., Шур В. В., *Матэрыялы да слоўніка гаворак Мазырскага Палесся*, Мазыр, 1996.

Куриленко 2001

Куриленко В. М., *До ареалогії та стратиграфії північних (поліських) говорів*, Глухів, 2001.

——— 2004

Куриленко В. М., *Атлас лексики тваринництва у поліських діалектах*, Глухів, 2004.

Куриленко, Приймак 2007

Куриленко В. М., Приймак В. В., *Східне Полісся: лінгвістичний та історико-археологічний аспекти*, Полтава, Глухів, 2007.

Кучук, Малюк 2000

Кучук І. М., Малюк А. К., *Палескі слоўнік: Лельчыцкі раён*, Мазыр, 2000.

ЛАБНГ

*Лексічны атлас беларускіх народных гаворак*, 1–5, Мінск, 1993–1997.

Леванцэвіч 2001

Леванцэвіч Л. В., *Атлас гаворак Бярозаўскага раёна Брэсцкай вобласці. Лексіка*, Брэст, 2001.

Лексіка Припяцкага Палесся 2008

*Лексіка гаворак Припяцкага Палесся. Атлас. Слоўнік*, Мінск, 2008.

ЛЕСІВ 1997

ЛЕСІВ М., *Українські говірки у Польщі*, Варшава, 1997.

ЛМТ

*Лінгвістичны мікраатлас Тураўшчыны*, Мінск, 2016.

Ляшкевіч 2004

Ляшкевіч І. Ул., *Альпенскі дыялектны слоўнік*, Альпень–Берасьце, 2004.

Машеве 2003

*Говірка села Машеве Чорнобильського району*, 1: *Тексти*, Ю. І. Бідношия, Л. В. Дика, уклад.; 2: *Тексти*, Г. В. Воронич, Л. А. Москаленко, Л. Г. Пономар, уклад.; 3: *Матеріали до лексичного атласу української мови*, Ю. І. Бідношия, Г. В. Воронич, Л. В. Дика, Л. Г. Пономар, уклад.; 4: *Матеріали до поліського етнолінгвістичного атласу*, Ю. І. Бідношия, Г. В. Воронич, Л. В. Дика, Л. Г. Пономар, уклад., Київ, 2003.

Мойсієнко 2006

Мойсієнко В. М., “Північне наріччя української мови в XVI–XVII ст. Фонетика” (дисертація докт. філол. наук, Житомир, 2006).

——— 2007

Мойсієнко В., *Про південноукраїнський ікавізм та поліські дифтонги*, Житомир, 2007.



- 2016  
МОЙСІЄНКО В., *Історична діалектологія української мови. Північне (поліське) наріччя*, Київ, 2016.
- НАЗАРОВА 1985  
НАЗАРОВА Т. В., *Лінгвістичний атлас Нижньої Прип'яті*, Київ, 1985.
- НДКБ 2007  
НОВАК В. С., КОВАЛЬ У. І., склад., *Народная духоўная культура Брагіншчыны*, Гомель, 2007.
- НДП  
ВИНОГРАДОВА Л. Н., ЛЕВКИЕВСКАЯ Е. Е., сост., *Народная демонология Полесья. Публикация текстов в записях 80–90-х годов XX века*, 1: Люди со сверхъестественными свойствами, Москва, 2010; 2: Демонологизация умерших людей, Москва, 2012; 3: Мифологизация природных явлений и человеческих состояний, Москва, 2016; 4: Духи домашнего и природного пространства (в печати).
- НДСГР 2007  
НОВАК В. С., аўтар-уклад., *Народная духоўная спадчына Гомельскага раёна*, Гомель, 2007.
- НЕСЕН 2005  
НЕСЕН І. І., *Весільний ритуал Центрального Полісся: традиційна структура та реліктові форми (середина XIX – XX ст.)*, Київ, 2005.
- НИКОЛАЕВ, ТЕР-АВАНЕСОВА, ТОЛСТАЯ 2013  
НИКОЛАЕВ С. Л., ТЕР-АВАНЕСОВА А. В., ТОЛСТАЯ М. Н., “Вокализм полесских говоров в праславянской перспективе”, in: *Славянское языкознание. XV Международный съезд славистов. Минск, 20–27 августа 2013 г. Доклады российской делегации*, Москва, 2013, 99–140.
- НИКОНЧУК 1979  
НИКОНЧУК М. В., *Матеріали до лексичного атласу української мови (Правобережне Полісся)*, Київ, 1979.
- 1994  
НИКОНЧУК М. В., *Лексичний атлас Правобережного Полісся*, Житомир, 1994.
- 2007  
Професор Микола Васильович Никончук. Матеріали до бібліографії вчених, упор. і автор вступ. ст. П. Ю. Гриценко, Київ, 2007.
- 2012  
НИКОНЧУК М., *Правобережнополіські говірки в лінгвогеографічному висвітленні*, Житомир, 2012.
- 2012а  
НИКОНЧУК М. В., *Програма-підручник до Лексичного атласу Правобережного Полісся*, Житомир, 2012.
- НИКОНЧУК И ДР. 2001  
НИКОНЧУК М. В., НИКОНЧУК О. М., МОЙСІЄНКО В. М., *Поліська лексика народної медицини та лікувальної магії*, Житомир, 2001.
- НМГ 2003  
НОВАК В. С., уклад., *Народная міфалогія Гомельшчыны: фальклорна-этнаграфічны зборнік*, Гомель, 2003.
- НОВПП  
НИКОНЧУК М., ДОБРОЛЬОЖА Г., ГРИМАШКЕВИЧ Г., сост., *Из глубинных джерел історії Полісся. Назви одягу та взуття Правобережного Полісся*, Житомир, 1998.
- ОМЕЛЬКОВЕЦЬ 2003  
ОМЕЛЬКОВЕЦЬ Р., *Атлас західнополіських назв лікарських рослин*, Луцьк, 2003.

——— 2006

Омельковець Р. С., *Номінація лікарських рослин в українському західнополіському говорі*, Луцьк, 2006.

ОП

Железняк І. М., відпов. ред., *Ономастика Полісся*, Київ, 1999.

ПАЛЕССЕ 1999

Рушчык Г., Энгелькінг А., *Палессе. Фотоздымкі з двадцатых і трыццатых гадоў*, пераклад з польск., Варшава, 1999.

ПАРХОМЕНКО 2008

ПАРХОМЕНКО Т., *Календарні звичаї та обряди Рівненщини*, Рівне, 2008.

ПАШКЕВІЧ 2008

ПАШКЕВІЧ М. І., *Рубельскі лексіка-фразеалагічны слоўнік*, Брэст, 2008.

ПЗ

Агапкина Т. А., Левкиевская Е. Е., Топорков А. Л., сост. и коммент., *Полесские заговоры (в записях 1970–1990 гг.)*, Москва, 2003.

ПЗВ

Мойсієнко В. М., відпов. ред., *Поліські зворини. Збірник пам'яті професора Миколи Васильовича Никончука (1937–2001)*, Житомир, 2007.

ПЛОТНИКОВА 2012

ПЛОТНИКОВА А. А., “Полесский архив: база данных и исследования”, *Живая старина*, 4, 2012, 35–38.

——— 2013

ПЛОТНИКОВА А. А., “Полесье как архаическая зона Славии: этнолингвистический аспект”, in: *Славянское языкознание. XV Международный съезд славистов. Минск, 20–27 августа 2013 г. Доклады российской делегации*, Москва, 2013, 233–263.

ПОІСТОГОВА 2005

ПОІСТОГОВА М. В., “Номінаційні процеси у ботанічній лексиці східнополіських говірок” (автореферат канд. дис., Київ, 2005).

ПОЛЕСЬЕ И ЭТНОГЕНЕЗ СЛАВЯН 1983

Толстой Н. И., ответ. ред., *Полесье и этногенез славян. Предварительные материалы и тезисы конференции*, Москва, 1983.

ПОЛІСНЯ 1996

*Полісся: мова, культура, історія. Матеріали міжнародної конференції*, Київ, 1996.

ПОЛІСНЯ УКРАЇНИ 1997

*Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження*, 1, Київське Полісся, 1994, Львів, 1997.

ПОНОМАР 1993

ПОНОМАР Л., *Назвы одягу Західного Полісся*, Рівне, 1993.

ПРЫКМЕТЫ 2007

Новак В. С., Кастрыца А. А., склад., *Прыкметы і павер'і Гомельшчыны*, Гомель, 2007.

САМУЙЛІК 2009

САМУЙЛІК Я. Р., *Гаворкі Выганаўскага Палесся*, Брэст, 2009.

——— 2013

САМУЙЛІК Я. Р., *Атлас гаворак Выганаўскага Палесся*, Брэст, 2013.

СБФ 1995

Толстой Н. И., ответ. ред., *Славянский и балканский фольклор. Этнолингвистическое изучение Полесья*, Москва, 1995.

СД

Славянские древности. Этнолингвистический словарь, 1–5, под общей ред.  
Н. И. Толстого, Москва, 1995–2012.

СЕДАКОВА 2004

СЕДАКОВА О. А., *Поэтика обряда. Погребальная обрядность восточных и южных славян*,  
Москва, 2004.

СЛАВЯНСКАЯ ЭТНОЛИНГВИСТИКА 2013

Славянская этнолингвистика. Библиография, 4-е изд., Москва, 2013.

СТАНКЕВИЧ, ВОІНАВА 2004

СТАНКЕВИЧ А. А., ВОІНАВА А. М., *Назвы адзення, абутку і галаўных убораў у гаворках  
Гомельшчыны: этналінгвістычны аналіз*, Гомель, 2004.

СТРАХОВ 2004–2015

СТРАХОВ А. Б., “Полесские фольклорно-этнографические материалы в современных  
записях”, 1–9, *Palaeoslavica*, 12–23, 2004–2015.

ТАЯМНІЦЫ 1997

ШТЭЙНЕР І. Ф., НОВАК В. С., уклад., *Таямніцы замоўнага слова*, Гомель, 1997.

ТЕКСТ 2015

ГРИЦЕНКО П. Ю., відп. ред., *Діалекти в синхронії та діяхронії: текст як джерело  
лінгвістичних студій*, Київ, 2015

ТКАЧУК 2016

ТКАЧУК М. М., *Ботанічна лексика говірок Чорнобильської зони: Реконструкція  
редуктивного ареалу*, Київ, 2016.

ТМДК 2003

ЛИН Д. Г., науч. ред., *Традиции материальной и духовной культуры Восточного Полесья:  
проблемы изучения, сохранения и развития в постчернобыльское время*, Гомель, 2003.

ТМДК 2006

*Традиції матеріальної і духовної культури Усходняга Полесья: проблеми вивчення і  
захавання у постчарнобыльські час*, Гомель, 2006.

ТМКБ 2009

*Традыцыйная мастацкая культура беларусаў*, 4: *Брэсцкае Палессе*, 1–2, Мінск, 2009.

ТМКБ 2013

*Традыцыйная мастацкая культура беларусаў*, 6: *Гомельскае Палессе*, 1–2, Мінск, 2013.

ТОЛСТАЯ 1982

ТОЛСТАЯ С. М., “Об одном опыте ареального исследования полесской лексики”, in:  
*Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1980*, Москва,  
1982, 350–360.

——— 1985

ТОЛСТАЯ С. М., “О новых направлениях в белорусской диалектной лексикографии”, in:  
*Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1982*, Москва,  
1985, 292–315.

——— 1992

ТОЛСТАЯ С. М., “Этнолингвистическое картографирование в зоне украинско-  
белорусского пограничья”, in: *Między Wschodem a Zachodem*, 4, *Zjawiska językowe na  
pograniczu polsko-ruskim*, J. BARTMIŃSKI, M. ŁESIOŃ, red., Lublin, 1992, 75–81.

——— 1996

ТОЛСТАЯ С. М., “Этнолингвистическое изучение Полесья: состояние и перспективы”, in:  
*Полісся: мова, культура, історія. Матеріали міжнародної конференції*, Київ, 1996, 47–54.

——— 2000

Толстая С. М., “Лексика Полесья в картографическом представлении (К выходу в свет ‘Лексического атласа Правобережного Полесья)”, in: *Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1994–1996*, Москва, 2000, 231–239.

——— 2005

Толстая С. М., *Полесский народный календарь. Материалы к этнодиалектному словарю*, Москва, 2005.

——— 2007

Толстая С. М., “Полесские экспедиции”, in: *Как это было... Воспоминания сотрудников Института славяноведения*, Москва, 2007, 89–99.

Толстой 1968

Толстой Н. И., “О лингвистическом изучении Полесья (предисловие редактора)”, in: *Полесье (Лингвистика. Археология. Топонимика)*, Москва, 1968, 5–17.

——— 1995

Толстой Н. И., “Этнокультурное и лингвистическое изучение Полесья (1984-1994)”, in: *Славянский и балканский фольклор. Этнолингвистическое изучение Полесья*. Москва, 1995, 5–19.

Толстые 1983

Толстой Н. И., Толстая С. М., “О задачах этнолингвистического изучения Полесья”, in: *Полесский этнолингвистический сборник. Материалы и исследования*, Москва, 1983, 3–21.

ТС

*Тураўскі слоўнік*, 1–5, Мінск, 1982–1887.

Турчин 2012

Турчин Є., *Назви їжі на Східному Поліссі*, Львів, 2012.

УППП

Чижевський Ф., Аркушин Г., ред., *Українські і польські говірки пограниччя*, Люблін, Луцьк, 2001.

Цвид-Гром 2000

Цвид-Гром О., “Традиційна символіка весільного фольклору Західного Полісся” (дисертація канд. філол. наук, Львів, 2000).

ЧАРНЯКЕВІЧ 2009

ЧАРНЯКЕВІЧ Ю. В., *Атлас гаворак паўночна-ўсходняй Брэстчыны*, Мінск, 2009.

ЧИРУК 2010

ЧИРУК Л. М., *Атлас ентомологічної лексики Західного Полісся*, Луцьк, 2010.

AGWSB

*Atlas gwar wschodniostowiańskich Białostoczczyzny*, 1–7, Wrocław, Warszawa, Kraków, 1980–1999.

BUG 2002

*Bug. Rzeka która łączy*, Piaski, 2002.

CMENTARZE 2014

ARKUSZYN H., CZYŻEWSKI F., DUDEK-SZMUGAJ A., red., *Cmentarze po obu stronach Bugu*, Włodawa, Lublin, 2014.

CZYŻEWSKI, NIEBRZEGOWSKA-BARTMIŃSKA 2001

CZYŻEWSKI F., NIEBRZEGOWSKA-BARTMIŃSKA S., “Prace nad Atlasem etnolingwistycznym Pobuża w latach 1994–2001”, in: *Język a kultura na pograniczu polsko-ukraińsko-białoruskim*, red. F. Czyżewski, 3, Lublin, 2001, 253–260.

FLORA 2006

CZYŻEWSKI F., URBAN D., red., *Flora i fitonimy na pograniczu polsko-ukraińskim*, Lublin, 2006.

GMINA WOLA UHRUSKA 2003

CZYŻEWSKI F., red., *Gmina Wola Uhruska na tle Euroregionu Bug. Język i kultura*, Wola Uhruska, 2003.

KOŚĆ 1999

KOŚĆ J., *Polszczyzna południowokresowa na polsko-ukraińskim pograniczu językowym w perspektywie historycznej*, Lublin, 1999.

OBREŃBSKI 2005

OBREŃBSKI J., *Dzisiejsi ludzie Polesia i inne eseje*, przygot. i przedmowa A. ENGELKING, Warszawa, 2005.

— 2007

OBREŃBSKI J., *Polesie*, red. naukowa i wstęp A. ENGELKING (= Studia etnosocjologiczne, 1), Warszawa, 2007.

PASTUSIAK 2007

PASTUSIAK K., *Pogranicze polsko-białoruskie-ukraińskie w świetle danych językowych i etnograficznych na podstawie nazw roślin*, Warszawa, 2007.

PIETKIEWICZ 2013

PIETKIEWICZ Cz., *Kultura społeczna Polesia Rzeczyckiego*, red. nauk. i wpraw. A. ENGELKING, Toruń, 2013.

POGRANICZA 2015

CZYŻEWSKI F., OLEJNIK M., PIHAN-KIJASOWA A., red., *Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych. W 110 rocznicę urodzin Prof. Władysława Kuraszkiewicza (1905–1997)*, Lublin, Włodawa, 2015.

SPOTKANIA 2006

PELCOWA H., red., *Spotkania polsko-ukraińskie. Język - Kultura - Literatura*, Chełm, 2006.

## References

Agapkina T. A., Levkiewskaia E. E., Toporov A. L., eds., *Poleskie zagovory (v zapisiakh 1970–1990 gg.)*, Moscow, 2003.

Arkushyn H. L., *Slovnyk zakhidnopolis'kykh hoviropk*, 1-2, Luts'k, 2000.

Arkushyn H. L., *Skazav, iak dva zv'iazav. Narodni vyslovy ta zahadky iz Zakhidnoho Polissia i zakhidnoi chastyny Volyni*, Lublin, Luts'k, 2003.

Arkushyn H. L., *Imennyi slovotvir zakhidnopolis'-koho hovoru*, Luts'k, 2004.

Arkushyn H. L., *Slovnyk vyfemizmiv, uzhyvanykh u hovirkakh ta molodizhnomu zharhoni Zakhidnoho Polissia i zakhidnoi chastyny Volyni*, Luts'k, Lublin, 2005.

Arkushyn H. L., *Holosy z Pidliashshia (Teksty)*, Luts'k, 2007.

Arkushyn H. L., *Atlas zakhidnopolis'kykh faunomeniv*, Luts'k, 2008.

Arkushyn H. L., *Atlas myslivs'koï leksyky Zakhidnoho Polissia*, Luts'k, 2008.

Arkushyn H. L., ed., *Slovnyk pryzvys'k pivnichno-zakhidnoi Ukraïny u tr'okh tomakh*, Luts'k, 2009.

Arkushyn H. L., *Holosy z Volyns'koho Polissia: Teksty*, Luts'k, 2010.

Arkushyn H. L., *Zakhidnopolis'ka dialektolohiia*, Luts'k, 2012.

Arkushyn H. L., *Holosy z Beresteishchyny: Teksty*, Luts'k, 2012.

Arkushyn H. L., *Narodna leksyka Zakhidnoho Polissia*, Luts'k, 2014.

Arkushyn H. L., "Vs'oho na svity khvataie..." (*fol'klor, zvychai ta obriady Zakhidnoho Polissia u dialektolohichnykh zapysakh*), Luts'k, 2015.

Arkushyn H. L., *Slovnyk zakhidnopolis'kykh hoviropk*, Luts'k, 2016.

Arkushyn H. L., Czyżewski F., Dudek-Szmu-gaj A., red., *Cmentarze po obu stronach Bugu*, Włodawa, Lublin, 2014.

Babicheva E. L., *Zemledel'cheskaia leksika Chornigovsko-Sumskogo Poles'ia. Opyt leksiko-semanticheskoi klassifikatsii*, Sumy, 2011.

Babicheva E. L., *Slovoobrazovatel'naia struktura zemledel'cheskoi leksiki severo-vostochnogo Poles'ia*, Sumy, 2012.

Babicheva E. L., *Govory levoberezhnopolesskogo porubezh'ia (zemledel'cheskaia leksika)*, Sumy, 2013.

Bahamolnikava N. A., *Ajkanimija Homieŭščyny: Sloŭnik*, Gomel, 2003.

Bahamolnikava N. A., *Hidronimy basiejna raki Prypiać: strukturna-siemantyčnyja typy matyvacyi*, Gomel, 2004.



- Bahamólnikava N. A., *Tapanimija Homieľščyny: strukturna-siemantyčna charakterystyka*, Gomel, 2008.
- Bidnoshyia J., *Etnolinhvistychni materialy z pivnichnoho Pidliashshia*, Kiev, 2006.
- Bosak A. A., Bosak V. M., *Atlas havorak Pruzhanskaha rajona Bresckaj voblasti i sumiežža (Vierchniaha Nad'jasieľdzia)*, 1: *Fanietuka i marfalohija*, Minsk, 2005; 2: *Lieksika*, Minsk, 2006.
- Britsyna O., Holovakha I., *Prozovy fol'klor sela Ploske na Chernihivshchyni: Teksty ta rozvidky*, Kiev, 2004.
- Čarniakievič Ju. V., *Atlas havorak paľnočna-űschodniaj Brestčyny*, Minsk, 2009.
- Chyruk L. M., *Atlas entomolohichnoľ leksyki Zakhidnoho Polissia*, Lutsk, 2010.
- Czyżewski F., Arkushyn H. L., eds., *Ukraińs'ki i pol's'ki hovirky pohranychchia*, Lublin, Lutsk, 2001.
- Czyżewski F., Niebrzegowska-Bartmińska S., "Prace nad Atlasem etnolingwistycznym Pobuża w latach 1994–2001," in: *Język a kultura na pograniczu polsko-ukraińsko-białoruskim*, red. F. Czyżewski, 3, Lublin, 2001, 253–260.
- Czyżewski F., Urban D., eds., *Flora i fitonimy na pograniczu polsko-ukraińskim*, Lublin, 2006.
- Czyżewski F., ed., *Gmina Wola Uhruska na tle Euroregionu Bug. Język i kultura*, Wola Uhruska, 2003.
- Czyżewski F., Olejnik M., Pihan-Kijasowa A., eds., *Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych. W 110 rocznicę urodzin Prof. Władysława Kuraskiewicza (1905–1997)*, Lublin, Włodawa, 2015.
- Danyliuk O. K., *Slovník narodných heografických terminů Volýni*, Lutsk, 2013.
- Deinychenko N., "Areal'ne chlenuvannia skhidnopolis'koho hovu," in: *Ukraińs'kyi dialektolohichnyi zbirnyk*, 3, Kiev, 1997, 172–177.
- Dobrol'ozha H., *Krasne slovo – iak zoloty kliuch. Postiini narodni porivniannia v hovirkakh Seredn'oho Polissia ta sumizhnykh terytorii*, Zhytomyr, 2003.
- Doroshenko L., "Istoriografia dialektnoho chlenuvannia skhidnopolis'koho hovu," in: *Volyn' – Zhytomyrshchyna*, 6, 2001, 238–248.
- Gricenko P. Iu., ed., *Hovirky chornobyl's'koľ zony. Teksty*, Kiev, 1996.
- Gricenko P. Iu., ed., *Hovirky chornobyl's'koľ zony. Systemnyi opys*, Kiev, 1999.
- Gricenko P. Iu., ed., *Profesor Mykola Vasyl'ovych Nykonchuk. Materialy do bibliografii vchenykh*, Kiev, 2007.
- Gricenko P., Konobrods'ka V., eds., *Etnolinhvistychni studii*, 1, Zhytomyr, 2007.
- Gricenko P. Iu., ed., *Dialekty v synkhronii ta diakhronii: tekst iak dzherelo linhvistychnykh studii*, Kiev, 2015.
- Hrymashevych H., *Slovník nazv odiahu ta vzuttia seredn'opolis'kykh i sumizhnykh hovirok*, Zhytomyr, 2002.
- Ievtushok O., *Atlas budivel'noľ leksyki Zakhidnoho Polissia*, Rivne, 1993.
- Ihnatenko I., *Narodna medytsyna ukraińtsiv seredn'oho Polissia: tradytsii ta suchasnist' (na pol'ovykh etnografichnykh materialakh)*, Kamianets-Podilskyi, 2013.
- Ivanova A. A., *Mikrotoponimiia Mozyrskogo Poles'ia*, 2-e izd., Mozyr, 2007.
- Kabakova G. I., *Antropologiiia zhenskogo tela v slavianskoi traditsii*, Moscow, 2001.
- Klimchuk F. D., "Dialektnye typy Poles'ia," in: *Slovo i kul'tura. Pamiati N. I. Tolstogo*, 1, Moscow, 1998, 118–135.
- Klimchuk F. D., "Dialektnye typy Poles'ia na obshcheslavianskom fone," in: *Slavianskie etudy*, Moscow, 1999, 214–227.
- Kość J., *Polszczyzna południowokresowa na polsko-ukraińskim pograniczu językowym w perspektywie historycznej*, Lublin, 1999.
- Kolodiuk I., *Narodna medytsyna u tradytsiinii kul'turi ukraińtsiv tsentral'noho Polissia (ostannia chvert' XX – pochatok XXI st.)*, Kiev, 2006.
- Konobrods'ka V., *Polis'kyi pokhovaľnyi i pomynaľni obriady. Etnolinhvistychni studii*, 1, Zhytomyr, 2007.
- Kryvicki A. A., ed., *Havorač čarnobyl'cy (z miascovykh havorak čarnobyl'skaj zony ũ Bielarusi)*, Minsk, 1994.
- Kučuk I. M., Maliuk A. K., *Palieski slovník: Lieľčycki rajon*, Mazyr, 2000.
- Kupryjenka V. A., Šur V. V., *Materyjaly da slońnika havorak Mazyrskaha Paliessia*, Mazyr, 1996.
- Kurylenko V. M., *Do arealohii ta stratyhrافیi pivnichnykh (polis'kykh) hovoriv*, Hlukhiv, 2001.
- Kurylenko V. M., *Atlas leksyki tvarynnystva u polis'kykh dialektakh*, Hlukhiv, 2004.
- Kurylenko V. M., Pryimak V. V., *Skhidne Polissia: linhvistychni ta istoryko-arkheolohichni aspekty*, Poltava, Hlukhiv, 2007.
- Lesiv M., *Ukraińs'ki hovirky u Pol'shchi*, Warsaw, 1997.
- Liaškievič I. Yu., *Alpienski dyialektny slovník*, Alpen–Brest, 2004.
- Lievancevič L. V., *Atlas havorak Biarozaűskaha rajona Bresckaj voblasti. Lieksika*, Brest, 2001.
- Lin D. G., ed., *Traditsii material'noi i dukhovnoi kul'tury Vostochnogo Poles'ia: problemy izucheniia, sokhraneniia i razvitiia v postchornobyl'skoe vremia*, Gomel, 2003.
- Moisiienko V. M., ed., *Polis'ki zvoryny. Zbirnyk pam'iaty profesora Mykoľ Vasyl'ovycha Nykonchuka (1937–2001)*, Zhytomyr, 2007.
- Moisiienko V., *Pro pivdennoukraińskyi ikavizm ta polis'ki dyftony*, Zhytomyr, 2007.
- Moisiienko V., *Istorychna dialektolohiiia ukraińs'koľ movy. Pivnichne (polis'ke) narichchia*, Kiev, 2016.
- Nazarova T. V., *Linhvistychni atlas Nyzhn'oi Pryp'iaty*, Kiev, 1985.
- Nesen I. I., *Vesil'nyi rytual Tsentral'noho Polissia: tradytsiina struktura ta reliktovi formy (seredyna XIX–XX st.)*, Kiev, 2005.

- Nikolaev S. L., Ter-Avanesova A. V., Tolstaya M. N., "Vokalizm poleskikh govorov v praslavianskoi perspektive," in: *Slavianskoe iazykoznanie. XV Mezhdunarodnyi s"ezd slavistov. Minsk, 20–27 avgusta 2013 g. Doklady rossiiskoi delegatsii*, Moscow, 2013, 99–140.
- Novak V. S., ed., *Viasielle na Homiełščynie. Fałklorna-etnagrafičny zbornik*, Minsk, 2003.
- Novak V. S., ed., *Narodnaja mifalohija Homiełščyny: fałklorna-etnagrafičny zbornik*, Gomel, 2003.
- Novak V. S., Kastyryca A. A., eds., *Prykmiety i pavier'i Homiełščyny*, Gomel, 2007.
- Novak V. S., Kovaľ U. I., ed., *Narodnaja duchoŭnaja kultura Brahinsčyny*, Gomel, 2007.
- Novak V. S., ed., *Narodnaja duchoŭnaja spadčyna Homiełskaha rajona*, Gomel, 2007.
- Novak V. S., ed., *Žaŭrukovaja piesnia radzimy. Narodnyja duchoŭnyja skarby Buda-Kašalioŭskaha kraju*, Gomel, 2008.
- Nykonchuk M. V., *Materialy do leksychnoho atlasu ukraïns'koï movy (Pravoberezhne Polissia)*, Kiev, 1979.
- Nykonchuk M. V., *Leksychnyi atlas Pravoberezhnoho Polissia*, Zhytomyr, 1994.
- Nykonchuk M. V., *Pravoberezhnopolis'ki hovirky v línhoheohrafičnomu vysvitlenni*, Zhytomyr, 2012.
- Nykonchuk M. V., *Prohrama-pytaľnyk do Leksychnoho atlasu Pravoberezhnoho Polissia*, Zhytomyr, 2012.
- Nykonchuk M., Dobrol'ozha H., Hrymashkevych H., eds., *Yz hlybynykh dzherel istorii Polissia. Nazvy odiahu ta vzuttia Pravoberezhnoho Polissia*, Zhytomyr, 1998.
- Nykonchuk M. V., Nykonchuk O. M., Moisiienko V. M., *Polis'ka leksyka narodnoï medytsyny ta likoval'noï mahii*, Zhytomyr, 2001.
- Obrębski J., *Dzisiejsi ludzie Polesia i inne eseje*, A. Engelking, ed., Warsaw, 2005.
- Obrębski J., *Polesie*, A. Engelking, ed. (= *Studia etnosociologiczne*, 1), Warsaw, 2007.
- Omel'kovets' R. S., *Atlas zakhidnopolis'kykh nazv likars'kykh roslyn*, Lutsk, 2003.
- Omel'kovets' R. S., *Nominatsiia likarskykh roslyn v ukraïns'komu zakhidnopolis'komu hovorі*, Lutsk, 2006.
- Parkhomenko T., *Kalendarni zvychai ta obriady Rivnenshchyny*, Rivne, 2008.
- Paškievič M. I., *Rubiełski lieksika-fraziealahičny sloŭnik*, Brest, 2008.
- Pastusiak K., *Pogranicze polsko-białoruskie-ukraińskie w świetle danych językowych i etnograficznych na podstawie nazw roślin*, Warsaw, 2007.
- Pelcowa H., ed., *Spotkania polsko-ukraińskie. Język - Kultura - Literatura*, Chełm, 2006.
- Pietkiewicz Cz., *Kultura społeczna Polesia Rzezyckiego*, A. Engelking, ed., Toruń, 2013.
- Plotnikova A. A., ed., *Vostochnoslavianskii etnolingvisticheskii sbornik. Issledovaniia i materialy*, Moscow, 2001.
- Plotnikova A. A., "Poleskii arkhiv: baza dannykh i issledovaniia," *Zhivaiia starina*, 4, 2012, 35–38.
- Plotnikova A. A., "Poles'e kak arkhaiskaiia zona Slavii: etnolingvisticheskii aspekt," in: *Slavianskoe iazykoznanie. XV Mezhdunarodnyi s"ezd slavistov. Minsk, 20–27 avgusta 2013 g. Doklady rossiiskoi delegatsii*, Moscow, 2013, 233–263.
- Ponomar L., *Nazvi odiahu Zakhidnoho Polissia*, Rivne, 1993.
- Ruščyk G., Engelking A., *Paliessie. Fotozdymki z dvadcatykh i trycatykh hadoŭ*, transl. from polish, Warsaw, 1999.
- Samujlik Ja. R., *Havorki Vyhanaŭskaha Paliessia*, Brest, 2009.
- Samujlik Ja. R., *Atlas havorak Vyhanaŭskaha Paliessia*, Brest, 2013.
- Sedakova O. A., *Poetika obriada. Pogrebal'naia obriadnost' vostochnykh i iuzhnykh slavian*, Moscow, 2004.
- Stankievič A. A., Voinava A. M., *Nazvy adziennia, abutku i halaŭnykh uboraŭ u havorkach Homiełščyny: etnolingvističny analiz*, Gomel, 2004.
- Strakhov A. B., "Poleskie fol'klorno-etnograficheskie materialy v sovremennykh zapisiakh," 1–9, *Palaeoslavica*, 12–23, 2004–2015.
- Štejnier I. F., Novak V. S., eds., *Tajmniczy zamoŭnaha slova*, Gomel, 1997.
- Tkachuk M. M., *Botanichna leksyka hovirok Chornobyl'skoï zony: Rekonstruktsiia reduktivnoho arealu*, Kiev, 2016.
- Tolstoy N. I., "O lingvisticheskom izuchenii Poles'ia (predislovie redaktora)," in: *Poles'e (Lingvistika. Arkheologiiia. Toponimika)*, Moscow, 1968, 5–17.
- Tolstoy N. I., "Etnokul'turnoe i lingvisticheskoe izuchenie Poles'ia (1984–1994)," in: *Slavianskii i balkanskii fol'klor. Etnolingvisticheskoe izuchenie Poles'ia*, Moscow, 1995, 5–19.
- Tolstoy N. I., Tolstaya S. M., "O zadachakh etnolingvisticheskogo izucheniia Poles'ia," in: *Poleskii etnolingvisticheskii sbornik. Materialy i issledovaniia*, Moscow, 1983, 3–21.
- Tolstoy N. I., ed., *Poles'e i etnogeneza slavian. Predvaritel'nye materialy i tezisy konferentsii*, Moscow, 1983.
- Tolstoy N. I., ed., *Slavianskii i balkanskii fol'klor. Etnolingvisticheskoe izuchenie Poles'ia*, Moscow, 1995.
- Tolstoy N. I., ed., *Slavianskie drevnosti. Etnolingvisticheskii slovar'*, 1–5, Moscow, 1995–2012.
- Tolstaya S. M., "Ob odnom opyte areal'nogo issledovaniia poleskoi leksiki," in: *Obshcheslavianskii lingvisticheskii atlas. Materialy i issledovaniia*. 1980, Moscow, 1982, 350–360.
- Tolstaya S. M., "O novykh napravleniakh v belorusskoi dialektnoi leksikografii," in: *Obshcheslavianskii lingvisticheskii atlas. Materialy i issledovaniia*. 1982, Moscow, 1985, 292–315.
- Tolstaya S. M., "Etnolingvisticheskoe kartografirovanie v zone ukraïnsko-belorusskogo pogranich'ia," in: *Między Wschodem a Zachodem*, 4, Zja-

*wiska językowe na pograniczu polsko-ruskim*, J. Bartmiński, M. Łesiow, red., Lublin, 1992, 75–81.

Tolstaya S. M., “Etnolingvisticheskoe izuchenie Poles'ia: sostoiannie i perspektivy,” in: *Polissia: mova, kul'tura, istoriia. Materialy mizhnarodnoi konferentsii*, Kiev, 1996, 47–54.

Tolstaya S. M., “Leksika Poles'ia v kartograficheskom predstavlenii (K vykhodu v svet ‘Leksicheskogo atlasa Pravoberezhnogo Poles'ia’),” in: *Obshchieslavianskii lingvisticheskii atlas. Materialy i issledovaniia. 1994–1996*, Moscow, 2000, 231–239.

Tolstaya S. M., “Polesskie ekspeditsii,” in: *Kak eto bylo... Vospominaniia sotrudnikov Instituta slavianovedeniia*, Moscow, 2007, 89–99.

Turchyn Ie., *Nazvi izhi na Skhidnomu Polissi*, Lviv, 2012.

Viarhiejenka S., “*Na mory-akijanie, na vostravie Bujanie...*” (*liekavyja zamovy Homieŭščyny*): *falklorna-etnagrafičny zbornik*, V. S. Novak, ed., Gomel, 2009.

Viarhiejenka S. A., ed., *Hajučaje slova rodnaj ziamli (bielaruskija liekavyja zamovy). Falklorna-etnagrafičny zbornik*, Gomel, 2013.

Viarenič V. L., *Palieski archiū. Linhvistyčnyja, etnagrafičnyja i histaryčnyja materyjaly*, F. Klimchuk, E. Smulkova, A. Engelking, eds., Minsk, 2009.

Vinogradova L. N., Levkievskaia E. E., eds., *Narodnaia demonologiiia Poles'ia. Publikatsiia tekstov v zapisiakh 80–90-kh godov 20 veka*, 1: *Liudi so sverkh“estestvennymi svoistvami*, Moscow, 2010; 2: *Demonologizatsiia umershih liudei*, Moscow, 2012; 3: *Mifologizatsiia prirodnih iavlenii i chelovecheskih sostoianii*, Moscow, 2016.

Zhelezniak I. M., ed., *Onomastyka Polissia*, Kiev, 1999.

Zinchuk R. S., *Atlas slovozmyny imennykiv u zakhidnopolis'kykh hovirkakh*, Lutsk, 2010.

### Acknowledgements

Russian Science Foundation. Project No. 17–18–01373.

---

**Светлана Михайловна Толстая,**  
доктор филологических наук, академик РАН  
Институт славяноведения РАН,  
зав. Отделом этнолингвистики и фольклора  
119991, Москва, Ленинский проспект, д. 32А  
Россия/Russia  
smtolstaya@yandex.ru

Received July 6, 2017



G. M. HAMBURG, *Russia's Path Towards Enlightenment. Faith, Politics, and Reason, 1500–1801*,

New Haven, London, Yale University Press, 2016, XI + 900 pp., ISBN 978-0-11313-6.

**The Twisted Paths of Faith and Reason: Recent Problems in the Study of Russian Enlightenment\***

**Konstantin D. Bugrov**

Institute of History and Archaeology  
of the Ural Branch  
of the Russian Academy of Sciences  
Ekaterinburg, Russia

**Извилистые пути веры и разума: актуальные проблемы изучения российского Просвещения**

**Константин Дмитриевич Бугров**

Институт истории и археологии  
Уральского отделения РАН  
Екатеринбург, Россия

The voluminous study of Russian political thought recently published by Gary Hamburg covers a vast chronology from the 16th to the early 19th centuries. Hamburg, who currently holds the position of Otho M. Behr Professor of the History of Ideas at Claremont McKenna College in the USA, is well known among students of political ideas, for he published *Boris Chicherin & Early Russian Liberalism* in 1992 and edited the large collective volume *A History of Russian Philosophy, 1830–1930: Faith, Reason and the Defense of Human Dignity* in 2010. The book under review apparently marks the expansion of Hamburg's research interests into an earlier period of Russian history, while the title, which repeats the words "faith" and "reason," indicates the continuity of the research program (as Hamburg says, he plans to take the same theme forward with a new volume entitled *Russia's Road toward Emancipation: Politics, Faith and Community*,

\* This paper was prepared with the support of the Russian Foundation for Basic Research, project No. 16-31-00007.



1801–1861). As Hamburg admits in the opening chapter, he started to write the book in 2010; the result, published six years later, was awarded the Marc Raeff Prize for the best book in Eighteenth-Century Russian Studies in 2016.

Hamburg—who begins the text by stating that the major inspirations for his study were the works of Vladimir Valdenberg, Quentin Skinner and Andrzej Walicki—builds his analysis around the concepts of faith, reason, and Enlightenment. By faith, he means “allegiance to Orthodox Christianity and engaging in Orthodoxy’s prescribed faith rituals,” emphasizing that Eastern Christianity was more of a “living religion” than one of dogmatic debate. Hamburg also introduces two conceptions of Enlightenment that co-existed in Russia: “One conception was based squarely on the Orthodox idea of spiritual illumination; the other stemmed from attempts to define enlightenment as rationality” (p. 22). As the latter conception provoked questions about whether it is possible for reason to exist outside the Orthodox Church, tensions between these two grew. From here, the importance of the concept of “secularism” in Hamburg’s theoretical model is clear. Since Hamburg follows Charles Taylor’s understanding of secular society as a society where religion is privatized by the individual and is merely one “human possibility among many,” the second concept of Enlightenment in his work appears to be Enlightenment as a vehicle of secularization. The author summarizes his research goal with the following question: “Did Orthodox Christian notions of faith, politics, and reason evolve slowly into Enlightenment conceptions of ethics, the just society, and rationality?” (p. 26)

The work is organized chronologically; it is a set of essays focused on the most prominent thinkers of different periods in Russian history. The first part is named “Wisdom and Wickedness, 1500–1689.” Hamburg starts with the *Sermon on Law and Grace*, *The Tale of Bygone Years* and Agapetos before shifting his focus to different intellectual phenomena of the 16th century: Iosif Volotskii, the *Domostroi*, Ivan Peresvetov, Feodosii Kosoi, Metropolitan Filipp (Kolychev), and the polemics of Ivan IV and Andrei Kurbskii. The 17th century is represented not only by Grigorii Kotoshikhin, Simeon Polotskii, and the Old Believers, but also by “Stepan Razin’s utopia.”

Yet the bulk of his work is dedicated to 18th-century Russia. The second part, “Ways of Virtue (1689–1762),” deals with the Petrine age, Feofan (Prokopovich), Ivan Pososhkov, the crisis of 1730, Dmitrii Golitsyn (who is described as a “virtue philosopher”), Vasilii Tatishchev, and Mikhail Lomonosov. Here, Hamburg states that

each of these thinkers regarded himself primarily as a Christian patriot devoted to the advancement of Russian interests through learning, rather than as a cosmopolitan devoted to the advancement of modern civilization through the disinterested practice of science.

Insisting that Russian political thought adhered to the religious concept of Enlightenment rather than replacing it with secular values, Hamburg emphasizes:

It is important to reject the notion that Peter’s reforms succeeded in secularizing Russia, and the related notion that Feofan “secularized Russian thought.” That binary is too simple. In the Petrine era, the tensions between Church and state were not resolved by legislative acts, but were thoroughly internalized in the psyches of the country’s most prominent, eloquent, and farseeing clergymen (p. 263).



The lengthy third part, entitled “Straining toward Light, 1762–1801,” presents an analysis of a dozen leading Russian authors: Catherine II, Metropolitan Arsenii (Matsevich), Metropolitan Platon (Levshin), Nikita Panin, Denis Fonvizin, Gavriil Derzhavin, Ivan Tret’iakov, Semen Desnitskii, Nikolai Novikov, Aleksandr Radishchev, Mikhail Shcherbatov and, finally, Nikolai Karamzin. Hamburg’s conclusion is the following:

Russian thinking about politics through the end of the eighteenth century was a branch of applied Christian ethics or was heavily influenced by Christian ethics. It is therefore a basic error to interpret Russian political thinking before the nineteenth century as an exclusively secular pursuit (p. 30).

In each chapter, Hamburg proceeds with a methodical analysis of the works of each particular author. The problem, which is particularly important for a Russian reader, is that Hamburg includes long biographical discussions in his essays about the different authors, alongside abridged retellings of their writings. Imagine a study of Hobbes’ political ideas that always starts from a description of his biography! Of course, this problem is typical for most works on Russian political thought published in English, and for a clear reason: it is obvious that Tatishchev is far less familiar to the English reader than Hobbes. But at times it makes the narration rather monotonous, in contrast with the author’s otherwise lively manner.

There are some small inconsistencies in the text. For example, Hamburg says that Feofan “cited Grotius’s book *The Law of Peace and War*” (p. 249). However, Grotius’ treatise is typically translated into English as *On the Law of War and Peace* (*De Jure Belli ac Pacis*). Hamburg says that Feofan was most probably familiar with Hobbes; however, most recent studies do not verify this. While discussing Shcherbatov’s relations with Catherine II, Hamburg observes that Shcherbatov “hoped for her ‘august approval’ of his *History*, and signed the foreword ‘Your lowliest slave [*vsenizhaishii rab*], Prince Mikhailo Shcherbatov” (p. 625). But the phrase was at that time an official appeal to the empress, so Shcherbatov was just following etiquette, without any specific purpose of humiliating himself.<sup>1</sup> In discussing Russian writers’ adherence to the Orthodox Church, Hamburg notes that “Kheraskov, in spite of his adherence to Deism and mystical Freemasonry, did not campaign against the Orthodox Church, against ‘religious fanaticism,’ or against the autocracy”; while this is true in the first and third cases, Kheraskov did attack religious fanaticism harshly in his political novel *Numa Pompilius, or the Flourishing Rome* (1768).

Undoubtedly, Hamburg draws several interesting conclusions, and his study provides some important insights. The very emphasis on the religious patterns of Russian political thought is of great value. Hamburg’s characterizations of some historical figures are insightful and deep on many occasions. The book, which covers a great chronological span, offers a systematic view of the history of early modern Russian political thought.

However, there are three major problems which stalk Hamburg’s work throughout. First, Hamburg relies on only a limited number of Russian authors. For instance, he ignores such productive thinkers as Vasilii Trediakovskii, Friedrich Strube de Piermont,

---

<sup>1</sup> Hamburg makes the same mistake when noting: “About Anna’s humble subjects, Feofan spoke honestly at last. He described them as ‘we, your slaves’” (p. 262). And again, when speaking of Desnitskii, who “did not hesitate to use Muscovite language in describing his own status as a ‘servant’ or ‘slave’ of the crown” (p. 561).

and Vladimir Zolotnitskii, the author of Russia's first systematic treatise on natural law. The reason seems to be obvious: these authors were marginal in the historiographical tradition of the mid-20th century. Ivan Tret'iakov and Semen Desnitskii, secondary authors of the Catherinian age, were of great importance for Soviet historians since they presented a progressive Smithian political economy; therefore, their works were republished and read again and again. In contrast, the theory of natural law was of less interest to Marxists, and therefore Zolotnitskii or Strube were not republished or studied. Another example is the number of religious writers and preachers, such as Simon (Todorskii), Silvestr (Kuliabka), Amvrosii (Iushkevich), Gavriil (Popov), and Irinei (Klementievskii), to name but a few, who produced lots of "political theology" throughout the 18th century (the same opinion is expressed by Gary Marker, who wrote a generally favorable review for *The Russian Review* [MARKER 2017]). These authors, who knew several languages (including Latin and Greek), were sensible to Western influences [KISLOVA 2015].

Taking this into account, it is rather surprising that the book starts with a reference to Quentin Skinner's methods as a source of inspiration. The book reproduces the very position Skinner was so critical of—namely, the reduction of the history of political thought to a textbook with a focus on a handful of "doctrines" [SKINNER 2002: 59].

Second, Hamburg's analysis rests on the contradistinction of Muscovite tradition and Western influence. Both are understood as monolithic intellectual structures. This explanatory model is dangerous, for it tempts the researcher to substitute mere classification in binary terms for textual analysis. It is no surprise that Hamburg at times starts to speak in a disturbingly pejorative way: of the members of the Legislative Commission, he says, "Desnitskii's learned references to Roman law, his oblique criticism of autocracy and of serfdom, his talk about commercial republics, his comments on Smith's *The Theory of Moral Sentiments*, must have sounded like the twittering of birds" (p. 556). The existence of Russian tradition turns out to be a consequence of Russia's despotic political system: "The tragedy was that, even under Catherine's relatively benign rule, Russia did not entirely escape the sixteenth-century pattern of burying its intellectual richness under a superficial conformity" (p. 676). And since Russia's historical tradition is by essence religious and despotic, European innovations could appear only in conflict with that tradition. It's a zero-sum game!

Such an understanding of Westernization may have led to curious methodological assumptions. For instance, when Hamburg speaks of the crisis of 1730, he uses the contradistinction of Western Enlightenment and Russian tradition in a manner reminiscent of Georgii Storm's *Hidden Radishchev*, a Soviet classic on the use of Aesopian language:

In the conditions of the absolutist state in which he lived, Golitsyn had to hide his knowledge from other members of the elite, to dissimulate his disagreements over the direction of his country, to pretend that he was a loyal subject of a crown he could not completely respect. When he finally spoke to the Supreme Privy Council in 1730, he did so forcefully, but without laying out the full justification for his program, and even without spelling out the entire program at one sitting of the council. He then let others formulate the basic components of a plan he had long contemplated, thus making them jointly responsible for its composition (p. 301).

In other words, it is not necessary to study whether Golitsyn actually had a plan, since the researcher can always reconstruct it by simply referring to an explanatory model based on the opposition between Enlightenment and tradition. And if Golitsyn's actions were supposedly directed against tradition, then—by the logic of a zero-sum game—these actions inevitably had to be inspired by Enlightenment principles, even though Golitsyn avoided “spelling out the entire program.” These assumptions, which are scattered across the book, are all derived from the same model of interpretation, regardless of whether Hamburg is calling Semen Desnitskii's Senate design “a broadly representative legislature” or insisting that Nikita Panin championed religious toleration.

It is probable that the opposition of secularism to religion worked fine at the beginning of the 20th century. Nowadays, however, it can hardly serve as a reliable method of study. Turning away from the Skinnerian study of vocabularies and manners of speech to embrace the history of monolithic doctrines undermines the validity of one of Hamburg's most important and valuable ideas, namely, the emphasis on the importance of the concept of *virtue* in Russian political culture. Since the binary explanatory system requires him to classify each intellectual phenomenon as either Western or traditional, Hamburg considers *virtue* to be solely in the domain of traditional, moralistic, and religious culture. The very concepts remain unproblematic: summarizing the development of Russian political thought by the end of the 17th century, Hamburg notes:

The Muscovite legacy ultimately inheres in the complexity of Orthodox thinking about politics: from the simple assumption that good Christians must pursue virtue and attempt to build just societies, there followed profound disagreements over how to do so (p. 217).

In other words, Hamburg sees the whole discourse on *virtues* as something simple, while in fact there was no single concept of *virtue* in 18th-century Russia (and, probably, even before the 18th century). Perhaps an analysis of church sermons and ethical manuals might add something to this field, as well as an inquiry into 18th-century legislation regarding the nobility's privileges (based on a specific concept of noble *virtue*). Unfortunately, the black-and-white explanatory model and narrow scope of historical sources prevents Hamburg's study from examining the conceptual differences among the definitions of *virtue* in 18th-century Russian public thought.

At times, this explanatory model makes the analysis rather imprecise. Let's take, for example, the chapter on Shcherbatov's understanding of *virtue* in the *Journey to the Land of Ophir*:

The Ophirians had slowly realized that, in olden times, they had flattered their leaders, had pretended that their leaders' paper plans for model cities were feasible, and had succumbed to a general corruption of morals. The Ophirians now recognized that their leaders should be respected rather than flattered, and that there is no point in pretending that paper plans are necessarily feasible. They had become realists with respect to city planning and all other governmental projects. The Ophirians had also recovered their moral sense [. . .]. They now found disorderly lives shameful, and they claimed to pursue virtue in all things (p. 635).

This lengthy quotation shows the negative effects of treating *virtue* as a simple, univocal moralist formula: Hamburg fails to grasp the social mechanics of *virtue* that

Shcherbatov was describing in detail in his utopia. The notion of “paper cities” was used by Shcherbatov as a detail to demonstrate his criticism of Catherine’s urban policies (the reconstruction of Tver, to be exact): by no means can it be read as his explanation for the emergence of *virtue*. Hamburg omits Shcherbatov’s idea of restricting luxury and commerce to create a social environment suitable for moral revival. In Hamburg’s analysis, the *virtue* of the Ophirians looks like a simple refusal to flatter monarchs and to live shamefully; but, in fact, Shcherbatov saw quite clearly that *virtue* is grounded not only in the personal choice of whether to live shamefully or not, but also in social conditions, thus echoing the European tradition from Machiavelli to Montesquieu.

Shcherbatov, according to Hamburg, wanted to construct a “crazy hybrid” of the “best features of Muscovy” and the “best elements of European modernity”; however, “few Russians shared his appreciation for Muscovy, and fewer still his austere commitment to the virtuous life.” This contradicts Hamburg’s own idea that *virtue* was the key element in the understanding of politics in Russia. Moreover, Shcherbatov’s views were rather common in 18th-century Russia, and the features which he attributed to imaginary Ophir and historical Muscovy were partially drawn from Western political, ethical, and historical literature, usually following the pattern of Ancient Rome. Yet Hamburg says nothing of these Roman patterns, instead explaining Shcherbatov’s ideas through his biography:

He was a legatee of Muscovite family values caught in the dynamic but corrupt world of Catherine II, a Russian traditionalist and yet simultaneously a European cosmopolitan [. . .] In the future, Catherine made use of Shcherbatov’s talents as historian, but she never trusted him with the high office that might otherwise have been proffered to a person of his background and attainments.

But Shcherbatov was born in 1733, a long time after the Petrine reforms had been launched; what specific kind of “Muscovite legacy” was he supposed to have received? Equally, Shcherbatov’s career was far from unsuccessful: he was the head of the Collegium for State Income from 1778 to 1784, and—during his time in the office—participated actively in the discussion about laws on luxury, along with the most powerful officials of his time, General Procurator Aleksandr Viazemskii and the head of the Collegium for Commerce, Ernst Munnich; Shcherbatov’s ideas on luxury here were similar to the views he put on paper in his unpublished works.

Yet another example of the deficiency of the binary explanatory model is the chapter on the Old Believers. Hamburg investigates whether Avvakum legitimized active resistance (“armed rebellion”) to the crown, concluding that Avvakum’s ideas on resistance were rather “murky” (p. 180). But Hamburg says nothing about the Old Believers’ readiness to resist by killing themselves; apparently, such a concept does not fit the book’s explanatory model.

Also, speaking of Western influence on Russia, which “should not be underestimated,” Hamburg shapes this influence to conform with the explanatory model. The Western contribution he talks about includes Montesquieu, Rousseau, Beccaria and the German cameralists, Smith, and so on. He fails to recognize, though, that Roberto Bellarmine, the Spanish anti-Machiavellists, and St. Augustine were also Western authors, and that in the world of printed texts and manuscript translations, they were much more



popular than, say, Smith. In other words, the realm of ethics in Westernized Russia was also dominated by European authors; but to recognize this would at the same time disrupt an explanatory model based on the clear opposition between Russia and the West, ethics and politics. And Hamburg is aware of this; for instance, he productively discusses the influence of Justus Lipsius on Artemii Volynskii and Vasilii Tatishchev, but assigns Lipsius two roles: in one case, Lipsius appears as a source of inspiration for circumscribing royal power with the expertise of wise advisors (thus being a manifestation of European Enlightenment replacing Russia's essential culture of obedience and autocracy), while in the other case, Lipsius is characterized merely as an "ardent Catholic" whose influence was dissolved within Russia's own religious tradition. As a result, Hamburg remains silent about Lipsius when discussing European influence in general; an "ardent Catholic" is not the kind of European Enlightenment thinker about whom the binary explanation speaks.

In addition, the use of "Western Enlightenment" and "Russian tradition" as labels always leads to the risk of confusion. Thus, Hamburg marks Catherine's ideas on liberty, formulated in her *Instruction*, as controversial: he considers the arguments of point 38 to be part of a "positive liberty" tradition, and the concepts from points 41 and 42 to be a borrowing from Montesquieu as a "rudimentary sketch" of "negative liberty." But, in fact, Catherine was following Montesquieu in defining liberty in both cases, and so her definition of liberty was generally leaning toward "negative liberty," provoking angry comments from Aleksandr Sumarokov. Sumarokov noted that honest persons knew the truth in their hearts and therefore "laws are prescribed for those who fight the truth [*boriushchim istinu*]" [STENNIK 2006: 135], while Catherine and Montesquieu insisted that liberty is "the right to do whatever the laws do not prohibit."

These confusions might have been avoided had Hamburg relied more on the existing body of historical studies. But Hamburg's book almost totally omits the recent historiography, which is the third and probably most serious problem of this volume. The most recent work on Shcherbatov's thought which Hamburg mentions is Ivan Fedosov's book [FEDOSOV 1967]. The most recent work on Panin's political ideas is David Ransel's solid work [RANSEL 1975], though Hamburg also quotes Oleg Omelchenko's marvelous study of 2001 on the Commission of the Noble Liberty; yet he remains silent with respect to recent works on Panin [PLOTNIKOV 2000; POLSKOY 2010]. Speaking of toleration and faith in 18th-century Russia, Hamburg never quotes any book on toleration issues, even the fundamental work by ANDREI RIAZHEV [2006]; it seems like Hamburg's equation of pre-modern society with the realm of fanatical adherence to the Church prevents him from analyzing the complexity of the toleration policies developed in Catherinian Russia. The same could be said in relation to the earlier periods studied by Hamburg. These examples could be multiplied. This historiographical isolation at times really surprises the reader: investigating whether Tsar Vasilii Shuiskii was really proposing a "Bill of Rights" to his subjects, Hamburg polemicizes with. . . Sergei Solov'ev. In a rather loose outline of Avvakum's political ideas, he argues with Sergei Berdiaev and Konstantin Leont'ev.

There is also one omission that we would like to stress specifically. Hamburg refers to Boris Uspenskij's *Tsar and Patriarch* [USPENSKIJ 1998] twice in the opening chapters when talking of medieval political thought, but he never refers to Boris Uspenskij's and Viktor Zhivov's fundamental study of early modern Russian political culture, "Tsar



and God” [ZHIVOV, USPENSKIY 1994]. Here Uspenskij and Zhivov posed the crux of the matter with poignancy: the rhetorical strategies of the sacralization of the monarch in 18th-century Russia were not part of tradition, but rather a Western innovation introduced in the late 17th century. Is it possible to seriously discuss the problem of the secularization of 18th-century Russian political culture without referring to this important thesis?

There are some major omissions in the English-speaking historiography too, the most notable of which is that Max Okenfuss’ controversial study of Latin humanism in early modern Russia [OKENFUSS 1995], which provides conclusions that correspond with Hamburg’s own ideas, is not mentioned at all. The splendid study by ELISE WIRTSCHAFTER [2003] is totally omitted, even though Wirtschafter’s work contains some important conclusions describing the phenomenon of “moral monarchy” based on personal *virtue*.

## Bibliography

FEDOSOV 1967

ФЕДОСОВ И. А., *Из истории русской общественной мысли XVIII столетия*. М. М. Щербатов, Москва, 1967.

HAMBURG 2016

HAMBURG G. M., *Russia’s Path Towards Enlightenment. Faith, Politics, and Reason, 1500–1801*, New Haven, London, 2016.

KISLOVA 2015

KISLOVA E., “‘Latin’ and ‘Slavonic’ Education in the Primary Classes of Russian Seminaries in the 18th Century,” *Slověne. International Journal of Slavic Studies*, 4/2, 2015, 72–91.

MARKER 2017

MARKER G., “[Rev.:] Hamburg, Gary M. *Russia’s Path Toward Enlightenment: Faith, Politics, and Reason, 1500–1801*. New Haven: Yale University Press, 2016,” *The Russian Review*, 76, 2017, 159–160 (“Book Reviews”, DOI: 10.1111/russ.12123).

OKENFUSS 1995

OKENFUSS M., *The Rise and Fall of Latin Humanism in Early-Modern Russia: Pagan Authors, Ukrainians, and the Resiliency of Muscovy*, Leiden, 1995.

PLOTNIKOV 2000

Плотников А. Б., “Политические проекты Н. И. Панина”, *Вопросы истории*, 7, 2000, 74–85.

POLSKOY 2010

Польской С. В., “Неизвестная записка Н. И. Панина и «Примечания» на проект Императорского совета”, *Известия Самарского научного центра Российской академии наук*, 12/6-1, 2010, 173–182.

RANSEL 1975

RANSEL D., *The Politics of Catherinian Russia: The Panin’s Party*, New Haven, 1975.

RIAZNEV 2006

Ряжев А. С., “Просвещенный абсолютизм” и старообрядцы: вторая половина XVIII – начало XIX в., Тольятти, 2006.

SKINNER 2002

SKINNER Q., *Visions of Politics, 1: Regarding Method*, Cambridge, 2002.

STENNIK 2006

Стенник Ю. В., “А. П. Сумароков — критик «Наказа» Екатерины I”, in: *XVIII век*, 24, С.-Петербург, 2006, 136–143.

USPENSKIJ 1998

Успенский Б. А., *Царь и патриарх: харизма власти в России (Византийская модель и ее русское переосмысление)*, Москва, 1998.

WIRTSCHAFTER 2003

Wirtschafter E., *The Play of Ideas in Russian Enlightenment Theater*, DeKalb, 2003.

ZHIVOV, USPENSKIJ 1994

Живов В. М., Успенский Б. А., “Царь и Бог. Семиотические аспекты сакрализации монарха в России”, in: Б. А. Успенский, *Избранные труды*, 1: Семиотика истории. Семиотика культуры, Москва, 1994, 110–218.

## References

Fedosov I. A., *Iz istorii russkoi obshchestvennoi mysli XVIII stoletia*. M. M. Shcherbatov, Moscow, 1967.

Hamburg G. M., *Russia's Path Towards Enlightenment. Faith, Politics, and Reason, 1500–1801*, New Haven, London, 2016.

Kislova E., “‘Latin’ and ‘Slavonic’ Education in the Primary Classes of Russian Seminaries in the 18th Century,” *Slověne. International Journal of Slavic Studies*, 4/2, 2015, 72–91.

Marker G., “[Rev.:] Hamburg, Gary M. *Russia's Path Toward Enlightenment: Faith, Politics, and Reason, 1500–1801*. New Haven: Yale University Press, 2016,” *The Russian Review*, 76, 2017, 159–160 (“Book Reviews”, DOI: 10.1111/russ.12123).

Okenfuss M., *The Rise and Fall of Latin Humanism in Early-Modern Russia: Pagan Authors, Ukrainians, and the Resiliency of Muscovy*, Leiden, 1995.

Plotnikov A. B., “Politicheskie proekty N. I. Panina,” *Voprosy istorii*, 7, 2000, 74–85.

Polskoy S. V., “Unknown Report of Nikita Panin and Comments on the Project of the Imperial Coun-

cil (1762–1763),” *Izvestia of Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences*, 12/6-1, 2010, 173–182.

Ransel D., *The Politics of Catherinian Russia: The Panin's Party*, New Haven, 1975.

Riazhev A. S., “*Prosveshchennyi absolutizm i staroobriadtsy: vtoraya polovina XVIII – nachalo XIX v.*,” Tolyatti, 2006.

Skinner Q., *Visions of Politics*, 1: *Regarding Method*, Cambridge, 2002.

Stennik Yu. V., “А. П. Сумароков — критик ‘Наказа’ Екатерины I,” in: *XVIII век*, 24, St. Petersburg, 2006, 136–143.

Uspenskij B. A., *Car' i patriarch: charizma vlasti v Rossii (Vizantijskaja model' i ee russkoe pereosmyslenie)*, Moscow, 1998.

Wirtschafter E., *The Play of Ideas in Russian Enlightenment Theater*, DeKalb, 2003.

Zhivov V. M., Uspenskij B. A., “Tsar' i Bog. Semioticheskie aspekty sakralizatsii monarkha v Rossii,” in: Б. А. Успенский, *Избранные труды*, 1, Moscow, 1994, 110–218.

## Acknowledgements

Russian Foundation for Basic Research. Project No. 16-31-00007.

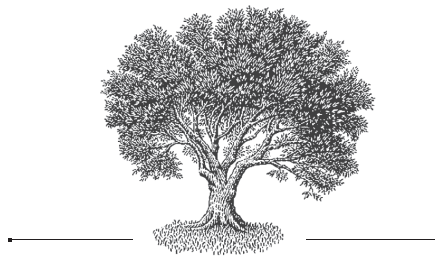
**Константин Дмитриевич Бугров**, канд. ист. наук

Институт истории и археологии Уральского отделения РАН, Отдел истории, старший научный сотрудник сектора социальной истории  
620990 Екатеринбург, ул. Ковалевской, д. 16

Россия/Russia

k.d.bugrov@gmail.com

Received September 28, 2017



**Соколов С. В.,**

***Концепции происхождения варяжской руси в  
отечественной историографии XVIII–XIX вв.***

Екатеринбург, 2015, 314 с.

**Владимир Яковлевич Петрухин**

Институт славяноведения РАН  
Москва, Россия

**Vladimir Ya. Petrukhin**

Institute for Slavic Studies of the Russian  
Academy of Sciences  
Moscow, Russia

Небольшая книга С. В. Соколова посвящена одной из вечных тем русской истории: проблема “начала Руси”, как проблема начала всякого живого явления, нуждается в решении с позиций всякого научного дискурса. Тематика остается “сверхактуальной” учитывая официальное празднование 1150-летия российской государственности (приуроченное к летописной дате призвания варягов) и обострившуюся (очередной раз) на рубеже тысячелетий полемику между “норманистами” и “новыми” антинорманистами<sup>1</sup>. Анализ историографии XVIII–XIX вв. имеет особое значение для новейшей историографии, ибо сложившиеся за два столетия стереотипы и историографические схемы стали самодовлеющими. Автор в достаточной мере владеет навыками интердисциплинарного и сравнительно-исторического методов, чтобы оценить в исследуемой проблеме роль “внутренних” и “внешних” источников, данных лингвистики и археологии. Круг историографических источников (глава 1-я) охвачен достаточно полно, не упомянут разве что первый университетский курс истории России финско-шведского историка и просветителя второй половины XVIII в. Х. Г. Портана, уделившего особое внимание финскому происхождению имени *русь*, но малотиражное издание [Портан 1982] остается малодоступным.

\* Рецензия написана в рамках работы по гранту РНФ № 15-18-00143.

<sup>1</sup> С. В. Соколов принял участие в этой полемике, рецензируя книгу Л. С. Клейна “Спор о варягах” [Соколов 2010].

Вторая глава посвящена историческим сочинениям XVI–XVII вв., рассматривающим проблему “происхождения народа и имени *русь*”: в историографическом контексте эти сочинения можно было бы назвать “доисторическими”, относящимися скорее к средневековой историографии, чем собственно к науке истории. Отмечаемая автором ориентация историков XVI–XVII вв. на античный и библейский образцы свойственны средневековой хронографии в целом; в соответствии с методами средневековой этимологии в Библии и античных источниках искали наименования народов, схожие с теми, которые оказывались в центре внимания историка или летописца. Собственно, и пресловутый “князь Рос” книги Иезекииля в переводе Септуагинты оказывается книжной конструкцией, не имеющей отношения к исторической этнонимии (библейским генеалогиям в работах А. И. Манкиева, В. К. Третьяковского и М. М. Щербатова посвящен второй параграф 3-й главы): замечу, что “князь Рош” синодального перевода, где возвращается исходная библейская форма слова “рош” (“глава”) — уже не подходит для этимологизирования имен, связанных с Русью / Россией (хотя запущенный столетия назад механизм библейской этимологизации жив по сию пору). Столь же устойчивой остается иранская (роксоланская) этимология (вариант средневековой “сарматской теории” — о сарматском происхождении польской шляхты), укорененная в стереотипах, превратившихся уже в историографическое “подсознательное”. Во втором и третьем параграфах 3-й главы рассматриваются модификации подобных средневековых схем в формирующейся науке XVIII в.

Рецензенту представляется, что С. В. Соколов, увлеченный исследованием сложившихся тенденций в историографии, при характеристике очередного этапа ее развития (четвертый параграф 3-й главы) не вполне оценил значимость формирования академической (профессиональной) науки, связанного с призванием в С.-Петербург немецких академиков Г. З. Байера и Г. Ф. Миллера. Их научной заслугой, как и заслугой их последователя А. Л. Шлёцера, стало критическое рассмотрение источников, в первую очередь — исследование Начальной летописи, традиционно рассматривавшейся (в том числе современными антинорманистами) в ряду принципиально иных — поздних — хронографических сочинений. Автор справедливо отмечает заслугу Г. Ф. Миллера, обратившего внимание на финское наименование Швеции *Ruotsi*, что в древнерусском языке должно было дать имя *русь* (с. 151). Миллер (а за ним И. Э. Туннманн) впервые продемонстрировал, что летопись отражала не книжную этимологическую конструкцию (типа “князь Рос” → *Рус*, *Россия* и т. п.), а представленные ею реальные отношения восточных славян, прибалтийских финнов (чуди) и скандинавов варягов, ибо имя Швеции сохранилось в естественном финском языке (в эстонском — *Rootsi*). Эта этимология, поддержанная впоследствии В. Томсеном и др., сохраняет свое значение: даже такой энтузиаст нескандинавских (индоарийской и т. п.) этимологий имени *русь*, как О. Н. Трубачев, не решился противопоставить ей свои конструкции при переиздании этимологического словаря М. Фасмера. Естественно, Миллер не избавился окончательно от наивных взглядов на средневековые источники: его рассуждения о древних скандинавских завоеваниях в Европе основываются на прямом восприятии данных исландских “саг о древних временах”, которые сами скандинавы считали “лживыми”. Но критика Миллера М. В. Ломоносовым знаменовала скорее возврат к средневековому этимологизированию, чем обращение к анализу доступных источников.

В четвертом параграфе 3-й главы рассматривается “развитие скандинавской концепции” во второй половине XVIII в.: модификацией этой концепции автор считает “гото-варяжскую”, предложенную Г. Ф. Штрубе; заметим, что эта популярная по сей день концепция (ее разделял отчасти Г. С. Лебедев) основывается на летописном упоминании варяжской *руси* рядом с народом *гѣте* — жителями Готланда, что не дает оснований для расширительной трактовки этнонима *готы*. К недоразумениям, основанным на народноэтимологическом истолковании обозначения мифической страны великанов Рисаланд в исландских сагах, можно отнести сближение этих великанов (*риссен*) с русскими у Штрубе.

А. Л. Шлёцер — основатель отечественной летописной текстологии — характеризуется как создатель последовательной скандинавской этимологии имени *русь*: он обратил внимание на наименование области на востоке Швеции — Рослаген, с которым увязывал финское имя Швеции *Ruotsi*.

В следующем параграфе рассматриваются преимущественно построения В. Н. Татищева, видевшего свидетельство автохтонности “финской” руси в топониме Русса (Старая Русса — этимологическая конструкция, восходящая к поздним летописным сводам, что отмечалось автором в первом параграфе); дискутируемой в современной науке проблемой остается авторство “Иоакимовской летописи” (А. П. Толочко в недавней монографии считает ее конструкцией самого Татищева), и самостоятельность историографического подхода Татищева остается под сомнением.

Четвертая глава посвящена дискуссии по норманнскому вопросу в отечественной науке первой половины XIX в. Отмечается, что Н. М. Карамзин в целом следовал А. Л. Шлёцеру в представлениях о происхождении имени *русь*, что это была одна из магистральных тенденций в российской науке. М. П. Погодин настаивал на этническом (эндогенном) значении имени *русь* как одного из средневековых народов Швеции. Н. А. Полевой первым обратил внимание на вероятное “профессиональное” значение этого имени, означавшего “морских воинов”, Г. А. Розенкамф уточнил его значение (имя относилось к *г р е б ц а м*), наконец, А. А. Куник, основываясь на лингвистических данных, обосновал исходный для этимологии имени *русь* древнескандинавский комплекс терминов, связанных с греблей — походом на гребных судах. В историографии стали также разводить термины *варяги* и *русь* как имевшие разное значение и возникшие в разных исторических обстоятельствах (Н. А. Полевой).

Второй параграф 4-й главы посвящен направлению, связанному с открытием евразийской составляющей русской истории в первой трети XIX в. Г. Эверс отнес варяжскую русь к тюркско-хазарским народам; можно было бы отнести это направление к историографическим недоразумениям, и автор справедливо указывает на слабость источниковой базы Эверса, неточность переводов и т. п., если бы не реанимация этого “недоразумения” в современной историографии — в сочинениях Е. С. Галкиной, помещающей Русский каганат (и начальную русь) на территории алано-болгарской салтово-маяцкой культуры Хазарского каганата. Даже экзотическая, разбираемая С. В. Соколовым фризская концепция происхождения руси Г. Ф. Голлмана нашла продолжение в историографических конструкциях украино-американского исследователя О. Прицака [1991].

В сложившейся историографической обстановке простым решением спорной проблемы становились “концепции множественности Русий” на Днепре,



Волге, Рюгене и Дунае в сочинениях (тиражируемых и ныне) от Ю. И. Венелина до А. Г. Кузьмина<sup>2</sup> и их эпигонов (В. В. Фомина и др.): эти “концепции” анализируются в третьем параграфе 4-й главы.

Неизбежным, однако, представлялся конфликт между двумя основными тенденциями, выводящими имя *русь* из скандинавской или славянской традиции: старому спору “норманистов” и “антинорманистов” во второй половине XIX в. посвящены четвертый и пятый параграфы 4-й главы. С. В. Соколов взвешенно характеризует поиски автохтонной (славянской) руси С. А. Геденовым и Д. И. Иловайским, отмечает изменения, которые произошли в концепциях их оппонентов М. П. Погодина и А. А. Куника. Особое внимание справедливо уделяется концепции датского тюрколога В. Томсена (с. 216–220), монография которого, посвященная формированию Древнерусского государства, остается актуальной и недавно переиздана (без необходимых научных комментариев) [Томсен 2002].

В книге практически не затрагиваются проблемы фольклорного происхождения летописных сюжетов, связанных с происхождением руси: ныне фольклорные истоки приписываются не только раннесредневековым конструкциям книжников (в том числе латиноязычных), но и позднейшим домыслам, основанным на летописной традиции, но ориентированным на политические (и соответствующие историографические) интересы династий, борющихся за влияние на Балтике (см. об этих конструкциях: [Рыбалка 2016; idem 2017]).

В содержательном “Заключении” формулируются основные выводы и подводятся итоги борьбы разных историографических течений. Автор отмечает практическую исчерпанность источниковедческих возможностей, которая была осознана в конце XIX в., когда “снизился интерес к варяго-русскому вопросу”. Действительно, будущее было за новыми методами источниковедения (в первую очередь — за методами летописной текстологии, созданными А. А. Шахматовым) и принципиально новыми источниками, которыми обогатила науку археология.

В целом работа представляется целостной и способствующей пониманию историографической ситуации, которая оказывается явно перегруженной многочисленными некритическими переизданиями и сочинениями с попытками простой реанимации бессодержательных историографических стереотипов.

## Библиография

Кузьмин 1987

Кузьмин А. Г., “Западные традиции в русском христианстве”, in: А. Д. Сухов, ред., *Введение христианства на Руси*, Москва, 1987, 21–54.

---

<sup>2</sup> Устойчивое неприятие летописной традиции варяжского происхождения руси заставляет мультиплицировать число “Русий” даже в сочинениях, не имеющих отношения к происхождению имени *русь*. В работе о “западных” традициях в русском христианстве А. Г. КУЗЬМИН [1987] отыскивает носителей еретической — арианской — традиции, якобы отраженной Повестью временных лет в сюжете крещения Владимира (988 г.): арианами были готы, поэтому можно увязать “рогов” (Rogas), упомянутых в списке неидентифицируемых народов Готской державы Германариха (ср.: [СВОД 1991: 110–111]), с германцами-ругами, которые в средневековых латинских источниках ассоциировались с русью и т. д.

Портан 1982

Портан Х. Г., *Основные черты русской истории*, Г. А. Некрасов, ред., Москва, 1982.

Прицак 1991

Прицак О. И., “Происхождение названия RŪS/RUS”, *Вопросы языкознания*, 6, 1991, 115–131.

Рыбалка 2016

Рыбалка А. А., “Рутены Меркатора”, *Славяноведение*, 2, 2016, 76–81.

——— 2017

Рыбалка А. А., “О псевдофольклорном характере легенды о Рюрике, Сиваре и Труваре”, *Славяноведение*, 4, 2017, 93–98.

Свод 1991

Гиндин А. Л., Литаврин Г. Г., ред., *Свод древнейших письменных известий о славянах*, 1, Москва, 1991.

Соколов 2010

Соколов С. В., “[рец.:] Л. С. Клейн. Спор о варягах. История противостояния и аргументы сторон. СПб., 2009”, *Славяноведение*, 2, 2010, 105–109.

——— 2015

Соколов С. В., *Концепции происхождения варяжской руси в отечественной историографии XVIII–XIX вв.*, Екатеринбург, 2015.

Томсен 2002

Томсен В., “Начало Русского государства”, in: А. Ф. Литвина, Ф. Б. Успенский, сост., *Из истории русской культуры*, 2/1: Киевская и Московская Русь, Москва, 2002, 143–226.

## References

Gindin A. L., Litavrin G. G., eds., *Svod drevneishikh pis'mennykh izvestii o slavianakh*, 1, Moscow, 1991.

Kuz'min A. G., “Zapadnye traditsii v russkom khristianstve,” in: A. D. Sukhov, ed., *Vvedenie khristianstva na Rusi*, Moscow, 1987, 21–54.

Porthan H. G., *Osnovnye cherty russkoi istorii*, G. A. Nekrasov, ed., Moscow, 1982.

Pritsak O. I., “The Origin of the Name RŪS/RUS,” *Voprosy Jazykoznanija*, 6, 1991, 115–131.

Rybalka A. A., “Mercator's Ruthenians,” *Slavianovedenie*, 2, 2016, 76–81.

Rybalka A. A., “On the Pseudo-Folklore Charac-

ter of the Rurik, Sivar, and Truvar Legend,” *Slavianovedenie*, 4, 2017, 93–98.

Sokolov S. V., “[rev.:] L. S. Klein. Spor o variagakh. Istoriia protivostoianii i argumenty storon. SPb., 2009,” *Slavianovedenie*, 2, 2010, 105–109.

Sokolov S. V., *Conceptions of Origin of Varangian Rus' in 18th–19th Centuries Russian Historiography*, Yekaterinburg, 2015.

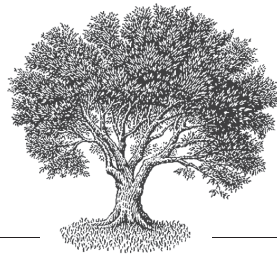
Thomsen V., “Nachalo Russkogo gosudarstva,” in: A. F. Litvina, F. B. Uspenskij, eds., *Iz istorii russkoi kul'tury*, 2/1, Moscow, 2002, 143–226.

## Acknowledgements

Russian Science Foundation. Project No. 15-18-00143.

проф. Владимир Яковлевич Петрухин, доктор ист. наук  
Институт славяноведения РАН, главный научный сотрудник  
Отдела истории средних веков  
119991 Москва, Ленинский проспект, д. 32 А  
Россия/Russia  
vladimir.petrukhin@gmail.com

Received January 27, 2017



DANIEL BUNČIĆ, *Biscriptality: A Sociolinguistic Typology*,  
ed. by D. BUNČIĆ, S. L. LIPPERT, A. RABUS with contributions by A. ANTIPOVA,  
C. BRANDT, E. KISLOVA, H. KLÖTER, A. VON LIEVEN, S. L. LIPPERT, H. PASCH,  
A. RABUS, J. SPITZMÜLLER, C. WETH on behalf of the Heidelberg Academy  
of Sciences and Humanities, the State Academy of Baden-Württemberg,  
Universitätsverlag Winter, Heidelberg, 2016, 425 pp.

**Первый опыт  
социолингвистической  
типологии двуграфичных  
ситуаций. О книге  
Даниэля Бунчича и  
других “Biscriptality:  
A Sociolinguistic Typology”  
(Heidelberg, 2016)**

**A First Attempt at  
Sociolinguistic Typology  
of Biscriptual Situations.  
About Daniel Bunčić et  
al.’s Book “Biscriptality:  
A Sociolinguistic  
Typology” (Heidelberg,  
2016)**

**Нина Борисовна Мечковская**  
Белорусский государственный  
университет  
Минск, Республика Беларусь

**Nina B. Mechkovskaya**  
Belarusian State University  
Minsk, Republic of Belarus

1. “Biscriptality” (‘двуграфичность’) и три ее разновидности в прошлом и настоящем

Заглавное понятие книги [BUNČIĆ 2016] Д. Бунчич определяет следующим образом: “Biscriptality” — это одновременное использование двух (или более) систем письма (включая различные орфографии) для (вариантов) одного и того же языка” (с. 54). “Biscriptality” выступает как родовой термин для трех разновидностей бинарности (дублетности, двоякости, двойственности) в сфере письма: во-первых, это двуалфавитность, т. е. одновременное использование двух или более графических систем инвариантных единиц письма (графем — буквенно-фонологических,

слововых или логографических); во-вторых, "двуначертательность", или "двущрифтовость" (нем. *Zweischriftigkeit*) — одновременное использование двух (или более) систем начертательно-визуальных (почерковых и шрифтовых) вариантов графем (вариантов, хотя и не значимых фонологически, но с семиотическими коннотациями, которые для людей нередко важнее звучания, потому что выступают как опознавательные знаки вероисповедания, этничности или политической ориентации); в-третьих, "biscrptality" — это еще и одновременное использование двух (или более) орфографических систем ("двуорфографичность").

Переводу *biscrptality* словом *диграфия* мешает то, что в рецензируемой книге термины *digraphia* и *bigraphism* заняты: они обозначают типологические разновидности *biscrptality* (об этом ниже). Но и слово *двуписьменность*, как кажется, не подходит: в нем нет той отвлеченности, именно "признаковости", которые есть в англ. *biscrptality*. Окказионализм \**двуписьменность* приводил бы к мысли о двух письменно-литературных традициях, к правомерным ассоциациям с термином "двулитературность" у Н. И. Толстого (применительно к литературам на латыни и на народном языке, например, в Польше позднего Средневековья). Однако, чтобы не оставлять заглавное слово монографии без перевода, в качестве аналога к *biscrptality* буду далее употреблять окказионализм *двуграфичность* (а также прилагательное *двуграфичный*).

2. Методологические приоритеты книги: типология; синхрония в характеристиках двуграфичных ситуаций; социальная семиотика и прагматика письма

В ряду специальных книг по теории и истории письма (ср. [Дирингер 1948/1963; Гельб 1963/1982; Истрин 1965; Фридрих 1966/1979; Иванов Вяч. Вс. 2013]) и наиболее полных учебных пособий на русском языке (см. [Павленко <sup>2</sup>1987; Федорова <sup>2</sup>2015]) своеобразие монографии Д. Бунчича определяется следующими чертами.

Во-первых, в "Biscrptality" исследуются не преимущественно древние и экзотические письменности, как это обычно бывает в книгах по истории письма; в ней рассмотрены географически и хронологически разные ситуации сосуществования двух и более письменностей для одного языка. В отличие от тех систем письма, которые функционируют в своем языке относительно монополично, двуграфичные ситуации представляют собой феномен более проблемный, чреватый конкуренцией или конфликтом.

Во-вторых, книгу отличает приоритет синхронической социолингвистической типологии двуграфичных ситуаций над историей письменностей и хронологией появления исследуемых ситуаций. Социолингвистические факторы их сложения также представлены преимущественно в типологическом освещении.

В-третьих, в силу социолингвистической направленности исследования феномен письма понимается Д. Бунчичем и другими участниками проекта расширительно: это не столько парадигматика элементарных (базовых) единиц письма (графем, силлабем, логограмм) в их отношении к звучанию и/или к значению, сколько социопрагматика пар письменностей, создающих двуграфичность, с учетом их материально-языковой природы, визуального облика и статуса в социуме.

### 3. Композиция книги и базовая терминология

В монографии 6 разделов, включая Введение (1) и Заключение (6). В разделе 2 (“История теоретического изучения двуграфичности”) представлена литература вопроса; в разделе 3 (“Эвристическая модель для типологии”) обсуждаются вопросы методологии и терминологии исследования. Разделы 2 и 3, как и два заключительных раздела (5 и 6), написаны Даниэлем Бунчичем. В общей сложности это теоретическое обрамление типологического обзора-классификации двуграфичных ситуаций занимает около трети текстового объема книги (без учета объема аппарата издания). Основной объем (примерно 2/3 текста монографии) занимает раздел 4 — “Case studies”, в котором в систематизированном порядке показаны социолингвистические типы двуграфичности. Подразделы в составе “Case studies” написаны исследователями из разных стран, иногда также при участии Бунчича. Подробнее о разделе “Case studies” будет сказано ниже.

Аппарат издания включает список рисунков (128 изображений, в том числе построенные Бунчичем таблицы), информацию относительно места хранения оригиналов изображений, авторов и авторских прав на изображения; библиографию цитированных публикаций; три указателя: 1) языков, 2) систем письменностей, 3) фамилий и имен.

### 4. Принципы типологии двуграфичности у Бунчича

Свою “эвристическую модель” для описания ситуаций с двумя системами письма Д. Бунчич строит в двумерном пространстве, где роли своеобразных координат играют социолингвистическое и графематическое (графемное, орфографическое и начертательно-шрифтовое) представления.

4.1. В аспекте социолингвистики предлагается различать три рода соотношений сосуществующих систем письма: 1) “digraphia” — это ситуации, которые соответствуют понятию “привативной оппозиции”, т. е. при достаточной асимметрии между видами коммуникации, в которых используются сосуществующие системы письма; 2) “scriptal pluricentricity” — ситуации с эквиполентными взаимоотношениями между системами письма, что имеет место при диатопическом варьировании, а также в условиях полицентричности письменных норм, как, например, письмо хинди и урду в ареалах Индостана; латинское и кириллическое письмо в Боснии и Герцеговине; 3) диаситуативное варьирование (*diasituative variation*), которому соответствует понятие “bigraphism” — ситуации с нечетким характером противопоставления систем письма, что обычно связано с разнообразием факторов, обусловивших двуграфичность.

4.2. В графематическом аспекте Д. Бунчич различает три рода явлений: 1) варианты, принадлежащие графемике (т. е. системе графем (= графике), которая находится в тех или иных коррелятивных отношениях с фонологической системой языка); это варьирование обозначено в книге термином *script*; 2) начертательно-шрифтовые варианты (*glyphic variants*), появление которых обусловлено наличием разных типов почерков и шрифтов (унаследованные от Рима почерки западноевропейских скрипториев; готический и романский шрифты в немецком или чешском книгопечатании; церковнославянский и гражданский шрифт в русской печати); 3) варианты орфографии (*orthography*).



В каждом из трех родов двуграфичности, дифференцированных социолингвистически (оппозиции привативные, эквиполентные и диаситуативные), различаются по три вида ситуаций в зависимости от того, какие феномены письма характерны для каждой из систем — графико-фонологические, шрифтовые или орфографические. Сопряжение обоих параметров дает следующую таблицу, в которой имеется девять типов сосуществования систем письма (с. 67):

Табл. 1

	script	glyphic variant	orthography
<b>privative</b> (diaphasic/diastratic/ diamesic/medial)	[1.a] digraphia	[1.b] diglyphia	[1.c] diorthographia
<b>equipollent</b> (diatopic/ethnic/ confessional)	[2.a] scriptal pluricentricity	[2.b] glyphic pluricentricity	[2.c] orthographic pluricentricity
<b>diasituative</b>	[3.a] bigraphism	[3.b] biglyphism	[3.c] biorthographism

Понятно, что каждая клетка в таблице должна быть как-то обозначена, однако жизнеспособность предложенной в книге терминологии вызывает сомнение. Хотя основа *глиф*- (от греч. γλῦφω 'вырезаю, выдалбливаю') давно "своя" в теории письма (*иероглиф* с дериватами), однако терминологические неологизмы Бунчи-ча (diglyphia, biglyphism) куда менее мотивированы, чем нем. *Zweischriftigkeit* 'двушрифтовость'. Внешние различия между суффиксами *-ia* и *-ism*, как и различия между греческим и латинским обликом корней со значением 'два' (*di-* и *bi-*), недостаточны (во всяком случае, для невовлеченного читателя), чтобы закрепить противопоставление отношений привативных (digraphia, diglyphia, diorthographia), с одной стороны, и отношений диаситуативных (bigraphism, biglyphism, biorthographism), с другой. Если бы соответствующие клетки таблицы имели цифровые и/или буквенные дистинкторы, то, как кажется, различать их было бы легче<sup>1</sup>.

5. Диапазон "case studies": от иероглифики исчезнувших языков и двух орфографий новгородских грамот до конкуренции арабского и латинского письма в современной Африке

В соответствии с девятью матричными типами ситуаций двуграфичности, в "Case studies" девять подразделов, расположенных в направлении от привативных ситуаций (1.a; 1.b; 1.c), к эквиполентным (2.a; 2.b; 2.c) и далее к диаситуативным (3.a; 3.b; 3.c). Как сказано в предисловии к разделу, в его задачи не входил полный охват двуграфичных ситуаций, однако в каждом из девяти типов "кейсов" рассмотрено несколько конкретных примеров (в любом случае не меньше двух). В

<sup>1</sup> В этом можно убедиться, если для различения разрядов в 1-й и 3-й строках таблицы использовать в качестве ориентиров не термины, а буквенно-цифровые индексы (поставленные мною, в порядке эксперимента, в квадратных скобках слева от термина).

каждом типе обзор поименованных ситуаций двуграфичности заканчивается подразделом “Other cases”, написанным Д. Бунчицем, с краткой характеристикой ряда ситуаций, относящихся к данному типу, но не разобранных в книге подробно. Однако все упомянутые в исследовании системы письма отражены в специальном индексе, который приведет читателя к страницам о соответствующем письме и его конкуренте.

Ниже в таблице, в левом столбце, приведены английские термины Бунчица, называющие девять типов двуграфичных ситуаций; справа названы ситуации, представляющие данный тип; рядом в скобках указаны имена и фамилии авторов соответствующих подразделов.

Табл. 2

4.1. Digraphia	1) Средневековая Скандинавия: руническое письмо и латиница (D. Bunčić); 2) Раннесредневековая Ирландия: огамическое письмо и латиница (D. Bunčić); 3) Лувийский язык (2-я половина II тысячелетия до н. э.): лувийская иероглифика и хеттская клинопись (D. Bunčić); 4) Полица (Poljica, побережье Адриатики в Хорватии) до середины XVIII в. (D. Bunčić); Несколько дискуссионных кейсов, в том числе сосуществование китайской иероглифики и латинской транскрипции мандаринского китайского (путунхуа); гендерно мотивированная диграфия на чайных плантациях в Китае (D. Bunčić)
4.2. Diglyphia	1) церковнославянское и гражданское письмо в России (D. Bunčić, E. Kislova, A. Rabus); 2) мужские и женские почерки в японском (D. Bunčić)
4.3. Diorthographia	1) средневековый Новгород: стандартная и бытовая орфография (D. Bunčić); 2) Чехия XVI–XVIII вв.: конкуренция нескольких графико-орфографических систем (D. Bunčić)
4.4. Scriptal pluricentricity	1) хинди — урду, наиболее значительное различие между которыми состоит в разных системах письма: деванагари, восходящее к письму санскрита, vs. персидско-арабское письмо (C. Brandt); 2) католический (латинский) и православный (русский гражданский) алфавит в белорусском (A. Antipova, D. Bunčić); 3) хорватский (латинский) vs. сербский (кириллический) алфавит в Хорватии (D. Bunčić); сербский (кириллический) vs. хорватский (латинский) алфавит в Боснии и Герцеговине (D. Bunčić);

	<p>4) языки Мандинго (в составе нигеро-кордофанской макросемьи языков) в Западной Африке: варианты <i>Ajami literacy</i> (аджамское письмо — арабской графики для неарабских языков) и латинского алфавита (H. Pasch);</p> <p>5) позднее египетское письмо в царствование 26-й династии (VII в. до н. э.): сосуществование трех или даже четырех систем письма: иероглифики и ее двух скорописных модификаций: иератики и демотики (S. Lippert)</p>
4.5. Glyphic pluricentricity	<p>1) Босния XV–XVII вв.: православная, мусульманская и католическая кириллица (D. Bunčić);</p> <p>2) региональные варианты латинского письма в Западной и Центральной Европе в Средние века (D. Bunčić)</p>
4.6. Orthographic pluricentricity	<p>1) упрощенный и традиционный китайский (H. Klöter, D. Bunčić);</p> <p>2) боснийская, хорватская, черногорская и сербская орфография (D. Bunčić);</p> <p>3) английская орфографическая полицентричность (D. Bunčić);</p> <p>4) немецкая орфографическая полицентричность (D. Bunčić);</p> <p>5) советское и эмигрантское русское письмо (D. Bunčić);</p> <p>6) католический и протестантский верхнелужицкий (D. Bunčić);</p> <p>7) варшавская и краковская школы польской орфографии (D. Bunčić)</p>
4.7. Bigraphism	<p>1) кириллический и латинский алфавиты в сербскохорватском (D. Bunčić);</p> <p>2) кириллический и латинский алфавиты в миноритарном русинском (D. Bunčić, A. Rabus);</p> <p>3) аджам (письменность у ряда неарабских народов на основе арабского алфавита) и латинский алфавит в Африке (H. Pasch);</p> <p>4) глаголица и кириллица в церковнославянском (D. Bunčić, A. Rabus);</p> <p>5) иероглифическое, иератическое и демотическое письмо в Древнем Египте (A. V. Lieven &amp; S Lippert)</p>
4.8. Biglyphism	<p>1) готический и романский почерки и шрифты в немецком (J. Spitzmüller, D. Bunčić);</p> <p>2) готический и романский шрифты в чешском (D. Bunčić);</p> <p>3) готика и романский шрифт в верхне- и нижнелужицкой печати (D. Bunčić)</p>
4.9. Biorthographism	<p>1) две орфографии в окситанском (провансальском) (C. Weth, D. Bunčić);</p> <p>2) две орфографии ("тарашкевіца" и "наркамаўка") в белорусском (D. Bunčić)</p>

Конечно, жаль, что ни в “case studies”, ни в “other cases” не оказалось хотя бы абзаца об украинских алфавитах и орфографиях. Между тем в Славии XIX–XX вв. история украинского письма едва ли не самая насыщенная орфографическими реформами, реализованными в грамматиках и словарях или в резонансных изданиях. Показательна география и хронология таких книг: Петербург (“Грамматика” Алексея Павловского, 1818; “Грамматка” Пантелеймона Кулиша, 1857), Москва (“Малороссийские песни” Мих. Максимовича, 1827, <sup>2</sup>1834, <sup>3</sup>1849), Львов (1830, 1842, 1886, 1893), Будапешт (грамматика Мих. Лучкая 1830; “Русалка Днѣстровая”, 1837), Киев (публикации Юго-Западного отдела Географического общества, начиная с 1873 г.; 1908; 1918–1919; 1920–1921; 1928–1929; 1933; 1946; 1990), Женева (Мих. Драгоманов, начиная с 1877 г.). В истории украинского письма известны шесть названий для особых систем кириллического письма: *грінчевківка*, *драгоманівка*, *желехівка*, *кулішівка*, *максимовичівка*, *ярижка*. В правобережной Украине, кроме кириллической графики, с начала XIV в. использовался латинский алфавит. От начала XVII в. до конца 1850-х гг. сохранилось по меньшей мере шесть реализованных печатно проектов латинизации украинского письма; ранний и широко известный опыт — это издания драм и интермедий галицийского ксендза Якуба Гаватовича (1598–1679). (см. [Кримський 1929; Огієнко 1949/2004; УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС 1996; ТАРАНЕНКО 1997; ШЕВЕЛЬОВ 1998; ПІВТОРАК 2000А; ІДЕМ 2000Б]).

#### 6. Распространенность двуграфичных ситуаций

В разделе “Case studies” представлено более 100 ситуаций двуграфичности. Много это или мало? Д. Бунчич пишет, что на самом деле двуграфичных ситуаций в мире множество, и в приведенный список включены в первую очередь наиболее заметные факты, “лежащие на поверхности реального множества подобных ситуаций” (с. 335).

Исследователям двуграфичных языков обычно казалось, что две системы письма для одного языка — это исключение, аномалия. В своих истоках такие представления связаны с не вполне отчетливо осознаваемым убеждением, что структура языка и его письмо соответствуют друг другу, образуя неразрывное единство. Подобно тому, как люди перестали видеть аномалию в двуязычии, пора, как призывает Д. Бунчич, признать нормальным в жизни языков явление двуграфичности. Одну из задач своего исследования он видит в том, чтобы показать естественность и распространенность двуграфичных ситуаций (с. 335); представленная в книге сотня “case studies”, если взглянуть с глобальной точки зрения, — это только “вершина айсберга” (с. 340–341).

#### 7. Типология двуграфичности, обогащенная хронологией

В небольшом разделе “Диахронические наблюдения / результаты” (с. 321–333) Д. Бунчич демонстрирует эвристические возможности типологии двуграфичных ситуаций в ее диахронических проекциях — в ареалах конкретных языков, сербскохорватского и белорусского.

В результате письменная история сербскохорватского языка (5.1) предстает в четырех сопряженных измерениях: 1) география (Сербия, Босния, Хорватия);

2) хронология (до Кирилло-мефодиевской миссии и пять периодов после создания славянского письма); 3) алфавиты и шрифты ареала (греческий, латинский, глаголица, кириллица (в ее церковном и светском шрифтовых вариантах), арабское письмо); 4) термины типологии двуязычности. Во все века сербскохорватское письмо было полицентрическим (исключая, впрочем, IX–X вв. — время монополии глаголицы); порою полицентризм перерастал в еще более сложную ситуацию, которую Бунчич называет “мультицентризмом”. Итоговая таблица (рис. 125, с. 323), резюмируя многомерное диахроническое исследование, показывает напряженную историю сербскохорватского письма компактно и замечательно наглядно.

Что касается белорусского письма (5.2), то его история представлена у Д. Бунчича на рис. 126, с. 325 (см. Табл. 3).

Табл. 3

	До 1795	1795–1933	1933–1980	1980–2008	2008–
Языки	Ruthenian (рутенский) [белорусско-украинский; для его носителей “ <i>проста мова</i> ” — Н. М.] литературный язык	Билингвизм: белорусский язык; русский язык			
Орфография	Традиционная	Тарашкевица (после 1918)	Полицентризм: Нарк., Тар.	Две орфографии: наркамаўка, тарашкевіца	Наркамаўка
Графика	Кириллица, латинка	Полицентризм: кириллица, латинка		К и р и л л и ц а	

Белорусская ситуация до 1795 г. представлена Бунчичем как одноязычная, что сильно упрощает реальную картину<sup>2</sup>. Более поздняя ситуация (после разделов Речи Посполитой) определяется Бунчичем как двуязычная (белорусско-русская), что также упрощает историю, поскольку не учитывается присутствие польского языка<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> На этой и сопредельных территориях состав языков, имевших свою письменность и книгоиздание, был таким: 1) проста мова; 2) польский; 3) латынь; 4) церковнославянский; 5) древнееврейский и идиш; 6) литовский (книгопечатание началось в 1547 г., когда был издан Катехизис). В конце XVI в. и в XVII в. польский язык преобладал в публицистике и полемике православных, католиков и униатов, а также в общеобразовательной литературе. Характерно, что все книги религиозной публицистики Мелетия Смотрицкого (кроме надгробных проповедей) и большинство книг Иоанникия Галятовского написаны и напечатаны на польском языке.

<sup>3</sup> Между тем по второй конституции БССР (1927) польский язык являлся одним из четырех государственных языков республики (наряду с белорусским, русским и идишем). Польский язык доминировал в образовании, костеле и местных органах власти на белорусских территориях, входивших в состав Польши (по Рижскому договору 1921 г.) до сентября 1939 г., когда по пакту Молотова-Риббентропа эти земли были включены в состав БССР.



Действительно, латинское письмо с начала XVI в. [Руденко 2015] бытовало в белорусской жизни — благодаря многовековому присутствию польского языка на белорусской этнической территории, а также благодаря традициям латинского образования. Это, конечно, отмечено в книге Д. Бунчича. В XVIII–XIX в. латиница преобладала как в частной переписке, в дневниках и мемуарных записках белорусской шляхты, так и в художественном творчестве. Латинским письмом был написан первый известный список белорусской бурлескной анонимной поэмы “Энеіда навыварат” (1820-е гг.). Все стихотворные сборники Францишка Багушевича (1840–1900), наиболее значительного белорусского поэта XIX в., напечатаны латинским шрифтом. Есть свидетельства, что Багушевич хотел видеть свои книги исключительно в наборе латиницей [Любецкий 1918: 13]. Белорусское *свободолюбие* предпочитало латиницу, видя в ней не только примету католического вероисповедания, но и вполне определенный знак культурно-политической ориентации пишущего — “западной” (“европейской”) и антиимперской.

Помещенная в резюмирующем диахроническом разделе книги Таблица 3 (рис. 126) может создать у читателя обедненное представление об истории двух белорусских алфавитов и двух кириллических орфографий — даже несмотря на раздел 4.9.2, в котором подробно изложены все события. Глядя в таблицу, читатель может подумать, что с введением *наркамаўкі* (1933) белорусское письмо латиницей прекратилось. Действительно, в БССР до конца 1980-х гг. (до начала Перестройки) письмо и печать были только кириллическими, орфография — только в ее “наркомовской” версии, при этом из школьных учебников белорусского языка ушло упоминание о латинице как о второй версии белорусского письма. Однако на западнобелорусских территориях и в Вильнюсе белорусы продолжали использовать и кириллическую тарашкевицу, и латинскую графику, в том числе в печати и книгоиздании. Конец тарашкевицы Бунчич датирует 2008 г., когда государство ввело новые правила орфографии. Слегка измененная *наркамаўка* (с несколько выросшим весом фонетических написаний) была объявлена обязательной для всего белорусскоязычного книгоиздания и печати, государственных и негосударственных.

Таким образом, в период нахождения белорусских земель в составе Российской империи, а также в межвоенное (1917–1939 гг.) и послевоенное время, белорусская ситуация была не двуязычной (как указано в таблице Бунчича), а многоязычной (три славянских языка) и двуалфавитной — с продолжительным сосуществованием кириллической и латинской графики (до 1939 г.) и двух орфографических норм кириллической орфографии — *наркамаўкі* и *тарашкевіцы* (до 2008 г.).

#### 8. О “приписанных” семиотических значимостях

В диахронической главе книги Д. Бунчича есть небольшой раздел (5.3), названный “Semiotic values ascribed to writing systems” (‘Семиотические значимости, приписанные системам письма’). Речь идет о том, как ангажированные идеологи разных политических сил приписывали тем или иным конкретным системам письма некоторую особую семиотическую значимость и широко пропагандировали нужные ассоциации, тем внедряя и укрепляя их в своем социуме. Какие-то члены социума вслед за идеологами также усматривали (или начинали усматривать)

в данном письме пропагандируемую значимость. Однако позже прежние или новые идеологи переставали находить эту значимость или находили другую, и снова кто-то принимал навязанные ассоциации, но потом оказывалось, что принимал не навсегда и т. д. Из нескольких примеров Бунчича приведу два.

1) В Советском Союзе, где реформа графики 1917 г. освободила алфавит от лишних букв и тем облегчила усвоение грамоты, реформированное письмо превозносилось как путь к массовой грамотности, а в дореформенном письме учили видеть "алфавит самодержавного гнета, миссионерской пропаганды и великорусского национал-шовинизма". Однако, когда в партийных верхах актуализировалась идея замены кириллицы латиницей, гражданский алфавит был объявлен "алфавитом национал-буржуазной великорусской идеологии", а латинский — "международной графической основой", пишет Бунчич, цитируя тезисы Н. Ф. Яковлева 1930 г. (с. 326).

2) В Германии нацисты стремились изменить отношение к готическому шрифту, который прежде трактовался в обществе вполне позитивно, как один из традиционных немецких шрифтов. Нацисты назвали этот шрифт "швабахские еврейские буквы", хотя в этих словах не было ни грана исторической правды: немецкие евреи не владели типографиями. Романский шрифт предлагалось называть "нормальным".

Как показал еще Оруэлл, в тоталитарных государствах мгновенная смена оценок и лозунгов на прямо противоположные — обычная вещь. Однако в феномене "семиотических ценностей, приписанных фактам письма", есть, на мой взгляд, более интересный аспект, чем навязывание идеологических штампов гражданам (в таком случае вполне можно сомневаться, насколько искренне они принимаются публикой). Интерес феномена в том, что "приписывание" фактам языка/речи тех или иных семиотических ценностей — это вообще обычный механизм формирования прагматических коннотаций (социально маркирующих, оценочных, стилистических).

Движущая сила приписывания фактам языка/речи тех или иных "семиотических значимостей" (ассоциаций) — это метаязыковая рефлексия говорящих, но не "государственных" идеологов, а определенных социальных групп, обычно профессионально связанных с языком, письмом, общением. Замечая особенности чужой речи и как-то осмысливая их, говорящие "находят", а фактически — п р и п и с ы в а ю т ту или иную семиотическую значимость тому, что показалось им особенным. Легче всего приписать ее тем лингвистическим явлениям, которые "сами по себе" ничего не значат — буквам и произношению. Если содержание (значение) слов и речей можно обсуждать, то непривычное ударение сразу вызывает протест, слушатель сразу как-то объясняет его себе ("это в его райцентре так говорят", "это он от шпаны перенял", "набралась на своих тусовках", "выпендривается" и т. п.). Такого рода объяснения непривычного в чужой речи (обычно метонимические ("откуда?") или телеологические ("зачем?")), возникающие у группы людей, могут распространиться еще шире и стать в той или иной мере узуальными. Таков механизм связи фонетических процессов и графико-орфографических инноваций с социальной стратификацией общества.

Семиотические значимости, которые метаязыковое сознание говорящих приписывает инновациям в письме или орфоэпии, могут быть довольно субъективными

и случайными, с неясной мотивированностью. Это отмечал М. В. Панов. Говоря о соотношении между историей русского произношения и человеческими оценками разных произносительных манер, он писал:

Социальные оценки произносительных фактов не всегда оказываются исторически верными. Например, не всё, что оценивается как примета “аристократически-претенциозного” произношения, или “мещански-жеманного”, “мещански-вульгарного” и т. д., действительно характеризовало речь только этих ограниченных социальных групп. Так, например, произношение [бокáл], [кос’т’úm] и проч., которое сейчас нередко квалифицируется как “аристократическое”, на самом деле никогда не являлось принадлежностью именно и только аристократического арга. Социальная характеристика зачастую была лишь средством, с помощью которого прокладывали путь внутренние фонетические закономерности [Панов 1968: 20].

Из всех лингвистических феноменов письмо, в силу его “рукотворности”, большей документированности (в сравнении с произношением) и кажущейся большей значимости (в сравнении с устной речью), подвергается оценке чаще и наиболее резко и пристрастно. У письма максимальный объем приписанных ему семиотических значимостей — религиозных, национальных, политических, моральных, эстетических.

Характеристики, приписываемые лексико-фразеологическим и грамматическим колебаниям, тоньше, разнообразнее — и при этом обычно более взвешены, чем оценки в полемике об орфографии.

#### 9. Всегда ли легко разделить графику от орфографии?

Трудность, конечно, не в референтном разнообразии использования термина “система письма” (writing system) — в этом лингвист не запутается. Проблема в том, что триада “графика — орфография — шрифт” не является ни единой системой оппозиций (привативных, эквиполентных или градуальных), ни уровневой иерархией, ни явлениями с обязательными каузальными зависимостями. Между тем Д. Бунчич, видя в графике и орфографии “уровень знаков письма и уровень орфографических правил, стандартизирующих систему знаков” (с. 20), интерпретирует реформу русского письма 1917 г. (исключившую из алфавита несколько букв) как перемену в орфографии: “реформа 1917 г. [. . .] не изменила письма, которое продолжает быть кириллическим письмом, а новая орфография является частью новой русской системы письма, которая отличается от старой системы только орфографически” (с. 20). Спору нет: русское письмо на всем протяжении своей истории остается кириллическим, однако нельзя согласиться с тем, что различия между письмом до и после 1917 г. “только орфографические”. Орфография не представляет собой более высокого уровня в организации письма, чем графика: в русском письме большинство написаний (по разным данным, примерно 80%) детерминировано не орфографией, а графикой, т. е. алфавитом и правилами чтения букв и буквосочетаний в их регулярном отношении к системе фонем. Орфографические правила регулируют передачу фонемного облика слов и форм только в условиях нейтрализации фонемных различий и/или при наличии дублетных (“лишних”) букв (как, например, рус. Ъ); орфография решает также некоторые проблемы письма, не связанные со звучанием (употребление прописных букв, слитные и отдельные написания).

Изменения в графике ведут к принудительным изменениям в орфографии: например, исключение в рамках реформы 1917 г. из русского алфавита "лишних" букв автоматически исключило правила, регулирующие выбор написаний с *Е* или *Ѣ*, *И* или *І* и т. д. Однако не все орфографические инновации 1917 г. были вызваны переменами в графике. Такова, в частности, норма, по которой приставки с финалью на согласный (кроме приставок, оканчивающихся на *З/С*) следует писать одинаково (т. е. фонематически, независимо от глухости или звонкости следующего согласного: *отпеть*, *отдать*), однако в написании приставок с финалью на *З/С* сохранялось дореформенное фонетическое написание, отражавшее ассимиляцию по глухости-звонкости: *воспеть*, но *воздать* [Виноградов 1965: 232].

Отношения между графикой и орфографией асимметричны: если изменения в графике всегда приводят к изменениям в правилах записи слов, то орфографические перемены не затрагивают графику. Таковы, в частности, правила русской орфографии 1956 г. [Правила 1956]: графика, закрепленная декретом 1917 г., оставалась без изменений и после 1956 г.

Что касается почерково-начертательных вариантов ("glyphic variants" в терминологии Д. Бунчича), то легко видеть, что изменения в почерках или шрифтах непосредственно не затрагивают графемику и орфографию, точно так же, как изменения в графемике и/или орфографии не касаются шрифтов. Это видно по дистрибуции книг готической и романской печати в XV–XIX вв. в Центральной Европе и по истории письма у русских. Реформа Петра I, направленная на секуляризацию и вестернизацию культуры и образования, меняла прежде всего визуальный облик гражданской печати, попутно модернизируя графику (исключалась часть лишних букв), что, в свою очередь, отражалось и на составе орфографических предписаний. Однако легко видеть, что из замены церковнославянского шрифта гражданским логически (или "автоматически") не следовал отказ от "лишних" букв (недаром некоторые из них — "фита", "ижица", "і (десятеричное)", "ер" в конце слов — сохранялись до реформы 1917 г.

В аспекте социолингвистики существенно, что в петровской реформе главное значение для секуляризации имели визуальные различия между церковным и гражданским шрифтом, близким к облику латинских шрифтов Возрождения. Иначе говоря, различие между старым (церковным) и новым (светским) письмом носило не лингвистический, но визуально-семиотический характер. Поэтому, кстати, термины триады Бунчича "script — glyphic variants — orthography" (образующих в классификации двуграфичности одну из систем координат (см. с. 64, 67 в книге и раздел 4.2 данного текста), было бы логичнее записывать в иной последовательности: "script — orthography — glyphic variants" или (лучше) "glyphic variants — script — orthography", чтобы не вклинивать между двумя лингвистическими сущностями визуально-семиотическую.

10. Не слишком ли абстрактна триада оппозиций (по генезису фонологическая) для социолингвистической типологии двуграфичности?

Богатейший фактический материал, и вербальный и визуальный, приведенный на страницах "Case studies", демонстрирует сложность и противоречивость явления двуграфичности — ту пестроту и запутанность, которые присущи всему, что связано



с “человеческим фактором”, — с субъективизмом людей, их пристрастностью и непоследовательностью.

Показательна в этом плане дистрибуция готического шрифта и фрактуры (всё это “черные/ломанные буквы”), с одной стороны, и романских шрифтов — с другой. В Германии XVI в. у протестантов романский шрифт ассоциировался с Римом, папизмом, католической пропагандой, а готический шрифт и фрактура (поздняя разновидность готики) воспринимались как шрифты “своей” церкви, противостоящей Риму. “Biblia Germanica” Лютера (Виттенберг, 1545) набрана готическим шрифтом, но в Апокалипсисе начальные буквы ряда слов (*Tod* ‘смерть’, *Helle* ‘ад’, *Todten* ‘мертвые’, *Der* ‘Он (подразумевается) проклятый’ и др.), особо значимых в полемике с папизмом, были напечатаны романским шрифтом. Этот “типографский символизм” (Spitzmüller, Bunčić) присутствует и в других прижизненных изданиях сочинений Лютера (с. 292–293). Однако в немецких землях при выборе шрифта фактор языка издания бывал более значим, чем конфессиональный фактор. На с. 291 можно видеть снимки титульных листов двух изданий 1544 г.: книга Лютера на латыни напечатана романским шрифтом, а католическое издание на немецком языке — готическим.

Неожиданное и непонятным образом мотивированное распределение готического и романского шрифтов встречается также в чешской, польской, лужицкой печати, в немецких изданиях XIX в. и времен Второй мировой войны. В XIX в. автор мог выбирать не собственно шрифт, но типографию, причем по мотивам, далеким от “шрифтовой идеологии” — например, в зависимости от финансовых условий издания. Типографии, в свою очередь, могли иметь разные комплекты шрифтов, которые могли быть в разной мере доступными в конкретное время для набора конкретной книги. Бунчич помещает (с. 301) факсимиле титульных листов двух пражских книг Вацлава Ганки: “Краткая история славянских народов” (1818) набрана готическим шрифтом, а сборник его переводов немецких поэм (“идиллий”) швейцарского сентименталиста Соломона Гесснера “*Gesnerowy idylly*” (1819) — романским. Можно ли предположить, что готика отвечала почвенническому и славянофильскому духу “Истории” и не ассоциировалась с германским влиянием (с точки зрения “будителей”, нежелательным)?

А как объяснить распределение шрифтов на первой полосе лужицкого издания для крестьян “*Serbski Hospodar*” (w Budyšinje, 1881): название и подзаголовок, выходные данные, фамилия редактора, цена, девиз (*motto*) набраны романским шрифтом, а статья, напечатанная на той же полосе, но ниже, — готическим (с. 303). Ср. также на с. 296 факсимиле страниц из “Истории немецкого языка” Я. Гримма (Лейпциг, 1868) — романский шрифт; из “Немецкого языка” А. Шлейхера (Штутгарт, 1869) — готический шрифт; или на с. 297 две немецкие почтовые марки 1941 г.: в январе — готическая, в апреле — романская. Фактически контрастность готических и романских шрифтов с течением времени приглушается и переосмысливается. Во второй половине XX в. и особенно с распространением компьютеров гарнитуры шрифтов становятся всё более разнообразными, что влияет на их семиотику.

Аналогичная и вместе с тем самобытная картина сосуществования двух не шрифтов, но алфавитов представлена в разделе “Case studies” о кириллице и латинице в ареалах сербского языка (4.7.1). Латинский шрифт используется всё



шире, и чем спокойнее жизнь, тем более обычны становятся латинские буквы. Есть сербские газеты (выходящие, впрочем, за пределами Сербии), которые печатаются в двух версиях (см. на с. 239 снимки первых полос ежедневника "Вести" и "Vesti"). В сербской Википедии графика переключается одним кликом (с. 238). Нередко соседство двух азбук едва ли мотивировано: один такой случай (2008 г.) запечатлен в книге на рис. 77 и в цвете вынесен на обложку: угол дома в г. Нови-Сад (столица Воеводины) на пересечении двух улиц; хорошо видны стандартные таблички с названиями улиц; но одна надпись — в кириллице, другая — латиницей. Иногда латинская запись сопровождает кириллическую (что отчасти может объясняться заботой о туристах, не знакомых с кириллицей). Но чаще выбор графики кажется случайным — примерно как названия конечных пунктов в белградских автобусах 2008 г.: три из шести табличек на латинице, остальные — на кириллице (рис. 78).

Такие факты двуграфичности (сосуществование готического и романского шрифтов в разное время и в разных культурах; кириллица и латиница в сербском письме) Бунчич определил как "диаситуативные" (с. 60). В отличие от ситуаций привативных и эквиполентных, четко определяемых в теории оппозиций, для "диаситуативных" различий характерна размытость отношений и многофакторная и потому запутанная каузальность. Однако не исключено, что *все* социолингвистические противопоставления являются диаситуативными, а такая заметная и максимально волнующая людей сфера жизни языка, как письмо, — в первую очередь. Привативные и эквиполентные оппозиции реальны в фонологии, в известной мере — в грамматической семантике, редко и с оговорками — в лексике, а для социальной лингвистики (где не бывает "чистых" (мономерных) оппозиций) эти термины слишком абстрактны, чтобы сохранять свою эвристическую ценность.

На практике три социолингвистических типа двуграфичности, постулированные Д. Бунчичем и представленные в абстрактных терминах теории оппозиций, затевают целый ряд типологически релевантных признаков, значимых для каждого из трех "родовых" групп феноменов, принадлежащих сфере письма (графико-фонологические, орфографические, шрифтовые). В отличие от грамматик, где определение (номинация) класса оппозиций в строении конкретной категории выявляет логику системы и предсказывает лингвистическое поведение противопоставленных членов, в типологии двуграфичности аналогичные указания малоинформативны. Неслучайно, что в подразделах "Case studies" характеристики конкретных ситуаций в терминах теории оппозиций оказываются едва ли нужными и присутствуют иногда разве что в названиях подразделов.

Более того, отнесение конкретных фактов двуграфичности к одному из трех классов социолингвистических оппозиций (что отражено в композиции книги) не представляется бесспорным (о чем в Заключении пишет и сам Д. Бунчич, с. 336–337). По-моему, любая ситуация двуграфичности при ближайшем рассмотрении оказывается сложнее, разнообразней, чем это предусмотрено в теории оппозиций. Есть веские основания для того, чтобы видеть в сосуществовании в России XVIII в. церковнославянского и русского шрифтов не привативную оппозицию (куда входит "case" 4.2.1 "Russian diaphasic dyglyphia", авторы D. Bunić, E. Kislova, A. Rabus), но эквиполентную, а может быть, и диаситуативную. В XXI в.

статус церковнославянского письма легко определить: маркированный и маргинальный. Однако в первые десятилетия после Петровской реформы маркированными были оба шрифта, каждый по-своему. Более того, противоборствующие тренды в соперничестве двух шрифтов (представленные в разделе 4.2.1) были вызваны борьбой больших социальных сил, внутренне также отнюдь не монолитных. Все эти обстоятельства (силы традиций и идеалы обновления, политические флюиды с разных сторон, материальные интересы типографов, словолитчиков, книготорговцев, личные амбиции людей, сама стихия жизни, истории, культуры) — всё это мешает вписать коллизию русской церковной и гражданской печати в рамки привативных оппозиций.

Бунчич предвидел упреки рецензентов и в отношении принципов типологической классификации двуграфичности, и еще в большей степени в самом распределении конкретных “case studies” по типологическим классам. Подобные вопросы к первому исследованию проблемы, причем сразу с глобальным охватом материала, вполне предсказуемы. Говоря о классификационных дилеммах, автор задает потенциальным критикам встречные вопросы (с. 336):

Проблема в данном случае — это вопрос, что делать с исключениями. Если большинство текстов распределяется в соответствии с принципом привативной оппозиции, но при этом несколько текстов его нарушают, надо ли видеть здесь доказательство диаситуативного варьирования? Или подобные тексты можно объяснять как индивидуальные случаи — но если да, то где проходит граница?

Есть, однако, и третий путь: задуматься, не слишком ли жестки и при этом абстрактны сами классы?

На мой взгляд, в социолингвистике письма более перспективна не типология, но характерология двуграфичности, построенная не в виде классификационной таблицы, но как многопризнаковое матричное (идентифицирующее) описание каждой отдельной исследуемой ситуации. Названия конкретных “case studies” вписываются в начало строк, названия (или номера) дифференциальных признаков (ДП) — в вершины столбцов, наличие или отсутствие (или частичное наличие) отдельного ДП для отдельного случая двуграфичности фиксируется на пересечении соответствующих строк и столбцов матрицы. Для каждой ситуации состав наличествующих ДП предстанет более или менее специфичным и логически хорошо сопоставимым с составом ДП в описании других ситуаций. Если различительные признаки (ДП), на основе которых проводится матричное описание, сформулировать в терминах именно социолингвистики (а не универсальной теории оппозиций), то перечень ДП для конкретного случая двуграфичности предстанет как сжатая социолингвистическая характеристика трех групп феноменов в области письма (шрифтов, графики и орфографии).

Приведу один из возможных наборов таких различительных признаков, релевантных для социолингвистической характерологии сдвигов в системах письма<sup>4</sup>:

---

<sup>4</sup> В данном случае я опираюсь на свой доклад “Типология графико-орфографических реформ в истории славянской письменности: фонетико-фонологические и социосемиотические аспекты”, представленный на Краковском

1. конфессиональная мотивированность позиции по отношению к письму:
  - 1.1. принятие (сближение с определенной конфессиональной традицией);
  - 1.2. сохранение (удержание) традиции; недопущение инноваций;
  - 1.3. элиминация двуграфичности (отдаление от прежней или актуальной традиции);
2. этно-национальные мотивы того или иного отношения к двуграфичности (в целях национальной консолидации социума):
  - 2.1. ориентация на престижные (в глазах ангажированной части социума) прежние автохтонные или инонациональные черты или модели в организации письма;
  - 2.2. отталкивание от моделей письма (автохтонных или заимствованных), утрачивающих привлекательность (в глазах части социума);
3. мотивы демократизации и либерализации письма vs мотивы аристократизации, архаизации, усложнения письма, усиления его элитарности;
4. для каждой группы социолингвистических признаков (названных в пунктах 1–3) важно соотношение общественно-политических сил в частях социума, различающихся между собой в оценках, ориентирах и идеалах по отношению к двуграфичности (позиция государственной власти, политических партий и движений; институций и авторитетов в сфере образования, церкви, СМИ и др.).

11. Поле типологических исследований стало шире и интересней

Новаторская монография Д. Бунчича, безусловно, достигает той цели, которую автор считает главной, — показать социально-психологическую нормальность и распространенность в мире ситуаций двуграфичности, раскрыть культурную и социолингвистическую значимость ее исследования.

Хочется отдельно подчеркнуть ценность специального труда Бунчича по организации группы исследователей для работы в рамках одной концепции письма и двуграфичности — концепции пусть и широкой, но все же со своими границами и стандартами. Можно представить, каких немалых усилий потребовала от инициатора проекта и триумвирата соредкторов книги координация исследований географически разрозненных участников проекта. Но это сделано. Благодаря объединенному труду исследователей в разных, подчас далеких друг от друга лингвистических цехах, создана впечатляющая по широте и насыщенности фактами панорама — от древнейших неалфавитных письменностей исчезнувших языков до тщательно документированных феноменов двуграфичности в повседневности наших дней. Книга Д. Бунчича показывает перспективы и актуальность исследования двуграфичности. Это новое направление в социолингвистике письма важно как для теории и истории письма, так и для понимания современных проблем сосуществования письменностей в условиях глобализации и информатизации общения.

---

съезде славистов (1998) [Мечковская 1998; ЕАДЕМ 2013]. Замечу, что понятие "реформа письма" по факту означает, что в течение некоторого времени имел место переход от одной системы письма к другой, т. е. в данное переходное время обе системы сосуществуют (что соответствует понятию двуграфичности).

Заинтересованно читая книгу Бунчича, я не могла удержаться от полемических суждений, разумеется, факультативных. Настоящая полемика, однако, — это не рецензия, а другая книга: пусть критик сделает больше и лучше. И пока нет новой книги “больше и лучше”, исследование Даниэля Бунчича в соединении с концентрированными результатами знатоков двуграфичности в культурах разных времен и народов, останется лучшим и непревзойденным. Возможно, обсуждаемую книгу о двуграфичности в скором времени превзойдет сам Бунчич.

## Библиография

Анцыповіч 1998

Анцыповіч М., “Калянавуковая «капуста», альбо нядалы сімбіёз фізікі і лірыкі”, *Літаратура і мастацтва*, 15 мая 1998.

Виноградов 1965

Виноградов В. В., отв. ред., *Обзор предложений по усовершенствованию русской орфографии (XVIII–XX вв.)*, Москва, 1965.

Гельб 1963/1982

Гельб И. Д., *Опыт изучения письма (Основы грамматики)* [1963], Перев. с англ., под ред. и с предислов. И. М. Дьяконова, Москва, 1982.

ДИРИНГЕР 1948/1963

Дирингер Д., *Алфавит* [1948], Москва, 1963.

Иванов Вяч. Вс. 2013

Иванов Вяч. Вс., *От буквы и слога к иероглифу: Системы письма в пространстве и времени*, Москва, 2013.

Истрин 1965

Истрин В. А., *Возникновение и развитие письма*, Москва, 1965.

Кримський 1929

Кримський А. [Ю.], “Нарис історії українського правопису до 1927 року”, *Записки Історично-філологічного відділу Всеукраїнської академії наук*, 25, 1929, 175–186.

Кудрин 1998

Кудрин В., “Условие нашего исцеления”, *Москва*, 7, 1998, 220–221.

Лопатин 2006

Лопатин В. В., отв. ред., *Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник*, Москва, 2006.

Любецкий 1918

Любецкий П., “О белорусском литературном языке”, *Чырвоны шлях*, 7–8, 30 ноября 1918, 13.

Мечковская 1998

Мечковская Н. Б., *Типология графико-орфографических реформ в истории славянской письменности: фонетико-фонологические и социосемиотические аспекты*, Минск, 1998 [репринт: *Беларуская мовазнаўчая славістыка на з’ездах славістаў: Да XV Міжнароднага з’езда славістаў*, Мінск, 2013, 376–406].

— 2004/2008

Мечковская Н. Б., “О диагностирующей ценности орфографических перемен: из истории белорусского, украинского, польского и русского письма”, in: V. LENMANN, L. UDOLPH, Hrsg., *Normen, Namen und Tendenzen in der Slavia. Festschrift für Karl Gutschmidt*

- zum 65. Geburtstag*, München, 2004, 87–95 [репринт: Мячкоўская Н. Б., *Мовы і культура Беларусі. Нарысы*, Мінск, 2008, 143–151].
- ОГІЄНКО 1949/2004  
ОГІЄНКО І. (МИТРОПОЛИТ ІЛАРІОН), *Історія української літературної мови* [Винніпег, 1949], Упор., авт. перед. і комент. М. С. Тимошик, 2-ге вид., випр., Київ, 2004.
- ПАВЛЕНКО 1987  
ПАВЛЕНКО Н. А., *История письма*, 2-е изд., Минск, 1987.
- ПАНОВ 1968  
ПАНОВ М. В., отв. ред., *Русский язык и советское общество. Социолого-лингвистическое исследование. Фонетика современного русского литературного языка. Народные говоры*, Москва, 1968.
- ПІВТОРАК 2000А  
ПІВТОРАК Г. П., "Правопис", in: [УКРАЇНЬСЬКА МОВА 2000: 477–479].
- 2000Б  
ПІВТОРАК Г. П., "Реформи алфавіту і графіки", in: [УКРАЇНЬСЬКА МОВА 2000: 508–509].
- ПРАВИЛА 1956  
*Правила русской орфографии и пунктуации*, Москва, 1956 [2-е изд.: 1962].
- РУДЕНКО 2015  
РУДЕНКО Е. Н., "Ранние белорусские латинографические тексты как показатель контактной языковой зоны", in: *Языковой контакт. Сборник научных статей*, Минск, 2015, 140–149.
- СУД 1998  
"Суд над белоруской мовой [Дискусия]", *Наша ніва*, 17 жніўня 1998.
- ТАРАНЕНКО 1995  
ТАРАНЕНКО О. О., "Лінгвістичний і соціальний комплекс проблем навколо сучасного українського правопису", *Мовознавство*, 1, 1995, 3–8.
- 1997  
ТАРАНЕНКО О. О., ред.-упоряд., *Український правопис: так і ні: Обговорення нової редакції "Українського правопису"*, Київ, 1997.
- ТАРАШКЕВІЧ 1929/1991  
ТАРАШКЕВІЧ Б. [А.], *Беларуская граматыка для школ*, вид 5-е, перараб. і пашыр., Вільня, 1929 [факсімільнае выданне: Мінск, 1991].
- УКРАЇНЬСЬКА МОВА 2000, <sup>2</sup>2004, <sup>3</sup>2007  
РУСАНІВСЬКИЙ В. М., ТАРАНЕНКО О. О., отв. ред., *Українська мова. Енциклопедія*, Київ, 2000 [2-е изд.: 2004; 3-е изд.: 2007].
- УКРАЇНЬСЬКИЙ ПРАВОПИС 1996  
*Український правопис і наукова термінологія: історія, концепції та реалії сьогодення. Матеріали Мовознавчої комісії та Комісії всесвітньої літератури НТШ у Львові 1994–1995 рр.*, Львів, 1996.
- ФЕДОРОВА 2015  
ФЕДОРОВА Л. Л., *История и теория письма*, 2-е изд., Москва, 2015.
- ФРИДРИХ 1966/1979  
ФРИДРИХ И., *История письма* [1966], пер. с нем., вступ. ст. и коммент. И. М. Дьяконова, Москва, 1979.
- ШЕВЕЛЬОВ 1998  
ШЕВЕЛЬОВ Ю. [В.], *Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900–1941): Стан і статус*, Чернівці, 1998.



BUNČIĆ 2016

BUNČIĆ B., *Biscriptality: A Sociolinguistic Typology*, ed. by D. BUNČIĆ, S. L. LIPPERT, A. RABUS with contributions by A. ANTIPOVA, C. BRANDT, E. KISLOVA, H. KLÖTER, A. VON LIEVEN, S. L. LIPPERT, H. PASCH, A. RABUS, J. SPITZMÜLLER, C. WETH, Heidelberg, 2016.

## References

- Antsyrovich M., "Kalianavukovaia 'kapusta,' al'bo niadaly simbiez fiziki i liryki," *Litaratura i mastatstva*, May 15, 1998.
- Bunčić B., *Biscriptality: A Sociolinguistic Typology*, ed. by D. Bunčić, S. L. Lippert, A. Rabus with contributions by A. Antipova, C. Brandt, E. Kislova, H. Klöter, A. von Lieven, S. L. Lippert, H. Pasch, A. Rabus, J. Spitzmüller, C. Weth, Heidelberg, 2016.
- Diringer D., *The Alphabet*, transl. into Russian by L. S. Gorbovitskaya, I. A. Perelmutter, G. A. Zograf, Moscow, 1963.
- Fedorova L. L., *Istoriia i teoriia pis'ma*, 2nd ed., Moscow, 2015.
- Friedrich J., *Istoriia pis'ma*, Moscow, 1979.
- Gelb I. J., *A Study of Writing*, transl. into Russian by L. S. Gorbovitskaya, I. M. Dunaevskaya. Moscow, 1982.
- Istrin V. A., *Vozniknovenie i razvitie pis'ma*, Moscow, 1965.
- Ivanov Viach. Vs., *Ot bukvy i sloga k ieroglifu: Sistemy pis'ma v prostranstve i vremeni*, Moscow, 2013.
- Kryms'kyi A. Yu., "Narys istorii ukrains'koho pravopysu do 1927 roku," *Zapysky Istorychno-filologichnoho viddilu Vseukrains'koï akademii nauk*, 25, 1929, 175–186.
- Kudrin V., "Uslovie nashego istseniia," *Moskva*, 7, 1998, 220–221.
- Liubetskiy P., "O belorusskom literaturnom iazyke," *Chyrvony shliakh*, 7–8, November 30, 1918, 13.
- Lopatin V. V., ed., *Pravila russkoi orfografii i punktuatsii. Polnyi akademicheskii spravochnik*, Moscow, 2006.
- Mechkovskaya N. B., *Tipologii grafiko-orfograficheskikh reform v istorii slavianskoi pis'mennosti: fonetiko-fonologicheskie i sotsiosemioticheskie aspekty*, Minsk, 1998.
- Mechkovskaya N. B., "O diagnostiruiushchei tsennosti orfograficheskikh peremen: iz istorii belorusskogo, ukrainskogo, pol'skogo i russkogo pis'ma," in: V. Lehmann, L. Udolph, Hrsg., *Normen, Namen und Tendenzen in der Slavia. Festschrift für Karl Gutschmidt zum 65. Geburtstag*, München, 2004, 87–95.
- Myachkoŭskaya N. B., *Movy i kul'tura Belarusi. Narysy*, Minsk, 2008.
- Ohiyenko I., *Istoriia ukrains'koï literaturnoi movy*, M. S. Tymoshyk, ed., 2nd ed., Kiev, 2004.
- Panov M. V., ed., *Russkii iazyk i sovetskoe obshchestvo. Sotsiologo-lingvisticheskoe issledovanie. Fonetika sovremennogo russkogo literaturnogo iazyka. Narodnye govory*, Moscow, 1968.
- Pavlenko N. A., *Istoriia pis'ma*, 2nd ed., Minsk, 1987.
- Pivtorak H. P., "Pravopys," in: V. M. Rusaniv's'ky, O. O. Taranenko, eds., *Ukrains'ka mova. Entsiklopediia*, Kiev, 2000, 477–479.
- Pivtorak H. P., "Reformy alfavitu i hrafiky," in: V. M. Rusaniv's'ky, O. O. Taranenko, eds., *Ukrains'ka mova. Entsiklopediia*, Kiev, 2000, 508–509.
- Rudenko E. N., "Rannie belorusskie latinografichnye teksty kak pokazatel' kontaktnoi iazykovoi zony," in: *Iazykovoi kontakt*, Minsk, 2015, 140–149.
- Sheveliov Yu. V., *Ukrains'ka mova v pershii polovyni dvadtsiatoho stolittia (1900–1941): Stan i status*, Chernivtsi, 1998.
- Taranenko O. O., "Linhvistychnyi i sotsial'nyi kompleks problem navkolo suchasnoho ukrains'koho pravopysu," *Movoznavstvo*, 1, 1995, 3–8.
- Taranenko O. O., *Ukrains'kyi pravopys: tak i ni: Obhovorennia novoi redaktsii "Ukrains'koho pravopysu"*, Kiev, 1997.
- Tarashkevich B. A., *Belaruskaja hramatyka dlja shkol*, 5th ed., Vilnius, 1929.
- Vinogradov V. V., ed., *Obzor predlozhenii po usovershenstvovaniiu russkoi orfografii (XVIII–XX vv.)*, Moscow, 1965.

проф. **Нина Борисовна Мечковская**, доктор филол. наук  
Белорусский государственный университет, филологический факультет,  
профессор кафедры теоретического и славянского языкознания  
220030 Минск, ул. Карла Маркса, д. 31, каб. 52  
Республика Беларусь / Republic of Belarus  
nina.mechkovskaya@gmail.com

Received January 22, 2017

*Периодическое издание*

---

SLOVĚNE = СЛОВѢНЕ  
INTERNATIONAL JOURNAL OF SLAVIC STUDIES  
Vol. 6. № 2

Московский педагогический  
государственный университет, 2017

---

Подписано в печать 29 • XII • 2017 г. Формат 70 × 100/16.  
Объём 46,25 печ. л. Бумага офсетная 80 г/м<sup>2</sup>. Тираж 300 экз.  
Институт славяноведения РАН. 119991, Москва, Ленинский  
просп., д. 32-А / Московский педагогический государственный  
университет. 119991, Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 1.  
Отпечатано в ООО «ПОЛИМЕДИА». 143001, Московская обл.,  
г. Одинцово, ул. Западная, д. 13.